This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

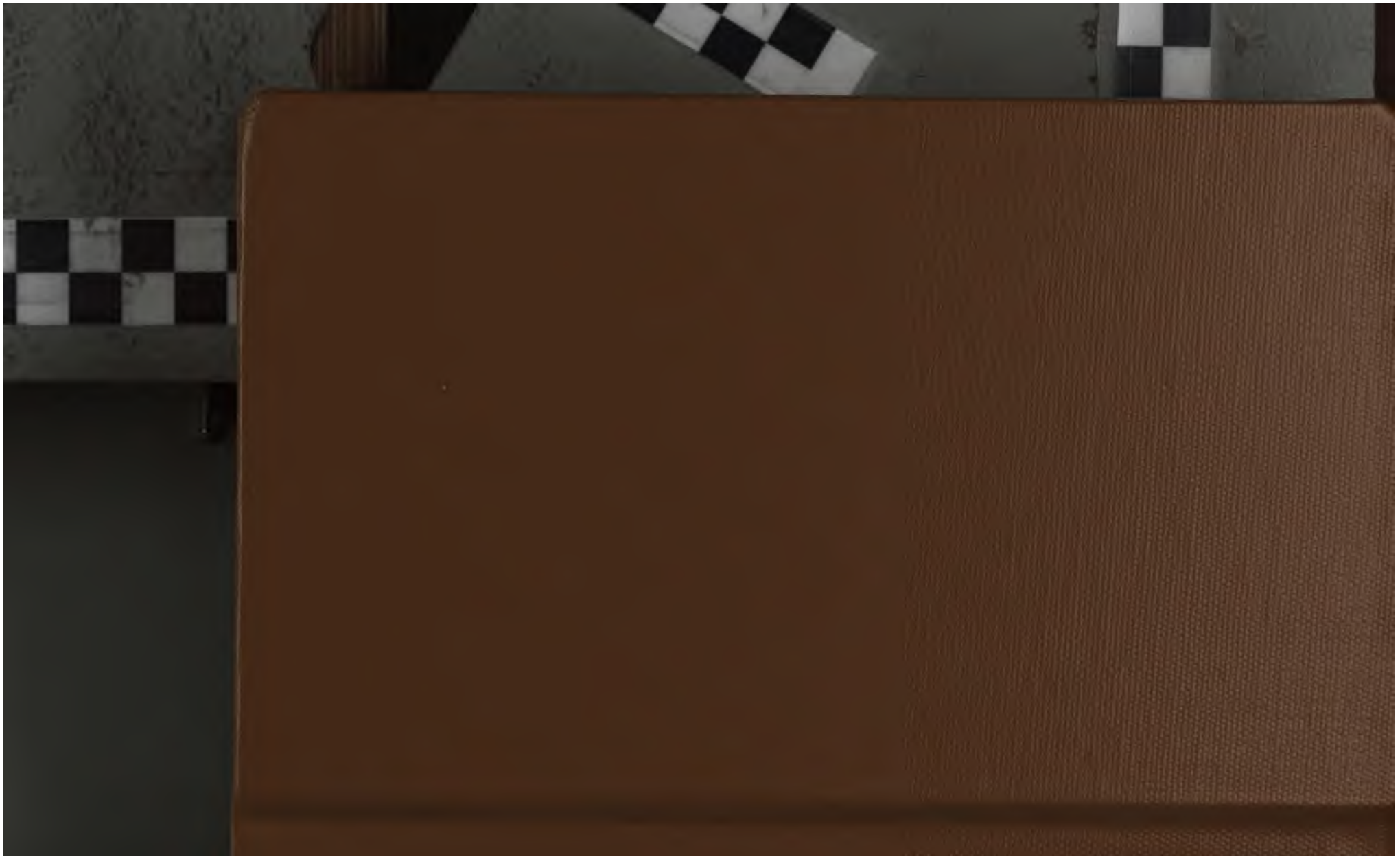
- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`



STANFORD UNIVERSITY
LIBRARIES

МОИ

СЕМИДЕСЯТИЛѢТНІЯ

ВОСПОМИНАНІЯ

И СЪ ТѢМЪ ВМѢСТѢ

МОЯ ПОЛНАЯ ПРЕДСМЕРТНАЯ ИСПОВѢДЬ.

Н. МАКАРОВА.

Дѣла давно минувшихъ дней,
Преданья старины глубокой.
(Пушкинъ).

Пусть будетъ пѣснь твоя дика. Какъ мой вѣнецъ
Мнѣ тягостны веселья звуки!
Я говорю тебѣ: я слезъ хочу, пѣвецъ,
Иль разорвется грудь отъ муки.
Страданьями была упитана она,
Томилась долго и безмолвно;
И грозный часъ насталъ — теперь она полна,
Какъ кубокъ смерти яда полный.
(Лермонтовъ изъ Байрона).

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія Трвини и Фюсно (Максимиліановскій переулокъ, № 15).
1881.

ЦЕСАРЕВИЧЪ КОНСТАНТИНЪ ПАВЛОВИЧЪ.

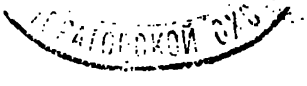
КАНЦЕЛЯРІЯ
18 MAP 88
ИМПЕРАТОРСКОЙ

ЕГО ВЫСОКОПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ

ВИКТОРУ ЯКОВЛЕВИЧУ

БУНЯКОВСКОМУ,

Г-ну Вице-Президенту Императорской Академіи Наукъ.



не оскорбляли меня, какъ это дѣлали двадцать два года тому назадъ, по поводу моего перваго литературнаго труда, къ которому Вы тоже отнеслись тогда съ большимъ сочувствіемъ, что послужило не малымъ для меня утѣшеніемъ въ воздвигнутомъ тогда на меня ожесточенномъ журнальномъ гоненіи.

Примите увѣреніе въ глубокомъ моемъ къ Вамъ уваженіи и безпредѣльной благодарности и преданности, съ какими навсегда имѣю честь быть

Вашимъ почтительнѣйшимъ и покорнымъ слугою

Н. Макаровъ.

С.-Петербургъ.
1881 года 10 ноября.

КО ВСЕЙ ЧИТАЮЩЕЙ РУССКОЙ ПУБЛИКѢ.

«Amicus Plato, sed magis amica veritas».
(Хлѣбъ соль ѣшь, а правду матушку рѣжь).

Въ декабрѣ 1859 года былъ помѣщенъ въ *Современникѣ* мой первый литературный трудъ, подъ заглавіемъ *Задушевная Исповѣдь*. Я часто видался тогда съ покойнымъ Некрасовымъ. Вскорѣ по выходѣ декабрской книжки его журнала, былъ я у Николая Алексѣевича, у котораго, на ту пору, собралось нѣсколько его сотрудниковъ. Вотъ что сказалъ онъ мнѣ тогда:

— Г. Макаровъ! Вы купили право, чтобы вѣрили каждому вашему слову. Въ вашей «Задушевной Исповѣди» *каждая строка дышетъ правдою*, для которой вы себя не щадите. *Если есть теперь простяки, которые, объ одномъ изъ героевъ вашей грустной повѣсти, думаютъ, что онъ хорошій, добрый человѣкъ, то врядъ ли такіе найдутся послѣ прочтенія вашей исповѣди* (sic).

Да! Ни тогда, ни до того, ни послѣ того, я никогда, ни въ чемъ, ни единымъ словомъ не измѣнялъ правдѣ, которую чтилъ и любилъ, и продолжаю любить до фанатизма, хотя много разъ я страдалъ и очень дорого платился за нее, и нравственно, и матеріяльно. И теперь, отдавая въ печать *Мои Воспоминанія*, я завѣряю честью, что все, что въ нихъ находится, все это — самая святая правда, говоря объективно, на столь правда, на сколько справедливо все то, что я слышалъ отъ людей, достойныхъ вѣры; говоря же субъективно, т. е. о себѣ самомъ, то все, что говорю — *безусловная правда, ни единой фразы выдуманной*, относительно сущности событій и разговоровъ. А только придана поэтическая форма описанію нѣкоторыхъ сценъ въ 6-й книгѣ «Воспоминаній» *(Потерянный рай)*. Чтоже до 5 книги *(Зловѣщая комета)*, то главныя событія всѣ вѣрны; а только герои той были (названной романомъ) носятъ псевдонимы, и мѣстности событій не тѣ, что по-

казаны въ романѣ, а другія. Но объ этомъ скажу ниже, въ своемъ мѣстѣ. И такъ всѣ лица и событія, объективно описанныя мною, исторически и фотографически вѣрны. Опять таки на столько, на сколько вѣрны мѣстныя преданія и разсказы честныхъ людей. Фотографически вѣрны даже тѣ субъективные очерки, которые написаны въ юмористическомъ тонѣ. Нѣтъ ни единой черты сочиненной, выдуманной мною. Я началъ уже восьмой десятокъ лѣтъ. Поздно учиться лгать, или хоть прилыгать тому, кто одной ногой стоитъ въ могилѣ, и послѣ того какъ онъ, въ продолженіи всей своей жизни, и говорилъ, и писалъ всегда одну голую правду и часто въ явный и громадный ущербъ своему матеріяльному, а порою и душевному благосостоянію и даже покою. Бо̀льшая часть этихъ *Воспоминаній* написаны еще въ 1861 году; а часть — въ нынѣшнемъ, что и обозначено въ выноскахъ. Поэтому нѣкоторыя утвержденія и аллюзіи могутъ казаться теперь анахронизмами.

Думалъ ли, ожидалъ ли я тогда, слушая симпатическій отзывъ покойнаго поэта о моей «*Задушевной Исповѣди*», что вскорѣ послѣ того я сдѣлаюсь предметомъ ожесточеннаго гоненія; что начнутъ глумиться надо мною, казнить, распинать меня за эту «Исповѣдь» въ большей части тогдашней періодической прессы, и въ продолженіи многихъ лѣтъ?... Видно таковъ удѣлъ всякой смѣлой правды, въ особенности той, которая «глаза колетъ» любимцамъ, баловнямъ слѣпой фортуны, откуда бы они не выползли: изъ чертоговъ ли, изъ лабазовъ ли, изъ питейнаго ли дома, лишь бы окончили свое поприще обладаніемъ милліонами, многоэтажными домами, дачами и картинными галлереями. Всемогуща, всечествуема Мамона, была и есть. Много, масса правды сожигается ежедневно, въ честь ея, на золотыхъ ея жертвенникахъ, на этихъ современныхъ аутодафе плутократической Инквизиціи..... Всегда ли будетъ ей, Мамонѣ, такая честь? Будутъ ли позднѣе оказывать ей, Мамонѣ, болѣе почета или менѣе? Съумѣютъ ли еще подлѣе раболѣпствовать и ползать передъ ея, Мамоны, золотымъ изваяніемъ, и даже передъ ея верховными жрецами; ползать къ стыду, къ позору нашего времени и современнаго общества и въ ущербъ правдѣ, справедливости, частному и общему благу; въ насмѣшку надъ совѣстью, честью и честностью; въ явное и наглое издѣвательство надъ законами и

властями, даже сильными? Всегда ли будетъ такъ, или нѣтъ? Это — вопросъ будущаго. Прошедшее не утѣшительно, настоящее — еще менѣе; надежда на лучшее пока — въ могилѣ, въ забвеніи.....

Итакъ: пусть эти «Воспоминанія» будутъ моей послѣднею, «предсмертною» исповѣдью, моею «аппеляціонною жалобою въ Судъ общественнаго мнѣнія». Пусть этотъ нелицепріятный верховный судъ отвѣтитъ, по чистой совѣсти, положа руку на сердцѣ, на слѣдующіе два вопроса:

«Кто виноватъ и кто правъ изъ двухъ главныхъ героевъ «Задушевной Исповѣди»?

«Точно ли я такъ дуренъ, такъ бездаренъ, такъ неспособенъ ни къ чему хорошему, полезному, какъ выставляла меня тогдашняя пресса въ продолженіи нѣсколькихъ лѣтъ, бросая въ меня зубоскальнѣйшія насмѣшки и обвиненія чуть не въ башибузукствѣ, чуть не въ антропофагіи; словомъ: ставили меня на одну доску съ самыми непочетными, ошиканными, оплеванными именами и выставляли на показъ и на посмѣшище въ самомъ некрасивомъ, безобразномъ видѣ; не побоялись даже заподозрить мое безкорыстіе и бросить грязную тѣнь на мое честное имя своими нечестными, грязными инсинуаціями. И все это за мою «Задушевную Исповѣдь». Помню, какъ, между прочимъ, одинъ изъ тогдашнихъ зубоскаловъ, ломившихся въ остроумники, помѣстилъ меня въ «Искрѣ» (№ 15, 1860 г.). «Между мѣднымъ носорогомъ и оловяннымъ осломъ», въ видѣ «тюленя, набитаго соломой, играющаго на гитарѣ фантазію Г. Макарова?....» А другой, уже умершій, зубоскалъ, въ газетѣ, тоже умершей, выразился обо мнѣ такъ: «Мы не гитаристы, не можемъ судить объ игрѣ Г. Макарова. Въ нашемъ околоткѣ одинъ только сосѣдъ Еремѣевъ играетъ на гитарѣ, *да его Ванька русскія пѣсни безъ нотъ валяетъ*.....» Итакъ озубоскалили даже мою невинную, никому не вредящую страсть къ гитарѣ, поставя меня на одну доску съ какимъ-то *Ванькой*, забывъ при этомъ ту стереотипную истину, что любитель, дающій слышать себя въ концертѣ не ради своей, какъ артистъ по ремеслу, пользы, а для благотворительнаго дѣла, не подлежитъ критикѣ, особенно зубоскальной, точно также, какъ не подлежитъ хулѣ труженикъ за то, что изъ своего недостатка, онъ пожертвовалъ на доброе

дѣло только одинъ рубль, а не тысячу, какъ какой нибудь банкиръ-милліонеръ.

Но это еще цвѣточки. Въ одномъ толстомъ журналѣ сравнивали меня съ печальной памятью издателемъ «Домашней Бесѣды», пользовавшимся въ то время самой непочетной репутаціей. И съ кѣмъ только не сравнивали меня тогда. А за что же? За поединокъ на ружьяхъ? Такъ это было увлеченіе, а не безчестный поступокъ. За хлыстъ и развратную клеветницу? Это была вспышка, а не безчестье. Оглянитесь-ка лучше на себя, такъ выйдетъ изъ васъ почище десяти Аскоченскихъ, вмѣстѣ взятыхъ, т. е. изъ нѣкоторыхъ изъ васъ. А въ другомъ тоже толстомъ журналѣ были посвящены мнѣ три статьи съ ругательствами, цензурными, конечно, между которыми находились такія любезности, обращенныя прямо къ моей личности: «необразованный, несмыслимо-заносчивый, невообразимо нахальный *авторъ* (все это я) *заслуживаетъ медицинское пособіе*». Наконецъ тотъ же толстый журналъ объявилъ окончательно безъ аппеляціи, что мои произведенія «ниже всякой посредственности, и потому *нисколько не стыдно* унижать, ругать ихъ вмѣстѣ съ ихъ авторомъ». Вотъ какъ честила меня тогдашняя журнальная братія. Но всего здѣсь не перескажешь. Приведу еще образчикъ безсовѣстной и наглой клеветы критика-ругателя вышесказаннаго толстаго журнала (Русск. Слова). Выхвативъ изъ *Самодуровъ* одну фразу, безъ предъидущаго и послѣдующаго, онъ говоритъ: «А вотъ по части чувствъ автора (т. е. моихъ): *За малѣйшее оскорбленіе моего самолюбія я буду мстить здѣсь до гроба, и даже Тамъ, за гробомъ*. А говорилъ это не авторъ, не я, а Шельменко, одинъ изъ героевъ романа. Громиловъ же (т. е. я) говорилъ вотъ что: «Моя единственная манера мстить: *за добро добромъ, а за зло — тоже добромъ; другой манеры я не знаю*». Какова передержка! достойная наиловчайшаго и величайшаго шулера-мошенника. А вотъ и еще образчикъ бестыжаго лганья критика, который началъ и окончилъ ложью свою рецензію-пасквиль. Сперва вышелъ первый томъ *Самодуровъ* (244 страницы), а второй немного позднѣе (366 стр.). А между тѣмъ критикъ говоритъ: «Каково! 2 р. 50 коп. за 244 страницы»! Не за 244, а за 661 стр., г. критикъ и *плясунъ на сковородѣ*» отвѣчалъ я тогда облыжному критику. А propos de сковорода. Какъ вѣ-

нецъ вполнѣ достойный г. критика, въ концѣ его рецензіи, находилось признаніе, чрезвычайно наивное и курьезное, чтобы не сказать болѣе. Вотъ оно слово въ слово:

«Я самъ это сознаю и пишу только потому, что я самъ — лицо *подначальное*; что *намъ велятъ писать*, то мы и пишемъ; чего *не велятъ писать*, того не пишемъ; бьемся какъ рыба объ ледъ, *пляшемъ какъ карась на сковородѣ*.

Стало быть г. критику и *плясуну на сковородѣ*, по приказанію и для потѣхи своего начальника (фамилію его позабылъ я; кажется что-то въ родѣ Зломракова, не могу сказать навѣрное), приказано было разругать мою книгу. *Со словомъ должно обращаться честно*, сказалъ Гоголь; редакція Рус. Слова поступала на оборотъ. Но всего здѣсь не перескажешь. Для этого потребовалось бы много страницъ. Сверхъ того, въ концѣ Задушевной Исповѣди предвидѣлось мое раззореніе и возможность отправиться ad patres. Стало быть при этомъ даже была позабыта пословица: «Лежачаго не бьютъ». Поэтому, если пословица *Лежачаго не бьютъ* сочинена въ Россіи, то и обычай *бить лежачаго* составляетъ одну изъ характерныхъ чертъ россіянина и наемнаго писаки-ругателя.

И среди этого злораднаго, дикаго рева и неистовыхъ рычаній ни одного голоса въ мою защиту, ни единаго сочувственнаго мнѣ звука. А подъ конецъ этой безсовѣстной и безчеловѣчной человѣческой травли, въ тогдашнемъ книжномъ и журнальномъ мірѣ стали обѣгать меня, словно зачумленнаго, заградили мнѣ уста и закрыли всѣ пути, захлопнули всѣ калитки къ печатному слову періодической прессы; словомъ: порѣшили похѣрить меня, ну и похѣрили. Отнявъ у меня всякую надежду на правдивый, безпристрастный судъ и на какой бы то ни было успѣхъ, надѣвъ тяжелыя путы на мое воображеніе и вдохновеніе, едва не убили во мнѣ окончательно любовь къ дѣлу и энергію всякаго труда; чуть не обезплодили навсегда жажду полезной дѣятельности..... Даже и послѣ того, нѣсколько лѣтъ спустя, когда нечеловѣческимъ усиліемъ удалось мнѣ высвободиться изъ напущеннаго на меня умственнаго столбняка и стряхнуть съ себя всемертвящую апатію; когда, спѣша наверстать загубленное время, я, въ самый короткій срокъ, задумалъ и исполнилъ изданіе моего перваго лексикографическаго труда («Полный Русско-Французскій Словарь»);

даже и тогда, кромѣ двухъ, трехъ органовъ прессы, отозвавшихся сочувственно объ этомъ трудѣ, всѣ остальные хранили гробовое молчаніе, или упоминали вскользь, «для блезиру», какъ обыкновенно упоминаютъ о книженкѣ, обрекаемой на толкучку и на обертки. А въ одной большой газетѣ пытались даже, хоть и неумѣло, умалить, такъ сказать «обмизерить» мой трудъ. О поощреніи къ дальнѣйшей полезной дѣятельности не было и помину, и не заикнулись, за исключеніемъ одной газеты, гдѣ сказали, что не мѣшало бы мнѣ дополнить мой трудъ изданіемъ «Полнаго Французско-Русскаго Словаря». Послѣ этого, какъ не сказать:

«Вотъ наши строгіе цѣнители и судьи».

Повторю вопросъ: всегда ли такъ непреодолимо будетъ обаяніе и плутократическое владычество Мамоны надъ міромъ, такъ всесильно на вѣсахъ правосудія извѣстной среды, а часто и цѣлаго общества, что они могутъ заставить чашу съ нѣсколькими золотниками ея, Мамоны, мишурныхъ доблестей и грошевыхъ заслугъ, перевѣсить другую чашу, на которую положено нѣсколько пудовъ чужой и немилой ей, Мамонѣ, правды?

Итакъ: хотя пресса первой половины шестидесятыхъ годовъ и порѣшила, что меня, какъ писателя и общественнаго дѣятеля, слѣдуетъ непремѣнно похѣрить (какая гуманная цѣль!), я все-таки, несмотря на это похѣриванье, сталъ чѣмъ нибудь, хоть и маленькимъ, но все же не совсѣмъ темнымъ человѣкомъ,—сталъ *лексикографомъ* и, кажется, не безъ пользы для *раціональной международной лексикографіи* и для образованнаго русскаго общества. Могу ли я претендовать теперь и на имя *писателя*, а не *бумаго-марателя*, пусть рѣшатъ этотъ вопросъ теперешніе читатели «Моихъ воспоминаній», и прежніе моей «Задушевной исповѣди», но рѣшать внѣ всякихъ тенденцій, эфемерныхъ теорій и увлеченій, безъ лицепріятія и безъ предубѣжденія противъ *не своего прихода*. Знаю только и смѣло утверждаю, что много, цѣлый міръ мыслей, чувствъ, идеаловъ роился и кипѣлъ въ моей душѣ и въ воображеніи лѣтъ двадцать тому назадъ. Сколько плановъ, программъ для разныхъ беллетристическихъ произведеній было набросано мною тогда! Много хорошаго сдѣлалъ и написалъ бы я, еслибы не убили меня тогдашняя злонамѣренная не критика, а брань, ругатель-

ство и зубоскальство. Не погрузились бы въ продолжительную летаргію и мой умъ, и воображеніе. И затѣмъ тяжесть лишнихъ двадцати лѣтъ безотрадной жизни, павшая на мои уже не молодыя плечи, была удвоена ожесточенными нападками на меня журнальнаго міра, и потомъ ледянымъ, мертвящимъ равнодушіемъ и прессы, и публики къ моему первому лексикографическому труду.

Долго страдалъ я молча; долго неизбывныя горе, тоска, оскорбленія, обиды, раскаленнымъ камнемъ лежали на днѣ моей измученной души, жгли, рѣзали, рвали ее; но, въ настоящую минуту, чаша переполнена, горе рвется наружу и, съ несравненно большимъ правомъ, чѣмъ въ 1859 году, я повторю одинъ изъ эпиграфовъ «Задушевной Исповѣди» и теперешнихъ «Моихъ воспоминаній»:

Пусть будетъ пѣснь твоя дика какъ мой вѣнецъ
Мнѣ тягостны веселья звуки!
Я говорю тебѣ: я слезъ хочу, пѣвецъ,
Иль разорвется грудь отъ муки.
Страданьями была упитана она,
Томилась долго и безмолвно;
И грозный часъ насталъ — теперь она полна,
Какъ кубокъ смерти яда полный.

«Много, слишкомъ много обвиненій, жалобъ, стоновъ и слезъ», быть можетъ скажете вы, читатель, по прочтеніи этого вступленія. Да, много, очень много; а сколько еще будетъ ихъ въ остальныхъ книгахъ этихъ *Воспоминаній*. Тамъ цѣлыя страницы написаны слезами. И не разъ, а нѣсколько разъ возвышаю я голосъ съ обвиненіями противъ моихъ гонителей и мучителей. «Что у кого болитъ, тотъ о томъ и говоритъ». Въ свое оправданіе я сдѣлаю параллель.

Представьте себѣ, что у васъ, или у кого изъ вашихъ знакомыхъ воруютъ, въ театрѣ или на гуляньи, кошелекъ съ 20-ю рублями. Вы сердитесь, и даже очень, и ужъ ни какъ не благодушничаете. Разсказываете объ этомъ непріятномъ казусѣ своимъ пріятелямъ, которые тоже не благодушничаютъ, а ругнутъ мазурика, вытащившаго у васъ кошелекъ съ 20-ю рублями. А если украдутъ у васъ 220 р.?... Это уже — событіе, эпоха въ жизни. А ужъ когда украдутъ 2,220 руб., вы пошевелите небо и землю. А между тѣмъ вамъ, быть можетъ,

только 32, ну пожалуй и 42 года отъ роду. Стало быть много еще дней у васъ впереди, и вы успѣете вернуть свои 2,220 р. и съ лихвою.

А у меня-то, читатель, что пропало? 20 лѣтъ жизни украли у меня, 20 лѣтъ, которыя могъ бы я употребить съ величайшею пользою для общества, и съ величайшею честію для себя. И украли, разсѣяли на всѣ четыре стороны эти 20 лѣтъ; и сдѣлана эта святотатственная покража, если не со взломомъ, то съ пригодникомъ, когда мнѣ уже 72 года, и остается только сказать съ покойнымъ Губеромъ:

Я запѣлъ бы смѣло,
Да не та ужъ доля.
Уходилось тѣло,
Ослабѣла воля.

Не строки, и не страницы, а цѣлые томы жалобъ и проклятій такимъ ворамъ и за воровство того, чего никакіе банкиры, никакіе богачи-милліонеры не могутъ возвратить вамъ. Проклятія за гнусное убійство, за уничтоженіе того, чего ни одинъ властелинъ міра не можетъ дать, что дается однимъ только Творцомъ, и болѣе никѣмъ. Три четверти изъ тѣхъ, которыхъ посылаютъ по Владиміркѣ, не исключая и Юханцевыхъ, и Митрофаній, и инженеровъ Сашекъ, далеко не такъ преступны, какъ тѣ воры и убійцы, которые воруютъ по 20 лѣтъ изъ человѣческой жизни и убиваютъ то, что, какъ сказалъ я выше, можетъ дать одинъ только Творецъ; убиваютъ: умъ, талантъ и вдохновеніе (*).

(*) У меня вошло въ привычку: порой смѣяться сквозь слезы, а иногда и плакать черезъ смѣхъ. Поэтому я и разскажу одинъ анекдотецъ, подходящій къ моему настоящему положенію.

У одного священника приготовлялись на продажу очень вкусные окорока. Однажды обокрали его: стащили изъ кладовой всѣ окорока, штукъ 20. Это такъ поразило и умъ, и воображеніе автора вкусныхъ окороковъ, что съ тѣхъ поръ онъ сталъ обозначать лѣтосчисленіе такъ:

«Лѣта отъ сотворенія міра такого-то, отъ Рождества Христова такого-то, а отъ покражи окороковъ такого-то».

Такъ вотъ видите ли! Если покража вкусныхъ окороковъ такъ трудно забывается, то *можно ли легко забыть* покражу 20-ти лѣтъ жизни, у которой отнято все, что могло освѣтить ее, согрѣвать, усладить и скрасить?

Ergo: Въ Прологѣ къ «Зад. Исповѣди» говорилъ я о Бомарше слѣдующее: послѣ несправедливо проиграннаго имъ процеса, онъ обратился къ суду общественнаго мнѣнія, который тотчасъ же принялъ его сторону, и такъ явно и энергически, что парламентъ не осмѣлился привести въ исполненіе свой приговоръ, опозорившій Бомарше. А позднѣе этотъ шемякинскій приговоръ былъ скасированъ. Попробовалъ было и я въ 1859 году, написавъ *Задушевную Исповѣдь*, сдѣлать тоже, что сдѣлалъ Бомарше. Но увы! Мои тогдашніе журнальные судіи нашли пріятнѣе, или удобнѣе, или полезнѣе подражать не общественному, справедливому мнѣнію просвѣщеннаго французскаго общества конца прошедшаго столѣтія, а Шемякамъ парижскаго парламента. Теперь же, по истеченіи двадцати лѣтъ, я снова обращаюсь къ суду русской интеллигенціи, и повторю: пусть публика рѣшитъ:

1-е. Точно ли я — жалкая литературная бездарность, ниже всякой посредственности?

2-е. Точно ли я такой дурной, негодный человѣкъ, передъ которымъ слѣдуетъ запирать двери не только всѣхъ гостинныхъ, но и всѣхъ редакцій? А таково было мнѣніе обо мнѣ у журнальныхъ корифеевъ шестидесятыхъ годовъ; да кажется сохранилось оно и по нынѣ. И если найдутся несогласные съ такимъ обо мнѣ рѣшеніемъ и захотятъ утѣшить готовящагося къ вѣчности страдальца нѣсколькими словами сочувствія, то вотъ мой адресъ:

На углу Невскаго и Знаменской, въ гостинницѣ Николаевской желѣзной дороги, въ 25 номерѣ.

Рожествино
1881 года, 4 іюня.

ПОСТСКРИПТУМЪ.

Когда-то, въ прошедшемъ столѣтіи, во Франціи, были осуждены и казнены невинные Каласъ и Лезюркъ. Но это не помѣшало потомъ правдѣ всплыть на верхъ. Дѣло этихъ мучениковъ было поднято, пересмотрѣно; шемякинскіе приговоры были отмѣнены и доброе имя и честь этихъ невинныхъ жертвъ кривды

и увлеченія неумолимыхъ и безчеловѣчныхъ страстей разныхъ политическихъ партій были возстановлены во всей ихъ чистотѣ и неповинности. Отчего же не испробовать шансовъ подобнаго пересмотра въ Россіи, въ концѣ XIX столѣтія; пересмотра приговора журнальныхъ Шемякъ начала шестидесятыхъ годовъ, вслѣдствіе котораго осудили и нравственно казнили меня въ продолженіи трехъ лѣтъ. И неужели, въ дѣлѣ правосудія, нелицепріятія и гуманности, русская публика конца XIX-го столѣтія окажется гораздо ниже публики французской, жившей на рубежѣ двухъ столѣтій: XVIII и XIX-го, или же и вовсе откажется отъ должности—почетныхъ присяжныхъ засѣдателей въ дѣлѣ оправданія оклеветаннаго, осмѣяннаго и осужденнаго на бездѣйствіе мученика своей откровенности и правды? Прибавлю еще: всякое тяжебное, апелляціонное дѣло требуетъ самаго полнаго собранія и предъявленія всѣхъ актовъ и документовъ, относящихся къ тому дѣлу. Поэтому, къ *Моимъ воспоминаніямъ*, я прибавлю и мою *Задушевную Исповѣдь*, которую, для этой и цѣли перепечатываю.

С.-Петербургъ, 27 сентября.

КНИГА ПЕРВАЯ.

ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ НАШЕГО СТОЛѢТІЯ.

I.

Очевидица цѣлаго столѣтія.

Много было писано о «старыхъ-годахъ», по которымъ были когда-то, да я думаю, и теперь еще найдутся вздыхатели. Много было писано, но предметъ этотъ далеко не исчерпанъ. Поэтому люди пожилые, бывалые, наблюдательные и теперь еще найдутъ поразсказать много интереснаго объ этихъ старыхъ годахъ, о которыхъ я, съ своей стороны, нисколько не жалѣю. Но, несмотря на то и разсказывая мою жизнь, разскажу, при семъ удобномъ случаѣ, кое-что о жизни и нравахъ русскихъ дворянъ въ провинціи и въ первой четверти нынѣшняго столѣтія.

Родился я въ Чухломѣ, уѣздномъ городѣ Костромской губерніи, года за два до нашествія Наполеона. Отецъ мой, Петръ Петровичъ Макаровъ, происходилъ отъ стариннаго дворянскаго рода. Оба дѣда мои, съ отцовской и материнской стороны, были воеводами. Въ молодости своей, отецъ мой служилъ въ военной службѣ и, въ концѣ прошедшаго столѣтія, стоялъ съ полкомъ въ Петербургѣ, гдѣ не разъ приходилось ему прятаться подъ однимъ изъ многочисленныхъ мостовъ нашей сѣверной столицы, прятаться отъ страха строгой отвѣтственности за какую нибудь неисправность въ его военной осанкѣ и мудреной экипировкѣ того времени: или косичка сзади худо подвязана, или пукли на вискахъ дурно напомажены и напудрены; ну и прячься, и полѣзай подъ мостъ, чтобы избѣжать бѣды неминучей.

Выйдя въ отставку въ началѣ нынѣшняго столѣтія, онъ поселился въ своемъ имѣніи близъ Чухломы. Городъ этотъ, небольшой, съ полутора тысячами жителей, двумя церквами, четырьмя каменными домами (въ томъ числѣ и присутственныя мѣста), былъ извѣстенъ слѣдующими особенностями.

Онъ лежитъ на берегу довольно большаго озера, въ пять верстъ ширины и семь длины. Озеро это славилось карасями, чрезвычайно круп-

ными, такъ что удостоилось чести попасть въ одну географію того времени, въ которой говорилось такъ:

«Чухлома при Чухломскомъ озерѣ, славящемся карасями».

Сверхъ этой географической, Чухлома имѣла еще слѣдующія мѣстныя извѣстности.

Ея озеро, на противоположномъ берегу котораго лежалъ живописный мужской Абраміевской монастырь, находилось шесть мѣсяцевъ въ году подъ льдомъ; потомъ мѣсяца два представляло поверхность довольно зеркальную, и затѣмъ, въ продолженіи лѣтнихъ мѣсяцевъ, было покрыто густымъ слоемъ зеленой плѣсени или цвѣта. Въ этой плѣсени зарождались міріяды мелкихъ зеленыхъ мошекъ, налетавшихъ цѣлыми тучами на Чухлому, порою заслонявшихъ собою свѣтъ солнечный и покрывавшихъ городскія улицы слоемъ вершка въ два и болѣе. Поэтому городокъ этотъ и прозывался «зеленою Чухломою».

Другая мѣстная извѣстность въ ту эпоху состояло въ торговлѣ виноградными винами, которыя одинъ изъ ея купеческихъ домовъ, подъ фирмою «братьевъ Курочкиныхъ», выписывалъ прямо изъ Архангельска изъ первыхъ рукъ. Виноторговая извѣстность этого дома была такъ велика во всей губерніи, что къ нему присылали за винами не только изъ ближайшихъ уѣздовъ, но даже изъ самаго губернскаго города Костромы, отъ губернатора и прочихъ губернскихъ чиновъ, чопорность и азіятская важность которыхъ далеко превосходила посягательство на важность современныхъ намъ губернскихъ чиновъ и тузовъ. Какъ ни чахоточенъ, какъ ни хромоногъ нашъ современный прогрессъ, но все таки онъ осязателенъ на столько, что удерживаетъ въ границахъ приличія или сносности нашихъ провинціальныхъ, да и всякихъ прочихъ кососадирателей. Многіе, но далеко еще не всѣ, изъ этихъ важностей попримирѣли въ послѣднее время, не изъ уваженія къ человѣческому достоинству, а изъ боязни попасть въ какіе нибудь «Губернскіе очерки», эту фотографическую галлерею провинціальныхъ уродливостей, или въ какой нибудь «скорпіонный сатирическій журналъ».

Поселившись въ своемъ Чухломскомъ имѣніи, въ сельцѣ Першинѣ, отецъ мой сейчасъ же вступилъ въ законный бракъ съ дочерью какого-то губернскаго чина. Но проживъ съ нею лѣтъ десять и приживъ одну дочь, овдовѣлъ. А послѣ двухлѣтняго вдовства вторично женился на моей матери. Это была дѣвушка лѣтъ двадцати пяти, круглая сирота, но необыкновенно умная женщина и происходившая отъ одного изъ самыхъ старинныхъ дворянскихъ домовъ сосѣдняго Солигаличскаго уѣзда. Прадѣдъ ея служилъ еще Петру I-му и былъ начальникомъ его тайной

канцеляріи. Въ числѣ приданаго за нею находилась ея няня Соломонида, которая исправляла эту должность уже при четырехъ поколѣніяхъ своихъ господъ. Это была въ высшей степени интересная и замѣчательная женщина. Во время замужества ея барышни (въ 1808 г.) ей исполнилось уже сто лѣтъ. Но несмотря на такіе преклонные годы, это была еще очень бодрая старушка, чрезвычайно говорливая, живая и неутомимо работавшая что нибудь. Ей привелось еще разъ быть нянею и у сына своей дорогой барышни, къ которому привязалась она со всею силою любви, на какую только способны столѣтнія, историческія сердца, пережившія четыре поколѣнія своихъ господъ. Въ молодости своей (она осталась дѣвою de jure et de facto) Соломонида провела нѣсколько лѣтъ въ юномъ тогда Петербургѣ со своими господами. Въ день кончины Петра I-го ей было уже 17 лѣтъ, и потому она очень хорошо сохранила въ своей памяти все, что удалось ей видѣть и слышать въ ту интересную историческую эпоху. Если бы я былъ тогда постарѣе да посмышленѣе, то много любопытнаго узналъ бы о послѣднихъ пяти годахъ царствованія Петра Великаго отъ моей столѣтней няни, этого очевиднаго свидѣтеля той отдаленной отъ насъ эпохи, и которая много разъ видѣла въ лицо Великаго Петра. Однако же въ моей памяти сохранились нѣкоторые изъ ея въ высшей степени любопытныхъ разсказовъ, напримѣръ:

Однажды, года за три до смерти Великаго Преобразователя, господинъ ея отпросился на побывку въ свое имѣніе, находившееся въ двухъ верстахъ отъ Солигалича. Соломонидѣ было тогда 14 лѣтъ. Когда она, съ господами, пріѣхала изъ Петербурга въ это имѣніе, лежавшее на берегу рѣки Костромы, то, вскорѣ по пріѣздѣ туда, стали навѣщать ея господъ нѣкоторые изъ ихъ сосѣдей и сродственниковъ. Жена моего прапрадѣда, любившая поболтать и поразсказать о своей петербургской жизни и, въ особенности, о важной службѣ своего мужа, увлекалась иногда въ своихъ разсказахъ и передавала многія страшныя подробности, относившіяся къ обязанностямъ ея мужа, какъ начальника тайной канцеляріи. Отъ этихъ разсказовъ, хотя и произнесенныхъ почти шепотомъ, у слушателей становились волосы дыбомъ, и ихъ бросало въ лихорадку. Тогда мой прапрадѣдъ топнетъ гнѣвно ногою на свою болтливую жену и промолвитъ испуганнымъ голосомъ:

— Замолчи, дура! Что ты разболталась такъ! Или языкъ у тебя такъ чешется, что ты не боишься, что его тебѣ отрѣжутъ? Развѣ ты не знаешь, что и у стѣнъ есть уши? Развѣ тебѣ не дорога кожа на твоей спинѣ?

И жена его тотчасъ же прикуситъ языкъ и потомъ, помолчавъ немного, снова примется за разсказы, да только ужъ далеко не такіе

страшные, какъ драмы застѣнка. А начнетъ она описывать ассамблеи, съ ихъ посѣтителями и посѣтительницами въ робронахъ, да съ менуэтами, да съ пантагрюэлевскими угощеніями той эпохи, завершавшимися гигантскими кубками, отъ которыхъ не избавлялись нетолько ни одинъ изъ посѣтителей, но даже и посѣтительницы. Поэтому женѣ моего прапрадѣда не разъ приходилось возвращаться домой съ этихъ ассамблей въ состояніи, съ которымъ вовсе незнакомы посѣтительницы нынѣшнихъ баловъ, т. е. въ состояніи «лыка не вяжущихъ» персонъ.

Усадьба, въ которой жили когда-то предки моей матери и въ которой родилась и выросла и она сама, носила характеристическое названіе «Вылинкина», потому что когда-то возлѣ этого имѣнія находилось кладбище города Солигалича, на которое горожане приходили по праздникамъ справлять поминки по своимъ усопшимъ отцамъ и родственникамъ. Разумѣется они «выли» надъ этими могилами страшнѣйшимъ образомъ, взапуски съ волками, обитателями дремучихъ лѣсовъ, окружавшихъ тогда Солигаличъ, и отъ которыхъ, въ описываемое мною время, уцѣлѣло еще порядочное количество, въ особенности по дорогѣ между Солигаличемъ и Чухломой. По обѣимъ сторонамъ этой дороги, на протяженіи двадцати верстъ, тянулся густой сосновый и еловый лѣсъ (уцѣлѣвшій и по нынѣ), извѣстный подъ именемъ «волока» и бывшій, въ эпоху моего дѣтства, очень не безопасенъ для проѣзжающихъ, такъ что однажды мой отецъ спасся отъ разбойниковъ, только благодаря удалой расторопности своего кучера и быстрому бѣгу лихой тройки. Но двѣ пули, посланныя ему вслѣдъ, просвистали мимо ушей его.

II.

Главные дворянскіе идеалы той эпохи.

Каждая эпоха, каждое поколѣніе у извѣстнаго большаго и независимаго народа имѣетъ что-то особенное, свойственное ему одному. Настоящее, образованное русское общество отличается необыкновенною пытливостью, затрогиваніемъ всевозможныхъ общественныхъ вопросовъ и желаніемъ освободиться отъ всякаго язычества, т. е. отъ слѣпаго поклоненія нѣкоторымъ историческимъ, литературнымъ и разнымъ прочимъ авторитетамъ, благотворность вліянія которыхъ заподозривается и оспаривается плеядою новѣйшихъ и смѣлыхъ русскихъ историковъ и публицистовъ. Это—свѣтлая сторона настоящаго поколѣнія. Непомѣрная роскошь, кото-

рая все усиливается, разростается во всѣхъ слояхъ общества, кромѣ крестьянскаго, разростается какъ неизцѣлимый и губительный ракъ въ груди больнаго; потомъ—ненасытимая жажда комфорта, т. е. угожденіе плоти, и исключительное стремленіе къ матеріальному благосостоянію, и часто въ ущербъ нравственному преуспѣянію,—вотъ оборотная, темная сторона нашего времени. Словомъ: много опрятности и блеска снаружи, и много грязи и порчи внутри.

Эпоха, въ которую я родился, а въ особенности жизнь провинціальныхъ русскихъ дворянъ первой четверти нынѣшняго столѣтія, и въ противоположность теперешней эпохѣ, отличалась отсутствіемъ малѣйшей пытливости и полнымъ равнодушіемъ ко всѣмъ общественнымъ вопросамъ, а равно и грязною, грубою внѣшностію формъ, прикрывавшей, правда, внутренность болѣе сильную и здоровую, чѣмъ у настоящаго поколѣнія. Но правда и то, что эти силы и здоровье были безполезны, непроизводительны и растлѣвались, проматывались на одно широкое, но безплодное хлѣбосольство, порою оскверняемое дикими оргіями полутатаръ и полуевропейцовъ. То, что сохранилось у меня въ памяти о томъ, какъ живали дворяне въ Костромской губерніи во время моего дѣтства и отрочества, я буду излагать здѣсь въ разныхъ эскизахъ и очеркахъ.

Умственное образованіе провинціальнаго дворянства стояло тогда на самой низкой степени. Къ нему даже нельзя было отнести слѣдующихъ стиховъ изъ Онѣгина:

«Мы всѣ учились понемногу
Чему нибудь и какъ нибудь».

Потому что большинство тогдашнихъ взрослыхъ и пожилыхъ дворянъ не было обучено ничему, кромѣ русской грамоты, и то съ грѣхомъ пополамъ, да четырехъ правилъ ариѳметики. Вотъ и вся недолга. Воспитаніе университетское, лицейское, даже гимназическое было словами безъ смысла, пустыми звуками въ ушахъ большинства нашихъ дѣдовъ. Многіе изъ нихъ жили и умерли, никогда не произнося и даже ни разу не услыхавъ такихъ мудреныхъ, загадочныхъ заморскихъ словъ, какъ напр. университетъ, лицей, курсъ, педагогія и т. п. Вслѣдствіе всего этого умъ, образованіе и таланты тогда не цѣнились, не ставились ни во что; а цѣнились одни извѣстной степени чины, извѣстное количество декорацій на груди и на шеѣ, и, наконецъ, извѣстныя цифры ревизскихъ душъ, родовыхъ или благопріобрѣтенныхъ, все равно. Внѣ этого, все остальное было прахъ, суета, дрянь ничего не стоющая. Мало того: въ наше, напримѣръ, время, хотя тоже не брезгующее ни чинами, ни де-

корацiями, ни, въ особенности, извѣстными цифрами годоваго или временнаго дохода,—умъ, образованiе и таланты значатъ, если еще не все, то уже очень много. Теперь не богатый, но умный и образованный человѣкъ нигдѣ и ни въ чемъ не уступитъ богатому дуралею, если только самъ онъ и добровольно не захочетъ уступить дуралею, для извѣстныхъ ему, умнику, цѣлей.

Но совсѣмъ не то было въ десятыхъ и двадцатыхъ годахъ нынѣшняго столѣтiя, особенно въ провинцiи. У бѣднаго дворянина нетолько не предполагалось никакого ума или образованiя, но даже, если бы таковые имѣлись, то ему, бѣдняку, не дозволялось выказывать ихъ въ средѣ своихъ богатыхъ, или просто зажиточныхъ собратiй-дворянъ. Рта не смѣли открыть безъ спроса, безъ позволенiя. А дозволялось имъ раскрывать рты только для ѣды, которая часто составлялась для нихъ изъ смѣшенiя всѣхъ блюдъ на одной тарелкѣ; да для того, чтобы говорить страшныя пошлости, для забавы своихъ многодушныхъ амфитрiоновъ или патроновъ, которые имѣли способность помирать со смѣху отъ всякой глупости, не имѣвшей и тѣни остроумiя и даже ничего смѣшнаго, но сказанной ихъ официальными, патентованными шутами, бандуристами или прихлебателями изъ безпомѣстныхъ дворянъ-голышей. А попробуй-ка тогда кто нибудь изъ умниковъ-бѣдняковъ выказать свой умъ и знанiе? Тотчасъ же нарядятъ его въ дурацкiй колпакъ, выпачкаютъ ему лицо сажею. А подвернись въ злой часъ, такъ еще и вздуютъ его арапникомъ или, пожалуй, выпорютъ плетьми на подъѣздѣ, не подостлавъ даже ни ковра, ни полушубка. Такая церемонiя подстилки обыкновенно наблюдалась свято, когда дѣло шло о томъ, чтобы выпороть равнаго себѣ, но заслужившаго страшный гнѣвъ своего собрата многодушнаго дворянина, и вызвавшаго такую татарскую вендетту, общеупотребительную въ то время между провинцiальными дворянами, и имѣвшую тоже значенiе, что и дуэль въ послѣдующую эпоху.

Главная дворянская потребность, или, какъ нынѣ выражаются, главный идеалъ состоялъ тогда въ псовой охотѣ. Не было почти такого мелкопомѣстнаго дворянчика, который не держалъ бы хоть нѣсколькихъ борзыхъ собакъ. О многодушныхъ и говорить нечего. Помѣщикъ со ста душами держалъ отъ пятидесяти до ста борзыхъ и гончихъ, съ стремянными и съ доѣзжачимъ. А нѣсколько сотъ-душные имѣли огромнѣйшiя псарни, такъ что, среднимъ числомъ, на каждыя три ревизскiя души у псоводовъ приходилось по двѣ собаки. Лучшiя изъ борзыхъ, т. е. четвероногiе аристократы, воспитывались и квартировали въ домахъ своихъ владѣльцевъ, вмѣстѣ съ ихъ дѣтьми и женами, пользуясь кушаньемъ

съ барскаго стола и имѣя свои постели, т. е. тюфяки, набитые сѣномъ и лежавшіе въ углу кабинета, столовой и даже залы. Остальные затѣмъ псы проживали на псарняхъ и продовольствовались: лѣтомъ вареной болтушкой изъ овсяной муки, а зимою — мясомъ «палочницъ», т. е. негодныхъ, старыхъ крестьянскихъ клячей, которыя выводились на базары уѣздныхъ городовъ и скупались псовыми охотниками или ихъ доѣзжачими, цѣною отъ четырехъ до восьми рублей ассигн. за штуку.

Четвероногіе аристократы, т. е. Наяны, Злобіяны, Змѣйки, Стрѣлки высоко цѣнились любителями и знатоками этой псовой аристократіи, имѣвшей свою собачью геральдію и свои родословныя. Напримѣръ: у меня осталось въ памяти, какъ одинъ такой любитель предлагалъ моему отцу за Злодѣя и Вихру, брата и сестру, 500 руб. ассигн., да на придачу двѣ дворовыя семьи на выборъ. Но отецъ мой, истый русскій дворянинъ того времени, съ презрѣніемъ отвергнулъ это предложеніе, и его Злодѣй съ Вихрою продолжали пожинать лавры въ отъѣзжихъ поляхъ, первенствовать въ цѣлой полугубернiи между всѣми извѣстными четвероногими аристократами, и возбуждать зависть во всѣхъ остальныхъ охотникахъ, прославляя имя своего патрона на поприщѣ блистательной травли русаковъ, лисицъ и даже волковъ.

Когда наступала осень, тогда начинались отъѣзжія поля. Эти единственно важныя въ то время дворянскія занятія происходили съ необыкновенной торжественностью. По предварительнымъ дипломатическимъ переговорамъ между главнѣйшими псоводами въ извѣстномъ районѣ, состоявшемъ иногда изъ двухъ и болѣе уѣздовъ, назначалась дислокація и избирались стратегическіе пункты сборовъ у того или другаго зажиточнаго помѣщика. Въ назначенный день съѣзжались къ избраннику съ разныхъ сторонъ псовые охотники, съ безчисленными стаями борзыхъ и гончихъ и цѣлымъ эскадрономъ всадниковъ. Ближайшіе сосѣдніе охотники оставались на готовѣ въ своихъ деревняхъ. Затѣмъ почетнѣйшіе изъ пріѣзжихъ охотниковъ помѣщались съ своими четвероногими легіонами у самаго избраннаго владѣльца операціоннаго базиса. Остальные размѣщались по окрестнымъ деревнямъ, въ крестьянскихъ избахъ, большая часть которыхъ, въ Костромской губернiи, были очень опрятны и просторны, въ два этажа, съ свѣтелками, изъ отличнаго лѣса, крытыя тесомъ и съ различными наружными украшеніями изъ рѣзнаго дерева, называемыя «кружевами». Да и вообще большинство костромскихъ крестьянъ жили очень зажиточно и чрезвычайно опрятно, не такъ какъ въ степныхъ и хлѣбныхъ губерніяхъ. Крестьяне большей части уѣздовъ почти всѣ были промышленники и мастеровые. Тамъ, гдѣ протекали судоходныя рѣки

Волга и Унжа, они занимались постройкою барокъ и «гуянокъ», и заработывали большія деньги. Въ прочихъ уѣздахъ они, большею частью, отправлялись на «чужую сторону», т. е. въ Москву, но предпочтительно въ Петербургъ, гдѣ сперва, мальчиками, поступали въ ученіе къ какому нибудь мастеровому: кузнецу, слесарю, столяру, краснодеревцу; словомъ, во всевозможныя ремесла. А по окончаніи ученія, нанимались уже въ рабочіе у мастеровыхъ хозяевъ, платили помѣщикамъ исправный и хорошій оброкъ, возвращались на время домой и тамъ женились. Потомъ, проведя въ деревнѣ масляницу и пасху, возвращались въ Петербургъ къ своимъ хозяевамъ, оставляя сельское хозяйство на рукахъ отцовъ, матерей, сестеръ и женъ, и посылая имъ въ помощь, время отъ времени, разныя денежныя суммы, соотвѣтственно ремеслу и нравственности поселянъ-оброчниковъ. Но возвратимся къ отъѣзжимъ полямъ.

Церемонія начиналась сытнѣйшимъ завтракомъ съ неизбѣжною солянкою, ватрушками, битымъ мясомъ, полотками и бужениною. И все это оросталось обильно различными домашними наливками, бывшими тогда въ гораздо бо́льшемъ употребленіи, чѣмъ виноградныя вина, и стоившими бездѣлицу по случаю почти свободнаго винокуренія. Затѣмъ, помолясь образамъ, всѣ садились на коней, при звукахъ мѣдныхъ охотничьихъ роговъ, брали въ руки своры борзыхъ аристократовъ и отправлялись въ «острова», предшествуемые стаями гончихъ въ «смычкахъ», подъ предсѣдательствомъ доѣзжачихъ и заслуженыхъ псарей, а въ аріергардѣ имѣя нѣсколько телѣгъ, нагруженныхъ бездною холодныхъ яствій, бутылями съ настойками, съ ерофеичемъ и съ наливками. При этомъ обозѣ находилось нѣсколько запасныхъ верховыхъ лошадей. Порою случались и линейки, въ которыя садились сыновья нѣкоторыхъ псоводовъ, ранніе любители охоты, но недоросшіе еще до обладанія своею верховою лошадью и сворою борзыхъ. Но многіе изъ этихъ сыновей, отроки отъ десяти и болѣе лѣтняго возраста, въ томъ числѣ и вашъ покорнѣйшій слуга, фигурировали уже между истыми охотниками на своихъ лошадкахъ и участвовали въ травляхъ съ одной или съ парою борзыхъ. Нерѣдко выѣзжалъ на охоту въ коляскахъ и прекрасный полъ, т. е. жены, сестры и дочери хозяина и его гостей.

Охота въ такихъ отъѣзжихъ поляхъ продолжалась иногда недѣлю и долѣе, и вся псовая армія, съ ихъ полководцами и второстепенными начальниками, проводила дни и ночи подъ открытымъ небомъ, на бивуакахъ, если по близости не случалось ни усадьбъ, ни деревень. Къ главнымъ зажиточнымъ охотникамъ присоединялись и мелкотравчатые. съ парою борзыхъ и въ сопровожденіи единственнаго своего слуги, исправ-

лявшаго множество должностей. Разумѣется, эти малодушные дворяне играли самую незавидную роль въ отъѣзжихъ поляхъ, и трактовались далеко не такъ хорошо, какъ крѣпостные доѣзжачіе крупныхъ охотниковъ. Но вѣдь не даромъ говорится: «Охота пуще неволи», или «Куда конь съ копытомъ, туда и ракъ съ клешней». Поэтому мелкотравчатые ожидали всегда, какъ особеннаго счастія, присоединиться на своихъ клячонкахъ и со своею слугою къ псовымъ тузамъ и полководцамъ, не страшась никакихъ оскорбленій или униженій своего самолюбія, ни даже арапниковъ, мѣткость и силу которыхъ приводилось имъ не разъ испытывать на своихъ мелкопомѣстныхъ спинахъ и плечахъ. Но въ ту эпоху скотской силы и благоговѣнія передъ многодушными, самолюбіе составляло монету, рѣдко употреблявшуюся въ провинціи и почти неизвѣстную мелкопомѣстнымъ дворянамъ. Сколько разъ случалось мнѣ слышать разсказы о страшныхъ ссорахъ, которыми кончались нѣкоторыя горячія травли русаковъ. Хорошо еще если дѣло ограничивалось одними ударами столбоваго арапника по мелкопомѣстной спинѣ. Случалось, что въ спорѣ о томъ, которая изъ борзыхъ поймала русака, Стрѣлка ли столбоваго Семена Иваныча, или Обругай тоже столбоваго Николая Александрыча, дѣло доходило до охотничьихъ ножей и кончалось порядочными царапинами и порѣзами рукъ или чего другаго. Но потомъ все это сейчасъ же предавалось забвенію и заключалось братскими объятіями, поцѣлуями и орошеніемъ славныхъ, боевыхъ ранъ черемуховкой или рябиновкой. Вотъ другое дѣло, если бы имъ не былъ отданъ полный почетъ, или, по случаю страшной распутицы, не пріѣхали бы къ нимъ на именинный пиръ: о, за такое оскорбленіе — вражда продолжительная, иногда на всю жизнь!

Но окончу описаніе отъѣзжихъ полей, этихъ главныхъ, по своей важности, занятій тогдашняго русскаго дворянства. Если бы описывать интересные эпизоды тогдашней псовой охоты, то это взяло бы слишкомъ много времени и мѣста. Поэтому обращусь къ описанію другихъ категорій дворянскихъ занятій той эпохи, т. е. препровожденія времени, потому что сущность всѣхъ этихъ занятій заключалась не въ какой-либо полезной дѣятельности, не въ изученіи чего нибудь, не въ достиженіи извѣстной цѣли, а единственно въ «препровожденіи времени», и болѣе ничего.

III.

Второстепенные дворянскіе идеалы.

Послѣ псовой охоты, главныя занятія зажиточныхъ дворянъ состояли въ томъ, чтобы «ничѣмъ не заниматься», ничѣмъ, кромѣ широкаго хлѣбосольства да, время отъ времени, тяжбою съ сосѣдомъ за то, что тотъ застрѣлилъ его свинью, портившую сосѣднія поля и огороды; да дворянскими выборами, когда они наставали; да иногда служеніемъ въ должности предводителя. Остальныя, затѣмъ, должности по выборамъ предоставлялись мелкотравчатымъ, или промотавшимся, или особеннымъ любителямъ и виртуозамъ «цапанья». Впрочемъ, взяточничество было тогда до того въ порядкѣ вещей, что исправникъ и взяточникъ были синонимы. А если и случалось иногда, но только чрезвычайно рѣдко, что исправникъ былъ не взяточникъ, то объ немъ говорили какъ объ уродѣ съ тремя ногами или двумя головами.

Итакъ, вслѣдствіе широкаго хлѣбосольства, помѣщики разъѣзжали тогда по гостямъ другъ къ другу, но не такъ какъ нынѣ: пріѣдетъ сосѣдъ къ сосѣду въ три или четыре часа пополудни, отобѣдаетъ у него и потомъ къ ночи домой. Сохрани Боже! Не ночевать тогда въ гостяхъ, значило тяжко обидѣть хозяина. А къ именинамъ или храмовымъ праздникамъ понаѣдетъ тьма тьмущая и со всѣми потрохами, и гоститъ по нѣсколько дней, по цѣлой недѣлѣ. Дамы и дѣвицы ночуютъ на одной половинѣ, а каналеры на другой, бо́льшею частью въ повалку, на перинахъ, постланныхъ на полу. Сколько тутъ слышалось мощнаго храпѣнія и разныхъ прочихъ звуковъ, обличавшихъ сонъ праведныхъ, которыхъ не смущали никакія идеи—честолюбія, извѣстности, служенія человѣчеству, прогрессу или хотя собственному своему благосостоянію и комфорту. О послѣднемъ никто не имѣлъ тогда ни малѣйшаго понятія. Даже въ домашнемъ быту богатыхъ людей замѣчалось полное отсутствіе такихъ удобствъ, съ какими знакомы теперь люди съ весьма ограниченнымъ состояніемъ. Напримѣръ: меблировка самыхъ богатыхъ домовъ отличалась тогда такимъ безвкусіемъ, неуклюжестью, неудобствомъ, т. е. жесткостью для сидѣнія (о мягкой мебели не было и помину), что теперь самый неважный, но мало-мальски порядочный петербургскій чиновникъ, устыдился бы имѣть такую мебель, и убоялся бы возсѣдать на ней. Теплыхъ сѣней и прочихъ необходимыхъ мѣстъ тоже нигдѣ не имѣлось. Напр.: изъ бани выходили прямо въ холодный передбанникъ, гдѣ

обтирались и одѣвались порою при двадцати пяти градусахъ мороза, такъ что волосы на головѣ замерзали и торчали на подобіе иголъ дикобраза.

Въ день празднества всѣ гости проснутся и встанутъ почти въ одно время и въ халатахъ распиваютъ чай, во время котораго почетные и акредитованные разсказщики и остряки потѣшаютъ всю честную мужскую компанію допотопными анекдотами, побасенками и прибаутками. Затѣмъ всѣ одѣвались и, къ одиннадцати часамъ утра, выползали въ залу и въ гостиную, гдѣ ожидали ихъ дамы и завтракъ. Начиналось здорованье; кавалеры, бо́льшею частью, подходили къ дамамъ къ ручкѣ, начиная съ хозяйки дома и потомъ, по очереди, ко всѣмъ остальнымъ. А самые благовоспитанные, любезные и смѣлые изъ кавалеровъ любезничали съ дамами такъ:

— Хорошо ли вы изволили опочивать? — или:

— Все ли вы въ добромъ здоровьи? — или:

— Хорошее ли что изволили видѣть вы сегодня во снѣ?

Итакъ далѣе все въ томъ же родѣ. Остальные, менѣе любезные, только подходили къ ручкѣ, молчали и даже ни разу ни на одно дамское лицо не взглядывали. Это тоже считалось своего рода вѣжливостью, деликатностью. Однажды, по поводу такихъ утреннихъ здорованій, вышелъ весьма забавный случай.

Одинъ пожилой, низенькій, пузатенькій господинъ (отецъ Маши № 3-й, см. *Хронику любовей* въ 3-й книгѣ) пріѣхалъ на именины къ одной важной барынѣ, въ домѣ которой былъ онъ въ первый разъ. Утромъ, въ день именинъ, онъ отправился въ халатѣ кой-куда. Но такъ какъ ему неизвѣстно было расположеніе дома, онъ затесался на женскую половину. Отворяетъ дверь и находится лицомъ къ лицу съ хозяйкой дома. Такъ какъ господинъ «сей» былъ не конфузливъ, а весьма находчивъ, то, вмѣсто того, чтобы поскорѣе захлопнуть дверь и отретироваться, онъ шаркнулъ ногою и произнесъ самымъ торжественнымъ тономъ:

— Матушка Александра Алексѣевна! Честь имѣю поздравить васъ со днемъ вашего ангела и пожелать вамъ здоровья, долгоденствія и всякаго отъ Бога благополучія.

Потомъ подошелъ къ ручкѣ. Хозяйка страшно переконфузилась и проговорила испуганнымъ голосомъ:

— Послѣ, мой батюшка, послѣ! Ради Бога уходите отсюда поскорѣе!

Но мой галантомъ довершилъ свою «галантерейную» любезность: облобызалъ ручку хозяйки, затѣмъ еще разъ шаркнулъ ногой, придерживая спереди свой халатъ, чтобы не распахнулся, отвѣсилъ поклонъ, вы-

шелъ не торопясь и, притворивъ за собою дверь, отправился кой-куда на мужскую половину. Когда же всѣ гости, а въ томъ числѣ и онъ, одѣлись и вышли въ гостиную, гдѣ начались прикладыванья къ ручкѣ хозяйки и поздравленія со днемъ ея ангела, пузатенькій галантомъ не трогался съ мѣста и оставался покойнымъ зрителемъ этого церемоніала.

— Что же вы не здороваетесь съ хозяйкой? — спросили его въ одинъ голосъ нѣкоторые изъ его знакомыхъ.

— Да я уже поздоровался съ ними и поздравилъ ихъ.

— Да когда же успѣли вы это сдѣлать, и гдѣ?

— Да тамъ...

— Да гдѣ же тамъ?

— Да тамъ...

Болѣе ничего отъ него не добились. И только уже съ часъ спустя, когда, послѣ завтрака, мужчины отретировались въ кабинетъ хозяина и въ биллiардную, то, на повторительные вопросы, онъ отвѣчалъ:

— Да я поздоровался и поздравилъ Александру Алексѣевну «кой-гдѣ».

Всѣ расхохотались.

Вотъ какіе находчивые галантомы процвѣтали въ десятыхъ годахъ! Не чета нынѣшнимъ.

Чѣмъ занимались дамы, я не припомню. Должно быть сплетничали и пересуждали, что и по нынѣ соблюдается между провинціяльными барынями. Впрочемъ, нѣкоторыя изъ нихъ разговаривали о литературѣ, потому что обладали обширною начитанностью, а именно: въ продолженіи своей жизни онѣ успѣли прочесть слѣдующія знаменитыя творенія:

«Ринальдо Ринальдини».

«Лолота и Фанъ-Фанъ».

«Мальчикъ у ручья».

«Разбойникъ по неволѣ или ужасы лѣсовъ Шварцвальдскихъ».

«Вѣкъ рыцарства и царство духовъ».

«Мои путешествія по пропастямъ злосчастія».

«Целина или дитя тайны», безконечный и глупѣйшій романъ Дюкре Дюмениля.

Но «Ринальдо Ринальдини» нравился имъ болѣе всего и, при всякомъ съѣздѣ, онѣ очень глубокомысленно разсуждали объ этомъ геніальномъ произведеніи допотопной беллетристики. Теперь очередь мужчинъ.

Мужчины никогда о литературѣ не разсуждали по той простой причинѣ, что никогда ничего не читали. Въ цѣломъ уѣздѣ только нѣкоторые изъ помѣщиковъ выписывали «Московскія Вѣдомости», да и то чи-

тали въ нихъ одни Высочайшіе указы, да правительственныя распоряженія, но только тѣ, которыя помѣщались строкахъ въ десяти; болѣе же длинныхъ не читали: не могли осилить. Одинъ тогдашній прогресистъ вздумалъ было разъ подписаться на «Вѣстникъ Европы», который, какъ извѣстно всякому порядочному библіофилу, былъ очень полезенъ для ума, а болѣе.... для обертокъ. Итакъ, прогресистъ нашъ, получа первый номеръ этого пресловутаго когда-то журнала, имѣющаго и понынѣ своихъ двойниковъ, разрѣзалъ его и на второй страницѣ заснулъ такимъ богатырскимъ сномъ, что проспалъ до самаго ужина. Затѣмъ всѣ остальные нумера получались имъ и, неразрѣзанные, клались въ шкафъ съ книгами, которыя торчали только для «блезира», а не для чтенія. Но когда прогресистъ страдалъ безсонницей, то всегда доставалъ изъ шкафа первый и разрѣзанный нумеръ «Вѣстника Европы», прочитывалъ страничку, и безсоница его уступала мѣсто глубокому сну. Но какъ же препровождала свое время мужская компанія гостей. А вотъ какъ:

Если время было лѣтнее, то всѣ выходили на красный дворъ. Нѣкоторые играли въ горѣлки съ дворовыми дѣвками и женщинами. Другіе, со вкусами болѣе развитыми, сперва слушали пѣніе деревенскихъ бабъ и дѣвокъ, потомъ и сами вмѣшивались въ ихъ хороводы и откалывали такія штучки, какія нынѣ не придутъ въ голову ни одному порядочному и трезвому лакею. Затѣмъ потѣшались надъ бѣдными дворянами, дразнили, дурачили ихъ всевозможными манерами, доводя ихъ до физическихъ страданій, а порою до изуродованія.

Почти у каждаго зажиточнаго помѣщика былъ свой шутъ, дурачекъ или просто прихлѣбательня-балагуръ. И всѣ эти жалкія униженія и растлѣнія не только дворянскаго, но и всякаго человѣческаго достоинства, должны были, волею неволею, забавлять, смѣшить своихъ патроновъ и гостей ихъ. И смѣшили они словами вовсе не забавными и не смѣшными, а всевозможною чепухою и безсмыслицей, какая только взбредетъ имъ въ голову. Я хорошо помню, какъ у одного помѣщика былъ дворовый человѣкъ, нашедшій выгоднымъ напустить на себя дурь, за что тотчасъ же поступилъ въ привилегированные смѣшильщики. Все искусство его забавлять состояло въ безтолковомъ складываніи собственныхъ именъ, напримѣръ: позовутъ его въ комнату во время или сейчасъ по окончаніи обѣда и кто нибудь изъ гостей скажетъ ему:

— Ну, Ерема! сложи: Николай Иванычъ.

— Буки нашъ еръ покой, Николай, веди земля твердо фертъ, Иванычъ, червь онъ еры добро мыслица, Николай Иванычъ, — проговоритъ нашъ дурачекъ Ерема громко, скороговоркой и безъ малѣйшей запинки,

словно пономарь, читающій «Отче нашъ». И всѣ помираютъ со смѣху, и со всѣхъ сторонъ закричатъ:

— Славно, Ерема, славно! вотъ тебѣ грошъ, вотъ тебѣ пятакъ! Ну теперь сложи: Марья Ильинишна.

— Херъ онъ покой люди, Марья, глаголь слово како живете, Ильинишна, земля твердо цы буки, ѳита, Марья Ильинишна.

И снова всеобщій хохотъ, и снова гроши и пятаки сыплются въ пригоршни дурачка Еремы, который однакожъ былъ много умнѣе большей части своихъ хвалителей, потому что съумѣлъ устроить свою жизнь и найти себѣ занятіе—ровно ничѣмъ не заниматься, кромѣ ѣды, питья, лежанья на боку, да собиранія жатвы грошей и пятаковъ за свое глупое складыванье и еще болѣе глупый смѣхъ россійскихъ дворянъ десятыхъ годовъ.

Ничего нельзя представить себѣ болѣе жалкаго, какъ тогдашніе шуты и балагуры изъ бѣдныхъ дворянъ. Они почти не считались людьми и, во всякомъ случаѣ, стояли гораздо ниже борзыхъ аристократовъ во мнѣніи ихъ патроновъ. Если они заболѣвали, но не очень сильно, такъ что бродили и держались еще на ногахъ, то на это не обращали ни малѣйшаго вниманія. Вотъ печальный конецъ одного такого шута, Платоши, котораго весь талантъ смѣшить состоялъ въ мычаніи коровой, въ подражаніи пѣтуху съ курицей, мяуканью кошки и лаю собакъ, да еще въ непомѣрномъ прожорствѣ. Ѣлъ онъ однажды постную окрошку изъ рыбы. Послѣ стола началъ онъ жаловаться на боль въ горлѣ. Никто не обратилъ на его слова ни малѣйшаго вниманія. Боль его усилилась и жалобы тоже. Ему отвѣчали съ самымъ циническимъ равнодушіемъ.

— Ничего, дуракъ! Молчи! Велика бѣда, что горло заболѣло! Стоитъ ли объ этомъ говорить? Поболитъ и перестанетъ.

Но не перестало, а напротивъ: къ вечеру боль и страданія несчастнаго дошли до того, что онъ уже не могъ говорить. Ночью онъ умеръ: его задушила опухоль вслѣдствіе небольшой косточки, вонзившейся въ его горло. А подай ему своевременно пособіе, онъ былъ бы спасенъ. За нѣсколько недѣль передъ тѣмъ съ нимъ съыграли еще вотъ какую штуку.

Былъ онъ съ своимъ патрономъ въ гостяхъ. Собрались ѣхать домой. Сѣли завтракать. Платошѣ подали огромную говяжью котлету. Принялся онъ уписывать ее въ обѣ щеки, но, несмотря на свой волчій аппетитъ, онъ насилу могъ одолѣть ее, такъ она была невкусна и жестка: чуть не переломалъ объ нее свои зубы. Но одолѣлъ и съѣлъ всю до тла. Послѣ завтрака стали прощаться, чтобы ѣхать домой. Платоша засуетился: онъ искалъ одну изъ своихъ засаленныхъ замшевыхъ рукавицъ. Долго ме-

тался онъ во всѣ стороны, искалъ вездѣ, но рукавицы нѣтъ какъ нѣтъ.

— Чего ты ищешь, Платоша? — спросили его въ одно время и его патронъ, и хозяинъ дома.

— Ищу моей рукавицы, — промычалъ Платоша.

— Да вѣдь ты съѣлъ ее, дуракъ! Такъ чего же ты ищешь?

— Какъ съѣлъ?

— Да такъ же: взялъ да и съѣлъ. Вѣдь котлета-то была приготовлена изъ твоей же рукавицы, пополамъ съ говядиной. Стало быть ты самъ съѣлъ свою рукавицу, такъ теперь и поѣзжай безъ нее.

Такимъ образомъ несчастный долженъ былъ отправляться за двадцать пять верстъ и въ сильнѣйшій морозъ въ одной рукавицѣ и, разумѣется, отморозилъ себѣ всѣ пять пальцевъ на рукѣ, ничѣмъ непокрытой.

Вотъ каковы были забавы и занятія нашихъ отцовъ и дѣдовъ въ доброе старое время десятыхъ и двадцатыхъ годовъ нашего столѣтія! Оба эти случая съ несчастнымъ Платошей глубоко врѣзались въ моей памяти, и потомъ я никогда не могъ вспомнить объ нихъ безъ величайшаго ужаса и омерзѣнія.

IV.

Спекуляція дворянскою спиною.

Нетолько записные, или вѣрнѣе, кабальные шуты и прихлебатели, но и независимые дворяне помѣщики, да небогатые, съ десяткомъ или двумя душъ, трактовались «en canaille» зажиточными своими собратіями, и нисколько не были застрахованы отъ самыхъ недостойныхъ съ ними продѣлокъ, не были избавлены отъ побоевъ палкою, арапникомъ или плетьми. И все это переносилось ими съ самымъ стоическимъ терпѣніемъ и болѣе нежели съ христіанскимъ смиреніемъ. Но порою встрѣчались и не совсѣмъ терпѣливые, не вполнѣ смирные, особенно тѣ изъ мелкихъ дворянъ, которые были искусны въ крючкотворствѣ и въ писаніи прошеній, жалобъ и ябедъ. Вотъ какіе, по такому поводу, случались казусы, тоже памятные мнѣ.

Процвѣталъ тогда въ Чухломскомъ уѣздѣ одинъ господинъ весьма умный, смѣлый и ловкій, но съ тѣмъ вмѣстѣ и величайшій плутъ и пройдоха. Сперва было у него всего на все пятьдесятъ душъ. Потомъ за женою онъ взялъ столько же. Въ эпоху войны двѣнадцатаго года ему

удалось выбалотироваться въ Чухломскіе уѣздные предводители дворянства. Собирали тогда ополченіе, экипировка и вооруженіе котораго на дворянскія деньги поручены были дворянскимъ предводителямъ. Ну и распорядился на славу дворянскими денежками вышереченный мужъ, распорядился такъ хитро и ловко, что нѣсколько лѣтъ спустя послѣ войны и по окончаніи своего предводительства, у него вмѣсто сотни, очутилось тысяча двѣсти душъ отличнѣйшаго имѣнія, скупленнаго имъ по частямъ съ аукціоннаго торга и разными другими путями.

Въ то же самое время маялся на бѣломъ свѣтѣ въ Чухломскомъ уѣздѣ нѣкій мелкопомѣстный дворянинъ и владѣлецъ десяти родовыхъ душъ. Это былъ страшнѣйшій крючокъ, сутяга и мастеръ по части ябедъ, прошеній и жалобъ, съ приличной обстановкой цитатъ изъ разныхъ указовъ. Разъ какъ-то въ одномъ домѣ онъ заспорилъ неосторожно съ бывшимъ предводителемъ пройдохою и ни за что не хотѣлъ спасовать передъ нимъ. Спорить съ владѣльцемъ тысячи двухъ сотъ душъ владѣльцу десятидушному! Это была дерзость, криминалъ, неслыханные въ ту эпоху поклоненія многодушныхъ дворянамъ. Наказаніе не замедлило послѣдовать за криминаломъ. Мелкопомѣстный получилъ должное воздаяніе, а именно: важнѣйшую потасовку, сопровождаемую множествомъ затрещинъ, зуботычинъ и пинковъ. Все это произведено было чрезвычайно скоро, ловко, «художественно», собственными руками тысячедушнаго и въ присутствіи многочисленныхъ свидѣтелей, потому что сцена этой патріархальной расправы происходила во время какого-то пиршества.

Вслѣдъ за такой дворянской экзекуціей, мелкопомѣстный паціентъ, не вымолвя ни единаго слова упрековъ, не выказавъ даже неудовольствія за помятіе своей дворянской физіономіи, отправился тихонько въ одну пустую комнату, досталъ тамъ изъ своей дорожной сумки перо, чернильницу и листъ гербовой бумаги, которая всегда имѣлась при немъ про запасъ на всякій экстренный случай. Потомъ сѣлъ за столъ и тутъ же настрочилъ жалобу на тысячедушнаго по поводу нанесенія ему, родовому дворянину, безчестія собственноручными побоями «спрѣчь волосодраніемъ, задушеніемъ и пинками ногою въ его дворянскую спину и въ прочее». По написаніи «сей» жалобы, онъ вызвалъ къ себѣ троихъ изъ знакомыхъ ему мелкопомѣстныхъ дворянъ, которые всеохотно подписались свидѣтелями на исковомъ за безчестіе прошеніи. Жалоба эта черезъ два дня была подана въ судъ, и завязалось дѣло. Правда, что такого рода дѣла въ ту эпоху и для владѣльца тысячи двухъ сотъ душъ не были страшны, но они могли причинить много хлопотъ, безпокойства; пришлось бы отписываться, «убытчаться» и потому дерзкій но умный экъ-предводи-

тель нашелъ лучшимъ не пускать вдаль этого, все-таки, казуснаго дѣла. Тотчасъ же онъ пріѣхалъ въ уѣздный городъ, послалъ просить къ себѣ помятаго имъ родоваго дворянина-сутягу и тутъ же помирился съ нимъ, съ помощію двѣнадцати душъ, которыя продалъ онъ ему безденежно, т. е. подарилъ. Дѣло о безчестіи было прекращено. Черезъ годъ послѣ того повторилась такая же исторія и между тѣми же лицами, такъ что у десятидушнаго очутилось уже тридцать четыре души. Онъ и въ третій разъ прибѣгнулъ къ такому легкому средству увеличенія своего состоянія. На этотъ разъ сцена дворянской расправы происходила въ домѣ самого экс-предводителя. Но такъ какъ споръ былъ особенно горячъ и неуступчивость мелкопомѣстнаго имѣла характеръ болѣе рѣзкій, чѣмъ прежде, то къ потасовкѣ присоединилась еще изрядная толика ударовъ арапникомъ. Но все это было ни почемъ для спекулятора дворянской спиной. Безъ малѣйшей «конфузіи» и досады отправился онъ въ уединенную комнату къ перу и къ гербовой бумагѣ. Но тысячедушный хозяинъ остановилъ его и тоже безъ малѣйшей досады и весьма ласково сказалъ:

— Погоди, любезнѣйшій Назаръ Флегонтычъ! Я знаю, ты идешь писать на меня жалобу. Къ чему все это: и лишнія хлопоты, и напрасная порча гербовой бумаги? Говори прямо: сколько душъ нужно тебѣ за сегодняшнюю потасовку?

— Да надо кой-что прибавить къ двѣнадцати душамъ. Вѣдь вы тоже прибавили десятка четыре ударовъ арапникомъ по моей спинѣ.

— Ну, а сколько же, по твоему, надо прибавить?

— Да на каждой десятокъ по одной душѣ будетъ для васъ необидно?

— Согласенъ! По рукамъ! Стало быть, я продаю, т. е. дарю тебѣ теперь шестнадцать душъ. Вижу, что ты честный малый, не запрашиваешь. Люблю такихъ.

— Рады стараться для вашей чести, отецъ вы нашъ родной и благодѣтель, Николай Петровичъ! По вашей милости у меня теперь будетъ ровно полсотни душъ; пошли вамъ за это Господь всякія утѣхи и радости.

Вслѣдъ за этимъ «полюбовнымъ размежеваніемъ», богатый баринъ сѣлъ за столъ и принялся дѣлать карандашомъ на бумагѣ какіе-то разсчеты.

— Что это вы изволите расчитывать, батюшка Николай Петровичъ?

— А вотъ видишь ли, братецъ! Я разсчитывалъ, сколько такихъ, какъ сегодня, встрепокъ могу я задать тебѣ, платя за каждую по шестнадцати душъ? И выходитъ, что съ остающимися у меня тысячью сто шестиде-

сятью душами, я могу задать тебѣ еще семьдесятъ двѣ встрепки. И затѣмъ все еще останется у меня восемь душъ.

— Вы все изволите шутить, батюшка Николай Петровичъ.

— А тебѣ, пожалуй, и очень желательно было бы получить отъ меня всѣ семьдесятъ двѣ встрепки!.... Жирно будетъ! Довольно, братъ, съ тебя и трехъ. Теперь попроси другихъ, чтобы облагодѣтельствовали тебя такъ, какъ сдѣлалъ это я.

Неизвѣстно, продолжалъ ли пятидесятидушный свою прибыльную индустрію, т. е. спекуляцію дворянскою спиною и физіономіей, потому что меня вскорѣ послѣ того увезли на службу въ Варшаву.

V.

Чухломская султанша и солигалическій падишахъ. *)

Дворяне Костромской губерніи раздѣлялись на три разряда: «голышей, мелкопомѣстныхъ и многодушныхъ.» Эти три разряда, когда введенъ былъ впослѣдствіи въ дворянскіе выборы стодушный избирательный цензъ, стали именоваться «бездушными, малодушными и великодушными.» Первые, т. е. голыши, занимали мѣстами цѣлыя селенія, состоявшія все изъ дворянъ одной и той же фамиліи. Напримѣръ: были селенія, въ которыхъ находилось отъ шести до десяти и болѣе дворовъ, обитаемыхъ дворянами все одной фамиліи Купріановыхъ; другія селенія съ господами Горталовыми; третьи—съ Шигориными, и т. д. со множествомъ другихъ, довольно старинныхъ дворянскихъ фамилій. У этихъ злополучныхъ дворянъ, кромѣ избы, огорода и нѣсколько десятинъ пашни и сѣнокоса ничего не было. Но впрочемъ у нѣкоторыхъ изъ нихъ случалось иногда одна, двѣ и даже до пяти душъ. Это были аристократы между голышами. Случалось еще, что нѣкоторые изъ ихъ сыновей поступали въ военную службу, терли лямку до безконечности и достигали иногда до чиновъ очень крупныхъ, до превосходительныхъ.

Мелкопомѣстными назывались дворяне, имѣвшіе во владѣніи отъ десяти и до пятидесяти душъ. Владѣвшіе имѣніями отъ пятидесяти и болѣе душъ назывались уже многодушными, зажиточными. Слѣдуетъ еще

*) На дѣлѣ они назывались *Богородица* и *Императоръ*. Но быть можетъ эти настоящія прозвища *нецензурны*.

замѣтить, что въ Костромской губерніи, съ весьма немногими исключеніями, очень богатыхъ дворянъ не имѣлось. Жили тамъ все болѣе помѣщики средней руки, съ имѣніемъ отъ ста и до трехъ сотъ душъ. Эти послѣдніе считались уже богачами. Были тамъ, правда, богатыя имѣнія Салтыковыхъ, Куракиныхъ и мн. др., имѣнія въ нѣсколько тысячъ душъ; но владѣльцы тѣхъ имѣній не только не жили, но даже никогда и не бывали въ своихъ обширныхъ сѣверныхъ помѣстьяхъ. Выше сказалъ я, что дворяне описываемой мною эпохи отличались отсутствіемъ малѣйшей пытливости, любознательности и желанія полезной дѣятельности. Но для полноты ихъ характеристики слѣдуетъ прибавить, что они отличались еще и отсутствіемъ всякаго служебнаго честолюбія. Большая часть изъ нихъ служила въ военной службѣ, но недолго: лѣнь, нетерпѣніе и наслѣдственныя псарни манили ихъ въ деревню, и они спѣшили выходить въ отставку оберъ-офицерами. Штабъ-офицеры были рѣдки, генералы еще рѣже. За то какимъ же почетомъ и пользовался тогда въ цѣлой губерніи титулъ превосходительнаго! Когда случилось, что кто либо изъ костромскихъ дворянъ доплетался до превосходительнаго чина, то вся губернія съ гордостью произносила имя «сего героя». А когда «оный герой» пріѣзжалъ на родину въ домовой отпускъ, то его повсюду встрѣчали чуть не съ колокольнымъ звономъ и не съ хоругвями. Въ домъ города, гдѣ онъ останавливался, приходили многія дамы съ дѣтьми взглянуть на генерала въ полуотворенную дверь и убѣдиться, на томъ ли мѣстѣ у него носъ, какъ и у прочихъ смертныхъ, у простыхъ, у непревосходительныхъ. Разницу между тѣмъ, какъ смотрѣли на генерала тогда и тѣмъ, какъ смотрятъ на него нынѣ, можно сравнить съ обыкновеннымъ глядѣніемъ въ бинокль, т. е. съ конца, въ который предметы очень увеличиваются, и глядѣньемъ въ широкій конецъ бинокля, черезъ который предметы страшно уменьшаются. Вслѣдствіе такого отсутствія честолюбія и мелкочинія, многодушные дворяне, страшно важничавшіе и хорохорившіеся передъ своими мелкопомѣстными собратіями, сами, въ свою очередь, страшно унижались передъ превосходительными, да передъ нѣкоторыми особенными тузами и «тузихами». Упомяну о двухъ такихъ важныхъ «персонахъ», процвѣтавшихъ когда-то въ уѣздахъ Чухломскомъ и Солигаличскомъ, и которыя производили довольно сильное впечатлѣніе на мое дѣтское воображеніе. Начну съ «тузихи».

Елизавета Михайловна Шипова, извѣстная своею необычайною важностью и всемогуществомъ не только въ Костромской, но и въ сосѣднихъ губерніяхъ, и даже въ обѣихъ столицахъ, была прозвана «Чухло м-

ской султаншей (богородицей)». Главное ея помѣстье, съ великолѣпной усадьбой, находилось на берегу Чухломскаго озера. Она была очень богата, имѣла отличныя имѣнія въ нѣсколькихъ губерніяхъ, но особенно любила свое Чухломское село «Медвѣдево», гдѣ живала по нѣскольку мѣсяцевъ и потомъ уѣзжала въ другія помѣстья, или въ Петербургъ, гдѣ у нее были большія связи и огромное вліяніе на многихъ важныхъ должностныхъ лицъ того времени, благодаря своему бойкому, острому, жгучему уму, своей твердой и настойчивой волѣ, своему геніяльному таланту къ интригамъ и пронырству, своей величественной красотѣ и отсутствію ригоризма и ханжества, и наконецъ своему богатству, которое, несмотря на ея царскій образъ жизни, умѣла она все увеличивать. Всѣ, отъ высшихъ и до низшихъ губернскихъ и уѣздныхъ чиновъ, трепетали и склонялись передъ этой гордой, надменной, властолюбивой, необыкновенной женщиной. Однажды костромской губернаторъ чѣмъ-то разсердилъ ее: не съумѣлъ угодить ей. На другой же день ея мужъ, тоже баринъ, страшно важный и грозный для всѣхъ, кромѣ жены своей, передъ геніемъ которой онъ склонялся и сознавалъ въ ней свою повелительницу; итакъ этотъ мужъ скакалъ стремглавъ въ Петербургъ съ письмомъ отъ своей жены къ одному изъ сильныхъ тогдашняго міра. Черезъ недѣлю послѣ его отъѣзда, начальникъ губерніи былъ увѣдомленъ о томъ, что ему грозитъ опасность и чтобы онъ поспѣшилъ въ столицу отстаивать свою личность. Ну и поскакалъ онъ тотчасъ же въ Питеръ, а на половинѣ дороги встрѣтился съ мужемъ Чухломской султанши (богородицы). Шиповъ, остановивъ свой дормезъ, далъ знакъ остановиться и экипажу губернатора, котораго узналъ онъ. Потомъ, высунувъ голову въ окно, закричалъ ему саркастическимъ голосомъ:

— Не угодно ли вамъ, ваше превосходительство, сейчасъ же вернуться назадъ въ Кострому для полученія отъ меня указа о вашемъ увольненіи отъ службы и для передачи мнѣ вашей должности, въ которую назначенъ я.

Не веселъ былъ обратный путь въ Кострому для предмѣстника саркастическаго Шипова.

Елизавета Михайловна ѣздила не иначе, какъ въ каретѣ осьмерикомъ, съ двумя форейторами и двумя гайдуками позади кареты. Когда пріѣзжала она въ уѣздный городъ, къ ней сей часъ же являлись всѣ уѣздныя власти для изъявленія своего высокопочитанія и покорности. Тоже самое наблюдалось и въ губернскомъ городѣ. Это былъ настоящій «выходъ и baise-main». Именины ее праздновались весною, въ самую распутицу, когда не было никакого проѣзда не только по проселочнымъ, но и по

большимъ дорогамъ. Несмотря на то, когда она находилась въ своемъ Чухломскомъ имѣніи, весь уѣздъ, т. е. всѣ уѣздные чины и дворяне, крупные и мелкіе, всѣ безъ исключенія поспѣшали къ ней съ поздравленіемъ, тонули въ рѣчкахъ, проваливались на льду озера, сидѣли въ зажорахъ, но были на лицо въ назначенный для поздравленія часъ. И потомъ, почетнѣйшіе приглашались къ роскошному обѣденному столу въ залѣ, а мелкотравчатые угощались въ нижнемъ этажѣ огромнаго барскаго дома. Но сохрани Боже того, кто манкировалъ этому поклоненію Чухломской богородицѣ! Служащій,—онъ терялъ мѣсто, или попадалъ въ опалу у своего начальства; а не служащій,—отъ него отворачивались потомъ всѣ его собратія, и онъ былъ словно оплеваный, зачумленый.

Тѣ же изъ дворянъ или даже изъ разночинцевъ, которымъ выпадалъ счастливый жребій поступить въ число ея любимцевъ, быстро дѣлали свою карьеру: получали теплѣйшія мѣста и въ пять или шесть лѣтъ наживали тысячи душъ. Но, чтобы попасть въ ея любимцы, требовались нѣкоторыя условія, sine qua non: умъ, красивая наружность и физическая сила. Вотъ какова была Чухломская «тузиха и богородица» десятыхъ годовъ девятнадцатаго столѣтія. Взглянемъ теперь на Солигаличскаго падишаха (императора).

Пав. Ант. Шиповъ, въ молодости, былъ небогатый и неважный солигаличскій дворянинъ, но имѣлъ быстрый, тонкій, хитрый и свѣтлый умъ, красивую наружность и замѣчательную гибкость характера и правилъ. Въ особенности обладалъ онъ вполнѣ талантомъ—пользоваться всякими средствами, не стѣсняться ничѣмъ, ничего не пугаться, чтобы только достигнуть разъ предположенной цѣли. Ему удалось увлечь дочь одного важнаго барина и жениться на ней. Бракъ этотъ далеко выдвинулъ его впередъ изъ рядовой толпы и позволилъ ему взобраться высоко по лѣстницѣ къ почету и къ богатству. У него скоро очутились тысячи душъ, вліятельныя связи въ столицахъ и раболѣпное уваженіе, или вѣрнѣе, ползаніе передъ нимъ не только мелкопомѣстныхъ, но и зажиточныхъ, многодушныхъ дворянъ, а за ними и властей всей Костромской губерніи. Наконецъ получилъ онъ и титулъ «Солигаличскаго падишаха (императора)», титулъ, сохранившійся за нимъ до самой его смерти.

Когда я сталъ помнить этого замѣчательнаго человѣка, голова его была уже бѣла какъ снѣгъ. Но это былъ еще чрезвычайно бодрый старикъ, съ румянымъ, гладкимъ и полнымъ лицомъ безъ малѣйшей морщинки, съ постоянно-ласковой улыбкой на устахъ, съ блестящими, проницательными глазами и съ необыкновеннымъ достоинствомъ во всей его фигурѣ. У него было три формулы обращенія съ разными лицами. Дво-

рянамъ, владѣющимъ не менѣе двухъ сотъ душъ и болѣе, онъ протягивалъ свою руку и говорилъ сладчайшимъ голосомъ:

— Какъ вы поживаете, почтеннѣйшій Мартьянъ Прокофьичъ?

Дворянамъ съ восмидесятью и до двухъ сотъ душъ онъ дѣлалъ только легкій поклонъ, и говорилъ голосомъ сладкимъ, но не сладчайшимъ:

— Здоровы ли вы, мой почтеннѣйшій Иванъ Иванычъ?

Всѣмъ остальнымъ, имѣвшимъ менѣе восьмидесяти душъ, онъ только кивалъ головою и говорилъ просто голосомъ пріятнымъ:

— Здравствуйте, «мой любезнѣйшій».

Но при всѣхъ трехъ родахъ здорованья, ласковая улыбка не сходила съ его устъ.

Онъ былъ очень уменъ и стоялъ цѣлой головой выше всѣхъ прочихъ дворянъ и своего, и сосѣднихъ уѣздовъ. А что, въ особенности, доказывало его превосходство надъ всѣми, это то, что онъ не держалъ ни одного шута, ни одной борзой, ни гончей и никого пальцемъ не тронулъ, а не то, чтобы пороть арапникомъ. Но за то у него были пѣвчіе и музыка, т. е. септуоръ, который очень не дурно исполнялъ тогдашніе увертюры и танцы: экосезъ, матрадуръ, гросъ-фатеръ, тампетъ, аллегрекъ и котильонъ. И еще къ чести этой замѣчательной личности, выходившей далеко изъ ряда обыкновенныхъ людей, слѣдуетъ сказать, что, имѣя многочисленное семейство, онъ умѣлъ всѣхъ своихъ дѣтей поставить на ноги, указать имъ хорошую дорогу и сдѣлать ихъ порядочными людьми. Пріобрѣтя огромное вліяніе на дѣла и на людей своей родины, онъ умѣлъ заставить прощать ему превосходство его надъ всѣми, и, съ тѣмъ вмѣстѣ, чрезвычайно ловко умѣлъ превращать людей въ маріонетки и въ послушныя орудія своей воли. Придерживаясь описанныхъ трехъ формулъ въ обращеніи съ своими собратіями дворянами, онъ, между тѣмъ, умѣлъ угадывать и цѣнить умъ и способности въ людяхъ вообще, такъ что, какого бы званія ни былъ человѣкъ, входившій съ нимъ въ сношенія, если только онъ былъ очень уменъ и дароватъ, то смѣло могъ расчитывать на самый ласковый и почетный пріемъ у него: важность многодушія отодвигалась тогда на второй планъ. Теперь, для вящей полноты картины описываемаго мною общества, упомяну о двухъ братьяхъ, принадлежавшихъ къ самой почетной дворянской фамиліи Чухломскаго уѣзда и къ самымъ замѣчательнымъ оригиналамъ и эксцентрикамъ. Они приходились мнѣ дядями по матери, а одинъ изъ братьевъ былъ моимъ крестнымъ отцомъ. Но прежде разскажу небольшой анекдотъ, про который вспомнилъ я по поводу трехъ формулъ «почтеннѣйшаго» Шипова, и который тоже много характеризуетъ ту эпоху церемоній и формальностей.

. Въ Кострому былъ присланъ изъ Петербурга по какому-то дѣлу одинъ полковникъ, человѣкъ благородный, умный и образованный. По случаю офиціяльной переписки съ начальникомъ губерніи, онъ получилъ отъ него письмо, начинающееся такъ:

«Милостивый Государь *мой*»!

Этотъ *мой*, т. е. какой-то ненужный хвостъ, страшно раздосадовалъ благовоспитаннаго полковника, наблюдавшаго всегда и со всѣми вѣжливость и требовавшаго и отъ другихъ того же самаго въ отношеніи къ себѣ. Поэтому онъ сейчасъ же отвѣчалъ губернатору письмомъ, въ которомъ тоже прибавилъ хвостъ, но только уже необыкновенно длинный, а именно: письмо началось такъ:

«Милостивый государь *мой, мой, мой, мой, мой*»: и такимъ образомъ на цѣлыя шесть строкъ растянулъ онъ этотъ *мой*. Жесточайшимъ образомъ разобидѣлся и разозлился получатель такого письма и немедленно послалъ жалобу къ начальству полковника, приложивъ при жалобѣ полученное отъ него письмо. Полковнику скоро былъ сдѣланъ запросъ, и онъ отвѣчалъ очень дѣльно и умно и тоже, при отвѣтѣ, приложилъ письмо начальника губерніи. А затѣмъ «сей» послѣдній получилъ на свою жалобу слѣдующій отвѣтъ:

«Г. полковникъ N. N. совершенно правъ, потому что Ваше Превосходительство не имѣли никакого права оказывать неуваженіе одному изъ лучшихъ штабъ-офицеровъ русской арміи, написавъ къ нему *Милостивый Государь мой*, вмѣсто *Милостивый Государь*, что принято и освящено законами вѣжливости и обычаемъ».

Итакъ г. Начальникъ губерніи остался не при чемъ, или вѣрнѣе, при длиннѣйшемъ носѣ изъ *моихъ*.

Разсказъ о столкновеніи между невѣжливымъ губернаторомъ и щекотливымъ полковникомъ напомнилъ мнѣ о горькой участи другаго полковника, жившаго тоже въ Костромѣ въ тридцатыхъ годахъ. Это былъ человѣкъ лѣтъ тридцати пяти, умный, образованный, честный, добрый, красивый и со средствами, словомъ прекрасный, завидный женихъ. Имѣлъ онъ весьма нѣжное сердце и постоянно искалъ узъ гименеи, спалъ и видѣлъ, какъ бы обрѣсти подругу жизни, но.... никакъ не обрѣталъ. А казалось, чтобы могло быть легче для такого прекраснаго жениха, какъ не пріобрѣтеніе такой заурядной вещи, какъ *подруга жизни*. А не тутъ-то было.... Всѣ костромскія барышни съ ужасомъ открещивались отъ него при одномъ его имени. А за что? Въ порѣ, богатъ, красивъ, уменъ и добръ. А вотъ за что:

— Помилуйте! Ну какъ я пойду за человѣка, котораго зовутъ *Фролъ*

Терентьичъ Балаболкинъ? Вѣдь и меня тогда будутъ называть *мадамъ Балаболкина!* — Вотъ она гдѣ, супружеская-то премудрость у милыхъ подругъ жизни! Въ *балаболкѣ*. И въ самомъ дѣлѣ, причина важная: *балаболка!* Какой подводный камень для супружескаго счастія подругъ жизни. Будь что нибудь другое, ну хоть *бирюлька*, все же получше. *Мадамъ Бирюлькина*, можно; а *мадамъ Балаболкина*, фидонкъ! Никакъ нельзя. О, милѣйшія подруги жизни! Что васъ такъ испугала *балаболка?* Посмотритесь-ко въ зеркало, да попристальнѣе. Вѣдь и сами-то вы, — разумѣется не всѣ, а лишь извѣстный изъ васъ процентъ; — вы — сущія *балаболки*, et rien de plus... А туда же фидонкъ!.. Итакъ изрѣченіе: «Толцыте, и отверзется; ищите, и обрящете», оказалось несостоятельнымъ относительно браваго полковника. А ужъ онъ ли, бѣдняга, не толкался? Онъ ли не искалъ: и не отверзлось, и не обрѣлось. Сказано: *Балаболкинъ!* Ну и шабашъ.

VI.

Ораторъ и эксцентрикъ.

Павелъ и Петръ Александровичи Катенины имѣли по триста родовыхъ душъ, съ отличнѣйшими селами, усадьбами, съ большими барскими хоромами и были генеральскими дѣтьми. Оба они служили въ гвардіи и потомъ вышли въ отставку. Начну съ перваго.

Пав. Ал., служившій полковникомъ въ Преображенскомъ полку при Имп. Александрѣ Павл., во время полнаго гвардейскаго блеска, вышелъ въ отставку по непріятностямъ, въ самомъ цвѣтущемъ возрастѣ и когда улыбалась ему блистательная военная карьера. (Впослѣдствіи, при Имп. Николаѣ Павл. онъ снова вступилъ въ службу на Кавказъ и былъ генераломъ). Личность его была одной изъ самыхъ замѣчательныхъ и явила собою примѣръ, какъ иногда самыя богатыя натуры, щедро одаренныя отъ природы и физическими, и умственными качествами, бываютъ осуждены на безплодное и безслѣдное существованіе, общественное значеніе котораго выражается и завершается нулемъ отъ того, что личность эта родилась и жила не на той почвѣ и не въ той атмосферѣ, въ которой слѣдовало бы ей родиться и жить, для осязательнаго проявленія своихъ блистательныхъ способностей въ неменѣе блистательныхъ результатахъ своей полезной дѣятельности.

Пав. Ал. получилъ образованіе болѣе блестящее и свѣтское, нежели классическое и основательное. Но этотъ недостатокъ былъ съ лихвою вознагражденъ и пополненъ необыкновенными природными его дарованіями. Къ рѣдкой, необычайной памяти у него присоединялись живой, смѣлый, острый, саркастическій умъ и неистощимое, жгучее остроуміе; необыкновенный даръ слова и самаго яснаго изложенія; громовое, всепобѣждающее краснорѣчіе и необъятная начитанность. Кажется не было такой дѣльной книги на французскомъ, нѣмецкомъ и русскомъ языкахъ, которой бы онъ не прочелъ и изъ которой бы не могъ, въ данную минуту, привести множество цитатъ, почти слово въ слово. Начитанность эта обнимала всѣ предметы, подлежащіе книгопечатанію: поэзія, исторія, бѣллетристика, философія, богословіе, точныя науки, естествознаніе; все надъ чѣмъ трудился и что создалъ геній западныхъ народовъ въ теченіи нѣсколькихъ столѣтій, послѣ пробужденія своего отъ тысячелѣтняго сна средневѣковаго невѣжества и варварства; все что было лучшаго, извѣстнаго по этимъ предметамъ, было имъ прочитано, проглочено и, такъ сказать, перенарено его умственнымъ желудкомъ. Онъ могъ вести диспуты съ кѣмъ и о чемъ угодно, и своею неотразимой діалектикой и краснорѣчіемъ сбить съ толку, обезоружить своего противника и доказать все, чтобы ему не захотѣлось доказать, т. е. изъ чернаго сдѣлать бѣлое, красное, желтое, голубое, словомъ придать всему такой цвѣтъ и оттѣнокъ, какой ему захочется. Родись и живи онъ въ Англіи или во Франціи, изъ него вышелъ бы одинъ изъ великихъ парламентскихъ ораторовъ, новый Мирабо. У насъ же онъ блеснулъ, какъ ослѣпительный фейерверкъ и исчезъ, не оставя послѣ себя ничего, кромѣ минутнаго треска и дыма, тотчасъ же пропавшихъ безслѣдно въ воздухѣ. А если бы онъ поступилъ на театральную сцену, изъ него вышелъ бы геніальный трагикъ, второй Гаррикъ или Тальма. Перевелъ онъ стихами нѣсколько трагедій Корнеля, написалъ онъ нѣсколько оригинальныхъ антологическихъ піесъ и повѣстей въ стихахъ и прозѣ; но стихи и проза его были тяжелы, снотворны. Декламировать, разсказывать увлекательно, острить, спорить, опровергать, доказывать, словомъ «ораторствовать», — вотъ сфера, въ которой онъ былъ непобѣдимъ, неподражаемъ, не имѣлъ соперниковъ. Онъ образовалъ лучшаго изъ нашихъ трагиковъ, Каратыгина старшаго, умершаго и еще никѣмъ незамѣненнаго. И трагикъ этотъ сохранялъ всегда въ своемъ сердцѣ чувство признательности къ своему учителю, и однажды пріѣзжалъ къ нему погостить въ его чухломскомъ помѣстьѣ.

Пав. Ал. былъ еще отъявленный «esprit fort» и грозный, неумоли-

мый на всѣ причты, городскіе и деревенскіе, которыхъ онъ сильно не долюбливалъ; но спорить съ ними и кощунствовать была его страсть. И окончилъ этотъ геній діалектики и краснорѣчія свою жизнь въ неизвѣстности, въ глуши, забытый всѣми и даже, подъ конецъ своей жизни, потерявшій всякое къ себѣ уваженіе у своихъ деревенскихъ сосѣдей, надъ которыми возвышался своими умомъ, образованіемъ и талантами, какъ гигантъ надъ пигмеями: онъ сдѣлался пьяницей и впалъ въ сальности, въ грязь и въ такія циническія эксцентричности, что его всѣ стали обѣгать, какъ зачумленнаго или одержимаго опасною маніею. Изъ множества его циническихъ или кощунскихъ выходокъ, разскажу объ одной, извѣстной тогда въ Чухломскомъ уѣздѣ подъ названіемъ: *Въѣздъ въ Іерусалимъ*.

Собралъ онъ однажды своихъ крѣпостныхъ крестьянъ и дворовыхъ обоего пола, и даже дѣтей, разставилъ ихъ въ два ряда между своей усадьбой и ближайшею деревнею, на протяженіи нѣсколькихъ сотъ шаговъ. Приказалъ имъ взять въ руки по вербной вѣткѣ, а самъ, усѣвшись верхомъ на клячѣ, проѣзжалъ шагомъ изъ деревни въ усадьбу, между двумя рядами своихъ подданныхъ, которые махали на него вербными вѣтками. Теперь поговорю о другомъ его братѣ.

Петръ Ал., мой крестный отецъ, былъ тоже замѣчателенъ, но не умомъ, не талантами, въ которыхъ онъ и до колѣна не доходилъ до своего брата, а своею эксцентричностью. Онъ былъ подверженъ періодическимъ запоямъ; затѣмъ, въ противоположность своему брату, очень любилъ причты, и городскіе, и деревенскіе, и любилъ ихъ особенно во время своихъ запоевъ: компанія ихъ становилась тогда для него необходимостью, какъ воздухъ. Поэтому, гдѣ бы онъ не находился во время этихъ запоевъ, у него всегда была подобрана такая компанія изъ причетниковъ. Но что же онъ и продѣлывалъ съ ними! Сначала накормитъ ихъ на убой и напоитъ до безчувствія, до одеревенѣлости: избѣжать этого блаженнаго состоянія русскаго теріака не могъ ни одинъ изъ его собесѣдниковъ. А потомъ и пошла потѣха. Напримѣръ:

Одного изъ такихъ упоенныхъ своихъ собесѣдниковъ, дьякона, онъ велѣлъ однажды положить въ длинный мѣшокъ, нарочно для этого приготовленный. Потомъ завязали этотъ мѣшокъ, и одинъ изъ дворовыхъ людей, самый сильный и рослый, взялъ и взвалилъ себѣ на спину эту ношу, отправился на село и, войдя въ жилище упоеннаго причетника, сказалъ его хозяйкѣ:

— Петръ Александрычъ приказали вамъ кланяться и прислали новинки: мѣшокъ съ новой рожью.

— Скажи Петру Александрычу, что я очень имъ благодарна за его отеческія къ намъ милости, — говорила причетница.

— А куда прикажете положить этотъ мѣшокъ съ рожью?

— Да поставь его вонъ въ тотъ уголъ; мужъ придетъ, такъ снесетъ его въ амбарушку.

Мѣшокъ поставленъ въ уголъ и дворовый удалился. Но вотъ черезъ нѣсколько минутъ рожь въ мѣшкѣ начинаетъ шевелиться. Причетница сперва этого не замѣчаетъ; но потомъ и замѣтила, перекрестилась и сказала боязливо:

— Кажись рожь-то въ мѣшкѣ шевелится? Что это за чудеса такія?

Но мѣшокъ опять пребывалъ неподвижнымъ и причетница успокоилась, подумавъ: вѣрно мнѣ такъ причудилось. Но вотъ мѣшокъ снова зашевелился пуще прежняго и потомъ рожь въ мѣшкѣ прегромко чихнула.

— Съ нами крестная сила! Рожь чихаетъ! — вскричала причетница испуганнымъ голосомъ и начала креститься усиленно и торопливо. Рожь наконецъ замычала и зашевелилась страшнѣйшимъ образомъ. Причетница не выдержала и, закричавъ благимъ матомъ: — въ мѣшкѣ нечистая сила! — бросилась опрометью изъ избы на улицу и завопила отчаяннымъ и дикимъ голосомъ, словно полоумная:

— Караулъ, караулъ, помогите, спасите, у меня въ домѣ чортъ, али разбойникъ! Помогите, спасите!

На этотъ крикъ сбѣжались всѣ остальныя причетницы и нѣсколько бабъ.

— Что съ тобою, Василиса Кириловна? — спрашивали испуганную и вопившую причетницу.

— Да что, голубушки вы мои родныя! У меня въ домѣ недоброе приключилось. Петръ Александрычъ, дай Богъ ему здоровья, прислалъ мнѣ мѣшокъ съ новинкою, да пребольшущій такой. Анъ во ржи-то нечистая сила, али разбойникъ какой.

— Да какъ же это случилось, мать наша? Мы что-то въ толкъ не возьмемъ.

— Да вотъ какъ: я сижу себѣ да тальки разматываю, анъ вдругъ рожь-то въ мѣшкѣ и начала шевелиться, а послѣ чихнула, да такъ громко, на всю избу. Да потомъ какъ замычитъ, ужасти такія, что меня анъ въ лихоманку бросило! Хоть бы мужъ-то мой былъ теперь со мною, все было бы не такъ боязно. А то и его нѣту дома. Засидѣлся видно у Петра Александрыча.

Долго разсуждали между собою причетницы и бабы, какъ поступить, и наконецъ рѣшили: позвали человѣкъ шесть самыхъ сильныхъ и храбрыхъ крестьянъ и вошли за ними въ избу, крестясь и читая молитвы. Крестьяне положили мѣшокъ на полъ, развязали и разумѣется, вмѣсто ржи, показалась оттуда всклокоченная и бородатая голова дьякона. Что и какъ происходило послѣ этого открытія, описывать не буду. Каждый изъ читателей можетъ самъ дорисовать картину удивленной причетницы при видѣ новинки, находившейся въ мѣшкѣ.

Въ другой разъ Петръ Ал. одного изъ причетниковъ, полуупоеннаго, заставилъ влѣзть въ печь и пропѣть оттуда эктенію. Наконецъ, собравъ ихъ однажды у себя въ домѣ, усадилъ ихъ за круглый столъ и уподчивалъ такъ, что всѣ они заснули сидя и опустивъ головы на столъ. Тогда взялъ онъ сургучъ и печать, и припечаталъ къ столу всѣ восемь бородъ. Вслѣдъ затѣмъ нѣсколько изъ его прислужниковъ вбѣжали въ комнату, гдѣ сидѣли упоенные, усыпленные и припечатанные бородатые гости, и закричали во все горло:

— Пожаръ! Домъ горитъ! Спасайтесь! Пожаръ!

Можно себѣ представить, какая произошла сцена, когда причетники проснулись въ испугѣ и принялись спасаться бѣгствомъ отъ пожара... Бѣдныя бороды!

Въ 1835 году, во время моей первой отставки, я навѣстилъ этого эксцентрическаго папашу крестнаго, въ его Барѣевѣ, прекрасной усадьбѣ въ 12 верстахъ отъ Чухломы. Показывалъ онъ мнѣ тогда свой конскій заводъ: выводили и проводили передо мной разныхъ жеребцовъ и матокъ. Но тогда страсть моя къ лошадямъ уже прошла. При этомъ свиданіи онъ совѣтовалъ мнѣ снова вступить въ военную службу и тоже въ гвардію, что я и сдѣлалъ. Нѣсколько лѣтъ спустя эксцентрикъ этотъ весьма трагически окончилъ свою жизнь: его убили дворовые люди баронессы фонъ-Кампенгаузенъ, съ которой давно имѣлъ онъ интимныя сношенія. A propos de Kampenhauzen: разскажу курьезный казусъ, случившійся съ мужемъ этой баронессы, бывшимъ генералъ-контролеромъ, Балтазаромъ Балтазарычемъ фонъ-Кампенгаузеномъ.

При Павлѣ I ѣздило часто и много офицеровъ изъ Петербурга въ Царское Село и другія загородныя мѣста. Они должны были сказывать на заставѣ свои фамиліи, которыя записывались и подавались въ рапортѣ Императору. Многіе изъ офицеровъ школярничали и сказывали не свои, а какія-то рогатыя, небывалыя фамиліи. Это разбѣсило Государя, и онъ отдалъ строгій приказъ, чтобы арестовать перваго, кто скажетъ мудре-

ную фамилію. И вотъ вскорѣ проѣзжаетъ черезъ заставу одинъ почтенный господинъ.

— Ваша фамилія? спрашиваетъ его караульный офицеръ.

— Балтазаръ Балтазаровичъ фонъ-Кампенгаузенъ.

— А! Васъ-то и надо; пожалуйте-ко сюда. — И какъ почтенный Балтазаръ Балтазаровичъ не увѣрялъ, что онъ дѣйствительно Балтазаръ Балтазаровичъ фонъ-Кампенгаузенъ, но офицеръ, нашедшій очень мудреными эти названія, не убѣждался, былъ неумолимъ, и почтенному Балтазару Балтазаровичу пришлось вкусить прелесть сидѣнія на гауптвахтѣ, пока не разъяснилось это qui pro quo.

Упомяну еще о двухъ личностяхъ той эпохи, личностяхъ мрачныхъ, грозныхъ, свирѣпыхъ до невѣроятности, до баснословія, но тѣмъ не менѣе истинныхъ.

VII

Двойникъ Іоанна Грознаго и воплощенная фурія.

У двухъ братьевъ, описанныхъ въ предъидущей главѣ, былъ родной дядя, тоже Катенинъ. Это былъ необыкновенно важный баринъ и богатый: имѣлъ около тысячи душъ и большой стеклянный заводъ. Если бы покойный Загоскинъ, писавши своего «Юрія Милославскаго», копировалъ съ кого нибудь мрачный обликъ боярина Кручины Шалонскаго, то для этого не могъ бы найти лучшаго прототипа, какъ Николай Ѳедоровичъ Катенинъ. По удаленіи своемъ отъ свѣта, въ которомъ онъ игралъ важную роль, Николай Ѳед. страдалъ неизлечимой подагрой и жилъ почти безвыѣздно въ Чухломскомъ уѣздѣ, въ главномъ своемъ имѣніи со стекляннымъ заводомъ, и которое со всѣхъ сторонъ было окружено дремучимъ лѣсомъ, словно притонъ сказочнаго атамана разбойника. Кромѣ его единственнаго сына, который много выборовъ сряду прослужилъ предводителемъ въ Чухломскомъ уѣздѣ, и который, время отъ времени, навѣщалъ своего отца, Николая Ѳедоровича почти никто не навѣщалъ добровольно, исключая тѣхъ, которыхъ побуждала къ тому крайняя необходимость. Но и тѣ ѣхали къ нему со страхомъ и трепетомъ, зная про его неприступную гордость и высокомѣріе, про его бѣшеный нравъ, свирѣпость сердца и глубокое презрѣніе, какое питалъ и явно выказывалъ онъ къ властямъ и къ законамъ, насмѣхаясь надъ ними и ставя себя выше всѣхъ человѣческихъ и божественныхъ постановленій и заповѣдей. Для него никого и ничего

не было святаго и неприкосновеннаго. Съ сотскимъ, съ засѣдателемъ, съ судьею, если бы они его разсердили, находясь въ его домѣ, онъ поступилъ-бы точно также какъ и съ своимъ лакеемъ, т. е. жестоко бы ихъ выпоролъ плетьми или розгами, смотря по вдохновенію. А что онъ продѣлывалъ съ своими несчастными крѣпостными, которые бѣгали отъ него десятками, предпочитая острогъ и ссылку въ каторгу жизни у своего безжалостнаго повелителя.

Мой отецъ, по своей женѣ и моей матери, доводился племянникомъ Ник. Ѳедоровичу. И ему, и всѣму уѣзду извѣстно было безчеловѣчіе стараго Катенина. Долетали страшные, невѣроятные слухи о степени его жестокости. Напримѣръ: у него была устроена въ подземельи тюрьма, или вѣрнѣе, застѣнокъ, съ палачемъ, съ цѣпями, кандалами, со множествомъ различныхъ орудій тѣлесныхъ наказаній, истязаній, почти пытокъ. Говорили, что онъ «распиналъ на крестѣ», т. е. не пригвоздалъ, а только прикрѣплялъ къ кресту желѣзными обручами за шею, за руки и за ноги, и такъ оставлялъ несчастныхъ въ подземельи на сутки и болѣе, безъ пищи и питья..... страшныя времена!.. . страшные люди!....

Мнѣ было десять лѣтъ. Я учился, и хотя еще не дошелъ до исторіи, но уже зналъ, что въ Россіи царствовалъ когда-то царь Іоаннъ Грозный. Зналъ я уже многое про это страшное царствованіе, и мнѣ самому становилось страшно всякой разъ, когда произносили при мнѣ имя Грознаго. Слыхалъ не разъ я и о томъ, что у меня былъ какой-то дѣдушка Николай Ѳедорычъ, дѣдушка сердитый, злой, грозный, страшный. И при имени этого дѣдушки мнѣ становилось также страшно, какъ и при имени царя Грознаго. Подъ конецъ въ моемъ дѣтскомъ воображеніи оба эти понятія,—Грознаго и дѣдушки,—слились въ одно лицо: Грознаго представлялъ я себѣ въ видѣ дѣдушки, а дѣдушку—въ видѣ Грознаго. И вотъ однажды отецъ сказалъ мнѣ:

— Собирайся, Николаша! Ты поѣдешь сегодня со мною.

— Куда, папаша?

— Къ дѣдушкѣ.

— Къ Антону Васильевичу? Ахъ какъ бы я радъ? То-то будетъ у него весело! Сколько малины у него въ саду! Сколько земляники и морошки въ лѣсу!—говорилъ я весело, подпрыгивая отъ радости при мысли ѣхать къ доброму дѣдушкѣ, который меня ласкалъ и баловалъ и котораго я очень любилъ.

— Ты ошибаешься, Николаша!—возразилъ отецъ.—Я повезу тебя къ другому дѣдушкѣ.

— А къ какому же?

— Къ Николаю Ѳедорычу.

Я пересталъ прыгать и смѣяться, поблѣднѣлъ и чуть не заплакалъ; но удержался, а только повѣсилъ голову и, грустный, отправился къ своему дядькѣ, который снарядилъ меня въ дорогу. Поѣхали. До имѣнія дѣдушки было верстъ тридцать. Не доѣзжая верстъ десять, въѣхали въ густой, мрачный и высокій сосновый и еловый лѣсъ. Я всю дорогу молчалъ и ощущалъ въ себѣ страхъ, который все усиливался по мѣрѣ приближенія къ цѣли путешествія. Лѣсъ становился мрачнѣе и мрачнѣе, думы мои тоже. Грозный царь и сердитый дѣдушка не выходили у меня изъ головы. Наконецъ пріѣхали въ резиденцію грознаго барина. Экипажъ остановился передъ крыльцомъ стариннаго, большаго деревяннаго дома на каменномъ фундаментѣ и самаго мрачнаго вида. Я былъ ни живъ ни мертвъ, всходя по высокой и крутой лѣстницѣ. Вошли въ прихожую. Въ домѣ царила мертвенная тишина. Ни звука, ни шороха. Люди ходили на цыпочкахъ, изрѣдка перешептывались, а наичаще объяснялись между собою знаками и взглядами.

— Что дѣлаетъ дядюшка?—спросилъ у человѣка почти шепотомъ мой отецъ

— Только что встали съ постели и изволятъ сидѣть въ креслѣ,— отвѣчалъ человѣкъ шепотомъ.

— Доложи дядюшкѣ, что я пріѣхалъ,—прошепталъ отецъ, входя въ залу. Человѣкъ пошелъ на цыпочкахъ и далеко не съ такимъ спокойствіемъ, съ какимъ укротители дикихъ звѣрей входятъ въ клѣтку львовъ, леопардовъ и гіенъ. Черезъ минуту онъ возвратился и прошепталъ:

— Приказали просить.

Отецъ пошелъ, ведя за руку меня, блѣднаго и едва переводившаго духъ отъ страха и волненія. Вошли въ кабинетъ. По правую сторону стояло огромное, высокое вольтеровское кресло, обитое пунцовымъ штофомъ. На креслѣ сидѣлъ старикъ лѣтъ семидесяти, средняго роста, плотный, но не дородный. Къ коротенькой и толстой шеѣ была прикрѣплена огромная голова. Длинные и совершенно бѣлые волосы прядями падали на плечи. Широкая, окладистая и тоже бѣлая борода окаймляла широкое, лоснящееся лицо и до того красное, что оно мало отличалось отъ пунцовой матеріи кресла. Небольшіе сѣрые глаза, налитые кровью, горѣли какъ два угля изъ подъ густыхъ, сдвинутыхъ бѣлыхъ бровей.

— Здравствуй, Петръ! давно тебя не видалъ. Какъ ты поживаешь?

— Благодарю васъ, дядюшка! Я, слава Богу, здоровъ. А какъ васъ

Богъ милуетъ?—Отвѣчалъ отецъ, подойдя къ сѣдому старику и цѣлуя его въ плечо.—А вотъ и сынъ мой, котораго вы желали видѣть,—прибавилъ отецъ, представляя меня страшному старику, на котораго я боялся взглянуть, смѣшивая его съ царемъ Іоанномъ Грознымъ. Однако жъ я не забылъ шаркнуть ногой и, поклонившись дѣду, поцѣловалъ его въ руку.

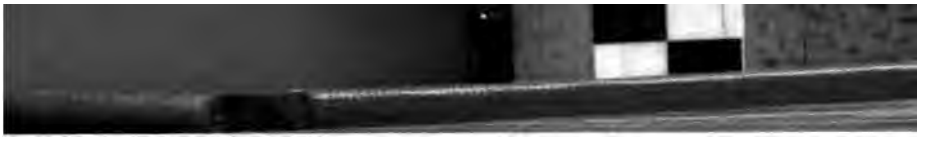
— Славный мальчикъ твой Николаша,—заговорилъ снова Николай Ѳедорычъ и, погладивъ меня по головѣ, позвалъ къ себѣ ключницу и велѣлъ ей принести что-то. Ключница скоро возвратилась, держа въ рукѣ нѣсколько пряниковъ въ видѣ лошади, коровы, пѣтуха и рыбы.

— Вотъ тебѣ, другъ мой, за то, что ты пріѣхалъ ко мнѣ старику,—сказалъ Николай Ѳедорычъ, подавая мнѣ пряники и потрепавъ меня по щекамъ. Церемоніялъ представленія кончился и я получилъ разрѣшеніе отправиться въ садъ, чему я несказанно обрадовался. Показывали мнѣ и стеклянный заводъ, гдѣ при мнѣ «выдули» нѣсколько бутылокъ и разной другой стеклянной посуды.

Свиданіе это съ грознымъ дѣдомъ неизгладимо запечатлѣлось въ моей памяти, и потомъ, въ продолженіи всей моей жизни, я не могъ ни подумать объ Іоаннѣ Грозномъ, ни услышать отъ другихъ его имя безъ того, чтобы краснолицая и сѣдовласая голова моего дѣда не представилась живо моему воображенію. Теперь займусь другой мрачной и грозной личностью. И отвращеніе снова овладѣваетъ мною при воспоминаніи объ этой личности, которая еще страшнѣе и несравненно гаже и отвратительнѣе личности моего дѣдушки, потому что это была женщина, или, вѣрнѣе, униженіе, растлѣніе, стыдъ и позоръ своего пола. Жизнь и дѣянія этой фуріи служатъ самымъ яснымъ и неопровержимымъ доказательствомъ того, какъ вѣрно понялъ и опредѣлилъ женщину нашъ великій народный поэтъ, сказавъ:

«Она то ангелъ благодатный,
То образъ демона живой».

Княгиня Шилишпанская могла, въ самомъ дѣлѣ, показаться ангеломъ благочестія, кротости, доброты сердечной и самаго радушнаго гостепріимства всякому, кто, ничего не слыхавъ объ ней, вздумалъ бы пріѣхать къ ней въ гости, или просто заѣхать къ ней мимоѣздомъ — укрыться на ночь отъ зимней мятели съ морозомъ. Не только всякаго своего гостя она приметъ и угоститъ съ необыкновенною любезностью и радушіемъ, но даже его лакея и кучера она позоветъ въ прихожую, обласкаетъ и велитъ поднести имъ настойки, напоитъ ихъ чаемъ и накормитъ донельзя. А ужъ какъ она была богомольна и строга въ исполненіи ма-



лѣйшихъ религіозныхъ обрядовъ и предписаній! Просто — примѣръ высокаго благочестія. Молебны служила почти каждый день; не пропускала ни одного праздника, чтобы наканунѣ не отслужить дома всенощной и не поѣхать на другой день къ обѣднѣ, во время которой никто не молился съ такимъ пламеннымъ усердіемъ, какъ она; никто и въ четвертую часть не клалъ столько земныхъ поклоновъ; и затѣмъ, не только всѣ посты, но даже середы, пятницы и понедѣльники она постилась. Вотъ вамъ праздничная, показная сторона госпожи Шилишпанской, и понынѣ еще хорошо сохранившейся въ преданіяхъ Костромской губерніи и, въ особенности, Чухломскаго уѣзда. Взглянемъ теперь на другую, на будничную и домашнюю сторону «сей» барыни, но взглянемъ бѣгло, не останавливаясь долго на этихъ мрачныхъ и кровавыхъ воспоминаніяхъ, щадя чувствительность нашихъ читателей.

Княгиня Шилишпанская принадлежала двумъ столѣтіямъ: восемнадцатому, въ которомъ она родилась и прожила лѣтъ тридцать, и девятнадцатому, въ которомъ прожила не болѣе шестнадцати, но за то какихъ лѣтъ! Едва-ли въ уголовной лѣтописи всей Россіи найдется что-либо подобное этимъ шестнадцати годамъ? Первыя тридцать лѣтъ этой жизни не ознаменовались ничѣмъ особеннымъ. Какъ прожила она свое дѣтство и дѣвичество, а потомъ первыя десять лѣтъ замужества, проведенныя въ Петербургѣ, гдѣ мужъ ея служилъ, въ военной или штатской службѣ, мѣстная хроника объ этомъ умалчивала. Вѣроятно, жизнь ея въ столицѣ была нѣкотораго рода уздою, намордникомъ, сдерживавшимъ свирѣпую, кровожадную натуру Шилишпанской, этого воплощеннаго демона. Но въ началѣ нынѣшняго столѣтія мужъ ея оставляетъ петербургскую службу, поселяется въ своемъ чухломскомъ имѣніи, и тогда-то начинается «вскрытіе» женской натуры, самой свирѣпой, отвратительной и позорной, какая когда-либо существовала. Она пристрастилась къ крѣпкимъ напиткамъ и, потерявъ всякій женскій стыдъ, всякій страхъ наказанія и въ здѣшней и въ будущей жизни, предалась всѣмъ порывамъ своего бѣшеннаго нрава, неукротимаго гнѣва и жестокаго, злаго сердца, находившаго необъяснимое наслажденіе въ созерцаніи физическихъ страданій, мукъ и боли себѣ подобныхъ, и въ ихъ отчаянныхъ воплямъ и стонахъ... *Восьмнадцать человѣкъ до смерти засѣкла и замучила она!...* И прожила она шестнадцать лѣтъ такой страшной и проклятой жизни... И все сходило ей съ рукъ, потому что служили тогда по выборамъ ея мужъ, братъ и какой-то родственникъ, служили въ должности исправника, судьи и предводителя. Ну, и было все шито да крыто. Много жалобъ было подаваемо на лютую фурію, и

все напрасно. Наконецъ, нѣсколько изъ ея крѣпостныхъ рабовъ бѣжали въ Петербургъ и тамъ, на разводѣ, подали жалобу Императору. Было наряжено строжайшее слѣдствіе, и мегеру упрятали въ монастырь, гдѣ, два года спустя, и ни съ того ни съ сего, у ней лопнулъ животъ и вышли изъ нея всѣ внутренности. Фурія умерла въ страшныхъ мученіяхъ... Божественное правосудіе довершило кару правосудія земнаго... О, если бы почаще происходили такія проявленія неземнаго правосудія!... Впослѣдствіи, во время моей возмужалости, я хорошо былъ знакомъ въ домѣ С. Ѳед. Куприанова, бывшаго главнаго слѣдователя въ дѣлѣ княгини Шилишпанской, а въ мое время служившаго костромскимъ губернскимъ предводителемъ дворянства. Вотъ что слышалъ я отъ него между прочимъ.

Въ числѣ многочисленныхъ свидѣтелей и обличителей чухломской мегеры находился священникъ ея прихода, который уличалъ ее такъ:

«Помните-ли, матушка ваше сіятельство, какъ вы изволили звать къ себѣ въ гости мою дочь Аннушку, и, разгнѣвавшись на нее за что-то, изволили наказать ее самымъ что ни есть немилосерднымъ образомъ, т. е. приказали привязать ее къ скамейкѣ и сѣчь до полусмерти, а сами изволили ходить вокругъ и *тыкали въ нее вилкой во что попало?*... Бѣдная моя Аннушка! Мѣсяца два прохворала она потомъ... Помните-ли, матушка ваше сіятельство, какъ я пришелъ на другой день усовѣщивать васъ? Вы изволили сидѣть на «галдареѣ»; передъ вами стояла жаровня съ горячими угольями, а возлѣ васъ на скамейкѣ стоялъ тазикъ съ вареньемъ. Выслушавъ меня, вы изволили засмѣяться и сказали мнѣ: «полно, батько, молоть вздоръ! А вотъ попробуй-ко лучше, какое славное варенье сварила я сейчасъ». Я сдуру-то и разинулъ ротъ, а ваше сіятельство изволили захватить изъ тазика полную ложку варенья, да и сунули мнѣ въ ротъ. Свѣту Божьяго не взвидѣлъ я тогда: варенье-то было съ пылу, только-что снято съ жаровни. И такъ обжегъ я себѣ весь ротъ, что цѣлый мѣсяцъ ѣсть ничего не могъ; питался одною жижицею, и то съ трудомъ могъ глотать ее».

Кончаю мои воспоминанія о мрачныхъ личностяхъ моей родины и временъ моего дѣтства, и кончаю не потому, что этотъ мрачный сюжетъ исчерпанъ; напротивъ: много еще можно было бы набрать и сгруппировать разныхъ возмутительныхъ личностей и фактовъ того времени и даже эпохи позднѣйшей, хоть напримѣръ о сынѣ прототипа Кручины Шалонскаго, котораго смѣшивалъ я съ Іоанномъ Грознымъ. Сынъ этотъ, полковникъ гвардіи, тоже давно умеръ, подвизавшись долгое время на поприщѣ дворянскаго предводительства и питейныхъ откуповъ. Въ концѣ

тридцатыхъ годовъ покойнымъ Гречемъ была написана и помѣщена въ «Библіотекѣ для чтенія» повѣсть подъ заглавіемъ «Свруха». Въ ней былъ очерченъ обликъ этого сына свирѣпаго подагрика, но не какъ гвардіи полковника и предводителя дворянства, а какъ пстаго откупщика.

Хотя далеко не такого грознаго и мрачнаго свойства, какъ его отецъ, но все-таки этотъ господинъ хорошо памятенъ старожиламъ Чухломскаго уѣзда, да и цѣлой Костромской губерніи, своимъ наслѣдственнымъ высокомѣріемъ, чванствомъ и гордостью, своимъ обжорствомъ и умѣньемъ заказывать повару лакомыя блюда, при чемъ у самого всегда текла слюна изо рта, и онъ сопѣлъ страшнѣйшимъ образомъ. Памятенъ онъ также и своею вспыльчивостью, порывами бѣшенаго гнѣва и жестокимъ обращеніемъ съ нѣкоторыми изъ своихъ дѣтей, въ особенности съ одною изъ своихъ дочерей, красавицею и мученицей, погибшей въ цвѣтѣ лѣтъ отъ... Но рука у меня нѣмѣетъ и перо останавливается отъ ужаса... Можетъ быть, когда нибудь, въ другомъ мѣстѣ и разскажу я мрачную, раздирающую душу повѣсть о страшныхъ, ужасающихъ поступкахъ безчеловѣчнаго отца съ дочерью... Но довольно объ ужасахъ. Перехожу къ воспоминаніямъ менѣе мрачнымъ, менѣе томительнымъ.

VIII.

Идеалъ гуманной женщины.

Чтобы изгладить тяжелое впечатлѣніе, какое, по всей вѣроятности, произвелъ на моихъ читателей предъидущій разсказъ о двухъ страшныхъ личностяхъ, я изображу теперь личность свѣтлую, отрадную, отъ которой повѣетъ успокоительно, освѣжительно, и которая была не мнѣ, не мечта воображенія, а существовала на самомъ дѣлѣ и была рѣдкимъ и утѣшительнымъ явленіемъ описываемой мною эпохи.

Село «Лаврентьевское», котораго Макаровы были прихожанами, лежало въ двухъ верстахъ отъ ихъ усадьбы «Першина», и отдѣлялось отъ нее прекрасной березовой рощею. Село это, съ большою красивою церковью и съ высокой колокольнею, принадлежало одной вдовѣ, Елизаветѣ Савишнѣ Козминой, жившей постоянно въ Лаврентьевскомъ, въ большомъ деревянномъ домѣ, въ два этажа, на каменномъ фундаментѣ. Это была прелестнѣйшая усадьба, превосходно обстроенная, съ большимъ тѣнистымъ садомъ и обширнымъ прудомъ, среди котораго находились

тѣнистые острова, съ бесѣдками, соединенные между собою мостиками, а съ твердой землей сообщавшіеся посредствомъ парома и красивыхъ лодокъ.

Елизавета Савишна была одна изъ женщинъ, на которыя природа скупа, и потому онѣ очень рѣдко появляются на свѣтъ Божій, а являясь, служатъ украшеніемъ, приносятъ честь и своему полу, и своей родинѣ, и всему человѣчеству. Къ ней вполнѣ можно было примѣнить первый изъ приведенныхъ мною выше двухъ стиховъ незабвеннаго поэта: она была по истинѣ «ангелъ благодатный». Когда я началъ помнить Елизавету Савишну, ей было уже много лѣтъ отъ роду. Но всесокрушающее время летѣло надъ ея головою, летѣло долго, шестьдесятъ пять лѣтъ, и не смѣло, или не хотѣло задѣть ее своими свинцовыми крылами: оно только стряхнуло съ этихъ крылъ нѣсколько серебряной пыли на голову Елизаветы Савишны, и потому ея локоны были прекраснаго серебристаго цвѣта. Но лицо и высокое чело ея были гладки, какъ полированный мраморъ: ни единой морщинки, такъ что оно сохранило на себѣ яркіе слѣды прежней своей красоты, черты которой добрая старость Елизаветы Савишны не разбила, не уничтожила, а только лишила прежняго свѣжаго, нѣжнаго цвѣта кожи, т. е. лишила ихъ колорита молодости.

Умъ и сердце Елизаветы Савишны вполнѣ соотвѣтствовали ея прекрасной наружности и составляли высокую нравственную красоту, ничего не потерявшую изъ своей живости ни отъ длиннаго періода времени, ни отъ тяжелыхъ испытаній и разочарованій въ жизни. При свѣтломъ, основательномъ и дальновидномъ умѣ, у нее было сердце, которое можно было назвать вмѣстилищемъ всѣхъ христіанскихъ и женскихъ добродѣтелей, безъ единаго порока. Въ продолженіи всей своей многолѣтней жизни, она ни одного изъ своихъ слугъ и служанокъ ни разу не наказала тѣлесно, пальцемъ не тронула. И не смотря на эту ангельскую доброту и кротость характера, а быть можетъ и вслѣдствіе этого, у нее въ домѣ и въ имѣніи господствовалъ всегда и во всемъ величайшій порядокъ: и крестьяне, и дворовые, и домашняя прислуга, всѣ боготворили свою госпожу и боялись огорчить ее чѣмъ нибудь, а потому строго смотрѣли сами за собою и другъ за другомъ, чтобы не доводить барыню до повторенія ими какого бы то ни было приказанія. Такую фанатическую къ себѣ любовь и уваженіе Елизавета Савишна вселяла и во всѣхъ своихъ знакомыхъ и даже въ людяхъ, знавшихъ ее только по наслышкѣ. Въ продолженіи всей своей жизни она никому не сдѣлала не только ни малѣйшаго зла, но ни единой непріятности. А сколько добра сдѣлала она.

Одного большаго тома было бы мало для внесенія въ него всѣхъ подвиговъ ея благотворительности и той огромной массы добра, которое не переставала и не уставала она дѣлать до конца своей долголѣтней жизни: она прожила до восьмидесяти лѣтъ.

Елизавета Савишна еще въ дѣтствѣ осталась круглой сиротою, не имѣя даже никого изъ ближнихъ родственниковъ, и росла подъ надзоромъ своей пожилой няни. Няня эта была женщина чрезвычайно умная, богобоязненная, строгая и преданная тѣломъ и душой своимъ господамъ. А по смерти ихъ она перенесла эту привязанность на ихъ единственную восьмилѣтнюю дочь, одного изъ прелестнѣйшихъ и самыхъ кроткихъ дѣтей. Какъ зеницу ока берегла она свою питомицу, заботясь неусыпно о тѣлесномъ и душевномъ ея здоровьи и, съ рѣдкимъ умѣньемъ и счастіемъ, развивала и направляла къ добру всѣ врожденныя прекрасныя качества Елизаветы Савишны и, съ тѣмъ вмѣстѣ, старалась учить и образовать ее на столько, на сколько позволяли это идеи и педагогическія средства того отдаленнаго времени, т. е. шестидесятыхъ годовъ прошедшаго столѣтія.

Елизаветѣ Савишнѣ осталось послѣ родителей очень хорошее имѣніе, которымъ превосходно завѣдывала ея няня-воспитательница. Эта-же самая няня сосватала и жениха своей барышнѣ и выдала ее замужъ, когда ей исполнилось только четырнадцать лѣтъ, и она еще не перестала играть въ куклы. Мужемъ ея сдѣлался сосѣдъ по имѣнію, Козминъ, также, какъ и она, круглый сирота и только что достигнувшій шестнадцатилѣтняго возраста. Такіе почти дѣтскіе браки никого не удивляли въ ту отдаленную эпоху, и даже во времена, ближайшія къ намъ. Я хорошо помню, какъ выдали замужъ одну изъ моихъ родственницъ, тринадцатилѣтнюю, и добро бы рано развившуюся, а то маленькую, худенькую дѣвочку, сущаго ребенка. По поводу раннихъ, или, вѣрнѣе, неравныхъ браковъ я разскажу въ концѣ этой главы очень многознаменательное трагическое происшествіе, случившееся тогда въ Чухломскомъ уѣздѣ.

Итакъ, Елизавета Савишна, почти ребенокъ, но красавица, стройная, высокаго роста, одной рукой держала свою любимую куклу, а другою обнимала своего шестнадцатилѣтняго мужа, какъ и она, красиваго, стройнаго и высокаго юношу, который былъ для нее тоже въ родѣ большой куклы, въ родѣ живой и весьма забавной игрушки. Ровно черезъ девять мѣсяцевъ послѣ свадьбы этихъ почти дѣтей, у нихъ родился сынъ, прелестнѣйшее дитя, котораго назвали Александромъ. Счастіе юныхъ родителей было невообразимо: они любовались новорожденнымъ, какъ прелестнѣйшей игрушкой, играли съ нимъ, какъ съ куклою, и цѣлые дни

проводили у его колыбели. Блаженствовала также на нихъ глядя и няня Елизаветы Савишны. Она по прежнему заправляла всѣмъ домомъ и имѣніемъ, а равно и своими несовершеннолѣтними господами, которыхъ держала въ страхѣ и повиновеніи, не дозволяя имъ очень шалить и не въ мѣру рѣзвиться. Однажды юные мужъ и жена остались въ дѣтской одни: кормилица и няня куда-то вышли. Вотъ они и воспользовались безконтрольной свободою, чтобы поиграть въ свою любимую игрушку, т. е. своимъ маленькимъ Сашею. Достали его изъ колыбели, да и давай перебрасывать, какъ мячикъ, другъ другу. А няня-то, воспитательница и домоправительница, и накрыла ихъ, войдя вдругъ въ дѣтскую.

— Ахъ вы молокососы, сорванцы эдакіе! — закричала она въ ужасѣ и всплеснула руками, увидавъ, какъ маленькій Саша перелеталъ изъ рукъ въ руки. — Да что это вы затѣяли? — продолжала она, вырывая ребенка изъ рукъ его малолѣтнихъ родителей. — Вѣдь, эдакъ можете убить своего сына, или сдѣлать его навѣкъ калѣкою, уронивъ на полъ. Вотъ я васъ проучу за это, негодные шалуны! — И, положивъ малютку въ колыбель, строгая няня сейчасъ-же привела въ исполненіе свою угрозу: одного за вихорь, другую за уши, и затѣмъ вытолкала обоихъ изъ дѣтской, сказавъ громко и сердито:

— Вонъ отсюда, когда не умѣете вести себя прилично и смирно! До завтрашняго дня не смѣйте у меня входить въ дѣтскую; а не то я опять надеру вамъ вихоръ и уши.

Супруги убѣжали въ свою спальню, сконфуженные, пристыженные и раскраснѣвшіеся, какъ вареные раки. И только тамъ отвели свою испуганную душу, играя, съ глазу на глазъ, въ куклы, въ игрушки и въ разныя прочія веселыя и пріятныя игры. Года черезъ два у молодыхъ Козминыхъ родился еще сынъ Николай и дочь Надежда. А по прошествіи шести лѣтъ счастливѣйшаго супружества, Елизавета Савишна овдовѣла, на двадцать первомъ году отъ рожденія, будучи въ полномъ расцвѣтѣ молодости, здоровья и красоты. Но не смотря на безпрестанныя и безчисленныя искательства ея руки, она осталась навсегда вдовою, свято чтя и храня въ своемъ сердцѣ память покойнаго мужа и посвятивъ всю себя для счастія своихъ дѣтей, для добрыхъ дѣлъ и утѣшенія ближнихъ.

У нее было прекрасное состояніе, которое, вмѣстѣ съ мужниными, простиралось до семисотъ душъ самыхъ зажиточныхъ и счастливыхъ крестьянъ. Поселившись въ селѣ Лаврентьевскомъ тотчасъ послѣ смерти мужа, она сдѣлалась Провидѣніемъ своихъ и чужихъ, сосѣднихъ, крестьянъ. У нея была большая домашняя аптека, и жили въ ея домѣ подлекарь и

фельдшеръ. Каждый день приходило къ ней множество болѣющихъ, иные изъ дальнихъ мѣстъ. Всѣмъ отпускались лекарства безденежно, при подробномъ наставленіи, какъ ихъ употреблять. Ни одинъ бѣдный, несчастный, страждущій, являясь къ ней во всякое время безпрепятственно, не уходилъ отъ нея безъ помощи, совѣта и утѣшенія. Всякій находилъ у нее привѣтъ и ласковое слово. Никакія разочарованія, потери, обманы или неблагодарность не могли уменьшить или ослабить въ ней стремленіе къ добру, къ пользамъ ближняго. Однимъ словомъ: Елизавета Савишна была высокій идеалъ добродѣтельной, гуманной женщины, настоящее воплощеніе Вѣры, Надежды и Любви, въ самомъ широкомъ значеніи этихъ словъ, и еще въ болѣе широкомъ ихъ примѣненіи на практикѣ.

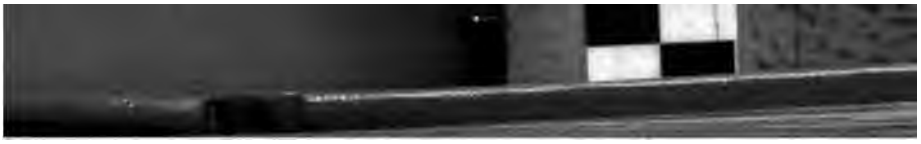
Елизавета Савишна жила открыто, но безъ малѣйшаго транжирства, чопорности или глупой роскоши. Домъ ея былъ полная чаша. Самое любезное, теплое радушіе ожидало въ немъ каждаго гостя. Раза четыре въ годъ у нея бывали большіе съѣзды, обѣды и вечера, но безъ танцевъ, а съ иллюминаціей и фейерверкомъ. Наше сосѣднее семейство было принято въ домѣ Елизаветы Савишны, какъ близкое, родное семейство. Недѣли не проходило, чтобы сосѣди не видались другъ съ другомъ. Я всякій разъ съ восторгомъ ѣхалъ къ Елизаветѣ Савишнѣ, которая любила и баловала меня, словно родного внука. Каждый разъ одаритъ меня чѣмъ нибудь: или игрушкой, или лакомствомъ, — а я былъ страшный лакомка, — или карандашемъ и бумагою, или лоскуточками отъ разныхъ шелковыхъ и бархатныхъ матерій, которые доставляли мнѣ величайшее удовольствіе. Но главною приманкою, прелестію дома Елизаветы Савишны для меня была ея воспитанница и родственница, Анна Александровна Зейфертъ, моя ровесница. Это было самое милое, кроткое, доброе, веселое и живое созданіе, съ прекрасными, большими и умными голубыми глазами и съ лицомъ, отличавшимся не красотою, а необыкновенною миловидностью, выразительностью и симпатичностью, которыя нравятся и привлекаютъ къ себѣ лучше и сильнѣе всякой красоты, холодной и безъ выраженія. Аннета и я нѣжно любили другъ друга, вмѣстѣ играли, бѣгали, рѣзвились, мѣнялись игрушками, дѣлились лакомствами, дѣлали другъ другу подарки и никогда, ни разу не поссорились, что бываетъ чрезвычайно рѣдко между малолѣтними дѣтьми, особенно съ такимъ бурнымъ, живымъ, вспыльчивымъ ребенкомъ, какимъ былъ я. Но у меня, при всей пылкости моего характера, никогда не доставало духу разсердиться на мою невѣсту Аннету, и насъ всегда называли невѣстой и женихомъ. При одномъ взглядѣ большихъ и кроткихъ голубыхъ глазъ Аннеты на меня, я становился кроткимъ и по-

слушнымъ и готовъ былъ отдать все, чтобы только не огорчить свою невѣсту, готовъ былъ на колѣняхъ просить, молить ее о прощеніи меня за нетерпѣливое слово или жестъ.

Сыновья Елизаветы Савишны давно уже были на службѣ. Старшій, Александръ Иванычъ, былъ инженернымъ полковникомъ и увѣшанъ орденами; а младшій, Николай Иванычъ, служилъ во флотѣ капитанъ-лейтенантомъ. Время отъ времени пріѣзжали въ отпускъ, и тогда жизнь въ Лаврентьевскомъ становилась еще веселѣе и оживленнѣе. Дочь Елизаветы Савишны засѣла въ старыхъ дѣвахъ и жила съ матерью, которая казалась скорѣе дочерью, чѣмъ матерью Надежды Ивановны, такъ эта послѣдняя была старообразна, а Елизавета Савишна моложава. Однакожъ, въ концѣ концевъ, эта старая дѣва нашла себѣ жениха и вышла за какого-то нѣмецкаго проходимца, который потомъ былъ убитъ своими дворовыми людьми за жестокое обращеніе съ ними. Разскажу теперь любопытный случай или, вѣрнѣе, потрясающую драму, случившуюся въ Чухломскомъ уѣздѣ вслѣдствіе брака малолѣтней со старикомъ.

Въ одномъ богатомъ экономическомъ селѣ (что нынѣ государственные крестьяне) выдали одну хорошенькую крестьянку, двѣнадцатилѣтнюю дѣвочку, за пятидесятилѣтняго и богатаго старика, и выдали насильно, не взирая на слезы, рыданія и отчаяніе дѣвицы-ребенка, которая объявила во всеуслышаніе своимъ жестокосердымъ родителямъ, а равно и роднымъ своего стараго и противнаго жениха, что она ненавидитъ его и что, сдѣлавшись его женою, наложитъ на себя руки или убьетъ своего мужа. Но ничего не помогло: бѣднаго ребенка обвѣнчали съ ненавистнымъ старикомъ. Прошло два года, въ продолженіи которыхъ молодая и красивая жена постоянно бѣгала отъ своего мужа и безпрестанно повторяла, что убьетъ его. И она исполнила эту угрозу.

Въ одинъ рабочій лѣтній день, когда старый мужъ, возвратясь съ полевой работы, выпилъ стаканъ водки, плотно пообѣдалъ и завалился спать на сѣнникѣ, его четырнадцатилѣтняя жена взяла топоръ, отправилась на сѣнникъ и съ одного, или съ двухъ разъ отрубила голову ненавистному мужу и, вся обагренная его кровью, возвратилась въ избу и объявила тамъ роднымъ мужа, что она исполнила, наконецъ, свое обѣщаніе и убила своего стараго и гадкаго мужа. Мой отецъ служилъ тогда исправникомъ въ Чухломѣ. Тотчасъ произведено было слѣдствіе и преступница отдана подъ судъ. Но, какъ несовершеннолѣтняя, она не подлежала всей строгости закона; ее только отдали на два года въ монастырь на покаяніе.



Прошло послѣ того нѣсколько лѣтъ. Отецъ мой пріѣхалъ, по одному дѣлу, въ село, гдѣ произошла мрачная супружеская драма. День былъ воскресный и лѣтній. На широкой улицѣ села кружился хороводъ нарядныхъ крестьянокъ, которыя, въ Чухломскомъ уѣздѣ, одѣваются съ большимъ щегольствомъ и вкусомъ. Отецъ подошелъ къ хороводу. Ему бросилась въ глаза молодая, высокая, стройная крестьянка и красавица собою. Черты ея лица, смѣлаго и умнаго, показались ему знакомыми. Молодая крестьянка замѣтила вниманіе, съ какимъ разсматривалъ ее исправникъ. Она подошла къ нему, поклонилась и сказала ему веселымъ и громкимъ голосомъ:

— Здравствуйте, Петръ Петровичъ! Узнаете-ли вы меня?

— Что-то знакомое, но не припомню, кто ты.

— А помните-ли, какъ вы допрашивали меня нѣсколько лѣтъ тому назадъ, когда я отрубила голову моему старому и гадкому мужу?

Отецъ припомнилъ тогда всю эту кровавую драму и былъ сильно взволнованъ этимъ воспоминаніемъ. По минованіи срока заключенія въ монастырѣ, молодую преступницу возвратили на жительство въ ея родное село, гдѣ и жила она у своего отца. Несмотря на ея молодость и красоту, она не выходила замужъ: всѣ женихи, и молодые и старые, боялись и обѣгали ее. Вскорѣ послѣ того меня увезли на службу въ Варшаву, и я уже не слыхалъ, вышла ли замужъ молодая вдова красавица и убійца своего мужа.

IX.

Разочарованная стряпчиха и наказанный стряпчій.

Процвѣталъ въ Чухломѣ нѣкій Костровъ, стряпчій, страстный любитель, виртуозъ взяточничества; но жена стряпчаго еще болѣе обожала взятки и была, такъ сказать, возбудительницею, наставницею, руководительницею и поощрительницею своего мужа въ этомъ великомъ искусствѣ, перешедшемъ къ намъ, вмѣстѣ съ золотухою, отъ прежнихъ приказовъ и подъячихъ, которые, въ свою очередь, заимствовали эту нравственную проказу отъ татарскихъ баскаковъ. Итакъ, всякій разъ, когда чухломскій стряпчій отправлялся въ уѣздъ на слѣдствіе, онъ получалъ отъ жены подробную инструкцію, какъ дѣйствовать, чтобы поболѣе зацѣпить красненькихъ и, въ особенности, бѣленькихъ. А по возвращеніи домой долженъ былъ отдать женѣ строгій отчетъ въ каждой копѣйкѣ.

И если были имъ довольны, т. е. когда бѣленькихъ или хоть красненькихъ привозилась изрядная толика, то его хвалили, называли умницей, цѣловали въ лобъ и въ губы, и къ обѣду приготовляли для него лишнее и вкусное блюдо. А когда были недовольны, то ему говорили дурака, олуха царя небеснаго, поворачивались къ нему спиной и, вмѣсто лишняго, обѣдъ сокращался на одно блюдо, что было самымъ чувствительнымъ наказаніемъ для стряпчаго, который, сверхъ своего взяточничества, славился необыкновеннымъ прожорствомъ и уродливою тучностію своей фигуры.

Въ эпоху, описываемую мною, еще не было и помина о министерствѣ государственныхъ имуществъ, а существовали тогда экономическіе крестьяне, составлявшіе блаженство исправниковъ, засѣдателей, стряпчихъ и уѣздныхъ лекарей. Мертвое тѣло, найденное въ экономическомъ селеніи, или вблизи, составляло такое событіе, которое наполняло живѣйшею радостью сердца вышеупомянутыхъ должностныхъ лицъ. Разъ какъ-то съѣхались два исправника сосѣднихъ уѣздовъ и разговорились между собою.

— А какъ идутъ твои дѣла? — спросилъ одинъ у другаго.

— Да что! Изъ рукъ вонъ какъ скверно: всего только пять мертвыхъ тѣлъ въ продолженіе цѣлаго года.

— Ну, а у меня благодать Божія: восьмнадцать мертвыхъ тѣлъ въ продолженіе года; и все, по большей части, въ экономическихъ деревняхъ. Явная милость Божія.

Однажды, во время исправничества одного великаго «хапуна», нашли мертвое тѣло въ одномъ богатомъ экономическомъ селѣ. Весь чухломскій земскій судъ вострепеталъ отъ радости «веліей», а съ нимъ вмѣстѣ и стряпчій, но въ особенности стряпчиха, которая надавала тьму наставленій мужу, отправлявшемуся на слѣдствіе вмѣстѣ съ исправникомъ.

Но увы! Порою самыя лучшія надежды людей, въ особенности стряпчихъ и женъ ихъ, превращаются въ мыльный пузырь. Точно также случилось и на этотъ разъ. Дѣло о мертвомъ тѣлѣ было такъ чисто, такъ ясно, что, не смотря на все живодерное искусство исправника и стряпчаго съ братіей, притѣснить, запутать, скрутить, запугать крестьянъ и содрать съ нихъ какую либо взятку, не было никакой возможности. А только, въ день выѣзда слѣдователей изъ села, угостили ихъ наисытнѣйшимъ и наижирнѣйшимъ обѣдомъ и всевозможными настойками, сантуринскимъ, медомъ и полпивомъ. Съ горя обманутыхъ надеждъ, стряпчій ѣлъ и пилъ за пятерыхъ, и страшнѣйшимъ образомъ набилъ свою необъятную утробу жирными яствами,

полпивъ это нѣсколькими бутылками полпива. Вдругъ, въ концѣ обѣда, прискакалъ изъ города гонецъ съ извѣстіемъ, что ѣдетъ губернаторъ и, къ утру, долженъ прибыть въ Чухлому. Страшно переполошила слѣдователей эта вѣсть. Мигомъ собрался исправникъ и, усѣвшись въ свою безрессорную бричку вмѣстѣ со стряпчимъ, велѣлъ гнать лошадей какъ можно скорѣе въ городъ. Отъ сильной тряски во время скорой ѣзды въ нерессорномъ экипажѣ по неровной дорогѣ, и отъ жирнаго обѣда съ полпивомъ, въ утробѣ стряпчаго произошла страшная революція.

— Стой, стой! — закричалъ онъ кучеру исправника оторопѣлымъ голосомъ.

— Пошелъ, пошелъ скорѣе! — кричалъ въ свою очередь исправникъ. — Какъ это можно останавливаться, когда губернаторъ на носу! Съ ума ты, братецъ, сошелъ, что-ли?

— Батюшка, Андреянъ Ѳедорычъ! Ради самаго Христа вели остановиться на минуточку. Мнѣ крѣпко нездоровится, просто не втерпежъ; животики надорвало отъ тряски.

— Полно, братецъ! Доѣдешь какъ нибудь. Не велика бѣда, если что и приключится съ тобою въ дорогѣ; вѣдь не умрешь отъ этого.

Какъ стряпчій ни упрашивалъ остановиться, исправникъ былъ непреклоненъ и бричка продолжала свой быстрый путь, немилосердо подпрыгивая въ выбоинахъ и рытвинахъ дороги. Ну и приключилось съ бѣднымъ стряпчимъ нѣчто... Въѣхали, наконецъ, въ городъ. Исправникъ завезъ своего спутника на его квартиру и самъ поѣхалъ къ себѣ на домъ. Придерживая одной рукою свое платье, толстѣйшій стряпчій взобрался по лѣстницѣ къ себѣ въ комнаты и предсталъ предъ очи своей благовѣрной любительницы всякихъ посильныхъ и насильныхъ приношеній. При видѣ возвратившагося мужа, стряпчиха бросилась къ нему въ припрыжку и, глядя умильно ему въ глаза, трепля рукою по боковому карману его сюртука, заговорила радостнымъ голосомъ:

— Ахъ ты мой душенька! Насилу я тебя дождалась. Ну, что? Тутъ-то у тебя много? — И она продолжала трепать мужа по карману.

— Ахъ, душенька! Тутъ-то у меня очень мало, но за то здѣсь-то у меня куда какъ много, — отвѣчалъ стряпчій, перенося свою руку отъ бокового кармана къ той части платья, которую придерживалъ онъ другой рукой.

Бѣдный стряпчій долженъ былъ вытерпѣть жесточайшую головомойку отъ своей душеньки и, сверхъ того, подвергнуться домашнему наказанію: въ продолженіе двухъ дней, вмѣсто обычныхъ четырехъ, получалъ только по два блюда для своего обѣда и сильно отощалъ, такъ что на третій

день отправился обѣдать къ головѣ, котораго заранѣе предупредилъ о своемъ посѣщеніи. За тоже и объѣлся у него такъ, что послѣ обѣда не успѣлъ добѣжать до своей квартиры, какъ его постигла та же участь, что и за три дня передъ тѣмъ, во время возвращенія со слѣдствія изъ экономическаго села.

X.

Галлерея губернаторскихъ портретовъ *).

Въ «Еженедѣльномъ Новомъ Времени» за 1879 годъ былъ помѣщенъ интересный разсказъ Г. Лѣскова, подъ заглавіемъ «Русскіе Антики». Въ немъ, между прочимъ, опредѣлено значеніе губернатора и его власти въ первой четверти нашего столѣтія. Вотъ что и какъ объ этомъ сказано:

«Губернаторы сидѣли въ своихъ центрахъ какъ царьки: доступъ къ нимъ былъ труденъ и представленіе имъ «сопряжено со страхомъ»; они всѣмъ норовили говорить «ты», всѣ имъ кланялись въ поясъ, а иные по усердію даже земно; протопопы ихъ «срѣтали» съ крестами и святою водою у входа во храмы, а подрукавная знать чествовала ихъ выраженіемъ низменнаго искательства и едва дерзала въ лицѣ немногихъ избранныхъ своихъ представителей просить ихъ «въ воспріемники къ купели». И они, даже когда соглашались снизойти до такой милости, держали себя царственно: они не ѣздили крестить сами, а посылали вмѣсто себя чиновниковъ особыхъ порученій или адъютантовъ, которые отвозили «ризки» и принимали почетъ «въ лицѣ посланнаго». Все тогда было величественно, степенно и серьезно» **).

Опредѣленіе это весьма рельефно и вполнѣ вѣрно. Съ моей стороны и я могу поразсказать кое-что изъ слышаннаго мною когда-то отъ моего отца и отъ другихъ правдивыхъ и компетентныхъ людей о губернаторахъ той эпохи, и даже о нѣкоторыхъ губернаторшахъ.

---

*) Глава эта и слѣдующая за ней написаны въ іюнѣ нынѣшняго 1881 г.

**) Во время моей первой отставки въ 1834 и 1835 году я жилъ у моего дяди, Мичурина, въ его имѣніи, въ полутора верстахъ отъ Солигалича, и хорошо зналъ чудака Рыжова, этого воплощенія высокой честности и безкорыстія и героя разсказа г. Лѣскова.

I.

Пасынковъ.

Служилъ, или вѣрнѣе, сидѣлъ на костромскомъ «царствѣ», въ десятыхъ годахъ, губернаторъ Пасынковъ, великій дѣлецъ и законникъ, что однако-жъ не мѣшало ему дѣлаться порою и великимъ беззаконникомъ и быть первокласснымъ взяточникомъ. Гроза всей губерніи, страшно дерзкій и на языкъ и на руку, онъ заставилъ все и всѣхъ и трепетать передъ собою, и ненавидѣть себя. Наконецъ мѣра беззаконій его переполнилась. Несмотря на воловье терпѣніе, на овечью податливость, на заячью трусливость, на гомеопатическое самолюбіе и картезіанскую молчаливость славянской натуры вообще, а тогдашняго «рассейскаго» общества въ особенности, послышался сперва глухой ропотъ, а потомъ стало раздаваться все громче и громче всеобщее негодованіе; полетѣли въ Петербургъ жалобы, доносы, стали собираться тучи надъ головою костромскаго царька, и наконецъ, гроза разразилась надъ нимъ: наряжено было слѣдствіе и его отдали подъ судъ.

Быть отданнымъ подъ судъ въ наше время, когда пословица «Не бойся суда, а бойся судьи» сдѣлалось анахронизмомъ, есть дѣло самое обыкновенное, заурядное, такъ сказать плевое. Но не такъ было въ описываемую мною эпоху. Слово «Уголовная Палата» была тогда пугаломъ, страшилищемъ въ глазахъ всѣхъ служащихъ и неслужащихъ. Попасть въ уголовную палату считалось безчестіемъ, неизгладимымъ позоромъ, вѣчнымъ несмываемымъ пятномъ, а сверхъ того, часто и разореніемъ для людей состоятельныхъ; и потому всѣ дрожали отъ страха при одной мысли быть постигнутымъ такимъ неизбывнымъ несчастіемъ. Вотъ тогда-то и царила всесильно пословица «Не бойся суда....»

Итакъ, грозный губернаторъ подъ слѣдствіемъ и затѣмъ подъ судомъ. Судьями его были строгіе, суровые дѣльцы и законники. Но тогдашняя огромная и тяжелая колесница, на которой возсѣдала и разъѣзжала «рассейская» Ѳемида, обладала необыкновенною эластичностью и самыми противоположными свойствами: она могла раздавить быка и даже слона, и могла переѣхать черезъ котенка, не оцарапнувъ его. Все зависѣло отъ того, хорошо или дурно были смазаны оси этого юридическаго экипажа. Дѣло Пасынкова, т. е. судъ надъ нимъ производился энергично и умѣло и грозилъ ему... ухъ какими ужасами! Но такъ какъ у костромскаго экс-царька былъ огромный запасъ юридической мази, которой и не жалѣлъ онъ для смазки осей у экипажа г-жи Ѳемиды, то, въ концѣ

концовъ, громадная колесница переѣхала черезъ него такъ искусно, ловко и «осторожно», что *почти* не задѣла его, т. е. говоря безъ аллегоріи, онъ былъ *почти* совершенно оправданъ; оставалось только исполнить одну неважную, малехонькую формальность; словомъ: дѣло Пасынкова, какъ говорятъ нынѣ, «выгорѣло». Но еще Юлій Кесарь когда-то сказалъ: «въ политикѣ ничего не сдѣлано, пока остается что нибудь сдѣлать». А вѣдь администрація—родная сестра политики, а юриспруденція—кума ей. Мы видѣли также, что въ дѣлѣ Пасынкова оставалось одно *почти*, хотя и малешенькое, но все-таки это была закорючка.

Вѣруя въ чудодѣйственную силу своей мази и вполнѣ увѣренный въ своемъ оправданіи, на радостяхъ и наканунѣ формальнаго объявленія ему объ этомъ счастливомъ исходѣ, Пасынковъ задалъ своимъ судьямъ пиръ на славу и угостилъ ихъ поцарски. Когда, послѣ пиршества, гости его стали разъѣзжаться, то, прощаясь съ ними, тароватый амфитріонъ, подъ вліяніемъ выпитаго шампанскаго, не могъ удержать свой злой языкъ и имѣлъ неосторожность сказать имъ: «Не правда ли, господа, какъ справедлива пословица: «*Богъ не выдастъ, свинья не съѣстъ*». Гости поморщились и переглянулись между собою. А выйдя въ сѣни, сказали вполголоса: «врешь, каналья! И свинья можетъ съѣсть, пока ты не вышелъ изъ ея хлѣва». На другой же день дѣло Пасынкова мигомъ перевернули, и вскорѣ вышло рѣшеніе: «Такой-то отставляется отъ службы, чтобы впредь никуда его не принимать». Это значило—политическая смерть для сановниковъ той эпохи.

II.

Островскій.

Правилъ когда-то Костромской губерніей, или, вѣрнѣе, тиранствовалъ въ ней нѣкій, кажется Островскій, если память не обманываетъ меня,—сердитый, свирѣпый, злой, который ругалъ цензурно и нецензурно, позорилъ и чуть не билъ своихъ подчиненныхъ, т. е. чиновниковъ всей губерніи наповалъ. Разъ одному чухломскому уѣздному судьѣ онъ сказалъ въ самомъ присутствіи и при зерцалѣ:

— Съ такимъ болваномъ, осломъ, какъ ты, я вотъ что сдѣлаю: сейчасъ велю принести сюда веревку, велю ввинтить въ потолокъ кольцо, и на этой веревкѣ, на этомъ кольцѣ повѣшу тебя, скотину.

А съ [illegible]мъ исправникомъ сотворилъ онъ вотъ что. Дѣло было осеннее, слякотное. Одно мѣсто по дорогѣ, на протяженіи почти версты,

было очень топко. Исправникъ распорядился сдѣлать тутъ деревянную мостовую изъ бревенъ неотесанныхъ, а кругляками. Несмотря на рессорный экипажъ, проѣздъ губернатора по этой мостовой былъ не совсѣмъ комфортабеленъ. Разумѣется, вслѣдъ за нимъ, ѣхалъ и исправникъ на простой телѣгѣ, но на ухарской тройкѣ. Проѣхавъ черезъ мостовую, губернаторъ велѣлъ остановиться и, въ позѣ разгнѣваннаго Юпитера громовержца, закричалъ зычнымъ голосомъ на трепещущаго исправника:

— Что это у тебя за мостовая, каналья ты эдакая! Да я тебя! да ты у меня! Въ бараній рогъ согну, бестію! Разобью, уничтожу, испепелю! Эй, ты!—обратился онъ къ ямщику исправника. — Поворачивай телѣгу назадъ и скачи во весь духъ по мостовой, а доскакавши до конца, поверни и назадъ тоже во весь духъ. И такимъ образомъ продолжай, пока не прикажу остановиться. Только смотри у меня: во весь духъ. Полтину на водку, или запорю.—Ну, ямщика не запороли: онъ поусердствовалъ и полтину получилъ. Разъ пять совершилась эта сказка, хотя и «безъ препятствій», но съ сильнѣйшими ощущеніями. И добро бы еще «на призъ», а то на «встряску и на костоломку». Бѣдный исправникъ! Всѣ внутренности у него переболтались, перевернулись; всѣ косточки разшатались, не говоря уже о томъ, что душа ушла въ пятки, да и изъ пятокъ-то чуть не выскочила.

III.

Кочетовъ.

Благодушествовалъ еще въ Костромѣ губернаторомъ нѣкто Николай Ивановичъ Кочетовъ. Это былъ противоположный полюсъ Островскаго. Честнѣйшій, добрѣйшій, милѣйшій господинъ, который не только дѣломъ или словомъ, но и взглядомъ никого не обидѣлъ. Его любимая поговорка была: «Объ одномъ молю я моего Создателя: чтобы, въ мое служеніе здѣсь, ни одинъ чиновникъ, ни одинъ человѣкъ не былъ отданъ подъ судъ». Память его долго жила и была благословляема всѣми сословіями Костромской губерніи. Это, какъ я узналъ позднѣе, былъ родной дядя моей тещи (урожденной Кочетовой), ангела доброты и незлобія, матери моей первой жены, Болтиной, другаго ангела, слишкомъ рано отлетѣвшаго Туда, на свою ординну, на Небо. О ней будетъ рѣчь въ девятой книгѣ этихъ «Воспоминаній».

IV.

Ланской.

Въ началѣ этой главы я говорилъ о статьѣ г. Лѣскова, въ которой онъ упоминалъ о Сергѣѣ Степанычѣ Ланскомъ, правившемъ Костромской губерніей въ началѣ тридцатыхъ годовъ. Это былъ баринъ, вельможа въ полномъ смыслѣ этого слова. Честнѣйшій и благороднѣйшій человѣкъ, врагъ взятокъ, онъ, съ тѣмъ вмѣстѣ, держалъ себя невообразимо гордо, надменно и величественно; вѣжливый съ хорошими и честными чиновниками, онъ трактовалъ съ подавляющимъ презрѣніемъ, en canaille, тѣхъ, о которыхъ узнавалъ что нибудь дурное, некрасивое, нечестное. Вотъ какъ однажды отдѣлалъ онъ солигаличскаго исправника, кажется Насонова. Это былъ рослый, здоровеннѣйшій мужичина.

— Вамъ служить бы не по дворянскимъ выборамъ, для которыхъ вы не годитесь; а слѣдовало бы отдать васъ въ солдаты, забрить вамъ лобъ, поставить васъ во фронтъ, на правый флангъ первой шеренги, дать вамъ въ руки солдатское ружье и заставить васъ маршировать и ружьемъ дѣлать. Вотъ тогда вы были бы на своемъ мѣстѣ.

V.

Пр.. .нскій.

Говорилъ я уже выше, что все и всѣ брали взятки въ ту скифо-татарскую эпоху. А кто могъ брать и не бралъ, на того смотрѣли какъ на урода съ тремя ногами или двумя головами. Вся разница состояла въ томъ, что чиновная мелюзга: .судьи, стряпчіе, исправники, секретари, засѣдатели, и пр. и пр., цапали и большіе, многосотенные, а порою и тысячные куши, но довольствовались и маленькими, красненькими и синенькими за подписью «Хованскаго»; а иной разъ и парой гусей или поросятъ. И то ладно, и то давай сюда. «Моя Марья, Прокофьевна очень любитъ жаренаго гуся... А моя Шурочка,—видно предшественница Чичикова,—обожаетъ поросенка подъ хрѣномъ». Ну, а губернатору поросенка не поднесешь. Ему и красненькой, и бѣленькой мало. Такимъ мизеромъ не стоитъ и рукъ губернаторскихъ марать. Ему подавай куши тысячные, а порой и многотысячные. «Большому кораблю большое плаванье». Но въ серединѣ тридцатыхъ годовъ сидѣлъ на ко-

стромскомъ губернаторствѣ нѣкій Пр....нскій. Это былъ, если хотите, человѣкъ вовсе не свирѣпый, а напротивъ, очень и очень добрый, кроткій, мягкій, благодушный. Кодексъ его административной дѣятельности состоялъ изъ единственнаго правила: «Всякое даяніе благо, и всякъ даръ совершенъ». Поэтому онъ не гнушался никакими даяніями и дарами: будь это тысячи, сотни, красненькія, синенькія, все хорошо, все давай сюда. Говорили, что разъ,—а можетъ быть и не разъ,—отъ одной бабы онъ милостиво принялъ прошеніе... виноватъ, не то: «сотню яицъ», а по словамъ другихъ—*полсотни*.... Принималъ ли онъ гусей и поросятъ, мѣстная хроника объ этомъ умалчивала. Такой міровой вопросъ могли рѣшить только костромскія бабы. Ну, а что до яицъ, то объ этомъ говорили, и не однѣ бабы.

VI.

Безобразовъ.

Случились еще и вотъ какіе губернаторы: гроза для чиновниковъ нерадивыхъ и, въ особенности, «магарычниковъ», а сами взятки брали, но какъ? Вотъ въ томъ-то и штука. Напримѣръ: главноначальствовалъ въ Ярославлѣ въ двадцатыхъ годахъ Безобразовъ, человѣкъ умный, дѣльный, энергическій, строгій, но справедливый. Его боялись, но уважали. Онъ тоже иногда «бралъ», но только почтенными кушами, и вотъ какъ и для чего.

Какъ скоро кто нибудь изъ ярославскихъ индивидуумовъ крупно провинится, сотворитъ такую вещь, за которую можно попасть не только въ острогъ, да пожалуй куда и подальше «въ мѣста отдаленныя», и если это былъ человѣкъ состоятельный, денежный—купецъ ли, дворянинъ ли, все равно,—онъ сейчасъ къ губернатору, и бухъ ему въ ноги:

— Батюшка, ваше превосходительство! Помогите, не погубите; стряслась на меня бѣда, приключилось то-то и то-то. Спасите, отецъ вы нашъ родной! Каюсь, попуталъ окаянный, меня грѣшнаго. Никогда больше этого не случится.

Ну, если вина не изъ самыхъ тяжкихъ, не изъ непрощаемыхъ, то и помилуютъ, и спасутъ. Послѣ важнѣйшаго распеканія и разруганія, главноначальствующій и вымолвитъ.

— Хорошо, я тебя помилую; но за это долженъ ты принести мнѣ столько-то тысячъ,—смотря по винѣ и по состоятельности провинив-

шагося. И требуемыя деньги приносились немедленно и охотно: и шли онѣ не въ карманъ начальника губерніи; нѣтъ, сохрани Боже! А шли онѣ на какое нибудь благотворительное или богоугодное дѣло. Разъ одного крупнаго гильдейскаго туза, за избавленіе отъ послѣдствій какой-то крупной пакости, за которую могъ онъ прогуляться по Владимиркѣ, Безобразовъ заставилъ выстроить новый, каменный мостъ черезъ Которость. Мостъ этотъ здорово вскочилъ въ карманъ провинившагося, но за то спасеннаго отъ бѣды гильдейца, а Ярославль украсился прекраснымъ сооруженіемъ.

Теперь упомяну здѣсь о нѣкоторыхъ губернаторахъ позднѣйшей эпохи, сороковыхъ годовъ, которые уже не «царствовали», а просто губернаторствовали, а иные, притомъ, и чудили, самодурили... Chacun a son goût. Отчего-жъ и губернаторамъ не имѣть своего вкуса?... Помилуйте.

VII.

С—новъ.

Калужскій губернаторъ. Это былъ въ полномъ смыслѣ джентльменъ: благовоспитанный, образованный, изъ высшаго круга и въ высшей степени честный, благородный и вовсе не злой, а напротивъ. Но и у него было свое *но*... Да кто же бываетъ безъ *но*. Онъ былъ горячъ, какъ экваторіальный полдень, вспыльчивъ, или вѣрнѣе, удобовоспламеняемъ какъ гремучее серебро или нитроглицеринъ. А какъ разъ вспылитъ, такъ и пошелъ, и пошелъ, безъ удержу. Упаси Боже попасться ему тогда подъ руку. И если бы примѣрно, кто кого нибудь побилъ, да только пожаловался бы ему первый, тотъ и правъ, а побитый выйдетъ виноватымъ и распеченнымъ страшнѣйшимъ образомъ. Однажды обѣдалъ у него одинъ изъ уѣздныхъ предводителей дворянства. Между прочимъ, онъ горько жаловался начальнику губерніи на одного становаго пристава, превосходно знающаго свое дѣло, усерднаго, исполнительнаго и энергическаго служаку, но по временамъ шибко зашибающему и тогда adieu mon plaisir. Онъ буйствовалъ и безобразничалъ страшнѣйшимъ образомъ. На эту жалобу губернаторъ сказалъ:

— Пришлите ко мнѣ поскорѣе этого становаго; я задамъ ему такую распеканцію, такъ пугну его, что онъ навѣрное исправится.

Дня черезъ три послѣ этого разговора, губернаторъ вышелъ зачѣмъ-то въ залъ и услышалъ, что кто-то вошелъ изъ сѣней въ прихожую.

Онъ подходитъ къ двери и видитъ какого-то, только что вошедшаго господина, среднихъ лѣтъ, очень приличнаго, который собирался снять съ себя пальто. Губернаторъ вообразилъ, что это становой, присланный къ нему предводителемъ и, безъ дальнихъ справокъ, какъ ураганъ налетѣлъ на него, и пошелъ, и пошелъ.

— Какъ это служишь ты? Что это за служба? Да ты у меня! Да я тебя! Ахъ ты такой, эдакой! Пьянчужка, безобразникъ эдакой! Да сохрани тебя Боже, если не перестанешь, не исправишься! Я тебя упрячу, куда Макаръ телятъ не гонялъ!

Это былъ настоящій потокъ лавы, но только не изъ Этны или Везувія, всесожигающій, всепепелящій, а изъ сѣверной администраторской сопки, потокъ словъ всераспекающій и всеразругивающій. Вошедшій господинъ стоялъ неподвижно, пересталъ снимать съ себя пальто и во всѣ глаза смотрѣлъ на сѣверную сопку, съ видомъ спокойнаго, созерцательнаго изумленія. А когда наступила пауза, онъ спросилъ превосходительнаго крикуна.

— Что, кончили вы?

Изверженіе возобновилось и снова кончилось. Вѣдь всему бываетъ конецъ, даже и губернаторскимъ изверженіямъ. Тогда пришедшій заговорилъ тихо, хладнокровно и съ достоинствомъ:

— Ну, что, досыта накричались? Я слышалъ, что калужскій губернаторъ сумасшедшій, но не вѣрилъ. Теперь вѣрю, потому что самъ видѣлъ и убѣдился, что онъ дѣйствительно сумасшедшій. Я—полковникъ такой-то, пріѣхалъ на время въ свое калужское имѣніе и, разумѣется, счелъ своею обязанностью явиться и засвидѣтельствовать свое почтеніе начальнику губерніи. Но теперь этого не сдѣлаю, потому что не имѣю ни малѣйшаго желанія знакомиться съ сумасшедшими. Прощайте.

И затѣмъ вышелъ изъ прихожей, оставя сѣверную сопку клокотать и извергать бранную лаву. Но только уже ни клокотанія, ни лавы больше не было, а оказался лишь одинъ огромный носъ, наклеенный мнимымъ становымъ не мнимому, а дѣйствительному начальнику Калужской губерніи.

VIII.

Хо—нъ.

Это былъ военный генералъ, который, въ сороковыхъ годахъ, изумилъ Воронежскую губернію. Онъ былъ человѣкъ вполнѣ честный и, по

части даяній, ни, ни.... Но, горячій, вспыльчивый до бѣшенства и, сверхъ того, взбалмошный, сумасбродный самодуръ, не признававшій никого и ничего, кромѣ своей воли, своей фантазіи, каприза или минутнаго наитія и въ добавокъ, какъ военный генералъ, совершенный профанъ въ дѣлахъ администраціи. Однажды въ губернскомъ правленіи разбиралось какое-то важное дѣло. Мнѣнія присутствующихъ раздѣлились: на одной сторонѣ былъ губернаторъ, только одинъ онъ; а на другой—всѣ остальные члены губернскаго присутствія. Губернаторъ не уступалъ, не соглашался съ мнѣніемъ большинства, настаивалъ на своемъ и, по своему обыкновенію, ужасно горячился, сердился, выходилъ изъ себя, словомъ ломился въ проконсулы, въ диктаторы.

— Да вѣдь нельзя же такъ, ваше пр.—, говорили ему члены совѣтники.—Вѣдь на это есть законъ, а онъ въ этомъ дѣлѣ не на вашей сторонѣ.

— Законъ! Законъ! Какой это законъ?

— Какъ какой? Да сводъ законовъ; вотъ онъ лежитъ на столѣ передъ вами.

— Законъ, законъ! А вотъ вамъ законъ, — и, схвативъ со стола сводъ законовъ, положилъ его на свое кресло и затѣмъ сѣлъ на него, прогремѣвъ:—я вамъ законъ!—И такимъ образомъ попралъ «рассейскій» законъ, и добро бы попралъ пятою, а то....

Бѣдный «рассейскій» законъ, который когда-то такъ безцеремонно, такъ зазорно могли попирать и не пятою... И кто же? Его блюстители и охранители.... Васъ немножко стошнило отъ этого разсказа, любезный читатель? Не правда ли? Ну, такъ я разскажу вамъ о другомъ губернаторѣ, отъ котораго вамъ сдѣлается легко и повеселѣетъ на сердцѣ; котораго я лично и хорошо зналъ, и памяти котораго приношу теперь дань глубокаго уваженія.

IX.

Зуровъ.

Ельпидифоръ Антіоховичъ Зуровъ, генералъ-маіоръ, былъ тульскимъ губернаторомъ въ концѣ тридцатыхъ годовъ. При назначеніи въ губернаторы военныхъ, большею частію бываетъ такъ: не подготовленные ни юридически, ни административно и, стало быть, вовсе незнакомые ни съ законами, ни съ административными порядками и правилами, они

обыкновенно бываютъ плохими начальниками губерній, хотя, быть можетъ, и были до того времени отличными военными начальниками и отцами-командирами. Наичаще они подчиняются вліянію правителей своихъ концелярій, или какого либо чиновника особыхъ порученій, и порою состоятъ у нихъ въ полной зависимости, бываютъ водимы за свои превосходительные носы. Не таковъ былъ Ельпидифоръ Антіоховичъ. Умный, дѣятельный, энергическій, съ характеромъ твердымъ и рѣшительнымъ, тотчасъ же по вступленіи въ новую и незнакомую ему должность, онъ серьезно и пристально взялся за изученіе порядковъ и правилъ административныхъ, превосходно изучилъ ихъ и потомъ самолично и самостоятельно принялся управлять губерніей, и не только что не былъ водимъ за носъ, но самъ велъ дѣла и водилъ все и всѣхъ за носъ, когда это было необходимо для пользы службы. А правитель его канцеляріи не былъ уже первымъ послѣ губернатора лицомъ, такъ сказать козырнымъ тузомъ администраціи. А былъ онъ просто первымъ писцомъ губернаторской канцеляріи.

Ельпидифоръ Антіоховичъ былъ образцомъ высокой честности и безкорыстія. У него не было никакого состоянія, ровно ничего, кромѣ жалованья, которое тогда было весьма невелико, не составляло и третьей части нынѣшняго губернаторскаго содержанія. Но бравый воинъ вполнѣ довольствовался своимъ мизернымъ окладомъ, жилъ донельзя скромно и просто, т. е. «по одежкѣ протягивалъ ножку». Обѣдовъ и баловъ — никакихъ, и держалъ одну лошадь съ пролеткой, хоть и былъ въ полной порѣ жизни и здоровья, когда хотѣлось бы пожить получше. И могъ бы онъ такъ пожить, всенепремѣнно могъ бы пожить въ полное свое удовольствіе, захоти только принимать къ себѣ съ задняго, а хоть и съ передняго крыльца разныхъ эдакихъ приносителей и дателей разныхъ эдакихъ кушей, порою весьма привлекательныхъ и соблазнительныхъ. А когда же въ «рассейской» имперіи переводились такіе датели и, въ особенности, приниматели? Но Ельпидифоръ Антіоховичъ былъ не изъ такихъ. Его тошнило и коробило при одной мысли о существованіи такихъ дателей и принимателей. Вотъ, въ одинъ прескверный день, вваливается къ нему въ кабинетъ полновесная, откормленная туша управляющаго тульскимъ откупомъ, каковые управляющіе въ то время тоже разыгрывали какую-то роль, и страшно, безобразно, покабацки важничали. Дѣло, по которому ввалилась въ кабинетъ кабацкая туша, было весьма важное, крупное, казусное. Вотъ онъ, эта самая туша и начинаетъ подползать къ Ельпидифору Антіоховичу; и такъ, и сякъ, то обинякомъ, то полупамекомъ.

— Ваше, молъ, превосходительство! Не откажите въ высокомъ вашемъ содѣйствіи и покровительствѣ. Дѣло-то это, впрочемъ, плевое, да для насъ-то оно важно. А мы съ своей стороны за благодарностью не постоимъ. Да съ дуру-то эта туша возьми да и вынь изъ кармана толстѣйшую пачку ассигнацій, такъ тысячъ въ двадцать пять, да и положи на столъ передъ бравымъ, честнымъ воиномъ. Ну что говорить, кушъ важнѣющій. Имъ можно было соблазнить девять десятыхъ изъ тогдашнихъ административныхъ и, въ особенности, юридическихъ тузовъ, да только не Ельпидифора Антіоховича. Свѣту не взвидѣлъ этотъ Кузьма безсребренникъ. Какъ швырнетъ онъ эту самую пачку въ харю питейнаго соблазнителя, да какъ крикнетъ на него:

— Вонъ отсюда, мерзавецъ, негодяй! Какъ ты смѣлъ! Я тебя сейчасъ засажу въ острогъ!

Да какъ отворитъ дверь кабинета, да какъ повернетъ за плечи командира тульскихъ кабаковъ, давъ ему только одну секунду времени для поднятія съ полу пачки, и давай его провожать до самой прихожей пинками да подзатыльниками. Важнѣющіе проводы, достойные попасть въ любой иллюстрированный журналъ, съ подписью: «По дѣломъ вору мука».

Наконецъ, честнѣйшій, благороднѣйшій Ельпидифоръ Антіоховичъ могъ зажить въ свое удовольствіе: вскорѣ онъ женился на богатѣйшей молодой вдовѣ, красавицѣ, графинѣ Стройновской, и зажилъ на славу. Хорошо помню его и его жены радушное гостепріимство, широкое хлѣбосольство, обѣды и блестящіе балы. Но увы! Тула скоро лишилась этого рѣдкаго начальника: въ концѣ 1829 года, по какой-то непріятности, вышелъ въ отставку этотъ образецъ дѣльныхъ и вполнѣ честныхъ губернаторовъ. Но вскорѣ онъ сдѣлался опять губернаторомъ, новогородскимъ, а потомъ сенаторомъ. Его уже нѣтъ въ живыхъ. Еще разъ склоняюсь и благоговѣю передъ твоимъ именемъ, благороднѣйшій человѣкъ.

X.

Кн. Т—ой.

Орловскій губернаторъ въ сороковыхъ годахъ и также, какъ Зуровъ, военный генералъ, и, какъ онъ, честный человѣкъ и врагъ взятокъ. За то во всемъ остальномъ ему до Зурова было какъ до звѣзды небес-

ной далеко. Вслѣдствіе полнаго отсутствія административныхъ знаній и таланта, и какихъ бы, и къ чему бы то ни было способностей, кромѣ способности пѣтушиться, кричать безъ толку и не впопадъ, а порою и становиться на дыбы и даже «оборвать» кого нибудь; онъ находился въ полномъ распоряженіи правителя своей канцеляріи, да еще одного изъ своихъ чиновниковъ особыхъ порученій, дѣльца и первокласснаго крючка. Между тѣмъ, по пословицѣ «назвался груздемъ, полѣзай въ кузовъ», ему необходимо было заявлять о своемъ губернаторскомъ существованіи, т. е. разбирать и рѣшать разныя дѣла и вопросы, объѣзжать время отъ времени губернію и ревизовать дѣла, а наконецъ, проявлять свое величіе, хотя уже и микроскопическое, т. е. распекать, громить чиновниковъ, и это было главнымъ дѣломъ, излюбленнымъ упражненіемъ, спеціальностію бывшаго военнаго отца и командира. Но тутъ-то и являлась загвоздка. Ревизовать дѣла, распекать за разные грѣхи, неисправности или беззаконія? Но какъ, кого и за что, потому что его сіятельство смыслилъ въ дѣлахъ столько же, если не менѣе, сколько извѣстная Аксинья смыслила въ апельсинахъ. Но на выручку неумѣлаго администратора являлся подъяческій геній правителя канцеляріи и чиновника особыхъ порученій. Дня за два до выѣзда губернатора на ревизію, отправлялся туда же вышесказанный чиновникъ, губернаторскій руководитель, предтеча, alter ego. Пріѣхавъ въ подлежащую ревизіи мѣстность, alter ego, снабженный полномочіями, обревизовывалъ предварительно дѣла всѣхъ уѣздныхъ присутствій. И если, въ которомъ нибудь изъ нихъ открывалось что неладное, незаконное, то сейчасъ указывалось на это главѣ ревизуемаго мѣста и мрачно, грозно вопрошалось:

— Что это тутъ у васъ такое? Знаете, понимаете, чѣмъ это пахнетъ?

Ревизуемый конфузился, вздыхалъ, потуплялъ долу свои очи и окончательно трусилъ. Тогда начинались переговоры, настоящіе торгъ и переторжка. Чтобы спастись отъ бѣды неминуемой, уплачивался губернаторскому руководителю болѣе или менѣе крупный калымъ, смотря по величинѣ открытаго въ дѣлѣ грѣха или беззаконія. Затѣмъ quasi ревизоръ писалъ письмо своему патрону, что въ такомъ-то мѣстѣ все обстоитъ благополучно и оставлялъ это письмо для передачи начальнику губерніи, по пріѣздѣ его въ ту мѣстность. И такимъ образомъ, какіе бы грѣхи, беззаконія и пакости ни открывались гдѣ нибудь, все было шито и крыто, и тучи проходили надъ головами виновныхъ, не задѣвъ ихъ. Но если никакого соглашенія между ревизуемымъ и quasi ревизующимъ

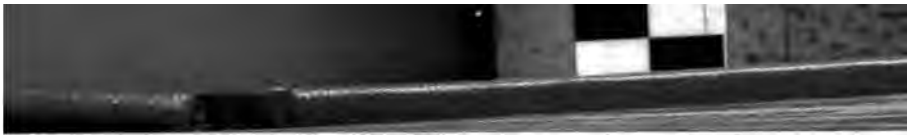
не послѣдовало, тогда этотъ послѣдній выставлялъ карандашемъ, тамъ и сямъ на поляхъ ревизуемаго дѣла, едва замѣтные крестики; а въ письмѣ губернатору указывалъ, что въ такомъ-то присутствіи и въ такомъ-то дѣлѣ были открыты страшнѣйшіе безпорядки, беззаконія, которыя и обозначены извѣстнымъ образомъ. Ну, тогда неподатливому субъекту приходилось жутко: распекутъ, разругаютъ цензурно и даже нецензурно, словомъ «оборвутъ» страшнѣйшимъ образомъ, а то, пожалуй, и вытурятъ изъ службы.

Но однажды вышелъ вотъ какой казусъ, уничтожившій подвохи и каверзы губернаторскаго alter ego, да еще поставившій въ несказанный тупикъ и самого губернатора, и лишившій его «бенефиса» распеканія и оборванія. Одинъ изъ исправниковъ, тонкая штука, пронюхалъ вторженіе въ ревизуемыя дѣла едва замѣтныхъ крестиковъ и разгадалъ ихъ распекательное значеніе. При первой же затѣмъ ревизіи, онъ храбро отказался отъ уплаты какого бы ни было калыма; а, по отбытіи разгнѣваннаго водрузителя крестовъ, взялъ да и стеръ ихъ гуммиластикомъ. Между тѣмъ сіятельный администраторъ-ревизоръ прибылъ въ мѣсто служенія ртачливаго исправника и узналъ, изъ письма своего alter ego, что тамъ-то и въ такомъ-то дѣлѣ открыты важные безпорядки и противузаконія и обозначены извѣстнымъ образомъ.

Невообразимо величественно и грозно вступилъ онъ въ присутствіе земскаго суда, потребовалъ такое-то дѣло и заранѣе предвкушалъ всю сладость распеканія, оборванія, уничтоженія, что составляло единственную у него способность и квитъ-эссенцію губернаторской дѣятельности. Но, о «конфузія», о ужасъ! Крестовъ въ дѣлѣ не оказывается ни единаго... какое несчастіе! Тщетно ретивый не по разуму сіятельный ревизоръ перелистываетъ оговоренное дѣло, вглядывается въ каждую страницу, внимательно пробѣгаетъ ее: нигдѣ ни единаго крестика. А распекать такъ хочется, а наобумъ нельзя; какъ разъ попадешь въ «лабетъ», въ дураки, хоть и сіятельные, а все-таки скверно. Ну какъ распечешь за то, за что слѣдовало бы похвалить. Итакъ, бенефисъ въ пользу администратора былъ отказанъ, и извержение сіятельнаго Везувія не послѣдовало, было отложено до болѣе удобнаго случая. Теперь

«Еще одно, послѣднее сказанье».

Но не столько о губернаторѣ, сколько о губернаторшѣ.



XI.

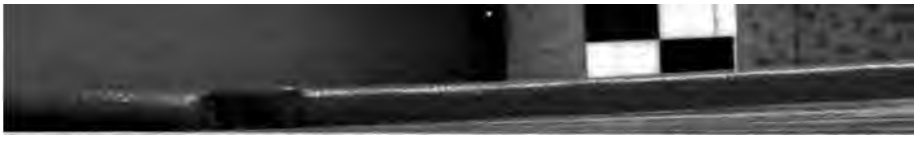
Лампе.

Въ началѣ десятыхъ, или передъ началомъ десятыхъ годовъ, не могу сказать навѣрное, жилъ и страдалъ на костромскомъ губернаторствѣ нѣкто Лампе, добрѣйшій, смирнѣйшій человѣкъ. Но за то подругу его жизни можно было смѣло назвать «недругомъ» жизни его и всѣхъ остальныхъ домочадцевъ, такъ была она свирѣпа, раздражительна, зла со всѣми, не исключая и своего мужа и, въ особенности, сына. Свирѣпость ея только на нѣсколько линій была ниже свирѣпости описанной уже мною княгини Шилишпанской. Изъ всего населенія губернаторскаго дома, только одинъ не былъ ея мученикомъ: это—пятнадцатилѣтній калмыченокъ, который составлялъ тайную полицію своей свирѣпой повелительницы: сплетничалъ, шпіонилъ за всѣми и доносилъ ей на всѣхъ и обо всѣмъ. Не проходило дня, чтобы она не наказала кого нибудь изъ прислуги, а иногда и нѣсколькихъ, и это за малѣйшую вину, не прощая ни одной. Наказаніе производилось такъ: писала она записку, съ которою отправляла свою жертву въ полицію, гдѣ нещадно пороли ее. Но, чтобы убѣдиться, что въ полиціи не мирволили, а усердствовали и наказали немилосердо-строго, каждая возвратившаяся оттуда жертва должна была являться къ своей госпожѣ, которая лично удостовѣрялась черезъ тщательный осмотръ.... больно-ли выпороли. И, Боже сохрани! если осмотръ былъ неудовлетворителенъ: виновнаго вторично отправляли въ полицію, и уже въ сопровожденіи дворецкаго, тоже свирѣпаго клеврета, который обязанъ былъ наблюдать за нещадной экзекуціей. А полицейскій чинъ, не поусердствовавшій, допустившій такое нерадѣніе по службѣ, строго наказывался, иногда выгонялся изъ службы. Итакъ, никто изъ обитателей дома не избѣгалъ, не сегодня, такъ завтра, нещадной порки въ полиціи; никто, кромѣ двоихъ: калмыченка, котораго фурія любила за доносы и щадила, да своего мужа, который не былъ поротъ, и не потому, чтобы злая фурія не желала этого, напротивъ; а потому, что она не могла этого сдѣлать: какъ-то неловко, неблаговидно пороть въ полиціи губернатора; совѣсть зазрила; ну и не пороли. Вѣдь и у фурій, время отъ времени, проявляется своего рода совѣсть. Но за то что же продѣлывала она дома съ своимъ несчастнымъ сожителемъ! Безпрестанное, неумолкное ворчаніе, пиленіе, крикъ, брань, ругань, самая несалонная, все это были цвѣточки, мирволенье. Отъ этого, по крайней мѣрѣ, не было матеріальнаго ущерба, ни физическихъ страданій. Затѣмъ

битье посуды, швырянье тарелокъ, стакановъ, графиновъ полныхъ питія, сильно контузившихъ и обливавшихъ съ головы до ногъ несчастнаго администратора, ломаніе мебели; наконецъ, плеваніе, харканіе въ какую бы ни было часть превосходительнаго тѣла, не исключая и физіономіи; все это еще не самое главное, не неисправимое. Но она устраивала, импровизировала иногда такія сцены своему благовѣрному, что тотъ желалъ бы провалиться не только сквозь землю, но и сквозь всю солнечную систему. Словомъ: и для всей прислуги, и для сына, и для мужа, она съумѣла устроить въ своемъ домѣ сущій земной адъ, едва-ли уступавшій подземному. Теперь разскажу одну изъ домашнихъ сценъ, импровизированную этой мегерою въ бенефисъ почетной и чиновной костромской публики, и въ ущербъ ихъ желудковъ.

Назначенъ былъ у губернатора парадный обѣдъ по случаю какого-то торжества. Въ огромномъ залѣ былъ накрытъ столъ приборовъ на пятьдесятъ. Былъ этотъ столъ уставленъ, сверхъ посуды, графинами съ прохладительными питіями, бутылками дорогихъ винъ, хрустальными вазами съ вареньемъ, конфектами и фруктами. Словомъ, какъ есть парадный обѣдъ, достойный и торжественнаго случая, и губернатора, т. е. втораго, послѣ царя, лица въ губерніи. Но увы! и у вторыхъ послѣ царя лицъ бываютъ свои Немезиды, и ихъ тоже иногда «горе ждетъ изъ-за угла». Передъ самымъ обѣдомъ злополучный администраторъ имѣлъ несчастіе чѣмъ-то не угодить подругѣ, т. е. недругу своей жизни. А не угодить ей, значило — разозлить, привести ее въ кипѣніе, въ клокотаніе, въ ярость, въ настоящее бѣшенство. Оно и не заставило себя ожидать и сейчасъ-же воспослѣдовало на подобіе внезапнаго и страшнаго землетрясенія.

— Такъ я же тебѣ покажу, болванъ, скотина, какъ мнѣ противорѣчить! — рычитъ превосходительная фурія и, съ пѣною у рта, съ глазами налившимися кровью, выбѣгаетъ въ залъ, гдѣ, не взирая на собравшихся многочисленныхъ гостей, схватываетъ своими мощными руками за одинъ конецъ скатерти, дергаетъ ее изо всей силы и... трррахъ... все бывшее на столѣ летитъ на полъ и разбивается въ дребезги, къ великому изумленію и огорченію полуголодныхъ гостей, остривших зубы на сытный и вкусный обѣдъ. И вотъ, слюнки у губернаторскихъ гостей текли даромъ: сытный и вкусный обѣдъ обратился въ прахъ, въ миражъ, — онъ не состоялся. О, непрочность человѣческихъ надеждъ и земнаго счастія! И потому слѣдуетъ быть терпѣливымъ и дожидаться — неземнаго. А между тѣмъ вышла картина, достойная кисти наилучшихъ современныхъ жанристовъ.



Но не правда-ли: сумма всѣхъ этихъ проявленій свирѣпости губернаторши съ губернаторомъ стоитъ порки въ полиціи, — единовременной, разумѣется, и не въ примѣръ другимъ?

Сказалъ я выше, что никто, кромѣ мужа и калмыченка, не былъ изъятъ отъ частыхъ путешествій съ записками въ полицію. Не отправлялся туда еще сынъ мегеры; но отъ этого ему было не легче: она весьма часто, и большею частію по наущенію калмыченка, порола его, и очень больно, у себя въ кабинетѣ, подъ своимъ личнымъ надзоромъ, который былъ неумолимѣе, нещаднѣе полицейскаго. Сынъ этотъ, очень умный, добрый и милый шестнадцатилѣтній юноша, встрѣтилъ разъ въ сѣняхъ калмыченка-доносчика въ слезахъ, рыдающаго на взрыдъ.

— Что съ тобою, Ванюша? — спросилъ онъ калмыченка.

— Ге, ге, ге, ге! Барыня изволили на меня разгнѣваться и послали меня съ запиской въ полицію, ге, ге, ге, ге!

— Не плачь, горю твоему можно помочь.

— Да какже?

— А вотъ какъ: вѣдь у тебя есть деньги. Ну такъ дай тамъ квартальному или частному синенькую, и не выпорютъ, такъ отпустятъ.

— Да, вѣдь, вы знаете, что ея превосходительство изволятъ послѣ осматривать, больно-ли высѣкли.

— Ну такъ что-жъ? И этому можно пособить. Пойдемъ ко мнѣ въ комнату, я спасу тебя отъ порки, только обѣщай мнѣ поменьше доносить на меня маменькѣ.

— Никогда не буду, вотъ-те Христосъ! не буду, только спасите.

Пришли. Надо сказать, что юноша отлично рисовалъ акварелью. Достаетъ онъ краски, кисти и стаканъ воды и принимается за дѣло.

— Давай твою руку, держи ее ладонью внизъ, ладно. — Затѣмъ проводитъ кистью по рукѣ синюю полоску, возлѣ красную, оттѣняетъ, и такъ далѣе рисуетъ на рукѣ. Кончивши, спрашиваетъ:

— Ну, на что это похоже?

— Батюшки! Да это рубцы отъ розогъ, какъ есть настоящіе рубцы, и не распознаешь.

— Ну, такъ давай же, нарисую тебѣ; мамаша никакъ не распознаетъ.

И нарисовалъ, гдѣ слѣдуетъ и что слѣдуетъ, т. е. иллюстрировалъ лѣтопись мамашиныхъ свирѣпостей. Отправляется калмыченокъ въ полицію, откуда вскорѣ возвращается съ искусно разыгрываемой скорбію на лицѣ и съ веселіемъ въ сердцѣ.

— Ну что, мерзавецъ? Выпороли тебя?—допрашивала мегера своего эксъ-любимца.

— Выпороли, матушка, ваше превосходительство, ге, ге, ге, ге!

— Больно-ли выпороли?

— Больно, больно, охъ какъ больно, матушка ваше превосходительство, ге, ге, ге, ге!

— Ну, покажи.

Показываетъ, т. е. начинается въ нѣкоторомъ родѣ «инспекторскій смотръ», или въ нѣкоторомъ родѣ «художественная акварельная выставка».

— Ахъ ты, мошенникъ, бездѣльникъ, разбойникъ, злодѣй ты эдакой. Такъ ты такъ-то? Да я-жъ тебѣ! До смерти запороть велю мерзавца, негодяя! — зарычала въ бѣшенствѣ мегера, всплеснувъ отчаянно и злобно руками. Вмѣсто рубцовъ отъ розогъ, смотрѣла на нее умори-тельная харя, съ прищуреннымъ глазомъ и высунутымъ языкомъ. Значитъ: бѣдный юноша-мученикъ былъ отмщенъ.

Вотъ и другая картина, которую едва ли кто изъ современныхъ жанристовъ рѣшился бы воспроизвести на полотнѣ.

Портретная галлерея закрывается вмѣстѣ съ акварельной выставкой, и начинается, въ слѣдующей главѣ, другой разсказъ объ одной личности, столь курьезной и эксцентричной до невѣроятности, что едва ли существовалъ когда либо и гдѣ либо ея двойникъ; и еще тоже объ одной губернаторшѣ, но не о такой свирѣпой, какъ вышеписанная, а только о черезчуръ важной, гордой, носозадирательной и донельзя раздражитель-ной и вспыльчивой.

XI.

Мститель за угнетенныхъ и каратель угнетателей *).

Это былъ морякъ, лейтенантъ, побочный сынъ графа Кутайсова, чело-вѣкъ необыкновенно умный, остроумный, отважный, смѣлый до дер-зости, въ высшей степени честный, благородный, который не могъ безъ

*) Весь нижеслѣдующій разсказъ я слышалъ отъ соовоспитанника по мор-скому корпусу и потомъ отъ товарища по службѣ во флотѣ описываемаго мною архангельскаго героя; слышалъ отъ бывшаго директора тульской гим-назіи въ сороковыхъ годахъ, Апполона Андреевича Иванова, женатаго на моей двоюродной сестрѣ. Это былъ человѣкъ умнѣйшій, честнѣйшій, добрѣй-

негодованія слышать ни о малѣйшемъ нечестномъ или зломъ поступкѣ. Получилъ онъ блестящее образованіе и былъ замѣчательный лингвистъ. Зналъ превосходно языки: французскій, нѣмецкій, англійскій, итальянскій и еще: латинскій, греческій и арабскій. Фамилію его не помню хорошо; назывался онъ или Сенъ-Лоранъ, или Сальморанъ, или что-то похожее на это. Но дѣло не въ названіи, а въ личности, въ характерѣ. Положимъ, что Сенъ-Лоранъ и будемъ такъ его звать. Былъ это первоклассный, не то что шалунъ, или проказникъ, нѣтъ; а былъ онъ чѣмъ-то гораздо высшимъ, болѣе грандіознымъ, если можно такъ выразиться, такъ характеризовать разныя продѣлки и выходки нашего героя. За нѣкоторыя чезъ чуръ «грандіозныя» изъ его продѣлокъ и несмотря на сильныя родственныя связи, его услали изъ Петербурга на службу въ Архангельскъ, гдѣ онъ прожилъ нѣсколько лѣтъ и умеръ отъ водянки. Это было въ концѣ двадцатыхъ, или въ началѣ тридцатыхъ годовъ, тоже не помню. Памятенъ всему Архангельску этотъ Сенъ-Лоранъ по той необычайной роли, которую онъ взялъ на себя, которую исполнялъ съ необыкновенной смѣлостью, рѣшительностью и рѣдкимъ счастіемъ, и которая опредѣлена названіемъ этой главы. Да, это былъ иститель и каратель въ полномъ смыслѣ этихъ словъ. Онъ навелъ страхъ и ужасъ на весь Архангельскъ, или вѣрнѣе, на всѣхъ тѣхъ, у кого на совѣсти лежало недоброе, несправедливое или злое дѣло. Переполъ онъ если не всѣхъ, то большую часть изъ архангельскихъ при-

---

шій, правдивѣйшій и необыкновенно остроумный, обладавшій увлекательнымъ даромъ слова, краснорѣчія. Онъ былъ обожаемъ и учениками, и учителями, и съ тѣмъ вмѣстѣ глубоко чтимъ и любимъ и своимъ начальствомъ, и всѣми своими знакомыми, всѣми почетными и полупочетными жителями Тулы того времени, которые могутъ засвидѣтельствовать истину моихъ словъ. Въ его домѣ я раза два встрѣчалъ тогдашняго попечителя Моск. учебн. округа, графа Строганова. Словомъ, какъ гражданинъ, какъ христіанинъ, какъ семьянинъ, это былъ такой директоръ гимназіи, какихъ нынѣ очень мало, если только они имѣются. И едва ли найдется хоть одинъ изъ воспитавшихся подъ его директорствомъ, который не вспоминалъ бы объ немъ съ глубокимъ уваженіемъ и любовію. Призываю всѣхъ ихъ во свидѣтели. Въ одно и то же время и въ той же гимназіи служилъ инспекторомъ классовъ Аполлонъ Ивановичъ Сытинъ, двойникъ Апполона Андреича, достойный его помощникъ, превосходный какъ человѣкъ, такъ и инспекторъ, тоже любимый и уважаемый всѣми и какихъ теперь мало. Считаю священнымъ и пріятнѣйшимъ долгомъ во всеуслышаніе воздать должную дань уваженія памяти такихъ рѣдкихъ дѣятелей и свѣтлыхъ личностей. А бывшій инспекторъ классовъ съумѣлъ еще и сдѣлать изъ своихъ дѣтей достойныхъ наслѣдниковъ своего честнаго и чтимаго имени.

тѣснителей и угнетателей невинности, изъ пакостниковъ человѣчеству, изъ Шемякъ и Держиморд, всѣхъ сословій и званій, дворянъ ли, разночинцевъ ли. И все это сходило ему съ рукъ. Невѣроятно, но истинно. Благодаря большимъ денежнымъ средствамъ, подобралъ онъ себѣ ватагу изъ десяти отчаянныхъ матросовъ, преданныхъ ему тѣломъ и душею и готовыхъ за него въ огонь и воду; имѣлъ свою тайную полицію и въ судебныхъ мѣстахъ, и въ частныхъ домахъ, такъ что сейчасъ же узнавалъ, кто, гдѣ и когда совершилъ какую нибудь пакость. Вслѣдъ за этимъ, въ умѣ и совѣсти архангельскаго карателя составлялся судъ строгій и нелицепріятный; произносился приговоръ и приводился въ исполненіе по возможности въ самоскорѣйшемъ времени. Наказаніе, смотря по винѣ, большею частію состояло въ отсчитаніи виновному отъ 50-ти до ста линьковъ. Для достиженія этой цѣли, нѣсколько тайныхъ агентовъ карателя неусыпно слѣдили за каждымъ шагомъ обреченной на линьки жертвы; и рано ли, поздно ли, подкарауливали, будучи въ маскахъ, набрасывались на нее, завязывали ротъ, скручивали ей руки и увлекали въ какое нибудь глухое, пустынное мѣсто и тамъ, подъ предсѣдательствомъ мстителя, тоже замаскированнаго, исполняли приговоръ надъ осужденнымъ. Не многимъ изъ мелкихъ архангельскихъ пакостниковъ удавалось избѣгнуть этой участи. А съ однимъ крупнымъ Шемякой сдѣлано было однажды вотъ что: просидѣвъ долго въ своемъ присутствіи, возвращается онъ домой, но дома своего не находитъ: онъ весь былъ разобранъ по бревнышку и сложенъ на дворѣ въ правильную кучу. И всѣ знали, что это—дѣло мстителя, всѣ трепетали передъ нимъ, но ничего не подѣлаешь, такъ хитро, ловко, художественно, обдуманно и осторожно съ превосходно «схороненными концами» исполнялись декреты архангельской Немезиды.

По своимъ связямъ, по своему богатству, уму и образованію, Сенъ-Лоранъ былъ принятъ съ почетомъ во всѣхъ лучшихъ домахъ Архангельска. Былъ тамъ въ то время губернаторомъ Ст. Вас. П—евъ, добрѣйшій, честнѣйшій человѣкъ, любимый и уважаемый всею губерніей. Но супруга его, урожденная В—кова, была не то чтобы дурная женщина; о, нѣтъ! а напротивъ: тоже честная, благородная и вовсе не злая. Но была она страшно горда, надменна и вспыльчива до-нельзя, до невѣжливости, до забвенія приличій. Сенъ-Лоранъ, натурально, былъ изъ обычныхъ посѣтителей губернаторскаго дома. Однажды игралъ онъ съ нею въ вистъ, у нее же въ гостиной. Ей несчастливилось: она проиграла первые два, и очень большіе, роббера, сердилась, дѣлала пренепріятные замѣчанія и выговоры своимъ партнерамъ и была невыно-

сима. Третій робберъ играла она съ Сенъ-Лораномъ, сердилась пуще прежняго и, передъ каждой сдачей, говорила ему весьма неделикатно, колко. Партнеръ отмалчивался и ни единымъ взглядомъ не выказывалъ того негодованія, которое ощущалъ въ своей гордой и независимой душѣ. Наконецъ, проигравши большой шлемъ удобовоспламеняемая барыня забылась до того, что швырнула колоду картъ чуть не въ лицо своему партнеру. Карты разсыпались по столу и по полу, но одна, отскочивъ отъ стола, попала прямо въ глазъ Сенъ-Лорану и пребольно кольнула его, такъ что онъ принужденъ былъ тереть глазъ платкомъ. Но и на эту невообразимую дерзость онъ не промолвилъ ни слова, а только, подобравъ карты со стола и съ пола, стасовалъ, далъ ихъ снять и сдалъ. Но когда окончился третій робберъ, онъ сдѣлалъ разсчетъ, положилъ на столъ проигранныя имъ деньги и, сказавъ тихимъ, спокойнымъ голосомъ:—я не могу продолжать игру,—раскланялся, оставилъ домъ гордой и раздражительной важной барыни и уже болѣе тамъ не показывался.

Терпѣніе и смиреніе, выказанныя морякомъ во время швырянія картъ, разбѣсили и озлобили противъ него начальницу губерніи гораздо сильнѣе, чѣмъ бы могъ это сдѣлать какой нибудь рѣзкій, и даже дерзкій отпоръ съ его стороны. Она хорошо поняла, что своимъ вѣжливымъ молчаніемъ ея гость нарядилъ ее прямо въ дуры. Поэтому возгорѣла непримиримою ненавистью къ бывшему своему партнеру и, въ порывахъ безсильной досады, принялась чернить его во всѣхъ хорошихъ домахъ города, и наконецъ успѣла выжить его отвсюду: изъ страха и угожденія важной дамѣ, Сенъ-Лорану стали вездѣ отказывать отъ дома, а нѣкоторые, самые угодливые, перестали его узнавать и ему кланяться. Умный морякъ тотчасъ же смекнулъ, въ чемъ дѣло, изъ какой тучи громъ и, угадавъ причину такаго поворота противъ него общественнаго мнѣнія, поклялся строго наказать виновницу этой несправедливой невзгоды. И онъ мастерски выполнилъ свое намѣреніе.

Началъ съ того, что сейчасъ же купилъ богатымъ подаркомъ горничную своей превосходительной обидчицы и гонительницы и, вслѣдствіе этой мѣры, ежедневно получалъ вѣрныя и подробныя свѣдѣнія о томъ, что дѣлала и что намѣрена дѣлать и куда ѣхать швыряющая, или вѣрнѣе, швырковая барыня. Настала масляница. Былъ объявленъ маскарадъ въ купеческомъ собраніи. Сенъ-Лоранъ получилъ отъ задаренной горничной донесеніе, что ея важная барыня собирается въ этотъ маскарадъ съ одною своею пріятельницей, и заказала себѣ характерный костюмъ у такой-то модистки. По полученіи этого донесенія, остроумный морякъ раздумывалъ нѣкоторое время, потомъ весело улыбнулся и сказалъ самъ себѣ.

— Нашелъ, нашелъ!... Я буду скоро отмщенъ, жестоко отмщенъ... О, какое наслажденіе отмстить за кровавую обиду и наказать ту, передъ которою все склоняется, и которая сама никого и ничего не боится! Вслѣдъ за этимъ восклицаніемъ, онъ поѣхалъ къ одному своему пріятелю, человѣку пожилому, холостому и очень богатому. У этого пріятеля была кухарка и, съ тѣмъ вмѣстѣ, экономка, нѣмка или чухонка, не помню хорошо; но только эта была молодая и очень красивая женщина и совершенно одного роста и склада съ важною барыней, подлежащей мести и наказанію. Кухарка эта, Каролинхенъ по имени, высокая, стройная, была очень хорошо извѣстна своей красотою и смѣлою развязностью, тѣмъ болѣе, что она находилась передъ тѣмъ въ одномъ «странноприимномъ» домѣ. Сенъ-Лоранъ сдѣлалъ одно предложеніе своему пріятелю и его Каролинхенъ, и безъ труда получилъ полное ихъ согласіе на точное исполненіе нижеслѣдующаго плана дѣйствій.

Онъ тотчасъ же отправился, вмѣстѣ съ Каролинхенъ, къ модисткѣ, гдѣ былъ заказанъ костюмъ, о которомъ говорилось выше.

— У васъ заказанъ костюмъ губернаторшей для маскарада?

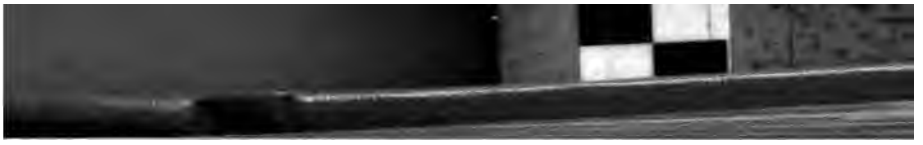
— Да, заказанъ,—отвѣчала модистка.

— Могу ли я взглянуть на него?

Модистка замялась, а Сенъ-Лоранъ всунулъ ей въ руку залотой и продолжалъ:

— Ну, полноте секретничать, покажите мнѣ этотъ костюмъ. Я хочу заказать вамъ точно такой же для этой дамы и заплачу за него хорошія деньги.

Модистка не устояла: костюмъ былъ показанъ и затѣмъ заказанъ другой такой же, который, въ самый день маскарада, былъ принесенъ къ пріятелю Сенъ-Лорана и пришелся какъ разъ по таліи Каролинхенъ. Въ двѣнадцатомъ часу вечера нашему моряку, находившемуся у пріятеля, дано было знать, что важная и сердитая барыня уже одѣвалась и готовилась ѣхать въ маскарадъ. Тогда Каролинхенъ, одѣтая въ извѣстный костюмъ, надѣла маску и отправилась въ каретѣ, вмѣстѣ съ Сенъ-Лораномъ, въ купеческое собраніе. Пріѣхавъ туда и не снимая шубы, она осталась въ сѣняхъ—ожидать пріѣзда губернаторши, чтобы потомъ дѣйствовать по заранѣе обдуманному плану. Сенъ-Лоранъ отправился на верхъ и вступилъ въ залъ собранія, уже наполненный гостями и членами клуба. Онъ сейчасъ поймалъ одного знакомаго ему молоденькаго купеческаго сына и, взявши его подъ руку, завязалъ съ нимъ чрезвычайно живой, интересный разговоръ; а разговаривая, какъ будто невзначай, подошелъ ко входу въ залъ и помѣстился съ купчикомъ такъ, что



не было возможности войти. Поэтому всѣ пріѣзжавшіе на балъ, говорили ему: «Позвольте пройти». — Сенъ-Лоранъ посторонится, гости пройдутъ и онъ снова займетъ прежнюю позицію, т. е. встанетъ бокомъ у самаго входа въ залъ, имѣя передъ собой купчика.

Минутъ черезъ десять онъ замѣтилъ черезъ плечо, въ передъ-зальной комнатѣ двѣ высокія женскія маски, въ характерныхъ костюмахъ, которыя приближались ко входу. Одна изъ нихъ была сердитая важная барыня. Сенъ-Лоранъ хорошо зналъ ея натуру и очень вѣрно основалъ свой планъ на ея нетерпѣливости, раздражительности и дерзости. Постоявъ нѣсколько секундъ у двери въ надеждѣ, что ея bête noire самъ догадается очистить входъ въ залъ, она подъ конецъ не выдержала. Не желая сказать: «позвольте пройти», она схватываетъ Сенъ-Лорана за шитый воротникъ мундира и, своею могучею рукою, толкаетъ его въ грудь и вламывается въ бальный залъ. Отважный морякъ, весь погруженный въ разговоръ съ купчикомъ и вдругъ, словно пробужденный отъ сна, встрепенулся, поднялъ голову и, сказавъ:

— Дерзкая маска! — со всего размаху послалъ ей, въ накрахмаленныя юбки и пониже спины, сильнѣйшаго шлепка, который, какъ пистолетный выстрѣлъ, раздался на весь залъ. Въ одно мгновеніе все стихло, замерло и всѣ головы повернулись ко входу въ залъ. Въ эту самую минуту появляется въ дверяхъ другая высокая замаскированная женщина, въ костюмѣ совершенно такомъ же, какъ и у маски, только что получившей знаменитый шлепокъ. Эта новая маска остановилась напротивъ своего женскаго двойника и, скрестивши на груди свои руки, принялась его разсматривать и мѣрять глазами съ головы до ногъ. Болѣе дерзкая, нежели умная и находчивая, вмѣсто того, чтобы поскорѣе вмѣшаться въ толпу масокъ и затѣмъ, по добру по здорову, убраться во свояси, важная барыня обернулась къ Сенъ-Лорану и, сдернувъ съ себя маску, сказала ему, задыхаясь отъ бѣшенства:

— Дерзкій! Развѣ вы не знаете, кто я?

— Ахъ, это вы! Простите меня великодушно, ваше превосходительство! Я полагалъ, что это кухарка моего пріятеля, извѣстная всему городу Каролинхенъ. Я видѣлъ вчера на ней точь въ точь такой же костюмъ, какъ и на васъ, который принесли къ ней изъ магазина Семихвостовой, и который она при мнѣ примѣривала. Если бы я зналъ, что это не кухарка, а вы, я никогда не позволилъ бы себѣ того, что я сейчасъ сдѣлалъ. Но я никакъ не могъ допустить идеи, чтобы кто другой, кромѣ вышерѣченной и извѣстной всѣмъ своею дерзостью Каролинхенъ, могъ схватить за воротникъ русскаго офицера и толкнуть

его въ грудь въ публичномъ мѣстѣ. Въ моемъ лицѣ былъ оскорбленъ весь русскій флотъ. Еще разъ mille et mille pardons, мадамъ Пер..... Я никогда не позволилъ бы себѣ, если бы не кухарка... Ба! Да вотъ и она сама здѣсь, легка на поминѣ, — прибавилъ Сенъ-Лоранъ, увидя визави своей обидчицы и, подойдя къ ней, сказалъ:

— Это ты, Каролинхенъ? Прошу тебя сдѣлать мнѣ одолженіе — снять съ себя маску.

Каролинхенъ сняла маску и продолжала разсматривать довольно безцеремонно превосходительную особу, которая совершенно растерялась и пошла скорыми шагами въ комнату, гдѣ играли въ карты, и отыскавъ своего сожителя, принесла ему, на французскомъ діалектѣ разумѣется, энергическую жалобу на дерзкаго моряка. Сожитель выслушалъ, пожалъ плечами и сказалъ тоже на французскомъ діалектѣ:

— Ничѣмъ не могу помочь тебѣ въ этомъ случаѣ. Ты сама кругомъ виновата. Вольно же тебѣ быть такою невѣжливою и дерзкою? На мѣстѣ Сенъ-Лорана я самъ сдѣлалъ бы тоже, что и онъ.

— Vous raisonnez comme une pantoufle, vielle perruque que vous êtes. — И потомъ, повернувшись къ нему спиною, пошла отыскивать дежурнаго старшину купеческаго собранія. Дежурнымъ на этотъ разъ былъ одинъ очень богатый, умный и чрезвычайно смѣлый человѣкъ, сильно недолюбливавшій важную и дерзкую барыню и никогда не сгибавшійся передъ нею. Когда она принесла ему жалобу на моряка, но уже на діалектѣ « рассейскомъ, » онъ спросилъ:

— Чѣмъ же я могу быть вамъ полезенъ въ такомъ курьезномъ дѣлѣ, сударыня?

— Я прошу васъ, чтобы вы, по праву дежурнаго старшины, сейчасъ же удалили изъ собранія дерзкаго обидчика дамы.

— Въ такомъ случаѣ извините меня, сударыня! Я ничего не могу сдѣлать для васъ; я нахожу, что вы совершенно неправы въ этомъ дѣлѣ, позволивъ себѣ схватить за воротникъ и толкнуть въ грудь одного изъ лучшихъ офицеровъ русскаго флота, да еще въ публичномъ мѣстѣ. На мѣстѣ г. Сенъ-Лорана я самъ сдѣлалъ бы тоже, что и онъ.

Бросивъ дежурнаго старшину, важная барыня пустилась отыскивать ближайшаго начальника Сенъ-Лорана, человѣка умнаго, добраго и любимаго всѣми подчиненными. Когда, отыскавъ его, она изложила ему, уже на діалектѣ слезно-плаксивомъ, свою жалобу на своего оскорбителя, то получила отъ него почти слово въ слово такой же отвѣтъ, какъ и отъ дежурнаго старшины, съ тѣми же заключительными словами:

— На мѣстѣ Сенъ-Лорана я сдѣлалъ бы тоже самое, что и онъ.

Поэтому важная барыня повертѣлась, поюлила, поегозила и уѣхала изъ собранія съ носомъ и со шлепкомъ. Что же до отважнаго моряка, то онъ премного и превесело танцовалъ, остался ужинать, выпилъ съ пріятелями нѣсколько бутылокъ шампанскаго и затѣмъ возвратился домой уже очень поздно и спалъ несравненно спокойнѣе, чѣмъ проученная имъ его превосходительная обидчица.

Говорилъ я выше, что Сенъ-Лоранъ былъ замѣчательный лингвистъ. Но только онъ терпѣть не могъ говорить на какомъ бы ни было иностранномъ языкѣ, безъ крайней необходимости. Говорилъ онъ не порусски только съ тѣми, которые не могли ни разговаривать съ нимъ, ни понимать его иначе, какъ на одномъ изъ знакомыхъ ему иностранныхъ языковъ. И кто бы, изъ говорящихъ съ нимъ русскихъ, ни обратился къ нему съ французской или нѣмецкой рѣчью, онъ всегда отвѣчалъ порусски.

Случилось ему однажды играть въ карты такъ, что между партнерами его замѣшалась одна дама, или вѣрнѣе, барынька, съ большими претензіями на что-то и, въ особенности, на « парле франсе », каковое « парле » выходило у нее « смѣсь французскаго съ нижегородскимъ ». Игра кончилась, наступилъ разсчетъ. Барынька проиграла Сенъ-Лорану нѣсколько рублей съ копѣйками. Сверхъ страсти къ « парле франсе », у нее была сильная наклонность и способность къ отжиливанью, къ неуплатѣ долга. Вотъ и тутъ произошло нѣчто подобное. Будто не замѣчая разсчета, сдѣланнаго съ партнеромъ, она продолжала « парлефрансейничать », а когда Сенъ-Лоранъ напоминалъ ей о проиграшѣ, она отвѣчала: « Mais j'ai payé ». И такъ повторялся перекрестный огонь изъ « Вамъ слѣдуетъ заплатить вашъ проигрышъ », и изъ « j'ai payé ». Выведенный наконецъ изъ терпѣнія, Сенъ-Лоранъ сказалъ « парлефрансейной » жилѣ:

— Сударыня! Я говорю не объ « же пейе », а о томъ, что вы проиграли и что вамъ слѣдуетъ заплатить 3 руб. 76 коп.

Былъ еще этотъ Сенъ-Лоранъ страшнѣйшій esprit fort, вольтеріанецъ. Когда онъ лежалъ на смертномъ одрѣ, нѣкоторые изъ его пріятелей, люди богобоязненные, пробовали обратить его на путь спасенія, но безуспѣшно. Наконецъ придумали они родъ « un coup de théâtre », который могъ бы своею внезапностью подѣйствовать на нераскаяннаго грѣшника, и достигнуть цѣли — христіанскаго напутствія. Упросили они одного духовника отправиться къ умирающему съ святыми дарами. Но едва онъ вступилъ въ спальню больнаго, какъ этотъ послѣдній проговорилъ самымъ умиленно-сокрушеннымъ голосомъ:

— Вижу тя, Господи, грядуща на ослятѣ.

Священникъ быстро повернулся къ двери и отправился во свояси гораздо шибче, чѣмъ шелъ отъ себя. Говорили еще архангельскіе злые языки, будто бы, прежде чѣмъ повернуться отъ умирающаго, священникъ съ ожесточеннымъ отчаяніемъ плюнулъ на полъ.

Наконецъ, когда, передъ моментомъ отправленія ad patres, консиліумные эскулапы, окружавшіе ложе умирающаго, щебетали и спорили между собою по-латыни о томъ, что паціентъ ихъ долженъ умереть черезъ часъ, нѣтъ черезъ два, нѣтъ черезъ полтора, Сенъ-Лоранъ, съ животомъ, страшно раздувшимся отъ водянки, съ благодушнѣйшею и нѣсколько насмѣшливою улыбкой сказалъ эскулапамъ, тоже по-латыни, зная этотъ языкъ гораздо лучше ихъ:

— Господа! Что вы тутъ толкуете и спорите все о томъ, что я самъ хорошо вижу? А вы лучше разскажите мнѣ о томъ, чего я уже давно самъ у себя не вижу.

Такимъ образомъ этотъ архангельскій Мститель и Каратель и въ самую вѣчность отходилъ съ ироніей и смѣхомъ.

КНИГА ВТОРАЯ

ПРОДОЛЖЕНІЕ МОЕЙ ИСПОВѢДИ

И СЪ ТѢМЪ ВМѢСТѢ

МОЯ АПЕЛЯЦІОННАЯ ЖАЛОБА ВЪ СУДЪ ОБЩЕСТВЕННАГО МНѢНІЯ.

I.

Мои родители и безотрадное младенчество.

Отъ объективныхъ, перейду теперь къ очеркамъ субъективнымъ и познакомлю съ личностями моихъ родителей и съ моею собственною. Начну съ отца.

Петръ Петровичъ Макаровъ, добрѣйшій и благороднѣйшій человѣкъ, извѣстный своею честностію и безкорыстіемъ и чухломскому и сосѣднимъ уѣздамъ, былъ все-таки вполнѣ сыномъ своего времени, а именно: воспитанъ и обученъ былъ на мѣдныя деньги, держалъ болѣе ста борзыхъ и гончихъ, безусловно любилъ и уважалъ старину и все отъ нее уцѣлѣвшее, и съ недовѣрчивостію, съ презрѣніемъ смотрѣлъ на все молодое, полагая спасеніе человѣчества не въ прогрессѣ, о которомъ тогда не было и помина, а въ фанатическомъ поклоненіи всему отжившему и сгнившему, и въ сохраненіи старинныхъ формъ во всей ихъ цѣлости и во всемъ. Теченіе времени и идей не имѣли на него ни малѣйшаго вліянія, такъ что въ продолженіи всей своей жизни, онъ ни на волосъ не измѣнилъ своихъ восточныхъ, татарскихъ понятій и воззрѣній на нѣкоторые предметы, и сохранилъ ихъ всецѣло до конца своей престарѣлой жизни. Одно изъ такихъ понятій, это—воззрѣніе его на отношенія, какія должны наблюдаться между родителями и дѣтьми. По его понятіямъ, пока живы родители, дѣти ни подъ какимъ видомъ не должны освобождаться отъ власти родительской, власти полной, безконтрольной, деспотической. Совершеннолѣтіе, въ этомъ случаѣ, не принималось въ расчетъ. Пусть сынъ, или дочь, имѣютъ, каждый, тридцать или сорокъ лѣтъ и многочисленное семейство, все-таки они не должны переставать находиться въ совершенной зависимости отъ родителей, быть ихъ рабами, такъ что, во всякое время, отецъ или мать имѣетъ полное право отобрать у нихъ все состояніе, самими дѣтьми нажитое; можетъ бить, сѣчь, увѣчить ихъ сколько заблагоразсудится родительскому нраву; и, наконецъ, забрить имъ лобъ, сослать въ Сибирь или продать въ неволю. Таковы были понятія отцовъ въ началѣ нынѣшняго столѣтія.

Возмужалая жизнь Петра Петровича подчинялась вліянію трехъ страстей, которыя, съ лѣтами, все сильнѣе и сильнѣе развивались въ немъ. Первая и главная—къ женскому башмаку, женинину или горничной, все равно, лишь бы былъ башмакъ, хоть бы и стоптанный. Вторая страсть, это — угощать всѣхъ и каждаго, задавать пирушки, обѣды, завтраки, вечера и ужины. Наконецъ, третья—отыскивать клады. Послѣдняя страсть стала, въ особенности, проявляться въ немъ съ необыкновенной силой въ послѣднія пятнадцать лѣтъ его жизни. У него было трое дѣтей отъ втораго брака: старшій сынъ Александръ, второй—я, годомъ моложе старшаго, и дочь Лиза, тремя годами моложе меня. При моемъ рожденіи, злая судьба взглянула на меня страшно косо, отмѣтила своимъ желѣзнымъ перстомъ и повила на горе, несчастія и страданія. На порогѣ жизни встрѣтило меня величайшее изъ несчастій: нелюбовь матери.... Но объ этомъ послѣ.

Не болѣе семи лѣтъ отецъ мой прожилъ съ моею матерью и овдовѣлъ. Вскорѣ послѣ того онъ былъ выбранъ въ чухломскіе исправники, прослужилъ двѣнадцать лѣтъ сряду въ этой должности и нетолько ничего не нажилъ, какъ это дѣлали другіе, но прожилъ и свое собственное состояніе, благодаря своей честности, а равно и страсти угощать и задавать пирушки. Вотъ какую штуку отпустилъ онъ однажды. Пировалъ онъ въ большомъ кругу своихъ пріятелей, родственниковъ и знакомыхъ и угощалъ ихъ на славу. Пиръ продолжался уже два дня.

— Знаете-ли что, господа?—сказалъ вдругъ своимъ собутыльникамъ и какъ бы вдохновенный свыше Петръ Петровичъ.

— А что такое? — послышалось вокругъ амфитріона.

— А вотъ что: удивимте, озадачимте весь уѣздъ и всю губернію: выпьемте все шампанское, какое находится у Курочкина. Пусть вся губернія пьетъ дрянное шампанское или «цымлянское», потому что, какъ вамъ хорошо извѣстно, хорошаго шампанскаго нигдѣ нельзя достать, кромѣ Курочкина, лучшаго, перваго виноторговца въ цѣлой губерніи.

— Браво! выпьемъ, выпьемъ! Ура, Макаровъ!—раздалось со всѣхъ сторонъ. Ну и выпили все до единой бутылки. Пиръ длился цѣлую недѣлю, послѣ чего вся губернія дѣйствительно осталась безъ шампанскаго и довольствовалась однимъ «цымлянскимъ», пока братья Курочкины успѣли выписать изъ Архангельска новую партію шампанскаго.

Мать моя, Анна Макаровна, урожденная Мичурина, была удивительная, необыкновенная женщина, вся составленная изъ контрастовъ. Чрезвычайно умная, но съ образованіемъ, какое получали наши провинціяльныя барышни въ концѣ прошлаго и начала нынѣшняго столѣтія, и ко-

торое, выражаясь галлицизмомъ, «оставляло желать многаго». Но у нея была необычайная память и она читала много, читала безпрестанно, читала все, что только можно было достать по книжной части въ ту эпоху. А читая, умѣла извлекать изъ книгъ и усвоивать все полезное, все чѣмъ возможно было увеличить свой умственный капиталъ и запасъ свѣденій. Сердце у нее было добрѣйшее, характеръ въ высшей степени прямой и благородный: ей становилось тошно отъ одной мысли сдѣлать что нибудь нечестное, нехорошее. Но, съ тѣмъ вмѣстѣ, характеръ этотъ былъ до необычайности пылокъ, мечтателенъ, восторженъ, нетерпѣливъ, причудливъ и чрезвычайно вспыльчивъ. Но что у нее было страшно, такъ это— блестящее, жгучее остроуміе, такъ это — языкъ, который не зналъ пощады, ничего и никому не спускалъ и билъ всѣхъ и каждаго; билъ, рѣзалъ и кололъ неумолимо. О, какъ искусно владѣла она эпиграммой, ироніей и сарказмомъ! Горе тому, кто, сдѣлавъ что нибудь не честное или злое, подпадалъ за это ея гнѣву и попадался ей на язычекъ: проколетъ насквозь, изрѣжетъ, искрошитъ на мелкіе кусочки. Поэтому все, что имѣло съ нею какія бы ни было сношенія, близкія или далекія, мужчины и женщины, все склонялось и трепетало передъ нею. Но, съ съ тѣмъ вмѣстѣ, всѣ уважали и любили ее за доброе сердце, за ея справедливость, за прямой, откровенный и честный характеръ.

Само собою разумѣется, что отецъ мой былъ въ полнѣйшемъ повиновеніи у своей жены, былъ подъ ея башмакомъ и — блаженствовалъ. Ему бы только башмакъ и башмакъ. Безъ башмака не было ему ни счастія, ни спасенія въ жизни. Женскій башмакъ былъ для него тоже, что для лѣниваго, опустившагося домосѣда и эпикурейца—покойное, мягкое кресло, покойный и теплый халатъ, покойныя теплыя туфли, ночной колпакъ, сытный, вкусный обѣдъ и безмятежный, вѣчный кейфъ, внѣ котораго все остальное — суета, прахъ, скука и тяжелое, нестерпимое бремя.

Какъ сказалъ я выше, мать моя, безъ малѣйшей видимой причины, по необъяснимому какому-то противорѣчію или капризу въ духѣ человѣческомъ, не взлюбила меня съ перваго же дня моего рожденія, и потомъ уже не пускала меня къ себѣ на глаза. Я росъ то въ дѣвичьей съ дѣвками, то въ комнатѣ бабушки по отцу, въ комнатѣ уединенной, отдѣленной сѣнями отъ прочихъ покоевъ и которую, поэтому, очень удачно называли «одинокой». Я почти всегда былъ или въ одинокой съ бабушкой, которая любила меня до нельзя, души во мнѣ не чаяла и баловала на всякія манеры; или въ мезонинѣ, съ нянею Соломонидой, которая тоже очень любила меня, но баловала менѣе.

Не терпя меньшаго, мать моя любила старшаго сына Сашу, любила его страстно, до безумія; любила, но не баловала, а напротивъ: была съ нимъ неумолимо строга и сѣкла его очень часто. Да еще высѣчетъ и заставитъ его смѣяться, плясать и пѣть пѣсни. И высѣченный ребенокъ смѣется, пляшетъ и пѣсни поетъ.... Такъ всесильно, неотразимо было вліяніе этой необыкновенной женщины на все и на всѣхъ, даже и на дѣтей. Младшаго сына она не только что не сѣкла, но никогда и пальцемъ не тронула, потому что очень рѣдко съ нимъ встрѣчалась. И при всѣхъ этихъ рѣдкихъ встрѣчахъ, я удиралъ со всѣхъ ногъ куда нибудь, чтобы только спрятаться отъ матери сколь возможно подалѣе и «потрущобнѣе». И потомъ не легко было отыскать меня: такъ боялся я своей родимой, такъ трепеталъ отъ одного ея взгляда, никогда не получивши отъ нее ни одного щелчка, но — и ни малѣйшей ласки, ни даже тѣни, признака материнской ласки, хотя бы по ошибкѣ... Страшно!..

Такое полное отчужденіе безвиннаго младенца и отъ сердца, и отъ стола, и отъ самаго лицезрѣнія своей матери, наложило на меня печать какой-то особенной пугливости, застѣнчивости, дикости и «букости», если позволятъ мнѣ такъ выразиться, потому что едва ли гдѣ существовалъ подобный бука между трехъ и четырехлѣтними дѣтьми: я такъ дичился всего и всѣхъ, такъ угрюмо глядѣлъ изъ подлобья, такъ упрямился, упирался ногами въ полъ, цѣплялся руками за что могъ, кричалъ, визжалъ, дрался, царапался, а иногда и кусался, когда, порою, хотѣли меня привести въ гостиную гостямъ показать; только тогда и видѣла меня мать, да и то отворачивалась отъ нелюбимаго сына и приказывала тотчасъ же уводить его назадъ, въ одинокую. Застѣнчивость оставалась при мнѣ долго, болѣе половины жизни. И даже тогда я не могъ освободиться отъ нее вполнѣ, несмотря на всю пылкость характера, который образовался у меня впослѣдствіи. Нелюбовь ко мнѣ матери дошла однажды до того, что одна изъ моихъ тетокъ выпросила меня у нее и увезла къ себѣ, въ галицкое имѣніе, гдѣ я прожилъ и продышалъ свободно съ годъ, и снова возвратился подъ негостепріимный родительскій кровъ. Кажется мнѣ было тогда года три.

Богъ покаралъ несправедливую мать: она лишилась своего любимца. Саша умеръ на шестомъ году своего возраста. Горе и отчаяніе матери были свыше всякаго описанія. Надо сказать, что Саша былъ однимъ изъ умнѣйшихъ дѣтей своихъ лѣтъ, и самый «террибльный» изъ enfants terribles. Я же казался дурачкомъ, недоноскомъ, въ сравненіи съ нимъ, такъ неразвитъ былъ я для своихъ лѣтъ, но не для проказъ и шалостей,

для которыхъ развивался необыкновенно скоро. Я былъ шалунъ и бѣдокуръ первой руки.

Мать не перенесла утраты любимца: цѣлый годъ рыдала, терзалась, убивалась день и ночь и наконецъ сошла въ раннюю могилу и, даже умирая, не благословила своего младшаго сына, когда привели его къ ея смертному одру. Увидавъ меня, она только вздохнула и сказала: «уведите его... Богъ съ нимъ!...»

И грустно, и страшно дѣлается при одной мысли о такомъ затмѣніи ума и сердца матери, женщины умнѣйшей, благороднѣйшей!... И даже теперь, по прошествіи почти полувѣка, глаза мои увлажняются при этомъ воспоминаніи. Мнѣ было только пять лѣтъ, когда умерла моя мать. Но у меня сохранились въ памяти три сцены изъ моего безотраднаго младенчества, которыя представляются мнѣ теперь едва замѣтными очертаніями, окутанными отдаленнымъ туманомъ. Вскорѣ послѣ смерти своего любимца Саши, мать заболѣла и слегла въ постель, съ которой уже рѣдко и съ трудомъ вставала. Помню, какъ у ней въ спальнѣ собирались: мой отецъ, бабушка и еще кто-то, вѣроятно знакомые сосѣди. Помню, какъ я съ любопытствомъ и страхомъ глядѣлъ въ щель двери и слышалъ, что въ спальнѣ то читаютъ, то разговариваютъ. Это было вотъ что: читали «Московскія Вѣдомости» и разсуждали о кампаніи 14-го года, о взятіи Парижа и вообще о громадныхъ міровыхъ событіяхъ той любопытной эпохи.

Второе воспоминаніе вотъ о чемъ: у матери моей были двѣ страсти, бурныя, огненныя; два обожанія: старшаго сына Саши и старшаго брата Валентина, который былъ уже офицеромъ и раненъ подъ Аустерлицемъ. Между братомъ и сестрою существовала не дружба, и не любовь, а буквальное обожаніе, боготвореніе другъ друга. Дядя этотъ, любимецъ Цесаревича Константина Павловича, въ чинѣ капитана Литовскаго гвард. полка, былъ тяжело раненъ подъ Бородиномъ, пулею въ ляжку. Лечился онъ долго, года два. Доктора отъ него отказались, а вылечилъ его одинъ аптекарь въ Ярославлѣ. Много костей вышло изъ раны, которая уже не закрывалась потомъ, а забинтовывалась, и одна нога стала короче вершка на полтора. Вотъ этотъ-то дядя, — дивный былъ человѣкъ, обожаемый всѣми, кто его зналъ, и какихъ теперь мало, если только еще они имѣются, — итакъ, пріѣхалъ онъ въ гости къ обожаемой сестрѣ, вскорѣ послѣ смерти ея любимаго сына. И теперь живо помню потрясающую сцену разставанья матери съ братомъ, когда тотъ уѣзжалъ на службу за границу. Мать рыдала, кричала отчаянно, била себя руками въ грудь и нѣсколько разъ падала, то на полъ комнаты, то на подъѣздѣ у крыльца,

передъ санями отъѣзжавшаго обожаемаго брата.... Страшная была для всѣхъ домашнихъ сцена!...

Какая же жалкая порода хилыхъ и чахлыхъ пигмеевъ чувствъ, да и многаго другаго, народилось и процвѣтаетъ теперь среди нашей бахвальной, безсердечной, худосочной и любостяжательной цивилизаціи, дряблой на добро, энергичной на зло. Пожалуй и нынѣ зарыдаютъ, завоютъ волкомъ, да только не отъ любви, какой бы то ни было, а отъ отчаянія, отъ злости, отъ ехидства за то, что выскользнулъ изъ рукъ эдакой, знаете, важнѣющій кушъ, способный соблазнить всѣхъ современныхъ Евъ и Адамовъ; за то, что неудалось вволюшку, въ сласть «намагарычиться и накарманиться», разжирѣть, отростить себѣ брюхо, на казенныхъ или тамъ на акціонерныхъ хлѣбахъ... O tempora! o mores!.. Слышалъ я, еще отъ отца и отъ старшей сестры, о слѣдующемъ фактѣ, котораго они были свидѣтелями и которому я плохо вѣрилъ, да быть можетъ, и вы, читатель, не повѣрите. Но меня завѣряли въ его истинности.

Во время леченія дяди въ Ярославлѣ, мать вздумала разъ погадать объ немъ. Гостила тогда у нее моя старшая и уже замужняя сестра Маша, дивная красавица, съ знаменитою черной, густой и длинной косой, ниспадавшей ниже колѣна. По просьбѣ матери, сестра сѣла гадать передъ зеркаломъ. Долго сидѣла и глядѣла она въ зеркало съ напряженнымъ вниманіемъ. И вдругъ блѣднѣетъ и вскрикиваетъ:

— Вижу, вижу! Дядя лежитъ на диванѣ, смотритъ на часы и подзываетъ кого-то, который подходитъ, беретъ со столика стклянку, наливаетъ изъ нее на ложку и даетъ выпить дядѣ.

Записали все, часъ и минуту, и сейчасъ же написали дядѣ, который тотчасъ отвѣчалъ, что все происходило точно такъ и въ тотъ моментъ, какъ это видѣла въ зеркалѣ сестра.... Вѣрьте, не вѣрьте. Но только отецъ мой не любилъ лгать, и сестра тоже.

Помню еще какъ, незадолго до смерти матери, пріѣзжалъ въ отпускъ меньшой мой дядя, Валерьянъ, юный офицеръ конной артиллеріи, воспитывавшійся въ 1-мъ кадетскомъ корпусѣ, вмѣстѣ съ Рылѣевымъ, съ которымъ былъ друженъ и который написалъ ему въ альбомъ четверостишіе, впрочемъ плохое, кадетское. Этотъ интересный автографъ далъ я потомъ моему племяннику Мих. Дм. Хмырову, отъ котораго, за его смертью, и не получилъ обратно эту библіографическую рѣдкость. Помню, какъ этотъ дядя, красавецъ собой, добрякъ и весельчакъ, а впослѣдствіи великій чудакъ, оригиналъ и горячка и, хотя весьма остроумный, но умудрившійся жениться на одной московской княжнѣ, хотя и ultra аристократической расы, но полуюродивой, съ разнокалиберными глазами и

грузинскимъ носомъ; помню, какъ онъ былъ одѣтъ въ красную рубаху, побрякивалъ ладышками за пазухой и безпрестанно хохоталъ и повторялъ: «Тово, какъ оно, повѣдашь ты». Онъ представлялъ «Филатку и Мирошку». Дѣло было о святкахъ.

Со смертью матери я вздохнулъ свободно и ожилъ, потому что уже не боялся встрѣчь съ родимой, которая казалась мнѣ какимъ-то страшилищемъ. Теперь передо мною широкое поле, открытая дорога: куда угодно, на всѣ четыре стороны. Бѣгай, шуми, шали, кричи, бей, ломай, колоти, дерись, озорничай, лазь по деревьямъ, по заборамъ, по угламъ избъ за птичьими гнѣздами, играй съ ребятишками, дворовыми и крестьянскими, трави кошекъ собаками, бѣгай на гумно купаться въ прудѣ по пяти разъ въ день, дѣлай изъ комьевъ снѣга избы и дворцы, шлендай по весеннимъ лужамъ, снявъ башмаки и засучивъ панталоны по колѣно, запрягай въ салазки большую дворняжку Сѣрку, которая иногда повезетъ, а въ другой разъ больно укуситъ, selon sa belle ou mauvaise humeur; словомъ: полная, безконтрольная свобода и независимость во всѣхъ словахъ и дѣйствіяхъ.

Чувство достоинства дворянскаго сана не могло быть никѣмъ и ни чѣмъ растоптано и убито въ дворянскомъ барченкѣ, а потому онъ и напоминалъ иногда это достоинство тѣмъ изъ дворовыхъ или крестьянскихъ товарищей его игръ и шалостей, которые выказывали слишкомъ явно республиканскія тенденціи, и вздумали проповѣдывать равенство въ манифестаціяхъ, черезъ чуръ неуважительныхъ для сана столбоваго барченка. Вотъ и примется доказывать онъ невозможность равенства посвоему, подворянски: одному зуботычину, другому десять кулаковъ въ спину, третьему пять подзатыльниковъ и два тумака въ голову, четвертому волосяная потасовка... Ну, и возстановитъ законный порядокъ, и манифестацій никакихъ... Ай да Коля! настоящій, безъ примѣси, консерваторъ, легитимистъ, гроза анархіи!

А чтоже на все это отецъ?... А ничего, потому что, во 1-хъ, онъ былъ крѣпко занятъ отысканіемъ новаго башмака. Ну и нашелъ, какъ не найти такого добра? И нашелъ сейчасъ же послѣ смерти своей жены, нашелъ башмакъ съ ноги бывшей ея горничной, произведенной, не въ примѣръ, а быть можетъ и въ примѣръ другимъ, не въ ключницы, а прямо, черезъ чинъ, въ полновластныя домоправительницы. Во 2-хъ, онъ жилъ постоянно въ городѣ, по своей должности. Въ деревню же наѣзжалъ очень рѣдко. А когда пріѣзжалъ, то занимался болѣе «Вихрами, Нѣгани, Наянами и Злобіаками» съ братіей, нежели дѣтьми, которые оставались подъ

надзоромъ бабушки и двухъ няней: моей, стосемилѣтней Соломониды, и сестриной — шестидесятилѣтней Дарьи.

А что же бабушка? Бабушка, какъ и всѣ бабушки: все, что ни сдѣлаетъ внучекъ, все хорошо, за все погладитъ по головкѣ, да потомъ поведетъ Николиньку къ себѣ въ одинокую, откроетъ тамъ шкафъ съ разными привлекательностями, и давай пичкать внучка: то изюмцемъ съ яблоками, то орѣшками и пряничками; то винными ягодами и сдобными крендельками, то дастъ ему цѣлую тарелку пѣнокъ съ варенья... Кушай на здоровье, Николинька!... Ну какъ не наградить внука, консерватора и героя, который такъ доблестно поддерживаетъ знатный санъ столбоваго барченка; такъ энергически искореняетъ анархію и возстановляетъ законный порядокъ.

А что же умная и строгая няня Соломонида?... Она ходила за мной лишь до семилѣтняго моего возраста, ослѣпла и прожила потомъ еще восемь лѣтъ. Меня же передали на руки другой, далеко не такой старой, но глупой и суевѣрной няни. А потомъ?.. Увы и ахъ! Не получилъ я ни малѣйшаго, ни тѣни классическаго образованія, а только самое поверхностное, салонное. И если зналъ кое-что, то зналъ, какъ самоучка, «par intuition», благодаря моей памяти и рѣдкой настойчивости. А было еще и такое время (въ Варшавѣ), что и порусски-то говорилъ я неправильно, и двухъ строкъ не могъ написать безъ ошибокъ, тогда какъ пофранцузски писалъ цѣлыя письма безъ малѣйшей ошибки, учившись у Коше, лучшаго учителя французскаго языка въ Варшавѣ. Получи я образованіе классическое, не то бы было.

II.

Мое дѣтство, многосторонняя дѣтская дѣятельность и начало обученія.

Характеръ мой началъ обозначаться съ самыхъ раннихъ лѣтъ. Но умъ во мнѣ спалъ, спалъ долго, начиная съ дѣтства и до конца моей возмужалости. Только тогда и сталъ просыпаться во мнѣ этотъ умъ, мѣсто котораго заступали у меня: необычайная живость характера и воображенія и необъятная память, при умѣньи извлекать изъ книгъ, изъ разговоровъ, изъ событій жизни все полезное, все лучшее, и потомъ усвоивать все прочитанное, слышанное и видѣнное, такъ что оно входило мнѣ въ плоть и кровь, укладывалось въ моей памяти, какъ въ депо. И хотя

потомъ многое изъ этого склада позабывалось на время, но не утрачивалось. Когда, много лѣтъ спустя, мнѣ предстояла нужда въ какой нибудь справкѣ, повѣркѣ, примѣрѣ, все это сейчасъ же отыскивалось въ тайникахъ моей памяти и, воскресшее, помолодѣвшее, выходило на свѣтъ изъ этого удивительнаго хранилища, которое ничего не теряло изъ ввѣряемаго ему, а все честно возвращала своему вкладчику.

Характеръ у меня былъ неукротимо-бурный, донельзя вспыльчивый и составленный изъ контрастовъ, какъ и у матери. Напримѣръ: я былъ очень нетерпѣливъ въ тѣхъ случаяхъ, когда приходилось мнѣ дожидаться чего нибудь, что очень интересовало меня, какъ то: обѣщанной мнѣ новой игрушки, новаго платья, лакомства, пріѣзда одного изъ моихъ любимыхъ товарищей по возрасту; наконецъ, позволенія идти гулять, купаться, или въ лѣсъ за грибами, за ягодами. Съ другой стороны, я выказывалъ необыкновенное терпѣніе и несвойственную дѣтямъ настойчивость, когда я занимался чѣмъ нибудь особенно для меня интереснымъ, какъ, напр., строганіемъ дощечекъ, кружечковъ и палочекъ, для какой либо игрушки или для подражанія часамъ, стѣннымъ и карманнымъ. У меня ко всему была охота, страсть: что только я ни увижу новаго, тотчасъ же принимаюсь за подражаніе: строгаю, клею, перепачкаюсь, изрѣжу, исколю себѣ руки, тружусь безъ устали, забываю ѣду и сонъ и до тѣхъ поръ не брошу, пока, худо ли, хорошо ли, не окончу начатаго дѣла. Упомяну о томъ, за что принимался я въ продолженіи своего дѣтства въ домѣ отца, начиная съ пятилѣтняго, т. е. со дня смерти моей матери, и до двѣнадцатилѣтняго возраста.

Дѣлалъ я коробочки, корзинки, ящики и табакерки изъ картона, мною же приготовленнаго.

Мѣсилъ глину и лѣпилъ изъ нее болванчиковъ, кукулокъ, горшечки, тарелочки, курительныя трубки; дѣлалъ даже кирпичи, изъ которыхъ сооружалъ потомъ домики.

Дѣлалъ калейдоскопы, маленькіе вѣсы и гири изъ гипса, сережки и подвѣски изъ мѣдной проволоки, бусовъ и бисеру, и не очень дурныя, потому что ихъ охотно носили деревенскія и даже дворовыя дѣвочки.

Переплеталъ книги и альбомы.

Дѣлалъ и сдѣлалъ часы, стѣнные и карманные. Разумѣется, они не ходили, но внутри ихъ было множество деревянныхъ колесъ и цилиндровъ, а на циферблатахъ — и стрѣлки, и цифирь.

Завелъ аптеку подъ «галдареей», гдѣ на полкѣ въ баночкахъ лежали толченой березовой уголь, шалфей, мята, сушеная малина, спускъ и еще нѣсколько простыхъ, невинныхъ средствъ.

Строилъ изъ полѣньевъ и жердей мосты черезъ лужи въ дождливое время.

Сучилъ бичевки изъ льна, дѣлалъ изъ нихъ кнутики и сбрую для большой дворовой собаки, которую запрягалъ потомъ въ телѣжку, или въ салазки.

Увидѣлъ гдѣ-то лотерею-вертушку. Пріѣхалъ домой и сдѣлалъ что-то подходящее къ этой вертушкѣ, надѣлалъ и разныхъ вещицъ для выигрышей.

Вязалъ чулки и вышивалъ по канвѣ. Пробовалъ плесть кружево и прясть ленъ, но это мнѣ не удалось. Пробовалъ еще точать башмаки, самъ приготовилъ дратву. Это удалось мнѣ на половину: верхную часть башмака сточалъ съ грѣхомъ пополамъ, но съ подошвой не сладилъ.

Сдѣлалъ лукъ и стрѣлы, съ остріемъ изъ желѣзной проволоки, и научился стрѣлять довольно мѣтко—въ свиней и въ поросятъ, которые прежалобно визжали отъ боли, причиняемой моими острыми стрѣлами.

Любилъ готовить разныя кушанья: мѣсить тѣсто для сдобныхъ пирожковъ и крендельковъ, печь оладьи и молочные блины и варить похлебку изъ потроховъ, а потомъ угощать этимъ сестру Лизу, да привиллегированныхъ дворовыхъ ребятишекъ, моихъ соподвижниковъ по играмъ и шалостямъ.

Всегда воспитывалъ кого нибудь: щенка, котенка, галченка или вороненка.

Сучилъ свѣтильны и макалъ маленькія сальныя свѣчи.

Сдѣлалъ флейту, кларнетъ, гитару и скрипку, разумѣется для игры негодныя, но подходящія по формѣ къ оригиналу.

Писалъ иконы, т. е. срисовывалъ съ образовъ карандашомъ на березовыхъ дощечкахъ, приготовляемыхъ для меня старымъ столяромъ Лазаричемъ. Наичаще срисовывалъ я иконы св. чудотворца Николая, и, по карандашу, размалевывалъ сухими красками.

Была еще у меня страсть выкраивать и шить изъ лоскутковъ кошельки и мячики. По этому случаю шестилѣтній дѣлецъ удралъ однажды слѣдующую штуку. Вхожу я въ прихожую и вижу на столѣ утюгъ, ножницы, нитки, шелкъ и пестрѣйшую шелковую матерію для жилета, заказаннаго кѣмъ-то нашему человѣку Николаю, по прозванію «Соусъ», который былъ и портной, и доѣзжачій, и мужъ ключницы, и горчайшій пьяница. Смертельно захотѣлось мнѣ выкроить себѣ кошелекъ. Не долго думая, схватилъ я ножницы и откроилъ лоскутъ, сложилъ его вдвое; кошелекъ не выходитъ: былъ длиненъ, но узокъ. Я откроилъ другой; и тотъ негодится. Я третій. И такимъ образомъ изрѣзалъ всю матерію.

При кройкѣ пятаго лоскута въ прихожую входитъ Николай Соусъ, который, кромѣ пьянства, отличался еще грубіянствомъ и дерзостью, такъ что не разъ дралъ меня за вихорь за мои проказы.

— Разбойникъ, сорванецъ вы эдакой! Что это вы тутъ натворили? вотъ я васъ. Завопилъ портной-доѣзжачій, всплеснувъ руками. Но проказникъ уже далъ тягу и прямо въ садъ, въ густые кусты малины, гдѣ и спрятался отъ поисковъ Соуса, да еще и малины наѣлся.

Слыхалъ я, что есть театры, гдѣ играютъ комедіи и гдѣ играетъ музыка, т. е. оркестръ, и задумалъ воспроизвести все это у себя дома и вотъ какъ. Собралъ я шесть мальчиковъ: одному далъ въ руки отцовскую скрипку, другому гитару, третьему дудочку, четвертому балалайку, пятому сковороду и чумичку для ударенія по сковородѣ, а шестаго усадилъ за гусли. Потомъ отыскалъ въ школѣ съ книгами двѣ допотопныя комедіи: одну подъ заглавіемъ «Трубочистъ», заглавіе другой не припомню. Далѣе: поставилъ посреди залы два стола, на столы по стулу. На одинъ изъ нихъ взобрался самъ съ «Трубочистомъ» въ рукахъ; на другой усадилъ совоспитанника и внучатнаго моего брата Ваню, давъ ему другую комедію. Затѣмъ по знаку моей руки мальчики ударили по струнамъ, да въ сковороду, да въ дудочку; и пошла потѣха; кто въ лѣсъ, кто по дрова. Это былъ оркестръ удивительный, какого едва ли удавалось кому послушать, и который вполнѣ годился бы для разыгрыванія «геніальныхъ композицій извѣстнаго *славянскаго* маэстро». Наконецъ, по истеченіи нѣкотораго времени и по моему знаку, оркестръ утихалъ. Тогда я прочитывалъ первую фразу перваго явленія изъ «Трубочиста». За мною Ваня прочтетъ тоже первую фразу изъ другой комедіи. И такъ далѣе, по очереди, пока не надоѣло. Но были антракты, во время которыхъ, оркестръ исполнялъ симфоніи, нисколько не уступающія *славянскимъ* ораторіямъ извѣстнаго «абиссинскаго маэстро, въ бѣломъ жилетѣ со штрипками». Не доставало только самаго маэстро для дирижированія.

Слыхалъ я, что есть законы, указы и наказанія за вины. Давай сейчасъ же сочинять сводъ законовъ, для введенія правильнаго правосудія между дворовыми ребятишками, которые прислуживали въ домѣ и участвовали въ моихъ играхъ и затѣяхъ. Въ этомъ курьезномъ «уложеніи о наказаніяхъ», достойномъ Ликурга и Солона, значилось между прочимъ:

«§ 1. Кто разобьетъ стаканъ, или рюмку, или тарелку, тому тумака въ голову.

§ 2. Кто изломаетъ мою игрушку, тому потасовка.

§ 3. Кто произведетъ въ комнатѣ неприличный звукъ, горломъ или чѣмъ другимъ, тому тумакъ и дранье за вихорь».

И такъ далѣе до двадцати параграфовъ. Таковъ былъ десятилѣтній чухломскій Ликургъ.

Вотъ перечень моей дѣтской дѣятельности; но онъ далеко не полонъ.

Я былъ необыкновенно чувствителенъ и чрезвычайно добръ и сострадателенъ: готовъ былъ все, что имѣлъ, отдать бѣдному, страждущему. За одно ласковое слово готовъ былъ броситься въ огонь и воду. Но за то когда вспылю, разсержусь, не приведи Боже. Начну драться, царапаться, щипаться, готовъ откусить носъ. А когда силы не хватало справиться съ тѣмъ, кто меня раздосадовалъ, упаду и бью ногами о полъ, крича благимъ матомъ, словно меня рѣжутъ. Но это сейчасъ и пройдетъ; стоитъ только меня приласкать, и я по прежнему добръ и веселъ. Трудно было «заставить меня сдѣлать что либо силою», такъ я становился, непослушенъ и упрямъ въ этихъ случаяхъ. Кричи на меня, брани меня, стращай, наказывай, ставь въ уголъ, на колѣни, оставляй безъ обѣда: я все молчу, смотрю изъ подлобья и ни шагу, чтобы попросить прощенія. Но взгляни только на меня ласково, скажи мнѣ кротко: «Коля! перестань упрямиться; ты добрый мальчикъ. Ну, поцѣлуй меня и послушайся: сдѣлай то, что тебѣ приказываютъ». И я вдругъ зарыдаю, брошусь въ объятія того, кто меня наказалъ, а теперь приласкалъ, сейчасъ же попрошу прощеніе и сдѣлаю все, что отъ меня требовали; сдѣлаю гораздо болѣе того, но сдѣлаю за ласковое слово, а не за угрозу, но не изъ за страха кары, даже самой строгой. Характеръ мой, вѣрнѣе всего, могъ опредѣлиться французской пословицей: «Tout par amour, et rien par force».

Трудно было рѣшить, къ чему именно была у меня способность. Я брался за все, и брался съ настойчивостью, съ увлеченіемъ. Прежде всего, еще съ шестилѣтняго возраста, проявилась во мнѣ страсть къ рисованію. Я не могъ видѣть равнодушно ни одной картинки, ни одного рисунка; мнѣ сейчасъ же хотѣлось срисовать ихъ. Ничѣмъ нельзя было такъ обрадовать меня, какъ подаривъ мнѣ нѣсколько листовъ бумаги и карандашъ. Ящикъ же съ кисточками и красками, хотя бы самыми дрянными, приводилъ меня въ неописанный восторгъ. Срисовывалъ я все, что мнѣ попадалось на глаза: головки, лошадокъ, домики, разныхъ животныхъ, церкви и виды городовъ и сельской жизни. Потомъ, когда я началъ учиться и когда уже умѣлъ читать и писать, страстно полюбилъ я стихи. Заводилъ тетрадки, альбомы и вписывалъ въ нихъ все, что попадалось мнѣ въ руки, печатное или писанное изъ тогдашней бѣдной антологіи. Позднѣе явилась у меня страсть къ скрипкѣ, и уже гораздо позднѣе — къ гитарѣ.

Я былъ чрезвычайно пытливъ и любознателенъ во всемъ, что надѣялся узнать черезъ распросы. Столѣтняя моя няня, съ которой любилъ я разговаривать по цѣлымъ часамъ, въ особенности была мастерица разсказывать сказки о «Еруслапѣ Лазаревичѣ», о «Бовѣ Королевичѣ», о «Звѣрѣ Норкѣ подземельномъ» и множество другихъ. Бабушка тоже, съ своей стороны, не скупилась на сказки, особенно послѣ удаленія няни Соломониды. Но что еще занимало меня въ высшей степени, такъ это—чортъ. Безпрестанно слышалъ я вокругъ себя слова: нечистая сила, чортъ, дьяволъ, злой духъ, домовой, лѣшій, водяной. И страшно становилось мнѣ отъ этихъ словъ, и смертельно хотѣлось мнѣ узнать, что такое этотъ чортъ и дьяволъ, со всею честною компаніей, порожденною болѣзненнымъ воображеніемъ суевѣрія и невѣжества.

— Няня! — спрашивалъ я однажды Соломониду. — Въ самомъ дѣлѣ есть на свѣтѣ чортъ?

— Говорятъ, что есть, мой голубчикъ.

— А ты его видала когда нибудь?

— Нѣтъ, мой голубчикъ, никогда не видала.

— А кто другой видалъ его?

— Не знаю, мой родимой, не слыхала.

— А я слышалъ отъ Хавроньи, что тетенькинъ скотникъ Спиридонъ встрѣтилъ разъ ночью чорта на сѣнникѣ. Говоритъ: такой страшный! Съ рогами, съ хвостомъ и съ желѣзными когтями на рукахъ. И на козла похожъ, и на человѣка. Да только такой злой.

— Э, батюшка! Не вѣрь ты этой дурѣ Хавроньѣ. И охота тебѣ разговаривать съ нею, съ полоумною! Я сто восемь лѣтъ прожила на свѣтѣ, а чорта никогда не видала, да и не слыхала, чтобы кто другой его видѣлъ.

— А мнѣ бы очень хотѣлось посмотрѣть на него. Хоть и страшно, а все бы взглянулъ на него разочекъ, чтобы знать, что это за чортъ такой?

— Господь съ тобою, голубчикъ! Что это вздумалъ ты такія ужасти? Да сохранитъ тебя Богъ отъ всякой нечистой силы! И думать-то грѣшно объ этомъ, а не только желать встрѣтиться съ злымъ духомъ.

И няня примется креститься и читать молитву; а потомъ осѣнитъ крестнымъ знаменіемъ и меня; и я перестану разспрашивать о чортѣ.

Во мнѣ была еще одна замѣчательная черта. Отецъ мой, большею частью, жилъ въ городѣ, оставляя дѣтей въ деревнѣ подъ надзоромъ нянекъ и бабушки. Все это женское народонаселеніе ужасно боялось грома. Когда начиналась гроза, всѣ окна въ домѣ затворялись крѣпко

на-крѣпко, и все женское царство, бабушка, сестра моя, двѣ няни и ключница собирались въ одну комнату, гдѣ было только одно окно, которое завѣшивалось шторой и еще чѣмъ нибудь; и потомъ, прижавшись одна къ другой, сидѣли въ темномъ углу комнаты, крестясь послѣ каждаго удара грома. Я же, напротивъ, ужасно любилъ грозу. Какъ только загремитъ и польется дождь, я бѣгомъ въ мезонинъ, или, какъ называли его няни и люди, въ «мизанетъ», войду и прямо къ окну; растворю его настежь, и давай наслаждаться и громомъ, и молніей и, въ особенности, проливнымъ дождемъ, подъ который подставляю и руки, и голову, высовываясь изъ окна до-нельзя. Иногда Соломонида и накроетъ меня въ этомъ общеніи съ разъяренными стихіями, подбѣжитъ къ окну и закричитъ испуганнымъ голосомъ:

— Ахъ ты шалунъ эдакой! Вздумалъ шутить съ Богомъ, безстрашный ты эдакой сорванецъ! Ну долго ли до бѣды? Какъ разъ громъ убьетъ! — И сейчасъ же старушка затворитъ окно и сведетъ меня за руку внизъ въ женскую компанію, гдѣ и караулитъ до конца грозы.

Вмѣстѣ со мною воспитывался мой внучатный братъ и ровесникъ, съ которымъ я былъ очень друженъ, хотя у насъ были совершенно различные характеры. Ваня Френевъ былъ мальчикъ чрезвычайно тихій, скромный, прилежный и самаго флегматическаго темперамента; тогда какъ я былъ огонь и порохъ. Ваня постоянно сидѣлъ за книгами, я рѣдко бралъ ихъ въ руки, исключая стиховъ. Ваня имѣлъ необыкновенный поэтическій талантъ, наслѣдованный имъ отъ своего отца, который прослылъ не только въ своемъ уѣздѣ, но и въ цѣлой губерніи своими сатирами. Въ этихъ остроумно-злыхъ сатирахъ онъ перебралъ и осмѣялъ поочередно всѣхъ должностныхъ, и потомъ всѣхъ важныхъ и полуважныхъ своихъ собратій, костромскихъ дворянъ. Ваня тоже писалъ стихи на учителей, секретарей и гостей, посѣщавшихъ домъ моего отца. Писалъ онъ стихи съ необыкновенной легкостью. Я страшно завидовалъ этому таланту и Богъ знаетъ, чего бы не далъ за то, чтобы самъ я могъ писать стихи также, какъ и мой внучатной братъ *). Но, увы. Природа совершенно отказала мнѣ въ этомъ дарованіи, и я не могъ написать складно двухъ стиховъ, хотя и безпрестанно это пробовалъ. Но у меня была замѣчательная способность къ пародіи. Въ одномъ

*) Онъ умеръ въ 1832 году, будучи студентомъ Петербургскаго университета. Горько оплакивалъ я рапнюю смерть этого чудеснаго мальчика, подававшаго самыя блестящія поэтическія надежды.

тогдашнемъ сборникѣ стихотвореній находилась предлинная поэма подъ заглавіемъ «Свѣтлана», которая начиналась такъ:

«Свѣтлана въ Кіевѣ счастливомъ
Красой и младостью цвѣла,
И изо всѣхъ красавицъ дивомъ
При княжескомъ дворѣ была.»

Я переложилъ всю эту поэму, взявъ за героиню одну изъ горничныхъ, Татьяну, а за героевъ себя и кузена Ваню. Эта пародія была довольно удачна для десятилѣтняго молокососа. Она начиналась такъ:

«Татьяна въ Першинѣ счастливомъ....

И такъ далѣе. Сочинилъ я еще родъ сказки, героемъ которой сдѣлалъ самого себя. Я назвалъ ее сказаніемъ. Вотъ какъ оно начиналось:

«Во время оно, жилъ былъ рабъ Божій Николай. Его не кормили, не поили и въ подполье посадили. Сидитъ онъ день, сидитъ другой, сидитъ и третій. Никто о томъ не знаетъ; только комаръ да муха, и то святымъ духомъ....» и пр. и пр., довольно длинно и все въ юмористическомъ да въ мистическомъ родѣ.

Домашнее ученіе мое началось на девятомъ моемъ году, и продолжалось четыре года, въ теченіе которыхъ перебывало у меня три учителя. Вотъ юмористическая, но вѣрная характеристика этихъ педагоговъ.

№ 1. Яковъ Григорьевичъ. Долговязый, длинный и съ прическою à la чортъ меня побери, неизвѣстнаго происхожденія, но извѣстнаго невѣжества, и въ которомъ свирѣпость необъятно преобладала надъ значеніемъ и методою, а потому педагогическую систему его составляли: медленное обученіе складамъ по истрепанной азбукѣ, прозванной «лапшею», и немедленное отхлопанье линейкою ладонныхъ полостей за малѣйшую вину; а за болѣе крупную: въ уголъ, голыми колѣнями на горохъ или на полѣно. Наконецъ: стеганіе «извѣстными и по извѣстной».... Черезъ годъ прогнали въ три-шея сторонника линейки, гороха, полѣна и стеганья. Я подпрыгнулъ отъ восторга. A bas les линейки, à bas les полѣнья, à bas les стеганья по «извѣстной», закричалъ бы я непремѣнно, если бы зналъ по французски. Но я не зналъ, и потому не закричалъ, а только въ самый же день тришейнаго прогнанія напалилъ и набѣдокурилъ столько, сколько при педагогѣ № 1 не напалилъ бы и въ полгода.... Значитъ — наверстали.

№ 2. Прохоръ Семенычъ. Совершенный контрастъ перваго: маленькій, толстенькій и не только что не à la чортъ, а просто себѣ à la

ни какъ не причесанный добрякъ, безъ малѣйшей свирѣпости и безъ всякихъ линеекъ, гороха, полѣньевъ и стеганій. Поэтому разъ какъ-то и вышелъ такой грѣхъ: девятилѣтній сорванецъ самъ постегалъ «маненько» не стегающаго педагога, но только чѣмъ именно: линейкой, тросточкой или прутьями, не припомню. Разумѣется, потомъ и самого сорванца постегали «маненько» чѣмъ-то, съ помощью дядьки да башмашника, но не бабушки, которая на взрыдъ рыдала, что стегали ея голубчика. И этотъ нестегающій, а стеганый педагогъ прожилъ не болѣе года при мнѣ: его тоже уволили. Трудно угодить на нашихъ столбовыхъ: перестегаешь — скверно, и не достигаешь—нехорошо.

Во время пребыванія этого педагога насъ училось уже не двое, а трое: кромѣ Вани, жилъ у насъ сынъ сосѣда и тоже мой ровесникъ: Никол. Кондр. Кадниковъ. Это былъ не флегматикъ, какъ Ваня, а точь въ точь такой же какъ и я : пылкій, страстный, бурный бѣдокуръ и шалунъ. Но онъ жилъ у насъ только годъ: его увезли въ Морской корпусъ. Спустя 15 лѣтъ свидѣлся я съ нимъ (въ концѣ 1834 г.) въ домѣ дяди, близъ Солигалича. Онъ пріѣзжалъ въ отпускъ и былъ лейтенантомъ. Разумѣется, мы сейчасъ же сошлись и сдѣлались закадычными друзьями. И какой романъ, или вѣрнѣе мелодрама разыгралась тогда между нимъ и одною изъ моихъ кузинъ. Подъ конецъ онъ командовалъ кораблемъ Сѣверо-Амер. компаніи въ Ситкѣ. И какой страшный конецъ былъ съ нимъ! Но обо всемъ этомъ послѣ.

№ 3. Александръ Клавдеичъ Фокетъ. Не педагогъ, а только кузнецъ и обломокъ великой французской арміи, который предпочелъ, принявши православіе, остаться въ Россіи, хоть въ ней и страшно какъ бррррр! но за то давалось немедленно званіе педагога, которымъ онъ никогда не былъ; чѣмъ возвратиться изъ плѣна на родину, гдѣ хотя и много поменѣе бррр, но за то ожидало немедленное возвращеніе къ званію кузнеца, которымъ онъ всегда былъ. Ну, вотъ и началъ этотъ обломокъ великой арміи обучать меня съ Ванею французскому діалекту по методѣ кузнечныхъ дѣлъ мастера, т. е. съ произношеніемъ не мягкимъ *ля*, *ле*, *лю*, а самыхъ что ни есть жесткихъ *ла*, *ло*, *лу*. Касательно же линеекъ, обломокъ арміи держался середки на половину. Mais quand à ce стеганье, pas du tout.

Кончился и третій педагогическій періодъ моего ученія. Обломокъ великой арміи, послѣ двухлѣтняго пребыванія въ нашемъ домѣ, былъ разсчитанъ и отпущенъ, но отпущенъ съ честью, не потому чтобы имъ были недовольны; напротивъ. Я шибко преуспѣлъ въ языкѣ Мольера: зналъ сотни три вокабулъ, да десятка три фразъ изъ діалоговъ. А ужъ

что за произношеніе! образцовое, парижское, самое кузнечное. Какъ начну откалывать языкомъ *ла*, *ла*, *ла*; *ло*, *ло*, *ло*; *лу*, *лу*, *лу*. Куда! перещеголяю всякій кузнечный молотъ и даже весь Кузнецкій Мостъ.

Итакъ отпустили кузнечныхъ и французскихъ дѣлъ мастера потому, что отецъ отвезъ меня на воспитаніе къ моей богатой теткѣ, у которой былъ одинъ, любимый ею сынъ и при немъ отличный гувернеръ изъ Швейцаріи, да еще учитель рисованья и живописи. Ваню увезли въ Кострому, въ гимназію. Жизнь моя въ домѣ тетки заслуживаетъ особой книги. Жизнь эта и все, что я тамъ видѣлъ и слышалъ, послужитъ превосходнымъ дополненіемъ картины жизни и нравовъ костромскихъ дворянъ того времени. Но прежде нежели перенестись въ домъ тетки, разскажу одинъ весьма любопытный фактъ изъ моего дѣтства.

Умная, столѣтняя Соломонида ходила за мной только до семилѣтняго моего возраста. Ей исполнилось тогда сто девять лѣтъ и она вдругъ ослѣпла. Тогда рѣшилась она разстаться съ своимъ дорогимъ питомцемъ и голубчикомъ, чтобы умереть на родинѣ, т. е. въ «Вылинкинѣ», близъ Солигалича. Имѣніе это принадлежало двумъ дядямъ моимъ по матери, которые служили въ Варшавѣ, въ военной службѣ, подъ начальствомъ Цесаревича Константина Павловича, и были имъ очень любимы. Тяжело было разставанье мое съ Соломонидою. Мы оба рыдали. Несмотря на свою слѣпоту, Соломонида все еще была бодра и не хотѣла пребывать сложа руки: она постоянно сидѣла на лежанкѣ и постоянно пряла до самой смерти, которая постигла ее на сто семнадцатомъ году ея возраста, годъ спустя послѣ того, какъ меня увезли на службу въ Варшаву. Но до моего отъѣзда въ даль, я раза по два въ годъ навѣщалъ мою старую няню, которая всякій разъ, при звукахъ знакомаго ей дѣтскаго голоса, перестанетъ прясть, обниметъ своими сухими руками мою голову, начнетъ ее цѣловать, обольетъ слезами; потомъ, пошаритъ около себя, достанетъ изъ кожаной сумки гривну мѣди и дастъ мнѣ на пряники.

Изъ рукъ умной Соломониды, я перешелъ на руки другой няни, жирной, толстой и кривой Анны Аганитовны, женщины доброй, усердной и въ высшей степени религіозной, но, съ тѣмъ вмѣстѣ, и страшно суевѣрной. Ну и перевоспитала она меня на свой ладъ. Говорила мнѣ все объ адѣ, да о вѣчныхъ мукахъ, которыя описывала съ величайшими подробностями, точно какъ бы сама погостила въ аду съ полгода и коротко познакомилась съ самимъ царемъ подземнаго царства и съ его министрами, съ портфелемъ и безъ портфеля. Толковала мнѣ все о

спасенія души, о постахъ, объ умерщвленіи плоти. Достала гдѣ-то и какія-то рукописи: *Сонъ Пресвятой Богородицы*, да *Крестъ упавшій когда-то съ неба около Іерусалима*, и на которомъ была начертана какая-то рацея; да еще какія-то безъименныя пророчества. Года черезъ два послѣ такого перевоспитанія, я былъ доведенъ до того, что боялся войти въ темную комнату, чего никогда не случалось со мною при Соломонидѣ, этомъ почтенномъ обломкѣ временъ Петра 1-го. Вмѣстѣ съ Ванею, я сталъ соблюдать всѣ посты. Мало того: оба положили мы по пятницамъ ничего не ѣсть и—не ѣли, голодали. Молились по цѣлымъ часамъ и утромъ и вечеромъ; часто просыпаясь по ночамъ, вставали съ постели, зажигали свѣчку и снова за земные поклоны и за чтеніе Псалтиря. Адъ, каленыя цѣпи, сковорода на которой жарятъ и котлы съ кипящею смолою, въ которой варятъ грѣшниковъ; все это не выходило изъ головы двухъ мальчиковъ и не давало имъ покою ни днемъ, ни ночью. Наконецъ обуяло меня непреодолимое желаніе спасаться. Едва пришла эта мысль въ мою дѣтскую голову, какъ я сообщилъ ее Ванѣ, на котораго имѣлъ я большое вліяніе. Нѣсколько дней мы обдумывали планъ спасенія, и наконецъ обдумали и рѣшились тотчасъ же привести его въ исполненіе. Еще заранѣе начали мы заготовлять провизію, т. е. сушить сухари изъ ситнаго и рѣшетнаго хлѣба, посыпавъ ихъ солью. Два порядочные мѣшечка накопили мы этихъ сухарей. Тогда-то и рѣшились мы бѣжать изъ дому, и прямо въ лѣсъ — спасаться. Наканунѣ дня исполненія этого намѣренія, мы долго и усердно молились и горячо плакали. На другой день проснулись рано, когда въ домѣ всѣ спали, одѣлись, надѣли на себя мерлушьи тулупчики (дѣло было зимою), валеные сапоги, шапки, рукавички, взяли по мѣшку съ сухарями и, помоливщись усердно и въ послѣдній разъ, вышли потихоньку изъ дома родительскаго. Погода была тихая, безъ вѣтра, но съ морозомъ градусовъ въ восемь. Отошли мы версты двѣ по дорогѣ къ лѣсу, на опушкѣ котораго остановились отдохнуть, запыхавшись отъ скорой ходьбы. Я впалъ въ глубокое раздумье, опустивъ на грудь голову. Ваня смотрѣлъ на меня, съ любопытствомъ, какъ на оракула. Я встрепенулся, поднялъ голову и посмотрѣлъ на мрачный лѣсъ. Начинало разсвѣтать.

— Ваня! — заговорилъ я. — Знаешь, что мнѣ пришло въ голову?

— А что?

— Вѣдь намъ теперь нельзя спасаться.

— Отчего?

— Да вѣдь теперь зима. Гдѣ же мы будемъ жить въ лѣсу? Избы тамъ нѣтъ. Замерзнемъ. А можетъ и волки съѣдятъ насъ. Да и съ

голоду умремъ. На долго ли хватитъ намъ этихъ сухарей? Гдѣ же мы достанемъ себѣ пищу изъ подъ снѣга? Отложимъ до лѣта. Тогда будетъ другое дѣло. И тепло, и волковъ мало, да можемъ и прокормить себя грибами да ягодами. Не правда ли?

— Правда, правда. Мы объ этомъ и не подумали. Что же намъ теперь дѣлать?

— А вернуться домой. Теперь еще не успѣли замѣтить, что мы бѣжали. Но только смотри у меня, никому ни слова о томъ, что мы хотѣли бѣжать. А то намъ лѣтомъ помѣшаютъ спасаться. Ни кому не скажешь?

— Никому.

— Побожись.

— Ей Богу ни кому не скажу.

— Ну хорошо. Поцѣлуй меня и побѣжимъ домой.

И два кандидата отшельничества обнялись, поцѣловались, побѣжали домой и успѣли войти въ свою комнату прежде, нежели кто замѣтилъ ихъ отсутствіе. И крѣпко сдержали они обѣтъ молчанія: никто въ домѣ, ни въ ту минуту, ни послѣ не узналъ объ ихъ продѣлкѣ. Въ концѣ зимы глупая няня была удалена изъ дому; ко мнѣ приставили дядьку, очень умнаго и дѣльнаго, а потому, съ наступленіемъ лѣта я оставилъ свое намѣреніе — спасаться въ лѣсу, сократилъ на половину время моленій и сталъ ѣсть скоромное по середамъ и пятницамъ; но въ прочіе посты продолжалъ еще умерщвлять постной пищей свою отроческую плоть. Теперь, чтобы дорисовать картину моего дѣтства и отрочества, прибавлю нѣсколько штриховъ къ моей характеристикѣ.

III.

Мои дѣтскія шалости и моя характеристика.

При всѣхъ трехъ, описанныхъ мною выше, педагогахъ, несмотря на ихъ линеечки, горохъ, полѣнья и постеганія, я ужасно лѣнился, а при двухъ послѣднихъ еще и шалилъ страшнѣйшимъ образомъ. Стопа бумаги потребовалась бы для описанія всѣхъ моихъ продѣлокъ, шалостей, безчинствъ, буйствъ, потасовокъ, справляемыхъ мною дворовымъ мальчикамъ, а порою и отъ нихъ получаемыхъ по еврейскому закону возмездія. Не было ни одного дня, ни одного часа въ моей жизни, въ которой члены моего тѣла были бы всѣ въ цѣлости: то глазъ подши-

бенъ, то губы расквашены, то палецъ на рукѣ, а иногда и два порѣзаны и въ «куклахъ», то колѣно разбито, то кто нибудь изъ четвероногихъ аристократовъ, котораго уже слишкомъ нецеремонно дергалъ я за «столбовой» хвостъ, укуситъ меня за носъ или за что другое. Часто, поймавъ за уши поросенка, заставлю его визжать съ ожесточеніемъ, а самъ стремглавъ удираю съ нимъ по двору отъ разъяренной матки и, взобравшись на заборъ, смѣюсь надъ безсиліемъ материнскаго гнѣва и, съ помощію давленій, щипаній, дерганій за уши и тумаковъ, заставляю поросенка вывизгивать мое, Николашино, торжество самымъ пронзительнымъ поросячьимъ визгомъ.

Порою полѣзу на дерево, оборвусь, упаду и ужасно разобьюсь. То стремглавъ побѣгу изъ мезонина по крутой и высокой лѣстницѣ, оступлюсь да и скачусь на спинѣ внизъ и шибко помну себѣ заднюю часть тѣла. Чаще всего случалось, что поймаю въ полѣ за гриву какую нибудь лошадь, иногда не выѣзженую, прыгъ на нее, — и помчусь во весь духъ, сломя голову, черезъ загороды, пни, кочки и канавы, а потомъ возвращаюсь въ тріумфѣ къ бабушкѣ за воздаяніемъ, т. е. за лакомствами, которыми пичкала она меня съ утра до вечера. И, большею частью, возвращался я цѣлъ и не вреднмъ. Но случалось, что и свалюсь и ужасно расшибусь. Надо удивляться, какъ остался я живъ, а еще болѣе — не изуродованъ. Никто за мной не смотрѣлъ, никто меня не останавливалъ; дѣлалъ я все, что только душѣ моей было угодно; все, что могло взбрести мнѣ на умъ: бабушки я ни на волосъ не боялся и не слушался, а для отца — былъ словно чужой, и не потому чтобы онъ не любилъ своихъ дѣтей, нѣтъ: а потому, что онъ слишкомъ любилъ женскіе башмаки, да четвероногихъ аристократовъ. Ну и возится съ ними цѣлый день; а тамъ — хоть трава не расти.

А ужъ какой же этотъ Николаша былъ лакомка, сластена! Не клади плохо ничего сладкаго; Николаша сейчасъ пронюхаетъ гдѣ и что плохо лежитъ: ну и «брюхо болитъ», и запуститъ лапу въ дурно-спрятанныя лакомства, да еще и другихъ одѣлитъ стянутой имъ сладкой добычей. Всякой разъ, когда бабушка, надѣвъ очки, усядется за столикъ у комода, въ передспальнѣ и примется колоть сахаръ, — она всегда сама колола сахаръ, — Николаша тутъ какъ тутъ, присосѣдится къ ней и начнетъ подпускать турусы на колесахъ; съ три короба всего нагородитъ. Бабушка слушаетъ не наслушается, и радуется не нарадуется. А Николаша себѣ не промахъ: потихоньку да половче и запуститъ руку въ узенькій интервалъ между сахарной головой и комодомъ, да и давай собирать обильный келымъ за свои розсказни: полонъ рукавъ напихаетъ

кусками сахару. Иногда, но далеко не всегда, бабушка и спохватится, поймаетъ его за руку и вытрясетъ изъ рукава незаконный калымъ. Даже и накажетъ, строго накажетъ воришку и вотъ какъ : закричитъ на него.

— Ахъ ты шалунишка, воришка эдакой! Вотъ я же тебя ужо проучу! Ни пряниковъ, ни винныхъ ягодъ, ни даже орѣшковъ не дамъ тебѣ..... А сестрѣ твоей дамъ..... а тебѣ не дамъ.

Ну, до обѣда и крѣпится, ничего не даетъ. А послѣ обѣда не выдержитъ. Вѣдь только и внучковъ-то у нее, что Николаша. Ну какъ не потѣшить своего голубчика? А въ другой разъ голубчикъ и еще лучшую штуку удеретъ. Подмѣтитъ бывало, куда бабушка спрячетъ ключикъ отъ большой жестяной сахарницы, да и намотаетъ себѣ на усъ. Вотъ послѣ обѣда, когда бабушка отправится въ садъ съ дѣвками обирать спѣлую малину, внукъ ея соберетъ человѣкъ восемь дворовыхъ ребятишекъ и раздастъ имъ въ руки по палкѣ, вмѣсто ружей. А ребятишки все народъ бывалый, обученый уже прежде Николашею, который и самъ теперь вооружится палкою, выстроитъ всѣхъ въ одну шеренгу, и давай муштровать, командовать.

— Стоять смирно, — крикнетъ онъ, и все стоитъ смирно, не пошевелится. Дисциплина введена отличная, не въ примѣръ лучше чѣмъ въ папскихъ войскахъ. Потомъ:

— Здравствуйте, ребята! — А ребята гаркнутъ:

— Здравія желаемъ, ваше благородіе! — А его благородіе снова:

— На пле-чо.... Слушай! На кра-улъ. На пле-чо. На ру-ку. На пле-чо. Ружье къ но-гѣ. Спасибо, ребята!

— Рады стараться, ваше благородіе!

— Стоять во-льно. Оправься.

Тутъ ребята оправятся маленько, посморкаются и покашляютъ. Потомъ снова за дѣло.

— Смирно! На пле-чо. Дирекція на право, скорымъ шагомъ — маршъ. .. На пра-во. На лѣ-во. Пря-мо. Равняйсь. На лѣво кру-гомъ. Стой. Спасибо, ребята!

— Рады стараться, ваше благородіе.

Научившись такимъ образомъ вдоволь, командиръ и завершитъ свое ученье самымъ смѣлымъ, блистательнымъ маневромъ, какого нѣтъ ни въ одномъ воинскомъ артикулѣ, ни въ линейномъ ученьи. Прежде всего Николаша воодушевитъ свое войско блистательною рѣчью, въ которой все есть, все, кромѣ «сорока вѣковъ, смотрящихъ съ высоты пирамидъ». Ну, да пропускъ этотъ произошелъ не по недостатку у Николаши красно-

рѣчія, котораго хватало бы у него и на восемьдесятъ вѣковъ; но отъ того, что онъ не зналъ еще, что существуютъ на свѣтѣ вѣка да пирамиды. А то непремѣнно помѣстилъ бы ихъ въ своей импровизаціи. Въ настоящую минуту его занимало не вѣка и не пирамиды, а большая жестяная сахарница въ видѣ башни и полнехонькая колотаго сахару. Вотъ онъ и заговоритъ:

— Ребята! Уже не разъ выказывали вы мнѣ свое усердіе и свою храбрость, не разъ удивляли своими ученьями и бабушку, и папашу, и няню, и дядьку, и ключницу, и Аксинью, и Хавронью, и Терентьича. Не разъ отличались вы на этомъ дворѣ и заслужили похвалу отъ своихъ отцовъ и матерей. Я доволенъ вами, я горжусь вами и надѣюсь, что и теперь меня не выдадите, не осрамите своего командира. Сегодня надо вамъ отличиться больше, чѣмъ въ прежніе разы. Я сейчасъ поведу васъ на приступъ крѣпости. Умремъ, но побѣдимъ, не попятимся. Только не пугаться, не бросать ружей, не чесать себѣ затылки, не ревѣть какъ бабы и не бѣжать домой въ избы. Ну, за мной, впередъ, съ нами Богъ, ура!

— Урааа! — загорланитъ воодушевленная армія.

— На ру-ку, на штурмъ. Бѣглымъ шагомъ, маршъ!

И вотъ войско храбро бѣжитъ за командиромъ въ домъ. Наконецъ оно въ передспальнѣ, гдѣ обыкновенно кололся сахаръ и стояла жестяная цитадель. Николаша самъ первый начнетъ приступъ, т. е. станетъ на стулъ и достанетъ завѣтный ключикъ, спрятанный въ кивотѣ съ образами. Слѣзетъ со стула, отопретъ цитадель и крикнетъ:

— Ребята, сюда! Крѣпость сдалась на капитуляцію. Вы хорошо учились сегодня, и за то вамъ по чаркѣ на человѣка.

Ребята къ нему, а онъ и ну собирать контрибуцію, т. е. черпать изъ жестянаго тамбура и правой, и лѣвой, поскорѣе, чтобы не пришла бабушка и не отрѣзала ретираду. Горсть одному, горсть другому, одѣлитъ всѣхъ поровну. А унтеру дастъ двѣ горсти. Разумѣется и командира не забудетъ; гдѣ жъ это видано, чтобы командиры себя забывали? На то они командиры, чтобы никогда себя не забывать. Четыре пригоршни сахару набьетъ себѣ въ карманы, но крѣпость не всю ограбитъ: три четверти имущества оставитъ жителямъ; себѣ же и съ побѣдоносною своею арміей возьметъ только одну четвертую часть. Другіе полководцы поступаютъ наоборотъ; знаемъ мы ихъ. Слыхали и про Валахію, и про Салоса.... А бабушка иногда и накроетъ своего

голубчика и командира; всплеснетъ руками и завопитъ самымъ что ни есть старушечьимъ и жалобнымъ голосомъ:

— Ахъ ты, негодный мальчишка! что это ты натворилъ? Вотъ я же тебѣ покажу, какъ воровать сахаръ!

Но увы! Контрибуція уже собрана. Вотъ и наровитъ она, какъ бы отрѣзать ретираду непріятельскимъ полчищамъ; да въ стратегіи-то она не больно сильна, пооплошала; и потому новѣйшій полководецъ нашъ и со всею побѣдоносною арміей сейчасъ же тягу черезъ противоположную дверь. Прытокъ больно, не догонишь. Армія хотя и распущена по домамъ, но она разбѣжалась въ разныя стороны и подальше отъ домовъ.... Охъ, страшно! Чтобы сахаръ не отняли; надо поскорѣе его порѣшить. И порѣшатъ очень скоро. Молодцы ребята!... А бабушка-то, какъ заглянетъ въ тамбуръ, то еще разъ всплеснетъ руками и гораздо отчаяннѣе, чѣмъ въ первый разъ: изъ тамбура уже очень и очень поубыло. Шутка ли надѣлить цѣлую армію, и съ унтеромъ, и съ командиромъ.

На этотъ разъ бабушка безпремѣнно накажетъ внучка, строго накажетъ: весь остальной день не дастъ ему ни пряниковъ, ни винныхъ ягодъ, ни орѣховъ, ни чернослива, ни пѣнокъ съ варенья, ни, ни..... А развѣ только вечеромъ, когда внукъ пойдетъ спать, дастъ ему потихоньку отъ всѣхъ, кромѣ отъ самой себя, немного изюмцу да одно яблочко. Пусть потѣшится въ постелькѣ, голубчикъ.

Я сказалъ выше, что я былъ очень смѣлъ съ лошадями, и не мудрено. Съ восьмилѣтняго возраста началъ я выѣзжать съ отцомъ на псовую охоту, имѣлъ свою верховую лошадь и свою борзую. А съ десяти лѣтъ владѣлъ уже цѣлою сворою. Безстрашно мчался я взапуски со всѣми взрослыми ѣздоками, порскалъ и атукалъ не хуже любаго доѣзжачаго; травилъ и даже самъ прикалывалъ затравленныхъ мною зайцевъ, и вѣшалъ ихъ въ торопи около стремени, сперва отрубивъ у нихъ лапки и бросивъ ихъ заслуженнымъ аристократамъ въ видѣ офиціальной награды. Словомъ: не только ребятишкамъ республиканцамъ, да кошкамъ, да поросятамъ; но и лошадямъ доставалось иногда порядкомъ отъ бабушкина голубчика и озорника: упаритъ, бывало, до мыла, такъ что и взрослому не смочь такъ намылить хребетъ благороднѣйшему изъ четвероногихъ. Но за то случилось, что и эти благороднѣйшіе четвероногіе поподчуютъ порядкомъ своего двуногаго собрата по благородству расы. Иная лошадь такъ поддастъ мнѣ, что снесутъ меня замертво; и проваляюсь я съ мѣсяцъ въ одинокой, орошаемой слезами бабушки. И не до лакомства мнѣ.... Выздоровѣю, попримирѣю немного,

а потомъ опять дымъ коромысломъ. Неукротимая натура, даромъ что консерваторъ.

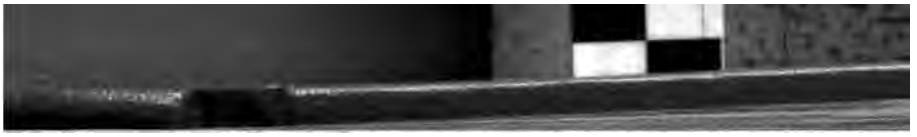
Итакъ дома я шалилъ — по причинѣ бабушки, а лѣнился по причинѣ плохихъ, неспособныхъ учителей, дѣлавшихъ все, чтобы не развить, а убить въ ребенкѣ любовь къ ученію, чтобы огадить ему самое ученіе. За то послѣ, въ домѣ тетки и потомъ въ Варшавѣ въ домѣ дяди я сдѣлался тихимъ, сидячимъ; возненавидѣлъ шалости и утратилъ три четверти своей застѣнчивости и пять шестыхъ изъ ея старшей сестры, букости; но по частицѣ этихъ сестеръ осталось при мнѣ навсегда—состоять по особеннымъ порученіямъ при моей особѣ, хотя неспособны были ни на какія порученія.

Какая странная, злая игра насмѣшливой судьбы! Мать ненавидѣла меня и даже, умирая, не благословила, а я, какъ нарочно, на зло, вышелъ весь въ мать, какъ вылитой, и наружною, и духовною стороною моей личности. У меня былъ тотъ же высокій ростъ, та же стройность сложенія, что и у матери; ея лицо, ея каріе глаза, ея огненно-рыжіе волосы *). Въ дѣтствѣ и отрочествѣ казалось, что я былъ недолговѣченъ, часто хворалъ, и раза три поражали меня такіе жестокіе недуги, что всѣ домашніе отчаявались въ моемъ выздоровленіи и готовились отпѣвать меня. Но съ тринадцатилѣтняго возраста я началъ крѣпнуть, развиваться такъ, что въ восьмнадцать сдѣлался уже чрезвычайно сильнымъ, могучимъ и съ тѣхъ поръ почти не зналъ, что такое заболѣть серьозно. Здоровье мое казалось скованнымъ изъ стали. Простуды, ревматизмы, флюсы, насморки, вся эта свита комплекцій изнѣженныхъ, искривленныхъ фуфаечнымъ воспитаніемъ, мнѣ рѣшительно были незнакомы. Я насмѣхался надъ сквознымъ вѣтромъ, надъ дождемъ, жаромъ, холодомъ, слякотью, сыростью и надъ всѣми прочими пріятностями нашего сѣвернаго климата, и выходилъ изъ нихъ всегда цѣлъ и невредимъ. Старшій же мой братъ, любимецъ матери, былъ весь въ отца, лицемъ и кротостью, мягкостью характера; но умомъ — весь въ мать.

Въ отношеніи нравственномъ у меня, какъ и у покойной матери, были: та же необъятная память, тѣ же пылкость, вспыльчивость, восторженность, впечатлительность, страшная боязнь, просто ужасъ не только безчестнаго, злаго, но мало-мальски сомнительнаго, неопредѣленнаго поступка, и наконецъ необычайная чувствительность. Послѣдняя была развита во мнѣ до такой степени, что можно было назвать ее моимъ шес-

---

*) Еще необъяснимая странность: съ пятнадцатилѣтняго возраста, волосы мои начали темнѣть, а въ восьмнадцать сдѣлались совсѣмъ темнорусыми.



тымъ чувствомъ. Впослѣдствіи она сдѣлалась для меня источникомъ безчисленныхъ страданій, потому что я былъ недотрога въ полномъ смыслѣ этого слова: не только грубаго, или чуть-чуть рѣзкаго, жесткаго слова; но одного косаго, непривѣтливаго взгляда, въ особенности отъ любимаго мною, или просто хорошо знакомаго мнѣ человѣка, было достаточно, чтобы глубоко огорчить, а порою и взволновать меня и сдѣлать несчастнымъ на нѣсколько дней. Да и мнителенъ же я бывалъ иногда.

Темпераментъ былъ у меня огненный, въ жилахъ — растопленная лава вмѣсто крови, воображеніе — безпредѣльное: оно уносило меня порою не только за границы міра видимаго, но и дальше, туда, за орбиту солнечной системы, за млечный путь, за предѣлы вселенной; и самая вѣчность не смущала меня, не пугала, не останавливала; и въ эту таинственную бездну пытался проникнуть я на крыльяхъ смѣлаго, необузданнаго воображенія. Отъ матери же получилъ я и умъ; но онъ спалъ, былъ затоптанъ, замороженъ материнскою нелюбовью, которая не улетѣла Туда, съ послѣднимъ материнскимъ вздохомъ, а осталась при мнѣ, увѣковѣчилась въ моей «букости».

Впечатлѣніе этой нелюбви на мой дѣтскій умъ было такъ велико, такъ живуче, такъ тлетворно, что и много лѣтъ спустя послѣ смерти матери, я не могъ забыть этого грустнаго факта моего младенчества, факта, о которомъ одно воспоминаніе омрачало порою лучшія минуты моего существованія. Сколько разъ потомъ, во время возмужалой и военной моей жизни, случалось мнѣ находиться въ обществѣ моихъ военныхъ товарищей, когда все вокругъ предавалось беззаботнымъ шумнымъ разговорамъ, шуткамъ, смѣху, веселію, иногда попойкѣ. Во всемъ этомъ принималъ я всегда дѣятельное участіе; и если только это не оскорбляло нравственнаго чувства, сильно развитаго во мнѣ, то я ни въ чемъ не отставалъ отъ товарищей, которые всѣ, безъ исключенія, уважали и любили меня безъ памяти *), любили за то, что, хотя и былъ я твердъ и непреклоненъ въ исполненіи разъ принятаго мною намѣренія, но въ то же время умѣлъ быть и обязательнымъ, безъ слабости, и оказывать безпрестанныя услуги товарищамъ и быть душою ихъ общества. Какъ часто случалось, что, среди этихъ дружескихъ пирушекъ, нелюбовь матери мгновенно придетъ мнѣ на память, наляжетъ тяжелымъ, огненнымъ облакомъ на мои думы, защемитъ болѣзненно мнѣ сердце; и изъ весе-

*) Доказательствомъ тому—прощальный обѣдъ, данный мнѣ всѣмъ полкомъ при отставкѣ.

лаго, безпечнаго, разговорчиваго, я мгновенно становлюсь мрачнымъ, молчалинымъ, удаляюсь на стулъ въ уголъ и склоняю на руку свою голову, въ которую, какъ раскаленнымъ молотомъ, стучитъ страшная мысль:

«Ты—отверженецъ родной своей матери! Ты отнынѣ отверженъ и небомъ, и землею, и человѣчествомъ! На челѣ твоемъ лежитъ печать отверженія, печать нелюбви къ тебѣ твоей матери, которая, и умирая, не хотѣла благословить тебя и отогнала прочь отъ своего смертнаго ложа. Ты заклейменъ!... Иди же, отверженный сынъ, и скитайся на землѣ, какъ отчужденный, какъ пришлецъ, никому незнакомый и немилый! И не будетъ для тебя мѣста между человѣками на пиру жизни! Не встрѣчать тебѣ ни привѣтливаго взгляда, ни слова ласковаго! Ты—отверженецъ, отверженецъ, отверженецъ *).

И мнѣ становилось и страшно, и нестерпимо, и хотѣлось плакать.... Но не выплачешь такого горькаго, такого страшнаго, ядовитаго воспоминанія, какъ нелюбовь матери къ своему дѣтищу. Я мгновенно вскакивалъ, ускользалъ незамѣтно изъ веселаго круга друзей, и бѣжалъ куда нибудь подальше отъ всякаго шума, искалъ уединенія, хотѣлъ бы спрятаться въ неприступное мѣсто; спрятаться и отъ людей, и отъ своихъ собственныхъ думъ и воспоминаній **). Упомяну теперь объ одной изъ главныхъ чертъ моего характера, которая преобладала во мнѣ, начиная отъ самаго младенческаго возраста и до поздней старости. Это—отсутствіе малѣйшаго эгоизма, даже тѣни эгоизма, который претилъ моей натурѣ, былъ гадокъ, омерзителенъ мнѣ, казался такою уродливостью, которую я даже не понималъ. За тоже какую огромную массу потерь, горя и страданій накликала эта черта на мою голову, въ продолженіе всей моей жизни. Не разъ я проклиналъ ее, старался если не убить, то хоть ослабить ее; но все напрасно: «Горбатаго могила исправляетъ», или «Гони природу въ дверь, она войдетъ въ окно».

Подѣлиться чѣмъ либо съ кѣмъ нибудь, нужную самому мнѣ вещь отдать тому, кто въ ней нуждается, а потомъ самому нуждаться, было всегда великимъ для меня наслажденіемъ. Сколько, безъ счету разъ за добро платили мнѣ зломъ, и порою страшнымъ? Если я долго и много страдалъ въ моей жизни, то, положа руку на сердцѣ, долженъ сознаться,

---

*) И теперь, когда я пишу эти строки, горькія слезы текутъ изъ моихъ глазъ при этомъ воспоминаніи и болѣзненно сжимается моя грудь.

**) Все, что написано, начиная со слѣдующей строки и до конца этой главы, припомнилъ и написалъ я въ нынѣшнемъ 1881 году.

что, почти въ половинѣ этихъ случаевъ, я страдалъ не изъ за себя, а изъ за другихъ, за «угнетенную невинность», за мое донкихотство. Сколько разъ, «кроя чужую кровлю, я раскрывалъ свою собственную»; выручая, спасая другихъ отъ бѣды, я попадалъ самъ въ бѣду, и попадалъ часто по милости спасенныхъ мною? Но Богъ съ ними! Пусть останутся: при нихъ—мое добро, а при мнѣ—ихъ зло.... О, какъ справедлива пословица: «Не вспоивъ, не вскормивъ, ворога не купишь».

Донкихотство мое шло часто еще далѣе. Напр.: я не могъ равнодушно слышать разсказа о какой нибудь несправедливости, о злomъ, нечестномъ поступкѣ, сдѣланныхъ не то, чтобы человѣкомъ знакомымъ мнѣ, или человѣку знакомому мнѣ, а просто совершенно мнѣ незнакомыми. Я кипятился, извергалъ потоки чуть не лавы, потоки громовыхъ филиппикъ. Мало того: я негодовалъ даже на тѣхъ, которые выслушивали о чужихъ пакостяхъ равнодушно, не выказывая ни малѣйшаго негодованія. Скрытничать, притворяться, лгать даже въ шутку, даже во снѣ, я не могъ и не умѣлъ. Вслѣдствіе этой черты и моей преувеличенной боязни, чтобы не сказать и не сдѣлать, не только въ настоящемъ, но и въ будущемъ какой либо неправды, я, такъ сказать, забѣгая впередъ съ пессимистскимъ прицаніемъ, подвергался часто участи діаметрально противоположной участи прочихъ смертныхъ, большинство которыхъ кажется, или старается казаться лучшимъ, чѣмъ оно есть на самомъ дѣлѣ; со мною зачастую случалось наоборотъ. Чувство зависти тоже было совершенно незнакомо мнѣ; напротивъ, я всегда отъ души радовался, когда выпадало какое либо счастіе на долю не только моихъ друзей, но и просто моихъ знакомыхъ. Теперь нѣсколько словъ о памяти, которая оказывала мнѣ иногда предурныя услуги.

Все, что я прочитывалъ со вниманіемъ и что показалось мнѣ интереснымъ, я долго потомъ помнилъ, а порою и никогда уже не забывалъ, были ли это стихи, романы въ нѣсколькихъ частяхъ, которые, спустя много лѣтъ, я могъ разсказать отъ начала до конца, со всѣми подробностями. Я зналъ на память всѣ поэмы Пушкина, почти всѣ главныя и объемистыя баллады Жуковскаго, всего «Войнаровскаго», всю памфлетную и рукописную комедію Крылова: *Трумфъ* (*Вакула* тожь). За эту комико-сатирическую бутаду знаменитый баснописецъ чуть-чуть не угодилъ «въ мѣста отдаленныя.» Выручила его изъ бѣды басня *Соловей*, которую импровизировалъ онъ пріѣхавшему къ нему оберъ-полицеймейстеру (кажется Горголи), съ зловѣщею миссіею: допросить и если что не такъ, отправить поэта туда, далеко, на каковой предметъ пріѣхала вмѣстѣ съ начальствомъ полиціи и повозка съ ухарской тройкой

для далекаго путешествія. Импровизированная Крыловымъ басня, самая слабая изо всѣхъ его басенъ, кончалась слѣдующею дифирамбическою лестію:

«Я пѣлъ тебя, великій Александръ».

Поэтому, если справедливо, что «соловья баснями не кормятъ», то не менѣе справедливо и то, что полицію можно иногда накормить баснею, но съ прибавленіемъ соловья. Наконецъ, зналъ я на память все «Горе отъ ума», не пропуская ни единаго стиха и по самой вѣрной рукописи офицера нашего полка, Тинькова, двоюроднаго брата Грибоѣдова. Но за то и сохранилась же въ моей памяти одна поэма, ужасная, ультра-нецензурная, которую, много, много лѣтъ спустя, старался я позабыть, но тщетно. Это довольно длинная, въ двухъ пѣсняхъ поэма и по прошествіи пятидесяти лѣтъ, цѣлаго полустолѣтія послѣ того, какъ я прочелъ ее въ первый разъ, уцѣлѣла въ моей памяти. Случилось это въ 1831 году, во время плѣна моего у поляковъ. Попалась мнѣ тогда въ руки эта скабрезная рукопись; я переписалъ ее (былъ я тогда страшнѣйшій esprit fort, вольтеріанецъ чистѣйшей воды); переписалъ, но вскорѣ послѣ того у меня ее зачитали, т. е. попросту стянули. Назвать ли вамъ эту поэму, любезный читатель?.. Нѣтъ: боюсь скандализировать васъ, предполагая у васъ черезчуръ благочестивыя уши. Говорили, что за эту ультра-нецензурную поэму въ рукописи когда-то порядкомъ досталось нашему геніальному народному поэту, и что, на своемъ смертномъ одрѣ, онъ горячо раскаивался въ написаніи этой скабрезности. Но такова сила генія: сколько разъ, въ маленькомъ обществѣ, или съ кѣмъ нибудь вдвоемъ, случалось, что пронюхаютъ о томъ, что я знаю наизусть этотъ запретный плодъ Пушкина. Вотъ и пристанутъ ко мнѣ, и начнутъ меня упрашивать, умолять, чтобы я сказалъ пушкинскую бутаду. Какъ я ни верчусь, ни отговариваюсь, но въ концѣ концовъ вынужденъ уступить, и давай декламировать. Между слушателями бывали и люди вѣрующіе, набожные, молящіеся и постящіеся; бывали дамы, молодыя и пожилыя. Ну, читаю: начало себѣ ничего, очень приличное, даже какое-то смиренномудрое. Но вскорѣ потомъ нашъ геніальный Пушкинъ и начнетъ развертываться, и пошелъ, и пошелъ....

— Тьфу, какой подлецъ! Какіе ужасы, гнусности! Чтобы ему за это пусто было!—вырвется изъ устъ нѣкоторыхъ слушателей или слушательницъ, которые даже начнутъ креститься и отплевываться. Я вдругъ и перестану, сказавъ:

— Ну, довольно.

— Ахъ нѣтъ, нѣтъ! ужъ продолжайте, ради Бога, продолжайте! Что за прелестные..., т. е. что за чертовски-прекрасные стихи! — И я продолжаю еще съ однимъ или двумя перерывами, но всегда дочитывалъ до послѣдняго стиха:

«И звукъ сихъ струнъ тебѣ я посвятилъ».

Въ послѣднюю поѣздку мою за границу, въ 1873 году, я купилъ въ Берлинѣ книжечку запрещенныхъ стихотвореній Пушкина. Тамъ находилась и вышесказанная скабрезная поэма, но только съ большими пропусками противъ бывшей у меня рукописи *). И въ настоящую минуту, когда мнѣ стукнуло безмала 72 года, я не могу позабыть эту скабрезность. А лѣтъ шесть тому назадъ попалъ я въ самое неловкое положеніе. Разъ вечеромъ, въ одной петербургской гостиной, хозяинъ и хозяйка и многіе изъ гостей обоего пола упросили, уломали меня познакомить ихъ съ запретнымъ пушкинскимъ плодомъ. И въ какомъ же положеніи очутился я? Около, въ креслахъ, и напротивъ меня, на диванѣ, сидѣло нѣсколько мужчинъ и молодыхъ дамъ, которыя слушали меня безъ всякихъ перерывовъ и съ явнымъ удовольствіемъ на лицахъ; слушали и... наслаждались. А подалѣе, въ креслахъ у окна, сидѣли двѣ пожилыя дамы, которыя прислушивались безъ малѣйшихъ признаковъ удовольствія, а напротивъ, какъ я ни старался пролепетывать, полуглотать скабрезныя мѣста.... Продолжаю исповѣдываться: вотъ еще три черты моего характера.

Не говоря о сплетничаньи, о передачѣ вѣстей непріятныхъ отъ одного другому, отъ одной мысли о чемъ меня страшно мутило; но даже простые, невинные слухи не любилъ я повторять. Что у меня въ одно ухо влѣзетъ, въ другое вылѣзетъ. Скорѣй откушу себѣ языкъ, чѣмъ передать кому что либо, могущее поссорить его съ кѣмъ нибудь. Передать хорошее, могущее помирить, это другое дѣло: я ловилъ такіе случаи. Успѣхъ въ нихъ доставлялъ мнѣ высокое наслажденіе и радость.

Итакъ, я ненавидѣлъ ссоры и распри, избѣгалъ ихъ всячески; и не только ссора со мною, но и всякая ссора между моими родными или знакомыми глубоко огорчала меня, и я дѣлалъ все возможное и невозможное, изъ кожи лѣзъ, чтобы только не допустить кого до ссоры, или помирить, если ссора уже произошла. И, безъ хвастовства, много разъ и многихъ удавалось мнѣ помирить, даже послѣ долголѣтней вражды.

---

*) По поводу этой книжки съ запрещенными стихами былъ курьезный случай на таможнѣ, о чемъ разскажу въ 4-й книжкѣ.

Между прочимъ, первымъ моимъ дѣломъ было помирить моего отца со старшею, замужнею дочерью, которую онъ на глаза не принималъ; помирить сейчасъ же по пріѣздѣ моемъ въ отпускъ, послѣ плѣна моего у поляковъ. Пріятно мнѣ теперь вспомнить и о томъ, какъ удалось мнѣ разъ въ Москвѣ помирить мужа съ женою, страстно любившихъ другъ друга и потомъ вдругъ... Какія горячія благодарности получалъ я потомъ отъ обоихъ!.. Не изъ хвастовства, не для рисовки, клянусь, вспоминаю теперь обо всемъ этомъ далекомъ прошломъ; а единственно для того, чтобы очиститься отъ «всякія скверны», т. е. отъ тѣхъ ужасныхъ подозрѣній, обвиненій и ругательствъ, какими осыпала меня пресса начала шестидесятыхъ годовъ; и, наконецъ, показать, что не такъ же я дуренъ, страшенъ, «неудобоваримъ», какимъ силились выставить меня тогда. Рѣшаюсь говорить о себѣ еще и потому, что позволяю себѣ думать, что я пересталъ уже быть безвѣстною, темною личностью, по крайней мѣрѣ для тѣхъ, кому нужны хорошіе двуязычные словари. Пусть же хоть они сознаютъ, что порядочный лексикографъ можетъ, въ то же время, быть и не дурнымъ, не злымъ человѣкомъ; тѣмъ болѣе, что и по изданіи моихъ словарей, многія редакціи запирали передо мною, какъ передъ зачумленнымъ, свои двери.

Вторая черта, это—благодарность. Не только за благодѣяніе, за важную услугу, но и за маленькую, во мнѣ тотчасъ же возникало чувство самой горячей, искренней признательности, и длилось оно долго, долго. И я бывалъ счастливѣйшимъ изъ людей, если впослѣдствіи удавалось мнѣ отблагодарить чѣмъ нибудь, и если можно, отблагодарить съ десятерицею. Ну и эта экзажерація благороднѣйшаго изъ чувствъ не разъ приготовляла мнѣ много горя, обходилась не дешево. Случалось много разъ, что разные эдакіе благодѣтели спекулировали на мою благодарность и получали огромный барышъ, десятки рублей на рубль съ оказанной мнѣ услуги.

Третья черта. Ну это ужъ совсѣмъ скверная черта, каюсь и посыпаю пепломъ мою сѣдую голову. Это — мстительность, трудная забываемость нанесеннаго мнѣ оскорбленія, въ особенности оскорбленія моего сердца, но ничего другаго, потому что за нанесеніе мнѣ матеріальнаго ущерба, за обманы и надувательство, я сердился, порою и обрывалъ, но безъ всякихъ дурныхъ послѣдствій для обманувшаго меня. Посержусь, выпущу нѣсколько, ничуть не смертоносныхъ, стрѣлъ, и—баста, все и пройдетъ. Но когда кто нибудь чувствительно, глубоко оскорблялъ мое самолюбіе, мои чувства, мое сердце, того я долго, долго не забывалъ и не прощалъ; и, при первой возможности, мстилъ, но только не зломъ, сохрани Боже!

а тоже уколомъ, царапиной самолюбія обидчика. Любилъ я даже отмстить ему оказаніемъ услуги, добрымъ дѣломъ; и это было моимъ любимымъ способомъ мстить за обиду. «На же тебѣ, злой человѣкъ! пережевывай, переваривай мое доброе дѣло». Вотъ образчикъ такого мщенія, который беру я между многими изъ моихъ воспоминаній.

Въ 1845 и 46 годахъ, нѣкто Верига управлялъ орловскими откупами, состоявшими тогда въ комиссіонерствѣ у извѣстнаго тогдашняго откупнаго реформатора. Въ *Задушевной Исповѣди* видно, какъ я заступился тогда за этого Веригу, оклеветаннаго въ глазахъ его патрона. Благодаря моей горячей защитѣ, онъ сохранилъ свое мѣсто и свое хорошее содержаніе. Иначе — пропалъ бы. Настаетъ 1847 годъ. Блистательно окончивъ щигровское дѣло, пріѣзжаю въ Вязьму, главную контору новыхъ смоленскихъ дѣлъ откупнаго реформатора. Верига поступилъ главно-управляющимъ. И чтожъ узнаю я въ конторѣ отъ одного преданнаго мнѣ служащаго, котораго я тоже спасъ отъ несправедливаго гоненія? Верига вознамѣрился отблагодарить меня что ни есть наіезуитѣйшимъ образомъ (онъ былъ изъ католической шляхты): цѣлый мѣсяцъ собиралъ и подтасовывалъ онъ факты изъ моего управленія, выворачивалъ ихъ наизнанку, равно и мои невиннѣйшіе поступки, слова, жесты, чтобы составить обвинительный актъ противъ меня, очернить и разсорить меня съ его патрономъ, а моимъ якобы другомъ. Я было не повѣрилъ, но доказательства іезуитскаго предательства были на лицо и такъ ясны, что нельзя было не повѣрить. Глубоко опечалила меня такая чернота и мучительной болью отозвалась въ сердцѣ. «Мелкій мошенникъ и крупный подлецъ! Не прощу тебѣ этого: отмщу, непремѣнно и сейчасъ же отмщу», подумалъ я и... отмстилъ.

Вслѣдъ за мной пріѣзжаетъ въ Вязьму и мой якобы другъ. Облобызались мы наилюбовнѣйшимъ образомъ. Патронъ въ восторгѣ отъ меня, не знаетъ, куда посадить. Поэтому, наши кровати были поставлены въ одну комнату и рядышкомъ. Въ первый же вечеръ нашего постельнаго сожительства, мой якобы другъ спросилъ меня:

— Я оставилъ Веригѣ его орловское содержаніе: довольно съ него?

— А что получалъ онъ въ Орлѣ?

— Четыре тысячи.

— Знаешь что? Смоленскіе откупа гораздо важнѣе и обширнѣе орловскихъ, стало быть и дѣла здѣсь будетъ гораздо болѣе. Прибавь Вѣригѣ одну тысячу. У него пять человѣкъ дѣтей, такъ пусть и будетъ на каждаго по тысячѣ. А онъ будетъ стараться и служить тебѣ еще ретивѣе.

— Согласенъ: ты вполнѣ правъ. Куда ни шла лишняя тысяча, которая можетъ вернуться мнѣ сторицею.

На другой день послѣ этого разговора я вспомнилъ объ одномъ очень важномъ, въ моихъ глазахъ, обстоятельствѣ и поспѣшилъ сказать патрону:

— Надѣюсь, что, сообщая Веригѣ о прибавкѣ ему жалованья, ты не сказалъ, почему ты сдѣлалъ эту прибавку.

— Виноватъ: я уже сообщилъ ему, что онъ обязанъ этимъ тебѣ.

Меня сильно покоробило и я сказалъ:

— Напрасно, напрасно.

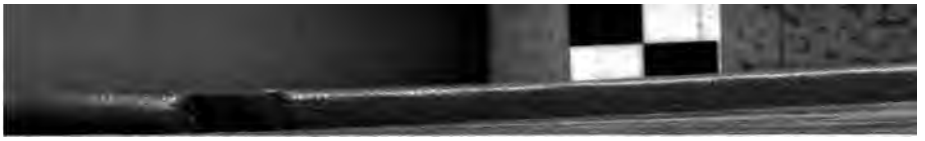
Патронъ уѣзжаетъ въ Питеръ, а я поселяюсь въ Гжатскѣ управляющимъ. Проходитъ недѣля. Изъ гл. конторы ко мнѣ бумага, за подписью Вериги, наполненная рѣзкими замѣчаніями, выговорами и порицаніемъ моего управленія, и все это было въ высшей степени несправедливо, натянуто. Свѣту не взвидѣлъ я. Сильнѣйшее негодованіе закипѣло во мнѣ, но я сдержалъ себя, и спокойно отвѣчалъ и опровергнулъ взведенныя на меня напраслины. Но завзятый шляхтичъ не унимался, а принялся стрѣлять въ меня бумагами все чаще и чаще, грубѣе и наглѣе и, такимъ образомъ, вполнѣ успѣлъ отравить жизнь мою въ Гжатскѣ. Ну, я и не выдержалъ: взялъ да и рѣшился выстрѣлить въ него письмецомъ такого содержанія:

«М. Г. Антонъ Андреичъ! Изъ всего, что вы позволяете себѣ продѣлывать относительно меня, я угадываю и усматриваю, что вамъ смертельно захотѣлось получить отъ меня пару пощечинъ. О вкусахъ, а равно и о желаніяхъ не спорятъ. И потому ничего не имѣю сказать противъ вашего христіанскаго желанія — подставить свои ланиты подъ оплеухи. Но скажу только: я чрезвычайно опрятенъ; и не только голыми руками, но даже и въ перчаткахъ остерегаюсь прикасаться къ грязнымъ вещамъ. Поэтому, для удовлетворенія вашего законнаго и ультра-христіанскаго желанія, предлагаю вамъ или моего лакея, или кучера: они охотно и безъ перчатокъ,—имъ ни по чемъ всякая грязь,—дадутъ вамъ не только по двѣ, но и по двѣ дюжины самыхъ полновѣсныхъ пощечинъ».

Прежде чѣмъ отправить по назначенію, я послалъ письмо на цензуру моему якобы другу, и сейчасъ получилъ вотъ какой отвѣтъ:

«Уувлеечееніе! Письма посылать Веригѣ не нужно: съ этою же почтою шлю ему строжайшій приказъ объ изъятіи гжатскаго откупа отъ всякой зависимости отъ главной конторы».

Тѣмъ и покончилась іезуитско-шляхетская война Вязьмы съ Гжатскомъ, и я вздохнулъ свободно. Но шляхетный хорохора хорохорился въ



Вязьмѣ не долго: мѣсяца черезъ два его прогнали въ три шеи за хересоманію, т. е. за утоленіе своей непомѣрной жажды шестью, а иногда и восемью бутылками хереса въ день. Истину этого разсказа могло бы засвидѣтельствовать одно, самое компетентное въ этомъ дѣлѣ, лицо. Но это болѣе, чѣмъ сомнительно. Мстилъ я еще и тѣмъ, что, за весьма рѣдкими исключеніями, я уже не хотѣлъ воспользоваться никогда и ни одной услугой, какую впослѣдствіи вздумалось бы предложить мнѣ моему оскорбителю. Но вотъ что мнѣ хорошо извѣстно изъ многочисленныхъ опытовъ и наблюденій: кто нисколько не мстителенъ, тотъ почти никогда не отличается благодарностью; и наоборотъ: кто никогда не забываетъ сдѣланнаго ему добра и не перестаетъ быть за него благодарнымъ, тотъ — мстителенъ. Это — вѣрно. А я всегда и за все былъ до нельзя благодаренъ.

Ухъ, какъ легко, когда искренно, отъ души покаешься въ своихъ вольныхъ и невольныхъ прегрѣшеніяхъ.

Отличался я еще необыкновеннымъ постоянствомъ чувствъ. Кто разъ мнѣ понравится, кого я разъ полюблю, то уже долго сохраняю къ нему мою привязанность; сохраняю, пока лицо это не совершитъ что нибудь некрасивое, не честное, или пока не умретъ. Все прощу, извиню: нанесеніе мнѣ убытка, крупную неловкость, громкое, но отъ неумѣлости, а не отъ безчестности, фіаско; все, но не низость, не подлость. И не только относительно людей, но и вещей, проявлялось у меня то же постоянство, та же привязанность. Долго служащая мнѣ вещь, хотя бы старая, вышедшая изъ моды, но еще крѣпкая, не бросалась, не замѣнялась новою, становилась для меня дорогою и продолжала служить мнѣ съ честью до совершенной своей негодности. Не буду говорить о моемъ необычайномъ терпѣніи, о настойчивости и несокрушимой энергіи въ достиженіи задуманной цѣли и въ борьбѣ съ препятствіями. Я не зналъ съ усталостью, съ желаніемъ отдохнуть, понѣжиться. Это будетъ видно изъ дальнѣйшихъ разсказовъ о моей жизни. Но что еще страшно претило моей натурѣ, такъ это—нахальство и, въ особенности, шарлатанство, которое я не терпѣлъ, не могъ равнодушно видѣть. О, съумѣй я только и захоти хоть малость пошарлатанить! Навѣрное давно уже получилъ бы я громкую извѣстность въ области концертной музыки на моемъ инструментѣ. Но я гнушался всякаго искательства. А безъ шарлатанства, въ нашъ матеріяльный, скептическій, пуфическій и ходульный вѣкъ, нѣтъ успѣха, далеко не уйдешь, если нѣтъ у кого особеннаго счастія или сильной поддержки. Самому умному, талантливому человѣку, но безъ нахальства и шарлатанства, безъ поддержки, трудно

проявить свою полезную дѣятельность такъ, чтобы возбудить къ ней сочувствіе общества: ему сейчасъ же подшибутъ крылья. Особенно, если онъ дѣйствуетъ прямо, искренно, открыто, никогда и никуда не ходитъ окольными путями; а идетъ всегда и всюду по неуклонно прямой дорогѣ; не хвастаетъ, не лжетъ и даже не прилыгаетъ. Такой человѣкъ, безъ особеннаго счастья, всегда будетъ мученикомъ всего его окружающаго, всѣхъ, кто его знаетъ, а еще болѣе тѣхъ, которые его не знаютъ, или знаютъ, да мало, что гораздо хуже, чѣмъ вовсе не знать. Пусть такой человѣкъ посвятитъ себя всего достиженію полезной, благодѣтельной цѣли. Израсходуетъ онъ и богатства своихъ ума и таланта, и свое матеріяльное состояніе. Но если онъ не шарлатанъ, не нахалъ, не низкопоклонникъ, а главное: «родился не въ сорочкѣ», а напротивъ: никто не отдастъ ему справедливости, все объ немъ молчитъ, словно его не было на свѣтѣ. А часто и осмѣютъ его, сдѣлаютъ изъ него карикатуру, назовутъ его сумасбродомъ, безпокойнымъ человѣкомъ, «мечтателемъ опаснымъ», а иногда и просто дуракомъ. А сохрани Боже, сдѣлаетъ онъ ошибку, одну, и не безчестную, а просто вслѣдствіе пылкости своего характера, да еще будетъ имѣть неосторожность раскаяться и сознаться во всеуслышаніе. Ну, тогда онъ пропалъ безвозвратно. Не спасутъ его сто добрыхъ или полезныхъ дѣлъ его честной и гуманной жизни. Все набросится на него за эту ошибку. О добрыхъ, полезныхъ его дѣлахъ ни полслова, а только всѣ станутъ тыкать пальцемъ на его ошибку; примутся на него шикать, свистать, готовы побить камнями. И этого мало: подцѣпятъ его ошибку разные бумагомарители, пачкуны и кропатели, эти однодворцы ума и таланта, эти бездарные поденьщики мысли, слова и пера, чернорабочіе повременныхъ изданій, панегиристы и кадильщики однихъ авторитетовъ и патентованные зубоскалы. И примутся они бросать печатною грязью въ честное и свѣтлое имя того, кто виновенъ только тѣмъ, что сознался въ своемъ проступкѣ, тогда какъ у многихъ хулителей и судей имѣется на совѣсти десятки проступковъ, несравненно предосудительнѣйшихъ, но тщательно ими скрываемыхъ. И попадетъ онъ, мученикъ своей добросовѣстности и правды, въ разные печатные листы и карикатуры, на одну доску съ опозоренными именами. И осудятъ его безъ суда и безъ апеляціи, и убьютъ въ немъ и талантъ, и жажду добра и полезной дѣятельности... Грустно, тяжело... Но таковъ свѣтъ. Таковъ онъ былъ, есть и будетъ до тѣхъ поръ, пока истинный прогресъ будущихъ поколѣній не сотретъ съ лица земли шарлатанство, неправду, ложь и лицемѣріе; пока гуманность не сдѣлается цѣлью, а не средствомъ, сущностью, а не формою, лицомъ, а не маскою, фактомъ,

а не призракомъ, не декораціей, не костюмомъ для ловкихъ и смышленныхъ актеровъ большаго и маленькаго свѣта. Замѣчу еще: между разными крайностями, въ характерахъ людей есть двѣ, которыя порицаются изрѣченіями «Гордымъ Богъ противится» и «Уничиженіе паче гордости». Въ смыслѣ перваго я никогда не грѣшилъ, но ко второму я иногда подходилъ по милости постояннаго моего недовѣрія къ самому себѣ и еще по отвращенію, какое питалъ я ко всему, что хотя нѣсколько смахивало на нахальство или на хвастливое шарлатанство. Вотъ еще одна черта моего характера.

Очень понятно и естественно, что я не могъ не имѣть самолюбія. Кто же безъ самолюбія? Безъ него немыслимъ порядочный человѣкъ. Разумѣется, я говорю о самолюбіи разумномъ, законномъ. Это — наилучшій двигатель хорошихъ поступковъ и, съ тѣмъ вмѣстѣ, наилучшая узда на дурные. Но есть самолюбіе фальшивое, преувеличенное, чудовищное, которое не допускаетъ ни малѣйшаго у себя недостатка, не сознаетъ необходимости ни улучшенія, ни исправленія своего *Я*, иногда весьма смѣшнаго, уродливаго, карикатурнаго. Люди, одержимые этою нравственною опухолью своего *Я*, не любятъ, чтобы имъ кто нибудь давалъ совѣты, не спрашиваютъ ничьего мнѣнія, не любятъ даже простаго замѣчанія, если оно несогласно съ ихъ собственнымъ мнѣніемъ. Мало того: они часто становятся во враждебныя отношенія къ высказавшему противное мнѣніе, или, сохрани Боже, не похвалившаго ихъ за что либо. Я зналъ въ Петербургѣ одного хорошаго артиста и отличнаго человѣка, который разсорился навсегда съ своимъ хорошимъ пріятелемъ за то, что тотъ сдѣлалъ ему разъ самое невинное, благодушное замѣчаніе на счетъ его пѣнія. Вотъ такого-то фальшиваго самолюбія у меня не было и въ поминѣ. Напротивъ: я вседа и ото всѣхъ спокойно выслушивалъ всякія мнѣнія и замѣчанія на счетъ моей дѣятельности или поступковъ. И если они были справедливы, дѣльны, я всегда благодарилъ за нихъ. Если же были нелѣпы, я пропускалъ ихъ мимо ушей, но никогда за нихъ не сердился. И если я достигъ значительныхъ результатовъ и побѣдилъ большія музыкальныя трудности на моемъ инструментѣ, который началъ я изучать серьезно, имѣя уже 28 лѣтъ, то частію обязанъ этимъ тому, что я умѣлъ хладнокровно выслушивать и принимать къ свѣдѣнію совѣты или замѣчанія не только отъ людей компетентныхъ, но и отъ простыхъ любителей, часто отъ незнатоковъ, которымъ удавалось иногда, случайно, говорить дѣло. Еще: не терпѣлъ я картежной игры, въ особенности азартной, отъ которой бѣгалъ, какъ отъ чумы. Не зналъ еще, что такое — не умѣть къ чему привыкнуть,

или—не умѣть отвыкнуть отъ чего нибудь. У меня не было *неисправимыхъ привычекъ*, если я только серьезно захотѣлъ исправиться; не было, кромѣ одной — жевать себѣ языкъ. Ну, съ этой видно придется лечь въ могилу. Вспомнилъ и вписываю одну важную черту: никогда не былъ я дамскимъ кавалеромъ, хотя и былъ постоянно сердечнымъ, когда былъ холостъ. Рѣчь о моихъ многочисленныхъ «любовяхъ» будетъ ниже, въ 4-й книгѣ. Какъ я уже сказалъ, въ моихъ жилахъ текла не кровь, а растопленная лава. Не даромъ же мой зять, Языковъ, прозвалъ меня *Аммалатомъ*, да еще *Везувіевичемъ*. При одномъ шорохѣ женскаго платья меня бросало въ жаръ и холодъ, дѣлалась со мною и лихорадка, и горячка. А между тѣмъ я всегда былъ не смѣлъ, страшно робокъ съ женщинами, бѣгалъ отъ нихъ и никогда не прославился побѣдою не то чтобы надъ сердцемъ женщины, а просто надъ ея темпераментомъ, кромѣ законной любви моей первой жены, да еще.... одной бельгійки, дивной, идеальной женщины. Это было въ Брюсселѣ, въ 1856 г., во время устроеннаго мною тамъ гитарнаго конкурса. То была моя лебединая пѣснь, но объ этомъ послѣ. Итакъ, я не слылъ успѣхами у женщинъ. Я говорю про успѣхи въ обществѣ, въ салонахъ, на сценѣ свѣта; а въ закулисномъ мірѣ у меня случалось не безъ грѣха, но за то и безъ всякихъ послѣдствій, жалобъ или нареканій. Впрочемъ, я самъ былъ причиною моихъ неуспѣховъ: я былъ слишкомъ совѣстливъ, честенъ, слишкомъ нравственъ для роли клубничнаго героя. Я ненавидѣлъ всякой развратъ, не только циническій, но и облеченный въ изящныя формы. Если и представлялся мнѣ иногда клубничный шансъ, то меня ужасала, мучила одна мысль о скандалѣ, о томъ, что бы встать между мужемъ и женой и нарушить ихъ семейное счастіе. Ну, я сейчасъ и тягу гораздо ранѣе, чѣмъ дѣло доходило до грѣха, и даже до простаго поцѣлуя ... Чистѣйшимъ Іосифомъ Яковлевичемъ изъ Библіи становился я тогда, и не разъ мои родные или знакомые подтрунивали надъ этой *клубникофобіей*, или, говоря иначе, надъ *путифарофобіей*. А чтобы соблазнить дѣвицу, то я даже и представить себѣ не могъ такого *орёра*. Вотъ одинъ тому примѣръ.

Было лѣто 1834 года. Я жилъ тогда у дяди близь Солигалича. Въ верстѣ отъ его усадьбы жилъ небогатый дворянинъ Дурновъ. У него было 20 душъ и шестнадцатилѣтняя дочь Лиза, прехорошенькая брюнетка, съ прекрасными черными, огненными глазами. Къ ней, какъ нельзя болѣе, шли стихи поэта, тридцатыхъ годовъ, Бернета:

«Прекрасная я перла юга,
Объятья пламенны мои».

Вотъ эта самая Лиза, хотя и не перла юга, а просто хорошенькая солигаличская барышня, возьми да и влюбись въ меня, влюбись страстно, можетъ быть и безумно въ нѣкоторомъ родѣ. Разумѣется, не допуская никогда идеи, чтобы въ меня могъ кто либо влюбиться, я ничего не подозрѣвалъ о вулканической страсти бѣдной дворяночки. Но это давно уже замѣтили и мой дяди, и тетка, и сестра Лиза, и даже всѣ горничныя и дворовые люди. Наконецъ, сестра сказала мнѣ однажды:

— Братъ! Неужели ты не замѣчаешь, что Лиза Дурнова страстно влюблена въ тебя?

— Какой вздоръ! Влюблена... въ меня... Да я развѣ созданъ для этого? Я созданъ, чтобы самому влюбляться, а не другихъ влюблять въ себя.

— А посмотри-ка на окна въ залѣ, столовой, биллiардной, въ моей комнатѣ: вездѣ на стеклахъ вырѣзанъ брилліантикомъ ея кольца твой вензель.

Чортъ возьми! Что жъ это такое?.. Въ меня влюбились? Да за что?.. Въ меня, самаго нелюбезнаго съ дамами, чуть не прячущагося отъ нихъ? Ужъ не за то ли, что я поигрываю на гитарѣ, да попѣваю романсы, отъ которыхъ, правда, разныя уѣздныя барышни того времени изволили «оченно» ухмыляться, «оченно умиляться», и даже порою «оченно прослезиться»... Право слово слезились. А разъ, гораздо позднѣе, въ 1851 г., въ Москвѣ, одна Евреинова, красавица съ большими голубыми глазами, до того разчувствовалась, что съ ней сдѣлалась истерика, когда я пропѣлъ: «Уймитесь волненія страсти»... Не вѣрите? Фактъ этотъ могъ бы засвидѣтельствовать честнѣйшій Ал. Өед. Ахлестышевъ, въ домѣ котораго происходила эта сценка, да онъ ужъ покойникъ. Но объ немъ будетъ рѣчь въ концѣ этой книги, по поводу весьма курьезнаго случая.

Итакъ, я сперва не повѣрилъ было словамъ сестры о любви ко мнѣ солигаличской брюнетки-красавицы; но потомъ пришлось повѣрить, потому что многія изъ горничныхъ и дворовыхъ дяди начали мнѣ напѣвать:

— А вѣдь Лизавета-то Ивановна страсть какъ васъ любитъ, просто отъ васъ безъ памяти.

— Такъ что-жъ изъ этого?

— Какъ что-жъ? Вѣдь она какъ есть красавица. А напишите-ко только къ ней хоть малехонькую записочку. Мы сейчасъ къ ней предоставимъ. Такъ она сейчасъ же прибѣжитъ къ вамъ куда угодно: хоть въ баню, хоть въ овинъ, хоть въ рощу.

На такія рѣчи я съ отвращеніемъ плюну и проговорю сердито:

— Убирайся къ чорту! И слышать-то мнѣ тошно такія мерзости! *Я отвѣчу любви только той, на которой могу жениться. А если бы случился какой грѣхъ, то я заставилъ бы себя жениться на той, которую хотя бы и не любилъ, да обезславилъ.* Итакъ, клубничникомъ я никогда не былъ: и не умѣлъ и, въ особенности, не хотѣлъ, не терпѣлъ этого. Но я былъ не прочь приволокнуться съ успѣхомъ, когда это не угрожало ни чести, ни счастію, ни спокойствію кого бы то ни было; не вмѣщало въ себѣ ни малѣйшаго трагизма ни въ настоящемъ, ни въ будущемъ, и могло, во всякую минуту, имѣть развязку безъ всякихъ раздирательныхъ сценъ.

Уѣхалъ я потомъ отъ дяди опять на службу. А позднѣе слышалъ, что Лиза Дурнова вышла за какого-то секретаря и.... сдѣлалась разбитнѣйшею барыней, пустилась во всѣ тяжкія, такъ что бѣдный ея мужъ не разъ вытаскивалъ разныхъ уѣздныхъ клубничниковъ, то изъ подъ кровати, то изъ шкафа, а разъ даже изъ печки. Вотъ куда угоразживала клубничная-то любовь. Вытаскивалъ, но зла ни какого не творилъ, а только усовѣщивалъ: былъ онъ аки агнецъ незлобенъ и мягкосердъ; ну и не безъ краснорѣчія. А вѣдь краснорѣчіе-то тогда много значило, не то что нынѣ: куда не плюнь, вездѣ торчитъ то Демосѳенъ, то Цицеронъ, а то даже и самъ почтмейстеръ изъ «Мертвыхъ душъ», уснащающій свою рѣчь; но только ужъ никакъ не Кузьма безсребренникъ. И все это таланты первоклассные и такъ сказать: «поющіе, вопіющіе, взывающіе и глаголющіе»... ахъ какъ глаголющіе! Заслушаешься. А что преобладаетъ въ нихъ: «поющее ли, вопіющее ли, или взывающее, или глаголющее», не могу знать? Но что въ нихъ царитъ весьма и весьма «берущее», это вѣрно. И всѣ эти поющіе, вопіющіе и берущіе изъ кожи лѣзутъ, чтобы доказать, что всѣ наши современные банко-, или казнокрады, въ особенности крупные, милліонные, суть агнцы непорочные, а ужъ никакъ не воры... ни, ни! Сохрани Боже!.. А все таки, хоть вы и агнцы, а гонорарчики-то намъ пожалуйте, «поелику» агнцы—сами по себѣ, а гонорарчики — сами по себѣ.

IV.

Mea culpa. (Несу повинную) *).

Въ моемъ обращеніи «ко всей читающей русской публикѣ», я сказалъ между прочимъ: Пусть эти «Воспоминанія» будутъ моею послѣд-

*) Глава эта и слѣдующая за нею написаны лѣтомъ нынѣшняго 1881 г.

нею, *предсмертною* исповѣдью» (а, быть можетъ, и *посмертною*, потому что, какъ я замѣтилъ выше, мнѣ уже безмала 72 года тяжело испытуемой, измученной жизни, и я могу не дожить до напечатанія послѣдней книги моихъ сказаній).

Итакъ, чтобы сдѣлать мою теперешнюю исповѣдь полною, безъ утаекъ, то, еще разъ посыпавъ пепломъ мою убѣленную голову, я долженъ покаяться еще въ трехъ.... грѣхахъ ли, страстяхъ ли, недостаткахъ ли, или маніяхъ, увлеченіяхъ, которымъ не придумаю вѣрныхъ названій, но которыя, начиная съ пятнадцатилѣтняго моего возраста, прошли огненною полосою черезъ всю мою жизнь и оставили на ней глубокіе слѣды. И даже теперь, на краю моей могилы, не умерли, не исчезли безслѣдно. Зародились эти..., ну хоть маніи, давно, еще во время службы моей въ Варшавѣ, въ гв. Литовскомъ полку, въ 1825 году. Я былъ тогда подпрапорщикомъ и жилъ у дяди, Мичурина, ротнаго командира. Любопытныя, оригинальныя варшавскія жизнь и служба будутъ описаны въ одной изъ будущихъ книгъ «Воспоминаній». Былъ я доволенъ своею жизнію въ столицѣ Польши и, по возможности, счастливъ, или, вѣрнѣе, не былъ несчастливъ. Но только далеко не всегда это было такъ. Вслѣдствіе разныхъ грустныхъ обстоятельствъ и случайностей, о которыхъ я умалчиваю изъ уваженія къ памяти нѣкоторыхъ уже давно почившихъ, приходилось мнѣ иногда переживать страшно тяжелыя, горькія минуты, становилось порою не въ моготу.... Горекъ бываетъ иной хлѣбъ!... Раза три доходило до того, что вдругъ получалъ я такое непреодолимое отвращеніе къ жизни, такое омерзѣніе къ людямъ и къ свѣту Божьему, что отчаяніе совершенно омрачало мой разумъ, отравляло всѣ мои душевныя способности: и я бросался какъ одурѣлый, какъ рехнувшійся, доставать пистолетъ, порохъ и пулю, чтобы покончить разомъ со всею этой пасквильной трагикомедіей, съ этою грязью, которую называютъ жизнію, даромъ, и которую приказываютъ беречь, какъ сокровище. А развѣ можетъ рано оканчиваться человѣческая жизнь, похожая на классъ шалуновъ, которыхъ, во времена оны, порѣшали перепороть всѣхъ безъ исключенія? Разумѣется, что въ этомъ случаѣ гораздо лучше быть первымъ изъ наказуемыхъ, по пословицѣ: «отзвонилъ, да и съ колокольни долой», чѣмъ быть послѣднимъ, т. е. смотрѣть, какъ другихъ раскладываютъ и порютъ, и ждать, съ замираніемъ сердца и съ мученіемъ нравственной пытки, и своей очереди ложиться.

Увы! къ счастію или несчастію моему, удавалось мнѣ тогда доставать только пуль и пороху, у ротнаго фельдфебеля, подъ предлогомъ — учиться стрѣлять въ цѣль. Съ какою радостію клалъ я себѣ въ кар-

манъ это опасное пріобрѣтеніе! Какъ нѣжно ощупывалъ я его, возвращаясь къ себѣ на квартиру!... Но пистолета нигдѣ не могъ добыть. Ну и откладывалъ отъѣздъ мой «ad patres» до счастливой находки пистолета.... А тамъ молодость, со своими веселыми, заманчивыми улыбками — въ будущемъ и съ разными чарами — въ настоящемъ, склоняется къ изголовью бѣднаго сироты и такъ сладко, такъ утѣшительно, упоительно шепчетъ ему на ухо какія-то любовныя, разжигающія рѣчи; забрасываетъ его какими-то блестящими обѣщаніями, вертитъ передъ его отуманенными горемъ глазами какую-то прелестную, восхитительную игрушку, разукрашенную разноцвѣтными, яркими ленточками, погремушками, бубенчиками, колокольчиками, извѣстными подъ названіемъ мечтаній, надеждъ, ожиданій и вѣрованій золотой молодости, которыя переводятся на практическій и прозаическій языкъ словами — «авось», да «перемелется, все мука будетъ». Очнусь я отъ дурмана-горя, сдѣлаю отчаянное усиліе и выкарабкаюсь изъ стальныхъ колецъ удава-тоски, вздохну полной грудью и взгляну вверхъ, туда на небо, откуда нисходятъ самыя лучшія, самыя утѣшительныя надежды на удрученное человѣчество; взгляну и вижу: высоко и широко, до необозримости, раскинутъ надъ моей головою голубой шатеръ неба. И какъ прозрачна лазурь этого шатра! И какъ плавно, величественно катится по этому голубому полю яркое свѣтило дня! Какъ чудно оно блещетъ, какъ животворно оно грѣетъ, не скупится на свои горячіе лучи: и царя, и поденщика, и хозяйку, и былинку одинаково одаритъ, осчастливитъ своими радостными, небесными улыбками; никого не забудетъ, никого не обдѣлитъ, всѣмъ шлетъ съ царскою щедростью свою лучезарную благодать. И это солнце, этотъ океанъ химическаго, видимаго и ощущаемаго свѣта и тепла, не есть ли представитель, отраженіе того океана незримаго и невещественнаго свѣта и тепла, который называется Вѣчною Премудростію и Любовію?

Кто же устоитъ противъ этихъ улыбокъ, противъ этой благодати неба и солнца? Какое горе не стихнетъ, не притупится при видѣ этой роскоши мірозданія?... И пуля и порохъ летятъ въ сторону: жизнь и надежды снова закипаютъ въ молодой и здоровой груди юноши-сироты.

Вотъ моя первая манія, — *манія самоубійства*. И потомъ она уже не умирала. Проходило иногда нѣсколько лѣтъ спокойныхъ, и даже вполнѣ счастливыхъ, напр.: съ моею первою женою. Казалось тогда, что манія моя умирала; но она только уснула, была на время погружена въ глубокій сонъ... А потомъ, нѣтъ, нѣтъ, да вдругъ и проснется, и наляжетъ на меня свинцовою горою, и обовьетъ, сдавитъ меня своими стальными

кольцами, своею цѣпью удава-тоски и отчаянія. Одинъ изъ страшнѣйшихъ припадковъ этой болѣзни, этого паденія духа былъ предсказанъ мною въ концѣ «Задушевной Исповѣди», и потомъ, вскорѣ по ея напечатаніи и вслѣдствіе описанныхъ въ ней «гуманныхъ» со мною продѣлокъ нѣкоего индивидуума, этотъ припадокъ-ураганъ налетѣлъ на меня и чуть чуть меня не порѣшилъ. Но рука друга (Алексѣя Ал. Одинцова) удержала меня. Случай этотъ разсказанъ, подъ покрываломъ вымысла, въ одномъ изъ моихъ романовъ, когда-то забракованномъ, а теперь напечатанномъ въ «Иллюстрированномъ Вѣстникѣ» за 1880 годъ, подъ заглавіемъ «Поддѣльщики», въ главѣ: «На дорогѣ въ вѣчность», да еще въ статьѣ «Предсмертная Исповѣдь», изданной въ 1867 г., но не для продажи, а для моихъ знакомыхъ. Я всегда прочитывалъ, да и теперь прочитываю, съ особеннымъ вниманіемъ и интересомъ, извѣстія о самоубійствахъ и особенно о самоубійцахъ, словно они мнѣ родные.... Чувствую, что мечъ Дамокла все еще виситъ надъ моей головою. Теперь о другой моей маніи.

Въ томъ же 1825 году случилось мнѣ прочитать въ одномъ изъ тогдашнихъ журналовъ: въ «Сынѣ ли Отечества, въ Литературныхъ ли Прибавленіяхъ къ... не помню къ Сыну ли От. или къ Сѣверному Архиву»; прочитать разсказъ объ одномъ необыкновенномъ поединкѣ. Это происходило въ 1814 году, въ Парижѣ, гдѣ, по взятіи столицы Франціи, стояли наши войска. Поручикъ одного изъ нашихъ гусарскихъ полковъ, нѣкто Телавскій, Геркулесъ ростомъ и силою, рубака какихъ мало, но, съ тѣмъ вмѣстѣ, умный и превосходно воспитанный и образованный, обѣдалъ разъ въ одномъ парижскомъ ресторанѣ. За однимъ съ нимъ столомъ сидѣло человѣкъ десять французскихъ кавалеристовъ. Шелъ общій разговоръ. Французы черезчуръ развернулись и позволяли себѣ разныя шуточки и насмѣшки, не совсѣмъ изящныя, надъ русскими офицерами. Телавскій, превосходно говорившій пофранцузски, отшучивался очень остроумно и не дозволялъ выбить себя изъ позиціи защитника русской арміи. Но вотъ одинъ изъ французиковъ отпустилъ вдругъ уже черезчуръ плоскую, казарменную и оскорбительную фразу для русскихъ офицеровъ. Телавскій тотчасъ же отвѣчалъ:

— Cela passe la plaisanterie: это относится уже прямо къ чести русской арміи, и потому я требую у васъ удовлетворенія.

— Съ величайшимъ удовольствіемъ. На чемъ же вамъ угодно драться?

— На саблях.

— Согласенъ.

— И я раздѣляю мнѣніе моего товарища и, стало быть, тоже принимаю вашъ вызовъ, — отозвался другой французъ.

— И я тоже, — послышалось со всѣхъ сторонъ, — всѣ десять французовъ вышли драться съ Телавскимъ. Они тутъ же сдѣлали и вынули десять номерныхъ билетовъ, кому начать и въ какомъ порядкѣ продолжать поединокъ.

Отправились за городъ. Встали въ позицію. Дуэль началась. Разъ, два, три, и французъ, тяжело раненый, падаетъ. Становится противъ Телавскаго другой: послѣ трехъ или четырехъ взмаховъ могучей сабли русскаго Геркулеса, падаетъ на землю и другой его противоборецъ. И такимъ образомъ, поочередно, французики всѣ до послѣдняго, до десятаго «ont mordu la poussière, были искрошены богатыремъ Телавскимъ, который подъ конецъ и самъ свалился, и его покрошили.

Громадно, неописуемо было впечатлѣніе, произведенное этимъ разсказомъ на мое юношеское воображеніе. Я чуть не плакалъ отъ восторга. Вотъ такъ молодецъ! Съ честью отстоялъ честь русской арміи, «не посрамилъ земли русской и легъ костьми». И тогда же зародилась во мнѣ мысль — сдѣлаться похожимъ на Телавскаго. И чѣмъ дальше, тѣмъ болѣе росла и укрѣплялась во мнѣ эта задорная мысль. Но я былъ только подпрапорщикъ, да еще пятнадцатилѣтній; а нижній чинъ не считался тогда человѣкомъ въ Варшавѣ. Ну и не разгуляешься. Потомъ вскорѣ послѣ производства моего въ офицеры вспыхнуло возстаніе, а затѣмъ плѣнъ, (онъ будетъ описанъ въ 8-й книгѣ «Воспоминаній»), а за нимъ стоянка въ Ораніенбаумѣ, гдѣ и совершился мой дебютъ на поприщѣ дуэльнаго единоборства, т. е. поединокъ съ моимъ товарищемъ, и не на пистолетахъ, а на охотничьихъ ружьяхъ, въ четырехъ только шагахъ и «безъ секундантовъ». Дуэль эта описана въ «Задушевной Исповѣди», въ послѣдней главѣ, названной: «Необыкновенный поединокъ».

Это былъ мой первый и послѣдній дебютъ «нелегальной» расправы, потому что я не сдѣлался бретеромъ: это было не въ моемъ характерѣ, претило моей натурѣ, «моему незлобію». За то былъ «хоть разъ, да гораздъ». Но вызывать вызывалъ, каюсь, и не разъ, и даже порою, по двое вдругъ. Но дѣло кончалось всегда безъ послѣдствій, однимъ извиненіемъ, потому что кровавой обиды не было, а такъ себѣ, недостатокъ у кого нибудь вѣжливости, безтактность. Но на ногу наступить мнѣ безнаказанно никогда и никому не позволялъ. И вотъ прожилъ я болѣе семи десятковъ лѣтъ, а ни одной исторіи (кромѣ вышеупомянутаго дебюта) никогда ни съ кѣмъ не имѣлъ, несмотря на мою болѣзненную

щекотливость и вспыльчивость; не имѣлъ потому что, во первыхъ: я всегда тщательно избѣгалъ не только знакомства, но даже и встрѣчъ съ людьми грубыми, необразованными, буйными, скандалистами; во вторыхъ: всегда и совсѣми былъ чрезвычайно вѣжливъ; вѣдь вѣжливость-то свой, домашній продуктъ, который ничего не стоитъ и на который не наложено ни пошлины, ни акциза. Если крестьянинъ поклонится мнѣ на улицѣ, я всегда ему откланиваюсь, чтобы не сказали: «мужикъ-то вѣжливѣе Макарова». Въ третьихъ: никогда никого не задиралъ я, ни надъ кѣмъ не подтрунивалъ: ненавидѣлъ это; и напротивъ: всегда заступался за тѣхъ, надъ которыми подтрунивали; заступался за каждаго «униженнаго и оскорбленнаго». Но каюсь: и теперь, когда я смотрю въ могилу, и на самомъ краю этой могилы, я никому не позволю наступить себѣ на ногу, потому что и самъ никому не наступлю.... Что жъ дѣлать: «Каковъ въ колыбельку, таковъ и въ могилку». Но неужели за это слѣдуетъ побить меня каменьями, или бросать въ меня пригоршни грязи, какъ двадцать лѣтъ тому назадъ?

Наконецъ вотъ и третья моя «манія», которую можно назвать «генералофобіей или аристократофобіей». Имѣете ли вы, любезный читатель, понятіе о варшавскихъ генералахъ двадцатыхъ годовъ? Какіе они были тогда въ Петербургѣ, я не вѣдаю, но про варшавскихъ могу порассказать кое-что. Если вы вздумаете судить о нихъ по теперешнимъ генераламъ, то жестоко ошибетесь. Теперешніе, хоть и не безъ важности, а иные и не безъ величественности, но все-таки это люди, человѣки; и хотя не всегда и не во всемъ, но все-таки походятъ на остальныхъ смертныхъ. Но тогдашніе, но варшавскіе?... О, это были не люди, не человѣки, куда! Поднимай выше. И не герцоги, и не принцы крови: поднимай выше. Это были даже не полубоги, а настоящіе, какъ есть, боги съ Олимпа, хотя и плохенькаго, но все-таки съ Олимпа. И хотя иные изъ нихъ и «лыкомъ шитые» (по собственному сознанію одного изъ тогдашнихъ тамошнихъ генераловъ, о чемъ я разскажу ниже), но все-таки боги. Таковыми они себя воображали, и таковыми казались девяти десятымъ изъ жителей Варшавы. Что нынѣшніе петербургскіе генералы въ сравненіи съ тогдашними? Еслибы примѣрно взять и выжать всю важность изъ десяти нынѣшнихъ генераловъ всѣхъ классовъ, отъ 4-го до 2-го включительно, то количествомъ, — а не качествомъ, разумѣется,—эта десятигенеральская важность была бы гораздо меньшаго объема и вѣса, чѣмъ важность, выжатая изъ одного какого нибудь генералъ-маіора тогдашнихъ временъ, хотя бы и «лыкомъ шитаго». Нынѣшній генералъ и пьетъ и ѣстъ, и смотритъ и говоритъ, и сидитъ и хо-

дитъ, точно также, или почти также какъ и остальные смертные. А варшавскій-то? «И пилъ, и ѣлъ иначе». А смотрѣлъ-то какъ? То Юпитеромъ громовержцемъ, то Емелькой Пугачевымъ, то Александромъ Македонскимъ, по меньшей мѣрѣ, а иной просто заплечнымъ мастеромъ. Съѣстъ, проглотитъ глазами не только каждаго нижняго чина, но и любого оберъ-офицера. А ужъ какъ ходилъ-то... что я, ходилъ!... Шествовалъ, плылъ онъ по стогнамъ варшавскимъ, аки по волнамъ морскимъ. И носъ, и плечи, т. е. генеральскіе эполеты, поднимались высоко, высоко кверху, туда, въ высь, къ «отчизнѣ молній», по выраженію покойнаго Бенедиктова, «поелику» и самъ то онъ, т. е. варшавскій генералъ, а не Бенедиктовъ, былъ въ нѣкоторомъ родѣ молніеоснымъ. Краса человѣчества, чудо природы, перлъ созданія. Казалось: и солнце, и мѣсяцъ, и звѣзды, и даже кометы, съ удивленіемъ, съ умиленіемъ взирали съ своихъ эфирныхъ высотъ на этого «перла созданія»; взирали, любовались и млѣли отъ восторга.... Вотъ въ эту-то самую допотопную, ультра-генеральскую эпоху и зародилась во мнѣ, какъ я назвалъ выше, «генералофобія», усиленная позднѣе «аристократофобіей». Я, нижній чинъ, страшно боялся встрѣчъ съ этимъ перломъ созданія, съ этимъ олимпійскимъ богомъ, боялся такого Олимпійца, даже и лыкомъ шитаго; чтобы не быть проглоченнымъ, или, по меньшей мѣрѣ, не сгорѣть, не испепелиться отъ ослѣпительно яркихъ и жгучихъ лучей его генеральской славы и превосходительнаго величія. Не боялся я только — взирать на него порою такъ, какъ взиралъ когда-то Моисей, на горѣ Синайской, на Творца, — въ «задніе».... Да, могъ взирать и я безъ самоуничтоженія только на генеральское «задніе». Бывало чуть замѣчу вдали на тротуарѣ превосходительное шествіе, тотчасъ же юркъ, или въ боковую улицу, или подъ ворота перваго дома, и тамъ переждаю прохожденіе превосходительнаго Юпитера черезъ тротуарную орбиту моего собственнаго прохожденія. И такимъ образомъ избѣгаю опасности самоуничтоженія отъ столкновенія съ превосходительнымъ перломъ созданія. Эта, если хотите, смѣшная гидро... т. е. генералофобія поселилась и пребывала во мнѣ потомъ долго, долго, десятка три лѣтъ. Каково же, читатель: въ продолженіи тридцати лѣтъ быть одержимымъ, не бѣсами, а генералами, что одно другаго стоитъ, если не хуже. Шутка ли страдать тридцатилѣтнимъ невареніемъ желудка. Да еще какимъ? Генеральскимъ! И только царствованіе Александра Втораго выгнало изъ меня этихъ бѣсовъ, т. е. генераловъ. Помните ли, какъ сейчасъ же послѣ крымской войны, послѣ этихъ тамъ Альмъ, Черныхъ рѣчекъ, Инкермановъ, и вслѣдствіе разныхъ эдакихъ славянскихъ так-

тическихъ геніяльностей, генеральскіе фонды стали быстро падать и упали гораздо ниже альпари на биржѣ общественнаго уваженія.

Какъ сказалъ я выше, къ генерало-присоединилось впослѣдствіи еще и аристократофобія. Не помню, какъ и отчего у меня это произошло, но не только превосходительные, а и сіятельные титулы не могъ тогда переваривать мой желудокъ, несмотря на свою здоровость и крѣпость. Да врядъ ли переварилъ бы ихъ тогда и желудокъ страуса, который, какъ извѣстно каждому порядочному зоологу, переваритъ камни и желѣзо. Оговариваюсь: я говорю такъ дерзновенно лишь о тогдашнихъ превосходительствахъ и сіятельствахъ, а не о нынѣшнихъ, сохрани меня Боже! Нынѣшнія — такъ себѣ, ничего, — удобоваримы... Прогрессъ, сами изволите знать. Гласное судопроизводство, а не такое, какое описывалъ покойный Громека въ своей статьѣ: «Полиція внѣ полиціи» (кажется такъ), когда каждый генералъ, на каждаго негенерала, могъ гаркнуть: «взять его!»... Ну, и брали... Ничего не подѣлаешь. Хвала, честь и благодареніе Александру Второму: теперь ужъ не гаркаютъ и не берутъ зря, здорово живешь.

Итакъ, не переваривалъ мой тогдашній желудокъ ни тогдашнихъ генераловъ, ни графовъ, ни князей. Порою доходило это до смѣшнаго напр.: приглашаютъ меня, бывало, на весьма интересный для меня вечеръ. А какъ узнаю, что тамъ будутъ генералы, или графы, или князья изъ важныхъ, — бываютъ князья и неважные, плохенькіе, — какъ узнаю про эдакое вавилонское смѣшеніе языковъ, такъ я и туда и сюда, и такъ и сякъ, и отвиляю отъ вечера интереснаго, но испорченнаго для меня нашествіемъ иноплеменныхъ, т. е. присутствіемъ титулованныхъ и важныхъ персонъ. И сколько потерялъ я отъ этихъ двухъ «фобій»? Могъ бы я сдѣлать блестящую карьеру, и военную, и штатскую. Были у меня и важная родня, и сильная протекція, подъ которую часто толкали меня, но которой я боялся и избѣгалъ, какъ чортъ ладону. Страшно претило мнѣ толкаться въ двери разныхъ эдакихъ дядюшекъ, тетушекъ, шаркать въ ихъ гостиныхъ, кланяться и улыбаться имъ и, Боже избави! просить ихъ о чемъ либо. Низкопоклонство, гдѣ бы, и какъ бы оно ни проявлялось, было для меня противнѣе, тошнительнѣе касторовато масла. Для избѣжанія голословности и въ подтвержденіе моихъ утвержденій, приведу два факта.

Былъ у меня въ Петербургѣ одинъ дядюшка, двоюродный братъ моей матери, стало быть не родной, а двоюродный мнѣ дядя. Но вѣдь тогда не то что нынѣ, когда всѣ узы родства до того ослабѣли, что даже и родные братья, дяди и племянники часто не видаются, ни даже пере-

писываются другъ съ другомъ, по цѣлымъ годамъ, хотя и живутъ не вдалекѣ другъ отъ друга... Но что я! не переписываются; — знать не хотятъ, забыли о существованіи одинъ другаго. Но тогда, въ мое время было не такъ: не только родные, но и двоюродные, а иногда и троюродные считались своими, родными, приголублялись. Итакъ, былъ у меня дядюшка, сначала преображенскимъ офицеромъ, потомъ флигель-адъютантомъ, потомъ генералъ-адъютантомъ, затѣмъ товарищемъ военнаго министра и наконецъ генералъ-губернаторомъ. И что-жъ? Не только я ни разу у него не былъ, хотя не разъ бывалъ въ домѣ его отца, и бывалъ принимаемъ радушно и ласково, а съ его роднымъ братомъ, Ѳедоромъ Андреичемъ Катенинымъ, служилъ въ одномъ полку и былъ друженъ; — я даже никогда и нигдѣ не встрѣчался съ нимъ, ни разу не видалъ его въ глаза, несмотря на то, что остальные мои дяди и тетки постоянно пилили меня за это:

— Да что же не побываешь ты у Александра Андреича? Да когда же ты съѣздишь къ Александру Андреичу? Вѣдь онъ такой милый, любезный, обязательный. Вѣдь онъ тебѣ дядя. Вѣдь онъ такъ много можетъ сдѣлать для тебя по службѣ. Съѣзди, непремѣнно съѣзди къ нему; не будешь раскаиваться.

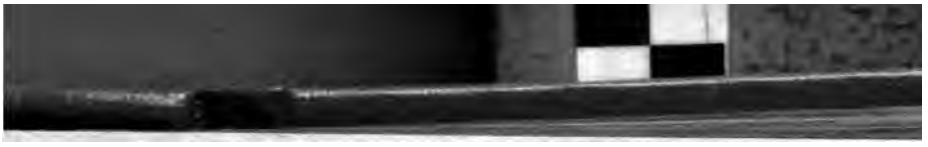
Куда! и слушать не хотѣлъ. И руками и ногами отмахивался. Такъ таки и не съѣздилъ, и ни разу не видѣлъ его въ лицо. И вѣроятно много, очень много потерялъ для преуспѣянія моего на жизненномъ пути... А вѣдь этотъ дядюшка былъ прекраснѣйшій человѣкъ, уменъ, образованъ, донельзя вѣжливый, деликатный, привѣтливый, доброжелательный и всѣми любимый. Да въ моихъ-то глазахъ у него были два большіе изъяна: генералъ-адъютантство, да генералъ-губернаторство. Ну и баста!.. Онъ умеръ въ шестидесятыхъ годахъ на оренбургскомъ «проконсульствѣ». Вспоминая теперь о моемъ давнопрошедшемъ, о моей антипатіи къ титулованнымъ, даже роднымъ, не могу не упомянуть объ одномъ гвардейскомъ офицерикѣ тридцатыхъ годовъ, діаметрально мнѣ противоположномъ по своимъ привычкамъ и вкусамъ. Онъ безпрестанно говорилъ всѣмъ и каждому:

— J'ai été hier chez ma tante Kotchubey, или: je dînerai aujourd'hui chez mon oncle Bezborodko *).

И все, и всѣмъ, и всегда только одна пѣсня: «Chez ma tante Kotchubey, да chez mon oncle Bezborodko.

---

*) Вчера я былъ у тетеньки Кочубей, сегодня буду обѣдать у дяденьки Безбородко.



А вотъ другой примѣръ моихъ «фобій».

Между множествомъ моихъ тетушекъ, была у меня одна, важная, но съ тѣмъ вмѣстѣ, превосходнѣйшая женщина и далеко выходящая изъ ряда обыкновенныхъ. Это—Александра Алексѣевна Шипова, въ домѣ которой я прежде воспитывался, какъ это будетъ видно изъ слѣдующей книги. Жила она въ первой половинѣ тридцатыхъ годовъ въ Петербургѣ съ своимъ единственнымъ сыномъ, любимымъ адъютантомъ вел. кн. Михаила Павловича. Когда Литовскій гвард. полкъ, въ которомъ служилъ я, послѣ польской кампаніи 1831 года, перешелъ изъ Варшавы на стоянку въ Ораніенбаумъ, я тотчасъ же отыскалъ въ Петербургѣ мою тетку, которая встрѣтила меня à bras ouverts, необыкновенно ласково, какъ самаго близкаго роднаго. Глубоко любилъ я и уважалъ эту прекрасную женщину, но бывалъ у ней не такъ часто, какъ этого желала и она, и я, и вотъ почему. Во первыхъ: любезнѣйшій мой кузенъ былъ вполнѣ, даже слишкомъ придворный, шаркунъ, говорилъ мнѣ не «ты», какъ своему бывшему совоспитаннику, и не «братъ», а все «вы» да «братецъ», прибавляя къ нимъ такое шипящее «съ», отъ котораго коробило меня, какъ отъ шипѣнія удава. Во вторыхъ: за что, не вѣдаю, онъ сильно недолюбливалъ Литовскій полкъ и позволялъ себѣ разныя улыбочки, шуточки да насмѣшечки надъ моими полковыми товарищами. А за это, за моихъ дорогихъ товарищей, я готовъ былъ не только на пистолетахъ, а на пушкахъ, на мортирахъ стрѣляться и драться не на животъ, а на смерть. Только одно глубокое уваженіе и любовь моя къ теткѣ могла удержать меня въ границахъ словеснаго ротоборства, и помѣшала страшнѣйшему взрыву негодованія: не вѣдая того, мой любезнѣйшій кузенъ курилъ папироску надъ открытымъ боченкомъ пороха. Наконецъ, въ третьихъ, а это главное: тетку постоянно посѣщала масса титулованныхъ, въ особенности генераловъ всѣхъ трехъ классовъ. Вотъ они-то, «эвти самые енаралы», и были моимъ кошмаромъ, моимъ пугаломъ, способнымъ испортить для меня и самый рай, и даже оба рая: и земной, и небесный.

Въ началѣ 1834 года я вышелъ въ первую мою отставку, и хотѣлъ сейчасъ же уѣхать на родину, въ Костромскую губернію. Но тетка меня задержала.

— Зачѣмъ ѣхать тебѣ въ медвѣжью глушь?—говорила она мнѣ.—Вѣдь ты тамъ свѣту Божьяго не увидишь; заглохнешь, одичаешь, запьёшь, мохомъ поростешь. Оставайся-ко лучше здѣсь, въ Петербургѣ, да поступай въ гражданскую службу: я могу доставить тебѣ хорошее мѣсто въ любомъ министерствѣ, потому что почти всѣ директора

департаментовъ мнѣ знакомы, а многіе и пріятели мои. Ты можешь скоро составить себѣ блестящую карьеру; вѣдь ты не лѣнтяй, не вѣтреникъ, а способный, толковый молодой человѣкъ.

Послушался я и остался, но не изъ честолюбія, а изъ глубокаго уваженія къ моей дорогой, чудесной теткѣ. И точно: мнѣ сейчасъ же предложили хорошее мѣсто въ департаментѣ податей и сборовъ, директоромъ котораго былъ тогда, кажется, Фандерфлитъ, хорошій пріятель тетки. Тотчасъ же дали мнѣ въ руки двѣ распретолстыя тетради объ «Окладныхъ», да еще о какихъ-то сборахъ, и сказали:

— Прочитайте со вниманіемъ эти тетради и многое изъ нихъ заучите. Это весьма поможетъ вамъ сдѣлаться отличнымъ чиновникомъ и хорошо выполнять свои обязанности; много поможетъ вамъ *преуспѣвать на новой для васъ службѣ*.

Взялъ я эти тетради. Но, о Боже! какое огромное депо опіума заключалось въ нихъ! Могло бы усыпить частицу поднебесной имперіи, хотя жители ея и пріучены къ этому зелію гуманными джонъ-булями. И читать это послѣ стиховъ Жуковскаго, Пушкина, Рылѣева, Грибоѣдова, Языкова! Все, что могъ я одолѣть, это — страницъ десять, и то не иначе, какъ на сонъ грядущій. Прочитаю, бывало, лежа въ постели, страничку, только одну, и засну богатырскимъ сномъ. Итакъ, въ десять дней успѣлъ я прочитать всего десять страницъ; а «убоявшись бездны премудрости, обратился вспять», т. е. отнесъ снотворныя тетради къ теткѣ и сказалъ:

— Журите, браните меня, хоть подерите за уши, но только избавьте меня отъ «неволи египетской», т. е. отъ этихъ тетрадей и отъ департамента. Каюсь и сознаю свою неспособность понять и оцѣнить канцелярскія прелести и *преуспѣвать на новой для меня службѣ*. Что дѣлать?—Тетка ничуть не разсердилась, а засмѣялась и больше не настаивала на превращеніе меня въ чиновника, *преуспѣвателя*, «каковой» тоже считался тогда чѣмъ-то въ родѣ «перла созданія», хоть и чернильнаго. Да и не жаловалъ же я тогда гражданской службы. Не тяжелою, не унизительною находилъ я одну только субординацію — военную. Штатская внушала мнѣ сильнѣйшее отвращеніе, мутила меня. Еще съ самаго дѣтства я все мечталъ о военной службѣ. Бывало ничѣмъ не могли меня такъ обидѣть и огорчить, какъ сказавши: «тебя опредѣлятъ въ штатскую службу». Заткну себѣ уши, затопаю ногами, замотаю головой и закричу: «Не хочу, не хочу быть подъячимъ и говорить: *пожеже донде же бяху сирѣчь цицевая*»,—и при этомъ заносилъ руку

за спину, изображая, какъ подъячіе берутъ взятки. Откуда я взялъ тогда такую рогатую фразу, не помню и даже не понимаю ея смысла.

Между тѣмъ насталъ май. Приближался майскій парадъ гвардейскаго корпуса. Тетка жила тогда на Царицыномъ лугу, въ домѣ бывшемъ Долгорукова, что нынѣ дворецъ принца Ольденбургскаго. Занимала она великолѣпную квартиру, оконъ десять, если не болѣе, всю ту часть бельэтажа, которая выходила на Царицынъ лугъ, прямо противъ царской палатки. Дня за два до парада зашелъ я къ теткѣ.

— Надѣюсь, Николай, что ты будешь у меня послѣ завтра, во время парада. Я обмеръ, замялся и промямлилъ:

— Ахъ, ma tante! Вѣдь у васъ и безъ меня будетъ много народу; да притомъ же я хорошо знакомъ съ этимъ парадомъ, потому что и самъ не разъ фигурировалъ на немъ и даже бывалъ распекаемъ нашимъ дивизіоннымъ отцомъ-командиромъ (генералъ-лейтенантомъ Исаковымъ, свирѣпѣйшимъ изъ командировъ) *).

— Какой вздоръ! Вопервыхъ: большая разница — самому фигурировать во фронтѣ и быть распекаему, или покойно смотрѣть на парадъ изъ окна. Во вторыхъ: я отдаю только восемь оконъ, а два оставляю

---

*) А вѣдь этотъ командиръ буквально служилъ на заднихъ лапкахъ передъ теткою, *матерью любимаго адъютанта, почти друга его главнаго начальника, Вел. Кн. Михаила Павловича.* И скажи я тогда одно только слово теткѣ, а она словечко вышерѣченному командиру, то изъ моего мучителя-гонителя, въ мигъ превратился бы онъ въ моего рьянаго защитника-покровителя. Ну такъ видите ли: госпожа амбиція не приказала; какъ это можно! Не протекціей, а своимъ лбомъ долженъ былъ я брать и преуспѣвать по службѣ. Ну и преуспѣвалъ: разъ просидѣлъ на гауптвахтѣ цѣлую недѣлю за важный проступокъ: солдатъ, моего взвода, *отчисленный въ полковую швальню*, снялъ, передъ нимъ, командиромъ, фуражку не лѣвой, какъ слѣдовало, а правой рукой; а другой разъ за то, что на репитиціи развода, салютуя полусаблей его превосходительству, большей палецъ моей руки, лежавшій на эфесѣ, осмѣлился уклониться на полдиніи въ бокъ отъ отвѣсной линіи. Не вѣрите? Такъ вамъ могутъ поручиться за мою правдивость, нѣкоторые уцѣлѣвшіе и любимые мною однополчане: Ал. Ал. Одинцовъ, Серг. Петр. Озеровъ, гр. Конст. Ив. Разваловскій... Господа молодые нынѣшніе офицеры! Благословляйте судьбу за то, что вамъ посчастливилось служить не въ тридцатыхъ, а въ семидесятыхъ и восьмидесятыхъ годахъ, при такихъ Царяхъ, какъ Александръ II и Александръ III, и еще за то, что не вкушали сладости командованія отцовъ-командировъ двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ, каковую сладость вполнѣ вкусили мы грѣшные, ветераны той военной пугачевщины.

для себя, для моихъ родныхъ и короткихъ пріятелей. Смотри же приходи хоть ради того, чтобы поѣсть вволю конфетъ, до которыхъ ты большой охотникъ и которыя будутъ у меня отъ Рязанова (лучшаго тогда кондитера въ Петербургѣ). Я снова замялся. Атмосфера Царицына Луга вдругъ сдѣлалась удушливою (для меня только, разумѣется): въ ней запахло гарью, т. е. генералами да графами et consorts, и я началъ мямлить:

— Ахъ, chère tante! Вѣдь у васъ будетъ масса гостей, и не простыхъ, а все титулованныхъ: все графы съ графинями, да князья съ княгинями, да сенаторы и генералы съ сенаторшами и съ генеральшами. Пожалуй и министры будутъ, и все звѣздоносцы. И превратятся ваши комнаты въ млечный путь. И не перенесетъ мое слабое зрѣніе всего этого сіянія и блеска, и я рискую схватить, если не куричью, то генеральскую слѣпоту. Ктому же вы знаете, что я не питаю ни малѣйшей нѣжности къ титулованнымъ особамъ. Поэтому увольте, молю васъ, chère tante!

— Ахъ, Николай, Николай! Какую чепуху несешь ты! Правда: у меня будутъ почти что одни титулованные, звѣздоносцы, какъ ты удачно выразился. Но что жъ изъ этого? Какое тебѣ дѣло до нихъ, а имъ до тебя? Они—сами по себѣ, а ты—самъ по себѣ. Вѣдь ты мой родной, горячо любимый мною родной. Вѣдь съ покойной-то твоей умницей матерью мы жили душа въ душу. Дивная была женщина, да успокоитъ Господь ея душу. Ктому же, вотъ видишь ли еще что? Если бы я захотѣла отдавать въ наймы мои восемь оконъ, то получала бы за нихъ хорошія деньги. Но ты знаешь, что это не въ моихъ правилахъ, и не въ привычкахъ, и потому я отдаю окна даромъ, изъ уваженія, по знакомству. Мало того: каждый парадъ обходится мнѣ не дешево, потому что я не скуплюсь на угощеніе моихъ гостей: и оршадъ, и лимонадъ, и шеколадъ, и кофе, и чай, и разнообразная, обильная закуска съ недешевыми винами и ликерами: чего хочешь, того просишь. Затѣмъ: и конфеты отъ Рязанова, и всевозможные фрукты отъ Елисѣева. Такъ какое же моимъ гостямъ, звѣздоносцамъ, дѣло до тебя, не звѣздоносца? Ну, что же? придешь?

— Постараюсь, chère tante!

— Нечего тутъ стараться, а просто—приходи, непремѣнно приходи, а не то разсержусь.

Вышелъ я отъ тетки въ глубокомъ раздумьи, печальный, мрачный. Въ продолженіи двухъ дней потерялъ я и сонъ, и аппетитъ.

Страшная для меня туча, хотя и звѣздоносная, повисла надо мною. Это было для меня тоже, что кликъ: «Отечество въ опасности», и я готовъ былъ закричать вмѣстѣ съ Катономъ:

«Delenda Carthago!»

Насталъ, наконецъ, роковой для меня день. Погода была прелестная, ясная, теплая, но мнѣ все казалось мрачнымъ. Часъ парада приближался. Нехотя досталъ я своей новенькій фракъ. Медленно, автоматически сталъ я облекаться въ непривычное мнѣ «штатское» платье. Сперва завилъ и взбилъ себѣ передъ зеркаломъ огромный «кокъ», — тогда была мода на огромные хохлы. Одѣлся, сталъ прохаживаться по комнатѣ и поглядывать на часы. Нѣсколько разъ бралъ шляпу, подходилъ къ двери, брался за ручку, но отворить не рѣшался. И вдругъ отчаянно вскрикнулъ:

— Чортъ возьми! что будетъ, то будетъ.

И, мигомъ переодѣвшись изъ фрака въ сюртукъ, отправился бѣглымъ шагомъ, вмѣсто Царицына Луга, и спасаясь отъ этого луга, въ Караванную, гдѣ жилъ мой школьный и полковой товарищъ, за годъ передъ тѣмъ вышедшій изъ полка и служившій потомъ въ министерствѣ финансовъ. Засталъ я его дома, въ халатѣ, и провелъ у него все утро, до самаго обѣда.

Спустя два дня, со страхомъ и трепетомъ поднимался я по парадной лѣстницѣ въ роскошное жилище тетки. Съ потупленными долу очами вступилъ я въ ея будуаръ и, разумѣется, нашелъ ее «въ какомъ-то строгомъ чинѣ».

— Гдѣ это пропадалъ ты, любезнѣйшій мой племянничекъ?

— Виноватъ, chère tante! Никакъ не могъ быть у васъ третьяго дня, несмотря на все мое желаніе: мнѣ что-то сильно нездоровилось, промолвилъ я.

— Не лги, а прежде поучись лгать. Ложь тебѣ не къ лицу. Ну, что, упрямецъ, дикарь? Поставилъ на свое? Эдакова страху нагнали на тебя генералы да сенаторы, да графы съ князьями. Укусили бы они тебя, что ли?

— Виноватъ, простите меня великодушно, chère tante, умолялъ я тетку, цѣлуя у нея руку. Не могу переваривать ни превосходительныхъ, ни сіятельныхъ. Еще разъ молю простить меня.

— Ну, Богъ тебя проститъ. Я не сержусь. Только, ради Бога, голубчикъ! приходи ко мнѣ почаще обѣдать до твоего отъѣзда въ глушь. Богъ вѣсть, когда и гдѣ мы увидимся?

И точно вышло: «Богъ вѣсть когда и гдѣ?...» Много, много лѣтъ спустя, я свидѣлся съ нею, но гдѣ и какъ?... Въ Москвѣ, въ гостинницѣ. Она была въ монашеской рясѣ. Эта благороднѣйшая, умнѣйшая женщина вдругъ выкинула штуку вовсе не умнѣйшую. Вскорѣ по моемъ отъѣздѣ изъ Петербурга, въ одно прескверное утро, прійдя поздороваться съ нею въ будуаръ, сынъ не нашелъ ее тамъ. Она и не ночевала дома. Проходитъ день, матери нѣтъ. Проходитъ другой, третій, цѣлая недѣля: ни слуху, ни духу; сгинула, пропала безъ вѣсти. Потомъ, послѣ многихъ дней безплодныхъ распросовъ и поисковъ, молодой Шиповъ узнаетъ косвенными путями, что его мать была сначала близъ Новгорода, у пресловутаго тогда Фотія, на покаяніи. Потомъ удалилась въ какой-то монастырь инокинею. Потомъ года черезъ два или три, сдѣлалась игуменьею, не помню, какого монастыря. И почти каждый годъ пріѣзжала въ Москву на нѣкоторое время. И тогда, у подъѣзда гостинницы, гдѣ она останавливалась, съ утра до вечера, стояли кареты московскихъ аристократовъ, пріѣзжавшихъ на поклоненіе и подъ благословеніе къ матушкѣ-игуменьѣ. Больше одного разу я не видался съ этою замѣчательною женскою личностью. И даже не знаю, когда и гдѣ она умерла, и гдѣ похоронена. Спустя нѣсколько лѣтъ послѣ побѣга ея отъ сына, попалось мнѣ въ руки весьма интересное письмо, которое писала она къ другой моей теткѣ, Левашовой, и въ которомъ подробно описывала свои странствованія и похожденія, а между прочимъ и визитъ свой Фотію, и не въ домѣ его, а на дворѣ, у балкона (это было лѣтомъ), съ котораго онъ встрѣтилъ ее весьма недружелюбно, даже погрозилъ на нее своимъ посохомъ. Да и былъ же этотъ пресловутый архимандритъ, наперсникъ дочери чесменскаго героя, богачихи Анны Алексѣевны Орловой, тоже знаменитой въ въ своемъ родѣ; былъ человѣкомъ ухъ какимъ! съ страшнѣйшими колючками и закорючками, и ужъ очень и очень себѣ на умѣ, по части святости и субъективнаго спасенія.

Съ сыномъ тетки, моимъ кузеномъ, былъ страшно трагическій конецъ. Любимый адъютантъ Михаила Павловича, онъ сопутствовалъ ему во всѣхъ поѣздкахъ его за границу. Въ одну изъ такихъ, кажется послѣднюю для нихъ обоихъ, опрокинулся экипажъ. Великій князь и его адъютантъ полетѣли внизъ головой. Первый счастливо, безъ послѣдствій, а второй ударился головою о камень: произошло сотрясеніе мозга, онъ помѣшался. А незадолго до того, онъ женился на прекрасной и богатой дѣвушкѣ, на Васильчиковой. Вскорѣ по возвращеніи своемъ въ Петербургъ, онъ перерѣзалъ себѣ горло бритвой и умеръ. Помѣшался онъ на томъ, что у него стеклянный носъ; и, при видѣ каждаго человѣка, онъ

въ испугѣ протягивалъ руки впередъ, для защиты своего носа, и кричалъ: «осторожнѣй, не разбейте!» И какое странное психическое совпаденіе: когда я воспитывался съ нимъ вмѣстѣ, ему было 17 лѣтъ. Была у него привычка — безпрестанно дергать себя за носъ, точно желая его вытянуть, сдѣлать длиннѣе, и тогда, какъ онъ самъ вовсе не былъ курносъ, а былъ у него носъ какъ носъ; ни длинный, ни короткій. Мать часто журила его за эту странную привычку, но отъучить не могла. Въ Петербургѣ же я не замѣчалъ, дергалъ ли онъ свой носъ.

Аминь. Кончены моя исповѣдь, мое покаяніе въ трехъ маніяхъ. Послѣдняя (двѣ «фобіи») уже давно умерла и неоживала болѣе. Желудокъ мой укрѣпился нравственно на столько, что можетъ переваривать всякихъ титулованныхъ. Ктому же и самые титулованные, какъ я уже замѣтилъ выше, весьма улучшились, — стали удобоваримѣе. Но первыя двѣ маніи, въ особенности самая первая, не умерли. Онѣ только спятъ, но повременамъ пошевеливаются, даютъ знать о себѣ.

Вотъ вамъ, любезныя читательницы и читатели, я весь передъ вами, безъ малѣйшей утайки....

Безъ малѣйшей утайки... что я сказалъ?.. Покаюсь и поправляюсь: начались, наконецъ, сказываться, не совершенною потерей, а лишь минутными затмѣніями, измѣнами мнѣ моей памяти, мои 72 года. Еще далеко не во всемъ я покаялся, позабылъ многое, о чемъ разскажу въ слѣдующей главѣ.

V.

Продолженіе повинной.

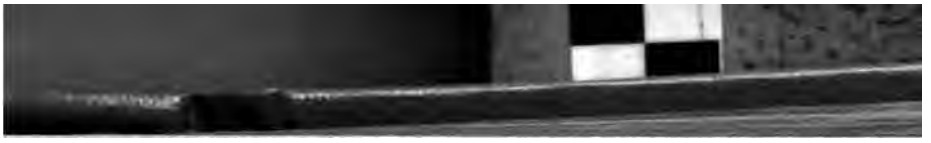
Итакъ, память измѣнила мнѣ на этотъ разъ, когда я, написавъ предъидущую главу au courant de ma plume, хотѣлъ ее окончить фразою: «безъ малѣйшей утайки». Но оглянувшись еще разъ на мое прошлое, прожитое и пошаривъ въ немъ, я, къ великому моему удивленію, открылъ, что я пропустилъ, совершенно забылъ упомянуть еще о многихъ чертахъ моего характера и, главное, еще объ одной моей маніи, о четвертой, которую можно назвать *себяфобіей*, и которая вытекала: изъ преувеличеннаго ли самолюбія, изъ остатковъ ли отъ моего дѣтства—застѣнчивости, «букости», изъ чрезвычайной ли моей впечательности, щекотливости, или изъ хронической недовѣрчивости къ самому себѣ, къ своимъ способностямъ, къ своей злой судьбѣ. Но только и

эта четвертая манія, какъ и первыя три, огненною полосою прошла черезъ всю мою жизнь и причинила мнѣ много горя, страданій, огромныхъ матеріальныхъ потерь и, вѣроятно, если не вполнѣ испортила мою карьеру, то много помѣшала ей быть несравненно лучшею, чѣмъ какою она осталась. Происходила эта манія частію и отъ нѣкоторыхъ правилъ жизни, которыя составилъ я еще въ моей юности, которыхъ держался потомъ съ фанатическою приверженностью и которыя, такъ сказать, вошли мнѣ въ плоть и кровь. Вотъ, между многими другими, нѣкоторыя правила, которыя находилъ я необходимыми для сохраненія всецѣло свободы моихъ убѣжденій, вѣрованій, вкусовъ, мнѣній, поступковъ и права распоряжаться своею судьбою:

1. Никогда, никому не навязывать моего знакомства.

2. Никогда ни въ комъ не искать, ни у кого не заискивать и, Боже Сохрани! ходить къ кому либо на поклонъ, кому либо кланяться, улыбаться, распѣвать акаѳисты, диѳирамбы и просить о чемъ нибудь, выпрашивать подачки.... Я ужасался при одной мысли о такой «фикасти», какъ выражаются институтки.

3. Знакомиться и поддерживать знакомство лишь съ тѣми, кто этого желаетъ и явно выказываетъ мнѣ такое желаніе. Sinon, point d'affaire, слуга покорный. Вообще я былъ всегда очень тугъ на новыя знакомства. Я дѣлалъ исключенія изъ этого правила, когда дѣло касалось музыки и артистовъ вообще, а въ особенности какого либо гитариста, объ игрѣ котораго слышалъ я похвальные отзывы. О, въ такомъ случаѣ всѣ мои страхи, мнительности и самолюбія откладывались въ сторону, и я бѣгаю, бывало, какъ искатель кладовъ, по всему городу, отыскивая гитарнаго феникса. Искалъ я разъ дней пять по Петербургу какого-то Карицкаго, пока не обрѣлъ его подъ небесами, чуть не на чердакѣ огромнаго дома полукругомъ, что у Обухова моста. Это было лѣтомъ 1840 года. И что-жъ? оказался — жалкій хвастунъ и царапунъ, который бряцалъ по струнамъ гитары и при этомъ захлебывался, пыхтѣлъ и вздыхалъ, какъ кузнечный мѣхъ и закатывалъ глаза подъ лобъ. А въ бытность мою въ Неаполѣ искалъ и отыскалъ я гитарное чудо-юдо, какого-то Іордана, съ шеей обмотанной не шарфомъ, а какимъ-то затасканнымъ половикомъ и тоже, не игравшаго, а дребезжавшаго на гитарѣ что-то въ родѣ польки, и также съ страшнѣйшими гримасами и захлебывающимся ртомъ, что у него исправляло должность музыкальныхъ вкуса, выраженія и стиля. Объ этомъ неаполитанскомъ гитаристѣ перваго сорта (снизу) упоминалъ я въ «Задушевной Исповѣди». Но если я трудно знакомился, за то не легко и раззнакомли-



вался, если не встрѣчалось на это уважительныхъ нравственныхъ причинъ. Страхъ какъ дорожилъ я хорошими старыми знакомствами, тщательно старался избѣгать всякихъ поводовъ къ неудовольствіямъ, устранять малѣйшее недоразумѣніе. Прежде нежели познакомиться съ кѣмъ, я долго вглядывался и въ личность, и въ обстановку того, съ кѣмъ предстояло мнѣ познакомиться. Чуть что не такъ, не ладно на мой взглядъ, я тотчасъ же и отлавирую, чтобы избавить себя отъ непріятности раззнакомливаться впослѣдствіи. Оттого-то, какъ я уже замѣтилъ выше, и не имѣлъ я никакихъ «исторій», хотя очень любилъ «Исторію XVIII-го столѣтія» Ансильона, и вообще всякую хорошую исторію, но не «исторіи», которыхъ боялся я пуще vomito negro, желтой лихорадки тожъ. Въ дѣлахъ серьезныхъ, гдѣ требовалась осторожность и осмотрительность, я никогда не выказывалъ сразу все, что я могу и чего не могу. Проходило иногда довольно долгое время, что, въ глазахъ имѣвшихъ со мною важное дѣло, я казался далеко не тѣмъ, чѣмъ я былъ, казался иногда противоположнымъ моему я, т. е. прикидывался смиреннѣйшею, безобиднѣйшею овцою, которую всякій могъ обидѣть, и такой игрой удавалось мнѣ не разъ раскрывать тайныя козни мошенниковъ, стакнувшихся для обворованія моего или ввѣреннаго мнѣ дѣла. И когда, для спасенія этого дѣла, являлась необходимость въ энергіи, я вдругъ, безъ всякихъ постепенностей, преобразовывался изъ овцы въ льва или тигра и разгонялъ, повергалъ въ прахъ шайки воровъ и воришекъ. Порою могъ даже хитрить и, ради спасенія погибающаго дѣла, составить такой планъ дѣйствій, который почти всегда удавался. Не даромъ же до 15-ти лѣтняго возраста я былъ рыжимъ. Но кромѣ исключительно важныхъ случаевъ, я никогда не былъ дипломатомъ, не терпѣлъ этой роли въ обиходной жизни, гнушался ею. Но энергія и рѣшительность никогда не покидали меня, выводили часто изъ самыхъ затруднительныхъ обстоятельствъ, спасали иногда отчаянное, погибавшее дѣло. И если я разъ рѣшался на что, положительно или отрицательно, то уже ничто и никто не могъ меня ни удержать, ни сбить съ толку: coûte que coûte, я поставлю на своемъ.

Въ семейной жизни я былъ мягокъ и деликатенъ, порою даже черезчуръ; но внѣ дома и въ исключительныхъ случаяхъ становился иногда колкимъ, рѣзкимъ, хлесткимъ и могъ показаться, не знающему меня, чортъ знаетъ чѣмъ, пожалуй и самимъ чортомъ, тогда какъ на самомъ дѣлѣ я походилъ на соблазнителя нашей прародительницы столько же, сколько вы, любезный читатель, походите на дагомейскаго короля свирѣпой памяти.

Еслибы эта глава не вышла такою длинною, то разсказалъ бы я о моемъ курьезномъ столкновеніи, лѣтомъ 1860 г., съ однимъ превосходительствомъ, извѣстнымъ тогда подъ именемъ *позументнаго генерала*, которому захотѣлось прикарманить должные имъ мнѣ 1400 р. Какимъ ураганомъ налетѣлъ я тогда на его дачу по петергофской дорогѣ; какого страху нагналъ я тамъ въ его конторѣ, и только этимъ спасъ мои 1400 р., которые, безъ моей быстроты и энергіи, улыбнулись бы мнѣ, остались бы на вѣки въ бездонномъ превосходительномъ карманѣ. Можетъ быть и разскажу я объ этомъ весьма характерномъ столкновеніи, но только гораздо позднѣе, въ девятой книгѣ, въ главѣ: *Галлерея портретовъ отцовъ-командировъ добраго стараго времени*, хотя командиромъ-то онъ никогда не былъ.... виноватъ: былъ однажды, но только не по военной части, а по ярморочной въ Нижнемъ. И оставилъ же онъ тамъ по себѣ память.... Ахъ, какую память! Первый сортъ (снизу). Каково же должно было быть тамъ положеніе заправлявшаго тогда нижегородскою губерніей моего пріятеля и бывшаго сотоварища по Литовскому полку, Алексѣя Алексѣича, этой добрѣйшей, разумнѣйшей, честнѣйшей, благороднѣйшей, s'il en fût, души?... А слыхали ли вы, читатаь, о знаменитомъ посредничествѣ позументнаго героя между его дядюшкой, гр. Клейнмихелемъ, и нѣкоею г-жею Демидовою, по поставкѣ чугунной лѣстницы въ имѣніе дядюшки? Вѣрно не слыхали? Ну такъ я разскажу «сей» геройскій подвигъ позументщика въ «Галлереѣ портретовъ». Разскажу теперь еще одинъ забавный случай, который покажетъ, какъ, не только въ крупныхъ, но и въ мелкихъ дѣлахъ, энергія выручала меня.

Въ 1836 году, въ маѣ, Лит. полкъ выходилъ изъ Ораніенбаума въ лагерь подъ Красн. Селомъ. Идя на маневры или дѣлая большой переходъ, офицеры имѣли обыкновеніе брать съ собою въ ранецъ что нибудь съѣстное и фляжку вина или водки. Я всегда дѣлалъ тоже, но на этотъ разъ оплошалъ и не взялъ ничего. Дѣлаемъ мы переходъ верстъ въ 20, и останавливаемся на привалъ въ чухонской деревушкѣ. Я страшно проголодался, а запаса ни крошки. Иду на поиски чего нибудь съѣстнаго, хоть хлѣба съ молокомъ. Обхожу почти всѣ избы, и вездѣ одинъ отвѣтъ: «нѣтъ ничего, ни молока, ни хлѣба. «Проклятая чухна, и за деньги ничего не достанешь, хоть умирай съ голоду», ворчалъ я. Наконецъ, зайдя на одинъ дворъ, усматриваю отворенную дверь въ какой-то чуланъ, а въ чуланѣ: на полкахъ и на полу множество кринокъ съ молокомъ. Я обрадовался: перспектива голоданія удалилась отъ меня. Вхожу. Передо мной очутилась старая, безобразнѣйшая чухонка.

— Есть у васъ хлѣбъ? — спросилъ я. — Есть, — процѣдила она неохотно, почти злобно черезъ свой беззубый ротъ. — А что возьмешь съ меня за ломоть хлѣба и кружку молока? — Ничего не возьму, — еще злобнѣе процѣдила старая корга — Я даромъ не хочу, а за все заплачу тебѣ, сколько положишь. — Ни даромъ, ни за деньги ничего не дамъ, ступай отсюда, баринъ! — Отчего-жъ не продаешь? Вѣдь у тебя здѣсь много горшковъ съ молокомъ. — Сказано не дамъ, такъ и не дамъ. — Такъ ты хочешь меня уморить съ голоду! Такъ слушай же: прежде, чѣмъ умереть съ голоду, я проклинаю тебя и твой домъ. Пусть онъ сгоритъ до тла, совсѣмъ твоимъ скарбомъ и имуществомъ! Пусть твои коровы, телята и овцы передохнутъ всѣ до единой! Пусть градъ выбьетъ всѣ твои поля и огороды, и у тебя не родится ни зерна! Пусть и сама ты охромѣешь и у тебя отнимутся руки или ноги! Знай, что въ прошломъ году, въ Новгородской губерніи, сгорѣло десять деревень отъ моихъ проклятій и пало десять стадъ коровъ съ телятами и овцами; и всѣ поля были выбиты градомъ. А два дня тому назадъ писали мнѣ, что въ Лугскомъ уѣздѣ, гдѣ меня недавно обидѣли, сгорѣла до тла большущая деревня. Итакъ, подавись своимъ молокомъ; но не пройдетъ мѣсяца, какъ у тебя не будетъ ни кола, ни двора и отнимутся обѣ руки, если я сейчасъ не наѣмся и не сниму съ тебя проклятія. Аминь. Прощай, пожалѣешь, да будетъ поздно.

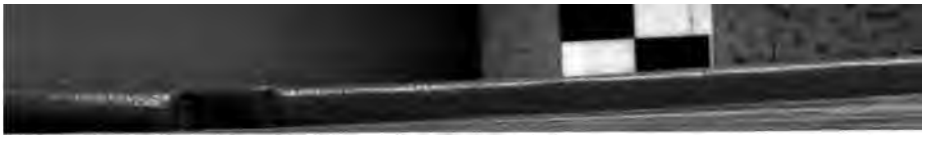
Произнеся такое страшное проклятіе, ничѣмъ не уступавшее извѣстнымъ проклятіямъ Камиллы въ «Гораціяхъ и Куріяхъ» Корнеля, я хотѣлъ уйти. Но не успѣлъ переступить черезъ порогъ, какъ беззубая чухонка бросилась ко мнѣ въ величайшемъ испугѣ, съ умоляющимъ видомъ и чуть не рыдая, проговорила:

— Баринъ, не уходи, прости меня, старую дуру. Вотъ тебѣ, кушай на здоровье, сколько угодно. — И давай ставить передо мною горшокъ, другой и даже третій. Достала цѣлую краюху хлѣба и очень хорошаго, мягкаго. — Ладно, прощаю тебя и снимаю съ тебя мое проклятіе. Теперь будь покойна и не бойся ничего: будешь здоровѣе прежняго; ни одна корова, ни теленокъ, ни овца у тебя не заболѣетъ, и все будетъ цѣлехонько. Аминь. — И вооружившись поданной мнѣ ложкой, отрѣзавъ ломоть хлѣба, мигомъ убралъ полгоршка превкуснаго молока и былъ спасенъ отъ голодной смерти. Затѣмъ вынимаю портмоне для расплаты. Куда! Старуха и слышать не хочетъ брать съ меня денегъ. — Ну такъ отдай ихъ бѣднымъ или на церковь, — сказалъ я, положивъ на столъ какую-то монету и вышелъ изъ чулана, оставя чухонку вполнѣ довольною мною, и самъ будучи вполнѣ доволенъ ею, а еще болѣе ея молокомъ и хлѣбомъ.

Я не могъ равнодушно глядѣть, когда, безъ всякой вины, а просто для забавы, били собаку или кошку. Не разъ сердился я на одного изъ моихъ племянниковъ за то, что онъ иногда потѣшался надъ попавшейся ему несчастной кошкой — таская ее за хвостъ, или травя собакой. Но, грѣшный человѣкъ, крысъ и мышей ненавидѣлъ и не прочь былъ отправить ихъ ad patres, въ особенности мышей, которыя перегрызли и перепортили у меня много книгъ и рукописей, да прочитанной *объективной* газеты «Journal de St. Pétersbourg», которая за цѣлыхъ 16 лѣтъ копилась и хранилась на чердакѣ въ ящикахъ, и которую любилъ я еще и за то, что, сверхъ своей объективности, она была и благопристойна и не ругалась, какъ иныя, ни съ кѣмъ весьма неизящно, а порою и черезчуръ забористо. Ее можно было брать въ руки безъ перчатокъ и не запачкаться. Хоть и прочитанная, старая, но все-таки было какъ-то жаль, совѣстно уничтожать самому, зря, этотъ печатный хламъ. Что же до прочихъ потребностей домашняго обихода, на это шла у меня другая газета, русская, *ultra-субъективная*. Ну, такъ вотъ и взялись за дѣло очищенія чердака отъ хлама мыши, у которыхъ, не такъ какъ у меня, оказалось очень мало совѣстливости, не только относительно съѣдобнаго, удобоваримаго, но и въ отношеніи газетъ, самой тяжелой, неудобоваримой пищи не только для людей, но и для грызуновъ; а попадаются нерѣдко и такія *субъективныя* газетки да журналики, что ихъ не переварятъ и желудки всѣхъ страусовъ, вмѣстѣ взятые.

4. Стараться сколь возможно менѣе одолжаться другими, но самому одолжать другихъ сколь возможно болѣе, на сколько позволятъ мнѣ мои средства; а часто, увы, и сверхъ моихъ средствъ, и въ явный себѣ ущербъ... И какже много, и какъ часто платился я за это и своимъ комфортомъ,—если только бывалъ у меня когда, не комфортъ, а пародія комфорта,—и своимъ спокойствіемъ, не говоря о сладостяхъ жизни, которыхъ лишь запахомъ удавалось мнѣ иногда пользоваться, а самую суть уступалъ я другимъ. Ну, за все это и благодарили меня благороднѣйшимъ образомъ, а въ добавокъ, какъ лестно для моего самолюбія обзывали меня порою нѣкоторые изъ моихъ родныхъ и нѣкоторые изъ знакомыхъ.

5. Безъ крайней необходимости, неизбѣжности, такъ сказать, никогда не занимать, не дѣлать долговъ. А когда это было неизбѣжно, и то лишь небольшими кушами, и не на долго, то занимать только у короткихъ моихъ знакомыхъ, которые хорошо, вдоль и поперекъ меня знаютъ и безусловно мнѣ вѣрятъ. И затѣмъ, хоть «лечь костьми», но уплатить всецѣло и въ срокъ. Поэтому полковые мои товарищи часто



говаривали: «Давать взаймы Макарову, все равно, что въ банкъ класть». Бывало, только что получу жалованье отъ казначея, сейчасъ же, прямо отъ него и почти бѣгомъ къ моему кредитору. И если не застану его дома, иду, раздосадованный, къ себѣ. Вдругъ встрѣчаю его по дорогѣ. «Стой, мнѣ нужно съ тобой переговорить». Веду его таинственно подъ ворота перваго дома, вынимаю изъ кармана и сую ему въ руку мой долгъ. И такъ легко сдѣлается мнѣ послѣ этого, словно пудовую гирю сняли съ моихъ плечъ.

6. А чтобы исполнять предъидущія правила, то, во первыхъ: я никогда не бралъ картъ въ руки для азартныхъ игръ; даже въ коммерческія игры и по самой маленькой, почти никогда не игралъ; во вторыхъ: постоянно себѣ отказывалъ не только въ дорогихъ, но и въ дешевыхъ сладостяхъ жизни. Не жалѣлъ я денегъ лишь на то, *безъ чего нельзя было обойтись порядочному человѣку*. Теперь, чтобы показать сколь неуклонно слѣдовалъ я моимъ правиламъ, я разскажу одинъ, изъ множества, разительный примѣръ соблюденія первыхъ трехъ правилъ и съ тѣмъ вмѣстѣ образчикъ моей четвертой *фобіи*, т. е. *себяфобіи*, отразившейся потомъ невыгодно на всей моей карьерѣ.

Въ одной изъ будущихъ книгъ «Воспоминаній» будетъ глава: «Первый блинъ, да и комомъ», въ которой описывалъ я мою любовь, мою бурную, огненную страсть къ Аннетѣ Гесслингъ, къ «большому ребенку», какъ ее называли, въ которую перевлюблялись тогда почти всѣ прапорщики и подпоручики Литовскаго полка, половина поручиковъ, нѣкоторые изъ ротныхъ командировъ, но не батальонные: чинъ не позволялъ. Разумѣется, я, какъ и большая часть моихъ товарищей литовцевъ, часто посѣщалъ домъ ея дѣда, восьмидесятилѣтняго пастора лютеранской церкви въ Ораніенбаумѣ, къ которому Аннета часто пріѣзжала изъ Петербурга гостить. Понятно, что бывать у Андрея Ивановича (пастора) и созерцать тамъ мое свѣтило, любоваться восхитительной головкой и всей граціозной, стройной фигурой большаго ребенка, слушать ея очаровательный, мелодическій голосъ, засматриваться въ лазурь ея прелестныхъ глазокъ, было для меня nec plus ultra неземнаго блаженства. И вдругъ, ни съ того, ни съ сего, мнѣ покажется иногда, что я тамъ, у пастора, не «изъ самыхъ желанныхъ» гостей, что меня принимаютъ безъ большаго удовольствія, такъ себѣ, изъ вѣжливости, для счета. Ну и баста! Прощай мое небо, прощай лазурь дѣтскихъ глазокъ. Мѣсяцъ, два, три туда ни ногой. Сердце у меня ноетъ, разрывается! Пусть себѣ ноетъ! пусть разрывается! но ни за какія блага, ни за какія небеса, ни за какую лазурь не согласился бы я быть, гдѣ бы то ни было, такъ

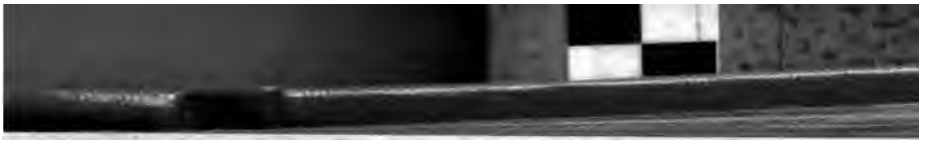
себѣ, лишнимъ, нежеланнымъ, ou pis aller. И вотъ начинаютъ сыпаться на меня со всѣхъ сторонъ восклицанія, вопросы отъ моихъ товарищей:

— Да что это, Макаровъ, не видать тебя у Андреи Иваныча? Да отчего это пересталъ ты бывать у Гесслинговъ. Тамъ всѣ удивляются, недоумѣваютъ, всѣ спрашиваютъ: «что это сдѣлалось съ м-сьё Макаровымъ; отчего такъ долго онъ у насъ не былъ; здоровъ ли м-сьё Макаровъ»? А м-сьё Макаровъ и въ усъ себѣ не дуетъ; сердце у него страшно болитъ, разрывается; онъ замерзъ, окоченѣлъ, давно не грѣвшись ослѣпительными лучами своего солнца; а все таки ни ногой къ этому солнцу. Не довѣряетъ восклицательнымъ знакамъ товарищей и сообщеніямъ о томъ, что «тамъ замѣчаютъ, безпокоятся о его отсутствіи». Наконецъ и встрѣтится онъ въ какомъ либо другомъ домѣ или съ мамашей, или съ одною изъ сестеръ большаго ребенка, а иногда и съ нимъ самимъ.

— Что это, м-сьё Макаровъ, вы совсѣмъ забыли насъ? За что это вы лишаете насъ такъ долго удовольствія видѣть васъ въ нашемъ домѣ? Ради Бога навѣщайте насъ, — и пр. и пр.

Ну, м-сьё Макаровъ и рѣшится наконецъ снять съ себя зарокъ: со страхомъ и трепетомъ, съ замираніемъ сердца отправится онъ къ своему божеству, къ своему солнцу, и тотчасъ же, въ первый же визитъ отойдетъ, оттаетъ, согрѣется живительными лучами прекраснѣйшаго изъ земныхъ свѣтилъ, лучами ораніенбаумскаго солнышка. А вотъ примѣръ, въ подтвержденіе пятаго правила моей страшной боязни, чтобы ничья ни единая копѣйка не пропала за мною.

Въ началѣ семидесятыхъ годовъ разъ случилась мнѣ крайность въ 300 рубляхъ. Ѣду я къ моему близкому сосѣду по тульскому имѣнію, къ хорошему старому (съ 1840 г.) моему знакомцу Степану Степ. Стрекалову, этому образцу высокой честности и аристократа въ наилучшемъ смыслѣ этого слова, безъ тѣни гордости, чванства или тщеславія, всегда одинаково привѣтливаго, вѣжливаго и любезнаго не только со своими аристократическими собратіями, но и со всѣми прочими смертными, далеко не аристократами, были бы только порядочные люди. Разумѣется, онъ тотчасъ же и съ величайшею готовностью одолжилъ мнѣ эту сумму, подъ простую росписку на уплату черезъ 4 или 5 мѣсяцевъ. Ѣду я осенью въ Петербургъ, потомъ возвращаюсь оттуда съ деньгами, останавливаюсь на короткое время въ Москвѣ и сейчасъ же къ Степану Степановичу на Тверскую противъ англійскаго клуба. Приняла меня его супруга, Александра Николаевна, эта благороднѣйшая, прекраснѣйшая женщина. Ну, да объ ней нечего много говорить: ее знаетъ вся Москва по



ея ангельской добротѣ, идеальной женской и христіанской добродѣтели, или вѣрнѣе, по соединенію всѣхъ добродѣтелей; по неустающей, непрестанной благотворительности. А знаетъ ли она, старушка Москва, о ея тяжко испытанной жизни, о томъ, что изъ троихъ любимыхъ ею дѣтей, она одну дочь, Екатерину, потеряла еще отроковицей, другую, Наталію, потеряла послѣ короткаго замужества ея съ княземъ Ливеномъ. Наконецъ единственный, горячо любимый ею сынъ, тоже Степанъ или, какъ его называли, «Копочка», прекраснѣйшій, рѣдкій молодой человѣкъ, умеръ вскорѣ послѣ своей женитьбы на Челищевой. Затѣмъ потеряла она и его единственнаго сына, своего внука. Осталось у ней только отъ старшей дочери трое внуковъ, Ливеновъ, но не Стрекаловыхъ. И эти несчастія не ожесточили Александру Николаевну противъ судьбы, а напротивъ: еще болѣе умиротворили, умягчили ея сердце, сдѣлали ее еще религіозиѣе, еще добрѣе, еще благотворительнѣе. Итакъ, какъ и всегда, Александра Николаевна приняла меня очень любезно и сказала, когда заговорилъ я о моемъ долгѣ?

— Мой мужъ уѣхалъ за границу, а когда вернется, не знаю.

— Все равно: я привезъ деньги, которыя и прошу васъ принять отъ меня. Но только тутъ является вотъ какой вопросъ: по разсѣянности, я забылъ вписать мой долгъ въ мою приходную книгу и не помню 300 или 350 р. взялъ я. Поэтому прошу васъ достать мою росписку, чтобы разрѣшить мое недоумѣніе.

— Какже это сдѣлать? Вѣдь мужъ мой не оставлялъ мнѣ этой росписки и даже ни слова не говорилъ о вашемъ долгѣ.

— Въ такомъ случаѣ плачу вамъ 350 р. Это мой священный долгъ — загладить мою разсѣянность и забывчивость.

Уѣзжаю изъ Москвы къ себѣ въ деревню. Дней черезъ десять по моемъ возвращеніи, пріѣзжаетъ ко мнѣ управляющій Стрекалова и говоритъ:

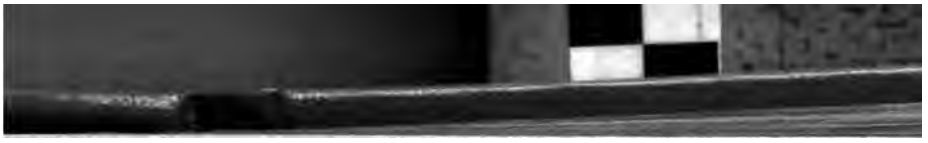
— Вчера получилъ я письмо отъ Александры Николаевны: она пишетъ, чтобы я сейчасъ же отвезъ къ вамъ 50 р., излишне вами ей заплаченныхъ. Она отыскала вашу росписку, въ которой значится, что вы взяли у Степана Ст. не 350, а только 300 р. Эти деньги все равно, какъ бы свалились мнѣ съ неба. Ужъ коли зашла рѣчь о моей неспособности — быть неаккуратнымъ въ платежахъ долга, о болѣзненномъ, судорожномъ моемъ содроганіи при одной мысли о томъ, что можетъ пропасть за мной хотя единая чья либо копѣйка, то слѣдуетъ разсказать не... «маленькій фельетонъ», какъ говорится иногда въ «Новомъ Времени», а маленькій казусъ или казусикъ; и разсказать ради вящшей ил-

люстраціи вышесказанной моей неспособности, которую можно было бы назвать *долгофобіей*, и которая сразу угадывается и высоко цѣнится заграницею, хоть, напримѣръ, въ Парижѣ, но уже только не у насъ въ Россіи, не въ Москвѣ, не въ Петербургѣ, чему разительный примѣръ приведу я ниже. Но разъ встрѣтилось блестящее исключеніе изъ правила, и гдѣ же? въ Тулѣ!!!...

Живя постоянно въ деревнѣ, въ трехъ верстахъ отъ передпослѣдней станціи (Баранова) чугунки, не доѣзжая 20 верстъ изъ Москвы въ Тулу; осень, зиму и часть весны проживаю въ Тулѣ, ради сыновей—гимназистовъ. Говорилъ я уже о моемъ отвращеніи — занимать иначе, какъ у коротвихъ знакомыхъ и то въ крайнихъ случаяхъ; но уже ни въ какомъ случаѣ не у коренныхъ туляковъ; Боже избави! Вѣдь это такой народецъ!!!..... А какой же, спросите вы, читатель. Вамъ очень хочется это знать? Ну, куда ни шло, удовлетворю ваше любопытство; но только не сейчасъ, а позднѣе. И займусь я тогда съ особенной любовью «эвтими» милыми туляками, про которыхъ даже сложились двѣ пословицы: «Доброй малой, да *тулякъ*», (есть варіянтъ этой пословицы: «Всѣмъ бы хорошъ, да тулякъ»), и «Въ Тулу не мудрено пріѣхать умникомъ, но *мудрено выѣхать изъ нее таковымъ*». Я сказалъ уже, что, такъ какъ мнѣ 72 года, то вѣроятно не заставитъ себя долго ждать минута моего отправленія Туда, куда не хочу уносить съ собою ничего здѣшняго, особенно такой пикантной матеріи, какъ характеристика туляковъ стараго и новаго времени, грандіозныхъ и мизерныхъ, со стеклышками и безъ оныхъ. Вѣдь вы просто разведете и руками и ногами, когда узнаете, что это за милые, прелестные субъекты.... Возвращаюсь къ кредиту.

Итакъ, у кровныхъ туляковъ я никогда не кредитовался, но въ нѣкоторыхъ лавкахъ, въ томъ числѣ и въ мясной, забираю на книжку, потому что весьма неудобно посылать за всякой малостью прислугу съ деньгами, которыя не разъ и теряла она. Такимъ образомъ накопился расчетъ съ мясной лавкою почти за мѣсяцъ. И вдругъ, однажды, кухарка теряетъ мясную книжку. Досадно. Ѣду самъ въ мясную лавку Серебрякова и спрашиваю: Сколько я вамъ долженъ? — А не знаю, батюшка! Какъ не знаете? вѣдь у васъ должны быть записаны въ книгу мои заборы? — Никакихъ такихъ книгъ у меня, батюшка, не имѣется. А платятъ мнѣ господа по своимъ книжкамъ.—Да вѣдь мою-то книжку сегодня потеряла дура кухарка косолапая. Какие я теперь васъ разсчитаю? — А ужъ какъ вамъ самимъ заблагоразсудится: что дадите, тѣмъ и буду доволенъ. Мой грѣхъ.

Возвращаюсь домой въ большомъ раздумьи, какъ выяснить и сосчи-



тать повѣрнѣе на память цифры почти мѣсячнаго забора. Сажусь за счеты, погружаюсь въ воспоминанія о ссѣкахъ, филеяхъ, бифштексахъ, ростбифахъ, телятинахъ, и пр. и пр. Призываю на помощь жену. Болѣе часа прокорпѣлъ я надъ разрѣшеніемъ этой мясной задачи, корпѣлъ до испарины, но итогъ подвелъ: вышло 36 руб. съ копѣйками. Отвожу самъ эти деньги и, съ наслажденіемъ, вручаю Серебрякову. А на другое утро приносятъ мнѣ потерянную книжку, которую кто-то нашелъ на тротуарѣ, и прочтя заголовокъ принесъ ее въ лавку Серебрякова. Оказалась незначительная разница рубля въ полтора противъ моего расчета. Но съ тѣхъ поръ, когда я привожу Серебрякову мой долгъ, иногда за два или за три мѣсяца, и извиняюсь, что такъ долго не платилъ, онъ неизмѣнно говоритъ мнѣ:

— Помилуйте, батюшка! Да если бы вы не платили мнѣ и въ продолженіи года, такъ и тогда я ничуточки не обезпокоюсь. Вѣдь за вами-то деньги вѣрнѣе, чѣмъ у меня въ сундукѣ. У меня-то могутъ уворовать, ну и пропали. А у васъ-то завсегда будутъ цѣлы; хоть бы и украли, вы навѣрно мнѣ заплатите. Я во всю жисть не забуду, какъ вы могли мнѣ не заплатить ни копѣйки, значитъ самъ я былъ виноватъ. А вы тотчасъ же заплатили мнѣ безъ всякаго спору или сумленія.—Теперь о вышесказанной способности умѣть угадывать *домобоязнь*, т. е. честность на расплату заграницею, и о способности не умѣть это угадывать въ нашей матушкѣ «Россеѣ».

Жилъ я съ августа 1851 по конецъ января 1852 года въ Парижѣ, съ покойною второю женою и дочерью. Былъ я свидѣтелемъ знаменитаго coup d'état маленькаго Наполеона (по Виктору Гюго); ходилъ посмотрѣть на баррикады, да не пустили, а въ добавокъ чуть меня не подстрѣлили, когда я, со многими русскими, смотрѣлъ изъ окна отеля Итальянскаго бульвара, какъ проходили мимо войска отъ церкви Маделенъ къ Портъ-Сенъ-Мартенъ, гдѣ уже возникали баррикады. Это было на третій день послѣ переворота 2 декабря. А за нѣсколько дней до этого, находясь на хорахъ представительнаго собранія, я былъ свидѣтелемъ одной изъ самыхъ бурныхъ парламентскихъ сценъ.

Послѣ премьерства Леона Фоше, ловкаго, умнаго и весьма себѣ на умѣ, сформировалось у маленькаго Наполеона самое лакейское и бездарное министерство, какое когда либо существовало, министерство Ториньи, который еще былъ такъ себѣ. Но прочіе, въ особенности министръ юстиціи Давіель, злополучнѣйшій министришко. Послѣ громовыхъ рѣчей Жюля Фавра и Теофила Бака, приносившаго жалобу собранію за то, что его гдѣ-то арестовали, невзирая на его депутатскую неприкосновенность, вска-

рабкался на трибуну толстенькій экс-прокурорикъ и тогдашній министрикъ Давіель; вскарабкался и принялся оправдывать своихъ бездарныхъ коллегъ, но какъ? не то чтобы: «и пошелъ, и пошелъ», а «и поползъ, и поползъ». Наконецъ, такъ умъ зарапортовался, понесъ такую околесную, что все разразилось громкимъ, неудержимымъ хохотомъ: и лѣвая, и правая, и центръ. Возгласы, упреки, сарказмы сыпались градомъ на злополучнаго министра, который пыхтѣлъ, заикался, захлебывался, безпрестанно утирался платкомъ. Наконецъ долговязый, сѣдовласый и саркастическій президентъ Дюпенъ, плутъ изъ умнѣйшихъ плутовъ, сжалился и громогласно принялся защищать министра, но какъ? Вотъ слово въ слово что и какъ прозубоскалилъ онъ, съ президентскаго кресла, обращаясь къ депутатамъ всѣхъ сторонъ:

— Messieurs, *bien* ou *mal* laissez parler le ministre (Господа! хорошо ли, плохо ли, дайте же говорить министру).

Боже мой! какой гвалтъ послѣдовалъ въ собраніи за этимъ злымъ сарказмомъ! Съ крайней правой раздалось:

— Г. президентъ! Вы, который долженъ защищать министра, а вы первый бросаете въ него грязью!

А сколько весьма интереснаго могъ бы я поразсказать о многихъ другихъ актерахъ грязно-кровавой арлекинады 2-го декабря, и что слышалъ я тогда отъ моего квартирнаго хозяина, преумнаго француза. Напримѣръ: какъ Сент-Арно продалъ республику Наполеону за уплату его огромныхъ долговъ; какъ потомъ онъ укралъ 300 тысячъ фр. изъ подъ пресъ-папье въ кабинетѣ императора, и вслѣдъ затѣмъ смертельно ранилъ капитана Корниюза, ординарца императора и въ его глазахъ; какъ Евгенія потомъ слезно, на колѣняхъ умоляла мать убитаго ординарца не разглашать объ этомъ кровавомъ дворцовомъ скандалѣ; какъ этотъ Сент-Арно не захотѣлъ послѣдовать примѣру Маньяка, продавшаго за полтора милльона собственноручную записку Наполеона, въ которой этотъ парижскій декабристъ писалъ: Tuez, massacrez tout» (убивайте, рѣжьте всѣхъ). А за удержаніе у себя, про черный день, этой гуманной записочки, послали его потомъ въ Крымъ — пожинать лавры и кипарисныя вѣтки. Ну и легъ тамъ костьми пресловутый экс-актеръ, а потомъ военный и громадный министръ негромаднаго, а маленькаго Наполеона...

Итакъ, проходили по бульвару войска. Зрѣлище было весьма интересное. Вдругъ какой нибудь тротуарный зѣвака крикнетъ неистово: «Vive la république!» А вслѣдъ за этимъ конный жандармъ вихремъ налетитъ на крикуна и давай отсчитывать ему по спинѣ полновѣсные удары палашемъ, т. е. угоститъ фухтелями, говоря прежнимъ военнымъ

языкомъ. На углу улицы Ришелье стояла кучка зѣвакъ. Вдругъ кто-то выстрѣлилъ изъ пистолета въ проходившихъ солдатъ, и хотя никого не задѣлъ, но съ десятокъ изъ нихъ повернулись къ кучкѣ и пифъ-пафъ. Одна изъ пуль, шальная, попала прямо въ окно, изъ котораго мы смотрѣли и, прожужжавъ надъ нашими головами, ударилась въ стѣну. Бывшій тутъ мой шуринъ, Богаевскій, досталъ эту пулю и спряталъ на память. А когда я возвратился домой, въ улицу Шоссе д'Антенъ, то хозяинъ квартиры предостерегъ меня, сказавъ: «Ради Бога не ходите, или хоть по меньше расхаживайте теперь по Парижу; вѣдь за ничто пропадете: васъ могутъ застрѣлить въ толпѣ». И точно: когда въ тотъ же вечеръ отправилась наша компанія по Итальянскому бульвару къ Портъ-Мартенъ посмотрѣть на баррикады, чего намъ страшно хотѣлось, то, начиная отъ бульвара Бонньувэль, стали намъ попадатся сперва лужи крови на тротуарѣ, потомъ трупы убитыхъ, одинъ, два, наконецъ цѣлая группа. И все это мирные прохожіе съ зонтиками, подстрѣленные въ разгарѣ революціонной сумятицы. А стѣны одного дома были какъ рѣшето отъ картечныхъ выстрѣловъ. При проѣздѣ артиллеріи, кто-то выстрѣлилъ въ нее изъ этого дома. Тотчасъ же нѣсколько орудій повернулись дулами къ дому, дали залпъ картечью, и случайно убили одного отставнаго французскаго генерала, мирно сидѣвшаго за столомъ, и превратили въ рѣшето стѣну дома. Но баррикадъ мы не видали. Цѣпь часовыхъ насъ не пустила.... Но я увлекаюсь моими воспоминаніями. Отложу ихъ до одной изъ будущихъ книгъ, гдѣ сообщу о многомъ видѣнномъ и слышанномъ мною тогда въ Парижѣ, и о чемъ нигдѣ не говорилось въ печати. Возвращусь къ кредиту, о которомъ я началъ рѣчь.

Во время пребыванія моего въ Парижѣ, я часто посѣщалъ Палерояль, и тамъ заходилъ много разъ въ оптическій магазинъ Вальяна, гдѣ сидѣла весьма пожилая дама. Покупалъ я разныя вещицы. Взялъ для жены великолѣпный элиптическій бинокль слоновой кости. Потомъ разсудилъ взять такой же, но черный, для себя. Стоилъ онъ 50 фр. Достаю изъ кармана портмоне; оказалось только нѣсколько франковъ и банковый билетъ въ 500 фр. Подаю, сказавъ:—Можете размѣнять? Дама не беретъ билета и говоритъ: — Занесите деньги послѣ, когда нибудь. — Да вѣдь вы меня не знаете (она знала, что я русскій).—Такъ что жъ? А вы все таки мнѣ отдадите, я это знаю.—Да узнайте же мой адресъ.—Не нужно. — Ну хоть мое имя. — И этого ненужно. — А какъ я не принесу вамъ моего долга, какже вы будете его взыскивать, не зная, гдѣ я и кто я? — О, нѣтъ! вы принесете свой долгъ, непремѣнно принесете, я въ томъ увѣрена. *Я знаю, съ кѣмъ имѣю дѣло; вѣдь не даромъ сижу*

я здѣсь въ продолженіи двадцати лѣтъ. Такъ таки и не захотѣла узнать ни моего адреса, ни фамиліи. Разумѣется, на другой-же день я отнесъ ей 50 фр. Это, изволите видѣть, кредитъ заграничный, полный здоровья и силъ. А вотъ образчикъ кредита «рассейскаго», т. е. чахоточнѣйшаго, хилѣйшаго кредитишки.

Жилъ я съ начала 1869 по іюнь 1872 года на Вознесенскомъ проспектѣ, близъ типографіи Печатниной, бывшей Неклюдова, гдѣ печаталось тогда первое изданіе моего «Полнаго французско-русскаго словаря». Имѣю я обыкновеніе выкуривать послѣ обѣда сига у и запивать ее чѣмъ нибудь: чаемъ, кофе или виномъ. Въ то время я выпивалъ полстакана недорогаго сотерна въ 75 коп. (нынѣ онъ стоитъ 1 р. 25 коп. Явный прогрессъ въ «рассейскихъ» финансахъ и кредитѣ). Бралъ я его постоянно у Денкера, что у Казанскаго моста. Захожу разъ туда и велю подать двѣ бутылки сотерну. Подаютъ. Хвать за карманъ: портмоне забылъ дома, что весьма рѣдко случается со мною.

— Прикажите отнести этотъ сотернъ ко мнѣ на квартиру, а деньги занесу къ вамъ завтра: я забылъ дома свой портмоне. На лице сидѣльца, чистокровнаго остзейца, появилось недоумѣніе, нисколько не скрываемое, а очень многоговорящее.

— Что это? вы, кажется, не вѣрите мнѣ на полтора рубля, и тогда какъ я уже болѣе двухъ лѣтъ беру у васъ вино и вамъ хорошо извѣстны и мое имя, и моя квартира! Остзеецъ замялся, но не сконфузился и проостзенлъ:

— Что жъ дѣлать, господинъ? Съ полгода тому назадъ къ намъ ѣздилъ одинъ господинъ, такой важный, въ каретѣ и съ лакеемъ. Забиралъ у насъ вина, платилъ; а потомъ набралъ рублей на 30, да больше и не пріѣзжалъ. Ищи его теперь.

— Да потому-то онъ, быть можетъ, и не заплатилъ, что не приходилъ, а пріѣзжалъ къ вамъ въ каретѣ, и съ лакеемъ.

— Что жъ дѣлать, господинъ?

— А вотъ что: домой я, можетъ быть, не попаду ранѣе обѣда. А курить сигару, не запивая виномъ, не люблю. Такъ вотъ вамъ въ обезпеченіе золотое кольцо, стоющее 15 р., сказалъ я и, снявъ кольцо съ пальца, подалъ его сидѣльцу. На этотъ разъ остзеецъ сконфузился, не бралъ отъ меня кольца, а протянулъ мнѣ одну изъ бутылокъ.

— Благодарю васъ за огромный кредитъ. Стало быть вы находите, что я стою не болѣе 75 копѣекъ, а полутора рублей не стою. Отказываюсь отъ вашего сотерна, и отъ кредита, не желая быть причиною вашего страха за цѣлость вашего капитала и удаляюсь. Прощайте, и не

до свиданья, а на всегда. Зайду, возвращаясь домой, къ Шиту въ Большой Мѣщанской и буду брать у него.—Не правда ли, какой тонкій остзейскій тактъ и умѣнье угадывать порядочныхъ и честныхъ людей? Но и у православныхъ не лучше; а то пожалуй и похуже. Много, много разъ имѣлъ я случай убѣдиться въ этой лафатеровской способности моихъ милыхъ согражданъ, хотя бы напримѣръ относительно поддержки и кредита, какіе оказывали мнѣ нѣкоторые наши меценаты въ обѣихъ столицахъ, въ снабженіи меня средствами къ изданію моихъ словарей, даже подъ вѣрнѣйшее обезпеченіе двумя рублями за рубль. А равно и кредита по отпуску мнѣ бумаги въ долгъ подъ такое же вѣрное обезпеченіе. Но обо всемъ этомъ подробнѣе скажется въ послѣдней книгѣ, которая будетъ резюмировать мои жизненныя похожденія.

Я былъ еще страшнѣйшій мечтатель, заткнулъ бы за поясъ любую молочницу изъ басни Лафонтена. О чемъ только не мечталъ я? Но главною, любимою моею мечтою была сущая бездѣлица: сдѣлаться богатымъ, страшно богатымъ, такимъ, у котораго не только куры, но и всѣ пѣтухи, гуси, индѣйки и даже утки, — а вѣдь онѣ извѣстны своею прожорливостью, — словомъ всѣ домашніе пернатые могли бы вволю клевать и не выклевать. И мечталъ я о богатствѣ не для себя, совсѣмъ нѣтъ: я никогда не былъ и не буду падокъ на корысть, умѣлъ и всегда буду умѣть довольствоваться не многимъ, необходимымъ (но въ хорошихъ сигарахъ съ рюмкою хорошаго Шато-д'Икемъ я себѣ тогда не отказывалъ бы). А мечталъ я о богатствѣ для того, чтобы дѣлать безконечную массу добра. И было бы у меня тогда много честныхъ и гуманныхъ секретарей и сотрудниковъ, которые помогали бы мнѣ отыскивать на чердакахъ и въ подвалахъ Петербурга и Москвы несчастныхъ, голодныхъ артистовъ, художниковъ, начинающихъ писателей, въ особенности, несправедливо и зазорно обруганныхъ гуманными журнальными Шемяками. И выстроилъ бы я тогда, и не одинъ, а нѣсколько огромныхъ домовъ, съ многочисленными меблированными комнатами, которыя отдавались бы безплатно со столомъ, съ медицинской помощью и разными удобствами вышерѣченнымъ меньшимъ братьямъ обоего пола. А чуть у кого плохое бѣлье или одежда, и этимъ снабжались бы они даромъ изъ огромнаго магазина платья и бѣлья. И это было бы для меня превыше всѣхъ земныхъ почестей и наслажденій, за исключеніемъ — любить и быть любимымъ избранницей моего сердца. И мало ли еще какой міръ мечтаній и желаній, филантропическихъ и гуманитарныхъ, неустанно роился и кишѣлъ въ моемъ воображеніи и въ сердцѣ съ тѣхъ поръ, какъ я сталъ себя помнить, т. е. отъ ранняго отрочества и до преклонныхъ лѣтъ. О

если бы были у меня средства дѣлать добро, много, много добра, какъ бы я былъ тогда счастливъ, счастливѣе всѣхъ владыкъ и сильныхъ міра! И во вѣки не пожелалъ бы для себя инаго счастія. Но, увы! Охота смертная, даже участь горькая. Не только для меньшой братіи, но и для себя-то самого приходилось не разъ ломать голову надъ разрѣшеніемъ соціальной квадратуры круга, — какъ и чѣмъ прожить, — самому-то бы еще ничего, а то съ женою и дѣтьми извѣстное трудное время, какъ напр. во время послѣдней войны съ турками, когда всѣ думали уже не о книгахъ, и даже не о словаряхъ, а о томъ, какъ бы свести концы съ концами.

А сколько пользы и добра могъ бы я сдѣлать для общества, еслибы попалъ на свое мѣсто и приложилъ бы къ дѣлу мою энергическую дѣятельность! Но занятіе такого мѣста возможно не на востокѣ, а на западѣ, гдѣ всякій способный и неутомимый дѣятель можетъ приносить пользу отечеству не только *съ малымъ чиномъ*, но и *безъ всякаго чина*, *былъ бы только умѣнъ*, *даровитъ*, *дѣятеленъ и честенъ*.

«Chaque pays a sa mode».

Китай, его двадцать тысячъ церемоній, чай, чинъ состоятъ въ самомъ близкомъ, тѣсномъ родствѣ между собою; гдѣ же тутъ найти мѣсто справедливой и раціональной оцѣнкѣ человѣческихъ способностей и достоинствъ? Чай и чинъ, чинъ и чай — всему голова, это — альфа и омега расы славянскихъ скиѳовъ. И что всего ужаснѣе: противовѣсомъ этой затхлой китайщины являются, не гражданскія доблести, а... динамитъ и нитроглицеринъ. Окутайся же въ черное покрывало, истинная гражданская доблесть! Спрячься и сиди подъ спудомъ, пока и подъ тебя не подведутъ мину, и не взорвутъ тебя. А вотъ образчикъ моего отвращенія къ займамъ не у самыхъ короткихъ знакомыхъ.

1832 года 15 августа, въ Ораніенбаумѣ собралась, для загородной прогулки, кавалькада литовскихъ офицеровъ, въ которой и я принималъ участіе. Своей лошади у меня не было, а предложилъ мнѣ свою одинъ изъ нашихъ капитановъ, но не предупредилъ меня, что лошадь эта, бывшая черкесская, горячая, злая, почти бѣшеная. Когда явился я на мѣсто сбора, передъ присутственными мѣстами, уже всѣ участвовавшіе въ кавалькадѣ уѣхали. Подхожу къ назначенной для меня лошади, которую держалъ подъ уздцы деньщикъ капитана; она чуть не укусила меня и затѣмъ стала лягаться, но меня не задѣла. Вскочилъ я на нее, но не успѣлъ хорошо усѣсться и покрѣпче подобрать поводья, какъ она закусила удила и, какъ стрѣла, помчалась впередъ, по дорогѣ къ дворцовому саду. Невдалекѣ впереди лежалъ глубокій, широкій и выстлан-

ный камнемъ ровъ. Лошадь взяла лѣвѣе, мимо моста и мчалась прямо въ ровъ. Остановить ее не было возможности. Перескочить черезъ ровъ еще менѣе, такъ онъ былъ широкъ. «Ну, подумалъ я, прыгнетъ въ ровъ и поминай какъ звали, костей не соберешь». Но, выбирая изъ двухъ золъ меньшее, я вынулъ ноги изъ стремянъ и, за нѣсколько шаговъ отъ рва, прыгъ на всемъ скаку на землю. Окаянная же лошадь, прискакавъ на край рва, остановилась какъ вкопанная.

Не помню, что и какъ произошло со мной послѣ отчаяннаго прыжка. Ударъ былъ страшный, лѣвымъ плечемъ о землю. Попробовалъ было я приподняться, кровь хлынула у меня ртомъ и носомъ. Я потерялъ сознаніе. Отъ сильнаго удара, сюртукъ мой распоролся по швамъ, распоролись и задніе карианы. Въ ту минуту проходили мимо двое полковыхъ музыкантовъ. Увидѣвъ офицера, лежащаго въ крови, безъ чувствъ, они подхватили меня подъ руки и поволокли во дворецъ, гдѣ, какъ у офицера роты Его Высочества, была моя квартира, возлѣ самой церкви. Покойный Михаилъ Павловичъ давалъ квартиру въ своемъ дворцѣ офицерамъ своей роты и полковникамъ. Приволокли меня, уложили на постель, привели доктора (Прокоповича, только что выпущеннаго въ полкъ изъ Мед.-хир. Академіи и сдѣлавшагося тотчасъ же моимъ закадычнымъ другомъ), который пустилъ мнѣ кровь изъ правой руки. Лѣвое плечо страшно распухло, такъ что пришлось разрѣзывать рубашку и рукавъ сюртука, чтобы снять ихъ съ меня. Два мѣсяца ворочали меня съ боку на бокъ. Но молодость взяла свое, я сталъ поправляться, а силы возвращаться ко мнѣ. Но только послѣ въ продолженіи тридцати лѣтъ не могъ я ни спать, ни лежать долго на лѣвомъ боку: сейчасъ начинало ломить лѣвое плечо.

Вотъ въ эти-то два мѣсяца моего заключенія истощились всѣ мои небольшіе фонды. И какъ нарочно, замедлили съ выдачей жалованья и казначей не пріѣзжалъ изъ Петербурга. Произвожу ревизію моей кассы: оказалось на лицо всего четыре двугривенныхъ; не жирно, чортъ возьми! Посылаю къ одному товарищу: сухи лелюхи; самъ сидитъ безъ гроша и, въ ожиданіи благъ, т. е. жалованья, кормится въ долгъ у Шмита (трактирщика). Посылаю къ другому, третьему — та же исторія. А закадычный мой другъ, соратникъ и сожитель, поручикъ Крыжановскій, въ Петербургѣ, гоститъ у своего дяди, казначея капитула орденовъ и, вѣроятно, любезничаетъ съ своей кузиной, въ которую, говоря мимоходомъ, я былъ влюбленъ заочно, воображеніемъ, никогда ее не видавши, по разсказамъ друга, что она — прехорошенькая и преумненькая и еще,— важная причина — прочитавъ ее премилое письмо къ кузену, гдѣ она,

между прочимъ, писала «что красота у мужчинъ — послѣдняя вещь». Ну возможно ли послѣ этого не влюбиться? Не знаю, какъ думаете объ этомъ вы, любезный читатель, а по моему — невозможно.

Итакъ необходимо было испробовать мои финансовыя способности, придумывать, ухищряться не хуже нынѣшняго турецкаго министра финансовъ...., да пожалуй и многихъ другихъ странъ. Вѣдь за плохими-то финансами дѣло не станетъ, они сплошь да рядомъ.... А между тѣмъ достать денегъ и сколько угодно, было для меня весьма легко: стоило только обратиться къ моему ротному командиру, капитану Тинькову, прелестнѣйшему человѣку и умницѣ, жившему тоже во дворцѣ, противъ моей квартиры на одной площадкѣ. Но тутъ встрѣтилось неодолимое для меня препятствіе, хотя всегда радушно, ласково, какъ родной былъ я принимаемъ въ его семействѣ, состоявшемъ изъ умнѣйшей и милѣйшей Парасковьи Сергѣевны, его жены, и еще изъ сына и трехъ дочерей, изъ которыхъ вторая, Софья, была потомъ дивной, ослѣпительной красавицей. Просить взаймы хоть и у прекраснѣйшаго человѣка и товарища, но съ которымъ я не былъ на *ты*, это было до того не въ моихъ правилахъ, ни въ понятіяхъ, до того казалось мнѣ чудовищнымъ, что я даже ни разу и не подумалъ объ этомъ, а порѣшилъ вопросъ о питаніи—это по прежнему, а по новому — вопросъ о «борьбѣ за существованіе»; порѣшилъ я самымъ субъективнымъ образомъ, а именно:

— Эй, Иванъ! — закричалъ я моему деньщику.

— Что прикажете, Ваше благородіе?

— Есть у насъ черный хлѣбъ?

— Есть, Ваше благородіе.

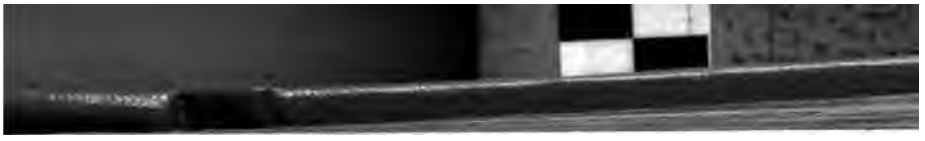
— И много?

— Да, цѣлый большущій каравай. А скоро и еще другой принесутъ такой же.

— А ходитъ ли сюда молочница и по чемъ бутылка молока?

— Ходитъ всякой день. А молоко по пятачку за бутылку.

Ура! Стало быть я спасенъ отъ голодной смерти. У меня четыре двугривенныхъ; значитъ шестнадцать пятачковъ, хватитъ на шестнадцать дней «хорошаго обѣда съ молокомъ». Ну, а тамъ хлѣбъ можно и съ водой. Буду живъ, не умру. Вотъ и началась для меня спартанская жизнь: два ломтя солдатскаго хлѣба, да бутылка молока въ день. Чѣмъ это не обѣдъ? Въ осажденномъ городѣ и того подъ часъ не достанешь. Но не болѣе пяти дней сидѣлъ я на этой пищѣ Св. Антонія. Тиньковъ какъ-то пронюхалъ про мое невольное постничанье. Боже мой, какъ онъ



сердился на меня и пуще всего скорбѣлъ о моемъ постничаньи, когда мнѣ необходима была сытная, питательная пища для подкрѣпленія моихъ силъ. Не хотѣлъ слушать моихъ запирательствъ и увѣреній, что я сытехонекъ и здоровехонекъ, положилъ ко мнѣ на столъ сумму, равносильную моему третному жалованью и, несмотря на мои протесты, что и пятой части этого съ меня будетъ, ушелъ отъ меня, сказавши: — Разсержусь не на шутку, если не возьмете этихъ денегъ.

Деликатничалъ и благодушничалъ, или вѣрнѣе глупилъ я иногда въ дѣлахъ и вопросахъ о цифрахъ весьма и очень почтенныхъ, многотысячныхъ; но всего здѣсь не перечтешь и не перескажешь; да и къ чему? Однако-жъ разскажу еще хоть и о маленькой моей безсребренности; потому что нѣкоторыя подробности этого разсказа довольно курьезны, чтобы познакомить съ ними моихъ читателей.

Въ 1863 году, живя въ тульской деревнѣ, я получилъ предложеніе отъ одной народившейся тогда большой газеты — быть ея корреспондентомъ. Корреспондировалъ я мѣсяцевъ пять и затѣмъ отказался за неимѣніемъ досуга: я тогда приступилъ къ составленію моего перваго лексикографическаго труда (Полнаго рус.-фр. словаря). А что до такой мизерности, какъ гонораръ за пять мѣсяцевъ корреспонденціи, я и не подумалъ обращаться за этимъ въ редакцію той газеты, и не подумалъ потому, что какъ мнѣ казалось, тамъ не очень дорожили моимъ сотрудничествомъ и гдѣ, — все-таки это казалось мнѣ, — не очень щадилось и не избавлялось отъ уколовъ мое самолюбіе.

«Мнѣ не дорогъ твой подарокъ,
Дорога твоя любовь»

Поется въ русской пѣснѣ. А я, съ своей стороны, тоже могъ бы пропѣть:

«Люблю одну любовь безъ всякихъ я подарковъ,
Но не могу терпѣть подарковъ безъ любви».

И это была тоже одна изъ рѣзкихъ чертъ моего характера. Какъ чортъ ладону, боялся я всегда, чтобы кто нибудь не сдѣлалъ мнѣ подарка. Безъ отвращенія могъ я принять подарокъ лишь отъ близкихъ родныхъ въ день именинъ, да еще отъ друзей, и то съ условіемъ, чтобы это была малоцѣнная бездѣлушка, въ родѣ мѣдной пепельницы для сигаръ, какихъ нѣтъ уже въ продажѣ. Ну еще отъ короткаго знакомаго фунтъ, а пожалуй и два, хорошихъ конфектъ.... но не болѣе.... Это ничего, можно принять, потому что можно скоро порѣшить, такъ чтобы подарокъ не могъ колоть мнѣ глаза.

Не жмите плечами, не морщитесь, гг. цѣломудренные Зоилы на мою старческую болтовню. «Все это личности», готовы сказать вы.... Извините, это вовсе не личности, а моя, быть можетъ, *посмертная замогильная исповѣдь*. А вѣдь не слѣдуетъ уносить съ собою Туда какую бы то ни было горечь, все это надо вылить изъ сердца и оставить здѣсь, въ юдоли плача. Съ всепрощеніемъ, а не съ досадою, не съ непріязнію должно явиться Туда. А какже достигнуть этого иначе, какъ не очистивъ свое сердце полнѣйшимъ изліяніемъ всего, что накопилось, наболѣло въ немъ въ продолженіи многихъ лѣтъ?

Хоть и кратковременна была моя корреспондентская дѣятельность и безъ всякихъ для меня результатовъ, но она принесла громадную пользу тульскому, и дворянскому, и крестьянскому обществу, и заслуживаетъ быть разсказанною. Это происходило въ началѣ эры мировыхъ посредниковъ. Таковымъ въ первомъ участкѣ тульскаго уѣзда былъ тогда нѣкто М. Ив. Б., эксъ штабсъ-капитанъ гвардіи, богатый, сибаритъ и хлѣбосолъ, задававшій пиры и обѣды на славу, и съ сильнѣйшею протекціей и поддержкой: родной его братъ былъ любимымъ чиновникомъ министра Вн. Дѣлъ, а самъ онъ былъ лелѣянъ тульскимъ губернаторомъ, который за него горой; словомъ: баринъ важный, сильный, не уязвляемый, не ломаемый, не вытуриваемый. А между тѣмъ, хотя это и былъ человѣкъ добрѣйшей души, благороднѣйшій, но настояла крайняя необходимость его вытурить, и чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше для пользы крестьянъ 1-го мироваго участка, для спасенія ихъ отъ ограбленія. И вытурить его не потому, что онъ не только не выдумалъ бы пороху, но еслибъ могъ, то уничтожилъ бы всѣ извѣстные порохи на свѣтѣ. Да и къ чему выдумывать еще новый порохъ, когда и старымъ-то истребляютъ сотни тысячъ людей, и добро бы еще іерусалимскихъ гешефтмахеровъ (этимъ—туда и дорога); а то полезныхъ гражданъ, воиновъ, и часто истребляютъ ни за что, ни за нюхъ табаку, за то, что кто-то не принялъ чьего-то посланника, или — зачѣмъ ключи отъ чего-то храняться у того-то, а не у того-то?

Итакъ слѣдовало вытурить посредника и не потому, что онъ былъ черезчуръ благочестивъ, богомоленъ, расхаживалъ цѣлый день по комнатамъ, въ особенности по чердаку, распѣвалъ канты и кадилъ (буквально кадилъ), чтобы выкадить изъ дому всю нечистую силу.

И не потому, что онъ, когда выѣзжалъ, хотя и весьма рѣдко, но все-таки выѣзжалъ въ свой участокъ, то всегда бралъ съ собою свой образокъ и свою лампадку для своихъ колѣнопреклоненныхъ моленій, —

чужимъ образамъ и лампадкамъ не довѣрялъ: свои были не въ примѣръ лучше.

И не потому, что онъ нянчился съ какими-то, добытыми имъ отъ кого-то, мощами, или частію мощей, вѣдали про это одни только посвященные, которымъ, по уплатѣ ими приличнаго жертвованія, такъ рублей во-сто, позволялось приложиться къ его святынѣ, и за это они были уже застрахованы отъ всякихъ бѣдъ, болѣзней и напастей.

Не правда ли:

«Свѣжо преданіе, а вѣрится съ трудомъ».

Но все это—исторически вѣрно. По крайней мѣрѣ я слышалъ тогда обо всемъ этомъ отъ многихъ туляковъ, и, между прочими, отъ бывшаго тогда тульскаго предводителя дворянства. Теперь о томъ, почему слѣдовало вытурить посредника 1-го участка; безпремѣнно слѣдовало по нижеслѣдующимъ его дѣяніямъ:

Во первыхъ: утромъ онъ бывалъ еще и такъ и сякъ. Но съ обѣда начиналъ прикладываться, добро бы къ своей святынѣ, а то къ рюмочкѣ ликерца, или наливочки, которая создавалась у него весьма художественно. Прикладыванія эти учащались, такъ что къ вечеру приходилъ онъ въ блаженное состояніе восточнаго теріака. И это почти ежедневно.

Во вторыхъ: вслѣдствіе такихъ прикладываній онъ страшно опустился, облѣнился, отяжелѣлъ, раскисъ, и потому почти не занимался дѣлами своего участка, и весьма рѣдко выѣзжалъ изъ дому. Отъ этого страшно страдали всѣ дѣла, и крестьянскія, и дворянскія; напримѣръ: исполни онъ настоятельныя и повторительныя мои просьбы — пріѣхать ко мнѣ ввести уставную грамоту и поговорить съ крестьянами, послѣдніе непремѣнно перешли бы на выкупъ, какъ это и сдѣлалъ онъ у моего сосѣда, у исправника. А такъ какъ я былъ не исправникъ, а личность безполезная, отъ которой ни шерсти, ни молока, то онъ прошеній моихъ и не уважилъ, и такъ таки не пріѣзжалъ ко мнѣ, а крестьяне уперлись и на выкупъ не перешли.

Въ третьихъ: вслѣдствіе частыхъ прикладываній къ рюмочкамъ, и еще вслѣдствіе своего отяжелѣнія, облѣненія, опьянѣнія, всѣми дѣлами участка полновластно орудовалъ его письмоводитель, бывшій квартальный уѣзднаго города, выгнанный изъ службы за непомѣрное взяточничество. Можно себѣ представить, какой «козелъ былъ пущенъ въ огородъ», т. е. въ 1-й мировой участокъ: поголовное ограбленіе крестьянъ злополучнаго участка; правды никакой, повсюду царило Шемякинство. И ничего нельзя было подѣлать: хоть и пьяный, но слишкомъ силенъ былъ

мировой тузъ. Раздавался тамъ и сямъ робкій, въ четверть голоса ропотъ, не доходившій и до Тулы, а не то чтобы далѣе. Вотъ на такого-то туза и ополчился я и поднялъ руку, не съ мечемъ, а съ перомъ. Не пожалѣлъ я красокъ для первой моей корреспонденціи, довольно длинной, столбцовъ на пять большой газеты, гдѣ и помѣстили ее въ 36 номерѣ отъ 10 февр. 1863 года. Пришла эта корреспонденція въ Тулу и разразилась въ ней, какъ громовой ударъ, или вѣрнѣе, какъ бомба. Все чиновное и нечиновное встрепенулось, засуетилось, заверши-лось, большею частію перетрусило: какъ! напасть на такого туза, губернаторскаго и министерскаго любимца, и отдѣлать на обѣ корки. Да это—криминалъ... Въ тульскомъ клубѣ № 36 «*Голоса*» переходилъ изъ рукъ въ руки, читался съ жадностью и на другой день пошелъ обходить весь городъ. Въ этотъ же день былъ и мировой съѣздъ. Первый перепуганный былъ губернаторъ, пріѣхавшій на съѣздъ и жалобно, слезно обратившійся ко всѣмъ посредникамъ, за исключеніемъ одного, 1-го участка: онъ и на съѣзды-то пріѣзжалъ рѣдко: прикладыванья къ святынѣ да къ рюмочкѣ и затѣмъ выкаживаніе кадиломъ нечистой силы поважнѣе мировыхъ съѣздовъ. Итакъ начальникъ Тульской губерніи обратился къ посредникамъ и, чуть не рыдая, спросилъ.

— Господа! Читали вы корреспонденцію въ 36-мъ номерѣ «Голоса»?

— Читали.

— Кто написалъ эту статью? *).

— Макаровъ.

— Господа! вамъ слѣдуетъ отвѣчать.

— Вовсе не слѣдуетъ, потому что: во первыхъ: — это относится не къ намъ, а къ Михайлу Иванычу, такъ пусть онъ за себя и отвѣчаетъ. Во вторыхъ: отвѣчать очень трудно, потому что все, что написано Макаровымъ — великая правда. Въ третьихъ: это дѣло литературное, а мы литературою не занимаемся.

Въ великомъ смущеніи и огорченіи за своего любимца, вышелъ его покровитель изъ съѣзда посредниковъ.

На другой день послѣ съѣзда, являлось ко мнѣ въ номеръ нѣсколько землевладѣльцевъ (одинъ тверской), съ изъявленіями живѣйшей благо-

---

*) Ненавидя какія бы то ни было потемки, обожая свѣтъ, я никогда не прятался за анонимомъ или псевдонимомъ, кромѣ одного обруганнаго, и двухъ забракованныхъ моихъ романовъ (въ томъ числѣ и этихъ Воспоминаній, но только подъ другимъ заглавіемъ), да еще маленькой брошюрки. Но въ статьяхъ полемическихъ я выступалъ всегда безъ маски, съ открытымъ лицемъ. Поэтому я просилъ тогда редакцію «Голоса», чтобы впредь выставляли полное мое имя, что и было сдѣлано.

дарности за мою смѣлую статью, которая, по ихъ словамъ, должна имѣть самыя благодѣтельныя послѣдствія, нарушивъ безмятежный, и для общества весьма вредный кейфъ многихъ посредниковъ, которые слишкомъ рано вздумали опочить на скороспѣлыхъ лаврахъ.

Дошла громовая вѣсть о корреспонденціи «Голоса» и до героя этой статьи. И онъ встрепенулся, стряхнулъ съ себя лѣнь и, отложивъ на время свои прикладыванія, въ испугѣ, въ лихорадкѣ поспѣшилъ въ Тулу. Прочелъ статью, захныкалъ, всплакнулъ и, съ 36-мъ номеромъ «Голоса» въ рукахъ, пустился въ паломиничество, т. е. въ объѣздъ сильныхъ тульскаго міра, если только могутъ быть въ Тулѣ таковые, а не пародіи на сильныхъ міра. И вездѣ-то онъ хныкалъ, и вездѣ всплакивалъ, но ничего не добился. Было гораздо болѣе иронническихъ, нежели сочувственныхъ улыбокъ. Послѣ этого проходитъ мѣсяцъ, посредникъ 1-го участка пріободрился, пересталъ хныкать, но не пересталъ лѣниться и прикладываться пуще прежняго.... съ горя, вѣроятно. Да и что же оставалось ему дѣлать съ горя, какъ не прикладываться? А письмоводитель его, экс-кварташка, нисколько не унялся и продолжалъ грабить попрежнему, если не пуще прежняго. Тогда отправился я во второй крестовой, т. е. корреспондентскій походъ и написалъ новую длинную статью, съ болѣе густыми и яркими красками. Помѣстили ее въ 69 номерѣ «Голоса». Вотъ какъ я заключилъ эту вторую о посредникѣ корреспонденцію:

«Во всякомъ случаѣ, въ какой бы инстанціи ни рѣшилось окончательно это дѣло, изъ него вытекаютъ два неизбѣжные вывода: или г. *Б. долженъ быть судимъ за совершеніе имъ подлога*, если я докажу это,— или, если я не успѣю этого доказать, то *я самъ долженъ быть судимъ за ложное обвиненіе*» *).

Смѣло, ребромъ былъ поставленъ мною вопросъ о посредникѣ 1-го участка. Только бурныя событія въ Польшѣ помѣшали тогда, въ высшихъ административныхъ сферахъ, обратить должное вниманіе на мою статью, съ грознымъ обвиненіемъ въ подлогѣ. Но какъ ни лелѣялъ губернаторъ своего любимца, а все-таки, въ концѣ концовъ, вынужденъ былъ пригласить его къ себѣ и, хотя съ печальнымъ лицомъ, но серьезнымъ тономъ сказать ему:

— Подавайте въ отставку, поскорѣе подавайте, а не то васъ подъ судъ, подъ судъ, подъ судъ.

---

*) Можетъ быть я помѣщу эти двѣ статьи въ Приложеніи: *Исторія созданія моихъ словарей*, помѣщу ради курьеза.

Потому, что подлогъ былъ на лицо. И какой подлогъ! Добро бы еще изъ за крупнаго интереса; а то изъ за лѣни. Не желая тревожить свой постоянно опохмеляющійся кейфъ и пріѣхать ко мнѣ ввести уставную грамоту, онъ подписалъ ее у себя въ домѣ въ деревнѣ, да еще заднимъ числомъ, да еще вотъ какъ: «я тамъ былъ и уставную грамоту ввелъ». Тогда какъ и глазъ ко мнѣ не показалъ. Право было бы, думаю, лучше, еслибы онъ подписалъ такъ: «я тамъ былъ, пиво медъ пилъ, по усамъ текло, въ ротъ не кануло»... Ну ужъ въ «евтомъ» разѣ извините: въ ротъ-то ему непремѣнно кануло бы, и порядочно.

Итакъ мироваго туза я вытурилъ, ничто ему не помогло: ни родной братъ, любимецъ министра, ни самъ министръ, ни благожелатель губернаторъ, ни тысяча душъ, ни обѣды съ художественными наливками. Другой занялъ его мѣсто, умный, дѣльный, справедливый и нисколько и ни къ чему не прикладывающійся. Участокъ былъ освобожденъ изъ неволи египетской, т. е. кварташкиной, вздохнулъ и благословилъ мое имя, потому что, кромѣ меня, едва ли кто изъ туляковъ рѣшился и могъ бы сломить и вытурить губернаторскаго любимца, рекомендованнаго ему въ посредники самимъ министромъ Вн. дѣлъ. Любопытна была потомъ встрѣча у губернатора вытуреннаго посредника съ тульскимъ предводителемъ дворянства, покойнымъ Докудовскимъ, — хорошій и умный былъ человѣкъ, дай ему Богъ царство Небесное.

— Это вамъ, Петръ Андреичъ, обязанъ я потерею мѣста? — плачевно, но и злобно хныкалъ на предводителя вытуренный. — Я напишу на васъ статью.

— Полноте, Михайло Иванычъ! Вы прежде сами отпишитесь отъ статей Макарова, — отвѣчалъ предводитель.

И была же у меня разъ сцена съ этимъ Михайломъ Иванычемъ, обладателемъ чудодѣйственныхъ мощей и художественныхъ наливокъ; была гораздо ранѣе его вытуренія, когда, въ полномъ собраніи посредниковъ, ураганомъ налетѣлъ я на него за одно его облыжное донесеніе, и когда тутъ же попросилъ его назначить мнѣ «извѣстное рандеву», а одного изъ его товарищей — быть моимъ свидѣтелемъ. Шибко перепугался и кажется потомъ заболѣлъ бывшій заправитель 1-го участка, хотя и вымолилъ у меня прощеніе. А какой страхъ навели тогда мои корреспонденціи на тульское чиновничество! Покойный предводитель Докудовскій сказалъ мнѣ разъ:

— Николай Петровичъ! Какъ огня боятся васъ, т. е. вашего пера, многіе тульскіе служаки; при одномъ имени вашемъ они блѣднѣютъ.

А лѣтъ шесть тому назадъ (въ 1875 году), въ 287 номерѣ тогдаш-

него «Новаго Времени». отдѣлалъ я всласть одного тульскаго, не туза, а «валета» пиковой... виноватъ «крѣпостной масти», хотѣлъ я сказать, т. е. валета отъ крѣпостныхъ дѣлъ, каковыя дѣла «оный валетъ» тормозилъ и мертвилъ безбожнѣйшимъ образомъ. Сильно осерчалъ тогда «оный валетъ прекрасный» за мою правдивую статью, которая чрезвычайно порадовала и посмѣшила большинство туляковъ, не разъ страдавшихъ отъ его, «валета прекраснаго», торможеній, затягиваній и разныхъ прочихъ юридическихъ заковычекъ и закорючекъ. Покушался даже «оный валетъ прекрасный» *на диффамацію*, да убоялся бездны премудрости, — но тормозить и даже хорохориться и фыркать не убоялся... Когда нибудь я спеціально займусь валетами, прекрасными и даже вовсе не прекрасными, но съ закорючками, займусь ими съ особенною любовію и поразскажу о ихъ валетной дѣятельности вещи, и какія: назидательныя, курьезныя, забористыя, «ужасти» какія забористыя, за которыя, прекрасный, или не прекрасный валетъ вполнѣ заслуживаетъ честь быть посаженнымъ въ банку со спиртомъ и въ кунтскамеру, маршъ. Десятки тысячъ любопытныхъ посѣтителей привлекла бы эта банка со спиртомъ и съ валетомъ, если не прекраснымъ, то съ закорючками.... Во всякомъ случаѣ, посадятъ въ банку, или нѣтъ, а не слѣдуетъ молчать о томъ, отъ чего страдаетъ и стонетъ все общество; страдаетъ жестоко, стонетъ громко, а валеты прекрасные и непрекрасные, и въ усъ себѣ не дуютъ, а только ухмыляются, да новыя заковычки и закорючки придумываютъ для торможенія дѣлъ. А иные, не въ счетъ абонемента, еще и хорохорятся, ухъ какъ хорохориться, ни на волосъ не уступятъ индѣйскимъ пѣтухамъ. А не погрози на пѣтуха палкой, такъ пожалуй и ущипнетъ. Но палки пѣтухи не любятъ, крѣпко боятся.... Итакъ долгъ каждаго честнаго гражданина, не труса, — говорить, говорить громко и указывать на зло, подлежащее устраненію, или хотя исправленію.

Страдалъ я часто, терялъ много и разъ почти цѣлое состоннie, отъ моей разсѣянности, что бы ей было пусто. Вотъ два образчика этого умственнаго паралича.

Весною 1845 года я долженъ былъ встрѣтиться въ Петербургѣ съ однимъ тогдашнимъ воротилой и пріобщиться къ важнымъ дѣламъ. Пріѣхалъ я туда, но только не для важныхъ, а для своихъ семейныхъ дѣлъ — пристроивать моихъ дѣтей-сиротъ послѣ смерти ихъ матери. А такъ какъ воротило не далъ себѣ труда увѣдомить меня заранѣе о своемъ пребываніи въ Питерѣ, а я, съ своей стороны, по разсѣянности, тоже не увѣдомилъ его о скоромъ прибытіи моемъ въ сѣверную Пальмиру, то и прожилъ такъ недѣли двѣ, не вѣдая о воротилѣ и неповидавшись

съ нимъ. А этотъ послѣдній взялъ да и отдалъ другому обѣщанное мнѣ дѣло, которое принесло 25,000 р. чистой прибыли, ничѣмъ не рискуя. Но это меня тогда ни сколько не огорчило; я былъ раздавленъ страшнымъ горемъ — потерею обожаемой жены, а потомъ вскорѣ погрузился и въ эмпиреи какихъ-то розовыхъ и радужныхъ мечтаній о какой-то домогильной и даже замогильной дружбѣ, каковая дружба потомъ.... Ну да объ этомъ, быть можетъ, поговорю послѣ. А вотъ другой, неважный, а только смѣшной случай моей разсѣянности.

Живя у дяди, во время моей первой отставки, въ его имѣніи, близъ Селигалича, вздумалъ я однажды поохотиться съ ружьемъ дяди (своего у меня не было, потому что не осталось во мнѣ ни малѣйшей страсти къ какой бы то ни было охотѣ). Дядя и говоритъ мнѣ: «Коля! вотъ тебѣ пороховница, а вонъ тамъ, на каминѣ, въ бутылкѣ порохъ, но только въ этой, а не въ той: тамъ красное вино». Подхожу, беру бутылку и насыпаю пороху въ пороховницу. Отойдя отъ камина, замѣчаю, что пороху слишкомъ много, надо отсыпать. Подхожу снова къ камину, отсыпаю въ бутылку изъ пороховницы, остается мало, хочу еще немного подсыпать, и ухъ.... вмѣсто пороху льется вино въ пороховницу; стало быть и въ вино уже насыпанъ порохъ. Такимъ образомъ удалось мнѣ въ одно и то же время испортить и порохъ, и вино. А сколько разъ случалось мнѣ на улицѣ раскланиваться съ незнакомымъ, а мимо знакомаго пройти не поклонившись, и, спохватившись, раскланяться, когда онъ былъ уже далеко отъ меня, т. е. поклониться ему въ «заднее». А разъ, еще въ школѣ подпрапорщиковъ, выхожу я на смотръ, становлюсь во фронтъ. И вдругъ всѣ вокругъ меня разражаются громкимъ хохотомъ и, показывая на меня пальцемъ, кричатъ: «Пинети, Пинети»! Я былъ въ полной амуниціи, съ ружьемъ въ рукахъ, но съ голой головой, безъ кивера. И забылъ-то я о сущей бездѣлицѣ: о своей головѣ. А сколько разъ случалось мнѣ перемѣшивать письма. Напримѣръ: были у меня два западычныхъ друга: Семеновъ (съ которымъ я помѣрялся на охотничьихъ ружьяхъ въ «необыкновенномъ поединкѣ», и съ того же момента перешелъ съ нимъ съ *ce* на *me*) и другой морякъ Кадниковъ. Въ началѣ сороковыхъ годовъ, первый жилъ въ Костромской губерніи, а другой, капитанъ-лейтенантъ, служилъ въ Новоархангельскѣ (въ Ситхѣ), и командовалъ кораблемъ. Онъ утонулъ въ 1843 году въ своей собственной каютѣ, въ которую ворвалась бѣшеная волна во время шторма. И вотъ разъ написалъ я письма: одному — въ Костромскую губ., другому — въ Новоархангельскъ, и отправилъ на почту. И что жъ? дней черезъ десять получаю письмо отъ моего костромскаго друга, который присылаетъ мнѣ

обратно письмо, написанное мною Кадникову, а самъ пишетъ: «Получилъ твое письмо, но только не ко мнѣ, а къ какому-то другу Николаю, съ вопросами о жизни въ Новоархангельскѣ». Разумѣется, я тотчасъ же написалъ два новыхъ письма и уже постарался не ошибиться въ адресахъ. Хорошо, что письмо мое застало еще въ Петербургѣ корабль, отходившій въ Ситху разъ въ годъ. А года черезъ два получилъ я отвѣтъ отъ Кадникова, который писалъ мнѣ, что вдругъ получилъ два моихъ письма: одно къ нему, а другое къ какому-то другу Владиміру.

Еще любилъ я и наблюдалъ строжайшіе порядокъ и акуратность въ дѣлахъ, счетахъ и расчетахъ. Но на моемъ письменномъ столѣ царитъ хаосъ доморозданный. Хорошо еще, что время отъ времени, когда я долго роюсь въ этомъ хаосѣ газетъ, журналовъ, писемъ, бунагъ, записочекъ и разныхъ письменныхъ принадлежностей и, тщетно отыскивая вдругъ понадобившуюся мнѣ вещь, проклинаю свою горькую судьбу, жена сжалится надо мною, отыщетъ, что мнѣ нужно и водворитъ порядокъ на моемъ столѣ, но не болѣе, какъ дни на три, или на четыре. И тамъ снова — увы и ахъ!

Ну, кажется, я все пересказалъ... Виноватъ, не все еще: вспомнилъ объ одной чертѣ, могущей пополнить мою характеристику; это — самая педантская акуратность, всегда, вездѣ, во всемъ и со всѣми. Никогда никого не заставлялъ я ждать себя. Придетъ ко мнѣ, за чѣмъ либо, крестьянинъ, и я сейчасъ выхожу къ нему. Не терпѣлъ, чтобы меня дожидались. Никогда, за весьма рѣдкими исключеніями, я не опаздывалъ, приходилъ всегда, по дѣлу ли, на свиданіе ли, ранѣе назначеннаго часа. Отъ этого-то и создалась у меня привычка ходить постоянно скоро. На тротуарахъ улицъ никто меня не обгонялъ, а напротивъ: я обгонялъ всѣхъ. Но увы! съ нѣкоторыхъ поръ и меня стали перегонять. Покойный мой сынъ всегда говорилъ, идя со мною: «папа, ты слишкомъ скоро ходишь, и не могу поспѣть за тобой». Еще: никогда не могъ повернуться мой языкъ, что бы обѣщать что либо кому нибудь, если я не былъ вполнѣ увѣренъ, что могу исполнить мое обѣщаніе. При малѣйшемъ сомнѣніи, я руками и ногами отъ всякихъ обѣщаній, отказываю наотрѣзъ, несмотря ни на какія упрашиванія и назойливыя приставанія и мольбы. Но разъ обѣщаю что либо, я становлюсь кабальнымъ рабомъ своего обѣщанія и, quand même, хоть тресни, а исполню его.

Не могъ я еще никогда понять ревность, глупую ревность. Понимаю я, что можно бояться — не умѣть понравиться, заслужить любовь, или бояться, что бы не перестать нравиться, не перестать быть любимымъ; бояться этого и дѣлать все возможное и невозможное для того, чтобы

избѣжать горькой, жалкой участи постылаго или брошеннаго любовника или мужа. Но ревновать къ кому бы то ни было жену или любовницу? О какъ это глупо и... даже забавно. Ревность никогда никого не спасала и не спасетъ отъ неудобства извѣстныхъ и не совсѣмъ граціозныхъ украшеній супружескихъ головъ. Напротивъ: или она ускоритъ это нежелательное событіе, или даже изъ невозможнаго сдѣлаетъ его возможнымъ. Но убивать за невѣрность, т. е. за то, что перестали меня любить, за то, что я опостылѣлъ, можетъ опротивѣлъ, а тѣмъ паче за то, что я не понравился и меня не полюбили? Ну, это верхъ такого безумія, такой уродливости, помноженной на такую непроходимо-неистовую глупость, подходящую къ гидрофобіи, что за такой «пассажъ» мало обрить голову, посадить на цѣпь и обливать водой со льдомъ, а не лишнимъ будетъ и постегать «извѣстными по извѣстной», и не маленько, а больненько. Въ дѣлахъ вздыхательныхъ, въ особенности, когда они доходили до степени раздувальнаго мѣха, я прибѣгалъ къ формулѣ изъ русской пѣсни: «Если любишь, такъ скажи, а не любишь — откажи». А ужъ я ли не вздыхалъ какъ раздувальный мѣхъ? «Ужасти» какъ вздыхалъ! Я ли не втюрился по самую макушку въ восхитительную Аннету Гесслингъ, въ компаніи съ двумя или болѣе дюжинами моихъ литовскихъ товарищей. А все-таки и не подумалъ убить «большаго ребенка» за то, что на всѣ мои вздохи и охи она постоянно отвѣчала ни къ чему не ведущими дѣтскими улыбками, хотя и ангельскими. Самого себя убить, это дѣло другое, это дѣло личныхъ воззрѣній и вкусовъ. А о вкусахъ не спорятъ. Ну а ужъ какъ пришло мнѣ не въ мочь, я взялъ да и вышелъ въ отставку, и уѣхалъ протрезвиться на родину, въ глушь, не въ Саратовъ, а въ Чухлому и въ Солигаличъ. Ну и протрезвился и вылечился послѣ полуторагодичнаго тамъ пребыванія. И убивать никого не понадобилось. Все, что по моему позволительно сдѣлать въ назусѣ супружеской невѣрности, это: снять съ себя шляпу, превѣжливо шаркнуть ножкой и, поклонившись со всевозможною граціей, сказать: «Сударыня! вы не стоите чести, чтобы я васъ убилъ; даже не стоите и того, чтобы я васъ побилъ. Этой послѣдней чести можетъ быть удостоитъ васъ новый вашъ сожитель. Затѣмъ имѣю честь вамъ кланяться и пожелать здоровья и всякаго благополучія, кромѣ чистой совѣсти и уваженія честныхъ людей».

Безчестье жены должно убивать на повалъ всякое къ ней уваженіе; а безъ уваженія честной любви нѣтъ, и не можетъ, не должно быть. А одна скотская похоть оскверняетъ святое чувство любви, унижаетъ человѣчество и позоритъ поклонниковъ одной плоти,

низводя ихъ на степень, если еще не ниже, безсмысленныхъ и безсловесныхъ тварей. Вспоминаю я одинъ давнишній случай моей неревнуемости, и ума и находчивости моей первой жены. Въ сороковыхъ годахъ, жилъ я съ нею въ деревнѣ близъ Тулы, гдѣ и теперь живу. Вздумалъ было тогда ухаживать за нею одинъ изъ сосѣднихъ селадоновъ, петербургскій эксъ-левъ, съ эспаньолкою а ля Бальзакъ, съ прическою а ля мужикъ и даже, кажется, дай Богъ память, со стеклышкомъ въ глазу, и хотя... о ужасъ! хотя и не совсѣмъ бойко «парлефрансейничалъ», но за то ужъ куда какъ бойко откалывалъ ногами на паркетѣ въ разныхъ «евдакихъ» плисальныхъ упражненіяхъ. Ну, еще и угощалъ, и пиры задавалъ на славу. И даже, даже... прищуривалъ одинъ глазъ, но только не помню который: со стеклышкомъ или безъ «онаго». Какъ есть левъ. Вотъ и вздумалъ тогда селадонничать «евтотъ» шестидесятипятилѣтній молодой человѣкъ... Сѣдина въ бороду а... и заселадонничалъ было уже совсѣмъ нецеремонно и нетанинственно. Я нисколько не сердился, а хохоталъ отъ всей души надъ шестидесятипятилѣтнимъ юношей. А мой покойной ангелъ тоже сначала смѣялся подъ самый носъ селадону, а когда ей ужъ очень надоѣла навязчивость вздыхателя, не сѣдовласаго, упаси Боже, а какъ есть черномазаго брюнета, — на это существовалъ тогда метаморфозическій порошокъ Магарадзи, — надоѣлъ онъ моей женѣ, она и отрѣзала ему, и разъ навсегда заставила замолчать:

— Скажите мнѣ, милѣйшій Ник. Ст.: кто вашъ докторъ? — спросила она съ самой простодушно-дѣтской улыбкой.

— Мой докторъ?... такой-то... да для чего вамъ это знать?

— А вотъ для чего: искусенъ ли онъ въ психіатріи? Если да, то вамъ слѣдуетъ къ нему обратиться, и чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше: опасность велика и близка, и вамъ надо серьезно у него полечиться.

Картина.... Эксъ-левъ, съ эспаньолкой а ля Бальзакъ, причесанный а ля мужикъ, со стеклышкомъ въ прищуренномъ глазу, хотѣлъ было непремѣнно провалиться сквозь землю отъ такого конфуза, но «одначе-жъ» не провалился, отложивъ это до болѣе удобнаго случая. Къ тому-же онъ отлично умѣлъ скользить по паркету въ мазуркѣ и прочихъ пріятныхъ упражненіяхъ ногъ, но не головы, — да ну ее, эту голову! На что она? еще въ бѣду съ ней попадешь и какъ разъ угодишь въ мѣста не столь, а то и въ очень отдаленныя. Были бы крѣпкія ноги, да еще хоть капельку мѣднаго лба, ну и довольно для успѣховъ въ большомъ свѣтѣ. А все-таки настоялъ на своемъ и провалился, но гораздо позднѣе, этотъ эксъ-левъ и задаватель великолѣпныхъ и многостоющихъ празднествъ; провалился въ пучину долговъ и долговыхъ обязательствъ. Пришлось

проститься съ пышной обстановкой, по не съ голубоокой Фанни, бывшей кормительницей Жужуники, Бобошки и Макашки покойной супруги, грандиссимѣйшей изъ тогдашнихъ гранъ-данъ. И пришлось докоротать свой вѣкъ въ скромненькой квартирѣ въ Тулѣ, впрочемъ на Кіевской. А вѣдь это Невскій проспектъ Тулы. И по паркету онъ уже не скользилъ тогда, некогда, ну и старость одолѣла; и даже порошокъ Магарадзи былъ брошенъ, и брюнетъ вдругъ преобразился и сталъ сѣдъ аки лунь. А стеклышка все таки не покидалъ. Итакъ, былъ онъ тогда занятъ разрѣшеніемъ великаго міроваго вопроса: превратить глупенькую и смазливенькую Фанни въ артистки тульскаго «кіатера», да въ парлефрансейную даму. «Безъ этого нельзя жъ». На то онъ и эксъ-левъ, хотя и не бойкій парлефрансейникъ, гувернантку приставилъ къ своей голубоокой дурочкѣ.

О, священныя тѣни двухъ ангеловъ: чудесной Саши и божественной Софи! Гдѣ вы? Если вы встрѣтились Тамъ, то, — и я вѣрую въ это, — вы встрѣтились весело и, безъ злобы и ревности, протянули другъ другу свои бѣлоснѣжныя руки, любовно облобызались, радостно посестрились и горячо молитесь обо мнѣ, также какъ и я никогда не перестану горячо молиться объ васъ. Вы были два ярко-блестящіе маяка въ моей жизни. Освѣтили на время мой путь, блеснули, обогрѣли меня, познакомили съ блаженствомъ земнаго, но безупречнаго рая, и.... затѣмъ отлетѣли въ свою небесную отчизну, оставя меня во мракѣ и холодѣ сѣверныхъ ночей, искупать страданіями мимолетное земное счастіе, и купить, цѣною этихъ страданій, вѣчное блаженство небожителей, между которыми вы теперь блещете какъ звѣзды первой величины, вѣроятно такія же звѣзды, какъ и тѣ, про которыя сказалъ когда-то Бахтуринъ въ своемъ «Красномъ Покрывалѣ»:

«О звѣзды, звѣзды, радость ночи!
Кто васъ такъ пышно засвѣтилъ?
Кто вы? Не дивныя ли очи
Святой толпы небесныхъ силъ?»

Объ этомъ курьезномъ и несчастномъ пьяномъ поэтѣ, эксъ-гусарѣ, я поговорю въ девятой книжкѣ. Я хорошо его зналъ. Онъ по нѣсколько дней сряду гащивалъ у меня въ палаткѣ, въ лагерѣ подъ Краснымъ Селомъ, въ 1836 году. Онъ былъ передъ тѣмъ за что-то разжалованъ въ солдаты. Были у него два замѣчательные таланта: разсказывать анекдоты изъ своей гусарской жизни, отъ которыхъ мы животики надрывали отъ смѣха. А самъ не улыбнется. Потомъ — импровизировать. Какую тему ему ни задайте, онъ вдругъ, безъ малѣйшаго надумыванія, продекламируетъ безъ

остановки нѣсколько десятковъ самыхъ звучныхъ, гладкихъ, плавныхъ стиховъ, усѣянныхъ блестками тонкаго остроумія. Но когда онъ гостилъ у меня, то штофъ простой водки на столѣ и нѣсколько ломтиковъ чернаго хлѣба съ солью были sine qua non его гощенія у меня, или у кого другаго изъ моихъ товарищей. А какія прелестныя вещицы писалъ онъ мнѣ въ альбомъ, и писалъ, находясь уже «на пятомъ взводѣ». Разъ залучили мы его къ себѣ въ казармы на Выборгскую сторону. Прогостилъ онъ у насъ три недѣли. Очищеннаго давали ему умѣренно, и онъ написалъ, въ это недлинное время, лучшую свою драму въ стихахъ: «Кузьма Рощинъ», которая довольно долго держалась на сценѣ Александр. театра. Разсказалъ бы я хоть два изъ его анекдотовъ. И у васъ, читатель, надорвало бы животики отъ смѣха. Бо́льшая часть этихъ анекдотовъ были импровизаціи. Отлагаю, до 9-й книги, разсказъ нѣсколькихъ импровизированныхъ имъ своеобразныхъ анекдотовъ, и поговорю теперь еще объ этомъ несчастномъ, если не геніальномъ, то высоко-даровитомъ поэтѣ, дошедшемся до чертиковъ и умершемъ гдѣ-то въ безизвѣстности.

Возвращаюсь я разъ съ ученья въ лагерѣ. Бахтуринъ спитъ на диванѣ. На столѣ штофъ водки, опорожненный на двѣ трети. При входѣ моемъ въ палатку поэтъ зашевелился, открылъ пьяные глаза и спросилъ хриплымъ голосомъ:

— Откуда?

— Съ ученья.

— Ну что?

— Распекали, охъ какъ распекли, не приведи Богъ!

— Макаровъ! давай мнѣ перо и бумагу.

— На что?

— Напишу тебѣ.

— Спи лучше; гдѣ тебѣ писать? Не только рукой, но и языкомъ-то ты насилу ворочаешь.

— Давай, говорятъ тебѣ, давай: напишу.

Нечего дѣлать: подаю требуемое. Усѣлся Бахтуринъ на диванѣ, схватилъ перо и, едва успѣвая сохранять равновѣсіе, моргая заспанными глазами, написалъ твердымъ и правильнымъ почеркомъ, безъ малѣйшаго надуманья, словно писалъ выученное на память; написалъ прелестную импровизацію:

Однообразные досуги
Смѣнили бѣшенство страстей;
Безъ вдохновенья, безъ подруги
Проходитъ время юныхъ дней.

* * *

Я свыкся съ хладной тишиною,
Душа печальна и нѣма.
Живу въ забвеньи сиротою,
Нѣтъ грезъ для сердца и ума.

* * *

Когда въ опять во мнѣ проснется
Порывъ любви, порывъ весны?
Когда же чувство отзовется
На гласъ знакомой старины?

* * *

Мое молчитъ воображенье
Какъ льдомъ покрытая рѣка.
Приди былое наслажденье,
Разсѣй младаго старика.

* * *

И это было для него такое легко, какъ для меня выпить рюмку хорошаго Шато д'Икемъ. Дня черезъ два повторилась та же сцена, но съ небольшимъ варіантомъ. Поэтъ спросилъ мой альбомъ. Подаю, а самъ самусь возлѣ него и зорко слѣжу за писаніемъ. Вотъ что и какъ импровизировалъ пьяный поэтъ:

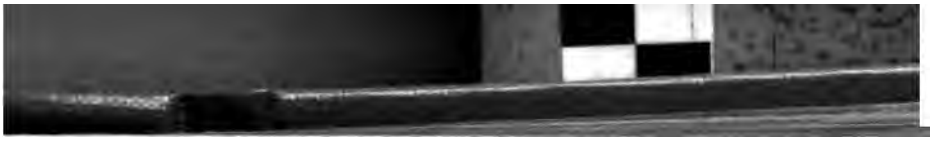
Макаровъ! въ твой альбомъ гвардейской
Я подмахну стишокъ злодѣйской;
Но отъ ничтожнаго пѣвца
Не жди похвалъ, не жди сравненій:
Меня давно Парнаса геній
Назначилъ въ бракъ, какъ жеребца.
Чтожъ написать тебѣ, милой?
Живи сто лѣтъ, люби друзей,
Да удивляй своею силой.....

Ничего, не дурно для лыка не вяжущаго. Но вотъ и послѣдній, десятый стихъ. Я обмеръ, вскочилъ, всплеснулъ руками и завопилъ, почти въ отчаяніи:

— Сумасшедшій, разбойникъ ты эдакой! Ты испортилъ мой альбомъ; что это подмахнулъ ты тутъ?

— Ну, ну, не сердись: я поправлю, переменю. И вотъ зачеркиваетъ онъ послѣдній стихъ, вписываетъ другой, замѣнивъ въ немъ первое и послѣднее слово другими:

Въ.... объятьяхъ миленькихъ.... цирцей.



Приведу еще, не все, а лишь конецъ одной изъ его импровизацій, и то потому, что она навлекла на себя громы одного изъ тогдашнихъ петербургскихъ цензоровъ.

Въ одномъ домѣ давали обѣдъ въ честь поэта. Шампанское лилось рѣкою. По окончаніи пиршества, Бахтуринъ еле-еле могъ доплестись до кабинета хозяина, усѣлся на диванъ и собирался всхрапнуть. Не тутъ-то было. Въ кабинетъ входитъ прелестная дочь хозяина, съ альбомомъ въ рукахъ и говоритъ пьяному поэту:

— М-сьё Батуринъ! Напишите мнѣ что нибудь на память.

— Сударыня, не могу.

— Ради Бога напишите.

— Право слово не могу.

— А я не уйду безъ того, чтобы вы не написали.

— Ну, извольте.

Ставитъ передъ поэтомъ столикъ, на него чернильницу и перо; и Бахтуринъ вписываетъ прекраснымъ, четкимъ почеркомъ одну изъ прелестнѣйшихъ своихъ импровизацій. Вотъ ея окончаніе:

Съ нѣмымъ и грустнымъ изумленьемъ
На красоту твою гляжу.
Какъ падшій ангелъ, съ умиленьемъ
На память небо привожу
И мыслю: милое созданье!
И эту душу загубя,
Что свѣтъ готовитъ ей? страданье,
Обманъ, быть можетъ, иль познанье
Міръ отвратительный тебя.

Попадись эта импровизація въ одинъ сборникъ, а сборникъ на судъ Ваала, т. е. цензора, который изрѣкъ слѣдующій Соломоновъ приговоръ: «Вы, г. авторъ, сравниваете себя съ чортомъ, а чортъ не можетъ и не смѣетъ приводить себѣ на память Небо, да еще и съ умиленіемъ (sic)». Далѣе: «Какъ смѣете вы, г. авторъ, называть отвратительнымъ тотъ міръ, въ которомъ живетъ Государь Императоръ (sic)?»

Вотъ такъ цензоръ! цѣломудреннѣе самаго Катона цензора. А если бы онъ и самъ назывался Катономъ и былъ бы современникомъ знаменитаго римлянина, то «сей» послѣдній, провѣдавъ про соломоновскій судъ своего однофамильца, по всей вѣроятности, тотчасъ же подалъ бы, по командѣ разумѣется, прошеніе о перемѣнѣ ему фамиліи, осмѣхотворенной россійскимъ цензоромъ-Соломономъ. Это напомнило мнѣ одного обрусѣвшаго

француза, недававшаго когда-то прошеніе покойному Николаю Павловичу, тоже о перемѣнѣ ему фамиліи, не знаю почему-то неправившейся потомку древней Галліи. А покойный-то Государь, преостроумный насмѣшникъ, возьми да и выверни на изнанку французскую фамилію: вмѣсто *Suchard*, написалъ *Drachus*. Потомъ обрусили это имя такъ: *Драшусовъ*. Разсказавъ о цѣломудренности цензора, не могу удержаться, чтобы не разсказать, при семъ удобномъ случаѣ, кой что подобное о другомъ цензорѣ конца пятидесятыхъ и начала шестидесятыхъ годовъ. Вотъ нѣкоторые изъ его цензорскихъ подвиговъ:

1. Въ «Современникѣ» помѣщена повѣсть, героиня которой названа *Маріею*. И вдругъ, въ одномъ мѣстѣ, цензоръ зачеркиваетъ *Марія*, вмѣсто которой вписываетъ *Анна*. Редакторъ къ нему за объясненіемъ. «Нельзя: у васъ сказано: *О ты, моя божественная Марія*, а вѣдь это Богородица». —Да какие: все *Марія*, а вдругъ *Анна?* «Нельзя-съ: намъ строго приказано: не допускать кощунства. Вотъ все, что могу для васъ сдѣлать» и, зачеркнувъ *Анну*, поставилъ..... многоточіе (sic).

2. Въ томъ же журналѣ героиня одной повѣсти изображена очень непривлекательно. Редактору запросъ: «Узнать у автора, какого чина его героиня? если не свыше 6-го класса, можно оставить. А если она *статская* (цензоръ самъ имѣлъ этотъ междоумочный чинъ), а тѣмъ паче *тайная совѣтница*, то не подобаетъ выражаться о ней такъ непочтительно (sic)».

3. Герой романа, турокъ, бросается на колѣни передъ своей возлюбленной и восклицаетъ: «Клянусь пророкомъ»! Цензоръ зачеркиваетъ и вмѣсто *Пророкомъ*, ставитъ *Осадой Гента* (такъ измѣненъ былъ титулъ оперы Мейербера на сценѣ русской оперы) (sic).

4. Извѣстную поговорку «Ѣхалъ чижикъ въ лодочкѣ, въ *адмиральскомъ чинѣ*, передѣлываетъ въ *лейтенантскомъ чинѣ*. «Такъ лучше; а не то Вел. Князь генералъ-адмиралъ можетъ обидѣться» (sic).

5. Вмѣсто *Долговязый*, ставитъ *Пузаковъ*. Такъ лучше; а не то гр. Панинъ можетъ обидѣться (sic).

6. Вмѣсто *Попъ*, ставитъ *надворный совѣтникъ Ханжиловъ*. Такъ вѣжливѣе, ну и остроумнѣе (sic).

Перечень этотъ не вмѣщаетъ и десятой части всѣхъ цѣломудренностей высокороднаго цензора, про котораго бывшій и покойный министръ народнаго просвѣщенія, Ковалевскій, сказалъ разъ, тоже покойному, Гречу:

— Все это напуталъ у меня дуракъ О..... (sic).

Да! Бахтуринъ былъ настоящій, въ душѣ поэтъ; сердцемъ — невлюбенъ и наивенъ, какъ младенецъ, поэтическимъ талантомъ и чувствомъ— великанъ. Не потерялся онъ, не упади, не предайся безпутной жизни; дай сосредоточиться своей мысли, своему вдохновенію, своей неистощимой фантазіи, а не давай имъ испаряться въ отрывкахъ, бутадахъ, въ безпрерывныхъ экспромтахъ, то вышелъ бы изъ него первоклассный поэтъ, и много прекраснаго, вѣчнаго создалъ бы онъ. Былъ онъ не то, что нѣкоторые изъ нынѣ-стихотворствующихъ россіянъ, эти, не то что поэты, а стихокропатели и риѳмоподбиратели, которые закативъ глаза подъ лобъ, въ реально-піитическомъ экстазѣ, поютъ и заливаются все о чемъ-то такомъ туманномъ, неопредѣленномъ, неуловимомъ, что и глаза самаго сокола, самые остро и дальновидные глаза ничего не откроютъ и не увидятъ. А иногда и увидятъ кое-что, когда они, риѳмоплетчики, запоютъ, примѣрно о томъ, какъ

Поютъ птички, и синички,
Хвостами машутъ лисички.

Ну вотъ они и поютъ себѣ, эти первоклассные микроскопическіе поэтики, и поютъ, и поютъ, и какъ сладкозвучно; а при этомъ и хвостами своими машутъ, машутъ, машутъ, и какъ граціозно!... Пойте и махайте хвостами, мои милые, но только чуръ меня. Боюсь заслушаться вашего сладкопѣнія, заслушаться и.... заснуть словно отъ дурманнаго зелья.

Такъ какъ я разсказывалъ объ импровизаціяхъ Бахтурина, то и позволяю себѣ вписать сюда маленькую импровизацію-параболу, пришедшую мнѣ въ голову, когда я говорилъ выше о двухъ ангелахъ. Это пандантъ къ вышесказанному.

«Два ангела летѣли надъ землей, несли сосудъ съ божественнымъ напиткомъ, съ живой небесною водой. И видятъ вдругъ они, среди пустыни знойной, изнемогающаго, безпомощнаго странника, добраго, любвеобильнаго, лишеннаго силъ продолжать свой путь. Полные любви и состраданія, божественные посланцы остановились надъ умирающимъ отъ жажды и усталости путникомъ, подлетѣли къ нему на своихъ прозрачныхъ крыльяхъ, открыли божественный сосудъ и напоили его божественнымъ питьемъ, которое воскресило его. И когда странникъ набралъ достаточно силъ, чтобы продолжать свой путь далѣе, до конца, ангелы сказали ему: «Мужайся и крѣпись, продолжай свой путь съ Вѣрою, Надеждою и Любовью, и ты болѣе не упадешь до конца своего пути. А мы полетимъ обратно Туда, и Тамъ доложимъ о тебѣ нашему Все-

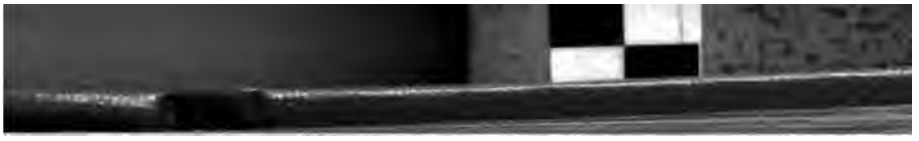
держителю, а твоему небесному отцу. Ты же продолжай быть такимъ же добрымъ и любвеобильнымъ, какимъ ты былъ, и мы пріуготовимъ тебѣ мѣсто между нами въ небесной обители». И улетѣли въ надзвѣздный міръ крылатые, минутные посѣтители и гости земли, и унесли съ собою божественный сосудъ; но усладительный ароматъ небеснаго напитка остался при путникѣ и, въ тяжелыя минуты его жизни, подкрѣплялъ его силы, поднималъ его падающій духъ. И, утомленный жизненнымъ путемъ странникъ, съ Вѣрою, Надеждою и Любовію устремлялъ взоръ свой въ небо, и только Тамъ чаялъ обрѣсть вѣчное успокоеніе».

Теперь обращаюсь къ моимъ читателямъ съ просьбою простить меня великодушно за мою старческую болтовню. Мнѣ необходимо было разсказать о себѣ все ради того, чтобы, какъ сказалъ я выше, «очистить себя отъ всякія скверны», тѣмъ болѣе что, не только за «Задушевную Исповѣдь», но и послѣ изданія моихъ словарей, пробовали бросать въ меня комки чернѣйшей грязи, напримѣръ: нашлись въ Тулѣ разные благопріятели, у которыхъ повернулся языкъ сказать, а у другихъ — передать, и кому же? моей женѣ, что будто я не расчелъ, обидѣлъ моего сотрудника по рус.-фр. словарю (каковаго сотрудника у меня никогда не было), и послѣ трехъ лѣтъ его добросовѣстной работы, прогналъ его ни съ чѣмъ!!.. Фуй, какій гадости! Не даромъ говорятъ: «добрый малый, да тулякъ», да еще: «Языкъ безъ костей, куда хочешь, туда и воротишь».

А еще не далѣе, какъ нынѣшней весной, одинъ тулякъ, да еще и мировой судья, говорилъ одной дамѣ, пожелавшей нанять на лѣто флигель въ моемъ имѣніи близъ Тулы, — каковой флигель я никогда и никому въ наймы не отдаю, а даю безплатно моимъ знакомымъ, что и сдѣлалъ на дняхъ относительно вышесказанной дамы; — итакъ, вышерѣченный мировой отпустилъ слѣдующую вовсе немировую штуку:

— Да сохранитъ васъ Богъ имѣть какое-либо дѣло съ Макаровымъ! Вѣдь это — *извѣстный скандалистъ, съ которымъ опасно и встрѣтиться-то.*

Вотъ какіе попадаются на Руси мировые антики! почище, не шашкою, разумѣется, а языкомъ; почище всѣхъ мирныхъ и немирныхъ черкесовъ разбойничьей памяти, и годятся хоть сейчасъ же въ посаженые отцы или въ шафера, смотря по лѣтамъ, турецкимъ баши-бузукамъ, какъ европейскимъ, такъ и азіятскимъ. И изъ за чего же это сыръ-боръ загорѣлся? Вѣдь черкесамъ-то извинительно: они во 1-хъ, басурманы, а во 2-хъ и соблазнительно: можно кой-чѣмъ и поживиться отъ зарѣзаннаго или подстрѣленнаго гяура. Ну, а тульскій-то мировой и



православный черкесъ изъ за чего хлопоталъ?... А такъ себѣ, языкъ почесать... Вѣдь «языкъ-то безъ костей»; такъ пожалуй на здоровье, чешите, господа мировые и немировые, почешитѣ у себя языкъ, или что другое, да только съ осторожкою, съ оглядкою; а не то.... Да такіе ли еще встрѣчаются мировые антики, годящіеся уже не въ посаженые отцы, а такъ-таки прямо, черезъ чинъ, въ самые баши-бузуки, которыхъ, пожалуй, и за поясъ заткнутъ? Изъ множества таковыхъ, упомяну здѣсь объ одномъ, петербургскомъ.

Однажды требуетъ онъ къ себѣ въ камеру одного заслуженнаго генералъ-лейтенанта и его кучера, положимъ Халуева. Заставляетъ онъ, мировой баши-бузукъ, стараго воина дожидаться малую толику времени, не обращая ни малѣйшаго вниманія на то, что воинъ-то былъ покрытъ ранами на полѣ чести, и опирался на палку. Ну, а что былъ онъ покрытъ орденами, такъ это для славянскаго мироваго баши-бузука — послѣднее, плевое дѣло. А «смѣть такое сужденіе имѣть» о военныхъ заслугахъ, вѣроятно было ему, баши-бузуку, строго на-строго внушено изъ какой нибудь ультра-либеральной лакейской. Вотъ израненый воинъ и говоритъ:

— Г. мировой судья! Я раненъ, не могу долго стоять: прикажите подать мнѣ стулъ.

— Эй, сторожъ! подай стулъ *генералу*; да подай стулъ и *господину* Халуеву.

Такимъ образомъ рядышкомъ съ заслуженымъ, израненымъ генералъ-лейтенантомъ посадили нисколько не израненаго его кучера.... Вотъ такъ либералъ, даже ультра и переультра-либералъ !... Прелесть, заглядѣнье! браво! бисъ!

«Неправда», — скажутъ мнѣ какіе нибудь скептики. «Правда», отвѣчу я, потому что все это слышалъ я отъ жены роднаго брата того генерала, съ которыми привелось мнѣ однажды ѣхать въ одномъ вагонѣ изъ Москвы въ Петербургъ.

Да одни ли эти оборыши, или вѣрнѣе, рядовые, нестроевые юридической арміи, предводимой хромоногой славянской генеральшей Ѳемидой; одни ли они наводятъ уныніе на своихъ славянскихъ согражданъ? Куда ни взглянешь, внизъ ли, около ли себя, повыше ли, всюду поражаетъ и печалитъ взоры здороваго зрителя тѣ нравственныя и злѣйшія золотуха и худосочіе, которыя разъѣдаютъ всѣ слои и всѣ іерархическія ступени обширнаго славянскаго царства. Для вящщей назидательности, я разскажу кое-что о моихъ собственныхъ мытарствахъ въ камерѣ одного изъ Петербургскихъ мировыхъ судей.

При этомъ завѣряю честію: все что буду писать о моихъ мытарствахъ, петербургскихъ или тульскихъ, все это — святая истина: ни слова неправды не позволю себѣ.

Это было въ декабрѣ 1856 года. Я жилъ тогда на Васил. Острову, гдѣ печаталось 1-е изданіе моего Полнаго рус.-фр. словаря въ типографіи Неклюдова. Въ одно прескверное и предождливое утро получаю большой конвертъ, распечатываю и съ ужасомъ читаю:

«Мир. судья такого-то участка приглашаетъ васъ къ себѣ въ камеру на такое-то число, къ 11-ти часамъ утра, для разбирательства по жалобѣ на васъ кронштадтскаго мѣщанина Филонова, въ искѣ съ васъ 256 р. 50».

Я обмеръ, но еще болѣе изумился и недоумѣвалъ: никогда никакого Филонова я въ глаза не видалъ, даже не слыхалъ о его имени! Отправляюсь въ назначенный день и часъ и въ проливной дождь. Въ предкамерной народу тьма. Жду часъ, два; обо мнѣ въ камерѣ ни гугу. Я къ письмоводителю съ вопросомъ:

— Меня вызвали сюда къ 11-ти часамъ, а теперь уже второй часъ. Когда же начнется мое дѣло?

— А Богъ вѣсть? Можетъ въ два часа, а можетъ въ три, а то можетъ и въ пять.

— Такъ зачѣмъ же вызывали меня къ одиннадцати, а не позднѣе.

— Да такъ, такой ужъ порядокъ (читай безпорядокъ).

— А здѣсь этотъ г. Филоновъ. — Письмоводитель окинулъ глазами аудиторію и сказалъ:

— Здѣсь. Вонъ онъ сидитъ у окна. — Это былъ человѣкъ лѣтъ 30-ти, прилично одѣтый и выбритый. Подхожу и спрашиваю:

— Вы г. Филоновъ?

— Я-съ.

— Вы подали жалобу на маіора Макарова?

— Подалъ-съ.

— Онъ долженъ вамъ 256 р. 50 к.?

— Долженъ-съ.

— У васъ есть на это доказательства?

— Есть-съ.

— Вы знаете Макарова? — Молчаніе.

— Видали его когда нибудь? — Молчаніе.

— Макаровъ, это — я, къ вашимъ услугамъ. — Сильное изумленіе, морганіе глазами и нѣкоторое содроганіе въ тѣлѣ прилично одѣтаго и безбородаго господина.

— За что это, г. Филоновъ, пожаловали вы меня въ мошенники и въ подлецы?

— Помилуйте-съ; какъ это?

— Да такъ. Вѣдь по вашимъ словамъ у васъ есть доказательство на мой вамъ долгъ. Такъ прежде, чѣмъ жаловаться, вамъ бы обратиться ко мнѣ съ этимъ доказательствомъ. Я, можетъ быть, сейчасъ же и заплатилъ бы вамъ этотъ долгъ и избавилъ бы и васъ и себя отъ путешествія въ такую скверную погоду. А вы взяли да и порѣшили, что я вамъ не заплачу, т. е., что я подлецъ.

— Я люблю лучше жаловаться (слово въ слово).

— О вкусахъ не спорятъ.

Итакъ, непроницаемая таинственность продолжала царить надъ моимъ дѣломъ. «Что сей сонъ значитъ», вопрошалъ я мысленно возникшаго передо мною сфинкса въ образѣ кронштадтскаго мѣщанина Филонова? Но сфинксъ упорно молчалъ и только глядѣлъ то въ полъ, то въ потолокъ, порою громко сморкался и откашливался. Наконецъ послѣ трехчасоваго сидѣнія въ предкамерной, сторожъ подошелъ ко мнѣ и сказалъ: «Пожалуйте въ камеру».

Вхожу. Сфинксъ тоже. Сидѣло тамъ нѣсколько любителей *жаловаться*. Были свободныя мѣста. Я сѣлъ налѣво, сфинскъ направо. Разбиралась масса дѣлъ, а до моего все еще не доходило. Рискнулъ было я разъ сказать представителю мировой Ѳемиды, что меня вызвали къ 11-ти часамъ, а теперь уже три. — Молчать и дожидаться! — зычно крикнула на меня мировая Ѳемида, уже очень не молодая и даже превосходительная. Въ [illegible] надо отдать справедливость ея крикливымъ способностямъ: почти [illegible] разбирательство не обходилось безъ крика, рѣзкихъ, quasi невѣжливыхъ замѣчаній, внушеній и обрываній громогласнымъ *молчать*. Словомъ, [illegible] мировая Ѳемида вела себя ни дать ни взять какъ генералъ тридцати годовъ, хорохорящійся на ученьи передъ своею частью. Только въ 5 [illegible], когда камера уже опустѣла, мой противникъ и я были позваны къ разбирательству. На запросъ судьи «какія у васъ доказательства справедливости вашего иска», мой противникъ досталъ засаленную книжечку и подалъ ее. Книжка развертывается: на первой страницѣ написано: «1855 года въ маѣ, архитекторъ Тибленъ принялъ на службу шлиссельбургскаго мѣщанина Каткова, съ платою ему по 20 р. въ мѣсяцъ». Мироваго сильно покоробило.

— Что это значитъ! въ книжкѣ Тибленъ и Катковъ, а здѣсь—Макаровъ и Филоновъ? — Извольте посмотрѣть въ книжку, гдѣ и найдете доказательство долга г. Макарова Каткову. — Книжка долго перелисты-

вается и наконецъ на одной страницѣ значится: «Выдано Каткову 5 р. въ счетъ жалованья. Н. Макаровъ».

— Ааа! вотъ оно — воскликнулъ весело васильеостровскій мѣритель правосудія, видимо обрадованный открытіемъ (равноспльнымъ открытію Америки) такого яснаго противъ меня доказательства.—Что это? оправдывайтесь.—А вотъ что: въ концѣ 1854 года купилъ я близъ Шлиссельбурга заводъ вмѣстѣ съ архитекторомъ Тибленомъ, уѣхалъ въ деревню и поручилъ ему наблюдать за заводомъ, но только на словахъ, не давая довѣренности, потому что всѣ деньги за заводъ были мои, а у Тиблена были однѣ только надежды да обѣщанія. Въ мое отсутствіе онъ принялъ Каткова на службу, но никакого условія съ нимъ не заключалъ. А когда я возвратился на время въ Петербургъ, Катковъ явился ко мнѣ и выпросилъ у меня 5 р., которые я вписалъ въ книжку. Тибленъ, за неимѣніемъ денегъ, выбылъ потомъ изъ моего компаньонства, а я вскорѣ уѣхалъ заграницу, гдѣ пробылъ 7 мѣсяцевъ. Безъ меня управляющій заводомъ уволилъ Каткова за нетрезвость и плутовство. Въ 1857 г. Катковъ подалъ на меня жалобу С.-Петербургскому генералъ-губернатору, но ему тогда же отказали наотрѣзъ въ его искѣ. Съ тѣхъ поръ заводъ мой давно уже перешелъ въ другія руки; да и самъ Катковъ, кажется, умеръ. Вотъ все, что я знаю и что могъ припомнить по прошествіи такого долгаго времени.

— Все что вы сказали, всего этого мало, чтобы опровергнутъ справедливость иска г. Филонова. Даю вамъ двѣ нед[illegible] срока для отысканія и представленія мнѣ болѣе вѣскихъ доказательствъ правоты вашего дѣла. Въ противномъ случаѣ вамъ придется заплатить 25[illegible] 50 к. (Sic). — Соломонъ, сущій Соломонъ. Вышелъ я изъ каме[illegible]одный и разбитый отъ усталости, отъ тошн[illegible] и отъ премуд[illegible] васильеостровскаго Соломона. Проходятъ двѣ недѣли. Доказател[illegible]болѣе вѣскихъ я не отыскивалъ, по той простой причинѣ, что[illegible] нигдѣ не находилось, кромѣ какъ въ десятилѣтней давност[illegible] уродливо-нелѣпомъ якобы доказательствѣ — ничего не означающею подписью подъ выдачею пяти р. Итакъ я снова въ мировой камерѣ. На этотъ разъ не до 5, а до 6 часовъ держатъ меня, такъ что прежде разобрано было даже послѣднее курьезное дѣло о собакѣ, каковая собака находилась на лицо въ камерѣ и страшно важничала передо мною, и не напрасно. Дѣло было вотъ въ чемъ:

Идетъ по тротуару одинъ господинъ съ палкою, но безъ собаки. На встрѣчу ему другой — съ собакою, но безъ палки. Палка собакѣ не нравится, она бросается на ея владѣльца и наровитъ его укусить. Вла-

дѣльцу палки не нравится то, что собака хочетъ его укусить, и онъ хвать ее палкою. Собакѣ сильно не нравится, что ее хватили палкой, и за это она рветъ пальто господина съ палкою. Господину съ палкой сильно не понравилось рванье на немъ пальто, и онъ порядкомъ вздулъ за это собаку палкой. Господину безъ палки сильно не понравилось, что вздули палкой его собаку. И вотъ изъ этихъ двухъ господъ, да изъ собаки, палки и рванаго пальто родилась двойственная жалоба, дуалистическое дѣло: одинъ жалуется на собаку, за изорванное пальто; собака, т. е. ея хозяинъ жалуется за побои. Какъ тутъ выйти изъ юридической диллемы? Но васильеостровскаго Соломона не смутила такая двойственность, и онъ рѣшилъ геніально, а ля іерусалимскій Соломонъ: «взыскать съ владѣльца собаки 5 р. за изорванное пальто; а изъ этихъ пяти рублей удержать 1 р. 50 к. въ пользу побитой собаки *). Мнѣ же, злосчастному, во все время собачьяго разбирательства казалось, что эта почтенная нелюбительница палокъ (да и кто ихъ любитъ, *субъективно*, разумѣется, а *объективно* — охотники найдутся) насмѣшливо на меня смотритъ и думаетъ про себя: «Вотъ я хоть и собака, а въ камерѣ васильеостровскаго судіи имѣю гораздо болѣе почета, нежели ты, отставной маіоръ. Вѣдь ты—только отставной, а я состою на дѣйствительной службѣ при моемъ господинѣ. А господинъ-то мой важный, очень важный: его кухарка приходится родною кумой кухаркѣ Его Превосходительства. Такъ вотъ мнѣ и почетъ, и первое мѣсто; а ты сиди себѣ и жди». Наконецъ дошло дѣло до меня, до послѣдняго. Вызываютъ: встаю я одинъ, а Филонова и слѣдъ простылъ: отъ шестичасоваго голоданія у него такъ сильно [illegible]арапали кошки въ брюхѣ», что провалился куда-то, вѣроятно въ обжо[illegible]. Судія поглядѣлъ да подумалъ, потомъ еще подумалъ да поглядѣ[illegible]Затѣмъ написалъ что-то, всталъ и провозгласилъ:

— П[illegible]зу..... жалоба Филонова оставляется безъ послѣдствій.

Я выш[illegible]изъ камеры, вздохнувъ свободно, но не надолго. Разумѣется, что въ продолженіи моего шестичасоваго сидѣнія, я не разъ долженъ былъ выслушивать громкую команду мнѣ г. мироваго: «Молчать! сидѣть смирно»... Если это не Юпитеръ-громовержецъ, то по меньшей мѣрѣ, генералъ тридцатыхъ годовъ передъ своею частію, гдѣ

---

*) Что до дпоръ взысканія и до распредѣленія ихъ, я не могу поручиться, что это было буквально такъ. Память начинаетъ измѣнять мнѣ. Помню, что присуждено было взыскать, но сколько, съ кого и кому именно я сказалъ гадательно, по воспоминанію и соображенію обстоятельствъ дѣла, лицъ и ихъ характеровъ.

былъ бы несравненно болѣе на своемъ мѣстѣ, чѣмъ въ мировой камерѣ. Выше сказалъ я, что я «вздохнулъ, но не надолго». Мѣсяца черезъ полтора получаю снова большой конвертъ: меня вызывали на мартъ 1867 года на мировой съѣздъ по апелляціонной жалобѣ уже не Филонова, а рижскаго мѣщанина Меркульева все по тому же иску 256 р. 50 к. Хотя на съѣздѣ мое дѣло и выгорѣло, но на что я тамъ насмотрѣлся, какіе тамъ были тогда порядки, чтобы не сказать безпорядки, такъ я, да и всякій другой, кто взглянулъ бы на тѣ порядки, только развелъ бы руками, да разинулъ бы ротъ до ушей отъ изумленія, и не зналъ бы, что дѣлать: плакать или смѣяться. Но описывать все это было бы слишкомъ долго, и потому махну рукой на все это комико-каррикатурное прошлое, да примолвлю, въ смыслѣ покорности судьбѣ: да ну ихъ! Теперь съ визитомъ къ госпожѣ тульской мировой Ѳемидѣ.

10 іюня 1877 года, въ полдень является на дворъ моей тульской деревни нищій за подаяніемъ. Ему подаютъ краюху хлѣба, онъ не беретъ, говоря: «мнѣ надо денегъ». — Да вѣдь ты недавно получилъ отъ барыни гривенникъ. Когда хлѣба не хочешь, такъ убирайся со двора.— Нищій не уходилъ, а съ большею наглостью сталъ требовать денегъ, и когда мой слуга хотѣлъ прогнать его, онъ сталъ махать на него находящеюся у него въ рукахъ желѣзной палкой, говоря: «не мѣшай, убью!»

— Прогони, ради Бога, этого Нефеда (это былъ одинъ лѣнтяй изъ крестьянъ моей деревни), онъ ужасно перепугалъ дѣтей, которыя играли на дворѣ,—сказала мнѣ жена, войдя ко мнѣ въ кабинетъ.

— Чего тебѣ надо? — спросилъ я наглеца. — Денегъ,— [illegible]о отвѣчалъ онъ.—Вонъ отсюда, негодяй,—и, повернувъ его къ во[illegible]ъ, толкнулъ его въ спину и самъ обернулся къ крыльцу, чтобы [illegible]йти въ домъ. Вдругъ, при словахъ: «такъ вотъ же тебѣ», полу[illegible] страшный ударъ по головѣ желѣзной палкой, шатаюсь и падаю на [illegible]лю, обливаясь кровью. Меня подняли, втащили въ комнату, гдѣ встрѣтили меня крики ужаса и вопли испуганнаго семейства. Нѣсколько полотенецъ остановили кровотеченіе. На другое утро пріѣзжаетъ становой, производитъ слѣдствіе и отдаетъ приказъ сельскому старостѣ — содержать буяна подъ строгимъ арестомъ (очень строгимъ: на другой же день староста выпустилъ его изъ подъ ареста, и даже не отобралъ отъ него желѣзной палки).

— Кому жаловаться, — спрашиваю я становаго? — А право не знаю кому.—Какъ не знаете? Я думаю: въ окр. судъ?—Не совѣтую: присяжные оправдаютъ. Недавно оправдали двухъ старшинъ, промотавшихъ: одинъ 500 р., а другой 1500 р. мірскихъ денегъ. Оправдали также и

двухъ поджигателей, которыхъ я поймалъ на дѣлѣ *). А ужъ лучше пожалуйтесь мировому: этотъ все что нибудь сдѣлаетъ; вѣдь это—лучшій изъ нашихъ мировыхъ. — Слушаюсь станового и подаю жалобу по его совѣту. Получаю повѣстку. Ѣду 29 іюля въ 5-й участокъ. Тамъ былъ одинъ изъ лучшихъ мир. судей не только въ Тульской губерніи, но во всей Россіи: Ник. Серг. Загряжскій, превосходный человѣкъ и, съ тѣмъ вмѣстѣ, превосходный мир. судья. А сверхъ того это былъ одинъ изъ тѣхъ немногихъ коренныхъ тульскихъ жителей, къ которому возможно было не примѣнять мѣстной пословицы: «добрый малый, *да тулякъ*». Это былъ и тулякъ, и прекраснѣйшій человѣкъ... *Тулякъ*? Это премногозначущая кличка. Случалось, что кто нибудь малознающій меня, замѣтивъ, что я не прихожу въ восторгъ отъ милыхъ тулячковъ, а напротивъ, скажетъ мнѣ: «да вѣдь вы и сами тулякъ. — Не ручайтесь, — отвѣчаю я; — не тулякъ я, а костромичъ. Повелѣніемъ злаго рока и черезъ имѣніе, данное за моей первой женой, поселился я здѣсь сорокъ три года тому назадъ, и живу, или вѣрнѣе, прозябаю и вяну въ холодной, негостепріимной, эгоистической здѣшней атмосферѣ, съ зловонными и удушливыми міазмами тошнительнаго носозадирательства, мишурной важности, доходящей до невѣжливости, до грубости и съ тѣмъ вмѣстѣ съ ползаніемъ передъ даровыми обѣдами съ обиліемъ шампанскаго, передъ парою рысаковъ, да передъ играющими по большой и по маленькой.

А имѣете ли вы, читатель, понятіе о тульскомъ важничаньи: вѣроятно нѣтъ? О какое это важничанье: изумительное, колоссальное, геніальное! Вся Тула важничаетъ съ утра до вечера, а порою и съ вечера до утра. И важничаютъ не одни тульскіе тузы: важничаютъ даже валеты, даже тройки и двойки, важничаютъ даже нули. Нѣтъ такого плюгавенькаго туляка, нѣтъ такого тульскаго ничтожества, которое не отыскало бы какого нибудь плюгавѣе, ничтожнѣе себя. Ну и важничаютъ. Секретарь важничаетъ передъ повытчикомъ, повытчикъ—передъ своимъ помощникомъ, помощникъ—передъ писцомъ, писецъ—передъ сторожемъ,

---

*) Становой былъ вполнѣ правъ. Года четыре тому назадъ я самъ былъ присяжнымъ въ одномъ засѣданіи. Судили воровку, пойманную съ поличнымъ. А все-таки нашлись гуманные туляки, не изъ дворянъ, а изъ ка(ку)печества, которые съ пѣною у рта орали: *невиновата*. Но предсѣдатель да я пересилили; воровку присудили посидѣть маленько въ казенной квартирѣ, и поразмыслить о непрочности земнаго счастія вообще, а о находкѣ портмоне изъ подъ ветрины, въ особенности.

сторожъ—передъ бабою, баба—передъ собакою, собака—передъ кошкою, кошка—передъ мышью. Важничаетъ ли, и передъ кѣмъ, тульская мышь, этотъ важный вопросъ могутъ рѣшить одни только чистокровные туляки. Каждый изъ нихъ, хотя бы и плюгавый, но все-таки бѣдовый, прошелъ всю науку важничанья, окончилъ всѣ классы и всѣ курсы гимназіи и университета важничанья, выдержалъ и сдалъ блистательно экзаменъ, и получилъ дипломъ на доктора важничанья и носозадиранія.... Въ сравненіи тульскаго, колоссальнаго, важничанье губернаторовъ, сенаторовъ, министровъ — ничто, фи, мелюзга, дѣтская наивность, не болѣе. Но только, милые мои тулячки, какъ вы ни важничайте, какъ высоко ни задирайте свои носы, а все-таки вамъ какъ до звѣзды небесной до величія и высоты важничанья той собаки, что важничала въ камерѣ васильеостровскаго мироваго. Вы задираете носы только до высоты полицейскаго дома, что на Кіевской. Не спорю, высоко, но собака еще выше васъ: она задирала свой до высоты страсбургской колокольни, а порою и главной египетской пирамиды, съ вершины которой Оле-буль восхищалъ своею волшебною скрипкою потомковъ фараоновъ. Ну и вы восхищаете— тульскихъ хожалыхъ да торговокъ, восхищаете — стеклышками въ глазу и еще разными мѣстными прелестями. Мѣстный колоритъ, это — главное. Однако же и вамъ, тулячки, слѣдуетъ отдать справедливость: не во всемъ же побитая собака выше васъ, не побитыхъ. Храбростью, безстрашіемъ она далеко ниже: она боялась и конфузилась при видѣ палки прохожаго господина, а нѣкоторые изъ васъ, не всѣ, нѣтъ, а лишь нѣкоторые не боятся и нисколько не конфузятся даже отъ соприкасательства дланей къ ланитамъ за контрабандный поцѣлуй въ публичномъ мѣстѣ.... Знай нашихъ... Да вы не вздумайте разсердиться, мои милые, разсердиться также тупо и глупо, какъ сердились вы во время оно за *Побѣду надъ самодурами*. Вѣдь тогда было мнѣ только 52, а теперь 72 года. Значитъ: не сегодня, такъ завтра, придется навѣки разстаться навѣки. А при разставаніи навѣки зла не должно помнить, слѣдуетъ позабыть все: мнѣ сорокалѣтнія оскорбленія вами моего самолюбія, вамъ— мой смѣхъ, т. е. безвредныя эпиграммы и сарказмы.. Поквитались и безубыточно. Вѣдь я не то чтобы, а такъ себѣ, больше ради смѣха; а смѣхъ тоже и на вороту не виснетъ. И зла вамъ ни малѣйшаго отъ него не приключится. А такъ, развѣ посмѣется себѣ подъ носъ кто нибудь и гдѣ нибудь. Тѣмъ все и кончится. Вѣдь и дѣдушка Крыловъ давно уже сказалъ, что:

«Смѣяться право не грѣшно
Надъ тѣмъ, что истинно смѣшно».

А что до вашей чести, сохрани Боже! Она вся при васъ; передъ нею я былъ, есмь и пребуду слуга покорный и почтительнѣйшій. Честь одно, а важничанье совсѣмъ другое. Вѣдь вы, туляки, право, премилые и даже есть распречестные малые, но только важные, ухъ какіе важные: рукой не достанешь до иного изъ васъ, будь онъ хоть карапузенькій, но только со стеклышкомъ, да съ угощеньицами. Но за то, оставя въ сторонѣ хроническую, гиперболическую и неудобоваримую важность, этотъ criterium истаго туляка, у нихъ, у туляковъ, имѣется одно великое качество, или просто добродѣтель, чисто спартанская, это — выносливость и небрезгливость, такъ что ихъ ни отъ чего не тошнитъ; и наконецъ — чрезвычайно крѣпкіе нервы и безпримѣрно здоровые желудки, способные переваривать то, чего не переварили бы желудки страусовъ. Разумѣется они, туляки, понимаютъ сладости комфорта и кейфа и не брезгаютъ ими; но когда это нужно, они переносятъ стоически величайшія неудобства и лишенія. Сегодня они вкусятъ и оцѣнятъ гастрономическій, тонкій обѣдъ съ такими же тонкими питіями, въ особенности оцѣнятъ обѣдъ «амфитріонный»; а завтра удовольствуются коркою чернаго, заплѣснѣвѣлаго хлѣба и стаканомъ мутной, противной воды. Но чѣмъ туляки подходятъ весьма близко къ спартанцамъ, такъ это вотъ чѣмъ: у Лакедемонцевъ была въ большой чести какая-то черная похлебка; у туляковъ въ большомъ употребленіи похлебка зеленая, или вѣрнѣе, зеленыя щи, изъ особеннаго рода кислицы или щавеля необыкновенно кислаго, который ростетъ въ изобиліи около одной деревни, называемой *Кислинка*. Поэтому похлебка эта называется—щи изъ щавеля Кислинскаго, каковые щи до того кислы (кисльѣе уксуса четырехъ разбойниковъ), до того противны, что никто, кромѣ туляковъ, не могъ бы ихъ ложки проглотить безъ того, чтобы его не стошнило, или даже не вырвало; а туляки объѣдаются этими прокислыми кислинскими щами, и ихъ не тошнитъ, и желудки ихъ переваривaютъ эту мѣстную похлебку. Сказано—спартанцы. Впрочемъ «о вкусахъ не спорятъ». Китайцы, напримѣръ, лакомятся крысами и даже ѣдятъ мясо всякихъ нечистыхъ тварей, даже протухлое, червивое. Остается рѣшить важный гастрономическій вопросъ: чей вкусъ испорченнѣе— китайцевъ или туляковъ; что противнѣе: китайское рагу изъ крысъ или тульскіе зеленые щи изъ щавеля Кислинскаго? Если живъ еще извѣстный когда-то московскій гастрономъ-обжора Рахмановъ, онъ могъ бы рѣшить такой міровой вопросъ о китайскихъ крысахъ и о тульскомъ щавелѣ Кислинскомъ. Но что желудки у туляковъ здоровенные, этотъ вопросъ уже давно порѣшенъ и сданъ въ архивъ. Впрочемъ много еще наберется

кое-чего по мелочи поразсказать о гражданскихъ и соціальныхъ доблестяхъ коренныхъ милыхъ тулячковъ. О, что это за доблести! Первый сортъ. Но обо всемъ этомъ до 9-й книги «Воспоминаній». Итакъ изнываю и чахну я въ ожиданіи моего Моисея, который выведетъ меня изъ неволи египетской... Гораздо хуже: изъ неволи тульской, и уведетъ меня Туда, къ двумъ моимъ ангеламъ хранителямъ, къ Сашѣ и Софи. Какой контрастъ! Тула, т. е. тьма кромѣшная, холодъ и зловоніе ваниичанья и эгоизма; а Тамъ — свѣтъ, тепло, благоуханіе и благодать небожителей, а не.... Петрушекъ, съ собственнымъ запахомъ.... Выливайтесь же сорокадвухлѣтнія мои обиды и оскорбленія, порою болѣзненныя, но всегда трусливыя, обиды отъ чуждой мнѣ, разноплеменной со мною орды. Итакъ я въ 5-мъ мировомъ участкѣ.

— Ваше дѣло ясно какъ день, право какъ сама справедливость,—сказалъ мнѣ Ник. Сергѣичъ.—Но, къ величайшему моему сожалѣнію ничего путнаго не могу для васъ сдѣлать: намъ дано право поощрять, а не наказывать негодяевъ изъ крестьянъ. Что могу я сдѣлать? Чтобы дѣйствительно наказать дерзкаго негодяя и буяна, его слѣдовало бы присудить къ тюрьмѣ съ тяжелою работою. А я могу только посадить его подъ арестъ на болѣе или менѣе долгій срокъ. А такой арестъ былъ бы наказаніемъ для васъ, для меня, а не для наглаго нищаго. Даровыя квартира, щи и хлѣбъ, при ничего недѣланьи — не наказаніе, а поощреніе. Много разъ убѣдился я въ этомъ изъ моей судейской практики: не исправленными, а пуще развращенными и дерзкими выходили изъ тюрьмы сажаемые туда мною негодяи.

Слова Загряжскаго оправдались вполнѣ. Выпущенный изъ тюрьмы послѣ мѣсячнаго сидѣнія, наглый Нефедъ громко, во всеуслышаніе похвалялся на деревнѣ: «Распрекрасно было мнѣ сидѣть подъ арестомъ: кормили и поили меня до-сыта, лучше, чѣмъ иногда ѣлъ я на волѣ. Работы никакой: лежи себѣ на боку. Славная жисть. Достанется же теперь барину и не такъ, да и до барыни доберусь я». Ну и добрался до насъ съ помощію своего брата, Феофана рябаго, да по милости нашей будто бы гуманности, какъ утверждаютъ восточные псевдолибералы, а по мнѣнію западныхъ и настоящихъ либераловъ — по милости нашей распущенности и халатности. Измыслили они, Нефедъ и Феофанъ, и выкинули такую штуку: подаетъ Феофанъ рябой мировому жалобу, отъ 1-го октября 1877 года, въ которой значится: «*Подвергнуть г. Макарова и г-жу Макарову уголовному суду*, перваго за намѣреніе изнасиловать его дочь Арину, а вторую за оскорбленіе его дочери, тѣмъ, что, по жалобѣ ея на дерзость Арины, старшина поса-

дилъ ее на день подъ арестъ». Не вѣрите, читатель? Такъ не угодно ли взглянуть на двѣ повѣстки мироваго, изъ коихъ одна гласитъ о жалобѣ Феофана на меня и мою жену, другая о жалобѣ моей на оклеветаніе мое Феофаномъ, и еще на копію съ рѣшенія мироваго отъ 30 января 1878 года, по дѣлу оклеветанія меня и жены моей. Разумѣется, мировой оставилъ безъ послѣдствія эту дерзкую клевету, ради ея нелѣпости, голословности и бездоказательности, тѣмъ болѣе, что я находился въ Петербургѣ, когда сажали подъ арестъ грязную, некрасивую дѣвку, извѣстную всей деревнѣ своимъ разгуломъ. Само собою разумѣется, что послѣ такой неслыханно наглой продѣлки, я самъ подалъ жалобу на оклеветаніе меня и жены моей. Мировой присудилъ клеветника на мѣсяцъ подъ арестъ. Феофанъ подалъ неудовольствіе. Дѣло перешло въ тульскій мировой съѣздъ. И что-жъ?... Какъ вы думаете, что же?... *Мировой съѣздъ скассировалъ рѣшеніе Загряжскаго и... оправдалъ клеветника, т. е. выдалъ ему головою меня, семидесятилѣтняго и дряхлѣющаго старика!!!. Оправдалъ за клевету, за ложное обвиненіе меня въ преступленіи, за которое усылаютъ по Владимірк въ мѣста самыя отдаленныя, на каторжныя работы!!..*

Вотъ такъ Соломоны, какъ есть всероссійскіе Соломоны XIX столѣтія, ультра-либералы, ультра-филантропы, ультра-гуманисты, ультра-прогрессисты, словомъ сочетаніе всевозможныхъ ультра. Исполать вамъ всероссійскіе Соломоны XIX столѣтія. Склоняюсь и благоговѣю передъ вашимъ благодушіемъ, но, съ тѣмъ вмѣстѣ, склоняюсь, и склоняюсь еще ниже, чѣмъ передъ вами, склоняюсь передъ благодушіемъ русскаго мужичка-добряка. Этихъ добряковъ за все гладятъ по головкѣ, а они нисколько не зазнаются, не злобствуютъ, не буйствуютъ во всю русскую ширь, на распашку славянскую. Развѣ только погрубятъ кому нибудь, или желѣзною палкою по головѣ съѣздятъ. А что до иного, прочаго, то все обстоитъ благополучно. Ну, а будь-ко это тамъ, гдѣ нибудь на западѣ. Такъ французскіе-то, али англицкіе, али нѣмецкіе мужички, погладь-ко ихъ по головкѣ, какъ русскихъ, такъ они черезъ годъ, а много черезъ два, не то чтобы только палкой по головѣ, а перебили бы половину дворянъ, а другую половину вогнали бы въ чахотку.

Еще разъ исполать вамъ, господа тульскіе и благодушнѣйшіе изъ всѣхъ прошедшихъ, настоящихъ и будущихъ Соломоновъ. Склоняюсь и благоговѣю передъ вами, передъ вашими судейско-мировыми доблестями; а все-таки мятныя лепешки постоянно ношу въ карманѣ на случай тошноты.... Конецъ послѣднему сказанью о мировыхъ и туляхъ.

Пишу я эти бутады про мировыхъ да про туляковъ и вдругъ долженъ бросить перо. Теперь семь часовъ пополудни. Вечеръ прелестный. Окно кабинета открыто, выходитъ на большой деревенскій прудъ, за которымъ вся деревня, по склону, какъ на ладони. Перебранка бабъ, плачъ дѣтей, малѣйшій шумъ ясно долетаетъ до меня. И вотъ слышу громкій дѣтскій плачъ. Поднимаю голову: по длинной плотинѣ бѣгутъ четыре босоногія дѣвочки, и воютъ, приговаривая: «мама, мама, гдѣ мама? Охъ бѣда!» Думаю, кто нибудь заболѣлъ, и шлетъ къ женѣ за лекарствомъ. Я на дворъ; вбѣгаютъ дѣвочки и ко мнѣ съ ревомъ: «Ой, батюшки, бѣда, горе наше! — Что такое, спрашиваю? «Пудъ Иванычъ горитъ, пожаръ!» Меня хватило, словно обухомъ въ лобъ. Въ деревнѣ ни единаго парня: всѣ они и большинство бабъ на покосѣ, за пять верстъ. Только дѣвки да ребята въ деревнѣ. — Эй, кто тамъ?—крикнулъ я на весь дворъ. Кучеръ да два рабочіе выбѣгаютъ изъ сарая, а изъ избы мозглявый эксъ-солдатикъ, чистильщикъ обуви да кухонной посуды, котораго нищій грозился убить желѣзной палкой. — Въ деревню, на пожаръ, живѣе, поворачивайся.—Схватили ведра и побѣжали. И самъ я, какъ былъ въ туфляхъ, такъ и зашагалъ на пожаръ. Меня догоняютъ двое старшихъ сыновей. «Папа, и мы съ тобой; вѣдь не опасно, не сгоримъ». Смотрю, бѣжитъ въ догонку съ пригорка и мой меньшой, шестилѣтній Костя, оставя за собой няню, запинается за камень и растягивается на пыльной дорогѣ. Встаетъ, осматриваетъ колѣно: ссадина, въ крови, вытираетъ платкомъ, но ни единаго оха, а бѣжитъ далѣе. Какъ бы онъ ни ушибся, крякнетъ, но не зареветъ: страшный крѣпышъ. Вотъ мы у избы Пуда Иваныча. Кучка бабъ и дѣвокъ галдѣютъ. Рабочіе мои съ пустыми ведрами. Пожаръ потушили. Была благодать Божія: ни вѣтерка, ни одинъ листокъ не шелохнулся. А будь сильный вѣтеръ, вся деревня была бы въ огнѣ. А отъ чего пожаръ? У Пуда пятеро дѣтей. Четверо старшіе принесли грибовъ изъ рощи, и вышли изъ избы—искать свою мать. А младшій, трехлѣтній, вздумалъ угостить себя печеными грибами. Взялъ охапку щепокъ, бросилъ къ стѣнѣ на завалинку, обложенную соломой, досталъ спичку и зажегъ щепки. Да еще пошелъ, отыскалъ мать и отрапортовалъ ей: «Мамонька! я печку затопилъ, грибы жарю». Разумѣется, такого поджигателя не осудили бы не только тульскіе присяжные изъ ка(ку)печества, но даже и самые свирѣпые держиморды... Вотъ вамъ картина сельской жизни, снятая съ натуры.

Я такъ теперь занятъ дополненіями *Воспоминаній*, что не успѣваю пробѣгать *Новое Время*. И вотъ немного удосужившись, беру № 1924 и съ ужасомъ прочитываю фельетонъ: *Крушеніе на ростово-владикавказской желѣзной дорогѣ*.

Скажу нѣсколько словъ, не объ этомъ крушеніи, нѣтъ! а вообще о нашихъ желѣзнодорожныхъ безпорядкахъ.

Я сказалъ, что не успѣваю прочитывать газеты, которыхъ накопляется по нѣсколько номеровъ. Поэтому и теперь попадается мнѣ еще и 1933 номеръ «Нов. Вр.», гдѣ, на первой страницѣ, читаю, между прочимъ, слѣдующее:

«Такъ, напримѣръ, на одной желѣзной дорогѣ, какъ сообщалось недавно въ газетахъ, чины желѣзнодорожнаго батальона снили, въ теченіи мая и іюня мѣсяцевъ, на незначительномъ сравнительно протяженіи въ 60 — 70 верстъ около *50,000 штукъ негодныхъ, гнилыхъ шпалъ*, т. е. около двухъ третей всего количества..... *А благодаря десятку такихъ шпалъ*, еще не такъ давно случилось подъ Гатчиной, у станціи Суйда, весьма грустное крушеніе поѣзда, *стоившее жизни многимъ, и многихъ оставившее калѣками*».

Не редакція газеты, а я подчеркнулъ нѣкоторыя фразы вышеприведеннаго извлеченія.

Что же это дѣлается на моей родинѣ? Когда же будетъ положенъ предѣлъ организаторамъ en grand человѣческихъ гекатомбъ? Когда же надѣнутъ намордники и наручники на желѣзнодорожныхъ и всѣхъ прочихъ Молоховъ, которые нагло и безнаказанно, и по нѣскольку разъ сряду позволяютъ себѣ опыты увеличенія сладостей, и безъ того сладкой, но позорной своей жизни; увеличенія сладостей своего богомерзкаго чревоугодія *человѣческимъ мясомъ* отъ десятковъ и сотней жертвъ, истерзанныхъ ежегодно на поѣздахъ нашихъ желѣзныхъ дорогъ. И покупаютъ они, желѣзнодорожные людоѣды, это человѣческое мясо, не на наличныя деньги, а *на гнилыя шпалы*... Да! это настоящіе хищники-людоѣды, откармливаемые не бардою, а человѣческимъ мясомъ, съ тою только разницею, что сало малороссійскихъ бардоѣдовъ идетъ въ пищу человѣку, а сало желѣзнодорожныхъ людоѣдовъ не годилось бы ни для собакъ, ни для кошекъ. А развѣ на смазку осей у колышекъ, въ которыхъ возятъ навозъ и разныя нечистоты.... «Черезчуръ сильно, т. е. рѣзко», скажутъ разные Маниловы. А десятки-то убитыхъ, изувѣченныхъ ежегодно на нашихъ желѣзныхъ дорогахъ, по милости гнилыхъ шпалъ, это развѣ не черезчуръ сильно и рѣзко, господа Маниловы-жеманники и губкожатели? А десятки-то бездомныхъ вдовъ и сиротъ, по милости желѣзнодорожныхъ людоѣдовъ, это бездѣлица, господа рьяные защитники всякія скверны, лишь были бы онѣ вредны для другихъ, а не для васъ.... Слишкомъ рѣзко!... А развѣ мягко, развѣ не рѣзко говорилъ Ювеналъ, царь сатириковъ, когда нещадно бичевалъ онъ, и кого?

Патриціевъ, сенаторовъ и императрицъ, а не только что этихъ... Когда же наконецъ, когда грянетъ громъ и надъ этими преступными драконовыми головами!... Облекайся же въ трауръ, россійское правосудіе. Прячься же отъ стыда подъ густое покрывало, славянская Ѳемида!... Но, впрочемъ, что значатъ относительно людоѣдства желѣзнодорожные сластоѣжки? Это еще не корень зла: это — лишь злокачественныя болячки и язвы на худосочномъ тѣлѣ. Лечите злую немощь не однимъ прижиганіемъ болячекъ и язвъ, а сильнѣйшими дозами кровочистительныхъ декоктовъ. Вотъ какъ лечатъ такія злыя немощи на западѣ.

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ случилась во Франціи ужасная катастрофа. На одной изъ ея желѣзныхъ дорогъ, кажется на ліонской, много было убито, искалечено и поранено. Сейчасъ же притянули къ суду желѣзнодорожную компанію и хватили ее нещадно по карману. Присудили уплатить 250 тысячъ фр. вдовѣ съ дѣтьми убитаго въ поѣздѣ ученаго или художника, не помню. Другому осиротѣвшему семейству приказали платить по 10,000 фр. ежегодной пожизненной пенсіи. Затѣмъ множеству пострадавшихъ назначили разные крупные куши, единовременно или пожизненными пенсіями. Такъ что всего *безчестія* съ компаніи было взыскано болѣе, нежели на полтора милліона фр... Вотъ это, такъ лекарство радикальное, дѣйствительное, спасительное, и не катаплазмы изъ бѣлаго хлѣба съ теплымъ молочкомъ; не наше *мирволенье своему брату*. Это—богиня, а не жеманница, не мирвольница. Это—строгая, безстрашная Ѳемида, а не дряблая и трусливая мямля Ѳемида Славяноскиѳовна.

Сейчасъ пробѣжалъ я и № 1925 *Новаго Времени*. На третьей страницѣ въ концѣ третьяго столбца напечатано: «Изъ дальнѣйшихъ разъясненій причинъ безпорядковъ въ Переяславлѣ оказывается, «что ихъ вызвали сами евреи». Далѣе въ статьѣ говорится: «Когда въ толпѣ убѣдились, что арестуютъ только русскихъ, что ни къ одному ворочавшему оглоблями еврею не протянулась ни чья рука для ареста, ни одного ругателя-еврея не остановили, — тогда разгулъ принялъ размѣры ужасающіе»... Снова глубокія негодованіе и скорбь овладѣли мною при вопросѣ: что же это дѣлается, что будетъ далѣе и чѣмъ все это кончится въ моемъ отечествѣ? При семъ удобномъ случаѣ хотѣлось и можно было бы сказать много кое-чего по мелочи объ іерусалимскихъ выходцахъ, да и такъ я уже позволилъ себѣ говорить о многомъ и о многихъ, и говорить не такъ какъ говоритъ славяноскиѳская трусливая мямля и мирвольница, а какъ—западный безстрашный указатель на общественныя постыдныя болячки и язвы, бичующій немилосердно пороки и зло. Итакъ, объ этомъ до другаго раза. Но не могу удержаться, чтобы не воскликнуть: О пра-

внуки вялой, дряблой, овечьей славянской расы! Били васъ когда-то печенѣги, половцы, татары, литовцы, поляки, шведы, даже пугачевцы; били всѣ, кому только захотѣлось бить васъ, били потому, что не умѣли вы сплачиваться, давать дружный отпоръ, а были всегда: «кто въ лѣсъ, кто по дрова». И тысяча лѣтъ грустной исторіи, съ ея поучительными уроками пропала даромъ, промотана безъ малѣйшей для васъ пользы, «ничему васъ не научила, ни отчего не отъучила». Какъ при почтенномъ Гостомыслѣ, такъ и теперь: вы — все тѣ же: *Кто въ лѣсъ, кто по дрова;* не умѣете дать дружнаго отпора, и кому же? Не батыямъ, а презрѣннымъ іерусалимскимъ выходцамъ и пройдохамъ, кровопійцамъ всего христіанскаго міра. Ну и бьютъ васъ оглоблями и арестуютъ, не оглобельщиковъ-побивателей, а побиваемыхъ оглоблями, и.. впередъ будутъ васъ бить оглоблями и арестовать за это, оттого, что вы: кто въ лѣсъ, кто по дрова. И передъ кѣмъ въ разбродъ? Передъ горстью іерусалимскихъ гешефтмахеровъ... И кто-же это въ разбродъ-то? Не темная масса, нѣтъ! А интеллигенція; въ особенности пишущая.... И затѣмъ: какой унизительный, постыдный контрастъ между героями Куликовской битвы, неубоявшимися несмѣтныхъ полчищъ Мамая, и переяславскими полицейскими героями, спасовавшими передъ еврейскими оглоблями. Изъ этого же номера узналъ я и о милосердіи нашего новаго Царя. Обрадовался и благословилъ Его имя. Обрадовался не изъ сочувствія къ помилованной. Нѣтъ, тысячу разъ нѣтъ! Я былъ, есмь и всегда буду заклятымъ врагомъ всѣхъ револьверщиковъ, динамитчиковъ и динамитчицъ, которыхъ считаю злѣйшими и опаснѣйшими врагами не только престола, вѣры, законовъ и самаго общества, но врагами, убійцами, палачами истинной свободы и прогреса, творцами злѣйшей реакціи и одичанія, отупѣнія и оскотиненія человѣчества. А радуюсь и благословляю самодержавную власть за то, что, сверхъ христіанскаго милосердія, является еще актъ глубокой политической мудрости, которая, отстранивъ безполезный уже теперь ударъ меча правосудія, даруетъ жизнь цареубійцѣ, и такимъ высокимъ милосердіемъ уравниваетъ, облегчаетъ путь къ умиротворенію... Облегчивъ сердце полными сознаніями и отлитіемъ накопившейся въ немъ горечи, вернусь назадъ, къ очищенію моего имени отъ несправедливыхъ обвиненій. Пусть же, когда успокоюсь я на вѣки, не останется, не тяготѣетъ на моей памяти ни одинъ изъ тѣхъ злостныхъ, грязныхъ навѣтовъ, которыми хотѣли запачкать мое имя. Пусть оно очистится и посвѣтлѣвшимъ сойдетъ со мною въ могилу и хоть тамъ успокоитъ мой прахъ. Если я сдѣлался извѣстенъ, какъ *порядочный лексикографъ*, пусть же я буду извѣстенъ еще какъ *не дурной человѣкъ*.

Еще: если я припомнилъ, или по крайней мѣрѣ старался припомнить и пересказать въ этой «Mea culpa» все пережитое, передуманное, перечувствованное и выстраданное мною, то сильно боюсь за послѣднюю книгу этихъ *Воспоминаній*, которую я еще не начиналъ. Это самая интересная, драматическая изъ всѣхъ книгъ. И я боюсь, достанетъ ли у меня столько умѣнья, а главное силъ, не нравственныхъ, а физическихъ (которыя, увы, замѣтно слабѣютъ), чтобы рельефно изобразить всѣ перипетіи послѣдняго страшнаго періода моей жизни, моего странствованія по непривѣтливому для меня свѣту, съ полнѣйшимъ крушеніемъ всего, что могло красить жизнь, или хоть облегчать тяжесть несомаго креста, уменьшить страданія, уравнять жизненный путь; со швыраніями въ меня грязью одной роденькою за то, что *я уронилъ свое дворянское званіе, женившись не на дворянкѣ*, а на внучкѣ вольнаго донскаго казака, впослѣдствіи закрѣпощеннаго однимъ княземъ за свою вѣрную ему, князю, службу на войнѣ и внѣ войны; далѣе: съ періодическими припадками, нашествіями на меня глубокаго, безвыходнаго отчаянія и съ кровавыми призраками многочисленныхъ попытокъ самоубійства, при ужасѣ оставить послѣ себя безпомощными жену и малолѣтнихъ дѣтей; потомъ съ грозными драмами, какъ, напр.: безумная и, разумѣется, безнадежная страсть единственнаго тогда у меня сына и сотрудника къ своей будущей мачихѣ; затѣмъ, вслѣдствіе этой безнадежности, произошла потрясающая сцена его сумашествія, въ припадкѣ котораго онъ бросается неистово на свою уже беременную мачиху; и наконецъ послѣдній актъ грозной драмы — смерть его въ тульскомъ домѣ помѣшанныхъ, послѣ двухнедѣльнаго сумасшествія. Объ этомъ было въ то время напечатано (въ «Спб. Вѣд.», 1869 г. № 67), но только съ сокрытіемъ главной причины сумасшествія моего сына.

О, какія страшныя воспоминанія!.. Двѣнадцать лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ; родилось у меня четверо дѣтей: дочь, уже второй годъ на высшихъ женскихъ курсахъ, и три сына, всѣ здоровыя, красивыя и преумныя дѣти. Но при одной мысли о пережитыхъ тогда мною часахъ, всѣ раны сердца раскрываются, отзываются жгучею болью; меня душатъ слезы, рыданія!.. О, для чего родила меня мать на этотъ бѣлый.... что я! на этотъ гадкій, отвратительный свѣтъ?... И что же? Мнѣ стыдно... Но я долженъ теперь во всемъ сознаться, покаяться. Не смерть страшила меня въ послѣднее время, нѣтъ! Она улыбалась мнѣ, протягивала ко мнѣ великодушную руку, такъ привѣтливо, сострадательно глядѣла мнѣ въ глаза, манила къ себѣ и обѣщала полное успокоеніе, полнѣйшее забвеніе всѣхъ скорбей, страданій, обидъ. Нѣтъ не смерть, не эта бла-

годѣтельница несчастныхъ. А страшила меня, приводила въ отчаяніе, порою почти въ бѣшенство мысль, что *я не имѣю права распоряжаться моею жизнію, имѣя жену и четырехъ малолѣтнихъ дѣтей;* что эта жизнь перестала принадлежать мнѣ, что она... закабалена; что я лишенъ, хуже чѣмъ «правъ состоянія», лишенъ права разбить кандалы этой разбитый жизни, разломать двери этой мрачной, душной, смрадной тюрьмы, которую называютъ жизнію.... несчастливцевъ. И я безумно роптalъ на мою кабалу, чуть не проклиналъ ее.

Да, воспоминанія ли пережитаго, прежнихъ страданій, погромовъ судьбы, страшныхъ утратъ: перваго ангела моей жизни — моей первой жены; втораго дивно-прекраснаго ангела, Софи Гемаръ, слетѣвшаго прямо съ неба въ качествѣ любимицы и посланницы Творца, слетѣвшаго для того, чтобы, изумивъ и ослѣпивъ кучку людей, удостоившихся ея лицезрѣнія, показать сынамъ человѣческимъ, какъ, что и чѣмъ должна быть *настоящая женщина, до грѣхопаденія, шедёвръ Создателя, его слава и гордость,* т. е. совершеннѣйшее изъ совершеннѣйшихъ созданій; которая потомъ бросила на меня, безвѣстнаго сироту, никому не милаго, встрѣченнаго на порогѣ жизни нелюбовію матери и потомъ несущаго тяжелый крестъ безъ малѣйшаго къ себѣ сочувствія холодной, безчувственной, деревянной рядовой толпы, но при злорадномъ хохотѣ нѣкоторыхъ изъ ея вожаковъ, ея лжепросвѣтителей и столкусбивателей, статьекропателей, а порою и первокласныхъ лжецовъ и клеветниковъ, вершковыхъ людишекъ, стосаженныхъ хвастунишекъ; бросила на меня она, ангелъ добра и разума, свой небесно-сострадательный взглядъ, рѣшилась сдѣлаться настоящимъ, а не риторическимъ ангеломъ-хранителемъ моей жизни, стать для меня постояннымъ источникомъ свѣта и тепла, никогда незаходящимъ солнцемъ, создать для меня земной рай и затопить волнами непзрѣченнаго блаженства четыре мѣсяца моей жизни, по временамъ уносивши меня на своихъ прозрачныхъ крыльяхъ куда-то, въ недосягаемыя выси, за орбиту солнечной системы, за млечный путь, за седьмое небо; и вдругъ, опустивъ меня на нашу негостепріимную, печальную планету, была отозвана на свою родину, на небо избранныхъ и праведныхъ для того, чтобы освѣщать, согрѣвать и украшать собою рай небесный (смотри во второй части *Три маяка* и *Потерянный рай*)... Да, эти ли жгучія воспоминанія, или настоящая грязь жизни и гнетъ обстоятельствъ, порою страшный, невыносимый: но я грызъ и продолжаю грызть тяжелую цѣпь жизни, и... не могу перегрызть. Спадетъ ли она съ меня? Освободитъ ли меня отъ нее чья нибудь благодѣтельная рука, помогши мнѣ снять съ плечъ непосильный гнетъ? Или

эта цѣпь перержавѣетъ и сама спадетъ съ моихъ израненыхъ, окровавленныхъ членовъ?.. Но нѣтъ!.. Благодѣтельную руку въ современномъ скептическомъ и циническомъ обществѣ протягиваютъ лишь счастливцамъ міра, въ лайковыхъ перчаткахъ, а не несчастнымъ труженикамъ съ мозольными руками. Первымъ—гимны и диѳирамбы, вторымъ—насмѣшки, хула и брань; тѣмъ подобострастныя улыбки и нѣжные поцѣлуи, этимъ—грязь и камни. Двадцать лѣтъ я крѣпился, страдалъ и молчалъ. Грудь разрывалась отъ боли, а я все молчалъ и ждалъ чего-то... Но ничего не дождался, кромѣ строжайшаго карантина, спеціально воздвигнутаго для загражденія мнѣ доступа въ журнальный міръ и погребенія моего имени подъ густымъ слоемъ пыли-забвенія, который все болѣе и болѣе увеличивали... Все глухо, безмолвно, мертво вокругъ меня... Меня окружаютъ глыбы льда, или осколки гранита, или простой, заурядный булыжникъ... Меня не поняли... и вѣроятно не захотятъ понять и оцѣнить, *хоть какъ нравственнаго человѣка и гражданина, если не какъ писателя*... Станутъ ли и теперь бросать въ меня грязью и камнями?.. Не знаю... Быть можетъ да, быть можетъ нѣтъ... Но я уже не боюсь: близь меня могила, которая укроетъ меня и отъ злобы людской, и отъ ихъ грязи и каменьевъ... Разрывайся же грудь отъ рыданій и стоновъ! Лейтесь же слезы изъ старыхъ очей! Лейтесь же, лейтесь, пока не зальете меня съ моимъ горемъ! Лейтесь, пока не окончится жизненный пасквиль, и изъ хладѣющихъ устъ не выйдетъ со вздохомъ предсмертнымъ:

«Я былъ между вами, но вы не познали меня,
Близорукіе слуги привычекъ, рутины и модъ».

И какое напряженіе силъ необходимо для 72-хъ-лѣтняго страдальца, чтобы написать эту главу, написать ее своими слезами, кровію своего сердца? А сколько еще силъ потребуется впереди, для того, чтобы начать и кончить девятую или десятую (еще не знаю) книгу «Воспоминаній», эту повѣсть второй половины моей жизни, въ которой были сосредоточены всѣ ея страданія, скорби, утраты, страшные перевороты отъ лучшаго къ худшему, эти, такъ сказать, жизненныя землетрясенія, не оставившія камня на камнѣ; наконецъ грозныя семейныя драмы? И если я не умру еще до этого окончанія, то по всей вѣроятности, эта книга явится въ печати уже какъ замогильный мой голосъ... Да оно и лучше такъ. Дни мои, кажется, сочтены. И нисколько не жалѣю объ этомъ. Жалѣю лишь о томъ, что зловредная, злонамѣренная, не критика, а безусловная ругань, злобное зубоскальство, парализируя всѣ мои способ-

ности, въ продолженіи долгихъ лѣтъ, помѣшала мнѣ написать много хорошаго, въ чемъ я увѣренъ, потому что я работалъ съ необыкновенной легкостью. На написаніе «Задушевной Исповѣди» употребилъ я пять недѣль. Это былъ мой первый трудъ, проба пера. Для «Банка Тщеславія» — шесть недѣль. Когда я написалъ его (весною 1860 г.), то раза по два въ недѣлю приносилъ я тетради на прочтеніе покойному Добролюбову. Съ большимъ вниманіемъ слѣдилъ онъ за моею работою. Когда, послѣ первыхъ главъ второй части, я принесъ ему слѣдующія и спросилъ: — Ну, что? прочитали вы начало второй части? — Нѣтъ: меня такъ занялъ вашъ романъ, что, не желая ослаблять впечатлѣніе отрывочнымъ чтеніемъ, я дождусь конца романа, и тогда прочитаю вторую часть въ цѣломъ. — А что, скоро вы помѣстите въ «Современникѣ»? — Да не ранѣе сентября или октября. На май у насъ все готово; а лѣтомъ мы помѣщаемъ только легонькое, неважное, а лучшее приберегаемъ къ осени и зимѣ.

Въ маѣ (1860 г.) я простился съ Добролюбовымъ и проводилъ его уѣзжавшаго на пароходѣ за-границу; затѣмъ и самъ уѣхалъ изъ Петербурга въ деревню. И только въ сентябрѣ 1861 года пріѣхалъ я въ Петербургъ и сейчасъ же навѣстилъ Добролюбова, только что возвратившагося изъ за-границы и далъ ему рукопись «Побѣда надъ Самодурами». — Отчего же не «Банкъ Тщеславія»? вы обѣщали его намъ.—Я думаю, что «Самодуры» лучше. Впрочемъ и «Банкъ» отъ васъ не уйдетъ.—Навѣдайтесь ко мнѣ черезъ недѣльку,—заключилъ Добролюбовъ, протягивая мнѣ руку. Я ушелъ. Черезъ недѣлю нашелъ его въ постелѣ; а еще черезъ недѣлю его не стало на свѣтѣ. Со смертію этого даровитаго, прекраснаго молодаго человѣка, умерла и моя литературная будущность. Рукопись моя была возвращена мнѣ редакціею «Современника» безъ послѣдствій, и затѣмъ уже ни одна и нигдѣ не была принимаема, неисключая и этихъ «Воспоминаній», носившихъ другое заглавіе.

Когда я принимался за писаніе чего либо серьезнаго, то писалъ всегда карандашомъ, которыхъ чинилось у меня дюжина. Возьмусь за перо, и вся фантазія исчезаетъ, я деревенѣю, замерзаю, ничего дѣльнаго не сходитъ съ пера. Возьму карандашъ и мгновенно оживаю, откуда что берется. Понадобится сравненіе, является три, четыре, embarras de richesse. Нужно опереться на авторитетскую мысль, понадобится эпиграфъ, является нѣсколько, въ прозѣ и стихахъ, затрудняешься въ выборѣ. Цѣлый рой мыслей рождается въ головѣ, не успѣваю записывать на лоскуткахъ бумаги, чтобы не забыть. Коснется дѣло собственнаго имени: и, прочитанное или слышанное мною назадъ тому 30, 40 и бо-

лѣе лѣтъ и давно уже позабытое, оно вдругъ воскресаетъ въ моей памяти, словно кто-то шепнулъ его мнѣ на ухо. Такъ, напр., разсказывая выше о необыкновенномъ поединкѣ въ Парижѣ, я сейчасъ же вспомнилъ имя русскаго офицера (Телавскій). прочитанное мною еще въ 1825 году, болѣе полустолѣтія тому назадъ, и давнымъ давно позабытое. Начиная большой трудъ, я пишу сперва туго: страничку, двѣ въ день, потомъ три, четыре и такъ далѣе, все accelerando, и дохожу до 30 и болѣе страницъ въ день. Четыре части «Побѣды надъ Самодурами» (610 стр.) я написалъ ровно въ четыре недѣли, взявъ сюжетъ изъ подлинной жизни, и узнавъ героя романа Шугарова (тульскій помѣщикъ Кр—цовъ). Потерялъ я тогда и сонъ, и аппетитъ. Спалъ, или вѣрнѣе, лежалъ въ забытьи часа по четыре въ сутки, ѣлъ менѣе восьмилѣтняго ребенка; не слышалъ, что мнѣ говорили; самоваръ накрывалъ крышкой отъ чайника, а чайникъ—крышкой отъ самовара. Послѣднюю часть написалъ я въ два дня. Я дремалъ надъ бумагою, писавши, глаза сжимались отъ безсонницы, а рука съ карандашемъ, словно независящее отъ меня, живое, разумное существо, быстро бѣгало по бумагѣ. Я сталъ подъ конецъ скелетомъ. Много помогало мнѣ то, что меня всякое утро окачивали нѣсколькими ушатами холодной воды. Это освѣжало и голову, и тѣло. Окончивъ романъ, я поѣхалъ на недѣлю въ Тулу отдохнуть, развлечься и дать переписать съ карандаша четвертую часть. Когда, по возвращеніи въ деревню, я сталъ пробѣгать ее, то все написанное было для меня ново. Все до тла позабылъ я черезъ недѣлю отдыха. А, какъ мнѣ кажется, это — лучшая часть романа. Чтобы вполнѣ освѣтить тогдашнее состояніе моего духа и мотивы многаго изъ написаннаго въ 3-й части «Самодуровъ», я впишу сюда посвященіе этого романа моему другу Алекс. Ал. Одинцову. Вѣдь *Mea culpa* есть также и моя апелляціонная жалоба и родъ процеса моимъ ругателямъ шестидесятыхъ годовъ; и потому долженъ быть принимаемъ и прочитанъ каждый документъ, служащій къ оправданію обвиненнаго. А вѣдь меня тогда обвиняли Богъ знаетъ въ какихъ ужасахъ, обвинили и, не выслушавъ оправданія, осудили окончательно и... похѣрили. Вотъ мое посвященіе:

«Не пользуясь ни малѣйшимъ литературнымъ авторитетомъ, рекрутъ въ фалангѣ писателей, я посвящаю тебѣ мой литературный трудъ. Не ищи въ немъ обдуманности плана, ни художественности исполненія, потому что для написанія его я употребилъ только четыре недѣли. Это была импровизація сердца, это были вопли души, убитой полнымъ равнодушіемъ и жестокимъ злорадствомъ нѣкоторыхъ. Меня хотѣли уничтожить, забросать грязью мое честное, незапятнанное имя. Не хотѣли

даже выслушать моихъ оправданій. Я падалъ духомъ и тѣломъ и готовъ былъ предаться губительному, безвыходному отчаянію. Но Провидѣніе, твоими устами, спасло меня: слѣдуя твоему дружескому совѣту, я оставилъ Петербургъ, удалился въ деревню и, проведя тамъ нѣсколько мѣсяцевъ въ совершенномъ уединеніи, на лонѣ природы, тишины и спокойствія, вздохнулъ свободно и — ожилъ. Тогда я взялся за перо и, въ четыре недѣли, написалъ то, что посвящаю тебѣ теперь.

«Прими же, мой другъ, это посвященіе отъ твоего стараго товарища въ знакъ его глубокаго къ тебѣ уваженія, и въ память той дружбы, которая ни на волосъ не измѣнилась между нами въ продолженіи длиннаго, тридцатилѣтняго періода ея существованія, и которая утѣшала, поддерживала и не разъ спасала меня въ тяжелыя и трудныя минуты моей жизни.

«Рожествино, 1861 года, 13 марта».

Не только романъ былъ тогда разруганъ наглымъ и мѣднолобымъ поносителемъ геніальнаго Пушкина, но и это невинное посвященіе не избѣгнуло его безтыжаго зубоскальства и лжи, что будто-бы я написалъ мой романъ *по совѣту какого-то Алексѣя Алексѣевича*. Вотъ лгунишко-то! По совѣту друга я уѣхалъ изъ Петербурга въ деревню, а не романъ писалъ. Да мало ли что онъ тогда нахально лгалъ на меня, въ чемъ я и уличалъ его печатно, назвавъ его *плясуномъ на сковородѣ* (собственное его, зубоскала, въ этомъ сознаніе). А въ другой распретолстой и съ большими претензіями Ѳедорѣ... журналѣ, хотѣлъ я сказать, осмѣяли даже и легкость, съ какою писалъ я, осмѣяли меня и за то, что я написалъ романъ въ четырехъ частяхъ въ четыре недѣли, а не въ четыре года. Вотъ судьи-то, такъ ужъ настоящіе Шемяки Шемякичи. Вполнѣ сознаю и заявляю: въ этомъ романѣ масса лишняго, что слѣдовало бы пропустить или передѣлать. Но мѣстами я клалъ въ него всю мою душу. Ктому же я только начиналъ тогда писать, учился и пробовалъ силы. Спросить чего либо мнѣнія, совѣта было не у кого, живя въ деревнѣ. Впослѣдствіи я сталъ бы писать гораздо обдуманнѣе, обработаннѣе, и писалъ бы не *субъективно*, какъ до того, а *объективно*. Но злая судьба, и еще болѣе злые люди не захотѣли того. Ну и ограничилась моя литературная дѣятельность одной сухой матеріей,— словарями. Правда, что я совершилъ этотъ громадный трудъ въ невѣроятно короткій срокъ: въ семь лѣтъ, чему не хотѣли повѣрить компетентные люди, ученые и академики. За то зачахли мои воображеніе и вдохновеніе, да и на здоровьи крѣпко отозвались эти усиленныя занятія

по пятнадцати часовъ въ сутки, не исключая и самыхъ большихъ праздниковъ.

До «Задушевной Исповѣди» я не бралъ пера въ руки, а только игралъ на гитарѣ, да писалъ массу писемъ, цѣлый ворохъ. «Исповѣдь» была моимъ литературнымъ дебютомъ, за который обругали и ругали меня въ продолженіи трехъ лѣтъ. Послѣдній большой трудъ, написанный въ 1861 году, былъ романъ «Поддѣльщики», тоже забракованный всѣми редакціями, въ которыя обращался я. Мало того: одинъ редакторъ не поцеремонился намекнуть мнѣ о странности моего предложенія напечатать, даже безъ всякаго гонорара, такой жалкой, допотопный трудъ (sic). Прочитайте его, читатель, въ первыхъ шести номерахъ «Иллюстрированнаго Вѣстника» 1880 года, и судите, точно ли онъ такъ плохъ и неудобочитаемъ. А относительно «Воспоминаній», я сейчасъ вспомнилъ одинъ случай, очень хорошо характеризующій тогдашнихъ «строгихъ цѣнителей и судій».

Сверхъ обыкновенной цензуры, 3-я книга принадлежала еще и военной. Отправляюсь я къ помощнику военнаго цензора, полковнику Кропотову, серьезнѣйшему изъ серьезныхъ людей и очень умному человѣку и, отдавая ему огромную рукопись, говорю:

— Вашей цензурѣ подлежитъ лишь одна третья книга. Скоро ли могу я получить отъ васъ мою рукопись, полковникъ?

— А, право, не знаю; я заваленъ работою. Я никогда не читаю романовъ иначе, какъ по обязанности. Вотъ мои любимцы по части чтенія, — прибавилъ онъ, показывая рукою на полку, гдѣ стояли римскіе классики.

На другой день иду я на литературно-сотрудничій вечеръ къ помощнику редактора «Инвалида», Вл. Ник. Леонтьеву, брату моего покойнаго сослуживца по гвардіи, одноротца, друга и соперника по моей второй *страстной любви* къ Болтиной.

— Ну, что, полковникъ, начали вы просматривать мою рукопись?— спросилъ я Кропотова, бывшаго тоже на вечерѣ у Леонтьева.

— Да что? у меня отъ вашего романа страшно болитъ голова.

— Какъ это? Неужели писаніе мое имѣло на васъ дѣйствіе дурманнаго зелья?

— А вотъ что: я люблю читать въ постели, на сонъ грядущій. Принимаюсь я вчера за третью книгу вашей рукописи. Прочитываю страничку, другую, третью. Чортъ возьми! Да вѣдь это что-то очень интересное, дай-ко загляну на начало. Началъ я съ начала, да потомъ не могъ и оторваться, такъ это интересно. Ну, всю ночь и не спалъ,

а прочиталъ и къ утру окончилъ вашу рукопись. Да вѣдь въ ней—такой огромный интересъ, что ее слѣдуетъ *купить на вѣсъ золота* (sic).

Ну ужъ куда тамъ на вѣсъ золота! И *даромъ отдавалъ*, никто не захотѣлъ печатать мой трудъ въ своемъ органѣ. А выразительныя улыбочки-то, а многознаменательныя ужимочки-то, а пожиманіе-то плечами!.. Чего стоятъ?

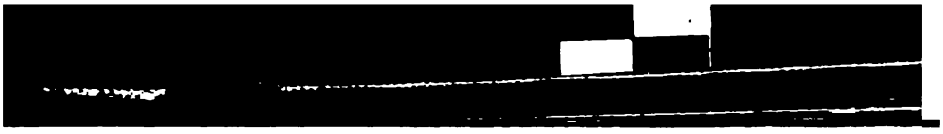
«Вотъ наши строгіе цѣнители и судьи!»

Итакъ, редакторскою (добро бы еще Божіею) милостію безмолствовалъ я ровно двадцать лѣтъ. Правда, пописывалъ иногда небольшія фельетонныя статьи, помѣщаемыя въ нѣкоторыхъ, не предубѣжденныхъ враждебно противъ меня, газетахъ. Да въ 1874 году, возмущенный безуміями соціалистовъ, комунистовъ, интернаціоналовъ, да еще нахальствомъ *вагнеристовъ*, идолопоклонниковъ безвкусной, снотворной музыки будущности, я написалъ и напечаталъ нѣсколько брошюрокъ: *Умъ и Остроуміе*, да *три бичующія сатиры: Кровавый призракъ*, *Пигмеи на Ходуляхъ* и *Пифъ Пафъ*. И какую лестную благодарность получилъ я тогда отъ Цесаревны за эти брошюрки, пожертвованныя мною въ пользу «Общества поданія помощи при кораблекрушеніяхъ». Въ этой Августѣйшей благодарности было высказано особенное сочувствіе къ нравственной цѣли сатиръ. Разумѣется, эти брошюры не продавались и лежатъ теперь, словно въ могилѣ, въ книжномъ магазинѣ Цвылева въ Малой Садовой, несмотря на благую цѣль и дешевизну изданія: 30 коп. за брошюру. И даже теперь сильно боюсь, найдется ли журналъ, который захотѣлъ бы помѣстить у себя эти «Воспоминанія», такъ напуганъ я пренебрежительнымъ ко мнѣ невниманіемъ, болѣе: какимъ-то хроническинедружелюбнымъ противъ меня предубѣжденіемъ прессы, явнымъ желаніемъ не признавать во мнѣ ни малѣйшаго литературнаго дарованія, ни малѣйшей заслуги, словомъ: игнорировать меня и какъ писателя, и какъ полезнаго дѣятеля, и постоянно запирать передъ самымъ моимъ носомъ двери своихъ редакцій, возвращая мнѣ безъ послѣдствій все, чтобы я ни написалъ, даже по вопросу, касающемуся общественной пользы или животрепещущей злобы дня; а на другой же день помѣщаютъ на своихъ столбцахъ какую нибудь неважную, часто тупую статейку, но написанную излюбленнымъ писакой *своего прихода*. Но бывали и отрадныя для меня исключенія, наприм.: «С.-Петербургскія Вѣд.» помѣщали у себя не разъ и прежде мои статьи, помѣстили цѣликомъ и въ прошломъ 1880 г. въ 131 номерѣ, большую мою статью: *Путешествіе по де-*

брямъ славянской анатичности, дряблости и псевдомеценатства. Въ ней разсказана исторія созданія и появленія моихъ словарей, исторія печальная по ледяному равнодушію, съ какимъ и публика, и пресса встрѣтили мои словари, и, съ тѣмъ вмѣстѣ, утѣшительная по великодушію и щедрости въ Бозѣ почившаго Царя-мученика, державнаго мецената, поддержавшаго меня и давшаго мнѣ возможность довершать начатое, на пользу обществу, дѣло созданія *раціональной международной лексикографіи.* Статья эта будетъ помѣщена въ приложеніи: *Исторія созданія моихъ словарей.* Въ заключеніе повторяю: дни мои сочтены. И если я очень мало беллетристическаго оставлю послѣ себя (не по моей винѣ, а по милости, не критиковъ, а злонамѣренныхъ ругателей-зубоскаловъ), то пусть же хоть мои словари свидѣтельствуютъ, что я не совсѣмъ даромъ «жевалъ хлѣбъ», не коптилъ небо, а внесъ и мою посильную лепту на пользу общества. Пускай хоть за словари помянутъ меня не лихомъ, а добрымъ словомъ.

Такъ какъ я вознамѣрился вылить изъ моего сердца все, что копилось и накопилось въ немъ годами, сладкое-ли, горькое-ли,—послѣдняго, разумѣется, болѣе, нежели перваго; вознамѣрился ничего не брать съ собою въ могилу; — объ этомъ не разъ заявлялъ я въ *Моихъ воспоминаніяхъ*,—то поговорю объ одной, не совсѣмъ красивой чертѣ моихъ соотечественниковъ, славяноскиѳовъ. Не спорю: натура русская—натура весьма добродушная, гостепріимная и даже порою широкая, но только широкая не всегда и не во всемъ. Я уже говорилъ кой-что выше о щедрости славянской натуры относительно тщеславія, моды, субъективнаго комфорта и *чревоугодія.* Да, мы не жалѣемъ денегъ на пищу для —желудка; но на пищу для ума — скареды; въ особенности на крупныя лепты для общаго блага. Такихъ личностей, какъ Стеверты, Пибоди, миссъ Кутсъ, Монтіоны у насъ, кажется, не было, да едвали и будутъ. Пародіи на маленькихъ, миніатюрныхъ Лукулловъ бывали и будутъ. Да еще, пожалуй, время отъ времени, какая нибудь гильдейская бородка раскошелится, но не больно широко; раскошелится ради—пріобрѣтенія золотой медали. Но возвращусь къ славяноскиѳской скаредности на пищу для ума, т. е. на книги.

Во Франціи, Англіи, даже въ Германіи хорошей новой беллетристической книги въ одинъ мѣсяцъ расходится иногда нѣсколько тысячъ экземпляровъ. А хорошей научной книги, какой еще не появлялось и какая необходима каждому мало-мальски порядочному человѣку, разойдется въ годъ два, три изданія. Напр.: словарь Бешереля, довольно дорогой, въ короткое время достигъ 10-го изданія. У насъ же далеко не то и не такъ. Въ 14 лѣтъ распродано только два изданія моихъ пол-



ныхъ словарей. У насъ: пусть Тургеневъ, помноженный на Гончарова, будетъ помноженъ еще на гр. Толстаго; пусть они напишутъ и издадутъ дивную книгу. Ну, какъ продадутъ ее болѣе тысячи экземпляровъ въ годъ, такъ это—тріумфъ небывалый, чудовищный (въ Парижѣ продавалось и продается иногда по нѣсколько десятковъ тысячъ экземпляровъ въ годъ нѣкоторыхъ романовъ). А почему же такъ? Потому что въ Парижѣ каждый порядочный человѣкъ со средствами, увидавъ у знакомаго новую, интересную для него книгу, пойдетъ и купитъ ее. А у насъ? «Ахъ какъ хороша эта книга! *Одолжите мнѣ ее прочесть*», скажетъ интеллигентъ знакомому интеллигенту. Ну, и возьметъ, а не купитъ, хоть средствъ у него на десять такихъ книгъ. А послѣ него десятка два и другихъ такихъ же любознательныхъ и скаредныхъ интеллигентовъ тоже возьмутъ почитать на шаромыжку ту же самую книгу. И хорошо, если черезъ полгода новая книга вернется къ своему владѣльцу въ видѣ лапши. А то,—и это всего чаще,—и вовсе зачитаютъ ее... Скареды. А на устрицы, на тонкіе обѣды съ тонкими винами у какого нибудь обдирательствующаго французика-ресторана не пожалѣютъ оставить въ одинъ разъ стоимость десяти хорошихъ книгъ. Сколько зачитали у меня книгъ и разрознили французскихъ «revues!» Нѣсть бо числа. Не разъ случалось мнѣ быть самому свидѣтелемъ, или слышать о сценахъ въ родѣ слѣдующей:

Гостиная комъильфо. Меблировка и освѣщеніе комъильфо. Хозяинъ и хозяйка—комъильфо. Гости—комъильфо, все интеллигенты первый сортъ. Бесѣдуетъ все о матерьяхъ важныхъ, объ улучшеніи... чего-то, необходимаго для преуспѣянія человѣчества, хоть бы о томъ, какъ посвирѣпѣе обругать того-то и еще то-то. И вдругъ одинъ изъ интеллигентовъ возвѣщаетъ:

— Гг.! знаете-ли, что вышла новая книга, великолѣпнѣйшая, такая-то?

— Ахъ, какое счастіе! Мнѣ до зарѣзу нужна именно такая книга. А у кого она продается и что стоитъ?—спросятъ въ одинъ голосъ трое изъ интеллигентовъ-комъильфо.

— Продается тамъ-то, стоитъ 3 рубля.

— Непремѣнно и сегодня же куплю, — скажутъ всѣ трое. Остальная интеллигентная компанія съ полнѣйшимъ равнодушіемъ и гробовымъ молчаніемъ встрѣчаютъ сообщеніе о выходѣ великолѣпной книги: *неинтересно*. Вдругъ другой кто либо изъ присутствующихъ провозгласитъ:

— А знаете ли, гг., новость?

— Какую?

— Очень интересную: открылся новый ресторанъ, гдѣ великолѣпно кормятъ. — Всѣ лица проясняются, сіяютъ отъ удовольствія: *интересно*..

— А гдѣ же этотъ ресторанъ? — спрашиваютъ въ одинъ голосъ всѣ безъ исключенія.

— На углу такой-то и такой-то. Въ два рубля прекрасный обѣдъ; а въ три — чудо, объяденіе, пальчики обсосешь. У Бореля и за пять рублей не дадутъ такого. — Впечатлѣніе на всю честную компанію громадное, равносильное впечатлѣнію отъ извѣстія о побѣдѣ подъ Геокъ-Тепе. Наконецъ гостиная комъ-ильфо пустѣетъ. Трое изъ интеллигентовъ комъ-ильфо выходятъ въ глубокомъ раздумьи. Новая книга нужна имъ до зарѣзу. Каждый изъ нихъ повѣряетъ свои наличные капиталы: двѣ трехрублевки да нѣсколько мелочи. И потому: три рубля за книгу, а три на обѣды у Мильбрета до полученія жалованья или гонорара отъ патрона. Итакъ каждый изъ трехъ поворачиваетъ въ лѣво за книгой. Останавливается, глубоко задумывается, гораздо глубже, нежели Ньютонъ надъ открытіемъ закона тяготѣнія. Ну, и предметъ-то поважнѣе: великолѣпный обѣдъ за три рубля, какого Борель не дастъ и за пять. Думаетъ, думаетъ и поворачиваетъ назадъ къ новому ресторану. Опять остановится, позадумается, повернетъ назадъ, снова остановится. И такимъ образомъ послѣ долгихъ размышленій, колебаній, лавированій то налѣво, то направо, въ концѣ концовъ воскликнетъ:—Да ну, ее, успѣю купить и послѣ!... То ли дѣло обѣдъ въ три р., который лучше пятирублеваго у Бореля. — Итакъ, пойдетъ, прожретъ три рубля, а книги такъ-таки и не купитъ. И молодые, и пожилые, и старые славяноскивы — точно также скаредны на покупку книгъ, но не на обжорство. О герои гастрономіи и сладко-обжорства!... Въ половые вамъ, а не въ герои. Въ продавцы блиновъ, да только Меньшиковыхъ изъ васъ никогда не выйдетъ.

Итакъ, наконецъ-то я весь передъ вами, любезныя читательницы и читатели, со всѣми моими грѣхами, недостатками, заблужденіями, увлеченіями, безъ малѣйшей утайки. Судите и рѣшайте со всею строгостію, но и съ безпристрастіемъ: чего я стою? Можно ли меня помиловать, или слѣдуетъ казнить, какъ это сдѣлали двадцать лѣтъ тому назадъ, за мою «Задушевную Исповѣдь», въ концѣ которой обращался я къ суду общественнаго мнѣнія съ слѣдующими словами:

«Надѣюсь, что между семидесятью семью милліонами моихъ согражданъ, найдется довольно благородныхъ, безпристрастныхъ и независимыхъ сердецъ, на которыя не подѣйствуетъ обаяніе чужихъ милліоновъ, и которыя не побоятся произнести неподкупное и справедливое мнѣніе; не

побоятся осудить кичливость ложныхъ доблестей, неправду, лицемѣріе, и жестокосердіе, какъ бы искусно ихъ ни маскировали, какъ бы глубоко ни прятали подъ кучею банковыхъ билетовъ, акцій, домовъ и картинныхъ галлерей».

Увы! обращеніе это было гласомъ вопіющаго въ пустынѣ. «Задушевную Исповѣдь» поняли, т. е. захотѣли понять превратно, перетолковали вкривь и вкось, и чуть не побили меня за нее камнями, не устыдились открыть въ ней будто-бы «корыстныя цѣли» (это въ «Задушевной-то Исповѣди», гдѣ такъ ярко проглядываетъ полное мое безкорыстіе). Неужели придется мнѣ и теперь испытать тоже самое? Неужели придется мнѣ продолжать носить съ собою и унести въ могилу безотрадную мысль, что въ русскомъ обществѣ нѣтъ правды; что эта правда умерщвлена, заклана на жертвенникахъ Мамоны.

Впрочемъ весьма трудно и рѣшить-то, что преобладаетъ въ современномъ русскомъ обществѣ: всемертвящее ли медузинское равнодушіе къ честнымъ, но не авторитетнымъ труженикамъ и къ ихъ полезной, но скромной, не блестящей дѣятельности; ко всему ли отвлеченно хорошему, незамаскированному, ненабѣленному, ненарумяненному, ненакрахмаленному, неподдѣльному, не пуфическому и нешарлатанскому; или преобладаетъ въ немъ всеразжигающая, всеразъѣдающая, всерастлѣвающая страсть, бѣшенная скачка, не столько съ препятствіями, сколько съ безстыдствомъ и наглостью къ скорѣйшему обладанію конкретными сладостями жизни и ласками своей безстыжей проститутки-Мамоны, открывающей свои объятія нечистымъ, циническимъ хищникамъ, паразитамъ, искателямъ приключеній, пройдохамъ и воротиламъ большаго или маленькаго свѣта; и раздающая одни только щелчки, да пощечины, да плевки безкорыстію и высокой честности. Конечно не за тридцать сребрениковъ, — pas si bêtes, не стоитъ рукъ марать, — а за какой нибудь милліончикъ, а то пожалуй за какія нибудь сотенки тысченокъ,—и то ладно, годится, подавай сюда,—продали бы и нынѣ Христа, если бы Онъ, по своей неизрѣченной благости и ради вторичнаго спасенія человѣчества, пожелалъ снизойти на землю, въ прокаженно-культурную современную среду. И не одинъ, какъ во времена царства іудейскаго, а цѣлыя тысячи, десятки тысячъ нашлось бы современныхъ Іудъ предателей въ нашей преслову-той, т. е. самохвальной цивилизаціи ради такого милліоннаго гешефта.

Такъ вотъ, за неимѣніемъ божественныхъ агнцевъ, и продаютъ теперь, и распинаютъ безусловно-честныхъ праведниковъ, и при этомъ, pour la bonne bouche, продаютъ и свою честь, и свою совѣсть, и свое отечество, благо оно долготерпѣливо и многомилостиво. Шарлатан-

ство, нахальство, наглость и, съ тѣмъ вмѣстѣ, холопство, повсемѣстная ложь, неумолкное лганье, обманы, надувательство, вымогательство, безстыжіе мѣдные лбы, погоня за теплыми мѣстами, хотя бы и безъ почета, безъ почестей, или за почетомъ и почестями, но только съ теплыми мѣстечками; хапанье, цапанье, поголовное хищничество и ограбленіе безграмотныхъ и беззащитныхъ массъ; субъективное и объективное порабощеніе, запродажа себя au plus offrant: вотъ девизы, эмблемы, излюбленные идеалы пресловутой культуры второй половины XIX-го столѣтія....

И послѣ всего этого мы осмѣливаемся карабкаться на гнилые, но высокіе заборы, или на огромныя навозныя кучи и, съ этихъ достойныхъ насъ подножій, съ языческимъ самообожаніемъ, съ слѣпымъ самообольщеніемъ, съ нахальнымъ самовосхваленіемъ дерзаемъ выкрикивать торжественное, побѣдное «кукареку» въ честь и прославленіе вышерѣченной хромоногой культуры.... Прочь это омерзительное идолопоклонство! Срывайте съ себя блестящія праздничныя ризы всѣ вы культурные шаманы, жрецы, сеиды и поклонники Мамоны! Смолкните лжехвалебные гимны и кантаты позолоченнымъ болванчикамъ, божкамъ и богинькамъ. Снимите замки и заклепы съ устъ *безусловной правды*, перестаньте распинать ее, не на крестѣ, а на позорныхъ листкахъ продажныхъ панегиристовъ или наемныхъ ругателей; сбросьте траурную арестантскую одежду съ гражданской доблести, перестаньте рыть ей могилу, играть похоронный маршъ; плачьте, рыдайте, кайтесь и *закайтесь*: лучше поздно, чѣмъ никогда. Это будетъ жертва, достойная Бога истиннаго, Бога правды, чести, честности, неподкупнаго правосудія и строгой справедливости; любви къ ближнему, къ отечеству, ко всему человѣчеству. Словомъ: «совлеките съ себя ветхаго человѣка и болѣе къ нему не возвращайтесь». Это будетъ истинная, а не поддѣльная, не облыжная гуманность; здоровая, а не худосочная, не изъѣденная термитами цивилизація; словомъ: это будетъ не полу, а полный прогресъ; не трусливый, не крадущійся ощупью въ полумракѣ; а смѣлый, съ открытымъ челомъ, спокойный, безъ колебаній, безъ судорожныхъ прыжковъ и бѣшеныхъ скачковъ черезъ неуравненную предварительно почву, безъ сошествія съ рельсовъ и безъ постыднаго торможенія или попячиванья.

Вотъ тогда, и только тогда взойдетъ и заблещетъ солнце Безусловной Правды, надъ головами обновленнаго и спасеннаго человѣчества.

Вотъ тогда, и только тогда притупятся кинжалы, заржавѣютъ револьверы, затонетъ динамитъ и нитроглицеринъ въ спасительныхъ волнахъ всепрощенія и всепримиренія.

Смолкнетъ тогда и звукъ цѣпей и не будетъ раздаваться грохотъ разстрѣливаній, перегніютъ и перервутся веревки для вѣшаній, заржавѣетъ и сломается лезвіе гильотины; умолкнетъ на вѣки громъ скорострѣльныхъ ружей и нарѣзныхъ пушекъ, а за нимъ и... трескъ барабановъ.

И всюду распространятся и воцарятся на землѣ не перемежающіяся, а постоянныя—свѣтъ и тепло, знаніе и любовь; тишина, спокойствіе, согласіе и... ненарушимый, вѣчный миръ.

Но нѣтъ! Еще не придумано дѣйствительныхъ намордниковъ на злобу человѣческую; смиреніе незнакомо людской гордынѣ; развращенное и ожесточенное сердце потомковъ Авеля и Каина не смягчится, не умиротворится никогда.

Пусть же снова возстанутъ и ополчатся на меня обломки зубоскаловъ и писакъ шестидесятыхъ годовъ, если не всѣ они потонули въ водахъ Гапсаля или въ волнахъ Леты, въ пучинѣ общественнаго забвенія и... презрѣнія.

Смѣйтесь же, хохочите безумно, кощунствуйте, издѣвайтесь и наругайтесь надо мною; швыряйте грязью въ мои сѣдины.... Я и самъ буду теперь тоже хохотать и смѣяться надъ вами, потому что недолго придется вамъ такъ издѣваться и наругаться: жертва скоро ускользнетъ изъ вашихъ шелудивыхъ рукъ.

Чу! Стукнулъ о камень заступъ, роющій для меня могилу. Скоро застучитъ и молотъ, заколачивающій гвоздями крышу моего послѣдняго, досчатаго, тѣснаго и темнаго жилища. И опустятъ въ свѣжую могилу, и засыплютъ сырой землей это досчатое, тѣсное жилище, мое вѣрное, надежное убѣжище.... И я спасенъ, застрахованъ на вѣки отъ злобы людской; и не оскорбится болѣе слухъ мой ни чьей хулой, ни чьей бранью....

Вотъ мои послѣднія, предсмертныя, ab imo pectore, слова.

Acta est fabula.

И отъ субъективнаго перехожу къ повѣствованію объективному.

. . . . . .

О память моя!... Куда же ты дѣлась? Что сталось съ тобою? Заѣли тебя, мою голубушку 72 года моей измученной, страдальческой жизни. Сколько я ни припоминалъ, сколько ни шарилъ въ этой измѣняющей мнѣ памяти, а далеко не все припомнилъ, все остается еще припомнить и говорить о многомъ интересномъ, не разсказанномъ. Напр.: говоря о важной, но дорогой моей теткѣ, Шиповой, у меня изъ ума вонъ было

поговорить о другой, далеко не заурядной теткѣ. Это — княгиня Марья Павловна Волконская, жена племянника бывшаго министра двора, князя Петра Мих. Волконскаго. А тетка эта была ангелъ добрѣйшаго сердца, прекраснаго характера и основательнаго ума, а въ молодости необыкновенная красавица, и самый вѣрный, пламенный другъ моей покойной матери во время ихъ дѣвичества. Онѣ были неразлучны, вмѣстѣ влюблялись, вздыхали, мечтали, но не такъ какъ нынѣ: о богатѣйшихъ мужьяхъ или даже и не о мужьяхъ, а о сотрудникахъ *по воровству милліоновъ изъ какого нибудь казначейства*, или просто *по динамиту*. Нѣтъ! онѣ мечтали о матеріяхъ далеко не столь важныхъ, о предметахъ далеко не столь возвышенныхъ, а только: о лунныхъ ночахъ на берегу журчащихъ ручейковъ, о «Малекъ Аделяхъ» и о вѣрной къ нимъ любви до гробовой доски и даже за предѣлами этой доски. Заводили себѣ альбомы и исписывали въ нихъ страницы нѣжнѣйшими произведеніями тогдашней піитики, въ родѣ слѣдующаго:

Ударилъ часъ, мѣдь зазвучала
И будто стоны издала;
Слеза на грудь мою упала,
Душа заныла, замерла.
Свершилось все, разстаться должно,
Коль рокъ претитъ намъ вмѣстѣ быть;
Судьбѣ повиноваться можно,
Но льзя-ль не плакать, не грустить *).

И такъ далѣе, нѣсколько строфъ все въ томъ же чувствительномъ, минорномъ тонѣ. Потомъ мать моя вышла за моего отца, а ея кузина за князя Волконскаго, красавца, и хотя умомъ не доходившаго ей и до щиколотки, но добраго, честнаго и съ состояніемъ молодаго человѣка, да еще и сіятельнаго, со связями. Разстались двѣ неразлучныя до того кузины, и потомъ одна изъ нихъ умерла отъ тоски по сынѣ въ 1815 году, а другая уѣхала въ Петербургъ съ мужемъ, поступившимъ тотчасъ же на придворную службу. Затѣмъ ни слуху ни духу не было о ней въ семьѣ моего отца, и я даже не подозрѣвалъ, что у меня въ

*) Эти стихи, еще въ дѣтствѣ, вычиталъ и затвердилъ я изъ альбома, оставшагося послѣ моей матери, только что научившись читать. И съ какимъ же чувствомъ я, восьмилѣтній мальчикъ, декламировалъ тогда эти строфы и чуть не плакалъ.

Петербургѣ есть тетка, да еще сіятельная. Открытіе ее для меня было сдѣлано потомъ въ маѣ 1834 года, и не самимъ мною, а моими крѣпостными костромскими оброчниками. Я хотѣлъ разсказать этотъ весьма интересный эпизодъ въ одной изъ будущихъ книгъ «Воспоминаній», но Богъ вѣсть, доживу ли я до тѣхъ поръ, и потому дѣлаю это теперь же.

Вскорѣ послѣ отказа моего — сдѣлаться *преуспѣвающимъ чиновникомъ*, — помните, читатель?—и недѣли за двѣ до отъѣзда моего изъ Петербурга на родину, однажды утромъ является ко мнѣ одинъ изъ моихъ оброчниковъ и, въ роли моего Колумба, докладываетъ:

— Ваша тетенька Марья Павловна приказали вамъ кланяться и очень просятъ васъ пожаловать къ ней завтра утромъ на Захарьевскую улицу.

— Какая тетенька?—спросилъ я съ изумленіемъ.

— Да княгиня Марья Павловна Волконская, ваша тетенька.

«Тетенька Марья Павловна, да еще и княгиня! Господи! Да за что же на меня такая напасть, такое сіятельное нашествіе?—И откуда взялась такая тетушка»? Не сказалъ, а подумалъ я и ничего не отвѣчалъ моему Колумбу. На другое утро тотъ же визитъ, но со словеснымъ дополненіемъ:

— Княгиня Марья Павловна и самъ князь Николай Петровичъ (мой круглый тезка) оченно просятъ васъ пожаловать къ нимъ. — Но я продолжаю faire la sourde oreille. На третье утро новый визитъ моего Колумба и съ новымъ дополненіемъ:

— И княгиня, ваша тетенька, и князь, и три княжны, ваши сестрицы, и оба молодыхъ князя, очепно, оченно просятъ васъ пожаловать къ нимъ.—Ничего не подѣлаешь. Послѣ третьяго и такого рѣшительнаго приступа, крѣпость должна была сдаться. Напяливаю на себя фракъ, взбиваю огромнѣйшій кокъ и, въ величайшемъ волненіи, отправляюсь на Захарьевскую. Ахъ! отчего не уѣхалъ я отсюда недѣлею ранѣе? думалось мнѣ. Вотъ я и у двери, на которой сіяетъ мѣдная досточка, а на ней сіяетъ: *Князь Николай Петровичъ Волконскій*. Съ замираніемъ сердца дергаю за ручку колокольчика. «Ну, какъ они *важные*? пропала моя головушка»! подумалъ я въ эту торжественную для моей «букости» минуту. Но вотъ дверь настежь. Вхожу въ переднюю, изъ которой въ полурастворенную дверь въ залъ, усматриваю цѣлую группу сіятельныхъ и сіяющихъ дамъ и мущинъ. Вхожу, пренеловко раскланиваюсь, преробко расшаркиваюсь, рекомендуюсь и.... менѣе, нежели черезъ часъ, я былъ въ семействѣ какъ свой, какъ съизмала знакомый и дорогой родной; такъ ласково, такъ радушно, съ такою непритворною радостью

встрѣтили меня и тетка, и князь, и молодые князья, и, въ особенности, княгиня и молодыя княжны, мои кузины.

Сорокъ шесть лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ. Сколько бурь, ураганов пронеслось надъ моей головой и разрушило до тла нѣсколько храмовъ моего счастія, или вѣрнѣе, проблесковъ счастія. Сокрушены всѣ мои надежды, вѣрованія, идеалы, ожиданія и исканія чего-то?.. чего-же?.. чего здѣсь нѣтъ.... Быть можетъ оно Тамъ, куда не замедлю отправиться. Сокрушили бури и ураганы все... кромѣ энергіи: она всецѣло при мнѣ, такая же, какою была и полвѣка тому назадъ. Многіе мои знакомые утверждаютъ, что будто бы я нисколько не состарѣлся.... сердцемъ и душою, разумѣется, а пожалуй воображеніемъ и умомъ, но не плотію... Можетъ быть. Не мнѣ судить объ этомъ. Знаю навѣрное только одно: надъ всѣми этими воспоминаніями, горькими или сладкими, царитъ въ моей душѣ, преобладаетъ надо всѣмъ остальнымъ одна неизбывная мысль, одно затаенное и *самое горькое* сознаніе, что мои необычайныя терпѣніе и настойчивость, при незнаніи усталости, что моя титаническая, несокрушимая энергія, будь она во время признана и поощрена, могла бы сдвинуть горы, а сдвинула только лексикографическіе холмики, да еще нѣсколько музыкальныхъ кочекъ, т. е. вызвала въ нѣкоторыхъ брюссельскихъ газетахъ самые лестные отзывы о моей игрѣ на гитарѣ.... quelle misère!.. Словомъ: истрачена, пропала почти даромъ моя энергія, потому что, двадцать лѣтъ тому назадъ (сколько могъ бы я сдѣлать хорошаго въ такой длинный періодъ времени!) русская періодическая пресса признала меня ниже всякой посредственности, бездарнымъ, неспособнымъ, негоднымъ ни на что, просто дурнымъ человѣкомъ; и затѣмъ въ этомъ духѣ и смыслѣ продолжались ея отношенія ко мнѣ... Но возвращаюсь за нѣсколько строкъ назадъ.

Итакъ, сорокъ шесть лѣтъ прошло со дня перваго моего свиданія съ семействомъ Волконскихъ, а какъ живо представляется мнѣ эта сцена, воспоминаніе о которой, кажется, помолодило меня, сбросило на мигъ съ моихъ плечъ эти сорокъ шесть лѣтъ и неудержимая слеза благодарности сверкнула въ моихъ потухающихъ глазахъ и тихо скатилась по моимъ поблеклымъ и щетинистымъ щекамъ; слеза благодарности къ покойной теткѣ и къ покойному князю и тоже къ покойнымъ, молодымъ тогда князьямъ, и къ тремъ живущимъ еще княжнамъ; слеза глубокой благодарности за тѣ минуты чистѣйшаго счастія, которое согрѣло, озарило мою сиротскую жизнь и въ минуту перваго знакомства, и потомъ, по возвращеніи моемъ изъ деревни дяди и по вступленіи вновь на службу, продолжало согрѣвать и озарять меня отъ начала 1836 по апрѣль 1837 г.;

когда я уѣхалъ въ отпускъ для вступленія въ первый мой бракъ съ Болтиной. Потомъ не пріѣзжалъ я въ Петербургъ до 1840 года, и тогда не засталъ уже въ живыхъ моей безподобной, несравненной тетки. Миръ праху твоему добрѣйшая, благороднѣйшая и умнѣйшая женщина!

Какіе счастливые дни, и сколько ихъ провелъ я тогда въ этомъ прелестномъ семействѣ, въ продолженіи четырнадцати мѣсяцевъ! Бывало чуть навернется свободное время: ни службы, ни ученья, — я драло изъ казармъ къ теткѣ на Захарьевскую, днюю тамъ и ночую, провожу иногда два, три дня сряду и болѣе, пока недадутъ мнѣ знать изъ казармъ, что предстоитъ служба или ученье. Старшая княжна, Надина, степенная, серьезная, относилась къ жизни разумно-сдержанно. Меньшая, двѣнадцатилѣтняя Мари,—проектъ будущей ослѣпительной красавицы, проектъ вполнѣ осуществившійся въ сороковыхъ годахъ, но увы! безплодно. Впрочемъ, и всѣ три княжны остались дѣвицами, хотя и съ хорошимъ состояніемъ. Но средняя, Эмили, семнадцатилѣтняя шатинка: что это было за прелестное, поэтическое созданіе! Распрехорошенькая, безъ классической красоты, но выше всякой классической симпатичностью своего очаровательнаго, русско-прекраснаго личика, стройностью своей граціозной фигуры, а главное: умна и остроумна какъ Ривароль или какъ Бомарше; слегка насмѣшлива, но безъ малѣйшей злости, всегда ровная, веселая, живая, находчивая и смѣлая, премило пѣла и была утѣхою, веселіемъ всѣхъ, и своихъ и чужихъ, знакомыхъ. Сколько бывало забавныхъ разсказовъ, острыхъ словъ, передразниваній, смѣху до слезъ, уморительныхъ, импровизированныхъ игръ; и надъ всѣмъ этимъ царила постоянная, свѣтлая, невозмутимая радость, безъ малѣйшей тѣни или облачка. Начну я, бывало, представлять влюбленнаго рыцаря, жестикулирующаго у подошвы высокой башни и порывающагося освободить заключенную тамъ принцессу. Затѣмъ, гитару въ руки и давай распѣвать, на голосъ, извѣстный тогда: «Охъ кутить, такъ кутить», куплеты на танцовальные вечера одного превосходительнаго дома, куплеты, сочиненные всѣми нами en commandite. Вотъ образчикъ:

Эй, честные господа!
Собирайтеся сюда,
Вы послушайте разсказы
Про чудесные проказы.
Что у Ма—ковыхъ балъ,
Словно чортъ съ печи упалъ,
Тамъ нагонъ курьезныхъ лицъ
Изъ деревень и столицъ.

Куплетовъ было много, потому что мы перебрали поочередно почти всѣхъ многочисленныхъ посѣтителей превосходительныхъ вторниковъ, посѣтителей обоего пола, и молодыхъ и старыхъ, въ особенности нѣкоторыхъ офицериковъ, чиновничковъ, съ орденами и безъ «оныхъ», и барышенъ; барынь трогали рѣдко: да ну ихъ!.. Но офицериканъ, но чиновничкамъ?.. бѣда! доставалось на орѣхи. Но что особенно увеличивало для меня очарованіе этого дома, такъ это то, что я не встрѣчалъ тамъ никакихъ превосходительныхъ, кромѣ одного, и то весьма рѣдко. Это— Бекленишевъ, шталмейстеръ Двора, женатый на сестрѣ князя. Ктому же это былъ прекраснѣйшій человѣкъ.

О, двадцати четырехлѣтній возрастъ! О молодость! Какъ скоро прошла ты, и куда ушла?.. И уже никогда не повторишься ты, не вернешься и не развеселишь печальныхъ думъ старика — безъ малѣйшей надежды на лучшіе дни, на улыбку судьбы, на сочувствіе толпы, падающей ницъ передъ авторитетами, но презрительно пожимающей плечами при взглядѣ на неавторитеты, хотя бы это были и весьма полезные дѣятели; на ихъ скорби и страданія. О мода! о судьба! И неизмѣнитесь вы никогда къ лучшему, а развѣ только къ худшему... Возвращаюсь къ теткѣ.

Съ какой ангельской добротою, заботливостью и любовью, съ настоящею материнскою нѣжностью ухаживала она за мною, старалась развлечь меня, развозя по вечерамъ и баламъ, чтобы спасти меня отъ самоубійства или отъ сумасшествія, въ концѣ 1836 и въ началѣ 1837 года, въ тѣ страшные дни и часы мрачнаго отчаянія, которые наступили для меня, по полученіи въ ноябрѣ 1836 года отъ моего будущаго тестя Болтина, перваго письма, въ которомъ онъ писалъ: «Дочь моя слишкомъ молода, и потому я не могу согласиться на бракъ ея съ вами». А вѣдь это была моя вторая страстная, безумная, безпредѣльная любовь; любовь, награжденная полнѣйшею взаимностью и затѣмъ полнѣйшимъ счастіемъ, послѣдовавшимъ послѣ втораго письма Болтина, въ апрѣлѣ 1837 года, въ которомъ онъ писалъ мнѣ: «Убѣдившись въ искренней, глубокой любви къ вамъ моей дочери, я даю свое согласіе на бракъ ея съ вами». Даже это письмо получилъ я въ домѣ тетки, гдѣ гостилъ я уже съ недѣлю, числясь больнымъ и ускользнувъ изъ казармъ. Но объ этомъ второмъ моемъ романѣ будетъ подробнѣе послѣ, въ 9-й книгѣ «Воспоминаній».

Въ самомъ дѣлѣ, какой романъ!.. Что я?.. Не одинъ, а нѣсколько, и интереснѣйшихъ романовъ и нѣсколько потрясающихъ драмъ вмѣщаетъ въ себѣ моя жизнь, это порою тихое, благополучное, подъ яснымъ небомъ, а нанчаще бурное, со шквалами и штормами плаваніе по житей-

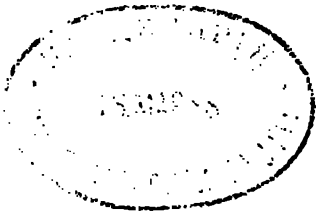
скому морю, отъ берега несчастнаго рожденія и до берега вѣчнаго успокоенія. Я написалъ шесть романовъ, правда, субъективныхъ, но за то и обруганныхъ или забракованныхъ. А какой нибудь покойный Ал. Дюма съумѣлъ бы выкроить изъ моей жизни, по меньшей мѣрѣ, романовъ двѣнадцать, да еще, не въ счетъ абонемента, нѣсколько драмъ. О многихъ изъ нихъ я поразскажу далѣе много весьма интереснаго.

МОИ
СЕМИДЕСЯТИЛѢТНІЯ
ВОСПОМИНАНІЯ
И СЪ ТѢМЪ ВМѢСТѢ
МОЯ ПОЛНАЯ ПРЕДСМЕРТНАЯ ИСПОВѢДЬ.

Н. МАКАРОВА.

Дѣла давно минувшихъ дней,
Преданья старины глубокой.
(Пушкинъ).

Пусть будетъ пѣснь твоя дика. Какъ мой вѣнецъ
Мнѣ тягостны веселья звуки!
Я говорю тебѣ: я слезъ хочу, пѣвецъ,
Иль разорвется грудь отъ муки.
Страданьями была упитана она,
Томилась долго и безмолвно;
И грозный часъ насталъ — теперь она полна,
Какъ кубокъ смерти яда полный.
(Лермонтовъ изъ Байрона.)

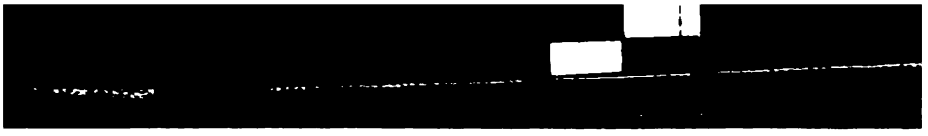


ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія Трвнна и Фюсно (Максимиліановскій переулокъ, № 15).
1881.

КНИГА ТРЕТЬЯ.

ПРОДОЛЖЕНІЕ МОЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ И МОЕЙ ИСПОВѢДИ.



I.

Настойчивость и борьба съ трудностями *).

Между особенностями моего характера была слѣдующая: равнодушіе къ легкому, страсть къ трудному. Когда я брался за что либо и потомъ это оказывалось очень легкимъ, я тотчасъ же охладѣвалъ къ труду и, за нѣкоторыми исключеніями, бросалъ начатое дѣло, если оно не требовалось настоятельно ни общественною, ни частною пользою: «игра не стоитъ свѣчъ», оправдывалъ я тогда свое непостоянство. Но если это было что нибудь трудное, мозольное, я прилѣплялся къ дѣлу. И чѣмъ болѣе представлялось трудностей, тѣмъ упорнѣе, горячѣе продолжалъ я работать, не досыпалъ, не доѣдалъ, забывалъ все и до тѣхъ поръ не успокоивался, пока дѣло не давалось мнѣ въ руки, если не черезъ блистательный приступъ, то хотя съ помощію продолжительной осады. Приведу нѣсколько примѣровъ моихъ терпѣнія и настойчивости, большую часть которыхъ беру изъ моей школьной жизни въ Варшавѣ.

Первая трудность, какая представилась мнѣ сейчасъ же по прибытіи въ школу гв. подпрапорщиковъ (въ сентябрѣ 1826 года), это—ни разу не попасть подъ арестъ.

— Это не только трудно, но положительно невозможно. Если не за себя, то за другихъ попадешь подъ арестъ. Что ни дѣлай, какъ ни старайся, а подъ арестомъ посидѣть надо; безъ этого еще никто не обходился до сихъ поръ,—говорили мнѣ новые мои товарищи.—И тѣмъ болѣе невозможно, что большая часть школьнаго начальства—свирѣпа и даже ехидна.

— Я люблю все, что очень трудно,—отвѣчалъ я,—и потому постараюсь не быть ни разу подъ арестомъ.—И я поставилъ на своемъ: съумѣлъ избѣгнуть всѣхъ тѣхъ многочисленныхъ подводныхъ камней, какими обыкновенно бывала усѣяна служба нижнихъ чиновъ въ Вар-

*) Глава эта написана лѣтомъ нынѣшняго 1881 года, написана для полнѣйшаго изображенія моей личности.

шавѣ, и *ни разу не былъ подъ арестомъ*. Для этого я ни разу не опоздалъ ни на перекличку, ни на ученье, ни въ классы, не былъ замѣченъ ни въ малѣйшей неисправности. А послѣ двухъ лѣтъ такой строгой акуратности, если и случалась со мною какая нибудь не важная неисправность, или вѣрнѣе—разсѣянность, то меня уже не наказывали; но, пробывъ въ школѣ четыре года, я все-таки не позволилъ себѣ ни малѣйшаго упущенія ни на службѣ, ни внѣ службы. Вотъ когда и гдѣ зародилась во мнѣ привычка ходить чрезвычайно скоро. Скорая ходьба вошла мнѣ въ плоть и кровь: я не могъ ходить умѣреннымъ шагомъ, всегда и всюду ходилъ шагомъ бѣглымъ подъ вліяніемъ idée fixe, чтобы не опоздать. Не устранить, а лишь смягчить эту мою вторую натуру могли только мои семидесятые годы. А вотъ вторая трудность.

Однажды явился въ школу какой-то еврей, который, въ огромной обѣденной залѣ и въ присутствіи юнкеровъ, сыгралъ нѣсколько піэсъ на деревянной гармоникѣ. Необыкновенность инструмента поразила меня. Любознательный во всемъ, въ особенности въ дѣлѣ музыки, я подошелъ къ еврею и разсмотрѣлъ тщательно немногосложное устройство его инструмента, состоявшаго изъ небольшихъ брусковъ сосноваго дерева, положенныхъ на длинные, цилиндрическіе пучки соломы, и ударяемыхъ палочками, въ родѣ барабанныхъ, но гораздо меньшаго размѣра.

— Ужъ не думаешь ли ты самъ сдѣлать такую гармонику?—спросилъ меня насмѣшливо одинъ изъ моихъ товарищей. Вопросъ этотъ задѣлъ меня за живое и я сказалъ:

— А почему жъ бы и не сдѣлать?—Ну ужъ извини: грибъ съѣшь, и не сдѣлаешь.

— А вотъ увидимъ.—И я тутъ же мысленно порѣшилъ: и гармонику сдѣлаю, и играть на ней буду. Тотчасъ же заказалъ я столяру нѣсколько десятковъ деревянныхъ брусковъ различныхъ длины и толщины и открылъ принципъ тональности: чѣмъ длиннѣе и тоньше брусокъ, тѣмъ издаваемый имъ звукъ ниже, и наоборотъ. Поэтому принялся я строгать или урѣзывать бруски для пониженія или повышенія тона. Такимъ образомъ успѣлъ набрать я тоновъ и полутоновъ на цѣлыхъ три октавы хроматической гаммы. Сверхъ миполетнаго желанія — сдѣлать деревянную гармонику, во мнѣ было сильно возбуждено самолюбіе насмѣшливыми замѣчаніями нѣкоторыхъ товарищей, говорившихъ мнѣ:

— Настоящая ты обезьяна! Готовъ все и у всѣхъ перенимать, даже у евреевъ. Охота мозолить себѣ руки, и все даромъ? Пари держу, что ничего не выйдетъ изъ твоей работы.

— А какъ выйдетъ?

— Не выйдетъ. А если и сдѣлаешь что нибудь подходящее, такъ ничего хорошо не сыграешь.

— Такъ вотъ докажу вамъ противное: и сдѣлаю, и мѣсяца черезъ два сыграю вамъ нѣсколько піесъ и не хуже еврея.

Товарищи-скептики расхохотались и обозвали меня хвастунишкой.

— Rira bien qui rira le dernier (послѣдній смѣхъ лучше перваго),— сказалъ я и болѣе уже ничего не возражалъ на дальнѣйшія замѣчанія скептиковъ. Послѣ десяти дней настойчивой и буквально мозольной работы, гармоника была готова и я принялся сперва за гаммы, а потомъ за разучиваніе піесъ. Но дѣлалъ я это не въ дортуарѣ, а на чердакѣ, куда уходилъ сейчасъ послѣ ученій, которыхъ бывало у насъ по два и по три въ день, и послѣ которыхъ усталые, измученные долгой маршировкой и ружейными пріемами, всѣ юнкера отдыхали на своихъ соломенныхъ матрацахъ и спали богатырскимъ сномъ. Я же не спалъ, а на чердакѣ упражнялся съ увлеченіемъ на моемъ дѣтищѣ. И прежде, чѣмъ окончился назначенный мною срокъ, я уже игралъ на гармоникѣ очень бѣгло и отчетливо нѣсколько вальсовъ, галоповъ, мазурокъ и одинъ полонезъ Курпинскаго. Затѣмъ я возвѣстилъ товарищамъ, что завтра, послѣ перваго ученья, дамъ я концертъ на гармоникѣ во второмъ дортуарѣ (самомъ большомъ). И вотъ собрались во кругъ меня всѣ литовскіе и волынскіе подпрапорщики, и часть польскаго гренадерскаго полка, сколько могло помѣститься въ дортуарѣ. Я сыгралъ два галопа, два вальса, двѣ мазурки и блестящій полонезъ Курпинскаго. Оглушительные браво и рукоплесканія раздались вокругъ меня. Скептики были пристыжены, сознали себя побѣжденными и были въ числѣ самыхъ восторженныхъ слушателей. Торжество мое было полное, неоспоримое. Слава моя разнеслась по всей школѣ, гдѣ было болѣе 300 юнкеровъ. Дня черезъ два меня и мою гармонику пригласили въ дежурную комнату, передъ лицо начальства, которое тоже весьма удивилось, развело руками и хлопало ими, несмотря на свирѣпость нѣкоторыхъ. Затѣмъ началось сущее нашествіе на меня моихъ товарищей изъ трехъ другихъ взводовъ (школа раздѣлялась на два дивизіона и на четыре взвода). Поиграй Макаровъ, сыграй что нибудь, ради Бога дай себя послушать, — слышалось около меня почти ежедневно, а иногда и по нѣскольку разъ въ день. Сильно надоѣло это мнѣ, тѣмъ болѣе, что занялся я гармоникою не по страсти, а единственно изъ настойчивости, изъ желанія доказать, что у меня никакое дѣло не выпадетъ изъ рукъ. Послѣ трехъ мѣсяцевъ игры на самодѣльной гармоникѣ, я подарилъ ее Пукалову (юнкеру волынскаго гвар-

полка, побочному сыну гр. Аракчеева, оригинальнѣйшему изъ всѣхъ оригиналовъ. Подробно буду говорить объ немъ въ одной изъ будущихъ книгъ). Теперь о третьей борьбѣ.

Увидавъ впервые шахматную игру, о которой прежде слыхалъ я, но не имѣлъ ни малѣйшаго понятія, я сейчасъ же изучилъ и полюбилъ эту умную игру. Разумѣется, я игралъ слабо и постоянно получалъ маты. Самолюбіе мое страдало и мнѣ захотѣлось сдѣлаться однимъ изъ лучшихъ шахматистовъ въ школѣ. Но это оказалось для меня весьма трудно, по невозможности упражняться часто въ этой игрѣ, потому что въ литовскомъ полку имѣлась только одна шахматная игра, а купить себѣ другую не могъ я по причинѣ скудныхъ денежныхъ средствъ. Рѣшился я самъ сдѣлать шахматы. Для этого употребилъ я мякишъ свѣжаго пеклеваннаго хлѣба, изъ котораго сдѣлалъ весьма тягучую массу, родъ тѣста. Съ помощію деревянныхъ палочекъ, лопаточекъ и дощечекъ, вылѣпилъ я чрезвычайно правильныя и красивыя шахматныя фигуры и, давъ имъ высохнуть и потомъ задѣлавъ тягучею массою образовавшіяся на нихъ трещины, окрасилъ ихъ въ желтый и черный цвѣтъ и покрылъ лакомъ. Кто не зналъ о моей работѣ, тотъ ни какъ не могъ угадать, что шахматы сдѣланы изъ хлѣба, а не выточены изъ кости или изъ какого нибудь твердаго дерева. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ того я былъ признанъ лучшимъ шахматнымъ игрокомъ въ школѣ, и дѣлалъ безпрестанные маты моимъ прежнимъ побѣдителямъ. Побѣда четвертой трудности.

Въ числѣ разныхъ тѣлесныхъ упражненій, въ школѣ обучали фехтованью на штыкахъ. Изученіе это было не обязательно и его преподавали болѣе для укрѣпленія и развитія физическихъ силъ. Для успѣха въ этомъ искусствѣ требовалась замѣчательная тѣлесная сила, особенно въ правой рукѣ и въ ногахъ и, сверхъ того, необыкновенныя легкость и ловкость для совершенія изумительныхъ прыжковъ, при оборонѣ отъ кавалеристовъ и при нападеніи на нихъ. Хорошій фехтовальщикъ на штыкахъ всегда выбивалъ изъ сѣдла любаго нападавшаго на него кавалериста, а часто и двоихъ.

Вначалѣ былъ я очень тщедушенъ и малосиленъ. Но невзирая на это, а можетъ быть и вслѣдствіе этого я вознамѣрился стать однимъ изъ лучшихъ въ школѣ фехтовальщиковъ. Не только въ классахъ, которые посѣщалъ прилежно, но и внѣ классовъ упражнялся я въ фехтованьи и, въ особенности, старался укрѣпить и развить силу въ правой рукѣ и въ ногахъ. И вполнѣ достигъ этого. Къ концу перваго же года моей школьной жизни, я успѣлъ пройти всѣ классы фехтованья и по-

ступилъ въ самый высшій. На слѣдующій годъ меня сдѣлали инструкторомъ этого искусства и ввѣрили мнѣ одинъ изъ классовъ.

Сверхъ фехтованія,—и это была уже чистая, безцѣльная фантазія, прихоть,—я достигъ необычайной силы въ правой рукѣ посредствомъ извѣстнаго рода борьбы или, какъ это называли, *ломанья* между правыми руками двухъ состязателей. Въ продолженіе всего пребыванія моего въ школѣ, и потомъ долго спустя по выходѣ оттуда, я упражнялся въ этой борьбѣ и пробовалъ *ломаться* со всѣми извѣстными своею силою юнкерами, или постороннимъ лицами, и подъ конецъ дошелъ до того, что не имѣлъ соперниковъ. Всѣхъ и каждаго сломлю и поставлю на колѣни. И соперникъ мой сохраняетъ потомъ воспоминаніе о стальныхъ пальцахъ моей правой руки, не будучи въ состояніи владѣть своею правою въ продолженіи нѣсколькихъ дней.

Я страстно любилъ купанье и, въ особенности, плаванье. Но любилъ, и теперь люблю купаться только тамъ, гдѣ очень глубоко. Купаться въ мелкой водѣ не терплю. Въ Варшавѣ были тогда двѣ школы плаванья: для пѣхоты—въ Маримонтѣ, въ озерѣ, и въ Потокахъ, на Вислѣ; и для кавалеріи—въ Лазенкахъ, въ широкомъ и глубокомъ каналѣ возлѣ казармъ, кажется, подольскаго кирасирскаго полка. Еще до школы, я уже хорошо плавалъ по своему и переплывалъ Вислу, которая была тогда много шире и много глубже, чѣмъ теперь. Потомъ лѣтомъ, въ первый годъ моего пребыванія въ школѣ, я прошелъ и кончилъ полный курсъ плаванія въ кавалерійской школѣ плаванія, а именно: для перехода въ 5-й классъ требовалось проплавать безъ отдыха цѣлый часъ; для 6-го—переплыть Вислу шесть разъ сряду въ самомъ широкомъ ея мѣстѣ; для 7 и послѣдняго — переплыть Вислу два раза въ мундирѣ и съ саблею въ рукѣ; сверхъ того требовалось: нырять, доставать въ глубокомъ мѣстѣ горсть земли или камень со дна Вислы. Но все это не удовлетворяло меня: самое длинное ученіе на водѣ, шеренгами, съ офицерами впереди, командующими разные повороты и построенія; все это продолжалось не болѣе двухъ часовъ сряду. Мнѣ хотѣлось пойти гораздо далѣе, испытать, какъ долго можно проплавать. Долго не удавалось мнѣ произвести такой опытъ. Доходилъ я иногда до 3-хъ, до 3½ часовъ безпрерывнаго плаванія, но идти далѣе, что нибудь помѣшаетъ. Наконецъ дождался: лѣтомъ 1850 года жилъ я въ Москвѣ съ больною женою (со второю) и взялъ билетъ на все лѣто для купанья въ школѣ плаванія, кажется Бока, на Москвѣ-рѣкѣ противъ Кремля. Дошелъ я наконецъ до 4½ часовъ. Во время такого длиннаго плаванія я выпивалъ, не переставая плавать, рюмку водки, закусывалъ

тартинкой, выпивалъ еще рюмку хересу, выкуривалъ нѣсколько папиросъ и читалъ, плавая на спинѣ, *Revue des deux mondes*. И это меня не удовлетворяло: хотѣлъ я дойти до 6-ти часоваго плаванія, въ серединѣ котораго пообѣдать двумя холодными блюдами. Итакъ плаваю я наконецъ 4½ часа безъ малѣйшаго отдыха, даже безъ полеганія на спинѣ. Лѣто было распрежаркое. Многіе купальщики, изъ московской золотой тогдашней молодежи, раза по три пріѣзжали въ школу: покупаются съ полчаса и уѣдутъ, удивляясь, что я все плаваю такъ долго, не отдыхая. А во время моего плаванія, дома происходила слѣдующая сцена.

Пріѣзжаетъ къ больной женѣ моей съ обычнымъ визитомъ Иноземцевъ, Иванъ Ѳед. или Ѳедоръ Иван., не помню хорошо. Онъ былъ нашимъ докторомъ и лечилъ жену отъ ея таинственнаго, никѣмъ не разгаданнаго недуга.

— А гдѣ вашъ мужъ?—спросилъ онъ.

— Плаваетъ.

— Какъ такъ плаваетъ? купается, — хотите вы сказать?

— Нѣтъ, плаваетъ въ школѣ плаванья, и сегодня уже кажется 4½ часа безъ отдыха и завтракаетъ на водѣ.

— Плаваетъ 4½ часа, безъ отдыха и завтракаетъ на водѣ? Вы шутите.

— Не шучу, а говорю сущую правду. Мало того: онъ хочетъ дойти до шести часоваго плаванія и пообѣдать на водѣ.

— Часъ отъ часу не легче! Да въ умѣ ли онъ? Вѣдь съ нимъ какъ разъ можетъ случиться ударъ. Онъ полнокровенъ и нервенъ, лѣто такое жаркое и обѣдать на водѣ! Да сохранитъ его Богъ отъ такого безумія, извините меня, добрѣйшая Софья Михайловна! Уговорите мужа, чтобы онъ прекратилъ такія необыкновенныя упражненія, а купался бы также разумно, какъ и всѣ мы остальные смертные.—Иноземцовъ уѣхалъ. Возвращаюсь я, и жена въ слезахъ, почти рыдая бросается мнѣ на шею и умоляетъ, заклинаетъ меня не продолжать далѣе моихъ плавательныхъ опытовъ, а купаться, какъ купаются другіе. Разумѣется, я сдался на просьбы жены и дальше 4½ не пошелъ, а напротивъ: и двухъ часовъ сряду уже болѣе не плавалъ. Узналъ, что 6½ верстъ могъ проплыть, и довольно. Я считалъ, сколько разъ проплывалъ я взадъ и впередъ длину школы плаванія: выходило 6½ верстъ.

А знаете ли вы, читатель, кто былъ этотъ Иноземцовъ? Сверхъ того, что это былъ—тогдашняя медицинская знаменитость, это была высокая, свѣтлая, гуманная личность, просто—святой человѣкъ, защитникъ, по-

кровитель и спаситель всѣхъ униженныхъ, оскорбленныхъ, всѣхъ несчастныхъ въ Москвѣ, образецъ безкорыстія, безсребренности. Съ благоговѣніемъ произношу твое святое имя, другъ и геній добра и человѣколюбія. И какой поразительный контрастъ представлялъ онъ сравнительно съ другою тогдашнею медицинскою знаменитостію, съ своимъ соперникомъ, пресловутымъ О..... Этотъ антиподъ Иноземцева былъ до того не безсребренъ, и такъ падокъ на корысть, что, взбѣшенный на одномъ консиліумѣ за малую, по его алчнымъ понятіямъ, лепту и, съ тѣмъ вмѣстѣ, сознавая, что какъ-то не ловко изливать свою злобу въ присутствіи паціента и своихъ коллегъ по консиліуму, онъ вышелъ въ прихожую, вынулъ изъ кармана неудовлетворившую его лепту, т. е. кредитный билетъ въ 25 р. сер. и тутъ же въ передней напялилъ его на стѣнной гвоздь, «jurant mais un peu tard qu'on ne l'y prendrait plus», т. е. поклявшись не переступать болѣе порога того дома. Вотъ какіе медицинскіе субъекты процвѣтали тогда въ Москвѣ! Да вѣроятно и нынѣ процвѣтаютъ такіе въ бѣлокаменной. А есть ли тамъ Иноземцевы? Сомнительно. Но въ Петербургѣ подобные безсребренники есть, это мнѣ съ достовѣрностью извѣстно. Наприм., г-жа Суслова, гг. Боковъ (сколько помнится), Ворошиловъ. Всѣ они трое лечили попеременно мою дочь Энгельгардтъ, и ни одинъ изъ нихъ не хотѣлъ ничего брать за свои визиты, говоря: «Вѣдь и вы—такая же какъ и мы труженица. Своими трудами, своими переводами содержите и воспитываете своихъ дѣтей. Такъ было бы намъ и грѣшно, и стыдно брать съ васъ за наши визиты». А мнѣ тоже хорошо знакомъ одинъ такой же безсребреникъ: Ал. Гр. Михалевъ. Превосходный врачъ и прелестный человѣкъ, хорошо извѣстный своею гуманностію и безкорыстіемъ бывшему петербургскому градоначальнику Θед. Θед. Трепову.

Вотъ какія свѣтлыя личности находятся между петербургскими врачами. Впрочемъ, одинъ изъ нихъ, г. Ворошиловъ, кажется теперь находится въ Казани: счастливая Казань. Не знаю, есть ли такіе безсребреники въ Москвѣ? Что-то не слыхать. А объ ихъ антиподахъ, въ особенности объ одномъ, «ребята что-то баяли». Но кто изъ моихъ читателей, прочитавши во 2-й книгѣ бутаду мою о тулякахъ, повѣритъ, что такой безсребренникъ проживалъ не такъ давно въ Тулѣ, проживалъ и приносилъ ей собою честь, какую она, г-жа Тула, не понимала, не цѣнила и которой, поэтому, она не стоила. И это былъ не пришлый, изъ другихъ губерній, а коренной, кровный тулякъ: Ник. Гр. Добрынинъ, воспитанникъ московскаго университета и тульскій уѣздный врачъ. Сейчасъ по возвращеніи моемъ изъ Петербурга въ деревню въ концѣ 1860 г.,

я познакомился съ нимъ, потому что, сверхъ того, что это былъ добрый, умный и скромный молодой человѣкъ, онъ былъ еще и страстный любитель гитары, которому уступилъ я одну изъ моихъ гитаръ, работы петербургскаго мастера Архузена, получившаго за нее вторую премію на моемъ конкурсѣ. Затѣмъ приключилось со мною вотъ что:

10 іюля 1862 года, въ теплый вечеръ, возвращался я на пролеткѣ съ покоса домой. При въѣздѣ въ деревню, лошадь взбѣсилась и понесла прямо въ оврагъ. Кучеръ успѣлъ повернуть ее назадъ, но слишкомъ круто: она взвилась на дыбы и брякнулась со всѣхъ ногъ на землю. Пролетка перевернулась кверху колесами и разбилась, а я отлетѣлъ на нѣсколько аршинъ въ сторону и упалъ замертво на лѣвый бокъ. Какъ и почему я не былъ убитъ на мѣстѣ, это такое чудо, которое и по сію пору объяснить я не умѣю. Крестьяне подняли меня, походившаго на трупъ, положили на разостланный холстъ, принесли въ мой домъ, гдѣ встрѣтили меня истерическіе вопли и рыданія Ольги, и гдѣ сложили на диванъ мое бренное тѣло. Нѣсколько недѣль пролежалъ я и не могъ пошевелиться, не ощущая сильнѣйшей боли въ лѣвыхъ—плечѣ, рукѣ и ногѣ и потомъ долго не могъ ходить безъ костыля. Разумѣется, тотъ же часъ послали за докторомъ въ Тулу тарантасъ. Часовъ черезъ семь пріѣзжаетъ Добрынинъ и подаетъ мнѣ первую помощь. Чтобы не задерживать его долго, впрягаютъ въ тарантасъ другую тройку и я протягиваю ему на прощанье правую руку съ десятирублевымъ билетомъ. Словно обжегшись, отдернулъ онъ свою руку, закивалъ головою и почти слезно заговорилъ: «Что вы, что вы, Николай Петровичъ!.. Богъ съ вами! Не обижайте меня! Возможно ли, чтобы я бралъ съ васъ за визиты? Съ васъ, котораго я такъ люблю и уважаю, который уступилъ мнѣ за полцѣны одну изъ своихъ хорошихъ гитаръ, да и то въ долгъ. Къ тому же, я знаю, что и ваши дѣла не блестящи. Такъ не обижайте же меня». Такъ таки и не взялъ ничего ни за первый, ни за послѣдующіе визиты ко мнѣ изъ Тулы, за 20 верстъ. А между тѣмъ получалъ мизерное жалованье на своей службѣ, отнимавшей у него много времени и почти лишавшей его частной практики. И этотъ прекрасный человѣкъ года черезъ три послѣ того умеръ отъ тифа, подавая помощь тифознымъ рабочимъ на строющейся тогда желѣзной дорогѣ между Москвой и Тулой. Видно хорошіе-то люди и Тамъ нужны.

Въ параллель и для контраста разсказалъ бы я кое-что про другаго тульскаго эскулапа, про его оцѣнку каждой версты по рублю. Да Богъ съ нимъ. Нѣсколько лѣтъ сердился я на него за черезчуръ неделикатную выходку, за вопіющее неуваженіе его къ моему дому; сердился до

тѣхъ поръ, пока не отмстилъ ему,—вѣдь я уже сознался выше въ моей мстительности. И на этотъ разъ я тоже отмстилъ ужасно, жестоко, но не зломъ, сохрани Боже! А безвреднымъ увѣковѣченіемъ не имени его, а характера его поступка, и вотъ какъ: если у васъ имѣются мои словари, то раскройте *Полный французско-русскій*, отыщите во 2-й части 499 стр. и въ концѣ 2-го столбца прочитайте 6-й примѣръ въ словѣ *Visite*.

Итакъ, ни за что, никогда и ни кому не платилъ я зломъ. Иронію, эпиграммъ и сарказмовъ—сколько угодно. Это—орудія, которыми владѣю не дурно. Не даромъ же написалъ я небольшой трактатъ объ остроуміи, въ которомъ хорошо опредѣлилъ и снабдилъ многочисленными примѣрами эти невѣщественныя орудія ума. Это — брошюра *Умъ и Остроуміе, Тактика войны на словахъ*, напечатана въ 1874 году и пожертвована, вмѣстѣ съ тремя *бичующими сатирами*, въ пользу *Общества подачи помощи при кораблекрушеніяхъ*. Но увы! за исключеніемъ десятка проданныхъ, да нѣсколькихъ десятковъ розданныхъ безденежно, брошюра эта, и всѣ прочія, лежатъ, плѣснѣютъ и не продаются: слишкомъ дороги — по 30 коп... Но оставляю въ сторонѣ такую мелочь, какъ мои брошюры, а поговорю, при семъ удобномъ случаѣ, вообще о славянской филантропіи, которая зачастую бываетъ не иное что, какъ покушеніе на истинную, христіанскую филантропію... О славяне! О раса, повидимому добродушная и благодушная. Добродушная-то пожалуй, да только туго-раскошеливающаяся. Не спорю: и они, славяне, жертвуютъ на добрыя дѣла; какъ не жертвовать среди 80-ти-милліоннаго царства? Да только бо́льшею частію на такія дѣла, которыя *въ модѣ*, или поддерживаются въ высшихъ сферахъ. Извѣстное дѣло: «куда конь съ копытомъ, туда и ракъ съ клешней». Заговорятъ вверху о поддержкѣ Кандіотовъ, и мы поддерживаемъ, и концертами, и балами въ ихъ пользу. Какая нибудь важная барыня учредитъ благотворительное общество для покровительства, защиты и утѣшенія осиротѣлыхъ болонокъ и кошечекъ, и введетъ *въ моду* это общество; и мы не пожалѣемъ на это не только мелкихъ, но порою и крупныхъ пожертвованій. Утѣшьтесь, милыя болоночки и кошечки! Мы васъ не покинемъ, «поелику» вы теперь *въ модѣ*... *Мода* и *мода*, это — главный критеріумъ высшей барской филантропіи. А на какія нибудь скромныя, безвѣстныя, *не модныя* страданія, скорби и невзгоды—*Богъ дастъ*... Правда: Богъ даетъ и хорошіе урожаи, и хорошіе уловы на Волгѣ, на Дону и на Уралѣ, но при этомъ даетъ также и хлѣбнаго жучка, и сусликовъ, и гессенскихъ мухъ, и прочія прелести нашей нѣжной маменьки-природы: а въ добавокъ даетъ и еще кое-что

почище вышеисчисленныхъ прелестей; даетъ дешевую распродажу съ дорогою перепродажею башкирскихъ земель... Вотъ вамъ и *Богъ дастъ*... Филантропы, сущіе раціональные филантропы раціональнаго восточнаго общества конца XIX столѣтія. Возьмемъ два примѣра: восточной и западной филантропіи, поразительные своимъ контрастомъ.

Городовой Тяпкинъ (кажется такъ) останавливаетъ въ Большой Морской бѣшеную тройку и, смятый, разбитый ею, умираетъ жертвою своего самоотверженія для спасенія проходящихъ по Морской, оставя безпомощное семейство. Разумѣется, сейчасъ же подписка; и при этомъ случаѣ въ полномъ блескѣ высказались щедрость и великодушіе сѣверной Пальмиры: 105 р. съ копѣйками собрано въ два мѣсяца (можетъ быть немного и болѣе, не помню)!!..

Въ Парижѣ, почти въ то же время, бѣшеный анархистъ-рабочій, Межи, убиваетъ въ упоръ изъ револьвера полицейскаго агента, посланнаго для арестованія этого опаснаго анархиста. И что жъ? Полицейское управленіе сейчасъ же назначаетъ семейству убитаго значительную пожизненную пенсію, кажется тысячи въ двѣ франковъ. А одинъ или нѣсколько журналовъ открываютъ подписку съ такою же цѣлію, и собираютъ многотысячную ленту, тысячъ десять франковъ, если не болѣе. Вотъ вамъ западъ и востокъ лицомъ къ лицу; востокъ съ восточными человѣками. А восточному человѣку раскошеливаться на то, что не вошло еще въ моду, — ножъ острый. Вотъ если бы предложилась подписка на обѣдъ, кому бы то ни было, хоть адъютанту, или просто деньщику Сетевайо, отставнаго зулусскаго короля, это—другая статья: тутъ можно и поѣсть, и понить всласть... Филантропы, какъ есть раціональные филантропы XIX столѣтія!.. Хотѣлъ было приняться за разсказъ еще о побѣжденной трудности, но откладываю... Беру 1927 номеръ «Нов. Времени», желая отдохнуть отъ безпрерывной работы, отдохнуть съ сигарою въ рукѣ, за чашкою утренняго и крѣпчайшаго чернаго кофе (со сливками никогда не пью) и за чтеніемъ газеты,—абсолютнаго отдыха не знаю и не понимаю: четверти часа не могу пробыть безъ занятія; отдыхаю тѣмъ, что разноображу занятія: или пишу, или читаю что либо, или полчаса отдыхаю за игрою то на гитарѣ, то на скрипкѣ, и потомъ опять къ писанію, или записыванію въ книгу приходовъ, или расходовъ, или къ сведенію счетовъ и расчетовъ съ рабочими. Вотъ мой отдыхъ... И пишу я эти дополненія вовсе не подрядъ, а въ совершенный разбродъ: то пишу въ прибавочной главѣ 2-й книги, то въ 4-й книгѣ, для которой начато вдругъ нѣсколько главъ. И я вписываю то въ одну, то въ другую, смотря по нантію, по мыслямъ, которыя толпою приходятъ мнѣ въ го-

лову и которыя размѣщаю по категоріямъ въ ту или другую главу, въ особенности сатирическія выходки, вызываемыя то газетами, то воспоминаніями, особенно о прошлыхъ обидахъ, оскорбленіяхъ и страданіяхъ. Нечего грѣха таить: не могу удержать сатирической жилки: такъ и просятся, такъ и рвутся подъ перо мои наблюденія, вызывающія у меня то хохотъ, то слезы, то негодованіе.

Итакъ беру «Нов. Время» и въ сильномъ волненіи и негодованіи прочитываю въ *Моск. фельетонѣ* описаніе ужасающей катастрофы съ г-жею Рамсденъ, Золотою Мухою тожъ. Боже правый! Боже милующій и карающій! Когда же явишь Ты свое правосудіе? Когда покараешь не только эксплуататоровъ и жертвоприносителей человѣческихъ жизней, но и самихъ Ликурговъ и Солоновъ современнаго цивилизованнаго міра за кровавыя человѣческія гекатомбы, устраиваемыя для потѣхи праздной толпы, падкой на все, что возбуждаетъ ея притупленныя любопытство и вожделенія. И Солоновъ слѣдуетъ покарать гораздо строже за то, что они могли бы, но не хотятъ строго запретить всѣ такія представленія и зрѣлища, гдѣ здоровье, цѣлость и самая жизнь людей, изъ за корыстныхъ расчетовъ, подвергается величайшей опасности.

О ультра-гуманные Ликурги и Солоны! Кому вы мирволите, кого щадите? Не заблудшихся овецъ, не страшныхъ ни для кого, а только протестующихъ иногда противъ неумѣлаго, или глупаго, или грубаго пастуха. Вы порою щадите разжирѣвшихъ биржевиковъ, или безсовѣстныхъ эксплуататоровъ меньшей братіи, покупающихъ жизненныя наслажденія на рискованье человѣческими жизнями въ явно-опасныхъ зрѣлищахъ, или подъ развалинами плохо, воровски построенныхъ домовъ, или на гнилыя шпалы, о чемъ говорено выше. И кто такіе эти щадимые биржевики и эксплуататоры? Это не граждане, не представители высшей расы на землѣ, а прокаженная часть такъ называемой интеллигенціи, не вѣрующая ни въ Бога, ни въ черта, ни въ правду, ни въ честь, ни въ честность, ни во что; не уважающая никого и ничего, кромѣ Мамоны, да ея любовника Мамона, да незаконнорожденнаго ихъ сына Комфорта. Передъ этими идолами они, биржевики, падаютъ ницъ и сожигаютъ свои зловонные ѳиміамы.

Въ томъ же фельетонѣ прочелъ я, и еще съ вящщимъ негодованіемъ, о подвигахъ московскаго гильдейскаго Креза. Сильно стошнило меня. И несмотря на то, взявши въ ротъ нѣсколько мятныхъ лепешекъ во избѣжаніе пущей тошноты и неряшества, рѣшаюсь сказать нѣсколько словъ объ этомъ отвратительно-гнусномъ субъектѣ. Вотъ гдѣ и въ чемъ кроется корень зла и позора нашей цивилизаціи: въ идолопоклон-

ствѣ, въ служеніи Мамонѣ. Какой отвратительный гильдейскій сатрапъ! И что за отвратительные циническіе, безстыжіе отвѣты на счетъ множества его женъ и дѣтей! Словно новый, сластолюбивой памяти, янинскій Али-паша, съ тою только разницею, что у прототипа-то московскаго паши, за исключеніемъ скотскихъ вожделеній, въ пяткѣ было болѣе ума и какого-то дикаго величія, нежели во всей позорной личности гаденькаго московскаго гильдейца. Казалось-бы, что каждый маломальски порядочный человѣкъ долженъ, если не плюнуть, то съ омерзѣніемъ отворачиваться при встрѣчѣ съ такимъ гнуснымъ гарпагономъ. Не тутъ-то было: вѣроятно, находятся десятки, сотни индивидуумовъ, которые не отворачиваются, а умильно и сладко улыбаются при подобной встрѣчѣ, благоговѣютъ, служатъ передъ нимъ, гильдійскимъ Крезомъ, служатъ подлѣе самой подлой собаченки, на заднихъ лапкахъ, въ чаяніи подачки. А если «сей» многомилліонный и многодомный сластолюбецъ осчастливитъ ихъ, собаченокъ, протянувъ имъ свою руку, то онѣ, собаченки, готовы лобзать и лизать эту грязную лапу всласть, до покрытія ее еще пущей грязью со своихъ лакейски-собачьихъ губъ. И эти лакеи осмѣливаются считать себя между поклонниками Бога истины и его Божественнаго Сына! И осмѣливаются посѣщать храмы и осквернять ихъ своимъ языческимъ присутствіемъ. Не храмы христіанскіе для васъ, поклонники Мамоны, а хлѣвы и балаганы, построенные не изъ мрамора и не изъ кирпича, а изъ кизяка, что приготовляютъ изъ скотскаго помета для отопленія безлѣсныхъ мѣстностей. Ну и ставьте въ нихъ своихъ золотыхъ болвановъ-божковъ, всѣхъ гильдій и всѣхъ сословій; и справляйте передъ ними свое богопротивное и омерзительное идолослуженіе на манеръ вѣдьмъ Лысой Горы. Падайте передъ ними во прахъ, барахтайтесь въ грязи или въ лужахъ человѣческой крови; и затѣмъ ползайте до изнеможенія. Быть можетъ и бросятъ вамъ подачку — нѣсколько не совсѣмъ еще оглоданныхъ человѣческихъ костей.

О Ювеналъ, о царь сатириковъ! Дай намъ, русскимъ, твой огненный языкъ, твое пламенное краснорѣчіе, твой жгучій умъ, твой карающій бичъ, а главное — твою правдивость и твое безстрашіе, чтобы и мы могли бичевать наши пороки и безобразія также нещадно, какъ и ты бичевалъ пороки своихъ римскихъ согражданъ. Въ каждой строкѣ твоихъ сатиръ кипитъ честное негодованіе, и ты не скупишься на самыя сильныя, рѣзкія выраженія.

«Да, вотъ онъ драпируется въ свою багряницу, вотъ онъ сталъ главою нашихъ рыцарей, онъ, этотъ *негодяй*, выкрикивавшій когда-то

по улицамъ и продававшій въ розницу египетскую макрель, свою соотечественницу».

«Между тѣмъ это былъ столь же *наглый мошенникъ*, сколь былъ онъ и *подлымъ* писателемъ нравственныхъ сатиръ».

«Катуллъ! Это — *подлость доведенная до чудовищности* .

Вотъ какъ громилъ и бичевалъ порокъ Ювеналъ, честнѣйшій, правдивѣйшій и безстрашнѣйшій изъ Римлянъ. И говорилъ онъ такъ не о плебеяхъ, а о патриціяхъ да о сенаторахъ. А мы? А наши Маниловы? жеманятся, жмутъ губки, говоря о грабителяхъ, о казнокрадахъ, о ловкихъ карманныхъ фокусникахъ среднихъ и нижнихъ этажей. Шаткая или гнилая нравственность всегда порождаетъ равнодушіе къ добру и злу. О, какую истину сказалъ покойный Лермонтовъ:

«Къ добру и злу постыдно равнодушны,
Въ началѣ поприща мы вянемъ безъ борьбы».

Благодареніе Богу за то, что хотя нѣкоторые изъ органовъ нашей періодической прессы завела у себя бичъ и не очень жеманятся... Большинство же?... перебраниваются, а нѣкоторые и зѣло ругаются между собою. А говорятъ, будто бы есть еще и такіе, хотя весьма не многіе, которые не прочь и посидѣть маленько на заднихъ лапкахъ, и покивать головою, впрочемъ весьма граціозно, нисколько не уступая въ этомъ пріятномъ и общеполезномъ искусствѣ самымъ граціознымъ болонкамъ, этимъ живымъ клейнодамъ нѣкоторыхъ граціозныхъ и сердобольныхъ госпожъ. Болонкѣ за это — конфетку, или, по меньшей мѣрѣ, кусочекъ сахару. Ну, а болонку двуногую, не то что кусочкомъ сахару, но и нѣсколькими фунтами конфетъ отъ Кочкурева не «удоблетворишь». А чѣмъ же ихъ «удоблетворить»? Не знаю. Спросите у нихъ, двуногихъ болонокъ. Да только не скажутъ, разбойницы, ни за что не скажутъ. Глубокіе дипломаты и политики онѣ суть, изволите видѣть. А дипломаты, извѣстное дѣло: если и проговариваются иногда, то развѣ только натощакъ. А болонки, сами изволите знать, натощакъ никогда не бываютъ. Въ этомъ отношеніи онѣ неизмѣримо выше господъ дипломатовъ. Вѣдь болонки-то зависятъ только отъ граціозныхъ и сердобольныхъ госпожъ, а дипломаты — отъ господъ министровъ, порою весьма не граціозныхъ и не сердобольныхъ; вспомните только исторію между графомъ Арнимомъ и ужъ куда какъ не сердобольнымъ Бисмаркомъ. Послѣдній-то перваго не то что натощакъ, а чуть чуть не упряталъ въ тюрьму и надолго бы. Ну такъ какже послѣ эдакихъ бисмарковскихъ оказій, болонки не выше дипломатовъ? И сладко, и всласть онѣ

ѣдятъ.... виноватъ, невѣжливо: всласть и граціозно изволятъ кушать и пить, но не локать.... А чтобы тамъ въ тюрьму, сохрани Боже! И вся эта благодать граціознымъ болонкамъ — отъ щедротъ ихъ граціозныхъ и сердобольныхъ госпожъ какъ всероссійскихъ, такъ и пришлыхъ.

Такъ какъ рѣчь зашла о такихъ важныхъ персонахъ, какъ граціозныя болонки и глубокіе дипломаты (однѣ другихъ стоятъ, но все-таки, первыя добрѣе и... честнѣе), то характеризуя ихъ, можно при этомъ охарактеризовать еще и періодическую прессу, и раздѣлить ее на три неравныя части: одна, самая небольшая, состоящая изъ тузовъ, и порою козырной масти, живетъ «во свое во удовольствіе», и ѣстъ и пьетъ всласть; другая, по больше—изъ валетовъ и десятокъ разныхъ мастей,— прозябаетъ и пребываетъ то на тощакъ, то впроголодь; наконецъ третья, самая большая, — изъ однѣхъ простыхъ троекъ и двоекъ, да изъ нулей,—хирѣетъ, чахнетъ, безпрестанно кладетъ зубы на полку и производитъ надъ собой опыты американскаго врача Таннера, но только далеко не всегда съ такимъ успѣхомъ, какъ онъ: и до половины таннеровской голодовки они, нули и двойки, не дотягиваютъ и протягиваютъ свои ноги, не столько по волѣ рока, сколько по равнодушію подписчиковъ, т. е. по скверной привычкѣ публики—не идти на удочку разныхъ эдакихъ газетныхъ и журнальныхъ проходимцевъ-спекуляторовъ, удилищныхъ рыболововъ, патентованныхъ бездарностей и псевдо-писателей не по разуму, а лишь «по охотѣ смертной да по участи горькой». Впрочемъ, скажемъ правду, бываютъ исключенія: не всѣ нули и двойки протягиваютъ ноги,—нѣкоторымъ посчастливилось уцѣлѣть. Такъ вотъ и редакторствуютъ себѣ помаленьку, и въ Питерѣ, и въ Бѣлокаменной. Выносливы бо суть и живучи, какъ кошки. И сибирская язва такихъ черепокожныхъ не проберетъ и не возьметъ. Да сибирская-то язва порою и разборчива: выбираетъ, что посытнѣе, да повкуснѣе, да поумнѣе... право слово, поумнѣе. Вѣдь она и сама преумная баба: съумѣла же припожаловать къ намъ, въ Великороссію, изъ «мѣстъ столь отдаленныхъ»; и ни одинъ урядникъ, ни одинъ становой, ни одинъ исправникъ не могли, или не хотѣли, или не съумѣли задержать по дорогѣ эту безпаспортную бродягу. Ловка, хитра, умна бестія. Гораздо умнѣе многихъ этихъ.... Ну нѣкоторые и изъ этихъ многихъ умны, очень умны, про нихъ и собаки не лаютъ. Въ особенности, когда возьмутся за перо, не гусиное, а стальное: мигомъ настрочатъ нѣсколько столбцовъ петита (мелкій шрифтъ) и все о міровыхъ вопросахъ, да о матерьяхъ, такихъ важныхъ, что и полстолбца фельетоннаго не окончишь, какъ заснешь

мертвымъ сномъ, словно отъ сильнѣйшей дозы наркотическаго зелья. Таково благодѣтельное свойство, не всѣхъ, а многихъ важныхъ матерій и міровыхъ вопросовъ, хоть бы о... о введеніи равноправности для іерусалимскихъ дворянъ. Впрочемъ, этотъ іерусалимскій вопросъ, т. е. вилліе совѣстью въ пользу іерусалимцевъ, нагоняетъ не столько сонъ, сколько досаду, негодованіе, сильную тошноту и головную боль. Къ тому же это одинъ изъ вопросовъ, крупныхъ, забористыхъ, разрѣшаемыхъ газетными тузами. А вопросы мелкіе, наркотическіе, рѣшаемые мелкотравчатыми двойками—неисчислимы, неуловимы и микроскопичны, какъ инфузоріи, «поелику» и сами они, мелкотравчатые, походятъ на инфузоріи, только не на микроскопическія, а на созданныя по образцу и подобію надувающихся и квакающихъ лягушекъ. За то же и квакаютъ онѣ; ахъ, какъ квакаютъ! Прелесть! Заслушаешься; но только не на тощакъ, а плотно позавтракавши. А на тощакъ, сохрани Боже! Можетъ тотчасъ приключиться холера морбусъ. Никому не совѣтую слушать что либо на тощакъ, въ особенности кваканье нѣкоторыхъ, извѣстныхъ лягушекъ извѣстныхъ болотъ, маленькихъ или обширныхъ болотъ, все равно: вѣдь всѣ болота на одну стать. А иное кваканье можетъ мутить даже послѣ сытнаго завтрака. Одни только глубокіе дипломаты могли переносить и то, по всей вѣроятности, не на тощакъ; переносить кваканье Биконсфильдовъ съ братіей года два тому назадъ. Ну, да вѣдь дипломаты-то, даже и не глубокіе, одарены такими здоровыми желудками, такими крѣпкими, стальными челюстями, такою неспособностью къ тошнотѣ, что могли бы, не поморщась, проглотить всѣ болота со всѣми лягушками; могутъ они, дипломаты, пережевывать и переваривать иногда такія вещи, какихъ не одолѣли бы зубы всѣхъ львовъ африканскихъ и тигровъ бенгальскихъ, и отъ которыхъ сотни здоровеннѣйшихъ быковъ и воловъ задрали бы кверху ноги. Но дипломатамъ это нипочемъ. Но однако-жъ, по пословицѣ—«нашла коса на камень», случается и имъ, глубокимъ и неглубокимъ дипломатамъ, натыкаться на вопросы и вопросики. Напр. Черногорскій — насилу пережевали; а переварили только съ помощью политической касторки, т. е. демонстраціи въ каттарской бухтѣ. А что до вопроса греческаго, то и до сихъ поръ его не переварили соединенными желудками дипломатовъ всѣхъ великихъ державъ. Того и гляди, что придется закатить цѣлые боченки касторки.... Избави Боже! Можетъ значительно вздорожать такой общеполезный, хотя и не очень вкусный, продуктъ растительнаго царства.

Боже! Какъ я удалился отъ главнаго предмета этой главы! А все по милости такихъ важныхъ и великихъ фигуръ, какъ граціозныя бо-

лонки и глубокіе дипломаты, способные хоть кого сбить съ толку, а наичаще—отуманить, одурманить и обезпамятить. Возвращусь къ борьбѣ съ трудностями.

Живя въ домѣ тетки моей, Шиповой, я началъ учиться играть на скрипкѣ, къ которой возымѣлъ потомъ сильнѣйшую страсть. Спалъ и видѣлъ я, какъ бы изучить этотъ благородный, увлекательный инструментъ, сдѣлаться виртуозомъ скрипки. Но увы! Пламенному желанію моему не суждено было осуществиться. Вскорѣ по пріѣздѣ моемъ въ Варшаву, въ апрѣлѣ 1823 года, сталъ я просить, умолять со слезами на глазахъ дядю купить мнѣ скрипку и взять учителя. Ну и внялъ онъ слезнымъ мольбамъ отрока и сироты племянника: купилъ мнѣ скрипку на аукціонѣ за три руб. и нанялъ учителя, пьянаго Петрова, и добро бы скрипача, а то валторниста изъ полковыхъ музыкантовъ, но только игравшаго вторую скрипку въ бальномъ, или вѣрнѣе, въ вечериночномъ квартетѣ. И платилъ онъ страхъ какъ дорого за мои уроки: по полузлоту, т. е. по 7½ коп. сер. за урокъ. Ну и обучалъ меня семикопѣечный учитель семикопѣечной игрѣ, обучалъ по семикопѣечной методѣ такъ, что огадилъ, оперзилъ мнѣ на время и скрипку, и скрипачей, и всю музыку.

О дядюшка! О Валерьянъ Макарычъ! За что погубилъ ты всю мою музыкальную будущность, погубилъ ее семикопѣечнымъ учителемъ? За то ли, что добылъ ты себѣ въ жены тоже семикопѣечную московскую княжну, хотя и чистокровную аристократку, но съ разнокалиберными глазами, съ грузинскимъ носомъ и съ умомъ аптекарскаго вѣса, въ полграна, если не менѣе. Тогда лучше было бы попытать тебѣ счастье на варшавскомъ аукціонѣ, чѣмъ между чистокровной московской аристократіей двадцатыхъ годовъ. И если аукціонная скрипка оказалась плоха, то это потому, что за нее было заплачено только три руб. А не пожалѣй денегъ за жену, дай гораздо болѣе, нежели дано было за скрипку, то, быть можетъ, попалось бы много лучше московской княжны. Да, жаль, очень жаль, что женъ съ аукціона не продаютъ. Хоть бы разрѣшили не продавать, а только разводиться, и тогда было бы гораздо менѣе и холостяковъ, и старыхъ дѣвъ; да и общественная нравственность много улучшилась бы, и супружествъ несчастныхъ, въ особенности разъѣзжающихся безъ развода, было бы несравненно менѣе. И что-жъ? хоть развода и нѣтъ, а жены все-таки продаются, и покупаются, но келейно, втихомолку, изъ полы въ полу. И это жаль: всякая публичная покупка не въ примѣръ лучше, т. е. вѣрнѣе, безопаснѣе, менѣе рискована, чѣмъ тайная. Вѣдь бракъ—та же лотерея или азартная игра. Въ игорныхъ

домахъ, но публичныхъ, дозволенныхъ правительствомъ, несравненно менѣе риска для играющихъ, чѣмъ въ домахъ тайныхъ. Вотъ что сказалъ покойный Леонъ Гозланъ, остроумнѣйшій писатель, въ *Aritide Froissard,* по поводу закрытія игорныхъ домовъ въ Парижѣ, въ сороковыхъ годахъ, вслѣдствіе чего развелось много такихъ домовъ, но тайныхъ, гдѣ обыгрывали навѣрняка.

«C'est que, quand le gouvernement veut faire du bien, il le fait mal; et quand il veut faire du mal, il le fait bien (значитъ: когда правительство,—разумѣется французское сороковыхъ годовъ,—захочетъ сдѣлать что либо хорошее, оно дѣлаетъ это дурно; а когда захочетъ сдѣлать что нибудь дурное, то дѣлаетъ это хорошо).

Итакъ, живя у дяди, я забросилъ было скрипку. Но на второй годъ послѣ прибытія моего въ школу подпрапорщиковъ (въ 1827 г.) я снова взялся за свою прежнюю любимицу. Удалось мнѣ завести у себя порядочный инструментъ. Начиналъ уже я сносно играть разные танцы, въ особенности мазурки и аріи изъ тогдашнихъ оперъ, наиболѣе изъ россиніевскихъ. Разыгрывалъ часто и дуэты съ товарищами. Но безъ учителя и безъ правильнаго изученія мнѣ было невозможно дѣлать быстрые успѣхи. А между тѣмъ страсть моя къ скрипкѣ росла, жажда усовершенствованія жгла, мучила меня. И во снѣ и на яву бредились мнѣ уроки у хорошаго учителя. Полжизни отдалъ бы за то, чтобы учиться и достигнуть возможно большаго совершенства на своемъ любимомъ инструментѣ. По цѣлымъ часамъ корпѣлъ я надъ школою Бальо, Роде и Крейцера. Для этого, когда большая часть товарищей, возвратясь съ ученья измученными, ложились отдыхать, я, чтобы не мѣшать ихъ сну, удалялся на чердакъ и тамъ работалъ надъ гаммами, трелями и прочими скрипичными экзерциціями, борясь безъ устали съ трудностями механизма одного изъ труднѣйшихъ инструментовъ. Въ послѣдній годъ пребыванія моего въ школѣ удалось мнѣ наконецъ брать уроки у одного хорошаго скрипача театральнаго оркестра, и я сталъ дѣлать быстрые успѣхи. Но это продолжалось не долго.

Въ августѣ 1830 г. я былъ произведенъ изъ школы въ офицеры, и собирался возобновить мои скрипочные уроки. Вдругъ, въ ноябрѣ разразилась надъ Варшавой и надъ моей головой страшная политическая буря, и разрушила всѣ мои музыкальные планы и надежды. Вспыхнуло въ Варшавѣ грозное возстаніе 1830 года. Затѣмъ наступилъ для меня десятимѣсячный плѣнъ у поляковъ. Потомъ стоянка Литовскаго полка въ Ораніенбаумѣ и переходъ съ жалованья на серебро и съ порціонами, по заграничному положенію, на жалованье ассигнаціями, т. е. содержаніе

наше уменьшилось въ три раза съ половиною. А при этомъ жизнь въ Ораніенбаумѣ оказалась много дороже, чѣмъ въ Варшавѣ. Все это, вмѣстѣ взятое, создало для офицеровъ Литовскаго полка, большею частію не богатыхъ, положеніе самое трудное, тяжелое, полное всевозможныхъ лишеній. И я не избѣгнулъ участи большинства. Поэтому нельзя было и думать объ урокахъ на скрипкѣ: съ трудомъ сводилъ я концы съ концами и нерѣдко сиживалъ на пищѣ св. Антонія (вспомните, напр. мою исторію съ черкесской лошадью). Между тѣмъ попалась мнѣ въ Ораніенбаумѣ гитара, за которую и взялся я безъ всякой серьезной цѣли. Игралъ, хотя и по нотамъ, но кое-что, нетрудное и неважное; а болѣе пѣлъ, акомпанируя самъ себѣ на гитарѣ, тогдашніе романсы, да аріи изъ французскихъ оперъ; покушался и на итальянскія. Наконецъ, женился, вышелъ въ отставку, поселился (въ августѣ 1838 г.) въ деревнѣ близъ Тулы. И тутъ, словно кто вдругъ укололъ меня и привилъ мнѣ новую страсть къ гитарѣ. Первоклассную игру на этомъ инструментѣ сдѣлалъ я цѣлію моей жизни, за неимѣніемъ другой, лучшей, болѣе полезной. Достиженію этой причудливой цѣли посвятилъ я всю мою энергію, всю настойчивость и силу воли. И родилось такое желаніе изъ самаго ребяческаго, пустаго повода. Кто-то изъ моихъ родныхъ сказалъ мнѣ, однажды:

— Напрасный трудъ. Во 1) гитара инструментъ не концертный, ничего серьезнаго, дѣльнаго сыграть на ней нельзя, кромѣ пѣсенокъ, да неважныхъ оперныхъ арій съ неважными варіяціями. Во 2) тебѣ уже поздно учиться для того, чтобы сдѣлаться первокласснымъ гитаристомъ. Тебѣ уже 28 лѣтъ; не въ такія лѣта, а съ малолѣтства начинаютъ учиться какому бы ни было искусству, а тѣмъ болѣе музыкѣ и еще для того, чтобы сдѣлаться виртуозомъ и достигнуть извѣстности, славы.

Такіе отзывы задѣвали меня за самое чувствительное мѣсто, страшно бѣсили меня, въ особенности второе замѣчаніе.

— Такъ я докажу, что и гитара способна къ серьезной музыкѣ, и изъ нее можно сдѣлать концертный инструментъ; а равно докажу, что и для меня не поздно сдѣлаться виртуозомъ на гитарѣ.—Впрочемъ, позднѣе явилась цѣль болѣе разумная: поднять гитару изъ того унизительнаго положенія, въ какомъ находится она въ настоящее время и возвратить ей то, которое занимала она въ первыхъ тридцати годахъ нынѣшняго столѣтія. И въ Парижѣ, и въ другихъ европейскихъ столицахъ, гитара была тогда въ большомъ ходу. Въ Парижѣ, напр., блистали тогда Мауро Джульяни, Бетховенъ гитары; Карулли, Соръ, Леньяни, Агуадо и позднѣе Гуэрта. Но съ тридцатыхъ годовъ гитара стала падать, а въ сороковыхъ совсѣмъ пала. Говорили мнѣ въ Парижѣ, что противъ этого,

скромнаго инструмента, былъ составленъ заговоръ (cabale). Не знаю, на сколько правды въ этомъ утвержденіи, но знаю только, что Леонъ Гозланъ, въ своемъ *Аристидѣ Фруассарѣ*, злорадно осмѣиваетъ гитару во всѣхъ четырехъ частяхъ своего остроумнаго романа, выведя на сцену и на посмѣшище карикатурную фигуру одного злополучнаго гитариста, котораго назвалъ *La dernière guitare*. Думалъ и надѣялся возстановить я репутацію моего инструмента тѣмъ, что достигнувъ высшей игры и отыскавъ мастера, который создалъ бы необыкновенный инструментъ, дать нѣсколько концертовъ въ Парижѣ, произвести эффектъ и— гитара воскресла. Я и отыскалъ такого, Шерцера, въ Вѣнѣ, въ 1852 г. Онъ создалъ точно гитару необыкновенную по силѣ и, съ тѣмъ вмѣстѣ, по пріятности и пѣвучести тона, которая получила потомъ первую премію на моемъ конкурсѣ въ Брюсселѣ. Оставалось только дать нѣсколько концертовъ въ Парижѣ, но, какъ увидятъ ниже, злая судьба помѣшала мнѣ выполнить эту программу.

Итакъ: сказано, сдѣлано. Приступилъ я къ борьбѣ съ трудностями одного изъ наитруднѣйшихъ и наинеблагодарнѣйшихъ инструментовъ, и началъ не съ легкаго, а съ труднаго: засѣлъ сперва за извѣстный квинтетъ (Nel cor più non mi sento) Джуліяни, потомъ за его 3-й большой концертъ. Обѣ піесы съ акомпаниментомъ не квартета, а фортепьяно. Акомпанировала мнѣ моя жена, ученица Герке. А съ тѣмъ вмѣстѣ составилъ себѣ программу всевозможныхъ трудностей гитарнаго механизма, и въ томъ числѣ двухъ величайшихъ: хроматическихъ гаммъ и трели четырьмя пальцами на двухъ струнахъ. Принялся я за побѣжденіе этихъ трудностей, до того непобѣждаемыхъ никѣмъ; принялся раціонально, съ метрономомъ, который велъ меня безъ суеты и торопливости, съ величайшею постепенностію, отъ самаго медленнаго до самаго быстраго темпа, отъ трудностей обыкновенныхъ къ необычайнымъ. Словомъ: это былъ не приступъ, а правильная осада крѣпости, съ параллелями, по всѣмъ правиламъ высшаго инженернаго искусства. Упражнялся я отъ 10 до 12-ти часовъ ежедневно, неисключая праздниковъ. Иногда—по 14 и рѣдко менѣе 10 часовъ. Тогда же написалъ я огромную піесу для 6-ти-струнной гитары, окрестивъ ее громкимъ именемъ концерта. Года черезъ два и квинтетъ, и концертъ, и хроматическія гаммы, въ 4 октавы вверхъ и внизъ, и не двумя, а тремя пальцами правой руки, ради быстрѣйшаго темпа: все это пало предо мною, признало во мнѣ своего побѣдителя. Одна трель упрямилась: поддалась, но не вполнѣ. Совершенная трель должна вмѣщать въ себѣ три качества: быстроту, ровность и силу. Въ моей же находились только два: или быстрота и сила безъ ровности,

или быстрота и ровность безъ силы. Но я не унывалъ. Сдѣлалъ себѣ карманную гитару, т. е. небольшую овальную доску, съ тремя струнами, терціями, чтобы оказывали большее сопротивленіе и не рѣзали пальцевъ. На ней развивалъ я вообще силу пальцевъ правой руки, въ особенности безымяннаго, самаго слабаго, что и мѣшало то силѣ, то ровности трели. Благодаря этому изобрѣтенію, я скоро развилъ силу слабаго пальца, который почти сравнялся съ остальными: большимъ, указательнымъ и среднимъ. И трель пала передо мною: совмѣстила въ себѣ всѣ три качества.

Въ мартѣ 1840 года пріѣхалъ я въ Петербургъ и прожилъ тамъ пять мѣсяцевъ. Сейчасъ по пріѣздѣ обратился было я къ одному гитаристу-итальянцу, пользовавшемуся большой извѣстностью въ гитарномъ мірѣ. Прослушавъ пробную мою игру: концертъ Джульяни и мой, гитарный учитель всталъ, поклонился мнѣ и сказалъ:

— Non, monsieur, je ne peux pas vous donner des leçons, puisque vous êtes beaucoup plus fort que moi. (Нѣтъ, не могу давать вамъ уроки, потому что вы гораздо сильнѣе меня). Попытка брать уроки не удалась; и къ лучшему: не научить, а только сбить съ толку, обезоригиналить могъ бы меня всякій гитарный учитель, по обыкновенію рутинеръ, боящійся всякой смѣлой новизны, какъ чортъ ладону. И если я потомъ игралъ недурно, то это именно потому, что ни у кого не бралъ уроковъ. Познакомился я тогда и съ патріархомъ семиструнной гитары, 75-ти лѣтнимъ Сихрою. Прослушавъ меня и слѣдя за игрою моего концерта по моему потному манускрипту, онъ сказалъ:

— У васъ необычайные сила, быстрота, отчетливость, блескъ, чувство и пылъ; ихъ можно сравнить съ неукротимымъ конемъ, который стремглавъ мчится подъ гору. Но то, что вы написали и назвали концертомъ, это... извините меня, *не гитарная музыка, а гитарныя дерзости.* Не только играть то, что вы тутъ написали, но и *думать то играть это есть уже величайшая дерзость.* — Когда, спустя четыре года, я снова увидался съ этимъ старцемъ и съигралъ ему уже не концертъ, а исправленную и передѣланную изъ него фантазію подъ именемъ *La bravura*, Сихра всталъ, отвѣсилъ мнѣ поклонъ и сказалъ съ глубокимъ чувствомъ:

— Теперь я вижу и сознаю, что это — не дерзость, а блистательнѣйшая гитарная пьеса; но не дерзость только для васъ; а для всѣхъ остальныхъ гитаристовъ есть и будетъ дерзостью. Поразительна, въ особенности, ваша сила: однимъ акордомъ вы убьете нашу семиструнную гитару.

Въ 1840 году познакомился я еще съ Морковымъ, извѣстнымъ тогда любителемъ и аранжировщикомъ для семиструнной гитары (онъ умеръ, кажется, въ 1863 году). Познакомился я также и съ Даргомыжскимъ. Прослушавъ меня и мой концертъ, онъ спросилъ:

— Не думаете-ли вы издать вашъ трудъ?

— Сохрани меня Боже!

— И хорошо сдѣлаете. Храните его до времени въ портфелѣ. Вѣдь вы не изучали ни композиціи, ни контрапункта, ни генералъ-баса?

— И не знаю, что это за звѣри.

— Такъ вотъ видите-ли: въ вашей піесѣ, которую, въ настоящемъ видѣ, никакъ нельзя назвать концертомъ, хотя это и огромная піеса; въ вашей пьесѣ масса мыслей, очень оригинальныхъ, блестящихъ, но онѣ не развиты, не разработаны, не досказаны. О единствѣ, о соразмѣрности частей и говорить нечего, а тѣмъ болѣе о неразрѣшенныхъ или неправильно разрѣшенныхъ септимахъ, которыя и у композиторовъ-то нынѣшнихъ попадаются сплошь да рядомъ. Но что поражаетъ, это—ритмъ, вездѣ и во всемъ строгій ритмъ; вѣдь и его вы не изучали, стало быть онъ у васъ въ ушахъ, врожденный. Итакъ: когда вы изучите, не контрапунктъ, нѣтъ, а просто гармонію, хотя главныя основанія гармоніи, тогда просмотрите свою пьесу: вы можете сдѣлать изъ нее прекрасную вещь, и даже не одну, а двѣ или три.

Послѣ этого откровеннаго разговора и спасительнаго совѣта, я хорошо сошелся съ покойнымъ Александромъ Сергѣичемъ и, въ продолженіи 28 лѣтъ, т. е. до самой его смерти, былъ въ наилучшихъ съ нимъ отношеніяхъ. И горько оплакивалъ я раннюю его кончину: онъ былъ моложе меня. Въ послѣдній разъ свидѣлся и бесѣдовалъ я съ нимъ весною 1868 года, уже съ больнымъ, въ скверѣ, что передъ александровскимъ театромъ. Потомъ уѣхалъ я въ деревню, гдѣ и узналъ о его кончинѣ.

Зимою 1841—1842 гг. бралъ я уроки гармоніи въ Москвѣ, у Іоганниса, дирижера оркестра московскаго большаго театра, превосходнаго человѣка и музыканта, чеха и воспитанника пражской консерваторіи. Вотъ что сказалъ онъ мнѣ, прослушавъ мою игру на гитарѣ:

— И я, и вы должны глубоко сожалѣть о томъ, что вы промѣняли скрипку на этотъ неудовлетворительный и заброшенный инструментъ, который не въ состояніи выразить и четвертой части того страстнаго чувства, которое кипитъ въ васъ и просится наружу. Употребите вы для скрипки столько же времени и труда, какіе посвятили вы гитарѣ, изъ васъ вышелъ бы первоклассный скрипачъ.

Болѣзненно сжалось мое сердце. Глубоко вздохнулъ я о моей прежней любовницѣ, чуть не проклялъ мою измѣну ей. Возвратъ къ прошлому казался невозможнымъ, ошибка — непоправимою... Послѣ уроковъ у Іоганниса я совершенно передѣлалъ мой концертъ. Первое алегро и ададжіо остались цѣликомъ, съ небольшими измѣненіями и значительными исправленіями. Затѣмъ выбросилъ я мазурку, вовсе не идущую къ концерту, но которая въ данномъ мною концертѣ, въ Брюсселѣ въ 1856 году, произвела большой эффектъ и удостоилась особыхъ похвалъ во многихъ брюссельскихъ газетахъ. А блестящій финалъ, но не въ тоникѣ, а въ доминактѣ, вошелъ въ другую мою піесу. Потомъ, много позднѣе, написалъ я рондо въ тоникѣ, которое, вмѣстѣ съ первымъ алегро и съ ададжіо, и составили мой первый концертъ. Второй написалъ я уже въ 1873 году. Въ концѣ пятидесятыхъ годовъ довелъ я свой концертный гитарный репертуаръ до небывалаго максимума: 25 концертныхъ піесъ могъ я проиграть, въ данную минуту, сряду одна за другой съ одинаковыми силою и отчетливостію. Не разъ случалось мнѣ, на любительскихъ гитарныхъ вечерахъ, или у себя, или у покойнаго Моркова, послѣ того, какъ уже окончится игра на двухъ семиструнныхъ гитарахъ, брать въ руки мою шерцеровскую, увѣнчанную первою премією на моемъ конкурсѣ. Я игралъ иногда 10 — 12 большихъ піесъ, изъ которыхъ двѣ или три повторялись. Теперь же, увы! сохранилась только половина того репертуара, потому что не только по 10 — 12 часовъ, но и по часу въ день не играю на гитарѣ. А нерѣдко проходитъ по нѣсколько дней, что я не беру ее въ руки.

Въ то же время, т. е. въ 1841 году, удалось мнѣ купить по случаю очень хорошую скрипку, работы парижскаго Вильома, чрезвычайно красивую и громкую. Продолжая играть на гитарѣ съ прежнимъ пыломъ, я удѣлялъ время и для скрипки, но только очень немного. Потомъ я овдовѣлъ и былъ вовлеченъ въ пьяныя дѣла. Съ ноября 1845 года по май 1846 г. жилъ я въ Петербургѣ и взялся было серьезно за мою прежнюю любовницу: началъ брать скрипичные уроки у извѣстнаго тогда солиста Бема. Дѣло пошло было на ладъ. Но увы! злая судьба снова подоспѣла, чтобы напакостить мнѣ, не лучше того чиновника въ «Мертвыхъ душахъ», что «говоритъ о вещахъ вызывающихъ на размышленіе и тутъ же напакоститъ вамъ хуже всякаго коллежскаго регистратора». Итакъ, въ маѣ 1846 года оставилъ я Петербургъ и поселился въ Орлѣ, для изученія пьяной премудрости подъ руководствомъ одного откупнаго знахаря Вериги (о коемъ была рѣчь выше). Затѣмъ послѣдовали: моя вторая женитьба; плачевная развязка кабацкой псевдо-дружбы; первая

поѣздка заграницу и знакомство съ заграничными гитаристами, возвращеніе на родину, смерть второй жены, переселеніе въ Петербургъ.. Потомъ: вторая поѣздка заграницу, мой концертъ, конкурсъ и разные музыкальные успѣхи въ Брюсселѣ; моя тамъ лебединая пѣснь, возвращеніе въ Петербургъ, полураззореніе, *потерянный рай;* и наконецъ: полное разореніе, приготовленія къ отъѣзду ad patres, выѣздъ изъ Петербурга въ деревню, гдѣ, въ 1865 году, я снова разлучился съ моею любимицею и красавицею, дочерью парижскаго Вильома, подаривъ ее одному хорошему моему знакомому, богатому талантами, но не презрѣннымъ металломъ. Вотъ вамъ весь балансъ моей музыкальной дѣятельности, т. е. полнѣйшая музыкальная несостоятельность. И кому, и чему принесъ я въ жертву почти 40 лѣтъ моей жизни, изъ которыхъ 20 лѣтъ самаго упорнаго, энергическаго изученія и труда? Хилому инструменту и промѣнявъ кукушку на ястреба, но только не по моей, а по волѣ неумолимаго рока, да по... скаредности дядюшки. Къ чему пришелъ, чего добился я въ концѣ концовъ? Шумныхъ аплодисментовъ въ моемъ концертѣ въ Брюсселѣ, восторженныхъ восклицаній и похвалъ окружившей меня, по окончаніи концерта, кучки любителей; облобызанія меня барономъ д'Аннетанъ, министромъ двора Леопольда I, и другаго облобызанія Адама, товарища министра финансовъ, завзятаго любителя гитары, который, на другой же день, прислалъ мнѣ съ министерскимъ курьеромъ рондо для гитары, своего сочиненія, посвященное мнѣ. Затѣмъ появленіе нѣсколькихъ хвалебныхъ статей о моей игрѣ въ брюссельскихъ газетахъ. Наконецъ два обѣда, данныхъ мнѣ баронами д'Аннетанъ: министромъ, да генеральнымъ сборщикомъ податей. Вотъ и все: небольшой фейерверкъ, трескъ и... дымъ, тотчасъ же разсѣявшійся безслѣдно. А что встрѣтило меня по возвращеніи на родину? Насмѣшки, издѣвательство петербургскихъ зубоскаловъ; журнальные свистки, помѣщеніе меня на почетныя мѣста — рядомъ съ Ванькой, да между мѣднымъ носорогомъ и деревяннымъ осломъ.

О, славяноскиѳская раса! О, близорукіе потомки близорукихъ современниковъ достопочтеннаго Гостомысла, не умѣвшихъ обойдтись безъ чужеземныхъ дядекъ и наставниковъ! И вы послѣ этого осмѣливаетесь роптать на нѣмцевъ, укорять ихъ за то, что имъ на Руси привольно, т. е. за то, *что они желаютъ себѣ не зла, а добра; за то, что вполнѣ достигаютъ этого, потому что они впятеро практически умнѣе васъ, славяноскиѳовъ, которые, также какъ и предки ихъ, современники Гостомысла, не умѣютъ обойдтись безъ чужеземныхъ дядекъ и наставниковъ.* Тысячелѣтнія дѣточки! Когда же, въ

самомъ дѣлѣ, успѣть имъ научиться такой хитрой наукѣ, какъ самоуправленіе безъ чужеземныхъ дядекъ и наставниковъ, и въ такой краткій срокъ, какъ тысячелѣтіе? Ну какъ, и впрямь, не ругать нѣмцевъ за то, *что они осмѣливаются поддерживать другъ друга*; *за то, что осмѣливаются не подражать имъ, славяноскивамъ, которые умѣютъ не поддерживать, а швырять другъ въ друга камнями и грязью*; и швырять даже и тогда, когда это швырянье не принесетъ ни малѣйшей матеріальной пользы ни для кого, кромѣ нѣкоторыхъ зубоскаловъ, любящихъ всегда, про все и про всѣхъ зубоскалить..? Не ропщите же, а лучше поучитесь уму-разуму у ругаемыхъ вами нѣмцевъ, которые несравненно практичнѣе и умнѣе васъ и... нисколько не злѣе, если не добрѣе; а развѣ немножечко себѣ на умѣ. А вамъ-то, господа славяноскивы, кто мѣшаетъ быть тоже себѣ на умѣ. А вы только — *себѣ на отрицаніи*. Одному только отрицанію и научились вы въ цѣлое тысячелѣтіе. И состряпали вы изъ этого отрицанія кукую-то безобразную, неуклюжую, тяжелую, непокойную, тряскую, валкую и даже непрочную, ломкую, не то колымягу, не то торжественную колесницу для тріумфальнаго поѣзда преступниковъ? И впрягли въ эту колесницу или колымягу тощую, чахлую славяноскивскую тройку: на правую пристяжку — *авось*, на лѣвую *небось*, въ корень *какъ нибудь*; на козлы посадили славяноскивскаго возницу *задній умъ*. И разъѣзжаете вы на этой тройкѣ и въ этой не то колымягѣ, не то колесницѣ; разъѣзжаете цѣлую тысячу лѣтъ безъ пути и дороги, по пнямъ и кочкамъ, по рытвинамъ и оврагамъ; и безпрестанно опрокидывается эта не то колесница, не то колымяга, и ломаетъ себѣ то ось, то колесо, то оглобли. Ѣдетъ, ѣдетъ она тысячу лѣтъ, а все словно толчется на одномъ мѣстѣ, переминается съ ноги на ногу и едва, едва двигается впередъ. И куда, наконецъ, къ кому и къ чему пріѣхала ваша колымяга, состряпанная изъ отрицанія? Къ нигилизму, къ кинжаламъ, къ револьверамъ, къ динамиту, къ подкопамъ, къ разрывнымъ бомбамъ и къ... цареубійству, и... къ висѣлицамъ, къ достойному васъ, гг. нигилисты, пантеону.

Ликуйте же, гг. славяноскивскіе отрицатели! Торжествуйте всѣ вы, восточные обезьяны, вы перещеголяли всѣхъ вашихъ западныхъ прототиповъ: соціалистовъ, коммунистовъ и даже свирѣпую лондонскую интернаціоналку; всѣ они далеко не такъ отвратительны, не такъ зловредны, какъ вы. Не даромъ сказалъ про васъ красный полякъ Мѣрославскій, одинъ изъ вожаковъ лѣсныхъ бандъ въ 1863 году:

— Если бы удалось мнѣ воскресить Польшу, то пожалуй я пустилъ бы къ себѣ русскихъ нигилистовъ для достиженія нѣкото-

рыхъ цѣлей. А потомъ сейчасъ же перевѣшалъ бы ихъ всѣхъ до единаго.

Правъ, сто разъ правъ красный вожакъ польскихъ лѣсныхъ бандъ.

А какую глубокую истину изрѣкъ нашъ симпатичный, высоко даровитый, высоко-честный, правдивѣйшій и смѣлый Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ, не помню въ которомъ его созданіи:

«Когда русскій человѣкъ расходится, онъ готовъ Бога слопать».

Вѣдь и это глубокомысленное и почти пророческое изрѣченіе слѣдуетъ отнести къ вамъ, гг. нигилисты-всеотрицатели. Да! вы готовы слопать Бога христіанъ, и закусить богами древняго Олимпа, прибавлю отъ себя... Ну, вы, наконецъ, и показали себя, и расходились и успѣли слопать, пока не Бога, а русскаго Царя-Освободителя милліоновъ рабовъ.... На васъ, порожденія мрака и злобы; на васъ исчадія ада, клевреты подпольнаго террора; на васъ, срамъ и безчестіе человѣчества вообще, а своей родины въ особенности; на ваши невиданно и неслыханно-преступныя головы, а не на Мазепъ и Емелекъ, слѣдуетъ бросать вѣчныя анаѳемы и вѣчный позоръ!.. Вамъ, вѣчная анаѳема, вамъ прокаженные и бѣшенные выродки, подонки славянства, запятнавшіе, залившіе царскою кровію и опозорившіе страницы исторіи своей несчастной родины, которую, какъ новые Іуды предатели, не искаріотскіе, а русскіе, готовы продать и предать вы на поруганіе и на распятіе вашимъ заграничнымъ, западнымъ подстрекателямъ и поджигателямъ; и продать не за 30 сребренниковъ, а за грязный комфортъ, за удовлетвореніе своихъ скотскихъ вожделеній и похотей... Веревка и анаѳема: вотъ чего вполнѣ достойны вы, что вполнѣ заслужили.

Теперь попрошу еще на пару словъ моихъ почтенныхъ славянскихъ братій и, въ особенности, васъ гг. квасные патріоты.

Посмотрите-ко возлѣ, да вокругъ себя, да попристальнѣе, и вы увидите самую что ни есть умилительную картину. На первомъ планѣ: одинъ нѣмецъ—сила единицы, два нѣмца—сила вдвое, десять нѣмцевъ—сила десяти дружныхъ единицъ, сила удесятеренная. Теперь полюбуйтесь на задній планъ картины: одинъ русскій — нѣчто въ родѣ силы, двое русскихъ—полсилы, десятеро — полнѣйшее безсиліе: кто въ лѣсъ, кто по дрова... Такъ на что же вы ропщете, на кого жалуетесь, гг. потомки славяноскиѳовъ? Жалуйтесь на самихъ себя, на свою *соціальную неспособность*, *бездарность*, на то, что въ тысячу лѣтъ вы «ничему не научились, ничего не забыли». Я сказалъ въ *соціальномъ* отношеніи, потому что въ *политическомъ* вы кой что и маракуете. Тутъ вы не то, что ваши завислянскіе соплеменники, съ ихъ историческимъ

и злополучнымъ *не позволямъ*. Охъ, какъ много есть у насъ, у православныхъ, «взаграниціи» разныхъ «эдакихъ» доброжелателей и добродзѣевъ, которымъ давно и весьма желалось бы поступить съ нами точно также, какъ поступали когда-то съ «непозволяющими» мосьедобродзѣями: разобрать насъ, православныхъ, по кусочкамъ, по косточкамъ; да грибъ съѣли и съѣдятъ еще десятки, сотни такихъ грибовъ, если не подавятся. Положимъ, что между собою-то мы порою и погрыземся, да чужая-то собака не мѣшайся, не смѣй: съумѣетъ отгрызться да еще какъ! Теперь мнѣ необходимо оговориться: вы, читатель, не подумайте, что я — германофилъ, поклонникъ остзейскихъ бароновъ и разныхъ прочихъ фоновъ. Напротивъ. Я только — справедливъ. Чту высоко справедливость, ставлю ее выше всѣхъ добродѣтелай, и считаю ее матерью всѣхъ остальныхъ. Будь прежде всего строго, неуклонно справедливъ во всемъ и со всѣми, и ты навѣрно будешь хорошимъ человѣкомъ во всѣхъ отношеніяхъ. Быть всегда, во всемъ и со всѣми справедливымъ — несравненно труднѣе, чѣмъ быть честнымъ, потому что не быть послѣднимъ, это — быть безчестнымъ; ну, а на это не у всѣхъ хватитъ храбрости. А не быть справедливымъ, т. е. быть несправедливымъ, это нипочемъ всѣмъ и каждому. Что за бѣда? Тутъ нѣтъ никакого безчестія. Несправедливъ, да и только, и уваженія не теряешь. А нечестный — значитъ подлецъ. Для этого требуется и много храбрости, и много мѣднаго лба. Разумѣется, и въ этомъ разѣ находится не мало индивидуумовъ, на манеръ Януса, съ двумя обликами относительно добра и зла. Въ потемкахъ или при сальномъ огаркѣ, отчего же не сподличать? Можно, когда въ концѣ безчестности торчатъ эдакіе важнѣющіе, мноооо, мнооооготысячные куши. А въ явѣ, при дневномъ свѣтѣ, упаси Боже! Скорѣй на свою харю маску порядочности, честности (псевдо), даже святости. Глядите на насъ, православные, какіе мы филантропы, гуманисты, великіе граждане; какіе мы душки!.. Вы, вы великіе граждане? Вы — трусишки, хвастунишки, фатишки, лицемѣришки, часто хорохоришки (со стеклышкомъ и безъ онаго), почти всегда лгунишки и весьма нерѣдко — воришки и... болѣе ничего... Но пора возвратиться къ гитарѣ и скрипкѣ и кончить эту слишкомъ длинную главу по милости славяноскивовъ, нигилистовъ-отрицателей и бомбобросателей, да остзейскихъ фоновъ.

Итакъ, не сочувствіе, а: или злорадное зубоскальство, или полнѣйшее равнодушіе встрѣтилъ я на родинѣ. Меня искусственно игнорировали. Ни капли простаго любопытства ни въ комъ не возбудилъ я. Какъ это можно! Русскій, какой-то Макаровъ, стоитъ ли говорить о такой дряни? Иностранецъ, и даже не изъ далека, это другое дѣло. Напримѣръ:

пріѣзжаетъ изъ Варшавы въ Петербургъ какой-то полякъ, или еврей съ 14-ти лѣтнимъ сыномъ, который не игралъ, а брянчалъ и царапалъ на гитарѣ нѣсколько различныхъ танцевъ. Фуроръ! Вотъ геній! И почти на рукахъ носили его, няньчились съ нимъ во множествѣ важныхъ домовъ... А Макаровъ!.. Фи!.. Оглянусь теперь на мое прошлое. Кого любилъ я страстно? Съ кѣмъ сожительствовалъ около сорока лѣтъ? Съ чахоточнымъ инструментомъ, который, правда, не казался такимъ въ моихъ рукахъ: сильно, громко звучалъ онъ и, пожалуй, плѣнялъ многихъ, да только не меня: и наполовину не могъ никогда удовлетворить пожиравшую меня музыкальную жажду мелодіи, пѣнія. Я сказалъ: «плѣнялъ многихъ». Это правда: не разъ плѣнялъ и даже трогалъ я сердца многихъ дамъ, и пожилыхъ, и молодыхъ, хорошенькихъ, какъ это увидятъ далѣе, въ *Хроникѣ любовей*. И даже растрогалъ я однажды двухъ дѣятелей изъ холоднаго коммерческаго міра. Разъ, одинъ изъ нихъ, книгопродавецъ, сидѣлъ у меня и покупалъ большую партію моихъ словарей. Давалъ онъ мнѣ по 3 р. за экземпляръ и ни копѣйки болѣе. Я готовъ былъ согласиться, но прежде, уступая просьбѣ дѣловаго посѣтителя, который былъ еще и большимъ любителемъ музыки и страстнымъ піанистомъ, я сыгралъ на гитарѣ нѣсколько піесъ. Посѣтитель пришелъ въ большой восторгъ и тотчасъ же объявилъ мнѣ съ большимъ одушевленіемъ: «Извольте, я согласенъ прибавить за ваши превосходные словари: не по 3 р., а по 3 р. 25 к. даю вамъ за нихъ».

А въ другой разъ, вечеромъ пилъ у меня чай одинъ банкиръ и съ тѣмъ вмѣстѣ книгопродавецъ. Сидѣлъ онъ на диванѣ, а я, по его просьбѣ, игралъ на гитарѣ мою «Камаринскую». Не худощавый, а плотный банкиръ-книгопродавецъ приходитъ въ неописанный восторгъ, неистово хлопаетъ руками и подпрыгиваетъ на диванѣ. И вдругъ трахъ: диванъ проваливается, а вмѣстѣ съ нимъ и восторгавшійся не въ мѣру мой гость, и представляетъ изъ себя уморительную фигуру согнутаго на двое тѣла. Я спѣшу на помощь и вытаскиваю гильдейскаго меломана, который не сердится, а отъ души хохочетъ надъ своимъ проваливаньемъ и сейчасъ же кончаетъ сдѣлку со мною на весьма выгодныхъ для меня условіяхъ, да въ добавокъ угощаетъ меня бутылкою отличнаго Шато д'Икемъ.

Такъ вотъ гдѣ встрѣчаются иногда простосердечные и не лжемудрствующіе любители и цѣнители родныхъ дарованій; а не въ педантскомъ и чопорномъ мірѣ присяжныхъ музыкальныхъ оцѣнщиковъ и судій, которые, если и удостоятъ иногда одобрить, или хоть не осмѣять кого либо изъ отечественныхъ артистовъ или диллетантовъ, то лишь такихъ,

которыхъ уже апробовали гдѣ нибудь за границею, или въ которыхъ они, чопорные и безпардонные цѣнители, открыли и усмотрѣли что-то такое, «ультра-будущее», чего ни одинъ изъ обыкновенныхъ смертныхъ и любителей не откроетъ и не усмотритъ даже, смотря черезъ самый большой телескопъ Пулковской обсерваторіи. Впрочемъ, случаются и у нихъ, безпардонныхъ, исключенія; и они, безпардонные, соблаговолятъ иногда хлопать роднымъ дарованіямъ. Да только на бѣду, вмѣстѣ съ хлопаньемъ, они ухищряются еще сбивать съ толку и съ панталыку начинающихъ и неустановившихся еще талантовъ. Такова ужъ, изволите видѣть, славяноскиѳская задорная и самонадѣянная натура большей части нашихъ чопорныхъ, безпардонныхъ и непогрѣшимыхъ оракуловъ русскаго искусства: оказывать медвѣжьи услуги и русскому искусству, и своимъ протеже.

Итакъ, чѣмъ болѣе нравился я слушающимъ меня любителямъ, тѣмъ менѣе нравился самому себѣ, все менѣе и менѣе удовлетворяла меня гитара. Возьму ее въ руки, хотѣлъ бы на ней пѣть, хохотать, вздыхать, стонать и рыдать, какъ это дѣлалъ Паганини на своей волшебной скрипкѣ. Но не пѣніе, не хохотъ и не рыданіе выходили у меня, а только—трынь, брынь, сухой, отрывистый звукъ. Правда, блеску много: разнообразнѣйшія арпеджіи, какихъ нѣтъ ни у одного струннаго инструмента; аккорды полные, разнообразные; быстрые, изумительные пассажи и прыжки, но пѣнія нѣтъ. А во мнѣ-то: и день и ночь, почти безустанно напѣваетъ мнѣ кто-то въ уши разныя мелодіи, порою дивныя. Читаю, пишу, курю и пью чай или кофе, а все кто-то напѣваетъ мнѣ въ уши. Лягу спать, засыпаю и даже сквозь самый сонъ долетаютъ до моихъ ушей дивные напѣвы и мелодіи, откуда-то: сверху ли отъ свѣтлыхъ духовъ, или снизу отъ мрачныхъ?.. А гитара моя все только брынь да трынь. И десятой части не можетъ, не въ силахъ она высказать, выразить того, что звучитъ въ ушахъ, въ головѣ, что кипитъ въ груди. Настоящія муки Тантала. И съ досадою, въ отчаяніи бросаю я мою холодную, безчувственную любовницу, такъ дурно, такъ сухо и холодно, такъ неблагодарно отвѣчающую на мои пламенныя ласки, просьбы и моленія... Разводъ, разводъ!.. А что же послѣ? Съ кѣмъ придется прожить небольшой остатокъ 70-ти-лѣтней жизни? Въ полнѣйшемъ одиночествѣ, въ полнѣйшемъ и бездѣтномъ музыкальномъ вдовствѣ?.. Страшно!.. Заживо въ могилѣ... И я снова вынимаю изъ ящика, вызываю изъ ея терема мою 40-ка-лѣтнюю сожительницу. И опять трынь, брынь. А тамъ, словно насмѣшка судьбы, время отъ времени нагрянетъ на меня какой нибудь любитель.

— Поиграйте, ради Бога, съиграйте что нибудь!

Ну и сыграю или соло изъ 3-го концерта Джульяна и одну изъ своихъ мазурокъ, или карнавалъ и камаринскую; или одну изъ блестящихъ манускриптныхъ піесъ Мерца.

— Ахъ, какая прелесть!—да только не для меня. Или весело, безумно хохотать, или стонать, плакать и рыдать хочу я, а не брынь, трынь. И я чувствую, вѣрую, что, будь это скрипка, я могъ бы вдоволь и хохотать, и плакать, и рыдать на ней... Но гдѣ ты, моя первая, дѣвственная любовница? Наложила на тебя роковой зарокъ скаредность дяди, а потомъ довершили нашу разлуку тяжелыя условія тяжелой жизни... И снова руки опускаются въ изнеможеніи, и голова, въ глубокой грусти, падаетъ на грудь, и эксъ-фаворитка запирается въ свой тѣсный и мрачный теремъ на нѣсколько дней... Нѣтъ! это не жизнь, а музыкальныя пытки, музыкальный застѣнокъ... Нѣтъ!.. Такъ жить долѣе невозможно... Необходимъ исходъ изъ музыкальной неволи, какой бы ни былъ, но исходъ... И... благодареніе Творцу! Исходъ наконецъ явился.

Въ началѣ 1880 года у моего старшаго сына вдругъ явилось желаніе играть на скрипкѣ. И вотъ покупаетъ онъ себѣ въ игрушечной лавкѣ скрипченку въ 3 р. Начинаетъ пиликать по слуху кое-что. Я собираюсь въ Петербургъ. — Папа, купи мнѣ тамъ скрипку получше этой, — проситъ меня сынъ. Покупаю въ кн. магазинѣ Фену и комп. Беру также скрипичную школу Берьо. Возвращаюсь въ Тулу, беру учителя-нѣмца, военнаго капельмейстера, порядочнаго музыканта и скрипача. Начинаются уроки. Проходитъ мѣсяцъ. Дѣло пошло было на ладъ. У сына чрезвычайно вѣрный слухъ и музыкальная память превосходная. Но только моими терпѣніемъ и настойчивостью природа его не одарила. Страсть къ рисованью беретъ верхъ и, послѣ двухъ мѣсяцевъ музыкальныхъ занятій, онъ охладѣваетъ къ скрипкѣ и уроки прекращаются. Но его маленькая скрипка не хоронится навсегда: разъ взялъ я ее въ руки и попробовалъ играть. Отъ пятнадцатилѣтняго бездѣйствія, правая рука словно окоченѣла, неповоротлива; но лѣвая жива, бодра и развязна: гитарный механизмъ ея пальцевъ во многомъ схожъ съ механизмомъ скрипичнымъ, а потому и не одеревенѣла. Вскорѣ ѣду опять въ Петербургъ. На этотъ разъ удается мнѣ купить по случаю, не дорогую, но весьма порядочную миттенвальденскую скрипку, 80-ти лѣтнюю, т. е. вполнѣ обыгранную, не очень сильную, но мягкую и пѣвучую, близко подходящую по формѣ къ итальянской, словомъ: лучше какой для меня желать нельзя. Возвращаюсь въ Тулу и, послѣ долгаго перерыва, принимаюсь за мою первую любимицу. Послѣ нѣсколькихъ

упражненій, заброшенная мною когда-то любовница начала удовлетворять меня несравненно болѣе, нежели сорокалѣтняя холодная сожительница. Быть можетъ скоро буду въ состояніи и смѣяться и плакать на ней. Но нѣтъ, пою и теперь гораздо лучше, нежели на гитарѣ, которую однако не бросаю: слишкомъ много жертвъ принесъ я для нее, чтобы разойтись съ ней навсегда. И вотъ дѣлю я мои короткіе досуги между двумя, одинаково старыми моими музыкальными подругами, и вполнѣ уподобляюсь поклоннику пророка: при законной женѣ, позволяю жить подъ одной съ нею кровлею двумъ фавориткамъ. Но только одна изъ нихъ явная, гласная, не прячущаяся ни отъ кого; а другая—не гласная, тайная, слышимая только мною, и никѣмъ другимъ. Да сохранитъ меня Богъ отъ такой профанаціи. Но главная польза отъ возвращенія подъ мой кровъ моей прежней любимицы это то, что я могу уже отливать и изливать тѣ мелодіи, которыя копились и накоплялись во множествѣ въ моихъ ушахъ и головѣ и разрывали мнѣ грудь, отъ невозможности осуществить ихъ въ живыхъ звукахъ.

Болтунъ, какъ есть болтунъ, слышится мнѣ кой-откуда. «Началъ за упокой, а свелъ за здравіе». Лишь бы не наоборотъ, читатель. Что-жъ дѣлать? Вѣдь, быть можетъ, я уже въ послѣдній разъ разговариваю съ вами, разговариваю по душѣ. Такъ дайте же мнѣ наговориться, высказаться, вылиться. Быть можетъ не сегодня, такъ завтра понесутъ меня «ногами впередъ», какъ выражаются французы. И раздается надъ моимъ прахомъ заунывное: «Со святыми упокой». И хорошо еще если со святыми? А то какъ «съ грѣшными»? Кто знаетъ? Вѣдь панихида-то — первая инстанція суда надъ только что переставшими жить. Есть инстанціи высшія, есть прокуроры, ихъ протесты. А ну какъ мои-то прокуроры, т. е. рецензенты, опротестуютъ панихиду по мнѣ. Вѣдь это — бѣдовые прокуроры! Чего и кого, они бѣдовые, не въ состояніи были опротестовать, да еще какъ? Наинахальнѣйшимъ и наилгуннѣйшимъ образомъ; напримѣръ: достало же мѣднаго лба и наглости у одного рецензента въ 60-хъ годахъ для того, чтобы опротестовать и облаять геніальнаго Пушкина. А развѣ не опротестовали они, мѣднолобые рецензенты, когда-то геніальныхъ Байрона и Мицкевича? Ну да эти сами были зубасты и превосходно отгрызлись отъ задорныхъ и злыхъ шавокъ и мосекъ періодической прессы своего времени. Первый въ своей остроумно-злой сатирѣ: *Моимъ эдинбургскимъ критикамъ*, а второй въ своемъ отвѣтѣ критикамъ варшавскимъ. Читалъ я этотъ отвѣтъ въ концѣ двадцатыхъ годовъ, и теперь не забылъ послѣднихъ словъ отвѣта Мицкевича: «Просвѣщеніе шло, шло, дошло до варшавской заставы и...

вернулось вспять — его не впустили въ Варшаву варшавскіе критики». Итакъ, нѣтъ такой вещи и такой личности, которую не могли бы опротестовать, т. е. разругать гг. завзятые рецензенты. А что до Творца вселенной, то его уже давнымъ давно опротестовали и похѣрили. Знай нашихъ!

Такъ вотъ какъ опротестуютъ панихиду по мнѣ наши бѣдовые славяносмысленскіе рецензенты, тогда мнѣ не сдобровать: меня уже не упокоятъ со святыми, а обезпокоятъ съ грѣшными и отправятъ по-этапу не вверхъ, а внизъ, въ преисподнюю. И хорошо еслибы въ чистилище; все-таки было бы повольготнѣе. Но вѣдь чистилища у православныхъ не полагается. Стало быть, крути не крути, а маршъ прямо въ адъ. Слава Богу, что это, по крайней мѣрѣ, еще не самое скверное мѣсто во вселенной: тамъ будешь въ компаніи умнѣйшихъ и просвѣщеннѣйшихъ головъ. А какъ бы упрятали въ самое что ни есть скверное мѣсто въ Европѣ, во вселенной, напримѣръ: въ скверненькіе сотрудники, къ скверненькому редактору, съ покушеніями на усы, вмѣсто которыхъ торчитъ негодная зубная щеточка; въ скверненькую редакцію, какою было околѣвшее отъ сибирской язвы *Русское Слово*. Ну что было бы со мною тогда-то, въ компаніи не умнѣйшихъ и просвѣщеннѣйшихъ головъ, а въ сборищѣ бахвальнѣйшихъ и наглѣйшихъ писакъ и пасквилистовъ? Но, благодареніе Богу, сослали только въ адъ, а не въ сотрудники. Итакъ, рецензентской милостію я — въ аду. Ахъ, еслибы позволили захватить съ собою мою скрипку или хоть гитару, да бутылку Шато д'Икемъ и ящикъ сигаръ, для куражу. Но нѣтъ! рецензенты не позволятъ: свирѣпые, безжалостные! И вотъ я въ аду, на каленой сковородѣ, корчусь и страшно гримасничаю. «Ай, ай! ужасти какъ больно!» А они-то, бѣдовые рецензенты, смотрятъ на меня сверху, изъ райка, да ухмыляются, да потираютъ себѣ руки, разумѣется въ палевыхъ перчаткахъ. А нѣтъ, нѣтъ, иной и рявкнетъ: «браво, фора, бисъ!» Бѣдовые, право.

Но успокойтесь, господа! Вѣдь это все прежніе, шестидесятыхъ годовъ рецензенты. А теперешніе такъ себѣ, ничего. Далеко не такіе свирѣпые, какъ тѣ. Ну, разумѣется, въ семьѣ не безъ урода. И все-таки мнѣ теперь не такъ страшно, какъ тогда. А еслибы, паче чаянія, и случилось что недоброе, то уже не двадцать лѣтъ пришлось бы страдать семидесятидвухъ-лѣтнему старику, а несравненно менѣе. Надѣюсь, что прошедшее, медленное, двадцатилѣтнее убиваніе не повторится, потому что le combat finira faute de combattants (битва кончится за неимѣніемъ бойцевъ).

II.

Передовая женщина.

Тетка моя по матери выходила далеко изъ ряда обыкновенныхъ умныхъ женщинъ. Александра Алексѣевна Шипова была тоже дама важная, которую уважали не одни дворяне солигаличскіе и сосѣднихъ уѣздовъ, но и вся губернская аристократія. Но только важность эта нисколько не походила на обыкновенныя провинціальныя и даже столичныя важности, большею частію фальшивыя и тошнительныя. Важность эта состояла не въ надутости, не въ чванствѣ чѣмъ-то, не въ чопорности и не въ нахальныхъ притязаніяхъ на всеобщій и незаслуженный почетъ; а въ томъ всеобщемъ и невольномъ уваженіи, которое, какъ законную дань, всякій спѣшитъ воздать добровольно каждому нравственному превосходству, каждому истинному внутреннему достоинству и заслугѣ, а не внѣшней обстановкѣ, размалеванной яркими колерами и руками дюжинныхъ декораторовъ и костюмеровъ. Александра Алексѣевна двумя головами была выше всего, что окружало ее во время деревенской ея жизни въ селѣ Богородскомъ, находившемся въ Солигаличскомъ уѣздѣ. Своими смѣлыми прогрессивными идеями и умомъ, она на цѣлое полустолѣтіе опередила свой вѣкъ. Домъ ея считался однимъ изъ лучшихъ въ губерніи. Но не въ этомъ состояло превосходство ея надъ всѣми. Обладая свѣтлымъ, быстрымъ умомъ и самымъ живымъ и блестящимъ остроуміемъ, она имѣла благороднѣйшее и добрѣйшее сердце; а великодушіе и щедрость ея были по истинѣ царскія. Ея остроуміе никого не оскорбляло, а только забавляло и смѣшило, т. е. играло, искрилось, какъ шампанское, а не прожигало, какъ купоросное масло. Поэтому она не вселяла ни малѣйшаго страха въ своихъ знакомыхъ, и ее всѣ глубоко уважали, чтили и любили безъ памяти. Это было не то, что описанная мною чухломская султанша Шипова, которая наводила на всѣхъ страхъ и трепетъ и брала все нахрапомъ, т. е. *добровольно наступя на горло*. Нѣтъ! Александра Алексѣевна брала все любовью, ласковымъ словомъ, деликатностью, радушіемъ и самою щедрою благотворительностію. Ей никогда и въ голову не приходило *заставить себя уважать*. Она не обращала ни малѣйшаго вниманія на то, низко или не низко кто ей поклонился: даже не замѣчала, или не хотѣла замѣтить, если кто и вовсе ей не поклонился. И сохрани Боже, чтобы она мстила или хотя сдѣлала кому непріятность за недостатокъ *почтенія къ ней*. Она стояла такъ высоко, что ни грязь, ни пыль не могли долетѣть до ея прекрасной

личности и разсыпались въ прахъ у ея подножія. Въ манерѣ ея обращенія, въ высшей степени и постоянно вѣжливой и деликатной, не было ни *любезнѣйшихъ*, ни *почтеннѣйшихъ*. У себя ли дома, въ гостяхъ ли, всѣ ея знакомые были для нея равны, были ли это богатые, зажиточные или бѣдные люди; столбовые или простые дворяне, и даже купцы; только были бы мало-мальски порядочные люди. Не терпѣла она однихъ негодяевъ, подлецовъ и грабителей. Этихъ она трактовала съ уничтожающимъ презрѣніемъ, не подпускала къ себѣ и на дальнее разстояніе, и не только въ домъ, но и на дворъ къ себѣ не впускала. И все-таки вліяніе извѣстной обстановки, извѣстныхъ эпохи и круга такъ сильно, такъ деспотично, что люди самые передовые не въ силахъ совершенно отрѣшиться отъ этого вліянія, которое выказывается иногда, хотя и рѣдко, въ нѣкоторыхъ чертахъ и выходкахъ. И у Александры Алексѣевны проявлялись иногда нѣкоторыя черты и выходки, принадлежавшія современной ей средѣ. Это была, такъ сказать, невольная дань духу времени. При дальнѣйшемъ о ней разсказѣ, я буду указывать на такія выходки, называя ихъ *невольною данью своему времени*.

Александра Алексѣевна происходила отъ одной изъ самыхъ почетныхъ и старинныхъ дворянскихъ фамилій въ губерніи, и была дочерью генерала. А это было особенно важно въ эпоху образцоваго чинопочитанія, въ которую превосходительные фонды стояли очень высоко на биржѣ общественнаго уваженія. Александру Алексѣевну выдали противъ ея воли за Ивана Антоныча Шипова, роднаго и меньшаго брата описаннаго мною солигаличскаго «императора». Но только онъ нисколько не походилъ на своего старшаго брата. Во-первыхъ: онъ имѣлъ хорошее родовое имѣніе, потому что родился отъ второй жены своего отца, имѣвшей большое состояніе. Во-вторыхъ: онъ былъ глупъ, какъ пробка. Въ третьихъ: былъ пьяницей, который никогда не напивался домертва, но постоянно находился сильно навеселѣ, потому что всякій день, съ утра и до вечера, глоталъ по рюмкѣ водки черезъ каждые два часа, закусывая всякій разъ сухарикомъ изъ чернаго хлѣба. Въ четвертыхъ: имѣлъ чахотку, но такую медленную, что тянулась едвали не пятнадцать лѣтъ, и потому—въ пятыхъ: это былъ страшнѣйшій неряха и замарашка, и *субъективно* и *объективно*, т. е. и самъ весь оплюется и запачкается, и вокругъ себя все оплюетъ и запачкаетъ. И былъ это человѣчекъ маленькій, худенькій, гаденькій, глупенькій, который только и умѣлъ говорить всѣмъ:

— Ну братъ! — или: — Эхъ братъ! — или: — Что братъ!—или: — Полно братъ! — или: — Ей Богу, братъ!

Всегда и вездѣ: братъ, братъ и братъ, сопровождаемый постояннымъ, громкимъ и глупымъ хохотомъ, да кашлемъ, да плеваньемъ. Но не взирая на такія неблестящія душевныя и тѣлесныя качества, Иванъ Антоновичъ пользовался вездѣ и у всѣхъ большимъ почетомъ, благодаря своей женѣ, которую всѣ уважали, да еще потому, что онъ былъ богатъ: имѣлъ своихъ четыреста, да за женою взялъ шестьсотъ, что составило цѣлую тысячу душъ и считалось огромнымъ состояніемъ между костромскими дворянами, съ состояніями большею частію средней руки. Само собою разумѣется, что Александра Алексѣевна не могла ни любить, ни уважать такого мужа, какъ глупый и пьяный Иванъ А. Она была главной и полной хозяйкой въ домѣ, сама распоряжалась всѣмъ и управляла имѣніемъ, потому что мужъ ея былъ способенъ только прикладываться къ рюмочкѣ черезъ каждые два часа и закусывать сухарикомъ, да неряшничать, да говорить всѣмъ «братъ», да смѣяться дурацкимъ смѣхомъ, да отправляться каждую осень съ тенетами на облаву лисицъ и волковъ, шкуры съ которыхъ украшали стѣны его кабинета, и были его гордостію, торжествомъ и блаженствомъ.

Александра Алексѣевна жила чрезвычайно открыто. Гостепріимство и хлѣбосольство ея достигали самыхъ широкихъ размѣровъ, и въ цѣлой губерніи не имѣли себѣ равныхъ ни тогда, ни послѣ. Семейство ея состояло только изъ трехъ особъ: мужа, жены и сына; но у нея никогда не садилось за столъ менѣе пятнадцати человѣкъ. Когда отецъ отвезъ меня въ село Богородское, тогда находилось тамъ нѣчто въ родѣ пансіона: добрѣйшая Александра Алексѣевна приняла уже къ себѣ въ домъ на воспитаніе двоихъ молодыхъ людей, Готовцева и Черевина, имѣвшихъ лѣтъ по шестнадцати, и двухъ дѣвицъ — Малицыну и Невельскую (обѣ Маши, мои ровесницы). Первая изъ нихъ была прехорошенькая, преумная и предобрая дѣвушка, съ которою я очень подружился. Съ Невельскою я былъ уже знакомъ прежде. Но объ этихъ двухъ Машахъ буду говорить подробнѣе ниже, въ 4-й книгѣ. Вся эта молодежь были дѣти небогатыхъ дворянъ, воспитывавшіяся и жившія въ домѣ Александры Алексѣевны на ея полномъ содержаніи и наравнѣ съ ея сыномъ, Алешею, тоже шестнадцатилѣтнимъ юношею. Всѣ они обучались языкамъ: русскому, французскому, нѣмецкому и англійскому, а изъ наукъ: исторіи, географіи и математикѣ, да еще рисованію карандашемъ, тушью и акварелью. А сверхъ того мальчики обучались еще и латинскому языку. Все это преподавалось ученымъ молодымъ швейцарцемъ, и пожилымъ учителемъ живописи изъ русскихъ вольнопрактикующихъ художниковъ. Стало быть изъ моего сельскаго уединенія и почти одиночества я попалъ въ

компанію очень веселую и шумную. Первый мѣсяцъ я страшно дичился, смотрѣлъ букою и скучалъ по своемъ родномъ гнѣздѣ. Но потомъ привыкъ, пересталъ дичиться, смотрѣть изъ-подъ лобья, совершенно переродился, такъ что когда, черезъ три мѣсяца послѣ того, я навѣстилъ родительскій домъ, меня тамъ не узнали, такъ я сталъ развязенъ и утратилъ всю мою прежнюю нелюдимость, а съ тѣмъ вмѣстѣ и шумливость, шаловливость и угловатость манеръ.

Сверхъ своей семьи, пятерыхъ воспитанниковъ и двоихъ учителей, въ домѣ Александры Алексѣевны всегда проживали двѣ-три бѣдныя дворянки, да одинъ или два такихъ же дворянина. И все это ѣло, пило, одѣвалось и обувалось на счетъ великодушной хозяйки, да еще въ имянины и въ большіе праздники получало подарки. И потому, когда заѣзжали въ Богородское какіе нибудь разносчики, они жили тамъ по нѣскольку дней, по недѣлямъ, такъ что успѣвали распродать то, что обыкновенно въ другихъ мѣстахъ распродали бы только мѣсяца въ два. Кромѣ постоянной и ежедневной огромной компаніи, садящейся за одинъ столъ, у Александры Алексѣевны собиралось раза по два въ недѣлю человѣкъ по двадцати гостей изъ ближнихъ и дальнихъ сосѣдей; обѣдали, а вечеромъ танцовали подъ септуоръ ея деверя, П. А. Шипова, жившаго верстахъ въ трехъ отъ Богородскаго. Сверхъ того каждый мѣсяцъ было по парадному обѣду и балу, очень веселому, со множествомъ гостей. Наконецъ раза по четыре въ годъ задавались въ Богородскомъ громадныя пиршества, на которыя съѣзжалось человѣкъ до пятидесяти изъ цѣлой губерніи и изъ самой Костромы. Пиршества эти отличались необыкновенными, лукулловскими угощеніями, всеобщею веселостью, увеселеніями, и всякій разъ какими нибудь новыми забавами и выдумками. Многіе изъ пріѣзжихъ издалека гостей проводили въ Богородскомъ по недѣлѣ. Но главное и самое блистательное изъ этихъ пиршествъ было первое іюля, храмовой праздникъ села Богородскаго. Описаніе этого любопытнаго празднества будетъ далѣе. Однимъ словомъ, не только въ Костромской губерніи, но и въ цѣлой Россіи едвали существовалъ когда либо домъ болѣе гостепріимный, болѣе радушный; домъ, гдѣ бы жили такъ пріятно, такъ весело, такъ беззаботно, какъ деревенскій домъ Александры Алексѣевны. Скука, печаль, забота, вялость, сонливость,—все это было неизвѣстно въ благодатномъ домѣ моей тетки, истинно передовой и рѣдкой женщины. Ни одного мрачнаго, недовольнаго лица, потому что горизонтъ надъ Богородскимъ былъ вѣчно ясенъ, безоблаченъ; потому что на этомъ горизонтѣ постоянно блистало лучезарное солнце, которое всѣхъ равно и освѣщало, и согрѣвало. Этимъ живительнымъ благотворнымъ солнцемъ была

Александра Алексѣевна Шипова. Правда и то, что, въ теченіи восьми лѣтъ такой жизни, которую она устроила для того, чтобы затопить волнами свѣта, тепла и счастія отроческую жизнь своего единственнаго и любимаго сына Алеши, Александра Алексѣевна сдѣлала огромные долги. Но она честно раздѣлалась съ своими кредиторами, которые вѣрили въ нее, какъ въ Бога: продала всѣ свои шестьсотъ душъ, всѣ свои брилліанты и лишнее серебро, и уплатила всѣ свои долги до послѣдней копѣйки. Но у сына уцѣлѣли отцовскія четыреста душъ, когда, послѣ смерти мужа, мать повезла на девятнадцатомъ году его возраста въ Петербургъ, и опредѣлила въ школу гвардейскихъ подпрапорщиковъ.

III.

Знаменитые дурачекъ и мистификаторъ.

Село Богородское стояло на высокомъ и крутомъ берегу рѣки Вексы, и имѣло чрезвычайно живописный видъ съ противоположнаго берега. Внизу, подъ самымъ селомъ, были устроены на рѣкѣ огромная мельница въ нѣсколько поставовъ и пильный заводъ. По этому, небольшая рѣка, запруженная длинною и высокою плотиною, разливалась широко и имѣла видъ озера.

Передовыя идеи Александры Алексѣевны проявлялись, въ особенности, въ воспитаніи сына и его сотоварищей. Слѣдя постоянно, зорко за успѣхами въ образованіи и развитіи ума, она, въ тоже время, понимала всю важность развитія тѣлесныхъ силъ; поэтому и обратила большое вниманіе на гимнастику, о которой въ то время никто ничего не говорилъ. Большая часть тогдашнихъ дворянскихъ дѣтей воспитывалась глупѣйшимъ образомъ: ихъ водили на помочахъ, въ фуфайкахъ, держали въ теплѣ, боясь, чтобы на нихъ не подулъ вѣтерокъ. Ну и приготовляли изъ этихъ изнѣженныхъ дѣтей разсадники простудъ, насморковъ, кашлей, флюсовъ и ревматизмовъ.

Ничего подобнаго не было у Александры Алексѣевны. Воспитанники ея постоянно, внѣ классовъ, упражнялись въ гимнастикѣ. Они бѣгали въ запуски, влѣзали по веревочнымъ лѣстницамъ на высокую мачту, поставленную среди двора: боролись между собою, фехтовали на рапирахъ и учились стрѣлять въ цѣль изъ ружья и пистолета. Ѣздили верхомъ кавалькадами, и скакали часто во весь духъ въ запуски; а также разъѣзжали въ маленькихъ экипажахъ, какъ-то: на бѣговыхъ дрожкахъ, въ

кабріолетѣ и въ маленькой телѣжкѣ, сами правили и даже умѣли сѣдлать, запрягать и распрягать лошадей. Подъ вечеръ лѣтняго дня садились въ большую лодку, разъѣзжали по широкому разливу рѣки, сами гребли веслами и правили рулемъ, напѣвая хоромъ: «Внизъ по матушкѣ по Волгѣ». Купались ежедневно въ рѣкѣ и учились плавать. Тутъ-то и было положено основаніе тому искусству плаванія, которымъ я отличался впослѣдствіи. Наконецъ, всѣ воспитанники общими силами исполняли разныя земляныя работы, а между прочимъ сдѣлали земляную лѣстницу черезъ всю высоту крутаго берега рѣки, гдѣ сами же рѣзали дернъ и обшивали имъ земляныя ступени. Все это дѣлалось подъ надзоромъ учителей или подъ руководствомъ садовника. Затѣмъ, осенью и зимою, несмотря на слякоть и холодъ, они должны были хоть полчаса провести на открытомъ воздухѣ, гуляя по двору или въ экипажѣ.

Александра Алексѣевна славилась не однимъ широкимъ хлѣбосольствомъ, но и рѣдкимъ въ то время изяществомъ своего стола. Вина, сыры, сельди, фрукты и прочія гастрономическія тонкости выписывала изъ Петербурга прямо съ биржи. У нее было три отличнѣйшихъ повара и два кондитера, всѣ пятеро обучавшіеся въ Петербургѣ на царской кухнѣ. Во время пировъ и большихъ обѣдовъ имъ всѣмъ была работа; но въ обыкновенное время одинъ изъ поваровъ былъ поочередно и въ продолженіи недѣли дежурнымъ по кухнѣ, другой помогалъ ему, а третій отдыхалъ и ровно ничего не дѣлалъ, пока не наступала его очередь быть дежурнымъ или помощникомъ. Тетка за всѣмъ смотрѣла сама, наблюдала строгій порядокъ въ домѣ, во дворѣ и въ имѣніи. Она не была очень строга въ обращеніи съ людьми, смотрѣла сквозь пальцы на маловажные проступки и въ особенности на нѣкоторыя увлеченія молодости. Но она далеко не была слаба и, за важные проступки, никому не давала спуску. Между прочимъ, и какъ исключеніе изъ правила, она была довольно строга съ своими поварами. Когда подавали на столъ блюдо, дурно, небрежно приготовленное: подожженное, продымленное или пересоленое, она сейчасъ же призывала къ себѣ дежурнаго повара и дѣлала ему замѣчаніе. За другую такую же небрежность въ продолженіи одного дежурства она дѣлала повару строжайшій выговоръ. За тѣмъ, за третью небрежность дежурный поваръ получалъ *извѣстное чувствительное наставленіе*. Это было ея правило — прощать до двухъ винъ сряду, и наказывать за третью. Но съ тѣмъ вмѣстѣ въ этой неуклонной строгости заключалось *и дань ея своему времени*. Вторая такая дань ея заключалась въ привиллегированномъ шутѣ, постоянно проживавшемъ въ ея домѣ. Впрочемъ, она допускала эту уродливость не для себя, а

для своего глупаго мужа, который находилъ величайшее наслажденіе возиться съ шутами, съ дурочками да съ дураками. Свой своему по неволѣ братъ. Привиллегированный шутъ села Богородскаго заслуживаетъ болѣе чѣмъ одно простое объ немъ упоминаніе. Если бы онъ прожилъ свой вѣкъ въ столицѣ, то, по всей вѣроятности, сдѣлался бы лицемъ популярнымъ, и ему отвели бы особенную страницу въ исторіи знаменитыхъ шутовъ.

Богородскаго шута звали Андреяша Кадочкинъ. Это былъ дворянинъ-голышъ, настоящая фамилія котораго была Кадниковъ. Но въ то время особеннаго презрѣнія къ бѣднымъ дворянамъ вообще, и къ человѣческому достоинству въ особенности, гражданское кощунство зажиточныхъ дворянъ-зубоскаловъ посягало на все, даже на собственное, родовое дворянское имя своихъ меньшихъ братій, дворянъ мелкопомѣстныхъ или голышей. И это имя передѣлывалось и уродывалось ими, нахалами-зубоскалами, уродовалось вмѣстѣ съ физіономіями несчастливцевъ, носившими иногда на себѣ всю жизнь слѣды увѣчья и безчеловѣчія праздныхъ, необразованныхъ и развратныхъ полутатаръ и полуевропейцевъ первой четверти нынѣшняго столѣтія.

Андреяша Кадочкинъ имѣлъ тогда около тридцати пяти лѣтъ, былъ невысокаго роста, но необыкновенно широкоплечъ, мускулистъ и обладалъ замѣчательною физическою силою. Но главная сила его заключалась не въ мышцахъ, а въ его лбѣ. Надо сказать, что на низенькомъ, неуклюжемъ, почти квадратномъ туловищѣ и на коротенькой толстой шеѣ торчала огромнѣйшая голова, настоящій пивной котелъ въ маломъ размѣрѣ. Голова эта, приплюснутая сверху, словно вышедшая изъ подъ пресса, непомѣрно раздалась въ ширину, къ вискамъ, такъ что лобъ Андреяши, необыкновенно широкій, былъ, съ тѣмъ вмѣстѣ, необыкновенно низокъ, имѣя не болѣе полувершка разстоянія между бровями и волосами на головѣ. Но въ этомъ низкомъ и широкомъ лбѣ находилась страшная, невѣроятная сила. Вотъ образчики этой силы, свидѣтелемъ которыхъ былъ я въ продолженіи полутора лѣтъ, и о которыхъ знала хорошо половина Костромской губерніи.

Андреяша, любившій орѣхи, никогда ихъ не грызъ, а разбивалъ лбомъ на полу, какъ бы крѣпки они ни были. Онъ былъ страшно глупъ, почти идіотъ. Ему нѣсколько разъ клали между орѣхами маленькую пулю, и давали горсть такихъ орѣховъ въ сумерки. Когда очередь доходила до пули, онъ до того колотилъ по ней лбомъ, что выдавливалъ ямку по половицѣ, пока, наконецъ, отбирали у него эту пулю.

Онъ выбивалъ лбомъ дверь изъ петлей вонъ.

Объ лобъ его разбивались кирпичи и бутылки безъ всякихъ послѣдствій, кромѣ царапинъ, содранія или порѣза кожи на лбу.

Брали стулъ. Клали его плашмя на передніе ножки на полъ. На заднихъ двухъ ножкахъ Андреяша становился на колѣни и заворачивалъ свои руки себѣ за спину. Затѣмъ, на спинку стула клали гривенникъ. Андреяша долго прицѣливался и потомъ, быстро нагибаясь всѣмъ тѣломъ впередъ, ловилъ гривенникъ на лету ртомъ, а лбомъ ударялся со всего размаха о полъ. Другой лобъ разбился бы въ дребезги отъ такого страшнаго удара; у Андреяши не было даже синяка на лбу, столь окрѣпъ этотъ лобъ въ такихъ ежедневныхъ упражненіяхъ.

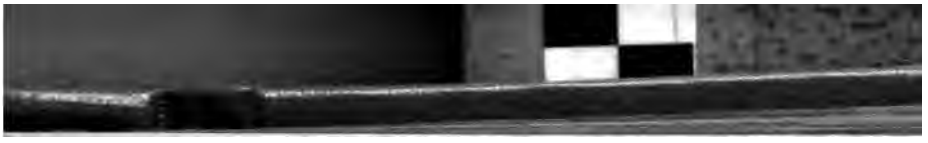
Однажды дали ему разбить лбомъ персиковую косточку. Андреяша попробовалъ нѣсколько разъ и отказался. Тогда положили эту косточку на золотой и сказали, что золотой будетъ его, если разобьетъ онъ косточку. Съ полчаса провозился онъ, ободралъ всю кожу на лбу, но добился: персиковая косточка была разбита и съѣдена имъ, а золотой поступилъ въ его карманъ... Онъ страшно любилъ деньги.

Наконецъ, самый главный подвигъ этого феноменальнаго лба состоялъ въ томъ, что Андреяша убивалъ самаго большаго козла съ одного, и рѣдко съ двухъ ударовъ своимъ лбомъ. Это обыкновенно происходило съ необычайною торжественностію и разъ въ годъ, а именно, перваго іюля, при стеченіи огромнѣйшей публики изъ пріѣзжихъ гостей. Для этого заранѣе выбирали самаго злаго и сильнаго козла, и откармливали его въ продолженіи двухъ мѣсяцевъ. По поводу его крѣпкаго лба, Андреяшу постигло впослѣдствіи большое несчастіе, которое легло неизгладимымъ, безчестнымъ пятномъ на нѣкоторыхъ костромскихъ дворянъ. Пятнадцать лѣтъ спустя послѣ описываемыхъ событій, бывши гвардейскимъ офицеромъ, я пріѣзжалъ въ отпускъ въ Чухломскій уѣздъ къ своей уже замужней сестрѣ Языковой. У одного изъ ея сосѣдей я встрѣтилъ Андреяшу, уже постарѣвшаго и окривѣвшаго такъ, что вмѣсто глаза у него образовалась пустота, впадина. Вотъ что узналъ я объ этомъ странномъ окривѣніи. Собралась однажды мужская компанія дворянъ. Пировали, пьянствовали, безчинствовали. Былъ тутъ и Андреяша. Напоили его домертва, а потомъ и вздумали пробовать, какъ крѣпокъ его лобъ. Взяли толстую веревку, окрутили ею лобъ Андреяши, засунули подъ нее около виска палку, да и давай крутить эту веревку. Крутили, крутили до тѣхъ поръ, пока одинъ глазъ не выскочилъ изъ своей орбиты. Но лобъ не подался... Фуй!.. Мнѣ снова страшно, гадко, тошно!.. — Басня, выдумка!—закричатъ, быть можетъ, нѣкоторые Ѳомы невѣрные. — Святѣйшая истина!—отвѣчу я, и ручаюсь своею честію въ томъ, что все

это я слышалъ отъ своихъ сестры и зятя, которые никогда не лгали и не лгутъ.

Между множествомъ продѣлокъ, поводъ къ которымъ подавала непомѣрная жадность Андреяши къ деньгамъ, были двѣ слѣдующія. Одна изъ нихъ — самая обыкновенная и частая во время зимы. Бросали въ горячіе уголья камина съ десятокъ мѣдныхъ пятаковъ. Когда они накалились, Андреяша доставалъ ихъ изъ углей голыми руками и клалъ въ свой карманъ, наполненный снѣгомъ. Другая продѣлка происходила лѣтомъ и обыкновенно въ присутствіи многочисленныхъ гостей. Клали и завязывали Андреяшу въ большой и крѣпкій куль. Къ кулю прикрѣпляли длинную и крѣпкую веревку. Клали этотъ куль на дно досчатаго шлюза мельницы, черезъ который обыкновенно выпускается избытокъ воды во время половодья. Затѣмъ поднимали запоры шлюза. Вода стремительно врывалась въ шлюзъ, уносила съ собою куль съ Андреяшею, который падалъ съ высоты шлюза въ мелкодонное русло рѣки, откуда вытаскивали его за веревку на берегъ и вынимали изъ куля въ самомъ жалкомъ видѣ. Какъ онъ оставался живъ, цѣлъ и невредимъ послѣ такого эксцентрическаго путешествія въ кулѣ чрезъ искусственный водопадъ, того объяснить себѣ не могъ ни я, ни другой кто изъ свидѣтелей этой продѣлки. За это Андреяша получалъ обыкновенно штофъ водки и цѣлковый.

Къ описанію этихъ варварскихъ забавъ съ бѣднякомъ, я прибавлю описаніе еще нѣкоторыхъ другихъ подобныхъ забавъ, чтобы сдѣлать полнѣе картину жизни, т. е. *препровожденія времени и невинныхъ забавъ* нашихъ отцовъ въ былое, *доброе старое время*. Всѣ эти забавы, происходившія въ домѣ Александры Алексѣевны, были ей сильно не по-нутру, но увы! допускались, какъ необходимость, какъ одна изъ главныхъ потребностей тогдашняго общества: безъ нихъ были бы обѣдъ не въ обѣдъ, праздникъ не въ праздникъ, пиршество не въ пиршество. Такія продѣлки были тогда для дворянскихъ собраній тоже, что колоритъ и освѣщеніе для картины, пряности для стола. Продѣлки эти въ Богородскомъ составляли третью *дань, платимую своему времени* умнѣйшею, прогрессивною Александрою Алексѣевною. Но главнымъ изобрѣтателемъ и вчинателемъ бо́льшей части шутовскихъ продѣлокъ былъ одинъ родственникъ Ивана А., нѣкто Матвѣй Ю. Ле—въ, который достоинъ, вмѣстѣ съ Андреяшею, особеннаго вниманія и описанія. Личность этого господина, одна изъ самыхъ тошнительныхъ, служитъ полнымъ выраженіемъ всего, что было самаго дурнаго въ тогдашнихъ дворянахъ. Матвѣй Ю. Ле—въ былъ столбовой дворянинъ и обладатель двухъ-сотъ душъ; но своими чванствомъ и гордостію превосходилъ владѣльцевъ



двухъ тысячъ душъ. Въ физическомъ отношеніи это былъ мужчина рослый, здоровеннѣйшій, сильный и съ лицомъ довольно красивымъ, но съ котораго никогда не сходила саркастическая, злая и наглая улыбка. Въ отношеніи нравственномъ это былъ человѣкъ очень умный, но только безъ всякихъ правилъ, безъ малѣйшаго стыда и зазрѣнія совѣсти, наглый, дерзкій, готовый на все, вездѣ и во всякое время. Осмѣять, одурачить, осрамить каждаго, способнаго смиренно перенести это, было его страстію, его спеціальностію, главною цѣлію его жизни. Ни одного празднества, ни одного обѣда, на которыхъ находился Матвѣй Ю., не проходило безъ того, чтобы онъ не одурачилъ кого нибудь, а иногда и нѣсколькихъ. Его не могло сдержать ни присутствіе какихъ бы то ни было важныхъ и почтенныхъ лицъ, ни святость мѣста. Вотъ нѣкоторые изъ его мистификаціонныхъ пріемовъ съ бѣдными дворянами.

Выпачкать сажею все лице; написать мѣломъ на спинѣ какую нибудь смѣхотворную гадость; высыпать на голову и на все платье гарнецъ муки; посадить со всего размаху на кресло, на которомъ лежали два ежа, накрытые коленкоровымъ чехломъ; пустить въ носъ гусара, т. е. вдунуть изъ бумажки большую щепоть нюхательнаго табаку; подсыпать въ табакерку чихательнаго порошка; посадить въ карманъ двухъ живыхъ мышей; въ другой карманъ вылить бутылку квасу; подмѣшать къ пирожному горчицы, перцу и уксусу, и заставить проглотить хоть нѣсколько ложекъ этой смѣси; подлить въ рюмку водки или вина сильнѣйшую дозу слабительнаго или рвотнаго, а потомъ карауллить выпившаго эту рюмку и задерживать его въ комнатѣ разными побасенками до-нельзя: все это были одни лишь безвредныя, *легкія, невинныя его забавы*. Что же были его эксцентрическія, *крѣпкія забавы?* Вотъ одна изъ нихъ.

Во время большаго съѣзда гостей въ его собственномъ домѣ, онъ напоилъ до безчувствія одного бѣднаго дворянина. День былъ лѣтній, жаркій. Онъ положилъ своего паціента лицемъ прямо къ солнцу, и выкрасилъ ему все лице черною масляною краскою. Часа черезъ два, когда краска позасохла, онъ вывелъ, тоже масляною краскою, красныя брови, усы и бакенбарды. Затѣмъ еще два часа спустя онъ покрылъ все лице лакомъ, и такъ оставилъ бѣдняка спящимъ на солнцѣ. Бѣднякъ спалъ долго, до самаго ужина. Когда онъ проснулся, краска, и лакъ на его лицѣ совершенно засохли. Пряно отъ сна его повели и посадили за столъ на самомъ почетномъ мѣстѣ. За столомъ служили въ два блюда. Одно начинали обносить съ хозяйки дома, другое съ него. Бѣднякъ удивлялся такому небывалому почету. Между тѣмъ всѣ взоры были устрем-

лены на него, и смѣхъ, вначалѣ сдержанный, превратился вскорѣ въ неудержимый, громкій хохотъ. Бѣдняка сейчасъ же напоили, такъ что онъ не обращалъ уже никакого вниманія на всеобщій хохотъ и на ощущеніе какой-то неловкости въ своемъ лицѣ. Послѣ ужина уложили его въ постель. Можете представить его ужасъ, стыдъ и горе, когда на другой день утромъ, онъ взглянулъ въ зеркало? Болѣе двухъ мѣсяцевъ носилъ онъ живую маску негра; и страшныхъ трудовъ и боли стоило ему свести съ своего лица послѣдніе слѣды упражненія въ эксцентрической живописи Матвѣя Ю. Ле—ва. Разскажу еще одну штуку «сего» мужа, штуку уже безвредную, хотя и очень смѣхотворную.

Праздновались именины Матвѣя Ю. гостей понаѣхало къ нему пропасть, изъ трехъ уѣздовъ. Онъ жилъ открыто и далеко не по состоянію, такъ что, подъ конецъ своей жизни прожилъ, все что имѣлъ и оставилъ большіе, неоплатные долги. Въ числѣ его гостей были два пятидесяти-душные дворянина изъ разныхъ уѣздовъ, и передъ тѣмъ никогда не видавшіе другъ друга. И физіономіи, и костюмъ ихъ, построенные уѣздными Шармерами, были весьма непрезентабельны. Одинъ изъ нихъ подходитъ къ Матвѣю Ю. и спрашиваетъ, показывая глазами на своего пятидесяти-душнаго собрата:

— Кто такой этотъ уморительный господинъ?

— Это шутъ, дурачекъ моего сосѣда, — отвѣчаетъ хозяинъ дома.

Черезъ полчаса другой пятидесяти-душный дѣлаетъ точно такой же вопросъ о своемъ собратѣ, и получаетъ отъ Матвѣя Ю. въ отвѣтъ:

— Это шутъ, дурачекъ одного моего родственника.

Вскорѣ послѣ этихъ вопросовъ и отвѣтовъ, два пятидесяти-душные, повстрѣчавшись улыбаются, затѣмъ хохочутъ одинъ другому прямо въ лице и говорятъ:

— Чему ты смѣешься, дуракъ!

— А ты, дуракъ, чему зубы скалишь!

— Да надъ тобой надъ дуракомъ смѣюсь.

— Ну и я тоже смѣюсь надъ тобой, надъ дуракомъ. Ха, ха, ха, ха!

— Какая же у тебя глупая харя, хе, хе, хе, хе!

— А у тебя-то самого, что за дурацкая образина! Ха, ха, ха, ха, ха!

— Уууу! дуракъ ты эдакой! хе, хе, хе, хе, хе, хе! Вотъ тебѣ носъ! Уууу!

— Аааааа! вотъ тебѣ языкъ, болванъ ты эдакой! Ха, ха, ха, ха, ха!

И такимъ образомъ, впродолженіи цѣлаго дня, два пятидесяти-душные дурачили одинъ другого, и каждый изъ нихъ былъ въ полной увѣренности, что потѣшается надъ шутомъ и дурачкомъ. Разумѣется, вмѣстѣ съ ними потѣшались и всѣ гости Матвѣя Ю., посвященные имъ въ тайну его продѣлки, и потому не говорившіе ни слова пятидесяти-душнымъ, для раскрытія имъ глазъ и прекращенія взаимной мистификаціи. И оба они уѣхали на другое утро во свояси, твердо убѣжденные, что посмѣялись надъ дурачкомъ.

IV.

Первое іюля и необыкновенное единоборство.

Опишемъ теперь празднество перваго іюля въ селѣ Богородскомъ. Еще дня за два до этого пиршества гости начинали съѣзжаться къ Александрѣ Алексѣевнѣ. Нѣкоторые изъ нихъ, преимущественно дамы и дѣвицы, помѣщались въ верхнемъ этажѣ большаго дома. Бо́льшая часть гостей размѣщались въ нижнемъ этажѣ и во флигелѣ. Первое іюля начиналось обѣднею, во время которой пѣли, и очень недурно, пѣвчіе деверя Александры Алексѣевны. Послѣ обѣдни всѣ собирались къ $11^1/_2$ часамъ въ огромной гостинной, гдѣ нѣсколько столовъ было уставлено закускою. Послѣ завтрака гости-мужчины раздѣлялись на группы и уходили, кто въ столовую, кто въ залу, или въ кабинетъ хозяина, въ садъ, на дворъ къ хороводамъ. Въ часъ всѣ собирались на задній дворъ, гдѣ постоянно находились два медвѣдя, прикованные длинною цѣпью къ двумъ столбамъ. Медвѣди всегда взбирались на столбы, чуть только кто подходилъ къ нимъ. Когда всѣ гости были собраны вокругъ одного изъ медвѣдей, стараго (другой былъ всегда медвѣженокъ), тогда его дразнили, дергали за цѣпи, бросали въ него камнями. Медвѣдь сердился, ревѣлъ, грызъ свою цѣпь. И когда ярость его доходила до высшей степени, тогда самъ хозяинъ или почетнѣйшій изъ гостей, напримѣръ губернскій предводитель или вице-губернаторъ, бралъ ружье, стрѣлялъ въ медвѣдя и убивалъ его съ одного или съ двухъ выстрѣловъ. За убитымъ медвѣдемъ слѣдовала травля волка. Иванъ А. не держалъ у себя ни борзыхъ, ни гончихъ, а охотился только съ тенетами да съ ружьями. Но у него всегда находилась пара медвѣдей и одинъ или два волка на цѣпи. Главные псовые охотники привозили съ собою къ первому іюля въ Богородское по нѣскольку своихъ лучшихъ борзыхъ для состязанія съ бор-

зыми другихъ первоклассныхъ псоводовъ. Травля волка была чрезвычайно интересна. Рѣдко удавалось ему спастись бѣгствомъ отъ героевъ изъ четвероногихъ аристократовъ. Послѣ травли волка всѣ возвращались въ комнаты и потѣшались тамъ разными продѣлками съ Андреяшею и съ другими шутами, дураками и даже дурами, которыя всегда имѣлись на всякій случай въ каждомъ *благоустроенномъ* имѣніи. Наконецъ въ четыре часа пополудни садились за столъ въ огромной залѣ; и садилось за этотъ столъ человѣкъ до семидесяти. Блюдамъ не было счету. Два горячихъ, два холодныхъ, три соуса, два жаркихъ, три пирожныхъ. А потомъ десертъ. Винамъ, наливкамъ и ликерамъ тоже не было счету. Обѣдъ длился слишкомъ два часа. Во время его играла музыка, т. е. септуоръ П. А. Шипова, и пѣли его пѣвчіе, поочередно. Вставши изъ за стола, большая часть гостей благодарила хозяйку за угощеніе не иначе, какъ подходя къ ней къ ручкѣ. Но тогдашніе прогрессисты только отвѣшивали ей по поклону. Изъ залы всѣ отправлялись въ гостинную пить кофе. Многіе уходили въ кабинетъ. къ Ивану А. покурить трубочку; сигаръ тогда не было и въ поминѣ. Послѣ кофе всѣ расходились въ разныя стороны. Большая часть мужчинъ шла на боковую, всхрапнуть «маненько»; одни на кроватяхъ, другіе на диванахъ или на перинахъ, постланныхъ на полу въ нижнемъ этажѣ и во флигелѣ. Нѣкоторые дремали, сидя въ креслахъ или отправлялись въ садъ, гдѣ, подъ тѣнью деревьевъ, задавали отличнѣйшую высыпку.

Къ восьми часамъ вечера всѣ гости снова были на ногахъ и выходили на красный дворъ, чтобы присутствовать при самомъ главномъ, интересномъ зрѣлищѣ села Богородскаго: при единоборствѣ Андреяши съ огромнымъ откормленнымъ козломъ. Среди двора было устроено нѣкотораго рода ристалище, а именно: длинная улица, шириною аршина въ два, заключавшаяся между двумя рядами кольевъ, вбитыхъ въ землю и соединенныхъ между собою длинными жердями. Публика помѣщалась по обѣимъ сторонамъ этой улицы, за жердями. Внутри на одномъ концѣ стоялъ козелъ, котораго держали на веревкѣ. На другомъ концѣ стоялъ Андреяша, который приближался къ козлу, дразнилъ его, отступалъ нѣсколько шаговъ назадъ, снова подступалъ къ нему и, раздразнивъ его до-нельзя, убѣгалъ, какъ бы испугавшись, на другой конецъ улицы. Тогда разсерженнаго козла спускали съ веревки. Козелъ бросался со всѣхъ ногъ на Андреяшу Кадочкина, а Кадочкинъ бѣжалъ къ козлу на встрѣчу. Встрѣча этихъ единоборцевъ происходила всегда на серединѣ улицы. Андреяша схватывалъ козла за рога и, со всего размаху, ударялъ его въ лобъ между рогами своимъ страшнымъ лбомъ. Козелъ па-

далъ, дрыгалъ ногами и вскорѣ издыхалъ. Единодушныя и шумныя рукоплесканія привѣтствовали побѣду Андреяши, который прохаживался по узкой улицѣ съ гордымъ сознаніемъ своего торжества и съ необыкновенною важностію во всей своей приземистой и большеголовой фигурѣ. Послѣ этого удивительнаго единоборства сожигался прекрасный фейерверкъ; и затѣмъ, публика возвращалась въ покои, гдѣ, въ залѣ, начинались танцы. Танцующихъ кавалеровъ тогда было гораздо менѣе, чѣмъ нынѣ, и потому танцы сами по себѣ составляли для большинства гостей родъ спектакля. Нѣкоторые изъ пожилыхъ и старичковъ садились за карты; играли въ бостонъ, въ марьяжъ, въ банкъ и даже въ горку или *въ пять и пять*, какъ многіе изъ благоприличія называли тогда эту простонародную игру. Пиршество оканчивалось часа въ два пополуночи ужиномъ, т. е. повтореніемъ обѣда, потому что на ужинъ подавались тѣ же самыя блюда, что и на обѣдъ.

Щедрость Александры Алексѣевны не имѣла себѣ равной. Въ ней не было и тѣни мелочнаго экономничанія, считанія каждаго куска нѣкоторыми прославленными барынями-хозяйками. Напримѣръ: отъ ея обѣда ежедневно оставалось всего премного; но для ужина приготовлялось все съизнова, потому что всѣ оставшіяся отъ обѣда блюда раздавались буфетчикомъ между комнатными людьми и горничными.

Однажды лѣтомъ Александра Алексѣевна ждала къ себѣ въ гости своего двоюроднаго брата, служившаго въ Костромѣ вице-губернаторомъ. И приготовилась она принять и угостить его на славу. Однѣхъ конфектъ надѣлано было два пуда, и самыхъ лучшихъ. Но вдругъ получаетъ она письмо, въ которомъ кузенъ ея увѣдомляетъ, что по разнымъ непредвидѣннымъ обстоятельствамъ онъ пріѣхать къ ней не можетъ. Жаль и досадно. Но что же дѣлать съ конфетами, которыя отъ лѣтняго жара засохнутъ, или обсахарятся, или потекутъ. Стало быть, надо ихъ раздать, пока не испортились. Собрала она всѣхъ своихъ воспитанниковъ и повела за собою на крытую галлерею, соединявшую кухню съ домомъ. На этой галлереѣ стояли огромные шкафы, а въ шкафахъ хранились разные припасы для стола, лакомства, а въ томъ числѣ и конфеты.

— Ну, дѣти, держите свои полы,—сказала Александра Алексѣевна, отпирая одинъ изъ шкафовъ и, выдвинувъ ящикъ съ конфетами, принялась черпать изъ него пригоршнями и насыпала каждому изъ шести воспитанниковъ по полной полѣ отличнѣйшихъ конфетъ. Помню, какъ я объѣлся этими конфетами и былъ боленъ. Но конфетъ оставалось все еще много. Она позвала къ себѣ всѣхъ горничныхъ и каждой дала по пригоршнѣ, конфетъ все еще было много. Шутка ли — два пуда. При-

казала позвать къ себѣ всѣхъ дворовыхъ женщинъ съ дѣтьми и одѣляла ихъ до тѣхъ поръ, пока въ ящикахъ не осталось ни единой конфетки. Тогда она вздохнула свободно; словно гора спала у нее съ плечъ. И такая веселая и радостная пошла въ свой будуаръ читать книги, потому что она страстно любила чтеніе и выписывала все, что было тогда интереснаго по части русскихъ и французскихъ книгъ и журналовъ.

Вотъ какая поэтически щедрая, широкая, прекрасная натура была у этой Александры Алексѣевны! Невольно благоговѣешь при одномъ воспоминаніи объ ней. Безъ глубокаго сердечнаго умиленія я не могу вспомнить и заговорить объ ней.

Какъ одно изъ доказательствъ того, что Александра Алексѣевна была женщина прогрессивная и передовая, упомяну здѣсь объ одной ея особенности, чрезвычайно знаменательной въ тотъ вѣкъ полубояръ, полутатаръ, но полныхъ невѣждъ, кощуновъ или ханжей. Не питая никакой систематической вражды къ причтамъ, какъ это дѣлалъ ея двоюродный братъ, описанный мною ораторъ и переводчикъ Корнеля, она держала ихъ всегда на самой благородной отъ себя дистанціи. Никогда и ни о чемъ съ ними не спорила и не входила въ разглагольствованія. Въ большіе праздники приметъ, накормитъ и напоитъ ихъ, соразмѣрно ихъ аппетитамъ, а затѣмъ превѣжливо раскланяется съ ними. А они предогадливо удалятся въ свои хаты переваривать гомерическое угощеніе радушной владѣлицы села Богородскаго.

V.

Нѣтъ болѣе чорта!

Полтора года прожилъ я въ домѣ умной и доброй тетки. Это были лучшіе, самые веселые и счастливые годы въ моей жизни. Я сдѣлалъ успѣхи въ своемъ образованіи, но не столь большіе, какъ бы слѣдовало ожидать отъ превосходной обстановки обученія въ Богородскомъ. Я былъ еще слишкомъ молодъ, неразвитъ, чтобы воспользоваться всѣмъ, какъ должно. За то я очень много выигралъ въ наружномъ отношеніи: всѣ мои манеры закруглились и облагородились.

Во время пребыванія моего у тетки, трудно было рѣшить, имѣлъ-ли я къ чему нибудь особенную способность, и къ чему именно. Дѣтская страсть моя къ рисованію погасла во мнѣ уже давно и не возобновлялась потомъ, несмотря на хорошаго учителя рисованія. Прошла также и

страсть сочинять стихи, которые все-таки продолжалъ я любить и переписывать, равно какъ и переплетать книги, клеить коробочки, дѣлать калейдоскопы и разные другіе рукодѣльные предметы. Я ненавидѣлъ праздность: ничего не дѣлать было для меня наказаніемъ. Но у меня проявились двѣ новыя страсти: къ музыкѣ и къ писанію, не стихами, а прозою. Во все время пребыванія моего въ Богородскомъ я велъ свой дневникъ. Это отроческое произведеніе, хотя и сильно хромавшее въ отношеніи орѳографіи и слога, было въ высшей степени занимательно по своему содержанію и наивному изложенію, т. е. по описанію одной изъ самыхъ любопытныхъ эпохъ дѣтской жизни, и съ дѣтской точки зрѣнія. Я былъ еще чистое, непорочное дитя, неподозрѣвавшее ни малѣйшей копоти и грязи въ человѣческой жизни. И долго потомъ оставался я взрослымъ ребенкомъ, свято сохраняя въ своемъ сердцѣ теплыя, отрадныя вѣрованія отроческой и юношеской поры; и несмотря на то, что кровь въ моихъ жилахъ кипѣла и бурлила, какъ лава въ кратерѣ передъ изверженіемъ, а мое огненное воображеніе рисовало мнѣ самыя роскошныя и заманчивыя картины дружбы, взаимной любви, нѣги, ласкъ и бурныхъ, упоительныхъ восторговъ и наслажденій огненной страсти; несмотря на весь этотъ избытокъ силъ и огня, натура моя долго сохраняла свою дѣвственность...

Страсть моя къ музыкѣ родилась во мнѣ вдругъ; вмѣстѣ съ первыми звуками оркестра, т. е. септуора, которые услышалъ я впервые въ Богородскомъ, потому что до тѣхъ поръ я мало куда выѣзжалъ изъ деревни отца, гдѣ жилъ съ нянею, съ сестрою, внучатнымъ братомъ Ванею и съ учителемъ. Отецъ мой, по какой-то необъяснимой странности, никуда не бралъ сына съ собою въ порядочные дома, кромѣ ближайшей сосѣдки Елизаветы Савишны, у которой дѣти его бывали очень часто. Возилъ онъ еще меня изрѣдка къ моему дѣдушкѣ, Антону Васильичу, старику доброму, но простому и необразованному; да къ нѣкоторымъ изъ моихъ многочисленныхъ тетокъ, но только не къ Александрѣ Алексѣевнѣ; да еще въ три, четыре дома нѣкоторыхъ ближнихъ сосѣдей, гдѣ царствовалъ величайшій застой и въ идеяхъ, и въ образѣ жизни. Поэтому самому я и былъ дикимъ, букою, въ присутствіи новыхъ для меня лицъ, до самаго переселенія моего въ Богородское.

Итакъ, при первыхъ звукахъ музыки, я вдругъ почувствовалъ въ себѣ какое-то новое и необъяснимо-сладкое ощущеніе, въ особенности при звукахъ первой скрипки, на которой игралъ очень порядочно доморощенный артистъ Павла А. Эти первые звуки рѣшили будущую мою судьбу, какъ неутомимаго дѣятеля на поприщѣ исполнительной музыки. Я воспы-

лалъ неудержимою страстію къ скрипкѣ, и готовъ былъ отдать полжизни за то, чтобы играть хорошо на этомъ инструментѣ. Александра Алексѣевна, при первомъ моемъ словѣ желанія учиться на скрипкѣ, поспѣшила исполнить мою просьбу; и первый скрипачъ, капельмейстеръ и регентъ ея деверя, двадцатидвухъ лѣтній Евдоша, принялся давать мнѣ уроки на скрипкѣ, по три урока въ недѣлю. Я блаженствовалъ и дѣлалъ большіе успѣхи. Но увы! не къ лучшему были эти успѣхи для моей будущей жизни: страсть къ музыкѣ отвлекла меня отъ моего настоящаго назначенія — быть писателемъ. Такимъ образомъ я попалъ не на ту дорогу, которая назначена и указана была мнѣ самою природою, заставившею меня въ отроческомъ возрастѣ вести очень интересный дневникъ и въ продолженіи многихъ лѣтъ, т. е. съ постоянствомъ и выдержкою несвойственными такому молодому возрасту. Поэтому, хотя я потомъ и шелъ, шелъ долго, безъ устали; работалъ неутомимо, со всѣмъ безкорыстіемъ и увлеченіемъ молодости, со всею настойчивостію зрѣлыхъ лѣтъ; но не пришелъ ни къ чему положительному, кромѣ замѣчательно искусной игры, не на своемъ любимомъ инструментѣ, а на гитарѣ, да нѣсколькихъ безплодныхъ, хотя и шумныхъ апплодисментовъ заграницею. А за то сколько перенесъ я впослѣдствіи насмѣшекъ и порицаній!

Пребываніе въ домѣ Александры Алексѣевны принесло мнѣ еще одну огромную пользу: оно излечило меня отъ безсмысленнаго и одуряющаго суевѣрія, привитаго ко мнѣ моею второю нянею, глупою и кривою Агапитовной: я пересталъ вѣрить въ чорта. Умная моя тетка, ничего не пропускавшая мимо ушей и обращавшая на все свое вниманіе, подмѣтила во мнѣ нѣкоторыя черты суевѣрія, сейчасъ же вывела меня на чистую воду и тутъ же произвела самую искусную операцію — снятіе бѣльма съ духовныхъ очей отрока-племянника. Для этого завела она, во время обѣда, разговоръ о глупыхъ повѣрьяхъ невѣжественныхъ массъ, вызвала своихъ воспитанниковъ на словопреніе, на высказаніе своихъ воззрѣній и наконецъ довела меня до того, что я сказалъ ей:

— Да вѣдь есть же нечистая сила?

— Что это за нечистая сила? — спросила Александра Алексѣевна, будто бы не понимая моихъ словъ.

— То есть, злой духъ.

— Какой же это злой духъ? — продолжала притворяться моя тетка.

— Ахъ, ma tante! Развѣ вы не понимаете меня? Я хочу сказать, что вѣдь есть же на свѣтѣ чортъ.

— Какъ! ты вѣришь въ чорта! ха, ха, ха, ха! Я сконфузился; но вскорѣ оправился и возразилъ:

— Да вѣдь когда бы не было чорта, то не было бы столько зла и грѣховъ на свѣтѣ, потому что большая часть грѣховъ происходитъ отъ искушенія діавольскаго.

Въ отвѣтъ на этотъ аргументъ двѣнадцатилѣтняго диспутанта, Александра Алексѣевна принялась смѣяться пуще прежняго, а ей вторили и всѣ мои совоспитанники, не исключая и двухъ дѣвицъ. Я совершенно сконфузился и уже болѣе не возражалъ. Насмѣявшись вдоволь, Александра Алексѣевна принялась за свою собственную аргументацію.

— Послушай, Коля! Мнѣ тебя жаль. Ты умный мальчикъ, а набрался гдѣ-то такихъ глупыхъ идей, извини меня за жесткое выраженіе? Ну, кто теперь вѣритъ въ чорта, кромѣ необразованныхъ невѣждъ да дураковъ? Если въ писаніи и говорится о дьяволахъ, такъ это иносказательно. Подъ словомъ «дьяволъ» разумѣются дурныя страсти и пороки человѣка, какъ, напримѣръ: гордость, зависть, скупость и жадность къ деньгамъ, чрезмѣрный гнѣвъ, честолюбіе, себялюбіе и множество другихъ душевныхъ недуговъ. Эти страсти и пороки и суть настоящіе наши искусители. Если бы и въ самомъ дѣлѣ былъ на свѣтѣ чортъ, то онъ никогда не могъ бы быть такимъ опаснымъ и злымъ, какъ вышепоименованныя мною страсти и пороки, когда онѣ поселятся въ сердцѣ человѣка и вытѣснятъ изъ него всѣ хорошія, добрыя начала. Но для защиты людей отъ наущенія этихъ злыхъ совѣтниковъ, дурныхъ страстей, Богъ послалъ намъ ангела-хранителя; это — наша совѣсть, которая всегда вовремя остерегаетъ и удерживаетъ насъ отъ дурныхъ и злыхъ дѣлъ. Но если человѣкъ очень развращенъ и забылъ всякій страхъ Божій, то этотъ ангелъ удаляется отъ него; но рано ли, поздно ли, все таки возвращается къ нераскаянному грѣшнику, но уже возвращается къ нему не для спасенія, а для наказанія его за злыя дѣла угрызеніями совѣсти и муками поздняго раскаянія. Вотъ, другъ мой, какъ надо понимать сказаніе о безплотныхъ духахъ, а не такъ какъ тебѣ толковали неразумныя и суевѣрныя твои няньки да мамки.

Александра Алексѣевна замолчала. Я не пропустилъ ни одного слова изъ того, что она говорила мнѣ: все это сохранилось въ моей памяти, и я потомъ долго размышлялъ объ этомъ самъ съ собою, и, наконецъ, согласился съ умными рѣчами тетки и порѣшилъ, что и добрый, и злой духъ находится въ насъ самихъ, стало быть отъ насъ же самихъ зависитъ слушаться перваго или послѣдняго, т. е. быть добрыми или злыми Итакъ, я порѣшилъ, что чорта нѣтъ.

VI.

Два дяди и отъѣздъ на чужбину.

Въ началѣ 1823 года неожиданно пріѣхали въ Богородское гости, несказано обрадовали все, что жило въ домѣ Александры Алексѣевны, а въ особенности меня. Гости эти были двоюродные братья Александры Алексѣевны и мои родные дяди по матери, владѣльцы сельца Выликина, братья Мичурины. Старшій изъ нихъ, Валентинъ Макарычъ, былъ заслуженный полковникъ, весь израненный и увѣшанный орденами. Еще подъ Аустерлицомъ сражался онъ уже въ чинѣ поручика и получилъ первую рану; а въ Бородинской битвѣ былъ уже капитаномъ старой гвардіи и, при взятіи одной батареи, былъ жестоко раненъ въ правую ногу. Болѣе года пролечился и пролежалъ онъ въ постелѣ; но рана его не была залечена. Изъ нее вышло множество раздробленныхъ костей, и правая нога сдѣлалась у него на полтора вершка короче лѣвой. Но высокій коблукъ снаружи и пробковая подставка внутри сапога помогали Валентину Макарычу не только ходить безъ костыля, но даже и вальсировать. Рана же его не закрывалась, а бинтовалась ежедневно; и раза по два въ годъ изъ нее истекала матерія. Тринадцать лѣтъ прожилъ онъ такимъ образомъ и, вѣроятно, прожилъ бы и еще болѣе, если бы чухломскій эскулапъ, или вѣрнѣе, коновалъ не вздумалъ закрыть ему раны въ 1825 году. Черезъ два мѣсяца послѣ этого закрытія, старшаго Мичурина не стало на свѣтѣ. Это былъ чудный человѣкъ, котораго невозможно было не уважать и не любить. Всѣ его родные и короткіе и не короткіе знакомые просто обожали этого человѣка, въ высшей степени замѣчательнаго по своему врожденному уму, остроумію, необыкновенной находчивости, постоянно веселому расположенію духа и по благородству и великодушію своего характера. Онъ былъ утѣхою, радостію каждаго общества, каждой бесѣды, въ которыхъ случалось ему находиться, и которыя оживлялъ своимъ мастерскимъ умѣньемъ говорить, разсказывать и занять всѣхъ и каждаго; и все это безъ малѣйшаго желанія первенствовать, рисоваться, показать свою удаль. Онъ обладалъ необыкновеннымъ тактомъ во всемъ и вездѣ, кромѣ вальса, въ которомъ терялъ иногда тактъ по случаю своей скрытой хромоты. Однимъ словомъ: и своею наружностію, необыкновенно пріятною, и вѣжливою, ласковою манерою онъ предупреждалъ каждаго въ свою пользу. А противъ очарованія его ума и любезности никто уже не могъ устоять: онъ сразу завоевывалъ себѣ сердце и расположеніе своихъ новыхъ знакомыхъ, или просто

собесѣдниковъ. Прибавимъ еще ко всему сказанному, что это былъ первый щеголь и волокита своего времени. Многочисленныхъ побѣдъ его надъ женскими сердцами исчислять я не буду. Но не могу не упомянуть объ одномъ весьма забавномъ приключеніи изъ его галантныхъ похожденій, разсказанномъ мнѣ его старымъ камердинеромъ. Случилось однажды водить дядѣ шуры-муры съ двумя предметами: съ нѣмкой и француженкой. И велись эти интрижки въ одно время, параллельно, но такъ ловко, что каждая являлась въ разные дни и часы, такъ что не могли встрѣтиться. Но судьбѣ или случаю захотѣлось попутить съ дядею и посмѣяться надъ его галантной стратегіей. Въ одинъ прескверный полдень приходитъ къ нему одинъ изъ его предметовъ. — Барина нѣтъ дома, но онъ скоро вернется, сказалъ его камердинеръ, отворяя дверь и впуская посѣтительницу, которая, по обыкновенію, вошла въ кабинетъ и расположилась тамъ на диванѣ. Минутъ черезъ пять звонокъ. Является другой предметъ. — Барина нѣтъ дома. — Я подожду его. Онъ долженъ скоро вернуться, я это знаю, онъ просилъ меня придти сегодня. Сказавъ это, новая посѣтительница вошла и тоже отправилась въ кабинетъ. Несказанно было ея удивленіе при видѣ сидѣвшей тамъ дамы, молодой и весьма красивой, въ которой сейчасъ же угадала соперницу. Поморщилась, покосилась, но не промолвила ни слова и, кивнувъ головой, сѣла на кресло, противъ своей соперницы. Нѣсколько минутъ длилось молчаніе и посматриванье другъ на друга. Но молчаливость не входитъ въ число недостатковъ правнучекъ Еввы, про которыхъ Декурсель сказалъ: «Сорока, это — манера означать болтливыхъ (а по моему большинство) женщинъ, весьма неучтивая въ отношеніи сорокъ». Поэтому, какъ ни хмурились другъ на друга, но не вытерпѣли, заговорили. Сперва мирно, сдержанно. Но сейчасъ же явился рѣзкій тонъ, и все рѣзче и сильнѣе, дошло до словъ крупныхъ, до брани, до грозныхъ жестовъ. И вотъ обѣ вскакиваютъ, стремятся другъ къ другу и—бацъ, бацъ... пошла потѣха. Затѣмъ, по примѣру того женскаго междоусобія, описаннаго въ «Утрехтскихъ произшествіяхъ» г. Тимофѣевымъ: «Руки впередъ, за волосы»... (См. *Библіот. для чт.* 1835 г.). Сразилась Франція съ Германіей. Неизвѣстно чѣмъ бы окончился этотъ, по счастію не кровавый, а волосодрательный бой: Іеной или Седаномъ? Но вдругъ явился посредникъ и миротворецъ: въ кабинетъ входитъ дядя... Картина, которую не берусь заканчивать: предоставляю сдѣлать это моимъ читателямъ.

Мать моя была годомъ моложе Валентина Макарыча, обожала его и взаимно была обожаема своимъ братомъ, который даже и не женился изъ за дружбы къ сестрѣ, хотя предстояло ему множество блестящихъ

партій. Едвали существовалъ когда другой примѣръ подобной дружбы между братомъ и сестрою. Теперь познакомимся съ другимъ нашимъ дядею.

Валерьянъ Макарычъ Мичуринъ былъ десятью годами моложе своего брата, воспитывался въ 1-мъ кадетскомъ корпусѣ, вмѣстѣ съ Рылѣевымъ, написавшимъ ему въ альбомъ свои стихи, и былъ выпущенъ оттуда въ 1812 году въ конную артиллерію, а потомъ переведенъ, для совмѣстной службы съ братомъ, въ одинъ изъ гвардейскихъ полковъ (Литовскій), стоявшихъ въ Варшавѣ, подъ начальствомъ Цесаревича Константина Павловича. Оба брата Мичурины считались одними изъ лучшихъ офицеровъ въ полку и были очень любимы и самимъ Цесаревичемъ, и своими товарищами. Валерьянъ Макарычъ служилъ тогда штабсъ-капитаномъ и полковымъ адъютантомъ. Онъ былъ очень красивъ собою, но нисколько не походилъ на своего брата, человѣка въ высшей степени солиднаго, положительнаго, основательнаго и акуратнаго; не походилъ на него ни лицемъ, ни характеромъ. Младшій Мичуринъ былъ тоже человѣкъ добрый, честный, благородный, умный, остроумный, чрезвычайно веселый, отличный военный товарищъ и душа офицерскихъ кружковъ. Гдѣ только находился Валерьянъ Макарычъ, скука была тамъ невозможна. Напротивъ: смѣхъ, хохотъ дѣлались всеобщими, веселость овладѣвала всѣмъ обществомъ. Чего не придумаетъ этотъ неистощимый забавникъ и эксцентрикъ! И передразнитъ, скопируетъ всѣхъ и каждаго; и протанцуетъ, пропляшетъ на всевозможныя манеры; и пропоетъ множество разныхъ пѣсенокъ и арій изъ оперъ, то басомъ, то дискантомъ, то теноромъ, выдѣлывая руляды, трели, но такъ, что всѣхъ уморитъ со смѣху. Или, съ подушкою на головѣ, въ видѣ треуголки, и съ простынею на плечахъ, въ видѣ римской тоги, примется декламировать монологи изъ разныхъ комедій, а наичаще изъ классическихъ трагедій, превосходно подражая разнымъ тогдашнимъ театральнымъ знаменитостямъ. Потомъ начнетъ различныя звукоподражанія: кларнету, фаготу, флейточкѣ, турецкому барабану; пропоетъ пѣтухомъ, представитъ Филатку и Мирошку... Но всѣхъ его смѣхотворныхъ продѣлокъ не исчислить: онѣ были безчисленны и разнообразны, какъ фигуры въ калейдоскопѣ. За то, съ другой стороны, это былъ человѣкъ самый вспыльчивый, раздражительный, безалаберный и въ высшей степени беззаботный и разсѣянный. Однажды, вмѣсто рапорта о состояніи полка, онъ подалъ Цесаревичу вокабулы французскаго языка, который изучалъ онъ тогда. Въ другой разъ — кухонный счетъ своего повара. Цесаревичъ хохоталъ отъ души, потому что любилъ всякія эксцентричности, но только допускалъ ихъ въ офицерахъ, отличныхъ служакахъ.

Вскорѣ, по пріѣздѣ Мичуриныхъ въ отпускъ, рѣшилась будущая моя судьба. Отецъ мой, переговоривъ съ своими шурьями, рѣшился отпустить сына съ Валерьяномъ Макарычемъ въ Варшаву на службу царскую. Старшій Мичуринъ, вышедшій въ отставку, намѣревался поселиться въ деревнѣ, въ Вылинкинѣ, которое не было раздѣлено между братьями, нѣжно любившими другъ друга. Валерьянъ Макарычъ любилъ и чтилъ старшаго брата, какъ отца, мѣсто котораго и точно заступилъ онъ вполнѣ, сперва опредѣливъ брата въ корпусъ, потомъ постоянно заботясь о немъ, послѣ выхода его изъ корпуса.

Итакъ, снарядили меня «въ путь дороженьку» и въ дороженьку дальнюю: безъ малаго за двѣ тысячи верстъ. Простился я съ своею доброю теткою, которая съ глубокимъ чувствомъ благословила меня на новую жизнь, и дала мнѣ много умныхъ, дѣльныхъ совѣтовъ и много подарковъ на память. Съѣздилъ я и въ Вылинкино проститься съ прежнею моею нянею, которая все еще пряла, сидя на лежанкѣ. Престарѣлая, сто-пятнадцати-лѣтняя Соломонида заплакала, услышавъ, что ея голубчика хотятъ увезти *на чужую сторону, за тридевять земель, въ тридесятое государство*. Долго цѣловала она меня въ голову, крестила и подарила мнѣ на дорогу цѣлый полтинникъ. Простился я и съ сестрою Лизою, и съ сельцомъ Першиномъ, гдѣ моя дѣтская жизнь была ознаменована многочисленными моими шалостями и проказами, но съ тѣмъ вмѣстѣ и необычайною дѣятельностію, которая была впору любому взрослому.

Я выѣхалъ съ дядею изъ Чухломы отъ отца въ концѣ марта, въ самую распутицу. Ѣхали мы на почтовыхъ, но въ своемъ экипажѣ, въ крытой рессорной бричкѣ, и ѣхали, какъ говорится, «по морю аки по суху», и нѣсколько разъ тонули при переправахъ черезъ рѣки по льду. Мой отецъ и старшій Мичуринъ провожали насъ до первой станціи, за 30 верстъ, гдѣ остановились на ночлегъ у одной изъ моихъ тетокъ. Былъ великій постъ, который я соблюдалъ всегда строго, даже живя въ Богородскомъ и несмотря на прогрессивныя идеи Александры Алексѣевны, употреблявшей всегда скоромную пищу, кромѣ первой и послѣдней недѣли поста, когда она говѣла. Но на первомъ ночлегѣ ужинъ приготовленъ былъ весь изъ скоромныхъ блюдъ. Я сперва было отказался отъ ѣды, но оба мои дяди сказали мнѣ:

— Лучше ѣшь-ко, братъ! Полно постничать; въ дорогѣ что даютъ, то и ѣшь; иначе будешь голоденъ. Да и въ Варшавѣ-то въ военной службѣ трудно соблюдать всѣ посты, кромѣ того случая, когда будешь говѣть.

Я слушалъ, думалъ, крѣпился, но наконецъ разрѣшилъ; положилъ себѣ на тарелку скоромнаго кушанья и принялся уписывать въ обѣ щеки. Но съ первою же ложкою горько заплакалъ, однако же все съѣлъ: 30 верстъ тряской ѣзды по скверной дорогѣ развили во мнѣ аппетитъ. Съ того вечера я уже во всѣ посты, кромѣ говѣнья, ѣлъ скоромное и не плакалъ.

На этомъ первомъ ночлегѣ присоединился къ двумъ путникамъ еще одинъ: это былъ дальній родственникъ Мичуриныхъ, нѣкто Андрюша Басмановъ, котораго везли въ Варшаву тоже для опредѣленія въ военную службу. Его называли юношей со словъ нѣжнѣйшей его маменьки, которая, поручая Валерьяну Макарычу своего дорогаго и единственнаго сынка, говорила такъ:

— Берегите моего Андрюшу; онъ у меня еще такъ молодъ, просто дитя!

А это дитя былъ балбесъ двадцати шести лѣтъ отъ роду и такой здоровеннѣйшій, что, какъ говорится, «кулакомъ вола могъ убить.» Ктому же онъ былъ чрезвычайно свѣдущъ и опытенъ въ разныхъ пріятныхъ препровожденіяхъ жизни, и обладалъ многосторонними познаніями по части кутни, но не образованія своего, которое не простиралось далѣе плохаго знанія русской грамоты и четырехъ правилъ ариѳметики.

Простился наконецъ я съ отцомъ и со старшимъ дядею, котораго я очень любилъ, едва ли не болѣе, чѣмъ своего отца. Трудно было опредѣлить, какія чувства волновали меня при разставаніи съ отцомъ и съ роднымъ краемъ. И грустно, и тяжело было мнѣ: пугали меня даль и неизвѣстность о томъ, что ждетъ меня впереди и когда я увижусь опять съ тѣмъ, что покидалъ позади себя. А между тѣмъ и любопытство сильно говорило во мнѣ. Еще гораздо прежде того и не разъ рождалось во мнѣ сильнѣйшее желаніе увидѣть большіе города, со множествомъ каменныхъ домовъ, церквей, колоколенъ. Однажды, когда мнѣ было лѣтъ восемь, отецъ бралъ меня съ собою въ Кострому, которая произвела тогда неизгладимое и самое пріятное впечатлѣніе на мое дѣтское воображеніе. Все поражало меня въ губернскомъ городѣ, въ особенности большія присутственныя мѣста и обширный гостинный дворъ, а также и разнощики съ лотками, продававшіе хлопушки, конфеты, пряники и жареный макъ. Послѣдній понравился мнѣ до того, что потомъ каждый разъ, когда мечталъ я о посѣщеніи большаго города, то первое, что представлялось моему воображенію, это — гостинный дворъ и лотки съ жареными макомъ. Большой городъ, гостинный дворъ и жареный макъ были нераздѣльны въ моемъ воображеніи. Что же касается до Москвы,

то это былъ вѣнецъ желаній юнѣйшаго туриста-мечтателя. Мнѣ казалось, что въ цѣломъ свѣтѣ ничего нѣтъ любопытнѣе, лучше, прекраснѣе московскаго дворца, красной площади, Кремля, Ивана Великаго, экзерциргауза, Пашкова дома и многихъ другихъ особенностей Москвы, которыми столько разъ любовался я на лубочныхъ картинкахъ, изображающихъ разные виды Москвы въ домѣ моей старшей, замужней сестры. И вотъ наконецъ я приближаюсь къ предмету моихъ давнишнихъ, завѣтныхъ думъ и желаній, къ этому эдему юныхъ провинціальныхъ мечтателей.

VII.

Москва, Иванъ Великій и первое разочарованіе.

Послѣ пяти сутокъ труднаго, утомительнаго путешествія, передъ моими изумленными глазами заблистали наконецъ позлащенныя главы церквей первопрестольной русской столицы. Едва не заплакалъ я отъ радости. Я устремилъ впередъ любопытные, жадные взоры, которые пытались проникнуть въ середину громаднаго города. Это было утромъ, часу въ десятомъ. Когда въѣхали въ Крестовскую заставу, я дрожалъ отъ сильнаго волненія и отъ радости. Сколько каменныхъ домовъ! Сколько церквей и колоколенъ! Сколько лавокъ и разнощиковъ съ лотками! Я не выдержалъ: мимо первыхъ трехъ разнощиковъ проѣхалъ съ замираніемъ сердца; но при встрѣчѣ четвертаго упросилъ дядю остановиться, и тотчасъ же накупилъ премного жаренаго маку, въ видѣ квадратныхъ дощечекъ, и принялся истреблять его въ ознаменованіе своего въѣзда въ Бѣлокаменную. Но и половины не могъ одолѣть изъ того, что купилъ; макъ оказался сквернѣйшаго приготовленія, и потому другая половина его разсыпалась въ платкѣ прежде, чѣмъ мы доѣхали до квартиры, находившейся на другомъ концѣ Москвы, въ Кудринѣ, въ домѣ одной изъ моихъ тетокъ, у которой мы и остановились. Тетка эта жила по зимамъ въ Москвѣ, а на лѣто пріѣзжала въ свою деревню, отстоящую верстахъ въ сорока отъ Чухломы недалеко отъ живописнаго галицкаго озера. Эта самая тетка и брала меня когда-то къ себѣ, чтобы избавить мою мать отъ встрѣчъ съ нелюбимымъ сыномъ. У нее былъ одинъ сынъ, студентъ московскаго университета, послѣдняго курса, да двѣ дочери: одна взрослая и красавица собою, другая — тремя годами моложе меня. Въ домѣ этой тетки было всегда очень весело, несмотря

на то, что сама она, по идеямъ и воззрѣніямъ, принадлежала къ старому времени. Но, впрочемъ, она никому не навязывала своихъ убѣжденій, хотя и отстаивала ихъ отъ натиска идей прогрессивныхъ. Въ отношеніи же взрослыхъ своихъ дѣтей, она предоставила имъ полную свободу мнѣній и выбора себѣ занятій.

Какъ только окончились здорованья, лобзанія, вопросы, отвѣты, я поспѣшилъ переодѣться изъ дорожнаго платья въ парадное, и сейчасъ же, по окончаніи ранняго обѣда, отпросился погулять по городу. И пошелъ я одинъ безъ провожатаго, чтобы ничѣмъ и никѣмъ не развлекалось мое вниманіе, и не боясь заблудиться въ лабиринтѣ московскихъ улицъ и переулковъ, зная пословицу, что «языкъ до Кіева доведетъ». Разумѣется, первое мѣсто, куда я отправился, былъ Кремль, а въ Кремлѣ Иванъ Великій, на котораго тотчасъ же взобрался я, путеводимый однимъ изъ проводниковъ-причетниковъ, всегда обрѣтающихся вблизи этой преславутой колокольни. Когда я очутился на самой верхушкѣ Ивана Великаго, я обмеръ отъ удивленія и восторга: чудная панорама Москвы открылась передо мною со всѣхъ сторонъ, и городъ виднѣлся, какъ на ладони. Долго любовался я этимъ несравненнымъ видомъ. Сойдя внизъ и заплативъ моему чичероне десять копѣекъ мѣдью, я отправился на Красную площадь, гдѣ долго любовался памятникомъ Минину и Пожарскому, и потомъ обошелъ весь гостинный дворъ, гдѣ сидѣльцы хватали меня за полы и почти насильно тащили къ себѣ въ лавки, расхваливая и навязывая мнѣ свои товары. Но я храбро отбивался отъ нихъ, хотя и могъ бы купить себѣ кой-что, потому что казна моя находилась въ самомъ блистательномъ положеніи: и тетки, и дядя, и отецъ надавали мнѣ премного денегъ на дорогу. Но я велъ себя благоразумно: не истратъ денегъ на безполезныя покупки, а только угощалъ себя въ каждомъ городѣ пряниками да жаренымъ макомъ, если таковой имѣлся на лоткѣ разносчика. На этотъ разъ я угостилъ себя патокой съ имбиремъ; къ жареному же маку вдругъ потерялъ я всякое уваженіе съ минуты въѣзда моего въ Москву, когда этотъ макъ такъ недобросовѣстно разсыпался въ моемъ платкѣ. Это было первое мое разочарованіе со дня выѣзда изъ родительскаго дома. А сколько разочарованій ожидало меня въ будущемъ! Да еще какихъ! Почище жаренаго маку! Итакъ, патокою съ имбиремъ кончилъ я первый набѣгъ мой на Москву, и изъ гостиннаго двора возвратился въ Кудрино, въ домъ тетки. Въ то время въ Москвѣ еще далеко не исчезли слѣды грознаго нашествія двѣнадцатаго года. Мнѣ безпрестанно попадались по дорогѣ обгорѣлые и необитаемые дома.

Дядя мой намѣревался прожить въ Москвѣ не болѣе трехъ или че-

тырехъ дней и ѣхать далѣе, потому что срокъ его отпуска уже окончился. Но прошло четыре и пять дней, а о продолженіи путешествія не было и помина. Тетка была этому очень рада, потому что очень любила своего кузена Валерьяна Макарыча. Но этотъ послѣдній только что ночевалъ въ домѣ тетки, да пилъ утренній чай. Потомъ уѣзжалъ и цѣлые дни и вечера проводилъ гдѣ-то, возвращаясь домой поздно вечеромъ. Это всѣхъ очень интересовало: терялись въ догадкахъ, гдѣ и что дѣлаетъ обыкновенно беззаботный, веселый и говорливый Валерьянъ Макарычъ, который, вскорѣ по пріѣздѣ въ Москву, сдѣлался задумчивымъ, сосредоточеннымъ и молчаливымъ. Наконецъ, дѣло скоро объяснилось. Недѣлю спустя послѣ нашего пріѣзда въ Москву, которую я успѣлъ уже осмотрѣть вдоль и поперекъ, часовъ въ восемъ вечера, когда все семейство тетки собралось вокругъ чайнаго стола вмѣстѣ со мною, входитъ въ залу Валерьянъ Макарычъ и говоритъ серьезнымъ, торжественнымъ голосомъ, который былъ ему вовсе не къ лицу:

— Сестрица! позвольте представить вамъ моего будущаго родственника, моего дядю.

Въ одно время съ этими словами входитъ въ залу одинъ господинъ среднихъ лѣтъ. Это былъ московскій баричъ, Мих. Ст. Мельгуновъ, принадлежавшій къ одному изъ самыхъ аристократическихъ московскихъ домовъ. Сынъ генеральши, — отецъ его давно умеръ,—онъ былъ одинъ изъ семи ея сыновей, которымъ отецъ оставилъ послѣ себя семь тысячъ душъ отличнѣйшаго имѣнія, съ фабриками, заводами и съ подмосковными, такъ что каждому сыну досталось ровно по тысячѣ душъ. Дочери награждались капиталомъ и сильнѣйшею протекціею, которая быстро выводила въ люди зятей генеральши, женщины чрезвычайно умной, благотворительной, достойнѣйшей и уважаемой всей московскою аристократіей. Она жила въ своемъ барскомъ домѣ, на Покровскомъ бульварѣ, и жила вполнѣ побарски, имѣла сильныя связи и состояла въ родствѣ со всѣмъ, что только было въ Москвѣ знатнаго и вліятельнаго. Нѣкоторые изъ ея сыновей, а въ томъ числѣ и тотъ, котораго представилъ Валерьянъ Макарычъ своей кузинѣ, какъ будущаго своего дядю, были его сослуживцами по Варшавѣ, и сосватали ему свою родную племянницу, одну изъ безчисленныхъ московскихъ княженъ. Но только какую!.. Домъ генеральши Мельгуновой былъ такъ извѣстенъ всей Москвѣ, что я посвящу ему позднѣе особую главу.

Послѣ этого событія, т. е. послѣ помолвки своей съ московскою княжною Оболенскою, мы оставили Москву и пустились въ далекій путь по ужаснѣйшей дорогѣ, во время самаго разлива рѣкъ. Сколько бѣдство-

вали мы при переправахъ, въ особенности черезъ Днѣпръ, который разлился широко! Изъ всѣхъ городовъ, лежавшихъ между Москвою и Варшавою, болѣе всѣхъ понравилась мнѣ Вязьма, по случаю своихъ сладкихъ, вкусныхъ пряниковъ, съ миндалемъ и съ цукатами, и которыхъ взяли мы съ собою цѣлый ящикъ. Вся эта дорога имѣла самый унылый видъ: по всюду въ деревняхъ и селахъ виднѣлись слѣды разоренія и опустошенія послѣ грознаго нашествія. Въ Смоленскѣ были цѣлыя улицы обгорѣлыхъ, полуразрушенныхъ домовъ. Наконецъ, въ половинѣ апрѣля въѣхали мы въ Варшаву. Здѣсь начинается новая эпоха моей жизни, которую постараюсь изложить, какъ слѣдуетъ, въ 7-й книгѣ, и съ тѣмъ вмѣстѣ дать понятіе о всей варшавской жизни въ ту отдаленную уже отъ насъ, но чрезвычайно любопытную, эпоху.

[illegible]

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ.

ПРОДОЛЖЕНІЕ МОЕЙ ИСПОВѢДИ

и

ДОРИСОВКА МОЕЙ ЛИЧНОСТИ.

Сонъ и пробужденіе *).

Страшно дней не вѣдать радостныхъ,
Быть чужимъ среди своихъ.

Рылѣевъ.

Былъ когда то одинъ человѣкъ, который разгадалъ меня и вполнѣ понялъ и оцѣнилъ. Это было давно, безъ года полвѣка тому назадъ. И человѣка этого уже нѣтъ въ живыхъ, но онъ живъ въ моей памяти, въ моемъ сердцѣ. Это былъ прелестный, добрѣйшій, честнѣйшій и умнѣйшій человѣкъ, мой старый товарищъ по Литовскому полку и превосходнѣйшій изъ превосходныхъ начальниковъ, — Владиміръ Петровичъ Желтухинъ. Вѣроятно много есть еще, если не товарищей по службѣ, то воспитанниковъ бывшаго 1-го московскаго кадетскаго корпуса, и еще Пажескаго, которыхъ онъ былъ директоромъ; много воспитанниковъ, которые засвидѣтельствуютъ, что въ моихъ похвалахъ В. П. Желтухину нѣтъ и тѣни преувеличенія.

Было лѣто 1832 года. Литовскій гв. полкъ стоялъ въ Ораніенбаумѣ и за то, что много пострадалъ отъ польскаго возстанія 1830 г., былъ на это лѣто освобожденъ отъ лагеря. Какъ офицеръ роты Его Высочества, я имѣлъ квартиру во дворцѣ Великаго Князя. Желтухинъ тоже. Я и еще человѣкъ пять офицеровъ столовались у него. Имѣлъ онъ прекраснаго повара, а самъ былъ превосходнымъ домовитымъ хозяиномъ. Ѣли мы хорошо и недорого. Мѣсяца два обѣдалъ я у него каждый день. Въ продолженіи этого времени съ боль[illegible] любопытствомъ и вниманіемъ всматривался онъ въ меня, изучалъ меня. Подъ конецъ, послѣ одного обѣда, оставшись на единѣ со мною, за чашкою кофе и съ трубкою въ рукахъ, онъ заговорилъ со мною такъ, и то, чего я не ожидалъ, чего я ни прежде, ни послѣ ни отъ кого не слыхалъ, что... не помню, удивило ли меня, обрадовало или опечалило, но чего, во всякомъ случаѣ, я никогда не забуду.

---

*) Вся эта 4-я книга написана лѣтомъ сего 1881 года.

— Николай Петровичъ, — сказалъ этотъ практическій философъ, моралистъ и наблюдатель. — Два мѣсяца я въ васъ всматривался, щупалъ, анализировалъ, такъ сказать, анатомировалъ васъ, словомъ изучалъ васъ всесторонне, съ любовью, со страстью фанатика медицины и хирургіи. Съ вашимъ дядей Валерьяномъ Макарычемъ мы были искренніе друзья. Да и кто въ полку имъ не былъ, кто не любилъ этого чудака, этого горячку, но добряка и весельчака, какихъ мало, и съ которымъ скука была неизвѣстна. Васъ зналъ я еще отрокомъ и всегда любилъ васъ, какъ роднаго племянника, любимаго мною моего товарища и друга. Но вы были тогда подпрапорщикомъ, я — капитаномъ, общаго между нами ничего и не было. Теперь же вы — подпоручикъ, я — полковникъ, одного съ вами батальона, и живу въ одномъ съ вами дворцѣ. Но вы всегда были для меня загадочнымъ сфинксомъ, разгадать котораго мнѣ страхъ какъ хотѣлось. Для этого завлекъ я васъ на мои обѣды и... о, какъ я радъ этому!.. и я васъ разгадалъ, вполнѣ понялъ и оцѣнилъ. Вотъ видите ли: и полковой командиръ, и всѣ товарищи васъ очень любятъ и уважаютъ за вашъ прямой, открытый и честный характеръ и полнѣйшее безкорыстіе; но они далеко васъ не понимаютъ *). Я же теперь знаю, что вы такое, *на что способны и на что неспособны*. Да врядъ ли и сами то вы это знаете, такъ много въ васъ застѣнчивости, какой то запуганности и *постояннаго недовѣрія къ самому себѣ* и еще чего-то, какъ бы выразиться, *чего-то институтскаго*. Но главное ваше несчастіе, о которомъ остается вамъ глубоко сожалѣть, это — что вы не получили классическаго, университетскаго, ни даже гимназическаго образованія. Получите вы его, о, тогда навѣрное имя ваше могло бы пріобрѣсть громкую извѣстность, вѣроятно и славу. Но и такъ какъ

*) Странная вещь: *полковые мои товарищи далеко меня не понимали*. Понимали они вполнѣ мое сердце, правда. И любили же они меня. Рѣдкая дружеская вечеринка съ пуншемъ или жженкою обходилась безъ меня. Сверхъ прощальнаго обѣда, даннаго мнѣ при отставкѣ цѣлымъ полкомъ, на всякій другой подобный обѣдъ, если я случался тогда въ Петербургѣ, приглашали меня и чествовали наравнѣ съ выбывшимъ товарищемъ. Итакъ, знали коротко мое сердце, но не умственныя способности. Между тѣмъ всѣ въ полку и постоянно величали меня *поэтомъ*. А за что? Стиховъ я не писалъ, кромѣ одного посланія, о которомъ будетъ рѣчь въ 9-й книгѣ. Это не то, что другой мой товарищъ, Языковъ, который потѣшалъ иногда товарищей весьма недурными стихами. Ну, а меня-то за что? А за то: у меня была бездна поэзіи въ чувствахъ, мысляхъ, разговорахъ, т. е. поэзіи въ прозѣ. И на людей, и на вещи, и на жизнь я смотрѣлъ черезъ призму какой-то удивительно поэтической фантазіи.

вы есть, съ вашимъ терпѣніемъ и настойчивостью вы можете много сдѣлать, а можете и ничего не сдѣлать: все это будетъ зависѣть отъ обстоятельствъ, отъ случая, отъ минутнаго наитія, да отъ работы, какъ говорятъ французы, par soubresaut, но не отъ правильной работы по программѣ, по плану заранѣе составленному. Вы можете быть и очень счастливы, какъ никто, и очень несчастливы, какъ никто, а скорѣе и то и другое. Объ этомъ позаботятся ваши чрезмѣрныя впечатлительность и чувствительность: вѣдь вы ужаснѣйшій *не тронь-меня*, настоящій порохъ. Но во всякомъ случаѣ, чтобы съ вами ни случилось, *вы никогда, ни на единый мигъ не перестанете быть рыцаремъ высокой честности и чести*. Вы будете безпрестанно и горько разочаровываться и въ людяхъ, и въ вещахъ, *но не озлобитесь, не ожесточитесь и не перестанете быть добрѣйшимъ, сострадательнѣйшимъ человѣкомъ, и часто въ явный себѣ ущербъ и вредъ*. Вы неспособны не только на дурное, злое, на мало-мальски сомнительное дѣло, *но ни на малѣйшее вилянье, на уклоненіе на волосокъ отъ прямаго пути*. Знаете ли кто вы? Вы... но этого я никому не скажу, кромѣ васъ, и то посекрету: не поймутъ... толпа... пожалуй еще и на смѣхъ поднимутъ и меня и васъ. Вы.... *геній добра, правды и честности*, но, съ тѣмъ вмѣстѣ, вы — *человѣкъ неразгаданный и неразгадываемый*.

Провидѣніе ошиблось: вы или слишкомъ рано, или слишкомъ поздно явились между людьми, и, увы: *васъ никто и никогда не пойметъ и не оцѣнитъ. Порою вы будете перетолкованы самымъ обиднѣйшимъ образомъ для человѣческихъ ума, проницательности и справедливости*. Итакъ, вы бы должны были *сдѣлаться знаменитымъ человѣкомъ, а будете человѣкомъ малоизвѣстнымъ*. И эта разница между тѣмъ, чѣмъ вы будете и чѣмъ бы должны и могли были быть, будетъ источникомъ великихъ оскорбленій для вашего самолюбія и большихъ для васъ страданій. Въ особенности впослѣдствіи, при дальнѣйшемъ вашемъ движеніи по дорогѣ жизни, при столкновеніяхъ съ разными людьми и людишками, когда нѣкоторые изъ нихъ, бахвальныхъ, заносчивыхъ и задорныхъ пигмеевъ ума, таланта и особенно доброты и высокой честности; когда эти пигмеи будутъ передъ вами ершиться, приподниматься на цыпочки и надуваться какъ лягушки, задирать кверху свои тусклыя и тупыя жабьи морды и, съ пренебреженіемъ чисто лягушечьимъ, примутся нахально квакать на васъ, гиганта добра и высокой чести и честности... Впрочемъ, вы не унывайте, не падайте духомъ: вы все-таки можете когда нибудь пріобрѣсть извѣстность, и весьма почетную. Это гарантируютъ вамъ ваши любознательность, терпѣніе, на-

стойчивость, сила воли, память и несокрушимая энергія, и... и... вашъ умъ, который рано ли, поздно ли, а все-таки проснется. Еще: вы человѣкъ безстрашный, одинъ изъ тѣхъ, про которыхъ говорятъ—ему жизнь копѣйка... Ну, и *для васъ она тоже копѣйка* (Увы! я послѣ доказалъ это моимъ поединкомъ съ Семеновымъ на ружьяхъ и безъ секундантовъ). А между тѣмъ, кто васъ мало знаетъ, никакъ не приметъ васъ за такого, а скорѣе вы покажетесь ему такимъ смиренникомъ, даже робкимъ, что васъ всякій можетъ обидѣть. И наоборотъ: порою вы можете показаться... неудобоваримымъ, даже свирѣпымъ, тогда какъ вы — воплощенная доброта. Одно у васъ, какъ на ладони, это — ваше сердце, безконечно доброе, что видятъ всѣ васъ знающіе, и *безконечно великое*, чего никто не подозрѣваетъ. Вообще, въ васъ замѣчается какая-то двойственность, сидятъ въ васъ два человѣка, два *я:* одно внѣшнее, которое всѣ видятъ, знаютъ и всѣ знающіе уважаютъ; другое — внутреннее, сокровенное, котораго никто не видитъ, о которомъ никто не знаетъ, а сами вы менѣе, чѣмъ кто либо; словомъ *я* явное, вполнѣ достойное уваженія, и *я* тайное, достойное — сугубо. Еще: вы — превеселый малый, а иногда—страшно хандрите, лица на васъ не бываетъ, но не надолго: это какіе-то неправильные пароксизмы, словно тучки на небѣ: вдругъ набѣгутъ откуда-то, и также скоро разбѣгутся, и вы опять распревеселый товарищъ. Но что никому неизвѣстно, *въ особенности вамъ самимъ*, такъ это — вашъ свѣтлый, глубокій, острый, жгучій умъ. Но этотъ *умъ у васъ подъ спудомъ*, сидитъ онъ, бѣдняжка, спрятавшись гдѣ-то, въ темномъ, тѣсномъ, холодномъ чуланчикѣ человѣческаго духа; сидитъ съежившись и дрожа отъ холода и отъ какого-то страха. Я сказалъ выше, что много страданій должно выпасть на вашу долю. Да, очень тяжелъ и труденъ будетъ вашъ жизненный путь: такъ всегда было, есть и будетъ для *неразгаданныхъ* людей. Знаете ли кто еще можетъ разгадать васъ, какъ разгадалъ я? Это — женщина, но только чрезвычайно умная и чрезвычайно добрая, словомъ: необыкновенная; а гдѣ жъ вы найдете такую? Но если бы такая нашлась и узнала бы васъ, какъ знаю я, она должна страстно, безумно полюбить васъ; другаго исхода, при близкомъ съ вами знакомствѣ, для женщины необыкновенной нѣтъ и быть не можетъ, потому что и вы сами — человѣкъ далеко выходящій изъ ряда обыкновенныхъ смертныхъ, тѣмъ болѣе, что, въ довершеніе всего, вы — натура необыкновенно пылкая, страстная, огненная и *сильная*, всецѣло сохранившая юношескую крѣпость; а такія едва ли найдутся среди теперешней молодежи, вялой, истасканной, изношенной и до времени одряхлѣвшей. Вѣдь вы чуть ли

не институтская цѣломудренность. Для умной и пылкой женщины такой мужчина, какъ вы, неоцѣненный кладъ... И знаете ли что? Такая женщина уже нашлась. Угадайте... Но секретъ... Впрочемъ, вамъ не нужно объ этомъ напоминать: вы — образецъ скромности, никогда не выдадите чужой не только тайны, но и полутайны. Итакъ, знайте: эта женщина— ближайшая ваша сосѣдка, изъ двери въ дверь. Это — Парасковья Сергѣевна Тинькова, жена вашего ротнаго командира. Но я долженъ оговориться: она вполнѣ разгадала, поняла и оцѣнила васъ по достоинству, склонилась въ своей гордой для пошляковъ душѣ передъ вашимъ нравственнымъ превосходствомъ, удивляется вамъ, глубоко уважаетъ васъ. И *если она не полюбила васъ страстно, безумно*, то это потому только, что у нее есть мужъ и дѣти, которыхъ она обожаетъ. Не разъ разговаривали мы съ нею объ васъ. И она, и я уже давно начали понимать васъ и полюбили всѣмъ сердцемъ. Да и невозможно не полюбить васъ за безконечную доброту вашего сердца, этого сокровища любви, преданности, самоотверженія. Вѣдь я знаю, какіе вы. Вы.... готовы отдать голодному кусокъ хлѣба, а сами будете голодать; снимите съ себя рубашку, чтобы прикрыть наготу бѣдняка и страдальца и остаться самому голымъ; вы готовы отдать все, попроси только васъ объ этомъ хорошенько. Вѣдь посмотрите-ко: вы безпрестанно, то дежурите, то въ караулъ идете за другихъ, за товарищей, за которыхъ вы готовы дать себя повѣсить, даже высѣчь. Все это прекрасно, но на все есть мѣра; а въ дѣлѣ добра у васъ — никакой. И, попомните мои слова: *много горя, потерь, страданій принесетъ вамъ впослѣдствіи безшабашная, если можно такъ выразиться, ваша доброта, которую страшно будутъ эксплоатировать* (О, какой пророкъ былъ этотъ Владиміръ Петровичъ). Вы вѣдь хорошо знаете Парасковью Сергѣевну и вѣроятно слыхали кое-что о ея бурномъ, романическомъ прошломъ? Это — одна изъ умнѣйшихъ и благороднѣйшихъ женщинъ обѣихъ нашихъ столицъ и, въ свое время, была первою красавицею въ Москвѣ, гдѣ даже были написаны объ ней стихи, подъ заглавіемъ *Тверской бульваръ*.

«Вотъ Параша Трубецкая
Сломя голову бѣжитъ».
За ней дѣдушка, хромая,
Задыхаяся спѣшитъ.
Вѣтеръ ли въ нее повѣетъ,
Онъ отъ вѣтра защититъ;
Солнышко ль ее пригрѣетъ,
И отъ солнца охранитъ.

Итакъ далѣе, довольно длинные и очень гладкіе стихи въ юмористическомъ тонѣ. И что-жъ? Эту молодую княжну, красавицу и умницу, выдали насильно за какого-то дряблаго старикашка губернатора, тогда какъ она страстно любила молодаго Тинькова, тоже красавца и умника, да еще и двоюроднаго брата уже знаменитаго тогда Грибоѣдова *). Разумѣется, черезъ какой нибудь годъ, а кажется и черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ этого закланія жертвы, Тиньковъ, офицеръ Московскаго гв. полка, сперва вышелъ въ отставку, затѣмъ укралъ у мужа свою возлюбленную и, бѣжавъ съ нею отъ его погони, пріѣхалъ въ Варшаву и укрылся подъ крылышкомъ Цесаревича, который любилъ и всегда былъ горой за такіе смѣлые пассажи, какъ похищеніе молодой жены у стараго, нелюбимаго мужа, и принялъ Тинькова въ Литовскій полкъ. Вѣдь онъ только недавно, по смерти мужа, могъ освятить церковью свой союзъ съ Пар. Сергѣевной.

Итакъ, добрѣйшій Николай Петровичъ! Разгадывая васъ, что меня особенно поражало и что хотѣлось мнѣ разъяснить во что бы то ни стало, это—феноменъ вашей замкнутости, вашей запуганности; страхъ какъ хотѣлось узнать причины этого феномена. И, судя по тому, на что я насмотрѣлся и чему научился изъ опыта, изъ жизни, изъ моихъ наблюденій, я предполагаю *какую нибудь семейную причину, какой нибудь печальный фактъ изъ вашего дѣтства, быть можетъ нелюбовь къ вамъ кого либо изъ вашихъ близкихъ родныхъ: дяди, тетки, отца или матери.*

Едва услышалъ я послѣднія слова Желтухина, какъ вдругъ помертвѣлъ, меня обдало могильнымъ холодомъ, въ глазахъ заискрилось; потомъ бросило меня въ жаръ и ознобъ, въ груди сперлось и что-то жгучее подступало къ горлу. Я страшно поблѣднѣлъ, мгновенно опустилъ

---

*) Когда дѣло коснулось Тинькова и Грибоѣдова, не могу удержаться, чтобы не разсказать одинъ печально-забавный случай изъ жизни этихъ кузеновъ. Грибоѣдовъ подарилъ Тинькову рукопись «Горе отъ ума», писанную своею рукою. Разумѣется, эта рукопись хранилась какъ святыня. Вообразите же ужасъ Тинькова, когда, пріѣхавъ откуда-то въ началѣ зимы въ свою калужскую деревню, онъ увидѣлъ, что рукопись его дв. брата пошла на оклейку оконъ. Это было дѣло экономной не по разуму экономки: статное ли дѣло тратить на оклейку чистую бумагу; вѣдь она стоитъ денегъ. Ну, а рукописи-то ничего не стоятъ, на это онѣ и существуютъ. Тиньковъ досталъ потомъ другую рукопись, но только написанную уже не рукою Грибоѣдова: вся святость, весь ореолъ рукописи погибъ безвозвратно. Съ этой послѣдней, впрочемъ весьма вѣрной, списалъ и я мой манускриптъ.

Имя его стало извѣстно только тогда, когда было ему уже подъ сорокъ лѣтъ, и вслѣдствіе написанія имъ диссертаціи на заданный Дижонской Академіей тезисъ: «Развращенію, или очищенію нравовъ способствовали успѣхи наукъ и искусствъ?» Мое имя стало извѣстно черезъ «Задушевную Исповѣдь», когда мнѣ было подъ пятьдесятъ лѣтъ, а потомъ черезъ мой первый словарь, когда мнѣ было уже далеко за пятьдесятъ. Руссо написалъ «Моя Исповѣдь» гораздо ранѣе «Эмиля», за котораго вытерпѣлъ жестокое гоненіе, я—тоже за мою «Задушевную Исповѣдь». Также какъ и Руссо не терпѣлъ я подарковъ, страшно боялся быть кому либо въ тягость и изъ за этой мнительности, часто убѣгалъ на долго изъ домовъ, гдѣ многое меня интересовало. Какъ и Руссо, переписывавшій ноты ради куска хлѣба, лишь бы никому не одолжаться, такъ и я готовъ былъ сидѣть на пищѣ Св. Антонія, лишь бы не просить ни у кого денегъ взаймы. Но только ужъ никакъ не разыгралъ бы я такой глупой роли, какую разыгралъ почтенный секретарь французскаго посольства въ Венеціи, въ какихъ-то пышныхъ апартаментахъ, съ какою-то таинственной и дивной красавицей, которая бросалась въ его объятія. А онъ, чудакъ изъ чудаковъ, вмѣсто того, чтобы поймать на лету падающее ему съ неба блаженство и упиваться имъ до опьяненія, принялся отыскивать и указывать ласкавшейся къ нему молодой красавицѣ какой-то недостатокъ на ея роскошномъ бюстѣ. А за такую чудовищную выходку, вмѣсто блаженства, таинственная красавица съ негодованіемъ оттолкнула его отъ себя, сказавъ: «Laschia la donna è studia la matematica». (Оставь дѣвицу и изучай *математику*). Хотя вы и глубокій мыслитель, многоуважаемый Яковъ Яковлевичъ, но, прошу извинить меня за откровенность, вы все-таки въ «эвтомъ» разѣ поступили какъ колпакъ, да еще нѣмецкій, а не французскій или итальянскій. Вѣдь и «коню даровому въ зубы не смотрятъ», многоуважаемый Яковъ Яковлевичъ! А это была восьмнадцатилѣтняя итальянка дивной красоты, беззавѣтно вамъ отдававшаяся... Колпакъ вы, Яковъ Яковлевичъ, какъ есть колпакъ. Жаль, что долговязый Иванъ или Яковъ, не помню, котораго обморочили вы, выдавъ себя за графскаго сынка; жаль, что онъ не поучилъ васъ маленько практическому уму-разуму на дворѣ того дома въ Туринѣ, гдѣ вамъ вздумалось устроить, въ собачьей канурѣ, натуральную выставку извѣстной части тѣла передъ публикой изъ молоденькихъ и хорошенькихъ прачекъ, въ чаяніи излюбленнаго вами пошлепанья ручкой хорошенькой женщины, но не усатымъ Иваномъ. Ну, и въ этомъ я не походилъ на Як. Яковлевича: никогда не добивался шлепанья меня по... извѣстной, хотя бы ручкою распрекрасавицы.

болѣе склонному шикать, нежели пожалѣть, или одобрить и поощрять, въ особенности—не авторитета... Прости же меня за эту профанацію священная, дорогая тѣнь матери! Слишкомъ мучительны были мои страданія, и обиды, нанесенныя мнѣ нѣкоторыми моими согражданами, осмѣявшими, оплевавшими, оклеветавшими меня, поставивши меня ниже самыхъ ничтожныхъ, бездарныхъ выскочекъ и прихвостневъ пера и слова, наравнѣ съ нехорошими, дурными людьми. Двадцать лѣтъ слишкомъ жестоко страдало и было унижено во мнѣ все: и гражданинъ, и семьянинъ, и писатель, и артистъ-меломанъ; унижено даже самое человѣческое достоинство. И подъ конецъ у меня уже не хватило силъ терпѣть долѣе и, въ особенности, сойти въ могилу неоправданнымъ, неочищеннымъ... Жду этого оправданія: проявится ли оно тѣмъ или инымъ образомъ? Какимъ нибудь чудомъ? Вѣдь это—тяжба въ послѣдней инстанціи... Если же нѣтъ, если никто и ничто не шелохнется, то пусть могила и забвеніе примутъ меня поскорѣе въ свои холодныя, но успокоительныя объятія.

— Когда и Желтухинъ, и я успокоились, первый заговорилъ:

— Поспѣшу заключить сегодняшній разговоръ, который навсегда останется въ моей памяти. Знаете ли на кого вы походите и весьма походите и характеромъ, и складкою ума, и привычками, и чувствами и, быть можетъ, будете походить и многими событіями вашей будущей жизни. Вы походите на... Ж. Ж. Руссо; да, на него. Вотъ что я приготовилъ для васъ, прочтите, вдумайтесь въ прочитанное и сравните. Это— *Исповѣдь Руссо*. Читайте, не спѣша; а когда прочтете да поразмыслите, то приходите побесѣдовать со мною. — Затѣмъ Желтухинъ ласково протянулъ мнѣ руку, съ чувствомъ пожалъ мою, и мы разстались.

Читалъ я и перечитывалъ эту дивную книгу, и зачитывался. Приводили меня въ восторгъ, доставляли мнѣ высокое наслажденіе многія страницы своимъ пламеннымъ краснорѣчіемъ и обиліемъ глубокихъ, остроумныхъ мыслей и самыхъ возвышенныхъ чувствъ. А что за откровенность, какая честность въ признаніяхъ, безъ малѣйшей тѣни афектаціи или желанія порисоваться. Я пережилъ и перечувствовалъ вмѣстѣ съ Руссо всю его жизнь. Желтухинъ былъ правъ. Бездну чего-то роднаго, своего находилъ я въ признаніяхъ женевскаго философа. Росъ онъ безъ родительскаго надзора, я—тоже. Онъ укралъ потомъ какую-то ленточку, я—воровалъ сахаръ у бабушки. Его сколоду считали недалекимъ, ни къ чему неспособнымъ, меня—тоже. Послѣдующія событія моей жизни представляли еще болѣе сходства моей судьбы съ судьбою Руссо.

Имя его стало извѣстно только тогда, когда было ему уже подъ сорокъ лѣтъ, и вслѣдствіе написанія имъ диссертаціи на заданный Дижонской Академіей тезисъ: «Развращенію, или очищенію нравовъ способствовали успѣхи наукъ и искусствъ?» Мое имя стало извѣстно черезъ «Задушевную Исповѣдь», когда мнѣ было подъ пятьдесятъ лѣтъ, а потомъ черезъ мой первый словарь, когда мнѣ было уже далеко за пятьдесятъ. Руссо написалъ «Моя Исповѣдь» гораздо ранѣе «Эмиля», за котораго вытерпѣлъ жестокое гоненіе, я—тоже за мою «Задушевную Исповѣдь». Такие какъ и Руссо не терпѣлъ я подарковъ, страшно боялся быть кому либо въ тягость и изъ за этой мнительности, часто убѣгалъ на долго изъ домовъ, гдѣ многое меня интересовало. Какъ и Руссо, переписывавшій ноты ради куска хлѣба, лишь бы никому не одолжаться, такъ и я готовъ былъ сидѣть на пищѣ Св. Антонія, лишь бы не просить ни у кого денегъ взаймы. Но только ужъ никакъ не разыгралъ бы я такой глупой роли, какую разыгралъ почтенный секретарь французскаго посольства въ Венеціи, въ какихъ-то пышныхъ апартаментахъ, съ какою-то таинственной и дивной красавицей, которая бросалась въ его объятія. А онъ, чудакъ изъ чудаковъ, вмѣсто того, чтобы поймать на лету падающее ему съ неба блаженство и упиваться имъ до опьяненія, принялся отыскивать и указывать ласкавшейся къ нему молодой красавицѣ какой-то недостатокъ на ея роскошномъ бюстѣ. А за такую чудовищную выходку, вмѣсто блаженства, таинственная красавица съ негодованіемъ оттолкнула его отъ себя, сказавъ: «Laschia la donna è studia la matematica». (Оставь дѣвицу и изучай *математику*). Хотя вы и глубокій мыслитель, многоуважаемый Яковъ Яковлевичъ, но, прошу извинить меня за откровенность, вы все-таки въ «этомъ» разѣ поступили какъ колпакъ, да еще нѣмецкій, а не французскій или итальянскій. Вѣдь и «коню даровому въ зубы не смотрятъ», многоуважаемый Яковъ Яковлевичъ! А это была восьмнадцатилѣтняя итальянка дивной красоты, беззавѣтно вамъ отдававшаяся... Колпакъ вы, Яковъ Яковлевичъ, какъ есть колпакъ. Жаль, что долговязый Иванъ или Яковъ, не помню, котораго обморочили вы, выдавъ себя за графскаго сынка; жаль, что онъ не поучилъ васъ маленько практическому уму-разуму на дворѣ того дома въ Туринѣ, гдѣ вамъ вздумалось устроить, въ собачьей канурѣ, натуральную выставку извѣстной части тѣла передъ публикой изъ молоденькихъ и хорошенькихъ прачекъ, въ чаяніи излюбленнаго вами шлепанья ручкой хорошенькой женщины, но не усатымъ Иваномъ. Ну, и въ этомъ я не походилъ на Як. Яковлевича: никогда не добивался шлепанья меня по... извѣстной, хотя бы ручкою распрекрасавицы.

Огненные поцѣлуи, это другая статья: сколько угодно. Наконецъ, самая поразительная черта сходства нашихъ судебъ: послѣ короткаго знакомства съ образованнѣйшими женщинами, Руссо сошелся съ Терезой, я — съ Ольгой. Но только первая была глупа, скупа и сварлива; вторая — чрезвычайно умна (но только умомъ природнымъ), щедра, честна и безкорыстна, и была очень красива.... Но довольно.

Если я разсказалъ мой разговоръ съ Желтухинымъ, съ его пророческими словами, такъ это для помѣщенія въ одну рамку полной картины моего характера и моей судьбы. Заключу: кромѣ Желтухина и, если ему вѣрить,—а не вѣрить ему невозможно,—Тиньковой, потомъ моей первой жены, да Софи Гемаръ; кромѣ трехъ женщинъ и одного мужчины, никто меня не разгадывалъ вполнѣ, никто не понималъ вѣрно и не оцѣнивалъ справедливо. Для всѣхъ моихъ родныхъ, даже самыхъ близкихъ, *не исключая и собственныхъ родныхъ дѣтей*; для всѣхъ моихъ друзей и знакомыхъ, для всѣхъ, рѣшительно для всѣхъ я былъ сфинксомъ или полусфинксомъ, книгою непрочитанною, а часто и неразрѣзанною. Быть можетъ по напечатаніи этихъ «Воспоминаній», я, хоть для половины читателей, перестану быть сфинксомъ, неразрѣзанной книгой, и, что для меня гораздо важнѣе, перестану быть бездарнымъ писакой, да еще и дурнымъ человѣкомъ. Для половины прочитавшихъ «Воспоминанія» сказалъ я. И это уже очень много, потому что всегда бываетъ такъ: если книга, по идеѣ и по языку, хоть нѣсколько выше какихъ нибудь обиходныхъ разсказовъ о томъ, какъ кто-то обозвалъ кого-то, и какъ такую-то обсчитали на два двугривенныхъ тамъ-то, то поймутъ ее, какъ слѣдуетъ, далеко не всѣ ее прочитавшіе. Не спорю: обсчитаніе на два двугривенныхъ — вопросъ важный, міровой; но и швыряніе-то камнями и грязью въ человѣка честнаго и неглупаго (да и то съ позволенія гг. редакторовъ, а безъ этого не смѣть); швыряніе въ продолженіи трехъ лѣтъ, и потомъ похѣриваніе его въ продолженіи двадцати лѣтъ, это тоже—вопросъ не совсѣмъ заурядный, дѣло не совсѣмъ плевое. Какъ вы изволите объ этомъ думать, гг. редакторы и публицисты?

Но что это?... Кажется я словно проснулся?... Въ самомъ дѣлѣ проснулся. Но кто же разбудилъ меня? Разбудили меня замогильные, но задушевные, сочувственные мнѣ звуки голоса умнаго человѣка, практическаго философа и моралиста, человѣка чести, честности, правды и добра, отдавшаго болѣе шестидесяти лѣтъ изъ своей безупречной жизни на служеніе грудью отчизнѣ въ рядахъ ея защитниковъ, и потомъ на служеніе головою на поприщѣ образованія будущихъ ея защитниковъ. Итакъ я спалъ въ про-

долженія семидесяти двухъ лѣтъ. Какой долгій и тревожный сонъ! Какія разнообразныя сновидѣнія! то веселыя, то мрачныя; то улыбающіяся, то грозныя, съ поднятымъ на меня револьверомъ!... И наконецъ проснулся.... Но зачѣмъ?.. Для чего?... Чтобы взглянуть, какъ прекрасны небеса надъ головою! Какъ весело мерцаютъ на нихъ звѣзды! Какъ задумчиво смотритъ серебряная луна! Какъ ослѣпительно блещетъ золотое солнышко! Чтобы увидѣть всю эту прелесть міроздавія, увидѣть на единый мигъ и сейчасъ же заснуть сномъ вѣчнымъ.... Лучше бы вовсе не просыпаться, не бередить зажившія, но не безслѣдно, раны и не приходить въ ужасъ и отчаяніе отъ сравненія *настоящаго съ прошедшимъ*.... А это что?... А! это слезы, которыми наполняются мои меркнущіе глаза.... А въ груди-то опять что-то забилось, затрепетало, зажглось, душитъ и подступаетъ къ горлу.... А!... Это прозрачныя, но жгучія чернила, которыми пишу я эти строки.... Да, да! «Я былъ между вами и вы не познали меня».... Богъ съ вами!

II.

Хроника моихъ любовей, любовныхъ эпизодовъ и любовишекъ.

ПРОЛОГЪ.

Вѣроятно грустное впечатлѣніе произвело на читателей окончаніе предъидущей главы. Чтобы изгладить это впечатлѣніе, поговорю о чемъ нибудь другомъ, не столь печальномъ, хоть о моихъ любовяхъ, о моихъ сердечныхъ похожденіяхъ. Изъ того что я написалъ, читатель могъ уже замѣтить, какимъ я былъ сердечкинымъ. Мнѣ кажется, что прежде, нежели явиться на этотъ свѣтъ, мнѣ была дана спеціальная миссія — влюбляться. Казалось, создавшій меня отдалъ мнѣ строжайшій приказъ, сказавъ: «Иди, воплощайся, родись дворяниномъ на берегу Чухломскаго озера, назовись Николаемъ, имѣй безотрадное младенчество и будь: во время дѣтства—букой и шалуномъ первой руки; потомъ подпрапорщикомъ, затѣмъ гвардейскимъ офицеромъ и, наконецъ, маіоромъ въ отставкѣ. А съ тѣмъ вмѣстѣ будь добрымъ и честнымъ человѣкомъ, Кузьмой безсребренникомъ, большимъ мечтателемъ и страшнымъ недотрогой и вспышкой, порядочнымъ гитаристомъ, но страдающимъ по скрипкѣ; добрымъ малымъ для всѣхъ, умнымъ для немногихъ, Іовомъ многострадальнымъ,

но самое главное: влюбляйся и люби, потомъ — люби и влюбляйся, а тамъ — опять влюбляйся и люби, и такъ до безконечности. Въ этомъ состоитъ твоя главная миссія».

Ну, какже послѣ этого не влюбляться, спрашиваю я васъ, мои читатели и читательницы? Возможно-ли не влюбляться?.. Невозможно: начальство приказало. А я никогда не осмѣливался, не позволялъ себѣ ослушиваться начальства, въ чемъ бы то ни было, а тѣмъ паче въ дѣлахъ любви. Вотъ и надрывался я отъ усерднаго, добросовѣстнаго исполненія начальническаго приказанія, и теръ любовную лямку. А теперь намѣренъ сдѣлаться исторіографомъ моего любвеобильнаго сердца. И это тѣмъ необходимѣе, что любовь была главнымъ элементомъ моей натуры, моего *я*. Вызываю воспоминанія, начинаю считать по пальцамъ, и насчитываю сперва съ десятокъ любовей. Повѣряю, припоминаю еще, и дохожу до двадцати трехъ любовныхъ кампаній. Но когда дописывалъ эту главу, вспомнилъ еще о четырехъ, затѣмъ еще объ одной, и не безъ aiг fixe. Пожалуй могъ бы насчитать и еще столько же, и даже много болѣе если бы поусердствовать; да то была мелкота и бо́льшею частію безъ aiг fixe, о чемъ не стоитъ говорить.

Въ военной службѣ за каждую кампанію даютъ по медали. А если бы давали и за любовныя, то я былъ бы украшенъ двадцатью восьмью медалями. Каково! 28 медалей на одной груди, надъ однимъ сердцемъ, которое растворялось 28 разъ, то настежь, то на одну половинку, то чуть чуть; словомъ: жизнь моя обильна и любовями, и любовными эпизодами, и любовишками, съ aiг fixe и безъ «онаго». Въ перечнѣ, для наглядности, буду обозначать первыя знакомъ †, вторыя ×, третьи *. Начинаю.

№ 1.

† Аннета Зейфертъ.

Началъ я влюбляться вскорѣ послѣ смерти моей матери, на седьмомъ году моего возраста. О первой моей любви къ Аннетѣ Зейфертъ сказано достаточно въ 1-й книгѣ, въ главѣ: *Идеалъ гуманной женщины*. Это было чувство непорочной любви, или вѣрнѣе, нѣжной дружбы между двумя младенцами, чувство неземное, а чисто небесное, еще такъ близкое къ своей небесной родинѣ. Поэтому и не буду распространяться о ней въ этой главѣ.

№ 2.

* Машенька Невельская.

Мнѣ было уже десять лѣтъ. Нѣжное чувство къ Аннетѣ не помѣшало мнѣ влюбиться и въ Машеньку, вѣроятно ради разнообразія, хотя я и не зналъ еще тогда изрѣченія: «Разнообразіе—мать удовольствія». Эта Машенька, кузина моего кузена Вани, пріѣхала съ матерью къ его матери, а моей теткѣ, на Рождество и прогостила дней десять. Имѣніе Вани было въ 5-ти верстахъ отъ нашего. Я тоже провелъ у тетки рождественскіе праздники и... влюбился въ Машеньку, мою ровесницу. Мы оба вздыхали, мечтали, вписывали пренѣжныя стишки въ альбомы другъ другу; безъ альбомовъ тогда не обходились не только взрослые, но и отроки съ отроковицами, и даже дѣти. Альбомъ составлялъ тогда крайнюю, насущную необходимость каждаго порядочнаго и благовоспитаннаго человѣка, также какъ теперь составляетъ одну изъ составныхъ частей нѣкоторыхъ нынѣшнихъ фатовъ стеклышко въ глазу. Впрочемъ, скажемъ правду: у большинства изъ нихъ стеклышко есть одна изъ менѣе противныхъ сторонъ ихъ тошнительныхъ личностей. Это—просто вывѣска заведенія пустоголовства и негодности ни къ чему путному, кромѣ фатовства, да угощеній своихъ избирателей. Мнѣ разсказывали много кой-чего объ одномъ такомъ стеклоносномъ избираемомъ и его избирателяхъ, подвизающихся гдѣ-то тамъ: въ западной или восточной полосѣ Россіи, мнѣ не сказали. Но факты весьма курьезны и назидательны. Можетъ быть я припомню и перескажу впослѣдствіи. А какія бываютъ назидательныя пощечины среди bal masqué, такъ это страшно какъ курьезно; но объ этомъ ниже, въ 7 номерѣ.

Удивительно свойство назидательныхъ пощечинъ, свойство — напоминать о многомъ и о многихъ. Напримѣръ: пришли мнѣ на умъ наши Маниловы, которые все жеманятся и никогда не назовутъ *черное* *чернымъ*, *грязное* *грязнымъ*; *слишкомъ* *рѣзко*, изволите видѣть. Поэтому любятъ они, Маниловы, все *снѣживать*, въ особенности когда дѣло коснется не какого нибудь коллежскаго регистратора, а дѣйст. ст. совѣтника, а тѣмъ паче тайнаго. Ну вотъ и снѣживаютъ они, Маниловы, говоря: *темноватое*, *не совсѣмъ бѣлое*. Нѣтъ, нѣтъ, гг. Маниловы, не жмите губки, а говорите прямо: *черное*, *грязное*. Для вящшей убѣдительности, выпишу нѣсколько строкъ изъ *Кроваваго Призрака*, моей первой бичующей сатиры:

«Слишкомъ рѣзкія выраженія!.. А развѣ тупыми и зазубренными инструментами искусные хирурги дѣлаютъ ампутаціи гангренозныхъ членовъ, или вырѣзываютъ раки и отвратительные наросты изъ человѣческаго тѣла... Не розовой водицей, не припарочками, а ляписомъ и прижиганіемъ раскаленнымъ желѣзомъ исцѣляютъ злокачественныя язвы или раны отъ укушенія бѣшеныхъ собакъ, и спасаютъ укушенныхъ отъ гидрофобіи. Да? не маниловскимъ, а ѣдкимъ, острымъ языкомъ, жгучимъ, раскаленнымъ словомъ исцѣляйте нравственныя язвы, вырѣзывайте нравственныя и умственныя болячки и наросты».

А вѣдь наша-то матушка Русь вся теперь въ язвахъ, болячкахъ и наростахъ. Ну что если бы я не Ювеналовскимъ, а маниловскимъ слогомъ написалъ мои первыя двѣ корреспонденціи въ «Голосъ». Тогда описываемый мною баринъ и тузъ съ его хищнымъ письмоводителемъ не оставили бы службы, и долго еще тяготѣли бы надъ несчастнымъ мировымъ участкомъ, и эксъ-кварташка до тла обобралъ и разорилъ бы его крестьянъ. При семъ удобномъ случаѣ разскажу нѣсколько весьма поучительныхъ эпизодовъ изъ исторіи сороковыхъ годовъ такъ называемаго «гниlаго Запада».

Канунъ февральской революціи, т. е. 1847 годъ былъ роковымъ годомъ для французской аристократіи. Графъ Брессонъ, устроитель *испанскихъ браковъ*, т. е. брака герцога Монпансье съ сестрою испанской Изабеллы, переведенный посланникомъ изъ Мадрита въ Неаполь, пускаетъ себѣ пулю въ лобъ; — вѣроятно отъ черезчуръ большаго усердія на дипломатической службѣ. Герцогъ Тревизскій, Мортье, вслѣдствіе семейнаго скандала, объявляется помѣшаннымъ и запирается въ домѣ умалишенныхъ. Герцогиня Шуазёль де Праленъ, дочь маршала Себастіани, найдена мертвою въ своей постели. Производившій слѣдствіе генералъ-прокуроръ, извѣстный де Л'Англь, осматривая трупъ, говоритъ, глядя въ упоръ на присутствовавшаго тутъ мужа умершей: «она умерла не своею смертью, и убійца ея здѣсь, въ этомъ домѣ». При этихъ словахъ герцогъ Шуазёль блѣднѣетъ и, вскорѣ послѣ того умираетъ, но не отъ усердія, а отъ принятаго имъ яда. Наконецъ Эмиль Жирарденъ предъявляетъ палатѣ депутатовъ грозное обвиненіе эксъ-министра Тестана, дивизіоннаго генерала и пера Франціи Кюбьера и банкира Пелапра въ слѣдующихъ преступленіяхъ:

Генералъ Кюбьеръ, перъ и, съ тѣмъ вмѣстѣ, управляющій одною промышленною компаніей, предлагаетъ, черезъ посредство Пелапра, взятку въ 100,000 фр. министру вн. дѣлъ Тесту, а «сей» послѣдній изволитъ принять этотъ кушъ (больно соблазнителенъ) и за это содѣй-

ствуетъ компаніи въ дешевомъ взятіи съ торговъ богатѣйшихъ казенныхъ копей каменнаго угля. Вслѣдъ за обвиненіемъ назначается парламентское слѣдствіе, а за слѣдствіемъ всѣ вышеупомянутыя три личности предаются уголовному суду.

— Оправдаютъ, — говорятъ мнѣ нѣкоторые изъ тогдашнихъ Маниловыхъ. — Не оправдаютъ, отвѣчаю я. — Ну такъ во всякомъ случаѣ накажутъ не очень строго. Нельзя же: министръ и перъ Франціи. — Накажутъ, и строго накажутъ — говорю я. И вышло по моему: Теста приговорили къ штрафу въ 100,000 фр. (или въ 200,000 — не припомню) и еще, не въ счетъ абонемента, на два года посидѣнія въ тюрьмѣ. А Кюбьера разжаловали, т. е. лишили перства, чиновъ, крестовъ, словомъ страшно ошельмовали въ назиданіе и поученіе всей Франціи и всей Европѣ... Не надолго пережилъ онъ свой позоръ: кажется, спустя полгода онъ умеръ съ горя и стыда въ своемъ помѣстьи. Не правда ли эпизодъ очень назидательный и поучительный для всего цивилизованнаго міра... Возвращусь къ Машенькѣ.

Итакъ я и Машенька, Машенька и я любились и даже... поцѣловались нѣсколько разъ украдкою ото всѣхъ и даже отъ самихъ себя. А разставаясь обѣщали другъ другу переписываться, но не плакали: дѣло обошлось какъ-то безъ слезъ. Маша уѣхала въ Солигаличской уѣздъ, я возвратился въ Першино (наша деревня) къ бабушкѣ и къ Прохору Семенычу, кроткому педагогу. Въ разлукѣ ни я, ни Маша не тосковали, и не похудѣли, а напротивъ. И не переписывались. Я возвратился къ Аннетѣ, моему нѣжному другу, и мы сдѣлались еще нѣжнѣе и ласковѣе другъ съ другомъ.

Въ 1835 году я встрѣчался съ нею въ домѣ дяди и въ другихъ домахъ Солигалича. Худенькая Машенька преобразилась въ полную Марью Ивановну. Она была замужемъ за какимъ-то почтмейстеромъ, который все пыхтѣлъ и молчалъ преглубокомысленно. А когда рѣшался сказать что нибудь, то это выходило уже вовсе не глубокомысленно. Сама же, бывшая Машенька, а потомъ Марья Ивановна, при встрѣчѣ со мною, по прежнему начинала вздыхать, и затѣмъ съ нѣжнѣйшимъ акцентомъ и нѣкоторымъ картавленьемъ произносила: «*другъ* моего дѣтства». А я, варваръ! не вздыхалъ. И потому на французскомъ діалектѣ выходилъ тогда изъ меня сущій barbare, barbare!

№ 3.

Машенька Малицына.

Какъ я говорилъ уже, осенью 1821 года отвезли меня на воспитаніе къ теткѣ Шиповой, гдѣ встрѣтился я съ двумя, тоже воспитывавшимися тамъ Машеньками: съ Невельскою, уже знакомою мнѣ и съ Малицыною, предметомъ третьей дѣтской любви. Хорошенькая, умненькая, такая милая, добрая и, съ тѣмъ вмѣстѣ, чрезвычайно талантливая, прилежная и любознательная, это была лучшая изъ учащихся въ домѣ тетки, какъ въ изученіи языковъ и другихъ предметовъ, такъ и въ рисованьи и женскихъ рукодѣліяхъ. Я сошелся и сдружился съ ней съ первыхъ же дней пребыванія моего у тетки. Я былъ съ капелькою лѣности и съ порядочною дозою непонятливости по части грамматики, которою тогда душили отроковъ и даже дѣтей. Маша Малицына во всемъ помогала мнѣ; репетировала со мною уроки, растолковывала ясно все, что весьма неясно толковалъ намъ учитель-швейцарецъ, плохо говорившій порусски. Поправляла мои рисунки, — у нее былъ огромный талантъ къ живописи и къ музыкѣ. Словомъ: эта чудно-прелестная Маша сдѣлалась моимъ Провидѣніемъ, моимъ ангеломъ хранителемъ, и безпрестанно выручала и спасала меня отъ строгихъ выговоровъ и отъ *пристыживанія*. А сколько подарковъ сдѣлала она въ продолженіе нашего соученія; и ни однимъ даренымъ ей лакомствомъ не воспользовалась она, не раздѣливъ его со мною!

Спрашиваю: возможно ли было не полюбить, не полюбить нѣжно, горячо, страстно, на сколько допускалъ это двѣнадцатилѣтній возрастъ? И не полюбить кому же?... Мнѣ, который отъ макушки до кончика носка ноги былъ составленъ весь изъ любви, благодарности и преданности? Полтора года продолжалась эта трогательная эпопея отроческой любви; и кончилось, какъ и все должно оканчиваться рано ли, поздно ли «въ семъ подлунномъ мірѣ». Меня увезли въ Варшаву въ мартѣ 1823 года. Горячо и горько плакали мы, разставаясь; обнялись и горячо, горячо поцѣловались. Горячо поцѣловалъ я и бисерные кошелекъ, и шнурокъ для часовъ, ея работы, послѣдній ея подарокъ мнѣ на прощанье. Разстались мы... навѣки. Уже никогда нигдѣ не встрѣчались мы послѣ. Но вотъ что узналъ я объ ней отъ моей тетки Шиповой въ маѣ 1834 года.

— Nicolas! Помнишь ты Машу Малицыну, что училась вмѣстѣ съ тобою у меня въ Богородскомъ? Это вышла прелестнѣйшая дѣвушка:

ангелъ лицомъ и сердцемъ, умна, образована, прекрасно знающая четыре языка и талантливая піанистка и художница рисованья и живописи. Бѣдная дѣвушка, она была гувернанткою въ домѣ богатыхъ англійскихъ негоціантовъ. Было два брата. Старшій женатый, меньшой холостой. Это былъ красивый, умный, образованный и добрый почти молодой человѣкъ: 35-ти лѣтъ. Влюбился онъ въ Машу, — а не влюбиться было невозможно, такъ очаровательна она, — сдѣлалъ ей предложеніе, которое, разумѣется, было принято. Женихъ сдѣлалъ богатѣйшее приданое; но какъ разумный и практическій человѣкъ, тряпокъ приготовилъ не много, а все болѣе цѣнныя, капитальныя, солидныя вещи. Насталъ день брака. Вѣнчались сперва въ англиканской церкви. Оттуда поѣхали въ православную. Во время вѣнчанія съ женихомъ нѣсколько разъ дѣлалось дурно. Пріѣхали отъ вѣнца домой. Молодому стало еще хуже. Онъ слегъ и черезъ два дня отдалъ душу Богу, оставя послѣ себя молодую жену, красавицу и дѣвственницу. Семейство ея мужа поступило съ величайшимъ великодушіемъ: сейчасъ же перепродали богатое приданое съ уступкою 15 % и вырученныя 17,000 р. вручили молодой вдовѣ, и тѣмъ обезпечили ея будущность.

Что сталось съ нею послѣ, ничего потомъ уже я не узналъ. Не отъ кого: единственная связь между Машею и мною была тетка Шипова, а она была гдѣ-то далеко въ монастырѣ. Но и теперь, когда изрѣдка вспомню про Машу Малицыну, въ сердцѣ моемъ происходитъ что-то необыкновенное: и сладкое, и горькое; и отрадно, и плакать хочется.

№ 4.

Эмилія Гладковская.

Въ 1823 году въ апрѣлѣ пріѣхалъ я съ дядею въ Варшаву. Квартира его была въ Александровскихъ казармахъ, гдѣ нынѣ Цитадель. Дядя въ маѣ опять поѣхалъ въ отпускъ, въ Москву, жениться на княжнѣ Оболенской. Въ іюнѣ онъ возвратился съ моею новою тетушкою и, изъ казармъ, переѣхалъ на квартиру, нанятую на *Закрочимской* улицѣ. Управляющій домомъ (бургграбя) былъ нѣкто Гладковскій. Имѣлъ онъ трехъ дочерей. Старшая, брюнетка, Клементина, тогда только что вышла за мужъ. Вторая, Эмилія, прелестная и симпатичная блондинка, съ чудными голубыми глазами. Третья, шатинка Констанція, моя ровесница, будущая оперная знаменитость, живая, бойкая, смѣлая,

умненькая дѣвочка, но капризница и страшная насмѣшница. Мы сейчасъ же подружились, бѣгали по двору и по саду, играли, рѣзвились и шалили, какъ только могутъ это дѣлать самыя рѣзвыя и шаловливыя дѣти. Почти ежедневно мы ссорились, сейчасъ же мирились, снова ссорились и мирились, и такъ далѣе, до безконечности. Между тѣмъ эта умненькая насмѣшница прозвала меня *makaron do rosolu* (макароны въ супѣ). А когда, много лѣтъ спустя, я вышелъ изъ школы въ офицеры, Констанція вышла изъ варшавской консерваторіи на сцену варшавской оперы и сразу стала первоклассною пѣвицею, оперною звѣздою первой величины. А затѣмъ вскорѣ сдѣлалась предметомъ первой, и, увы! несчастной страсти тогда мало извѣстнаго, а впослѣдствіи знаменитаго Шопена.... A propos: разскажу объ этомъ великомъ піанистѣ одинъ случай, неизвѣстный его біографамъ, но весьма характерный, который слѣдуетъ сохранить для исторіи фортепьянной музыки.

Былъ однажды въ какомъ-то важномъ домѣ Варшавы блистательный музыкальный вечеръ. Между разными артистами находился Крамеръ, если не ошибаюсь, первый тогда фортепьянистъ и фортепьянный учитель въ Варшавѣ; и былъ еще на вечерѣ одинъ молодой студентъ варшавскаго университета, скромный, худенькой, робкій, но съ отпечаткомъ чего-то высшаго на своемъ задумчивомъ и блѣдномъ лицѣ. Это былъ — Фридрихъ Шопенъ, или какъ называли его тогда — *Шопинъ*. Играетъ Крамеръ: всѣ въ восторгѣ и оглушительный громъ рукоплесканій раздается въ честь его. Играетъ потомъ Шопенъ, и только чахоточное похлопыванье послышалось по окончаніи его игры, и то далеко не всѣхъ присутствующихъ. Напротивъ, большинство окружило Крамера, изливаясь передъ нимъ въ похвалахъ и благодареніяхъ и заявляя ему, что играть послѣ него мальчику—дерзость. Крамеръ пожалъ плечами, горько и насмѣшливо улыбнулся, и сказалъ своимъ хвалителямъ:

— Профаны! Что вы смыслите? Этотъ мальчикъ — будущая знаменитость, геніальность: онъ убьетъ своею игрою сто такихъ Крамеровъ, какъ я.

Все это исторически вѣрно и разсказано мнѣ очевидцемъ, моимъ товарищемъ по полку, Апполономъ Ильичемъ Бибиковымъ, который находился на томъ вечерѣ, наслаждался игрою Шопена и съ большимъ сочувствіемъ прослушалъ пророчество Крамера. Самъ же Бибиковъ былъ страстный и превосходный гитаристъ, но только для четырехъ стѣнъ, да развѣ для двухъ, но не болѣе, слушателей, которымъ онъ могъ еще сыграть что нибудь. Но какъ только слушателей его вдохновенной игры

было болѣе, нежели трое, онъ оторопѣетъ, оробѣетъ, засуетится и ничего не сыграетъ, кромѣ нѣсколькихъ акордовъ. Вѣдь и Шопенъ тоже былъ робокъ, не любилъ огромной публики и рѣдко участвовалъ въ концертахъ. И я слышалъ Шопена въ двухъ концертахъ, данныхъ имъ въ Варшавѣ осенью 1830 года.

Слушалъ и... пребывалъ холоднымъ истуканомъ: и не понималъ, и не сочувствовалъ я тогда фортепьянамъ, а бредилъ скрипкою и готовъ былъ продать нечистому свою душу, лишь бы научилъ онъ меня хорошо играть на скрипкѣ.

Но пора къ голубоокой Эмиліи.

Съ Констанціей я только дружился, игралъ, ссорился и мирился, но къ Эмиліи питалъ чувство несравненно болѣе горячее, болѣе пылкое, нежели простая дѣтская дружба. И это тѣмъ болѣе, что голубоокая Эмилія была одна изъ самыхъ пикантно-прелестныхъ и романическихъ мечтательницъ, которая, имѣя уже 18 лѣтъ, не побрезговала, однако жъ, четырнадцатилѣтнимъ безбородымъ селадономъ и *романсовала* съ нимъ по всѣмъ правиламъ польскаго романсованія. *Романсовать* — непереводимое польское слово, заключающее въ себѣ цѣлый міръ нѣжнѣйшихъ чувствъ и всевозможныхъ ухаживаній и оттѣнковъ платонической любви. Романсовали-мы болѣе года невозможнымъ и невѣдомымъ въ Россіи образомъ, съ акомпаниментомъ безчисленныхъ проказъ, шалостей, смѣха и насмѣшекъ молодой Констанціи. О, какое удивительное, невиданное и неслыханное тріо разыгрывалось между нами, тремя юными виртуозами нѣжности, вздоховъ, мечтательности, веселости и шаловливости! Продолжалось это тріо слишкомъ годъ и прекратилось: дядя переѣхалъ на другую квартиру, на улицу *Наливки* и романсованіе мое упало въ Лету... Наконецъ, спустя пять лѣтъ, я былъ прапорщикомъ и давно уже позабылъ и о Констанціи, и о голубоокой Эмиліи. Да и возможно ли было не позабыть при той дивной эпопеѣ двойственной любви, или, вѣрнѣе, въ академіи любви, полный курсъ которой проходилъ я въ продолженіи четырехъ лѣтъ, какъ это будетъ видно изъ слѣдующей главы.

Итакъ, я—пропорщикъ. Смѣняюсь съ перваго караула, веду солдатъ въ казармы, поднимаю вдругъ голову кверху, на одно окно бельэтажа Свѣнтоянской улицы и вижу: смотритъ на меня изъ окна голубые глаза Эмиліи, такой же пикантно-прелестной, какъ и пять лѣтъ тому назадъ. Она улыбнулась мнѣ, я—отсалютовалъ ей полусаблею, тѣмъ все и кончилось... Она была на содержаніи у одного изъ нашихъ литовскихъ офицеровъ, не помню именно у кого.

№ 5 и № 6.

† Панна Катаржина (Катерина) и † панна Анзя (Анна).

Въ сентябрѣ 1826 г. отправили меня отъ дяди въ школу гвардейскихъ подпрапорщиковъ. Мнѣ было 16 лѣтъ. Тогда же, или кажется еще ранѣе, познакомился я въ домѣ нѣкоего Гаврилова. Это былъ человѣкъ лѣтъ пятидесяти, средняго роста, плотный, крѣпкаго сложенія. Служилъ онъ берейторомъ у Цесаревича. Произведенъ былъ въ чинъ изъ вахмистровъ какого-то гвардейскаго эскадрона, шефомъ котораго былъ В. Кн. Константинъ Павловичъ. И былъ это лучшій, первый ѣздокъ не только въ Варшавѣ, но я думаю и во всей Россіи. Хоть лихой наѣздникъ, но это былъ самый неотесаный, грубый и мужиковатый бурбонъ, но съ тѣмъ вмѣстѣ, честнѣйшій, правдивѣйшій и безстрашнѣйшій человѣкъ. Цесаревичъ души въ немъ не чаялъ. Никто не умѣлъ такъ, какъ онъ, выѣзжать лошадей; это былъ мастеръ, виртуозъ своего дѣла. И несмотря на все это, у него случались иногда схватки и перепалки съ В. Кн. Вспылитъ, вскипитъ бывало за что нибудь нашъ варшавскій патронъ, налетитъ на Гаврилова и пошелъ, и пошелъ. А Гавриловъ, вмѣсто того, чтобы руку подъ козырекъ, упретъ себѣ въ бока обѣ руки, представитъ изъ себя великолѣпнѣйшаго форта, да и начнетъ насмѣшливо, смѣло мѣрять Цесаревича съ головы до ногъ, а потомъ и гаркнетъ:

— Ну, что? наругался, отвелъ свою душеньку? Али мало? Ну, поругайся еще, коли тебѣ это любо. — Онъ всегда говорилъ Цесаревичу *ты*.

— Ахъ ты такой, эдакой! Да я тебя! — И рука съ хлыстомъ грозно поднимается надъ плечами Гаврилова. А этотъ и глазомъ не моргнетъ, а еще насмѣшливѣе, смѣлѣе завопитъ:

— Ну чтожъ? Захотѣлось подраться? Подерись, батюшка, подерись, коли тебѣ это любо. А мнѣ это не въ диковинку: я давно уже познакомился съ хлыстомъ-то, да и съ другими прочими начальничьими милостями. Подерись, батюшка, подерись; а лошадей-то выѣзжать тебѣ больше не буду. Поищи себѣ другого кого, а я — шабашъ, будетъ. — При такой страшной угрозѣ — лишить его, Цесаревича, верховыхъ лошадей гавриловской выѣздки

Все кипѣніе вмигъ прекращается
И рука вдругъ съ хлыстомъ опускается,
Цесаревичъ ужъ добръ, не ругается,
А напротивъ, зело улыбается
И Гаврилова онъ ужъ потомъ
Хочетъ ласкою взять, не хлыстомъ.

— Ну, ну, старикъ, не сердись, помиримся. Я вѣдь только пошутилъ, — ласково промолвитъ великій князь.

— То-то пошутилъ. Да я-то не пошучу, коли откажусь выѣзжать твоихъ лошадей.

И миръ между царскимъ братомъ и его берейторомъ заключенъ. Вотъ что значитъ благородныя-то четвероногія: порою гораздо «пользительнѣе» и укротительнѣе благородныхъ двуногихъ, а пожалуй и поумнѣе нѣкоторыхъ изъ «оныхъ», хотя звѣздъ никакихъ не носятъ, кромѣ какъ иногда у себя на лбу, пожалованную имъ уже царицею природою, а не по представленію начальства. Теперь отъ старика отца перехожу къ его дочери. Найдется ли у меня довольно яркихъ красокъ, чтобы очертить этотъ необыкновенно оригинальный и весьма рѣдкій женскій обликъ.

Восемнадцать лѣтъ, средній, но чрезвычайно стройный и пропорціональный ростъ, роскошный античный бюстъ, лебединая шея, чудный цвѣтъ лица, волосы русые съ красноватымъ оттѣнкомъ, какъ у Кардевиль въ «Парижскихъ Тайнахъ» Евгенія Сю; большіе черные, огненные, но гордые, смѣлые, вызывающіе глаза и длинныя рѣсницы; полныя, сочныя розовыя губки на маленькомъ ротикѣ съ перловымъ рядомъ зубовъ и съ дыханіемъ жаркимъ полуденныхъ странъ; словомъ, это была своеобразнѣйшая и разжигательнѣйшая изъ встрѣчавшихся въ моей жизни красавицъ. При этомъ — ловкость и гибкость серны, сильный, звучный, бархатистый контральто и пѣніе, полное чувства, души, страсти. Умъ острый, жгучій, смѣлый до дерзости и никогда не сдѣлавшій ни одной осѣчки. Сердце страстное, волканическое и полное такихъ прихотей, причудъ, капризовъ, какія могутъ находиться лишь въ десяти головкахъ хорошенькихъ, капризныхъ и избалованныхъ дѣвочекъ; но сердце не злое, а скорѣе доброе. А движенія, а жесты! Величественные какъ у королевы, а порою рѣзкіе какъ у пуассардки; все это вмѣстѣ было рѣдкое соединеніе многочисленныхъ контрастовъ въ одномъ лицѣ. А какая это была искусная, ловкая и смѣлая амазонка! Заткнула бы за поясъ всѣхъ нынѣшнихъ молодыхъ гвардейскихъ кавалеристовъ и отбила бы у нихъ всѣ призы на скачкѣ съ препятствіями, если бы не тогда, а теперь жила она, и вступила бы съ ними въ состязаніе. Вотъ съ такою-то красавицею и ультра-поэтическою женскою личностью привелось мнѣ имѣть общеніе, и очень близкое, короткое въ продолженіи четырехъ лѣтъ моего пребыванія въ школѣ подпрапорщиковъ. По крайней мѣрѣ раза по два, а часто и по три, и болѣе въ мѣсяцъ, бывалъ я въ домѣ ея отца и проводилъ съ нею по нѣскольку послѣобѣденныхъ часовъ въ праздничные дни. Старикъ Гавриловъ очень полюбилъ меня и оставлялъ

со мною свою красавицу дочь съ глазу на глазъ безъ малѣйшаго недовѣрія или сомнѣнія. Но большею частію насъ бывало трое: я, панна Катаржина и панна Анзя, сиротка, ея короткая, любимая и неразлучная подруга. Это была тоже восемнадцатилѣтняя, прелестная блондинка, съ прекрасными, задумчивыми, голубыми глазами, такими кроткими, такими добрыми. Почти во всемъ составляла она поразительный контрастъ съ своею подругою. Тихая, скромная, робкая какъ голубица, безъ малѣйшаго кокетства или гордости, и не только словомъ, но и взглядомъ боялась огорчить или оскорбить кого нибудь. И съ тѣмъ вмѣстѣ была чрезвычайно впечатлительна, сострадательна и отзывчива на всякую скорбь, на малѣйшее страданіе ближняго. А сердце? это была сокровищница нѣжности, любви и преданности. И между двумя такими красавицами проводилъ я цѣлые вечера въ продолженіи четырехъ лѣтъ. Разговоръ между нами почти всегда велся на польскомъ языкѣ, потому что панна Анзя ни слова не понимала порусски, а панна Катаржина говорила попольски какъ истая варшавянка; я — тоже.

О, какая это чудная, воспитательная была школа для сердца и ума! Бывало, сижу я на диванѣ между двумя молодыми красавицами. Съ правой стороны возлѣ меня панна Катаржина; вдругъ она вздумаетъ благоволить ко мнѣ, поднять и приблизить меня къ своей неприступной особѣ, возвысить до своей гордой красоты; и вотъ согрѣетъ, разожжетъ меня своими черными, огненными глазами; обласкаетъ, заставитъ сильно, ускоренно забиться мое сердце, взволнуетъ, вскипятитъ всю кровь своими смѣлыми, своеобразными, но теплыми рѣчами, и я—въ эмпиреяхъ, на высотѣ величайшаго блаженства. А налѣво отъ меня молча, понуро сидитъ панна Анзя, задумчивая, грустная; и вдругъ влажный алмазъ блеснетъ въ лазури ея отуманенныхъ очей, и крупная слеза, словно жемчужина, медленно скатится съ ея длинныхъ рѣсницъ.... А потомъ, въ слѣдующій мой визитъ, панна Катаржина не въ духѣ, и уже не обласкаетъ, не согрѣетъ меня, а напротивъ: то заморозитъ, то обожжетъ, исцарапаетъ, изранитъ меня и свергнетъ съ эмпирей прямо въ тартаръ. Я грустенъ, мраченъ, глаза застилаются туманомъ. За то панна Анзя повеселѣетъ, и съ такою ангельски-сострадательною улыбкою накладываетъ бальзамъ горячаго участія на мои ожоги, перевязываетъ мои сердечныя раны и утоляетъ ихъ боль и жгучесть своею нѣжною дружбою... Что я? Несравненно болѣе, чѣмъ дружбою.... О, какіе это были четыре года! годы, когда казалось, что два сердца бились въ одномъ, когда два чувства горѣли въ одной груди, двѣ зазнобы знобили одного и того же юношу. И была эта двойственная, ни съ чѣмъ несравненная

жизнь полна неизъяснимой сладости и поэзіи. Дышалъ я воздухомъ двойной любви, жилъ между двумя любовями: къ паннѣ Катаржинѣ и къ паннѣ Анзѣ, и не зналъ, которая милѣе, которая сильнѣе. Первая притянетъ, пригвоздитъ меня къ себѣ на нѣкоторое время бойкостью своего ума и всепобѣждающимъ кокетствомъ; притянетъ къ себѣ и приголубитъ, — но не надолго; вторая привлечетъ къ себѣ ангельскою кротостію, согрѣетъ и озаритъ нѣжнѣйшею преданностію до самозабвенія. Въ черныхъ глазахъ первой—гадательное обѣщаніе рая бурнаго, съ перспективою всесожигающихъ тропическихъ ласкъ и восторговъ; въ голубыхъ глазахъ второй — вѣрное обѣщаніе рая тихаго, но прочнаго, съ безмятежнымъ блаженствомъ. Первая—одной рукой погладитъ, пощекочетъ меня и кой-когда допуститъ до высшей степени своего благоволенія — позволитъ поцѣловать кончики пальчиковъ своей ручки; и вскорѣ послѣ того другой рукой надаетъ щелчковъ, и капризно отодвинетъ меня на самый задній планъ любовной сцены; вторая — беззавѣтная преданность, нѣжность, непритворная любовь. И только захоти я, сейчасъ пала бы въ мои объятія. Но, какъ я уже замѣтилъ выше, я былъ непреклонно строгъ въ моихъ правилахъ и понятіяхъ: только ту дѣвушку принялъ бы я въ свои жгучія объятія, которую могъ бы назвать своею женою. Случаи паденія представлялись, и не разъ, но.... я довольствовался, не краденымъ, а добровольно льющимся на меня потокомъ страстныхъ поцѣлуевъ, которыя жадно пилъ я, которыми упивался до головокруженія, до обморока, и.... болѣе ни единаго нескромнаго движенія не позволялъ я себѣ.... Вспоминаю одинъ майскій полдень, и неожиданную встрѣчу игрою случая, и кондитерскую близъ Красинскаго сада. Живо помню я шоколадъ на столикѣ передъ диваномъ; помню нѣжныя слова и слезы любви, и огненные поцѣлуи, и возможность беззавѣтныхъ ласкъ; помню все до малѣйшей подробности. Это былъ жаркій и страшный весенній полдень, полный демоновскихъ искушеній и титанической борьбы между девятнадцатилѣтнимъ страстнымъ юношей и долгомъ чести. И девятнадцатилѣтній юноша вырвался изъ страстныхъ объятій побѣдителемъ страсти, подъ которою погибла бы честь бѣдной дѣвушки, круглой сироты. И эта сирота не проклинала, а благословляла потомъ пылкаго, но честнаго юношу. А юношѣ не пришлось ни тогда, ни послѣ, краснѣть отъ своихъ воспоминаній; жалѣть о неисправимыхъ печальныхъ послѣдствіяхъ минутнаго увлеченія; не пришлось раскаиваться въ неумѣньи побороть порывы огненной страсти.... Да! Смѣло и гордо могу и смотрѣть въ мое прошедшее: ни единаго на немъ пятнышка; ни здѣсь, ни Тамъ не покраснѣю за него, за мое прошедшее.

Вотъ въ какой школѣ, въ какомъ, такъ сказать, университетѣ и съ какими двумя профессорами прошелъ я полный курсъ (4 года) любви, этого высокаго и перваго, свитѣйшаго и сильнѣйшаго изъ чувствъ. Но также какъ и высшая, міросоздавшая власть и сила, любо́вь можетъ и вознести васъ превыше звѣздъ небесныхъ, и низринуть въ преисподнюю. Итакъ я прошелъ полные четыре курса факультета любви, изучилъ всѣ изгибы женскаго сердца, всю тайну разжигающихъ любовныхъ рѣчей, всепобѣждающаго любовнаго краснорѣчія. Словомъ, блистательно сдалъ я любовно-университетскій экзаменъ и получилъ дипломъ прямо на доктора и спеціалиста любви и всевозможныхъ нѣжныхъ и страстныхъ чувствъ. Но только, увы! Сейчасъ же по выходѣ изъ школы, я положилъ подъ спудъ эту высокую науку любви, зарылъ ее глубоко на днѣ моей души, подъ толстымъ слоемъ застѣнчивости и недовѣрія къ самому себѣ, безъ приложенія къ практикѣ: это былъ огромный, но мертвый, непроизводительный любовный капиталъ, не приносившій никакихъ процентовъ. Въ большей части моихъ сердечныхъ похожденій я говорилъ: игра не стоитъ свѣчъ, и затѣмъ, въ случаѣ надобности, пробавлялся небольшимъ капиталомъ обиходной любви, положеннымъ въ мое сердце на текущій счетъ. И былъ я страшно скупъ на «метаніе бисера». Только два раза черпалъ я изъ главной сокровищницы моего сердца, два раза разсыпалъ я, и не бисеръ, а перлы моей любовной науки: для истинно прекраснаго и благодатнаго ангела (въ Брюсселѣ) и для миніатюрнаго (въ Петербургѣ); и черпалъ съ полнымъ успѣхомъ; и наука моя оказалась вполнѣ раціональною, дѣйствительною, какъ это будетъ видно ниже въ *Зловѣщей кометѣ* и въ *Потерянномъ раѣ*. Что до моей первой женитьбы, до перваго моего ангела-хранителя, то Александрина Болтина одною проницательностью своего ума, такъ сказать, ясновидѣніемъ съумѣла угадать сокровищницу моего сердца, безъ малѣйшаго съ моей стороны усилія и тогда, какъ я старался держать себя на второмъ планѣ въ присутствіи опаснаго соперника (Леонтьева). Да! Саша угадала меня и безъ боя и безъ пораженія отдалась мнѣ добровольно и беззавѣтно.

И все это прошло, миновалось навѣки. Не возобновится ли Тамъ?.. О, еслибы!... Какъ я уже говорилъ, въ августѣ 1830 г. я вышелъ изъ школы, а въ ноябрѣ грянулъ громъ возстанія, и я остался въ плѣну. По окончаніи плѣна ушли мы изъ Варшавы на стоянку въ Ораніенбаумъ, гдѣ я и продолжалъ выполнять мою миссію: вздыхалъ, влюблялся и любилъ.. Въ серединѣ тридцатыхъ годовъ неожиданно встрѣтился я на Литейной съ братомъ панны Катаржины, красивымъ блондиномъ. Онъ былъ тоже гдѣ-то берейторомъ. Отецъ его умеръ, а сестра была гдѣ-то

и за кѣмъ-то замужемъ. Если она полюбила, т. е. осчастливила мужа, то унесла его высоко, на седьмое небо упоительнаго блаженства. А если, напротивъ, не любила или разлюбила, то ужъ не на небо, а въ тартарары низвергнула его.

№ 7.

× Шарлотхенъ.

Итакъ наступило 17 ноября 1830 года. Я — боленъ, лежу въ Уяздовскомъ госпиталѣ Варшавы. Вечеромъ того дня разграбленъ чернью арсеналъ, роздано оружіе варшавскимъ жителямъ и вспыхиваетъ извѣстное возмущеніе. Спустя четыре дня, отрядъ русской гвардіи, съ Цесаревичемъ во главѣ, ретируется въ Россію, а я остаюсь въ плѣну. Въ февралѣ 1831 г. вывозятъ всѣхъ русскихъ плѣнныхъ, въ томъ числѣ и меня, въ Вальбожъ, мѣстечко Калишскаго воеводства. Между тѣмъ пожаръ возстанія охватываетъ всю Польшу. Грянулъ громъ Гроховской битвы, полились рѣки крови, но пожара не залили. Насъ плѣнныхъ помѣстили въ Вальбожѣ во флигеляхъ бывшаго епископскаго замка, обращенныхъ въ кавалерійскія казармы. Я занялъ комнату вдвоемъ съ другимъ плѣннымъ. Замокъ отстоялъ отъ мѣстечка въ полуверстѣ. Обѣдалъ я у одной булочницы-нѣмки, какой-то сморчкообразной и злющей фрау, которая раза по четыре, а иногда и по семи въ недѣлю задавала страшнѣйшія встрепки и потасовки своему благовѣрному, бывшему на 20 лѣтъ моложе жены. Какъ есть мегера. Но за то дочка, фрейленъ Шарлотхенъ, нисколько не походила на мегеру. Это была восьмнадцатилѣтняя голубоглазая блондинка, пухленькая, розовенькая, и такая же сдобненькая, какъ и булочки работы ея матери; словомъ — распрехорошенькая нѣмочка. А въ добавокъ вовсе не застѣнчивая, а весьма развязная и говорливая. Эта Шарлотхенъ сама разносила сдобныя печенья къ утреннему кофе или чаю, а равно и къ вечернему по плѣннымъ офицерамъ и, разумѣется, и ко мнѣ.

Влюбился я впервые дитею, затѣмъ отрокомъ, далѣе юношею подпрапорщикомъ. А теперь, т. е. тогда я былъ цѣлый прапорщикъ. Какже не обновить первый офицерскій чинъ, благо что подвернулась такая распрехорошенькая и превкусненькая нѣмецкая булочка. Вѣдь прелесть, что за нѣмочка. Да то бѣда: по французски-то я маракую, а по нѣмецки-то ни въ зубъ толкнуть не умѣлъ. Такъ какже тутъ ферлакур-

ничать-то? Пробовалъ я нѣсколько разъ поучиться, да больно претитъ мнѣ этотъ готескій жаргонъ съ его скрипящими *шютцейшафтъ*, *шварцкюнстлеринъ*, *шютцбюнднитцъ*. Но любовь не свой братъ; поэтому и взялся я за изученіе языка Шиллера и Гете, трудился, корпѣлъ, потѣлъ и наконецъ одолѣлъ: выучилъ *ихъ либе зи*, да *кюссенъ зи михъ*. Ну и довольно; это — все, что нужно для успѣшнаго ферлакуриначанья. Съ этими двумя фразами можно проѣхать побѣдоноснымъ Донъ Жуаномъ отъ одного конца Германіи до другаго, разумѣется съ помощію побрякиванья въ карманѣ фридрихсъ или наполеондоровъ. Вотъ какъ я одолѣлъ любовную нѣмецкую премудрость, то въ одно прекрасное утро я и брякни à bout portant: *ихъ либе зи*. Нѣмочка не осерчала, а улыбнулась. На другой день тоже; и на третій тоже, съ прибавленіемъ *кюссенъ зи михъ*. Нѣмочка и тутъ не разсердилась, а напротивъ давай меня подчивать изъ своей корзины такими сдобными, какъ и сама, сухариками, булочками и *плюшками*, но не *плюхами*, право слово не *плюхами*. Труденъ только первый шагъ, говоритъ французская пословица. Поэтому за первымъ *кюссенъ зи михъ*, послѣдовалъ другой, третій, и такъ далѣе; и я продолжалъ лакомиться вкусными плюшками, но разумѣется не даромъ: и за плюшки, и за булочки, и за сухарики платилъ я не скупясь. Такимъ образомъ въ продолженіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ услаждалъ я свой плѣнъ въ Вальбожѣ, превкусными сдобными печеньями. А въ іюлѣ разстался и съ хорошенькою Шарлотхенъ, и съ ея вкусными плюшками: насъ увезли далѣе, въ Опатовецъ, бѣдное мѣстечко Краковскаго воеводства на берегу Вислы.

«Отъ высокаго до смѣшнаго одинъ шагъ», сказалъ Наполеонъ I-й, а я перефразирую такъ: «Отъ *плюшекъ* до *плюхъ* одинъ шагъ». Поэтому беру и вписываю сюда изъ современной исторіи, или вѣрнѣе, изъ скандалезной хроники разсказъ объ одномъ контрабадномъ *кюссенъ зи михъ*, да объ однѣхъ поучительныхъ пощечинахъ, плюхахъ тожъ. Дѣйствіе происходило, какъ передавали мнѣ, не въ Великороссіи, а въ Ташкентѣ, или въ Самаркандѣ, или въ Иркутскѣ—не припомню, но не въ мѣстности дѣло, а въ плюхахъ. Положимъ, что въ Ташкентѣ, и станемъ продолжать разсказъ.

Въ залѣ собранія или клуба—bal masqué (маскарадъ). Зала полнехонька. По окончаніи первой кадрили одна молоденькая и прехорошенькая дамочка, жена офицера, прохаживалась по залѣ съ вѣеромъ въ рукахъ. Въ то же время прохаживался одинъ карапузистый господинъ, со стекляшкомъ въ глазу и съ гиперболическими притязаніями на важность и на нѣчто, т. е. съ замашками индѣйскаго пѣтуха. Дамочка-то очень и

очень смазлива, а карапузикъ-то со стеклышкомъ очень и очень ферлакуренъ; и губа у него не дура, но не голова. А глаза-то у него, въ особенности тотъ глазъ, что подъ стеклышкомъ, такъ и разгораются; текутъ и слюнки изо рта. И вотъ, недолго думая, онъ, безстрашный какъ Викторъ Эммануилъ или, какъ Стенька Разинъ или, по меньшей мѣрѣ, какъ индійскій пѣтухъ, возьми да и чмокъ хорошенькую дамочку прямо въ ея пунцовыя губки. На сколько этотъ импровизированный поцѣлуй нравился карапузику, созію Виктора Эммануэля, или Стеньки Разина, или индійскаго пѣтуха, на столько же, и еще болѣе, не понравился онъ дамочкѣ.

— Ахъ! Ахъ! Какой наглецъ, какой мерзавецъ!—и вслѣдъ за этимъ восклицаніемъ бацъ, бацъ, и полновѣсныя плюхи сыплются на ланиты ташкентскаго ферлакурника, а затѣмъ и вѣеръ прогуливается по мосьюкообразной мордочкѣ карапузика, и стеклышко вываливается у него изъ глаза... Но ужь тутъ не до стеклышка! А между тѣмъ вышелъ не то скандалъ, не то картина. Вся ташкентская публика руками развела; кто ухмыляется, кто удивляется, кто умиляется, а кто и брови хмуритъ... Бѣдная мордочка, но еще болѣе бѣдный вѣеръ! весь изломался объ мордочку карапузика уже безъ стеклышка. А, говорятъ, стоилъ 5 р. 55 к., т. е. стоилъ вѣеръ, а не карапузикъ, за котораго гдѣ нибудь, не въ Ташкентѣ, не дадутъ и 5 р. А у мужа-то дамочки капиталы не огромные. Но вѣроятно ташкентскій карапузикъ раскошелится и купитъ, ей новый, хоть подешевле, рубля въ четыре съ полтиною. Вѣдь говорятъ, что онъ претароватый на... угощеньица. Будетъ ли такой и на покупку вѣера, поломаннаго объ его мордочку, не «могимъ» знать? Но самая соль, самый эръ-фиксъ мордопобивательнаго казуса, состоитъ вотъ въ чемъ: когда кто-то, одинъ или нѣсколько изъ его знакомыхъ замѣтили ему:

— Какъ это рѣшились вы поцѣловать чужую жену, и гдѣ-же? на балѣ, въ публичномъ мѣстѣ, при многочисленныхъ свидѣтеляхъ. Это какъ-то не ловко, не тово.

— Помилуйте! Это очень тово. Что тутъ за бѣда? Вѣдь я гожусь ей въ отцы; а развѣ отецъ не имѣетъ права поцѣловать свою дочь гдѣ бы то ни было? — «Plaudite, cives!» (Граждане, рукоплещите!)

Браво, браво! Безстрашный ташкентскій карапузикъ и двойникъ Стеньки Разина, или индійскаго пѣтуха! Какой геніальный отвѣтъ! Просто государственный человѣкъ, мужъ совѣта, но только, за исключеніемъ ташкенцевъ, никѣмъ еще не угаданный и не признанный за генія. А пусть только признаютъ,—и это рано ли, поздно ли, а непре-

нѣнно случится при усердномъ содѣйствіи ташкенцевъ,—то вотъ вамъ и первый министръ для любаго государства и даже для всѣхъ вмѣстѣ. И тогда, по всей вѣроятности, и по иниціативѣ премьера, будетъ изданъ міровой законъ о разрѣшеніи контрабандныхъ поцѣлуевъ, т. е. чмоканья въ губки всѣхъ хорошенькихъ дамочекъ, и на балахъ, и на гуляньяхъ, и даже въ храмахъ. А за такой благодѣтельный для человѣчества законъ, это самое человѣчество воздвигнетъ карапузенькому премьеру всѣхъ государствъ монументъ, который превзойдетъ высотою самую высокую изъ египетскихъ пирамидъ. Оно такъ и слѣдуетъ относительно премьеровъ-карапузиковъ: недочетъ, т. е. минусъ въ ростѣ и умѣ восполнять плюсомъ высоты монумента. Нарисовавъ картину контрабаднаго поцѣлуя на окраинѣ Россіи, начерчу другую—такого же, но предполагаемаго въ нашей сѣверной Пальмирѣ. Представьте себѣ, читатель, вотъ что:

Вашъ покорнѣйшій слуга въ Петербургѣ, идетъ примѣрно отъ угла Невскаго и Знаменской къ Полицейскому мосту. Вдругъ, противъ Надеждинской, встрѣчаетъ онъ хорошенькую дамочку, не хуже ташкентской. Сердце у него, какъ это вамъ извѣстно, не камень, а самое что на есть нѣжное. Вотъ онъ, по примѣру ташкентскаго карапузика (примѣры, особенно карапузиковъ, весьма заразительны), возьми да и чмокни дамочку въ губы.

— Ахъ! Ахъ!.. Мерзавецъ, подлецъ!—Это дамочка-то говоритъ... на мой счетъ, вѣроятно, а не на вашъ, читатель.

— Ничего сударыня, не безпокойтесь: вѣдь это не ради чего инаго, а ради того, что я гожусь вамъ въ отцы... Что я! въ дѣдушки;—я гораздо старѣе ташкентскаго ферлакурника... Потомъ, какъ ни въ чемъ не бывало, вашъ покорнѣйшій слуга продолжаетъ свое шествіе далѣе, и, такимъ ташкентскимъ образомъ, отъ дамочки къ дамочкѣ, онъ вдоволь начмокается, перецѣлуетъ много хорошенькихъ (а можетъ быть и немного, если день не посчастливится на хорошенькихъ, что въ Петербургѣ сплошь да рядомъ); итакъ много перецѣлуетъ, пока дойдетъ до Полицейскаго моста. Но только врядъ ли, потому что прежде, нежели удалось бы ему дойти не только до Полицейскаго, а даже до Аничковскаго, за первое же чмоканье проходящіе галантомы вступились бы за честь не только хорошенькой, но даже за всякую даму, и поподчивали бы и кулаками, и тростями подражателя ташкентскому ферлакурнику; а подоспѣвшій городовой сцапалъ бы его за шиворотъ и свелъ бы въ участокъ; а изъ участка отправили бы его въ камеру мироваго, а изъ камеры—въ кутузку,—размышлять о непрочности человѣческаго величія безъ стеклышка—вашъ покорнѣйшій слуга никогда стеклышка не носитъ:

это особенный знакъ отличія, учрежденный для раздачи пустоголовымъ фатишкамъ, — размышлять еще и о рискованности контрабандныхъ поцѣлуевъ.

Въ настоящую минуту, какъ извѣщали меня изъ Ташкента, учредилась гдѣ-то одна весьма ученая и весьма почтенная комиссія, какая бишь, что-то очень мудрено: историко-философико-филологико-юмористико-юридико-сатирико-комическая, кажется такъ; комиссія для рѣшенія важнѣйшаго мірового вопроса: стеклышко ли создано для пустоголовыхъ фатишекъ или фатишки созданы для стеклышекъ? Весь цивилизованный міръ съ лихорадочнымъ нетерпѣніемъ ожидаетъ рѣшенія вопроса, столь важнаго въ судьбахъ человѣчества. И объ этомъ нетерпѣніи пишутъ тоже изъ Ташкента. Нельзя не вѣрить. Не правда ли: какія бываютъ назидательныя чмоканья и поучительныя оплеухи, въ особенности въ Ташкентѣ, гдѣ онѣ нисколько не препятствуютъ карапузенькимъ ферлакурникамъ, съ побитой мордочкой, садиться на кресло, набитое не только мочалою, но и хорошими, стальными пружинами — важности... предсѣдательской. Вотъ что значитъ стеклышко въ глазу съ угощеньицами! И вотъ еще, что значатъ ультра-цивилизованные, ультра-передовые, ультра-прогресивные и прогресивно угощаемые ташкентцы! Прелесть!

N.B. Оговорюсь: ташкентцы ли, самаркандцы или иркутцы, право не припомню: но одни изъ трехъ. Еще: въ Ташкентъ, а не въ мой огородъ бросить бы вамъ камешекъ-то, г. тульскій мировой судья, не имѣю чести знать васъ. Да, не мнѣ, а ташкентскому пузатенькому ферлакурнику слѣдовало бы вамъ адресовать слово *скандалистъ*. Это было бы и справедливо, и назидательно для самихъ господъ ташкентцевъ, которые, быть можетъ, и поняли бы, наконецъ, что если скандалистамъ иногда и везетъ въ извѣстной средѣ, то это потому, что въ этой средѣ преобладаютъ люди *непорядочные*. Въ порядочномъ же обществѣ никогда ни одинъ скандалистъ, *хотя бы онъ былъ и честный человѣкъ*, и со стеклышкомъ въ глазу, но болтунъ, хвастунъ, фатъ, заносчивый, самонадѣянный, хорохорливый, и вмѣстѣ съ тѣмъ трусливый,—никогда и нигдѣ между порядочными людьми такой субъектъ дѣльнымъ и порядочнымъ человѣкомъ не прослыветъ, и ужъ никакъ не будетъ выбранъ въ важную должность единственно за то, что рубитъ съ плеча, хорохорится, скандальничаетъ и... *угощаетъ*. Это самое главное. О, ташкентцы или самаркандцы, все равно, но не равны ваши чревоугодливыя наклонности и не брезгливая неразборчивость на людей *съ угощеньицами!*

№ 8.

× Іогася.

Et rose, elle a vécu ce que vivent les roses:
L'espace d'un matin.

Такъ написалъ когда-то французскій поэтъ Малербъ. А я, описывая эпизодъ № 8, перефразирую эти стихи такъ:

Et rêve, il a duré ce que durent les rêves:
L'espace de deux nuits.

Въ предъидущей главѣ я говорилъ, что въ іюлѣ 1831 года, русскихъ плѣнныхъ увезли изъ Вольбожа въ Опатовецъ. Проѣзжали мы тогда черезъ разные города Царства Польскаго, а въ томъ числѣ и черезъ Кельцы, гдѣ имѣли дневку. Квартира мнѣ съ товарищемъ была отведена въ одноэтажномъ каменномъ домѣ. Тутъ же, прямо противъ двери моей квартиры, находилась и кофейня, въ которой прислуживала *кавіярка* *), панна Іоганна или Іогася. Это была 18-ти-лѣтняя брюнетка, высокая, стройная и поразительной красоты дѣвушка. Владѣя превосходно польскимъ языкомъ, я позволилъ себѣ вступить съ нею въ разговоръ, который умѣла она поддержать необыкновенно живо, умно и увлекательно. Впрочемъ, это одно изъ отличительныхъ качествъ полекъ; и не только высшаго и средняго, но даже и низшихъ классовъ. Не обладая блестящимъ образованіемъ или воспитаніемъ, онѣ имѣютъ врожденный даръ вести всегда веселый, живой и занимательный, хотя и легкій разговоръ, безъ малѣйшаго жеманства или педанства. Достаточно разъ побывать въ польскомъ домѣ, чтобы дама или дѣвица, при первой же затѣмъ встрѣчѣ, заговорила съ вами безъ всякаго принужденія и застѣнчивости, словно съ давнишнимъ знакомымъ.

Послѣ нѣсколькихъ часовъ самой оживленной и сердечной бесѣды съ панной Іогасей, въ продолженіи двухдневнаго роздыха, мы разстались какъ добрые знакомые, обмѣнялись сочувственными, почти влажными взглядами, и, крѣпко пожавъ другъ другу руку, съ чувствомъ взаимныхъ

---

*) Въ Варшавѣ и во всѣхъ городахъ Польши, въ кофейныхъ домахъ и бо̀льшей части трактировъ, прислуживали не мущины, половые или гарсоны, а дѣвушки, называемыя *кавіярками*, большею частію молодыя и красивыя собою.

тайныхъ надеждъ и желаній, сказали *до зобаченья* (до свиданія), хотя шансы и непредвидѣнныя перепитіи ожесточенной, отчаянной народной войны дѣлали это *до зобаченья* болѣе нежели загадочнымъ. Но «гора съ горою не сходится, а человѣкъ съ человѣкомъ столкнется», говоритъ пословица. И на этотъ разъ мудрость ея оправдалась вполнѣ. Изъ Кельцъ привезли насъ сперва въ Лубяны, въ пяти миляхъ отъ перваго и помѣстили въ замкѣ графа Потоцкаго. Тутъ пробыли мы недолго: въ концѣ іюля переѣхали на новое и послѣднее мѣсто нашего заключенія. По взятіи Варшавы въ половинѣ сентября насъ освободили, и я, вмѣстѣ съ Ленцомъ, прапорщикомъ гвардейской артиллеріи, оставили Опатовецъ и заѣхали въ Буско, извѣстныя въ Польшѣ минеральныя воды. Тамъ жили и лечились мы въ домѣ владѣльцевъ тѣхъ водъ, у прекраснаго польскаго семейства Ржевусскихъ, изъ которыхъ одинъ служилъ тоже въ артиллеріи вмѣстѣ съ Ленцомъ. Насъ носили на рукахъ и ухаживали за нами съ необыкновеннымъ гостепріимствомъ и заботливостію въ домѣ Ржевусскихъ, которымъ служили мы залогомъ, спасавшимъ ихъ отъ русскихъ мародеровъ. Проживъ недѣли три въ Буско, гдѣ катались какъ сыръ въ маслѣ, мы выѣхали въ Варшаву черезъ Кельцы, куда прибыли поздно ночью. Долго разъѣзжали мы по улицамъ, искали и не находили квартиры: всѣ дома были заняты военнымъ постоемъ. Приходилось ночевать хоть на мостовой. Наконецъ, проѣзжая по одной улицѣ, я вижу надъ дверями одноэтажнаго каменнаго дома вывѣску кофейни. Въ одно мгновеніе припомнилъ я и эту вывѣску, и этотъ домъ и, въ особенности, очаровательную «панну Іогасю», и сказанное когда-то *до зобаченья*. Я велѣлъ остановиться и, вмѣстѣ съ Ленцомъ, вошелъ въ кофейный домъ, гдѣ виднѣлся еще огонь.

Кофейная состояла изъ двухъ пріемныхъ комнатъ и двухъ заднихъ, занимаемыхъ хозяевами. Въ первой комнатѣ сидѣла на диванѣ панна Іогася, а возлѣ нее, на стулѣ, торчалъ какой-то пожилой драбантъ старыхъ временъ, покушавшійся, повидимому, на какія-то любезности. Но, вмѣсто любезностей, выходило у него только нѣсколько страшно искаверканныхъ польскихъ словъ, тогда какъ на лицѣ Іогаси изображалась смертельная скука, навѣянная на нее запоздалымъ и далеко не интереснымъ любезникомъ.

— Якъ се машъ (здравствуй), Іогася! — сказалъ я, протянувъ руку прелестной полькѣ. — Узнаешь ли меня?

— Помню, помню: назадъ тому мѣсяца три вы проѣзжали черезъ Кельцы и стояли напротивъ насъ, — весело, съ трудно-скрываемою радостью, отвѣчала очаровательная полька.

— Вотъ мы и свидѣлись. Какое счастье!.. А не могу ли я и теперь имѣть ту же самую комнату?

— Невозможно, она занята.

— Куда же намъ дѣться? Мы нигдѣ не нашли квартиры, а теперь уже за полночь. Нельзя ли намъ остановиться здѣсь, у васъ?

— Въ кофейномъ домѣ?.. Да какже это сдѣлать? Я противъ этого ни слова; но хозяева?

— Очень просто: здѣсь двѣ пріемныя комнаты. Мы остановимся во второй и никого не стѣснимъ. Багажъ у насъ не великъ, пробудемъ мы здѣсь не долго, и вы можете, по прежнему, принимать посѣтителей. Для насъ главное — провести ночь и много двѣ.

— Позвольте, я скажу хозяевамъ: можетъ быть они и согласятся,— проговорила Іогася съ видимымъ къ намъ участіемъ, и ушла поспѣшно въ заднія комнаты.

Въ продолженіе этого бѣглаго разговора на чистѣйшемъ польскомъ языкѣ, старый любезникъ молчалъ, пасмурно поглядывая изъ подлобья, и наконецъ догадался, что онъ тутъ совершенно лишній, а потому за-благоразсудилъ отретироваться. Іогася между тѣмъ возвратилась довольная и веселая; она принесла намъ согласіе хозяина, который отдавалъ въ наше распоряженіе комнату за два злотыхъ (30 коп.) въ сутки, т. е. за обыкновенную цѣну. Это не по нашему. У насъ, ради такого удобнаго случая, содрали бы вдесятеро противъ обыкновенной цѣны. При сей вѣрной оказіи я долженъ отдать полную справедливость полякамъ въ слѣдующемъ отношеніи.

Оставя въ сторонѣ оцѣнку ихъ политическаго характера, какъ народа, я скажу только, что въ дѣлахъ коммерческихъ я не знаю людей болѣе добросовѣстныхъ, честныхъ и аккуратныхъ. Надуть, поддѣть, заломить цѣну, запросить вдесятеро, прижать, содрать,—все это поступки и слова, неизвѣстные въ Польшѣ и между польскими купцами, но не между евреями, которые, пожалуй, могутъ потягаться съ нашими православными въ знаніи надувательной торговли, но все-таки подъ конецъ и они должны уступить русской гильдейской бородѣ пальму первенства въ честномъ плутовствѣ. Замѣчу еще: полякъ ни на шагъ безъ «дьябла»—и все-таки остается честнымъ въ торговыхъ сдѣлкахъ. А нашъ русачекъ все крестится да призываетъ всѣхъ святыхъ угодниковъ — и все мошенничаетъ; и чѣмъ безчестнѣе хочетъ надуть кого, тѣмъ бо́льшее число угодниковъ призываетъ въ свидѣтели своей честности.

Итакъ, мы остановились въ кофейномъ домѣ и размежевались такъ: хозяева, какъ я уже сказалъ, въ заднихъ комнатахъ, Іогася въ первой,

пріемной, а я съ Ленцомъ во второй, на диванахъ... И какая необъятная разница была между ночью, которую провелъ я въ Кельцахъ мѣсяца три тому назадъ, когда я дышалъ удушливымъ воздухомъ неволи и смѣлъ только мечтать....., и тою ночью, когда я чувствовалъ себя уже не военноплѣннымъ, почти безправнымъ существомъ, а полноправнымъ гражданиномъ; когда не въ мечтаніяхъ, а въ дѣйствительности упивался я неизрѣченнымъ блаженствомъ въ объятіяхъ чарующей..... свободы и надежды на скорое возвращеніе въ кругъ друзей и любимыхъ товарищей.

На другой день мы встали въ обыкновенное время, въ восемь часовъ и напились превосходнаго кофе, какого, кромѣ Польши, я нигдѣ не пивалъ. Потомъ отправились мы въ корпусный штабъ. Тамъ выдали намъ прогоны до Варшавы и еще по 75 р. ассигнаціями вспомоществованія, въ счетъ жалованья. Когда возвратились мы на свою квартиру, то нашли тамъ трехъ посѣтителей: дежурнаго штабъ-офицера, капитана генеральнаго штаба и молодаго конно-артиллериста; это были les habitués кофейни *à la belle Johanna*. Они превѣжливо раскланялись съ нами, какъ съ настоящими хозяевами дома, и дежурный штабъ-офицеръ сказалъ намъ:

— Извините, господа, что мы расположились въ вашей квартирѣ: входя сюда, мы не знали, что вы остановились здѣсь.

Мы просили не церемониться съ нами. Между военными и въ военное время знакомство завязывается скоро. Послѣ часа живой и разнообразной бесѣды, мы были уже въ наилучшихъ отношеніяхъ съ нашими гостями. Въ продолженіи этого перваго часа разговоръ шелъ о военныхъ дѣйствіяхъ; но онъ не мѣшалъ нашимъ собесѣдникамъ обращаться безпрестанно съ разными просьбами и любезностями къ очаровательной брюнеткѣ, которая была хозяйкою, маякомъ, приковывавшемъ къ себѣ ихъ вниманіе и взгляды, самые нѣжные, сладкіе, умоляющіе. Наконецъ одинъ изъ нихъ, по пословицѣ « что у кого болитъ, тотъ о томъ и говоритъ », обратился къ намъ со словами :

— Что это за восхитительная дѣвушка!

— Какъ вы счастливы, что стоите подъ одною кровлею съ такою красавицею, — сказалъ другой.

— Богъ знаетъ, чего бы я не далъ, чтобы помѣняться съ вами квартирою, — прибавилъ третій.

— А намъ это счастіе досталось за два злотыхъ, да за отличное знаніе польскаго языка, — отвѣтилъ я на всѣ ихъ восторженныя восклицанія.

— Какъ видно она сильно нравится всѣмъ вамъ, господа! — прибавилъ Вольдемаръ Ленцъ, который, скажу я отъ себя, былъ необыкновенно

хорошъ собой: и лицомъ, и ростомъ[1], и всѣмъ складомъ тѣла и ума, и необычайной даровитостью и ловкостью во всемъ, словомъ былъ писаный красавецъ-брюнетъ и, съ тѣмъ вмѣстѣ, благороднѣйшій, возвышенный характеръ и талантливѣйшій рисовальщикъ - карикатуристъ, за что онъ и поплатился въ послѣдствіи. Если только есть кто въ живыхъ изъ его товарищей по 5-й гвард. батарейной ротѣ, тотъ навѣрно подтвердитъ, что я не преувеличиваю. Это былъ одинъ изъ лучшихъ моихъ задушевныхъ друзей; онъ былъ женатъ на Бедрялѣ и умеръ холерою въ Москвѣ, въ 1854 году, оставя молодую жену и прелестную дочь-ребенка, — обѣ были Маши. Въ концѣ нашего плѣна у него былъ страшный поединокъ съ однимъ армейскимъ поручикомъ, Осмоловскимъ, котораго онъ смертельно ранилъ. Не имѣть, избѣжать этого поединка не было ни малѣйшей возможности; но убить противника, хотя онъ это и заслуживалъ, Ленцъ не думалъ, но такъ захотѣлъ Рокъ... Въ одной изъ будущихъ книгъ я опишу этотъ грозный поединокъ. Да! когда оглянусь я назадъ, на прожитое: это—кладбище, усѣянное рядомъ могилъ дорогихъ друзей и... дорогихъ вѣрованій. Оглянусь, вспоминаю и... глаза мои увлажняются. Гдѣ всѣ вы, дорогіе моему сердцу? Зачѣмъ такъ рано поспѣшили вы туда? Зачѣмъ покинули меня въ безотрадной пустынѣ здѣшней жизни, довершать въ одиночествѣ мой тяжелый, нерадостный путь?... Встрѣтьте же меня тамъ, за заставою жизни, т. е. за дверями душной тюрьмы, молю васъ!... Вѣроятно отъѣздъ мой туда, т. е. освобожденіе изъ тюрьмы не заставитъ себя долго ждать. Но отворится ли тюремная дверь сама, или только *со взломомъ*?... That is the question...

— Нравится не только намъ, но всему штабу. Да что: всѣ русскіе, стоящіе въ Кельцахъ, отъ нее безъ ума.

— И она никого не осчастливила, — спросилъ я?

— Куда!... Она всѣхъ приводитъ въ отчаяніе своею жестокостью. Полковникъ Д* разсыпалъ передъ нею пригоршни червонцевъ и умолялъ полюбить его, ѣхать съ нимъ въ Россію. Съ презрѣніемъ оттолкнула отъ себя золотую кучу, да еще расхохоталась подъ носъ озадаченному полковнику. И поцѣловать себя не позволила. На силу упросилъ ее принять отъ него на память прелестный перстень, что видите у нее на правой рукѣ. А одинъ полковой квартермистръ предлагалъ ей и руку и сердце, всего себя, и сейчасъ готовъ былъ обвѣнчаться съ нею и потомъ ѣхать въ Россію. Сначала она было и согласилась, да потомъ вдругъ раздумала. « Не хочу, боюсь ѣхать въ вашу медвѣжью сторону », сказала она и на отрѣзъ отказала претенденту. Бѣдный! Теперь

онъ съ ума сходитъ и чахнетъ отъ безнадежной страсти. Да и сколькихъ она привела въ отчаяніе!

Я улыбнулся, слушая эти разсказы *о непреклонной добродѣтели панны Іоганны*... Впрочемъ, въ Польшѣ, не разъ случалось мнѣ видѣть, что богатство и почетъ не всегда бываютъ вѣрными средствами успѣха у безвѣстныхъ красавицъ простаго класса. Прихоть сердца, умѣнье понравиться, возбудить участіе, или, наконецъ, удобный случай помогаютъ гораздо болѣе и ведутъ иногда къ полному успѣху на поприщѣ волокитства или, какъ выражаются Поляки, « романсованія ». Хотя мы окончили всѣ наши дѣла въ одинъ день и могли выѣхать изъ Кельцъ, но я уговорилъ Ленца пробыть тамъ два дня и двѣ ночи, показавшіяся мнѣ мигомъ, тогда какъ хотѣлось бы мнѣ превратить ихъ въ вѣчность. Но суровы, неумолимы бываютъ часто условія практической жизни, долга и особенно военной службы. Девять десятыхъ нашей жизни проходятъ въ насилованіи сердца, въ плаваніи противъ вѣтра или противъ теченія, т. е. большею частію приходится жить противъ чувствъ и желаній самыхъ пламенныхъ. Далеко, далеко не всѣмъ пловцамъ — дуетъ попутный вѣтеръ, а хорошо лавировать умѣетъ не всякій. Итакъ два дня и двѣ ночи провели мы въ Кельцахъ и затѣмъ, волею—неволею, а пришлось разстаться навсегда съ этимъ хорошенькимъ, опрятнымъ и *безъевреинымъ* городкомъ (по особенному закону воспрещалось тогда пребываніе въ немъ семитской расѣ); разстался я и съ упоительно-очаровательною Іогасей. Грустно было это разставанье. Прощаясь, крѣпко пожали мы другъ другу руку и не могли удержать двухъ крупныхъ слезъ, сверкнувшихъ въ нашихъ затуманившихся глазахъ, когда обмѣнивались мы влажными взглядами, но уже не словами « *до забаченья* », которыя сданы были навсегда въ архивъ воспоминаній.

Цѣлое полустолѣтіе прошло съ тѣхъ поръ. А какъ живо, свѣжо во мнѣ воспоминаніе о моемъ кратковременномъ пребываніи въ Кельцахъ! Сколько думъ навѣваетъ оно на мое уставшее, отжившее сердце! И какъ скоро прошла молодость! Куда и зачѣмъ она скрылась?... И что такое эта неуловимая молодость? Безпрерывное проматываніе души и сердца, сопровождаемое неблагодарностью. Живо, страстно, огненно, чувствуешь въ молодые годы минуты счастія, наслажденія, которыя такъ легко попадаются по дорогѣ молодой и беззаботной жизни; но за то и не цѣнишь ихъ по достоинству, не благодаришь за нихъ, какъ слѣдуетъ, судьбу, случай и то существо, которое подаритъ насъ блаженствомъ, озаритъ, хоть не надолго, свѣтомъ радостей... Пройдетъ

потомъ молодость. Вереница годовъ посеребритъ голову, покроетъ лобъ морщинами; тлетворный опытъ помрачитъ, отравитъ наши думы, убьетъ всѣ надежды. И мы съ горькимъ сожалѣніемъ воспоминаемъ минуты давнопрошедшаго счастія, которое такъ мало цѣнили и такъ скоро утратили. О, съ какимъ восторгомъ встрѣтили бы мы теперь хоть частицу того блаженства, полноту котораго не умѣли или не хотѣли мы оцѣнить въ былое время. Но судьба убѣгающей отъ насъ жизни скупа на радости и наслажденія. Кой-когда бросаетъ она намъ крохи, объѣдки съ того роскошнаго пира жизни, на которомъ такъ гостепріимно и такъ щедро угощаетъ она молодость и красоту. Но и за эти крохи мы благодаримъ уже судьбу; и эту скудную подачку цѣнимъ мы гораздо болѣе нежели когда-то цѣнили полныя блюда роскошнаго пира своей молодости.

№ 9.

† Текля Оленская.

Когда «взялся за гужъ, не говори, что не дюжъ», говоритъ русская пословица. Точно тоже и я сказалъ себѣ, когда приступилъ къ разсказу о № 7 и 8 моихъ любовей и любовишекъ, а равно и о нѣкоторыхъ другихъ, разсказъ о которыхъ будетъ далѣе въ этой главѣ. Коли началъ, то слѣдуетъ и продолжать и кончить мою *Предсмертную Исповѣдь* съ тою же откровенностію, съ какою говорилъ до сихъ поръ, но все-таки не съ такою циничностію, съ какою Ж. Ж. Руссо разсказывалъ нѣкоторыя скабрезности въ своей *Исповѣди*, наприм.: про сцену между нимъ и хорошенькими прачками на дворѣ одного дома въ Туринѣ; или о томъ, какъ г-жа Варенсъ посвящала его въ тайны любви... Кто прочелъ *Исповѣдь* Руссо, тотъ помнитъ, какъ беззастѣнчиво, и не между строками, а въ строкахъ описывалъ онъ свои чувства и ощущенія въ объятіяхъ отставной фаворитки сардинскаго короля. Такой безцеремонности я себѣ не дозволялъ. А если что и разсказывалъ про какую нибудь неважную скабрезность, то непремѣнно между строками или подъ покрываломъ иносказанія или намека, чтобы не оскорбить фарисейскую скромность нѣкоторыхъ пуристовъ или мужскихъ и бородатыхъ диститутокъ.

По взятіи Варшавы, Литовскій полкъ оставилъ эту стоянку въ концѣ октября и направился по дорогѣ въ Литву. Я былъ съ полкомъ, который, въ началѣ декабря, пришелъ въ Шавли и всталъ тутъ на зимнія квартиры. А я съ ротою, въ половинѣ декабря, поселился въ «Грузди»

мѣніи гр. Зубова. Насъ, офицеровъ, было тогда только трое: капитанъ Форсманъ и прапорщики Плавскій и я. Сейчасъ же познакомились мы съ нѣсколькими домами литовскихъ помѣщиковъ. Превосходное знаніе польскаго языка и всѣхъ польскихъ обычаевъ, привычекъ и манеръ сдѣлало насъ желанными гостями во всѣхъ домахъ. За нами ухаживали, задавали намъ обѣды и вечера, угощали и увеселяли насъ съ необыкновеннымъ гостепріимствомъ и радушіемъ. На одномъ изъ такихъ вечеровъ, а именно въ самый новый 1832 годъ, встрѣтился я съ Теклею Оленскою, и тутъ же коротко познакомился съ ея отцомъ, милѣйшимъ человѣкомъ. Это было прекрасное, зажиточное и всѣми уважаемое литовское семейство, состоящее изъ отца и нѣсколькихъ дочерей. Текля была предпослѣдняя. Съ первой же съ нею встрѣчи я страстно влюбился въ нее. Это была 18-тилѣтняя хорошенькая шатинка, средняго роста, стройная, умная, веселая, ловкая, бойкая, донельзя любезная и увлекательная, какою умѣютъ быть однѣ только польки. Послѣ первыхъ встрѣчъ съ этимъ семействомъ, мы были приглашены въ домъ старика Оленскаго. Имѣніе его (Гильвиче) находилось отъ Грузди верстахъ въ тридцати. Цѣлую недѣлю прогостили мы у него, среди безпрерывнаго, веселаго, шуинаго, опьяняющаго празднества и ликованія, среди настоящаго разливаннаго моря. О, что это была за недѣля! Я былъ окончательно и всецѣло ослѣпленъ, опоенъ, порабощенъ... Пробѣжалъ я теперь страницы тогдашняго моего дневника. Боже! что это за стремительный потокъ изліяній, бурныхъ, восторженныхъ, клокочущихъ чувствъ, пожаръ воображенія! Это былъ настоящій культъ, поклоненіе неофита своему новому божеству. Надо сказать, что за мѣсяцъ передъ тѣмъ я подалъ прошеніе въ домовой отпускъ. Девять лѣтъ, какъ я уѣхалъ изъ родительскаго дома 13-тилѣтнимъ отрокомъ, а теперь былъ уже взрослымъ гвардейскимъ офицеромъ. Съ восторгомъ помышлялъ я о пріѣздѣ къ роднымъ, съ которыми не видался девять лѣтъ и не переписывался въ продолженіи десяти мѣсяцевъ моего плѣна, такъ что меня считали дома погибшимъ во время возстанія. Но вотъ является Текля, и я забываю и объ отпускѣ, и о родномъ очагѣ. Это было первое сильное чувство со дня производства моего въ офицеры, чувство возмужалаго и полноправнаго человѣка. И Богъ знаетъ куда, къ чему увлекло бы оно меня, если бы не отпускъ и не Мих. Ив. Жеребцовъ, мой батальонный командиръ, совоспитанникъ и другъ моего дяди, любившій меня какъ сына. Онъ взялся образумить, отрезвить меня и если не совсѣмъ потушить, то хоть уменьшить донельзя охватившій меня пожаръ воображенія и чувствъ:

— Одумайся, войди въ себя, говорилъ мнѣ этотъ превосходный человѣкъ. — Во 1-хъ, тебѣ надо ѣхать домой, гдѣ ты не былъ въ продолженіи девяти лѣтъ; увидѣть и обрадовать старика-отца и всѣхъ твоихъ родныхъ, которые убивались по тебѣ въ продолженіи десяти мѣсяцевъ, считая тебя погибшимъ. Во 2-хъ, въ кого ты влюбленъ?... въ Θеклу.

— Нѣтъ, Текля, а не Θекла! Это только русскій календарь коверкаетъ такъ безбожно женскія имена. Текля, Текля!

— Ну, положимъ, что Текля. Что жъ изъ этого? Куда заведетъ тебя, чѣмъ можетъ окончиться твоя скороспѣлая любовь? Давно ли ты познакомился съ панной Теклею? Только десять дней тому назадъ. И черезъ десять дней знакомства ты думаешь рѣшить свою судьбу? Положимъ, что панна Текля хорошенькая, умная, любезная и пр. и пр. А ея характеръ, ея правила, образъ мыслей? Можетъ ли она, католичка, быть хорошею женою тебѣ, православному? Узнать это невозможно нетолько въ десять, но и во сто дней... А лучше укладывай-ко твой чемоданъ, да бери подорожную и съ Богомъ въ добрый путь. И я предсказываю тебѣ, что на девятой, и много на десятой станціи отъ Шавель ты растрясешь и разсоришь по дорогѣ всю свою десятидневную любовь.

Этотъ умный монологъ подѣйствовалъ на меня. Махнулъ я рукою и изнасиловалъ свое сердце. Правда, въ прощальное посѣщеніе Гельвичи я навзрыдъ зарыдалъ, прощаясь съ панной Теклей и облилъ горячими слезами ея маленькія ручки. Форсманъ и Плавскій увлекли меня, усадили въ сани и привезли въ Шавли, гдѣ я поспѣшилъ взять подорожную и въ половинѣ января выѣхалъ по дорогѣ въ Вильно. Пророчество Жеребцова *переисполнилось*: не на десятой, а на пятой станціи растерялъ я свою скороспѣлую любовь, и думалъ уже съ восторгомъ о пріѣздѣ моемъ въ родной очагъ, послѣ девятилѣтняго отсутствія. Пріѣздъ этотъ будетъ описанъ въ одной изъ будущихъ книгъ *Воспоминаній*.

№№ 10, 11 и 12.

* Крыжановская, * Ида Кнорринъ и † Аннета Гесслингъ.

Въ апрѣлѣ 1832 года возвратился я изъ отпуска и на разводѣ, передъ Зимнимъ дворцомъ, представлялся Императору, который спросилъ меня: — Откуда пріѣхалъ? — Изъ Костромской губ., Ваше Вел., отвѣчалъ я. — Государь былъ видимо доволенъ моимъ отвѣтомъ, т. е. тѣмъ,

что я — костромичъ, а не изъ западныхъ губерній, которыя не пользовались тогда Высочайшимъ благорасположеніемъ, а напротивъ. Тутъ же узналъ я о моемъ производствѣ въ подпоручики и о сформированіи 3-го батальона: полкъ состоялъ прежде изъ двухъ батальоновъ. Изъ Петербурга отправился я въ Ораніенбаумъ, гдѣ была полковая квартира. Изъ 2-й гренадерской, я былъ переведенъ въ роту Его Высочества и получилъ квартиру во дворцѣ Михаила Павловича, вмѣстѣ съ поручикомъ Павл. Антон. Крыжановскимъ, задушевнымъ моимъ другомъ. Вотъ тогда-то я и принялся продолжать данную мнѣ свыше миссію—влюбляться и любить. На первый разъ, за неимѣніемъ лучшаго, болѣе подходящаго, я дебютировалъ любовію заочною, искусственною. Влюбился я въ ту, которую никогда не видалъ. Но raisons d'être такой любви были не менѣе важны какъ и нѣкоторыя raisons d'État. Во 1-хъ, разсказы моего друга о красотѣ, умѣ и любезности его кузины; во 2-хъ, письмо этой прелестной невидимки-кузины къ кузену, гдѣ она сообщаетъ ему о помолвкѣ его сестры съ нѣкоимъ Карамзинымъ, котораго восхваляетъ умъ, характеръ, и пр. пр., прибавляя: «онъ только собою не казистъ; но вѣдь *красота у мущинъ послѣдняя вещь*». Я уже говорилъ объ этомъ въ 3-й книгѣ, а теперь прибавлю 3-ю raison d'être: я былъ уже подпоручикъ, такъ какже не влюбиться, не обновить вторую ступень военной іерархіи. Вѣдь влюблялся же я 6-ти-лѣтнимъ ребенкомъ; потомъ 10-ти и 13-ти-лѣтнимъ отрокомъ, 16-ти-лѣтнимъ юношей, на конецъ, — прапорщикомъ въ Литвѣ. Такъ какже не влюбиться въ Россіи, когда я былъ уже 22-хъ-лѣтнимъ подпоручикомъ? А приказаніе начальства—безъ любви ни на шагъ, приказаніе—влюбляться и любить, и чѣмъ чаще, тѣмъ лучше... Но, велѣніемъ бога любви, моя заочная любовь № 10, вскорѣ послѣ ея на меня нашествія, совпала съ любовію № 11, на подобіе любовей № 5 и № 6. И снова очутился я между двумя, впрочемъ не любовями, а любовишками. Вотъ исторія № 11-го.

Въ двухстахъ саженяхъ отъ моей дворцовой квартиры находился сухопутный госпиталь, довольно большой. На одномъ концѣ его квартировалъ гл. докторъ госпиталя, худощавый и добродушный старикъ Аллертъ; а на другой сторонѣ — смотритель госпиталя, тучный и среднихъ лѣтъ остзеецъ В — ль. У перваго была хорошенькая племянница, высокая, стройная, бѣлокурая и голубоокая mademoiselle Ида Кнорринъ, хорошая піанистка; у втораго — 28-ми-лѣтняя и очень интересная, пикантная жена, лифляндка, пикантная и днемъ, и вечеромъ. А у жены была старшая ея сестра, m-le, или вѣрнѣе, дѣва Аврора, тоже пикантная, но только вечеромъ, благодаря притираніямъ и ламповому освѣщенію, а

днемъ, при солнечномъ свѣтѣ—увы и ахъ! Впрочемъ, надо быть справедливымъ, пресентиментальнѣйшая была нѣмочка. Но дневныя «увы и ахъ» не мѣшали ей алкать узъ Гименея. И вдругъ, какіе брачные шансы! Цѣлый трехбаталіонный гвардейскій полкъ, со множествомъ молодыхъ и пожилыхъ офицеровъ вступаетъ въ Ораніенбаумъ. Какъ же не попытаться бросить неводъ или хоть удочку: авось выудится мужъ. Вотъ и составился семейный совѣтъ у смотрителя госпиталя; а на этомъ совѣтѣ составили слѣдующій планъ: «объявить о танцовальныхъ вечерахъ въ своихъ госпитальныхъ апартаментахъ на всю осень и зиму». Назначены были понедѣльники, въ которые литовская молодежь собиралась между 8 и 9-ю часами вечера, танцовали до истомы подъ фортепьяно. Танцы оканчивались далеко за полночь и заключались приличнымъ ужиномъ съ порядочными винами и отличными домашними наливками. Вечера эти были для насъ, литовцевъ, сущая находка, лафа. Но мы сейчасъ смекнули, въ чемъ дѣло: «въ надеждѣ дѣвы Авроры на гименей». Не будетъ такой надежды, не будетъ и вечеровъ съ приличнымъ угощеніемъ. Вотъ и положили мы по очереди любезничать съ сентиментальной лифляндкою. Это было настоящее дежурство по галантерейному ухаживанію за m-lle Авророй. Дежурство было мѣсячное: одинъ мѣсяцъ ухаживалъ за ней одинъ, хоть поручикъ; на слѣдующій мѣсяцъ другой, подпоручикъ, и такъ далѣе. Что до меня, то я въ этихъ дежурствахъ не участвовалъ, потому что не умѣлъ и не терпѣлъ притворяться и разыгрывать какую бы то ни было комедію, и еще потому, что я самъ тогда обрѣтался между двумя любовишками, о чемъ сейчасъ буду имѣть честь вамъ докладывать.

Итакъ, совсѣмъ сбили съ толку сентиментальную дѣву. Но надежда не умирала въ ней ни на минуту, и потому продолжались эти вечера нѣсколько лѣтъ. А въ то же время и докторъ Аллертъ давалъ намъ вечера, но не каждую недѣлю, а по два раза въ мѣсяцъ. Вотъ на этихъ то вечерахъ и возчувствовалъ я влеченіе къ интересной бѣлокурой и голубоокой Идѣ Кноррингъ, въ особенности, когда, между танцами и по просьбѣ многихъ гостей, сыграетъ она, бывало, на фортепьяно, какую нибудь хорошенькую вещицу, и сыграетъ «съ чувствомъ, съ толкомъ, съ разстановкой». Въ то же самое время возчувствовалъ къ ней влеченіе одинъ изъ моихъ товарищей, Семеновъ, съ которымъ стрѣлялся я потомъ на ружьяхъ будто бы изъ за фразы: «Макаровъ не можетъ играть на моей скрипкѣ: размѣръ малъ» (эта фраза была прежде сказана мною), но въ сущности изъ за совмѣстнаго ухаживанія за интересной Идою. Страстишка эта продолжалась только нѣсколько мѣсяцевъ,

пока я не встрѣтилъ Аннету Гесслингъ, этого очаровательнаго большаго ребенка, и не познакомился въ домѣ ея дѣда. Эта страстная, бурная любовь сразу прекратила мои вздыханія по кузинѣ Крыжановскаго и по Идѣ Кнорринг. Она поглотила все мое существо, повисла тяжелымъ огненнымъ облакомъ и пронеслась ураганомъ надъ моей головою, и довела меня если не до сумасшествія, то до стихоплетства (одно другого стоитъ), до написанія на шести страницахъ посланія въ стихахъ къ моему счастливому сопернику и другу Крыжановскому. Но объ этой любви будетъ подробная рѣчь въ 9-й книгѣ «Воспоминаній».

№№ 13 и 14.

*Лиза Львова и *Натали Купреянова.

Спасаясь отъ любви къ Аннетѣ и отъ возможности сойти по ней съ ума, я, въ началѣ 1834 года вышелъ въ отставку и, какъ я говорилъ уже выше, уѣхалъ въ деревню, къ дядѣ. Ораніенбаумскій любовный угаръ сталъ проходить. Но чтобы совсѣмъ прошелъ, лучшее для этого средство было « клинъ клиномъ выбивать ». Я и попробовалъ. Одна изъ моихъ безчисленныхъ кузинъ была очень дружна съ одною изъ сестеръ Львовыхъ, принадлежавшихъ къ одному изъ почетныхъ и богатыхъ домовъ Солигаличскаго уѣзда. Вотъ и давай она напѣвать мнѣ о своемъ другѣ, о Лизѣ Львовой. И хороша-то она собою, и умна, и образована, и добра, словомъ сущій ангелъ. А я и уши развѣсилъ, и приготовился завздыхать пуще раздувальнаго мѣха. А тутъ и случай подвернулся: освященіе одной церкви, гдѣ я и увидѣлъ расхваливаемую мнѣ Лизу Львову. Правда: очень и очень не дурна собою, и личико такое доброе, симпатичное. Годится! идетъ! А вслѣдъ за церковью, я сталъ встрѣчаться съ объектомъ моихъ мечтаній въ нѣкоторыхъ домахъ и уже вступалъ съ нимъ въ разговоры. Наконецъ началась и сердечная кампанія. Завздыхалъ нашъ гвардіи поручикъ въ отставкѣ. Вздыхалъ и мечталъ, мечталъ и вздыхалъ и уже покушался было на нѣчто серьезное, солидное: толкнуться въ сердце симпатическаго друга моей кузины. Но судьба сказала мнѣ: « атанде ». Я узналъ, что Лиза Львова уже давно любитъ и любима однимъ молодымъ инженеромъ, за котораго потомъ и вышла замужъ. Оставалось ретироваться « sans tambour ni trompette », что я и сдѣлалъ. Теперь слѣдуетъ повѣствованія о 14-мъ номерѣ.

Еще гораздо прежде моей ретирады отъ 13-го номера, дядя познакомилъ меня съ однимъ изъ почетнѣйшихъ домовъ Костромской губерніи, съ Сергѣемъ Өед. Купреяновымъ, губернскимъ предводителемъ дворянства, человѣкомъ добрымъ и честнымъ, служившемъ еще при Императорѣ Павлѣ I-мъ. Это прекрасное семейство состояло изъ мужа и жены, одного взрослаго сына и четырехъ дочерей, двухъ замужнихъ и двухъ еще дѣвицъ. Всѣ дочери были очень хороши собою, въ особенности послѣднія: Натали и Катеринъ. Въ первое мое знакомство, мы съ дядею гостили два дня въ этомъ гостепріимномъ, радушномъ домѣ (въ Григорцовѣ, имѣніи Купреянова). Натали была любимицею своего отца, который боготворилъ ее и, каждый день — утромъ здороваясь и вечеромъ прощаясь съ нею, совершалъ нѣчто въ родѣ религіознаго обряда: сперва перецѣлуетъ у ней миніатюрныя ручки и ножки, потомъ расцѣлуетъ и благословитъ ее на сонъ грядущій и словно изъ храма возвращается изъ ея будуара въ свой кабинетъ въ самомъ восторженно-религіозномъ настроеніи духа. И точно: это было граціознѣйшее, прелестное созданіе. Не большаго роста, стройная, словно выточенная, съ шелковистыми каштановыми волосами, съ чудными карими глазами, такими добрыми, съ крошечными пунцовымъ ротикомъ, ручками и ножками, вся бѣленькая, розовенькая, съ серебристымъ, ласковымъ голосомъ, превосходно воспитанная и съ самыми изящными манерами. Словомъ: вполнѣ достойная обожанія отца и всѣхъ хорошихъ ее знакомыхъ. Два дня, упоительные дни, провелъ я въ бесѣдахъ съ двумя прелестными сестрами, изъ которыхъ передпослѣдняя была много любезнѣе, обаятельнѣе. Не будь я тогда еще подъ вліяніемъ номера 13-го, я «палъ бы костьми», т. е. сердцемъ въ этомъ домѣ. Но « ce qui est différé n'est pas perdu » (что отсрочено, то не потеряно). Вскорѣ послѣ этого знакомства узналъ я о «занятіи ваканціи» въ сердцѣ Лизы Львовой, и сейчасъ же приготовился къ походу, къ новой сердечной кампаніи, которая не замедлила открыться.

22 ноября были именины дяди (Валеріана), а 24 — тетки (Екатерины). Къ этимъ двумъ днямъ готовились большія празднества въ домѣ дяди. Главнымъ событіемъ были два любительскіе спектакля на сценѣ домашняго театра дяди. Я самъ выбралъ піесы, роздалъ роли и вообще руководилъ ходомъ представленій. И выбралъ я не пустяжные водевильчики, а самыя капитальныя вещи: « Коварство и любовь » и « Горе отъ ума », Въ первой игралъ я роль Фердинанда, во второй двѣ: Фамусова и Репетилова. Для первой я подвязывалъ себѣ подушку на животъ, надѣвалъ фракъ дяди (онъ былъ тученъ) и сѣдой паричъ,

при этомъ румянился. Для второй роли надѣвалъ я свой фракъ и очки. Кто не зналъ объ этомъ двойномъ лицедѣйствіи, никакъ не догадывался, что двѣ роли игрались однимъ и тѣмъ же лицомъ, такъ Репетиловъ не походилъ на Фамусова. Вотъ на эти именины пріѣхало къ дядѣ все семейство Купреяновыхъ, и прогостило у него дня три. И эти три дня были для меня тоже, что Маренго и Ваграмъ для Австрійцевъ, тѣмъ болѣе, что Натали была очень дружна съ другою моею кузиною, которая, замѣтя мою новую восторженность, съумѣла такъ наэлектризовать меня восторженными похвалами обворожительной Натали, что я былъ увлеченъ, покоренъ, порабощенъ, даже и не пытался бороться: побѣда надо мною была полная; трехдневное пребываніе въ домѣ дяди семейства Купреяновыхъ было моимъ Ватерлоо. Старики, а въ особенности Натали, обратились ко мнѣ съ просьбою пріѣхать къ нимъ съ гитарою. Разумѣется я съ радостью принялъ приглашеніе. По отъѣздѣ этого милаго семейства я уже на всѣхъ парусахъ плылъ по океану новой страсти № 14. И на этотъ разъ порѣшилъ въ своемъ умѣ — покончить съ холостою жизнію, если только не встрѣтится новое «атанде». Но на этотъ разъ вздумалось мнѣ разыграть роль дипломата, Талейрана: никому ни гугу о моемъ рѣшительномъ намѣреніи искать руки Натали. Ни дядѣ, ни сестрѣ, ни кому бы то ни было ни слова объ этомъ. Проходитъ съ недѣлю, и, въ одно прекрасное утро, въ четвергъ, я говорю дядѣ: — Я думаю сегодня поѣхать къ Сергѣю Ѳедоровичу. — Ну что жъ? Поѣзжай; мои крытыя сани къ твоимъ услугамъ, — отвѣчалъ мнѣ дядя.—Но только, ради Бога, Nicolas! постарайся возвратиться въ субботу вечеромъ, и ужъ никакъ не позднѣе воскресенья утромъ. У тебя въ корни будетъ мой Бутузъ, и я поѣду на немъ къ обѣднѣ,— прибавила наставительно тетушка, у которой всегда была страсть къ одной какой нибудь лошади.

Итакъ, я рѣшился, безъ совѣта дяди и сестры, сдѣлать тогда же предложеніе Натали, но не самолично, а черезъ нѣкоего Болсунова, общаго родственника нашего и Купреяновыхъ, въ домѣ которыхъ онъ былъ своимъ человѣкомъ. Онъ жилъ въ трехъ верстахъ отъ ихъ имѣнія. Поѣхалъ я. Какіе восхитительные два дня провелъ я въ этомъ прелестномъ семействѣ. Всѣ были со мною необыкновенно любезны, ласковы, но въ особенности Натали. Въ субботу послѣ обѣда я собрался уѣзжать съ тѣмъ, чтобы заѣхать къ Болсунову и поручить ему — сдѣлать отъ меня предложеніе «божественной» Натали. И заѣзжай я только къ нему, я былъ бы женатъ на ней, потому что, какъ передали мнѣ потомъ, отказа я не встрѣтилъ бы. Но судьба распорядилась иначе. Всѣ

пристали ко мнѣ съ просьбою — подарить имъ еще вечеръ, провести еще ночь подъ одною съ ними кровлею, обѣщая завтра чѣмъ свѣтъ отпустить меня. Разумѣется, я согласился. Настаетъ воскресенье. Я спѣшу ѣхать и начинаю прощаться, а мнѣ всѣ въ одинъ голосъ: « Возможно ли ѣхать безъ завтрака? » Нечего дѣлать, завтракаемъ, пьемъ кофе и я выѣзжаю уже далеко не чѣмъ свѣтъ. Къ Болсунову заѣзжать-некогда. Откладываю до слѣдующаго и сколь возможно скорѣйшаго раза. — Не уйдетъ, — думаю себѣ.... Но увы! ушло.

Возвращаюсь къ дядѣ; онъ смѣется; тетка дуется: Бутузъ ея опоздалъ и она должна была ѣхать къ обѣднѣ на другой лошади. Вслѣдствіе разпросовъ дяди и сестры, я не выдержалъ и выдалъ мою тайну. Видно я тогда до Талейрана не доросъ. Да и послѣ никогда не походилъ на него.

— Какъ! ты хотѣлъ сдѣлать предложеніе Натали Куприяновой! — вскричали въ испугѣ и въ одинъ голосъ и дядя и сестра.

— Хотѣлъ, да не успѣлъ по милости Бутуза. Но сдѣлаю, непремѣнно сдѣлаю, и чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше. Что-жъ тутъ удивительнаго!

— Сумасшедшій! Какъ! что? да понимаешь ли, какую глупость задумалъ ты сдѣлать? Образумься, — проговорилъ отчаянно дядя. Сестра видимо раздѣляла его мнѣніе.

— Да вѣдь Натали прелестнѣйшее созданье: какъ ангелъ хороша, умна, добра, образована, кротка, мила....

— Все это — совершенная правда. А все-таки она тебѣ не пара.

— Почему-жъ?

— Во 1-хъ: по лѣтамъ.

— Какъ, по лѣтамъ? Мнѣ 24 года, а ей 20, и много 22. Почему же не пора?

— Не 24, а *тридцать шесть съ хвостикомъ*; это вѣрно. Она очень моложава, ну и дорогіе косметики помогаютъ. Теперь подумай: черезъ десять лѣтъ тебѣ исполнится только 34 года, и ты будешь еще во всей порѣ; а ей стукнетъ 46 лѣтъ, т. е. подъ пятьдесятъ и она будетъ уже почти старуха; а такая огромная физическая разница, такой излишекъ въ лѣтахъ не мужа, а жены — весьма неудобный, опасный элементъ въ супружествѣ. Теперь во 2-хъ: У отца ея хорошее состояніе, около тысячи душъ. Но вѣдь у него—взрослые и непристроенные сынъ и двѣ дочери. Сколько же могутъ дать они за Натали? Самое большое сто душъ. А у тебя-то что? 50 душъ. Для тебя и для какой нибудь другой дѣвушки полтораста душъ — состояніе порядочное,

съ которымъ можно жить скромно и безбѣдно. Но не для Натали Куприяновой, которая привыкла къ роскоши, ходитъ въ шелку и въ бархатѣ, нѣжится на роскошной мебели, ѣздитъ всегда въ каретѣ, и только изрѣдка и по близости—въ колискѣ. Что же можешь ты дать ей взамѣнъ родительской роскоши? Свою любовь, но безъ кареты, безъ пышной обстановки, безъ утонченнаго комфорта. Любовь, любовь и одна любовь пріѣдается, другъ мой, и при 26-ти лѣтнемъ возрастѣ, а не только при 36-ти лѣтнемъ, когда уже привычка къ роскоши вошла въ плоть и въ кровь. И будетъ твоя будущая жизнь кататься далеко не какъ перлы по бархату. И порою придется тебѣ ворочать тяжелые камни и не разъ пожалѣть о свободѣ холостой жизни. Вѣрь мнѣ.

Окончилъ дядя свой длинный монологъ, который возымѣлъ на меня такое же дѣйствіе, какъ и монологъ Жеребцова въ Шавляхъ. Я не возражалъ, а глубоко, тяжело вздохнулъ и пошелъ въ свою комнату угрюмый, мрачный, словно ошпаренный котъ, и нѣсколько дней молчалъ и ни за что не могъ приняться: ни за чтеніе, ни за гитару.... Итакъ, четвероногій Бутузъ положилъ на вѣсы моей судьбы свои четыре копыта и перевѣсилъ: я былъ удаленъ отъ.... все-таки прелестной, обаятельной Натали, и сохраненъ для настоящаго ангела-Саши. Но только этого ангела злая судьба моя хранила для меня слишкомъ недолго, не болѣе семи съ половиною лѣтъ.

№ 15.

† Александрина Болтина.

Эпопея объ этомъ ангелѣ во плоти, моемъ первомъ ангелѣ-хранителѣ, будетъ помѣщена въ 9-й книгѣ «Воспоминаній».

№№ 16 и 17.

† Елена и † Елизавета Карловна.

Наступилъ ноябрь 1845 года. Я въ Петербургѣ, стою въ огромномъ домѣ Шольца на Обуховскомъ проспектѣ. Мой шуринъ Болтинъ занималъ въ 3-мъ этажѣ того дома большую квартиру, выходившую окнами на улицу. Я живу въ томъ же этажѣ въ двухъ комнатахъ, выходящихъ на дворъ. Дочь моя воспитывается у дяди Болтина съ его прелестными

дочерьми-двойняшками (старшая изъ нихъ вышла потомъ за Салтыкова, Щедрина тожъ). Живу я въ Петербургѣ, по капризу моего псевдодруга, безъ всякаго дѣла, просто шалберничаю: играю на гитарѣ, на скрипкѣ, на которой беру уроки у Бема; ѣзжу въ концерты, въ итальянскую оперу и въ другіе театры. Обѣдаю большею частію у Болтина. Если не скука, то хандра заѣдаетъ меня т. е. мое сердце, которое томится и жаждетъ.... жаждетъ чего-то, новыхъ ощущеній, изліяній, если не страстной любви, то хоть ея подобія, но только съ горячими поцѣлуями, непремѣнно съ горячими. Горячіе поцѣлуи, это было «sine qua non» кодекса моего сердца.

Вскорѣ по водвореніи моемъ въ домѣ Шольца, встрѣчаю я разъ на лѣстницѣ прехорошенькую миніатюрную дѣвочку. Мы переглянулись и.... улыбнулись, но не сердито, а добродушно. На другой день опять встрѣча, съ улыбками болѣе добродушными. При третьей встрѣчѣ мы уже раскланялись, заговорили и познакомились. Новая моя знакомка называлась Еленою, имѣла 17 лѣтъ и была камеристкою у полковницы Елизаветы Карловны Н—ль, которая жила по одной со мною лѣстницѣ и на одной площадкѣ, прямо противъ моей квартиры. Такимъ образомъ познакомился и подружился я съ хорошенькою Еленою, которую особенно плѣняла моя гитара и мое пѣніе. Проходитъ болѣе мѣсяца, въ продолженіи котораго я отчасти примирился съ своею судьбою. А между тѣмъ нѣсколько разъ встрѣчался я на лѣстницѣ съ какою-то дамою, высокаго и стройнаго роста, но подъ густою вуалью, и нисколько не интересовался этими встрѣчами. Но вотъ однажды встрѣчаю ее безъ вуали.... Боже!... Красавица, какъ есть писаная красавица и, съ тѣмъ вмѣстѣ, belle femme съ роскошнѣйшими формами.... Чортъ возьми!... Непозволительно хороша, голова кружилась, закружилась.... Сильно запахло угаромъ любви.

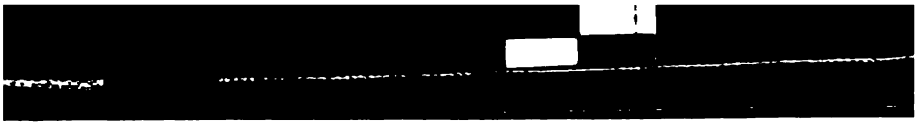
— Не знаешь ли, кто эта высокая дама, съ прекрасными голубыми глазами, которую я сейчасъ встрѣтилъ на лѣстницѣ? — спрашиваю у Елены, которая оказалась преумною и, съ тѣмъ вмѣстѣ, пренаивною, превеселою, предоброю и чрезвычайно безкорыстною дѣвочкою.

— Да это и есть самая Лизавета Карловна, моя госпожа, — весело отвѣчала милая крошка.

— Да что: живетъ она съ мужемъ, или одна?

— Нѣтъ, врозь съ мужемъ. А живетъ она съ дочкой, да съ Александромъ П. Гл—вымъ.

— Какъ это съ Гл—вымъ.



— То-есть живетъ-то она одна, съ дочкой, а господинъ Г.—въ только даетъ ей деньги на квартиру и на все прочее. Онъ служитъ у гр. Клейнмихеля и почти всякій день, отправляясь на службу, заходитъ къ моей барынѣ, пьетъ съ ней кофе. Потомъ, идя со службы домой, опять заходитъ къ ней и обѣдаетъ съ нею вмѣстѣ. Вмѣстѣ ѣздятъ они и въ театръ, и на гулянье, всего чаще на тройкахъ, за городъ, на какіе-то тамъ «пики да ники».

— Такъ вотъ что такое твоя барыня! Значитъ.... А бываетъ у нее еще кто нибудь?

— Изъ мужчинъ никого. Александръ П. очень ревнивъ. А изъ дамъ бываютъ многія, и всего чаще кузина барыни — Надежда Николаевна М—ва, да ея мать мадамъ Д—съ. Барыня-то моя вѣдь такая скромная, тихая, добрая, нельзя не похвалить и не полюбить ее. Но за то матушка-то у нее, охъ какая бѣдовая барыня! И еще какая молодая, красивая! Никто не скажетъ, увидавъ ее и мою барыню вмѣстѣ, что это мать и дочь, а подумаетъ, что двѣ сестры. Ну да ужъ и бой-барыня. Какъ часто слышу я, что она говоритъ моей барынѣ: «Это ни на что не похоже, Лиза! Это просто мове-жанръ—имѣть одного любовника. У меня рѣдко бываетъ менѣе трехъ, а большею частію четыре или пять въ одно и то же время. Одинъ любовникъ!... Фи!... Какъ это пошло, пахнетъ мѣщанствомъ.

Вотъ такъ мамаша! Прелесть, чудо нравственности и высокой женской добродѣтели! Живи и умри она теперь, такъ всѣ нынѣшнія самки-прогрессистки-нигилистки вкупѣ съ самцами-нигилистами сейчасъ же открыли бы подписку на сооруженіе великолѣпнаго памятника для увѣковѣченія такой высокой женской добродѣтели. Но только Монтіоновскую премію за добродѣтель мадамъ Д — съ врядъ ли бы присудила французская академія. Сказано — отсталые. Давно уже извѣстно и вѣдомо всѣмъ нигилистамъ и нигилисткамъ, рѣшительно всѣмъ, кромѣ умныхъ и честныхъ людей, что и французы, и англичане, и всѣ западные народы на цѣлыя два столѣтія отстали въ прогрессѣ отъ «всерассейскихъ» нигилистовъ и нигилистокъ, этихъ подпольныхъ пророковъ и проповѣдниковъ всеразрушенія, всеограбленія, всесожженія, всеразвращенія, всерастлѣнія, всеубиванія, всеоскотиніенія и всеодичанія, до ползанія на четверенькахъ. Въ этомъ послѣднемъ состоятъ высшіе идеалы нигилизма. Вѣроятно благодарное и ползающее потомство выдастъ имъ, нигилистамъ, грамоту на спеціальное дворянство съ гербомъ, раздѣленнымъ на 4 поля. Въ 1-мъ—кинжалъ, во 2-мъ—револьверъ, въ 3-мъ—разрывная бомба, въ 4-мъ — висѣлица... Теперь оговорюсь: *Самка* и *самецъ* выраженія

не мои: я слишкомъ вѣжливъ, чтобы, говоря даже о нигилистахъ, позволить себѣ такія выраженія. Но они сами себя окрестили такою характерною кличкой, въ порывѣ своихъ звѣрино-прогрессивныхъ стремленій.

Да не вздумайте вы вломиться въ обиду, милѣйшіе мои самцы и самки, за кличку, вами же самими изобрѣтенную, и только повторенную мною. Да еще, быть можетъ, не по вкусу придется вамъ спеціально-дворянскій гербъ, который поднесетъ вамъ благодарное потомство? Ужъ не претендуете ли вы на лавровый вѣнокъ за свое нигилистическое мужество? Лавровый вѣнокъ вамъ, кинжальщикамъ, револьверщикамъ, динамитчикамъ!.. Висѣлица и вѣчныя анаѳемы и позоръ вамъ, цареубійцы и, съ тѣмъ вмѣстѣ, убійцы разумной свободы, тормозильщики здороваго прогреса!.. Дай только волю вамъ, облыжники и фарисеи либерализма и гуманности, — показали бы вы себя. Во сто кратъ превзошли бы вы въ злодѣйствахъ парижскихъ комунаровъ 1871 года. Тѣ разстрѣляли только нѣсколько заложниковъ, да одного архіепископа, да двухъ генераловъ. Да еще разрушили Вандомскую колонну и домъ Тьера, отстроенный потомъ на ихъ же деньги. Да сожгли нѣсколько зданій. Вы же? Вы бы разстрѣляли, перевѣшали, перерѣзали, перетопили, замучили всѣхъ митрополитовъ, архіепископовъ, епископовъ, даже простыхъ священниковъ; всѣхъ генераловъ и штабъ и оберъ-офицеровъ, словомъ: всѣхъ служащихъ, отъ министровъ, сенаторовъ и до послѣдняго регистратора; всѣхъ землевладѣльцевъ, домовладѣльцевъ и всякихъ собственниковъ. Вы уничтожили бы всѣ искусства, кромѣ искусства подводить мины и подкопы, смертоносныя, какъ на желѣзныхъ дорогахъ, или воровскіе, какъ подъ херсонскимъ казначействомъ; сожгли или разрушили бы вы общественныя зданія, кромѣ домовъ терпимости; уничтожили бы всякую собственность, кромѣ той, которую удалось бы вамъ награбить и наворовать во время произведеннаго вами террора, т. е. преждевременнаго свѣтопредставленія. Вы сконфисковали бы въ свою пользу, но прежде загрязнивъ, растлѣвъ и опозоривъ все, что украшало, услаждало облегчало и утѣшало жизнь людей. Словомъ: вы не оставили бы камня на камнѣ зданія современной цивилизаціи, не оставили бы въ живыхъ ни единаго существа, которое было бы хотя нѣсколько умнѣе, добрѣе и честнѣе васъ, и не захотѣло бы ползти за вами на четверинькахъ къ корытамъ жранья, или къ логовищамъ общимъ для вашихъ самцовъ и самокъ, каковыя логовища вѣроятно будутъ носить пышное названіе «Pêle-mêle». Вотъ ваша «desiderata», вѣнецъ зданія, которое желается вамъ воздвигнуть на развалинахъ цивилизаціи, созданной тысячелѣтнею работою геніевъ и друзей человѣчества, и оплаченною потоками крови и

неисчислимыми страданіями того же человѣчества... Теперь сорваны маски съ васъ, лжецы и фарисеи. И только однимъ промзглымъ Манилловымъ, да подобнымъ вамъ, но надпольнымъ, но заштукатуреннымъ негодяямъ можете вы еще импонировать и казаться спасителями Россіи. Пословица говоритъ: «Утайщикъ тотъ же воръ». Эту пословицу по всей справедливости можно перифразировать такъ: «Кого не возмущаютъ злодѣйства мошенниковъ, воровъ, художниковъ поддѣлокъ и фальши, поджигателей и убійцъ; кто можетъ равнодушно смотрѣть на все это, тотъ самъ точно такой же негодяй и злодѣй, но только не гласный, а тайный мошенникъ и злодѣй въ душѣ, блудливый какъ кошка, трусливый какъ заяцъ, и у котораго хватитъ храбрости лишь на показываніе кукиша въ карманѣ. Что же сказать о тѣхъ, которые восторгаются, умиляются отъ нигилистическихъ гнусностей и злодѣяній?.. А таковые есть и не мало...

Знаете ли что, мои милые подпольники и заштукатуренные надпольники? Некрасивъ былъ Фердинандъ II, неаполитанскій *король-бомба*. Не очень привлекателенъ былъ и Людовикъ Наполеонъ. И врядъ ли кто, даже самый ярый консерваторъ, пожелалъ бы повторенія ихъ царствованій. Но, положа руку на сердце, съ глубокимъ убѣжденіемъ и какъ правдиво-говорящій передъ скорою смертію, я заявляю, что царствованіе ста такихъ Фердинандовъ и Наполеоновъ, было бы далеко, далеко не такъ отвратительно страшно, какъ правленіе вашихъ подпольныхъ человѣко и цареубійцъ. Да, правленіе ста Фердинандовъ и Наполеоновъ было бы несравненно лучше и гуманнѣе, нежели ваше, незаконнорожденные и прокаженные выкидыши худосочной, вѣчно завистливой и вѣчно злобствующей среды, позоръ и несчастіе человѣчества, упрекъ Небу, неистребившему васъ сейчасъ же по нарожденіи, потому что безъ этого, всѣ альмаденскія ртутныя копи не въ силахъ уничтожить такую злую, дурную болѣзнь человѣчества, какъ вы, чумные и прокаженные нигилисты и нигилистки... Да! Вы — не иное что, какъ постыдная и заразительная болѣзнь, отъ которой еще не найдено достаточно сильныхъ меркуріальныхъ и дезинфекціонныхъ средствъ. Ну и размножаются, словно клопы, нравственные и умственные уроды и калѣки, то безъ носа, то безъ другой какой либо части тѣла, а нанчаще безъ капли здраваго смысла. Да еще и хвастаютъ, щеголяютъ своимъ нравственнымъ безобразіемъ и умственнымъ убожествомъ и юродствомъ.

Знайте же, юродивые нигилисты и нигилистки: не револьверы, не динамитъ ведутъ къ прогрессу, къ созиданію. Эти средства, излюбленныя вами, невѣжественными и неумѣлыми строителями, ведутъ къ анархіи, къ кровожадному конвенту, къ терору, къ гильотинѣ и къ потопляю-

щимъ баркамъ съ клапанами. А въ позднѣйшія эпохи привели: къ парижскимъ баррикадамъ, на которыхъ убили архіепископа и восемь генераловъ. А еще позднѣе: къ разрушенію и сожженію памятниковъ и зданій Парижа, да къ разстрѣлянію отажей. Затѣмъ: къ вандемьерамъ, къ брюмерамъ, къ Бонапартамъ, смотрѣвшимъ на солдатъ, какъ на мясо для пушекъ. Позднѣе: ко 2-му декабря и снова къ Бонапартамъ, съ кузенами-убійцами (Піеръ), да съ придворными генералами-лакеями, въ родѣ Фальи и Лебефа, умѣвшихъ только сказать: «Les chassepots ont fait merveilles» (шаспо надѣлали чудесъ)», да «Nous sommes archi-prêts» (мы готовы и переготовы), тогда какъ оказалось, что ничто не готово, все разворовано. Наконецъ еще позднѣе: къ разстрѣлянію 20,000 французовъ французами же, и къ ссылкѣ стольких же тысячъ въ Каледонію, да къ ретроградным посягательствамъ Макъ-Магона, Брольи et consorts. Въ концѣ концовъ: предшественники юродивыхъ нигилистовъ, санкюлоты, якобинцы и коммунары (которые хоть и отвратительны, но всетаки необъятно умнѣе и честнѣе нашихъ юродивыхъ недоносковъ-выкидышей) приводили не къ прогрессу, не къ созиданію, а къ полнѣйшему регрессу и къ разрушенію. Не динамитъ, а политическій тактъ и умѣнье, не только правительства, но и всего общества, какъ, напримѣръ, въ Англіи; терпѣніе и настойчивость, а съ тѣмъ вмѣстѣ, угадываніе своевременности, созрѣлости вопроса, и не скачки, а мудрая постепенность мѣръ; но, главное, уваженіе къ законамъ и къ чужому мнѣнію — вотъ что ведетъ къ прогрессу и къ сооруженію краснваго, прочнаго, долговѣчнаго зданія. Таковъ непреложный и неизмѣнный законъ и ходъ исторіи. А исторія, и въ особенности философія исторіи, не лжетъ, не подражаетъ вамъ. И не вамъ, худосочные и юродивые нигилисты и нигилистки, измѣнить законы и ходъ всемірной исторіи человѣчества. Вамъ неизвѣстна непреложная истина, что всякая экзажерація ведетъ къ реакціи, а реакція — къ озлобленію, взрывамъ и возмездіямъ, не легальнымъ, но порою кровавымъ. Затѣмъ: укрощеніе и снова реакція съ возмездіями легальными и тоже кровавыми. Итакъ далѣе, до безконечности.

Теперь спрошу: неужели неизвѣстна вамъ, самцамъ и самкамъ, стереотипная, избитая истина, что революція подобно Сатурну, пожираетъ своихъ собственныхъ дѣтей. Вѣдь какъ бы вы ни были прогрессивны, безумны, все таки найдутся другіе, еще безумнѣе васъ. Напримѣръ: сегодня вы потребуете, чтобы у всѣхъ землевладѣльцевъ и домовладѣльцевъ отняли всю землю и всѣ дома; а завтра другіе, прогрессивнѣе васъ, потребуютъ еще, чтобы отобрать и верхнюю одежду и обувь: ме-

гутъ ходить въ одномъ бѣльѣ и безъ сапоговъ. Ну, вы и не годитесь, вы—ретрограды, долой васъ, казнить васъ. Вспомните жирондистовъ, рьяныхъ борцовъ за свободу, которые, изъ переднихъ рядовъ революціи, вдругъ очутились въ заднихъ, и сложили свои головы подъ топоромъ гильотины. А Барнавъ, пылкій и краснорѣчивый поборникъ революціи, который, по поводу убіенія Фулона и Бертье, смѣлъ сказать: «Развѣ пролитая кровь такъ чиста»? А потомъ, послѣ арестованія въ Варенне бѣглаго королевскаго семейства, сказалъ Маріѣ Антуанеттѣ, вслѣдствіе ея вспышки: « Ваше Вел. Вы—королева французовъ, а я представляю здѣсь собраніе, которое управляетъ и вами, и королемъ вашимъ супругомъ. Я душевно желаю, чтобы мнѣ было позволено болѣе не повторять вамъ этого». Такъ вотъ и этому пылкому и рьяному бойцу за свободу отрубили голову, какъ отсталому, какъ измѣннику. И будьте увѣрены, мои милые подпольные самцы и самочки, что при первомъ же взрывѣ вы очутитесь въ заднихъ рядахъ, и васъ, какъ негодную, ненужную мразь, перерѣжутъ и перевѣшаютъ до единаго. Да, перерѣжутъ и перевѣшиваютъ васъ ваши преемники по безумію, но не по худосочію, которые, владѣя членами болѣе здоровыми, сейчасъ же перегонятъ васъ, искалѣченныхъ постыдною болѣзнію русскаго подпольнаго нигилизма... Это вѣрно... Выйдетъ ли, наконецъ, изъ своего дѣтства громадный ребенокъ-балбесъ, называемый человѣчествомъ? Научится ли онъ когда практическому уму-разуму? Выйдетъ ли изъ заколдованнаго круга экзажераціи и реакціи, гдѣ онъ кружится какъ бѣлка въ колесѣ? Это—вопросъ будущаго. Чья же ловкая и благодѣтельная рука приподниметъ таинственную завѣсу этого будущаго, за которою скрываются пути и средства къ разрѣшенію жизненнаго вопроса: выйти изъ заколдованнаго круга и разъ навсегда устранить экзажерацію и реакцію, эти роковые тормазы всякаго преуспѣянія? Не спорю, прогресъ существуетъ, человѣчество подвигается впередъ. Но не будь экзажераціи и реакціи, оно бы шло несравненно скорѣе и ушло впередъ, много далѣе, чѣмъ теперь. Какже не проклинать Каракозовыхъ и Соловьевыхъ, со всею предъидущею и послѣдующею шайкою гидрофобовъ-убійцъ и цареубійцъ. Какже не признавать полной законности и неизбѣжности *веревки и висѣлицы*, которыя еще не упразднены даже въ либеральнѣйшихъ Соединенныхъ Штатахъ, ни въ Англіи, и только замѣнены въ другихъ государствахъ гильотиною, или топоромъ, или «позорнымъ ошейникомъ» (garotte vile)?

Гдѣ же ваши громы и перуны, о Богъ христіанъ и боги древней Эллады? Гдѣ же Ювеналъ съ поднятымъ бичемъ на васъ, юродивые ни-

гилксты, враги истинной свободы, тормозящіе прогресъ трупами своихъ согражданъ и даже царей; на васъ и на вашихъ оправдателей и мирвольниковъ, трусливо притаившихся въ разныхъ темныхъ углахъ обширной Россіи, которыхъ и 1-е марта не возмущаетъ, а напротивъ. Повторю: воры и разбойники много честнѣе и благодушнѣе васъ: у нихъ никогда не поднялась бы рука на Того, кто изъ милліоновъ безправныхъ рабовъ сдѣлалъ свободныхъ и полноправныхъ гражданъ, и не бобылей, а собственниковъ, и — хвала и честь ему — опередилъ Англію, отмѣнивъ плети и шпицрутены.

Ergo: нѣтъ болѣе злыхъ и опасныхъ враговъ свободы и прогреса, какъ тѣ, которые, очертя голову и съ пѣною у рта, кстати и некстати, горланятъ о свободѣ и прогресѣ, ничего не принимая въ расчетъ и думая пробить стѣну лбомъ, взять нахрапомъ то, что дается лишь временемъ, выжиданіемъ своевременности и зрѣлости вопросовъ и съ соблюденіемъ постепенности, какъ, напримѣръ, въ Англіи, гдѣ совершилось столько коренныхъ законоизмѣненій, улучшеній и преобразованій, безъ всякихъ взрывовъ и потрясеній, кромѣ единственнаго — Кромвелевскаго.

Чтожъ остается дѣлать? «Нещадно, неослабно карать подпольное и надпольное зло», и затѣмъ... смириться и покориться волѣ Провидѣнія, которое не нашимъ, а своимъ циркулемъ размѣриваетъ шаги человѣчества, ведетъ ли оно впередъ, или останавливаетъ, для отдыха, или, время отъ времени, и попячиваетъ, чтобы направить его на настоящій путь, съ котораго совращаетъ его порою злой его геній, т. е. слѣпыя, безумныя страсти, какъ злыхъ, такъ и не злыхъ, но близорукихъ людей....

Не гримасничайте, гг. промозглые Маниловы! Вѣдь всякое злодѣяніе должно возмущать честнаго человѣка. А каково же переживать мученическую смерть добраго Царя-освободителя? Кому же не по вашимъ спинамъ прогуливается мой сатирическій бичъ. Слишкомъ сильны удары моего бича, замѣтятъ мнѣ Маниловы. А развѣ менѣе сильны и болѣзненны удары девятихвостой кошки въ Англіи? А вѣдь тѣ преступники, на спины которыхъ сыплются такіе удары, далеко не такъ преступны, какъ наши подпольные негодяи-цареубійцы и ихъ сочувственники. И нѣсколько лѣтъ тому назадъ, за одну безвредную выходку попугать королеву Викторію незаряженнымъ пистолетомъ, пребольно отодрали въ Лондонѣ ирландскаго мальчишку Оконора. Ну что, если бы попасть вамъ, милые наши реформаторы черезъ разрывныя бомбы, въ Англію, да попробовать тамъ свое удальство, а съ тѣмъ вмѣстѣ попробовать и англійскихъ кошечекъ? Вѣдь это было бы весьма «пользительно» и для васъ,

мои милые, и для Россіи. Навѣрное вы бы тогда поумнѣли и поприсмирѣли крошечку... И то ладно, и за это слѣдовало бы поблагодарить англійскую кошечку.

Сознаюсь: я бичую жестоко, т. е. говорю очень рѣзко. Но если для моего оправданія недостаточно горя и траура, которымъ поражена и облеклась вся Россія, то я приведу въ свое оправданіе еще то, что не могу безъ того, чтобы не терзалось и не обливалось кровью мое сердце, подумать о мученической кончинѣ Александра II, который три раза былъ моимъ благодѣтелемъ, а два раза, спасая меня отъ безвыходнаго положенія и отъ отчаянія, спасалъ мнѣ жизнь, о чемъ заявлялъ я уже печатно въ статьѣ *Путешествіе по дебрямъ* (статья эта помѣщена въ *Исторіи созданія моихъ словарей*, прилагаемой при *Воспоминаніяхъ*). И я не перестану благословлять память покойнаго Царя, моего благодѣтеля, и проклинать его гнусныхъ убійцъ.

Возвращусь къ Еленѣ — продолжать прерванный съ нею разговоръ.

— А нельзя ли мнѣ познакомиться съ твоею госпожею? — спросилъ я Елену.

— Отчего жъ, коли вы не боитесь пословицы: « Не было печали, да черти накачали ».

— И ты ничего не имѣешь противъ моего желанія познакомиться съ твоею госпожею - красавицей? Не разсердишься на меня?

— За что же сердиться? — отвѣчала добродушно засмѣявшись милая крошка Елена.—Какое же особое право имѣю я на васъ? Нравлюсь я вамъ и вы мнѣ нравитесь. А нѣтъ, такъ и я нѣтъ. « Насильно милъ не будешь ».

— Успокойся, милая Леночка! Я вѣдь только изъ любопытства хочу познакомиться съ твоей барыней. Мнѣ хочется узнать: умна она или нѣтъ? Ну еще ужасно какъ хочется мнѣ испытать, какъ это, и какую тамъ « печаль накачаютъ на меня господа черти? » До сихъ поръ я еще не былъ знакомъ съ такою печалью. Надо же наконецъ познакомиться ради курьеза. А ты всегда будешь моимъ другомъ, моимъ добрымъ искреннимъ и преданнымъ другомъ, также какъ и я—твоимъ. Ей Богу! — Милая крошка засмѣялась какъ дитя и безъ малѣйшаго сердца весело сказала:

— Хорошо, хорошо, не божитесь, и такъ вамъ вѣрю. Я ничуть не ревнива. Знакомьтесь хоть сей часъ. Но только дай Богъ, чтобы не пришлось мнѣ послѣ пожалѣть объ васъ. Вѣдь этотъ Гл—въ куда какъ ревнивъ и такой сердитой, просто лютый звѣрь... Противный!... А барыня-то моя душка.

— Ну вотъ потому-то, что она душка, мнѣ и хочется познакомиться съ нею.

Разговоръ этотъ происходилъ дня за два до новаго года. Купилъ я четыре фунта конфектъ у Бале, лучшаго тогда кандитера въ Петербургѣ, уложилъ ихъ въ хорошенькую картонку и написалъ на затѣйливомъ листикѣ атласной бумаги пошлѣйшую записку, а именно: « Прекрасной сосѣдкѣ отъ очарованнаго ею сосѣда, ея почтительнаго поклонника, который, поздравляя ее съ новымъ годомъ, желаетъ, чтобы каждый день, каждый часъ, каждый моментъ ея жизни былъ бы также сладокъ, какъ эти конфекты, которыя онъ осмѣливается поднести ей, умоляя—принять ихъ и простить ему великодушно его смѣлость ».

Положилъ я это письмо въ картонку и поручилъ Еленѣ передать это своей госпожѣ. Минутъ черезъ десять она возвращается ко мнѣ: картонку съ конфектами отослали назадъ, но письмо прочитали и оставили у себя; и прочитали, какъ увѣряла меня Леночка, безъ малѣйшаго гнѣва и даже безъ неудовольствія, а напротивъ. Проходитъ день. Я встрѣчаю на лѣстницѣ прекрасную сосѣдку и не подъ вуалью. Торжественно поклонившись, я попросилъ у нее прощенія за мою продерзость, т. е. за непринятую картонку съ конфектами. Сосѣдка нисколько не сердилась на меня, а напротивъ премило и прелюбезно заговорила со мною, не помню о чемъ, но только о болѣе интересномъ, чѣмъ « о предметахъ, вызывающихъ на размышленіе ». Напротивъ: мы бесѣдовали о вещахъ, которыя допускались не размышленіемъ, а скорѣе увлеченіемъ. При слѣдующей встрѣчѣ мы уже раскланялись, какъ хорошіе старые знакомые, протянули и кажется пожали другъ другу руку; по крайней мѣрѣ за себя ручаюсь, что пожалъ и прекрѣпко. Третья встрѣча была уже совсѣмъ радостная, а разговоръ гораздо ласковѣе, интимнѣе. Подъ конецъ очаровательная сосѣдка объявила, что она — страстная любительница музыки вообще, а гитары и пѣнія въ особенности, и при этомъ изъявила сильнѣйшее желаніе послушать и моего пѣнія и, въ особенности, моей игры на гитарѣ, о которой она наслышалась такъ много хорошаго, удивительнаго. Разумѣется съ величайшею готовностію поспѣшилъ я исполнить эту просьбу, и предложилъ ей музыкальное утро у себя въ комнатѣ. Предложеніе было принято съ большимъ удовольствіемъ. Музыкальное утро съ музыкальными упражненіями удалось вполнѣ, и чрезвычайно понравилось и слушательницѣ, и еще болѣе самому исполнителю, убѣдившемуся, что его музыкальные таланты оцѣнены по достоинству. Музыкальные сеансы и упражненія повторялись и учащались. Происходили они обыкновенно между часомъ

и тремя по полудни, когда г. Гл—въ находился на службѣ. Въ одинъ изъ нихъ случилось слѣдующее: Я запѣлъ, между прочимъ, положенный мною на музыку романсъ о голубыхъ глазахъ. Вотъ 1-й куплетъ:

Тебѣ понятно вдохновенье,
Твой взоръ о небѣ говоритъ,
Прочь гонитъ мрачное сомнѣнье,
И рай зоветъ, и рай сулитъ.

Не удивляйся, что въ лазури
Твоихъ голубенькихъ очей
Топлю я взоръ свой: послѣ бури
Я вижу небо майскихъ дней».

Но едва я кончилъ этотъ куплетъ, какъ полковница встрепенулась и въ сильномъ волненіи спросила меня:

— Какимъ образомъ этотъ романсъ попалъ къ тебѣ и кто положилъ его на музыку?

— Музыку написалъ я, а слова — Меринскій.

— Ипполитъ Меринскій! Развѣ ты знаешь его?

— Это мой ближайшій сосѣдъ по тульскому имѣнію, мой пріятель и отецъ крестный моего сына.

— Такъ ты знакомъ съ Ипполитомъ! Ну, что онъ? здоровъ ли? Какъ поживаетъ, что дѣлаетъ?

— Здоровъ, хозяйничаетъ и.... женился на богатой тульской барышнѣ.

— Такъ вотъ какъ! Ипполитъ женатъ!... отъ души желаю ему счастья... bon enfant, да только ужъ черезчуръ сердечникъ: не можетъ спокойно смотрѣть ни на одну смазливую юбку; такъ и наровитъ побывать, т. е. поблаженствовать подъ ея башмакомъ... А добрѣйшій и честнѣйшій малый... Начитанъ и очень не глупъ.

Пока моя прекрасная гостья говорила, я вспомнилъ про первое мое знакомство съ Меринскимъ въ 1841 году, когда онъ пріѣзжалъ въ отпускъ, будучи лейбъ-уланскимъ штабсъ-ротмистромъ и сослуживцемъ и другомъ Лермонтова. Потомъ черезъ годъ вышелъ въ отставку и поселился въ своемъ имѣніи, въ пяти верстахъ отъ меня. Мы сейчасъ же подружились и видались очень часто. И не разъ слышалъ я тогда отъ него о какой-то петербургской полковницѣ, голубоглазой Лизѣ, необыкновенной красавицѣ, которая была его зазнобою, и съ которою онъ разстался вслѣдствіе какой-то раздирательной семейной драмы. И тогда же онъ привезъ мнѣ тетрадь своихъ стихотвореній, изъ которыхъ указалъ

на одно, о голубыхъ глазахъ, и просилъ меня положить на музыку, что я тотчасъ же и сдѣлалъ. Потомъ этотъ романсъ, со многими другими моими музыкальными грѣхами, былъ напечатанъ тогда Гольцемъ, содержателемъ извѣстнаго въ то время музыкальнаго магазина въ Большой Морской.

Вотъ какія совпаденія и столкновенія порождаютъ иногда сердечные эпизоды и похожденія. Что до моего эпизода съ очаровательной сосѣдкой, онъ продолжался цѣлый мѣсяцъ довольно мирно и въ высшей степени упоительно. Она восторгалась моей музыкой, я восхищался ея обаятельной красотой, и... былъ невыразимо счастливъ. Не желалъ ничего лучшаго. Но вдругъ набѣжала туча, и прогремѣло надъ нашими головами. Вотъ что и какъ случилось. По обыкновенію м-сьё Александръ зашелъ утромъ къ мадамъ Елизабетъ. Она еще нѣжилась въ постели, вмѣстѣ съ своею любимицею Бишкою. М-сьё Александръ присѣлъ на кровать, а шалунья Бишка вытащила изъ подъ подушки платокъ. Ну это и прошло бы незамѣченнымъ, если бы Елизавета Карловна не сконфузилась, не схватила бы въ испугѣ вытащеннаго платка и не засунула бы его торопливо опять подъ подушку. Этотъ испугъ не могъ не быть замѣченнымъ ревнивымъ донельзя офиціальнымъ обожателемъ. Быстро выдернулъ онъ платокъ изъ подъ подушки, развернулъ его и, разсмотрѣвъ мѣтку Н. М., свирѣпо взглянулъ на красавицу и еще свирѣпѣе спросилъ: — Чей это платокъ? — Но близость опасности страшнѣйшей бури мгновенно вдохновила прелестную грѣшницу: она вполнѣ овладѣла собою и преспокойно сказала:

— Ахъ, Александръ! Какъ ты напугалъ меня! Вѣдь ты знаешь, что вчера провела у меня цѣлый день моя кузина и мой задушевный другъ Надя М—ва. Она забыла у меня свой платокъ, положивъ его подъ подушку, когда легла отдохнуть послѣ утомительныхъ утреннихъ визитовъ и разъѣздовъ.

Находчивость Евпиной правнучки спасла все дѣло, т. е. наши музыкальныя упражненія. Ревнивецъ успокоился: грозныя морщины стали сбѣгать съ его угрюмаго чела; а упоительные поцѣлуи роскошной красавицы окончательно разгладили казенный лобъ клейнмихельскаго чиновника. Небо надъ нашими головами прояснилось послѣ минутной «бури въ стаканѣ воды». Но «бѣда не приходитъ одна», говоритъ и русская, и французская пословицы. Недѣли черезъ двѣ разразилась сильнѣйшая гроза, и тоже утромъ. М-сьё Александръ у своей любушки. И вдругъ ея черноглазая 5-ти-лѣтняя смуглянка-дочь и enfant terrible возьми да и спроси:

— Мамаша! Кто это выходилъ отъ насъ вчера утромъ? — Она спала въ дѣтской, возлѣ прихожей, вставала поздно, но на бѣду проснулась тогда ранѣе обыкновеннаго.

— Какъ кто? Дядя Саша.

— Нѣтъ, не онъ. У дяди Саши нѣтъ усовъ, а тотъ былъ съ усами и ростомъ выше.

Картина и буря уже не въ стаканѣ, а въ большущемъ и глубокомъ омутѣ. И долго бушевала эта чиновничья буря. Того же вечера Елена описала мнѣ то бушеваніе. А на другое утро предъявили мнѣ отъ сосѣдки-красавицы слѣдующій ультиматумъ: «Или м-сьё Николя, или м-сьё Александръ? Другаго выхода не было. Дочь мадамъ Д—съ не раздѣляла ея теоріи о многочисленныхъ поклонникахъ, а сверхъ того и м-сьё Александръ былъ лютѣйшимъ и опаснѣйшимъ звѣремъ для предмета совмѣстныхъ поклонниковъ. На случай принятія мною ультиматума препровождался мнѣ длинный реестръ, т. е. бюджетъ полковницы: «На квартиру и столъ столько-то, на туалетъ столько-то, на выѣзды въ оперу и во всѣ прочіе театры столько-то»; и еще, и еще на массу разныхъ предметовъ, крупныхъ и мелкихъ. А въ итогѣ бюджета стояла весьма почтенная цифра. Пробѣжалъ я длинный реестръ съ громаднымъ итогомъ, тяжело вздохнулъ и.... махнулъ рукою, и сказалъ: «Пусть торжествуетъ м-сьё Александръ, я же спускаю свой флагъ и... ретируюсь».

Съ того дня я уже болѣе не видался съ очаровательной сосѣдкой. А если случалось иногда встрѣчаться съ нею на лѣстницѣ, то она бывала подъ непроницаемой вуалью и мы уже не раскланивались, а расходились, словно никогда не были знакомы другъ съ другомъ.

Чудно-очаровательна, обаятельна, восхитительна, упоительна была Елизавета Карловна; но велики и высоки были обязанности, лежавшія на мнѣ: замѣнить мать двумъ сиротамъ, которыхъ былъ я отцомъ. И это тѣмъ болѣе, что ни настоящее, ни будущее мое нисколько еще не было обезпечено: надежды, и только однѣ надежды, исполненіе которыхъ зависѣло не отъ личныхъ моихъ качествъ, не отъ бо́льшей или меньшей пользы, которую приносилъ я дѣламъ моею честною и энергическою дѣятельностію; а отъ минутной прихоти, отъ произвола, отъ каприза разжирѣвшаго и самообожавшаго аферіста и проходимца. Съ другой стороны, я всегда чтилъ всякій долгъ, а тѣмъ болѣе долгъ отца семейства, и ставилъ этотъ долгъ превыше всѣхъ наслажденій, упоеній и коротнихъ знакомствъ съ самыми обаятельными красавицами. И я разорвалъ, растерзалъ свое сердце, облившееся кровью. И не легка была для меня эта жертва. Мрачная, разъѣдающая тоска обуяла меня, впи-

лась, вцѣпилась въ меня какъ коршунъ, словно что-то порвалось въ моей груди, отозвалось нестерпимо-мучительною болью и потомъ заныло, и все ныло и грызло, грызло и ныло день и ночь. Впрочемъ, невещественнаго дня для меня не было, а постоянно кругомъ непроглядная ночь. Все мнѣ опостылѣло: музыка, чтеніе, спектакли, даже посѣщенія мои къ друзьямъ, или друзей ко мнѣ. Но какимъ ангеломъ доброты, незлобія, нѣжности и преданности оказалась милая крошка Елена, дѣлавшая все возможное и невозможное, чтобы, если не утѣшить, то хоть уменьшить, облегчить мои сердечныя страданія! Но все-таки болѣе мѣсяца я не могъ вынести пытки отъ мысли, что въ двухъ шагахъ отъ меня, изъ двери въ дверь живетъ создательница утраченнаго мною земнаго рая, послѣ такого короткаго моего въ немъ пребыванія, и съ такимъ скорымъ изъ него изгнаніемъ. Напросился и настоялъ я тогда на скорѣйшее прекращеніе моего петербургскаго ничего-не-дѣланья, и уѣхалъ изучать пьяныя дѣла, а потомъ и орудовать ими.

Во время жительства моего въ домѣ Шольца случилось у меня столкновеніе съ моими сосѣдями, но съ другой стороны моей квартиры. Тамъ обитали: выгнанный изъ службы пьяный и буйный коллежскій ассесоръ Б — въ, его хорошенькая дочь и экономка-нѣмка. Я былъ невольнымъ слушателемъ бурныхъ ночныхъ сценъ, просто семейнаго разгрома. А наконецъ произошелъ, изъ за моей музыки, рядъ самыхъ комико-драматическихъ сценъ между мною и буйнымъ сосѣдомъ, но сценъ не лицомъ къ лицу, а черезъ общую запертую дверь, такъ что я никогда не видалъ физіономіи пьянаго творца ночныхъ семейныхъ скандаловъ. Все это будетъ разсказано въ 9-й или 10-й книгѣ.

№ 12 bis и № 18.

† Опять Аннета Гесслингъ и + юная тетя Софи Шишилова.

Прошло два года послѣ смерти Саши. Я прозябалъ въ Гжатскѣ и орудовалъ пьянымъ царствомъ. А съ тѣмъ вмѣстѣ ужасно скучалъ и хандрилъ. Одинокая жизнь тяготила меня, была мнѣ невыносима. Все вокругъ меня казалось «мерзостью запустѣнія», отъ которой я съ омерзѣніемъ отворачивался. Я старался смотрѣть вдаль, въ будущее, отъ котораго ожидалъ коренной перемѣны въ своемъ печальномъ существованіи; ожидалъ возвращенія свѣта, тепла и опрятности, т. е. нравственныхъ, законныхъ наслажденій. Мое пылкое сердце томилось жаждою любви,

душа искала женской привязанности. Я мечталъ о новомъ другѣ, съ которымъ могъ бы никогда не разлучаться, дѣлить горе и радость. Пламенное воображеніе рисовало новый и прекрасный храмъ семейныхъ жизни и счастія. Искалъ я божества для этого храма. А между тѣмъ оглядывался порою назадъ: сколько прелестныхъ и часто дорогихъ головокъ, съ голубыми или черными глазами, ласково смотрѣли на меня изъ моего прошедшаго, казалось, манили меня къ себѣ и еще пуще разжигали мое воображеніе и сердце. И вдругъ, изъ всѣхъ этихъ головокъ, утраченныхъ для меня навѣки, съ которыми уже невозможно было снова встрѣтиться на дорогѣ жизни; вдругъ одна изъ нихъ, дѣтски-восхитительная, ярче всѣхъ отдѣлилась, выступила изъ рамы прошлаго, предстала передъ моимъ воображеніемъ, и совершенно живая смотрѣла на меня, улыбалась мнѣ и словно протягивала мнѣ руку и звала къ себѣ. Это была головка большаго ораніенбаумскаго ребенка, очаровательная головка Анеты Гесслингъ. «Нашелъ, нашелъ», воскликнулъ я въ порывѣ вдохновенья и восторга. «Вотъ мое божество, вотъ обитательница, повелительница моего храма; вотъ кому буду я молиться и пѣть хваленія и гимны любви»... Я зналъ, что она была еще не замужемъ, еще дѣвичествовала. Ей было тогда 27 лѣтъ, десятью годами менѣе, нежели мнѣ. Самый подходящій возрастъ къ моимъ лѣтамъ. Сказано, сдѣлано. Въ началѣ марта 1847 г. ѣду въ Питеръ. Первый визитъ къ другу, Ал. Ал. Одинцову, за совѣтомъ. Старый товарищъ вполнѣ одобрилъ мое намѣреніе и сообщилъ мнѣ разныя свѣдѣнія объ Аннетѣ, съ семействомъ которой поддерживалъ старое знакомство. Дѣлаю визитъ ея отцу, Николаю Филипповичу, доктору, извѣстному своею высокою честностію, гуманностію, благодушіемъ и ригоризмомъ правилъ. Онъ жилъ въ Шестилавочной (нынѣ Надеждинская), въ своемъ деревянномъ домѣ. Меня принимаютъ чрезвычайно любезно, радушно, какъ отецъ, такъ и мать съ дочерьми (ихъ было нѣсколько отъ двухъ женъ. Старшая, Александра, была уже давно замужемъ, за Корниловичемъ, бывшимъ капитаномъ Литовскаго полка). Аннета нисколько не перемѣнилась: точно также была молода и свѣжа, какъ и 11 лѣтъ тому назадъ. Только еще выросла, возмужала, сформировалась и развилась въ роскошнѣйшія формы, при высокомъ, стройномъ и гибкомъ станѣ. Словомъ, вышла одна изъ самыхъ обаятельныхъ и симпатично-очаровательныхъ красавицъ, на которую можно было глядѣть, но досыта никогда не наглядѣться и любуясь которою, можно было забыть весь міръ. И все это обаятельное существо было озарено какимъ-то внутреннимъ свѣтомъ, выраженіемъ прекраснѣйшей души, добрѣйшаго сердца и ангельскаго характера. Я былъ ослѣпленъ, увлеченъ, отуманенъ

угаромъ старинной любви, пробудившейся послѣ тринадцатилѣтняго, глубокаго сна. Но, увы!.. Слишкомъ ли круто повернулъ я дѣло любви, шелъ напроломъ, тогда какъ слѣдовало бы дѣйствовать осторожно, не приступомъ, а вести правильную осаду? И, быть можетъ, судьба моя была бы тогда иная. Послѣ двухъ визитовъ въ домъ Гесслинговъ, я написалъ письмо къ отцу, гдѣ сдѣлалъ формальное предложеніе его дочери, и поручилъ моему другу передать его по адресу. Проходятъ два дня мучительной неизвѣстности. На третій получаю отвѣтъ, весьма симпатическій и сочувствующій мнѣ, но тѣмъ не менѣе убившій мои надежды. Старикъ изъявлялъ мнѣ полнѣйшее свое сожалѣніе о томъ, что онъ не могъ назвать меня своимъ сыномъ, потому что онъ предоставилъ дочерямъ полную свободу выбора себѣ спутника въ жизни. И въ настоящую минуту можетъ только скорбѣть всею душою, что воля его дочери противорѣчитъ его искреннимъ желаніямъ. Аннета вышла потомъ за Камышанскаго, капитана Волынскаго полка. Она умерла въ 1860 г., оставя сына и дочь, похожую на мать: хорошенькую, но далеко, далеко не какъ мать. Да, такимъ всесторонне-прекраснымъ женщинамъ, какою была Аннета Гесслингъ, судьба не позволяетъ загащиваться въ здѣшней «Юдоли плача».

Проглотилъ я прекрасно позолоченную пилюлю и, съ разбитымъ сердцемъ, глотая душившія меня слезы, мрачный, убитый возвратился я въ Гчатскъ, гдѣ питейная контора показалась мнѣ еще мрачнѣе и холоднѣе могилы, отвратительнѣе грязнаго острога съ каторжниками, хотя и нашлось, вызвалось прелестное существо облегчить тяжесть давившей меня тоски и, по мѣрѣ возможности, врачевать раны моего сердца.... Но объ этомъ, быть можетъ, скажу нѣсколько словъ ниже. Промаялся я около трехъ мѣсяцевъ, и сталъ понемногу приходить въ себя, покорившись безповоротно-совершившемуся факту, и сказавъ вѣчное прости моимъ завѣтнымъ мечтамъ, моимъ на мигъ воскресшимъ и навѣки умершимъ надеждамъ. Насталъ май. Съ теплымъ весеннимъ воздухомъ стало дышаться легче, отъ сердца поотлегло. Окружавшіе меня мракъ и холодъ стали уменьшаться, чему много содѣйствовалъ чудный блескъ прекрасныхъ темно-голубыхъ глазъ. Отвернувшись отъ прошедшаго, я сталъ смотрѣть въ будущее, въ этого загадочнаго сфинкса бурныхъ, измученныхъ существованій. Что скрывается за этой таинственной завѣсою будущаго, которую страхъ какъ хотѣлось приподнять, взглянуть хоть однимъ глазомъ на то, что скрывается за нею?

Въ концѣ мая опять поѣхалъ я въ Петербургъ, откуда взялъ мою дочь и отвезъ въ Нижегородскую губернію къ ея дѣду и бабушкѣ, куда

потомъ прислалъ я хорошую гувернантку. Пріѣхалъ я къ тестю съ лихорадкою, прогостилъ у него недѣли три, отъ лихорадки выздоровѣлъ, да заболѣлъ было лихорадкою или горячкою сердца, но, по моей некомпетентности въ дѣлѣ медицины, не рѣшу, которою изъ этихъ двухъ болѣзней. Вотъ что и какъ произошло.

Будучи женихомъ Саши, я, въ ожиданіи свадьбы, все лѣто 1837 года прожилъ въ деревнѣ ея отца, въ Сергачскомъ уѣздѣ. Въ числѣ многочисленныхъ родныхъ Саши находился дядя ея отца, а ея дѣдъ, Ал. Петр. Шипиловъ. Домъ его былъ одинъ изъ самыхъ почетныхъ и всѣми уважаемыхъ въ Симбирской губерніи. У этого дѣда Саши было прекрасное имѣніе въ Курмышскомъ уѣздѣ, лежавшее въ живописной мѣстности, съ двумя большими садами. Черезъ одинъ изъ нихъ, обширный, въ родѣ парка, протекала рѣчка, между крутыми берегами, съ мостами лодками, паромомъ. Тамъ были бесѣдки, холмы, горы съ гротами, тѣнистыя аллеи, рощи съ извилистыми дорожками съ лужайками, клумбами цвѣтовъ. Это былъ одинъ изъ очаровательнѣйшихъ садовъ, какіе случалось мнѣ видѣть въ продолженіи моей жизни. Но главное очарованіе этого прелестнаго уголка, этого, можно сказать, земного рая, были его обитатели,—семейство Шипиловыхъ и, въ особенности, глава дома, самъ хозяинъ. Это былъ высокаго роста, бѣлый какъ лунь, но чрезвычайно моложавый и красивый старикъ, человѣкъ идеально честный, добрый, умный, образованный, постоянно привѣтливый и ласковый со всѣми. Любознательный и просвѣщенный, онъ съ любовію слѣдилъ за успѣхами наукъ и художествъ, выписывалъ газеты и множество журналовъ, былъ страстнымъ поклонникомъ изящныхъ искусствъ: стѣны его комнатъ были увѣшаны цѣнными картинами и рѣдкими гравюрами; и каждое изъ искусствъ имѣло по нѣскольку своихъ замѣчательныхъ представителей, образцовъ. А прелестное семейство его было вполнѣ достойно своего главы. Отъ двухъ женъ у него было, сколько помню, два сына и нѣсколько дочерей. Всѣ были очень умны, прекрасно воспитаны, или еще воспитывались. Одна изъ нихъ, Софи, была особенно замѣчательна. Нѣсколько восхитительныхъ дней провелъ я, вмѣстѣ съ Сашею, въ домѣ ея дѣда, во время моего съ нимъ познакомленія. Софи была тогда еще 8-ми лѣтней дѣвочкой. Но эта юная наша тетя уже обращала на себя вниманіе всѣхъ посѣтителей дома отца своею страстію къ фортепьяно и вообще своими музыкальными способностями, а еще болѣе поражала своимъ, не по лѣтамъ, умомъ, который такъ и свѣтился въ ея большихъ, черныхъ, выразительныхъ глазахъ; поражала умными, бойкими отвѣтами. Десять лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ. Я болѣе ни разу

не посѣщалъ дома Шишиловыхъ. И вотъ, послѣ длиннаго періода я вдовцемъ ѣду я къ дѣду покойной Саши, и встрѣчаю тѣ же радушіе и гостепріимство и того же, все еще красиваго и бодраго старика. Кажется ничего не измѣнилось въ домѣ, ничего, кромѣ одного: Софи, изъ 8-ми лѣтняго ребенка, такъ много обѣщавшаго, преобразилась въ прелестную, стройную 18-ти лѣтнюю дѣвицу, сдержавшую съ лихвою все, что обѣщало ея дѣтство. Это было очаровательнѣйшее созданіе, умное, образованное, вполнѣ развитое, полное талантовъ, превосходная піанистка, начитанная, остроумнѣйшая и занимательнѣйшая собесѣдница. Это, какъ видно, была enfant gâté судьбы и природы, которыя сговорились поцарски одарить свою любимицу. И не поскупились: одарили всѣмъ, рѣшительно всѣмъ съ необычайной щедростью.... И послѣ этого, возможно ли было устоять мнѣ? Возможно ли было не вырости пышному цвѣтку любви на почвѣ моего сердца, такъ хорошо подготовленной и разработанной? И выросъ съ изумительною быстротою, и расцвѣлъ этотъ пышный цвѣтокъ, но сейчасъ же и завялъ, и засохъ. На него подулъ холодный, ледяной вѣтеръ равнодушія и неотзывчивости.... Я поспѣшилъ возвратиться въ Гчатскъ, гдѣ снова ожидали меня мракъ и холодъ могилы. Итакъ, въ какихъ нибудь три мѣсяца я пережилъ два жестокихъ пораженія, двѣ убитыя надежды, два разбитыхъ вѣрованія.... Послѣ этого самъ собою рождается вопросъ: что же лучше? Вѣчно ли холодное сердце, незнакомое съ сильными чувствами; вѣчно ровное, нормальное, никогда не заставляющее васъ страдать и плакать отъ несчастной любви; но за то ни разу не давшее вамъ испробовать верховное блаженство: плакать на груди обожаемой женщины отъ восторга и упоенія пламенной и взаимной любви, обливать слезами этой любви и благодарности руки и ноги боготворимаго существа, уносящаго васъ въ надзвѣздныя выси нечеловѣческаго, неземнаго счастія. Или лучше сердце, въ которомъ все дѣлается наоборотъ; сердце, заставляющее васъ иногда горько плакать отъ любовной невзгоды; но за то порою уносящее васъ на седьмое небо невыразимаго блаженства раздѣляемой любви; блаженства, которое доступно однѣмъ только избраннымъ натурамъ, а не разночинцамъ ума и сердца; блаженства, котораго онѣ не отдадутъ за всѣ земныя почести и которое позволяетъ имъ предвкушать блаженство небожителей?

Теперь замѣчу еще: между различными категоріями людей есть двѣ слѣдующія: одни, которые угадываютъ, постигаютъ и опредѣляютъ характеръ и требованія даннаго момента однимъ умомъ, или умомъ, а потомъ провѣряютъ сердцемъ и, вслѣдствіе этой провѣрки, многое изъ своихъ воззрѣній и рѣшеній измѣняютъ, или вовсе отмѣняютъ. Другіе,

которые угадываютъ и опредѣляютъ однимъ сердцемъ, и только иногда провѣряютъ умомъ. Первые рѣдко ошибаются, рѣдко терпятъ неудачи и разочарованія, и потому рѣдко страдаютъ. Вторые часто впадаютъ въ ошибки, терпятъ неудачи и безпрестанно разочаровываются и страдаютъ. Увы! Я принадлежалъ ко второй категоріи: и часто, и много разочаровывался и страдалъ. Говорятъ: «языкъ мой — врагъ мой». А я долженъ сказать: «сердце мое — врагъ мой». Охъ, ужъ это мнѣ сердце! Натворило оно мнѣ не мало бѣдъ и горя.... Но за тоже и доставляло мнѣ не разъ минуты, часы, дни и мѣсяцы высокаго, неземнаго счастія. А есть еще, и цѣлый легіонъ такихъ индивидуумовъ, въ особенности изъ міра дѣловаго да изъ молодаго поколѣнія, которые порѣшили, что сердце — вещь совершенно лишняя и что его слѣдуетъ выбросить за бортъ, какъ вовсе ненужный и даже вредный баластъ. Ну и выбросили, и живутъ себѣ, процвѣтаютъ и блаженствуютъ безъ сердца, съ однимъ умомъ.... и хорошо, еслибы еще съ умомъ; а то нанчаще съ.... отрицаніемъ да съ безуміемъ. Упомяну еще объ одной Софи К — ной. Но это былъ уже не любовный эпизодъ, а сватовство. Мнѣ навязывали дочь одного откупщика и золотопромышленника, и хотѣли женить меня на ней по слѣдующимъ соображеніямъ: 1-е, за ней давали 12,000 р. годоваго дохода; 2-е, она имѣла 18 лѣтъ, большіе, прекрасные черные глаза и была очень недурна собою; 3-е, и это главное, хотѣли, чтобы я взялъ въ свои энергическія руки и поправилъ разшатанныя дѣла ея отца, прекраснѣйшаго, но вовсе не дѣловаго человѣка, предпочитавшаго всякимъ дѣламъ свой изящный комфортъ, свой безпятежный кейфъ съ жизнію то въ Парижѣ, то въ Петербургѣ, съ посѣщеніями итальянской оперы и Михайловскаго театра; свою карету парижской работы съ орловскими рысаками, и наконецъ своихъ многочисленныхъ пріятелей и знакомыхъ, которые любили его за его высокую честность, за прекрасный, веселый характеръ, добрѣйшее сердце и за умѣнье разсказывать анекдоты, запасъ которыхъ былъ у него неистощимъ. Подъ предлогомъ путешествія для обозрѣнія Южной Россіи, меня привезли въ одинъ изъ главныхъ ея городовъ, прямо въ пышную резиденцію милліонера, отца предназначаемой мнѣ невѣсты. И вотъ начинается рядъ удивительныхъ обѣдовъ, ужиновъ, закусокъ съ дорогими винами и прочими питіями, съ тонкими гастрономическими вкусностями. Катали меня по городу и за городомъ въ великолѣпныхъ экипажахъ, на многотысячныхъ лошадяхъ, управляемыхъ кучеромъ-артистомъ, получавшимъ чуть ли не генеральское жалованье. И все это ни къ чему не повело. Возвратился я въ Петербургъ точно такимъ же, какимъ и вы-

ѣхалъ изъ него, т. е. вольной птицей, а не женихомъ. Но проектъ сватовства не умеръ, а ожилъ съ новою силою. За мною ухаживали, меня холили, безпрестанно возили въ Итальянскую Оперу, а оттуда къ Дюссо, на тонкій, изящный ужинъ въ кругломъ кабинетѣ. Усадятъ меня кежду предполагаемымъ тестемъ и сватомъ, который то и дѣло нашептываетъ мнѣ на ухо: «Скажи *да*, и я пойду сватать, отказа не будетъ, ручаюсь за это, и 12 тысячъ р. въ годъ на первый разъ, а послѣ будешь получать вдвое, а быть можетъ и втрое. Ну, говори *да!*» Но увы! Ожидаемое и сильно желаемое *да* не срывалось съ моего языка, потому что во 1-хъ: я не имѣлъ ни малѣйшаго понятія ни объ умѣ Софи К—ной, ни о сердцѣ, ни о характерѣ, ни даже о звукѣ ея голоса, потому что я видѣлъ ее только одинъ разъ, и то мелькомъ, во время обѣда у ея бабки и не могъ ни слова сказать ей, сидя не возлѣ нее, а на противоположномъ концѣ стола. Во 2-хъ: вступая съ ней въ бракъ, я не могъ бы знать, нравлюсь я ей, или противенъ, потому что въ русскомъ торговомъ мірѣ, даже между милліонерами, не принято, не въ правилахъ спрашивать у своихъ дѣтей, нравится имъ, или нѣтъ, высватанные для нихъ женихъ или невѣста. «Вотъ тебѣ женихъ», или «вотъ тебѣ невѣста», изрѣчетъ гильдейскій родитель, и ни дочь, ни сынъ не смѣютъ пикнуть, что предлагаемое имъ не по сердцу. Да «по сердцу родителя, ну и шабашъ». А то не хочешь ли попробовать родительскаго кулака, а то и просто палки или плети. И это бывало; и объ этомъ слыхали мы. Наконецъ въ 3-хъ, и это главное—у меня была уже въ умѣ и въ сердцѣ другая Софи, въ Москвѣ, тоже съ прекрасными черными глазами, съ очаровательнымъ личикомъ ослѣпительной бѣлизны, съ необыкновеннымъ румянцемъ во всю щеку и съ чисто античнымъ бюстомъ. Правда, за нею не только двѣнадцати тысячъ годоваго дохода, но и всего-то приданаго капитала было менѣе половины дохода Софи гильдейской. За то я былъ знакомъ съ московскою Софи уже болѣе двухъ лѣтъ, и вполнѣ узналъ и оцѣнилъ ея свѣтлый умъ, прекрасный характеръ и ангельское сердце.

Итакъ, меня возмущала, ужасала одна мысль о томъ, что я могъ жениться на дѣвушкѣ, которой я противенъ, но которая, затаивъ въ душѣ свое отвращеніе ко мнѣ, принуждена будетъ протянуть мнѣ свою руку и сказать «да», когда тысячу «нѣтъ» сорвалось бы съ ея языка, если бы не страхъ, что бабушка разложитъ ее да и постегаетъ маленько но больненько... Не смѣйтесь, защитники гильдейскихъ обычаевъ. Это водилось въ сороковыхъ годахъ. Я слышалъ объ этомъ, и не разъ, отъ самыхъ правдивыхъ людей, и говорю не «A priori, но A posteriori!»

Про теперешніе гильдейскіе обычаи не знаю. Знаю только, что продать дурную вещь за хорошую, содрать вдвое, а если можно, то и втрое; порою обмѣрить, обвѣсить и обсчитать водилось еще не такъ давно, да пожалуй и теперь еще водится, не у всѣхъ, а лишь у нѣкоторыхъ гостинодворцевъ, апраксинцовъ и, въ особенности, въ мрачныхъ ущельяхъ московскаго гостиннаго двора.

Послѣ мѣсяца безплодныхъ поѣздокъ въ итальянскую оперу и угощеній у Дюссо, я въ одно прекрасное утро собрался въ путь, простился со сватомъ и псевдо-другомъ и уѣхалъ въ Москву. Псевдо-другъ очень и очень поморщился отъ неудовольствія за неудавшійся планъ женить меня на гильдейской барышнѣ, съ 12,000 годоваго дохода и ради спасенія гильдейскихъ интересовъ. Да, очень сильно поморщился мой псевдо-другъ и не простилъ мнѣ этого: онъ никогда и никому не прощалъ ни малѣйшаго оскорбленія его мелочнаго, разночиннаго самолюбія и чудовищнаго тщеславія. Ну и насолилъ (чтобы не сказать напакостилъ) мнѣ потомъ этотъ псевдо-другъ, и еще болѣе псевдо-порядочный человѣкъ, какъ это будетъ видно въ одной изъ будущихъ книгъ «Воспоминаній». Впрочемъ, все это сватанье и все это накощенье подробно описаны въ «Задушевной Исповѣди» и въ романѣ «Поддѣльщики».

№ 19.

† Софи Богаевская.

Вся грустная исторія этой любви подробно ярко описана въ «Задушевной Исповѣди» и въ «Поддѣльщикахъ». Поэтому и не описываю ее въ этой хроникѣ. Можетъ быть послѣ поговорю о ней.

№ 20.

† Лидія Александровна Звольская.

Героиня «Банка Тщеславія» подъ псевдонимомъ. Не глава, а цѣлая вторая часть романа и пятая книга «Воспоминаній» посвящены исторіи этой безумной моей любви подъ заглавіемъ: «Зловѣщая комета».

№ 21.

* * *

Это, говоря по правдѣ, была даже не любовишка, а просто не болѣе какъ проба гомеопатическаго средства: «клинъ клиномъ выбивать», т. е.

попытка выбить изъ меня «Зловѣщую Комету», «Лидію Александровну Звольскую» томъ. Дѣло было въ провинціи. Но послѣ первой же пробы, клинъ сломался: оказался гнилымъ, негоднымъ ни на что, кромѣ какъ увеличивать доходы косметическихъ магазиновъ, ради ремонтированія своихъ поблекшихъ ланитъ, а съ тѣмъ вмѣстѣ, увеличивать, собирать, пересчитывать и укладывать въ копилку и свои собственные доходы съ имѣнія.

№ 22.

У-ръ · аркъ.

Вторая попытка гомеопатической системы. Роль клина приняла на себя въ Петербургѣ жена одного путейца, врозь съ мужемъ, пикантнѣйшая дама, въ особенности издали, или вечеромъ. Двѣ встрѣчи съ нею въ одномъ домѣ. Два оживленныхъ разговора. Два нонхъ письма, разумѣется на французскомъ діалектѣ и предлиннѣйшія, съ достодолжнымъ пафосомъ. Первое сдѣлало брешь; послѣ втораго ворота крѣпости растворились настежь и гарнизонъ положилъ оружіе и сдался «à discrétion» (на волю побѣдителя). Два рандеву и... полнѣйшее разочарованіе. Клинъ оказался хотя и не гнилымъ, но шероховатымъ отъ долгаго употребленія. И затѣмъ... «скорѣй въ охапку кушакъ да шапку».

№ 23.

+ Софи (Ангеловна) Гемаръ.

Видно имени Софія назначено было преобладать въ судьбахъ моей жизни. Это—дивно прекрасная женщина. Это—воплощеніе ангела, посланное на краткій срокъ на землю для того, чтобы, давъ понятіе о женскомъ совершенствѣ, изумить, ослѣпить своею лучезарною красотою тѣхъ, кто имѣлъ счастіе приблизиться къ ней и хотя мелькомъ взглянуть на нее; и затѣмъ, блеснувъ ярче полуденнаго солнца, закатиться на вѣки, т. е. возвратиться въ свою небесную отчизну. Дивная эпопея высокой любви между этимъ женскимъ идеаломъ и мною, эпопея не сочиненная, но истинная, взятая прямо изъ жизни и въ которой малѣйшая подробность исторически вѣрна; эта эпопея составитъ сюжетъ 6-й книги, озаглавленной *Потерянный Рай*.

ЭПИЛОГЪ.

№№ 24, 25, 26 и 27.

+ Даша и три сильфиды: × Катя, + Маша и × Элеонора.

Итакъ, разсказывая про любови № 12 bis и № 18, я вспомнилъ еще о четырехъ, не лишенныхъ интереса и заслуживающихъ быть разсказанными. Первая изъ четырехъ была Даша, почти моя ровесница (двумя годами старѣе меня), распрехорошенькая камеристка моей тетушки, средняго, но чрезвычайно стройнаго роста, сложена прекрасно, съ черными какъ смоль волосами и такими же черными, большими, умными, выразительными и плутовскими глазами; ловкая, веселая, бойкая умница, хохотунья и страшнѣйшая насмѣшница, но не злая. Объ ней упомянулъ я вскользь въ 7-й книгѣ «Воспоминаній», при разсказѣ о томъ, какъ, встрѣтясь съ нею въ прихожей, чуть было не подошелъ я къ ней къ ручкѣ, принявъ ее за тетушку, которую, послѣ своей свадьбы, дядя привезъ изъ Москвы въ Варшаву. Эта новая тетушка сильно разочаровала меня тогда, такъ что, сравнивая съ прелестною Дашею ее, вовсе не прелестную, а совершенно напротивъ, я невольно подумалъ: «Отчего не Даша моя тетушка? Хотя и простая горничная, но вѣдь она несравненно лучше своей госпожи, урожденной княжны?» Такъ думалъ 13-тилѣтній отрокъ. Точно также думалъ онъ и позднѣе, будучи взрослымъ. Да пожалуй и теперь не перемѣнилъ своего мнѣнія о Дашѣ и о тетушкѣ съ разнокалиберными глазами и грузинскимъ носомъ, хотя и той, и другой нѣтъ уже на свѣтѣ. Вотъ что значитъ твердость убѣжденій въ такихъ серьезныхъ дѣлахъ, какъ хорошенькія Даши, да невзрачныя тетушки, да... да не лавровые вѣнки, а висѣлицы для цареубіцъ. Эта самая Даша, въ продолженіи многихъ лѣтъ, играла мною какъ игрушкою, дразнила меня, давала мнѣ жестокіе щелчки въ носъ, кипятила мою юношескую кровь и много разъ доводила до отчаянія, до слезъ, до изступленія, пока наконецъ.... Впрочемъ, чтожъ? Вѣдь я исповѣдуюсь и это уже моя послѣдняя, предсмертная исповѣдь, такъ нечего вилять, слѣдуетъ покаяться и признаться во всемъ: я былъ влюбленъ въ хорошенькую и умненькую Дашу, которую передъ тѣмъ желалъ имѣть своею тетушкою. Да, я крѣпко, сильно любилъ ее, и много разъ горько плакалъ отъ ея щелчковъ, т. е. отъ насмѣшекъ, порою очень колкихъ. Лермонтовъ сказалъ, что будто бы «вѣчно любить невозможно». Не знаю, правда ли это, но знаю навѣрно, по опыту, что «невозможно вѣчно пла-

кать», потому и я плакалъ отъ Даши не вѣчно. А когда потомъ, много лѣтъ спустя, послѣ освобожденія моего изъ плѣна, пріѣхалъ я въ домовой отпускъ, Даша продолжала быть камеристкой моей тетушки, ни на волосъ не измѣнилась, нисколько не постарѣла и была такая же хорошенькая, живая, веселая и насмѣшливая, какъ и въ Варшавѣ; но только ни единаго щелчка не дала тогда въ мой носъ, никогда не насмѣхалась, а давала щелчки и надмѣхалась надъ всѣми искателями ея руки и сердца, постоянно имъ отказывала и предпочла замужеству свое дѣвичество... Случаются же иногда такія оказіи, такія, хотя и весьма рѣдкія, предпочтенія. Не даромъ сказано: «На свѣтѣ дивныя бываютъ приключенья» (читай «предпочтенія»).

Теперь слѣдуютъ три сущія сильфиды, съ тонкимъ, гибкимъ станомъ, съ лебедиными шеями, роскошными бюстами, бѣлокурыя и съ прекрасными глазами, буквально темно-голубыми, какъ небо Италіи. И были онѣ словно три родныя сестры-близнецы, хотя никогда не видѣли одна другую, даже не знали о существованіи другъ друга, были совершенно различныхъ «племенъ, нарѣчій, состояній», и являлись мнѣ, какъ видѣнія, не въ одно время, а въ разныя, слѣдующія одна за другой эпохи моей жизни. Первая изъ нихъ—Катя; сильфидообразная, притягательно-хорошенькая, но горделиво-капризная Катя, на которую такъ умильно смотрѣли и засматривались нѣкоторые петербургскіе селадоны, знакомые моего шурина; но только засматривались, вздыхали да облизывались. Сама же Катя ни на кого не засматривалась, ни на кого, кромѣ... меня, съ которымъ бывала лишь изрѣдко и нѣсколько капризна, но нисколько не горделива, а отзывчива; тогда какъ съ другими постоянно была и горда, и пренебрежительно-неотзывчива. Потомъ уѣхала изъ Петербурга въ деревню къ отцу и вышла замужъ за... моего кучера... sic transit gloria mundi (такъ исчезаетъ слава свѣта).

Вторая сильфида—Маша въ Гжатскѣ, дочь конторскаго сторожа; симпатично-прелестная Маша, эѳирная, бѣлокурая, тоже съ огненнымъ оттѣнкомъ волосъ, какъ у Кардеваль, съ томными темно-голубыми глазами. И былъ я другомъ этой Маши, а Маша была вся составлена изъ нѣги, изъ упоенія, изъ страсти, и, съ тѣмъ вмѣстѣ, была она олицетвореніемъ кротости и доброты. И какъ искусно, легко и неотразимо умѣла она вызывать потоки страстныхъ, опьяняющихъ поцѣлуевъ; а сама вся трепещущая подъ этими бурными, огненными потоками, жадно изъ нихъ пила, упивалась льющимися на нее поцѣлуями и обвивала своего друга словно плющемъ, своими непритворными, упоительными, разжигающими ласками. И приняла на себя эта упоительная Маша высокую, гуманную

миссію лечить меня отъ мрачной хандры по возвращеніи моемъ изъ неудачной сердечной кампаніи въ Петербургѣ, вызвалась быть моимъ ангеломъ-утѣшителемъ. Ухаживала она за мною съ полнѣйшимъ самоотверженіемъ, съ нѣжною заботливостью самой любящей, преданной сестры. Продолжала ухаживать также и по во возвращеніи изъ другой неудачной кампаніи въ Симбирской губерніи; продолжала до самой второй моей женитьбы. И какъ ласково, любовно и вопросительно смотрѣла она мнѣ въ глаза своими кроткими темноголубыми глазами, и старалась угадать, предупредить мои желанія? Какія простыя, наивныя, но теплыя, нѣжныя слова находила она въ своемъ прекрасномъ, не испорченномъ и сострадательномъ сердцѣ, чтобы разгладить морщины на моемъ мрачномъ челѣ, вызвать улыбку на мои уста, а изъ этихъ устъ вызвать потокъ страстныхъ поцѣлуевъ и упиться ими до головокруженія. Да! въ жизни избранныхъ страдальцовъ бываютъ моменты, окупающіе пережитое горе, съ лихвою награждающіе за мужественно перенесенныя утраты и страданія. А потомъ какъ восторгалась она отъ моей горячей къ ней дружбы, какъ наивно гордилась ею! И какъ нѣжно, горячо благодарила меня за мою чисто отеческую заботливость о ея будущемъ! Гдѣ-то ты теперь, добрая, милая, упоительная Маша? Гдѣ ты и что съ тобою? Если ты жива, то вѣроятно уже давно завяли, засохли дивно прекрасныя розы и лиліи на твоихъ горячихъ щекахъ. Но не завяло, не умерло мое о тебѣ воспоминаніе: оно живетъ. Можетъ быть у тебя есть дочь, такая же какъ и ты, красавица и ангелъ сердцемъ! Да пребудетъ же надъ нею и надъ тобою благословеніе Божіе. А я... я могу лишь почтить твою память нѣсколькими слезами искренней, глубокой благодарности, и послать вамъ обѣимъ мое заочное, старческое, дружеское благословеніе.

Наконецъ третья, настоящая сильфида: восхитительная и таинственная Элеонора, въ Эртелевомъ Переулкѣ, на углу котораго жилъ я въ нижнемъ этажѣ дома Шляндера въ 1857 году. Однажды, въ мой отличный эллиптическій бинокль, усматриваю эту красавицу, глазѣющую изъ окна на улицу. Она занимала рядъ комнатъ въ нижнемъ жильѣ дома, наискосокъ моей квартиры. Тотчасъ же беру шляпу и прохожу раза два мимо прелестной незнакомки. Въ слѣдующіе дни повторяю по нѣскольку разъ этотъ маневръ и кончаю тѣмъ, что знакомлюсь съ этою сильфидою номеръ третій. Но кто она, откуда, для чего жила въ Петербургѣ, это осталось для меня тайною, которую и не пытался я разгадывать. Для меня довольно было знать, что эта прелестная нѣмочка носила звучное имя Элеоноры и была рѣдкой обаятельной красоты молодая женщина. Да и въ томъ, была ли это нѣмка, или другой націо-

нальности, *я* не былъ увѣренъ, потому что она прекрасно говорила по-русски, понѣмецки и пофранцузски; была превосходно образована, съ изящными, мягкими манерами, хорошо знакома съ произведеніями лучшихъ нашихъ поэтовъ, зачитывалась ими и вообще внимательно и съ любовію слѣдила за ходомъ современныхъ беллетристики и событій. Любила она страстно музыку и восторгалась моею гитарою и декламаціею стиховъ. Въ особенности понравилось слѣдующее стихотвореніе, которое, по ея просьбѣ, не разъ продекламировалъ я ей, и потомъ вписалъ въ ея альбомъ. Такъ какъ мнѣ не случалось встрѣчать въ антологическихъ сборникахъ это стихотвореніе, восхитившее таинственную красавицу, то я и позволяю себѣ вписать его въ эту главу.

Сѣдлайся вновь конь крѣпкій мой,
Затѣмъ снова жизнь степную;
Мнѣ опостылъ аулъ родной,
Я въ немъ безъ пользы истоскую.

* * *

Слыву наѣзникомъ лихимъ,
Меня зовутъ Огнемъ-Омаромъ.
Да! шашки лезвіемъ крутымъ
Не разсѣкалъ я воздухъ даромъ.

* * *

Земли не задѣвалъ свинцомъ,
На вѣтеръ пороху не тратилъ,
Не мчался робкимъ бѣглецомъ:
Лишь смертью съ недругами ладилъ.

* * *

И вотъ задумалъ бросить я
Приволье жизни одинокой,
Моихъ наѣздничествъ края
И все забыть для черноокой.

* * *

Но сакли гордая краса
Не поняла любви свободной
И, пламенный какъ небеса,
Я презрѣнъ дѣвою холодной.

* * *

Пускай изнѣженный уздень
Ея любовь подкупитъ златомъ;
Мнѣ дѣвы жаль: настанетъ день,
Сгруснется ей во снѣ богатомъ.

* * *

Наскуча роскошью нарчей,
Душа прямой любви запроситъ.
Слухъ дивныхъ дѣлъ дойдетъ до ней,
И дѣва взоръ съ унынъемъ броситъ

* * *

На хладный панцырь узденя,
На шашку сжатую ножнами;
И поздно, жребій свой кляня,
Зальется горькими слезами.

* * *

О дѣва, вспомнишь обо мнѣ,
Но я умчусь въ странахъ далекихъ
На богатырскомъ летунѣ,
Въ волненьи думъ моихъ глубокихъ.

* * *

Отвага закипитъ въ крови,
Меня богъ брани не покинетъ, —
И жаръ обиженной любви
Подъ хладнымъ панцыремъ остынетъ.

Извѣстно было мнѣ о таинственной красавицѣ только слѣдующее: въ извѣстные дни и часы никто не могъ войти не только въ ея залъ, но даже въ переднюю, никто, кромѣ одного, тоже какого-то таинственнаго лица. И я строго соблюдалъ этотъ зарокъ, и даже мимо ея оконъ не проходилъ тогда. Въ 1858 году я перемѣнилъ квартиру, незнакомка тоже, и мы болѣе уже не встрѣчались.

Необъяснимо, загадочно сердце человѣческое вообще, а женское въ особенности. Полюбитъ страстно, беззавѣтно кто либо и какую нибудь женщину, и не то что красавицу, а такъ себѣ, и будь онъ не старикъ и не уродъ, а въ порѣ и недуренъ собою, и не дурной, а хорошій человѣкъ; принеси онъ ей въ жертву все, свое богатство, почести, славу, если такая имѣется; предлагай ей сдѣлаться ея покорнымъ рабомъ, лишь бы пользоваться ея благосклонностью. Но если онъ чѣмъ нибудь ей не понравился, часто изъ каприза, изъ за прихоти, — она оттолкнетъ и его, и все, что онъ положитъ къ ея ногамъ. Но иногда вдругъ кто нибудь ей понравится, ни съ кожи, ни съ рожи; плѣнитъ ее не умомъ, не талантами, не подвигами, а пустяками, хорошо повязаннымъ галстукомъ; и она полюбитъ его и, очертя голову, бросится въ его объятія. C'est terrible, mais c'est vrai. Такова ужъ нелогическая натура еввиныхъ правнучекъ.

Чѣмъ же я, 47-ми лѣтній вдовецъ, могъ плѣнить молодую, умную, образованную красавицу, плѣнить и увлечь?.. Игрою на гитарѣ и декламаціею. Правда, игра моя далеко выходила изъ ряда обыкновенныхъ, а декламировалъ я съ глубокимъ чувствомъ, какъ русскіе, такъ и французскіе стихи, въ особенности нѣкоторые монологи, какъ напримѣръ, изъ Гораціевъ Корнеля:

«Rome, l'unique objet de mon ressentiment!
Rome, à qui vient ton bras d'immoler mon amant».

Или изъ Ореста Детуша:

«Effroyable ascendant d'un pouvoir ennemi!
J'ai donc assassiné ma mère et mon ami!»

Но вѣдь это—все вещи обиходныя, заурядныя. Да и самыя-то отношенія между Элеонорою и мною были болѣе или менѣе эфемерны и не имѣли характера глубокаго, сильнаго чувства. Впрочемъ, въ этомъ эпизодѣ много помогло мнѣ глубокое знаніе науки любви, полный курсъ которой прошелъ я въ Варшавѣ между двумя красавицами, №№ 5 и 6; помните, читатель! Это глубокое знаніе помогало мнѣ во многихъ другихъ, выходящихъ изъ ряда обыкновенныхъ, любовныхъ эпизодахъ, съ красавицами, тоже не заурядными, какъ, наприм., «Іогася, Лидія Александровна, Елизавета Карловна».

Между тѣмъ любовь моя къ Аннетѣ Гесслингъ была страсть истинная, глубокая, безпредѣльная. И мнѣ было не 47, а 23 года, когда я былъ увлеченъ бурнымъ потокомъ молодой страсти въ какія-то отдаленныя и невѣдомыя страны новыхъ боговъ, новыхъ вѣрованій, богослуженій, боготвореній. И мнѣ можно было примѣнить къ себѣ вполнѣ и по всей справедливости стихи В. Гюго, помѣщенные въ «Библ. для Чт.», въ переводѣ Деларю:

Когда бъ я Богомъ былъ, селеньями святыми
Клянусь! я отдалъ бы прохладу райскихъ струй,
И сонмы ангеловъ съ ихъ пѣснями живыми,
Гармонію міровъ и власть мою надъ ними
За твой единый поцѣлуй *).

*) Въ 1847 году, подъ вліяніемъ любви къ моей невѣстѣ, я написалъ, въ подобномъ родѣ, нѣсколько строфъ, и нисколько не гиперболичнѣе строфъ В. Гюго, но только прозою, и послалъ тогда изъ Москвы въ Петербургъ къ моему псевдо-другу. И что-жъ? Онъ наругался надъ моею поэтическою прозою,

Да! и я отдалъ бы тогда весь земной шаръ, всю солнечную систему, всю вселенную за взглядъ, за поцѣлуй Аннеты. Обнять, поцѣловать, получить взаимный поцѣлуй любви, зарыдать отъ восторга и.... пасть подъ развалины вселенной... А потомъ, когда эта всепоборающая страсть проснулась послѣ 13-ти-лѣтняго сна и была, такъ сказать, освящена болѣе, нежели десятилѣтнею давностію, то мнѣ было все таки не болѣе 37-ми лѣтъ, а не 47, какъ въ домѣ Шляндера. И что жъ? Лавровый вѣнокъ 47-ми-лѣтнему селадону за эфемерное чувство, и вѣнокъ терновый 23 лѣтнему юношѣ и затѣмъ 37-ми лѣтнему, полному силъ человѣку за его глубокую, пламенную, испытанную любовь.

При семъ удобномъ случаѣ приведу нѣсколько афоризмовъ, вѣрно опредѣляющихъ подругу нашей жизни.

«Всегда найдется сказать о женщинахъ что нибудь новое, пока хоть одна останется на земномъ шарѣ» *(De Boufflers)*.

«Женщина!.. Только одинъ Богъ можетъ знать ее» *(S. Dubay)*.

«Не такъ трудно побѣдить добродѣтель женщины, какъ ея отвращеніе *(Beauchêne)*».

«Женщина можетъ скорѣе полюбить человѣка, котораго она ненавидитъ, нежели того, котораго она видитъ, не обращая на него вниманія *(Chabanon)*».

«Женщины всего менѣе жалѣютъ о тѣхъ страданіяхъ, которыя претерпѣваютъ для нихъ *(Id.)*».

«Женщины походятъ на государей: часто путемъ докучливости получаютъ отъ нихъ то, что не получили бы путемъ благосклонности *(Lévis)*».

«Женщины не прочь, чтобы ихъ нѣжно любили, но онѣ хотятъ, чтобы ихъ забавляли; и кто дѣлаетъ одно безъ другаго, тотъ ничего не дѣлаетъ» *(Fontenelle)*.

«Женщины предпочитаютъ даже то, чтобы ихъ забавляли не любя, тому, чтобы ихъ любили не забавляя» *(Id.)*.

вмѣнилъ мнѣ ее въ преступленіе и за это порвалъ дружескія со мною связи, сказавъ въ концѣ своего *обвинительнаго по пунктамъ* письма: «хороню на всегда слово ты». Каково кабацкое пониманіе поэтическаго восторга (см. Задушевную Исповѣдь, гл. VI). Счастье В. Гюго, что онъ никогда не былъ въ Петербургѣ. Не сдобровать бы ему. Вѣроятно, что за вышеприведенную строфу тогда бы всенепремѣнно:

Его кабацкій нашъ Зоилъ
Позорной смертію казнилъ.

«Красивыя женщины часто походятъ на большіе города, которыми легко овладѣть, но которые трудно сохранить» *(Boiste)*.

«Въ любви женщины заходятъ далѣе мущинъ, но въ дружбѣ мущины берутъ надъ ними верхъ» *(La Bruyère)*.

«Женщины даютъ дружбѣ лишь то, что онѣ занимаютъ у любви» *(Chamfort)*.

«Женщины всегда постояннѣе въ ненависти, чѣмъ въ любви *(Goldoni)*.

«Нельзя быть другомъ женщины, когда можно быть ея любовникомъ *(Mainard)*.

«Женщины дѣлаютъ изъ своихъ любовниковъ лишь холодныхъ друзей, или враговъ» (***).

«Когда хочешь писать о женщинѣ, надо обмакнуть перо въ радугу и стряхнуть пыль съ крыльевъ бабочки» *(Diderot)*.

«Женщина, это — кушанье, достойное боговъ, если только чортъ не приправитъ его» *(Caldéron)*.

«Не ставьте женщину между ея долгомъ и нарядомъ» *(Pythagore)*.

«Кто умѣетъ укротить женщину, тотъ не будетъ бояться непріятельскихъ выстрѣловъ» *(Flacher)*.

«Женщины бываютъ кокетками, когда онѣ хороши собою, и брюзгами, когда онѣ благонравны» *(Boiste)*.

«Не ждите хорошаго пріема отъ женщины, недовольной своимъ туалетомъ» *(Id.)*.

«Хорошенькія женщины умираютъ дважды» *(Id.)*.

«Нѣтъ существа несноснѣе бывшей хорошенькой женщины» *(Id.)*.

«Сила женщинъ состоитъ въ ихъ безсиліи» *(Id.)*.

«У многихъ женщинъ честность есть не иное что, какъ лѣность, или недостатокъ темперамента» (***).

«Женщины могутъ превозмочь свои страсти скорѣе, чѣмъ свое кокетство» *(La Rochefoucauld)*.

«Женщины слишкомъ хитры для того, чтобы быть откровенными» (***).

О память, моя память! Какая же стала ты упрямая и скупая! Бывало, по первому призыву, ты воскрешаешь и возвращаешь все, что было положено въ тебя на храненіе. А теперь? Какъ старый скряга, только послѣ величайшихъ усилій и просьбъ, рѣшаешься ты выдавать изъ своего хранилища, да и то скупо, по мелочамъ, не торопясь, фактъ за фактомъ. И вотъ сейчасъ вспомнилъ я еще объ одномъ эпизодѣ 1834 и 1835 годовъ, эпизодѣ вполнѣ достойномъ быть внесеннымъ въ эту «Хро-

нику». Живу я у дяди, близъ Солигалича. А въ Солигаличѣ живетъ Ирина, жена одного мѣщанина, жившаго постоянно въ Петербургѣ на заработкахъ и кажется гуляки, бросившаго свою жену на произволъ судьбы и добрыхъ людей. Это была молодая женщина, высокая, стройная, дивно сложенная, съ густою, длинною темнорусою косою, съ выразительными, или какъ говорятъ, масленими карими глазами съ поволокою, чрезвычайно красивая и чрезвычайно возбудительная; при людяхъ апатичная, застѣнчивая, робкая какъ дѣвочка, съ опущенными долу очами; а самъ-другъ—смѣлая, страстная, съ глазами широко раскрывшимися, вызывающими, загорающимися огнемъ долго сдерживаемой страсти и обѣщающими цѣлый міръ упоеній и восторговъ тому счастливцу, который съумѣлъ бы растопить, не природную, а напускную ледяную кору, облекавшую сердце солигаличской красавицы. Но эта мѣщанская краса была холодна, какъ ледъ, неумолимо сурова и недоступна для всѣхъ солигалическихъ вздыхателей и обожателей: въ чуйкахъ, сюртукахъ и даже во фракахъ (мѣстной постройки) и въ перчаткахъ (фильдекосовыхъ, разумѣется); обожателей плейбейскихъ, гильдейскихъ и дворянскихъ, напрашивавшихся въ утѣшители покинутой, заброшенной красавицы, и обѣщавшихъ услаждать ея одиночество. И повторила эта заброшенная Ирина въ Солигаличѣ игру Даши въ Варшавѣ, игру въ щелчки. Но тамъ щелчки давались въ носъ одному только юношѣ, а здѣсь—всѣмъ соискателямъ, всѣмъ, кромѣ одного... съумѣвшаго растопить ледяную кору и разбудить спящее сердце красавицы. И то лишь послѣ долгой и упорной борьбы. За то же и побѣда была полная, блистательная. И трофеи солигаличскаго тріумфатора были несравненно обаятельнѣе, заставляли биться его сердце отъ несравненно большихъ гордости и счастія, нежели трофеи тріумфаторовъ римскихъ.

Итакъ, къ 27-ми медалямъ слѣдуетъ прибавить еще одну. Спрашиваю: найдется ли между служителями Марса и Беллоны хоть одинъ такой герой, который былъ бы украшенъ 28-ю медалями? А между служителями Купидона нашелся: это—вашъ покорнѣйшій слуга. Чѣмъ же я не герой? Двадцать восемь кампаній!!!... Хоть куда герой! Вѣдь и самъ Александръ Македонскій, этотъ яко бы «великій человѣкъ» по мнѣнію одного изъ лицъ «Мертвыхъ душъ»; и Юлій Кесарь — великій ли это человѣкъ, не могу вамъ доложить, «поэлику» въ «Мертвыхъ душахъ» объ немъ ничего не сказано, — итакъ, ни одинъ изъ этихъ «героевъ» сѣдой древности (препочтенная дама) не дѣлалъ, сколько мнѣ это извѣстно (съ Квинтъ Курціемъ и Гиббономъ не справлялся,—некогда) по двадцати восьми кампаній. А вашъ покорнѣйшій слуга сдѣлалъ. Неу-

жели не поставятъ мнѣ монумента, сирѣчь памятника? Это будетъ очень не любезно, какъ со стороны потомковъ, такъ и современниковъ. Поэтому я хочу, я требую себѣ памятника еще при жизни. Чѣмъ же я хуже Виктора Гюго! А вѣдь ему собираются же поставить памятникъ. Завтра же подаю прошеніе съ требованіемъ себѣ монумента, и чѣмъ скорѣе тѣмъ лучше. Даю на это сроку полгода. «Больно мало», кричитъ г. Микѣшинъ съ братіей. Эдакъ и одну смѣту не успѣешь сочинить. А вѣдь «смѣта—всему дѣлу голова». Ну годъ и ни дня болѣе. А не то—жалоба. Да кому? Прошеніе о монументѣ хоть одному изъ тульскихъ мировыхъ. Но разумѣется не къ тому, что обозвалъ меня скандалистомъ. Ну а жалобу-то кому? Это похитрѣе; необходимо подумать... Ахъ, кабы процвѣталъ еще и нынѣ на Васильевскомъ Острову тотъ мировой, что разбиралъ когда-то сперва собаку съ двумя прохожими, а на самомъ концѣ засѣданія—меня съ кронштатскимъ мѣщаниномъ Филоновымъ (помните, читатель, въ *Mea Culpa?*). Ахъ, что это былъ за мировой! Прелесть! Краса природы и юриспруденціи! Собаку съѣлъ по части разбираній, въ особенности собакъ съ прохожими.

Но кончаю эту хронику, эту такъ сказать портретную галлерею съ 28-ю женскими головками, и заключу утвержденіемъ, что большая часть этихъ головокъ достойна кисти Грёза или карандаша Греведона. Но повторю: всѣ эти сердечныя кампаніи начинались и кончались весьма мирно, безъ всякихъ бурныхъ сценъ, безъ жалобъ, безъ упрековъ и безъ раскаянія. А о какихъ нибудь проклятіяхъ, о воплях, убиваніяхъ или просто побиваніяхъ не было и помину. Одно только было исключеніе «Лидія Звольская» (см. «Зловѣщая Комета»). Но иногда не обходилось безъ слезъ, и порою обоюдныхъ и горькихъ. Но вѣдь слезы—вода, потекутъ и высохнутъ, не оставя послѣ себя слѣдовъ, кромѣ сладкихъ или горькихъ воспоминаній и сожалѣній о непрочности земнаго счастія. Прибавлю: не смотря на мои 28 сердечныхъ кампаній, салонныхъ донъ-жуановскихъ успѣховъ я не имѣлъ и не искалъ, кромѣ одного (опять зри «Зловѣщую Комету»). Но если не въ салонахъ, то въ сферахъ болѣе скромныхъ мнѣ не разъ посчастливилось. А въ этомъ скромномъ мірѣ несравненно болѣе неподдѣльнаго, натуральнаго, молодаго и свѣжаго, искренняго и правдиваго, чѣмъ въ бельэтажахъ, гдѣ наполовину, если не болѣе, все—поддѣлка, фальшь, косметики и вата, а затѣмъ—разсчетъ, притворство, лицемѣріе и ложь, а порою и постыднѣйшая разнузданность современныхъ Мессалинъ, или — преданіе себя au plus offrant.

III.

Посѣщеніе кладбища.

Глубокая грусть налегла на меня, когда я вспоминалъ и записывалъ разговоръ съ Желтухинымъ и, въ особенности, конецъ главы *Сонъ и пробужденіе*. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, живя въ деревнѣ, прочелъ я въ «Journal de St-Pétersbourg» извѣстіе о смерти этого прекраснѣйшаго человѣка, котораго глубоко чтилъ я и любилъ болѣе, чѣмъ самаго близкаго мнѣ роднаго. Въ каждый пріѣздъ мой въ Петербургъ я навѣщалъ моего стараго товарища и батальоннаго командира и, по разъ навсегда высказанной имъ мнѣ просьбѣ, приходилъ къ нему по воскресеньямъ къ обѣду, на которомъ собирались въ тотъ день его родные. Страшное, потрясающее впечатлѣніе произвело на меня чтеніе этого некролога. Я вдругъ почувствовалъ, что какъ будто порвалось что-то у меня въ груди, около сердца и отозвалось глухою болью подъ ложечкой. Я заболѣлъ, но не ложился въ постель, а продолжалъ держаться на ногахъ и чувствовалъ какое-то томленіе, упадокъ силъ. Мѣсяцъ спустя пріѣхалъ я въ Петербургъ. Утомленіе и безсиліе продолжались; и только послѣ серьезнаго леченія удалось мнѣ возстановить свои силы. А теперь я страшно боюсь новой утраты; переживу ли я ее? Изъ всѣхъ старыхъ товарищей, остался у меня одинъ другъ, совѣтникъ, собесѣдникъ по душѣ, одинаковыхъ со мною мыслей, правилъ и воззрѣній на людей и вещи; это—Ал. Ал. Одинцовъ. Онъ пятью годами старѣе меня и я часто говорю ему:

— Смотри, Ал. Ал.! не смѣй умирать прежде меня. Когда почувствуешь, что настало время отправляться Туда, дай мнѣ знать объ этомъ. Быть можетъ судьба и дозволитъ мнѣ послѣднее утѣшеніе — сопровождать тебя въ невѣдомый путь, и тѣмъ избавитъ меня отъ страшнаго горя, несчастія — догорѣвать свой вѣкъ и потомъ отправиться Туда одному, безъ тебя.

Живутъ и еще нѣкоторые изъ моихъ старыхъ товарищей-литовцевъ: Сергѣй Петр. Озеровъ, также какъ и Желтухинъ, бывшій директоромъ Московскаго Кад. корпуса, а потомъ Пажескаго. Но онъ уже давно уединился и удалился отъ всего и отъ всѣхъ.... Около 30-ти лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ я видѣлся съ нимъ въ послѣдній разъ въ Москвѣ. Затѣмъ: Ром. Сем. Малаховскій, товарищъ не только по полку, но и по школѣ подпрапорщиковъ. Но живъ ли онъ еще, не знаю! Давно не

видался съ нимъ. Наконецъ: графъ Конст. Ив. Развадовскій. Но онъ живетъ далеко, въ Варшавѣ, гдѣ служитъ комендантомъ. Разскажу потомъ о моей съ нимъ встрѣчѣ, на водахъ, за-границею, послѣ 36-ти лѣтняго невиданія другъ друга. Теперь оглянусь назадъ.

Длинный, предлинный пройденъ мною путь, не въ 72 версты, а въ 72 года. И что же представляетъ этотъ путь? Обширное кладбище. Кресты и памятники. Тамъ, въ дальнемъ углу, 1839 года, возвышается крестъ надъ могилою одного изъ лучшихъ моихъ друзей: Павла Ант. Крыжановскаго. Годъ спустя, на кладбищѣ села Баранова (моего прихода) возникла могила моего перваго сына, Саши, прелестнаго ребенка, котораго, на 8-мъ мѣсяцѣ, уморили его кормилица и няня, поставя въ дѣтской самоваръ съ угаромъ. А въ 1842 году, могила Александра Болтина, брата моей Саши и такого же, какъ и она, ангела доброты, котораго обожали всѣ его товарищи, офицеры 2-й драгунской дивизіи, и который разъигралъ роль благаго Провидѣнія въ моемъ бракѣ съ обожаемой имъ сестрою, которая тоже обожала брата. Безъ его горячаго участія и ходатайства за меня у старика Болтина, мнѣ не видать бы Саши, какъ своихъ ушей. А вотъ возлѣ, въ 1843 году, влажная могила еще одного изъ моихъ лучшихъ друзей, Кадникова, поэта въ душѣ и моряка, утонувшаго въ каютѣ на кораблѣ. Въ томъ же 1843 году, на кладбищѣ села Баранова возникла новая могила моей второй дочери, Женни, прелестнѣйшаго ребенка, съ большими голубыми глазами и родившагося буквально съ шапочкою на головѣ изъ густыхъ темныхъ и кудрявыхъ волосъ. Вотъ наконецъ возносится на томъ же кладбищѣ черная колонна, съ урною наверху, подъ которою покоится прахъ моего перваго ангела хранителя, моей неоцѣненной Саши.... Перешагиваю черезъ длинный рядъ могилъ, моихъ дѣтей, сестеръ, дядей, тетокъ, кузеновъ, кузинъ, друзей: Леонтьева и Ленца, знакомыхъ, старыхъ товарищей, наконецъ моей второй жены; остановлюсь и склонюсь надъ послѣднимъ памятникомъ въ Барановѣ, надъ высокимъ чугуннымъ крестомъ съ позолоченымъ распятіемъ. Подъ нимъ — прахъ моего сына, 25-ти лѣтняго молодаго человѣка, моего сотрудника, умершаго въ домѣ помѣшанныхъ въ Тулѣ, въ январѣ 1869 года.... И вотъ опять что-то забилось и застучало въ груди, подступаетъ къ горлу.... Сдерживаю рыданія, но они вырываются. Слезъ уже не удерживаю: лейтесь, лейтесь, выливайтесь и облегчайте мою измученную грудь. Можетъ быть нѣсколько этихъ слезъ капнутъ въ могилу сына и облегчатъ тяжесть толстаго слоя земли, придавившаго его прахъ. Быть можетъ и сонъ его будетъ безмятежнѣе и слаще.

Въ іюнѣ 1873 года ѣду я въ Киссингенъ на Берлинъ. Только нѣсколько часовъ провелъ я въ этомъ скучномъ, чопорномъ, непривѣтливомъ городѣ, и продолжалъ мой путь въ Баварію на Лейпцигъ. Незнаніе нѣмецкаго языка страшно затрудняло меня при взятіи билета и сдачѣ багажа. Но на выручку мнѣ явилась одна пожилая дама, тоже отправлявшаяся куда-то по желѣзной дорогѣ. Она хорошо говорила и пофранцузски и понѣмецки и вывела меня изъ затрудненія, принявъ на себя роль переводчика. Когда эти хлопоты были окончены, мы усѣлись въ ожиданіи звонка. Къ намъ присоединился старичекъ: это былъ мужъ обязательной дамы, у которой спросилъ я: — Откуда и куда направляютъ они путь свой? — Изъ Варшавы въ Карлсбадъ. — Мы разговорились: оказалось, что это были мои соотечественники: генералъ Голиковъ съ женою. Узнавши отъ меня, что я когда-то служилъ въ Литовскомъ полку и стоялъ въ Варшавѣ, а теперь ѣду въ Киссингенъ, генеральша сказала мнѣ:

— Въ такомъ случаѣ вы встрѣтите тамъ своего прежняго однополчанина, графа Развадовскаго, коменданта Варшавы. Черезъ нѣсколько дней онъ долженъ пріѣхать въ Киссингенъ. Вѣроятно вамъ будетъ пріятно увидѣть стараго товарища.

— Да, я горячо люблю всѣхъ моихъ старыхъ товарищей; но слышалъ, что Развадовскій загордился и заважничалъ. Мы служили вмѣстѣ поручиками; а теперь онъ уже — генералъ-лейтенантъ, да еще попалъ и въ графы. А я, пуще холеры, пуще чумы боюсь генеральскаго, графскаго и всякаго важничанья.

— О, вамъ напрасно наговорили на него: это прелюбезный и премилый человѣкъ, нисколько не гордый и не важничаетъ.

Итакъ я—въ Киссингенѣ, гдѣ останавливаюсь въ Hôtel de Bavière и начинаю пить воду изъ источника Ragozzi. Дней черезъ десять по пріѣздѣ прочитываю въ объявленіи о пріѣзжающихъ на воды: «генералъ-лейтенантъ графъ Развадовскій». Далеко неравнодушно прочелъ я это извѣстіе. Страшная борьба возникла во мнѣ: сойтись или не сойтись съ моимъ старымъ товарищемъ, съ которымъ я былъ очень друженъ и съ которымъ не видался 36 лѣтъ. Проходитъ день, другой, двѣ недѣли, а борьба продолжается. Словомъ: ко мнѣ вполнѣ шла пословица: «И хочется, и колется, и матушка не велитъ». «А ну какъ онъ брякнетъ мнѣ *Вы* вмѣстѣ *ты*; вѣдь для меня лучше провалиться сквозь землю, чѣмъ переживать такое оскорбленіе моихъ чувствъ и самолюбія», думалъ я, и ни шагу для встрѣчи съ товарищемъ. Но все-таки мнѣ смертельно хотѣлось увидать его въ толпѣ водопійцъ, прохо-

живавшихся по длинной аллеѣ. Стеченіе больныхъ въ то лѣто было огромное. Итакъ я зорко разглядывалъ, не узнаю ли стараго литовца. Послѣ долгихъ и тщетныхъ разглядываній, встрѣчаю пожилаго господина въ сѣромъ пиджакѣ съ дамою, которая, разговаривая съ нимъ по-французски, называетъ его Constantin. Вглядываюсь пристально и вслушиваюсь въ голосъ мужчины: кажется Константинъ Развадовскій. Послѣ нѣкотораго колебанія, я рѣшился подойти къ нему и обратился съ слѣдующимъ вопросомъ на русскомъ языкѣ:

— Если не ошибаюсь, вы — русскій, изъ Варшавы? Я тоже русскій, но изъ Петербурга. Позвольте мнѣ сдѣлать вамъ одинъ вопросъ: я думаю возвратиться отсюда въ Россію черезъ Вѣну и Варшаву. Правда ли то, что я читалъ въ «Journal de St-Pétersbourg», что въ столицѣ Польши свирѣпствуетъ сильнѣйшая холера. Если это такъ, то будетъ не благоразумно съ моей стороны ѣхать на Варшаву.

— О нѣтъ, газеты страшно преувеличиваютъ: холера въ Варшавѣ есть, но весьма слабая. Это мнѣ хорошо извѣстно, потому что я предсѣдательствую въ комитетѣ здравія.

По всему видно, что Развадовскій меня не узналъ, да и не мудрено: 36 лѣтъ невиданія, да къ тому еще большая сѣдая борода у меня. Я не выдержалъ и, по полученіи отвѣта на мой вопросъ, сказалъ:

— А вѣдь мы — старые знакомые и сослуживцы.

Развадовскій встрепенулся, пристально взглянулъ на меня и заговорилъ съ одушевленіемъ:

— Не по лицу, а по голосу узнаю: ты — Макаровъ?

— Онъ самый къ твоимъ услугамъ.

— Давно ли ты здѣсь? — сказалъ онъ обнимая и горячо цѣлуя меня; — и затѣмъ представилъ меня своей женѣ, сестрѣ бывшаго государственнаго контролера Татаринова.

— Болѣе трехъ недѣль.

— Болѣе трехъ недѣль! Развѣ ты не зналъ, что я здѣсь?

— Говорить тебѣ правду? Зналъ и тебя не отыскалъ, хотя и смертельно хотѣлось мнѣ встрѣтиться съ тобою; не отыскивалъ тебя потому что... потому что мнѣ говорили, будто ты перемѣнился и ужасно загордился. Вѣдь мы служили съ тобою въ однихъ чинахъ до поручиковъ и потомъ уже не видались. Теперь же я — только маіоръ въ отставкѣ, ты—генералъ-лейтенантъ, помноженный на коменданта, и еще помноженный на графа, которымъ тебя недавно сдѣлали. Ну какже тутъ не загордиться, не завазничать? А вѣдь ты знаешь, какъ сильно я не жаловалъ ни гордыхъ, ни важныхъ.

— Боже милосердный! За что это меня такъ оклеветали? — возразилъ Развадовскій глубоко скорбнымъ голосомъ. — Я перемѣнился, загордился! Я, старый Литовецъ и съ кѣмъ же? Съ другимъ старымъ Литовцемъ! Да развѣ это возможно?... Знаю, знаю кто взвелъ на меня такую напраслину: это — нашъ же старый товарищъ, Малаховскій. Вотъ какъ и по чему это случилось. Года два тому назадъ встрѣчается онъ со мною на Краковскомъ предмѣстьѣ, и проситъ меня похлопотать о его сынѣ. Разумѣется, я встрѣтился съ нимъ, какъ съ добрымъ старымъ товарищемъ и просилъ его придти ко мнѣ на другой день въ полдень, чтобы лучше обо всемъ переговорить, и обѣщая ему сдѣлать все, что будетъ зависѣть отъ меня. На другой день, около полудня, является ко мнѣ посланный отъ графа Берга, который проситъ меня немедленно пріѣхать къ нему. Я въ попыхахъ спѣшу одѣться, и вдругъ человѣкъ докладываетъ мнѣ, что какой-то отставной генералъ, не говоря своего имени, желаетъ видѣть меня. Я совершенно позабылъ о приглашеніи къ себѣ Малаховскаго, и сказалъ человѣку: проси генерала пожаловать ко мнѣ завтра или сегодня вечеромъ. Въ настоящую же минуту принять не могу, потому что долженъ ѣхать къ намѣстнику. — А Малаховскій вообразилъ, что я не хотѣлъ его принять, что я загордился и не хочу знать старыхъ товарищей. Онъ ушелъ отъ меня и болѣе не являлся. Вотъ исторія моего мнимаго важничанья, которая несказанно огорчила меня. И какъ я радъ, что встрѣтился съ тобою! По крайней мѣрѣ ты убѣдишься самъ, да и другимъ передашь, что я ни на волосъ не измѣнился и попрежнему люблю моихъ добрыхъ, старыхъ товарищей Литовцевъ.

Итакъ, моя вѣра въ прочность старыхъ товарищескихъ связей была спасена, и атеизмъ сердца пока пощадилъ меня. Но увы! не болѣе пяти дней оставалось прожить мнѣ въ Киссингенѣ, и, разумѣется, я провелъ все это время съ моимъ старымъ товарищемъ. А дня за четыре до моего отъѣзда произошелъ со мною слѣдующій случай:

Часовъ въ 11 утра кто-то постучалъ въ дверь моего номера (за границею никто не входитъ, не постучавши прежде въ дверь).—Entrez,— сказалъ я. И вотъ входитъ весьма благообразный и приличный господинъ лѣтъ 30-ти и говоритъ мнѣ порусски:

— Имѣю честь рекомендоваться: Я — полковникъ Ахматовъ, служу въ Москвѣ въ штабѣ генерала Гильтенштубе. Возвращаюсь теперь въ Остенде, гдѣ мое семейство и откуда ѣздилъ я не надолго въ Мюнхенъ. Завернулъ сюда, чтобы взглянуть на Киссингенъ, и сегодня же уѣзжаю къ женѣ. А узнавъ изъ здѣшней газеты о вашемъ здѣсь пребываніи,

я воспользовался случаемъ познакомиться съ авторомъ наилучшихъ словарей въ Россіи. Долго пробудете вы въ Киссингенѣ?

— Нѣтъ, черезъ четыре дня уѣзжаю.

— О, стало быть, я успѣю написать вамъ изъ Остенде. Вотъ въ чемъ дѣло: отъѣзжая въ Мюнхенъ на самый короткій срокъ, я невѣрно расчиталъ издержки путешествія, и взялъ съ собою денегъ недостаточно, такъ что теперь у меня не хватаетъ на обратный путь. Не можете ли вы одолжить мнѣ 25 р., которые, съ величайшею благодарностію, отошлю я вамъ немедленно по пріѣздѣ въ Остенде; такъ что вы успѣете получить ихъ наканунѣ вашего отъѣзда отсюда.

Посѣтитель мой имѣлъ видъ такого порядочнаго человѣка, что я ни на минуту не усумнился въ этой его порядочности, и съ охотою ссудилъ ему требуемую сумму, въ которой далъ онъ мнѣ росписку. Но проходятъ три, четыре дня, а изъ Остенде ни слуху, ни духу. Я уѣхалъ въ Мюнхенъ, оттуда въ Вѣну на выставку, изъ Вѣны въ Варшаву, въ Петербургъ и наконецъ въ тульскую деревню черезъ Москву, гдѣ, разумѣется, навелъ справки въ штабѣ генерала Гильтенштубе о моемъ Киссингенскомъ должникѣ. И что жъ? Никогда никакого полковника Ахматьева тамъ на службѣ не обрѣталось. Оказалось, что являлся ко мнѣ какой-то кровный, чистѣйшей воды мазурикъ, преловко вытащившій у меня изъ кармана 25 р. Впрочемъ, подобныя продѣлки съ гуманными и состоятельными русскими туристами за границею не рѣдкость; это не то, что французы, или нѣмцы, итальянцы, поляки, которые, находясь заграницею, на чужбинѣ, встрѣчаются и знакомятся другъ съ другомъ единственно ради удовольствія поговорить съ земляком и, въ случаѣ нужды, помочь другъ другу совѣтомъ или кошелькомъ. Не то бываетъ съ туристами «рассейскими». Являются они къ земляку не для удовольствія познакомиться, сохрани Боже! А для того, чтобы облегчить его карманъ, т. е. занять у него и, само собою разумѣется, никогда ему не отдать. Увы! C'est terrible, mais c'est vrai... Разскажу теперь о таможенномъ эпизодѣ съ запрещенными пушкинскими сочиненіями.

Я въ таможнѣ на границѣ между Австріей и Россіей. Таможенные суетятся около моего чемодана. Только тутъ вспомнилъ я, что въ чемоданѣ лежитъ маленькая книжечка съ запретнымъ плодомъ Пушкина, которую позабылъ я спрятать къ себѣ въ карманъ. «Ну, думаю, будетъ возня, распросы, непріятности». И вотъ чемоданъ мой открытъ. Первое, что попалось въ руки таможенныхъ, это большіе два тома моихъ «Полныхъ словарей».

— Что это за книги? — вопрошаютъ меня. Свѣтлая мысль блеснула въ моемъ умѣ и я отвѣчалъ:

— Это мой полный русск.-франц. словарь, который имѣлъ я счастіе посвятить Государынѣ Цесаревнѣ и получить отъ нее за это въ подарокъ брилліантовый перстень, — и я показалъ его таможеннымъ. — А другая книга — мой полный фр.-рус. словарь, который удостоился высокой чести посвященія Государю Цесаревичу, подарившему мнѣ за это золотые часы съ цѣпочкою. — И я внушительно вынулъ изъ кармана и показалъ имъ эти часы. Громадное впечатлѣніе произвели мои слова на досмотрщиковъ, въ особенности, когда, раскрывъ словари, они увидѣли мои посвященія Августѣйшимъ особамъ и мое имя подъ этими посвященіями. Я показался имъ чрезвычайно важнымъ человѣкомъ, такъ что они не дерзали копаться въ моемъ чемоданѣ, мгновенно закрыли и заперли его и затѣмъ вручили мнѣ ключъ съ знакомъ глубокаго уваженія. Итакъ, я былъ спасенъ отъ непріятностей, благодаря обаянію августѣйшихъ именъ. Но увы! запретный плодъ Пушкина потомъ исчезъ у меня въ деревнѣ. Что осталось съ этою книжкою, кто спровонилъ ее у меня, осталось для меня тайной.

IV.

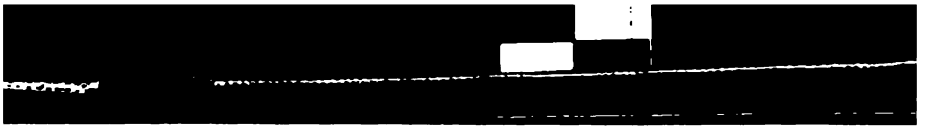
ТРИ МАЯКА.

Къ зловѣщей кометѣ и къ Потерянному раю.

Да! Три маяка, три женщины возникали на распутіяхъ моей жизни: Александра, Софія и Ольга. Одна — когда я былъ еще въ цвѣтѣ лѣтъ; другая — когда я перевалился далеко за полдень; третья—когда начался уже мой закатъ. Была еще одна, тоже Софія, — моя вторая жена. Но это былъ уже не маякъ, а скорѣе погребальный факелъ, потому что, послѣ двухъ прелестныхъ, блаженныхъ медовыхъ мѣсяцевъ казавшагося счастливаго брака, она заболѣла и уже болѣе не выздоравливала. Въ продолженіи шести лѣтъ таяла, какъ свѣча, на моихъ глазахъ. Въ продолженіи шести лѣтъ я долженъ былъ быть зрителемъ продолжительной агоніи, долженъ былъ смотрѣть, какъ медленно погасала молодая жизнь, пока не погасла и не улеглась на вѣчный покой подъ огромнымъ чернымъ распятіемъ въ Москвѣ, среди ограды Алексѣевскаго монастыря. Объ этой страдалицѣ говорится подробно въ *Задушевной Исповѣди*. Тамъ же говорится *многого* (и еще въ *Поддѣльщикахъ*, «Иллюстр.

Вѣст.» 1881 года, №№ 2, 3, 4, 5 и 6) и объ индивидуумѣ, который разъ разъигрывалъ (въ 1847—1854 гг.) почетную, гуманную роль злаго рока и, съ тѣмъ вмѣстѣ, палача моего, а равно и страдалицы моей жены. Была и еще одна, но уже не маякъ и не факелъ, а *Зловѣщая комета*. Это—Лидія Александровна Звольская (псевдонимъ), которая сперва вознесла было меня высоко, унесла далеко, въ страну огненныхъ восторговъ и наслажденій, недоступныхъ рядовымъ человѣчества, но, въ то же время, и въ страну бурь и урагановъ; опоила меня до экстаза, до головокруженія, неизвѣданнымъ, неизрѣченнымъ блаженствомъ; и все это для того только, чтобы не давъ остынуть огню поцѣлуевъ на моихъ устахъ; не давъ высохнуть въ моихъ очахъ слезамъ страстной любви и благодарности за минуты счастія,—сейчасъ же вызвать потоки разъѣдающихъ слезъ неизбывнаго горя и, прямо съ неба, низринуть въ пропасть безвыходнаго отчаянія!.. О, женщины, дщери грѣха и тщеславія; неисправимыя бунтовщицы противъ святыхъ обязанностей жены и дочери; вѣчно покорныя рабыни послѣдней моды и щеголянья блестящими уборами, которые наичаще красятъ однѣ лишь сомнительныя, поддѣльныя прелести, а портятъ, уродуютъ настоящую молодость и красоту! Поумнѣете ли вы когда нибудь? Спадетъ ли когда либо съ вашихъ прекрасныхъ (только не у всѣхъ) очей густая повязка, сотканная изъ минутныхъ прихотей и наущеній блуждающаго, хаотическаго воображенія, или изъ возбужденій и алканій ненасытнаго лимфатическаго темперамента, по милости которыхъ зачастую выбираете вы то, что діаметрально-противоположно истинному вашему счастію, въ болѣе или менѣе близкомъ будущемъ. А въ настоящемъ такъ легкомысленно, такъ близоруко порываете прочныя узы преданнаго вамъ сердца, которое такъ безжалостно, такъ зазорно промѣниваете на пышную обстановку перваго попавшагося вамъ на встрѣчу бездушнаго, лишь бы позолоченнаго болвана.

И всю эту эпопею изжитыхъ мною радостей и невзгодъ, восторговъ и страданій пряталъ я подъ вымысломъ, подъ иллюзіями и псевдонимами; а *Лебединую тѣснь* глубоко хоронилъ въ моемъ сердцѣ, и ревниво оберегалъ отъ чужихъ и нескромныхъ взоровъ... А теперь? Скоро насыплется толстый слой земли надъ моимъ прахомъ и отдѣлитъ *живущаго* отъ *живущихъ*.... Такъ и быть, подѣлюсь всѣмъ этимъ изжитымъ съ моими читателями передъ моимъ отъѣздомъ Туда, передъ моимъ послѣднимъ *прости*. Оставлю за собою, за верхнею стѣною моего тѣснаго будущаго жилища часть изъ гнета мрачныхъ моихъ воспоминаній, и частицу изъ сокровища воспоминаній свѣтлыхъ. Но къ дѣлу, къ тремъ маякамъ моей жизни, къ тремъ женщинамъ.



Во всѣхъ трехъ были черты поразительнаго сходства, это — живой, острый и быстрый умъ и необыкновенныя безкорыстіе и честность, и затѣмъ черты поразительнаго несходства, какое находится между поэзіей и прозой и еще — между характерами: идеально-прекраснымъ, совершеннымъ, и приближающимся къ совершенству, а наконецъ — далекимъ отъ совершенства.

Начну со второй, съ Софи Гемаръ. Это былъ настоящій, безъ всякой посторонней примѣси, ангелъ красоты, ангелъ ума, ангелъ доброты, ангелъ непорочности, ангелъ характеромъ. Вѣдь и называлась-то она, въ переложеніи на русскій обычай,—*Софья Ангеловна* (sic), да! Крестное имя ея отца было Ангелъ. Само собою разумѣется, что у Ангела и родиться долженъ былъ ангелъ. Вспоминаю малѣйшія о ней подробности; выхватываю и перечитываю ея письма изъ огромной переписки съ нею за три года. Самое маленькое письмо, прекраснаго, правильнаго мелкаго почерка, имѣетъ 4 страницы. А большая ихъ часть въ 6, 8 и 12 стр. Въ первый годъ разлуки переписывались мы акуратно разъ въ недѣлю. Однажды, по случаю поѣздки моей на заводъ, я опоздалъ. Боже, какое тревожное письмо пришло отъ нее, съ мольбами, чтобы не повторялась болѣе такая неакуратность. Hé bien? Эти письма и то, что я слышалъ, чего я заслушивался изъ вдохновенныхъ, влюбленныхъ, страстныхъ устъ этой небожительницы, мимолетной гостьи земли (а частицу этихъ вдохновеній послушаютъ и мои читатели *Лебединой пѣсни о потерянномъ раѣ*, основанной не на фикціи, а на подлинномъ моемъ дневникѣ двадцатипятилѣтней давности); все что я читалъ въ ея чудныхъ глазахъ, угадывалъ изъ ея движеній, помимо ея пламенныхъ рѣчей: все это ясно, неопровержимо доказывало, что это была совершеннѣйшая изъ совершеннѣйшихъ женщинъ. Тщательно копался я въ воспоминаніяхъ, искалъ, шарилъ и все перешарилъ въ нихъ: не нашелъ ни малѣйшаго недостатка ни въ физической, ни въ умственной, ни въ нравственной ея красотѣ: совершенство, какъ есть совершенство. Какже помирить это съ извѣстнымъ афоризмомъ, сдѣлавшимся аксіомою: «нѣтъ и быть не можетъ совершенства на землѣ», оно — такъ. Какже быть? Вѣдь съ аксіомами не шутятъ: это — барыни презлющія, преехидныя; тотчасъ разозлятся и, если не откусятъ вамъ носъ, то поподчуютъ васъ страшнѣйшею пощечиной, а, не равенъ часъ, расцарапаютъ въ кровь всю физіономію. Ну, Богъ съ вами! успокойтесь, не злитесь на меня, мадамъ аксіомы; сдаюсь, покоряюсь вашему вердикту: Софи Гемаръ не была совершенство, и у ней нашелся недостатокъ, отыскалось *но:* она, какъ выражаются французы — *laissait beaucoup à désirer*

sous le rapport de la santé. Да! здоровье ея прихрамывало. Но, вѣроятно, это входило въ планъ, въ расчетъ при созданіи Творцемъ этой физической, умственной и нравственной красоты: чтобы любимица его не загостилась на землѣ, въ юдоли плача, а поскорѣе возвращалась бы Туда, на родину, къ Творцу и Вседержителю: Онъ скучалъ, тосковалъ безъ нее и по ней. Да! При созданіи Вселенной, по Шоппенгауеру, вкралась масса недостатковъ, масса громадныхъ міровыхъ НО; при созданіи же Софи, помоему, вкралось только одно, малехонькое *но*. Ergo: Софи Гемаръ была совершеннѣе самой Вселенной, и это въ силу Шоппенгауеровской, и въ силу моей, Макаровской, системъ... Это вѣрно... Не вѣрите, Оомы невѣрные? Ладно. А когда прочтете *Лебединую пѣснь о потерянномъ раѣ*, тогда, быть можетъ, и повѣрите.

Теперь о другомъ маякѣ моей жизни, объ Александринѣ Болтиной. Умомъ, сердцемъ и характеромъ вся въ Софи. Симпатическою красотою— очаровательна, но далеко, далеко не идеалъ красоты, какъ Софи, съ которой только одному талантливому живописцу въ Лондонѣ удалось снять портретъ, вполнѣ схожій съ своимъ оригиналомъ. Затѣмъ всѣ остальные портреты и фотографіи, какъ работы ея брата, первокласнаго портретиста и фотографа, такъ и многихъ другихъ талантливыхъ художниковъ; всѣ фотографіи и портреты ея, помѣщаемые на разныхъ картинныхъ выставкахъ, далеко, далеко были ниже оригинала. Это было признано тогда въ Брюсселѣ всѣми, знавшими Софи Гемаръ, и склонявшимися передъ этой неземной, такъ сказать, геніальной красотой. Но чѣмъ совершенно разнились между собою эти двѣ женщины, такъ это складкою ума. Софи—воплощенная поэзія, которая ярко просвѣчивалась въ умѣ, въ чувствахъ, въ воображеніи, въ мысляхъ, во взорѣ, въ улыбкѣ, въ голосѣ, въ малѣйшемъ ея движеніи; отъ макушки до кончика носка, это была высокая поэзія, соединеніе поэзій Байрона, Пушкина и Мицкевича. И, въ этомъ я твердо увѣренъ, c'est un des articles de ma foi: женщины, подобной Софи, нѣтъ и не будетъ, обойди и перешарь хоть весь земной шаръ. Не спорю! найдете, какъ не найти въ миліардѣ земножителей, и не одну, а сотни, тысячи красавицъ, ухъ какихъ, забористыхъ, первый сортъ; да только не найдете ни одной, у которой было бы лишь одно *но*, малехонькое, какъ у моей дивной Софи. Поразсмотрите-ко хорошенько, построже любую изъ нихъ, хоть самую отборную изъ перлъ созданія, изъ подругъ, а чаще изъ игрушекъ, изъ куколокъ нашей жизни; поразглядите-ко попристальнѣе, такъ откроете не одно, а съ полдюжины, а часто и цѣлыхъ двѣ дюжины и хорошо если бы еще малехонькихъ *но*, а то часто пребольшущихъ НО. Слыхали

мы про нѣкоторыхъ, а иногда и сами видѣли этихъ разныхъ *ангеловъ благодатныхъ* съ одной стороны, а съ другой... какъ бишь?.. Спросите у покойнаго Александра Сергѣича, автора Онѣгина, это—по его части.

Итакъ Софи, сверхъ красоты и ума, была высокая поэзія, воплощенная въ женщинѣ. Безпрестанно улетала она отъ земли куда-то, въ высь; улетала и уносила меня съ собою въ недосягаемыя пространства, въ безконечность. Александрина была проза, но звучная, гармоническая, проза Шатобріана, Пушкина и Тургенева. Гордо, благородно, величественною поступью ходила она по землѣ. Не любила она мечтать и восторгаться. Всегда ровная, благоразумная, осторожная и сдержанная, не только на седьмое, но и на первое небо никогда не заносилась она. — Зачѣмъ летать куда бы то ни было, когда наши крылья такія хрупкія, непрочныя: какъ разъ свалишься съ облаковъ и разобьешься въ пухъ и прахъ?—говаривалъ мой первый ангелъ хранитель. Еще: хотя была она и сущій ангелъ доброты, кротости и, въ особенности, преданности, но, хотя и рѣдко, а проявлялись у нее вспышки, знаки нетерпѣнія, тогда какъ у Софи, въ продолженіи четырехъ мѣсяцевъ самаго короткаго, близкаго съ нею общенія, я ни разу не замѣтилъ, не уловилъ у ней не только ни одной вспышки, но даже ни единаго знака нетерпѣнія; это было воплощеніе ангельскихъ кротости и незлобія, при блестящемъ, живомъ умѣ. Напротивъ, она постоянно сдерживила мою пылкую, вспыльчивую, почти нервную натуру, употребляла всю силу своего обаянія и вліянія на меня, чтобы исправлять, улучшать и мое внутреннее и внѣшнее *я;* заокруглять мои манеры и движенія. При малѣйшемъ рѣзкомъ, желчномъ моемъ словѣ, или слишкомъ сильномъ сарказмѣ и отзывѣ о комъ нибудь, даже заслужившимъ это, Софи взглянетъ на меня такимъ внушительно-ласковымъ взглядомъ, покачаетъ своею прелестною головкою, быстро наложитъ на мой ротъ свою маленькую, бѣлорозовую ручку, а пальчикомъ другой погрозитъ на меня, но такъ мило, такъ любовно и промолвитъ своимъ мелодическимъ голосомъ:

— Tout doux, tout doux, cher ami (потише, потише, дружокъ), умѣрь свой пылъ, побереги его для поцѣлуевъ, которыми поишь ты меня, и которыми упиваюсь я такъ беззавѣтно.

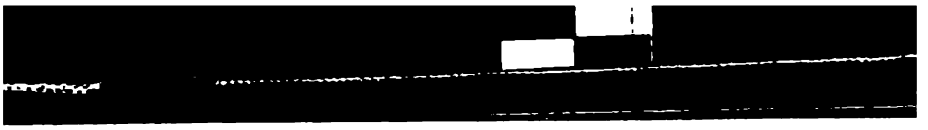
Все это строго-исторически вѣрно. Клянусь въ томъ будущимъ моимъ свиданіемъ съ Софи Тамъ!

— A bas, ma plume! tu ne peux pas aller plus loin, — такъ говорилъ я въ моей *Poème d'amour*, такъ скажу и теперь. Но нѣтъ! Еще нѣсколько словъ.

Вѣроятно найдутся философы и моралисты, по весьма удобной системѣ на чужой счетъ, которые скажутъ мнѣ: «счастливецъ! стыдись роптать на свою судьбу; напротивъ: благодари ее за то, что она позволила тебѣ полною чашею испить счастіе быть страстно, беззавѣтно любимымъ прекраснѣйшею, совершеннѣйшею изъ женщинъ. Благодари и благословляй ее за тѣ четыре мѣсяца неописуемаго, нечеловѣческаго блаженства, блаженства безплотныхъ духовъ на Небѣ. Стыдись, стыдись роптать и убиваться воспоминаніями объ утраченномъ счастьи, объ отлетѣвшемъ ангелѣ, и постарайся сдѣлаться достойнымъ соединиться съ нимъ Тамъ, у подножія трона Вседержителя, чтобы вмѣстѣ съ безплотными духами пѣть хваленія премудрости, всемогуществу и благости Предвѣчнаго».—А я отвѣчу вамъ, философамъ и моралистамъ: — Можно ли назвать счастливымъ того усталаго путника, изнемогающаго въ знойной и безводной пустынѣ, томимаго смертельною жаждою; назвать счастливымъ за то, что поднесутъ къ его воспаленнымъ, запекшимся губамъ кубокъ освѣжительнаго нектара; дадутъ ему отпить глотокъ и, вырвавъ у него изъ рукъ этотъ кубокъ, выльютъ на распаленную землю божественное питье, позволивъ ему не утолить, а только пуще разжечь пожирающую его жажду? Можно ли назвать его счастливымъ?

Что до третьяго маяка, до Ольги, то объ этомъ — въ послѣдней книгѣ.

Скажу теперь лишь одно: очень, очень умна, природнаго ума—палата. Очень добра, до экзажераціи честна и безкорыстна, собою очень красива—была; но... laisse beaucoup à désirer sous le rapport de l'éducation et de l'instruction. Потомъ, вслѣдствіе тяжелыхъ, постоянно гнетущихъ, порою страшныхъ обстоятельствъ, она перестала быть маякомъ. А въ настоящую минуту я уже и не знаю, кто она?... Отъ міра, или не отъ міра сего?.. Вотъ уже 22 мѣсяца, какъ занемогла она раздраженіемъ нервовъ... Болѣзнь мучительная, страшная, неподдающаяся леченію ни тульскихъ, ни московскихъ, ни петербургскихъ врачей... Но довольно... Ни полслова болѣе... Мнѣ и такъ не въ моготу. Крѣплюсь, мужаюсь, но боюсь, чтобы не упасть...



ИСТОРІЯ СОЗДАНІЯ СЛОВАРЕЙ

Н. МАКАРОВА.

Приложеніе къ „Моимъ семидесятилѣтнимъ воспоминаніямъ".

НЕОБХОДИМОЕ ОБЪЯСНЕНІЕ.

Когда я началъ приготовлять къ печати эти Воспоминанія, т. е. дѣлать многочисленныя прибавленія, цѣлыя главы и книги къ тому, что было написано мною 20 лѣтъ тому назадъ, я сейчасъ же обратился къ издателю одного Московскаго журнала съ предложеніемъ моего труда, пославъ при этомъ и конспектъ всего сочиненія, изъ котораго можно было судить о достоинствѣ матеріяла моихъ записокъ. Прибавилъ еще въ письмѣ, что о какомъ либо гонорарѣ нѣтъ и помину: пусть самъ издатель разсудитъ, чего стоитъ мой трудъ, я на все согласенъ. Даже, если найдутъ, что онъ ничего не стоитъ, кромѣ чести напечатанія, я и на то согласенъ. Проходитъ двѣ недѣли, ни строчки отвѣта, хоть бы изъ вѣжливости. Пишу такое же письмо къ издателю одного изъ Петербургскихъ журналовъ, — такой же результатъ. Не унываю и, по моему правилу — пробовать счастье до трехъ разъ, пишу въ Петербургъ къ издателю одного научнаго журнала. Черезъ нѣсколько дней получаю отъ него прелюбезное письмо, съ изъявленіемъ полной готовности помѣстить мой трудъ въ своемъ органѣ. Это былъ эксъ-военный человѣкъ, и потому привыкъ быть всегда и со всѣми вѣжливымъ и, ни въ какомъ случаѣ, не отвѣчать на вѣжливость невѣжливостью. Въ своемъ письмѣ, между прочимъ, съ военною откровенностью высказалъ онъ мнѣ слѣдующее: «Долгомъ считаю предупредить, что страницы, не имѣющія ни историческаго, ни бытоописательнаго значенія, я выпущу». Тутъ я понялъ, что «Мои Воспоминанія» нисколько не подходятъ къ его научному органу, и потому рѣшился издавать на свой счетъ, о чемъ сейчасъ же извѣстилъ любезно-вѣжливаго издателя и поблагодарилъ его за любезный отвѣтъ и за откровенность. Еще въ письмѣ издателя находилось слѣдующее заявленіе: «Понадобится сказать въ предисловіи отъ

третьяго лица о личности автора и о его лексикографической дѣятельности».

Вполнѣ вѣрное и справедливое заявленіе: до сихъ поръ знаютъ, что я составилъ и издалъ недурные словари, а какъ они издавались и чего мнѣ это стоило, это неизвѣстно. Для пополненія этого пробѣла я перепечатываю брошюру: *Исповѣдь, но уже не предсмертная*, изданную въ 1867 году, и еще статью: *Путешествіе по дебрямъ славянской апатичности, дряблости и псевдомеценатства*, помѣщенную въ 131 номерѣ С.-Петербург. Вѣд. за 1880 годъ. Въ этихъ двухъ статьяхъ изложено рельефно и вѣрно исторія созданія раціональной лексикографіи, въ чемъ убѣдятся мои читатели, прочитавъ эту брошюру.

Помѣщаю еще здѣсь двѣ мои кореспонденціи въ голосѣ, благодаря которымъ удалось мнѣ избавить въ 1863 году 1-й мировой участокъ тульскаго уѣзда отъ окончательнаго ограбленія его хищнымъ письмоводителемъ мироваго посредника.

ИСПОВѢДЬ

НО УЖЕ НЕ ПРЕДСМЕРТНАЯ.

СОВРЕМЕННАЯ

ГРУСТНАЯ ПОВѢСТЬ *).

Недавно вышелъ въ свѣтъ «Полный Русско-Французскій Словарь» Н. П. Макарова. Появленіе этого учебнаго труда встрѣчено было весьма лестными отзывами въ петербургской журналистикѣ. Самое же имя издателя пробуждаетъ нѣкоторыя воспоминанія о давно-прошедшихъ событіяхъ, не имѣющихъ впрочемъ ничего общаго съ настоящею учебно-литературною дѣятельностью автора Словаря.

Лѣтъ 11 тому назадъ была напечатана въ «Спб. Вѣдом.» одна музыкальная программа, изъ которой явствовало, что нѣкто Н. Макаровъ, страстный любитель музыки вообще, а гитары въ особенности, желая поднять свой любимый, но упавшій инструментъ и вдохнуть въ него новую жизнь и силу, вознамѣрился устроить музыкальный конкурсъ и назначилъ изъ своего кошелька слѣдующія преміи: двѣ (въ 800 и 500 франковъ)—для композиторовъ за лучшія сочиненія для гитары, и двѣ такія же для гитарныхъ мастеровъ за наилучше-сдѣланныя гитары. Потомъ, нѣсколько мѣсяцевъ спустя, въ той же газетѣ появились статьи Дамке о пребываніи г. Макарова заграницею, именно въ Брюсселѣ, о данномъ имъ тамъ концертѣ, о его конкурсѣ и вообще о его музыкальныхъ успѣхахъ заграницею. Затѣмъ, по возвращеніи г. Макарова въ С.-Петербургъ, имя его, какъ любителя-виртуоза, встрѣчалось на афишахъ нѣкоторыхъ благотворительныхъ концертовъ. Далѣе, въ концѣ 1859 года помѣщено было въ покойномъ «Современникѣ» довольно большое

---

*) Печатана отдѣльной брошюрой въ 1867 г.

беллетристическое произведеніе, подписанное именемъ г. Макарова, надѣлавшее тогда много шума и навлекшее на автора множество самыхъ злыхъ нападокъ и насмѣшекъ. Наконецъ, на рубежѣ 1861 и 1862 годовъ появилось въ печати еще нѣсколько романовъ (*Банкъ Тщеславія*, *Побѣда надъ Самодурами и Двѣ Сестрички*) все того же г. Макарова, изъ которыхъ второй вызвалъ, тоже въ одномъ покойномъ журналѣ, самыя злыя и грубыя нападки или, вѣрнѣе, ругательства, въ родѣ слѣдующихъ: «Авторъ заслуживаетъ медицинское пособіе.—Авторъ напалъ на насъ съ пѣною у рта»... и множество подобныхъ любезностей и обращиковъ вѣжливости. Потомъ смолкъ и этотъ гулъ, и за повтореніемъ имени г. Макарова послѣдовало глубокое пятилѣтнее молчаніе: нигдѣ не говорилось объ немъ ни слова, ни полслова, ни четверть слова: точно онъ въ воду канулъ. И вдругъ это имя является снова и заставляетъ говорить о себѣ. Изъ всего того, что до сихъ поръ было объ немъ писано другими и что онъ самъ написалъ, явствуетъ, что это неутомимый дѣятель на самыхъ разнообразныхъ и разнородныхъ поприщахъ, а именно: военномъ, откупномъ, музыкально-артистическомъ, заводскомъ, коммерческомъ (онъ былъ впродолженіи нѣсколькихъ лѣтъ СПб. купцомъ), беллетристическомъ, журнально-кореспондентномъ (онъ былъ нѣкоторое время корреспондентомъ «Голоса») и наконецъ учебно-литературномъ.

Зная хорошо автора недавно изданнаго Словаря, я считаю своимъ долгомъ сообщить объ немъ слѣдующія любопытныя и исторически вѣрныя подробности. По переселеніи своемъ изъ деревни, съ 1855 и по 1860 годъ г. Макаровъ жилъ въ С.-Петербургѣ по своимъ заводскимъ и коммерческимъ дѣламъ и для воспитанія своихъ дѣтей. Жилъ онъ не очень открыто, скромно, но съ комфортомъ: имѣлъ хорошую квартиру, свой экипажъ, ложу въ Итальянской оперѣ и одинъ вечеръ въ недѣлю, на который собирались его многочисленные и хорошіе знакомые. Но съ 1859 года жизнь его совершенно измѣнилась: ни вечеровъ, ни своего экипажа, ни ложи въ Итальянской оперѣ. Самъ онъ сталъ рѣдко показываться въ обществѣ, а наконецъ и совсѣмъ пересталъ бывать даже у своихъ короткихъ знакомыхъ. А если кто и встрѣчалъ его случайно, то онъ видимо тяготился этими встрѣчами, былъ молчаливъ, озабоченъ и печаленъ до угрюмости: видно было, что его снѣдала какая-то тайная скорбь. Наконецъ въ концѣ 1860 г. онъ вдругъ исчезъ изъ С.-Петербурга: никто не зналъ куда, зачѣмъ, надолго ли уѣхалъ онъ, потому что онъ ни съ кѣмъ не простился и потомъ ни къ кому не писалъ ни слова. Такъ прошло шесть лѣтъ. Наконецъ весною 1866 года, кто-то изъ его

знакомыхъ неожиданно встрѣтилъ его въ С.-Петербургѣ на улицѣ; начались объятія, лобызанія, распросы. Вѣсть эта скоро разнеслась между его знакомыми и нѣсколько дней послѣ этой встрѣчи нѣкоторые изъ нихъ собрались у него въ номерѣ гостинницы. Но Боже! какую страшную перемѣну нашли въ немъ: постарѣлъ, похудѣлъ, съ болѣзненнымъ, изнуреннымъ и убитымъ лицомъ, на которомъ лежала печать глубокихъ, невыразимыхъ душевныхъ страданій и безнадежнаго, безвыходнаго горя и отчаянія. Онъ былъ слишкомъ взволнованъ, чтобы послѣдовательно и ясно отвѣчать на наши вопросы, горе душило его и онъ сказалъ слѣдующее:

— Для чего я оставилъ Петербургъ, гдѣ я былъ, что дѣлалъ, отчего не писалъ никому, разсказать вамъ все это у меня не достанетъ ни силы, ни твердости. Но все это я изложу на бумагѣ, дамъ переписать съ этого нѣсколько экземпляровъ и разошлю къ вамъ; а вы дадите прочитать это другимъ моимъ знакомымъ.

И онъ сдержалъ свое обѣщаніе: многіе изъ его пріятелей получили отъ него исторію послѣднихъ лѣтъ его страшно испытуемой жизни, и при этомъ онъ приложилъ главу изъ неизданнаго своего романа «*Поддѣльщики*», которая очень вѣрно и ярко изображала одинъ эпизодъ изъ его недавно прошедшей жизни. Духъ захватывало, сердце надрывалось отъ болѣзненнаго чувства состраданія у каждаго, читавшаго эту грустную повѣсть, пропитанную кровавыми слезами невыразимыхъ душевныхъ мукъ и безутѣшнаго горя. Нѣкоторые изъ его пріятелей предложили ему напечатать эту, какъ онъ озаглавилъ, «*Предсмертную Исповѣдь*».

— Да сохранитъ меня Богъ отъ этого! Меня терзали, мучили, казнили. Осмѣяли даже мою никому не вредящую страсть къ музыкѣ, глумились надъ моимъ безкорыстнымъ служеніемъ искусству, сравнивая меня съ Ванькою (въ № 272 «Сѣверной Пчелы», 1859 г.), съ Абиссинскимъ маэстро (въ № 15, «Искры» 1860 г.), гдѣ помѣстили меня между мѣднымъ носорогомъ и оловяннымъ осломъ; и Богъ знаетъ еще съ кѣмъ. Да видно я живущъ: всячески убивали меня, но не убили; я все еще живу, тружусь, работаю безъ отдыха и безъ устали и не теряю надежды сдѣлать что нибудь полезное для общества. Но если теперь напечатать мою *Предсмертную Исповѣдь*, то меня навѣрное убьютъ; никто не повѣритъ моей искренности и всѣ закричатъ: «реклама, реклама, шарлатанство»... и добьютъ меня окончательно, Не *réhabilitation*, а *coup de grâce* можетъ вызвать моя Предсмертная Исповѣдь. Смерть для меня не страшна, напротивъ... Жаль только одного: она помѣшаетъ мнѣ приложить пріобрѣтенную уже мною лексикографическую опытность къ со-

вершенію другаго важнаго и обширнаго труда: «Полнаго Французско-Русскаго Словаря», который, во многихъ отношеніяхъ, далеко превзошелъ бы мой теперешній трудъ, надъ которымъ я только учился и, подъ конецъ, вполнѣ изучилъ дѣло лексикографіи.

Мы не настаивали. Вскорѣ послѣ того началось печатаніе словаря; потомъ въ февралѣ сего 1867 г. вышла изъ печати первая часть его и объявлена была подписка. Подписчиковъ явилось мало: не довѣряли и думали, что надуваютъ, дали 1 часть, а вторая не выйдетъ, какъ это дѣлали уже съ публикою многіе издатели. Наконецъ, въ іюлѣ вышла и вторая часть. Всѣ мы, знакомые автора Словаря, со страхомъ и трепетомъ ожидали, какой пріемъ сдѣлаетъ его труду наша періодическая пресса и публика. Мы знали, какой высоко-гуманный и нравственный и, съ тѣмъ вмѣстѣ, какой грозный вопросъ соединенъ былъ съ успѣхомъ этого громаднаго труда, задуманнаго и оконченнаго въ три года и однимъ лицомъ. Что же касается самого автора, онъ былъ покоенъ; все уже въ немъ перекипѣло, застыло и замерло, и онъ съ непоколебимою твердостью и непреклонною рѣшимостью ждалъ послѣдняго рѣшенія—*быть или не быть*... Наконецъ судьба улыбнулась многолѣтнему страдальцу и отвела мечъ Дамокла, висѣвшій впродолженіи семи лѣтъ надъ его головою. Нѣкоторыя газеты отозвались о немъ весьма одобрительно. А въ іюньской книжкѣ «Журнала Мин. Нар. Просв.» была посвящена большая статья подробному разбору этого капитальнаго труда. Въ этой дѣльной статьѣ, написанной спеціалистомъ, отдавалась полная справедливость заслугѣ лексикографа. Затѣмъ въ № 188 «Journal de St-Pétersbourg», помѣщена была превосходная статья, отличающаяся безпристрастнымъ и благороднымъ тономъ и заключающая самыя лестныя похвалы обширному труду и той огромной пользѣ, какую этотъ трудъ долженъ принести образованной публикѣ.

По мѣрѣ появленія этихъ благосклонныхъ отзывовъ мы оживали, дышали свободнѣе и съ радостью замѣчали, какъ разъяснялось мало по малу и чело нашего пріятеля и сбѣгали съ него мрачныя тучи хронической печали. И онъ оживалъ подъ благотворнымъ, живительнымъ вліяніемъ отдаваемой ему справедливости.

Въ настоящее время Словарь одобренъ ученымъ комитетомъ Мин. Нар. Просвѣщенія.

Все это вмѣстѣ обезпечило вполнѣ успѣхъ Словаря и отвело ему почетное мѣсто между учебными книгами. И потому знакомые г. Макарова снова обратились къ нему съ просьбою — разрѣшить напечатаніе

присланныхъ имъ статей: *Предсмертная Исповѣдь* и *Глава изъ ненапечатаннаго романа*, предпославъ имъ краткое изложеніе предшествующихъ событій. Долго колебался онъ, не рѣшался и все еще боялся чего нибудь недобраго со стороны нѣкоторыхъ безпардонныхъ борзописцевъ, для которыхъ нѣтъ ничего святаго, почетнаго и неприкосновеннаго; боялся какихъ нибудь новыхъ обвиненій, насмѣшекъ и оскорбленій, которыхъ и такъ уже не мало перенесъ онъ. Просьбы эти возобновлялись нѣсколько разъ; и наконецъ удалось побѣдить его нерѣшительность и получить давно желаемое рѣшеніе—напечатать то, что прислалъ онъ намъ весною 1866 г. Изъ этихъ двухъ статей видно, до чего можетъ довести фанатизмъ честности и какую несокрушимую волю и настойчивость способенъ вдохнуть онъ. Только этимъ и можно объяснить возможность сдѣлать одному въ три года то, что другіе и вдвоемъ не успѣли бы сдѣлать въ шесть лѣтъ. Намъ остается только пожелать отъ всей души, чтобы не заподозрили святую истину нашихъ словъ и чистоту нашихъ намѣреній, и чтобы разсказъ этотъ получилъ характеръ не *coup de grâce*, а *réhabilation* въ полномъ смыслѣ этого французскаго слова. Будемъ ожидать и надѣяться... Какъ ни тонетъ иногда правда въ омутѣ пристрастія и несправедливости, но рано ли, поздно ли, она всплываетъ на верхъ. Иначе справедливость была бы однимъ пустымъ звукомъ, ложнымъ миражемъ.

ПРЕДСМЕРТНАЯ ИСПОВѢДЬ.

КОНФИДЕНЦІАЛЬНО (для не многихъ).

Въ началѣ пятидесятыхъ годовъ былъ затѣянъ одинъ уголовный процессъ, долженствовавшій кончиться или оправданіемъ, или смертнымъ приговоромъ. Процессъ этотъ былъ затѣянъ Макарову его злою судьбою, въ лицѣ одного недобраго человѣка, отравившаго половину его жизни. Ходъ этого процесса былъ изложенъ имъ и напечатанъ въ ноябрьской книжкѣ *Современника* за 1859 годъ, подъ заглавіемъ *Задушевная Исповѣдь*. Это была, такъ сказать, его жалоба въ судъ общественнаго мнѣнія; жалоба, которая встрѣтила въ нѣкоторой части публики полное сочувствіе, выразившееся во множествѣ писемъ, полученныхъ имъ съ разныхъ концовъ Россіи. Но не то встрѣтилъ онъ у нѣкоторыхъ другихъ лицъ: вмѣсто сочувствія къ его несчастіямъ и страданіямъ, на

него посыпались насмѣшки, обвиненія, оскорбленія. И при этомъ было забыто и попрано самое первое правило гуманности и великодушія, такъ хорошо выраженное французскимъ стихомъ: *Respecte le malheur, si tu ne le plains pas* (уважай несчастіе, если не сожалѣешь о немъ), и еще русскою пословицею: *Лежачаго не бьютъ*. Такое жестокосердіе въ отношеніи его можно объяснить развѣ только тѣмъ, что гораздо удобнѣе принять сторону сильнаго противъ слабаго, чѣмъ наоборотъ. Между тѣмъ сбылись съ ужасающею точностію пророческія опасенія, высказанныя въ слѣдующихъ строкахъ *Задушевной Исповѣди:*

«Передо мною — перспектива разоренія и нищенства съ двумя малолѣтними дѣтьми» (стр. 206).

Въ 1860 году, вслѣдствіе денежнаго кризиса, онъ долженъ былъ ликвидировать свои дѣла и продать свой заводъ за 4000 р., тогда какъ онъ стоилъ ему 40,000 р., и когда еще въ 1859 году онъ могъ взять за него 20,000 р. Макаровъ былъ въ конецъ разоренъ. Отдавъ своимъ кредиторамъ эти деньги и свое костромское имѣніе (120 душъ), онъ затѣмъ остался, на старости лѣтъ, безъ состоянія и безъ куска собственнаго хлѣба. Мало того: на немъ оказался еще значительный долгъ.

Итакъ, процессъ Макарова съ судьбою былъ рѣшенъ противъ него, и грозный приговоръ произнесенъ передъ судомъ его собственной и неумолимой совѣсти, приговоръ заранѣе формулированный въ слѣдующихъ строкахъ *Задушевной Исповѣди:*

«Разореніе я перенесъ бы съ твердостію и терпѣніемъ; но несостоятельность — никогда. Поэтому одна мысль о банкрутствѣ леденила мнѣ кровь и вѣяла на меня холодомъ могилы» (стр. 202). Оставалось исполнить этотъ приговоръ, къ чему все уже было готово. Но, вслѣдствіе посѣщенія его тогда однимъ изъ его старыхъ товарищей и пріятелей, и длиннаго, откровеннаго съ нимъ разговора, онъ согласился пріостановить исполненіе приговора, и пріостановить не изъ малодушнаго желанія выторговать себѣ нѣсколько лѣтъ разбитой и опозоренной банкротствомъ жизни, а для того, чтобы *взять апелляцію на приговоръ судьбы, въ надеждѣ выиграть дѣло въ высшей инстанціи*, т. е. изыскать средства заработывать деньги на уплату своего долга и на свое прожитье. Съ этою цѣлію въ ноябрѣ 1860 года онъ уѣхалъ въ небольшое тульское имѣніе его дѣтей (124 души). Отдохнувъ и собравшись съ силами отъ потрясенія, произведеннаго страшнымъ переворотомъ въ его жизни, онъ взялся за перо и въ короткое время написалъ нѣсколько романовъ и еще заготовилъ планы для многихъ другихъ, надѣясь, что они будутъ помѣщены въ журналахъ. Съ этою надеждою пріѣхалъ онъ

въ Петербургъ въ сентябрѣ 1861 года и обратился къ покойному Добролюбову, который принялъ его съ своею обычною привѣтливостію, и съ полнымъ сочувствіемъ взялъ у него одну изъ его рукописей и просилъ придти черезъ недѣлю за отвѣтомъ. Но черезъ недѣлю Добролюбовъ лежалъ уже въ постелѣ, а еще черезъ недѣлю его не стало на свѣтѣ. Со смертію этого прекраснаго молодаго человѣка умерли и всѣ тогдашнія надежды Макарова: ни одинъ изъ его романовъ нетолько не былъ напечатанъ, но даже не былъ принятъ къ разсмотрѣнію. Незнакомый съ условіями литературныхъ успѣховъ, онъ рѣшился издать на свой счетъ, и три изъ своихъ романовъ напечаталъ на свои послѣднія средства. Одинъ изъ этихъ романовъ былъ не разобранъ, а разруганъ. Другіе же два не удостоились и этой чести: объ нихъ ни слова не говорилось въ журналахъ; даже не было упомянуто о ихъ выходѣ. И потому романы его были убиты при ихъ рожденіи и погребены въ книжн. магазинѣ Овсянникова, безъ малѣйшей надежды на воскресеніе, т. е. на продажу.

Итакъ, *апеляціонное дѣло Макарова было проиграно во второй инстанціи*, и смертный приговоръ остался во всей своей силѣ. Убитый, уничтоженный, въ страшномъ состояніи духа возвратился онъ въ деревню, гдѣ болѣе года походилъ на живаго мертвеца и ни за что не могъ приняться. Но онъ рѣшился еще разъ отсрочить исполненіе грознаго приговора: его ужасала не смерть, которая, напротивъ, была бы для него благодѣяніемъ и успокоеніемъ отъ ужасныхъ потерь и душевныхъ страданій, громоздившихся и позади, и впереди его, и сдѣлавшихся наконецъ безотвязными спутниками, назойливыми гостями его измученной жизни. Ужасала же его мысль, что на его честное имя, на его окровавленныя кости ляжетъ позоръ несостоятельности, съ которою не могъ онъ ни примириться, ни свыкнуться. Уже давно созналъ онъ необходимость полнаго русско-французскаго словаря, и въ немъ зрѣла мысль составленія такого словаря. Черезъ полтора года послѣ несчастной своей поѣздки въ Петербургъ, онъ приступилъ къ осуществленію этой мысли: это была *его апелляція въ высшую и послѣднюю инстанцію*.

И вотъ онъ засѣлъ за громадный, головоломный трудъ и тѣмъ болѣе тяжелый, что работая въ деревнѣ, ему не съ кѣмъ было посовѣтоваться, кромѣ груды разныхъ словарей, которыми онъ былъ обложенъ. Вставалъ онъ въ 6 часовъ утра, ложился въ 11 вечера. Изъ этихъ 17 часовъ только два съ половиною употреблялись на отдыхъ, который состоялъ въ получасовомъ упражненіи музыкою, и въ двухчасовомъ чтеніи газеты. Но и это чтеніе состояло въ связи съ его лексикографическими занятіями. Нарочно для этого выписывалъ онъ *Journal de St-Pétersbourg*,

который читалъ съ напряженнымъ вниманіемъ въ отношеніи французской терминологіи и фразеологіи, и почти ежедневно вписывалъ въ свой словарь по нѣсколько французскихъ переводныхъ словъ, или по нѣсколько оборотовъ и фразъ. Другаго отдыха онъ не допускалъ и не понималъ. Онъ считалъ, что онъ не долженъ имѣть никакой собственности, ничего своего: его время, труды, голова, руки, ноги, тѣло, вся его кровь принадлежитъ его кредиторамъ, въ рабствѣ у которыхъ долженъ онъ находиться до тѣхъ поръ, пока не уплатитъ имъ послѣдней копѣйки своего долга. Внѣ этой уплаты одна только смерть могла бы прекратить это рабство. Для него, каторжника своихъ правилъ, убѣжденій, обязательствъ и своей неумолимой совѣсти, не было даже праздниковъ, какъ для обыкновенныхъ каторжниковъ: и въ Рождество, и въ Новый годъ, и въ Свѣтлое Воскресенье онъ все такъ же работалъ отъ 6 часовъ утра и до 11 вечера.

Съ одной стороны, такая усиленная работа была для него вродѣ хлороформа, или, вѣрнѣе, опіума: поглощая все его существо, она отвлекала его мысли отъ его жизненной обстановки, которая съ каждымъ мѣсяцемъ ухудшалась и становилась мрачнѣе, тошнительнѣе вслѣдствіе переворота въ жизни русскихъ дворянъ землевладѣльцевъ. Съ 1861 г. доходы съ имѣній стали уменьшаться и упали наконецъ до одной трети прежняго дохода. Но при его умѣньи отказывать себѣ во всемъ и переносить величайшія лишенія, онъ могъ бы еще существовать и съ третью прежняго дохода. Но онъ долженъ былъ посылать бо́льшую часть его въ Петербургъ на содержаніе сына студента. И затѣмъ на его собственное прожитье оставались самыя скудныя крохи. Сперва отпустилъ онъ человѣка, потомъ повара, такъ что въ домѣ у него осталась одна женщина, исправлявшая должность и лакея, и кухарки, и прачки. Однимъ словомъ, содержаніе его сдѣлалось хуже, чѣмъ было содержаніе его прежнихъ слугъ: и ѣлъ онъ, и одѣтъ онъ былъ хуже ихъ... Съ другой стороны, необычайно усиленныя его занятія и сидячая жизнь начали гибельно отражаться на его здоровьѣ. Сперва появились болѣзненныя схватки въ поясницѣ, потомъ сильнѣйшія головныя боли; но онъ не обращалъ на это вниманія, побѣждалъ въ себѣ чувство физической боли и продолжалъ работать попрежнему. Наконецъ, черезъ полтора года такой каторги произошелъ взрывъ болѣзни. Онъ поспѣшилъ въ Тулу: оказалось сильнѣйшее воспаленіе; поставили множество піявокъ. Это облегчило его и остановило дальнѣйшее развитіе болѣзни. Отдохнувъ въ Тулѣ одинъ день, онъ возвратился въ деревню, гдѣ отдохнулъ еще часа три въ постелѣ и потомъ, сгорбленный, сморщенный, снова за геркулесовскій трудъ. Но

что всего болѣе ужасало его, такъ это возможность потерять зрѣніе, которое ослабѣло такъ, что однихъ очковъ было мало: онъ употреблялъ еще лорнетку. Потомъ и этого было недостаточно для разобранія мелкаго шрифта нѣкоторыхъ словарей: онъ прибѣгнулъ къ большому увеличительному стеклу.

И такая жизнь продолжалась около трехъ лѣтъ. Правда, онъ могъ бы кончить свой трудъ гораздо ранѣе, еслибы онъ работалъ не такъ добросовѣстно и довольствовался тѣмъ, чѣмъ довольствуется большая часть различныхъ дѣятелей, а именно: работать по крайнему уразумѣнію и не убиваться судорожно-напряженнымъ вниманіемъ о томъ, чтобы сдѣлать сколь возможно лучше. Медленно подвигаясь впередъ по алфавитному лексикографическому пути, онъ безпрестанно возвращался назадъ, исправлялъ или пополнялъ то, что было сдѣлано. Есть множество словъ, какъ напр. *Время, Выходить, Взять, Дѣло, Мѣсто* и мн. другихъ, къ которымъ возвращался онъ болѣе двадцати разъ, наполнялъ запасные столбы и потомъ дѣлалъ еще приклейки снизу, сверху и съ боковъ. Сколько разъ случалось, что ночью, въ просонкахъ, ему приходило на мысль слово, оборотъ или фраза. Онъ сейчасъ же зажигалъ свѣчу, вставалъ, справлялся съ написаннымъ и вписывалъ эти слова, если они не были вписаны.

Наконецъ трудъ его конченъ. Онъ сдѣлалъ новый долгъ, чтобы издать его и, сверхъ того, разстроилъ свое здоровье и нажилъ нѣсколько хроническихъ недуговъ. И теперь настала для него минута грозная, торжественная, минута *окончательнаго суда его апелляціоннаго дѣла и произнесенія окончательнаго надъ нимъ приговора: быть или не быть*. Судъ присяжныхъ, это — вся русская читающая и въ особенности учащаяся публика. Прокуроръ-обвинитель — его собственная совѣсть, не допускающая никакихъ облегчительныхъ обстоятельствъ, кромѣ одного: всецѣлой уплаты его долга. Постановители и произносители приговора, это — русская періодическая пресса, у которой онъ проситъ не похвалъ, нѣтъ! а суда, хотя бы и строгаго, но справедливаго. Пусть удостоятъ его трудъ разбора, но да не убиваютъ его безусловнымъ порицаніемъ и голословною бранью или, что еще хуже, гробовымъ молчаніемъ, какъ это дѣлали съ его прежними литературными произведеніями, написанными и изданными не изъ спекуляціи и не изъ тщеславія, а для избѣжанія несостоятельности, т. е. для спасенія своей чести и жизни. Страшное, ожесточенное гоненіе выдержалъ онъ впродолженіи нѣсколькихъ лѣтъ. Все было въ союзѣ съ его злою судьбою и противъ него. Печатнымъ насмѣшкамъ и оскорбленіямъ не было конца.

Его ставили на одну доску съ самыми осмѣянными, ошиканными и непочетными именами, съ героями наглаго шарлатанства, жалкой бездарности и самыхъ постыдныхъ продѣлокъ. А за что?.. Никому не сдѣлалъ онъ умышленно зла; никому ни въ чемъ не мѣшалъ; ни у кого не перебивалъ дороги. Совѣсть его чиста и не упрекнетъ его ни въ одномъ дурномъ дѣлѣ, ни въ одной неблагородной мысли, отъ которой бы онъ могъ покраснѣть; не упрекнетъ ни въ чемъ, кромѣ невольной, независившей отъ него несостоятельности, для которой эта совѣсть неумолима и безпощадна. Если же и можно за что упрекнуть его, то развѣ за то, что онъ не всегда умѣлъ быть хладнокровнымъ, за то, что не могъ переносить равнодушно незаслуженныхъ оскорбленій, за то, что слишкомъ строго понималъ законы чести, и наконецъ за то, что слишкомъ страстно любилъ правду, поклонялся ей и высказывалъ ее всегда и всѣмъ, и даже печаталъ, не щадя самого себя и сознаваясь откровенно въ своихъ прошедшихъ ошибкахъ и увлеченіяхъ. Но развѣ это такіе пороки, развѣ это преступленія, за которыя слѣдуетъ лишить честнаго человѣка права на всякое снисхожденіе, права на безпристрастный судъ, на заявленіе своей дѣятельности, на честный трудъ; право, такъ сказать, *дышать воздухомъ и пользоваться свѣтомъ и тепломъ*, которые должны быть достояніемъ всего живущаго. Но у него именно оспаривали и отнимали всѣ эти права, лишая его малѣйшаго поощренія, убивая въ немъ всякую надежду на успѣхъ, всякую охоту трудиться и ставя его, такъ сказать, внѣ закона, внѣ всякаго суда и разбора. Его только обвиняли и оскорбляли, но ни одного голоса не раздалось въ его защиту. Никто не подумалъ о томъ, что ничего нѣтъ легче, какъ быть обвинителемъ и хулителемъ, и что, съ другой стороны, если и труднѣе, то гораздо почетнѣе роль защитника или безпристрастнаго судьи. Неужели и въ этомъ торжественномъ случаѣ, когда дѣло идетъ о спасеніи чести и жизни гражданина и семьянина, и когда для этого спасенія требуются не подписки, не пожертвованія, не благотворительные спектакли, а только добросовѣстная оцѣнка добросовѣстнаго труда, въ которомъ нуждается вся Россія; неужели и теперь ему тоже будетъ отказано въ судѣ и въ правдѣ? Неужели придется допустить грустную мысль, что у насъ въ Россіи съ честнымъ человѣкомъ поступаютъ иногда гораздо хуже, чѣмъ поступаютъ съ величайшимъ преступникомъ и злодѣемъ на западѣ, гдѣ не отказываютъ ему ни въ судѣ, ни въ правдѣ, ни въ защитникѣ, ни въ снисхожденіи къ облегчительнымъ обстоятельствамъ? О, да минуетъ его эта горькая чаша, которыхъ и такъ уже много испилъ онъ до дна.

Слишкомъ шесть лѣтъ прошло со времени его разоренія и нищеты. Молча страдалъ онъ и несъ тяжелый крестъ, который нѣсколько разъ грозилъ раздавить его. И во время этого длиннаго, мученическаго пути ни отъ кого ни одного утѣшительнаго слова, а напротивъ: потѣшались бросаніемъ въ него грязью и камнями, и увеличивали до-нельзя тяжесть и безъ того тяжелаго креста, и трудность тернистаго пути, а въ особенности *трудность борьбы съ усталостію и съ отвращеніемъ къ жизни*. Но наконецъ пробилъ урочный часъ, когда дальнѣйшее молчаніе сдѣлалось для него невозможнымъ, и онъ рѣшается прервать его отчаяннымъ воплемъ погибающаго, который взываетъ о помощи и спасеніи не отъ смерти, которой онъ не боится, а отъ пытки несостоятельнаго должника. Изданіемъ своего лексикографическаго труда онъ взываетъ къ русской публикѣ: пусть рѣшитъ она, чего онъ стоитъ и чѣмъ должно быть это воззваніе — *его спасительною или предсмертною исповѣдью*.

ГЛАВА XIV. (изъ неизданнаго романа).

На дорогѣ въ вѣчность.

Мы оставили Дебрина въ безвыходномъ положеніи, которое не улучшилось. Сверхъ разоренія, ему угрожалъ позоръ несостоятельности. Вотъ чего не могла вынести его честная душа, и что терзало и жгло огнемъ пытки его умъ и душу. Мысль о неизбѣжномъ банкротствѣ парализировала всѣ его способности, убивала въ немъ всякую дѣятельность. Онъ не могъ ни за что приняться, потому что ему повсюду чудились страшныя слова: банкротство, банкрутъ. Раскроетъ книгу: буквы прыгаютъ въ его глазахъ и образуютъ изъ себя все одни и тѣ же слова: банкротство, банкрутъ. Примется за музыку — и струны, казалось, звучатъ словами: банкрутъ. Вздумаетъ писать — и перо, словно околдованное, пишетъ: банкрутъ.

Голова его пылаетъ, а по тѣлу пробѣгаетъ дрожь...

Онъ выйдетъ на улицу, пойдетъ скорыми шагами по тротуару, доберется до Невскаго Проспекта, надѣясь освѣжиться и забыться въ толпѣ пѣшеходовъ. Но и тамъ ему мнится, что каждый прохожій, при встрѣчѣ съ нимъ, говоритъ: банкрутъ... И онъ еще скорѣе возвращается домой, и потомъ цѣлую недѣлю никуда ни шагу. Ляжетъ на диванъ и лежитъ по цѣлымъ часамъ въ лихорадочномъ забытьи. А въ головѣ его, точно

удары молота, раздаются слова: банкрутъ, банкрутъ. Потерялъ онъ и сонъ, и аппетитъ и сдѣлался скелетомъ. Смертельная тоска впилась ему въ сердце, и день и ночь грызла его безъ перемежки. Наконецъ нравственныя страданія его достигли той степени, изъ которой только два исхода — помѣшательство или самоубійство.

Въ эти грозныя минуты онъ вспомнилъ о подрядчикѣ, застрѣлившемся за годъ передъ тѣмъ. Это былъ нѣкто Леденевъ, когда-то артиллерійскій офицеръ и порядочный человѣкъ. Дебрину казалось, что онъ протягивалъ къ нему изъ вѣчности свои окровавленныя руки: одною подавалъ ему заряженный пистолетъ, а другою манилъ его къ себѣ, говоря: «банкрутъ къ банкруту». И Дебринъ повторялъ: «банкрутъ къ банкруту, пора, пора, туда, къ Леденеву, въ вѣчность»... И наконецъ рѣшился покончить съ пасквилью жизни.

Вслѣдъ за этимъ рѣшеніемъ почувствовалъ онъ большое облегченіе въ своей груди, и нравственная пытка его почти прекратилась. Онъ былъ мраченъ, но спокоенъ и холоденъ. Рѣшимость самоубійства, это — хлороформъ для страданій души, это — канунъ освобожденія для крѣпостнаго арестанта. Даже сонъ и аппетитъ возвратились къ нему. Совершенно въ нормальномъ состояніи духа отправился онъ въ оружейный магазинъ, выбралъ пару небольшихъ и недорогихъ пистолетовъ, и покупая торговался и выторговалъ нѣсколько рублей. Затѣмъ досталъ пороху и пуль.

Не задолго передъ тѣмъ онъ прочиталъ въ газетахъ извѣстіе о самоубійствѣ одного парижскаго доктора Оссандона. Это былъ очень умный и веселый человѣкъ, любимый и уважаемый всѣми. Съ нимъ сдѣлался ударъ, отъ котораго, однакожъ, онъ оправился и выздоровѣлъ. Но, какъ опытный медикъ, онъ зналъ, что ударъ повторится, и сильнѣе прежняго. Безпрестанныя опасенія и ожиданія этого непріятнаго событія смертельно ему надоѣли, и онъ рѣшился предупредить его. Однажды заходитъ къ нему одинъ изъ его пріятелей и говоритъ:

— Что это, другъ мой, васъ нигдѣ теперь не видать? А если кто и встрѣтитъ васъ, то не узнаетъ, такъ вы перемѣнились; изъ веселаго сдѣлались задумчивы и мрачны.

— Знаете ли что мнѣ сейчасъ пришло въ голову? спросилъ докторъ пріятеля, вмѣсто того, чтобы самому отвѣчать на его вопросъ.

— Что такое?

— А вотъ что: если вы вздумаете когда-нибудь лишить себя жизни, то, чтобы сдѣлать это безъ малѣйшихъ страданій, распорядитесь такъ:

возьмите небольшой пистолетъ, зарядите его и ощупайте на лѣвой сторонѣ груди то мѣсто, гдѣ бьется сердце, а именно вотъ здѣсь.

Тутъ докторъ ощупалъ у пріятеля то мѣсто, гдѣ кончается послѣднее лѣвое ребро, и продолжалъ:

— Послѣ этого возьмите въ правую руку пистолетъ, взведите курокъ, оборотите дуло къ груди, а лѣвую наставьте его на то мѣсто, которое сейчасъ указалъ я вамъ, и смѣло спускайте курокъ. Ручаюсь честію, что смерть будетъ мгновенна, безъ малѣйшаго страданія.

— Что за странная идея пришла вамъ въ голову, любезный другъ? отвѣчалъ пріятель доктору.

— Это совѣтъ знатока, который, можетъ быть, и пригодится кому нибудь.

— Только ужъ не мнѣ.

— Не вамъ, такъ другому.

Пріятель ушелъ. А на другой день, къ крайнему своему огорченію, прочелъ въ парижскихъ газетахъ извѣстіе, что «всѣми уважаемый докторъ Оссандонъ застрѣлился въ своемъ кабинетѣ. Пуля попала прямо въ сердце и смерть была мгновенна».

Это газетное извѣстіе произвело сильное впечатлѣніе на Дебрина, и съ тѣхъ поръ не выходило у него изъ головы. Въ особенности поразила его противоположность, какая находилась между искуснымъ самоубійствомъ доктора и неловкостію подрядчика, который тоже выстрѣлилъ себѣ въ грудь, но только немного ниже послѣдняго ребра, такъ что пуля прошла между сердцемъ и легкимъ, ударилась въ правое ребро и, отскочивъ отъ него, засѣла въ спинномъ хребтѣ. И вмѣсто мгновенной смерти, бывшій артиллеристъ прожилъ и пострадалъ еще три недѣли.

Дебринъ сравнилъ оба эти случая и, принявъ къ свѣдѣнію совѣтъ Оссандона, заранѣе изучилъ роковое мѣсто на своей груди, сдѣлалъ нѣсколько репетицій съ незаряженымъ еще пистолетомъ и былъ увѣренъ, что избѣгнетъ неловкости Леденева.

Итакъ всѣ приготовленія къ отъѣзду въ вѣчность были окончены, и мѣсто въ замогильный мальпостъ было взято; оставалось сѣсть и поѣхать. Дебринъ рѣшительно повеселѣлъ и вздохнулъ свободно какъ человѣкъ, который могъ наконецъ раздѣлаться съ своими кредиторами и уплатить имъ своею кровью. Оставалось еще одно, послѣднее дѣло въ его земной жизни: благословить дочь Лидію и въ послѣдній разъ прижать ее къ своему сердцу, біенія котораго были уже сочтены. О, что это было за свиданіе и какіе контрасты представляло оно!

Невинное и кроткое дитя, ничего не подозрѣвая, весело улыбалось при видѣ отца и радовалось конфектамъ и фруктамъ, которыхъ привезъ онъ ей. Но что еслибы оно знало о томъ, что готовилось ей въ скорой будущности ?... Круглое и бездомное сиротство и нищенскій кусокъ хлѣба, брошенный со стола зажиточныхъ и кичливыхъ родственниковъ, и, быть можетъ, отравленный попрекомъ. И Дебринъ тоже улыбался, глядя на милаго ребенка. Но какихъ усилій стоила ему эта вымученная улыбка и что скрывалось за нею ! Затаенныя рыданія, которыя разрывали грудь, душили его ; проглоченныя слезы, прожигавшія всѣ внутренности отца, разлучившагося навѣки съ любимою дочерью, которой оставлялъ послѣ себя въ наслѣдіе—безпріютность и нищенство...

Дебринъ не могъ долго выдержать пытки этого свиданія и поспѣшилъ оставить Институтъ. Сейчасъ по возвращеніи домой онъ долженъ былъ подписать послѣдній счетъ своей жизни, подписать не чернилами, а кровью... Но мысль о сиротствѣ дочери, о ея бездомности, о горечи нищенскаго хлѣба, о безпрестанныхъ лишеніяхъ, униженіяхъ и слезахъ оскорбленнаго самолюбія налегла на него свинцовою горою и придавила его. Рука, взявшаяся за пистолетъ, онѣмѣла, замерла, словно разбитая параличемъ. Но движеніе тѣла замѣнилось движеніемъ мыслей, которыя быстро смѣнялись одна другою. Въ сердце Дебрина возникла ожесточенная борьба между двумя разнородными чувствами.

Съ одной стороны—непреодолимое отвращеніе къ жизни, разбитой и опозоренной банкрутствомъ, этимъ нравственнымъ разложеніемъ человѣческаго бытія ; съ другой—смертельная тоска и невыразимое сожалѣніе о малолѣтней дочери, которую бросалъ онъ одинокою, безъ путеводителя и безъ средствъ въ безплодной пустынѣ сирой жизни. Это былъ настоящій апеляціонный процесъ, въ которомъ малолѣтняя сирота умоляла строгаго судію объ отмѣнѣ смертнаго приговора, произнесеннаго противъ ея отца.

«Быть или не быть», говорилъ себѣ Дебринъ. И вдругъ, въ минуту этого грознаго раздумья, зазвенѣлъ колокольчикъ въ его передней и потомъ раздались слова : — Дома ли Сергѣй Павлычъ ? — Застигнутый врасплохъ, Дебринъ выпустилъ пистолетъ изъ рукъ и въ изнеможеніи опустился на кресло. Въ кабинетъ къ нему вошли двѣ Сестрички.

ЭПИЛОГЪ.

Кончимъ нашу статью повтореніемъ выраженнаго нами выше желанія : *чтобы не заподозрили святую истину нашихъ словъ и чи-*

стоту нашихъ намѣреній, и чтобы разсказъ этотъ получилъ характеръ не coup de grâce, a réhabilitation въ полномъ смыслѣ этого французскаго слова.

Возстановленіе это необходимо для того, чтобы г. Макаровъ могъ продолжать и довести до конца новый начатый имъ учебно-литературный трудъ, который, согласно составленному обширному плану, будетъ объемистѣе 66 печ. листовъ) его «Русско-Французскаго Словаря». Трудясь надъ послѣднимъ усиленно одинъ, безъ сотрудниковъ, онъ уже сильно пошатнулъ свое здоровье. Новый и обширнѣйшій трудъ можетъ доконать его; но это его ничуть не пугаетъ и онъ не будетъ торговаться изъ-за нѣсколькихъ лишнихъ лѣтъ жизни и охотно, весело понесетъ новый тяжелый, но уже добровольный крестъ, лишь бы принести сколь возможно болѣе пользы обществу. Но чтобы не пасть подъ тяжестью этого новаго креста и донести его до конца опредѣленнаго пути, необходимо сосредоточить и сохранить всецѣло свои душевныя и умственныя силы, для восполненія ими силъ физическихъ. А это сосредоточеніе и сохраненіе возможны только при полномъ возстановленіи его добраго имени, надъ которымъ глумились впродолженіи многихъ лѣтъ и которое забросали грязью. Мы могли бы привести много печатныхъ тому доказательствъ, но не дѣлаемъ это, слѣдуя французской пословицѣ: *Il ne faut pas éveiller le chat qui dort* (кто старое помянетъ, тому глазъ вонъ). Выпишемъ только въ заключеніи слѣдующія строки изъ посвященія другу одного изъ романовъ г. Макарова *(Побѣда надъ Самодурами)*:

«Меня хотѣли уничтожить, забросать грязью мое честное, незапятнанное имя. Не хотѣли даже выслушать моихъ оправданій и осудили меня безъ апелляціи. Я падалъ духомъ и тѣломъ и готовъ былъ предаться губительному, безвыходному отчаянію. Но Провидѣніе, твоими устами, спасло меня; слѣдуя твоему дружескому совѣту, я оставилъ Петербургъ, удалился въ деревню и проведя тамъ нѣсколько мѣсяцевъ въ совершенномъ уединеніи, на лонѣ природы, тишины и спокойствія, вздохнулъ свободно и—ожилъ».

Но и это посвященіе когда-то вызвало тоже насмѣшки, оскорбленія и *швыряніе грязью*. Будемъ же надѣяться, что по напечатаніи этого правдиваго разсказа, уже не повторится больше подобный грустный, безчеловѣчный фактъ; не повторится изъ уваженія къ гуманности, выраженной въ приведенномъ выше французскомъ стихѣ:

«Respecte le malheur, si tu ne le plains pas».

ПУТЕШЕСТВІЕ ПО ДЕБРЯМЪ СЛАВЯНСКОЙ АПАТИЧНОСТИ, ДРЯБЛОСТИ И ПСЕВДОМЕЦЕНАТСТВА *).

Въ февралѣ была помѣщена, въ «Новомъ Времени», статья, подъ заглавіемъ къ «Царскому Юбилею». Въ дополненіе къ многочисленнымъ актамъ милосердія и великодушія, ознаменовавшимъ великое 25-тилѣтнее царствованіе, позволю себѣ разсказать еще о нѣсколькихъ проявленіяхъ Царскаго великодушія, которыя неизвѣстны автору вышеупомянутой статьи, но о которыхъ не слѣдуетъ молчать, и безъ которыхъ огромный трудъ,—снабженія Россіи хорошими двуязычными словарями,—не былъ бы доведенъ мною до конца. При этомъ, чтобы показать во всемъ блескѣ и величіи неисчерпаемую благотворность Высокаго Поощрителя благихъ начинаній въ Россіи, я долженъ поставить въ параллель ледяное, мертвящее равнодушіе публики, которымъ былъ встрѣченъ мой первый трудъ (полный русско-французскій словарь), и которое едва не убило мою дальнѣйшую лексикографическую дѣятельность. Разсказъ этотъ весьма назидателенъ и... весьма печаленъ по отношенію къ публикѣ, но весьма утѣшителенъ по отношенію къ Царской власти.

Давно сознавъ я необходимость «Полнаго русско-французскаго словаря», безъ котораго немыслимы хорошіе переводы съ русскаго на французскій, и вообще весьма трудно основательное изученіе французскаго языка, въ особенности разговорнаго. Полные французско-русскіе, хотя и устарѣлые, но были: Ив. Татищева, Эртеля. Но русско-французскаго истинно полнаго, т. е. съ обширною, всеобъемлющею фразеологіей—ни одного, потому что нельзя же назвать полнымъ «Этимологическій лексиконъ русскаго языка Рейфа», съ чахоточною, неуклюжею и неумѣлою фразеологіей. Въ половинѣ 1863 года я приступилъ къ осуществленію моего намѣренія и ровно черезъ три года, въ половинѣ 1866 года, окончилъ мой «Полный русско-французскій словарь». Только необычайно усидчивая работа, по 15 часовъ въ сутки безъ малѣйшаго отдыха, даже и въ самые большіе праздники, дала мнѣ возможность начать и окон-

*) Статья эта была напечатана въ № 131-мъ «Спб. Вѣдом.» 1880 года.

чить этотъ огромный трудъ (съ 32 тысячами примѣровъ) въ такой короткій срокъ. Правда, я перенесъ нѣсколько болѣзней и разстроилъ здоровье. Оставалось напечатать. Это потребовало большихъ денежныхъ средствъ, какихъ у меня не имѣлось. Обратился было я къ одному изъ петербургскихъ книгопродавческихъ тузовъ, предлагая ему издать мой трудъ на самыхъ выгодныхъ для него условіяхъ. Пролежавъ у него, туза, съ недѣлю, огромная рукопись была возвращена мнѣ «безъ послѣдствій» и, кажется, даже безъ прочтенія предисловія. Толкнулся было я еще къ нѣкоторымъ издателямъ, да къ лицамъ «якобы» меценатствующимъ. Увы! ни тѣни сочувствія, ни даже обнадеженія, а напротивъ: сомнѣнія, предсказанія вѣрнаго фіаско и равнодушіе на 30 градусовъ ниже точки замерзанія. Я падалъ духомъ, приходилъ въ отчаяніе. Наконецъ кто-то надоумилъ меня обратиться въ типографію, бывшую Тиблена и перешедшую во владѣніе Н. А. Неклюдова, которому и снесъ я мою рукопись. Когда, черезъ нѣсколько дней, явился я къ нему, онъ сказалъ мнѣ:

— Я прочиталъ ваше предисловіе и просмотрѣлъ вашъ словарь: онъ такъ хорошъ, что не можетъ не пойти, и потому я печатаю вамъ его въ долгъ, который уплатите вы мнѣ изъ выручекъ.

И такъ, благодаря сочувствію умнаго и просвѣщеннаго человѣка, трудъ мой былъ спасенъ отъ забвенія, а я—отъ отчаянія и отъ прекращенія дальнѣйшей дѣятельности по изданію словарей. Когда вышла 1-я часть, я было попробовалъ объявить о подпискѣ, разумѣется, съ уступкою 20%. Менѣе ста человѣкъ отозвалось на мой призывъ!... Поддержка едва-ли могущая поддержать что-либо. Наконецъ, въ 1867 г. словарь вышелъ изъ печати и удостоился высокой чести посвященія Цесаревнѣ, соизволившей принять это посвященіе въ самыхъ сочувственныхъ и лестно-поощрительныхъ для меня выраженіяхъ. Потомъ въ трехъ журналахъ: «Инвалидѣ», «Journal de St-Pétersbourg» и въ журналѣ «Министерства Народнаго Просвѣщенія» сочувственно и съ похвалами отозвались о моемъ трудѣ, особенно въ послѣднемъ, гдѣ была помѣщена большая статья, разобравшая словарь съ полнѣйшимъ безпристрастіемъ и совершеннымъ знаніемъ дѣла. Затѣмъ вездѣ царило полнѣйшее равнодушіе, даже самое художественное игнорированіе и самое гробовое молчаніе. Правда, фельетонистъ одной большой газеты вздумалъ было разбирать, или вѣрнѣе, *протащить* мой словарь, но сдѣлалъ это такъ неумѣло и не умно, что ему въ сонникахъ же отвѣтили въ вышеупомянутой статьѣ журнала «Министерства Народнаго Просвѣщенія» и доказали полнѣйшее его невѣжество въ дѣлѣ лексикографіи. Вотъ еще

образчикъ апатичности, узкости взглядовъ, меркантильности и непониманія дѣла даже у многихъ нашихъ книжныхъ спеціалистовъ.

Секретарь, и еще весьма ученый, одного книгоиздательскаго общества, которому предлагалъ я издать мой словарь, возвратилъ мнѣ рукопись при письмѣ, гдѣ значилось, что «Общество не можетъ принять на себя изданіе труда, *обѣщающаго выгоды лишь въ отдаленномъ будущемъ*»... По счастью неодобрительное пророчество не сбылось: какъ ни туго шла продажа моего перваго труда, всетаки черезъ четыре года пришлось приступить ко второму изданію и, стало быть, «Общество изданія полезныхъ книгъ» получило бы далеко не *въ отдаленномъ будущемъ* огромные барыши.

«Вотъ наши строгіе цѣнители и судьи!»

Да! у насъ не то, что, напримѣръ, во Франціи, гдѣ банкиръ Агуадо, просмотрѣвъ программу словаря Литтре, далъ ему, безъ малѣйшаго колебанія, средства издать его монументальный трудъ. А эти средства состояли въ нѣсколькихъ милліонахъ франковъ. Теперь à propos de барыши. Пожалуй и у насъ возъимѣютъ иногда сочувствіе къ предпріятію, да только тогда, когда заранѣе будутъ обезпечены наискорѣйшіе и наикрупнѣйшіе барыши, которые для нашихъ денежныхъ тузовъ «выглядятъ» гораздо привлекательнѣе, соблазнительнѣе всякихъ наиполезнѣйшихъ изданій и книгъ. У насъ и самъ Викторъ Гюго, помноженный на Зола, не продалъ бы въ два года и сотой части своихъ романовъ сравнительно съ тѣмъ, сколько продается ихъ во Франціи въ одинъ годъ... Итакъ, слѣдовало покинуть всякую надежду возбудить въ публикѣ какое-либо живое, теплое чувство, или хотя бы одно простое любопытство, за отсутствіемъ высшихъ мотивовъ и пожеланій. Но за то я встрѣтилъ самую справедливую оцѣнку и самое горячее сочувствіе въ «Мужахъ науки», въ членахъ академіи наукъ и ученаго комитета; сочувствіе, выразившееся не въ однихъ словахъ, а на дѣлѣ, какъ увидимъ далѣе. Въ то же время мой словарь получилъ самыя лестныя одобренія ученаго и всѣхъ учебныхъ комитетовъ, а равно и академіи наукъ и былъ принятъ во всѣ учебныя заведенія. Чтобы показать воочію громадную разницу въ умѣньи понимать и цѣнить по достоинству полезные труды и заслуги, разницу между публикою и «Мужами науки», я разскажу одинъ многознаменательный эпизодъ.

Вскорѣ по напечатаніи моего перваго труда сидѣлъ я въ раздумьи въ своей квартирѣ на Васильевскомъ островѣ. Вдругъ входитъ ко мнѣ пожилой господинъ, съ почтенною, симпатичною наружностью и съ Владиміромъ на шеѣ и спрашиваетъ:

— Здѣсь живетъ г. Макаровъ?

— Здѣсь и къ вашимъ услугамъ,—отвѣчалъ я.

— Я пришелъ познакомиться съ авторомъ такого превосходнаго словаря, какъ изданный вами полный русско-французскій словарь.

— Съ кѣмъ имѣю честь говорить,—спросилъ я?

— Я — Буняковскій.

Послѣ нѣсколькихъ любезныхъ и весьма лестныхъ для меня фразъ, почтенный и симпатичный посѣтитель удалился. Я сейчасъ за адресъ-календарь, гдѣ и отыскиваю: «В. Я. Буняковскій, вице-президентъ императорской академіи наукъ». На другой день собрался я отдать визитъ, но не успѣлъ: почтенный вице-президентъ, не дожидаясь отданія ему визита, снова пришелъ ко мнѣ и поднесъ мнѣ свой «Астрономическій и математическій словарь», котораго издана была когда-то одна только часть. Глубоко тронули меня такое вниманіе, такая оцѣнка моего труда со стороны столь заслуженнаго и всѣми высоко-чтимаго ученаго и прекраснѣйшаго человѣка. И съ тѣхъ поръ, постоянно, при каждомъ случаѣ выказывалъ онъ мнѣ самое искреннее участіе и уваженіе... А покойный И. И. Срезневскій передалъ мнѣ черезъ В. Я. Буняковскаго, свое искреннее желаніе познакомиться со мною, и потомъ выказывалъ самое теплое сочувствіе и уваженіе къ моимъ трудамъ и ко мнѣ... А. Н. М. Благовѣщенскій, который сдѣлалъ такую блестящую оцѣнку моихъ полныхъ словарей и сильно содѣйствовалъ выдачѣ мнѣ первой субсидіи, и потомъ всегда относился ко мнѣ съ участіемъ и уваженіемъ.

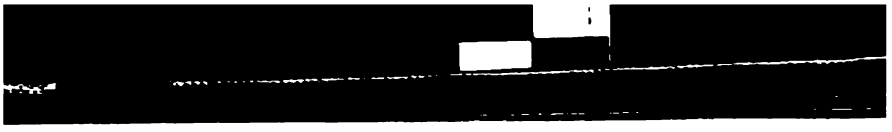
Вслѣдъ за напечатаніемъ словаря появились въ газетахъ заявленія отъ разныхъ лицъ, что «необходимо довершить мой трудъ изданіемъ «Полнаго французско-русскаго словаря», *который даже необходимѣе русско-французскаго* (съ чѣмъ я не согласенъ, потому что, какъ говорилъ я выше, полные французско-русскіе уже существовали, а полнаго русско-французскаго не было ни одного)...» Поразмыслилъ я объ этомъ заявленіи, и хотя здоровье мое было сильно потрясено, а поощренія и поддержки отъ публики ни на волосъ, я рискнулъ и рѣшился на поднятіе новаго огромнаго труда, но на этотъ разъ уже не одинъ, а въ сотрудничествѣ съ моимъ единственнымъ сыномъ. Уѣхалъ я съ нимъ въ тульскую деревню и тамъ засѣлъ снова за головоломный, тяжелый трудъ, съ прежнею неутомимою усидчивостью. Прошло съ полгода. Новый трудъ быстро подвигался впередъ, какъ вдругъ на мой лексикографическій пылъ вылилось нѣсколько ушатовъ воды со льдомъ, чуть не заморозившихъ мою энергическую дѣятельность: меня увѣдомили изъ Петербурга, что въ полгода продано моего словаря 60 экзем-

пляровъ, и что публика вообще, а въ особенности преподаватели учебныхъ заведеній и сами учащіеся, относятся къ моему словарю съ полнѣйшимъ равнодушіемъ, съ недовѣріемъ, съ сомнѣніемъ, а книгопродавцы держатъ его подъ спудомъ, рекомендуя Рейфа или Шпита, которые и продолжаютъ царить попрежнему; и что, наконецъ, нѣтъ никакой возможности уплатить мой долгъ типографіи иначе, какъ «въ самомъ отдаленномъ будущемъ».

Ошеломило меня такое извѣстіе, равносильное командѣ: «*стопъ машина!...*» И машина остановилась. Я поспѣшилъ въ Петербургъ, гдѣ нашелъ самую великодушную поддержку въ высшихъ сферахъ. По ходатайству Цесаревны 500 экземпляровъ моего словаря было пріобрѣтено для женскихъ учебныхъ заведеній. По предложенію г. оберъ-прокурора св. синода, 100 экземпляровъ куплено для духовныхъ учебныхъ заведеній. А сверхъ того, всѣ служащіе въ IV отдѣленіи собственной Его Величества канцеляріи поспѣшили составить подписной листъ на пріобрѣтеніе отъ меня около ста экземпляровъ. Все это воскресило, подняло меня и придало мнѣ новыя силы, новую энергію. Тогда пришла мнѣ еще слѣдующая идея, удачный результатъ которой могъ бы еще болѣе укрѣпить и вдохновить меня къ еще болѣе добросовѣстному и совершенному выполненію моего новаго труда. Я обратился въ одной изъ газетъ ко всей русской интеллигенціи съ слѣдующимъ предложеніемъ, перепечатаннымъ и во многихъ другихъ газетахъ.

«Вслѣдствіе сдѣланныхъ мнѣ печатныхъ заявленій о необходимости «Полнаго французско-русскаго словаря», я приступилъ къ составленію этого труда. Но такъ какъ мой русско-французскій словарь до сихъ поръ не встрѣчаетъ ни малѣйшаго сочувствія со стороны публики и почти не продается, то во мнѣ родилось сомнѣніе: точно ли нуженъ хорошій, полный французско-русскій словарь? Поэтому, чтобы не потерять даромъ времени, тяжелаго труда и большихъ денегъ на изданіе, быть можетъ, ненужной книги, я рѣшился сейчасъ же открыть не подписку, а только *провѣрку надежды на будущую подписку*. Съ этою цѣлію обращаюсь къ образованнымъ людямъ всей Россіи съ просьбою увѣдомить меня нѣсколькими строками о томъ, что, по выходѣ изъ печати первой части словаря, они захотятъ подписаться на него, если только они нуждаются въ хорошемъ полномъ французско-русскомъ словарѣ».

Послѣ такой публикаціи я крѣпко надѣялся на поддержку, которая благодѣтельно повліяла бы на меня, и которая, къ тому же, стоила бы весьма небольшой жертвы: написанія нѣсколькихъ строкъ и гривенника на отправку ко мнѣ письма по почтѣ. Будь это въ Англіи, Франціи,



Германіи, даже въ Польшѣ, подобное заявленіе о необходимой полезной книгѣ вызвало бы многія тысячи писемъ. И я точно сталъ получать тогда со всѣхъ концовъ Россіи письма съ самыми горячими сочувствіями. Но только, если не качество, то количество этихъ заявленій сильно закромало: въ продолженіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ я получилъ всего-навсе 44 письма!!!.. И это — въ цивилизованномъ государствѣ, съ 80-милліоннымъ народонаселеніемъ!!! Тогда только я прозрѣлъ и уразумѣлъ во всемъ ея блескѣ и величіи апатичность и дряблость славянской натуры у большей части нашей интеллигенціи, въ особенности у «элегантной», со стеклышкомъ въ глазу и безъ онаго, которая, какъ я убѣдился многими опытами, интересуется гораздо менѣе новыми умственными произведеніями книжныхъ магазиновъ, нежели новыми гастрономическими произведеніями обжорныхъ магазиновъ Елисѣева, Смурова et consorts... Но просвѣщенная поддержка Цесаревны, принца Ольденбургскаго и правительственныхъ лицъ спасла меня и мой трудъ.

Въ концѣ 1869 года, я приступилъ къ печатанію новаго труда. Но тутъ предсталъ передо мною грозный подводный камень: огромная издержка на изданіе труда, который на 10 печатныхъ листовъ былъ объемистѣе предыдущаго словаря. Изъ горькаго опыта я зналъ, что ни отъ публики, ни отъ издателей, ни отъ книгопродавческихъ тузовъ, ни отъ якобы меценатовъ, мнѣ нельзя было ожидать ни малѣйшей поддержки, ни тѣни сочувствія. Но благодареніе нашимъ мужамъ науки! Они, съ полнымъ участіемъ и готовностью, отозвались и явились ко мнѣ на выручку: академія наукъ, въ полномъ составѣ, и ученый комитетъ сдѣлали представленіе г. министру народнаго просвѣщенія, гдѣ, между прочимъ, было сказано:

«Ходатайствовать объ оказаніи г. Макарову возможнаго вспомоществованія для напечатанія его замѣчательнаго труда, такъ какъ непоявленіе онаго въ печати, вслѣдствіе недостатка матеріальныхъ средствъ автора, было бы утратою для отечественной литературы, достойною полнаго сожалѣнія».

И г. министръ народнаго просвѣщенія, сейчасъ же, сдѣлалъ обо мнѣ представленіе г. министру финансовъ, который, въ свою очередь, понявъ и оцѣнивъ важность моего труда и избѣгая длиннаго пути черезъ государственный совѣтъ, съ перспективою отказа, сейчасъ же доложилъ Императору. И черезъ нѣсколько дней я получилъ субсидію въ 4,000 руб. Когда я представлялся г. статсъ-секретарю Рейтерну, для принесенія ему благодарности за содѣйствіе, онъ сказалъ:

— Императоръ съ особеннымъ удовольствіемъ соизволилъ на выдачу вамъ субсидіи для вашего полезнаго труда.

И теперь, по прошествіи десяти лѣтъ, я не могу вспомнить безъ слезъ безпредѣльной благодарности къ Державному покровителю всего полезнаго въ Россіи и къ просвѣщеннымъ сановникамъ, не отказавшимся содѣйствовать безвѣстному труженику въ довершеніи его общеполезнаго труда. Для контраста, и въ назиданіе вѣрующимъ въ «рассейское» меценатство, я разскажу курьезный эпизодъ, которымъ заключилось печатаніе новаго словаря. Подъ конецъ мнѣ недоставало 500 р. на бумагу. Я туда, сюда, чтобы изъ-за ничтожной суммы не остановить печатаніе. Въ проѣздъ чрезъ Москву, и зная изъ печатныхъ и словесныхъ разсказовъ о существованіи въ ней одного богатѣйшаго и якобы просвѣщеннѣйшаго и великодушнѣйшаго мецената-издателя, я и толкнулся было къ нему на Мясницкую. Увы! меня не допустили до его лицезрѣнія подъ предлогомъ, что «изволятъ кушать чай и еще не одѣвались». Возвратясь въ гостинницу «съ носомъ», я поспѣшилъ написать московскому якобы меценату письмо, въ которомъ, объяснивъ исторію моихъ изданій, просилъ его дать мнѣ средство окончить изданіе моего новаго труда, ссудивъ мнѣ занимообразно 500 р. подъ вѣрное обезпеченіе этого долга двумя стами экземпляровъ моего словаря, продажная цѣна которыхъ 1,000 р., такъ что 500 р. ни въ какомъ случаѣ пропасть не могли бы. Въ концѣ я прибавилъ:

«Во всякомъ случаѣ, если вы не найдете возможнымъ выручить меня, я надѣюсь, что вы не захотите оскорбить мое авторское самолюбіе непринятіемъ подносимаго мною вамъ словаря».

И письмо, и словарь отправилъ я съ разсыльнымъ. Черезъ часъ онъ вернулся и принесъ мнѣ отъ московскаго якобы мецената «новый и огромнѣйшій носъ», т. е. мой словарь и при немъ не письмо, а его визитную карточку, и не новую, а уже довольно затасканную, на оборотѣ которой было написано, или вѣрнѣе нацарапано слѣдующее:

«Г. Н. Макарову.

«Прошу меня извинить, что я не могу исполнить вашего желанія и при семъ возвращаю экземпляръ вашего словаря».

Коротко и ясно. Эта сальная карточка у меня сохранилась, какъ образчикъ московскаго меценатства и его утонченной вѣжливости, т. е. зазорнаго швырянья подносимымъ въ подносящаго. Но главное, но вся суть вотъ въ чемъ: подносилъ я мой словарь Императору, Императрицѣ и всѣмъ членамъ Царскаго Дома. И всѣ удостоили принять мой трудъ, съ выраженіемъ сочувствій и благодарности. А г. московскій меценатъ не удостоилъ, счелъ меня и мой трудъ гораздо ниже себя.... Знай нашихъ!.. Но меня выручилъ одинъ изъ «нашихъ» петербургскихъ книго-

продавцевъ, купивъ у меня 200 экземпляровъ словаря; правда, съ весьма умѣренною уступкою въ... 50%!!.. Сверхъ того, я страшно дорого поплатился за новый трудъ: сотрудникъ мой и единственный сынъ не вынесъ тяжелой работы, хотя трудился далеко не такъ усидчиво, какъ я. Его молодой мозгъ не выдержалъ: на половинѣ труда онъ помѣшался и, послѣ двухнедѣльныхъ страданій, умеръ въ домѣ умалишенныхъ. Новый трудъ мой удостоился высокой чести посвященію Цесаревичу. Разскажу еще объ одномъ курьезномъ эпизодѣ этого изданія.

Пріѣхавъ въ Петербургъ послѣ неудачнаго моего толканья въ двери московскаго якобы мецената, я обратился къ одному изъ главныхъ бумагофабрикантовъ, въ роскошномъ домѣ котораго «ковры, сударь ты мой, Персія, ногами капиталы попираешь», и просилъ его отпустить мнѣ въ долгъ на 500 р. бумаги съ обезпеченіемъ 200 экземпляровъ словаря, т. е. цѣнностью въ 1,000 р. Бумагофабричный тузъ отказалъ мнѣ на отрѣзъ; а передъ тѣмъ отпустилъ бумаги въ долгъ тысячъ на 30-ть одному типографщику-мазурику, объявившему потомъ себя несостоятельнымъ на бездѣлицу, на... 800,000 р.!

— Грустно, сказалъ я бумажному тузу;—такая полезная книга ни въ комъ не встрѣчаетъ сочувствія, даже самаго безубыточнаго, безъ малѣйшаго риска.

— Какая же это полезная книга? Вотъ если бы вы издавали житіе св. Епистиміи, или какого другаго святаго, то это была бы полезная книга. А то какой-то словарь, да еще французскій (sic).

Послѣ такого премудраго изреченія, я скорѣе «въ охапку кушакъ да шапку», и давай богъ ноги отъ бумажнаго туза. Но это были только цвѣточки, а ягодки ждали меня впереди.

По приглашенію ученаго комитета, я составилъ и издалъ въ 1874 г. спеціально для учебныхъ заведеній «Международные словари» (части франц.-русск. и русско-франц.), снабдивъ ихъ довольно полною фразеологіею до 20,000 примѣровъ въ каждой части. Это первое и стереотипное изданіе стоило чрезвычайно дорого, и потому, если бы я назначилъ за него ту же цѣну, что и Рейфъ (2 р. 50 к.), то вмѣсто пользы, все бы еще имѣлъ небольшой убытокъ отъ перваго изданія. Но мнѣ хотѣлось сдѣлать мой словарь сколь возможно дешевле для небогатаго большинства учащихся, не дороже 2 р., съ уступкою еще 20% для учебныхъ заведеній. Но въ этомъ случаѣ первое изданіе дало бы мнѣ огромный убытокъ. И на этотъ разъ я снова нашелъ поддержку, не въ публикѣ и не въ меценатахъ, разумѣется, а въ правительственныхъ лицахъ. Г. министръ народнаго просвѣщенія, безъ малѣйшаго надумыванія, представилъ

меня къ пособію. И черезъ нѣсколько дней получилъ я вторую субсидію въ 4,000 р. на международные словари. И снова благословилъ я Высокаго Покровителя, который удостоилъ принять посвященіе моего труда Его Августѣйшему имени, и, сверхъ того, наградилъ меня орденомъ св. Станислава 2-й степени. Въ то же время, по ходатайству Цесаревича, 500 экз. моего полнаго французско-русскаго словаря было тоже пріобрѣтено для женскихъ учебныхъ заведеній, да еще 300 экз. для военныхъ и духовныхъ учебныхъ заведеній. Что же до публики, въ особенности до учащихся, для которыхъ спеціально были изданы международные словари, то они отнеслись и къ нимъ также равнодушно и продолжали брать Рейфа, несмотря на болѣе дешевую цѣну моего словаря, на его полноту и на двукратные циркуляры министра народнаго просвѣщенія, энергически рекомендовавшаго попечителямъ учебныхъ округовъ мои словари для «предпочтительнаго употребленія».

Желая довершить зданіе раціональной двуязычной лексикографіи, я приступилъ къ изданію русско-нѣмецкой и нѣмецко-русской частей Международнаго словаря, и еще «Полнаго нѣмецко-русскаго». Изданія эти стоили громадныхъ издержекъ, потому что, вслѣдствіе сильнаго разстройства моего здоровья, необходимо было взять сотрудниковъ и платить имъ высокіе гонорары. И вотъ, въ началѣ 1877 года изсякли у меня всѣ источники, тѣмъ болѣе, что съ нѣмецкими частями совпало 2-е изданіе Полнаго франц.-русск. словаря. Печатаніе должно было остановиться, и я — пасть, не дойдя до намѣченной цѣли, не довершивъ начатаго зданія. Тщетно обращался я ко всѣмъ земнымъ и небеснымъ силамъ, тщетно взывалъ о помощи къ разнымъ Крезамъ, предлагалъ разнымъ книгопродавческимъ тузамъ Петербурга и Москвы купить у меня за полцѣны второе изданіе Полнаго рус.-фр. словаря, который шелъ превосходно и далъ бы имъ громадные барыши: ни откуда, ни отъ кого ни тѣни желанія помочь мнѣ, ни звука, ни взгляда сочувствія; повсюду всемертвящее ледяное равнодушіе, позорнѣйшая апатія и какое-то болѣзненное отвращеніе къ малѣйшему усилію нарушить свой эгоистическій кейфъ, выйти хоть на минуту изъ своего окаменѣлаго покоя, изъ улиточной неподвижности. Разумѣется, у меня оставалось еще средство выхода изъ безвыходнаго положенія: это — снова обратиться къ поддержкѣ правительственныхъ лицъ, къ великодушію Державнаго мецената. Но мнѣ было совѣстно въ третій разъ утруждать моею просьбою; меня смущала, страшила мысль — показаться назойливымъ, злоупотреблять Царскую милость и щедроту. Поэтому я думалъ, думалъ и придумалъ вотъ что:

Былъ и есть въ Петербургѣ одинъ наибогатѣйшій Крезъ съ громадными доходами и съ ореоломъ меценатства, обаяніе котораго, посредствомъ стоустой молвы, коснулось и моего слуха. Обаяніе это было чистѣйшее марево, но принятое мною за дѣйствительность, и потому, въ полной надеждѣ на просвѣщенное сочувствіе и поддержку, устремился я въ чертоги Креза съ ореоломъ меценатства, взявъ съ собою четыре моихъ словаря и приготовивъ, на всякій случай, письмо, въ которомъ, во-первыхъ, изложивъ цѣль и ходъ моихъ трудовъ, я просилъ дать мнѣ средства окончить печатаніе нѣмецкихъ словарей, предлагая въ самое вѣрное и двойное обезпеченіе долга 4,000 экз. только что вышедшаго вторымъ изданіемъ Полнаго франц.-русскаго словаря.

Во вторыхъ, просилъ не отказать мнѣ въ чести посвятить его имени полный нѣмецко-русскій словарь и еще принять изданные уже мною словари. И такъ, полный надеждъ и вѣрованія въ просвѣщенные и широкіе взгляды мецената, я очутился у парадnаго крыльца его чертога. Вхожу въ сѣни, но... тутъ-то и совершилось самое неожиданное и постыдное крушеніе издательскаго корабля, съ его свѣтлыми надеждами и вѣрованіями и у самаго входа въ безопасную пристань... Тутъ совершилось нѣчто, несравненно печальнѣйшее и позорнѣйшее, чѣмъ то, что совершилось во время путешествія моего къ московскому, яко бы, меценату, у котораго, по крайней мѣрѣ, допустили меня хоть въ прихожую. Едва вступилъ я въ сѣни Креза и прежде, нежели подошелъ къ парадной и высокой лѣстницѣ, ведущей на верхнюю площадку сѣней передъ прихожей, меня поразилъ весьма непривѣтливый и quasi-невѣжливый оклик дюжаго швейцара, съ недружелюбнымъ, подозрительнымъ взглядомъ.

— Кого вамъ надо?

— Я желаю представиться г. NN.

— Г. NN никого не принимаетъ, — отвѣчалъ швейцаръ, еще болѣе рѣзкимъ тономъ и становясь на стражѣ между мною и первою ступенью лѣстницы, словно какъ бы я былъ выходецъ изъ какой-нибудь зачумленной мѣстности, въ родѣ Ветлянки, во время недавней чумной паники.

— Въ такомъ случаѣ прошу васъ передать г-ну NN это письмо и книги.

Швейцаръ недоумѣвалъ, брать ли отъ меня конвертъ и книги. Наконецъ, послѣ раздумья, рѣшился принять и сталъ взбираться по лѣстницѣ, бросивъ на меня внушительный и безпокойный взглядъ, какъ бы предупреждая, чтобы я не дерзнулъ тоже взбираться на верхнюю пло-

щадку. Вскорѣ онъ вернулся, и вслѣдъ за нимъ вынырнулъ изъ прихожей на площадку какой-то пожилой и юркій господинъ и, не удостоивъ сойти ко мнѣ внизъ, провозвѣстилъ скороговоркою, но торжественнымъ тономъ, съ высоты площадки:

— Г. NN. никогда, ни отъ кого и никакихъ посвященій не принимаетъ.

И затѣмъ быстро юркнулъ въ прихожую, пославъ, по уходѣ, лакея съ моими словарями и оставя меня въ неописуемомъ состояніи духа. Изумленіе, стыдъ, негодованіе потрясли все мое нравственное существо и, подобно циклону, окружили, охватили меня со всѣхъ сторонъ и завертѣли въ своемъ нравственномъ вихрѣ. Все было во мнѣ осмѣяно, оскорблено, унижено, поругано, затоптано въ грязь; и достоинство честнаго человѣка и полезнаго дѣятеля; и труды, поддержанные и поощренные сановниками и мужами науки; и заслуги, признанныя правительствомъ и награжденныя Державнымъ Покровителемъ и единственнымъ истиннымъ меценатомъ въ Россіи, который удостоилъ меня высокой чести, принявъ и поднесеніе, и посвященіе Ему моихъ трудовъ.... А этотъ?... Не счелъ меня достойнымъ и, отвергнувъ самымъ возмутительно-оскорбительнымъ образомъ мои поднесенія и посвященіе, не допустилъ меня нетолько до себя, или хотя до своей пріемной, но даже и до прихожей!... И какой контрастъ между величіемъ истинной щедрости и мелкотою мишурнаго псевдомеценатства!... Но довольно.

Придя въ себя отъ нравственнаго потрясенія, поспѣшилъ я оставить сѣни негостепріимнаго чертога. Долго мучило и тошнило меня. Долго не утихала острая, жгучая боль отъ ранъ, нанесенныхъ моему самолюбію. Наконецъ, все улеглось и стихло. Я принялся обдумывать мое положеніе и не нашелъ другаго исхода, какъ снова обратиться къ главному источнику свѣта и тепла въ Россіи, къ Державному Меценату. Предварительно написалъ я министру народнаго просвѣщенія письмо, гдѣ очертилъ мое безвыходное положеніе и разсказалъ о неудачной попыткѣ — найти поддержку у частнаго мецената. Потомъ, спустя нѣсколько дней, я самъ явился къ министру, графу Д. А. Толстому, который изъявилъ мнѣ самое благосклонное и горячее сочувствіе.

— Кто этотъ меценатъ, къ которому обращались вы, — спросилъ меня графъ.

Я сказалъ его имя. Графъ пожалъ плечами, грустно улыбнулся и заговорилъ самымъ ласковымъ голосомъ.

— Успокойтесь, г. Макаровъ, и не унывайте: мы васъ поддержимъ и выручимъ.

И точно: поддержалъ и выручилъ.

Въ началѣ страстной недѣли 1876 года, графъ сдѣлалъ представленіе обо мнѣ министру финансовъ. Во вторникъ, на страстной, явился я къ Михаилу Христофоровичу Рейтерну, который сказалъ мнѣ, сажая меня въ кресло, въ своемъ кабинетѣ:

— Будьте спокойны: все, что возможно сдѣлать, будетъ для васъ сдѣлано.

Въ страстную пятницу, министръ финансовъ докладывалъ Императору, а въ субботу, въ 11 часовъ вечера, за часъ до заутрени Свѣтлаго праздника, ко мнѣ явился курьеръ, прямо отъ министра народнаго просвѣщенія, съ письмомъ. Вотъ что писалъ мнѣ графъ:

«3 апрѣля 1876 года.

«Вслѣдствіе писемъ вашихъ, отъ 15 и 17 минувшаго марта, и сношенія моего съ г. министромъ финансовъ, я получилъ нынѣ увѣдомленіе статсъ-секретаря Рейтерна, что, въ исполненіе Высочайшаго повелѣнія, послѣдовавшаго во 2-й день текущаго апрѣля, предложено главному казначейству открыть въ смѣтѣ министерства народнаго просвѣщенія сверхсмѣтный дополнительный кредитъ въ 6,000 руб., для отпуска денегъ вамъ, милостивый государь, на изданіе международныхъ словарей, русско-нѣмецкаго и нѣмецко-русскаго.

Поспѣшая сообщить вамъ о такой Монаршей милости, считаю нужнымъ присовокупить, что департаментомъ народнаго просвѣщенія, по порученію моему, будетъ на-дняхъ сдѣлано распоряженіе о выдачѣ вамъ означенныхъ денегъ.

Примите увѣреніе въ совершенномъ моемъ почтеніи и преданности.

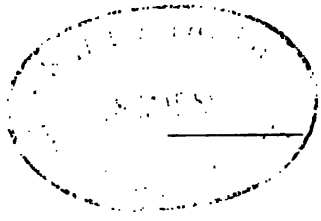
«Графъ Дмитрій *Толстой*».

Это было «красное яичко къ Христову дню». Какая любезная внимательность высокаго сановника видна въ этой поспѣшности сообщить мнѣ пріятную новость, *чтобы я весело встрѣтилъ свѣтлый праздникъ* (слова сказанныя мнѣ графомъ, когда я благодарилъ его).

Вотъ исторически-вѣрный разсказъ о благодѣтельныхъ подвигахъ великодушія и щедрости Державнаго Мецената. Такіе подвиги не требуютъ комментарій; но не подобаетъ и умалчивать о нихъ по наступленіи 25-лѣтняго юбилея славнаго царствованія. Нужно-ли говорить еще о той глубокой, безпредѣльной благодарности къ моему Царственному благодѣтелю и къ тѣмъ просвѣщеннымъ сановникамъ, которые такъ со-

чувственно отнеслись къ безвѣстному труженику и не отказались помочь ему довершить начатый имъ трудъ на пользу общественнаго образованія. И благодарность эта никогда не умретъ, не ослабѣетъ въ моемъ сердцѣ, въ особенности, когда я припомню и подумаю о томъ, что я встрѣтилъ у публики и у псевдо-меценатовъ. Кто же послѣ этого осмѣлится отрицать, или даже сомнѣваться въ томъ, что если кто-либо поддерживаетъ въ Россіи полезныя предпріятія, поощряетъ полезныхъ и добросовѣстныхъ дѣятелей, то это правительство, одно только правительство, да сановники, да мужи науки, а ужъ никакъ не публика, никакъ не эти, якобы, меценаты; не эти денежные, коммерческіе или промышленные тузы, способные переваривать не плодотворныя идеи, а плотоугодные обѣды, да крупные барыши... Съ одной стороны — поддержка въ 14,000 руб., съ другой—поддержка въ 44 гривенника на отправку 44 писемъ!!.. Только 44 сочувственныхъ отголосковъ изъ среды всей интеллигенціи обширнаго царства!.. Повторю: какой поразительный контрастъ между величіемъ и мелкотою, между свѣтомъ и тьмой, между живительнымъ тепломъ и мертвящимъ холодомъ!

Тула, 1880 года,
25 февраля.



ДВѢ КОРЕСПОНДЕНЦІИ ИЗЪ ГОЛОСА.

Первая кореспонденція *).

Мѣсяца за три до обнародованія «Положенія 19-го февраля», переѣхалъ я на житье изъ Петербурга въ деревню Тульскаго уѣзда, вслѣдствіе моего разоренія и еще для того, чтобы самому, а не черезъ наемника, перестроить въ имѣніи старый порядокъ на новый ладъ. Понятно, что открытіе мировыхъ учрежденій сильно занимало меня. Въ особенности интересовала личность посредника 1-го участка, въ которомъ находится имѣніе моихъ дѣтей, взятое мною, изъ рукъ прикащика, въ мое личное управленіе. Посредникомъ былъ назначенъ нѣкто г. Б., о которомъ я не имѣлъ ни малѣйшаго понятія, и даже не слыхалъ о немъ ничего. Разумѣется, я сейчасъ же съ распросами, что за человѣкъ этотъ г. Б. Свѣдѣнія, собранныя мною отъ разныхъ лицъ, оказались самыми утѣшительными.

Лѣтомъ 1861 года я нѣсколько разъ собиралъ крестьянъ и, объяснивъ имъ значеніе уставной граматы, предлагалъ имъ на выборъ три вещи: перейти на оброкъ и затѣмъ на выкупъ, или перейти просто на оброкъ, или остаться на барщинѣ. Разумѣется, я доказывалъ имъ все преимущество первой сдѣлки, т. е. перехода на выкупъ. Но вся моя логика, все краснорѣчіе расходовались даромъ: крестьяне почесывали у себя въ затылкахъ, переминались съ ноги на ногу и на всѣ мои убѣжденія и вопросы отвѣчали:

— А вотъ подумаемъ, да посовѣтуемся, да посмотримъ, какъ у другихъ это дѣлается.

Напрасно дѣлалъ я имъ большія уступки, давалъ льготы и лишнюю противъ высшаго надѣла землю. Всегда былъ одинъ и тотъ же отвѣтъ: «подумаемъ да посмотримъ».

Въ сентябрѣ я уѣхалъ, по дѣламъ, въ Петербургъ, откуда возвратился въ деревню въ февралѣ 1862 года, и тотчасъ же отправился къ мировому посреднику, чтобы познакомиться съ нимъ и просить его о повѣркѣ и введеніи уставной граматы, которую составилъ я уже помимо крестьянъ. Г. Б. успокоилъ обѣщаніемъ все сдѣлать и уладить въ нак-

*) 1863 года, № 36.

скорѣйшемъ времени. И точно: въ началѣ марта я получаю повѣстку, извѣщающую меня, что г. посредникъ прибудетъ ко мнѣ на 7-е марта, для повѣрки уставной граматы. 6-го же числа такая повѣрка производилась имъ въ двухъ верстахъ отъ меня, въ имѣніи тульскаго исправника. На этотъ первый разъ г. посредникъ 1-го участка былъ очень акуратенъ: вечеромъ 6-го марта онъ прибылъ ко мнѣ, въ сопровожденіи своего письмоводителя, служившаго передъ тѣмъ гдѣ-то квартальнымъ надзирателемъ.

На слѣдующее утро, т. е. 7-го марта, крестьяне были собраны у меня въ прихожей и, послѣ получасовыхъ переговоровъ, согласились перейти съ барщины на оброкъ и на выкупъ, и тутъ же подписали уставную грамату. Этотъ важный, счастливый результатъ былъ достигнутъ такъ скоро вслѣдствіе того, что, во-первыхъ, сосѣдніе крестьяне исправника, за день передъ тѣмъ, перешли на выкупъ, т. е. вслѣдствіе примѣра, который во всѣхъ случаяхъ бываетъ самымъ дѣйствительнымъ средствомъ къ соглашенію крестьянъ на какую нибудь сдѣлку; во-вторыхъ, переходъ на выкупъ былъ предложенъ крестьянамъ не помѣщикомъ, словамъ котораго они рѣдко вѣрятъ, а посредникомъ, т. е. властію, поставленною надъ ними свыше. Кстати, я позволю себѣ небольшое отступленіе, чтобы доказать, въ какой степени крестьяне питаютъ недовѣріе къ самымъ разумнымъ и благонамѣреннымъ словамъ и дѣйствіямъ бывшихъ своихъ владѣльцевъ.

Вскорѣ по открытіи мировыхъ учрежденій, владѣлецъ одного большаго тульскаго имѣнія предложилъ своимъ крестьянамъ освобожденіе отъ барщины, безъ всякаго выкупа, и даримъ имъ по двѣ десятины земли на душу, т. е. немного менѣе высшаго надѣла. Выгоды для крестьянъ этой сдѣлки, или, вѣрнѣе, этого благодѣянія, были очевидны. Но крестьяне и тутъ не рѣшились согласиться на такое предложеніе—не подписывали уставной граматы и отправились къ посреднику просить совѣта, что имъ дѣлать въ «эвтомъ разѣ».

— Сейчасъ же согласиться на предложеніе вашего помѣщика и подписать уставную грамату — сказалъ посредникъ крестьянамъ.

— Да какъ же согласиться-то, кормилецъ! Дѣло, можетъ быть, «не тово»...

— Какъ не тово? Да чего же вамъ желать лучшаго? Васъ освобождаютъ отъ барщины и еще дарятъ вамъ по двѣ десятины на душу изъ той самой земли, которою вы, до сего времени, пользовались немначе, какъ отбывая за то барщину, или платя оброкъ вашему помѣщику.

— Да нѣтъ ли тутъ какого обмана? Вѣдь мы, люди темные — и обмануть насъ нетрудно.

— Какой же тутъ обманъ, когда васъ дѣлаютъ вольными и еще дарятъ вамъ землю?

— Да, можетъ, намъ слѣдуетъ больше, чѣмъ по двѣ десятины.

— А вы знаете пословицу: даровому коню въ зубы не смотрятъ.

Крестьяне согласились, наконецъ, послѣ этого довода. Но только впослѣдствіи и крестьяне, и *многіе прочіе* сильно стали смотрѣть въ зубы даровому коню, такъ что вчужѣ было жаль великодушнаго дарителя, который не обобрался хлопотъ и непріятностей, вслѣдствіе своего даренія. Но это уже другая статья. Теперь возвращусь къ своему разсказу.

Посредникъ уѣхалъ отъ меня, и 21-го марта уставная грамата была утверждена мировымъ съѣздомъ. Главное и самое трудное, казалось, было сдѣлано. Оставалось ввести въ дѣйствіе уставную грамату, на что требовался вторичный пріѣздъ посредника въ имѣніе и часа три времени на вторичное прочтеніе крестьянамъ уставной граматы и на показаніе имъ границъ ихъ земли. Впрочемъ, это была уже самая легкая процедура, въ сравненіи съ соглашеніемъ ихъ на подписаніе уставной граматы. Но, хотя и легкая, а все таки формальность эта была необходима, потому что она указана статьями 68, 69 и 70 «Правилъ о порядкѣ приведенія въ дѣйствіе положенія о крестьянахъ». Безъ этой формальности уставная грамата считается недѣйствительною. Поэтому, уѣзжая отъ меня, посредникъ обѣщалъ пріѣхать ко мнѣ, для введенія въ дѣйствіе уставной граматы, тотчасъ же по просухѣ. Въ ожиданіи этого событія, я приступилъ къ выполненію послѣдняго акта, необходимаго для завершенія сдѣлки моей съ крестьянами, а именно: составилъ выкупное условіе, на основаніи уставной граматы. Но, увы! И на этотъ разъ повторилась прежняя исторія съ граматою: крестьяне ни за что не хотѣли подписывать условія, говоря по прежнему: «посмотримъ да подумаемъ». Хроническое недовѣріе къ словамъ помѣщика, также какъ и перемежающаяся лихорадка, имѣетъ свои рецидивы. Тогда я отложилъ окончаніе этого акта до пріѣзда ко мнѣ посредника, который одинъ только могъ согласить крестьянъ на подписаніе условія.

Прошелъ апрѣль. Всѣ дороги просохли, но посредника нѣтъ. Насталъ май, а г. Б. все таки не ѣдетъ. Наконецъ, я получаю отъ него приглашеніе «пожаловать къ нему, 21-го мая, откушать хлѣба-соли» по случаю его тезоименитства. Ѣду. Гостей много. День ясный и жаркій. Садимся за столъ въ тѣнистой аллеѣ сада. Обѣдъ прекрасный. Питія заморскія, превосходныя: и клодъ-вужо, и дюфуръ-дюбаръ, и шато-икемъ,

и портеръ, и эль—чего хочешь, того просишь. О вдовушкѣ клико и говорить нечего: лилась рѣкою. Г. Б., самый радушный и любезный хлѣбосолъ, подчивалъ всѣхъ и каждаго съ неутомимымъ усердіемъ, былъ необыкновенно внимателенъ къ своимъ гостямъ и предупреждалъ, угадывалъ ихъ желанія и вкусы. Послѣ обѣда я уловилъ удобную минуту и, отведя въ сторону радушнаго амфитріона, предъявилъ ему убѣдительнѣйшую просьбу — пріѣхать ко мнѣ для завершенія извѣстнаго ему дѣла, объяснивъ притомъ, что безъ его личнаго вмѣшательства, крестьяне ни за что не согласятся подписать выкупное условіе. Г. Б. выслушалъ меня съ необыкновеннымъ благодушіемъ, и съ таковымъ же обѣщалъ исполнить мою просьбу въ самоскорѣйшемъ времени, тѣмъ болѣе, что онъ скоро поѣдетъ вводить уставную грамату въ имѣніе исправника, откуда до меня рукой подать. Уѣхалъ я отъ благодушнаго г. Б., полный надеждъ на скорое окончаніе моихъ землевладѣльческихъ сомнѣній и треволненій. Но, увы! Между способностями угощать и дѣло дѣлать находится необъятная разница. Проходитъ май, іюнь, а посредникъ — ко мнѣ ни ногой. Между тѣмъ слышу, послышу, что онъ уже пріѣзжалъ въ имѣніе исправника, ввелъ тамъ уставную грамату, и что крестьяне того имѣнія тотчасъ же подписали выкупное свидѣтельство. Счастливый исправникъ!.. Бѣдный я!.. Хоть до меня и «рукой подать».

Насталъ іюль. Уставная грамата все еще у меня не введена. Дѣло плохо... Вижусь я съ посредникомъ разъ, прошу, умоляю его и получаю обѣщаніе «скоро пріѣхать». Но кейфъ по прежнему царитъ въ 1-мъ участкѣ. Вижусь съ благодушнымъ г. Б. еще разъ, и всякій разъ слышу: «Буду къ вамъ, непремѣнно буду, очень скоро буду». Но на посулѣ, какъ на стулѣ. Между тѣмъ, я снова собираю крестьянъ и пытаюсь уговорить ихъ подписать условіе, обѣщая, сверхъ подаренной имъ уже мною лишней, еще нѣсколько десятинъ лишней земли. Куда! крестьяне и слышать не хотятъ о подписаніи условія. «Самъ посредникъ не ѣдетъ къ намъ, стало быть, дѣло не тово»... толкуютъ они между собою.

Такимъ образомъ насталъ уже сентябрь. Наконецъ, видя, что дѣло мое погибаетъ жертвою славянской способности считать себя ко всему способнымъ, сверхъ кейфа и угощенія, я схватился за слѣдующее средство спасенія: пріѣхалъ въ Тулу ко времени мироваго съѣзда и, отыскавъ тамъ кандидата посредника 1-го участка, обратился къ нему съ просьбою принять на себя введеніе у меня уставной граматы. Кандидатъ съ полною готовностью согласился на мою просьбу, и для этого предложилъ мнѣ явиться въ часъ пополудни на мировой съѣздъ и лично просить тамъ г. Б. о формальной передачѣ моего дѣла его кандидату.

Сдѣлано, обѣщано. Не довольствуясь обѣщаніями благодушнѣйшаго г. Б., я, на другое утро, съѣздилъ еще къ нему въ нумеръ и просилъ его письмоводителя, экс-квартальнаго, о поспѣшеніи передачи моей уставной граматы кандидату г. Б. И съ этой стороны было обѣщано немедленное исполненіе моей просьбы, что, впрочемъ, было и нетрудно, и легко для самаго страстнаго поклонника кейфа. Ѣду я къ себѣ въ деревню, на этотъ разъ уже безъ малѣйшаго скептицизма, потому что кандидатъ посредника любитъ исполнять свои обѣщанія. Однакожъ, черезъ недѣльку времени я навѣстилъ его.

— Сейчасъ же поѣхалъ бы къ вамъ — сказалъ онъ мнѣ. Да вотъ, видите ли: добрѣйшій г. Б. прислалъ мнѣ вашу уставную грамату и съ копіями, да не приложилъ къ нимъ своей печати, а безъ этого я не могу приступить къ дѣлу. Вѣроятно онъ позабылъ это сдѣлать. Теперь жду отъ него печати, о чемъ я письменно просилъ его. Какъ только получу, сейчасъ же къ вамъ.

— Ну—думаю себѣ, возвращаясь домой отъ кандидата. Теперь дѣло мое въ шляпѣ: одна присылка печати уже не можетъ затруднить самаго отчаяннаго кейфиста. Но, видно, я тогда невполнѣ еще понималъ всю несокрушимую силу того апатичнаго славянскаго кейфа, по милости котораго потребовалось цѣлое тысячелѣтіе для заведенія у себя порядка...

Цѣлый мѣсяцъ провелъ я въ сладкой надеждѣ, что вотъ-вотъ дѣло мое окончится надняхъ. Трудно ли прислать на день печать къ своему кандидату? Неужели труднѣе именинныхъ и разныхъ прочихъ угощеній, на которыя былъ и не скупъ, и большой мастеръ благодушнѣйшій г. Б.? Но, по истеченіи мѣсяца, сперва сладкаго, а потомъ томительнаго ожиданія, вмѣсто кандидата посредника, ко мнѣ являются волостные старшина и писарь, и подаютъ мнѣ мою уставную грамату.

— Что это значитъ?—спросилъ я пришедшихъ ко мнѣ quasi-властей.

— Уставная грамата, отвѣчали въ одно время обѣ quasi-власти.

— А когда же она будетъ введена въ дѣйствіе? переспросилъ я.

— Да она ужъ введена.

— Какъ введена? Да вѣдь для этого необходимо было пріѣхать въ имѣніе самому г. посреднику, или его кандидату, потому что старшинѣ не предоставлено ни малѣйшаго права введенія уставныхъ граматъ.

— Я этого не знаю, отвѣчалъ старшина.—Но только г. Б. приказалъ мнѣ передать вамъ эту грамату и объявить, что она уже введена, что означено и въ самой граматѣ, гдѣ и печать приложена.

Взялъ я грамату и заглянулъ въ нее. И печать, и подпись посредника въ ней находятся. Но сверхъ этого находится въ ней и еще ксё-

что весьма курьезное, чтобы не сказать скандалезное, а что именно находится, о томъ слѣдуютъ пункты:

1) Написано на предпослѣдней страницѣ такъ: *1862 года 23 марта уставная грамата прочтена на сходкѣ при такихъ-то* (слѣдуютъ имена крестьянъ выборныхъ) и затѣмъ: *введена въ дѣйствіе мировымъ посредникомъ 1-го участка.*

2) Написано еще: *21-го марта утверждена мировымъ съѣздомъ.* — Что же это такое? подумалъ я. Въ важный офиціальный актъ *вписано то, чего никогда не было, а невписано того, что было,* а именно: *грамата введена 23-го марта — этого не было, а что грамата предварительно повѣрена 7-го марта — это было; но этого не вписано...* Что же это такое?.. Какъ бы сказать помягче? Не придумаю, и потому скажу прямо: это — *офиціальная общественная ложь,* затесавшаяся въ офиціальный общественный актъ и порожденная или славянскимъ кейфомъ весьма честнаго и благодушнаго г. Б., или художественностію его письмоводителя, экс-квартальнаго, о которомъ ходятъ, по всѣмъ тульскимъ мировымъ участкамъ, громкіе слухи, какъ о страстномъ любителѣ и великомъ виртуозѣ всякихъ этакихъ посильныхъ и насильныхъ жертвоприношеній, и умѣвшаго превратиться изъ письмоводителя въ руководителя благодушнѣйшаго г. Б. Но только это паралитическое благодушіе ультра-амфитріона, въ соединеніи съ ястребиною художественностью экс-квартальнаго, и увѣнчанное офиціальною ложью, приготовило для меня чашу, полную самого что ни есть горчайшаго питья, особенно по контрасту его съ клодъ-вужо и шато-икемъ именинnаго обѣда. Вотъ какой вкусъ имѣетъ это офиціальное питіе:

1. Срокъ платежа оброковъ насталъ у меня еще 1-го октября. Но крестьяне и не думали платить ихъ. «Посредственникъ не пріѣзжалъ, стало быть, можно и не платить», бормочутъ они про себя.

2. Выкупнаго условія не подписываютъ и даже ненамѣрены подписать, и все потому, что «посредственникъ не пріѣзжалъ».

3. Я далъ крестьянамъ льготу мѣсяцъ, потомъ другой, третій. Но и послѣ этого они нетолько не уплатили оброка, но даже и не начинаютъ уплачивать, не платятъ ни копѣйки, потому что «посредственникъ не пріѣзжалъ; ну и можно не платить».

А тутъ давно уже насталъ срокъ платежа процентовъ въ опекунскій совѣтъ, да еще нужны деньги на вольнонаемный трудъ, начавшійся въ имѣніи съ прекращеніемъ барщины. Какъ тутъ быть? что дѣлать? А между тѣмъ у моего сосѣда, исправника, и выкупное условіе крестьяне подписали давнымъ давно, и оброкъ ему платятъ исправно, потому что

пріѣзжалъ туда самъ «посредственникъ», т. е. *тамъ было дѣйствительное, а не облыжное введеніе въ дѣйствіе уставной граматы.*

Жутко пришлось мнѣ!

Въ первыя недѣли послѣ визита ко мнѣ старшины и писаря я было собирался поѣхать къ «благодушнѣйшему» и слезно умолять его помочь моей бѣдѣ и поправить своимъ ко мнѣ пріѣздомъ испорченное дѣло. Но разныя лица стали мнѣ говорить, въ видѣ утѣшенія, что не я одинъ пью такую чашу, но что весьма и весьма многіе землевладѣльцы 1-го участка терпятъ то же самое, и что поэтому даже создалась поговорка: «въ 1-мъ участкѣ уставныхъ граматъ введено нуль». Разумѣется, несовсѣмъ нуль, а очень мало.

Вторая кореспонденція *).

Въ № 36 «Голоса» я описывалъ подвиги служебной дѣятельности г. Б., мироваго посредника 1-го участка тульскаго уѣзда. Хотя послѣ написанія мною той статьи прошло немного времени, но много утекло воды, много измѣнилось и совершилось новаго въ той средѣ, въ которой г. Б. упражнялся въ славянскомъ кейфѣ. Въ послѣднее время упражненія эти приняли самые громадные размѣры, т. е. полнѣйшая бездѣйственность г. посредника вызвала всеобщій ропотъ. Почти всѣ прошенія, даже самыя законныя и серьезныя, подаваемыя ему разными землевладѣльцами, а въ томъ числѣ и мною, оставлялись безъ малѣйшаго вниманія, неисполненными и даже безъ отвѣта. А между тѣмъ, чѣмъ болѣе сибаритничалъ г. Б., тѣмъ нагляе становилась ястребиная художественность его письмоводителя, который все расширялъ и усиливалъ систему таинственныхъ и беззаконныхъ поборовъ съ крестьянъ 1-го участка. Вначалѣ тихіе, робкіе и сдержанные, стоны обираемыхъ и высасываемыхъ жертвъ раздались, впослѣдствіи, громче и, наконецъ, дошли до тѣхъ, кому подобало это знать. Г. посреднику сдѣланы были замѣчанія насчетъ этихъ слуховъ о его письмоводителѣ. Но г. Б. стоялъ за него горою.

Въ началѣ февраля сего 1863 года, одинъ дворовый человѣкъ, у меня въ имѣніи, и его жена были обвинены въ уголовномъ преступленіи. Дѣло это, какъ о дворовомъ человѣкѣ, подлежало первоначально обсужденію мироваго посредника, но не дошло до него, а было передано старшиною прямо становому приставу, вслѣдствіе того, что г. Б. не изволитъ самъ заниматься бо́льшею частію дѣлъ своего участка, а пе-

---

*) 1863 года, № 69.

редалъ ихъ на руки волостныхъ старшинъ, на подобіе того, какъ онъ передалъ старшинѣ дѣло о введеніи у меня уставной граматы.

Наконецъ, мѣра неправдъ и беззаконій переполнилась, и я рѣшился дѣйствовать во имя правды и справедливости, и въ защиту правъ и самыхъ кровныхъ интересовъ обитателей 1-го участка, правъ и интересовъ, попранныхъ апатіею и бездѣйстіемъ посредника и дѣйствіями его письмоводителя. Февраля 14-го я подалъ тульскому по крестьянскимъ дѣламъ присутствію жалобу на посредника 1-го участка. Въ первой части этого, довольно пространнаго документа я излагалъ исторію *обмыжнаго введенія у меня уставной граматы*, т. е. помѣстилъ въ жалобѣ, съ нѣкоторыми измѣненіями, сокращеніями и пропусками, статью мою, помѣщенную въ № 36-мъ «Голоса». Во второй части изложилъ я нѣсколько фактовъ самаго вопіющаго служебнаго бездѣйствія г. посредника, имѣвшихъ чрезвычайно вредныя послѣдствія для землевладѣльцевъ перваго участка. Для лучшаго уразумѣнія дальнѣйшихъ фазисовъ и перепитій этой, такъ сказать, юридической драмы, излагаемой мною передъ судомъ общественнаго мнѣнія, я нахожу необходимымъ привести здѣсь вступленіе и заключеніе моей жалобы. Вотъ они:

«Вынужденный жаловаться на незаконныя дѣйствія мироваго посредника 1-го участка, г. Б., считаю необходимымъ войти въ разныя подробности для того, чтобы вполнѣ и ясно изобразить всѣ тѣ многочисленныя непріятности, оскорбленія, нравственныя и матеріальныя потери и страданія, которыя переносилъ я въ продолженіи многихъ мѣсяцевъ, и переносилъ вслѣдствіе полнаго невниманія къ своимъ обязанностямъ, совершеннаго равнодушія къ интересамъ землевладѣльцевъ 1-го участка и образцовой недѣятельности г. Б.

И затѣмъ:

«Заключаю мою жалобу на г. посредника Б. обвиненіемъ, что вслѣдствіе его постояннаго и долговременнаго бездѣйствія, въ первомъ участкѣ господствуетъ полнѣйшая анархія, совершенный хаосъ, такъ что если это продолжится еще нѣсколько времени, то слѣдуетъ ожидать величайшихъ безпорядковъ и неурядицы въ отношеніяхъ между землевладѣльцами и бывшими ихъ крестьянами, о чемъ имѣя честь донести тульскому губернскому присутствію, прошу у него защиты и правосудія, противъ нарушенія правъ, даруемыхъ землевладѣльцамъ «Положеніемъ 19-го февраля».

Наканунѣ подачи этой жалобы пришелъ въ Тулу 36-й нумеръ «Голоса». Это была бомба, упавшая среди большаго города (въ 58 тысячъ населенія). Разрывъ этой бомбы, т. е. чтеніе корреспонденціи «Голоса» про-

извело различныя дѣйствія: нѣкоторые были поражены изумленіемъ, смущеніемъ и страхомъ, но большинство отъ души смѣялось, и многое множество веселились и радовались смѣлой правдѣ и спасительной гласности. Въ тульскомъ клубѣ нумеръ 36-й «Голоса» переходилъ изъ рукъ въ руки, читался съ жадностью, и на другой день пошелъ обходить весь городъ. Въ этотъ же день былъ и мировой съѣздъ, на которомъ кто-то сказалъ собравшимся тульскимъ посредникамъ (кромѣ г. Б., котораго тамъ не было; онъ оставался въ своей деревнѣ):

— Господа! вамъ слѣдуетъ отвѣчать на статью «Голоса».

— Вовсе не слѣдуетъ, отвѣчали посредники: потому что, вопервыхъ, статья эта относится къ г. Б., такъ пусть онъ и отвѣчаетъ самъ за себя; во вторыхъ, отвѣчать трудно, потому что въ статьѣ, отъ начала до конца, все правда; наконецъ, въ третьихъ, это дѣло литературное, а мы литературою не занимаемся.

На другой день послѣ подачи мною жалобы, являлось ко мнѣ нѣсколько землевладѣльцевъ (одинъ тверской), съ изъявленіемъ живѣйшей благодарности за мою статью, которая, по ихъ словамъ, должна имѣть самыя благодѣтельныя послѣдствія, нарушивъ безмятежный, но для общества весьма вредный, сонъ тѣхъ, къ несчастію, многихъ посредниковъ, которые слишкомъ рано вздумали опочить на скороспѣлыхъ лаврахъ, или поколебавъ самоувѣренность и фетишизмъ тѣхъ другихъ, и тоже многихъ, посредниковъ, которые иногда позволяютъ себѣ большой произволъ, вообразивъ себя непогрѣшимыми, какъ римскіе папы, и неприкосновенными, какъ испанскіе гранды.

Господину Б. предъявили мою жалобу и потребовали отъ него объясненія. Между тѣмъ, недѣли черезъ двѣ, я пріѣхалъ въ Тулу навѣдаться о послѣдствіяхъ моей жалобы. И каково было мое изумленіе, когда одинъ изъ моихъ знакомыхъ сообщилъ мнѣ, что «я проиграю свое дѣло, что я неправъ, потому что г. Б. дѣйствительно пріѣзжалъ ко мнѣ въ имѣніе и лично ввелъ тамъ уставную грамату, и что этотъ фактъ былъ засвидѣтельствованъ моею собственноручною подписью».

«Какъ это?» возразилъ я съ изумленіемъ: «вѣдь всей деревнѣ извѣстно, что г. Б. только одинъ разъ, 7-го марта, пріѣзжалъ въ имѣніе, для повѣрки уставной граматы, и съ тѣхъ поръ не былъ тамъ ни ногой. Это доказывается еще слѣдующими важными обстоятельствами: вопервыхъ, въ находящейся у меня копіи съ уставной граматы значится, что г. посредникъ вводилъ грамату 23-го марта, тогда какъ всѣмъ извѣстно, что еще за недѣлю до этого числа началась распутица, продолжавшаяся болѣе мѣсяца, такъ что 23-го марта не было никакой воз-

можности, въ какомъ бы то ни было экипажѣ, добраться до меня за 15 верстъ; вовторыхъ, у моихъ крестьянъ отрѣзывалось болѣе 40 десятинъ лишней земли, и сверхъ того, по случаю разверстанія къ однимъ мѣстамъ, отходило отъ нихъ одно пахатное поле, взамѣнъ котораго отводилось имъ поле въ другомъ мѣстѣ. Такія важныя перемѣны требовали непремѣнно, чтобы посредникъ, при введеніи уставной граматы, указалъ имъ новую ихъ землю и при этомъ объяснилъ, для чего сдѣланъ этотъ обмѣнъ, а равно и отрѣзка отъ нихъ сорока-четырехъ десятинъ земли. Безъ такого указанія уставная грамата теряетъ большую часть своего значенія и силы. Вслѣдствіе-то этого непріѣзда ко мнѣ посредника и неуказанія имъ, крестьянамъ, границъ ихъ земли, они и упорствуютъ въ нежеланіи подписать выкупное условіе».

— Все это такъ, сказалъ мой знакомецъ. Но только не знаю, какъ это случилось, а вы подписали уставную грамату. Съѣздите къ кому слѣдуетъ и посмотрите.

Поѣхалъ я къ кому слѣдуетъ, взглянулъ на уставную грамату и, къ величайшему моему изумленію, прочиталъ въ концѣ этой граматы, на одной страницѣ, протоколъ введенія ея въ дѣйствіе 23-го марта, а на другой — мою подпись, за которою слѣдовали подписи тѣхъ же самыхъ выборныхъ крестьянъ, которые прежде подписали повѣрку граматы. Но только меня поразилъ странный почеркъ этой подписи: рука похожа на мою, но несовсѣмъ; слова: *къ сей уставной грамотѣ отставной маіоръ Н. П. М. руку приложилъ* были начертаны самою нетвердою, дрожащею рукою, крупными буквами, почти каракульками, и представляли кривую, ломанную линію, тогда какъ моя обыкновенная подпись бываетъ пряма и мелка. Но все таки подпись эта напоминала мой почеркъ. Что бы это значило?... Или у меня память отшибло? Наконецъ, эта память ожила, воскресила одно страшное событіе моей жизни, и при этомъ озарило свѣтомъ соображенія самую недостойную со мною продѣлку, которую опишу я во всей ея наготѣ.

10-го іюля 1862 года, въ теплый лѣтній вечеръ, возвращался я, на пролеткѣ, съ покоса домой. Когда я въѣзжалъ въ деревню, лошадь взбѣсилась и понесла меня прямо въ оврагъ. Кучеръ повернулъ ее назадъ, но слишкомъ круто, такъ что она взвилась на дыбы и, затѣмъ, брякнулась со всѣхъ ногъ на землю, а пролетка перевернулась кверху колесами и изломалась въ дребезги. Я же отлетѣлъ на нѣсколько шаговъ влѣво и ударился лѣвымъ бокомъ о землю. Какъ и отчего я не былъ убитъ тогда на мѣстѣ, это — такое чудо, котораго и по сію пору объяснить себѣ я не съумѣю. Крестьяне подняли меня, походившаго на

трупъ, положили на разостланный холстъ и, принеся въ мой домъ, сложили на диванъ. Нѣсколько недѣль пролежалъ я, и не могъ пошевелиться, не ощущая сильнѣйшей боли въ лѣвомъ плечѣ, рукѣ и ногѣ.

Дней черезъ шесть или семь послѣ этой катастрофы, лежалъ я въ своемъ кабинетѣ, на диванѣ, неподвижный, и могъ владѣть, и то съ трудомъ, только одною правою рукою. Я видѣлъ, какъ докторъ сомнительно покачивалъ головою, а домашніе ходили вокругъ меня на цыпочкахъ и съ заплаканными глазами, и потому я готовился уже къ вѣчности. Въ самыя эти грозныя минуты явился ко мнѣ въ прихожую волостной писарь и объявилъ, что онъ присланъ ко мнѣ отъ мироваго посредника, для того, чтобы я подписалъ уставную грамату. Въ отвѣтъ ему повторяли нѣсколько разъ, что я нахожусь при смерти, и что теперь не время безпокоить меня. Но писарь не удалялся и объявилъ рѣшительно, что онъ не уйдетъ, пока я не подпишу уставную грамату, и что онъ получилъ такой строгій приказъ отъ самого г. посредника. Нѣчего было дѣлать противъ такого наглаго вторженія въ мой домъ, и потому мнѣ доложили о приходѣ писаря. Я велѣлъ позвать его къ себѣ въ кабинетъ.

«Что вамъ надо?» спросилъ я слабымъ голосомъ.

— М. Ив. Б. приказалъ сказать вамъ, чтобы непремѣнно подписали эту грамату, безъ чего она не можетъ быть введена въ дѣйствіе.

Я не спорилъ, а приказалъ подать себѣ перо и тетрадь нотъ въ переплетѣ, которую приставили къ моей груди, наподобіе пюпитра, положили на него уставную грамату, и затѣмъ, подъ диктовку писаря, я подписалъ или, вѣрнѣе, нацарапалъ дрожащею рукою и съ величайшимъ усиліемъ подпись, о которой говорилось выше. По совершеніи этого я совершенно обезсилѣлъ и впалъ въ изнеможеніе. Писарь ушелъ. Недѣли черезъ три я всталъ съ постели и хоть съ большимъ трудомъ, опираясь на палку и поддерживаемый подъ руку, могъ уже перейти черезъ комнату и сидѣть въ креслѣ. Въ концѣ августа я уже могъ выѣхать къ ближайшему сосѣду, у котораго видѣлся съ посредникомъ, и все безуспѣшно просилъ его пріѣхать ко мнѣ, для введенія уставной граматы.

Между тѣмъ, одолѣваемый славянскимъ кейфомъ, т. е. непомѣрною лѣнью, г. Б. рѣшился на слѣдующую продѣлку: составилъ съ своимъ письмоводителемъ ложный протоколъ небывалаго введенія у меня уставной граматы и вписалъ эту ложь, заднимъ числомъ, въ уставную грамату; но только не знаю: до или послѣ моего подписанія каракулями. Затѣмъ, не останавливаясь на полудорогѣ къ подлогу, убѣжденіями, или

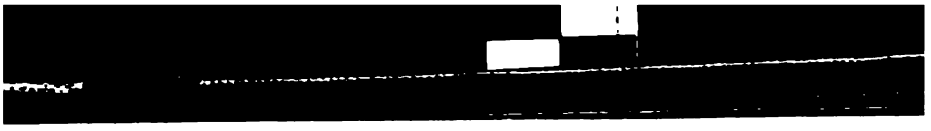
угрозами, заставили выборныхъ крестьянъ подписать этотъ подложный протоколъ и, такимъ образомъ, совершили *формальный подложный документъ*. Наконецъ, эта именическая уставная грамата впослѣдствіи была препровождена въ губернское присутствіе, гдѣ и хранится въ настоящее время. Но подъ конецъ Богъ попуталъ неразумныхъ и неосторожныхъ фабрикантовъ офиціальной лжи и подлога; они обличили въ этомъ сами себя, и вотъ какъ:

Когда вслѣдствіе моей жалобы, губернское присутствіе потребовало отъ посредника объясненія, то этотъ послѣдній совсѣмъ позабылъ о совершенномъ имъ подлогѣ, которымъ, иначе, легко могъ бы воспользоваться, отвѣчая, что онъ вводилъ лично у меня уставную грамату, что засвидѣтельствовано моею подписью. Вмѣсто того, г. Б. отвѣчалъ такъ: «Я не считалъ нужнымъ пріѣзжать въ имѣніе для введенія тамъ уставной граматы». Истино институтская наивность! Не считалъ нужнымъ!!??... А зачѣмъ же г. Б. счелъ нужнымъ вписать въ уставную грамату ложь, заднимъ числомъ? И на что же издано «Положеніе», въ которомъ именно сказано, что посредникъ обязанъ непремѣнно лично вводить уставную грамату и указать крестьянамъ границу ихъ земли, въ особенности тамъ, гдѣ есть отрѣзка земли отъ крестьянъ или перемѣна ихъ пашни на другую. А у меня было и то, и другое. Неменѣе наивно было объясненіе г. Б. насчетъ того, что онъ не озаботился согласить крестьянъ на подписаніе выкупнаго условія: «Я не обязанъ принуждать ихъ къ этому». А что же означаетъ названіе *мировой посредникъ*, какъ не то, что онъ обязанъ соглашать и мирить между собою землевладѣльцевъ и крестьянъ.

Итакъ, г. Б. сознался офиціально и на бумагѣ, что онъ не пріѣзжалъ ко мнѣ въ имѣніе вторично, для введенія уставной граматы, т. е. сознался въ томъ, что *онъ совершилъ подложный документъ*. Отказываюсь отъ дальнѣйшихъ коментарій на этотъ поступокъ: факты говорятъ сами за себя. Теперь же подождемъ и посмотримъ, какъ и чѣмъ рѣшитъ губернское присутствіе это серьёзное дѣло, о чемъ не премину подѣлиться съ читателемъ «Голоса». Во всякомъ случаѣ, въ какой бы инстанціи ни рѣшилось окончательно это дѣло, изъ него вытекаютъ два неизбѣжные вывода: или *г. Б. долженъ быть судимъ за совершеніе имъ подлога*, если я докажу это — или, если я не успѣю доказать, то *я самъ долженъ быть судимъ за ложное обвиненіе*.

Подождемъ и посмотримъ.

Рожествино, 1863 года, 7 марта.



НОТАРІАЛЬНЫЙ ВОПРОСЪ.

Вопросъ о старшихъ нотаріусахъ, это — вопросъ чрезвычайной важности. Учрежденіе этихъ нотаріусовъ, или вѣрнѣе, правила, которыми окружена дѣятельность этого учрежденія; правила донельзя придирчивыя и стѣснительныя, предоставляющія широкое поле для произвола и кривотолкованій, сдѣлали изъ старшаго нотаріуса учрежденіе неудавшееся, юридическое фіаско, отъ котораго постоянно и страшно страдаютъ интересы всего общества. Страданія эти порою невыносимы и возбуждаютъ повсемѣстныя жалобы и ропотъ, и вопіютъ о скорѣйшемъ преобразованіи неудавшагося учрежденія. Но увы! Часто самыя неотложныя преобразованія осуждаются на черепашье шествіе. Поэтому необходимо пользоваться каждымъ случаемъ, чтобы напоминать кому слѣдуетъ о страданіяхъ общества отъ неудавшихся учрежденій и о необходимости скораго ихъ измѣненія. Поэтому же самому и я помѣщаю здѣсь мою статью о нотаріатѣ, которая была напечатана въ 287 номерѣ «Новаго времени» 1875 года.

Представьте себѣ какое нибудь промышленное заведеніе, заводъ, фабрику и т. п. Между разными машинами тамъ была одна, весьма несложная, съ однимъ колесомъ, которая въ день производила извѣстную сумму работы. И вдругъ нашли, что эта машина устарѣла, не соотвѣтствуетъ современному прогрессу. И вотъ какіе-то велемудро-хитрые механики придумали, взамѣнъ одноколесной, машину съ двумя колесами, которая, разумѣется, стоила вдвое дороже. Пустили ее въ ходъ. Оказалось, что эта двухколеска потребовала цѣлый мѣсяцъ для производства той работы, которую одноколеска производила въ одинъ день. Спрашивается: прогресъ это, или нѣтъ?

Точь въ точь такой же прогрессъ, относительно крѣпостныхъ актовъ, представляетъ собою учрежденіе нотаріата, въ особенности старшихъ

нотаріусовъ, этого второго колеса нотаріальной машины, замѣнившей гражданскія палаты. Вѣроятно, девять десятыхъ изъ тѣхъ, которымъ приходилось совершать крѣпостные акты, испытали, что новый нотаріальный порядокъ страшно затормозилъ это дѣло, такъ что на самую чистую, безспорную продажу и покупку совершеніе купчей крѣпости, производившееся бывало въ гражданскихъ палатахъ въ день и много въ два, требуетъ теперь по меньшей мѣрѣ мѣсяцъ и болѣе. Часто многіе мѣсяцы тянется это совершеніе, по милости гг. старшихъ нотаріусовъ, измышляющихъ непрерывную, безконечную цѣпь препятствій, задержекъ, придирокъ, притязаній, подозрѣній, сомнѣній, фантастическихъ, небывалыхъ запрещеній и пр. Нѣкоторые умозрители говорятъ: осторожность требуетъ такой медлительности отъ нотаріальныхъ Фабіевъ для того, чтобы не могло произойти подлоговъ и обманныхъ продажъ и покупокъ. Такъ ли это? Смѣло отвѣчаю: не такъ. Стѣснительныя мѣры и притязанія при совершеніи крѣпостныхъ актовъ не приносятъ никому ни малѣйшей пользы, не предупреждаютъ ни малѣйшаго зла, потому что хитрый, ловкій и опытный плутъ съумѣетъ обойдти всякій законъ, проскользнуть съ обманомъ или подлогомъ мимо носа самаго придирчиваго старшаго нотаріуса. Стѣсняютъ же эти придирки однихъ только честныхъ людей и причиняютъ огромный вредъ и ущербъ частнымъ сдѣлкамъ, продажамъ и покупкамъ. Я приведу неопровержимые и краснорѣчивые факты для доказательства моихъ утвержденій, и факты не единственные, а взятые изъ тысячи подобныхъ фактовъ.

Въ 1838 году г-жа Б. отдала въ приданое за своей дочерью имѣніе, въ Тульскомъ уѣздѣ, и дала своему зятю г-ну М., въ ожиданіи крѣпостнаго акта, полную довѣренность на управленіе тѣмъ имѣніемъ, съ правомъ заложить или продать его. Въ 1845 году г. М. овдовѣлъ и продолжалъ управлять имѣніемъ тещи. Въ 1861 году, вслѣдствіе прошенія его, моск. опекунскій совѣтъ перевелъ числящійся на имѣніи долгъ по займу на крестьянскій надѣлъ, снявъ запрещеніе съ земли залогодательницы г-жи Б., о чемъ тогда же и увѣдомилъ оффиціально г-на М. и тульскую гражданскую палату. Наконецъ, въ 1865 г. была совершена въ тульской гр. палатѣ дарственная запись, по которой г-жа Б. отдала свое тульское имѣніе своимъ внукамъ: сыну и дочери г-на М. И несмотря на то, что на имѣніи оказалось небольшое запрещеніе по иску въ 1836 году (искъ этотъ былъ уже давно прекращенъ, но запрещеніе еще не было снято), совершеніе дарственнаго акта потребовало не болѣе двухъ дней. Въ томъ же 1865 г. сынъ г-на М., про-

далъ отцу свою часть изъ материнскаго наслѣдія, и купчая эта совершена была въ палатѣ тоже въ два дня.

Въ 1868 г. г-нъ М. продалъ своей женѣ купленное у сына имѣніе, похлопотавъ прежде о снятіи лежавшаго на немъ запрещенія по прекращенному старому иску. Но не смотря на то, что имѣніе это сдѣлалось уже совершенно чистымъ и свободнымъ, т. е. было, какъ говорятъ, безъ сучка и задоринки, болѣе мѣсяца потребовалось на совершеніе купчей у г. старшаго тульскаго нотаріуса, который значительную часть дня и ночи проводилъ надъ измышленіемъ разныхъ препонъ и тормозилъ самымъ немилосердымъ, свирѣпымъ образомъ дѣло всякой продажи и покупки. Вслѣдъ за совершеніемъ купчей, г-ну М. посчастливилось: былъ учиненъ вводъ во владѣніе его жены, хотя эта формальность и была упущена изъ виду при совершеніи дарственной записи и потомъ при покупкѣ имѣнія отцомъ у сына.

Мѣсяца два спустя послѣ этого, нѣкто Бу—въ купилъ имѣніе, сосѣднее съ имѣніемъ г-жи М. Продавецъ г. А., показывая землю покупщику г. Б., сказалъ, вѣроятно, въ шутку:

— Вотъ эту отхожую пустошь Дьяково, 100 десятинъ, я продаю вамъ. А этими прилегающими къ ней 18-ю десятинами владѣетъ г-жа М. Но *онѣ мои, и если вы сможете, то возьмите ихъ себѣ.*

Г. Бу—въ намоталъ себѣ на усъ эти шуточныя слова и, вскорѣ послѣ того, пригласилъ къ себѣ частнаго землемѣра, который, по его указанію, обмежевалъ всю землю, и купленную имъ у г-на А., и принадлежащую г-жѣ М., и положилъ ее на планъ, какъ собственность г-на Бу—ва. Затѣмъ, онъ не остановился на полдорогѣ, а пошелъ гораздо далѣе: взялъ да и заложилъ въ банкѣ и свою, и чужую землю, предварительно получивъ на это свидѣтельство отъ г. старшаго нотаріуса.

«L'appétit vient en mangeant», говоритъ французская пословица, а аппетитъ у г-на Бу—ва былъ волчій. Онъ взялъ да и продалъ и свои 100, и принадлежащія г-жѣ М. 18 десятинъ одному крестьянину, Пе—ву, грамотному, толковому и прослужившему года три членомъ тульской земской управы. И купчая была совершена.

При вводѣ во владѣніе бѣднаго покупщика Пе—ва продѣлки Бу—ва вышли наружу: понятые всѣ въ одинъ голосъ завопили, что облыжно проданныя 18 десятинъ никогда Бу—ву не принадлежали, а находились въ безспорномъ владѣніи г-на М. болѣе 30 лѣтъ. Зычно взвылъ бѣдный крестьянинъ Пе—въ, придавленный, такъ сказать, тяжестью нѣсколькихъ сотъ кровныхъ и трудовыхъ своихъ рублей, вытащенныхъ изъ его небогатаго кармана. Пошло дѣло, да, кажется и теперь оно

еще продолжается. Бѣдный крестьянинъ Пе—въ продолжаетъ зычно выть о покражѣ у него кровныхъ денежекъ; Бу—въ продолжаетъ преспокойно жить да поживать, да вѣроятно придумывать и обдумывать новыя козни и злоухищренія на чужую собственность; г-жа М. продолжаетъ крѣпко владѣть законно пріобрѣтенными 18-ю десятинами отхожей пустоши Дьяковой; а г. старшій тульскій нотаріусъ продолжаетъ денно и нощно корпѣть до истомленія надъ изобрѣтеніемъ тормазовъ и закорючекъ. А въ подтвержденіе этого приведу еще одинъ фактецъ, свѣженькій, горяченькій.

Въ іюлѣ сего 1875 года г-жѣ М. нужно было получить, для одного денежнаго оборота, свидѣтельство на свое имѣніе; и, по особой благости Провидѣнія, она весьма скоро получила его, что весьма естественно, потому что имѣніе ея было совершенно чисто и свободно. А въ октябрѣ того же 1875 г. потребовалось наконецъ ввести дочь г-на М. во владѣніе имѣніемъ, отданнымъ ей бабкою г-жею Б. На основаніи довѣренности отъ дѣтей, г. М. подалъ въ тульскій окружной судъ прошеніе объ этомъ вводѣ. Назначенъ былъ день къ слушанію этого дѣла. И.... о боги и богини древняго Олимпа!... О музы древняго Геликона!... О всѣ вы, миѳическія чада древней Эллады, измышленныя для представительства и покровительства всякихъ искусствъ, даже всякихъ страстей и страстишекъ... Который же или которая же изъ васъ покровительствуетъ нашимъ старшимъ нотаріусамъ и вдохновляетъ ихъ велемудрыя головы и пылкія, бурныя, неистощимыя воображенія, геніально измышляющія тьму тьмущую закорючекъ, заковычекъ, придирокъ для торможенія крѣпостныхъ актовъ? Не ты ли, о достопочтеннѣйшая госпожа Ѳемида, снабжаешь такимъ роковымъ вдохновеніемъ нашихъ старшихъ нотаріусовъ вообще, а тульскаго въ особенности? Какую же плохую, чтобы не сказать скверную, услугу оказываешь ты юридически или, вѣрнѣе, нотаріально-многострадальному россійскому обществу вообще и тульскому въ особенности!... Но возвращаюсь къ тульскому окружному суду.

Настала минута слушанія дѣла о вводѣ во владѣніе дочери г-на М., дѣла самаго простаго, нехитраго. Но увы! почтенный г. старшій тульскій нотаріусъ, вдохновенный почтенною г-жею Ѳемидою, а можетъ быть и другимъ какимъ либо древнимъ греческимъ, или египетскимъ, или халдейскимъ божествомъ, заторможилъ своею нотаріально-художественною дланію это нехитрое дѣло ввода во владѣніе. Онъ открылъ запрещеніе на этомъ имѣніи, столь же чистомъ и свободномъ, какъ и имѣніе г-жи М., на которое самъ же онъ, старшій тульскій нотаріусъ, три мѣсяца

тому назадъ, выдалъ свидѣтельство безъ всякихъ закорючекъ, а теперь онъ же, г. старшій тульскій нотаріусъ, открылъ запрещеніе, вѣроятно взглянувъ на это дѣло въ микроскопъ, а можетъ быть и въ телескопъ, а можетъ быть и въ калейдоскопъ.

И такъ, дѣло было заторможено. А г-ну М. до зарѣзу необходимо было спѣшить въ Петербургъ. Съ отчаяніемъ и негодованіемъ въ душѣ онъ принужденъ былъ отложить свой отъѣздъ, къ явному ущербу своихъ дѣлъ. По счастію, обошлось на этотъ разъ безъ примѣненія къ дѣлу пословицы о «бросаніи камня въ воду и доставаніи его оттуда десятью умниками». Сейчасъ же наведена была справка, по которой оказалось, что г. старшій тульскій нотаріусъ, по пословицѣ «слышалъ звонъ, да не знаетъ, гдѣ онъ», заглянулъ только въ запретительныя статьи, въ одной изъ которыхъ видно было, что когда-то на имѣніи г-жи Б. лежалъ долгъ опек. совѣта. И затѣмъ не далъ себѣ труда заглянуть въ отмѣнительныя статьи, въ одной изъ которыхъ ясно виднѣлось, что уже болѣе 10 лѣтъ, какъ долгъ тотъ былъ переложенъ на крестьянскій надѣлъ съ имѣнія г-жи Б., которое, поэтому, было совершенно свободно. Это самое освобожденіе отъ запрещенія видно было даже изъ самой дарственной записи, представленной въ судъ г-мъ М. Но г. старшій нотаріусъ не соблаговолилъ этого усмотрѣть, а заблагоразсудилъ лучше затормозить самое легкое и нехитрое дѣло ввода во владѣніе, потому что такое торможенье посредствомъ самыхъ вопіющихъ придирокъ, крючковъ и притѣсненій составляло всю суть, постоянную и главную задачу его нотаріальной дѣятельности. Да еще вѣроятно на его тормозильной совѣсти камнемъ лежало и то, что онъ незадолго передъ тѣмъ такъ скоро выдалъ свидѣтельство г-жѣ М. Надо же было наверстать такой нотаріальный промахъ. Но тульскій окружной судъ поступилъ весьма справедливо и гуманно: назначилъ вторичное слушаніе этого дѣла на другой же день, чтобы не держать долго въ Тулѣ г-на М. Благодареніе, хвала и честь тульскому окружному суду!

ЕЩЕ КОЙ-ЧТО О МОЕЙ МСТИТЕЛЬНОСТИ.

Каясь въ моихъ грѣхахъ, въ 3-й главѣ второй книги я сознавался въ моей мстительности и называлъ ее оборотною стороною благодарности. Разскажу теперь объ одномъ случаѣ такой мстительности, о которомъ я забылъ сказать во второй книгѣ. Былъ у меня когда-то другъ, котораго горячо, преданно любилъ и въ дружбу котораго вѣровалъ я какъ въ Бога. Но увы! Другъ этотъ разыгралъ со мною роль Іуды Искаріотскаго, съ тою разницею, что Іуда продалъ и предалъ Христа за 30 сребренниковъ, которые, вѣроятно, по тогдашнему курсу, представляли значительную сумму; тогда какъ Іуда новыхъ временъ отрекся отъ друга только за то, что тотъ не льстилъ ему, а говорилъ правду. И мало того, что отрекся, но при этомъ жестоко, безжалостно оскорбилъ и его любящее сердце, и его самолюбіе, затоптавъ ихъ въ грязь насмѣшекъ и пренебреженія. Въ продолженіи 12-ти лѣтъ это кровавое оскорбленіе раскаленнымъ желѣзомъ лежало на днѣ моей души и причиняло мучительную боль, пока, наконецъ, не утолилось оно местію, излившеюся громкими жалобами на бумагѣ. Прошло послѣ того 15 лѣтъ. Я началъ уже седьмой десятокъ лѣтъ и, не сегодня такъ завтра ожидалъ моей очереди отправится Туда. Желая примириться со всѣмъ прошлымъ, я послалъ тогда моему бывшему другу только что вышедшій изъ печати мой «Полный французско-русскій словарь», вложивъ въ него листокъ, на которомъ написалъ только три слова: *Война или миръ?* Словарь былъ принятъ, но отвѣта никакого, т. е. протянутая на примиреніе рука была оттолкнута. Сильно огорчило это меня; но я перенесъ ударъ терпѣливо и не промолвилъ ни слова. Года черезъ два послѣ того я вдругъ захворалъ и уже думалъ, что, наконецъ, насталъ счастливый для меня часъ освобожденія изъ мрачной тѣлесной тюрьмы. Я попытался еще разъ примириться, чтобы не уносить съ собою Туда ни ма-

лѣйшаго враждебнаго чувства. Съ этой цѣлію я написалъ и отправилъ кому слѣдуетъ письмо такого содержанія:

«*С.П.бургъ, 1866 года, апрѣля...*

«Милостивый Государь!

«Скоро начну я восьмой десятокъ лѣтъ и, стало быть, мнѣ придется въ непродолжительномъ времени отправится Туда, въ неизвѣстныя страны. Но что мнѣ хорошо извѣстно, такъ это вотъ что: чѣмъ мѣнѣе будетъ въ сердцѣ горькихъ, непріязненныхъ чувствъ, чѣмъ болѣе накопится въ немъ примиреній съ враждебными воспоминаніями въ торжественныя предсмертныя минуты,—тѣмъ легче, тѣмъ успокоительнѣе будетъ отправленіе изъ здѣшней жизни. Поэтому протягиваю Вамъ руку на полное примиреніе и забвеніе враждебнаго прошлаго, надѣясь и въ Васъ встрѣтить такія же чувство и желаніе. Вѣдь между нами не лежитъ никакой «кровавой и незабываемой обиды», а только одно болѣе или менѣе оскорбленное самолюбіе. Достоинъ ли христіанина и философа такой ничтожный мотивъ для *вѣчной вражды*? Итакъ протягиваю Вамъ руку безъ всякой задней мысли и съ нетерпѣніемъ буду ожидать Вашего отвѣта.

«Примите увѣреніе. . . . . »

Увы! Ни единой строчки отвѣта. У христіанскаго Іуды сердце оказалось несравненно болѣе окаменѣлымъ, чѣмъ у Іуды еврейскаго, у котораго всетаки подъ конецъ совѣсть проснулась и онъ... повѣсился. Страшно огорчила и оскорбила меня такая сердечная окаменѣлость и, на этотъ разъ, я не выдержалъ, взялся за перо и написалъ сатиру, которая была помѣщена въ «Петербургскомъ Листкѣ». А теперь нахожу не лишнимъ помѣстить и здѣсь эту сатиру, для полнѣйшаго изображенія моей личности.

МЕТАМОРФОЗЫ

ИЗЪ ДАВНО-ПРОШЕДШАГО.

САТИРА.

Не тотъ уменъ—умно кто началъ,
А тотъ — окончитъ кто умно.

(Японская пословица).

Взбѣсился отъ жира
Рябой сатана.
Не хочешь ты мира—
Война, такъ война.
Исчадіе ада!
Продажей ты яда
Богатство стяжалъ.
Губитель Китая!
Народъ отравляя,
Ты въ люди попалъ.
И проклятый міромъ
Рябой сатана,
Зальешься ты жиромъ,—
Война, такъ война.

(Эпиграмма на продавца опіума. Переведено съ китайскаго).

Вступленіе.

Когда сивуха, въ дни былые
Обогащая, батраковъ
Вела въ чертоги золотые
Изъ душныхъ, грязныхъ кабаковъ;
Тогда у выскочки-скотины
Не только въ залахъ, но въ сѣняхъ
Являлись разныя картины

И милліоны въ сундукахъ,
Что выжимали изъ народа
Обмёромъ сквернаго вина,
Въ шинкахъ картаваго урода,
Того плебея, чья спина
Ужъ не боялася ударовъ
За недомёры недогаровъ,
За плутни всёхъ его конторъ,
Гдѣ крылись мерзость и позоръ,
И гдѣ воровъ обогащали
За лесть, за правду-жъ разоряли
Слугъ вѣрныхъ: какъ хотѣлъ Андронъ,
Всесильный кабаковъ патронъ.

* * *

Превращенія.

Тогда былъ вѣкъ метаморфозы:
Въ монахи попадалъ гусаръ,
Репейникъ превращался въ розы,
Въ лафиты мѣтилъ полугаръ,
Безбожникъ дѣлался ханжою,
Кокетка—вѣрною женою,
Святоша въ атеизмъ впадалъ,
Андронъ ломился въ меценаты
И безъ разбора созывалъ
На жирный пиръ въ свои палаты
Ученыхъ, неучей, пройдохъ,
Порой талантливыхъ артистовъ,
И чаще ловкихъ аферистовъ,
Владѣтелей ученыхъ блохъ,
Добытыхъ ими для Андрона,
Картаваго Амфитріона.

* * *

Андронъ все чудное любилъ,
Но чуднымъ только находилъ
Одну пародію искусства
И то, что льститъ кабацкимъ чувствамъ.

Тонулъ онъ въ оргіяхъ не разъ
Среди распутнѣйшихъ проказъ.
Любилъ бездарныхъ онъ поэтовъ,
Писавшихъ вирши на заказъ;
Изъ службы выгнанныхъ корнетовъ
За пьянство, буйство и развратъ,
И оставлявшихъ на прокатъ
Не разъ у креза-фаэтона
Запретный плодъ отъ гимназіи.

* * *

Любилъ Андронъ и всласть попить,
И вслать поспать, и вслать покушать,
Любилъ и сплетней онъ послушать,
Порой стаканы перебить,
Приврать, прилгать и пулю слить.
И даже разъ на каламбуры
Онъ покусился, но понять
Могли однѣ ихъ только куры.
Любилъ и самъ потолковать
И, хоть картаво, разсказать
О томъ, какъ въ палкинскомъ трактирѣ
N. N. продулся въ биліардъ;
И какъ, играя такъ на лирѣ,
Мадамъ Трутру пришла въ азартъ
И какъ въ туманѣ биліардъ,
Когда стоялъ онъ на запяткахъ.
Ему мерещился на святкахъ.
Но пуще жизни онъ любилъ
Къ нему летящій чадъ кадилъ
Панегиристовъ-баритоновъ,
Поющихъ гимны въ честь Андроновъ.

* * *

Вчера Андронъ былъ меценатъ,
Сегодня лѣзетъ въ филантропы;
Для улучшенья ретирадъ
Онъ затѣваетъ маскарадъ,
Гдѣ соберутся лишь холопы
Отъ знатныхъ баръ, да съ чердаковъ

Тѣ дамы разношерстной масти,
Что у богатыхъ батраковъ
Умѣютъ грязненькія страсти
Пощекотать, потормошить,
Да и мошну растормошить.
Затѣмъ къ Андрону двѣ княгини,
Да двѣ оглохшія графини
Разъ пріѣзжали дань собрать
На интересныхъ кандіотовъ,
Да на какихъ-то идіотовъ,
Чтобъ не пришлось имъ голодать.

* * *

Порой Андронъ впадалъ въ химеру,
И вдругъ онъ затѣвалъ аферу:
Свиней и поросятъ скупать,
Чтобъ ихъ въ консервы обращать
И за границу отправлять,
Да компаньоновъ разорять.
Скупалъ онъ чахлую скотину,
И вотъ съ червями солонину
Сталъ на рабочихъ поставлять
И медленно ихъ отравлять.

* * *

Полѣзъ Андронъ нашъ въ патріоты,
Пошелъ героевъ онъ встрѣчать,
Имъ бить челомъ, ихъ угощать
И въ честь имъ гимны сочинять;
Далъ гимны положить на ноты,
Ихъ изучая, пропотѣлъ
И, хоть картаво, да пропѣлъ.
Не лѣзъ онъ только въ Вальтеръ-Скоты,
И то затѣмъ, что ужъ охоты
Къ тому онъ вовсе не имѣлъ;
Ну, и затѣмъ, что нашъ пострѣлъ
И безъ того вездѣ поспѣлъ.

* * *

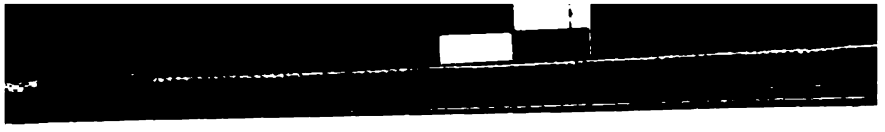
Но удалось разъ въ Талейраны
Ему попасть: вдругъ балаганы
Задумали съ торговъ пустить;

А чтобъ вѣрнѣй ихъ разцѣнить,
Андрону поручили дѣло.
Андронъ тутъ не былъ Митрофанъ
И поступилъ хитро и смѣло,—
Ну, сущій, сущій Талейранъ,—
Онъ такъ повелъ все это дѣло:
И балаганы разцѣнилъ,
Да и себя не позабылъ.
И вотъ на свой кафтанъ плебейской
Какой-то крестикъ нацѣпилъ,
И кушикъ этакой злодѣйской
Себѣ въ карманъ онъ положилъ.

* * *

Андронъ вломился въ театралы,
Вотъ лѣзетъ онъ и въ либералы;
И еслибъ могъ, то въ генералы
Немедленно махнулъ бы онъ,
Хотя, по знанью, и въ капралы
Негоденъ былъ нашъ хамъ Андронъ.
А какъ хотѣлось бы, подъ мышкой,
Ему съ портфелемъ погулять!
Прослыть хоть косолапымъ Мишкой,
Но въ комитетѣ поорать,
Объѣсться кругленькимъ окладомъ
И съѣздить во дворецъ съ докладомъ...
Но онъ въ министры не попалъ,
И потому онъ заоралъ:
«Я — театралъ, я — театралъ!
Да здравствуютъ комедіанты
И водевильные всѣ франты!..
Я—либералъ, я— либералъ!
Долой дворянъ! Я вамъ, дворянамъ!
Сотру васъ всѣхъ съ лица земли,
Чтобы вы больше не могли
Тонъ задавать всѣмъ намъ, нѣщанамъ
И заслонять намъ солнца свѣтъ!..
Пифъ! пафъ!.. Дворянъ ужъ больше нѣтъ».

* * *



И наконецъ,—о, диво, диво!—
Вдругъ забродило наше пиво:
Кабачникъ въ авторы попалъ
И сталъ пописывать статейки
О томъ, какъ раковыя шейки
Онъ въ уксусѣ мариновалъ,
И какъ онъ ими угощалъ
Разнокалиберныхъ героевъ,
Да современныхъ громобоевъ,
Продать готовыхъ свою честь
За то, чтобъ сладко пить да ѣсть.
Итакъ, Андронъ нашъ — литераторъ,
И вѣрно будетъ онъ ораторъ,
Не передъ членами палатъ,
А у жильцовъ лачугъ и хатъ.

* * *

Всего Андронушка понюхалъ,
Дорогу всѣмъ перебѣгалъ,
Во всѣ ворота онъ стучалъ,
Гдѣ только про барышъ пронюхалъ.

Перечень метаморфозъ.

Итакъ, Андронъ былъ аферистъ
И трехъ-грошевый гуманистъ,
Льстецовъ, воровъ всѣхъ покровитель,
Правдивыхъ, честныхъ разоритель,
Въ карикатурѣ публицистъ,
И чуть-чуть не каламбуристъ.
Скупщикъ чахоточной скотины,
Гнилыхъ консервовъ продавецъ,
Отравы медленной творецъ,
Торгашъ червивой солонины
И на ходуляхъ патріотъ,
И даже русскій Вальтеръ-Скотъ,
Но лишь безъ первой половины.
Для балагановъ — Талейранъ,
Внѣ балагановъ — Митрофанъ;

Андронъ былъ горе-литераторъ,
Наикартавѣйшій ораторъ,
Рябой, курносый меценатъ,
И даже былъ немножко фатъ;
На все плебей Андронъ былъ хватъ,
На всѣхъ путяхъ онъ подвизался.
Глядь: онъ ужъ—рьяный театралъ,
То вдругъ — свирѣпый либералъ,
А болѣе всего — нахалъ,
Который до того зазнался
И такъ нахально завирался,
Что день и ночь о томъ мычалъ,
Зачѣмъ въ министры не попалъ;
За то дворянъ всѣхъ обозвалъ.

Заключеніе.

Какъ угорѣлый, онъ метался,
Какъ вонь, повсюду пробирался,
До тошноты надоѣдалъ,
И все впередъ, впередъ онъ рвался,
А подъ конецъ онъ и прорвался:
Нашелъ на камень нашъ нахалъ
И на торгахъ разъ такъ зарвался,
Что словно во щи куръ попался,
И сѣлъ онъ на мель, точно ракъ
(Знать былъ не умникъ, а дуракъ)...
И затрещали милліоны,
И въ ходъ пошли аукціоны,
И нѣтъ картинныхъ галлерей,
И барскихъ нѣтъ уже затѣй.
Исчезли гимновъ запѣвалы,
И дали тягу подлипалы.
Увы! исчезло все, какъ сонъ,
И съѣхалъ на кнутѣ Андронъ.
И палъ картавый хвастунишко,
И вылетѣлъ въ трубу лгунишко.

Надгробный плачъ.

Андронъ! Андронъ! все въ жизни сонъ.
Со злой тоски «Вечерній звонъ»
Запой-ко ты, авось хоть онъ
Прогонитъ грусть твою, Андронъ!

Андронъ! Андронъ! все въ жизни сонъ.
Но хоть одинъ пусть милліонъ
Къ нему придетъ, — тогда... pardon!
Свой носъ подниметъ хамъ Andron.

Но нѣтъ! тоской злой удрученъ,
Повѣся носъ сидитъ Андронъ
И жалобно картавитъ онъ:
«Прости мой мир(л)ый мирр(лл)іонъ»!

Прошло, исчезло все, какъ сонъ:
Плебей былъ нагълъ, но не уменъ, —
И вотъ въ халдеи возвращенъ
Изъ меценатовъ хамъ Андронъ.

МОИ
СЕМИДЕСЯТИЛѢТНІЯ
ВОСПОМИНАНІЯ
И СЪ ТѢМЪ ВМѢСТѢ
МОЯ ПОЛНАЯ ПРЕДСМЕРТНАЯ ИСПОВѢДЬ.

Н. МАКАРОВА,

СОСТАВИТЕЛЯ СЛОВАРЕЙ.

Дѣла давно минувшихъ дней,
Преданья старины глубокой.
(Пушкинъ).

Пусть будетъ пѣснь твоя дика. Какъ мой вѣнецъ
Мнѣ тягостны веселья звуки!
Я говорю тебѣ: я слезъ хочу, пѣвецъ,
Иль разорвется грудь отъ муки.
Страданьями была упитана она,
Томилась долго и безмолвно;
И грозный часъ насталъ — теперь она полна,
Какъ кубокъ смерти яда полный.
(Лермонтовъ изъ Байрона.)

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

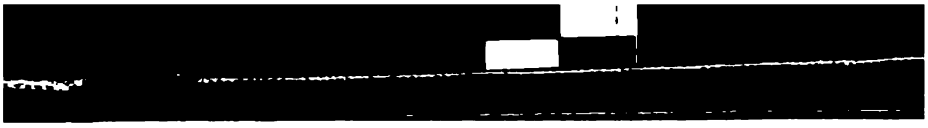
С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія Трина и Фюсно (Максимиліановскій переулокъ, № 15).
1882.

НѢСКОЛЬКО НЕОБХОДИМЫХЪ СЛОВЪ ПУБЛИКѢ

и

ВТОРАЯ MEA CULPA.

Мои Воспоминанія, первоначально подъ заглавіемъ *Двѣ Сестрички*, были написаны и напечатаны въ 1860 году. Я писалъ тогда слишкомъ скоро, безъ обдумыванія, безъ поправокъ и передѣлокъ, а какъ говорятъ французы *au courant de la plume*. Книга эта не продавалась тогда и пошла на обертки. Но въ началѣ лѣта сего 1881 года, я задумалъ снова издать этотъ трудъ подъ другимъ заглавіемъ и съ многочисленными дополненіями изъ цѣлыхъ главъ и книгъ, и съ прибавками такихъ вещей и фактовъ, печатаніе которыхъ было бы немыслимо лѣтъ двадцать тому назадъ. Вслѣдствіе моихъ преклонныхъ лѣтъ и упадка силъ, я спѣшилъ изданіемъ моего послѣдняго труда, и потому не имѣлъ времени исправить, и даже внимательно прочесть все то, что было написано мною и напечатано въ 1860 году. Поэтому въ первыхъ двухъ частяхъ вкрались вещи, которыя слѣдовало пропустить. Между прочимъ IX глава 1-й книги 1-й части, а именно: *Разочарованная стрянчиха*.... Несу повинную и каюсь въ этомъ невольномъ недосмотрѣ. И да не побьютъ меня за это камнями строгіе ригористы-пуристы.



НЕОБХОДИМОЕ ОБЪЯСНЕНІЕ.

Вотъ вторая часть романа, который заслужилъ въ 1860 году самое живое сочувствіе и полнѣйшее одобреніе покойнаго Добролюбова, желавшаго помѣстить его въ «Современникѣ». Но послѣ смерти его романъ этотъ былъ забракованъ всѣми остальными журнальными зоилами, которымъ предлагалъ я мой трудъ для помѣщенія въ журналѣ, предлагалъ даже безъ всякаго гонорара. Но тогдашніе зоилы нашли, что романъ этотъ такъ плохъ, негоденъ, что его нельзя напечатать *даже даромъ*. Предоставляю теперь на судъ читающей публики рѣшить, чье мнѣніе было справедливѣе: Добролюбова, или прочихъ современныхъ ему журнальныхъ Аристарховъ. Прибавляю еще слѣдующее:

Герой и героиня романа носятъ псевдонимы.

По ходу романа необходимо было — герою (Лѣтневу) умереть, а героинѣ (Звольской) — выдти замужъ. Но въ дѣйствительности ни герой не умеръ, не героиня не вышла замужъ. «Комъильфобельный» баронъ, съ дипломатическими черными баками, оказался въ нѣкоторомъ родѣ салоннымъ мазурикомъ: занялъ у своей невѣсты малую толику «презрѣннаго металла» т. е. кредитныхъ билетовъ, да и былъ таковъ. Поэтому героиня въ баронессы не попала, а осталась съ плюсомъ изъ наклееннаго ей носа и съ минусомъ изъ нѣсколькихъ сотенъ рублей въ ея карманѣ. Затѣмъ: главныя два событія (рожденіе Лидіи и приготовленія Лѣтнева къ отъѣзду ad patres) исторически вѣрны, но только съ тою разницею, что первая сцена происходила не въ Симбирскѣ, а въ Москвѣ; а вторая — не въ Парижѣ, а въ Петербургѣ.

I.

Прошло три недѣли со дня пріѣзда Звольской къ Лѣтневымъ. Въ продолженіе этого времени она достаточно ознакомилась съ своими хозяевами и убѣдилась, что Вѣра нисколько не измѣнилась противъ того, какою она знала ее въ пансіонѣ, и была добра, благородна, сострадательна и готова спѣшить на помощь ближнему. Мужа Вѣры она тоже хорошо поняла, хотя и не вполнѣ оцѣнила. Она ясно увидѣла, что это былъ человѣкъ добрѣйшей души, благороднѣйшаго сердца и самой высокой честности, и что ему можно ввѣрить и состояніе и честь свою, и нисколько не бояться за ихъ цѣлость и неприкосновенность. Но, какъ мужчина, онъ не совсѣмъ ей нравился. Во-первыхъ, онъ былъ блондинъ, а она любила брюнетовъ, особенно такихъ, которые носили густыя и широкія дипломатическія бакенбарды. Во вторыхъ, въ костюмѣ и въ манерахъ его не было того шика, который имѣетъ такъ много важности въ глазахъ модныхъ свѣтскихъ особъ обоего пола, и особенно Лидіи Александровны. Благородство души, великодушное сердце, просвѣщенный и развитой умъ помѣщались всегда на второмъ планѣ въ ея расцѣнкахъ, относительно значенія фешьонебльныхъ гостинныхъ... Но изящныя манеры, но безукоризненный костюмъ, начиная съ неизмятаго воротничка рубашки, потомъ: искусно повязаннаго галстука, шармеровскаго фрака, всегда новенькихъ перчатокъ и до кончика лакированнаго сапога; о! это другое дѣло. Безукоризненныя манеры и костюмъ составляютъ отличительные признаки, суть «sine qua non» всѣхъ тѣхъ, которые на языкѣ Лидіи Александровны назывались *des personnes parfaitement distinguées*. Эти «distinguées», какъ изволите видѣть, сдѣлались ея конькомъ, были ея маніей послѣ того, какъ собственная карета съ парою сѣрыхъ отъ нее ускользнула. «Высокая честность, безкорыстіе, благородство, возвышенность чувствъ — вещи очень хорошія», говорила она сама себѣ: — «да вѣдь въ гостинной ихъ не замѣтишь; тогда какъ не совсѣмъ ловкія манеры, или худо повязанный галстухъ и надѣванныя перчатки сейчасъ бросаются въ глаза, особенно такіе зоркіе, какъ у Лидіи Александровны».

Впрочемъ, находясь въ гостяхъ у Лѣтневыхъ, она была далеко не такъ взыскательно относительно мужа Вѣры. «La haute distinction» отодвинулась у нее на второй планъ, потому что тогда дѣло шло не о гостинной, а о тайнѣ, которую она должна была ввѣрить Лѣтневымъ, и которую необходимо было сохранить въ величайшемъ секретѣ. А однѣхъ изящ-

ныхъ манеръ и безукоризненнаго костюма для этого было недостаточно. Она убѣдилась наконецъ, что и честность, и доброта сердца, и благородство правилъ, и великодушіе могутъ пригодиться на что нибудь, и иногда играть важную роль въ жизни, не находясь даже въ соединеніи съ шикомъ. Итакъ, сообразивъ все это, Звольская устремилась наконецъ къ цѣли своего путешествія въ Сибирскую губернію, а для этого рѣшилась ввѣрить Лѣтневымъ свою тайну, чрезвычайно для нее важную. Но, по примѣру искусныхъ и опытныхъ дипломатовъ, она приступила къ этому не вдругъ, а по исполненіи нѣкоторыхъ пріемовъ и взявши нѣкоторыя предосторожности.

Въ продоженіи первыхъ трехъ недѣль своего пребыванія у Лѣтневыхъ, она была чрезвычайно весела, жива, беспечна, говорлива, тѣмъ болѣе, что хозяева выказывали ей необыкновенное радушіе, были съ нею любезны, ласковы, предупредительны до нельзя и смотрѣли на пріѣздъ и на пребываніе ея въ ихъ домѣ, какъ на особенное счастіе. И вдругъ она совершенно измѣнилась и сдѣлалась задумчивою, молчаливою, грустною. Вѣра, разумѣется, сейчасъ же замѣтила эту перемѣну, и оставшись съ нею наединѣ, спросила:

— Лидія! Что съ тобою сдѣлалось? Ты какъ будто бы получила извѣстіе объ угрожающей тебѣ опасности.

— Это тебѣ такъ кажется, отвѣчала Звольская съ искусственно принужденною улыбкою.

— Чего тутъ казаться, когда не одна я, но и Александръ замѣтилъ въ тебѣ большую перемѣну въ послѣдніе два дня. Тайная скорбь залегла въ твоемъ сердцѣ, — это ясно, какъ день. Послушай, Лидія! Не простое любопытство, а искренняя къ тебѣ дружба, желаніе быть тебѣ полезною заставляютъ меня просить тебя быть со мною откровеннѣе. Говори, что и какъ должна я сдѣлать, чтобы помочь твоему горю? И сердце, и кошелекъ, и домъ мой къ твоимъ услугамъ. За мужа я ручаюсь: чего хочу я, того и онъ хочетъ. И наоборотъ.

Звольская молчала. Она и желала, и боялась объясниться. Потомъ вдругъ бросилась къ Вѣрѣ на шею, поцѣловала ее горячо и, опустивъ къ ней на грудь свою голову, горько, истерически зарыдала.

— Лидія, другъ мой, что съ тобою? заговорила съ нѣжнымъ участіемъ Вѣра. Открой мнѣ свою душу, не мучь меня. Нѣтъ жертвы, которой бы я не принесла, чтобы только спасти тебя отъ опасности или облегчить твои страданія.

И говоря это, Вѣра приподняла голову Лидіи, ласково смотрѣла ей

въ глаза, нѣжно ее поцѣловала и снова заговорила умоляющимъ голосомъ:

— Милая, дорогая Лидія! Не скрывай отъ меня долѣе своего горя! Ввѣрь мнѣ тайну, которая повидимому тяготитъ тебя: ты не будешь разкаяваться въ своей откровенности.

— Любишь ли ты меня, Вѣра? сказала наконецъ Лидія.

— Къ чему этотъ вопросъ? Ты хорошо знаешь, что я люблю тебя.

— А если ты перестанешь меня любить? Если сохрани Боже, перестанешь меня уважать послѣ того, какъ я открою тебѣ мою тайну? О, какъ я буду тогда несчастлива!

— Этого быть не можетъ.

— Хорошо: я должна, я хочу говорить съ тобою откровенно.... Но если ты меня разлюбишь?...

— Никогда, никогда! Ты имѣешь передъ собою снисходительнаго друга, а не строгаго судію.

— Итакъ слушай.... Но, нѣтъ! я не рѣшусь сказать это громко... Я скажу тебѣ на ухо.

И Лидія шепнула что-то на ухо своей собесѣдницѣ; потомъ вся вспыхнула и закрыла руками свое очаровательное личико.

— Только-то! сказала Вѣра и засмѣялась самымъ веселымъ и непринужденнымъ смѣхомъ. — Какая же ты шутница, Лидія! Какъ ты напугала меня своими таинственными приготовленіями! Вѣдь уже семь лѣтъ, какъ ты замужемъ! Чтожъ такого необыкновеннаго въ твоемъ «интересномъ положеніи»?.... О, еслибы я могла сообщить такую же тайну моему мужу! Какъ бы мы оба были счастливы! Но Богъ отказалъ намъ въ этомъ утѣшеніи.

Лидіи Александровнѣ пришлось пояснить, пополнить свою тайну, что стоило ей новыхъ усилій надъ собою, новой борьбы съ самолюбіемъ; и она проговорила робко, почти шопотомъ:

— Уже годъ, какъ я разъѣхалась съ мужемъ и съ тѣхъ поръ не видала его.... Я тебѣ еще не говорила объ этомъ обстоятельствѣ.

Послѣ этого втораго признанія Вѣра уже не смѣялась болѣе; она, въ свою очередь, сдѣлалась серьёзна и грустна. Въ ней сильно были развиты самое высокое нравственное чувство и самое благоговѣйное уваженіе къ свитости семейныхъ обязанностей, малѣйшее нарушеніе которыхъ казалось ей преступленіемъ. И потому она не находила, что сказать на послѣднія слова Лидіи, и молчала. Невыносимо мучительно было это молчаніе для прелестной грѣшницы. Словно огнемъ пытки жгло оно самолюбіе гордой свѣтской красавицы, привыкшей вездѣ первен-

ствовать и господствовать надъ всѣмъ, что приближалось къ ней. И вдругъ, съ высоты этого неоспоримаго и всемогущаго владычества надъ массами, она низошла до роли напроказившаго школьника, трепещущаго передъ строгимъ наставникомъ!... Она, еще такъ недавно блиставшая въ петербургскихъ гостинныхъ, торжествовавшая надъ самыми записными и прелестными модницами, и составлявшая гордость и радость своихъ знакомыхъ; она, непреклонная и непобѣдимая ни кѣмъ, но побѣждавшая всякаго, кого бы захотѣлось ей побѣдить; она, передъ которою смирялись и трепетали самые модные и свирѣпые столичные львы; она, Лидія Александровна Звольская, въ свою очередь, должна была смириться и трепетать передъ провинціальною барынею, которая ни разу не была въ Петербургѣ, не заботилась о существованіи «des personnes parfaitement distinguées» не имѣла понятія о шикѣ, не слыхала даже о модномъ магазинѣ мадамъ Мальпаръ съ братіей, а носила платья и шляпки, сработанныя Богъ знаетъ гдѣ и кѣмъ; жила постоянно въ деревнѣ и — какъ это смѣшно! — была вполнѣ счастлива!... О! это ужасно, несправедливо!...

Но дѣлать было нечего: ретироваться поздно, пятиться — некуда. И она рѣшилась идти далѣе, до конца. Начала она свои признанія, какъ мы это видѣли, съ мелодраматическихъ слезъ; послѣ того продолжала ихъ съ помощію мистицизма, а подъ-конецъ опять обратилась къ мелодрамѣ и, съ искуствомъ опытной актрисы, разыграла сцену, достойную любаго изъ парижскихъ бульварныхъ театровъ.

— О, не презирай меня, милая Вѣра! ты убьешь меня, вскрикнула она самымъ отчаяннымъ голосомъ. Потомъ, бросившись на колѣни передъ Лѣтневой, зарыдала такъ, какъ не удастся зарыдать ни одной актрисѣ, не исключая даже Плесси, одной изъ самыхъ искусныхъ рыдальщицъ. Наконецъ схватила руку Вѣры и покрыла ее поцѣлуями и слезами.

— Прости мнѣ минутное увлеченіе, продолжала декламировать Звольская. — Будь ко мнѣ снисходительна: я была такъ несчастлива!... Такъ много выстрадала (сама виновата)!... Не имѣла ни одного яснаго дня въ продолженіи всего моего замужества.

Лгала: не одинъ, а много ясныхъ дней и вечеровъ имѣла она въ супружеской жизни, а именно: всѣ тѣ дни, въ которые пріѣзжали къ ней съ визитомъ или засылали свои аристократическія карточки титулованные посѣтители, и тѣ вечера, которые проводила она въ извѣстныхъ гостинныхъ въ обществѣ кровныхъ «distingués»; всѣ такіе дни и вечера были для нее чрезвычайно ясны и привлекательны... Но возвратимся къ бульварной мелодрамѣ.

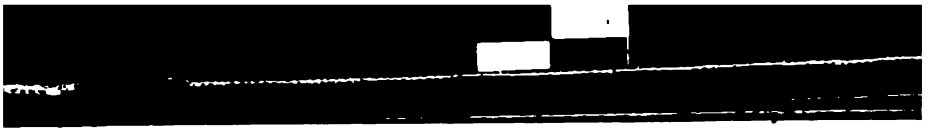
Звольская продолжала свои колѣнопреклоненія и рыданія, спрятавъ лицо свое въ колѣни Лѣтневой. Эффектъ былъ полный, поразительный... И какъ бы ей апплодировали за это на бульварномъ театрѣ!

Мы сказали уже, что сердце Вѣры было неистощимою сокровищницею состраданія, великодушія и любви къ ближнему. И на этотъ разъ нѣжныя чувства ея кроткой, чудной души взяли верхъ надъ строгостію ея правилъ и взгляда на семейныя обязанности. Она подняла Лидію, посадила возлѣ себя и крѣпко обнявъ ее и поцѣловавъ въ лобъ, сказала голосомъ полнымъ состраданія:

— Не мнѣ осуждать тебя, милая Лидія! Мы всѣ грѣшны болѣе или менѣе, и потому никто не имѣетъ права бросать камень въ своего ближняго. Спаситель показалъ намъ примѣръ такого милосердія и снисходительности; самъ онъ былъ совершененъ—и не осудилъ, а простилъ. Могу ли, смѣю ли я послѣ этого осуждать тебя, я, самая несовершеннѣя изъ смертныхъ? Но что я могу для тебя сдѣлать, чѣмъ могу быть тебѣ полезною? Говори: согласіе мое тебѣ заранѣе готово.

Звольская только этого и желала. Она не заставила повторять сказанное ей Вѣрою и, съ быстротою наполеоновской тактики, воспользовалась предложеніемъ услугъ. За раздирательною сценою послѣдовала патетическая.

— О, какъ я тебѣ благодарна, милая, добрая Вѣра! говорила Лидія, нѣжно обнимая и цѣлуя свою пріятельницу. Ты мой ангелъ хранитель, мой добрый геній! Ты возвратила мнѣ жизнь, возвращая свою неоцѣненную дружбу и уваженіе. Да благословитъ же тебя Богъ въ здѣшней и будущей жизни, какъ и я благословляю тебя... Но ты предлагаешь мнѣ свои услуги, и я воспользуюсь этимъ предложеніемъ... Вотъ въ чемъ дѣло: мнѣ необходимо скрыть послѣдствія моего невольнаго увлеченія, иначе я—погибшая женщина! Родные мои чрезвычайно строго смотрятъ на нѣкоторыя ошибки молодости, они отрекутся отъ меня, проклянутъ меня, какъ только узнаютъ о случившемся со мною. Знакомые мои тоже оставятъ меня. Что будетъ тогда со мною? Я умру отъ стыда и отчаянія... И въ Петербургѣ, и въ Москвѣ за мною присматриваютъ сотни недоброжелательныхъ и завистливыхъ глазъ. Я рѣшилась пріѣхать къ тебѣ, потому что тебя не знаетъ никто изъ моихъ родныхъ; и даже въ цѣлой Симбирской губерніи у нихъ нѣтъ ни одного знакомаго. Въ Москвѣ я распустила слухъ, что ѣду путешествовать по Волгѣ: сперва заѣду къ тебѣ, потомъ на Сергіевскія минеральныя воды; далѣе, быть можетъ, спущусь по Волгѣ до Астрахани и буду тамъ лечиться виноградомъ. Разумѣется, я не поѣду ни на воды,



ни въ Астрахань, а поѣду въ Симбирскъ, гдѣ меня никто не знаетъ и гдѣ, поэтому, всего безопаснѣе для меня прожить извѣстное время и въ совершенномъ уединеніи отъ свѣта... Помогите мнѣ, друзья, устроиться въ Симбирскѣ и дождаться развязки, а съ тѣмъ вмѣстѣ сохранить все это въ величайшей тайнѣ.

Звольская замолчала. Тяжелый камень спалъ съ ея души. Половина дѣла и самая щекотливая была сдѣлана; оставалось еще сообщить Лѣтневу тайну Лидіи. Разумѣется, Вѣра взялась за это, но отложила до слѣдующаго утра, чтобы дать время Лидіи приготовиться и собраться съ новыми силами для щекотливыхъ и тягостныхъ объясненій. Теперь, съ нашей стороны, прибавимъ нѣсколько словъ къ тому, что читатель узналъ изъ объясненій, происходившихъ между двумя пріятельницами.

Извѣстно, что передъ поѣздкою Звольской къ Лѣтневымъ, она прожила десять мѣсяцевъ въ Москвѣ у своей хорошей пріятельницы, которая радушно приняла ее. Разставшись съ мужемъ, Лидія Александровна вовсе не намѣрена была убивать себя горемъ, а тѣмъ менѣе сдѣлаться затворницею. Она, какъ мы уже и прежде замѣтили, неспособна была убиваться горемъ отъ чего бы то ни было, а тѣмъ болѣе отъ мужа, некрасиваго и глупаго, да къ тому же и не умѣвшаго доставить ей собственную карету съ парою сѣрыхъ. Поэтому и въ Москвѣ она привлекла къ себѣ множество пламенныхъ поклонниковъ, и возобновила свою прежнюю игру—въ любовные дурачки. Но на этотъ разъ опростоволосилась и осталась дурочкою. Справедлива пословица, что «на всякаго мудреца довольно простоты». Возвратимся въ домъ Лѣтневыхъ.

II.

На другой день послѣ мелодраматической сцены, въ которой Лидія Александровна выказала такъ много сценическаго таланта, Вѣра Алексѣевна вошла въ кабинетъ своего мужа. Онъ въ эту минуту пробѣгалъ журналы, только что полученные съ почты. Вѣра взяла его за руку и, посадивъ возлѣ себя на диванъ, сказала:

— Александръ! мнѣ нужно говорить съ тобою о важномъ дѣлѣ.

— Говори, Вѣра! я тебя слушаю.

— Вотъ видишь ли... Я не знаю съ чего и какъ начать?

— Прямо съ дѣла. Чѣмъ короче вступленіе, тѣмъ лучше; а вовсе безъ вступленія и еще лучше.

Но въ томъ-то и была штука, что невозможно было начать «прямо съ дѣла», и еще съ такого щекотливаго, какъ «интересное положеніе Лидіи Александровны, приключившееся съ нею черезъ годъ послѣ разлуки съ мужемъ». Вѣра была въ большомъ затрудненіи именно по поводу вступленія, къ которому мужъ ея выказалъ такое нерасположеніе, но которое было необходимо въ настоящемъ случаѣ.

— Александръ! сказала она: ты вѣдь большой у меня моралистъ и порою бываешь очень строгъ, а иногда и очень снисходителенъ къ человѣческимъ слабостямъ. Ты сегодня въ какомъ расположеніи духа: въ строгомъ, или снисходительномъ?

— C'est selon.

— Однакожъ? Еслибы я стала просить тебя о снисхожденіи, ты бы не отказалъ мнѣ въ немъ?

— Ты не нуждаешься ни въ чьемъ снисхожденіи: ты—образецъ всѣхъ женскихъ добродѣтелей, ты—мое совершенство, говорилъ Лѣтневъ и одушевляясь все болѣе и болѣе, обнялъ жену и страстно поцѣловалъ ее.

— Саша, Саша! говорила Вѣра со слезами счастья на глазахъ: — Стыдно тебѣ говорить мнѣ комплименты! Ну, что я за совершенство? Такая же, какъ и всѣ прочія грѣшныя. Только и есть во мнѣ хорошаго, что я умѣю любить тебя, какъ едва ли другія жены любятъ своихъ мужей. Но за то вѣдь и ты любишь меня такъ, какъ ни одинъ мужъ не любитъ свою жену... Однако жъ, пора приступить къ дѣлу. Скажи, пожалуйста, какое мнѣніе имѣешь ты о моемъ другѣ, о Лидіи Звольской?

— Это одна изъ самыхъ умныхъ, любезныхъ и прелестныхъ женщинъ. И признаюсь, я ни за что не согласился бы жить съ нею въ одномъ домѣ, еслибы я не былъ женатъ на такомъ чудномъ, какъ ты, ангелѣ, передъ которымъ кажутся мнѣ ничтожными и жалкими всѣ остальныя женщины, какъ бы красивы, умны и любезны онѣ ни были.

— Опять комплименты!... Смотри у меня, Саша! Я наложу на тебя штрафъ и сейчасъ стану взыскивать. Давай мнѣ этотъ штрафъ, говорила Вѣра, обнявъ мужа и цѣлуя его.—Разъ, два, три.,. ну, на первый разъ довольно. А впередъ берегись, зацѣлую тебя при первомъ комплиментѣ... Но возвращусь къ Лидіи. Итакъ она тебѣ нравится?...

— То-есть, я нахожу ее вполнѣ достойною и прелестною особою, и очень опасною для спокойствія мужчинъ, кромѣ моего.

— Смотри, не хвастай, Александръ! До бѣды не долго. Лидія такъ обворожительна, что если захочетъ, то влюбитъ въ себя всякаго... Она такая добрая и—такая несчастная.

— Чѣмъ же?

— У нее такой недобрый мужъ! Мотъ, картежникъ, нетрезвый и грубіянъ, который отравилъ всю ея жизнь... Ахъ, Александръ! Мнѣ очень ее жаль. Мы должны помочь ей.

— Трудно, если мужъ ея точно такой, какъ ты его описала.

— Это ничего; мы можемъ ей помочь... Съ ней случилось большое несчастіе.

— Какое?

Вѣра шепнула на ухо и Лѣтневъ расхохотался. Это, какъ видите, было повтореніе вчерашней сцены съ небольшимъ измѣненіемъ въ обстановкѣ и съ исключеніемъ мелодраматическаго элемента.

— Ахъ! Вѣра, Вѣра! Какое же ты дитя! Что за несчастіе въ беременности замужней женщины? О, еслибы съ тобой случилось подобное несчастіе! Я плакалъ бы отъ радости.

Затруднительность положенія Вѣры достигла высшей степени. Мужъ ея былъ совершенно одинаковыхъ съ нею правилъ и понятій о супружескихъ обязанностяхъ, и потому слѣдовало предварительно смягчить его ригоризмъ, чтобы половче ввести его въ тайну своей гостьи и добиться отъ него, если не оправданія, то хотя извиненія грѣха самаго обыкновеннаго въ большемъ свѣтѣ.

— Вотъ видишь ли, Саша! сказала Вѣра послѣ долгаго надумыванія. Теперь мнѣ необходимо все твое снисхожденіе... Кто изъ насъ безъ грѣха?... Не смотри же на меня такъ серьезно. Ну, засмѣйся!

— Я не понимаю тебя, Вѣра! Ты вдаешься въ мистицизмъ. Ужь не читаешь ли ты Сведенборга? Кажется, что его нѣтъ въ нашей библіотекѣ; къ тому же твой свѣтлый и отчетливый умъ не созданъ для темныхъ умозрѣній, неспособенъ заниматься бреднями разстроеннаго воображенія.

— Александръ! ты строгъ, но столько же, и еще болѣе — добръ, говорила Вѣра, ласково глядя на мужа. Итакъ, оставь на время свою строгость и будь теперь только добрымъ, снисходительнымъ, великодушнымъ Сашею... Слушай меня со вниманіемъ: Лидія увлеклась и сдѣлала ошибку. Не намъ судить ее. Вспомни слова изъ молитвы, которую завѣщалъ намъ Божественный Спаситель. «И остави намъ долги наши, яко же и мы оставляемъ должникамъ нашимъ». Наше дѣло—помочь ей, спасти ее отъ позора, отъ отчаянія, отъ погибели... Она... уже годъ какъ разъѣхалась съ мужемъ.

Вѣра умолкла и смотрѣла на мужа умоляющими глазами, изъ которыхъ выкатились двѣ крупныя слезы—эти влажные алмазы сердца.

исполненнаго самой высокой христіанской любви. Лѣтневъ былъ суровъ и мраченъ. Но вдругъ, какъ бы вдохновенный свыше, онъ упалъ на колѣну передъ Вѣрою, покрылъ страстными поцѣлуями ея руки, и сильно взволнованнымъ голосомъ сказалъ ей :

— Мнѣ ли осуждать Звольскую, когда ты извинила ей, о моя добрая, благородная, чудная Вѣра! Смѣю ли я быть строгимъ, когда ты изрекла уже слово прощенія и любви ; ты образецъ женской стыдливости, непорочности и цѣломудрія ; ты, въ сердцѣ которой, какъ въ святомъ храмѣ, обитаетъ одно благочестіе, и до которой не прикасались ни одна грѣшная мысль, ни одно дурное желаніе, ни одно сомнительное чувство. Съ благоговѣніемъ смотрю на тебя, какъ на украшеніе, какъ на гордость твоего пола, какъ на любимицу неба.

Лѣтневъ замолчалъ. Сердце его было переполнено чистѣйшимъ счастіемъ, которое сообщилось и сердцу Вѣры. Онъ опять сѣлъ возлѣ жены и спросилъ :

— Что же можемъ мы сдѣлать для Лидіи Александровны въ ея щекотливомъ положеніи?

Вѣра сообщила мужу предположенія Звольской — поселиться на извѣстное время въ Симбирскѣ; но устроить это такъ, чтобы все осталось въ глубокой тайнѣ.

— Хорошо, сказалъ Лѣтневъ.—Я постараюсь уладить все по желанію нашей гостьи и доказать, что она не ошиблась, расчитывая на наше гостепріимство и на твою дружбу. Поди и успокой ее на счетъ полнаго моего сочувствія къ ея положенію. Я хорошенько обдумаю и соображу планъ дѣйствій и потомъ приду къ вамъ.

— Благодарю тебя, мой добрый, благородный Александръ! Ты успокоилъ и одолжилъ меня несказанно, произнесла Вѣра и поцѣловала мужа съ невыразимою нѣжностію.

— Чего нельзя сдѣлать для такой жены, какъ ты?

Вѣра вышла изъ кабинета съ сіяющимъ отъ радости лицемъ. Лидія Александровна со страхомъ ожидала результата переговоровъ между супругами и пришла въ сильное волненіе, когда отворилась дверь ея комнаты. Вошла Вѣра. На ея лицѣ Звольская прочитала полный успѣхъ своихъ предначертаній и, не дожидаясь отчета о счастливомъ исходѣ супружескихъ переговоровъ, бросилась къ Вѣрѣ на шею и принялась осыпать ее поцѣлуями и самыми нѣжными эпитетами, съ изъявленіемъ вѣчной благодарности къ ней и къ ея мужу. Лидія Александровна хорошо знала, что ничего нѣтъ вѣчнаго на землѣ, но у нее были свои особенныя понятія о вѣчной благодарности, какъ мы увидимъ это впо-

слѣдствіи. Къ тому же, въ эти послѣдніе два дня она чувствовала въ себѣ какое-то особенное расположеніе къ сценическому поприщу, и потому, по приходѣ Лѣтнева въ ея комнату, продекламировала, съ неподражаемымъ искусствомъ, разные отрывки изъ бульварной мелодрамы. Мы избавимъ читателей отъ воспроизведенія этой декламаціи, о которой имѣютъ они понятіе изъ прежде описанной нами сцены. Разскажемъ теперь просто, что и какъ придумалъ и потомъ сдѣлалъ Лѣтневъ для сохраненія Лидіи Александровнѣ честнаго имени.

Черезъ два дня послѣ описанныхъ нами объясненій, и подъ предлогомъ дѣлъ, Лѣтневъ отправился на пароходѣ въ Симбирскъ. Прибывъ туда, онъ остановился въ своемъ домѣ, который, на эту пору, ни кѣмъ не былъ занятъ. Сейчасъ, по пріѣздѣ, нашелъ и нанялъ онъ въ одной малопроѣзжей улицѣ, и въ уединенномъ домикѣ, четыре небольшія, но опрятныя и меблированныя комнаты. Хозяйка дома, бездѣтная вдова и очень добрая женщина, за умѣренную плату, приняла на себя всѣ хлопоты по хозяйству и по кухнѣ. Вслѣдъ за этимъ онъ написалъ къ Вѣрѣ письмо съ подробною инструкціею для дальнѣйшихъ дѣйствій. По этой инструкціи Лидія Александровна, послѣ пятинедѣльнаго пребыванія въ деревнѣ Лѣтневыхъ, простилась съ Вѣрою, и въ сопровожденіи своей быстроглазой горничной, сундука, чемодана и дорожныхъ мѣшковъ, сѣла на пароходъ и поплыла будто-бы въ Самару, на Сергіевскіе минеральныя воды, но, на самомъ дѣлѣ, она доѣхала только до Симбирска, гдѣ и вышла на берегъ. Лѣтневъ ожидалъ уже ее на пристани и въ наемномъ крытомъ экипажѣ, отвезъ на приготовленную для нее квартиру. Три дня спустя пріѣхала въ Симбирскъ и Вѣра, въ сопровожденіи большаго багажа и прислуги, необходимыхъ для довольно-продолжительнаго пребыванія въ губернскомъ городѣ.

Итакъ, въ половинѣ лѣта, изъ своей прекрасной, живописной деревни, изъ свѣжаго, здороваго воздуха полей и прохладныхъ рощъ, Лѣтневы переселились въ Симбирскъ, въ душный и пыльный городской воздухъ, съ единственною цѣлію — услаждать скучные часы добровольнаго заточенія Лидіи Александровны. Они не умѣли дѣлать добро наполовину, какъ нибудь, и торговаться при оказаніи кому нибудь услуги. Нѣтъ! Задумавъ доброе дѣло, рѣшившись на подвигъ христіанской любви, они предавались ему вполнѣ, не жалѣли никакихъ жертвъ, не пугались препятствій, доходили до самоотверженія, и никогда не расчитывали на эффектъ или на благодарность. Въ этомъ отношеніи они были людьми чрезвычайно отсталыми отъ своего вѣка, въ которомъ, особенно среди большихъ населенныхъ центровъ, ничего не дѣлается такъ, даромъ; гдѣ

доброе дѣло превращаютъ часто въ выгодную аферу, изъ благотворительности дѣлаютъ прибыльную спекуляцію; гдѣ все заранѣе расчитано на извѣстные проценты, обставлено задними мыслями; гдѣ встрѣчается много модныхъ, а порою и вовсе не модныхъ господъ и госпожъ, одержимыхъ горячкой искусственной филантропіи, и которые мечутся какъ угорѣлые во всѣ стороны, нападаютъ на васъ съ подписными листами или съ билетами на лотерей и домашніе спектакли, накладываютъ пошлины на карманы своихъ короткихъ и некороткихъ знакомыхъ. И все это для того только, чтобы произвести эффектъ, заставить говорить о себѣ, попасть въ журнальный фельетонъ, заслужить благосклонную улыбку или пожатіе руки такого-то, быть приглашеннымъ на обѣдъ или на вечеръ къ такой-то, или, наконецъ, втереться въ извѣстную гостиную, въ извѣстный кругъ и потомъ съ гордостью разсказать первому встрѣчному, что онъ разговаривалъ съ такимъ-то, слышалъ то-то отъ такой-то...

Зажила потихоньку въ Симбирскѣ наша блистательная Лидія Александровна, которая, на это время, вовсе не желала блистать. Она никуда не выходила изъ своего скромнаго и уединеннаго пріюта, кромѣ небольшаго садика, находившагося при домѣ. Лѣтневы навѣщали ее почти каждый день, приносили ей книги и журналы и старались всячески развлекать и утѣшать ее. Посѣщенія свои окружали они глубочайшею тайною, никогда не брали за собою ни одного изъ своихъ людей; книги и журналы относили къ Лидіи сами; а въ случаѣ непредвидѣннаго обстоятельства и необходимости немедленнаго свиданія съ Лѣтневыми, была устроена почта: Звольская отправляла записку съ своею горничною въ одну гостинницу, буфетчикъ которой сейчасъ же пересылалъ эту записку къ Вѣрѣ. Такимъ образомъ никто въ домѣ Лѣтневыхъ, кромѣ самихъ господъ, не зналъ о пребываніи Звольской въ Симбирскѣ.

Прошло два мѣсяца и таинственный романъ въ уединенномъ домикѣ на малопроѣзжей улицѣ окончился благополучно. Лидіи Александровнѣ даровалъ Богъ дочь, и, на этотъ разъ, не мертвую, а здоровенькую, полненькую и розовенькую, съ чудесными голубыми глазками и весьма похожую на мать. Въ другихъ обстоятельствахъ, т. е. года за два передъ тѣмъ, подобное событіе наполнило бы величайшею радостію сердце Лидіи Александровны.... ея умъ, хотѣлъ я сказать, потому что сердце ея продолжало пребывать въ непробудной летаргіи;—и она привѣтствовала бы съ восторгомъ появленіе на свѣтъ дочери, да еще такой хорошенькой. Но въ настоящее время событіе это влекло за собою разныя неудобства, и потому слишкомъ большой радости не послѣдовало. Первое неудобство заключалось въ томъ, что ребенокъ былъ очень здоровъ и

обѣщалъ жить, т. е. постоянно ее компрометировать. Второе, надо было устроить его настоящее и потомъ заботиться о будущемъ, а это не бездѣлица и требовало немало издержекъ и хлопотъ, для которыхъ у Лидіи Александровны не было ни желанія, ни времени, ни возможности. Однимъ словомъ, рожденіе живаго и здороваго ребенка сильно ее озаботило, если только не огорчило. Но скоро ее выручили изъ этой бѣды. Вѣра была воспріемницею новорожденной, которую назвали Лидіей, по желанію не родной, а крестной ея матери. Въ тотъ же самый день между Александромъ и Вѣрою Лѣтневыми происходилъ семейный совѣтъ, на которомъ рѣшили они взять къ себѣ на воспитаніе маленькую Лидію, и впослѣдствіи усыновить ее, когда они потеряютъ послѣднюю надежду имѣть своихъ собственныхъ дѣтей. И рѣшились они на этотъ человѣколюбивый подвигъ безъ всякой просьбы, безъ малѣйшаго даже намека на это со стороны Звольской; а просто по внушенію сердца. Они сейчасъ поняли исключительное и щекотливое положеніе Лидіи въ обществѣ, затруднительныя и компрометирующія отношенія ея къ ребенку, а вслѣдствіе этого, и жалкую участь, ожидающую невинную малютку.

Разумѣется, Лидія Александровна сейчасъ же согласилась на предложеніе Лѣтневыхъ и выказала имъ большую благодарность, которую ощущала при мысли, что такъ неожиданно и такъ легко удалось ей избавиться отъ тяжелой обузы этого послѣдствія минутнаго увлеченія, во время ея послѣдней игры въ дурачки. За то же и наложила она на себя строжайшій зарокъ быть впередъ всегда, вездѣ и во всемъ умницей.

Какъ мы уже видѣли, Лѣтневы не любили дѣлать добро какъ попало, безъ всякаго толку. Мало того: дѣлая это добро широкою рукою, они съ тѣмъ вмѣстѣ старались окружать его всевозможною деликатностію, чтобы ни словомъ, ни взглядомъ, не оскорбить самолюбіе того, кого спасали отъ бѣды. Въ устройствѣ Звольской въ Симбирскѣ и въ дальнѣйшихъ съ нею поступкахъ, и мужъ и жена выказали во всей полнотѣ и красотѣ свои изящныя, деликатныя натуры. Сколько съ ихъ стороны было вниманія, предупредительности, ласковой заботливости! И заботливость эта выказалась въ особенности, когда дѣло шло о маленькой Лидіи, выказалась съ полною обдуманностію и предусмотрительностію. Перенести ребенка прямо и обыкновеннымъ образомъ отъ Звольской къ себѣ въ домъ, значило-бы: породить толки, возбудить подозрѣнія и любопытство между своими людьми и, такимъ образомъ, компрометировать ввѣренную имъ тайну. Во избѣжаніе этого, они придумали слѣдующую хитрость: на другой день утромъ входитъ поспѣшно въ комнату къ

Вѣрѣ ея горничная и съ полу-веселымъ, полу-озабоченнымъ видомъ говоритъ ей:

— Вѣра Алексѣевна! Богъ далъ намъ прибыль: я сейчасъ выходила въ сѣни; смотрю — у порога стоитъ большая корзина, а въ той корзинѣ... что бы вы думали? угадайте...

— Право, не знаю; трудно отгадать, говорила Вѣра притворно-равнодушнымъ голосомъ. Только въ такихъ рѣдкихъ случаяхъ и для упроченія добраго дѣла позволяла она себѣ притворство, столь чуждое ея характеру и правиламъ.

— Ну, что же, не угадали?... Въ корзинѣ лежитъ маленькое дитя, да такое хорошенькое!..

— Въ самомъ дѣлѣ, вскричала Вѣра, не скрывая на этотъ разъ своей непритворной радости. — Неси его поскорѣе сюда.... да нѣтъ, я боюсь, чтобы ты не уронила его; я сама пойду за нимъ. Иди за мною, Параша!

И, сказавъ это, Вѣра поспѣшно вышла въ сѣни и сейчасъ же возвратилась въ свою комнату, неся, вмѣстѣ съ горничною, бѣлую плетеную корзину, въ которой лежала маленькая Лидія. Ребенокъ спалъ тихимъ и безмятежнымъ сномъ. Въ корзинѣ нашли еще узелокъ съ дѣтскимъ бѣльемъ и записку слѣдующаго содержанія:

«Дитя окрещено въ православную вѣру и наречено именемъ Лидіи. Неизвѣстный проситъ благотворительныхъ особъ призрѣть невиннаго младенца, лишеннаго родительскихъ ласкъ и попеченія. И Господь воздастъ имъ со сторицею за ихъ доброе, христіанское дѣло».

Вѣра побѣжала сообщить мужу радостную вѣсть, и Лѣтневъ тоже превосходно разыгралъ свою роль: онъ чрезвычайно удивился и обрадовался мнимо-неожиданной находкѣ и объявилъ во всеуслышаніе, что это явная Божеская благодать, и что онъ принимаетъ къ себѣ въ домъ подкинутаго ребенка, и будетъ заботиться о немъ, какъ о своемъ собственномъ. Хитрость удалась вполнѣ: никому изъ людей Лѣтневыхъ не пришло въ голову подумать, что господамъ ихъ было хорошо извѣстно, откуда и чей былъ этотъ подкидышъ. Въ тотъ же самый день взята была хорошая кормилица, которую заранѣе пріискала для Звольской ея услужливая хозяйка.

Итакъ, жизнь Лѣтневыхъ получила новое направленіе, и сдѣлалась гораздо полнѣе и разнообразнѣе. Они, мало-по-малу, привязались къ маленькой Лидіи и начали считать ее настоящимъ членомъ своего семейства. Но и послѣ этой романической развязки они не захотѣли еще возвратиться въ свою деревню, а оставались въ Симбирскѣ до конца срока,

опредѣленнаго для выхода родильницъ изъ дому. Попрежнему навѣщали они Звольскую и сообщали ей свѣдѣнія о маленькой Лидіи. Ровно черезъ шесть недѣль послѣ родовъ, Звольская оставила Симбирскъ. Наканунѣ ея отъѣзда Лѣтневы устроили таинственное свиданіе между двумя Лидіями. Мать любовалась своей прелестной малюткою, цѣловала ее горячо, прижимала къ своей груди, отъ которой неумолимыя условія свѣта безжалостно отрывали это крошечное и ничѣмъ неповинное созданіе, повергая его въ насильственное сиротство. Наконецъ, прощаясь съ дочерью, Лидія Александровна горько заплакала, и, на этотъ разъ, слезы ея были искреннія, а не мелодраматическія. Звольская знала, что прощалась съ дочерью навѣки.

Въ день отъѣзда Звольской Лѣтневы пришли проводить ее. Прощанье это было необыкновенно трогательно. Лидія Александровна превзошла себя въ искусствѣ раздирательныхъ сценъ. Она съ рыданіями бросилась Лѣтневой на шею, и цѣловала у нее не только губы, глаза, щеки, но даже и руки, которыя Вѣра тщетно вырывала у нее. Она называла ее самыми нѣжными именами, между которыми слова «спасительница, благодѣтельница» были на первомъ планѣ. Послѣ жены принялась за мужа и, въ выраженіи ему «своей вѣчной благодарности» дошла до такого пафоса, что чуть чуть его не поцѣловала. Крѣпко пожимая ему руки и глядя на него съ выраженіемъ глубокой признательности, она говорила между прочимъ:

— Александръ Сергѣичъ! Вашему благородству и великодушію нѣтъ имени. Добро, сдѣланное вами, такъ велико, такъ необъятно, что въ языкѣ человѣческомъ нѣтъ выраженій для возданія вамъ должной хвалы. Вы спасли мнѣ доброе имя, возвратили меня обществу, родными; невиннаго и бездомнаго младенца избавили отъ наемныхъ рукъ, дали ему теплое и свѣтлое пристанище, пріютили и согрѣли его на своей груди, окружили его заботливостію и ласками, какихъ не могъ онъ ожидать отъ своей родной матери; — и я могу разлучиться съ моимъ роднымъ дѣтищемъ безъ малѣйшаго страха за его будущность. Благодарность моя къ вамъ тоже не выражается словами: она глубоко, неизгладимо запечатлѣна въ моемъ сердцѣ (т. е. очень плохо запечатлѣна, потому что, какъ извѣстно, сердце Звольской спало непробуднымъ сномъ). О, если бы я могла когда нибудь доказать вамъ, не словами, а на дѣлѣ мою «вѣчную благодарность»! День этотъ былъ бы счастливѣйшимъ днемъ въ моей жизни... И чего бы я для васъ не сдѣлала, на что бы не рѣшилась, только бы быть для васъ полезною, воздать вамъ добромъ за добро.

Такъ заключила Лидія Александровна свой патетическій и нескон-

чаемый монологъ, съ пафосомъ «вѣчной благодарности», которую, впослѣдствіи, мы будемъ имѣть случай оцѣнить по достоинству.

Наступила минута отъѣзда. Вѣра отвела Лидію въ сторону, заботливо спросила ее, не нуждается ли она въ деньгахъ и съ самою обязательною улыбкою предложила ей свои услуги. Но, поблагодаривъ Вѣру отъ души, Звольская рѣшительно отказалась отъ ея предложенія, сказавъ, что нисколько не нуждается въ деньгахъ. Къ чести ея надо сказать, что она была очень щекотлива въ денежныхъ вопросахъ. Къ тому же, обладая замѣчательными экономическими способностями, она превосходно распоряжалась своими ограниченными средствами, никогда не нуждалась въ деньгахъ и, по возможности, избѣгала займовъ. Послѣ этого объясненія, Лѣтневы проводили Звольскую до самой пристани, гдѣ оставались до отплытія парохода. И долго смотрѣли они ему въ слѣдъ и махали платками. Лидія Александровна отвѣчала тѣмъ же, пока пристань совершенно не исчезла въ отдаленіи. Тогда она спустилась въ каюту, потому что день былъ осенній, холодный, сырой, и оставаться на палубѣ было весьма непріятно. Она была въ чрезвычайно веселомъ расположеніи духа, и возвращалась въ Москву совершенно съ другими ощущеніями, нежели съ какими выѣхала оттуда четыре съ половиною мѣсяца тому назадъ. Тогда передъ нею находилась terra incognita, на которую взирала она издали съ большимъ страхомъ и слабыми надеждами. Она не знала, что ожидаетъ ее въ Симбирской губерніи. И вдругъ, всѣ ея сомнѣнія разсѣялись, опасности ея щекотливаго положенія миновались и все разрѣшилось и устроилось такъ удачно, такъ хорошо, какъ она никогда того не ожидала. Поэтому, къ ней вполнѣ возвратилось сознаніе собственнаго достоинства, и во все время ея пребыванія на пароходѣ, отъ Симбирска до Нижняго, она имѣла видъ римскаго тріумфатора, возвращающагося съ кровопролитной войны и послѣ блистательныхъ побѣдъ надъ варварами!

III.

Лѣтневы возвратились съ пристани домой и были очень грустны. Имъ такъ тяжело было разстаться съ Лидіей Александровной: они привыкли къ ней, полюбили и считали ее своею близкою родною. Чрезъ нѣсколько дней послѣ того, они находились уже въ своемъ тихомъ деревенскомъ пріютѣ, который много выигралъ и повеселѣлъ отъ пребыванія въ немъ маленькой Лидіи. Сейчасъ по возвращеніи своемъ въ деревню,

они поспѣшили извѣстить о «прибавленіи семейства» Александру Петровну Рѣзвину, которая была ихъ лучшимъ другомъ и раздѣляла съ ними и радость, и горе. Мы давно ничего не говорили объ ней, и потому скажемъ теперь нѣсколько словъ объ этой рѣдкой женщинѣ.

Когда, вскорѣ послѣ своей свадьбы, Лѣтневъ потерялъ отца, онъ и Вѣра умоляли Александру Петровну жить вмѣстѣ съ ними, быть ихъ руководительницею въ хозяйствѣ и наставницею въ новой для нихъ семейной жизни, помогать имъ своими умными совѣтами, дѣлиться съ ними своею опытностію. Рѣзвина согласилась исполнить на время желаніе новобрачныхъ, переѣхала къ нимъ въ домъ и прожила съ ними полгода. По прошествіи этого времени она возвратилась въ свою деревню, сказавъ:

— Друзья мои! Вы хорошо знаете, какъ много люблю я васъ и какъ искренно желаю вамъ добра. У меня нѣтъ другой цѣли въ жизни, нѣтъ другой мысли, кромѣ вашего счастія, и потому повѣрьте мнѣ, что все, что я ни сдѣлаю, послужитъ къ вашему благу. Вы теперь хорошо ознакомились съ хозяйствомъ. Семейнымъ обязанностямъ учить васъ не для чего: вы превосходно ихъ поняли и еще превосходнѣе исполняете. Вы такъ любите другъ друга, составляете такое образцовое супружество, что посредникъ между вами былъ бы совершенно лишній, если только не вредный. Не сѣтуйте же на меня, милыя, дорогія мои дѣти, за то, что я хочу жить у себя дома. Мы будемъ видѣться сколько возможно чаще. Каждую недѣлю я буду пріѣзжать къ вамъ, любоваться на ваше счастіе, дѣлиться съ вами мыслями и чувствами. Знайте разъ навсегда: и мое сердце, и моя опытность, и мое состояніе къ вашимъ услугамъ.

Съ сожалѣніемъ отпустили отъ себя Лѣтневы добрую и практическиумную Александру Петровну, которой такъ много были обязаны. И какъ ни желали они удержать ее у себя, но не позволили себѣ возражать на ея дѣльныя слова. Съ тѣхъ поръ они каждую недѣлю видались съ теткою: то она пріѣзжала къ нимъ дня на два, то они къ ней. Взаимныя уваженіе, любовь и полное согласіе во взглядахъ, привычкахъ и мнѣніяхъ царствовали между Рѣзвиной и Лѣтневыми. Однажды только вышло у нихъ разногласіе во мнѣніяхъ, и это по поводу Лидіи Александровны Звольской. Александра Петровна далеко не раздѣляла восторга, въ которомъ была Вѣра отъ своей пансіонской пріятельницы. Несмотря на очаровательную любезность, на живой и гибкій умъ блистательной столичной гостьи, опытный, недовѣрчивый и проницательный глазъ Александры Петровны открылъ въ ней болячку пожиравшаго ее громаднаго тщесла-

вія. Какъ ни хитрила Лидія Александровна, какъ ни старалась быть осторожною въ своихъ сужденіяхъ и словахъ; но натура, привитая къ ней ея братомъ, брала свое, благоразуміе ея прорывалось время отъ времени, и въ эти прорѣхи демонъ тщеславія показывалъ свои рога. Во время разсказовъ ея о петербургской жизни у нее такъ и срывались съ языка имена разныхъ сіятельствъ, превосходительствъ, секретарей посольствъ, консуловъ и даже нѣкоторыхъ посланниковъ,... Что вы прикажете дѣлать съ натурою? Гони ее въ дверь, она лѣзетъ въ окно; затворишь окно, — въ трубу влѣзетъ, окаянная!

Надо сказать, что Рѣзвина была заклятой врагъ всякаго тщеславія, и уже никогда не сходилась съ тѣми, которыхъ заподозритъ въ этой мелочной, смѣшной, жалкой страстишкѣ, въ этой душевной немощи, которая есть не что иное, какъ добровольное отреченіе отъ своего собственнаго достоинства, тайное сознаніе своего личнаго ничтожества и безпрерывный заемъ значенія у другихъ, или похищенія чужаго блеска, за неимѣніемъ своего собственнаго. Послѣ этого понятно, отъ чего проницательная Александра Петровна не долюбливала Лидію Александровну. Но, въ то же время, она не только словомъ, но и взглядомъ не дала ей этого замѣтить,—и Звольская была въ полной увѣренности, что она очаровала и завоевала добродушную Александру Петровну. Въ разговорахъ своихъ съ Вѣрою, Рѣзвина, по возможности, избѣгала споровъ, относительно пріѣзжей изъ-далека гостьи, и только улыбалась двусмысленно, когда заходила объ ней рѣчь. Но когда ея племянница начинала приходить въ слишкомъ большой восторгъ отъ своей чудесной Лидіи, тогда Александра Петровна вздохнетъ и скажетъ:

— Охъ, ужъ мнѣ эти петербургскія модницы? Знаю я ихъ: мягко стелютъ да.... и, не окончивъ фразы, опять вздохнетъ и покачаетъ головою.

— Ахъ, тетя! Какая же вы недовѣрчивая, говорила Вѣра, цѣлуя Александру Петровну.

— Поживешь съ мое, будешь недовѣрчива.

— Что же вамъ особенно не понравилось въ моей чудесной Лидіи? Красавица, умна, мила, граціозна, любезна, добра....

— Все это правда.

— Чего же въ ней недостаетъ?

— Вотъ то-то и бѣда, что въ ней всего уже черезчуръ много; лучше, когда бы въ ней было чего нибудь по-менѣе.

— *Напримѣръ?*

— Напримѣръ: поменьше бы говорила о графахъ, да о князьяхъ; на что намъ здѣсь знать ихъ имена? Вѣдь мы никогда и нигдѣ съ ними не встрѣтимся. Да еще: порѣже бы переодѣвалась. Ну, къ чему это — въ деревнѣ, запросто, перемѣнять по три платья въ день? Чтобы плѣнять.... но кого? Да еще: не навязывала бы тебѣ такъ усердно какую-то мадамъ Мальпаръ. Легкое дѣло — выписывать изъ Петербурга въ Симбирскую губернію шляпки, да чепцы, да наколки! И передъ кѣмъ здѣсь щеголять? передо мною, что ли? Да еще.... ну, да всѣхъ такихъ *еще* не перечесть, если захотѣть построже разобрать твою петербургскую красавицу... Впрочемъ, я говорю все это безъ всякаго дурнаго умысла. Мое дѣло сторона. Дай Богъ, чтобы ни тебѣ, ни Александру Сергѣичу не пришлось никогда разочароваться въ вашей чудесной Лидіи Александровнѣ.... Что до меня касается, то я не боюсь потому, что никогда не была очарована.

И начинались, и кончались такія пренія безъ малѣйшей желчи съ той или другой стороны, и каждый оставался при своемъ мнѣніи.

Какъ ни уважали, какъ ни любили Лѣтневы свою тетку, но скрыли отъ нея настоящую причину своей поѣздки въ Симбирскъ и долгаго тамъ пребыванія. Они поклялись свято хранить между собою ввѣренную имъ тайну. Поэтому и по возвращеніи своемъ въ деревню, они, въ первый разъ въ жизни, схитрили передъ Александрою Петровною, передавая ей, тономъ глубокаго убѣжденія, интересныя подробности о мнимо-подкинутомъ ребенкѣ. Рѣзвина съ большимъ вниманіемъ выслушала разсказъ Лѣтневыхъ, и вполнѣ одобрила ихъ благодѣтельныя намѣренія относительно маленькой Лидіи. Но только, благодаря своей проницательности, она не вполнѣ повѣрила совершенному невѣденію Лѣтневыхъ о происхожденіи пріемыша, и догадывалась, что тутъ кроется какая-то тайна. Но ни теперь, ни послѣ она не старалась проникнуть далѣе въ эту тайну, которую уважала, какъ не принадлежащую ей собственность; и даже старалась не подать вида, что она не вполнѣ повѣрила разсказамъ Лѣтневыхъ. Въ этомъ отношеніи Александра Петровна нисколько не походила на большую часть правнучекъ Еввы, и была выше неугомоннаго любопытства, столь свойственнаго, соприсущаго женской натурѣ. Она хорошо постигла, что чрезмѣрное любопытство и тщеславіе суть два элемента человѣческаго характера, чрезвычайно вредные въ семейной жизни, и которые приносятъ часто самые горькіе плоды, влекутъ иногда за собою плачевныя послѣдствія. И потому, съ тѣхъ поръ, какъ начала себя помнить и вникать глубже въ жизнь, она отженила отъ себя обѣ эти нравственныя и разъѣдающія болячки.

Черезъ мѣсяцъ по пріѣздѣ изъ Симбирска, Лѣтневы получили отъ Звольской письмо изъ Москвы, наполненное повтореніями своей «вѣчной благодарности», и множествомъ разныхъ любезностей «перваго сорта», на которыя Лидія Александровна была великая мастерица, такъ что могла бы состязаться съ любою изъ бывшихъ представительницъ когда-то знаменитаго «Отеля Рамбулье». Потомъ, мѣсяца черезъ три, Вѣра получила письмо отъ своей пріятельницы, написанное изъ Малороссіи и точно такого же содержанія и тона, какъ и первое. Наконецъ, получено было отъ нее еще одно письмо изъ Кіева. И затѣмъ она уже не писала болѣе ни одной строчки. Проходили мѣсяцы, годы, а объ Лидіи Александровнѣ не было ни слуху, ни духу. Вѣроятно она примирилась и сошлась съ мужемъ, снова поселилась въ Петербургѣ, снова заблистала ярче прежняго въ фешьонебельныхъ гостиныхъ, и, въ упоеніи своего торжества, позабыла провинціальныхъ друзей и свою маленькую Лидію. Вѣдь для многихъ, особенно свѣтскихъ особъ, на то и счастіе существуетъ, чтобы забывать тѣхъ, которыхъ знавали въ нуждѣ и горѣ, и отъ которыхъ получали кой-какія услуги и одолженія. И чѣмъ важнѣе иногда эти услуги, тѣмъ короче память у свѣтскихъ особъ обоего пола. Это, извольте видѣть, такой катехизисъ чувствъ и правилъ нѣкоторыхъ чересчуръ модныхъ, современныхъ и прогрессивныхъ господъ и госпожъ, у которыхъ благодарность называется часто глупостію.

Прошло еще четыре года, какъ четыре дня, для Лѣтневыхъ. Семейное ихъ счастіе было на этотъ разъ полно, совершенно. Лидія росла и становилась прелестнѣйшимъ ребенкомъ и по наружности, и по характеру. Лѣтневы привязались къ ней такъ, какъ не могли бы привязаться болѣе и къ своему собственному дѣтищу. Съ своей стороны, маленькая Лидія полюбила ихъ со всею нѣжностію, на какую только способно дитя ея возраста. Она нисколько не подозрѣвала, что Лѣтневы не были ея родителями. Даже никто въ домѣ не заикнулся сказать, что она была чужое дитя. Такимъ образомъ, Лѣтневымъ не оставалось ничего болѣе желать, и они ежедневно благодарили Творца за полноту своего счастія и молили Его о сохраненіи драгоцѣнной для нихъ жизни усыновленнаго ими ребенка. Но, какъ мы уже не разъ замѣтили, ничего нѣтъ совершеннаго на землѣ. А если, по ошибкѣ или капризу судьбы, проявится гдѣ нибудь такое совершенство, то оно бываетъ непрочно и не можетъ долго существовать. Таковъ роковой законъ человѣческихъ судебъ въ здѣшней жизни. Судьба капризна и завистлива не менѣе людей. Если же и случится иногда кому нибудь похитить у этой скупой судьбы нѣсколько чистыхъ наслажденій, полныхъ и свѣтлыхъ радостей, то онъ

долженъ спѣшить пользоваться ими и не тратить времени на безполезныя приготовленія, на какую-то приличную обстановку и на колѣнопреклоненія передъ тиранією моды. Иначе онъ не успѣетъ поднести къ губамъ своимъ кубокъ наслажденій и радостей, какъ завистливая судьба невидимо вольетъ въ этотъ кубокъ нѣсколько капель самой горькой отравы. Трудно получить счастливый жребій, но еще труднѣе сохранить его.... Лѣтневы не избѣгнули этого роковаго закона всего живущаго и мыслящаго на землѣ. Дивно прекрасна была ихъ семейная жизнь. Она походила на храмъ неногрѣшительной, совершеннѣйшей архитектуры. Свѣтъ и тепло, чистѣйшія радости и веселіе, всѣ христіанскія добродѣтели, какъ-то Вѣра, Надежда и Любовь, обитали въ этомъ святомъ храмѣ. Но судьба бросила на него свой завистливый взоръ, отмѣтила его своимъ неумолимымъ перстомъ,—и храмъ этотъ палъ, разрушился до основанія.

IV.

Насталъ для Россіи печальный годъ: азіатская гостья тридцатаго года, холера, снова посѣтила нашу Русь, начала обхаживать ея города и села и повсюду производила ужасныя опустошенія, похищала тысячи жертвъ. Въ особенности свирѣпствовала она въ прирѣчныхъ мѣстностяхъ. Село, гдѣ жили Лѣтневы, не избавилось отъ роковаго визита незванной гостьи. Но, благодаря ихъ отеческой заботливости о крестьянахъ, холера не произвела большаго опустошенія въ ихъ имѣніи. Были приняты всевозможныя мѣры для предупрежденія болѣзни; и при первыхъ ея признакахъ, подавалась самая скорая помощь заболѣвающимъ. Вѣра Алексѣевна, презирая опасность, ежедневно обхаживала больныхъ и наблюдала за точнымъ исполненіемъ всего, что предписывалось медициною въ холерныхъ случаяхъ. Напрасно Александръ Сергѣичъ уговаривалъ жену поберечь свое здоровье и не рисковать такъ собою... Самоотверженіе Вѣры дошло до героизма, и она сдѣлалась жертвою своей высокой любви къ ближнему.

Однажды, послѣ обычнаго обхода больныхъ, она возвращалась домой съ противоположнаго конца села. День былъ осенній, пасмурный. И вдругъ подулъ холодный, порывистый вѣтеръ, пошелъ проливной дождь, и Вѣра возвратилась домой прозябнувъ и промочивъ себѣ ноги. Хоть и приняла она всѣ мѣры, необходимыя для предупрежденія дальнѣйшихъ послѣдствій простуды, но на другой день почувствовала себя дурно и

слегла въ постель. Она была одарена крѣпкимъ тѣлосложеніемъ и здоровьемъ, такъ что въ продолженіи всего своего замужества ни разу не была серьезно больна. Но на этотъ разъ здоровье измѣнило ей и у нее открылась горячка. Въ сильномъ тѣлѣ и болѣзнь развивалась сильно: черезъ десять дней ее не стало на свѣтѣ. Она была слишкомъ хороша, слишкомъ совершенна для земли, и потому такъ рано окончился срокъ ея жизни: ее поспѣшили отозвать Туда.

Бѣдный Лѣтневъ! Зачѣмъ судьба не сократила и твою жизнь, отнявъ у нее все, что составляло ея гордость и славу, радость и величіе? Что за горькая насмѣшка надъ человѣчествомъ: сочетать созвучія, создать изъ нихъ восхитительную гармонію, позволить взять нѣсколько дивныхъ аккордовъ для того только, чтобы сейчасъ же нарушить ихъ и замѣнить самою дикою разладицею! Говорятъ, что плохую скрипку иногда нарочно разбиваютъ, потомъ склеиваютъ, и что тогда можетъ выйти изъ нее хорошая скрипка. Но разбитое сердце не склеишь какъ скрипку, и не издастъ оно прежнихъ звуковъ. Судьба плохой гардировщикъ; не создавать, а разрушать любитъ она.

Страшно было положеніе Лѣтнева! Ему дотолѣ никогда не приходило въ голову, что Вѣра можетъ умереть, что онъ можетъ остаться одинъ безъ Вѣры. Онъ не допускалъ даже идеи такой несообразной уродливости, такого ужаса. И вдругъ это грозное несчастіе совершилось, обрушилось на него такъ неожиданно. Состояніе, въ какое онъ былъ ввергнутъ, не изображается ни словами, ни красками. Отчаяніе, губительная тоска его были тѣмъ ужаснѣе, тѣмъ нестерпимѣе, что они не выходили наружу, вмѣстѣ со слезами. Раза два ему удалось заплакать; но потомъ онъ окаменѣлъ, одеревенѣлъ—ни слезинки! глаза были сухи и горячи. Вся тоска, все горе сосредоточено было въ груди, около сердца, которое терзалось невообразимой пыткою. Порою вырвутся у него изъ груди глухія рыданія, отчаянный вопль погибающаго безпомощно человѣка, и онъ упадетъ на бездыханное тѣло жены, лежитъ долго, окоченѣетъ; но глаза все сухи, слезъ все-таки нѣтъ: онѣ выкипѣли, испарились отъ огня душевныхъ страданій.

При первой вѣсти о болѣзни Вѣры, Александра Петровна пріѣхала къ Лѣтневымъ и осталась въ ихъ домѣ. Смерть Вѣры поразила ее не менѣе, какъ и самого Лѣтнева. Но только горе ея не имѣло того нѣмаго, сосредоточеннаго характера: оно изливалось въ обильныхъ слезахъ, облегчалось молитвою, врачевалось христіанскимъ смиреніемъ. И потому Рѣзвина была гораздо сильнѣе Лѣтнева и господствовала надъ нимъ всею *разницею, какая* находилась между безвыходнымъ отчаяніемъ убитаго

сердца, и тихою скорбію души, безропотно покорившейся волѣ Провидѣнія. И она воспользовалась этимъ преимуществомъ для блага ближняго. Какъ ангелъ бодрствовала она надъ Лѣтневымъ, зорко слѣдила за нимъ, не спускала его съ глазъ и по цѣлымъ часамъ просиживала возлѣ него въ кабинетѣ, когда онъ лежалъ на диванѣ безотвѣтный, неподвижный и холодный, какъ трупъ. Она караулила, выжидала минуту, въ которую могла бы приступить къ нему и попытаться вырвать изъ его груди губительное отчаяніе. Когда опустили въ могилу тѣло Вѣры и заступъ застучалъ надъ крышкою гроба, и земля посыпалась на него,—какъ громомъ поразили слухъ Лѣтнева эти глухіе, тупые звуки заступа и сыпавшейся земли и болѣзненно отозвались въ его сердце. Онъ упалъ на колѣни, на край могилы, которая, по капризу судьбы, отнимала у него лучшую половину его жизни; громко зарыдалъ и—заплакалъ. Неудержимо полились обильныя слезы, лились долго, лились до тѣхъ поръ, пока надъ могилою Вѣры не возвысилась насыпь свѣжей, рыхлой земли, и не замолкло послѣднее надгробное пѣніе. А съ этими слезами выливалось изъ сердца и горе, но не все: бо́льшая часть его осталась на днѣ души и отразилась на всемъ его существѣ, наложивъ мрачную печать на его думы, на лице, на всѣ его движенія.

Когда, по возвращеніи съ кладбища, Лѣтневъ остался одинъ, Александра Петровна вошла къ нему въ кабинетъ, ведя за руку маленькую Лидію. Прелестное дитя было грустно, съ заплаканными глазами.

— Александръ Сергѣичъ! сказала кротко Рѣзвина; — перестаньте убиваться неутѣшнымъ горемъ; это недостойно мужчины, да и безполезно. Мертвыхъ отчаяніемъ не воскресить: поберегите себя для живыхъ, для этого невиннаго ангела. Провидѣніе предпослало его къ вамъ нарочно для замѣны того ангела, котораго намѣревалось оно отнять у васъ. Смиритесь же передъ верховною волею и примите съ благодарностію этотъ залогъ небеснаго милосердія.

Лѣтневъ взглянулъ на Лидію, которую не видалъ уже нѣсколько дней. Онъ взялъ ее къ себѣ на руки, смотрѣлъ на ея очаровательное и кроткое личико и покрылъ его горячими поцѣлуями, облилъ слезами, крѣпко прижимая ребенка къ своей груди.

— Папа! вамъ жаль мамашу?... И мнѣ ее жаль; она была такая добрая!.. Не плачьте, папа! няня говоритъ, что мамаша у Бога; ей тамъ хорошо; она молится за насъ.

И ребенокъ обвилъ свои ручки вокругъ шеи Лѣтнева и нѣжно цѣловалъ его въ глаза. А Лѣтневъ все плакалъ и выплакалъ еще час-

тицу своего горя: на сердцѣ стало полегче, но думы его не просвѣтлѣли и все были такие мрачны, какъ и за часъ передъ тѣмъ.

Проходитъ мѣсяцъ, другой и третій послѣ смерти Вѣры. Однообразно и уныло текло время въ домѣ Лѣтнева. Рѣзвина не покидала его и маленькую Лидію, сдѣлавшуюся предметомъ ея нѣжной заботливости. Время отъ времени, и то не надолго, отлучалась она въ свою деревню для необходимыхъ распоряженій по хозяйству. Лѣтневъ страшно измѣнился и былъ тѣнью самого себя. Говорилъ мало, улыбался еще рѣже; и то одна только Лидія своими дѣтскими ласками и разговорами успѣвала иногда вызывать мимолетную улыбку на его молчаливыя уста. Такъ прошла и зима, а перемѣны къ лучшему въ Лѣтневѣ не было. Тогда уму Александры Петровны представилось одно средство, которое могло бы, если не совершенно исцѣлить, то, по крайней мѣрѣ, уменьшить глубокую скорбь, снѣдавшую Лѣтнева, потрясти его апатію и возбудить въ немъ умственную дѣятельность черезъ любопытство. Средство это было—путешествіе. Она ухватилась за эту мысль и сейчасъ же приступила къ ея исполненію.

— Александръ Сѣргѣичъ! говорила она Лѣтневу: знаете ли, что пришло мнѣ на умъ? Вамъ необходимо путешествовать. Впрочемъ, эта мысль не новая: она приходила вамъ самимъ въ голову и не разъ. Помните-ли, какъ вы мечтали съ покойною Вѣрою о поѣздкѣ за границу? Что же мѣшаетъ вамъ теперь привести въ исполненіе это давнишее желаніе? Послушайте моего совѣта, поѣзжайте за границу съ наступленіемъ весны; это васъ развлечетъ и во многомъ облегчитъ. Вы сами удивитесь спасительной перемѣнѣ, которую произведетъ въ васъ путешествіе по чужимъ краямъ.

Лѣтневъ ничего не отвѣчалъ на заботливыя слова Рѣзвиной. Но Александра Петровна была не изъ тѣхъ женщинъ, которыя, послѣ первой неудачи, отступаются отъ своего намѣренія. Дня черезъ три она возобновила свой разговоръ о поѣздкѣ за границу и заключила его словами:

— Что же вы ничего не отвѣчаете на мои слова?

Лѣтневъ взглянулъ на Лидію, сидѣвшую въ то время у него на колѣняхъ.

— Вы думаете о Лидіи? Не безпокойтесь объ этомъ миломъ ребенкѣ, который столь же дорогъ для меня, какъ и для васъ. Я съумѣю сберечь этотъ драгоцѣнный залогъ будущаго примиренія вашего съ жизнію. Мнѣ не учиться замѣнять сиротамъ ихъ родителей; вы уже видѣли это на Вѣрѣ.

Лѣтневъ съ чувствомъ глубокой благодарности поцѣловалъ руку у Рѣзвиной и сказалъ съ живостію, отъ которой отвыкъ уже:

— Благодарю васъ за добрый совѣтъ. Я воспользуюсь имъ и съ первымъ же пароходомъ отправлюсь за границу.

— Съ Богомъ! Надѣюсь, что ни вы, ни я не будемъ въ этомъ раскаиваться.

Рѣшившись однажды, Лѣтневъ болѣе уже не колебался и дѣятельно принялся за приготовленія къ предстоящему путешествію. Препятствій не было ни малѣйшихъ. Имѣніе его было превосходно устроено. Оно приносило ему три тысячи руб. ежегодно. За женою онъ взялъ такое же состояніе. Но такъ какъ они не имѣли дѣтей, жили постоянно въ деревнѣ и ѣздили только время отъ времени въ Симбирскъ на выборы, или просто провести мѣсяца два зимою, то они проживали далеко не все, что получали съ двухъ своихъ имѣній, и у Лѣтнева составился значительный капиталъ, заключавшійся въ ломбардныхъ билетахъ.

Вѣра, при жизни своей, нѣсколько разъ просила мужа позволить ей распорядиться своимъ имѣніемъ такъ, чтобы, въ случаѣ ея смерти, оно досталось ему. Но Лѣтневъ и слышать не хотѣлъ объ этомъ. Во-первыхъ: онъ не допускалъ даже идеи возможности пережить свою Вѣру; а во вторыхъ: при его высокой честности и безкорыстіи, овладѣніе женинымъ имѣніемъ ему казалось самымъ безчестнымъ дѣломъ, гнуснымъ похищеніемъ чужой собственности. Мало того: послѣ смерти жены онъ рѣшительно отказался даже отъ законной части изъ ея имѣнія. «На что мнѣ увеличивать свое состояніе» говорилъ онъ?

— Будущность Лидіи обезпечена вполнѣ: все, что я имѣю, будетъ принадлежать ей, а на состояніе Вѣры она не имѣетъ никакого права. Пусть же оно въ цѣлости достанется прямымъ наслѣдникамъ моего незабвеннаго друга.

Итакъ, съ наступленіемъ весны, Лѣтневъ простился съ Лидіей и съ Александрой Петровной, которой онъ ввѣрилъ вполнѣ дорогое ему дитя, единственную цѣль его одинокой и безцвѣтной жизни. Въ маѣ, съ первымъ пароходомъ, отправился онъ за границу, гдѣ надѣялся найти успокоеніе своей больной душѣ. Но кто можетъ знать заранѣе, гдѣ и что найдетъ, и гдѣ что потеряетъ? Будущее находится во власти все той же деспотической и капризной судьбы, которая смѣется надъ человѣческою мудростію, и часто обращаетъ въ ничтожество самые логическіе выводы и самыя вѣрныя надежды. У судьбы своя логика, логика произвола, прихотей, непостоянства, — и озадаченная мудрость людей можетъ толь-

ко прятать стыдъ своего пораженія за пословицею : «Человѣкъ предполагаетъ, а Богъ располагаетъ».

V.

Полтора года продолжалось уже путешествіе Лѣтнева. Онъ объѣхалъ всю Европу. Начавъ съ живописныхъ береговъ Рейна, которые произвели на него самое успокоительное впечатлѣніе, онъ посѣтилъ нѣкоторыя прирейнскія минеральныя воды, но не надолго. Многочисленныя сборища, бо́льшею частію праздныхъ посѣтителей этихъ водъ, пугали его; шумъ и веселье толпы не ладили съ настроеніемъ его духа. Лѣто провелъ онъ въ Швейцаріи, гдѣ отдохнулъ и сердцемъ и умомъ, восхищаясь величественными и нестарѣющимися красотами природы. Изъ Швейцаріи поѣхалъ въ Италію и прожилъ тамъ осень и всю зиму, посѣтивъ главные города этой классической земли, любуясь вездѣ образцовыми произведеніями изящныхъ искусствъ. Къ веснѣ снова возвратился на берега Рейна, не посѣтивъ Парижа : онъ чувствовалъ себя еще не довольно спокойнымъ, не довольно приготовленнымъ для шумной жизни этой всемірной столицы. Далѣе : объѣхалъ всю Германію, пробрался въ Англію, и наконецъ, въ концѣ осени, прибылъ въ Парижъ, гдѣ положилъ прожить до весны, и тогда, прямо изъ Парижа возвратиться въ Россію, на берега родной Волги.

Такое продолжительное и разнообразное путешествіе оказало самое благодѣтельное вліяніе на Лѣтнева. Мрачная тоска его уступила мѣсто тихой задумчивости. Острая боль въ груди мало-по-малу притупилась и онъ могъ вздохнуть свободнѣе. А вслѣдъ за облегченіемъ душевнымъ и мысли его прояснились. Онъ снова принялся за чтеніе и, сверхъ того, за изученіе естественныхъ наукъ, между которыми особенно нравилась ему физіологія.

Въ Парижѣ встрѣтился онъ съ однимъ знакомымъ ему русскимъ : это былъ тотъ самый докторъ, который лечилъ отца его передъ смертію. Прожившій тогда не болѣе года въ уѣздномъ городѣ, онъ былъ переведенъ въ Петербургъ, гдѣ вскорѣ занялъ весьма почетное мѣсто между лучшими петербургскими врачами. Уже болѣе года какъ онъ жилъ въ Парижѣ и, съ неутомимымъ рвеніемъ, изучалъ всѣ новѣйшія открытія, изобрѣтенія и усовершенствованія по части естественныхъ наукъ и медицины. Докторъ этотъ, весьма честный и добрый малой, имѣлъ тонкій и насмѣшливый умъ, самый веселый, общительный нравъ и принадлежалъ къ школѣ скептиковъ и матеріалистовъ. Онъ очень любилъ ком-

форть и разныя сладости жизни; но науку любилъ еще болѣе, любилъ фанатически и забывалъ для нея и комфортъ, и всѣ сладости жизни. Если ему попадались наслажденія на жизненномъ пути, онъ пользовался ими, какъ истинный любитель и знатокъ, а не попадались — обходился и безъ нихъ, не унывалъ и былъ веселъ даже и тогда, когда приходилось переносить ему разныя лишенія. У него не было ни особенной привязанности къ жизни, ни отвращенія отъ этой жизни, которая, въ его глазахъ, была не что иное, какъ совершеннѣйшій механизмъ, какъ результатъ сочетанія двухъ царствъ: минеральнаго и растительнаго, результатъ, составляющій третье, животное царство, и называемый животнымъ организмомъ. Но самое лучшее въ немъ было то, что онъ никогда никому не навязывалъ своихъ убѣжденій и хранилъ ихъ про себя.

Лѣтневъ очень скоро сошелся и подружился съ этимъ докторомъ, несмотря на различіе ихъ характеровъ и понятій. Докторъ хорошо зналъ Парижъ и его жизнь, и былъ путеводителемъ Лѣтнева въ этомъ новомъ Вавилонѣ. Онъ познакомилъ его съ нѣкоторыми учеными и литераторами. Въ ихъ тѣсномъ кружкѣ Лѣтневъ отдыхалъ и умомъ, и сердцемъ и, мало-по-малу, освобождался отъ тягости воспоминаній о невозвратно-утраченномъ счастіи. Науки открывали ему новый міръ, возбуждали пытливость его ума, которому давали питательную пищу, наполняли пустоту его жизни и, казалось, успокоили, уврачевали сердце, повергая его въ спасительную дремоту, въ сладкое забытье. Но съ сердцемъ не такъ легко справиться, какъ съ умомъ. На него не дѣйствуетъ доказательная логика, логика причинъ и слѣдствій, цифръ и фактовъ, однимъ словомъ *логика свѣта*. У сердца есть своя логика, независящая отъ ума, логика чувствъ, *логика тепла*. Одинъ изъ нашихъ остроумныхъ поэтовъ сказалъ:

«То сердце не научится любить,
Которое устало ненавидѣть».

Но сердце человѣческое непостоянно и разнообразно, какъ природа. Это—вдохновенный и причудливый импровизаторъ, и къ тому еще—оно неисправимый заговорщикъ, вѣчный бунтовщикъ противъ власти разсудка. Поэтому можно пародировать вышеприведенные стихи и сказать такъ:

Тотъ не разучится любить,
Кто былъ любимъ и самъ дышалъ любовью.

И чѣмъ глубже бываетъ сонъ, въ который погружается усталое, измученное сердце, тѣмъ опаснѣе его пробужденіе; тѣмъ сильнѣе, неудержимѣе его новые порывы и стремленія. Лѣтневъ доказалъ это.

Однажды онъ отправился въ маскарадъ, въ большую оперу. Постоявъ нѣкоторое время въ огромной театральной залѣ, гдѣ нѣсколько сотъ костюмированныхъ паръ, не танцовали, а неистово кривлялись подъ оглушительные звуки громаднаго оркестра Мюзара, онъ вошелъ въ фойе, куда не впускались характерно-костюмированныя маски. Изъ хаоса кривлянья танцующихъ, онъ попалъ въ хаосъ бѣготни, толкотни и писка интригующихъ масокъ въ домино. Потолкавшись немного въ этомъ живомъ потокѣ черныхъ домино, онъ пробрался въ сторону, прислонился къ простѣнку между окнами и смотрѣлъ равнодушно на происходившую передъ нимъ суету. У него не было въ Парижѣ ни одной знакомой женской души, и потому онъ чувствовалъ себя, какъ въ пустынѣ, среди этой многолюдной и оживленной толпы. И вдругъ подходитъ къ нему одна женская маска, беретъ его подъ руку и говоритъ самымъ чистымъ парижскимъ нарѣчіемъ, но измѣненнымъ, писклявымъ голосомъ:

— Ты скучаешь! Въ маскарадъ ѣздятъ веселиться, а скуку оставляютъ дома. Пройдемся.

Лѣтневъ не противился. Мало того: онъ не чувствовалъ уже ни малѣйшей робости, ни тѣни прежней застѣнчивости. Взаимная любовь есть лучшая школа для ума. Кто хоть разъ испыталъ это счастіе, тотъ перестаетъ быть рекрутомъ въ дѣлѣ любви и уже не теряется при встрѣчѣ съ женщиною. Ничто такъ не развязываетъ умъ, не разнообразитъ, не усиливаетъ такъ его средства въ сношеніяхъ съ женщинами, какъ воспоминаніе былаго успѣха, какъ мысль: я уже любилъ и былъ любимъ.

Итакъ, Лѣтневъ взялъ подъ руку подошедшую къ нему маску и пошелъ съ нею. Дама эта была высокаго и стройнаго роста.

— Нравится ли тебѣ Парижъ? спросила она его.

— Нравится, если живу въ немъ. Но къ чему этотъ вопросъ? Онъ можетъ относиться только къ ново-пріѣзжающему; а почемъ ты знаешь, что я не коренной житель Парижа?

— Знаю... Знаю даже, что ты не французъ.

— О! на этотъ счетъ парижане умѣютъ съ перваго слова, иногда съ перваго взгляда угадывать иностранцевъ.

— Я знаю даже, откуда ты.

— Напримѣръ?

— Съ далекаго и холоднаго сѣвера.

— Браво! Ты угадываешь мастерски.

— Если хочешь, то я угадаю еще болѣе?

— Угадывай. Посмотримъ, что можешь ты еще угадать?

— Ты одинъ въ Парижѣ?

— Одинъ, какъ видишь.

— А гдѣ же оставилъ ты...?

Маска не договорила начатой фразы и замолчала.

— Кого я оставилъ? съ живостью спросилъ въ свою очередь Лѣтневъ.

— Ту, которую любилъ ты болѣе всего на свѣтѣ, медленно и почти шепотомъ проговорила маска.

Лѣтневъ вздрогнулъ при этихъ словахъ. Уснувшее сердце его затрепетало и заметалось, какъ иногда спящіе мечутся во время тревожныхъ сновидѣній. Прошедшее вдругъ воскресло въ его памяти, и ему чудилось, что тѣнь Вѣры носилась передъ нимъ и надъ нимъ и грустно ему улыбалась. Онъ сталъ мраченъ, суровъ: ему казалось, что онъ совершаетъ святотатство, бесѣдуя и прохаживаясь съ маскою рука объ руку. Онъ попытался-было бросить ее и бѣжать домой; но маска крѣпко ухватилась за него и сказала голосомъ, въ которомъ слышалось подавляемое волненіе:

— Прости меня! я огорчила тебя моими нескромными вопросами.

Прошло нѣсколько минутъ молчанія, во время котораго Лѣтневъ успѣлъ оправиться и стряхнуть съ себя бремя тяжелыхъ впечатлѣній и думъ. Онъ сдѣлался менѣе мраченъ и какъ будто бы начиналъ отогрѣваться на лучахъ восходящаго солнца, послѣ мрачной, сырой и холодной ночи. Маска, между тѣмъ, слегка пожимала ему руку своею крошечною ручкою. Лѣтневъ встрепенулся и взглянулъ пристально на маску, изъ-подъ которой блистали чудные, большіе голубые глаза.

— Но кто ты? спросилъ онъ стремительно. — Развѣ, въ самомъ дѣлѣ, ты знаешь меня?

— Можетъ быть, таинственно отвѣчала маска.

— А я, знаю ли я тебя?

— А какъ ты самъ объ этомъ думаешь?

— Ровно ничего не думаю, потому что не имѣю ни одной знакомой дамы въ Парижѣ?.. Но могу ли я, и гдѣ, и когда тебя увидѣть?

— Любопытство за любопытство, давно ли ты въ Парижѣ?

— Мѣсяца два.

— И долго пробудешь здѣсь?

— Какъ поживется.

— Посѣщаешь ты театры?

— Да; особенно оперные.

— A la bonne heure! Завтра въ первый разъ дадутъ новую оперу Мейербера; будешь ли ты на этомъ представленіи?

— Очень желалъ бы ; но ты знаешь, какъ трудно достовать билеты на первыя представленія оперъ знаменитаго маэстро. Для этого необходимы связи, протекція ; у меня ихъ нѣтъ, да къ тому же я и не умѣю просить, кланяться : вотъ я и остался безъ билета.

— Можешь ли ты дать мнѣ свой адресъ ?

— Охотно.

Лѣтневъ сказалъ свой адресъ и маска вписала его въ свою памятную книжку.

— Завтра утромъ, сказала она, — ты получишь билетъ въ кресла на первое представленіе новой оперы. Лорнируй хорошенько : если, съ помощію твоего бинокля, ты отыщешь и узнаешь меня между зрителями, тогда приходи въ мою ложу, où tu seras le bien-venu... Но оставляю тебя ; я вижу тамъ моихъ знакомыхъ. Итакъ до свиданія, до завтра.

И маска оставила Лѣтнева и скрылась въ толпѣ. Онъ тотчасъ послѣ этого разговора возвратился домой и легъ спать ; но долго не могъ заснуть : сильно затронуто было его любопытство, и ему все мерещились высокій и стройный ростъ, маленькая ручка и большіе голубые глаза, блиставшіе изъ-подъ маски. На другой день въ полдень ему подаютъ письмо съ городской почты. Распечатываетъ : въ конвертѣ находился билетъ на первое представленіе новой оперы. Задолго до поднятія занавѣса Лѣтневъ явился въ театръ. Ложи были еще пусты. Мѣста въ партерѣ на-половину были уже заняты. Наконецъ начали наполняться и кресла, а затѣмъ и ложи. Лѣтневъ съ лихорадочнымъ нетерпѣніемъ ожидалъ появленія зрителей, и съ напряженнымъ вниманіемъ слѣдилъ за каждою ложею, гдѣ отворялась дверь. И если входили дамы, каждую изъ нихъ онъ осматривалъ съ головы до ногъ въ свой эллиптическій бинокль. Но, тщательно обозрѣвъ всѣ ложи, не встрѣтилъ ни одного знакомаго лица. Театръ наконецъ былъ полонъ, кромѣ трехъ или четырехъ ложъ въ бельэтажѣ и въ бенуарѣ. Вотъ раздались звуки оркестра, поднялся занавѣсъ и сцена приковала къ себѣ всеобщее вниманіе.

Лѣтневъ разсѣянно слушалъ новую оперу и нетерпѣливо ждалъ, когда кончится первый актъ, чтобы потомъ возобновить свое обозрѣніе ложъ и дамъ. Наконецъ занавѣсъ опустился. Лѣтневъ поспѣшно всталъ и, обернувшись спиною къ сценѣ, принялся за лорнированье. Долго поводилъ онъ по ложамъ своимъ биноклемъ, и все напрасно, нигдѣ ни лица, которое хотя бы напоминало ему кого нибудь изъ знакомыхъ. Но вотъ въ одной изъ ложъ нижняго яруса опускается рѣшетка. Съ тревожнымъ любопытствомъ сыщика Лѣтневъ устремляетъ на нее свой ис-

пытующій бинокль. Въ ложѣ сидѣла дама, а въ нѣкоторомъ отъ нея разстояніи и въ самой почтительной позѣ два молодые человѣка. Дама эта была Лидія Александровна Звольская, наша старая знакомая. Она сіяла красотою и изящнымъ туалетомъ и была предметомъ множества лорнированій. Чрезвычайно разнородныя чувства овладѣли Лѣтневымъ при этомъ открытіи, и смѣнялись быстро одно другимъ: и радость и грусть, и какія-то томительныя надежды, и смутныя предчувствія, тайный страхъ и ожиданія чего-то недобраго, какой-то отдаленной, невѣдомой опасности. Онъ оставилъ кресла, вышелъ въ корридоръ и думалъ возвратиться домой; но вмѣсто того попалъ въ ложу къ Звольской. Лидія Александровна ожидала этого прихода, и потому встрѣтила его безъ суеты, безъ удивленія, спокойно, съ достоинствомъ, подобающимъ царицѣ красоты и моды. Слишкомъ шесть лѣтъ прошло послѣ ея отъѣзда изъ Симбирска. Красота ея нисколько не пострадала въ этотъ длинный періодъ времени. Правда, что ея талія утратила нѣсколько изъ своей воздушной граціи и легкости; но за то, съ развитіемъ пластическихъ формъ, Звольская сдѣлалась одною изъ роскошнѣйшихъ женщинъ, и сильнѣе чѣмъ когда либо ослѣпляла взоры мужчинъ, говорила воображенію и чувствамъ, возбуждала самые внезапные и неудержимые порывы и влеченія, и заставляла сердце трепетать и замирать отъ нѣги и желаній, рисуя передъ нимъ перспективу самыхъ упоительныхъ восторговъ и неизвѣданныхъ радостей.

— Здравствуйте, Мсье Лѣтневъ, сказала она порусски, протягивая ему свою образцовую ручку, и сопровождая эти немногія слова одною изъ тѣхъ улыбокъ, которыя, какъ мы уже это видали, рѣшали часто судьбу стольких побѣдъ ея надъ самыми непокорными мужскими сердцами.

— Позвольте васъ познакомить, продолжала она пофранцузски, и обращаясь къ двумъ блистательнымъ молодымъ людямъ, сидѣвшимъ въ ея ложѣ, представила имъ Лѣтнева, сказавъ: — Мой соотечественникъ полковникъ Лѣтневъ; и затѣмъ, обращаясь къ послѣднему, примолвила: — князь Делла-Бормида, графъ фонъ-Дренфельдъ. Это были секретари какихъ-то посольствъ.

Лѣтневъ вовсе не былъ восхищенъ этими представленіями, потому что далеко не раздѣлялъ хроническаго благоговѣнія Звольской передъ родовыми титулами. Сказавъ нѣсколько обычныхъ фразъ, онъ сѣлъ на стулъ, по приглашенію Лидіи Александровны, которая при этомъ случаѣ выказала необыкновенный, тонкій тактъ. Она горѣла нетерпѣніемъ знать нѣкоторыя подробности и особенно причины, почему Лѣтневъ въ Парижѣ, и одинъ, безъ жены; но въ то же время предугадывала самыя

недобрыя, печальныя извѣстія, и потому сдержала пожиравшее ее любопытство, и не сдѣлала Лѣтневу ни одного вопроса ни о Вѣрѣ, ни о чемъ бы то ни было, относящемся до его прежней жизни и до пріѣзда въ Парижъ. Она боялась поставить себя въ неловкое положеніе между двумя крайностями: или выказать чувствительность, сожалѣніе, печаль, которыя могли бы показаться неумѣстными и даже, чего избави Боже! сдѣлать ее смѣшною въ глазахъ двухъ парижскихъ «distingués»; или Лѣтневу показаться безчувственною, холодною, неблагодарною. Поэтому, отложивъ всѣ свои вопросы, распросы и объясненія съ мужемъ Вѣры до болѣе удобнаго случая, и придавъ себѣ видъ полнаго равнодушія, она, съ самою непринужденною любезностію, завязала общій разговоръ съ тремя посѣтителями ея ложи. Съ необыкновеннымъ искусствомъ поддерживала и оживляла она этотъ разговоръ, въ которомъ, волею-неволею, Лѣтневъ долженъ былъ принять участіе, и который отличался обиліемъ и блескомъ фразъ, но не мыслей. Передъ начатіемъ втораго акта, Лѣтневъ возвратился на свое мѣсто въ кресло. Выходя изъ ложи, онъ поблагодарилъ Звольскую за билетъ, который доставилъ ему удовольствіе быть на первомъ представленіи новой оперы, и еще большее удовольствіе — видѣть ее, Лидію Александровну.

— Стало быть, любопытство, возбужденное въ васъ вчера докучливою маскою, вполнѣ удовлетворено, ласково сказала ему Звольская по-русски. — Но мое собственное, любопытство далеко не удовлетворено сегодняшнимъ свиданіемъ моимъ съ вами. Мнѣ такъ много и такъ обо многомъ нужно узнать отъ васъ и потому надѣюсь, что вы доставите мнѣ удовольствіе видѣть васъ у меня въ домѣ. Приходите ко мнѣ завтра и пораньше, часу во второмъ утра; я живу въ Chaussée d'Antin, 27.

Лѣтневъ не оставлялъ болѣе своего мѣста до конца спектакля. Онъ даже не вставалъ съ кресель во время втораго антракта, и бинокль его лежалъ праздно на колѣняхъ. Его занимали не столько мотивы новой оперы, какъ мотивы сердца, способнаго и готоваго импровизировать самую блистательную фантазію на свои собственныя и задушевныя мотивы. Возвратясь изъ театра домой, онъ не сейчасъ легъ спать, а долго сидѣлъ, облокотясь на столъ, погруженный въ глубокое раздумье. Но думы его не имѣли опредѣленнаго характера, ни цѣли, ни связи между собою и походили на разрозненные аккорды, не могущіе составить ни одной музыкальной фразы. Мысли его не останавливались ни на прошедшемъ, ни на настоящемъ, ни на будущемъ, а блуждали въ хаосѣ пространства и времени; и онъ предчувствовалъ созданіе новаго, невѣдомаго ему міра, съ новымъ свѣтиломъ, съ новыми законами тяготѣнія.

VI.

На другой день, въ часъ пополудни, Лѣтневъ одѣлся во фракъ и готовился идти къ Лидіи Александровнѣ. Въ эту самую минуту къ нему входитъ землякъ, докторъ.

— Здравствуйте, Лѣтневъ! сказалъ онъ, протягивая ему руку. — Ба! да вы во всей парадной формѣ! куда это собрались вы такъ рано?

— Съ визитомъ къ одной дамѣ.

— Зачѣмъ же такъ парадно, во фракѣ?

— Да какъ же иначе: съ визитомъ и къ дамѣ.

— Въ Парижѣ простые утренніе визиты дѣлаютъ въ сюртукахъ; фракъ же надѣваютъ, отправляясь на обѣдъ или на вечеръ. Но дѣло теперь не во фракѣ, а въ томъ, что вы отправляетесь съ визитомъ къ дамѣ; вы, которые до сихъ поръ тщательно избѣгали не только знакомствъ, встрѣчъ съ недѣлимыми изъ прекрасной половины рода человѣческаго, но даже въ разговорахъ вашихъ никогда не упоминали ни одного женскаго имени. И вдругъ... съ визитомъ, во фракѣ, и такимъ безукоризненнымъ щеголемъ, нисколько не похожимъ на симбирскаго помѣщика!... Впрочемъ я радъ этому, и радъ за васъ: что за жизнь безъ женщинъ? Это—картина безъ освѣщенія и безъ колорита, это—комната безъ мягкой мебели, съ одними деревянными скамьями и стульями. Правда и то, что мебель эта обходится намъ иногда очень дорого, гораздо дороже, нежели самая лучшая мягкая мебель. А въ добавокъ и невсегда бываетъ покойна и прочна, и часто, какъ самая плохая гостинодворская, портится и становится негодною послѣ весьма непродолжительнаго употребленія. Но все-таки надо сознаться, что безъ женщинъ мужчины скоро бы огрубѣли, одичали, и жизнь наша сдѣлалась бы безцвѣтною, вялою, холодною и грязною. Много зла, но много и добра приносятъ намъ эти слабыя и граціозныя созданія, этотъ «air fixe», заставляющій пѣниться и играть нашу жизнь, и безъ котораго мы бы уснули, одеревенѣли въ апатіи и лѣни, и дальнѣйшій прогресъ человѣчества сдѣлался бы невозможнымъ... Не могу ли я, безъ нескромности, узнать, кто этотъ фениксъ, который заставилъ васъ, изъ суроваго спартанца, преобразиться въ такого льва.

— Во что угодно, да только не во льва: я имъ не былъ и не желаю быть... Я иду къ одной русской дамѣ, которую зналъ я когда-то въ Россіи, а вчера неожиданно увидѣлъ въ оперѣ и былъ у нее въ ложѣ.

— А молода и хороша собою?

— Очень.

— Могу узнать ея имя?

— Лидія Александровна Звольская.

— Звольская!.. да это извѣстная русская красавица, и извѣстная не одной красотою, но и своимъ умомъ, любезностію и строгою, неприступною добродѣтелью. Какая-то таинственность окружаетъ эту прелестную женщину. Года четыре тому назадъ она пріѣхала въ Парижъ, гдѣ съ тѣхъ поръ проводитъ каждую зиму и часть весны, а на лѣто и осень уѣзжаетъ въ Швейцарію и потомъ куда-то на воды. Одни говорятъ, что это вдова, другіе, что она—врозь съ мужемъ, котораго бросила въ Россіи. Она очень разборчива и съ нею не легко познакомиться. Немногіе изъ русскихъ бываютъ у нее. Съ дамами она почти незнакома; но все, что есть лучшаго между парижской молодежью, считаетъ за честь быть ей представленнымъ. Уже многіе отъ нее безъ ума, тогда какъ сама она постоянно находится при умѣ и при полной свободѣ своего сердца, если только у ней есть сердце. Смотрите, не обожгите и вы свои крылья на огнѣ этой гордой и непреклонной красоты. Меня хотѣли было познакомить съ нею, но я отклонилъ отъ себя эту честь. Я не люблю пассивной роли безнадежнаго вздыхателя и спутника какого бы то ни было свѣтила.

Съ величайшимъ вниманіемъ прослушалъ Лѣтневъ доктора, не проронивъ ни одного слова, и потомъ крѣпко призадумался и былъ въ нерѣшимости, идти ли къ Звольской, или вовсе отказаться отъ возобновленія этого опаснаго знакомства. Докторъ замѣтилъ это колебаніе и сказалъ:

— Да вы, Лѣтневъ, пожалуйста, не обращайте большаго вниманія на мои слова, и нисколько не измѣняйте свои планы и намѣренія. Вы и я — большая разница. Вы — человѣкъ совершенно свободный, ѣдете по широкой и покойной дорогѣ своей независимой жизни, по дорогѣ, съ которой во всякое время можете сворачивать въ сторону, чтобы рвать цвѣты да гоняться за красивыми бабочками. Я же совсѣмъ другое дѣло. Я—вѣчный труженикъ, безсрочный воинъ науки, которая у меня всегда и вездѣ на первомъ планѣ. Безъ устали и безъ привала иду я по узкой и часто очень непокойной, утомительной дорогѣ безпрерывнаго изученія и дальнѣйшихъ открытій и усовершенствованій въ области знанія; и потому я всегда тороплюсь и срываю мимоходомъ только тѣ скромные цвѣтки, которые растутъ возлѣ самой дороги, не позволяя себѣ отдаляться въ сторону и углубляться въ тѣнистыя рощи, на тучные луга

или въ ущелья горъ, чтобы отыскивать тамъ особенно красивую и благоухающую флору.... Итакъ, не задерживаю васъ долѣе; идите съ Богомъ, куда собрались, — и да не постигнетъ васъ участь Тантала.

Докторъ, наконецъ, ушелъ. Лѣтневъ надѣлъ шляпу и отправился къ Звольской. Минутная его нерѣшительность исчезла и ему показалось смѣшнымъ, нелѣпымъ, предосудительнымъ избѣгать возобновленія знакомства съ Лидіей Александровной, съ которою связывала его маленькая Лидія, и которой онъ обязанъ былъ отдать отчетъ о ввѣренномъ ему сокровищѣ. Звольская, съ своей стороны, нетерпѣливо ожидала Лѣтнева и приняла его чрезвычайно привѣтливо, и безъ малѣйшихъ завоевательныхъ замысловъ, т. е. далеко не такъ, какъ она принимала когда-то у себя въ Петербургѣ молодаго гвардейца Гремина.

— Я горю нетерпѣніемъ и съ тѣмъ вмѣстѣ боюсь распрашивать васъ, м-сьё Лѣтневъ! говорила Звольская, вводя его въ свою маленькую гостиную, которая была образцомъ не богатства и роскоши, а изящной, щегольской простоты и необыкновеннаго вкуса. — Что значитъ, что вы въ Парижѣ одни, безъ Вѣры? Неужели и между вами произошли...

Звольская не договорила: она пристально взглянула на Лѣтнева и на его измѣнившемся лицѣ прочитала роковую вѣсть о смерти Вѣры.

— Боже правый! Вѣры не стало!.. Этого добраго, кроткаго, прекраснаго ангела!..

Лидія Александровна не могла говорить болѣе: непритворныя рыданія вырвались у ней изъ груди и слезы ручьемъ полились изъ ея прекрасныхъ глазъ. Скорбь ея была искренна, глубока: Звольская сознавала, что потеряла въ Вѣрѣ лучшаго, надежнѣйшаго друга, на котораго смѣло могла опереться въ годину невзгоды, и котораго уже никто не могъ замѣнить ей. И долго плакала она, закрывъ лице платкомъ, который промокъ до послѣдней нитки.

Лѣтневъ предвидѣлъ эту грустную сцену и заранѣе собралъ все свое мужество, чтобы сохранить должное спокойствіе и не усиливать горечь этого свиданія взрывомъ своей собственной скорби. Онъ проглотилъ свои слезы, заглушилъ вопль проснувшейся въ сердцѣ тоски, и взявши руку Лидіи, сказалъ подавленнымъ голосомъ.

— Нашъ ангелъ былъ слишкомъ хорошъ для земли, и онъ улетѣлъ отъ насъ, оставя послѣ себя ужасающую пустоту. Слезами всей жизни не выплакать мнѣ горя этой грозной утраты. Но не отчаяніемъ, не унынiемъ должны мы почтить память нашего друга, а несокрушимымъ мужествомъ и исполненіемъ новыхъ и священныхъ обязанностей, которыя одни могутъ наполнить пустоту нашей жизни....

Лѣтневъ замолчалъ, не развивая далѣе своей задушевной мысли о судьбѣ маленькой Лидіи. При этомъ намекѣ, большая Лидія встрепенулась, отняла отъ глазъ промокшій платокъ и, оставляя свою руку въ рукѣ Лѣтнева, сказала ему твердымъ голосомъ:

— Да! слезами не выплакать горя. Вы правы, мой другъ! Будемъ мужаться и станемъ выше судьбы. О, какъ много должны вы были выстрадать! Но васъ видимо подкрѣпилъ Богъ—и вы не пали подъ ударами рока, а пребыли твердымъ мужемъ.

— Меня подкрѣпилъ Богъ, и сознаніе, что жизнь моя можетъ еще быть полезна для другихъ...

Звольская какъ будто бы не понимала, или не хотѣла понять намековъ Лѣтнева. Облегчивъ себя обильными слезами, она совершенно оправилась отъ неожиданной, внезапной скорби, и полагала, что уже достаточно уплатила дань уваженія и благодарности къ памяти почившаго друга. Холодный и расчетливый умъ ея снова вступилъ въ свои права, сталъ деспотически господствовать надъ взволнованными чувствами, — и въ Лидіи Александровнѣ вочью совершилось полное торжество приличій, отношеній и условій большаго свѣта надъ чувствами дружбы, благодарности и материнской любви. Не обращая вниманія на намеки Лѣтнева и отдаляя, по возможности, объясненія и сообщенія о судьбѣ своей дочери, она снова заговорила о Вѣрѣ и съ участіемъ слушала подробности о ея кратковременной болѣзни, и о послѣднихъ минутахъ ея прекрасной жизни. Въ продолженіе этого разсказа, она поминутно подносила платокъ къ своимъ глазамъ, но на этотъ разъ совершенно напрасно, потому что всѣ ея слезы израсходовались и глаза у нее были совершенно сухи.

Окончивъ свою грустную повѣсть, Лѣтневъ собирался съ духомъ и съ мыслями, чтобы поговорить о маленькой Лидіи; но Звольская предупредила его своими собственными разсказами.

— Теперь и я хочу сообщить вамъ, м-сьё Лѣтневъ, нѣсколько свѣдѣній о моей тоже тяжело-испытуемой жизни. Я такъ дорожу вашимъ участіемъ и дружбою, въ которыхъ, вѣроятно, вы мнѣ не откажете! Оставя Симбирскъ шесть лѣтъ тому назадъ, я проѣхала въ Малороссію къ роднымъ. Оттуда ѣздила я въ Кіевъ—поклониться мощамъ святыхъ угодниковъ, и снова возвратилась къ роднымъ, которые попытались было помирить и свести меня съ мужемъ. Но это оказалось рѣшительно невозможнымъ. Потомъ я получила изъ Петербурга письмо отъ одной моей хорошей знакомой: она собиралась за границу и предлагала мнѣ ѣхать вмѣстѣ съ нею. Я ухватилась за эту идею и не раскаиваюсь. Вотъ уже скоро пять лѣтъ, какъ я оставила Россію, гдѣ жизнь для меня была не-

стерпима. Первый годъ я провела на берегахъ Рейна а потомъ въ Италіи. Но вотъ уже четыре года, какъ я поселилась въ Парижѣ, гдѣ провожу зиму и весну, а на лѣто и осень уѣзжаю въ Швейцарію и въ Германію на Рейнъ. Не только пріятно, но и прилично невозможно было бы мнѣ жить въ Петербургѣ съ моими небольшими средствами; тогда какъ жизнь въ Парижѣ несравненно дешевле: я здѣсь прекрасно устроилась и пользуюсь такими удобствами и удовольствіями, какія въ Петербургѣ недоступны и для людей болѣе богатыхъ, нежели я. Сверхъ того, у меня здѣсь кругъ знакомыхъ — не обширный, но за то самый отборный. Я надѣюсь видѣть васъ у себя сколь возможно чаще и видѣть не гостемъ, а домашнимъ другомъ, роднымъ.

Лѣтневъ много выигралъ въ глазахъ Лидіи Александровны отъ того, что костюмъ его весь, съ головы до ногъ, былъ парижскаго происхожденія.

— Долго намѣрены вы пробыть въ Парижѣ? спросила она его.

— До весны. И тогда думаю на первомъ пароходѣ возвратиться въ Россію, на берега Волги, гдѣ ожидаютъ меня невинныя ласки...

— Я тоже намѣрена навѣстить мою родину, чтобы возобновить свой паспортъ, сказала съ живостію Звольская, будто не замѣчая, что помѣшала Лѣтневу докончить его мысль. — И я думаю отправиться въ Петербургъ тоже съ первымъ пароходомъ. Стало быть, мы поѣдемъ вмѣстѣ. Въ одно время съ нами поѣдутъ въ Россію князь Руцкій и графъ Дюшатель, состоящіе при французскомъ посольствѣ. Это самые любезные молодые люди, tout-à-fait comme il faut. И какъ весело проведемъ мы эту дорогу!

Но и на этотъ разъ Лѣтневъ не выказалъ никакой радости, при перспективѣ такихъ сіятельныхъ спутниковъ своего будущаго морскаго путешествія. Напротивъ, легкое нетерпѣніе выказалось въ движеніи его бровей, и едва замѣтная ироническая улыбка проскользнула по его устамъ. Онъ заговорилъ съ твердою рѣшимостію досказать до конца свою задушевную мысль.

— Лидія Александровна! Заплативъ дань сожалѣнія усопшему ангелу, намъ остается поговорить о другомъ невинномъ ангелѣ, находящемся въ живыхъ. Я думаю, вы догадываетесь, о комъ хочу я говорить и, вѣроятно, для васъ интересно будетъ узнать отъ меня нѣкоторыя семейныя подробности.

Отъ зоркихъ глазъ Звольской не укрылись ни движеніе бровей, ни ироническая улыбка Лѣтнева, и она поняла, что онъ не похожъ на обыкновенныхъ людей, что его трудно сбить съ толку, отдѣлаться отъ него

общими мѣстами, и что поэтому слѣдуетъ совершенно измѣнить свою съ нимъ тактику. Къ тому же, самолюбіе ея было задѣто за живое, и она ужасно боялась потерять въ глазахъ Лѣтнева, мнѣніемъ котораго очень дорожила.

Время, заботы и треволненія анормальной жизни Зволіской нисколько не уменьшили, а напротивъ усилили въ ней и безъ того громадное тщеславіе. Эта страсть, или вѣрнѣе, страстишка не имѣетъ ничего общаго съ прочими сильными человѣческими страстями, каковы напримѣръ: гордость, честолюбіе, славолюбіе и многія другія. Каждая изъ этихъ могучихъ страстей, какъ бы сильно ни была она развита въ человѣкѣ, не препятствуетъ одновременному и совмѣстному существованію какой нибудь другой страсти, и легко уживается съ нею. Мы знаемъ изъ исторіи великихъ королей завоевателей, полководцевъ, честолюбцевъ, которые имѣли и другія страсти, любили науки, искусства, женщинъ и бывали иногда подъ башмакомъ какой нибудь красавицы или интриганткн. Мы видѣли и видимъ страстныхъ поклонниковъ и служителей наукъ, поэзіи и искусствъ, которые въ то же время любятъ страстно почести и отличія, или женщинъ, или веселую, разгульную жизнь, или охоту съ ружьемъ, или даже игру на биліардѣ; и Богъ знаетъ чего они еще не любятъ. Случается, что нѣсколько страстей живутъ одновременно въ сердцѣ, и живутъ иногда довольно согласно между собою. Не таково тщеславіе: эта мелочная, пошлая, жалкая страсть, подобно раку, безпрестанно усиливаясь, разростаясь и развѣтвляясь въ сердцѣ, не оставляетъ въ немъ мѣста для другихъ страстей, и часто вытѣсняетъ изъ него всѣ нѣжныя и самыя священныя чувства. Мужчина или женщина, одержимые въ сильной степени тщеславіемъ, не могутъ быть ни надежными друзьями, ни доблестными гражданами, ни даже истинно чадолюбивыми родителями или почтительными дѣтьми. У нихъ не можетъ быть искренней любви ни къ наукѣ, ни къ поэзіи, ни къ искусствамъ. Они неспособны ни на какое усиліе, — и вся ихъ умственная и душевная дѣятельность ежедневно расходуется не на пріобрѣтеніе цѣнныхъ и капитальныхъ вещей, а на щегольство брелоками и множествомъ разныхъ блестящихъ бездѣлушекъ, большею частію взятыхъ на прокатъ.

Такова была и Лидія Александровна. Мы видѣли, что неудачный бракъ разрушилъ бо́льшую часть ея тщеславныхъ замысловъ, и походилъ на несостоятельный банкирскій домъ. Въ настоящее время она пробавлялась въ Парижѣ разными житейскими брелоками, какъ-то: знакомствомъ съ обладателями сіятельныхъ именъ, отрывками дипломати-

ческаго корпуса, да ореоломъ своей зрѣлой красоты и неприступной добродѣтели, окружавшихъ ее, попрежнему, угарною атмосферою, и дѣлавшихъ ее предметомъ многочисленныхъ искательствъ и поклоненій. Въ послѣднихъ письмахъ изъ Малороссіи ее увѣдомляли, что мужъ ея допивалъ свой вѣкъ и дошелъ уже до такого умственнаго и тѣлеснаго разстройства, что, по всей вѣроятности, ей предстояло въ скоромъ времени вкусить сладость вдовства. Поэтому, болѣе чѣмъ когда либо, она оберегала свое честное имя и не оглядывалась никогда назадъ, чтобы не покраснѣть отъ кой-какихъ воспоминаній. Она старалась даже разорвать всякую связь съ прошедшимъ и смотрѣла только въ будущее, гдѣ уже набрасывался проектъ новаго и болѣе удачнаго гименея, который бы вознаградилъ ее вполнѣ за все, что потеряла она въ банкротствѣ прежняго гименея.

Увидя Лѣтнева неожиданно въ маскарадѣ, Звольская была сильно взволнована, и почувствовала въ душѣ своей самыя разнородныя ощущенія: и хотѣлось ей, и боялась она заговорить съ нимъ. Но любопытство взяло верхъ надъ страхомъ, и мы видѣли, какъ начался и чѣмъ кончился этотъ маскарадный разговоръ: возобновленіемъ знакомства съ мужемъ своей пансіонской пріятельницы. Итакъ, щепетильная заботливость о чистотѣ своего имени заставила Звольскую такъ долго избѣгать щекотливаго вопроса о своей дочери, во время разговора ея съ Лѣтневымъ въ своей гостинной. Но наконецъ ея умъ очнулся отъ тумана тщеславія и неосновательныхъ опасеній. Она поняла, что не должно и невозможно долѣе избѣгать разговора о маленькой Лидіи, не рискуя потерять въ уваженіи Лѣтнева; и потому мгновенно прекратила выставку своихъ житейскихъ брелоковъ и сказала мягкимъ и вкрадчивымъ голосомъ:

— Простите меня, мсьё Лѣтневъ, и не перетолкуйте въ дурную сторону мои легкомысленныя слова. Я совершенно растерялась отъ горя, при сообщеніи мнѣ вами роковаго извѣстія и не знала, что̀ говорить. Вы правы, послѣ мертвыхъ надо вспомнить о живыхъ. Разсказывайте же мнѣ поскорѣе о ввѣренномъ вамъ сокровищѣ.

Съ твердымъ характеромъ, съ непреклонною и настойчивою волею, Лѣтневъ соединялъ чрезвычайную деликатность чувствъ, и потому онъ окружилъ величайшею осторожностію и гарантіями, относительно Звольской, вопросъ о маленькой Лидіи.

— Лидія Александровна! сказалъ онъ почтительно: —я хорошо понимаю ваше положеніе въ свѣтѣ, понимаю строгія требованія этого свѣта и щекотливость, чтобы не сказать опасность для васъ нѣкоторыхъ вопросовъ. Поэтому, прежде всего считаю долгомъ успокоить васъ тѣмъ,

что тайна ваша вполнѣ сохранена между нами. Никто изъ моихъ родныхъ и знакомыхъ не знаетъ и никогда не узнаетъ о пребываніи вашемъ въ Симбирскѣ. Даже въ моемъ домѣ ни одна душа не подозрѣваетъ, что мнѣ извѣстно происхожденіе Лидіи, которую всѣ считаютъ за подкидыша. Итакъ, съ этой стороны вамъ нечего опасаться ни малѣйшей нескромности, которая могла бы васъ когда нибудь скомпрометировать. Что же касается до будущей судьбы вашей дочери, то и на этотъ счетъ вы должны быть совершенно покойны. Если неумолимыя условія свѣта лишаютъ ее ласкъ и заботливости родной матери, то во мнѣ она имѣетъ самаго нѣжнаго и заботливаго отца. Я узаконилъ и люблю ее, какъ бы не могъ любить ее болѣе и тогда, когда бы она была моею собственною дочерью. Стало быть, будущность ея вполнѣ обезпечена; если ей не предстоитъ большаго богатства, то и бѣдность не угрожаетъ ей! Я имѣю четыре тысячи рублей въ годъ съ моего имѣнія и съ капитала; и то и другое будетъ принадлежать Лидіи. На время отсутствія моего изъ Россіи она ввѣрена Александрѣ Петровнѣ Рѣзвиной. Это—добрѣйшая, благороднѣйшая и умнѣйшая женщина: лучшаго надзора для нашей Лидіи невозможно желать. Я получаю аккуратныя и отрадныя свѣдѣнія объ этомъ добромъ, миломъ и прелестномъ ребенкѣ, котораго природа щедро надѣлила красотою, умомъ, прекрасными характеромъ и сердцемъ. И мнѣ остается только искренно сожалѣть о томъ, что вы лишены счастія любоваться вашею дочерью... Я кончилъ. Передавъ вамъ все, что я считалъ необходимымъ передать вамъ, я исполнилъ мой долгъ и теперь считаю уже лишнимъ возобновлять когда либо съ вами сегодняшній разговоръ, безъ вашего собственнаго на то желанія. Еслибы вы захотѣли имѣть портретъ вашей дочери, я могу вамъ его доставить: въ Симбирскѣ поселился очень хорошій фотографъ.

Лѣтневъ замолчалъ. По мѣрѣ того, какъ онъ развивалъ свои великодушныя намѣренія, и лице, и мысли Лидіи Александровны прояснялись, на душѣ становилось легко и весело, въ ней исчезли всѣ опасенія на счетъ возможности окомпрометировать себя въ настоящемъ или будущемъ. Она крѣпко пожала руку Лѣтнева и, разсыпавшись въ самыхъ чувствительныхъ благодареніяхъ, просила его навѣщать ее сколь возможно чаще; сказала, что считаетъ его за роднаго и вызвалась познакомить его со всѣми достопримѣчательностями Парижа.

Лѣтневъ, въ свою очередь, поблагодарилъ Звольскую за ея любезныя предложенія и объявилъ, что непремѣнно воспользуется ими. Около часу провелъ онъ еще съ нею. Она превзошла себя въ умѣньи очаровывать, и въ особенности старалась изгладить малѣйшіе слѣды того невыгоднаго

впечатлѣнія, которое произвела на Лѣтнева въ началѣ разговора. И это удалось ей вполнѣ. Когда умъ ея не находился подъ вліяніемъ какихъ нибудь опасеній или тщеславныхъ идей, тогда всѣ ея рѣчи, ея голосъ, взглядъ, улыбка—все это получало такую прелесть, такую увлекательность, такую обаятельную силу, которой никто не могъ противиться. Лѣтневъ оставилъ Звольскую, условившись съ нею ѣхать черезъ два дня куда-то за-городъ. Онъ возвратился домой съ легкимъ угаромъ, котораго не замѣтилъ на первый разъ.

VII.

Прошелъ мѣсяцъ со дня перваго визита Лѣтнева Звольской. Въ это недлинное время совершилось многое въ жизни нашего героя. Онъ не избѣжалъ участи общей всѣмъ, которые слишкомъ приближались къ Лидіи Александровнѣ—сильнѣйшаго угара. Вначалѣ, не сознавая никакой опасности, Лѣтневъ все чаще и чаще посѣщалъ ея гостинную. Угадавши однажды, что онъ небольшой любитель родовыхъ титуловъ и кровныхъ distingués, Звольская распоряжалась своимъ временемъ такъ ловко, что Лѣтневъ очень рѣдко встрѣчался у нее съ блистательными представителями парижскаго дендизма, оставался съ нею, большею частью, вдвоемъ и могъ вполнѣ выказать свой умъ, начитанность, глубокое чувство и вдохновенное краснорѣчіе.

Въ его сердцѣ скопилось много самыхъ горючихъ матеріаловъ, которые ждали только искры, чтобы произвести страшный взрывъ. Нѣжно, горячо любилъ Лѣтневъ свою покойную жену ; но любовь эта не имѣла характера порывистой страсти, пожара воображенія и чувствъ, воспаленія крови и тревоги сердца, застигнутаго врасплохъ и готоваго броситься въ самую отчаянную битву, или на приступъ несокрушимой твердыни. Нѣтъ ! Любовь его къ Вѣрѣ была огнемъ, разведеннымъ разумными и осторожными руками, огнемъ, который горѣлъ ровно, постоянно и разливалъ вокругъ себя благотворные свѣтъ и тепло, безъ малѣйшей опасности взрыва и пожара. Однимъ словомъ, въ немъ дѣйствовала тогда натура кроткаго ребенка, но, въ то же самое время, спала въ немъ и натура льва. И пора пробужденія для него наступила. Встрѣча съ Звольскою рѣшила судьбу его сердца, которое ощущало потребность новаго, сильнаго чувства. Это была единственная женщина, съ которою сошелся онъ заграницею и могъ поддерживать знакомство. Одного мѣсяца этого знакомства достаточно было для Лѣтнева, чтобы отъ равнодушія дойти

до самой пылкой, бурной, безумной страсти. Не вдругъ однакоже сознался онъ въ себѣ всю глубину этой новой страсти, которую тщательно скрывалъ не только отъ Лидіи Александровны, но и отъ самого себя. Наконецъ, почувствовавъ, что съ нимъ происходило что-то необыкновенное, онъ заглянулъ пристально въ свое сердце и открылъ, что оно уже болѣе ему не принадлежало.

Въ первую минуту этого открытія онъ хотѣлъ бѣжать изъ Парижа, но было уже поздно: несмотря на всю силу воли, ему не удалось порвать цѣпь, которая крѣпко приковывала его къ ногамъ Лидіи Александровны. Онъ прекратилъ дальнѣйшія попытки эманципаціи, и смѣло, очертя голову, пошелъ на встрѣчу своей судьбѣ. Онъ не любилъ полумѣръ, презиралъ полууспѣхъ: все или ничего было его девизомъ, побѣдить или умереть—его правиломъ. Страсть придала ему необычайную смѣлость и онъ рѣшился дѣйствовать быстро, стремительно. Молва о непреклонной добродѣтели Лидіи Александровны не могла его остановить: онъ зналъ, что въ этой неприступной женской крѣпости есть слабыя стороны, бывали бреши...

— Она должна быть и будетъ моею; или... но объ этомъ послѣ, сказалъ самъ себѣ Лѣтневъ, отправляясь къ Звольской послѣ сознанія своего новаго плѣна, который могъ окончиться кровавымъ поединкомъ—съ судьбою...

Звольская, съ своей стороны, была постоянно и чрезвычайно привѣтлива, ласкова съ Лѣтневымъ, привыкала къ нему болѣе и болѣе и находила особенное удовольстіе въ бесѣдахъ съ нимъ, — удовольствіе, какого не могли доставить ей разговоры съ прочими посѣтителями ея гостиной. Она искренно уважала Лѣтнева и полюбила его — какъ брата и друга, но не болѣе; т. е. онъ очень нравился ея уму, но не сердцу. Во-первыхъ, потому, что, какъ мы уже сказали прежде, онъ былъ блондинъ, а не брюнетъ; а во-вторыхъ потому, что ея сердце продолжало спать непробуднымъ сномъ, и не принимало ни малѣйшаго участія въ ея дѣлахъ, продѣлкахъ и намѣреніяхъ, и еще потому, что всегда и во всемъ она дѣйствовала подъ диктовку одного своего ума или тщеславія, не исключая и той неудачной игры ея въ Москвѣ, въ которой осталась она дурочкой и въ которой дѣйствовали скука, минутная прихоть, увлеченіе чувствъ или, вѣрнѣе, чувственности, — но не сердце. Итакъ, вся задача состояла въ томъ, чтобы разбудить наконецъ это сердце, потрясти его летаргію, заставить его очнуться, забыться и затрепетать; чтобы согрѣть, вскипятить женскую натуру, окоченѣвшую отъ холода вѣчныхъ расчетовъ ума и тщеславія. И смѣло взялся за разрѣшеніе этой психи-

ческой задачи нашъ неустрашимый, настойчивый ex-артиллеристъ, который когда-то рѣшалъ много трудныхъ математическихъ задачъ. Онъ отправился къ Звольской съ твердымъ намѣреніемъ открыть тотчасъ же сердечную кампанію — переходомъ черезъ Рубиконъ: ретироваться было не въ его правилахъ, ни въ привычкахъ. Онъ нашелъ Лидію Александровну въ необыкновенно веселомъ расположеніи духа.

— Вы сегодня очень веселы, сказалъ Лѣтневъ, усаживаясь въ кресло напротивъ Звольской.

— Какъ и всегда; я неспособна скучать.

— Но сегодня вы особенно веселы и довольны чѣмъ-то.

— Да. Я получила извѣстія изъ Россіи, отъ родныхъ.

— Ужъ не исправился ли вашъ супругъ, не собирается ли онъ въ Парижъ — броситься съ раскаяніемъ къ вашимъ ногамъ, вымолить себѣ прощеніе и возвратить вамъ то мѣсто, которое занимали вы въ обществѣ съ такимъ блескомъ.

— О, нѣтъ! горбатаго могила исправляетъ, сказала Звольская и засмѣялась самымъ веселымъ смѣхомъ.

— Но та же самая могила можетъ исправить иногда и судьбу прекрасной женщины, открывъ передъ нею новую перспективу...

Лѣтневъ не досказалъ своей мысли. Звольская перестала смѣяться и сдѣлалась серьезною. Нѣсколько минутъ длилось молчаніе.

— Вы не раздумали ѣхать въ Россію? спросилъ Лѣтневъ.

— Нисколько; это дѣло рѣшеное. Мы ѣдемъ вмѣстѣ, не правда ли?

— Да, вмѣстѣ, если только вы не боитесь скучать въ обществѣ такого нелюбезнаго, не свѣтскаго кавалера, какъ вашъ покорнѣйшій слуга.

— Вы напрашиваетесь на комплименты, но напрасно. Я даю это подаяніе однимъ неимущимъ; а вы довольно богаты во всѣхъ отношеніяхъ. Къ тому же вы должны знать, какъ много я васъ уважаю и.... Звольская остановилась.

— Продолжайте, подхватилъ Лѣтневъ.

— И люблю, какъ брата и друга, которому я такъ много обязана произнесла она неторопливо и внятно.

— Какъ брата и друга... но не болѣе?

— Развѣ этого мало для васъ?

— Ну, а слибы мнѣ захотѣлось болѣе?

— Еслибы вамъ захотѣлось.... да нѣтъ, вамъ не захочется болѣе.

— Почему же не захочется?

— Вы уже любили и были любимы.

— Raison de plus: l'appetit vient en mangeant. Итакъ, что бы вы сказали, еслибы я вдругъ полюбилъ васъ, полюбилъ страстно, безумно и сдѣлалъ бы изъ этой любви вопросъ не только о счастіи моей жизни, но и о самой жизни? Какъ бы поступили вы, еслибы отъ васъ зависѣло сдѣлать меня счастливѣйшимъ изъ людей, или осудить на терзанія, на казнь?

— Ахъ, Боже мой! Вы допрашиваете меня точно какъ слѣдственный приставъ. Ни ваше счастіе, ни осужденіе нисколько отъ меня не зависятъ... Осудить васъ на терзанія, на казнь!... Какіе ужасы! Охота же вамъ шутить такъ надо мною!

— Лидія Александровна! Я говорю гораздо серьезнѣе, нежели вы объ этомъ думаете. И, въ свою очередь, прошу васъ не шутить надъ моими словами, а принять ихъ къ серьезному обсужденію.

Послѣдовало торжественное молчаніе. Лидія Александровна никакъ не ожидала того, что услышала отъ Лѣтнева, и, будучи застигнута врасплохъ, не знала, что отвѣчать. Она сдѣлалась разсѣянна, грустна, устремила свои чудные глаза на рисунокъ табурета, изображавшій тигра, выжидающаго добычу, и играла своимъ вѣеромъ съ искусствомъ кровной севильянки. Лѣтневъ между тѣмъ собрался съ мыслями и рѣшился, не останавливаясь, идти далѣе. Но прежде чѣмъ вступить въ открытый бой, онъ сдѣлалъ рекогносцировку.

— Долго пробудете вы въ Россіи? спросилъ онъ.

— О, нѣтъ! Я только перемѣню паспортъ и, можетъ быть, съѣзжу въ Малороссію повидаться съ родными. А въ серединѣ лѣта я буду уже на берегахъ Рейна, и потомъ на зиму снова въ Парижъ.

— И вамъ не скучно, не тяжело жить вдали отъ всего роднаго, знакомаго?

— Нисколько, я космополитка, и «дымъ отечества мнѣ вовсе не кажется сладкимъ и пріятнымъ». Тамъ, гдѣ я нахожу много удобствъ и удовольствій жизни, для меня жить несравненно пріятнѣе, чѣмъ тамъ, гдѣ, при одинаковыхъ средствахъ, я должна испытывать постоянныя лишенія и во всемъ себѣ отказывать.

— Положимъ, что такъ. Я самъ не нахожу особеннаго счастія ни въ квасѣ, ни въ черномъ хлѣбѣ, ни въ щахъ. Но я не понимаю вашей жизни, жизни безцвѣтной, холодной, безъ любви. Зачѣмъ же даны вамъ молодость, красота, умъ? Неужели для того только, чтобы возбуждать лестный говоръ толпы на балахъ и въ концертахъ, быть цѣлью лорнетовъ въ театрѣ, вызывать проводы глазами всѣхъ встрѣчающихся

съ вами на гуляньяхъ, да кружить головы посѣтителямъ вашей гостиной?.. И вы не ощущаете потребности любить?

— «Любить, но кого же? На время — не стоитъ труда,
«А вѣчно любить невозможно».

Продекламировала Лидія Александровна и захохотала.

— Любить, продолжала она: — но вѣдь это не совсѣмъ удобно, когда есть мужъ.

— «Да, это справедливо», подумалъ Лѣтневъ и потомъ прибавилъ вслухъ:

— А если онъ умретъ?

— Тогда увидимъ.

— Но любовь не дожидается смерти... И неужели вы никогда не испытали, и даже не желаете, хоть изъ любопытства, испытать это высокое чувство, безъ котораго жизнь есть не что иное, какъ «пустая и глупая шутка?» Послушайте меня, Лидія Александровна, продолжалъ Лѣтневъ съ большимъ одушевленіемъ и взявши Звольскую за руку: — Молодость и красота, это такіе два капитала, которые нельзя положить на сохраненіе до перваго востребованія; для нихъ нѣтъ банка: ими слѣдуетъ пользоваться, то-есть надо любить, иначе вы не получите ни процентовъ, ни капитала, потому что они конфискуются временемъ. Прожить вѣкъ безъ любви, это — приготовить для себя нравственное банкротство на старости лѣтъ. Быть любимою и любить, это удвоиваетъ капиталъ молодости... Знаю, что ваше сердце дремало до сихъ поръ и продолжаетъ дремать. Позвольте же попытаться разбудить его, пока время еще не ушло, пока не наступили сумерки жизни, въ которыя уже поздно, не для чего просыпаться.

— Но если я не способна любить?

— А если вамъ предстоитъ выбирать одно изъ двухъ: быть геніемъ добра или зла? Неужели выберете вы послѣднее?... Но пора говорить съ вами яснѣе, прямѣе. Мой жребій брошенъ и возврата мнѣ уже нѣтъ. Итакъ знайте: я люблю васъ, люблю такъ, какъ я никогда и никого не любилъ. Любовь моя къ вамъ смѣшалась съ кровію моего сердца, перешла въ мозгъ, проникла весь мой организмъ, слилась съ моимъ *я*, и потому въ этой любви заключается вопросъ не объ одномъ счастіи или несчастіи моей жизни: въ ней состоитъ самая жизнь моя, вопросъ — быть или не быть. Слѣдовательно, какъ уже сказалъ я, вамъ предстоитъ выбрать одно изъ двухъ: быть моимъ геніемъ губителемъ, или геніемъ хранителемъ; осудить меня на казнь, или подарить мнѣ жизнь, которую вамъ же посвящу я... Итакъ рѣшайте, чего я стою?..

Понимаю, что вамъ трудно отвѣчать мнѣ сейчасъ же. По крайней мѣрѣ не отталкивайте меня, позвольте мнѣ бывать у васъ попрежнему, заслуживать вашу любовь, будить ваше сердце. Но знайте, что черезъ мѣсяцъ долженъ быть произнесенъ вами мой приговоръ; онъ очень простъ и кратокъ: да или нѣтъ. Аппелировать я не буду, да и не къ кому. Вздоховъ, упрековъ, жалобъ вы отъ меня не услышите. Пусть моимъ адвокатомъ передъ вами будетъ маленькая Лидія... Но пора кончить; я сказалъ все и удаляюсь, чтобы дать вамъ время придти въ себя, взвѣсить мои слова и, главное: чтобы избавить васъ отъ возможности поспѣшнаго, преждевременнаго мнѣ отвѣта подъ вліяніемъ перваго впечатлѣнія... Прощайте, до скораго свиданія.

Лѣтневъ вышелъ, крѣпко пожалъ руку Лидіи Александровнѣ и оставя ее въ положеніи, въ какомъ она ни разу еще не находилась. И долго сидѣла она на одномъ мѣстѣ, устремивъ неподвижный взоръ на табуретъ и на тигра въ засадѣ. Ей чудилось, что тигръ ростетъ, принимаетъ натуральные размѣры, шевелится и готовится сдѣлать прыжекъ. Въ эту минуту раздался въ передней звонокъ: она вздрогнула, вскочила съ дивана и подошла къ зеркалу, чтобы поправить свой туалетъ, придать безпечное выраженіе своему лицу и вызвать улыбку на уста. Но, увы! Лице продолжало выражать душевную тревогу, улыбка была неестественна и походила скорѣе на гримасу, упрямыя морщинки надъ бровями не сглаживались; однимъ словомъ, вся ея наружность выказывала полное неповиновеніе ея волѣ и предвѣщала въ будущемъ грозное возмущеніе ея сердца, которому надоѣло все спать, безмолвствовать и быть недорослемъ. Вошелъ человѣкъ и доложилъ:

— Графъ Дю-Шатель, прикажете принять?

— Скажи, что я нездорова и никого не принимаю.

Первый разъ въ жизни Лидія Александровна отказалась принять титулованнаго посѣтителя. Важный прогресъ или регресъ въ ея образѣ дѣйствій, пусть рѣшатъ этотъ вопросъ спеціалисты. Человѣкъ снова вошелъ и сказалъ:

— Графъ приказалъ передать вамъ пригласительный билетъ на завтрашній балъ у президента.

— Поблагодари графа и скажи, что я не могу воспользоваться этимъ приглашеніемъ, потому что чувствую себя очень дурно.

Прогресъ, несомнѣнный прогресъ. Но только неизвѣстно, кому и чему была обязана этимъ прогресомъ Лидія Александровна: любви ли къ ней Лѣтнева и его грозной рѣшительности, или своему правдивому зеркалу, которое донесло ей о нѣкоторыхъ безпорядкахъ въ ея наружности, то-

есть, о ненатуральности заказной улыбки и объ упрямствѣ коварныхъ морщинокъ, обличавшихъ полноту тридцатилѣтняго развитія ея прелестей. Она снова усѣлась на прежнее мѣсто на диванѣ, поставила обѣ ножки на табуретъ и, такимъ образомъ, попрала кровожаднаго тигра въ его засадѣ. Потомъ взяла со стола одинъ изъ лежавшихъ на немъ кипсековъ съ байроновскими головками, и пристально разсматривала героинь изъ Донъ-Жуана. Сильно хотѣлось взглянуть ей на самого Донъ-Жуана, но его въ кипсекѣ не оказалось...

VIII.

Въ продолженіе цѣлаго мѣсяца Лѣтневъ почти каждый день посѣщалъ Звольскую, и все тѣснѣе осаждалъ неприступную крѣпость ея добродѣтели, все съуживалъ огненный кругъ страсти, въ который онъ ее заперъ. Вначалѣ мужественно защищалась она, предлагала уваженіе, дружбу, любовь сестры, думала отдѣлаться ласковыми улыбками, нѣжными взглядами, этою условною монетою, которою она до сихъ поръ платила за ремизы въ любовномъ преферансѣ. Потомъ пробовала откупиться отъ осады пожатіями руки, и наконецъ — разрѣшеніемъ покрывать страстными поцѣлуями ея крошечныя ручки и ножки. За этими поцѣлуями устремлялся на нее потокъ вдохновенныхъ, страстныхъ рѣчей, моленій. А вдали виднѣлся очаровательный обликъ маленькой Лидіи, которая протягивала къ ней свои ручонки, просилась прильнуть къ ея материнской груди, поиграться съ нею ласками. Звольская боролась, но чувствовала, что земля подъ нею колеблется, что стѣны ея крѣпости были близки къ паденію, по милости мѣткой канонады бывшаго артиллериста, и что сердце ея готово было проснуться и возстать противъ деспотизма холоднаго разума; однимъ словомъ, положеніе Звольской можно было охарактеризировать пословицею: «нашла коса на камень».

Наканунѣ срочнаго дня Лѣтневъ явился къ Звольской. Онъ былъ покоенъ и суровъ. Глаза его горѣли огнемъ сдержанной страсти и непреклонной рѣшимости. Былъ полдень. Лидія сидѣла въ глубокой задумчивости. Глаза ея были влажны отъ недавнихъ слезъ; грудь дышала неровно и тяжело; легкая нервическая дрожь пробѣгала по временамъ по ея роскошному тѣлу. Лѣтневъ тихо подошелъ къ ней, всталъ передъ нею на колѣни, вынулъ изъ кармана свои часы и, показывая ихъ Лидіи, сказалъ:

— Теперь ровно полдень. Черезъ двадцать четыре часа долженъ быть произнесенъ и исполненъ мой приговоръ.

Онъ взялъ руку Лидіи, приложилъ ее къ лѣвой сторонѣ своей груди и проговорилъ съ глубокимъ чувствомъ:

— Слышите ли, какъ бьется это сердце? Завтра, въ двѣнадцать часовъ утра оно — или перестанетъ биться навѣки, или будетъ биться съ удвоенною силою, биться отъ радости, восторга, утопать въ необъятномъ блаженствѣ. Теперь я преклоняюсь передъ моимъ земнымъ верховнымъ судіею, а завтра, быть можетъ, буду предстоять передъ Судіею Небеснымъ, или обливать слезами благодарности эту руку, которая отстранитъ отъ моей груди роковой выстрѣлъ; цѣловать эти уста, которыя произнесутъ мое оправданіе; эти глаза, влажные, вѣроятно, отъ слезъ состраданія.

И говоря это, онъ страстно цѣловалъ ея руки, благоговѣйно смотрѣлъ ей въ глаза и потомъ грустно прибавилъ:

— Неисповѣдимы пути Провидѣнія! Случайно, или по опредѣленію свыше, встрѣтилъ я васъ на пути моей жизни.... И думалъ ли я, увидя васъ впервые въ моемъ домѣ, на берегу Волги, что впослѣдствіи буду въ Парижѣ стоять передъ вами такъ, какъ я стою теперь, то-есть какъ подсудимый передъ своимъ судіею?... Какъ мѣняются иногда роли въ жизни!... Но чѣмъ бы вы ни рѣшили, что бы вы ни изрекли, ни одного слова упрека не вырвется изъ моей измученной груди, — и я съ любовію облобызаю руку, которая подпишетъ мой смертный приговоръ и, благословляя ваше имя, разобью стѣны душной, тѣсной и мрачной тюрьмы, которую называютъ жизнію. Если счастіе любить не дается въ жизни дважды, то и переживать два раза свою любовь я не хочу.

Лѣтневъ всталъ и началъ ходить по комнатѣ. Лидія Александровна была въ неописанной тревогѣ и заговорила умоляющимъ голосомъ:

— Александръ Сергѣичъ! Придите въ себя! Что это вы задумали? Въ какое страшное положеніе вы меня ставите! Пожалѣйте меня! Неужели вы рѣшитесь на такое преступное дѣло и поднимете на себя руки?... Нѣтъ, вы этого не сдѣлаете!... Этого не будетъ!...

И она ломала себѣ руки и смотрѣла на Лѣтнева умоляющими глазами. Онъ остановился передъ нею и сказалъ съ холодною и спокойною рѣшимостію:

— Это будетъ такъ, какъ я сказалъ. Никто и ничто въ мірѣ не измѣнитъ моего рѣшенія и не остановитъ исполненія судебъ. Вы знаете, что я неспособенъ хвастать и никогда не обѣщаю того, чего я не могъ бы исполнить... Но довольно; мы должны теперь разстаться навѣки, или до свиданія завтра передъ полуднемъ у меня на квартирѣ: это зависитъ отъ васъ... Съ послѣднимъ боемъ столовыхъ часовъ на каминѣ моего

кабинета, окончится послѣдній актъ мрачной драмы, и дочь ваша останется круглою сиротою; или долженъ раздаться спасительный звонъ колокольчика въ моей передней и, вслѣдъ затѣмъ, начнется импровизація блистательной поэмы, вдохновенной богомъ любви... Итакъ прощайте, и на прощанье поцѣлуйте меня хоть какъ брата и друга, и не проклинайте моего имени.

Лѣтневъ замолчалъ. Изъ гордой, непреклонной и неустрашимой царицы гостиныхъ, Лидія Александровна превратилась въ трепещущую голубицу. Страшная диллема, предложенная Лѣтневымъ, возстала передъ нею, какъ тѣнь Банко, и нарушила безмятежный пиръ ея жизни. Ея воля сокрушилась, какъ хрусталь, при столкновеніи съ сильнѣйшею волею, и она, безъ малѣйшаго сопротивленія, позволила напечатлѣть на своихъ устахъ огненный, длинный, влажный, упоительный поцѣлуй, въ которомъ ощущались и живительная надежда, и безотрадная тоска; и гордость побѣды, и стыдъ пораженія; и трепетъ восторга, и боль терзаній. Поцѣлуй этотъ былъ достойнымъ прологомъ мрачной драмы, или блистательной поэмы, долженствовавшихъ родиться отъ столкновенія двухъ волей, двухъ силъ: силы красоты и силы характера.

Лѣтневъ оставилъ гостиную Звольской и не торопясь возвратился на свою квартиру. По уходѣ его Лидія Александровна почувствовала сильное нервное раздраженіе. Въ разстроенномъ ея воображеніи возникала длинная вереница тѣней: это были прежніе поклонники и партнеры ея въ любовной игрѣ, которыхъ она оставила дурачками. Всѣхъ грустнѣе изъ нихъ была тѣнь Гремина. Онъ устремилъ на Лидію свои кроткіе, умоляющіе глаза, на которыхъ дрожали двѣ предсмертныя слезы, а изъ глубокой раны въ грудь струилась алая кровь, которую тщетно усиливался онъ остановить своими хладѣющими руками. Тѣни эти составили рондо, кружились вокругъ Звольской и потомъ каждая изъ нихъ поочередно останавливалась передъ нею и танцовала соло. А подъ конецъ всѣ, кромѣ Гремина, захохотали и закричали хоромъ:

«Нашла коса на камень».

Звольская упала въ изнеможеніи на диванъ, закрыла глаза и, прошептавъ въ отвѣтъ тѣнямъ: «утро вечера мудренѣе», заснула глубокимъ сномъ.

IX.

Возвратясь домой, Лётневъ привелъ въ порядокъ всѣ свои бумаги, написалъ нѣсколько писемъ, а между прочимъ и къ Александрѣ Петровнѣ Рѣзвиной, и поручалъ ей маленькую Лидію. Съ этимъ письмомъ вложилъ онъ въ конвертъ духовное завѣщаніе, въ которомъ назначалъ Лидію наслѣдницею всего своего имѣнія. Потомъ досталъ свои пистолеты — роковой подарокъ отца, и принялся тщательно ихъ осматривать. Въ ту самую минуту вошелъ къ нему старый знакомецъ, докторъ.

— Васъ нигдѣ не видно, сказалъ онъ, протягивая Лётневу свою руку: — Я, да и всѣ наши знакомые, начинали уже думать, не уѣхали ли вы изъ Парижа... Ба! Да это у васъ пистолеты! И еще кухенрейтеровскіе! Это большая нынѣ рѣдкость.

— Они подарены мнѣ покойнымъ отцомъ, при опредѣленіи меня на службу, и съ тѣхъ поръ я не разстаюся съ ними.

— Да на что вы ихъ достали теперь? Ужъ не для поединка ли съ однимъ изъ тѣхъ блистательныхъ львовъ, посѣщающихъ гостиную госпожи Звольской?

— О, Нѣтъ! Я думаю отдать ихъ вычистить... Послушайте, докторъ! говорилъ Лётневъ, усаживая его на диванъ и самъ садясь возлѣ него: — Мнѣ хочется сегодня съ вами пофилософствовать. Расположены ли вы къ серьезнымъ преніямъ?

— Я расположенъ всегда и ко всевозможнымъ преніямъ, особенно имѣя передъ глазами пару пистолетовъ, могущихъ такъ краснорѣчиво напомнить и доказать хрупкость человѣческой организаціи, и сокрушить гордыню нашего крошечнаго *я*, которое надувается иногда, какъ лягушка, желавшая сравняться съ воломъ.

— Скажите, докторъ! Что вы думаете о самоубійствѣ: преступленіе это или нѣтъ?

— По моимъ понятіямъ, самоубійство хуже нежели преступленіе: оно — ошибка. Преступленіе часто искупается раскаяніемъ, страданіями, заглаживается добрыми дѣлами, а такую ошибку, какъ самоубійство, невозможно ничѣмъ исправить.

— Я не согласенъ съ вами, докторъ. Я смотрю на самоубійство совершенно съ другой точки зрѣнія; смотрю на него, какъ на противоядіе, которое находится въ экономіи нашей планеты, и входило въ расчетъ при сотвореніи высшей органической жизни на земномъ шарѣ. Вотъ видите ли: намѣреніе создавшаго міръ было, что бы все, что одарено жи-

ютною жизнію, жило и совершало свой періодъ. Вслѣдствіе этого, всѣ
ивотныя одарены инстинктомъ самосохраненія, боязнью смерти. Этотъ
аконъ есть упругая, крѣпкая пружина въ животномъ организмѣ, кото-
ая поддерживаетъ его прямизну, не даетъ ему осунуться и упасть.
Но верховная воля Творца, начертавъ и постановивъ законъ жизни, не
имѣла въ виду сдѣлать его непреложнымъ, неизмѣннымъ, предвидя въ
воей неизрѣченной благости, что жизнь можетъ иногда сдѣлаться не-
терпимымъ бременемъ, наказаніемъ, пыткою. Поэтому и законъ само-
охраненія не есть непреложенъ: эта крѣпкая пружина нашего организма
можетъ выдерживать только извѣстное давленіе, свыше котораго она ло-
ается, и организмъ осовывается и падаетъ: это значитъ — позволеніе
азбить стѣны тѣлеснаго каземата, полученіе паспорта для отъѣзда за
раницу здѣшней жизни; а такимъ паспортомъ бываетъ именно само-
бійство. Поэтому человѣкъ можетъ жить, если хочетъ жить, можетъ и
е жить, когда не хочетъ жить. Взглянемъ теперь на тѣ законы, кото-
ые выражаютъ безусловную волю Творца: они непреложны, неизмѣнны
лежатъ внѣ всякой зависимости отъ воли человѣческой. Напримѣръ:
азрушенный животный организмъ не долженъ ни подъ какимъ видомъ
озсоздаваться. Для исполненія этой безусловной воли постановленъ не-
молимый, непреложный законъ смерти. Вся премудрость, все могуще-
тво человѣческія не вдохнутъ новой жизни въ разрушенный или въ
азрушающійся организмъ. Поэтому человѣкъ, какъ бы онъ ни хотѣлъ
ить, не можетъ жить, если онъ не долженъ жить.

— Вы только подтвердили, а не опровергнули мои слова: вы дока-
али, что самоубійство не есть преступленіе, но нисколько не доказали,
то оно не ошибка. И потому я продолжаю утверждать, что самоубій-
тво — ошибка и очень грубая. Разрушить совершеннѣйшій механизмъ,
сегда интересный и поучительный для наблюдателя, и разрушить для
ого только, чтобы избѣгнуть лишнихъ страданій, это все равно, что
азбивать въ дребезги каждые часы, которые отстаютъ или спѣшатъ; раз-
омать на мелкіе куски экипажъ за то, что у него изломалась рессора,
ли соскочила шина съ колеса; сожечь до тла домъ, потому что у него
казалась трещина въ стѣнѣ, или течь въ кровлѣ. Исправлять, а не
азрушать должно быть девизомъ мудрости человѣческой. Предоставимъ
азрушеніе теченію всесокрушающаго времени. Прятаться отъ страданій
ъ самоубійствѣ!... Близорукость! Бояться страданій!... Малодушіе!
а когда же и у кого же ихъ не было? Есть ли хоть одно наслажденіе
ъ жизни, которое не скрывало бы въ себѣ зародышъ страданія?... Вѣдь
изнь не зубъ, который можно вырвать, когда онъ очень разболится,

и замѣнить вставнымъ. Послѣ этого, сдѣлается у васъ ногтоѣда на пальцѣ руки — руби эту руку; заболитъ и распухнетъ глазъ — выкалывай этотъ глазъ... Полноте, Лѣтневъ! Ваша теорія самоубійства, построенная на условныхъ, да на безусловныхъ законахъ, не выдержитъ самой легкой критики и рушится, какъ уродливое зданіе, построенное на пескѣ.

— Много могъ бы я сказать противъ вашихъ словъ, докторъ! да только это поведетъ меня очень далеко, заставитъ высказать такія убѣжденія и мысли, которыя лучше хранить про себя. Но, и не пускаясь вдаль, намъ легко будетъ помирить наши мнѣнія. Вѣдь вы согласны со мною въ томъ, что самоубійство не есть преступленіе; а я, пожалуй, соглашусь съ вами въ томъ, что оно — ошибка и ошибка неисправимая. Но неужели изъ этого слѣдуетъ, что ошибка, хотя бы и самая грубая, виновнѣе преступленія?

— Я во многомъ согласенъ съ вами, любезный Лѣтневъ. Но все-таки скажу: какъ ни глупа жизнь, а самоубійство еще глупѣе.

— Слѣдовательно, каждый изъ насъ остается при своемъ мнѣніи и мы окончили наши пренія полюбовнымъ размежеваніемъ. Согласны ли вы на это?

— Согласенъ, потому что я долженъ теперь васъ оставить. Но мы возобновимъ сегодняшній разговоръ при первой встрѣчѣ. Прощайте, cher ami, меня ждутъ. До скораго свиданія.

— До свиданія, отвѣчалъ Лѣтневъ и прибавилъ мысленно: можетъ быть въ вѣчности.

Докторъ ушелъ и Лѣтневъ принялся пробѣгать свой дневникъ. Наконецъ кое-какъ миновалъ этотъ тяжелый нескончаемый день, и затѣмъ насталъ другой день, торжественный и таинственный. Лѣтневъ проснулся въ обыкновенное время, всталъ и сейчасъ же одѣлся. Лицо его было спокойно, не обличало ни малѣйшей душевной тревоги; но въ груди, около сердца, клокотала, какъ лава, огненная страсть, пожирала его внутренности и превратилась въ пытку, прекратить которую могли только теплыя объятія Лидіи, или холодныя объятія смерти. Еслибы онъ встрѣтилъ Звольскую въ Парижѣ въ первый разъ въ жизни и полюбилъ ее, тогда, быть можетъ, онъ и перенесъ бы ея равнодушіе, пересилилъ бы свою страсть. Но эта страсть удвоивалась въ немъ отъ знанія прошедшаго Лидіи Александровны. Онъ ощущалъ бѣшенную ревность къ этому прошедшему и не могъ переносить мысли, что кто-то другой былъ счастливъ, а онъ — безжалостно отвергнутъ, осмѣянъ, униженъ... Пробило одинадцать часовъ. Лѣтневъ вошелъ въ кабинетъ, гдѣ

на столѣ, передъ диваномъ, лежалъ подарокъ отца. Онъ сѣлъ, взялъ одинъ изъ пистолетовъ и принялся заряжать его.

— Итакъ скоро разрѣшится для меня загадка жизни, заговорилъ онъ самъ съ собою. Что ожидаетъ меня за дверями этой жизни, которыя скоро отворю со взломомъ? И что такое самая жизнь?... Есть ли это крайній результатъ мірозданія, послѣднее слово творчества, или это одна грустная, безполезная случайность, «пустая и глупая шутка», какъ сказалъ Лермонтовъ? А что слѣдуетъ за этою шуткою? Повтореніе того же или забвеніе?... Нѣтъ, нѣтъ! прочь отъ меня такое повтореніе! У природы слишкомъ много такта для того, чтобы позволять себѣ двѣ глупыя шутки сряду. Итакъ забвеніе! Я призываю тебя, чтобы въ твоихъ сладкихъ объятіяхъ простить природѣ ея злой, пошлый, балаганный фарсъ, который называютъ жизнію.

Лѣтневъ замолчалъ и задумался. Потомъ взглянулъ на столовые часы, стоявшіе противъ него на каминѣ. Часовая стрѣлка показывала уже три четверти двѣнадцатаго. Стукъ маятника походилъ на чтеніе отходной молитвы. Онъ взялъ пистолетъ, взвелъ курокъ и сказалъ:

— Еще пятнадцать минутъ и я въ вѣчности. Какъ немного нужно для того, чтобы доѣхать до этой таинственной страны! Небольшой кусокъ свинца, щепотка смѣси изъ угля, сѣры и селитры и легкое движеніе пальца... И дешево, и сердито... Да еще такъ сердито, что этого дешеваго не можетъ переварить человѣческая натура, переваривающая столько дорогихъ вещей и столько разныхъ гадостей, подлостей и злодѣйствъ.

Но вотъ слышенъ звонъ колокольчика, не въ часахъ, а въ передней, — и вслѣдъ затѣмъ въ дверяхъ кабинета показалась высокая, стройная фигура Лидіи Александровны. Лице ея было спрятано подъ черной вуалью. Лѣтневъ положилъ пистолетъ на столъ, быстро подошелъ къ Звольской, упалъ передъ нею на колѣни, взялъ ее за обѣ руки и, крѣпко сжимая ихъ, сказалъ:

— Благодарю и благословляю васъ, о мой ангелъ спаситель!... Вы приносите мнѣ жизнь: она теперь принадлежитъ вамъ навѣки, это — ваша благопріобрѣтенная собственность; располагайте ею по произволу, дѣлайте изъ нее что хотите.

— Безумецъ! тихо проговорила Лидія и откинула назадъ черную вуаль. Лице ея преобразилось и сіяло невыразимою прелестію, дышала состраданіемъ; глаза горѣли непривычнымъ огнемъ и вдохновеніемъ пробудившагося и новаго для нея чувства. Она положила свои руки на

плеча Лѣтнева и вперила въ него испытующій и нѣжно-укоряющій взоръ.

— Прощеніе, прощеніе! молилъ Лѣтневъ.

— Не умъ, у котораго вы отняли всю власть, а мое сердце, которое вы разбудили, прощаетъ васъ.... Упрямецъ! Поставилъ на своемъ....

— И вы отдаете мнѣ ваше сердце?

— Вы напали на него врасплохъ, на соннаго, и потому, не приготовясь къ оборонѣ, оно проснулось для того только, чтобы сейчасъ же отдаться вамъ безъ боя и безъ условій.

Лидія подняла Лѣтнева, покачала на него своею очаровательною головкою и, прошептавъ: — Мой побѣдитель! въ изнеможеніи упала въ его объятія.

— Моя Лидія! съ восторгомъ отвѣчалъ Лѣтневъ, — и уста ихъ слились и замерли въ длинномъ огненномъ поцѣлуѣ....

Въ эту минуту часы на каминѣ начали бить полдень; дверь въ вѣчность передъ Лѣтневымъ заперлась; но передъ нимъ отворилась другая — въ земное блаженство, за которое прощаютъ природѣ множество ея глупыхъ шутокъ.

X.

Черезъ недѣлю послѣ описанной нами сцены, Лидія Александровна, съ лицомъ нѣсколько утомленнымъ, но сіявшимъ отъ невыразимаго внутренняго удовольствія, сидѣла на диванѣ въ своей маленькой гостинной. У ногъ ея, на табуретѣ, сидѣлъ Лѣтневъ, погруженный въ глубокое и блаженное созерцаніе. Никогда и ни одинъ астрономъ не разсматривалъ въ телескопъ съ такою жадною и любопытною любовію вновь открытую имъ планету, съ какою Лѣтневъ разсматривалъ Лидію Александровну, изучалъ каждую черту ея очаровательнаго лица, слѣдилъ за игрою ея подвижной физіономіи, ловилъ каждую улыбку, каждый взглядъ, каждое движеніе бровей и, такъ сказать, упивался до опьяненія ея возбудительною красотою, на которую недавно-пробудившееся, и потому молодое сердце разливало дивный, теплый колоритъ, недоступный холоднымъ и строгимъ классическимъ красотамъ.

Счастіе Лѣтнева было такъ громадно, необъятно, что его даже невозможно было прочитать на его лицѣ, которое въ эту минуту выражало одно идеальное спокойствіе. Счастіе это сосредоточивалось въ сердцѣ и оттуда било горячимъ ключемъ въ грудь, разливалось потоками по всѣмъ жиламъ, посылало горячіе лучи въ голову, освѣщало яркимъ вну-

тренним свѣтомъ весь его организмъ и затопляло волнами неизрѣченнаго блаженства все его существо, отъ макушки до кончика носка.

— О, моя прекрасная, чудная Лидія! говорилъ онъ нѣжнымъ и звучнымъ голосомъ: — не разлюби меня!... не погуби меня!... Что будетъ тогда со мною? При одной мысли объ этомъ, кровь стынетъ въ моихъ жилахъ, разумъ мутится у меня, и змѣя невообразимыхъ страданій начинаетъ шипѣть въ моемъ испуганномъ воображеніи, и готовится снова вползти въ мое измученное сердце.

— А если ты разлюбишь меня, что будетъ тогда со мною? говорила Лидія и, обвивъ шею Лѣтнева своими руками, крѣпко прижала его голову къ своей груди и осыпала ее страстными поцѣлуями, съ которыми познакомилась недавно черезъ свое молодое сердце, и упоительную силу которыхъ она успѣла уже понять и оцѣнить вполнѣ.

— Мнѣ разлюбить тебя!... Жить безъ тебя, да развѣ это возможно? Безъ тебя — радость, гордость, свѣтъ, тепло моей жизни; безъ тебя — пища моей души, воздухъ моего сердца!... Если я разлюблю тебя, тогда всѣ планеты сорвутся съ цѣпи тяготѣнія, всѣ звѣзды оставятъ свои мѣста въ небѣ, столкнутся между собою, разобьются и разлетятся въ прахъ, и хаосъ снова воцарится во вселенной.

И говоря это, онъ страстно, фанатически цѣловалъ руки Лидіи, и наконецъ склонился передъ нею на колѣни, и, вдохновенный необъятною любовію, высказывалъ свои чувства въ слѣдующей импровизаціи, хотя до тѣхъ поръ онъ никогда и ни одного стиха не написалъ:

Какой ты незримою цѣпью
Меня приковала къ себѣ!
Какимъ океаномъ блаженства
Наполнила душу мою!
Паду предъ тобой на колѣни,
Поникну въ прахѣ челомъ
И ножки твои разцѣлую,
Слезами любви оболью.
Ты сердца недугъ изцѣлила,
Мой умъ отъ сомнѣнья спасла,
Ты падшій мой духъ воскресила
И небо на землю свела.
Тебѣ, о мой геній хранитель,
Я пѣсни любви буду пѣть!
Тебѣ, послѣ Бога вселенной,
Молиться всечасно хочу.

Лѣтневъ замолчалъ. Онъ всталъ, выпрямился и, скрестивъ на груди свои руки, вперилъ въ Лидію вдохновенный и торжествующій взоръ и возобновилъ свое благоговѣйное созерцаніе. О, какъ прекрасенъ былъ онъ въ эту минуту! Онъ казался богомъ любви. Наконецъ онъ снова заговорилъ:

— Лидія! Еслибы ты вдругъ сдѣлалась свободною, отдала ли бы ты мнѣ твою руку? Согласилась ли бы ты сдѣлаться моей женою?

— Къ чему этотъ вопросъ? Развѣ ты можешь еще сомнѣваться во мнѣ? Знай, что для женщины гораздо легче отдать руку послѣ сердца, чѣмъ сердце послѣ руки.

— О, если-бы это случилось!... Какая была бы полнота блаженства! Жить между двумя Лидіями и возвратить одной изъ нихъ — мать, другой — дочь.... Но, послушай, Лидія! У меня есть къ тебѣ просьба....

— Говори, Александръ! и заранѣе разсчитывай на мое согласіе.

— Ну, а если ты не согласишься исполнить моей просьбы? Это будетъ страшная для меня обида.

— Послѣ того, на что я уже для тебя согласилась, твои просьбы не могутъ быть для меня невозможными.

— Вотъ видишь ли въ чемъ дѣло: ну, если я умру гораздо прежде твоего мужа, — что будетъ тогда съ тобою? заботливо произнесъ Лѣтневъ.

— А если я умру прежде мужа и тебя, — что будетъ тогда съ тобою? съ очаровательною кокетливостію передразнила его Лидія.

— Не смѣйся, Лидія! Я хочу говорить съ тобою серьёзно о дѣлѣ.

— А я то же серьёзно тебя слушаю. Ну, говори мнѣ твое дѣло!

— Лидія, другъ мой, моя небожительница! не откажи мнѣ.... Слушай же: «въ животѣ и смерти Богъ воленъ», говоритъ пословица. Если я умру прежде, нежели ты назовешься моею женою, положеніе твое будетъ самое не обезпеченное и очень трудное, особенно, когда братъ твой вздумаетъ возвратить тебѣ капиталъ, и ты вынуждена будешь помѣстить этотъ капиталъ въ банкъ за казенные проценты. Позволь же мнѣ обезпечить твою будущность.... Для нашей маленькой Лидіи достаточно моего имѣнія, которое приноситъ три тысячи рублей годоваго дохода, и которое будетъ принадлежать ей послѣ моей смерти.

Съ этими словами Лѣтневъ досталъ изъ кармана запечатанный конвертъ, въ которомъ находились двадцать пять тысячъ рублей ломбардными билетами, и потомъ продолжалъ:

— Прими отъ меня этотъ конвертъ: въ немъ находится капиталъ. Проценты съ него могутъ, à peu près, пополнить тотъ недочетъ въ твоемъ доходѣ, который произошелъ бы отъ перемѣщенія капитала изъ

частныхъ рукъ въ кредитное учрежденіе. Не откажись принять этотъ слабый знакъ моей безпредѣльной къ тебѣ любви и преданности.

Мы уже замѣтили прежде, что Лидія Александровна была чрезвычайно щекотлива въ денежныхъ вопросахъ, и нисколько не корыстолюбива. Она была очень тщеславна, но любила удовлетворять это тщеславіе законными средствами. Поэтому, предложеніе Лѣтнева произвело на нее самое тяжелое впечатлѣніе, и она вдругъ сдѣлалась серьёзна, гордо взглянула на него и сказала тономъ глубоко-оскорбленнаго самолюбія:

— Александръ Сергѣичъ! Видно вы мало меня знаете; иначе вы не сдѣлали бы мнѣ такого оскорбительнаго предложенія. Будущее находится во власти Божьей, и неизвѣстно, кто кого переживетъ. Но пока мы оба живы, для меня вполнѣ достаточно будетъ однихъ невещественныхъ знаковъ вашей ко мнѣ преданности; матеріяльные же отложите въ сторону: я въ нихъ нисколько не нуждаюсь.

Съ благоговѣніемъ слушалъ Лѣтневъ Лидію. И тяжелы были для него ея слова, какъ укоризна, и пріятно нѣжили его слухъ, какъ выраженіе благородныхъ, безкорыстныхъ чувствъ. Онъ склонился передъ нею и заговорилъ нѣжно-почтительнымъ и кроткимъ голосомъ:

— Прости меня, моя неоцѣненная, если я оскорбилъ тебя! Прости ради чистоты моихъ намѣреній и предусмотрительно-заботливой моей къ тебѣ любви. Выслушай же со вниманіемъ мои обѣты. Безусловно посвящаю я на служеніе тебѣ всего себя, свой умъ, сердце, душу, воображеніе, всѣ мысли, всѣ чувства, все, что есть высокаго и наилучшаго въ человѣкѣ, и посвящаю тебѣ себя навѣки, не только до конца здѣшней жизни, но, если можно, буду служить тебѣ и въ будущей жизни. Все, что есть искреннаго и глубокаго въ любви нѣжнѣйшей матери къ своимъ дѣтямъ; все, что заключается въ любви между двумя страстными, пламенными любовниками; все, что есть тихаго, прочнаго и преданнаго въ дружбѣ между двумя испытанными друзьями, или во взаимной привязанности неизмѣнно-нѣжныхъ супруговъ; все, что есть святаго и почтительнаго въ любви доброй дочери къ своей матери; всѣ эти оттѣнки, роды и степени любви сосредоточены въ томъ необъятномъ чувствѣ, которое толпа назоветъ любовью моею къ Звольской, но которое вѣрнѣе назвать восторженнымъ поклоненіемъ тебѣ, моя Лидія! Я хочу быть для тебя отцомъ, матерью, братомъ, другомъ, всѣмъ. Буду неусыпно заботиться о твоемъ настоящемъ и будущемъ. Какъ неподкупный стражъ, какъ громовой отводъ буду предохранять тебя отъ бѣдъ и горя; буду наблюдать откуда дуетъ вѣтеръ, чтобы заранѣе предугадать, откуда и какую грозу можетъ нанести онъ на мою Лидію. Буду ста-

раться предупредить эту грозу, скрыть ее отъ тебя, и приму на себя всякое горе, малѣйшую печаль, которыя стали бы угрожать тебѣ. И, наоборотъ: не пожелаю собственно для себя ни одного удовольствія, ни одной радости, которыя не сложилъ бы вполнѣ у ногъ твоихъ. На сколько достанетъ у меня средствъ, силъ, умѣнья, изобрѣтательности, на столько буду стараться окружить тебя удовольствіями жизни, угадывать твои желанія, предупреждать ихъ, ловить на лету изъ разговоровъ съ посторонними, чтобы сейчасъ же осуществить эти священныя для меня желанія.... И неужели, послѣ такой любви, тебѣ все еще будетъ казаться оскорбительнымъ мое желаніе обезпечить твою будущность. О, я молю, заклинаю тебя не отвергать моей почтительной просьбы! Не я тебя, а ты одолжишь меня несказанно, принявъ это отъ меня.

И Лѣтневъ всталъ на колѣни передъ Лидіею и упорно предлагалъ ей отвергнутый ею конвертъ.

— Возьми это, если ты хоть нѣсколько любишь и уважаешь меня, молилъ онъ.

— Какъ я вижу, ты во всѣмъ страшно настойчивъ. Хорошо я покоряюсь твоему желанію, но съ условіемъ: этотъ конвертъ будетъ храниться у меня не распечатаннымъ. Если бы впослѣдствіи судьба, непредвидѣнный случай, роковая необходимость заставили насъ разстаться, тогда ты долженъ взять отъ меня обратно этотъ конвертъ. Даешь ли мнѣ слово исполнить мое условіе?

Лѣтневъ помертвѣлъ при этихъ словахъ, мгновенно поднялся и, судорожно сжимая Лидію въ своихъ объятіяхъ, сказалъ голосомъ, задыхающимся отъ сильной боли въ сердцѣ:

— Намъ разстаться! И мнѣ жить безъ тебя, покинутымъ тобою!.. О, что ты сказала, Лидія! Понимаешь ли ты весь ужасъ своихъ словъ?.. Пощади, пожалѣй мое сердце, еще такъ недавно перенесшее пытку безнадежной страсти. Ты прекратила эту пытку, вмѣсто которой наполнила мое сердце нечеловѣческимъ счастіемъ, не возобновляй же даромъ этихъ страшныхъ, душевныхъ истязаній, не играй этимъ сердцемъ и не будь его сомнѣній.

— Успокойся, мой добрый, благородный Александръ. Никто и ничто въ мірѣ не заставитъ меня добровольно вырваться изъ твоихъ объятій. Но слѣдуетъ все предвидѣть. Положимъ, что я не овдовѣю, что я надоѣмъ тебѣ и ты самъ вздумаешь бросить меня, тогда, обѣщай мнѣ, что ты возьмешь отъ меня этотъ конвертъ.

— Въ такомъ случаѣ обѣщаю, и увѣренъ заранѣе, что этого не случится. Нѣтъ! Скорѣе откажутся: скупецъ отъ своихъ милліоновъ, часто-

любецъ отъ власти, нежели я отъ тебя—мое божество! Я умру у ногъ твоихъ прежде, чѣмъ произнесу добровольное прости.

Лидія жадно внимала словамъ Лѣтнева. Незнакомый восторгъ наполнилъ ей душу; молодое сердце прыгало отъ радости въ ея груди. И, наконецъ, будучи не въ силахъ удержать долѣе взволнованныя чувства, просившіяся наружу, она съ рыданіями и слезами повисла на шею Лѣтнева, и, прижимаясь къ нему, говорила прерывающимся голосомъ:

— О, дорогой мой другъ! Съ какимъ новымъ, невѣдомымъ счастіемъ познакомилъ ты меня! Да! для этого стоило разбудить мое сердце, которому во снѣ никогда не снилось то, что ощущаетъ оно теперь на яву.

Долго и тихо плакала Лидія на груди Лѣтнева. Это были самыя искреннія слезы, которыя когда либо проливала она. И какъ сладки были эти слезы!

Да! Можно было бы написать по поводу слезъ поэму или диссертацію. И великолѣпна была бы эта поэма, и глубокомысленна эта диссертація! Сколько контраста въ этой струящейся изъ глазъ влагѣ! То жгучая горечь, то небесная сладость. Слезы, это — бѣлая, прозрачная кровь сердца, изнывающаго отъ скорби, или замирающаго отъ восторга. Быть можетъ, что наши драгоцѣнные алмазы суть не что иное, какъ окаменѣлыя слезы какихъ нибудь совершеннѣйшихъ, допотопныхъ существъ, не оставившихъ послѣ себя на землѣ, ни въ землѣ ни малѣйшаго слѣда, кромѣ этихъ слезъ, которыя проливали они, покидая нашу жалкую планету. И проливали они эти слезы, сожалѣя о грядущей и несовершенной нашей расѣ, обрѣченной заранѣе на скорби, страданія, на вѣчный трудъ, на вѣчную каторгу.

XI.

Прошло еще два мѣсяца. Лѣтневъ и Звольская вкушали полное и безмятежное счастіе. Настала весна, а они и не помышляли о возвращеніи своемъ въ Россію.

Однажды Лѣтневъ, по обыкновенію, отправился къ Звольской. Онъ вошелъ въ переднюю не позвонивъ, потому что въ эту минуту выходила изъ передней какая-то модистка и, стало быть, дверь была отворена. Онъ вошелъ потихоньку въ гостиную: Лидія сидѣла въ креслахъ передъ столомъ, спиною къ двери, опершись на руку и была погружена въ глубокое раздумье. Передъ нею лежало письмо и распечатанный конвертъ съ черною печатью. Лѣтневъ подкрался къ ней сзади и, взявши ее за талію, принялся цѣловать ее въ шею и въ плеча.

— Ахъ, какъ ты испугалъ меня, Александръ! сказала, вздрогнувъ, Лидія?

— Ты получила письмо? Вѣроятно, это вѣсти изъ Россіи, изъ Малороссіи?

Онъ замѣтилъ конвертъ съ черной печатью и предугадывалъ содержаніе письма. Сердце сильно забилось у него, дрожь пробѣжала по всему тѣлу: и надѣялся, и боялся онъ чего-то.

— Ты угадалъ, отвѣчала Лидія:—я получила письмо отъ брата, изъ Малороссіи. Теперь угадай, о чемъ онъ пишетъ ко мнѣ?

— Я вижу черную печать на конвертѣ и, если предчувствіе меня не обманываетъ, то наконецъ....

Лѣтневъ не договорилъ; онъ боялся обмануться и потому ждалъ объясненій отъ самой Лидіи.

— Ну, что же я наконецъ? договаривай! кокетливо подхватила Лидія.

— Нѣтъ, лучше ты сама скажи: какое извѣстіе получила ты изъ Малороссіи?

— Очень печальное: я—овдовѣла. Братъ извѣщаетъ меня о смерти мужа.

— Итакъ, ничто не противится теперь исполненію моихъ пламенныхъ и святыхъ желаній — назвать тебя моею милою, доброю женою. Милосердый Боже! Какая свѣтлая будущность открывается передо мною! Я сдѣлаюсь, наконецъ, мужемъ несравненной Лидіи, которою стану гордиться передъ всѣми, какъ совершеннѣйшимъ произведеніемъ природы. И мнѣ не нужно будетъ похищать, воровать мое счастіе, какъ чужую собственность, скрывать его отъ всѣхъ, наслаждаться имъ втихомолку, украдкою. Нѣтъ! Я могу передъ цѣлымъ свѣтомъ хвастать, щеголять моимъ счастіемъ, и говорить: посмотрите, Лидія — моя жена, я — мужъ Лидіи. — И какъ всѣ станутъ завидовать мнѣ!

Лѣтневъ ждалъ отвѣта, но Звольская молчала и о чемъ-то думала.

— Что же ты ничего не скажешь мнѣ въ отвѣтъ на мои слова, Лидія? Развѣ ты ожидаешь не съ такимъ же нетерпѣніемъ, какъ и я, той минуты, когда союзъ нашихъ сердецъ будетъ освященъ и скрѣпленъ союзомъ брачнымъ? И чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше: здѣсь же въ Парижѣ.

— Какъ ты скоръ, Александръ! Во-первыхъ, для этого необходимо сперва соблюсти нѣкоторыя формальности, имѣть разные документы и свидѣтельства, которыхъ у насъ нѣтъ и которые нужно получить изъ Россіи. Во-вторыхъ, по письму брата, мнѣ необходимо какъ можно скорѣе пріѣхать въ Малороссію, для устройства дѣлъ, оставшихся послѣ

мужа. А все это возьметъ много времени, такъ что не ранѣе, какъ черезъ два мѣсяца отъ сегодня, успѣю я возвратиться изъ Малороссіи въ Петербургъ, гдѣ тогда можетъ быть отпразднована наша свадьба. Итакъ, мой милый Александръ! вооружимся терпѣніемъ: это единственное средство прійти, наконецъ, къ желанной цѣли, вступить въ безмятежную пристань супружества.

— Какъ это несносно — откладывать свое счастіе изъ-за пустыхъ формальностей! Итакъ, ты скоро оставишь Парижъ?

— Да! чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше. Но мы ѣдемъ вмѣстѣ до Петербурга.

— И даже до Москвы, откуда мы уже разъѣдемся въ разныя стороны: ты — въ Малороссію, а я — въ свою симбирскую деревню, гдѣ ждетъ меня маленькая Лидія, которую не видалъ я уже два года, и которая будетъ утѣшать меня во временной разлукѣ съ большою Лидіей. Ты остановишься въ Петербургѣ?

— На самое короткое время: повидаюсь только съ тѣми изъ моихъ знакомыхъ, которые не успѣли разъѣхаться по дачамъ.

— Стало быть, не теряя времени, надо намъ приниматься за приготовленія къ дорогѣ. Не забудь послать визировать свой паспортъ. Какъ мы ѣдемъ?

— Я думаю, мы поспѣемъ въ Штетинъ ко второму почтовому пароходу.

— Слава Богу! подумалъ Лѣтневъ: — мы избавлены отъ сіятельныхъ спутниковъ, которые будутъ сіять на первомъ пароходѣ. И Лѣтневъ иронически усмѣхнулся. Эта улыбка не ускользнула отъ зоркихъ глазъ Лидіи.

— Вѣрно, что нибудь злое было у тебя на умѣ, замѣтила она и погрозила пальцемъ на Лѣтнева.

— Tu es une femme terrible, mais adorable après tout.

— То-то же! Смотри! у меня держи ухо востро, когда будешь моимъ мужемъ: меня не проведешь.

— Не провесть, а повесть тебя хотѣлъ бы я какъ можно скорѣе, повесть къ алтарю моею невѣстою, и оттуда привесть къ себѣ въ домъ моею женою. Только тогда я буду чувствовать себя вполнѣ счастливымъ. А до тѣхъ поръ я все буду бояться, чтобы кто нибудь не отнялъ у меня моей Лидіи. Пусть лучше отнимутъ у меня жизнь, но не тебя, которую я не отдамъ за всѣ блага здѣшней жизни.

И говоря это, Лѣтневъ обнялъ и осыпалъ Лидію градомъ страстныхъ поцѣлуевъ и потомъ долго любовался ею, смотрѣлъ ей въ глаза и пытался прочесть въ нихъ свой гороскопъ. Наконецъ, онъ очнулся отъ своего любовнаго похмѣлья и оставилъ Лидію. Возвратясь домой, сталъ готовиться къ отъѣзду изъ Парижа, гдѣ познакомился съ земнымъ раемъ и со всѣми восторгами и упоительными радостями этого осязательнаго рая, котораго многіе стыдятся или боятся, но почти всѣ алчутъ; въ который одни прокрадываются тайкомъ, робѣя и краснѣя на всякомъ шагу; другіе врываются нагло, буйно и съ полнымъ забвеніемъ приличій и стыда; наконецъ, нѣкоторые въѣзжаютъ въ тріумфѣ, на золотыхъ мѣшкахъ, да на кровныхъ рысакахъ. Но очень рѣдкіе берутъ этотъ рай такимъ отчаяннымъ приступомъ, какъ нашъ герой Лѣтневъ. Теперь поѣдемъ за нимъ въ Россію.

XII.

Ровно черезъ десять дней, послѣ разсказаннаго въ предъидущей главѣ, Лѣтневъ и Звольская сошли съ парохода на Англійскую набережную въ Петербургѣ, гдѣ ожидала уже Лидію ея горничная Маша, неизмѣнная спутница въ разъѣздахъ ея по Россіи, и съ которою познакомились мы на пароходѣ, плывшемъ когда-то изъ Нижняго въ Симбирскую губернію. Она чрезвычайно обрадовалась своей госпожѣ, которую любила безъ души, и столько же обрадовалась увидѣвши и Лѣтнева, котораго называла «добрѣйшимъ бариномъ и ангельской душою». Лѣтневъ и Звольская остановились въ одной гостинницѣ, но въ разныхъ нумерахъ. Не болѣе трехъ дней провели они въ Петербургѣ. Хотя они строго соблюдали между собою формы самой холодной, офиціальной вѣжливости всякій разъ, когда были не одни, но плутоватая и умная Маша скоро догадалась, что ея госпожа очень нравится Александру Сергѣевичу и вслѣдъ за этою догадкою сказала сама себѣ:

— Вотъ бы женихъ-то моей барынѣ, такъ уже женихъ, такъ мужъ, не Ѳедору Семенычу чета!.. Добрѣйшій баринъ, ангельская душа: Какая была бы парочка! Заглядѣнье!.. А маленькая-то барышня, если она жива, голубушка! перестанетъ тогда быть безпріютной, безродной головушкой. Ужъ какъ бы я любила ее, угождала ей!... А что же? Можетъ это и случится. Вѣдь и барыня что-то посматриваетъ иногда на Александра Сергѣича такъ, какъ она ни на кого еще прежде не глядѣла... Дай-то Боже! Охъ, ужъ какъ бы повеселилась я на ихъ свадьбѣ!

И за этимъ монологомъ Маша подпрыгнула и засуетилась по комнатѣ, какъ будто бы готовилась снаряжать свою барыню подъ вѣнецъ.

Въ Москвѣ, куда наши герои пріѣхали въ почтовой каретѣ, они пробыли не долѣе двухъ дней и разстались. Прощанье ихъ было устроено и происходило безъ свидѣтелей. Какую трогательную, раздирающую душу сцену представляло оно! Лѣтневъ рыдалъ, какъ ребенокъ, и обливалъ горячими слезами, осыпалъ поцѣлуями голову Лидіи, которая лежала на его груди и тоже плакала. Смертельная тоска запала въ его сердце и щемила его, какъ тисками. Ему все казалось, что уже не видать ему болѣе своей Лидіи, не сжимать ее въ своихъ объятіяхъ, не цѣловать ее въ уста и въ очи...

Не будемъ повторять здѣсь того, что говорилъ Лѣтневъ Лидіи на прощаньи. Лидія обѣщала ему пробыть въ Малороссіи не болѣе какъ мѣсяцъ, и много полтора. Потомъ они должны были съѣхаться въ Петербургѣ и сейчасъ же тамъ обвѣнчаться; а затѣмъ уѣхать въ симбирскую деревню, гдѣ маленькая Лидія возвратится въ объятія матери, послѣ шестилѣтняго сиротства. Въ деревнѣ обдумаютъ и составятъ они планъ будущей жизни такъ, чтобы семь мѣсяцевъ въ году проводить въ Петербургѣ, а остальныя пять въ деревнѣ, или за-границею. Между тѣмъ они положили писать другъ другу каждую недѣлю.

Настала минута разлуки. Глотая свои слезы и сдерживая рыданія, Лѣтневъ посадилъ Лидію въ дорожный экипажъ, поцѣловалъ ея руку, сказалъ ей и услышалъ отъ нея «прости, до скораго свиданія». Маша, между тѣмъ, думала про себя: «быть свадьбѣ: и у барыни, и у Александра Сергѣича больно красны глаза отъ слезъ. Видно у обоихъ зазнобило ретивое сердечко»? Коляска тронулась и Лѣтневъ долго смотрѣлъ ей въ слѣдъ, хотя она уже давно повернула и скрылась за уголъ улицы. Въ тотъ же самый день и онъ выѣхалъ изъ Москвы въ Нижній; оттуда на пароходѣ доѣхалъ до своей деревни. Какую неописанную радость произвелъ его пріѣздъ! Это былъ настоящій праздникъ не только для его дома, но и для всего села. Трогательна была его встрѣча съ Александрою Петровною и съ маленькою Лидіей. Прелестный и умный ребенокъ не помнилъ себя отъ радости, бросился Лѣтневу на шею, цѣловалъ его, ласкалъ своими ручонками, смѣялся, называлъ его нѣжными именами, дѣлалъ ему разные вопросы, разсказывалъ про себя, что онъ умѣетъ уже читать порусски и пофранцузски, что вышилъ для него туфли по канвѣ. Однимъ словомъ, это была картина чистѣйшаго счастія, способнаго тронуть самую черствую душу, очистить и возвысить самое огрубѣлое и испорченное сердце.

Александра Петровна молча и съ умиленіемъ любовалась этою прекрасною картиною, и была проникнута глубокою благодарностью къ Творцу, у котораго для самыхъ болѣзненныхъ ранъ есть цѣлительный пластырь, для самыхъ тяжкихъ душевныхъ недуговъ—спасительное лекарство, для самыхъ жестокихъ страданій—облегченіе, для величайшихъ скорбей—утѣшеніе.

Лѣтневъ, съ своей стороны, въ присутствіи маленькой Лидіи отдыхалъ умомъ и сердцемъ отъ потрясеній и сильныхъ ощущеній бурнаго, огненнаго счастія, которымъ упивался онъ въ Парижѣ, въ маленькой гостинной, въ обществѣ большой Лидіи, создавшей для него великолѣпный земной рай. Этотъ рай былъ потерянъ для него на нѣкоторое время; но мѣсяца черезъ полтора онъ долженъ былъ возсоздаться въ улучшенномъ видѣ и на самомъ прочномъ, незыблемомъ основаніи супружеской жизни.

Прошло нѣсколько дней по возвращеніи Лѣтнѣва въ деревню. Онъ описалъ Александрѣ Петровнѣ свое путешествіе, разсказалъ различные эпизоды своей скитальческой жизни за границею, кромѣ тѣхъ, которые ознаменовали послѣдніе три мѣсяца пребыванія его въ Парижѣ. Онъ даже ни слова не сказалъ ей о намѣреніи своемъ вступить въ новое супружество, отложивъ это открытіе до дня выѣзда его въ Петербургъ.

Двѣ недѣли спустя онъ получилъ письмо отъ Лидіи Александровны, но самое коротенькое: она извѣщала его о пріѣздѣ своемъ въ Малороссію, о томъ, что нашла дѣла покойнаго мужа въ самомъ плачевномъ положеніи, по поводу безчисленныхъ долговъ, оставшихся послѣ него. Слѣдуетъ замѣтить, что сколь велико было искусство Лидіи Александровны—вести и поддерживать веселый, живой и остроумный разговоръ въ гостинной, столь же не велико было ея искусство въ письменной части: фразы у нея выходили неловкія, не клеились между собою, сталкивались и производили какой-то непріятный трескъ и стукъ. Содержаніе писемъ ея было чрезвычайно бѣдно, отличалось отсутствіемъ дѣльныхъ, и даже всякихъ мыслей, заключало въ себѣ, по большей части, перечень ея аристократическихъ знакомствъ. Даже самый почеркъ ея былъ далеко не изященъ, и чрезвычайно неразборчивъ. Буквы въ ея писаніи походили на безчисленныхъ маленькихъ пауковъ, выстроенныхъ въ невыровненныя, кривыя шеренги и тѣсно прижавшихся другъ къ другу. Чтеніе писемъ ея составляло чрезвычайно трудную и утомительную работу, которая могла бы служить превосходнымъ упражненіемъ для любителя и разбирателя старыхъ, полуистлѣвшихъ рукописей.

Проходитъ недѣля, другая, послѣ полученія письма отъ Лидіи, а другаго письма отъ нее не было. Лѣтневъ пришелъ въ сильное безпокойство и крѣпко призадумался. Проходятъ еще двѣ недѣли, но письма изъ Малороссіи все нѣтъ какъ нѣтъ. Лѣтневъ сдѣлался мраченъ, молчаливъ. Рѣзвина сокрушалась, глядя на него и тщетно ломала себѣ голову, чтобы объяснить причину такой страшной и быстрой въ немъ перемѣны. Наконецъ безпокойство и тоска Лѣтнева дошли до высшей степени, такъ, что онъ не могъ уже долѣе оставаться въ деревнѣ, не получая вѣстей отъ Лидіи. Подъ предлогомъ какихъ-то экстренныхъ дѣлъ, онъ мигомъ собрался въ путь, простился съ Александрою Петровною и маленькою Лидіею, и поскакалъ въ Петербургъ на перекладныхъ. Въ проѣздъ черезъ Москву онъ послалъ своего человѣка въ домъ къ пріятельницѣ Лидіи Александровны узнать, не имѣютъ ли тамъ какихъ нибудь извѣстій о госпожѣ Звольской. Человѣкъ возвратился и принесъ слѣдующее свѣдѣніе: «Лидія Александровна уже болѣе мѣсяца тому назадъ проѣхала черезъ Москву въ Петербуръ».

Лѣтневъ ничего не понималъ въ этомъ скоромъ возвращеніи Звольской изъ Малороссіи, а главное — въ ея молчаніи и таинственности, которою облекла она она свои дѣйствія. Тоска пуще прежняго принялась грызть его сердце. Пріѣхавъ въ Петербургъ, онъ скоро досталъ адресъ Лидіи черезъ нѣкоторыхъ ея знакомыхъ, и сейчасъ же отправился къ ней.

XIII.

Было только одиннадцать часовъ утра, когда Лѣтневъ, съ сильнымъ біеніемъ сердца, позвонилъ у дверей квартиры Лидіи Александровны. Дверь отворила ему Маша. Увидѣвъ передъ собою «добрѣйшаго барина», она смѣшалась, покраснѣла и сдѣлала чрезвычайно печальную мину.

— Дома Лидія Александровна? спросилъ онъ голосомъ, выражавшимъ сильнѣйшую душевную тревогу.

— Дома-съ.

— Здорова-ли?

— Здоровы-съ.

— Ну, скажи, что я здѣсь.

— Слушаюсь; да только барыня не одѣвались.

— Ты скажи только ей, что я пріѣхалъ, то, навѣрное, она сейчасъ же будетъ готова и выйдетъ ко мнѣ.

— Слушаю-съ.

Маша ушла, а Лѣтневъ вошелъ въ залъ. Дверь въ гостиную была затворена. Онъ походилъ по залѣ впродолженіи десяти минутъ, которыя показались ему десятью часами. Наконецъ, отворилъ дверь въ гостиную и вошелъ туда. На столѣ, передъ диваномъ, лежали великолѣпная мужская сигарочница, пачка папиросъ и стояла пепельница. Еще прошло десять минутъ, а Лидія не показывалась. — «Боже мой!—говорилъ самъ съ собою Лѣтневъ, — здорова ли, моя Лидія? Не больна ли она?... Видно хотятъ скрыть отъ меня эту болѣзнь»...

И онъ въ отчаяніи ломалъ себѣ руки, не находилъ мѣста. Смертельный ужасъ овладѣлъ имъ. Наконецъ, ровно черезъ три четверти часа со времени вступленія его въ залъ, скрипнула дверь, и въ гостиную вошла Лидія Александровна, величественная, очаровательная, сіяющая красотою и полнымъ душевнымъ самодовольствіемъ. На ней былъ утренній полунеглиже, но такой изящный и щегольской, что пристыдилъ бы собою многіе нарядные туалеты.

Лѣтневъ бросился къ ней съ распростертыми объятіями; но Лидія Александровна заговорила, и онъ вдругъ остановился, окаменѣлъ, кровь оледенѣла въ его жилахъ, дыханье сперлось въ груди, смертельная дрожь пробѣжала по всему тѣлу, холодный потъ выступилъ на его челѣ, колѣна подъ нимъ подгибались.

— Здравствуйте, Александръ Сергѣичъ! Какъ я рада васъ видѣть? Давно ли въ Петербургѣ? Здоровы ли вы? — говорила Звольская тѣмъ спокойнымъ, ровнымъ, ласковымъ, вкрадчивымъ голосомъ, которымъ обыкновенно разговаривала она съ ново-представленными ей кровными «distingués», да съ молодыми сидѣльцами модныхъ магазиновъ, гдѣ ей очень хотѣлось купить посходнѣе какую нибудь прелестную вещицу.

— Александръ Сергѣичъ!... Здоровы ли вы, вы, вы! повторялъ Лѣтневъ медленно, безсознательно, ударяя и дѣлая crescendo на словахъ «вы». Потомъ онъ вдругъ вздрогнулъ, встрепенулся, началъ кругомъ озираться, изъ груди его вырвался болѣзненный стонъ и онъ снова заговорилъ испуганнымъ голосомъ:

— Боже! Гдѣ я?... Что со мною дѣлается?... Во снѣ или на яву я все это вижу и слышу?...

— Успокойтесь, Александръ Сергѣичъ! Будьте твердымъ мужчиною, какимъ я всегда знала васъ, и забудьте минуту невольнаго, но тѣмъ не менѣе непростительнаго увлеченія. По зрѣломъ размышленіи, я нашла, что намъ нужно непремѣнно разстаться. Я не могу, не съумѣю, не буду въ состояніи сдѣлать васъ счастливымъ. Я недостойна любви такого достойнаго человѣка, какъ вы. У насъ совершенно различныя понятія,

взгляды, привычки, вкусы и характеры, а это чрезвычайно важно въ супружской жизни, и слѣдуетъ всегда принимать въ соображеніе передъ вступленіемъ въ бракъ, который, безъ этого, можетъ сдѣлать двухъ лишнихъ несчастливцевъ на этомъ бѣломъ свѣтѣ, и безъ того не изобилующемъ счастливыми супружествами. Итакъ, вы не должны сокрушаться о томъ, что бракъ между нами не состоится. Все, что ни дѣлается—къ лучшему. Но я надѣюсь, что мы останемся хорошими друзьями, и я, попрежнему, буду любить васъ какъ брата и друга.

Остановимся и не будемъ слѣдовать далѣе за пафосомъ морали, которую проповѣдывала Лѣтневу Лидія Александровна, нисколько не уступая въ убѣдительности отцу Лакордеру, и которая составляла такой великолѣпный pendant къ пафосу вѣчной благодарности, провозглашаемой ею когда-то передъ Лѣтневымъ, въ небольшомъ домикѣ, на малопроѣзжей улицѣ Симбирска.

А Лѣтневъ все стоялъ на одномъ мѣстѣ, неподвижно, все слушалъ и чувствовалъ что ему вливали въ головной мозгъ растопленный свинецъ, и что этотъ свинецъ мгновенно прожигалъ его мозгъ, проникалъ въ грудь, и тамъ медленно сожигалъ его легкія, сердце, всѣ внутренности. Но уста его онѣмѣли, языкъ не шевелился, ни одного слова упрека не срывалось съ него. Успокоенная этимъ безмолвіемъ, Лидія Александровна такъ ласково улыбнулась Лѣтневу, посмотрѣла на него такъ кротко и вдругъ, вспомнивъ что-то, проговорила:

— Ахъ, Боже мой! какая же я разсѣянная! Извините меня, мсьё Лѣтневъ, если я на минуту оставлю васъ здѣсь; я сейчасъ возвращусь.

И Звольская вышла и черезъ минуту возвратилась въ гостиную, держа въ рукѣ запечатанный конвертъ, полученный ею отъ Лѣтнева въ Парижѣ, когда проснувшееся въ ней сердце затрепетало восторгомъ новаго для нея чувства, и она могла рыдать и плакать отъ полноты счастія быть любимой и любить.

— Возвращаю вамъ по условію,—сказала она, подавая конвертъ Лѣтневу. — Вы не имѣете права не принять его.

Лѣтневъ безсознательно взялъ конвертъ и положилъ его въ боковой карманъ. Потомъ вдругъ нестерпимая боль въ сердцѣ заставила его очнуться изъ одеревенѣнія, страшный вопль вырвался изъ его груди; онъ бросился на колѣни передъ Звольскою, громко, истерически зарыдалъ, началъ неистово цѣловать ея ноги и говорилъ голосомъ, отъ котораго содрогнулись бы камни,—но не тщеславныя кокетки.

— Лидія... Александровна! Пощадите меня!.. Что я вамъ сдѣлалъ? За что такое грозное наказаніе?... Пощаду, пощаду вымаливаю себѣ у

ногъ вашихъ!... О, какъ жестоко я страдаю! Сжальтесь надо мною, сжальтесь надъ маленькою Лидіею, надъ вашею дочерью! Ея именемъ заклинаю васъ пощадить меня, не сгубить меня!...

Рыданія и вопли задушили голосъ Лётнева, который промочилъ насквозь своими слезами прюнелевыя ботинки Лидіи. Это были такія рыданія, такіе вопли и слезы, отъ которыхъ окоченѣла и опустилась бы рука съ кинжаломъ, занесенная надъ жертвою закоренѣлымъ убійцею; выпалъ бы топоръ изъ руки палача. Но бездушная, холодная и тщеславная кокетка не трогается никакими и ничьими рыданіями, воплями и слезами, и въ безчувственности къ страданіямъ сердца превосходитъ всѣхъ убійцъ и палачей.

Вдругъ раздался въ передней сильный звонъ колокольчика. Лидія Александровна пришла въ большое смятеніе, страшно перепугалась и заговорила Лётневу умоляющимъ голосомъ:

— Александръ Сергѣичъ! что вы дѣлаете! Ради Бога, встаньте и успокойтесь; вы компрометируете меня! Ахъ, Боже мой! Сюда сейчасъ войдутъ... Но кто бы это былъ такъ рано?... Ахъ, это вѣрно Александръ Иванычъ? Что онъ подумаетъ обо мнѣ? Не погубите меня, встаньте поскорѣе, умоляю васъ!

При словѣ «Александръ Иванычъ», Лётневъ мгновенно всталъ, выпрямился, слезы вдругъ высохли на его глазахъ, загорѣвшихся мрачнымъ огнемъ, который жегъ ихъ нестерпимо. Въ гостиную вошелъ молодой человѣкъ, высокаго роста, атлетическаго сложенія, съ красивымъ, улыбающимся лицемъ, бѣлый, румяный, съ большими сѣрыми, или, вѣрнѣе, оловянными глазами на выкатѣ, но которые ровно ничего не выражали. У него были черные, какъ смоль, волосы и самыя густыя дипломатическія бакенбарды. Одѣтъ онъ былъ безукоризненно и по послѣдней модѣ. Смѣло, свободно и развязно подошелъ онъ къ Лидіи Александровнѣ, протянулъ ей свою руку, превосходно гантированную, и сказалъ просто и коротко:

— Bonjour.

Потомъ, взглянувъ на столъ, онъ прибавилъ порусски:

— Ба! я забылъ у *тебя* вчера мою сигарочницу. А я было началъ бояться, не потерялъ ли я *твой* драгоцѣнный для меня подарокъ... Ну, какъ *твое* здоровье?

Во время этихъ немногихъ словъ Лётневъ чувствовалъ смертельный ознобъ во всемъ тѣлѣ, тогда какъ въ сердце его чья-то невидимая рука вонзала раскаленный кинжалъ, поворачивала его тамъ и отрывала куски

отъ этого дымящагося кровію сердца. Кинжалъ этотъ былъ выкованъ не изъ стали, а изъ трехъ мѣстоименій: *тебя, твой, твое...*

Лидія Александровна тоже чувствовала себя очень неловко. По она уже привыкла къ разнымъ такимъ неловкостямъ, изъ которыхъ столько разъ умѣла мастерски выпутываться, и которыя, поэтому, были для нее нипочемъ, плевое дѣло.

— Ахъ, да! Позвольте васъ познакомить между собою, — сказала она самымъ непринужденнымъ голосомъ и съ невыразимо-пріятною улыбкою.

— Александръ Сергѣичъ Лѣтневъ, мой старый и добрый знакомый. А вамъ, мсье Лѣтневъ, позвольте рекомендовать моего жениха, барона Александра Иваныча фонъ-Штурцгейма.

И, сказавъ это, Звольская вздохнула свободно и уже навсегда стряхнула съ себя страшную тяжесть, которая давила ее и которая теперь вся обрушилась на Лѣтнева, необъятно умноживъ собою тяжесть его собственныхъ терзаній и отчаянія. Нѣсколько минутъ длилось молчаніе. Мрачная драма достигла высшаго, потрясающаго эффекта. Въ эту минуту столовые часы, стоявшіе въ гостиной, на передзеркальникѣ, начали бить полдень. Въ этомъ зловѣщемъ боѣ заключалась для Лѣтнева цѣлая легенда о самыхъ разнородныхъ событіяхъ его жизни: въ этомъ боѣ находились и колыбель, и могила всего, что составляетъ сущность рая и ада... Четыре мѣсяца тому назадъ, въ Парижѣ, въ кабинетѣ Лѣтнева столовые часы тоже били полдень; но какая страшная разница была между боемъ парижскихъ и петербургскихъ часовъ! Точно такая же, какая находится между раемъ и адомъ.

Въ четыре мѣсяца Лѣтневъ совершилъ роковой путь между этими двумя крайностями человѣческаго бытія. И совершилъ онъ этотъ путь безъ малѣйшаго подготовленія къ перемѣнѣ декорацій, къ перевороту, безъ всякаго соблюденія постепенности въ измѣненіи картины своей жизни, при переходѣ отъ яркаго свѣта и тепла къ непроницаемому мраку и холоду. Быстро и покойно, ѣхалъ онъ въ продолженіе четырехъ мѣсяцевъ по ровной, гладкой дорогѣ, идущей черезъ самыя восхитительныя, живописныя мѣстности; и вдругъ дорога эта оканчивалась отвѣснымъ обрывомъ въ мрачную, зіяющую, бездонную пропасть.

При первомъ ударѣ молотка въ часовой колокольчикъ, Лѣтневъ и Звольская взглянули одинъ на другого и мгновенно вспомнили бой полудня въ Парижѣ. О, какъ измѣнились съ тѣхъ поръ ихъ роли! Геній спаситель превратился въ генія губителя, счастливый обитатель неба въ отверженнаго сына земли; кроткая и покорная голубица — въ суроваго

и безчувственнаго палача, торжествующій побѣдитель — въ преступника, осужденнаго на поруганіе и казнь.

Съ послѣднимъ звукомъ колокольчика Лѣтневъ откланялся Лидіи Александровнѣ, пробормотавъ:

— Я долженъ оставить васъ: ровно въ полдень меня ждутъ по важному дѣлу.

— Надѣюсь, что я не разъ буду имѣть удовольствіе видѣть васъ у себя.

Лѣтневъ ни слова не отвѣчалъ, поклонился и вышелъ, не подавши Звольской своей руки. Теперь разскажемъ, что и какъ случилось съ Лидіею Александровною со дня разлуки ея съ Лѣтневымъ въ Москвѣ.

XIV.

Прибывъ въ Малороссію, Звольская пріѣхала въ деревню своего старшаго брата Антона Александрыча, который принялъ ее съ распростертыми объятіями. Она страшно выиграла въ его глазахъ тѣмъ, что пять лѣтъ пробыла за границею и такъ долго жила въ Парижѣ. Отъ брата узнала она слѣдующее о смерти и дѣлахъ покойнаго своего мужа.

Ѳедоръ Семенычъ умеръ отъ перепоя. За нѣсколько недѣль до своей смерти, онъ переселился изъ своей деревни въ губернскій городъ, гдѣ, законнымъ актомъ, передалъ все свое имѣніе одному господину. Это былъ весьма пожилой и весьма некрасивый собою холостякъ, который находился при Звольскомъ безотлучно въ продолженіе трехъ лѣтъ, предшествовавшихъ его смерти. Стало быть Лидіи Александровнѣ нечего было устроивать дѣла послѣ мужа: они были превосходно устроены пожилымъ и некрасивымъ господиномъ, услаждавшимъ послѣдніе три года одинокой жизни Ѳедора Семеныча, и бывшимъ его партнеромъ въ родовомъ подвалѣ, да на зеленомъ сукнѣ ломбернаго стола. Но только дѣла покойнаго были устроены такъ, что Лидіи Александровнѣ не досталось ничего на седьмую часть изъ имѣнія мужа.

Она была смертельная неохотница до протестовъ, а тѣмъ болѣе до процесовъ, и потому не предъявила ни малѣйшаго спора противъ распоряженій покойнаго мужа, несмотря на совѣты нѣкоторыхъ сосѣдей ея брата. Какъ истинные, кровные малороссіяне, то-есть большіе аматеры всякихъ тяжбъ и знатоки юридической художественности, они уговаривали ее подать прошеніе въ уѣздный судъ и завести дѣло, увѣряя, что, потягавшись лѣтъ десять и вкусивъ вполнѣ сладости процеса со мно-

жествомъ аппеляцій, можно будетъ что нибудь получить хоть изъ движимости покойнаго и достойнаго Ѳедора Семеныча. Но Звольская не убѣдилась аргументами подъяческой логики, не увлеклась жаромъ малороссійской тяжбо-маніи и объявила рѣшительно своимъ совѣтникамъ, что просьбъ никакихъ и никуда не подастъ, дѣлъ никакихъ ни съ кѣмъ не заведетъ, и что сознаетъ себя совершенною профанкою и не развитою до того, что никакъ не можетъ постигнуть и оцѣнить по достоинству всей прелести и сладости десятилѣтнихъ процесовъ съ аппеляціями.

Порѣшивъ такимъ образомъ просто и скоро вопросъ о дѣлахъ мужа, Лидія Александровна не разсудила долѣе оставаться въ Малороссіи: она спѣшила въ Петербургъ для того, чтобы насладиться полною свободою и употребить съ пользою время, оставшееся до свадьбы ея съ Лѣтневымъ, а именно: отыскать своихъ прежнихъ знакомыхъ и пощеголять передъ ними парижскими нарядами, которыхъ хватило бы на нѣсколько петербургскихъ щеголихъ. Потомъ съѣздить нѣсколько разъ въ Павловскъ, все съ тою же цѣлію — пощеголять художественными произведеніями парижскихъ модистокъ, и разныхъ прочихъ соблазнителей и опустошителей московскихъ кармановъ.

Поэтому Лидія Александровна провела у брата не болѣе недѣли и, несмотря на всѣ просьбы и ходульную любезность Антона Александрыча, вспорхнула и полетѣла на берега Невы. Увѣдомить объ этомъ Лѣтнева изъ Малороссіи она не успѣла и отложила до Петербурга; но по пріѣздѣ туда ей было уже не до того, во-первыхъ потому, что она нѣсколько дней посвятила на пріисканіе хорошенькой и не очень дорогой меблированной квартиры; во-вторыхъ: надо же было отыскать своихъ знакомыхъ, сдѣлать имъ визиты, а потомъ съѣздить въ Павловскъ, не столько для того, чтобы послушать превосходный оркестръ Гунгля, съ тѣхъ поръ не замѣненнаго вполнѣ, какъ для того, чтобы «людей посмотрѣть и себя, то-есть свой туалетъ, показать». Наконецъ не писала она Лѣтневу еще и потому, что, какъ мы уже замѣтили, она была большая не мастерица и нелюбительница письменныхъ разговоровъ, любя изустные, въ гостиной, на диванѣ.

Вотъ почему и какъ Звольская пріѣхала въ Петербургъ, гдѣ, благодаря лѣтнему времени, скоро отыскала и наняла прехорошенькую квартиру и прекрасно устроилась. Вслѣдъ за тѣмъ она поѣхала въ Павловскъ. День былъ прекрасный, но еще прекраснѣе была сама Лидія Александровна въ своемъ щегольскомъ, изящномъ нарядѣ, способномъ возбудить зависть въ первоклассныхъ модницахъ. Погулявъ по парку, послушавъ музыки, она, въ антрактѣ между первою и второю частію

концерта, вошла въ вокзалъ и сѣла на одну изъ скамеекъ, передъ столикомъ. Противъ нее, на стулѣ, сидѣлъ молодой человѣкъ, очень красивой наружности, одѣтый щегольски и въ которомъ опытный глазъ Лидіи Александровны открылъ одного изъ «distingué и parfaitement comme il faut». Въ ту минуту вошли въ вокзалъ три молодые офицера. Сабли ихъ громко стучали, шпоры побрякивали, головы у нихъ были приподняты очень высоко, а лица выражали сознаніе своего собственнаго достоинства. Они прошлись нѣсколько разъ мимо Звольской, бросая на нее орлиные взгляды неотразимыхъ побѣдителей, которымъ стоитъ только, «прійти и увидѣть», а въ остальномъ «никто не долженъ смѣть малѣйшее сомнѣніе имѣть».

Одинъ изъ этихъ трехъ молодыхъ людей, вѣроятно самый неотразимый по части женскихъ завоеваній, отдѣлился отъ своихъ товарищей и, поровнявшись съ Лидіею Александровною, усѣлся возлѣ нее на скамейкѣ и взглянулъ на нее такъ самоувѣренно, что самый неискусный толкователь взглядовъ могъ бы легко понять этотъ краснорѣчивый взглядъ, и очень вѣрно передать его смыслъ знаменитымъ лаконизмомъ Юлія Цесаря:

«Пришелъ, увидѣлъ, побѣдилъ....»

И потомъ пополнить смыслъ взгляда словами: «вамъ нѣтъ спасенія, сударыня! Сдавайтесь!» За взглядомъ послѣдовала рѣчь: офицеръ обратился къ Звольской съ слѣдующими словами:

— Вамъ должно быть скучно сидѣть одной. Если позволите...

При первомъ же словѣ молодаго человѣка, Лидія Александровна смѣряла его съ головы до ногъ, слегка пожала плечами и, не дослушавъ конца его фразы, встала и пересѣла на другую скамейку. Офицеръ не сконфузился и не счелъ себя побѣжденнымъ; онъ пошелъ вслѣдъ за Лидіей и опять сѣлъ возлѣ нее на новомъ ея мѣстѣ. Звольская пересѣла на прежнее мѣсто. Кажется, было довольно сдѣлано съ ея стороны для того, чтобы ее оставили въ покоѣ. Но молодые офицеры народъ бѣдовый, особенно тѣ изъ нихъ, которымъ были извѣстны знаменитыя слова Камброна: «la garde meurt et ne se rend pas». Поэтому молодой офицеръ, сдѣлавъ контръ-маршъ, опять очутился возлѣ Звольской, и прежде нежели она успѣла оставить свое мѣсто, сказалъ ей:

— Что вы такъ бѣгаете отъ меня? Вѣдь вы видите, что я не какой нибудь, не сапожникъ.

И съ этимъ словомъ онъ взглянулъ на сидѣвшаго на стулѣ молодаго человѣка и многозначительно пошевелилъ плечами. На этотъ разъ

Звольская прервала свое молчаніе и возразила своему несносному преслѣдователю:

— Развѣ вы не видите, что съ вами не хотятъ имѣть никакого дѣла? И потому прошу васъ оставить меня.

— Вы столько же жестоки, сколько прелестны собою, сказалъ офицеръ. Не сердитесь и не бойтесь: я имѣю всѣ средства смягчить гнѣвъ дамъ, да еще такихъ хорошенькихъ какъ вы. Пожалуйте вашу руку и пройдемтесь по парку.

И онъ сдѣлалъ было жестъ, чтобы взять Лидію подъ руку. Но прежде, чѣмъ онъ успѣлъ дотронуться до нее, она ударила его по рукѣ, вскочила со скамейки и вскричала съ негодованіемъ:

— Дерзкой! вы заслуживаете болѣе строгаго наказанія.

Сидѣвшій на стулѣ молодой человѣкъ съ большимъ вниманіемъ слѣдилъ за происходившею передъ нимъ сценою. Наконецъ, послѣ удара по рукѣ, всталъ съ своего мѣста и, проговоря вполголоса: «жаль, что не по щекѣ, подошелъ къ молодому гвардейцу и сказалъ ему спокойнымъ, но твердымъ и рѣшительнымъ голосомъ:

— Милостивый государь! неугодно ли вамъ сейчасъ же оставить въ покоѣ эту даму, или...

— Развѣ эта дама вамъ знакома? возразилъ офицеръ, начинавшій уже сомнѣваться въ своей неотразимости.

— Каждая дама имѣетъ право на вѣжливость со стороны порядочнаго мужчины! а вы переступили далеко за предѣлы вѣжливости, которая наблюдается даже полупорядочными людьми, и потому, если немедленно не удалитесь отсюда, прошу васъ сообщить мнѣ свой адресъ. А чтобы успокоить васъ на счетъ того, что вы будете имѣть дѣло не съ *сапожникомъ*, я скажу вамъ мой собственный адресъ: я баронъ фонъ-Штурцгеймъ, служу въ министерствѣ иностранныхъ дѣлъ, живу на Маховой въ собственномъ домѣ.

Послѣ такихъ категорическихъ словъ, офицеръ долженъ былъ наконецъ сознать непримѣняемость къ его особѣ лаконизма Юлія Цесаря и словъ генерала Камброна; и потому онъ не побѣдилъ и не умеръ, а сдался, то-есть вывернулся съ грѣхомъ пополамъ изъ своего неловкаго положенія, сказавъ:

— Извините меня; я не имѣлъ ни малѣйшаго намѣренія оскорбить вашего визави. А чтобы доказать вамъ это, я охотно исполняю ваше желаніе и удаляюсь.

«A la bonne heure», подумалъ молодой человѣкъ. Что же касается до офицера, то, сдѣлавъ «amende honorable», онъ всталъ, превѣжливо

поклонился Лидіи Александровнѣ и вышелъ изъ вокзала. По его уходѣ, молодой человѣкъ обратился къ Звольской и заговорилъ съ нею по-французски, самымъ почтительнымъ тономъ:

— Извините меня сударыня, если я, не имѣя чести быть вамъ представленнымъ, позволилъ себѣ избавить васъ отъ докучливаго сосѣда.

— Вы оказали мнѣ величайшую услугу, и пріобрѣли полное право на мою благодарность, отвѣчала Звольская тоже по-французски.

— Вы здѣсь однѣ?

— Да! я недавно пріѣхала изъ Парижа, гдѣ прожила четыре года и, по возвращеніи въ Петербургъ, не успѣла еще отыскать моихъ знакомыхъ.

— Въ такомъ случаѣ, если вы не сочтете это дерзостію, позвольте мнѣ быть сегодня вашимъ чичисбеемъ въ Павловскѣ, единственно для того, чтобы избавить васъ отъ повторенія только-что окончившейся непріятной сцены. Многіе изъ нынѣшнихъ молодыхъ офицеровъ имѣютъ чрезвычайно странныя и невѣрныя понятія о приличіяхъ и о вѣжливости. Это не то, что молодежь въ Парижѣ, да и вообще за границею, гдѣ никто изъ мужчинъ, даже въ простонародьи, не позволитъ себѣ, на публичномъ гуляньи, заговорить съ незнакомою дамою, если она сама не подастъ къ тому повода.

— Съ большимъ удовольствіемъ принимаю ваше предложеніе и ввѣряю себя вашему рыцарскому характеру, который отрекомендовалъ мнѣ васъ лучше, нежели бы могли это сдѣлать самые короткіе мои знакомые.

Сказавъ это своимъ сладкимъ, мелодическимъ голосомъ и улыбнувшись такъ, какъ только она одна умѣла улыбаться въ важныхъ случаяхъ жизни, Лидія Александровна подала руку своему защитнику, прибавя:

— Итакъ, вы мой покровитель на сегодняшній вечеръ. Пройдемтесь по парку.

— Я бы почелъ за величайшее счастіе—остаться имъ навсегда, проговорилъ баронъ, выходя изъ вокзала подъ руку съ Лидіей, и взглянулъ на нее далеко неравнодушно.

— Вотъ ужъ вы и съ комплиментами. Какъ я вижу, мужчины всѣ на одинъ ладъ.

— Могущество красоты и ума дѣйствуютъ одинаково на всѣхъ мужчинъ; различны только манеры проявлять впечатлѣнія, производимыя на насъ красотою женщинъ. У однихъ проявляются эти впечатлѣнія черезъ почтительное поклоненіе красотѣ, у другихъ — черезъ самонадѣянность и возбужденіе грубаго, животнаго инстинкта.

Но мы не будемъ слѣдовать далѣе за разговоромъ, который продолжался между Звольскою и барономъ для того, что, во-первыхъ, это нейдетъ къ нашему дѣлу, а во-вторыхъ, чтобы не разочароваться въ молодомъ баронѣ, который произвелъ на насъ самое пріятное впечатлѣніе своимъ дебютомъ на поприщѣ знакомства съ Лидіею Александровною. Прибавимъ еще слѣдующее къ описанію этой поѣздки нашей героини въ Павловскъ.

Она возвратилась въ Петербургъ съ послѣднимъ поѣздомъ и въ сопровожденіи барона. Когда она вышла на подъѣздъ станціи и хотѣла взять пролетки, чтобы ѣхать домой, баронъ крикнулъ: «Тимоѳѣй» и въ ту же минуту подъѣхала къ подъѣзду щегольская полуколяска, запряженная отличною парою сѣрыхъ.

— Позвольте предложить вамъ мой экипажъ, сударыня! сказалъ баронъ Звольской и протянулъ ей свою руку, чтобы посадить ее въ экипажъ.

— Вы такъ любезны, что я не могу не воспользоваться вашимъ предложеніемъ.

И Лидія Александровна сѣла въ полуколяску, а баронъ возлѣ нея.

— Куда прикажете? спросилъ обернувшись кучеръ.

— На уголъ Малой Морской и Гороховой, отвѣчала Звольская, и экипажъ помчался.

Пріѣхали. Баронъ поспѣшно вышелъ изъ экипажа, чтобы подать руку Лидіи и высадить ее. Онъ проводилъ ее до дверей квартиры и получилъ позволеніе представиться къ ней на слѣдующій день. Представленіе это произошло по образу всѣхъ подобныхъ представленій, т. е. было очень непродолжительно, но обильно любезностями и общими мѣстами, сказанными съ обѣихъ сторонъ, и окончилось приглашеніемъ—продолжать знакомство. Теперь слѣдуетъ намъ покороче познакомиться съ личностію новаго знакомца Лидіи Александровны.

XV.

Баронъ Александръ Ивановичъ фонъ-Штурцгеймъ былъ, какъ мы видѣли, молодой человѣкъ, двадцати пяти лѣтъ отъ роду, очень красивой наружности и служилъ въ министерствѣ иностранныхъ дѣлъ. Онъ воспитывался въ Царскосельскомъ Лицеѣ и учился очень хорошо. Не обладая блестящими способностями, онъ бралъ однимъ неутомимымъ прилежаніемъ и былъ, какъ говорятъ на школьномъ языкѣ, «страшный долбешка».

Немало способствовала успѣхамъ его ученія въ Лицеѣ хорошая домашняя подготовка и превосходное знаніе иностранныхъ языковъ.

Отецъ его, родомъ изъ Лифляндіи, но поселившійся въ Великороссіи и принявшій православіе, занималъ очень видное мѣсто на службѣ, имѣлъ довольно крупный чинъ и хорошія связи. Онъ ничего не жалѣлъ для образованія своего единственнаго дѣтища; но угадавъ, что сынъ его не одаренъ большими способностями, ни умомъ, заботился только о блестящей сторонѣ его воспитанія, и старался навести на него безукоризненную политуру, которою отличаются паразиты моднаго фешьёнебельнаго свѣта отъ истинно полезныхъ дѣятелей на поприщѣ службы, наукъ и художествъ. Но, вмѣстѣ съ этою блестящею политурою, сынъ стараго барона усвоилъ себѣ множество разныхъ аристократическихъ привычекъ и замашекъ, за которыя не разъ доставалось ему отъ школьныхъ его товарищей.

Молодой баронъ очень хорошо окончилъ лицейскій курсъ, получилъ отличный аттестатъ и былъ тотчасъ же опредѣленъ на службу въ министерство иностранныхъ дѣлъ. Отецъ ввелъ его въ лучшее петербургское общество, руководилъ первыми его шагами на поприщѣ службы и въ гостиныхъ, и вскорѣ затѣмъ умеръ, оставя сыну хорошія связи, нѣсколько экипажей съ парою отличныхъ лошадей и каменный, трехъэтажный домъ на Моховой, приносившій пять тысячъ въ годъ, что было еще лучше связей.

Александръ Ивановичъ былъ удивительный человѣкъ: между своими товарищами по воспитанію и по службѣ, онъ извѣстенъ былъ какъ хорошій, но весьма недалекій, пустой малой, и порядочный фатъ; въ гостиныхъ же прослылъ не только за самаго любезнаго, но и очень умнаго и образованнаго молодаго человѣка. У барона былъ замѣчательный талантъ *планировать, собирать колосья* и еще — умѣть показать товаръ лицемъ. Онъ постоянно слѣдилъ за всѣми новостями, печатными или изустными, и чутко прислушивался ко всему, что говорили около него люди, прославшіе умомъ или познаніями. Изъ всего этого у него составлялся насущный запасъ всякой всячины, для поддержанія непродолжительнаго разговора въ гостиной. И онъ очень экономически и ловко распоряжался этимъ запасомъ, и съ большею пользою для себя пускалъ его въ оборотъ, такъ что, въ продолженіе цѣлаго часа, могъ говорить очень дѣльно и показаться очень умнымъ человѣкомъ. Въ особенности, онъ хорошо владѣлъ фразою, умѣлъ строить и заокруглять періоды, вплетая, время отъ времени, кудрявое выраженіе, звонкое слово, антитезу, или блестящій парадоксъ, подъ которыми удавалось ему прятать

бѣдность мыслей, безцвѣтность сужденій и отсутствіе оригинальности во взглядахъ на людей и вещи. Для начала рѣчи у него всегда было на готовѣ нѣсколько формулъ, которыя позволяли ему дать разговору желаемое направленіе, ввести въ него свой насущный запасъ всякой всячины, и сбыть этотъ запасъ самымъ выгоднымъ образомъ.

Итакъ, если кто пробесѣдуетъ съ молодымъ барономъ съ полчаса, и ужъ никакъ не болѣе часу, тотъ, разставшись съ нимъ, подумаетъ: какой милый и умный молодой человѣкъ. Но если продлить съ нимъ разговоръ болѣе часа, тогда мнѣніе о немъ начнетъ измѣняться, и чѣмъ далѣе пробудешь съ нимъ за предѣлами роковаго часа, тѣмъ полнѣе становится разочарованіе. Тогда начнутъ проявляться въ его разговорѣ несообразности, дикія мнѣнія, повтореніе нелѣпѣйшихъ слуховъ, слышанныхъ имъ гдѣ-то, отъ кого-то и когда-то. Далѣе слѣдуютъ вялые, тупые анекдоты, или поговорки, сентенціи и цитаты, вовсе неидущія къ дѣлу. Потомъ вдругъ станетъ выдавать за несомнѣнную истину небылицу изъ «Не любо не слушай», ссылаясь на какой-то допотопный авторитетъ, такъ что подъ конецъ его собесѣдникъ остается въ полномъ недоумѣніи, серьезно ли говоритъ онъ, или мистифируетъ. Познакомившись съ умственными способностями барона, скажемъ нѣсколько словъ о другихъ его качествахъ.

Онъ былъ честенъ, акуратенъ, воздержанъ, порядочный эгоистъ, любилъ во всемъ порядокъ, изящество и комфортъ; избѣгалъ короткости въ знакомствахъ и особенно пріятелей, имѣлъ прекрасныя манеры, и хотя не носилъ стеклышка въ глазу, но былъ однимъ изъ представителей шика самой лучшей пробы.

Хотя онъ былъ очень красивъ собою, высокаго роста и крѣпкаго тѣлосложенія, но не пользовался особеннымъ счастіемъ у прекраснаго пола, и не прославилъ себя ни одной скандалезной исторіей. Во-первыхъ, несмотря на то, что былъ брюнетъ, онъ имѣлъ самый холодный темпераментъ; во-вторыхъ, начитавшись Бальзака, онъ увлекся его героинями, по которымъ и составилъ себѣ идеалъ женщины. Поэтому, на дѣвицъ не обращалъ онъ ни малѣйшаго вниманія, а между петербургскими дамами тщетно искалъ своего идеала: никакъ не подходили подъ бальзаковскіе типы тридцати и сорокалѣтнихъ женщинъ. У насъ какъ только стукнетъ подъ-тридцать, а тѣмъ болѣе за тридцать лѣтъ, такъ ужъ, по большой части, теряется и поэзія, и красота. Рано начинаютъ жить, и потому скоро изнашиваются. Во Франціи, въ Англіи, въ Бельгіи, напримѣръ, восемнадцатилѣтнюю дѣвицу отдаютъ еще года на два въ пансіонъ, чтобы дополнить домашнее образованіе. А потомъ уже двадцати-

лѣтнюю начинаютъ вывозить въ свѣтъ, но и то въ первые два года не часто; а танцовать ей позволяютъ только съ тѣми мужчинами, которые были представлены ея родителямъ. А потомъ уже получаетъ она болѣе свободы. Но, чтобы въ шестнадцать или семнадцать лѣтъ кончить иногда свое воспитаніе, и сейчасъ же поступать на паркетъ; броситься въ вихрь баловъ, спектаклей и выѣздовъ съ безчисленными визитами; погрузиться въ омутъ свѣтской жизни; это — вещь невиданная и неслыханная за границею, особенно во Франціи и въ Бельгіи.

Итакъ, подъ вліяніемъ Бальзака, нашъ баронъ все искалъ воплощенія своего идеала и не находилъ. А если и случалось встрѣтить ему что-либо подходящее къ его идеалу, такъ къ этому подходящему невозможно было подойти ни съ какой стороны. И вдругъ встрѣчается онъ въ Павловскѣ съ Лидіею Александровною Звольскою, которой именно стукнуло уже полныхъ тридцать лѣтъ, но которая, своею красотою и умомъ, могла бы затмить множество двадцатилѣтнихъ дамъ. А въ довершеніе всего онъ дѣлается еще защитникомъ, покровителемъ этой красавицы и принимаетъ размѣры героя, обративъ въ бѣгство молодаго гвардейца, и уменьшивъ авторитетъ генерала Камброна.

«Нашелъ, нашелъ! вотъ мой идеалъ!» говорилъ баронъ, возвращаясь домой послѣ перваго визита, сдѣланнаго имъ Звольской. А черезъ недѣлю послѣ того онъ уже былъ вполнѣ очарованъ и увлеченъ. Затѣмъ прошла еще недѣля. Александръ Ивановичъ бывалъ у Звольской каждый день. Сердце его было такъ сильно подготовлено къ воспріимчивости неудачными дотолѣ поисками идеала, и, въ то же время, отъ Лидіи Александровны такъ много отдѣлялось любовнаго угара, что, недолго думая, баронъ предложилъ ей руку и сердце. Она не сказала ему ни да, ни нѣтъ, а просила дать ей недѣлю времени на размышленіе, прежде нежели рѣшиться на что нибудь. Баронъ покорился этой отсрочкѣ, а Звольская принялась размышлять и дѣйствовать.

Прежде всего она навела справки о баронѣ и получила самыя удовлетворительныя свѣдѣнія о его личности. Вслѣдъ затѣмъ осязательно убѣдилась въ томъ, что въ Моховой дѣйствительно существуетъ каменный, трехъ-этажный домъ барона фонъ-Штурцгейма, что домъ этотъ приноситъ пять тысячъ въ годъ и нигдѣ не заложенъ. Потомъ начались сравненія и взвѣшиванія на вѣсахъ холоднаго ума Лидіи Александровны. Съ одной стороны былъ брошенъ на эти вѣсы Лѣтневъ, съ другой баронъ. Послѣдній перевѣсилъ на основаніи слѣдующихъ соображеній и расчетовъ:

1) Александръ Иванычъ былъ тринадцатью годами моложе Александра Сергѣича. C'est quelque chose, для тридцатилѣтней женщины.

2) Александръ Иванычъ былъ великолѣпнѣйшій брюнетъ и носилъ самыя образцовыя дипломатическія бакенбарды.

3) Александръ Иванычъ былъ *баронъ*... Это хотя и не сіяетъ, но все-таки пріятнѣе слышать: «Madame la baronne», нежели просто: «Madame Letneff».

Наконецъ 4) и самое главное: у Александра Сергѣича было четыре тысячи дохода, а у Александра Иваныча пять. Эта лишняя тысяча была чрезвычайно важна тѣмъ, что обезпечивала собственную карету съ парою сѣрыхъ. А въ этомъ-то и состоялъ, по ея понятіямъ, · пафосъ супружеской жизни. «Ну что за жизнь безъ своей кареты?» думала Звольская. «Нѣтъ! благодарю покорно за такое удовольствіе; я ужъ испытала его.»

И Лѣтневъ былъ принесенъ въ жертву каретѣ съ парою сѣрыхъ и чернымъ дипломатическимъ бакенбардамъ. Къ тому же, Лидія Александровна сильно негодовала на свое сердце за то, что оно вздумало проснуться въ Парижѣ и взбунтоваться противъ ея разума и бывшаго его повелителя. Она вознамѣрилась строго, примѣрно наказать это сердце и даже нашла, что жить вовсе безъ сердца будетъ гораздо лучше, покойнѣе, поэтому рѣшилась выйти за барона. Правда, что послѣ двухъ или трехъ его къ ней визитовъ, она увидѣла, что онъ недаленъ и страшно пустъ. Но Грибоѣдовъ давно уже порѣшилъ вопросъ объ умѣ мужей. Впрочемъ, за исключеніемъ ума, у барона было все, что необходимо для хорошаго мужа; а главное — лишняя тысяча рублей дохода, то-есть, карета на лежачихъ рессорахъ.

Слѣдовательно, бракъ этотъ можно было уподобить *закладыванію сердца въ банкъ тщеславія*...

На такое рѣшеніе Лидіи Александровны имѣло вліяніе еще слѣдующее обстоятельство:

По пріѣздѣ въ Петербургъ, она, между прочими знакомыми, отыскала и свою кузину Чушкину и была принята ею отлично (судя по наружности). Наканунѣ дня, въ который нужно было дать барону рѣшительный отвѣтъ, Агаѳья Аристарховна пріѣхала къ Лидіи и въ разговорѣ сказала ей:

— Ахъ, ma chère! Какъ бы я была рада, когда бы ты опять поселилась въ Петербургѣ!.. И въ самомъ дѣлѣ: оставайся здѣсь, съ нами, которыя всѣ такъ любятъ тебя. Довольно нажилась ты за-границею. Но еслибы, поселясь здѣсь, ты вздумала заводить своихъ лошадей, то я рекомендую тебѣ моего каретнаго мастера: отличный! Онъ недавно открылъ свое заведеніе, и потому беретъ недорого и дѣлаетъ хорошо. Вотъ его адресъ.

И Чушкина подала Лидіи билетъ съ адресомъ каретника. Ей хорошо была извѣстна слабость кузины къ собственной каретѣ и невозможность ее имѣть, и потому она хотѣла не услужить, а только досадить ей, въ чемъ и успѣла. «Такъ вотъ будетъ же у меня своя карета, на зло тебѣ», подумала Звольская и прибавила:

— Э, ma chère! Гдѣ намъ имѣть карету? Вѣдь не всѣмъ родители оставляютъ по шестисотъ душъ, да по три мельницы съ заводомъ. Будь у меня хоть половина всего этого, такъ я съумѣла бы распорядиться не хуже другихъ... А впрочемъ, кто знаетъ? Можетъ мнѣ и пригодится твой каретникъ. Давай его адресъ... Мегсі.

Черезъ день послѣ этого разговора между двумя кузинами, [illegible]онъ явился къ Лидіи Александровнѣ и почтительно ожидалъ ея рѣшенія. Она протянула ему свою маленькую ручку и сказала:

— Надѣюсь, что вы сдѣлаете меня счастливою.

— Это единственное мое желаніе, цѣль моей жизни, отвѣчалъ баронъ и нѣжно поцѣловалъ протянутую ему руку.

«А Лѣтневъ, страстный, пламенный Лѣтневъ, который такъ боготворилъ тебя, который отказался бы для тебя отъ всѣхъ богатствъ, почестей и славы, отъ всѣхъ благъ здѣшней жизни! Неужели онъ стоилъ менѣе, чѣмъ карета на лежачихъ рессорахъ?» заикнулось было шепнуть Звольской ея бѣдное, назначенное къ залогу сердце.

— Цыцъ! мысленно крикнула на него Лидія Александровна. — Вотъ я тебя проучу, негодный бунтовщикъ! И въ ту же минуту ея холодный умъ поспѣшилъ потакнуть своей повелительной госпожѣ слѣдующей аргументаціей: «Ну, чтожъ за бѣда, если Лидія Александровна выйдетъ за другаго, а не за Лѣтнева. Поплачетъ онъ, погорюетъ, да и утѣшится. Вѣдь онъ любилъ же Вѣру, потерялъ ее и — утѣшился. Тоже будетъ и теперь».

То же, да не то, отвѣтимъ мы на аргументацію госпожи Звольской. Страшна для такихъ людей, какъ Лѣтневъ, потеря любимой женщины, похищаемой смертію, но во сто кратъ страшнѣе потеря, когда страстно-любимая женщина живая и сама вырывается изъ объятій для того, чтобы сейчасъ же перейти въ другія объятія. О, въ аду нѣтъ такихъ мукъ, инквизиція не придумала еще такихъ истязаній, какимъ черная измѣна любимой женщины подвергаетъ сердце мужчины, подобнаго Лѣтневу!

Черезъ два дня послѣ того, какъ Звольская отдала барону свою руку, между ними произошелъ обмѣнъ колецъ, поцѣлуевъ и мѣстоименій *ты*. А черезъ недѣлю Лидія Александровна представила барона всѣмъ своимъ

знакомымъ, какъ жениха своего, и затѣмъ — карета и полуколяска съ парою сѣрыхъ поступили уже въ полное ея распоряженіе, къ немалой досадѣ Агаѳьи Аристарховны, которая никакъ не ожидала такого владѣнія въ жизни своей кузины, когда предлагала ей своего каретника. Свадьба была назначена черезъ двѣ недѣли. Звольская имѣла причины поспѣшить съ этою свадьбою.

Въ этотъ-то роковой промежутокъ пріѣхалъ Лѣтневъ въ Петербургъ и явился къ Лидіи Александровнѣ, которая приготовила ему достойную награду за то, что онъ спасъ ея честное имя отъ позора, избавилъ ея дочь отъ сиротства, отъ наемныхъ рукъ, отъ нищеты, горя и невѣжества въ настоящемъ и, быть можетъ, отъ погибели, разврата и отчаянія въ будущемъ, вмѣсто чего далъ ей и пріютъ, и честное имя, и хорошее состояніе. Такова почти всегда бываетъ *вѣчная* благодарность тщеславныхъ и, поэтому, бездушныхъ красавицъ. Тотъ же остроумный поэтъ, о которомъ упомянулъ я выше, сказалъ:

«Онъ все отдастъ за плоскія рессоры
И пару кровныхъ лошадей».

Еще съ большею справедливостію можно примѣнить эти стихи къ Лидіямъ Александровнамъ, которыя тоже:

«Все отдадутъ за плоскія рессоры
И пару кровныхъ лошадей».

Скажемъ еще нѣсколько словъ о нашемъ героѣ:

Ни описать, ни вообразить невозможно того, что происходило въ душѣ Лѣтнева, когда онъ вышелъ отъ Звольской. Въ ушахъ его, какъ погребальный звонъ, раздавались слова: «у тебя, твой, твое, моего жениха». Отъ этихъ немногихъ словъ, какъ отъ ударовъ молотомъ, трещала его голова, и, казалось, распадалась на части. Ихъ погребальный гулъ мутилъ разумъ, отдавался въ сердцѣ, потрясалъ весь организмъ и причинялъ мучительную боль, которую можно было назвать «нравственной встряскою».

Когда онъ вышелъ на улицу, было пасмурно. Дулъ сильный, холодный и сырой вѣтеръ съ моря, и застилалъ все небо густыми дождевыми облаками. Лѣтневъ пошелъ скорыми шагами, самъ не зная куда. Онъ ничего не видѣлъ и не слышалъ, и все шелъ. Дома, прохожіе, проѣзжіе, тротуары, тумбы, все это мелькало передъ нимъ, какъ въ туманѣ, слилось въ одну неясную, безобразную массу. Долго шелъ онъ, не останавливаясь, точно какъ бы спасался отъ преслѣдованія. Онъ старался

убѣжать куда нибудь отъ Звольской, отъ барона, отъ самого себя. Потомъ онъ чувствовалъ, что идетъ по мосту, черезъ широкую рѣку. Потомъ около его все стихло; не стало ни проѣзжихъ, ни прохожихъ. А между тѣмъ началъ накрапывать дождь, и все сильнѣе и сильнѣе, и вдругъ полился, какъ изъ ведра. Но Лѣтневъ ничего не замѣчалъ, не чувствовалъ, и все шелъ далѣе. Наконецъ перестали мелькать передъ нимъ и дома, потянулись заборы; потомъ и тѣхъ не стало, и онъ очутился въ полѣ, между Выборгскою стороною и дачами. Тутъ онъ остановился, посмотрѣлъ вокругъ себя, увидѣлъ въ сторонѣ большой камень и сѣлъ на него. Глубокій, болѣзненный стонъ вырвался изъ его груди. Онъ снялъ съ себя шляпу, положилъ ее на траву, схватилъ себя за голову, оперся локтями о колѣни, и громко, отчаянно зарыдалъ. Долго лились его слезы и смѣшивались съ дождевою водою. Ему казалось, что небо тоже плакало вмѣстѣ съ нимъ и о немъ. Наконецъ рыданія его стихли, а онъ все сидѣлъ и не чувствовалъ, что промокъ до костей.

— А что, баринъ! не свезти ли васъ въ городъ? раздалось въ его ушахъ. Онъ поднялъ голову: передъ нимъ остановился Ванька. Лѣтневъ всталъ съ камня и молча сѣлъ на дрожки.

— Куда прикажете?

— Къ Демуту, сказалъ Лѣтневъ.

— Трехъ-рублевичекъ дадите?

Лѣтневъ кивнулъ головой въ знакъ согласія, и извощикъ поѣхалъ. Войдя въ свой номеръ, онъ снялъ мокрое платье, переодѣлъ бѣлье, надѣлъ халатъ, легъ на диванъ и заснулъ тяжелымъ, лихорадочнымъ сномъ. Проспалъ онъ до вечера. Проснувшись, кликнулъ своего человѣка и сказалъ:

— Уложи въ чемоданъ всѣ вещи; завтра я ѣду въ Москву.

XVI.

Наконецъ, госпожа Звольская превратилась въ «madame la baronne de Schturzheim». Свадьба ея была великолѣпна по количеству и по качеству присутствовавшихъ при бракосочетаніи со стороны жениха. Когда пріѣхали изъ церкви и начали поздравлять молодыхъ съ бокалами въ рукахъ, гостиная барона и баронессы походила въ эту минуту на млечный путь или на звѣздное облако, по обилію посѣтителей, укра-

менныхъ звѣздами. У многихъ было по двѣ и по три; тѣхъ же, у которыхъ было по одной, и не перечтешь.

Итакъ, осуществились, наконецъ, давнишнія мечты Лидіи Александровны; исполнились всѣ желанія ея щепетильной души, всѣ замыслы ея тщеславнаго ума. Она была баронесса, имѣла отличный салонъ, самый отборный кругъ знакомыхъ, состоящій изъ однихъ только «parfaitement distingués», и наконецъ свою собственную карету съ парою сѣрыхъ, этотъ вѣнецъ ея стремленій, этотъ «criterium» ея жизненнаго блаженства.

Баронъ скоро вполнѣ оцѣнилъ замѣчательныя экономическія и административныя способности своей жены. Онъ съ радостію передалъ ей все хозяйство, весь бюджетъ, всѣ приходы и расходы. Когда прошелъ медовый мѣсяцъ, Лидія Александровна серьезно, глубокомысленно занялась составленіемъ этого бюджета. Она погрузилась вся въ финансовыя соображенія, въ соглашеніе разныхъ статей прихода и расхода, предусмотрѣла все и привела въ такое удивительное равновѣсіе расходы съ доходами, что ей позавидовали бы всѣ министры финансовъ. Когда окончила она свое маленькое финансовое chef-d'oeuvre, къ ней вошелъ мужъ, возвратившійся откуда-то съ веселымъ лицемъ. Онъ почтительно поцѣловалъ у жены руку и сказалъ:

— Ты занята, chére baronne! Могу ли я видѣть твою работу?

— Прежде всего слѣдуетъ поцѣловать меня, monsieur le baron! кокетливо проговорила баронесса, и начала слегка теребить мужа за его дипломатическія баккенбарды.

Баронъ нѣжно поцѣловалъ свою баронессу въ самыя губы.

— Я только что окончила составленіе нашего бюджета. Хочешь просмотрѣть его?

— Съ удовольствіемъ, хотя это и не по моей части; но дипломаты рѣшаютъ иногда судьбу финансовъ однимъ почеркомъ пера подъ какимъ нибудь трактатомъ. Votre budjet, madame le ministre des finances.

Баронесса подала мужу большой листъ бумаги, раздѣленный на два столбца—прихода и расхода. Баронъ пристально пробѣжалъ его и потомъ сказалъ:

— Въ статьѣ расходовъ ты пропустила двѣ важныя вещи.

— Напримѣръ? живо подхватила баронесса, задѣтая за живое замѣчаніемъ мужа о неполнотѣ составленнаго ею бюджета.

— Вотъ видишь ли, говорилъ баронъ съ многозначительною улыбкою. Ты не помѣстила абонемента ложи въ итальянской оперѣ, и другой—во французскомъ театрѣ.

— Да вѣдь тогда нарушится равновѣсіе бюджета и окажется дефицитъ.

— Какъ это?

— Очень просто: при семи тысячахъ дохода невозможно и держать своихъ лошадей, и имѣть назначенные дни въ недѣлю, и поддерживать наши знакомства, и, сверхъ того, еще абонироваться на двѣ ложи. Надо что нибудь да пропустить: или ложи, или своихъ лошадей? А вѣдь, признайся, имѣть свою собственную карету гораздо пріятнѣе театральныхъ абонементовъ?

— Да почему же ты знаешь, что у насъ только семь тысячь доходу, а *не болѣе?* сказалъ баронъ таинственно, ударяя на послѣднемъ словѣ.

— Какъ же мнѣ этого не знать? возразила баронесса, которая еще до принятія предложенія барона знала уже хорошо цифру этихъ доходовъ, и заранѣе разсчитала по ней свою будущую жизнь: — Домъ твой приноситъ пять тысячь въ годъ; да я получаю съ своего капитала по двѣ тысячи, итого семь тысячь рублей, ни болѣе, ни менѣе.

— Ну, а если у насъ окажется не семь, а девять тысять годоваго дохода? проговорилъ баронъ важно и протяжно.

— Какъ же это можетъ случиться?

И лице баронессы просіяло, но потомъ вскорѣ приняло выраженіе, составленное изъ желанія и сомнѣнія.

— А вотъ какъ: я хорошо знакомъ съ однимъ откупщикомъ, Дурнорыловымъ, который многимъ былъ обязанъ моему покойному отцу. Узнавши, что я намѣренъ жениться, онъ сказалъ, что я могу значительно увеличить свой доходъ, и для этого предложилъ мнѣ дать ему, за извѣстные проценты, мой домъ для залога по отпускамъ, на которые теперь идутъ торги въ Сенатѣ. Я согласился, и такимъ образомъ буду получать за мой домъ еще по двѣ тысячи въ годъ, и къ тому же за полгода впередъ.

— Ахъ, Александръ! Я боюсь: откупа — самая рискованная вещь. Сколько на моихъ глазахъ лопнуло этихъ разбогатѣвшихъ цѣловальниковъ, которые никогда не умѣютъ остановиться во время, насилуютъ свое ослиное счастіе до того, что оно лопаетъ; и которые, подъ-конецъ, разоряютъ своихъ залогодателей, а сами блаженствуютъ втихомолку съ крупными крохами своего прежняго величія, положенными подъ спудъ, обманувъ и казну, и добрыхъ людей.

— Да, это случалось и можетъ еще случиться со многими откупщиками, но только не съ Дурнорыловымъ, который превосходно ведетъ свои дѣла.

Будь покойна, ma bien chère baronne! Дурнорыловъ не зарвется, хотя и держитъ на откупу три губерніи. По правдѣ сказать, онъ и не нуждается въ залогахъ, и взялъ мой домъ единственно для того, чтобы оказать мнѣ услугу, въ благодарность къ памяти покойнаго моего отца. Итакъ, успокойся и пополни нашъ бюджетъ абонементомъ двухъ ложъ, да еще расширеніемъ нѣкоторыхъ статей по твоему гардеробу. Я хочу, чтобы баронесса фонъ-Штурцгеймъ продолжала быть тѣмъ же, чѣмъ была госпожа Звольская, то-есть: образцомъ изящества и вкуса, какъ въ деталяхъ, такъ и въ ensemble своего туалета. И затѣмъ у насъ все-таки останется около тысячи рублей на непредвидѣнныя издержки.

Баронесса успокоилась и, на этотъ разъ, предалась чувству живѣйшей радости, безъ малѣйшей примѣси сомнѣнія. Она бросилась къ мужу на шею, расцѣловала его и сказала умилительнымъ голосомъ:

— Ты балуешь меня, Александръ! Какъ ты добръ и какъ блистательно началъ ты исполнять свое обѣщаніе — сдѣлать меня счастливѣйшею изъ женщинъ.

Потомъ прибавила мысленно: — Да! вотъ блаженство, такъ блаженство! И карета, и двѣ ложи, и.... Но мы не станемъ слѣдовать далѣе за бывшею госпожею Звольскою, въ исчисленіи всѣхъ деталей ея настоящаго блаженства, а подслушаемъ только конецъ ея мысленнаго монолога.

— Да! Можно ли сравнить мое настоящее счастіе съ тѣмъ, которое ожидало бы меня съ Лѣтневымъ, какой бы «океанъ блаженства ни наполнялъ его душу», какими бы «слезами ни обливалъ онъ мои ножки!» Всѣ эти «океаны, слезы, моленія, пѣсни любви» и на-половину не стоятъ наслажденія — разъѣзжать по Петербургу въ своемъ собственномъ экипажѣ, на своихъ собственныхъ лошадяхъ.

Баронесса была неумолима и безжалостна въ бичеваніи побѣжденныхъ, которые сами были когда-то побѣдителями. Особенно хорошо умѣла она бросать камни въ прошедшее, не только въ чужое, но и въ свое собственное. Въ этомъ отношеніи она походила на христіянскихъ ренегатовъ, изъ которыхъ обыкновенно выходятъ самые безжалостные, самые злые гонители и мучители послѣдователей той вѣры, отъ которой отрекались они.

Мѣсяца черезъ два послѣ описанной нами картины семейнаго блаженства Александра Иваныча и Лидіи Александровны, молодые супруги сидѣли въ уборной. Баронесса вписывала что-то въ расходную книгу, а Баронъ читалъ газету. Вдругъ онъ прекратилъ свое чтеніе и сказалъ вполголоса, говоря самъ съ собою:

— Убили!... Возможно ли?...

— Кого убили? спросила баронеса, не переставая писать.

— Лѣтнева.

— Какъ Лѣтнева! Когда, гдѣ и кто?

И баронесса перестала писать.

— А вотъ что пишутъ въ вѣдомостяхъ, въ концѣ извѣстій съ Кавказа: «Непріятель бѣжалъ, оставя на мѣстѣ множество убитыхъ. Шамиль едва не попался въ плѣнъ; но мы дорого заплатили за нашу побѣду: въ числѣ убитыхъ у насъ находится храбрый, неустрашимый полковникъ Лѣтневъ, который болѣе всѣхъ содѣйствовалъ успѣху настоящаго дѣла». Какъ жаль! Кажется, былъ хорошій человѣкъ, говорилъ баронъ, окончивъ чтеніе.

— Да, честный малый, но только страшный энтузіастъ, просто полусумасшедшій, съ которымъ не всегда было безопасно имѣть сношенія, преспокойно сказала баронесса, и такимъ образомъ, вмѣсто сожалѣнія, бросила камень хулы въ свѣжую могилу Лѣтнева, которую сама же вырыла своими маленькими ручками, возлѣ могилы Гремина. Итакъ, двѣ одинокія и раннія могилы возвышались на жизненномъ пути Лидіи Александровны, и обозначали собою два этапа ея холоднаго кокетства и зловреднаго тщеславія, этихъ нравственныхъ минотавровъ, питающихся сердцами, способными любить, страдать и не переживать крушенія своихъ надеждъ и вѣрованій.

XVII.

Прошло семь мѣсяцевъ со дня свадьбы нашей героини. Она находилась тогда въ очень интересномъ положеніи. Изъ предосторожности приглашена была заранѣе въ домъ барона акушерка. Осмотрѣвъ баронессу и переговоривъ съ нею наединѣ, она объявила барону, что мѣсяца черезъ два у него будетъ прибавленіе семейства, и что, если вѣрить примѣтамъ, Богъ пошлетъ ему сына, а не дочь. Баронъ несказанно былъ обрадованъ этимъ сообщеніемъ, и поцѣловалъ жену такъ горячо, какъ еще ни разу не цѣловалъ ее.

На другой день онъ отправился въ департаментъ ранѣе и пробылъ тамъ долѣе обыкновеннаго. Возвратясь домой, не былъ встрѣченъ женою ни въ залѣ, ни въ гостинной, какъ это всегда бывало до того дня. Онъ отправился въ уборную: жены и тамъ не было. Наконецъ идетъ въ

спальню; но на дорогѣ встрѣчаетъ акушерку, которая, взявъ его за руку и уводя въ уборную, говоритъ съ озабоченнымъ видомъ:

— Баронъ! Приготовтесь услышать отъ меня тревожную вѣсть... Но вы поблѣднѣли! Успокойтесь: Богъ милостивъ и все еще можетъ кончиться благополучно.

— Ради Бога, не мучьте меня! Что такое случилось? Гдѣ баронесса? что съ нею?

— Успокойтесь, баронъ! Право ничего... Вотъ видите ли: баронесса поѣхала въ одинъ магазинъ и, выходя изъ кареты, оступилась и почувствовала себя дурно. Возвратясь домой, сейчасъ же слегла въ постель. И теперь, по всей вѣроятности, послѣдуютъ преждевременные роды. Впрочемъ, баронесса чувствуетъ себя лучше и всякая опасность для нея миновалась.

Баронъ отправился, вмѣстѣ съ акушеркою, въ спальню къ женѣ. Лидія Александровна лежала блѣдная, утомленная, какъ это всегда бываетъ въ подобныхъ случаяхъ. Баронъ былъ очень разстроганъ и провелъ у постели жены цѣлый вечеръ. Время отъ времени она чувствовала сильныя боли. Къ полуночи она успокоилась и заснула. Акушерка уговорила барона удалиться въ свой кабинетъ и отдохнуть. Онъ послушался и оставилъ спальню. Войдя въ кабинетъ, легъ не раздѣваясь на диванъ и, приказавъ себя разбудить въ случаѣ, еслибы что нибудь случилось съ баронессою, заснулъ крѣпкимъ сномъ.

Въ шесть часовъ утра акушерка сама разбудила барона, и поздравила его съ благополучнымъ разрѣшеніемъ баронессы. Богъ даровалъ ему сына, живаго и здороваго, хотя и рожденнаго гораздо прежде срока. Этимъ счастливымъ исходомъ опаснаго случая обязаны были крѣпкому тѣлосложенію Лидіи Александровны. Такъ объясняла акушерка, и простоватый баронъ всему повѣрилъ и былъ вполнѣ счастливъ, какъ мужъ и какъ отецъ.

Черезъ недѣлю новорожденнаго окрестили и наименовали Александромъ «въ честь отца». A la bonne heure!...

Это былъ здоровенькій, полненькій ребенокъ, вовсе непохожій на двухмѣсячнаго недоноска... Но такія ли чудеса производитъ иногда семейное блаженство, основанное на собственной каретѣ и на парѣ сѣрыхъ?

Баронесса возъимѣла было желаніе кормить сама своего недоношеннаго Сашу; да повозившись съ нимъ недѣлю, раздумала и передала его кормилицѣ. Чтобы самой кормить ребенка, надо было лишить себя многихъ свѣтскихъ удовольствій и потерять цѣлый годъ жизни. А время очень дорожаетъ для красавицъ, переступившихъ за тридцать.

Наконецъ баронесса оправилась отъ родовъ. Когда она брала къ себѣ на руки малютку Сашу, то всякій разъ говорила:

— Ахъ, какъ онъ похожъ на отца! Вылитый Александръ Иванычъ. Не правда ли? спрашивала она у всѣхъ домашнихъ.

— Точно такъ, сударыня! весь въ Александра Иваныча, отвѣчали ей всѣ, кромѣ плутоватой Маши, которая молчала, и, выходя отъ барыни, думала про себя:

— Богъ знаетъ, что вы говорите! Ну таки нисколько не похожъ на Александра Иваныча. Хоть баринъ нашъ и красивъ собою, молодецъ, да вѣдь глаза-то у него сѣрые, носъ горбомъ, ротъ большой, губы толстые; а у маленькаго барина глаза каріе, носъ прямой, ротикъ маленькій, губки тоненькія; ну точь въ точь, какъ у Александра Сергѣича... Гдѣ-то онъ теперь, мой голубчикъ, мыкаетъ свое горе? Грѣшно нашей барынѣ! Сгубила ни за что такого добрѣйшаго барина, ангельскую душу... Нечего грѣшить: и Александръ Иванычъ добрый баринъ, да все-таки не чета Александру Сергѣичу.

И Маша вздохнетъ и пригорюнится.

По совершенномъ своемъ выздоровленіи, баронесса собиралась начать свои выѣзды и объѣзды фешьенебельныхъ гостиныхъ. На эту пору пріѣзжаетъ къ ней Агаѳья Аристарховна. Надо сказать, что Лидія Александровна и по выходѣ замужъ поддерживала знакомство съ кузиною, у которой уже было тогда полторы тысячи душъ, два каменные дома въ Петербургѣ и своя дача на Черной рѣчкѣ. Что же касается до ея мужа, знакомаго намъ Ивана Ѳомича, то онъ продолжалъ свою службу съ большимъ успѣхомъ, находился уже болѣе девяти лѣтъ въ чинѣ статскаго совѣтника, то-есть былъ чуть-чуть не превосходительство, которое впрочемъ многіе и давали ему изъ оффиціальной вѣжливости. Долгъ платежемъ красенъ: вѣдь и самъ Иванъ Ѳомичъ говорилъ когда-то всѣмъ статскимъ совѣтникамъ: «ваше превосходительство.»

Итакъ, къ баронессѣ пріѣхала Агаѳья Аристарховна. Войдя въ ея гостиную, она приняла самую величественную позу, нисколько не уступавшую той, какую, бывало, покойный Толченовъ принималъ въ роли Эдипа, и продекламировала тоже потолченовски:

— Поздравь меня: я дѣйствительная статская совѣтница.

Баронессѣ стоило большихъ усилій надъ собою, чтобы не расхохотаться. Она тоже приняла величественную позу, идя на встрѣчу своей кузинѣ, и сказала потеатральному:

— Ты застала меня врасплохъ, chère excellence! Я приготовила бы по крайней мѣрѣ четырехстишіе, чтобы достойнымъ образомъ поздра-

вить тебя съ новорожденнымъ превосходительствомъ. А теперь должна ограничиться презрѣнною прозою, поздравляя мою милую генеральшу и, обнявъ ее отъ всей души, пожелать ей дожить и до высокопревосходительства.

И баронесса обняла и поцѣловала свою кузину.

— Bien mercі, отвѣчала Агаѳья Аристарховна.

— А я, съ своей стороны, поздравляю тебя съ новорожденнымъ барономъ. Одно другаго стоитъ.

Кузины усѣлись на диванъ, и Чушкина снова заговорила:

— Я сообщила тебѣ еще далеко не все, что имѣю сообщить.

— Что же еще есть у тебя новенькаго?

— Ивана Ѳомича назначили вице-директоромъ департамента.

— Радуюсь и снова поздравляю тебя. Ну что же скажешь мнѣ еще?

— Есть и еще кой-что.

Тутъ Агаѳья Аристарховна тяжело вздохнула, приняла печальное выраженіе и спросила:

— Давно ли ты получала вѣсти изъ Малороссіи о твоемъ братѣ?

— Болѣе мѣсяца тому назадъ. Мнѣ писали, что онъ заболѣлъ.

Агаѳья Аристарховна вздохнула тяжелѣе прежняго и сказала сокрушенно:

— Антонъ Александрычъ приказалъ долго жить, царство ему небесное.

— Какъ! братъ умеръ!

И Лидія Александровна заплакала.

— Но это еще не все, заговорила Чушкина, которая довольно удачно расчитала эффектъ своихъ сообщеній кузинѣ.

— Что же еще тамъ случилось? спросила баронесса, переставъ плакать.

— А вотъ что пишутъ мнѣ изъ Малороссіи.

Тутъ Агаѳья Аристарховна достала изъ кармана письмо, и, развернувъ его, начала читать слѣдующее:

«Съ недѣлю тому назадъ умеръ Антонъ Александрычъ Чупринскій. Смерть эта огорчила всѣхъ его знакомыхъ, но въ особенности его кредиторовъ. Тебѣ извѣстно, что покойникъ любилъ хорошо жить, и жилъ гораздо выше своего состоянія. Каждый почти годъ ѣздилъ на зиму въ Москву, былъ членомъ англійскаго клуба и велъ тамъ большую игру. Имѣніемъ же своимъ управлялъ очень плохо. И теперь, послѣ его смерти, оказались на немъ огромные долги, такъ что бѣдные его кредиторы получатъ не болѣе, какъ по десяти копѣекъ на рубль.»

Чтеніе письма окончилось и, на этотъ разъ, баронесса чуть было не заплакала пуще прежняго, да удержалась, чтобы не доставить Агаѳьѣ Аристарховнѣ слишкомъ большаго торжества.

— Вѣдь кажется и тебѣ былъ долженъ покойный Антонъ Александрычъ, дай Богъ ему царство небесное?

— Да, отвѣчала сухо Лидія Александровна.

— Пропали твои гроши! произнесла Чушкина съ притворнымъ сожалѣніемъ.

— Что-жъ дѣлать! На то воля Божія. Не одна я терпю.

— Все-таки очень непріятно терять, да еще черезъ брата.

Визитъ кончился, и Чушкина уѣхала съ гордымъ сознаніемъ, что отплатила хорошо своей кузинѣ за ея ироническое поздравленіе. Вслѣдъ затѣмъ пришелъ баронъ. Баронесса сообщила ему вѣсть о своемъ бѣдствіи и сильно сокрушалась о потерѣ своихъ двухъ тысячъ годоваго дохода. Но вскорѣ покорилась своей судьбѣ, и воодушевившись самымъ геройскимъ духомъ, сейчасъ же, однимъ почеркомъ пера, исключила изъ своего бюджета абонниментъ двухъ ложъ и утѣшала себя такъ:

— Карета все-таки осталась за нами; а это — самое важное.

Но когда судьба начнетъ разыгрывать съ кѣмъ нибудь свои злые фарсы, то она не ограничивается однимъ, а разыграетъ ихъ нѣсколько, и одинъ другого хуже. Спустя два дня послѣ визита дѣйствительной статской совѣтницы Чушкиной, раздался въ передней такой сильный, неистовый звонъ, что шнурокъ у колокольчика оборвался.

— Что это за буянъ трезвонитъ такъ? ворчала Маша, отпирая дверь. — Ахъ, это вы, Александръ Иванычъ.

— Да, я, говорилъ сердито баронъ и, сбросивъ съ себя шубу и теплыя калоши, пошелъ скорыми шагами къ женѣ. Лидія Александровна вышла на встрѣчу къ мужу и перепугалась: на баронѣ лица не было. Онъ былъ блѣденъ, волосы на головѣ были взъерошены, бакенбарды неприглажены, растрепаны и представляли изъ себя уже не дипломатическія, а скорѣе похожія на бакенбарды обломовскаго Захара.

— Что съ тобою? спросила въ ужасѣ баронесса.

— Все погибло! отвѣчалъ съ отчаяніемъ баронъ, опускаясь на кресла.

— Что такое погибло?

— И карета, и пара сѣрыхъ.

Баронесса поблѣднѣла при этихъ словахъ. Но, по пословицѣ, утопающій за соломенку хватается, она сказала:

— Вѣрно кучеръ наѣхалъ на что нибудь, изломалъ въ дребезги карету, задавилъ кого нибудь, и лошадей отобрали въ полицію?

— Велика бѣда! карету можно заказать новую, лошадей другихъ купить. Но мы потеряли всякую возможность держать свой экипажъ и своихъ лошадей.

— Какимъ это образомъ?

— А такимъ, что ты была совершенно права, говоря мнѣ, что откупа вещь самая рискованная. Я былъ дуракъ, что не послушался твоего предостереженія. Дурнорыловъ лопнулъ: всѣ его откупа оказались неисправными и отданы съ торговъ новымъ содержателямъ, и съ большимъ пониженіемъ противъ прежняго.

— Что-жъ изъ этого слѣдуетъ?

— А то, что казна получила изъ банка деньги по свидѣтельству на мой домъ, и теперь, вмѣсто того, чтобы получать мнѣ по двѣ тысячи рублей въ годъ, я долженъ буду самъ платить въ банкъ проценты, по двѣ тысячи рублей. Поэтому, вмѣсто семи, у насъ остается только всего-на-все три тысячи рублей годоваго дохода.

Баронъ замолчалъ. Блѣдная, какъ смерть, баронесса упала безъ чувствъ на диванъ; прошептавъ: «моя карета, моя пара сѣрыхъ!»..

Банкъ тщеславія лопнулъ, и Лидія Александровна осталась безъ сердца, и безъ капитала, т. е. безъ кареты и безъ пары сѣрыхъ.

Стоило ли же для этого закладывать свое бѣдное сердце, которое заставило ее когда-то трепетать отъ восторга и плакать отъ счастія?... Пусть же плачетъ она теперь отъ досады обманутыхъ надеждъ, отъ разочарованной гордости, отъ неудовлетвореннаго тщеславія, отъ стыда своихъ губительныхъ паденій, отъ вѣчнаго раскаянія и сожалѣнія о двухъ отравленныхъ и загубленныхъ ею страдальцахъ.

ЭПИЛОГЪ.

Черезъ два мѣсяца послѣ разсказанной нами сцены, Лидія Александровна встала съ постели, къ которой приковалъ ее тяжелый недугъ, посѣтившій ее вслѣдствіе сильнаго потрясенія отъ понесенныхъ ею денежныхъ и другихъ потерь. Въ эти два мѣсяца она подурнѣла и постарѣла десятью годами: похудѣла, пожелтѣла и сморщилась. Пара сѣрыхъ была сведена на конную и продана. О продажѣ кареты было публиковано въ «Полицейскихъ Вѣдомостяхъ». Покупщики являлись, да не сходясь въ цѣнѣ, уходили.

Гремин и Лётнев были грозно отмщены...

Само собою разумѣется, что вскорѣ послѣ того, она раззнакомилась съ большею частію parfaitement distingués. По исчезновеніи собственныхъ лошадей, исчезло для нея болѣе половины прелести въ этихъ знакомствахъ. Sic transit gloria mundi. И сколько обаяній на свѣтѣ состоитъ въ тѣсной связи съ животными!

По ночамъ сонъ ея бываетъ часто очень тревоженъ, и она просыпается въ испугѣ. Ей снятся то Гремин, то Лётнев, которые приходятъ къ ней, показываютъ ей глубокія, дымящіяся кровію раны у себя на груди и грозятъ на нее пальцемъ.

Можетъ быть нѣкоторые изъ моихъ читателей спросятъ, что сдѣлалось съ маленькой Лидіей? Она ростетъ подъ надзоромъ Александры Петровны Рѣзвиной, которая окружила ее самою нѣжною заботливостію. Все нинѣніе Лётнева досталось ей. Отъ матери же своей она наслѣдовала красоту и умъ. Будемъ надѣяться, что умная, дѣльная, добрая и опытная Александра Петровна съумѣетъ образовать и сердце, и умъ своей воспитанницы такъ, чтобы имъ не угрожала ни летаргія сердца, ни проказа тщеславія.

С.-Петербургъ.
2-го марта 1860 г.

КНИГА ШЕСТАЯ.

ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ.

МОЯ ЛЕБЕДИНАЯ ПѢСНЬ.

НѢСКОЛЬКО СЛОВЪ КЪ ЧИТАТЕЛЯМЪ.

Писавши мою *Лебединую пѣснь*, я сначала хотѣлъ было, какъ это будетъ видно далѣе, держаться русскаго текста моего дневника; но потомъ рѣшилъ держаться текста французскаго *Поэмы любви*, потому что, хотя она и написана яркимъ, картиннымъ языкомъ, но въ ней болѣе послѣдовательности и болѣе силы и вѣрности въ выраженіи чувствъ. А главное, въ ней соблюдено строгое единство, котораго въ дневникѣ не имѣется, а именно: въ дневникѣ любовь перемѣшана съ музыкой, такъ что говорится о множествѣ лицъ и событій, относящихся къ моему гитарному конкурсу и вообще къ музыкѣ, тогда какъ въ поэмѣ всѣ лица и событія относятся лишь къ одной эпопеѣ моей любви. А съ тѣмъ вмѣстѣ, всѣ разговоры и событія согласны съ самой строгой истиной. Стало быть, слѣдовало перевести порусски сокращенный текстъ поэмы. Разумѣется, было бы всего лучше сдѣлать это мнѣ самому. Но увы! Ни минуты не имѣю свободнаго времени, которое все поглощено дополненіями и приготовленіемъ къ печати будущихъ книгъ *Моихъ воспоминаній*. А сверхъ того — я самъ держу послѣднюю корректуру. Поэтому, волей не волей, я долженъ былъ поручить другому лицу переводъ моего собственнаго труда. Вслѣдствіе этого обстоятельства, я нашелъ нужнымъ сохранить въ *Потерянномъ раѣ* и французскій текстъ, т. е. сохранить то, что *вполнѣ мое*, тогда какъ текстъ русскій, это — *полу-мое*.

I.

Фантастическій портретъ и его оригиналъ.

Въ іюнѣ 1856 года отправился я на пароходѣ за-границу съ моимъ семействомъ, состоявшемъ изъ дочерей: восьмнадцатилѣтней Анны, отъ перваго брака, и семилѣтней Лизы отъ втораго, и еще изъ свояченицы, тетки Лизы. Оставя семейство въ Висбаденѣ, отправился я въ Ахенъ, гдѣ и взялъ курсъ леченія сѣрными водами. Въ концѣ іюля пріѣхало ко мнѣ мое семейство, съ которымъ, въ началѣ августа, отправился я въ Брюссель, гдѣ и поселился надолго, на Montagne du parc. Пріѣхалъ я въ столицу Бельгіи для устройства гитарнаго конкурса, исторія котораго изложена подробно въ «Задушевной Исповѣди». На другой же день по пріѣздѣ, съ рекомендательнымъ письмомъ отъ другой моей свояченицы, отправился я съ визитомъ къ двумъ сестрамъ Гемаръ, содержавшимъ лучшій въ Брюсселѣ женскій пансіонъ и пользовавшимся всеобщимъ и большимъ уваженіемъ и почетомъ въ столицѣ Бельгіи. Въ заведеніи ихъ на Bois Sauvage, противъ соборной церкви св. Гудулы, воспитывались большею частію англичанки лучшихъ фамилій Лондона, или вѣрнѣе сказать: «довоспитывались», т. е. совершенствовались во французскомъ языкѣ, въ музыкѣ, пѣніи и рисованіи. Меня приняла старшая сестра, Генріетта, приняла необыкновенно любезно и радушно, словно роднаго или стараго знакомаго. Обѣ сестры были давно знакомы и очень дружны съ моею belle-soeur, находившейся тогда въ Парижѣ. Генріетта была женщина лѣтъ тридцати пяти, довольно красивая блондинка, хотя и въ очкахъ, выше средняго роста, очень умна и превосходно образована, съ образцово-изящными манерами. Ея младшей сестры, Софи, не засталъ я дома. Получилъ я приглашеніе, болѣе чѣмъ приглашеніе, самыя искреннія, теплыя просьбы — бывать у нихъ чаще, во всякое время, бывать запросто, безъ всякихъ церемоній и познакомить съ ними мое семейство. Въ первый же мой визитъ поразила меня въ этомъ домѣ одна вещь, на первый взглядъ самая обыкновенная: поясной женскій портретъ, висѣвшій на стѣнѣ въ передгостинной комнатѣ, гдѣ я дождался прихода Генріетты. Это была женская головка необычайной красоты. Черные какъ смоль волосы, дивные голубые глаза, цвѣтъ лица ослѣпительной бѣлизны, съ чуднымъ нѣжнѣйшимъ румянцемъ. Но надо всѣмъ этимъ царило выраженіе высокой нравственной красоты, выраженіе *чего-то* неземнаго, святаго и съ тѣмъ вмѣстѣ полнаго жизни,

нѣги, необъяснимаго очарованія. Это былъ идеалъ высокой женской красоты, идеалъ совершенства. Въ глазахъ съ поволокою свѣтилась ангельская доброта, глубокое чувство и умъ. Трудно было оторваться отъ восторженнаго созерцанія этой обаятельно-прекрасной головки.

Случалось мнѣ, въ продолженіи моихъ странствованій по свѣту, видать красавицъ въ Москвѣ, Петербургѣ, Варшавѣ, Парижѣ, Лондонѣ, Вѣнѣ, Римѣ, Флоренціи, Миланѣ и въ Венеціи, красавицъ всевозможныхъ типовъ и, если возможно выразиться также, какъ выражаются говоря о свѣтилахъ небесныхъ, «красавицъ разныхъ величинъ». Много разъ любовался я прелестными головками Греведона и, въ особенности, Грёза въ Луврской галлереѣ. Но все это было не то, было много ниже портрета въ передгостиной дѣвицъ Гемаръ. Разумѣется, я принялъ этотъ портретъ за мечту, за фантазію, необыкновенно счастливо удавшуюся какому нибудь извѣстному и талантливому бельгійскому живописцу, точно также какъ удавались головки мадонъ Рафаэлю и Мурильо. Долго смотрѣлъ я съ восторгомъ на идеальную головку бельгійскаго Мурильо и говорилъ самъ себѣ: «Плодъ дивной, вдохновенной фантазіи, но на землѣ, но въ дѣйствительности такихъ не бываетъ: это—обитательница неба, которая никогда не удостоитъ сойти на землю».

Дня черезъ три я снова посѣтилъ домъ дѣвицъ Гемаръ. На этотъ разъ я засталъ младшую сестру, Софи. Это была дѣвушка лѣтъ двадцати, высокая, стройная, съ густыми черными волосами, съ синеватымъ отливомъ, съ прелестными большими голубыми глазами съ длинными рѣсницами и самымъ нѣжнымъ цвѣтомъ лица. Но что въ ней было дивно прекрасно, очаровательно, выше всего физическаго, это—ея живой, свѣтлый, возвышенный, острый умъ, но безъ малѣйшей рѣзкости; манеры до того изящныя, мягкія, граціозныя, что до сихъ поръ нигдѣ не встрѣчалъ я ничего подобнаго. А ко всему этому прибавьте голосъ, о, какой голосъ! серебристый, мелодическій, гармоническій; это были звуки, вылетающіе изъ устъ обитателей неба и ласкающіе слухъ обитателей земли. Въ довершеніе всего, младшая Гемаръ приняла меня еще любезнѣе, радушнѣе своей сестры. Всего этого было черезчуръ много для моего воспріимчиваго и воспламенительнаго сердца и воображенія. Очарованіе было полное, непреодолимое. Вышелъ я отъ Софи Гемаръ въ какомъ-то опьяненіи, въ горячкѣ, голова кружилась, въ вискахъ стучало, въ глазахъ темнѣло. Въ слѣдующій, дня черезъ два, визитъ, я опять засталъ одну только Генріетту и, передъ ея приходомъ въ гостиную, снова залюбовался на божественную, идеально-прекрасную и фантастическую головку. Пришла Генріетта и прервала мое восторжен-

ное созерцаніе. Обмѣнявшись съ нею нѣсколькими фразами, я не выдержалъ: любопытство взяло верхъ надъ сдержанностью и я спросилъ:

— Скажите, пожалуйста, M-lle Henriette, какой живописецъ написалъ, или, вѣрнѣе, создалъ идеальную, фантастическую женскую головку, что виситъ въ позолоченой рамкѣ на стѣнѣ въ той комнатѣ?

— Фантастическую! Да это не фантазія, а дѣйствительность. Неужели вы не узнаете, чей это портретъ?

Я недоумѣвалъ.

— Да вѣдь это—Софи... Правда, ей было только восемнадцать лѣтъ, когда снимали съ нее этотъ портретъ въ Лондонѣ.

— А сколько же вашей сестрѣ теперь лѣтъ, простите за нескромный вопросъ?

— Угадайте?

— Лѣтъ двадцать, если не менѣе.

— Ха, ха, ха!.. двадцать шесть лѣтъ.

— Быть не можетъ, вы шутите?

— Двадцать шесть, вѣрно. Правда, сестра очень моложава, гораздо моложе своихъ лѣтъ. Это — мой лучшій другъ, мое неоцѣненное сокровище, мое божество; я благоговѣю передъ ней, молюсь на нее. Какъ ни красива она, но ея сердце, душа, характеръ, умъ неизмѣримо прекраснѣе ея лица. Не было и нѣтъ такого человѣка, который, зная ее хорошо, не боготворилъ бы ее. Въ Лондонѣ, гдѣ мы прожили слишкомъ шесть лѣтъ, ее обожала вся лондонская высшая аристократія, ее носили на рукахъ; весь молодой и даже пожилой Лондонъ перебывалъ у ея ногъ. Я говорю это не хвастая, а сущую правду. Мы переѣхали сюда изъ Лондона около двухъ лѣтъ тому назадъ; но Софи и по сію пору состоитъ въ самой интимной перепискѣ со множествомъ старыхъ лордовъ, которые любятъ ее какъ родную дочь и, время отъ времени, навѣщаютъ ее здѣсь. А затѣмъ и она сама посѣщаетъ Лондонъ, гдѣ встрѣчаютъ ее съ восторгомъ. Это для Лондона — большой праздникъ.

Разговоръ этотъ рѣшилъ мою участь безповоротно. Скопилась слишкомъ большая масса горючаго матеріала, чтобы не произвести взрыва, настоящаго пожара. И красота, и умъ, и сердце, и образованіе, и манеры, и звукъ голоса. О, Боже! Да кто же въ состояніи устоять противъ такого соединенія всѣхъ очарованій, противъ такого совершенства совершенствъ? Да! это было олицетвореніе идеала женскаго совершенства. Что и какъ произошло со мною, спустя нѣкоторое время послѣ этого третьяго визита въ домъ Гемаръ, языкъ и перо человѣческія безсильны *это изобразить.*

Скептики! Вы недовѣрчиво улыбаетесь, иронически пожимаете плечами при моемъ восторженномъ описаніи. Но вы перестали бы это дѣлать и повѣрили бы мнѣ вполнѣ, если бы прочитали, не всѣ, а хотя нѣсколько изъ массы писемъ ко мнѣ Софи, полученныхъ отъ нее въ продолженіи трехлѣтней нашей переписки. Письма эти, какъ святыня, сохраняются у меня, и изъ нихъ два, только первыя два, помѣщу я въ этой книгѣ. Этого достаточно будетъ, чтобы убѣдиться въ ея свѣтломъ умѣ, ангельскомъ сердцѣ, возвышенныхъ чувствахъ и характерѣ. А портретъ ея убѣдилъ бы въ ея красотѣ. Но, увы! надъ этимъ портретомъ было совершено святотатство, и кѣмъ? Дѣтскою рукою моего маленькаго сына, который, найдя его въ моемъ письменномъ столѣ, изорвалъ его въ бытность мою въ Петербургѣ . . . . . .

. . . . . .

II.

Приготовленія къ сердечной кампаніи и мобилизація сердечныхъ силъ.

Итакъ, я обѣщалъ пропѣть мою *Лебединую пѣснь*... Но что я обѣщалъ? какъ это сдѣлать? какъ исполнить мое обѣщаніе? Какъ разсказать хоть отрывочно, хоть сокращенно ту эпопею любви, которая импровизировалась слишкомъ двадцать пять лѣтъ тому назадъ и пламенныя страницы которой прочитывались въ продолженіи четырехъ мѣсяцевъ? Какъ и чѣмъ нарисовать полную картину того, что и какъ происходило со мною, что я перечувствовалъ, пережилъ и послѣ чего прошло уже болѣе четверти столѣтія? Гдѣ взять красокъ въ моемъ потухающемъ воображеніи? Гдѣ взять звуковъ въ разбитомъ сердцѣ? Откуда почерпнуть силы въ человѣкѣ отжившемъ, который занесъ уже ногу въ могилу? Надо обратиться къ источникамъ; ихъ три: огромная связка писемъ ко мнѣ Софи, черновая рукопись поэмы *Toujours vingt ans (Вѣчная юность)*, и мой заграничный дневникъ, писанный, разумѣется, порусски, кромѣ разговоровъ, которые почти всѣ написаны пофранцузски. Отворяю шкафъ, ищу и нахожу: большой и толстый конвертъ съ надписью: *письма Софи*. А вотъ и рукопись *поэмы любви*, которую, со дня ея написанія, только разъ и на одну минуту. бралъ я въ руки, въ 1878 году, чтобы взять оттуда три мысли на слово *счастіе*, для помѣщенія ихъ въ издававшейся тогда мною *Энциклопедіи ума*. Взялъ я теперь и сей-

часъ же принялся пробѣгать эту рукопись. Неужели это я писалъ эти огненныя страницы, писалъ сперва слезами любви, благодарности, безконечнаго, нечеловѣческаго счастія, восторга; а потомъ: горькими, жгучими слезами навѣки разбитаго сердца; писалъ дымящеюся кровію этого сердца. Гляжу на послѣднюю, на 150 страницу in folio *Поэмы любви*; внизу страницы написано:

Commencé le 29 octobre.
Terminé le 14 novembre 1859.

Поэма написана въ шестнадцать дней, 21 годъ и 7 мѣсяцевъ тому назадъ. Въ этихъ поэтическихъ, сперва радостныхъ, восторженныхъ изліяніяхъ, а потомъ раздирающихъ душу стонахъ и воплях, все вѣрно; всѣ разговоры, письма, происшествія, все фотографически вѣрно, и развѣ только мѣстами отличаются слишкомъ густыми красками и яркимъ колоритомъ. Да вѣдь для поэмы это необходимо, это одинъ изъ элементовъ поэзіи. Сверхъ того, придана поэмѣ обыкновенная форма вымысла, произведенія *сочиненнаго*. Если факты и разговоры вѣрны строгой истинѣ, то имена вымышлены. Итакъ, названы: я — Громиловымъ (подъ этимъ же именемъ являюсь я еще въ *Страдальческомъ Крестѣ*) Генріетта и Софи Гемаръ названы — Эрнестиной и Юліей Бертранъ *).

*) Послалъ я эту поэму въ 1860 году въ Парижъ къ Дамке, отъ котораго вскорѣ получилъ отвѣтъ. Онъ писалъ, что одна изъ большихъ парижскихъ газетъ предложила помѣстить ее на своихъ столбцахъ, но съ условіемъ: значительныхъ передѣлокъ, поправокъ, измѣненій. За это дѣло бралась извѣстная писательница графиня Д'Ашъ, но съ слѣдующими условіями: многое кой-что измѣнить и опустить весь прологъ, оставя въ цѣлости всѣ семь пѣсенъ и, въ особенности, заключительныя строфы, озаглавленныя Le Glas (звонъ по усопшемъ); и наконецъ: уплатить ей 400 фр. гонорара. Противъ этого послѣдняго условія не имѣлъ я сказать ни слова, даже еслибы былъ и болѣе крупный. На поправки и передѣлки я тоже соглашался; но пропустить всѣ 20 страницъ пролога, противъ этого я возсталъ, и поэма моя въ печати не появилась и застряла у Дамке, а черновая осталась у меня. И сильно пришлось мнѣ впослѣдствіи пожалѣть объ этомъ упрямствѣ съ моей стороны. Изъ за какихъ нибудь 20 страницъ, изъ за глупой преувеличенной любви къ своему дѣтищу, я компрометировалъ всю мою писательскую будущность. Быть можетъ тогда разомъ прекратилось бы пугачевское на меня ополченіе русской прессы, и не пролежалъ бы я подъ спудомъ 20 лѣтъ, и не погибло бы то, что роилось въ моемъ умѣ и воображеніи, что кипѣло въ моей груди.... Каюсь: ни тогда, ни теперь не люблю и не любилъ я ампутацій. *Помню, въ какое* отчаяніе пришелъ я, когда покойный Некрасовъ сдѣ-

Приведу здѣсь нѣсколько писемъ моихъ, Софи и ея сестры. Буду приводить еще нѣкоторые отрывки изъ «Поэмы любви», и приводить не только русскій переводъ, но и французскій текстъ, который въ переводѣ утратитъ всю свою поэтичность и образность. Но самымъ важнымъ и достовѣрнымъ источникомъ для *Лебединой пѣсни*, это — мой дневникъ, съ означеніемъ чиселъ, почти день въ день. Когда приступилъ я къ писанію этой 6-й книги, я находился въ величайшемъ страхѣ, и нѣсколько дней ходилъ, словно убитый: отыскивая въ шкапѣ мою поэму и письма Софи, я нигдѣ не находилъ моего заграничнаго дневника, безъ котораго было невозможно исторически вѣрное повѣствованіе. Поэтому, скрѣпя сердце, я началъ романъ по воспоминаніямъ, да по выдержкамъ изъ поэмы любви, и такимъ образомъ, написалъ нѣ-

---

лалъ небольшую ампутацію въ *Задуш. Исповѣди*, выпустивъ *описаніе Рейнскаго водопада*. Боже мой, какъ я тогда на стѣну лѣзъ изъ за этой операціи. Но Николай Алексѣичъ сейчасъ же успокоилъ меня слѣдующей аргументаціей:

— Успокойтесь, г. Макаровъ! Согласенъ: въ вашемъ описаніи водопада много поэзіи, но она годится для гостиной, а не для кабака, не для кабатчиковъ. Вѣдь главный-то сюжетъ *Исповѣди*—кабакъ да кабатчики. Ну идетъ ли къ ихъ кабацкой харѣ поэзія? Къ лицу ли пьяной бабѣ жемчужное ожерелье? Нитка стекляруса, да дешевыхъ бусъ, съ нея и довольно. — Такой аргументъ вполнѣ меня успокоилъ.

Идея «поэмы любви» зародилась во мнѣ гораздо ранѣе, а именно: когда я жилъ въ Брюсселѣ по поводу конкурса, я сошелся близко съ нѣкоторыми профессорами Брюссельской Консерваторіи, и ближе всѣхъ съ Серве и съ Дамке. Послѣдній не былъ профессоромъ; но его думали было одно время сдѣлать директоромъ Консерваторіи, какъ превосходнаго музыканта-теоретика и чрезвычайно умнаго и талантливаго человѣка. Но увы! По бельгійскимъ законамъ одинъ только природный бельгіецъ могъ быть директоромъ консерваторіи. А Дамке былъ ганноверецъ. Серве, не имѣя квартиры въ Брюсселѣ, почти всегда ночевалъ у меня, когда пріѣзжалъ на сутки въ городъ изъ Галле, гдѣ у него былъ домъ съ паркомъ. Собирался часто по вечерамъ у Дамке интимный музыкальный кружокъ, а именно: Серве (своякъ Дамке), Блазъ, Леонаръ, Куфра, Бендеръ и я. Тутъ я читалъ иногда мои письма къ Софи и къ ея сестрѣ, и ихъ — ко мнѣ. Эти письма производили громадный эффектъ и всѣ слушающіе говорили мнѣ: «Ахъ, какая это прелесть! Ради Бога, напечатайте эти письма въ нѣсколькихъ экземплярахъ, не для продажи, разумѣется, а для насъ, вашихъ друзей.»—Теперь еще рано,— отвѣчалъ я.—Пусть прежде все это окончится благополучно; пусть зданіе моего счастія будетъ вполнѣ построено, и я поселюсь въ немъ. Тогда увидимъ. Но увы! Новоселья не было. Зданіе не достроилось и рушилось гораздо ранѣе, нежели можно было поселиться въ немъ.

сколько страницъ, до обращенія моего къ скептикамъ, въ концѣ первой главы. И вдругъ, какое счастіе! Послѣ долгаго перерыванія, я нашелъ мой дневникъ на нижней полкѣ шкафа, подъ грудою бумагъ и писемъ. И теперь у меня полный комплектъ достовѣрнѣйшихъ источниковъ и документовъ. Чтобы вполнѣ понять всѣ обстоятельства и мотивы разныхъ явленій и событій, я выписываю изъ дневника сначала тѣ страницы, которыя могутъ служить введеніемъ въ самый романъ, и выписываю ихъ почти безъ передѣлокъ, а такъ, какъ онѣ писались тогда — au courant de la plume. Начинаю это выписыванье, но дѣлаю измѣненіе: дѣлю на главы, которымъ даю заглавіе.

Два года тому назадъ я сдѣлалъ слѣдующее въ себѣ открытіе: годы, страданія, тяжкія потери и испытанія и всевозможныя разочарованія, не могли нисколько состарить мое сердце, въ которомъ было столько же свѣжести, молодости, огня и силы, какъ и тогда, когда мнѣ было 20 лѣтъ. Въ то время я находился подъ вліяніемъ одной изъ тѣхъ страстей, которыя, вспыхивая въ сердцѣ съ неотразимою силой, овладѣваетъ всѣмъ нашимъ существомъ, не оставляя ни малѣйшаго мѣста для нашихъ прочихъ чувствъ или мыслей. Я любилъ, любилъ *нечистово* и страдалъ: я не былъ любимъ. Страсть моя привела было меня на край гибели: 6-го декабря 1854 г. я долженъ былъ отправиться въ страну праотцевъ. Но Провидѣніе сжалилось надъ моими дѣтьми, и удержало мою преступную руку: по одному изъ тѣхъ неожиданныхъ, дивныхъ переворотовъ въ судьбѣ человѣка, вмѣсто насильственной смерти, я вдругъ очутился на верху невыразимаго, необъятнаго блаженства, и полною чашей пилъ восторги неизрѣченнаго наслажденія. Хотя меня не любили какъ любовника, но уважали какъ человѣка. Къ тому же сила и огонь, или вѣрнѣе, полныя страсти были такъ необыкновенны, такъ непреоборимы, что я увлекъ и безъ любви; мнѣ предались вполнѣ и беззавѣтно и.... упали въ мои жгучія объятія, подъ водопадъ огненныхъ поцѣлуевъ, восторженныхъ ласкъ и изнемогающей нѣги.... До дна испилъ я чашу блаженства, которое, однакожъ, было не полно: не доставало взаимности...

Полтора мѣсяца длилось оно, это опіумное, растлѣвающее блаженство и.... вдругъ рушилось.... и не воскресало болѣе (см. выше: *Зловѣщая Комета*).... Я былъ снова погруженъ въ мрачную и бездонную пучину безнадежности. Много страдалъ я, много дѣлалъ глупостей... безумствовалъ.... Но все это кончилось благополучно и оправдало изрѣченіе: «все къ лучшему». Итакъ жилъ, или вѣрнѣе, прозябалъ я безъ *малѣйшаго* упованія на то, что еще разъ осуществится любимая, завѣт-

ная мечта всей моей жизни: *любить и быть любимымъ*, но любить нѣжно, страстно и, прилѣпившись всѣми силами души и сердца къ обожаемой женщинѣ, *чувствовать блаженство ея взаимности*.... Прости, сказалъ я всѣмъ этимъ мечтамъ, прости навѣки... Любить и любить страстно я могъ бы, я это чувствую; но *быть любимымъ*, это другой и самый важный вопросъ. Увы! потерялъ я уже малѣйшую на это надежду, особенно послѣ моей послѣдней эпопеи любви, любви ошибанной и выброшенной за окно, какъ выбрасываютъ апельсинныя корки, орѣховую скорлупу или черепки разбитаго сосуда. И я покорился моей горькой судьбѣ и старался заглушить голосъ сердца артистическою дѣятельностью, планами и мечтами о моей будущей музыкальной славѣ, которой, отчасти, и суждено уже было осуществиться въ столицѣ Бельгіи пока. Съ этими-то надеждами пріѣхалъ я въ Брюссель, гдѣ уже никакъ не надѣялся, и даже не мечталъ осуществить желаній моего вѣчно юнаго сердца. И вдругъ встрѣчаю дивно-прекраснаго ангела, какого еще никогда и нигдѣ не встрѣчалъ я въ продолженіи всей моей жизни (эта встрѣча описана въ первой главѣ).

III.

Переходъ черезъ Рубиконъ.

(По рекомендаціи моей второй, младшей свояченицы, какъ сказалъ выше, я и мое семейство познакомились съ домомъ сестеръ дѣвицъ Гемаръ. Характеристику и обстановку ихъ я тоже описалъ. Говорилъ я и о массѣ горючаго матеріала въ домѣ Гемаръ, упавшаго на подготовленную почву моего сердца. Въ то самое время пріѣзжала изъ Парижа въ Брюссель дня на четыре моя вторая свояченица *). Надо сказать, что обѣ мои belles sœurs были всегда противъ того, чтобы я еще разъ испыталъ семейное счастіе. Но наконецъ, видя мою всегдашнюю грусть, мой мрачный взглядъ на мою теперешнюю жизнь, несмотря на мои музыкальные успѣхи, которыхъ такъ долго и постоянно добивался я, онѣ поняли, что для меня нѣтъ и быть не можетъ счастья на землѣ внѣ семейной жизни. Онѣ примирились съ мыслію о моей новой женитьбѣ, и только страшно боялись, чтобы не сдѣлалъ я неудачнаго выбора. По-

*) Въ скобкахъ я буду помѣщать то, что я пишу въ настоящую минуту, а не выписываю изъ дневника 1856 года.

этому объ свояченицы указали мнѣ на Софи Гемаръ, какъ на моего генія искупителя и сказали, что, если я хочу жениться, то слѣдуетъ сдѣлать это теперь же и здѣсь же, или уже никогда, потому что существа, подобныя Софи Гемаръ, встрѣчаются только разъ въ жизни. Младшая изъ моихъ свояченицъ уже болѣе года, какъ коротко познакомилась и подружилась съ сестрами Гемаръ, въ особенности съ младшею. Вполнѣ узнала и оцѣнила она это высокое, поэтическое, дивное существо, идеалъ прекраснѣйшей и совершеннѣйшей женщины, какъ въ физическомъ, такъ и въ нравственномъ отношеніяхъ. И вотъ, одобривъ мои намѣренія и мой выборъ, она охотно взялась переговорить обо мнѣ со старшею сестрою, что и исполнила дня за два до отъѣзда своего въ Парижъ. Неожиданность предложенія сначало чрезвычайно изумила, поразила сестру Софи. Но послѣ нѣкотораго раздумья она дала слѣдующій отвѣтъ:

— Хотя я обожаю мою сестру болѣе, нежели могу это выразить словами, и она составляетъ всю мою утѣху, мою гордость, единственную цѣль моего существованія; я берегу и лелѣю ее какъ сокровище, но не хочу, изъ чувства эгоизма, мѣшать ей упрочить свою будущую судьбу тѣмъ, чтобы найти себѣ вѣрную и прочную опору въ мужѣ и другѣ; тѣмъ болѣе, что, въ случаѣ моей смерти, она можетъ вдругъ лишиться всякой опоры и остаться одна, безъ практическаго умѣнья вести матеріальныя дѣла жизни, которыя, до сихъ поръ, лежали всѣ на мнѣ. Что до вашего зятя, я нахожу его вполнѣ порядочнымъ человѣкомъ, достойнымъ моей сестры и способнымъ составить ея счастіе. Все дѣло зависитъ только отъ того, чтобы съумѣть понравиться ей и пріобрѣсти ея привязанность. Сестрѣ теперь 26 лѣтъ, но она еще никогда и никого не любила, хотя ей предстояло множество блистательныхъ партій, въ особенности послѣдняя. Это было въ Англіи, лѣтъ шесть тому назадъ.... Но умолчу объ этомъ печальномъ эпизодѣ изъ нашей лондонской жизни.... Быть можетъ впослѣдствіи Софи сама разскажетъ вамъ объ этомъ. Съ тѣхъ поръ сестра возъимѣла намѣреніе не выходить болѣе замужъ, и посвятить свою жизнь нѣжной дружбѣ ко мнѣ. Много было у ней женіховъ, и прекрасныхъ, но она оставалась нечувствительною ко всѣмъ мольбамъ, вздохамъ и слезамъ. А между прочимъ она выѣзжала въ Лондонѣ въ свѣтъ очень часто, пользовалась всѣми удовольствіями и разсѣянностями блестящей свѣтской жизни, которыя, подъ конецъ, ей надоѣли и утомили ее. И, со всѣмъ тѣмъ, частое соприкосновеніе съ большимъ свѣтомъ не имѣли ни малѣйшаго вліянія на ея душу и *сердце, которыя* остались чистыми, свѣтлыми и непорочными какъ у

дитяти. Впрочемъ это понятно: въ Англіи, въ хорошемъ кругу сохраняются во всей чистотѣ и святости преданія нравственности и семейной жизни.

Узнавъ о такомъ благопріятномъ для меня отвѣтѣ старшей Генаръ, я поспѣшилъ на Bois Sauvage. Меня провели въ гостиную, не въ большую, гдѣ обыкновенно принимались посѣтители, а въ маленькую, уютную, прелестную, съ темнозелеными обоями, съ мягкими диванами, обитыми тоже зеленымъ бархатомъ и съ пушистымъ ковромъ по всему полу. Это была любимая комната Софи и салонъ для однихъ привилегированныхъ, интимныхъ посѣтителей. Генріэтта не замедлила своимъ появленіемъ. Повторивъ мнѣ почти дословно то, что она говорила моей свояченицѣ, она оставила меня, сказавъ, съ улыбкою полною доброты и очарованія:

— Софи сейчасъ придетъ. Я оставляю васъ съ нею вдвоемъ. Приготовьтесь открыть кампанію, въ которой желаю вамъ полнѣйшаго успѣха.

Генріэтта вышла; и вскорѣ послѣ того вошла Софи и сѣла возлѣ меня. Обмѣнявшись нѣсколькими незначительными фразами, я спросилъ:

— Извѣстенъ ли вамъ сюжетъ послѣдняго разговора между вашею сестрою и мадамъ Т. (моею свояченицею)?

При этомъ вопросѣ, Софи встрепенулась и, послѣ легкаго сотрясенія, отвѣчала:

— Да. Генріэтта говорила мнѣ что-то о возможности перемѣны моей жизни въ болѣе или менѣе близкомъ будущемъ. Но я не совсѣмъ поняла смыслъ ея сообщенія, потому что разговоръ нашъ былъ прерванъ посѣтителями, и потомъ не успѣлъ возобновиться.

Наступила для меня торжественная минута. Выжидать и медлить было несогласно съ правилами сердечной тактики, вообще, а моей въ особенности. Слѣдовало идти прямо къ цѣли и говорить со всею военною откровенностью. Призвавъ на помощь все мое мужество (все краснорѣчіе, которому обучался я когда-то въ академіи любви въ Варшавѣ,— съ этого мѣста я буду приводить разговоры мои съ Софи, на двухъ языкахъ), я сказалъ:

— Mademoiselle, je ne suis plus de la première jeunesse, tant s'en faut; et cependant me voilà, à l'heure qu'il est, devant vous, aussi timide qu'un adolescent; tant est fort le sentiment qui m'oppresse. L'honnêteté de mes intentions, la pureté de mes vœux

— Сударыня, я уже не первой молодости, но напротивъ; а между тѣмъ, въ эту минуту я стою передъ вами такой-же робкій, какъ юноша; такъ сильно угнетающее меня чувство. Честность моихъ намѣреній, чистота моихъ желаній и глубина моей привязанности, одинъ мо-

et la profondeur de mon affection peuvent seules absoudre la franchise du langage que je vais vous tenir, et la témérité de la proposition que je veux vous faire, avec l'autorisation de Mademoiselle votre sœur. Et quoi qu'il arrive, votre générosité me garantit d'avance mon pardon, dans le cas où votre cœur rejetterait mes offres, c'est-à-dire ma main et mon cœur, que je dépose respectueusement à vos pieds. En tout cas, j'ose espérer que vous m'accorderez, à défaut d'autres mérites, celui de la sincérité de mes assertions et de la véracité de l'amour profond et désintéressé que je vous ai voué à tout jamais ; d'un amour qui a été inspiré par votre beauté sublime, par les qualités adorables de votre cœur et de votre esprit, et dont, par conséquent, la déclaration ne doit point vous surprendre, habituée que vous êtes aux hommages flatteurs de tous ceux qui ont le bonheur de vous connaître et de vous admirer.

гутъ извинить откровенность языка, которымъ я намѣренъ говорить съ вами и отважность предложенія, которое я хочу сдѣлать вамъ съ позволенія вашей сестры. Что бы ни случилось, ваше великодушіе заранѣе гарантируетъ мнѣ прощеніе въ томъ случаѣ, еслибъ ваше сердце отвергло мои предложенія, т. е. мою руку и сердце, которыя я почтительно повергаю къ вашимъ ногамъ. Во всякомъ случаѣ, я надѣюсь, что за отсутствіемъ другихъ достоинствъ, вы признаете искренность моихъ увѣреній и правдивость глубокой и безкорыстной любви, которую я буду чувствовать къ вамъ всегда; любви, которая была внушена вашей небесной красотой, очаровательными качествами вашего ума и сердца и признаніе, въ которой не должно удивлять васъ, привыкшую къ лестнымъ изъявленіямъ восторга всѣхъ тѣхъ, кто имѣетъ счастіе знать васъ и восхищаться вами.

Неожиданность и торжественность моего признанія произвели на Софи впечатлѣніе до того сильное, что въ продолженіи нѣсколькихъ минутъ, она ни слова не могла произнести, и была сильна взволнована. Щеки ея пылали, легкая нервическая дрожь пробѣгала по ея стройному, гибкому и нѣжному тѣлу. Наконецъ, успокоившись нѣсколько, она отвѣчала мнѣ растроганнымъ голосомъ:

— Je vous remercie sincèrement de votre proposition ; j'en *suis on ne peut pas* plus flattée

— Отъ всей души благодарю за сдѣланную вами мнѣ честь, которую я вполнѣ цѣню, а равно и

et sais tout ce qu'elle vaut, car je crois sans restriction à la loyauté de vos intentions et à la noblesse de vos sentiments. Mais pour le moment je ne puis rien vous dire de décisif, vu l'inattendu de votre proposition et la perspective d'une vie si nouvelle pour moi et à laquelle je croyais avoir renoncé à jamais. Accordez-moi le temps de bien réfléchir, de m'orienter et de consulter ma sœur, pour laquelle, vous le savez bien, je professe un culte presque filial.

вполнѣ довѣряю чистотѣ и благородству вашихъ намѣреній и искренности вашихъ чувствъ. Но въ настоящую минуту я ничего не могу сказать вамъ на этотъ счетъ, такъ неожиданно для меня ваше предложеніе и такъ мало думала я о новой для меня семейной жизни, отъ которой было навсегда отказалась. Дайте мнѣ время одуматься, осмотрѣться, повѣрить себя и обо всемъ посовѣтоваться съ моею сестрою, которую люблю и уважаю я какъ родную мать.

Послѣ этого обмѣна чувствъ и мыслей, я оставилъ зеленую гостинную, получивъ позволеніе приходить чаще, хоть каждый день.

— Afin que nous puissions mieux nous connaître, nous apprécier et que je me fasse à l'idée d'une nouvelle vie.

— Для того, чтобы мы могли лучше узнать и оцѣнить другъ друга, и чтобы я могла привыкнуть къ мысли о новой жизни,

сказала, прощаясь со мною Софи, съ такою улыбкою и бросивъ на меня такой взглядъ, которые окончательно и навсегда поработили меня. Прошло двѣнадцать дней послѣ нашихъ объясненій. Я вполнѣ воспользовался даннымъ мнѣ позволеніемъ и почти каждый день посѣщалъ домъ сестеръ Гемаръ, иногда днемъ, иногда вечеромъ и пилъ съ ними чай. Въ эти двѣнадцать дней я успѣлъ пристально всмотрѣться въ Софи, тѣмъ болѣе, что насъ всегда оставляли вдвоемъ, безъ свидѣтелей, и мы проводили цѣлые вечера съ глазу на глазъ. Въ мельчайшихъ подробностяхъ изучалъ я эту прекрасную, богатую, роскошную женскую натуру. Что это за необыкновенная, совершеннѣйшая женщина! Какое благородство чувствъ и какой возвышенный образъ мыслей, какой вѣрный, правильный взглядъ на людей и на жизнь. Какой тонкій, быстрый, острый и съ тѣмъ вмѣстѣ, милый, очаровательный умъ, полный поэзіи, которая просвѣчивала и въ рѣчахъ, и въ движеніяхъ ея; умъ безъ малѣйшей рѣзкости, какъ у нѣкоторыхъ черезчуръ умныхъ женщинъ, такъ склонныхъ употреблять во зло свой умъ! Сколько безошибочнаго

такта! Сердце — неоцѣненное сокровище доброты, кротости, состраданія и самыхъ ангельскихъ незлобія, чистоты и непорочности. Характеръ — идеально прекрасный. Какая дѣвственная скромность, и что за изящество, что за обворожительность манеръ, малѣйшаго движенія, равно и выраженій, и звуковъ мелодическаго голоса, ласкающихъ слухъ и идущихъ прямо въ сердце! Все это вмѣстѣ было сочетаніе, дивная гармонія лучшихъ, прекраснѣйшихъ качествъ ума и сердца, нравственное и умственное совершенство. А къ описанію ея обаятельной наружности, можно прибавить еще слѣдующее: она была, что называютъ, belle femme и, съ тѣмъ вмѣстѣ, jolie femme, что рѣдко соединяется въ одной особѣ. Сверхъ чрезвычайной правильности въ чертахъ, лицо Софи было оживлено и озарено какимъ-то необыкновеннымъ свѣтомъ душевной красоты, до того неуловимой, что всѣ портреты работы ея брата, извѣстнаго талантливаго портретиста, не взирая на все его искуство, не могли вѣрно изобразить и передать на полотно эту внутреннюю красоту. И вообще всѣ ея портреты, даже и тѣ, которые находились на здѣшней выставкѣ и собирали около себя любующихся посѣтителей и знатоковъ картинъ, были далеко не такъ хороши, какъ оригиналъ. Только одинъ, снятый, съ нее въ Лондонѣ, лѣтъ шесть тому назадъ, довольно вѣрно уловилъ эту божественную красоту Софи, этотъ дивный свѣтъ ея чарующихъ голубыхъ глазъ и эту неуловимую, неизобразимую улыбку, въ которой находится столько нѣги, добродушія, наивности, и которая обѣщаетъ цѣлый океанъ блаженства тому счастливцу, которому достанется это неоцѣненное сокровище.

И счастливецъ этотъ былъ. . . . . Но не буду забѣгать впередъ и стану продолжать по порядку мой дневникъ, прибавя къ вышесказанному слѣдующее: никогда, даже въ моей молодости я не смѣлъ мечтать о существѣ, подобномъ Софи Гемаръ. Да и не съумѣлъ бы нарисовать такого идеала женскаго совершенства въ моемъ, хотя и пламенномъ воображеніи, уносившемъ меня порою въ какія-то фантастическія страны, въ недосягаемыя выси.

IV.

Корреспонденція съ Генріэттой.

И такъ, я посѣщалъ очень часто Софи, которая всякой разъ принимала меня съ своею ангельскою улыбкою и радушнымъ привѣтомъ. Ея *красота, умъ и* очаровательная любезность вдохновляли меня: я часто

былъ краснорѣчивъ и разговоръ мой отличался богатствомъ, оригинальностію и остротою мыслей, и неподдѣльною искренностію, силою и горячностію чувствъ. Софи слушала съ самымъ напряженнымъ вниманіемъ и съ видимымъ наслажденіемъ мои восторженныя и вдохновенныя рѣчи. Со всякимъ днемъ становилась она ко мнѣ внимательнѣе, ласковѣе, позволяла мнѣ жать и потомъ цѣловать свои крошечныя ручки, а потомъ и сама пожимала мнѣ руки. Однажды, недѣли черезъ двѣ послѣ сдѣланнаго мною предложенія, когда она была со мною особенно ласкова, и я умолялъ ее рѣшить мою участь и сказать *да* или *нѣтъ*, она отвѣчала :

— Pas encore, il faut attendre et mieux nous connaître, d'autant plus que je crains de ne pas posséder toutes les qualités requises pour assurer, à vous—une bonne femme, et à vos enfants—une bonne mère. Voyez-vous : j'ai toujours été tant gâtée par ma sœur, par mon frère et par tous mes amis.

— Еще рано, слѣдуетъ подождать и лучше познакомиться другъ съ другомъ, тѣмъ болѣе, что я боюсь, обладаю ли я всѣми качествами, необходимыми для того, чтобы я могла быть, для васъ—хорошею женою, а для вашихъ дѣтей—хорошею матерью. Вотъ видите ли : я такъ избалована моею сестрою, братомъ и всѣми моими друзьями.

Послѣ этого разговора я возвратился домой грустнѣе обыкновеннаго. Спалъ мало, не болѣе четырехъ часовъ ; проснулся и всталъ рано, въ четыре часа утра, плакалъ и принялся писать письмо къ старшей сестрѣ. Вотъ это письмо :

«Mademoiselle.

«Il n'est que quatre heures du matin ; tout dort autour de moi ; moi seul je veille, la tête brûlante de pensées, le cœur gros de sentiments, les yeux rouges de larmes et de l'insomnie de deux nuits. J'ai tant à vous parler, et pourtant je ne sais par où commencer. Vous dirai-je que le cœur humain est un mystère éternel, un mystère qu'on étudie, qu'on tâche d'éclaircir depuis tantôt sept mille ans, c'est-à-dire

Милостивая государыня !

Только четыре часа утра ; все спитъ вокругъ меня ; я одинъ бодрствую, голова моя переполнена мыслями, сердце чувствами, а глаза красны отъ слезъ и двухъ безсонныхъ ночей. Мнѣ такъ много нужно сказать вамъ, а между тѣмъ я не знаю, съ чего начать. Развѣ сказать, что сердце человѣческое есть вѣчная тайна, тайна, которую изучаютъ и стараются разгадать около семи тысячъ лѣтъ, то-есть съ самаго сотворенія міра, и все-таки

depuis la création du monde, sans que pour cela nous en soyons plus avancés que du temps de nos premiers pères. On a bien saisi, analysé quelques-uns des phénomènes extérieurs de ce mystère, mais le fond en est resté à peu près inconnu comme aux temps primitifs d'Adam et d'Eve. Car le cœur est comme un de ces génies de l'art musical: donnez-lui un thème quelconque, le plus connu, le plus rebattu, le plus épuisé; eh bien, il trouvera encore le moyen de faire là-dessus des variations sans nombre, les unes plus belles, plus nouvelles, plus inattendues que les autres. Etudier les mystères du cœur, c'est étudier les mystères de la création et de l'infini... Mais allons au fait. Il n'y a pas encore tout-à-fait quinze jours que je me suis expliqué avec Mademoiselle votre sœur, et il me semble qu'il s'est passé des années, tant est grand le travail qu'a fait mon esprit, tant est long le chemin qu'a parcouru mon cœur, cette locomotive du monde moral qui vous transporte souvent à travers les espaces de ce monde sans fin, avec la rapidité de la pensée, cette autre locomotive du même monde.

« Eh bien! Il y a quinze jours de cela, j'étais encore complètement maître de moi-même, maître *de ma position*; j'avais encore

не подвинулись въ этомъ отношеніи далѣе того, что было извѣстно первымъ людямъ. Нѣкоторыя наружныя явленія этой тайны были удачно схвачены и разобраны, но основаніе осталось почти такое неизвѣстно, какъ и въ первобытныя времена Адама и Евы; потому что сердце похоже на генія музыкальнаго искусства: дайте ему какую угодно тему, самую извѣстную, избитую и исчерпанную, и что-же? Онъ все-таки найдетъ средство написать на нее цѣлую кучу варіацій, одна лучше, новѣе и неожиданнѣе другой. Изучать тайны сердца, значитъ изучать тайны мірозданія и безконечнаго..... Но обратимся къ дѣлу. Нѣтъ еще двухъ недѣль, какъ я объяснился съ вашею сестрою, а мнѣ кажется, что прошло уже нѣсколько лѣтъ, такъ велика работа, совершенная моимъ мозгомъ, такъ длиненъ путь, пройденный моимъ сердцемъ, этимъ локомотивомъ нравственнаго міра, который часто переноситъ васъ черезъ безконечныя пространства вселенной со скоростью мысли, другаго локомотива того же міра.

«Итакъ, двѣ недѣли тому назадъ я еще вполнѣ владѣлъ собою и своимъ положеніемъ; я пользовался еще всею ясностью своего

toute la lucidité de mon esprit et toute l'indépendance de ma volonté. Il est vrai que j'avais devant moi le Rubicon; mais aussi avais-je la liberté de ne pas le passer. Depuis lors le Rubicon est franchi. Et maintenant, que toute retraite m'est impossible, il n'y a derrière moi qu'un gouffre ténébreux et sans fond, et devant moi l'incertitude, le vague, un chaos d'idées, de sentiments, de faibles espérances et d'atroces angoisses; en un mot, un chaos pareil à celui qui existait avant que le Créateur eût prononcé les paroles divines: *Fiat lux! que la lumière se fasse!*

« Oh! de grâce, ayez pitié de moi! Je vous implore à genoux et inondant de larmes vos mains qui peuvent me soutenir, me guider, m'aider à déchirer le voile épais de l'incertitude et me tirer de ce chaos moral en obtenant de votre sœur le *Fiat lux*; car désormais Mlle Sophie est pour moi comme le Créateur, la Providence, le juge surprême: en dehors d'elle, comme en dehors de Dieu, il n'y a point de salut pour moi; il n'y a que ténèbres, désolation et désespoir, tant il est grand ce sentiment qui, né d'hier, a su arriver aux proportions colossales de la passion la plus vraie et la plus profonde.

« Oui! Il en est du cœur comme des peuples: leur histoire se res-

ума и всею независимостью воли. Правда, что передо мною былъ Рубиконъ; но вѣдь я могъ и не переходить черезъ него. Теперь же, Рубиконъ перейденъ. И вотъ, когда всякое отступленіе невозможно, за мною остается только мрачная и бездонная пропасть, а впереди меня неизвѣстность, неопредѣленность, хаосъ идей, чувствъ, слабыхъ надеждъ и жестокой тоски; словомъ, хаосъ, подобный тому, который существовалъ прежде, чѣмъ Создатель произнесъ божественныя слова: *Fiat lux. Да будетъ свѣтъ!*

«О, умоляю васъ, сжальтесь надо мною! Прошу васъ на колѣняхъ и обливая слезами ваши руки, которыя могутъ поддержать меня, руководить мною, помочь мнѣ разорвать густой покровъ неизвѣстности и вывести меня изъ этого нравственнаго хаоса, добившись отъ вашей сестры этого *Fiat lux*!, потому что съ этихъ поръ M-lle Sophie для меня все равно, что Создатель, Провидѣніе, верховный судья: внѣ ея, какъ внѣ Бога для меня нѣтъ спасенія; а есть только тьма, скорбь и отчаяніе, такъ велико чувство, которое, народившись столь недавно, приняло колоссальные размѣры самой истинной и глубокой страсти.

«Да! объ сердцѣ можно сказать тоже что и о народѣ: ихъ исторія

semble. Le cœur est souvent patient, docile, soumis à la raison, comme le peuple l'est à son gouvernement. Mais il arrive un moment où l'un et l'autre, longtemps comprimés, veulent enfin faire leur volonté et agir à leur guise: alors malheur à celui qui s'y oppose, car soudain la révolution éclate, renverse tout sur son passage et ne laisse debout d'autre loi que la volonté du cœur, ou celle du peuple, tous deux terribles et irrésistibles comme un fait accompli.

« Grâce pour mes divagations! Je ne sais trop ce que j'écris, car, je le répète, ma tête est brûlante, mon cœur est gros et mes yeux sont rouges.

« Agréez, je vous prie, Mademoiselle, l'assurance ».....

одинакова. Сердце бываетъ часто терпѣливо, покорно разсудку, какъ народъ своему правительству. Но наступитъ минута, когда и тотъ и другое, долго сдерживаемые, захотятъ наконецъ проявить свою волю и поступить по-своему: тогда горе тому, кто станетъ имъ противиться, потому что революція вдругъ разразится, опрокинетъ все на своемъ пути и не оставитъ другаго закона, кромѣ воли сердца или народа, которые оба становятся грозными и непреодолимыми, какъ совершившійся фактъ.

«Простите мнѣ это отступленіе! Я самъ не знаю, что пишу, ототому что, повторяю: голова моя горитъ, сердце переполнено, а глаза красны.

«Примите, милостивая государыня, увѣреніе и проч.....

Окончивъ письмо, я вложилъ его въ конвертъ и адресовалъ на имя Генріэтты Гемаръ. Потомъ, когда насталъ часъ моего пилигримства къ моимъ святымъ мѣстамъ на Bois Sauvage, съ незапечатаннымъ письмомъ въ карманѣ, я взошелъ въ зеленую гостиную, гдѣ Софи ожидала меня. Мы усѣлись. Я былъ въ большомъ затрудненіи, не зная, что дѣлать: отдать или нѣтъ мое письмо, сознавая всю его экзальтацію, плодъ ночнаго бдѣнія. Эта нерѣшительность сдѣлала меня задумчивымъ и молчаливымъ. Разговоръ не клеился, плелся черепашьимъ шагомъ. Вдругъ, выпрямившись во весь величавый свой ростъ и бросивъ на меня испытующій взоръ, Софи сказала мнѣ:

— Mais qu'avez-vous donc aujourd'hui, M. Makaroff? Vous êtes vraiment bien peu aimable. Que signifient cette mine contrite d'une âme en peine et ces *airs de ministre* perdant son por-

— Что это съ вами, г. Макаровъ? Вы такъ не любезны. Что значитъ ваша скорбная мина и вашъ печальный видъ, словно у министра, потерявшаго свой портфёль, или у дипломата, котораго провели его колеги?

tefeuille, ou de diplomate joué par ses collègues?

— Moi? Je ne suis que ce que je suis. Il n'y a absolument rien de changé en moi.

— Si fait, si fait!... Voyons donc, M. Makaroff, ne baissez pas ainsi les yeux: c'est bon pour nos jeunes pensionnaires, mais un ci-devant major!... Et surtout ne froncez pas les sourcils, c'est si disgracieux. Mais tenez-vous droit, comme il convient à un ancien militaire, et regardez-moi en face... C'est cela... Eh bien, monsieur le diplomate, fouillez dans votre portefeuille: quel traité nous apportez-vous? Mettez-le sous nos yeux; nous y souscrirons si les stipulations n'en sont pas trop vexatoires.

— Vous voulez voir le traité que j'apporte à ma gracieuse souveraine, à la majesté de la beauté et de l'esprit? Soit. Le voici, ce traité que vous m'avez demandé, — dis-je en tirant la lettre de ma poche et en la présentant à Sophie (*).

— Avant que de remettre cette lettre à qui de droit, — ajoutai-je, — je vous autorise à la lire. Puis, la lecture finie, je vous donne plein pouvoir de

— Я? Я — такой же какимъ былъ всегда. Во мнѣ рѣшительно нѣтъ никакой перемѣны.

— Нѣтъ есть, нѣтъ есть!... Полноте же, господинъ Макаровъ, не потупляйте глазъ; это идетъ нашимъ молоденькимъ пансіонеркамъ, а не такимъ ветеранамъ, какъ вы!... А въ особенности, не хмурьте бровей, это такъ не красиво. Держитесь прямо, какъ подобаетъ отставному военному и смотрите мнѣ прямо въ лицо. Вотъ такъ.... Ну, господинъ дипломатъ, поройтесь-ка въ своемъ портфёлѣ: какой трактатъ вы принесли намъ? Дайте-ко взглянуть; мы подпишемся, если условія его не слишкомъ тяжелы.

— Вы желаете видѣть трактатъ, который я принесъ моей милостивой повелительницѣ, царицѣ ума и красоты? Хорошо. Вотъ онъ, вотъ договоръ, котораго вы у меня требуете, — сказалъ я, вынимая изъ кармана письмо и подавая его Софи.

— Прежде, чѣмъ вы передадите это письмо по назначенію, — прибавилъ я, — я уполномочиваю васъ прочесть его. Затѣмъ, когда вы окончите, это чтеніе, даю вамъ полное право

*) Начиная съ этого мѣста, буду приводить я изъ повмы, не только разговоры, но и пояснительный текстъ, потому что въ повмѣ соблюдено гораздо болѣе логической послѣдовательности и рельефности въ разсказѣ о ходѣ событій.

faire de ma lettre ce que bon vous semblera, c'est-à-dire, ou la remettre à son adresse, ou la garder chez vous, ou la brûler, ou la rendre à son auteur. En tout cas permettez-moi de vous prévenir que la remise de cette lettre ne doit pas porter le caractère officiel, mais simplement confidentiel.

Sophie s'empara de la lettre et, après en avoir lu l'adresse, la cacha sur son sein. Ensuite elle devint, à son tour, pensive et préoccupée. Un nuage de tristesse se répandit sur son front et vint troubler la limpidité de ses yeux azurés.

— La contrition des âmes en peine ou les airs d'un diplomate joué sont-ils contagieux, Mlle Sophie? A vous voir, on dirait César se voilant la face avant de recevoir le coup fatal de la main de Brutus... Pourquoi ces nuages sur votre front si beau? Où est le poignard de Brutus?

— Dans l'air qui m'entoure, peut-être.

— Ou dans la lettre qui repose sur votre sein?

— Peut-être.

— Rassurez-vous, bien-aimée Mlle Sophie. Ce ne sera jamais de cette main que pourrait partir contre vous n'importe quel coup. Tout au contraire: c'est cette *main qui s'apprête* à parer tous

сдѣлать съ этимъ письмомъ, что вамъ будетъ угодно, то есть: или отдать его по адресу, или оставить у себя, или сжечь его, или возвратить автору. Во всякомъ случаѣ позвольте мнѣ предупредить васъ, что передача этого письма не должна носить характера оффиціальнаго, а просто конфиденціальный.

Софи взяла письмо и прочитавъ адресъ, спрятала его у себя на груди. Вслѣдъ за этимъ она, въ свою очередь, сдѣлалась задумчива и озабочена. На челѣ ея распространилось облако грусти и отуманило чистоту ея лазуревыхъ глазъ.

— Ужъ не прилипчивы-ли сердечныя сокрушенія или мина проведеннаго дипломата, Mlle Sophie? Гляда на васъ, можно подумать, что видишь передъ собою Цезаря, закрывающаго свое лицо передъ полученіемъ роковаго удара отъ руки Брута.... Зачѣмъ эти облака на вашемъ прекрасномъ челѣ? Гдѣ мечъ Брута?

— Можетъ быть въ воздухѣ, который меня окружаетъ.

— Или въ письмѣ, что хранится на вашей груди?

— Можетъ быть.

— Успойтесъ, моя дорогая Mlle Sophie. Никогда эта рука не нанесетъ вамъ какого бы то ни было удара. Напротивъ, именно эта рука готова отвратить отъ васъ всѣ удары, которые можетъ нанести

les coups que voudront vous porter la méchanceté des hommes ou la rigueur du destin.

La sérénité reparut sur le front de Sophie. Un sourire adorable en effaça jusqu'à la dernière trace de tristesse. Ce soir-là j'abrégeai ma visite et je me retirai de meilleure heure que de coutume, car je sentais que Sophie et moi, nous avions grandement besoin de solitude: elle, pour lire ma lettre et en décider l'usage; moi, pour me recueillir et attendre la résultat de mon épître à Henriette. La réponse ne se fit pas attendre: le lendemain je recevais la lettre suivante:

« Monsieur.

« Mes occupations multipliées m'ont seules empêchée de répondre immédiatement à votre lettre. Vous ne vous attendez certainement pas à ce que je vous parle et vous écrive avec l'exaltation qui caractérise votre lettre; ne croyez pas cependant que je ne vous comprenne pas: j'ai plus d'une fois été témoin de ces phénomènes, de ces mystères du cœur humain dont vous parlez, et que nul n'a jamais su ni comprendre, ni expliquer, ni approfondir.

« Ces faits constants, nous les admettons, et je veux bien croire à l'attachement que vous professez pour ma chère et

вамъ человѣческая злоба или жестокость судьбы.

Ясность снова появилась на челѣ Софи. Очаровательная улыбка стерла съ него послѣдніе слѣды грусти. Въ этотъ вечеръ я сократилъ свой визитъ и ушелъ ранѣе обыкновеннаго, чувствуя, что и Софи и я оба сильно нуждаемся въ уединеніи: она, чтобы прочесть мое письмо и рѣшить, какъ поступить съ нимъ; я, чтобъ собраться съ духомъ и дождаться результатовъ своего посланія къ Генріэттѣ. Отвѣтъ не заставилъ себя ждать; на другой день я получилъ слѣдующее письмо:

Милостивый государь!

«Однѣ только мои многочисленныя занятія помѣшали мнѣ немедленно отвѣтить на ваше письмо. Вы не можете ожидать конечно, чтобы я стала писать вамъ съ тою восторженностью, которая характеризуетъ ваше письмо, но не думайте поэтому, чтобы я васъ не понимала: я не разъ была свидѣтельницею тѣхъ явленій, тѣхъ тайнъ человѣческаго сердца, о которыхъ вы говорите и которыхъ никто никогда не могъ ни понять, ни объяснить, ни изслѣдовать.

«Признавая достовѣрность этихъ явленій, я не сомнѣваюсь въ привязанности, которую вы чувствуете къ моей милой и добрѣй

bonne sœur, quelque subit et extraordinaire qu'il puisse paraître. Mais si j'admets la possibilité de cette affection extrême, née d'hier, vous admettrez aussi, n'est-ce pas, que moi, spectatrice calme et froide, ayant toute ma raison, tout mon jugement, je me préoccupe beaucoup de l'avenir que cette union pourrait donner à ma sœur. Près de moi elle est heureuse, je le sens, et avec l'aide de la Providence, nous continuerons cette existence paisible qui non-seulement ne la laissera jamais manquer de rien, mais qui lui procurera toujours, je l'espère, cette aisance, ces petits comforts de la vie, auxquels une femme bien élevée est habituée. Sous ce rapport, elle ne peut que désirer la continuation de ce qu'elle a. Mais j'admets et je crois qu'un mariage bien assorti *ajoute* au bonheur. Et c'est pourquoi je ne m'opposerai en rien à tout ce qui me paraîtra réunir toutes les conditions que j'estime nécessaires au bonheur.

«Ceci, M. Makaroff, nous mène naturellement à la question d'intérêts matériels, questions *secondaires*, mais, vous l'avouerez, *nécessaires*...., nécessaires surtout avant de laisser cette affection grandir et prendre des proportions qui feraient alors une *souffrance d'une séparation*. Je

сестрѣ, какою бы внезапною и необыкновенною она ни казалась. Но если я признаю возможность этой удивительной привязанности, родившейся такъ недавно, вы также не можете не признать, что я, будучи спокойной и холодной зрительницей, обладая всѣмъ своимъ благоразуміемъ, не могу не быть сильно озабочена тѣмъ, что этотъ союзъ можетъ дать моей сестрѣ въ будущемъ. Со мною она счастлива, я чувствую это, и съ Божіей помощью мы будемъ продолжать это мирное существованіе, которое не только никогда не заставитъ нуждаться ее ни въ чемъ, но, надѣюсь, всегда будетъ доставлять ей то благосостояніе и комфортъ, къ которымъ привыкла всякая благовоспитанная женщина. Въ этомъ отношеніи она можетъ только желать продолженія того, что имѣетъ. Но я признаю и вѣрю, что удачный бракъ *увеличиваетъ* счастье. Вотъ почему я не стану ни въ чемъ противится тому, что покажется мнѣ соединяющимъ въ себѣ всѣ условія, которыя я нахожу необходимыми для счастья.

«Послѣднее, господинъ Макаровъ, ведетъ насъ, понятное дѣло, къ вопросу о матеріальныхъ средствахъ, вопросу *второстепенному*, но, согласитесь, *необходимому*... необходимому въ особенности прежде, чѣмъ увеличится привязанность и приметъ такіе размѣры, которые сдѣлаютъ разлуку мучительною. По-

vous le répète, nous sommes sans fortune pécuniaire; mais nos modestes talents comme institutrices nous ont fait, en tout temps, une position qui a été souvent enviée par des femmes de grande fortune et même de haute naissance. Ma sœur a donc une position honnête et assurée près de moi. Je ne me séparerai d'elle qu'avec peine, et je ne confierai jamais son avenir à un homme d'un pays étranger, s'il ne me donnait des garanties positives et matérielles qui lui seraient une ressource en cas d'évènement que nul ne peut prévoir.

«Vous avez trop d'esprit, Monsieur, pour ne pas comprendre ce langage. Vous êtes étranger, nous ne vous connaissons que depuis peu et, malgré mes convictions intimes à votre égard, je serais justement blâmée par mes amis, si je permettais à ma sœur de se lancer dans une voie inconnue. Veuillez donc m'écrire, Monsieur, et me donner des détails sur votre passé et sur cet avenir qui me préocupe excessivement. Dites-moi quelle a été votre position, quels sont vos arrangements de famille et, après la part faite à l'avenir de vos enfants, ce que vous entendez faire pour celle qui pourrait, peut-être, devenir votre femme. Je ne m'étendrai pas davantage

вторяю вамъ, у насъ нѣтъ никакого состоянія, но наши скромные таланты, какъ преподавательницъ, всегда доставляли намъ такое положеніе, которому нерѣдко завидовали очень богатыя и даже высокаго происхожденія женщины. Слѣдовательно, сестра моя пользуется честнымъ и обезпеченнымъ положеніемъ, живя со мною. Я съ трудомъ разстанусь съ нею и не иначе довѣрю ея будущность человѣку иностраннаго происхожденія, какъ если онъ дастъ мнѣ положительное и матеріальное удостовѣреніе въ томъ, что она будетъ имѣть средства къ жизни въ случаѣ какого нибудь событія, котораго никто не можетъ предвидѣть.

«Но вы слишкомъ умны, милостивый государь, чтобъ не понять этого языка. Вы — иностранецъ, мы познакомились съ вами очень недавно и, несмотря на мои искреннія убѣжденія въ вашу пользу, я была бы достойна справедливаго порицанія со стороны моихъ друзей, еслибъ позволила своей сестрѣ ступить на путь неизвѣстности. Потрудитесь-же, милостивый государь, написать мнѣ подробности о вашемъ прошломъ и о будущемъ, которое меня въ особенности озабочиваетъ. Скажите мнѣ, каково было прежде ваше положеніе, въ чемъ состоятъ ваши семейныя распоряженія и что вы намѣрены, обезпечивъ участь вашихъ дѣтей, сдѣлать для той, которая станетъ, можетъ быть, вашей женою. Не стану болѣе распро-

sur ce sujet, je vous laisse, à vous, ce soin. Sans avoir le droit de vous donner des espérances qui peuvent ne pas se réaliser, je puis ajouter qu'à mon tour je demande la lumière. Alors il se peut que la lumière puisse aussi se faire pour vous.

«Encore un mot: quoi qu'il arrive, soyez convaincu qu'un mariage est impossible si l'affection n'est mutuelle. Et en vous admettant de temps à autre dans notre intérieur, n'oubliez jamais qu'il n'y a point *d'engagement*, et que, sans murmures comme sans reproches, sinon sans regrets, une séparation doit avoir lieu, dans le cas où, par un manque de sympathie ou pour tout autre motif que je ne puis prévoir, ma sœur préférait rester la compagne de mes travaux.

« Recevez, Monsieur, l'assurance de ma considération très-distinguée et croyez-moi,

«Votre bien dévouée
«Henriette Ghémar».

Voilà une lettre qui, bien que catégorique, n'était rien moins que rassurante et remettait tout en question. La lumière ne s'était faite qu'à moitié: l'épître de Mlle Henriette ne me faisait savoir que ce qu'elle attendait de moi, mais nullement ce que moi, je pouvais espérer des habi*tants du Bois* Sauvage, déroutés

страняться объ этомъ предметѣ и оставляю заботу объ этомъ вамъ. Не имѣя права подавать вамъ надежды, которыя могутъ не осуществиться, спѣшу прибавить, что и я, въ свою очередь, прошу свѣта. Тогда, можетъ быть, свѣтъ озаритъ такие и васъ.

«Еще одно слово: чтобы ни случилось, будьте увѣрены, что бракъ невозможенъ, если привязанность не взаимна. Принимая васъ время отъ времени у себя, я прошу васъ никогда не забывать, что не существуетъ никакихъ *обязательствъ*, и что въ случаѣ, если по недостатку симпатіи или по какой либо другой причинѣ, которую я не могу предвидѣть, сестра моя захочетъ остаться моею помощницею въ трудахъ, разлука должна произойти безо всякаго ропота и упрековъ, если не безъ сожалѣнія.

«Примите, милостивый государь, увѣреніе въ моемъ особенномъ уваженіи и искренности,

«Преданная вамъ
«Генріетта Гемаръ».

Вотъ письмо, которое, несмотря на свою категоричность, далеко не было успокоительно и оставляло свободное поле сомнѣнію. Свѣтъ объявился только на половину: письмо Mlle Генріетты увѣдомляло меня только о томъ, чего она ожидала отъ меня, но ничуть не о томъ, на что я могъ надѣяться со стороны обитательницъ Bois Sauvage,

que j'étais par la dernière phrase de cette lettre, phrase élastique, pleine d'arbitraire et grosse d'éventualités menaçantes. Donc les brouillards de l'incertitude continuaient à m'envelopper de tous côtés et, au lieu d'approcher du but, je me trouvais rejeté jusque vers les confins les plus reculés de la région enchantée, au centre de laquelle habitait le principe de toutes mes espérances, de tous mes vœux, de toutes mes joies. Aussitôt la lecture de la lettre catégorique terminée, je me mets à y répondre incontinent et d'une manière non moins catégorique, comme on va le voir :

« Mademoiselle.

« La lettre que je vous ai écrite avant-hier, sous l'influence de l'insomnie et du silence de la nuit, n'était point destinée à vous être remise officiellement, dès que ma raison fut entrée dans ses droits et eut condamné l'exaltation qui avait dicté ma lettre. Je ne l'ai donnée à Mlle votre sœur, avec l'autorisation de vous la remettre, que comme une lettre non avenue, ou plutôt comme une espèce d'amende honorable et comme une preuve encore de ma franchise et de ma confiance. Mais puisqu'elle m'a valu l'honneur de votre réponse, je me fais un devoir de vous répondre à mon tour.

такъ меня сбила съ толку послѣдняя фраза этого письма, фраза эластическая, полная произвола и грозныхъ предположеній. Итакъ, туманъ неизвѣстности продолжалъ окутывать меня со всѣхъ сторонъ и вмѣсто того, чтобъ приблизиться къ цѣли, я былъ отодвинутъ чуть не на самую границу очаровательнаго міра, посреди котораго жило основаніе всѣхъ моихъ надеждъ, желаній и радостей. Едва окончивъ чтеніе этого категорическаго письма, я тотчасъ принялся писать на него отвѣтъ и притомъ такой же категорическій, какъ можно будетъ видѣть изъ подлинника :

Милостивая государыня!

«Письмо, которое я написалъ вамъ третьяго дня подъ вліяніемъ безсонницы и тишины ночи, вовсе не предназначалось для того, чтобъ быть переданнымъ вамъ оффиціально, какъ только разсудокъ мой вошелъ въ свои права и осудилъ восторженность, продиктовавшую это письмо. Я передалъ его вашей сестрѣ съ уполномочіемъ передать его вамъ, только какъ недѣйствительную попытку или скорѣе какъ публичное покаяніе и сугубое доказательство моей искренности и довѣрія. Но такъ какъ оно доставило мнѣ честь получить вашъ отвѣтъ, я считаю своею обязанностью отвѣчать вамъ въ свою очередь.

« Je comprends, j'apprécie et j'admire en même temps la tendre sollicitude que vous avez pour Mlle votre sœur et, sans parler cette fois de mes sentiments, quels qu'ils soient, je m'empresse de donner tous les renseignements voulus, si toutefois je n'ai pas le malheur de vous inspirer des doutes sur la bonne foi de mon langage et sur la loyauté de mon caractère. Voici ces renseignements que vous voulez avoir de moi et sur moi :

« Mon passé — c'est la carrière militaire que j'ai suivie honorablement pendant quatorze ans, et que j'ai quittée avec le grade de major.

« Ma position est celle de gentilhomme russe, position qui me fait jouir de certains priviléges et d'une certaine considération.

« Ma fortune se compose : 1° d'une propriété foncière avec des paysans attachés à la glèbe, le tout me rapportant de sept à huit mille francs. 2° d'une assez grande fabrique que j'ai achetée il y a de cela deux ans, et qui me rapporte de trente à quarante mille francs par an. Quant à mes enfants, les deux aînés ont une fortune que leur a laissée leur mère : c'est une charmante propriété foncière, non loin de Moscou, et qui rapporte de huit à dix mille francs par an. Pour *ma fille cadette,* elle n'a de sa

«Я понимаю, цѣню и уважаю въ то же время вашу нѣжную заботливость о сестрѣ и, не говоря на этотъ разъ о своихъ чувствахъ, каковы бы они ни были, я спѣшу дать вамъ всѣ требуемыя свѣдѣнія, если только не имѣю несчастія внушать вамъ сомнѣній въ искренности моихъ увѣреній и въ прямодушіи моего характера. Вотъ тѣ свѣдѣнія, которыя вамъ угодно имѣть отъ меня и обо мнѣ:

«Мое прошлое, это карьера военная, которой я честно слѣдовалъ впродолженіи четырнадцати лѣтъ и которую покинулъ въ чинѣ маіора.

«Мое положеніе есть положеніе русскаго дворянина, которое доставляетъ мнѣ нѣкоторыя привилегіи и нѣкоторое уваженіе.

«Состояніе мое состоитъ: 1-е изъ поземельной собственности съ крѣпостными крестьянами, что все вмѣстѣ приноситъ мнѣ отъ семи до восьми тысячъ франковъ. 2-е изъ довольно большой фабрики, купленной мною два года тому назадъ и которая приноситъ мнѣ отъ тридцати до сорока тысячъ франковъ въ годъ. Что же касается моихъ дѣтей, то двое старшихъ имѣютъ состояніе, оставленное имъ матерью: прелестное помѣстье, находящееся недалеко отъ Москвы и приносящее отъ восьми до десяти тысячъ франковъ въ годъ. Младшая-же моя дочь

mère qu'un petit capital de vingt mille francs; mais je lui destine ma propriété foncière.

« Maintenant arrive la question des garanties, qui peuvent être divisées en deux catégories: celles que nos lois assurent aux femmes des nobles, et celles qu'on leur donne en dehors des lois, mais de sa propre volonté, afin d'assurer l'avenir d'une femme aimée. La loi garantit aux femmes la septième partie de tous les biens immeubles, et la quatrième des biens meubles. Quant à la seconde catégorie des garanties, c'est-à-dire à la propre volonté du mari, il peut donner à sa femme tout ce qu'il possède, en déshéritant même ses enfants.

« A présent parlons de ce qui vous intéresse le plus, de l'avenir de celle qui pourrait devenir ma femme. Je me ferai un bonheur de garantir son avenir en dehors de la loi : au lieu de la septième partie, je lui garantirai la moitié de ma fabrique, c'est-à-dire à peu près la moitié de tout mon avoir.

« Ces explications données et la véracité de mes renseignements garantie par mon honneur de militaire et de gentilhomme, il ne me reste plus qu'à courber la tête sous le fardeau des pensées les plus noires, les plus accablantes, et à pleurer

имѣетъ послѣ матери только небольшой капиталъ въ двадцать тысячъ франковъ; но ей я назначаю свое помѣстье.

«Теперь поведемъ рѣчь о гарантіяхъ, которыя могутъ быть раздѣлены на двѣ категоріи: къ первой принадлежатъ тѣ, которыя обезпечиваетъ женамъ дворянъ законъ; а ко вторымъ тѣ, которыя предоставляются имъ помимо законовъ, чтобъ обезпечить участь любимой женщины. Законъ гарантируетъ вдовамъ седьмую часть всего недвижимаго имущества и четвертую часть движимаго. Что же касается второй категоріи гарантій, т. е. собственной воли мужа, онъ можетъ отказать женѣ все свое состояніе, лишивъ наслѣдства даже дѣтей.

Теперь поговоримъ о томъ, что интересуетъ васъ всего болѣе, о будущности той, которая можетъ сдѣлаться моей женой. Я почту за счастіе обезпечить ея будущность помимо закона: вмѣсто седьмой части, я завѣщаю ей половину доходовъ съ фабрики, то-есть почти половину всего своего состоянія.

«Сдѣлавъ эти объясненія и ручаясь за истину данныхъ свѣдѣній моею честью военнаго и дворянина, мнѣ не остается ничего болѣе, какъ склонить голову подъ тяжестью самыхъ мрачныхъ, самыхъ удручающихъ мыслей и оплакивать мечту погибшаго счастія, если не-

sur un rêve de bonheur évanoui, si, après mes déclarations solennelles, les défiances continuent, défiances qu'il ne m'est pas possible maintenant de détruire par la présentation de preuves plus palpables que celles que je viens d'avancer, éloigné que je suis de ma patrie ainsi que de tous ceux qui seraient à même de vous donner des notions précises sur ma personne et de certifier la véracité de mes paroles.

« J'ai tout dit. Maintenant j'attends de vous une réponse et une nouvelle autorisation de venir chez vous, autorisation sans laquelle je n'oserai plus me présenter au salon vert du Bois Sauvage. J'ajouterai encore, par parenthèse, que ceux qui me connaissent tant soit peu savent qu'il n'y a point sur la terre ni dans le ciel de bonheur que je voulusse posséder au prix, non-seulement d'un mensonge, mais d'une vérité déguisée.

« Agréez, Mademoiselle . . . »

Cette lettre terminée, je l'envoyai par ma domestique au Bois Sauvage et j'attendis la réponse. Elle m'arriva le lendemain. La voici :

« Monsieur.

« Votre lettre, pleine de franchise, a, non pas dissipé les crain*tes que je n'ai* jamais eues, mais

довѣріе будетъ продолжаться и послѣ моихъ торжественныхъ заявленій; недовѣріе, которое мнѣ невозможно уничтожить въ настоящее время представленіемъ болѣе вѣскихъ доказательствъ, чѣмъ тѣ, которыя я только что перечислилъ, потому что нахожусь вдали отъ родины, точно также, какъ и отъ всѣхъ тѣхъ, которые могли бы дать вамъ точныя свѣдѣнія о моей личности и удостовѣрить искренность моихъ словъ.

«Я все сказалъ. Теперь буду ждать отъ васъ отвѣта и новаго позволенія явиться къ вамъ, позволенія, безъ котораго я не осмѣлюсь представиться болѣе въ зеленой гостинной Bois Sauvage. Прибавлю еще между прочимъ, что всѣ знающіе меня не сомнѣваются въ томъ, что нѣтъ ни на землѣ, ни на небѣ, такого счастія, которымъ я желалъ бы обладать цѣною, не только лжи, но даже искаженной правды.

«Примите, сударыня.....»

Окончивъ это письмо, я отослалъ его съ служанкою въ Bois Sauvage и сталъ ждать отвѣта. Онъ пришелъ на слѣдующій день и заключался вотъ въ чемъ :

«Милостивый государь!

«Ваше письмо, полное искренности, не то чтобы разсѣяло опасенія, которыхъ я никогда не имѣ-

a satisfait, jusqu'à un certain point, au devoir que je me suis imposé—celui de veiller sérieusement sur l'avenir de ma sœur bien-aimée, dont le bonheur m'est plus cher que le mien. Laissons donc, pour le moment, les affaires d'intérêts, dont vous me parlerez vous-même plus en détail, lorsque l'occasion se présentera et que vous le jugerez à propos. Je dirai seulement encore un seul et dernier mot à ce sujet: c'est que, dans le cas où le mariage auquel vous aspirez puisse se réaliser, vous devez arranger toutes vos affaires selon la justice, selon votre cœur, mais dans toutes les formes régulières, voulues par la loi pour la sécurité et l'avenir de votre femme. Si vous étiez seul, ces arrangements seraient désirables; mais ils deviennent indispensables, alors que vous avez des enfants, qui, dans l'avenir, auront eux-mêmes une autre famille, un autre entourage; et il faut éviter, puisque la chose est possible, jusqu'à l'ombre des misères que l'on ne voit que trop en matière d'intérêts, alors que bien souvent on est le moins capable de les supporter.

«Si mon langage et mes exigences ne vous blessent pas, venez nous voir de temps en temps et *vous faire aimer*. Je ne vous dirai pas que ma sœur

ла, а до нѣкоторой степени удовлетворило долгу, который я на себя приняла, — серьезно заботиться о будущности любимой сестры, счастіе которой дороже для меня моего собственнаго. Оставимъ же на время матеріальные вопросы, о которыхъ вы подробнѣе разскажете мнѣ сами, когда представится случай и вы сами найдете это удобнымъ. Я скажу по этому поводу еще только одно и послѣднее слово, а именно: въ случаѣ если желаемый вами бракъ состоится, вы должны будете устроить всѣ свои дѣла по справедливости, по внушенію своего сердца, но съ соблюденіемъ всѣхъ формальностей, требуемыхъ закономъ для обезпеченія будущности вашей жены. Еслибы вы были одни, эти распоряженія были бы желательны; но они становятся необходимыми, такъ какъ у васъ есть дѣти, которыя со временемъ будутъ имѣть свое собственное семейство и другую обстановку; а надо избѣгать, если только это возможно, даже тѣни тѣхъ грустныхъ непріятностей, которыя встрѣчаются слишкомъ часто и которыя немногіе въ состояніи переносить.

«Если мои слова и требованія не оскорбляютъ васъ, приходите иногда повидаться съ нами и постарайтесь *заставить полюбить себя*. Не стану говорить вамъ, что се-

est digne de votre amour. Plus vous la connaîtrez, plus vous verrez de gens et d'amis qui l'ont toujours connue, plus vous apprécierez le trésor que je me laisse enlever et que j'avais pourtant bien gardé jusqu'ici. Mais je puis lui manquer tôt ou tard, et la pensée que je lui donne pour protecteur un homme digne d'elle, qui l'aime et l'apprécie, sert d'une certaine compensation à mes regrets.

« Dans tous les cas, je répète encore ce que je vous ai dit déjà, Monsieur, *c'est qu'il n'y a et il n'y aura pas d'engagement jusqu'à une époque assez éloignée où tout se décidera*. Si le sort vous sépare... point de murmures, point de reproches!.. S'il vous réunit, soyez aussi heureux que mon cœur le désire... Et vous le serez, car vous aurez choisi une compagne qui réunit tout, hors la fortune.

« Si rien ne vous empêche, venez prendre le thé avec nous demain soir.

« Recevez, etc. . . . . »

Cette seconde lettre de Henriette est, tout comme la première, pleine de réserve, de réticence, de vague, de problématique; et, *de même que la* première, elle

стра моя достойна вашей любви. Чѣмъ больше вы будете узнавать ее, чѣмъ больше вы увидите друзей и знакомыхъ, которые знаютъ ее уже давно, тѣмъ лучше оцѣните сокровище, которое я позволяю похитить и которое между прочимъ съумѣла сохранить до сихъ поръ. Но вѣдь она можетъ лишиться меня рано или поздно, и мысль, что я даю ей въ покровители человѣка честнаго и ее достойнаго, облегчаетъ до нѣкоторой степени мои сожалѣнія.

«Во всякомъ случаѣ, повторяю вамъ, милостивый государь, еще разъ то, что уже сказала, а именно, что *нѣтъ и не будетъ никакого обязательства до эпохи, довольно отдаленной, когда все будетъ рѣшено*. Если судьба разлучитъ васъ.... чтобы не было ни ропота, ни укоризновъ!... Если она соединитъ васъ, будьте такъ счастливы, какъ того желаетъ мое сердце.... И вы будете счастливы, потому что пріобрѣтете подругу жизни, соединяющую въ себѣ все, кромѣ богатства.

«Если ничто васъ не задержитъ, приходите завтра вечеромъ пить къ намъ чай.

«Примите и проч.....»

Это второе письмо Генріэтты совершенно такъ же, какъ и первое, полно сдержанности, недомолвокъ, сомнѣній, загадочности; и точно также, какъ и первое, содержитъ

contient, vers la fin, cette phrase élastique et pleine d'arbitraire. Allons, répondons! Conduis-toi bien, ma plume, ma brave plume! Faisons d'abord des variations sur cette phrase, reproduite à deux reprises : *il n'y a et il n'y aura pas d'engagement.* Varions ce thème et puis, si l'artillerie de nos arguments fonctionne bien, nous ferons une brèche dans les murailles de l'argumentation laborieuse élevée autour de Sophie par Mademoiselle Henriette ; et après cela, tentons l'assaut, si l'on s'obstine à ne pas vouloir capituler.

Bien, très bien! Comme elle court, cette plume docile! Avec quelle vitesse les lettres forment des mots, les mots forment des lignes, les lignes forment des pages: ce sont autant de rangs et de bataillons, prêts à fondre sur la place forte et à s'en emparer par un coup de main. Mais avant de la lancer, voyons, inspectons cette armée, rangée en ordre de bataille par ma plume, c'est-à-dire lisons ma lettre à Henriette :

« Mademoiselle,

« Je veille de nouveau ; il n'est que quatre heures et demie, et il y a déjà plus d'une heure que le sommeil a fui mon chevet, et je prends derechef la plume pour

въ концѣ эластическую фразу и можетъ быть истолковано по произволу. Нечего дѣлать, будемъ отвѣчать ! Веди себя хорошенько, перо мое, мое доброе перо ! Напишемъ сначала варіаціи на эту фразу, воспроизведенную два раза : *нѣтъ и не будетъ никакого обязательства.* Видоизмѣнимъ эту тему и затѣмъ, если артиллерія нашихъ аргументовъ будетъ дѣйствовать хорошо, проломимъ брешь въ стѣнѣ тщательной аргументаціи, воздвигнутой вокругъ Софи М-lle Генріэттою ; а потомъ попытаемся сдѣлать приступъ, если непріятель будетъ противиться сдаться на капитуляцію.

Хорошо, очень хорошо! Какъ оно бѣгаетъ, это послушное перо ! Съ какою скоростью изъ буквъ составляются слова, слова образуютъ строчки, а строчки превращаются въ страницы : это словно какъ такое же количество шеренгъ и батальоновъ, готовыхъ броситься на крѣпость и овладѣть ею съ одного маху. Но прежде, чѣмъ рѣшиться на это, просмотримъ, провѣримъ эту армію, построенную въ боевомъ порядкѣ моимъ перомъ, то-есть прочтемъ мое письмо къ Генріэттѣ :

« Милостивая государыня !

« Я опять не сплю ; всего только четыре съ половиною часа утра, а вотъ уже болѣе часу, какъ сонъ бѣжалъ съ моего изголовья и я снова берусь за перо, чтобы писать вамъ.

vous écrire. Mais cette fois ce n'est plus l'exaltation qui me dicte ces lignes; certes, non! C'est la raison saine et lucide, c'est la logique impassible, froide et calme, comme la solitude qui m'entoure. Devant moi se trouvent les deux lettres que j'ai eu l'honneur de recevoir de vous, et que j'ai lues et relues plusieurs fois. Tout y est si logique, si juste, si concluant, si propre à vous tranquilliser, à vous inspirer un degré de confiance et de sécurité à contenter les moins accommodants; tout, sauf une phrase, une seule phrase, qui, semblable à ce petit nuage à peine perceptible à l'horizon lointain du désert sablonneux de l'Afrique, porte en elle le germe d'un de ces orages, qui peuvent bouleverser la vie d'un homme et l'ensevelir sous les décombres de ses espérances et de ses vœux brisés. Avant d'analyser cette phrase, je ferai la récapitulation de ce que j'ai vu, entendu, écrit et lu dans les derniers dix jours de mon existence.

« Comme je vous l'ai déjà écrit, j'ai parfaitement bien compris et apprécié votre tendre sollicitude pour votre sœur bien-aimée. Comme je l'ai dit et écrit, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour assurer l'avenir de celle qui voudrait me *faire l'honneur* et le bonheur de

Но въ этотъ разъ уже не экзальтація диктуетъ мнѣ эти строчки; конечно нѣтъ! А здоровый и ясный разсудокъ и безстрастная логика, спокойная и холодная, какъ окружающее меня уединеніе. Передо мною находятся два письма, которыя имѣлъ я честь получить отъ васъ, и которыя читалъ и перечитывалъ по нѣскольку разъ. Все въ нихъ такъ логично, такъ вѣрно и убѣдительно, такъ способно успокоить, внушить извѣстную степень довѣрія и успокоенія, и удовлетворить самого взыскательнаго человѣка; все, за исключеніемъ одной фразы, которая подобно легкому, чуть замѣтному облачку на отдаленномъ горизонтѣ песчаной африканской пустыни, носитъ въ себѣ зародышъ одной изъ тѣхъ бурь, которыя могутъ перевернуть всю жизнь человѣка и погребсти его подъ развалинами его надеждъ и разбитыхъ желаній. Прежде, чѣмъ приступить къ разбору этой фразы, я сдѣлаю краткій обзоръ всего, что видѣлъ, слышалъ, писалъ и читалъ въ послѣдніе десять дней своего существованія.

«Какъ я уже говорилъ вамъ, я прекрасно понялъ и оцѣнилъ вашу нѣжную заботливость о любимой сестрѣ. Какъ я уже говорилъ и писалъ, я сдѣлаю все, что въ моей власти, чтобы обезпечить будущность той, которая окажетъ мнѣ честь и счастіе, отдавъ мнѣ свою дорогую руку. Еслибы вы знали

m'accorder sa main chérie. Si vous me connaissiez tant soit peu, vous seriez parfaitement tranquille sur ce point et vous ne songeriez point à y revenir à plusieurs reprises. Mais je suis un étranger, à peine connu ; donc on a tout le droit de se méfier de moi et de prendre les précautions les plus minutieuses ; c'est logique, c'est juste.

« Tout en reconnaissant parfaitement l'importance que les questions matérielles ont dans la vie pratique des individus, comme dans celle des peuples, j'ai toujours eu l'habitude de laisser ces questions-là sur le second, et parfois sur le troisième plan, quand il s'est agi de ma propre personne ; car pour moi la question importante, c'est la question morale, la question d'esprit et de cœur ; voilà celle que je mets toujours au-dessus de toutes les autres. Mais s'agit-il d'autres personnes que de moi, je fais faire aussitôt volte-face à ma manière de voir et d'agir, et je commence par trancher d'abord les questions d'intérêt matériel, qui souvent font l'unique face de la situation. Alors ma sollicitude ne se borne pas au cercle étroit de mes proches parents ; non ! j'aime à l'étendre sur tout ce qui me touche de près ou de loin : sur mes amis, sur mes connaissances, sur mes domestiques, dont j'aime

меня побольше, вы были бы совершенно спокойны на этотъ счетъ и не стали бы нѣсколько разъ возвращаться къ этому предмету. Но я иностранецъ, котораго едва знаютъ ; поэтому, вы имѣете полное право недовѣрять мнѣ и принимать противъ меня мельчайшія предосторожности ; это логично и справедливо.

«Вполнѣ сознавая важность матеріальныхъ вопросовъ въ практической жизни какъ отдѣльныхъ лицъ, такъ и цѣлыхъ народовъ, я всегда имѣлъ обыкновеніе ставить эти вопросы на второй и даже на третій планъ, когда дѣло шло о моей собственной личности ; потому что для меня несравненно важнѣе вопросы нравственные, вопросы ума и сердца ; ихъ я ставлю всегда выше всякихъ другихъ. Но когда дѣло идетъ о комъ нибудь другомъ, а не обо мнѣ, я тотчасъ перемѣняю свой обычный образъ мыслей и дѣйствій и начинаю прямо съ разрѣшенія вопросовъ, имѣющихъ интересъ матеріальный, которые нерѣдко составляютъ единственную сторону даннаго положенія. Тогда моя заботливость не ограничивается однимъ тѣснымъ кружкомъ близкихъ родныхъ ; нѣтъ ! я простираю ее на все, что касается меня вблизи или издали : и на друзей, и на знакомыхъ, и на слугъ, которымъ мнѣ пріятно обезпечить, если не отдаленную будущность, то хотъ существованіе

à assurer, sinon l'avenir lointain, du moins l'existence de quelques années ; enfin sur tous ceux qui m'ont rendu un service quelconque. J'aime à leur prêter aide et assistance, dans les limites de mes moyens. Oh ! que de fois j'ai désiré être riche, bien riche, riche à millions, non pas pour moi, car je me contente de ce que j'ai; mais pour pouvoir faire du bien. Oh ! quel délice, quel bonheur il y a dans la possibilité de faire du bien, mais beaucoup de bien ! Voilà ce qui doit faire la félicité éternelle de Dieu.

« Maintenant j'ose espérer qu'après cette profession de foi, si franchement, si loyalement formulée, vous vous tranquilliserez, pour quelque temps du moins, sur l'avenir de Mlle votre sœur, et laisserez de côté les questions de l'intérêt matériel. A mes déclarations précédentes je n'ajouterai plus que ceci : je suis prêt à déposer aux pieds de Mlle Sophie, en retour de quelque peu de son affection, non-seulement la moitié, mais la totalité de ma fortune, et plus que cela encore : ma liberté, mon indépendance, mes goûts, mes habitudes, mes rêves de célébrité artistique. Je renoncerai, si elle le veut, à ma passion pour la musique ou à toute autre chose. Je ne voudrai *que ce qu'elle* voudra, je ne

нѣсколькихъ лѣтъ; наконецъ, на всѣхъ тѣхъ, кто оказалъ мнѣ какую либо услугу. Мнѣ пріятно оказывать имъ помощь и содѣйствіе въ тѣхъ границахъ, которыя позволяютъ мои средства. О, сколько разъ я желалъ быть богатымъ, очень богатымъ, милліонеромъ, но не для себя! Для меня достаточно того, что я имѣю; а для того, чтобъ имѣть возможность дѣлать добро. О, какое наслажденіе, какое счастіе заключается въ возможности дѣлать добро, много добра! Вотъ въ чемъ должно состоять вѣчное блаженство Божества.

«Теперь, честно и искренно высказавъ вамъ свои убѣжденія, я осмѣливаюсь надѣяться, что вы, хотя на нѣкоторое время, успокоитесь на счетъ будущности своей сестры и оставите въ сторонѣ матеріальные вопросы. Къ только что сдѣланнымъ объясненіямъ я могу прибавить только еще вотъ что: я готовъ повергнуть къ стопамъ Mlle Sophie въ обмѣнъ за нѣкоторую привязанность съ ея стороны, не только половину, но даже все свое состояніе и даже болѣе: свою свободу, независимость, свои вкусы, привычки, мечты объ артистической славѣ. Если она пожелаетъ, я откажусь отъ своей страсти къ музыкѣ или отъ чего другаго. Я буду желать только того, чего пожелаетъ она, буду смотрѣть только на то, что пожелаетъ видѣть она, буду

verrai que ce qu'elle voudra voir, je ne sentirai que comme elle sentira ; car, convenez-en, on ne saurait faire trop pour gagner l'amour d'une femme comme Mlle votre sœur, d'une femme qu'on ne rencontre pas deux fois dans sa vie, car elle est la personnification vivante du génie de la beauté et de la bonté ; génie dont la nature n'est pas moins avare que des génies de la science et de l'art.

«En voilà assez sur l'article des garanties. Voyons maintenant le revers de la médaille, c'est-à-dire le côté qui me concerne personnellement dans cette affaire. Après tout ce que je suis prêt à faire pour prouver mon dévouement à l'élue de mon cœur, ai-je, moi, une garantie quelconque que je ne me verrai point un jour enlever mes espérances les plus chères, mes rêves de bonheur ineffable, et tout cela sans autre motif que le sens élastique de la phrase dont j'ai fait mention au commencement de cette lettre et qui fait un nuage, non pas sur l'horizon du désert, mais sur l'horizon de la vie d'un homme d'honneur et de bien ; un nuage gros d'un orage menaçant et terrible pour un cœur aimant, dont il brisera à jamais tout les ressorts et tarira toutes les sources d'une existence laborieuse et utile. Mais

чувствовать только то, что станетъ чувствовать она; потому что, согласитесь, нѣтъ такой жертвы, которую не согласишься принести, чтобъ заслужить любовь такой женщины, какъ ваша сестра; женщины, которую можно встрѣтить только разъ въ жизни, потому что она представляетъ живое воплощеніе геніи красоты и доброты ; генія, на который природа также скупа, какъ и на геніевъ науки и искусства.

«Кажется, въ отношеніи гарантій сказано довольно. Взглянемъ теперь на оборотную сторону медали, т. е. на ту, которая въ этомъ дѣлѣ касается лично меня. Послѣ всего, что я готовъ сдѣлать, чтобъ доказать свою преданность избранницѣ моего сердца, имѣю ли я, въ свою очередь, какое нибудь обезпеченіе въ томъ, что не буду, въ одинъ прекрасный день, лишенъ всѣхъ своихъ, самыхъ дорогихъ надеждъ, грёзъ невозмѣннаго счастія и все это, безо всякаго иного повода, кромѣ растяжимаго смысла фразы, о которой я упоминалъ въ началѣ этого письма, и которая составляетъ облако не на горизонтѣ пустыни, а на горизонтѣ жизни честнаго и благороднаго человѣка; облако, обѣщающее грозную бурю, ужасную для любящаго сердца, силы котораго она подломитъ навсегда и изсушитъ всѣ источники трудолюбиваго и полезнаго существованія. Не будемъ говорить яснѣе и растолкуемъ мысль

parlons plus clairement et expliquons le sens figuré de mes paroles. La phrase dont il s'agit, la voici :

« N'oubliez jamais *qu'il n'y a point d'engagement* et que, sans murmures comme sans reproches, sinon sans regrets, une séparation doit avoir lieu dans le cas où, par un manque de sympathie ou *pour tout autre motif que je ne puis prévoir*, ma sœur préférait rester la compagne de mes travaux ».

« Certes, dans d'autres conditions cette phrase n'arrêterait pas longtemps mon attention et n'effaroucherait ni ma raison, ni ma clairvoyance, surtout si je ressemblais à tant d'autres ou plutôt à la majorité des hommes, qui font bon marché des exigences du cœur et des sentiments les plus saints, abandonnant aujourd'hui, sans raison ni regrets, ce qu'ils encensaient hier, et passent subitement et facilement d'un culte à l'autre, cosmopolites qu'ils se croient en fait de religion de cœur, de principes ou de politique.

« Il en est tout autrement des hommes de ma trempe : je n'ai jamais profané le sanctuaire de mon cœur par un jeu sacrilège des sentiments quelconques, tels que l'amitié, le dévouement ou même la simple reconnaissance, *à plus forte* raison de l'amour,

ный смыслъ моихъ словъ. Фраза, о которой идетъ рѣчь, слѣдующая:

«Незабывайте никогда, *что нѣтъ никакого обязательства* и что разлука должна произойти, если не безъ сожалѣнія, то безъ жалобъ и упрековъ, въ случаѣ, если моя сестра, по недостатку симпатіи или *по какой нибудь другой причинѣ, которую я не могу предвидѣть*, предпочтетъ остаться со мною и помогать мнѣ въ моихъ трудахъ».

«Безъ сомнѣнія, при другихъ условіяхъ, эта фраза не остановила бы на долго моего вниманія и не испугала бы ни моего разсудка, ни проницательности, въ особенности еслибъ я былъ похожъ на другихъ или, лучше сказать, на бо́льшую часть мужчинъ, которые съ такою легкостью относятся къ требованіямъ сердца и самымъ святымъ чувствамъ, что безъ всякихъ причинъ и сожалѣнія покидаютъ сегодня то, чему поклонялись вчера и, считая себя космополитами въ дѣлѣ религіи сердца, убѣжденій или политики, легко и быстро переходятъ отъ одного поклоненія къ другому.

«Совсѣмъ не то бываетъ съ людьми моего закала: я никогда не профанировалъ святилища моего сердца нечестивой игрой какими бы то ни было чувствами: дружбы, преданности, или даже простой благодарности, не говоря уже о любви, самомъ святомъ, самомъ благородномъ,

le plus saint, le plus noble, le plus beau et le plus sublime des sentiments que Dieu ait mis dans le cœur de l'homme, comme preuve évidente de son origine et de sa destination céleste ; comme un lien indispensable qui lie la création à son Créateur, et en dehors duquel il n'y a que le froid de la mort, les ténèbres et le néant.

« Maintenant veuillez bien examiner ma position dans le présent et dans un avenir plus ou moins prochain ; examinez-la avec l'impartialité et la justice qui caractérisent votre esprit et votre cœur. Si je me suis toujours senti d'une incapacité complète pour jouer avec les sentiments les plus communs du cœur, que sera-ce donc quand il s'agit du sentiment qu'une personne comme Mlle votre sœur a su inspirer à un homme comme moi? Si, depuis que je l'ai vue pour la première fois, c'est-à-dire depuis deux mois, et surtout depuis le jour où j'ai chargé Mme T. de s'expliquer avec vous pour mon compte ; si depuis ce jour mon cœur a déjà fait un si long chemin et a fini par être complètement envahi par ce sentiment, qui, pour être tout nouveau, n'en est pas moins grand, moins saint, moins sublime ; que sera-ce donc dans deux ou trois mois d'ici?..

« Pour le moment, mais seule-

прекраснымъ и божественнымъ изъ всѣхъ чувствъ, которыя Богъ вложилъ въ сердце человѣка, какъ явное доказательство его небеснаго происхожденія и назначенія ; какъ необходимую связь, соединяющую созданіе съ Создателемъ, и внѣ которой есть только холодъ смерти, мракъ и ничтожество.

« Потрудитесь теперь разсмотрѣть мое положеніе въ настоящемъ и въ болѣе или менѣе отдаленномъ будущемъ ; разберите его съ безпристрастіемъ и справедливостью, которыми отличаются ваши умъ и сердце. Если я всегда чувствовалъ себя вполнѣ неспособнымъ играть какими бы то ни было сердечными чувствами, что же должно быть, когда дѣло идетъ о чувствѣ, внушенномъ такою личностью, какъ ваша сестра, такому человѣку, какъ я? Если съ того времени, какъ я увидѣлъ ее въ первый разъ, т. е. два мѣсяца тому назадъ, и въ особенности съ того дня, когда я просилъ г-жу Т. переговорить съ вами обо мнѣ; если съ тѣхъ поръ сердце мое совершило такой длинный путь и наконецъ всецѣло отдалось чувству, которое, не смотря на то, что возникло такъ недавно, не можетъ отъ этого быть менѣе великимъ, священнымъ и высокимъ; что же будетъ черезъ два или три мѣсяца?..

« Въ эту минуту, но только въ

ment pour le moment, si un arrêt de séparation définitive m'était notifié, il me ferait horriblement souffrir, me déchirerait le cœur, détruirait toutes mes joies et empoisonnerait pour longtemps et ma vie, et tout les projets de succès artistiques qui me sourient dans l'avenir : mais du moins cette séparation ne me tuerait pas, car, tout saint, tout grand qu'est le nouveau sentiment qui a soudain illuminé mon cœur veuf et mon existence solitaire, il n'a pas encore eu le temps de s'enraciner profondément dans le sol si fécond de mon cœur, de manière que le temps, les occupations de l'esprit, les distractions des voyages pourraient finir par arracher ce sentiment de mon cœur, sans arracher mon cœur lui-même et sauf à y laisser des cicatrices douloureuses pour longtemps.

« Mais dans deux ou trois mois c'en sera fait de moi; car je n'ai jamais rencontré dans ma vie rien de pareil à Mlle votre sœur. Je n'ai même jamais osé rêver une femme telle qu'elle m'apparaît dans la personne de Mlle Sophie, cette personnification vivante de la beauté physique et morale. Et, abstraction faite de vos propres éloges, tout me dit, tout me convainc que je ne me trompe pas dans mes nouvelles *croyances.* Douter de cela, ce

эту минуту, если-бъ я долженъ былъ испытать разлуку, это заставило бы меня жестоко страдать, растерзало бы мое сердце, уничтожило бы всѣ радости и надолго отравило бы мою жизнь и всѣ планы артистическихъ успѣховъ, улыбающіеся мнѣ въ будущемъ: но, по крайней мѣрѣ, эта разлука не убила бы меня, потому что какъ ни велико и ни священно новое чувство, внезапно освѣтившее мое осиротѣлое сердце и одинокое существованіе, оно еще не имѣло времени глубоко укорениться въ плодородной почвѣ моего сердца, такъ что время, умственныя занятія и путевыя впечатлѣнія могли бы въ концѣ концовъ вырвать это чувство изъ моего сердца, не вырывая самаго сердца и только оставивъ въ немъ надолго мучительныя раны.

«Но черезъ два или три мѣсяца все будетъ для меня кончено; потому что я никогда еще въ жизни не встрѣчалъ ничего, подобнаго вашей сестрѣ. Я даже никогда не осмѣливался мечтать о такой женщинѣ, какою представляется мнѣ Mlle Sophie, это живое воплощеніе физической и моральной красоты. И, не говоря уже о вашихъ собственныхъ похвалахъ, все мнѣ говоритъ, все меня убѣждаетъ, что я не ошибаюсь въ своихъ новыхъ вѣрованіяхъ. Сомнѣваться въ этомъ

serait douter de la vertu même, douter de l'immortalité de l'âme et de l'existence de Dieu.

Que deviendrai-je donc si, dans deux mois, mon opinion actuelle sur Mlle Sophie étant passée à l'état de conviction profonde et d'une admiration à l'égal de celle qu'on porte au Créateur de l'univers; que deviendrai-je si alors on me notifie un congé, pour tel ou tel motif, indépendant de moi et basé seulement sur le sens élastique d'une phrase qui, quoique pleine d'arbitraire, n'a pas même la portée d'une garantie pour l'avenir de Mlle votre sœur? Cet avenir, croyez-moi, est bien plus efficacement garanti par mon honneur, par mon caractère et par la connaissance parfaite des manières de la bonne société, où un homme bien né et bien élevé, quoi qu'il arrive, ne se permettra jamais ni murmures, ni reproches, sans que pour cela on soit obligé de recourir à une espèce de stipulation faite d'avance... Et quand même, il saurait toujours s'exécuter de bonne grâce, cela dût-il lui coûter non-seulement le bonheur de la vie, mais la vie elle-même.

« Mon imagination refuse à me tracer ce terrible tableau de mon avenir, non pas parce que je crains la mort; c'est tout le contraire: dès ma plus tendre jeunesse je me suis habitué à

значило бы сомнѣваться въ самой добродѣтели, сомнѣваться въ безсмертіи души и существованіи Бога.

«Что-же будетъ со мною, если по прошествіи двухъ мѣсяцевъ, мое настоящее мнѣніе о Mlle Sophie перейдетъ въ состояніе глубокаго убѣжденія и поклоненія, подобнаго тому, которое испытываютъ только къ Творцу вселенной; что будетъ со мною, если тогда меня попросятъ удалиться по той или другой причинѣ, отъ меня независящей и основанной только на растяжимомъ смыслѣ одной фразы, которая, хотя и полна произвольнаго толкованія, не имѣетъ даже значенія гарантіи для будущности вашей сестры? Повѣрьте мнѣ, что эта будущность несравненно прочнѣе обезпечена моею честью, характеромъ и совершеннѣйшимъ знаніемъ правилъ общежитія въ порядочномъ обществѣ, въ которомъ благородный и благовоспитанный человѣкъ никогда, что бы ни случилось, не позволитъ себѣ ни жалобъ, ни упрековъ, хотя бы на этотъ счетъ не было сдѣлано никакого предварительнаго договора... И во всякомъ случаѣ, онъ всегда съумѣетъ покориться добровольно, хотя бы это стоило ему не только счастія жизни, но и самой жизни.

«Воображеніе отказывается представить мнѣ ужасную картину этого будущаго, не потому, чтобы я боялся смерти, напротивъ: я съ самой ранней юности привыкъ смотрѣть на смерть, какъ на временной сонъ,

ne regarder la mort que comme un sommeil momentané, dont on ne tarde pas à sortir pour passer à une vie infiniment meilleure que celle d'ici-bas. Dans les quelques instants suprêmes de ma vie où il m'arrivait de sentir l'approche glaciale de ce niveleur inexorable des grandeurs humaines, mon front n'a jamais pâli, et je suis resté calme et impassible, comme à l'approche d'une visite officielle et depuis longtemps attendue. Ainsi ce n'est point la mort que je crains, c'est la vie, car je dois vivre pour mes enfants, à moins de passer pour un lâche. Oui, c'est cette obligation de traîner quand même ce boulet de forçat qu'on appelle la vie, c'est cela qui me fait horreur.

« Et pour compléter ce tableau sombre et sinistre de mon avenir, je me transporte par la pensée à travers les âges et l'espace, aux confins des mondes et aux temps antérieurs à la création, quand, du haut des cieux, l'ange rebelle a été précipité dans les abîmes des ténèbres éternelles. Mais là finit ce parallèle extraordinaire: le génie du mal a été précipité pour son orgueil et à cause de sa révolte; et moi, je serai précipité des cieux où habite mon Dieu, à moi; *précipité pour l'excès de mon dévouement, de mon abnégation et de ma soumission!...*

отъ котораго человѣкъ очень скоро пробуждается, чтобъ перейти къ другой, безконечно-лучшей жизни, чѣмъ жизнь на землѣ. Въ тѣ торжественныя минуты моего существованія, когда мнѣ случалось чувствовать ледяное приближеніе этого неумолимаго уравнителя человѣческихъ почестей, чело мое не блѣднѣло никогда и я оставался холоднымъ и спокойнымъ, словно въ ожиданіи давно ожидаемаго, оффиціальнаго посѣщенія. Слѣдовательно, я боюсь вовсе не смерти, а жизни, потому что долженъ жить для своихъ дѣтей, чтобъ не прослыть трусомъ. Да, это обязательство, во что бы то ни стало влачить цѣпи каторжника, называемыя жизнью, вотъ что приводитъ меня въ ужасъ.

«И, чтобъ дополнить эту мрачную и зловѣщую картину моего будущаго, я мысленно переношусь черезъ безконечныя пространства времени, къ началу міра и ко временамъ, предшествовавшимъ сотворенію человѣка, когда возмутившійся ангелъ былъ свергнутъ съ высоты небесъ въ бездну вѣчнаго мрака. Но тутъ и оканчивается эта необыкновенная параллель: геній зла былъ низвергнутъ за гордость и возмущеніе; тогда какъ я буду низвергнутъ съ небесъ, гдѣ обитаетъ мое божество, *низвергнутъ за излишнюю преданность, самоотверженіе и покорность!*

« Maintenant concluons: je n'exige aucun engagement dans l'avenir et ne demande que la permission de visiter votre intérieur et... d'espérer. Mais, de grâce, désavouez cette phrase qui, semblable à l'épée de Damoclès, est suspendue au-dessus de mon front, soumis et respectueux. Avec moi vous ne risquez pas même l'ombre d'un désagrément. Et puis la permission de voir Mlle Sophie et d'espérer n'est nullement un engagement; ce n'est point un contrat de mariage; ni même le moindre pacte quelconque qu'il serait difficile, sinon impossible, de déchirer. Du moins précisez-moi la nature de *cet autre motif que vous ne pouvez prévoir*, afin qu'à mon tour je puisse prévoir de quel côté pourrait venir l'orage, et me préparer à le rencontrer et à en atténuer les coups destructeurs.

« Agréez, etc....»

«Теперь перейдемъ къ заключенію: я не требую никакихъ обѣщаній въ будущемъ и не прошу ничего, кромѣ позволенія бывать у васъ и.... надѣяться. Но умоляю васъ, откажитесь отъ этой фразы, которая, подобно мечу Домокла, виситъ надъ моей покорной головой. Со мною вы не рискуете имѣть даже и тѣни непріятностей. Сверхъ того, позволеніе видѣться съ Mlle Sophie и надѣяться отнюдь не составляетъ обѣщанія; вѣдь это не брачный договоръ, ни какое бы то ни было условіе вообще, которое было бы трудно, если не невозможно разорвать. Опредѣлите мнѣ, по крайней мѣрѣ, свойство этой *другой причины*, *которой вы не можете предвидѣть*, чтобы я, съ своей стороны, могъ предвидѣть, откуда мнѣ можетъ грозить опасность и приготовиться ее встрѣтить и отразить ея гибельные удары.

«Примите и проч....»

V.

Возобновленіе сердечной кампаніи.

J'envoyai aussi cette lettre par ma domestique. Puis, le lendemain soir, je me rendis au salon vert, après trois jours d'absence, jours qui me parurent aussi longs que les nuits d'hiver du Spitzberg. Sophie m'y atten-

И это письмо я отослалъ со служанкою. Затѣмъ, вечеромъ слѣдующаго дня, отправился въ зеленую гостинную послѣ трехдневнаго отсутствія, показавшагося мнѣ такимъ же продолжительнымъ, какъ зимнія ночи на Шпицбергенѣ. Софи ждала

dait seule. Dès qu'elle me vit entrer, elle alla au devant de moi, me tendit la main et dit d'une voix émue et avec un sourire d'une bonté ineffable :

— Merci... Merci pour vos lettres, surtout pour la dernière, pour cette bonne lettre qui a dissipé toutes les craintes de ma sœur et jusqu'à la dernière trace du doute. Quant à moi, j'avais une confiance entière en vous, confiance que vous m'avez inspirée dès le premier jour de notre connaissance et qui n'a jamais faibli depuis lors.

— Eh bien ! me craignez-vous encore ? — dis-je à Sophie, remarquant en elle une lutte intérieure entre l'envie de dire assez et la crainte de dire trop.

— Oui, fit-elle,—je crains encore, mais ce n'est pas vous. Je crains que vous ne vous désenchantiez de moi, car je ne suis qu'une femme ordinaire, et vous avez une trop haute opinion de moi. Et puis, je crains encore que votre famille ne soit contre ce mariage, et surtout que votre fille aînée, que j'aime tant, ne pense que je lui ai enlevé une partie de votre affection pour elle. Oh ! je serai bien malheureuse si vos enfants ne m'aiment point, moi qui ne demande qu'à *les aimer*, à les caresser et à

меня тамъ одна. Увидѣвъ меня, она тотчасъ встала, подошла ко мнѣ, протянула мнѣ руку и съ улыбкой невыразимой доброты сказала мнѣ взволнованнымъ голосомъ.

— Благодарю..... Благодарю васъ за ваши письма, особенно за послѣднее, за это хорошее письмо, которое разсѣяло всѣ опасенія моей сестры и не оставило даже слѣдовъ сомнѣнія. Что-же касается до меня, я имѣла къ вамъ полнѣйшее довѣріе, которое вы внушили мнѣ со дня нашего знакомства и которое съ тѣхъ поръ ни на минуту не ослабѣвало.

— Ну, чтоже, боитесь-ли вы еще меня ? — спросилъ я Софи, замѣтивъ въ ней внутреннюю борьбу между желаніемъ сказать достаточно и опасеніемъ сказать слишкомъ много.

— Да, отвѣчала она, — я все еще боюсь, но не васъ. Я боюсь, чтобъ вы не разочаровались во мнѣ, потому что я самая обыкновенная женщина, и вы обо мнѣ слишкомъ высокаго мнѣнія. Кромѣ того, я боюсь, что ваше семейство будетъ противъ этого брака, и чтобъ въ особенности ваша старшая дочь, которую я такъ люблю, не подумала, что я могу отнять у нея часть вашей привязанности къ ней. О, я буду очень несчастна, если ваши дѣти, которыхъ я такъ желаю любить, ласкать и быть для нихъ, а въ особенности для Mlle Аннетъ,

être une amie, une sœur plutôt qu'une mère pour Mlle Annette.

Il y avait quelque chose de vrai dans les appréhensions de Sophie au sujet de ma famille. La première idée que j'avais émise sur la probabilité de me remarier encore une fois avait produit une pénible sensation chez ma belle-sœur et encore plus chez ma fille aînée. Mais, à la suite d'une connaissance plus ample, plus intime avec Sophie, et à mesure qu'elles avaient eu occasion d'étudier et d'apprécier les hautes qualités de son cœur et de son esprit, elles avaient cédé au charme de ce chef-d'œuvre moral et physique, à la fascination duquel rien ne pouvait résister. Ainsi je pus tout-à-fait tranquilliser Sophie sur le compte de ma famille, en lui assurant qu'elle était aimée, adorée de mes deux filles et de ma belle-sœur, auxquelles en effet j'étais parvenu à faire partager mon culte pour elle.

Deux jours après, voulant enfin obtenir de Sophie une réponse définitive, je lui dis:

— Pourquoi hésitez-vous encore? Qu'avez-vous à craindre en me promettant votre main? La parole que vous me donnerez n'est nullement un contrat de mariage, et vous pourrez tou-

скорѣе другомъ и сестрою, нежели матерью; боюсь, что онѣ не станутъ любить меня.

Въ опасеніяхъ Софи относительно моего семейства, была нѣкоторая доля правды. Первая мысль, высказанная мною насчетъ возможности моей женитьбы, произвела тягостное впечатлѣніе на мою свояченицу и въ особенности на мою старшую дочь. Но, познакомившись ближе и короче съ Софи, и по мѣрѣ того, какъ онѣ имѣли случай изучить и оцѣнить высокія качества ея ума и сердца, они поддались очарованію этого физическаго и нравственнаго совершенства, чарующему обаянію котораго ничто не могло противиться. Поэтому я могъ совершенно успокоить Софи на счетъ моего семейства, увѣривъ ее, что она любима и обожаема обѣими моими дочерьми и моей свояченицей, которыхъ мнѣ въ самомъ дѣлѣ удалось заставить раздѣлять мое поклоненіе ей.

Черезъ два дня послѣ этого, желая наконецъ получить отъ Софи рѣшительный отвѣтъ, я сказалъ ей:

— Отчего вы продолжаете колебаться? Почему боитесь обѣщать мнѣ свою руку? Слово, которое вы мнѣ дадите, вѣдь не есть брачный договоръ и вы всегда можете взять его назадъ и отказать мнѣ, если от-

jours la retirer et me donner congé, si vous parvenez à découvrir quelque mauvais antécédent.

— Oh! si je donne ma parole, ce ne sera pas pour la retirer. Et puis, je n'ai aucune défiance de vous. Il suffit de vous voir et de causer deux fois avec vous pour avoir une entière confiance dans vos paroles et dans votre caractère.

— Eh bien, Mademoiselle, — dis-je d'une voix suppliante, je veux bien attendre encore six jours. Du moins, ce terme écoulé, aurai-je le bonheur de vous voir tendre cette main chérie et la mettre dans la mienne?

Sophie me regarda, comme elle n'avait point encore regardé jusqu'ici, et, en hochant sa belle tête, me dit à voix basse:

— Oui.

Je saisis sa main et la baisai avec effusion. A la reprise de mes visites au salon vert, après la correspondance de trois jours avec Henriette, Sophie m'avait accordé cette petite licence, anticipée sur les six jours de prorogation qu'elle venait de décréter. Mais elle ne me permit pas d'embrasser son tout petit pied, ce dont je l'avais suppliée. Baiser, avec amour et respect, les pieds d'une femme adorée a toujours fait palpiter mon cœur *du bonheur le plus pur*.

кроете что нибудь дурное въ моей прошлой жизни.

— О, если я разъ далъ слово, то не затѣмъ чтобы брать его назадъ! Кромѣ того, я не питаю къ вамъ никакого недовѣрія. Достаточно васъ видѣть и говорить съ вами не болѣе двухъ разъ, чтобъ почувствовать полное довѣріе къ вашимъ словамъ и къ вашему характеру.

— Ну, хорошо, — сказалъ я умоляющимъ голосомъ: — я готовъ ждать еще шесть дней. Но по крайней мѣрѣ по истеченіи этого срока, буду-ли я имѣть счастіе видѣть, какъ вы протянете эту, дорогую для меня, руку и положите ее въ мою?

Софи взглянула на меня такъ, какъ не смотрѣла еще никогда и наклонивъ свою прекрасную головку, тихо проговорила:

— Да.

Я схватилъ ея руку и съ глубокимъ чувствомъ поцѣловалъ ее. Послѣ возобновленія моихъ посѣщеній зеленой гостинной и трехдневной переписки съ Генріэттой, Софи позволила мнѣ эту маленькую вольность, допущенную преждевременно на основаніи только что утвержденной ею, шестидневной отсрочки. Но не позволила мнѣ поцѣловать свою крошечную ножку, какъ я ни просилъ ее объ этомъ. Сердце мое всегда трепетало самымъ чистымъ восторгомъ отъ поцѣлуевъ, которые, съ любовью и почтеніемъ,

— A coup sûr,—dis-je,—vous allez découvrir, dans ces six jours, quelques horreurs sur mon compte; que je suis, par exemple, un meurtrier, un faussaire, un empoisonneur comme Palmer?

— Mais certainement j'espère découvrir quelque chose, et de bien grave à votre sujet.

— Par exemple?

— Par exemple: c'est que... c'est que vous... volez, — dit Sophie avec un sourire malin et naïf en même temps.

— Bah!... je vole... Et qu'est-ce que j'ai volé? Serait-ce un cœur, pour m'exprimer en style de roman?

— Mais oui, — fit mon adorable interlocutrice, et en même temps ses joues se couvraient d'un carmin plus beau que celui des cochenilles.

De quelle mélodie suave résonna pour moi ce dernier mot! Prosaïque, commun, banal, quand il ne fait que clore une transaction pécuniaire, une affaire de chiffres et de Bourse; ce mot, formé de trois lettres seulement, mais prononcé par la bouche d'une femme belle et adorée, a une portée immense et sert de prélude à une de ces symphonies de cœur, due à la verve d'un compositeur de premier ordre.

Je rentrai chez moi plein d'es-

расточалъ я ножками любимой женщины.

— Навѣрно, сказалъ я, — что втеченіи этихъ шести дней вы узнаете обо мнѣ что нибудь ужасное; что я напримѣръ, убійца, поддѣльщикъ или отравитель, въ родѣ Пальмера.

— Безъ сомнѣнія, я надѣюсь открыть кое-что на вашъ счетъ и притомъ очень важное.

— Напримѣръ?

— Напримѣръ... что вы.... что вы.... воруете, сказала Софи съ лукавой и въ то же время наивной улыбкой.

— Ба!... Такъ я ворую.... А что же такое я похитилъ? Умь не сердце-ли, выражаясь романическимъ слогомъ?

— Ну да,—отвѣчала моя очаровательная собесѣдница и щеки ея покрылись въ то же время яркимъ румянцемъ, прекраснѣе всякаго кармина.

Какой сладкой мелодіей прозвучало для меня послѣднее слово! Пустое, пошлое и прозаичное, когда бываетъ произнесено въ заключеніе какой нибудь торговой сдѣлки, счета или на биржѣ, это слово, состоящее всего изъ двухъ буквъ, но произнесенное устами прекрасной и любимой женщины, имѣетъ громадное значеніе и служитъ прелюдіей одной изъ тѣхъ сердечныхъ симфоній, создаваемыхъ вдохновеніемъ первоклассиаго композитора.

Я вернулся домой, полный

pérance et transporté de joie. J'adoptai définitivement l'intervalle de deux jours pour mes visites au Bois Sauvage, où j'allai cueillir une rose, qui surpassait en éclat et en beauté toutes les roses cultivées dans les serres chaudes et les jardins botaniques. Les deux jours passés, je me trouve de nouveau auprès de Sophie. Tout à coup elle devint sérieuse, pensive, triste, et de temps en temps je la vis frissonner.

— Mais qu'avez-vous donc? — dis-je à Sophie, après l'avoir observée attentivement pendant quelques minutes.

— J'ai peur!

— De qui?

— De vous.

— De moi?

— Oui, de vous...

Après ces derniers mots, moi aussi je commençai à ressentir un frisson mortel. J'étais déconcerté, abasourdi, anéanti; et l'idée d'une rupture m'apparut, comme la statue du commandeur dans Don Juan, et éclaira mon esprit de la lueur sinistre des enfers. Je tombai aux pieds de Sophie, j'embrassai ses mains et ses genoux et je lui dis d'une voix entrecoupée par des sanglots étouffés:

— Que veulent dire vos paroles, Mlle Sophie? Cet édifice *superbe* et grandiose du bon*heur que j'ai* rêvé, va-t-il donc

надеждъ и восторженной радости. Я окончательно рѣшился ходить черезъ каждые два дня въ Bois Sauvage (дикій лѣсъ), гдѣ мнѣ предстояло сорвать розу, превосходившую своимъ блескомъ и красотою всѣ розы, воспитанныя въ теплицахъ и ботаническихъ садахъ. По прошествіи двухъ дней я снова очутился подлѣ Софи. Она вдругъ сдѣлалась серьезна, задумчива, грустна и по временамъ, какъ я замѣтилъ, даже вздрагивала.

— Но что съ вами? — спросилъ я Софи, внимательно наблюдая за нею впродолженіи нѣсколькихъ минутъ.

— Я боюсь!

— Кого?

— Васъ.

— Меня?

— Да, васъ....

Послѣ этихъ словъ я также почувствовалъ смертельную дрожь. Я былъ смущенъ, оглушенъ, уничтоженъ; и мысль о разрывѣ представилась мнѣ, какъ статуя командора въ Донъ-Жуанѣ и озарила мой умъ зловѣщимъ свѣтомъ ада. Я упалъ къ ногамъ Софи и, цѣлуя ея руки и колѣни, прерывающимся отъ рыданій голосомъ, произнесъ:

— Что значатъ ваши слова, Mlle Sophie? Неужели величественное и великолѣпное зданіе счастія, о которомъ я мечталъ, должно обрушиться,

s'écrouler, m'écraser et m'ensevelir sous ses décombres?... Oh! Dieu de Dieu!... Pitié, Mademoiselle, pitié!... Ne me tuez pas, ou plutôt, tuez-moi, mais vite, sans trop prolonger mes atroces angoisses. Dites-moi franchement si vous n'avez que de l'antipathie pour moi.

Ces paroles fougueuses, échos d'un cœur dans les alarmes, balayèrent en un clin d'œil les nuages du front de Sophie; et ce front s'illumina soudain comme les cimes des Alpes au lever d'un beau soleil d'été. Elle me prit les mains et me fit asseoir près d'elle. Ses yeux de turquoise brillaient à l'égal des diamants les plus précieux; ses joues brûlaient du feu sacré des Vestales, et sa bouche, parvis de son cœur pur et innocent comme le premier sourire d'un nouveau-né, laissa entendre les paroles suivantes:

— Je n'ai jamais aimé.... Je n'ai aimé personne... le sentiment d'amour me fut toujours inconnu... Eh bien?... à présent je sens que j'aime... et c'est vous que j'aime... Oui, je l'avoue, je vous aime et cet amour grandit tous les jours... et je ne sais jusqu'où il ira, où il me conduira; car, je le répète, ce sentiment m'a été complètement inconnu jusqu'à présent... Et si, dans la suite, vous m'aimez

раздавить меня и погрести подъ своими развалинами?... О, Боже мой, Боже мой!.... Смилуйтесь, надо мною, смилуйтесь!.... Не убивайте, меня, или лучше убейте, только поскорѣе, не продолжая слишкомъ долго моихъ ужасныхъ мученій. Скажите мнѣ откровенно, что не чувствуете ко мнѣ ничего, кромѣ отвращенія.

Эти пылкія слова, вылившіяся прямо изъ испуганнаго сердца, въ мгновеніе ока согнали всѣ облака съ чела Софи; и чело это вдругъ просіяло, точно вершины Альповъ при восходѣ чуднаго лѣтняго солнца. Она взяла меня за руки и посадила подлѣ себя. Ея бирюзовые глаза сверкали, точно самые дорогіе бриллианты; щеки пылали священнымъ огнемъ Весталокъ, а уста, преддверіе чистаго и невиннаго, какъ улыбка новорожденнаго, сердца, произнесли слѣдующія слова:

— Я никогда не любила.... Не любила никого... Чувство любви не было мнѣ извѣстно.... И чтоже? теперь я чувствую, что люблю.... и люблю васъ.... Да, я признаюсь въ томъ, я люблю васъ и эта любовь увеличивается съ каждымъ днемъ.... и я не знаю, до чего она дойдетъ и куда поведетъ меня; потому что, повторяю, это чувство было совершенно неизвѣстно мнѣ до сихъ поръ..... А что, если впослѣдствіи вы станете любить меня

moins, ou que vous cessiez de m'aimer?... Oh! que je serai alors malheureuse!

La voix du chérubin chantant les louanges du Seigneur ne me paraîtrait pas aussi douce que me parurent ces paroles, prononcées par Sophie d'une voix lente et basse, qui vibrait comme le murmure lointain des vagues caressées par la brise du matin.

Je tombai de nouveau aux pieds de mon chérubin, à moi, de ma divinité, de ma Sophie, et je couvris de baisers de feu et ses mains, et ses pieds qu'elle ne me dérobait plus. Mes yeux étaient humides, ma respiration haletante, ma poitrine se dilatait d'un bonheur indicible. Et des paroles d'amour et de reconnaissance éternelle coulaient de ma bouche et fécondaient l'affection mutuelle qui venait d'être constatée d'une manière si éclatante.

— Cesser de vous aimer, ange adorable!... Mais c'est cesser de vivre; c'est même pis que de mourir... Vous aimer moins, vous, ô mon génie tutélaire et bienfaisant, vous, ô ma Sophie chérie!... Mais il faudrait être un misérable, un scélérat pour cela... Mais pardon, pardon! Je vous ai nommée simplement Sophie, sans y avoir été autorisé, et anticipant, pour ainsi dire, *sur le jour* prochain où votre

меньше или перестанете любить совсѣмъ?.... О, какъ я буду тогда несчастна!

Голосъ херувимовъ, воспѣвающихъ хвалебныя гимны Создателю, не показался бы мнѣ такимъ сладкимъ, какъ эти слова, произнесенныя Софіею тихо и медленно, голосомъ, дрожавшимъ, какъ отдаленный ропотъ волнъ, ласкаемыхъ утреннимъ вѣтеркомъ.

Я снова палъ къ ногамъ моего херувима, моего божества, моей Софи и покрылъ пламенными поцѣлуями ея руки и ноги, которыхъ она уже болѣе у меня не отнимала. Глаза мои были влажны, дыханіе порывисто, грудь расширялась отъ невыразимаго счастія. Съ языка лились слова любви и вѣчной благодарности, оплодотворяя взаимную привязанность, только что засвидѣтельствованную такимъ блестящимъ образомъ.

— Перестать любить васъ, обожаемый ангелъ!... Но это значитъ перестать жить; это даже хуже, чѣмъ умереть... Любить васъ менѣе, васъ, о, мой благодѣтельный ангелъ-хранитель, васъ, о, моя дорогая Софи!... Но для этого надо быть негодяемъ и злодѣемъ.... Но, простите, простите меня! Я назвалъ васъ просто по имени, не получивъ на то позволенія и воспользовавшись еще не принадлежащимъ мнѣ правомъ, которое я получу только въ

main chérie va m'appartenir définitivement.

— Oh! dites-moi Sophie, nommez-moi toujours simplement Sophie, — me répondit-elle avec vivacité et en me faisant asseoir auprès d'elle. Ensuite elle me regarda avec tant de tendresse, me serra les mains et pencha sur mon épaule sa tête délicieuse.

— Et vous? voudrez-vous aussi me nommer simplement Nicolas? — dis-je à Sophie.

— Pas à présent; attendez encore quelques jours.

— Et pourquoi pas à présent? Oh! je vous supplie, dites-moi Nicolas, dites-le doucement, à l'oreille.

— Pas à présent, pas à présent... Quant à moi, je suis habituée à ce qu'on m'appelle Sophie. Tout le monde me parle ainsi: ma sœur, mon frère, mes amis, toutes mes bonnes connaissances.

Et, en parlant ainsi, elle avait sa bouche si près de ma joue que je sentais la chaleur de sa respiration embaumée; j'entendais distinctement les battements de son cœur.

Dieu de miséricorde et de toute-puissance! D'où vient cette autre toute-puissance que possède une femme belle, quand elle est aimée et qu'elle aime en même temps? Lui cèdes-tu une portion de ta puissance, ou te la dérobe-t-elle

тотъ день, когда ваша дорогая рука будетъ принадлежать мнѣ вполнѣ.

— О, называйте меня по имени, говорите мнѣ всегда просто Софи, возразила она съ живостью, усаживая меня подлѣ себя. Затѣмъ она взглянула на меня съ такою нѣжностью, сжала мои руки и склонила ко мнѣ на плечо свою прелестную головку.

— А вы? станете-ли вы тоже просто называть меня Николаемъ? спросилъ я Софи.

— Нѣтъ еще, подождите еще нѣсколько дней.

— Почему-же не теперь? О, молю васъ, назовите меня Николай, назовите потихоньку, на ухо.

— Не теперь, не теперь... Вѣдь я привыкла къ тому, чтобъ меня называли Софи. Всѣ называютъ меня такъ: и сестра, и братъ, и друзья, и всѣ наши короткіе знакомые.

Говоря это, она такъ близко наклоняла свой ротикъ къ моей щекѣ, что я чувствовалъ жаръ ея благовоннаго дыханія и ясно слышалъ біеніе ея сердца.

Боже милосердый и всемогущій! Откуда является это другое всемогущество, которымъ обладаетъ прекрасная женщина, когда она любима и въ то же время любитъ сама? Уступаешь-ли Ты ей часть своего могущества, или она похищаетъ его

au moyen du feu sacré de l'amour, de cette grande et belle loi de la nature, de ce principe inextinguible de tout ce qui vit, respire et se meut? D'un gouffre ténébreux et sans fond où semblait me précipiter le commencement de la conversation, elle m'avait tiré pour la suivre dans son vol hardi bien loin de la terre, dans les régions éthérées, inconnues et à jamais inaccessibles au commun des mortels.

Je ne me lassais pas de la regarder et d'admirer l'expression céleste répandue sur toute sa figure d'ange. J'admirais cette expression, comme étant le véritable coloris du cœur et de l'âme, coloris intellectuel que le pinceau des plus grands maîtres de la peinture est parfois impuissant à reproduire sur la toile. Puis je dis:

— Que sera-ce de moi quand je recevrai de vous le premier baiser d'amour? Si j'allais mourir par l'intensité du bonheur suprême que me causera ce baiser électrique?

Ces mots provoquèrent de nouveau un léger frisson chez Sophie. De nouveau le carmin de la pudeur virginale colora ses joues. Elle s'agita, et ses lèvres remuèrent mais ne laissèrent entendre que des mots entrecoupés et sans suite. Tout en elle trahissait une lutte intérieure entre la

у Тебя съ помощью священнаго огня любви, этого великаго и прекраснаго закона природы; этого неугасимаго принципа всего, что живетъ, дышетъ и двигается? Она вытащила меня изъ мрачной, бездонной пропасти, куда, казалось, низвергло меня начало разговора, и заставила слѣдовать за собою въ своемъ отважномъ полетѣ, далеко отъ земли, въ эфирную, неизвѣстную область, недостижимую для простаго смертнаго.

Я не уставалъ глядѣть и любоваться на небесное выраженіе, разлитое на всей ея ангельской наружности. Я любовался этимъ выраженіемъ, какъ истиннымъ отраженіемъ души и сердца, тѣмъ умственнымъ отраженіемъ, котораго иногда не въ состояніи передать на полотнѣ кисть даже самыхъ великихъ мастеровъ живописи. Затѣмъ, я сказалъ:

— Что будетъ со мною, когда дадите мнѣ первый поцѣлуй любви? Что, если я умру отъ необъятности верховнаго счастія, которое причинитъ мнѣ этотъ электрическій поцѣлуй?

Эти слова опять вызвали въ Софи легкую дрожь. Опять на щекахъ ея появился румянецъ дѣвической стыдливости. Она заволновалась и уста ея зашевелились, но не произнесли ничего, кромѣ отрывистыхъ и безсвязныхъ звуковъ. Все доказывало въ ней внутреннюю борьбу между откровенностью преобладающаго чув-

franchise d'un sentiment qui dominait et la timidité de l'instinct féminin qui voulait faire de l'opposition; c'était, en un mot, le spectacle de la raison aux prises avec l'affection; de la souveraine intelligence attaquée par son sujet rebelle, le cœur. Fatiguée tant soit peu par ce combat acharné qu'elle soutenait avec une dignité et un courage héroïques, Sophie pencha de nouveau sa tête et l'appuya sur mon épaule.

Ce qui se passait alors en moi, ce que je ressentais au fond de mon âme, il serait impossible de le décrire, de se le représenter même. C'était une de ces félicités qu'il n'est pas donné à tout le monde d'éprouver ici-bas, et qui est, pour ainsi dire, une anticipation sur la félicité éternelle de l'autre vie.

Un silence profond régna pendant quelque temps; nous en profitâmes pour nous recueillir et entrer dans un état plus calme, plus normal. Ce calme une fois rétabli, je repris la conversation. Cette fois elle alla régulièrement, sans ces soubresauts et ces secousses électriques qui en avaient signalé le début. Nous causâmes, entre autres, de notre avenir, de notre vie à deux, qui ne ferait qu'un tout identique et harmonieux. Je peignis à Sophie les agrém[illegible]ts

ства и робостью женскаго инстинкта, выказывавшаго сопротивленіе; словомъ, то было зрѣлище разсудка, борящагося съ привязанностью; зрѣлище высшей интеллигенціи подъ нападеніемъ своего возставшаго вассала — сердца. Утомленная этой упорной борьбой, которую поддерживала съ геройскимъ мужествомъ и достоинствомъ, Софи опять опустила голову и склонила ее на мое плечо.

Не возможно описать, ни даже вообразить себѣ того, что происходило въ это время во мнѣ и что я чувствовалъ въ глубинѣ своей души. То было одно изъ тѣхъ блаженствъ, которыя не всякому удается испытать здѣсь на землѣ, и которое есть, такъ сказать, предвкушеніе вѣчнаго блаженства, ожидающаго насъ въ загробной жизни.

Нѣсколько времени царствовало глубокое молчаніе, мы воспользовались имъ, чтобъ собраться съ мыслями и придти въ болѣе спокойное, болѣе нормальное состояніе. Какъ только это спокойствіе было возстановлено, я снова приступилъ къ бесѣдѣ. На этотъ разъ она пошла правильно, безъ тѣхъ электрическихъ скачковъ и толчковъ, которыми отличалась вначалѣ. Мы заговорили, между прочимъ, о нашей будущности, о нашей жизни вдвоемъ, которая должна была быть ничѣмъ инымъ, какъ тожественнымъ, гармоническимъ цѣ-

de la vie de St-Pétersbourg, l'hospitalité large et généreuse de mes compatriotes envers les étrangers et surtout envers les Français, généralement si aimés en Russie *). Je lui fis l'énumération et l'éloge de mes bonnes connaissances, qui forment un cercle assez nombreux et très-varié et qui l'aimeraient à coup sûr; car connaître Sophie et ne pas l'aimer, ne pas la respecter sont deux idées absolument incompatibles. Je parlai aussi du comfort et des plaisirs, dont je me ferai un devoir et un bonheur de l'entourer. Après m'avoir écouté attentivement, elle m'interrompit, en disant:

— Oh! Je ne veux rien, je me contenterai de bien peu, pourvu que vous m'aimiez, pourvu que vous soyez auprès de moi, vous et vos enfants que j'aime tant. C'est tout ce qu'il

лымъ. Я описывалъ Софи удовольствія петербургской жизни, широкое и великодушное гостепріимство моихъ соотечественниковъ въ отношеніи иностранцевъ и въ особенности французовъ, которые вообще любимы въ Россіи *). Я перечислилъ и расхвалилъ ей всѣхъ своихъ хорошихъ знакомыхъ, составляющихъ довольно многочисленный и очень разнообразный кружокъ и которые навѣрно всѣ ее полюбятъ, такъ какъ знать Софи и не любить, не уважать ее, это — двѣ вещи совершенно несовмѣстимыя. Говорилъ я также о комфортѣ и удовольствіяхъ, которыми сочту долгомъ и счастіемъ окружить ее. Выслушавъ меня внимательно, она перебила меня словами.

— О, мнѣ ничего не надо, я буду довольна очень немногимъ, только бы вы меня любили, только бы вы были со мною, вы и ваши дѣти, которыхъ я такъ люблю. Вотъ все, что мнѣ нужно. Если вы желаете,

*) Отецъ Софи былъ чистокровный французъ, парижанинъ, но переселившійся въ Брюссель. Мать Софи была бельгійка, необыкновенной красоты, передъ которою, по словамъ сестеръ Гемаръ, Софи казалась не красавицей, а только миловидной дѣвочкой. Послѣ смерти отца Софи, ея мать вступила во второй бракъ уже съ бельгійцемъ, и долго, долго сохраняла свою феноменальную красоту, которая, какъ и ея добродѣтель, была извѣстна во всей Бельгіи. Красота Софи была феноменальна; что же была ея мать? Умъ немѣетъ, воображеніе безсильно начертать хотя приблизительный абрисъ такой *геніальной красоты*. Все, что возможно, такъ это — вообразить себѣ нашу прародительницу Евву, этотъ chef-d'œuvre творчества, вѣнецъ міроздания; вообразить ее въ тотъ самый моментъ, когда она только что вышла изъ рукъ Творца, любовавшагося *своимъ образцовымъ* произведеніемъ. Ну, такъ вѣроятно наша прародительница *своею красотою* была *только* не ниже[illegible] и не выше матери Софи Гемаръ.

me faut. Si vous voulez que j'aille dans le monde, je le ferai volontiers; sinon, je serai heureuse chez moi, mais avec vous, avec vos enfants. Je me vouerai tout entière à vous rendre heureux, à vous arranger un intérieur calme, paisible et serein.

Elle se tut. Quelle perspective d'un bonheur parfait me faisait entrevoir cette déclaration de l'ange tutélaire et radieux, descendu du ciel encore une fois avec la sainte mission de réhabiliter un martyr innocent qu'avait condamné par contumace le sort injuste et cruel; d'arracher la gangrène du doute de son cœur en lambeaux; de cicatriser les plaies et de remplir les vides de ce cœur, dévoré par la soif ardente d'aimer; enfin d'illuminer une existence sombre, froide et banale!

Vers la fin de cette visite à jamais mémorable, et avant de me dire adieu, Sophie m'adressa cette phrase, où la clairvoyance de l'esprit le disputait avec la délicatesse exquise de son cœur:

— Oh! de grâce, pardonnez-moi de ce que je vous ai chagriné au commencement de notre causerie d'aujourd'hui! C'est que je suis si nerveuse, c'est que je vous aime tant! Mais rassurez-vous: je ferai tout mon possible pour que cela n'arrive plus.

чтобъ я бывала въ обществѣ, я охотно исполню ваше желаніе, если нѣтъ, я буду счастлива у себя, но съ вами, съ вашими дѣтьми. Я посвящу себя вполнѣ тому, чтобъ сдѣлать васъ счастливымъ и устроить вамъ тихую и пріятную жизнь.

Она умолкла. Какую перспективу совершеннѣйшаго счастія представляло мнѣ это заявленіе чуднаго ангела хранителя, еще разъ спустившагося съ небесъ съ священнымъ назначеніемъ — возстановить доброе имя невиннаго страдальца, заочно осужденнаго жестокимъ и несправедливымъ рокомъ; вырвать изъ его растерзаннаго сердца гангрену сомнѣнія; залечить его раны и наполнить пустоту этого сердца, съѣдаемаго жгучей жаждой любви; словомъ, освѣтить мрачное, холодное и пошлое существованіе!

Подъ конецъ этого визита, который вѣчно останется у меня въ памяти, и прежде чѣмъ проститься со мною, Софи обратилась ко мнѣ со слѣдующею фразою, въ которой проницательность ея ума спорила съ изысканной деликатностью сердца:

— О, прошу васъ, простите, что я огорчила васъ въ началѣ нашего сегодняшняго разговора! Это потому только, что я очень нервна и такъ люблю васъ! Но успокойтесь: я употреблю всѣ усилія, чтобъ этого болѣе не случалось.

Quelle bonté de cœur! Quelle douceur de caractère! Quelle délicatesse de sentiments! Quelle noblesse et quelle élévation de pensées dénotaient ces paroles, prononcées avec l'accent de la plus profonde conviction. Et toute cette réunion de qualités les plus brillantes, les plus solides, de mérites les plus incontestables, de vertus les plus rares; tout ce trésor inappréciable se donnait à moi sans restriction aucune et, par sa valeur intrinsèque, relevait les fonds de mon existence tourmentée, ces fonds intellectuels que les revers de la fortune avaient fait descendre bien au-dessous du pair, en menaçant d'une faillite morale et complète cette existence dans un avenir plus ou moins rapproché.

Je quittai Sophie, ivre d'un bonheur que rien ne troublait plus. L'horizon de ma vie était dégagé de tous les nuages. Le soleil, qui se levait du côté du Bois Sauvage, inondait de sa lumière bienfaisante les paysages variés et pittoresques de ma vie, naguère encore si prosaïque, si brumeuse, si triste et si stérile. Ce soleil radieux commençait à faire son ascension majestueuse vers le zénith du firmament qui s'étendait au-dessus de ma tête et me dominait par son *immensité*.

Сколько сердечной доброты! Какая мягкость характера! Какая деликатность чувствъ! Какое благородство и возвышенность мыслей выражались въ этихъ словахъ, произнесенныхъ тономъ глубочайшаго убѣжденія. И все это соединеніе самыхъ блестящихъ, самыхъ прочныхъ качествъ; самыхъ неоспоримыхъ достоинствъ и рѣдкихъ добродѣтелей; все это неоцѣненное сокровище отдавалось мнѣ безо всякаго ограниченія и своей дѣйствительной цѣнностью поднимало фонды моего измученнаго существованія, тѣ умственные фонды, которые превратности судьбы заставили спуститься гораздо ниже своей настоящей стоимости, грозя этому существованію полнѣйшимъ моральнымъ банкротствомъ въ болѣе или менѣе отдаленномъ будущемъ.

Я покинулъ Софи, опьяненный счастіемъ, котораго ничто не смущало болѣе. Горизонтъ моей жизни освободился отъ всякихъ тучъ. Солнце, восходившее со стороны Bois Sauvage, обливало своимъ благодѣтельнымъ свѣтомъ разнообразные и живописные пейзажи моей жизни, недавно еще столь прозаичной, пасмурной, грустной и безплодной. Это лучезарное солнце начинало свой величественный восходъ къ зениту тверди небесной, простиравшейся надъ моею головою и подавлявшей меня своею необъятностью.

VI.

Побѣда и торжество.

Enfin se leva le jour où Sophie devait me tendre sa main, m'accepter pour promis et devenir ma fiancée *de jure*, l'étant déjà *de facto* depuis le jour où elle avait avoué son amour pour moi et puis avait appuyé sa tête sur mon épaule. Le lendemain de cette journée, à deux heures de l'après-midi, je me trouvai aux pieds de mon bon génie et je l'implorai de me tendre sa main.

Sophie était encore indécise et, pendant quelque temps, flottait entre la force excentrique de l'amour, et la force concentrique de la crainte; entre la certitude de ce qui est et l'incertitude de ce qui va être; entre un problème résolu et un problème à résoudre. Ainsi tout l'effarouchait: la nouveauté absolue de la vie qui l'attendait, la séparation prochaine avec sa sœur bien-aimée, avec son frère qui l'adore, avec ses connaissances qui la vénèrent, avec sa patrie adoptive où elle coulait des jours si calmes, si sereins, si heureux. Puis ses craintes s'augmentaient de l'idée du départ pour un pays étranger, si lointain, si peu connu et surtout

Наконецъ наступилъ день, когда Софи должна была отдать мнѣ свою руку, признать меня женихомъ и сдѣлаться моею невѣстою *de jure*, какъ была ею *de facto* съ того самаго дня, когда призналась мнѣ въ своей любви и склонилась головкой ко мнѣ на плечо. На слѣдующій день послѣ того, въ два часа дня, я уже былъ у ногъ моего добраго генія и умолялъ его отдать мнѣ свою руку.

Софи еще колебалась и, въ продолженіи нѣкотораго времени, находилась между эксцентрической силой любви и концентрической силой опасенія; между увѣренностью въ томъ, что есть и неувѣренностью въ томъ, что будетъ; между задачей уже рѣшенной и той, которую еще предстояло рѣшить. И потому ее пугало все: и полнѣйшая новизна ожидавшей ее жизни, и скорая разлука съ любимой сестрой и обожающимъ ее братомъ, съ уважающими ее знакомыми, съ ея пріемной родиной, гдѣ она вела такую мирную, спокойную, счастливую жизнь. Сверхъ того, ея опасенія увеличивались при мысли объ отъѣздѣ въ чужую сторону, такую отдаленную, столь мало извѣстную и въ особенности такъ много оклеветанную.

tant calomnié. Enfin le sentiment profond de la pudeur virginale, que Sophie a su garder intact, dans tout son parfum, dans toute sa fraîcheur primitive et dans toute la naïveté enfantine, à travers les vingt-six ans de sa belle vie, dont la limpidité n'a été troublée que par la mort de son fiancé (à Londres) qu'elle n'aimait pas, mais qu'elle croyait digne d'obtenir sa main: bref, toutes ces pensées, toutes ces considérations rendaient bien pénible pour Sophie la décision finale et irrévocable, et la faisaient hésiter à prononcer l'arrêt en dernier lieu et sans appel. Mais enfin, et à la suite de mes instances chaleureuses et réitérées, elle releva subitement sa tête qu'elle tenait un peu penchée sur sa poitrine, souleva ses beaux yeux où brillait le feu d'une résolution ferme et inébranlable, et quand je lui eus tendu les mains, en disant:

— De grâce! tendez-moi votre main chérie.

Elle leva ses deux mains et les laissa tomber lentement dans les miennes.... Oh! comme je serrai ces deux chefs-d'œuvre de petites mains! De quels baisers les couvris-je! De baisers dont le bruit à peine murmurant était comme le «sotto voce» des chants mélodieux de l'amour. *Après quelques* moments d'un

Наконецъ, чувство глубокой, дѣвственной стыдливости, которое Софи умѣла сохранить неприкосновеннымъ, во всемъ его благоуханіи, во всей первобытной свѣжести и дѣтской наивности въ теченіи всѣхъ двадцати шести лѣтъ своей прекрасной жизни, ясность которой не была омрачена ничѣмъ, кромѣ смерти ея жениха (въ Лондонѣ), котораго она хотя и не любила, но считала достойнымъ получить ея руку: словомъ, всѣ эти мысли и соображенія дѣлали для Софи чрезвычайно затруднительнымъ окончательное и безповоротное рѣшеніе и заставляли ее медлить произнесеніемъ послѣдняго и безвозвратнаго приговора. Но, наконецъ, внявъ моимъ горячимъ и неотступнымъ мольбамъ, она вдругъ подняла голову, которая была у нея слегка опущена на грудь, подняла свои прекрасные глаза, въ которыхъ сверкалъ огонь твердаго, непоколебимаго рѣшенія и когда я протянулъ ей руки, говоря:

— Умоляю васъ! Отдайте мнѣ вашу дорогую руку.

Она подняла обѣ свои руки и медленно опустила ихъ въ мои.... О, какъ я сжалъ эти прелестныя, маленькія ручки! Какими покрылъ поцѣлуями! Поцѣлуями, едва слышный шелестъ которыхъ походилъ на «sotto voce» мелодическихъ пѣсень любви. Послѣ нѣсколькихъ минутъ благоговѣйнаго и торжественнаго молчанія, я сказалъ Софи:

silence pieux et solennel, je dis à Sophie :

— Ainsi, vous vous donnez à moi entièrement et pour toujours?

— Oui,—me répondit-elle d'une voix ferme et résolue.

Je renonce à exprimer par des paroles ce que je ressentis alors au fond de mon âme épanouie. Il y a dans la vie d'un homme de cœur des moments, des situations que la langue humaine restera toujours impuissante à peindre. Pour chanter la grande épopée de l'amour, pour la chanter comme elle mérite d'être chantée, le poète est encore à attendre pendant bien longtemps; car est-elle possible la naissance du poète du cœur par le temps qui court, où l'empire universel, rêvé par les conquérants d'autrefois, n'est réalisé de nos jours que par des spéculateurs, des monopoleurs, des financiers, des banquiers, enfin par tous ces rois et tyrans de la Bourse? Pourra-t-il naître ou seulement être conçu cet Homère de l'amour, par notre temps de scepticisme et de matérialisme, cette lèpre des sociétés actuelles, au sein desquelles le vrai sentiment, le vrai talent, les vraies vertus, mais modestes, mais sans charlatanisme, restent dans l'ombre, confinés dans les coins les plus reculés de la scène du monde; raillés, conspués,

— Итакъ, вы отдаетесь мнѣ вполнѣ и навсегда?

— Да, — твердымъ, рѣшительнымъ тономъ отвѣчала она.

Отказываюсь передать словами то, что я почувствовалъ при этомъ въ глубинѣ моей просвѣтлѣвшей души. Въ жизни человѣка съ сердцемъ бываютъ такія минуты и положенія, которыя человѣческій языкъ никогда не въ состояніи будетъ передать. Чтобъ воспѣть великую эпопею любви, чтобъ воспѣть ее такъ, какъ она того заслуживаетъ, надо еще долго ждать поэта; потому что, возможно-ли появленіе поэта сердца въ такое время, какъ нынѣшнее, когда всемірная монархія, о которой мечтали великіе политики и завоеватели прежнихъ временъ, осуществилась въ наши дни въ лицѣ спекуляторовъ, монополистовъ, финансистовъ и банкировъ; словомъ, всѣхъ биржевыхъ тирановъ и королей? Можетъ ли родиться или только быть зачатъ какой нибудь Гомеръ любви въ наше время скептицизма матеріализма, этой проказы современнаго общества, въ нѣдрахъ котораго истинное чувство, истинный талантъ, истинныя, но скромныя, безъ шарлатанства, добродѣтели, остаются въ тѣни, отодвинутыя на самый задній планъ свѣтской сцены, осмѣянныя, презираемыя, затертыя и затмѣваемыя фальшивымъ блескомъ фальшивыхъ зво-

effacés, éclipsés par le faux éclat des faux apôtres de la science, de l'art ou de la morale. Et voilà où en est arrivé le point culminant de notre civilisation.

. . . . . *).

. . . . . .

Et maintenant? quel aspect nous présente-t-elle cette ère de la régénération après les dix-huit siècles de la civilisation chrétienne? La renaissance du paganisme, mais dix fois pire que ne fut celui des Grecs, qui, par leur culte symbolique, déifiaient du moins l'humanité dans tout ce qu'elle avait de plus noble, de plus grand et de plus beau. Mais le paganisme moderne n'élève des autels que pour ce qu'il y a de plus grossier, de plus sale et de plus laid dans l'humanité: pour les instincts animaux et voraces. Le temple des payens moderne, c'est la Bourse; leurs dieux, ce sont les lingots ou les rouleaux d'or; leurs images sacrées, ce sont les billets de banque ou les bons de l'Etat; leurs exercices pieux, c'est la hausse ou la baisse; enfin leur pénitence, c'est la liquidation. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

столовъ науки, искусства и нравственности... Вотъ до чего дошла высшая точка нашей цивилизаціи.

. . . . . .

*) . . . . . .

А теперь? Какое зрѣлище представляетъ намъ эра возрожденія послѣ восьмнадцати вѣковъ христіанской цивилизаціи? Возвращеніе къ идолопоклонству, только въ десять разъ худшему, чѣмъ язычество древнихъ грековъ, которые, своимъ символическимъ культомъ, поклонялись, по крайней мѣрѣ, человѣчности во всемъ, что въ ней есть самаго благороднаго, великаго и прекраснаго. Тогда какъ современный паганизмъ воздвигаетъ алтари всему, что ни есть въ людяхъ самаго грубаго, грязнаго и безобразнаго: животнымъ и алчнымъ инстинктамъ. Храмъ современныхъ идолопоклонниковъ, это— Биржа; ихъ боги — это слитки и свертки золота; ихъ священныя изображенія—банковые билеты и государственныя облигаціи; ихъ священнодѣйствія—повышенія и пониженія процентныхъ бумагъ; наконецъ, покаяніе ихъ, это — ликвидація. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

*) *Большія многоточія означаютъ болѣе или менѣе значительныя купюры, пропуски изъ французскаго текста поэмы любви.*

VII.

Первый поцѣлуй любви.

Tout palpitant d'un bonheur indicible, serrant dans mes mains les mains de Sophie, l'électrisant de mes regards enflammés, je lui dis:

— Ce n'est point par plaisanterie que vous m'avez tendu la main, mais bien sérieusement, n'est-ce pas?

— Et vous, pensez-vous plaisanter? Quant à moi, tout cela est sérieux, irrévocablement sérieux et solennel.

Il ne me restait plus qu'à recevoir le premier baiser d'amour, et je dis:

— Eh bien? Me donnerez-vous aujourd'hui le baiser d'amour pour sceller le pacte et sanctifier l'union de nos cœurs?

Sophie me jeta un regard bien tendre, mais aussi bien timide et indécis, et me répondit à voix basse:

— Pas aujourd'hui.... après....

— Oh! pourquoi retarder? N'êtes-vous pas déjà ma promise! Grâce, grâce! Complétez le bonheur sans égal dont vous m'inondez aujourd'hui, accordez-moi ce baiser délicieux et à la fois pur et saint.

Et, en parlant ainsi, je m'agenouillai devant Sophie, je pen-

Весь трепеща отъ невыразимаго счастія, сжимая въ своихъ рукахъ руки Софи и электризуя ее своими пламенными взорами, я сказалъ:

— Вы не шутя протянули мнѣ руку, а серьезно, неправда-ли?

— А вы, развѣ шутите? Что же касается до меня, то все это совершенно серьезно, безвозвратно серьезно и торжественно.

Мнѣ не оставалось ничего болѣе, какъ напечатлѣть первый поцѣлуй любви и я сказалъ:

— Ну, что-же? Дадите-ли вы мнѣ сегодня поцѣлуй любви, чтобъ запечатлѣть нашъ договоръ и освятить союзъ нашихъ сердецъ?

Софи бросила на меня очень нѣжный, но въ то же время робкій и нерѣшительный взглядъ и тихо отвѣтила:

— Не сегодня.... послѣ....

— О, зачѣмъ откладывать? Развѣ вы не невѣста моя? Смилуйтесь, смилуйтесь! Довершите безпримѣрное счастіе, которымъ вы подарили меня сегодня и дайте мнѣ этотъ чудный, но съ тѣмъ вмѣстѣ чистый и святой, поцѣлуй.

И, говоря это, я палъ передъ нею и склонилъ мою голову на

chai ma tête et l'appuyai contre ses genoux, que j'embrassais avec passion. Puis je couvris de baisers ses pieds, ses mains et je passai enfin mon bras autour de sa taille fine et souple. Elle essaya d'abord de lutter et d'échapper à mes lèvres brûlantes, auxquelles elle abandonna pourtant bientôt son front, ses yeux, son cou et ses joues; mais elle défendit vaillamment sa petite bouche avec ses petites mains, jusqu'à ce que, sentant ma respiration brûlante sur sa joue, elle devint moins obstinée à soutenir la lutte. Soudain elle renonça à toute résistance, poussa un long soupir, entoura mon cou de ses bras, me pressa avec force sur son cœur et, dans un moment d'électricité irrésistible, sa bouche se trouva sous mes lèvres passionnées et enflammées. Alors mon cœur cessa de battre, un voile lumineux descendit sur mes yeux et nos lèvres se fondirent dans un baiser amoureux, langoureux, long, humide et enivrant. C'était le ciel descendu sur la terre pour y laisser l'échantillon et les arrhes de toutes les félicités qu'il nous promet là-haut. . . .

A bas, ma plume!.... Pour le moment ton rôle est fini; tu ne saurais aller plus loin: la tâche est au-dessus de tes ressources. Repose-toi sur tes lauriers; *tu m'as* déjà bien servi,

ея колѣнами, которыя лобызалъ страстно. Потомъ разцѣловалъ у ней ножки, ручки и наконецъ обнялъ ея тонкій, гибкій станъ. Она боролась, старалась ускользнуть отъ моихъ горящихъ губъ, подставила наконецъ подъ мои поцѣлуи свой лобъ, глаза, шею и щеки; но храбро защищала своими маленькими ручками свой крошечный ротикъ до тѣхъ поръ, пока, почувствовавъ на своей щекѣ мое горячее дыханіе, не перестала съ прежнимъ упорствомъ поддерживать борьбу. Вдругъ она совсѣмъ отказалась отъ сопротивленія, испустила долгій вздохъ, обвила руками мою шею, съ силою прижала меня къ своему сердцу, и въ минуту непреодолимаго влеченія, ея ротъ очутился подъ моими горячими, страстными устами. Тутъ сердце мое перестало биться, на глаза спустился какой-то свѣтозарный покровъ, и уста наши слились въ долгомъ, страстномъ, влажномъ и опьяняющемъ поцѣлуѣ. То было небо, спустившееся на землю, чтобъ оставить обращикъ и задатокъ того, что оно обѣщаетъ намъ тамъ, вверху. . . . . .

Довольно, перо мое!... На минуту твоя роль кончена; ты не можешь идти далѣе: задача эта свыше твоихъ силъ. Отдохни на лаврахъ; ты уже довольно послужило мнѣ и заслужило мою признательность. И

tu as bien mérité de moi. Je te dépose donc, sauf à te reprendre bientôt . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Dès le lendemain de la journée *du premier baiser*, je commençai à introduire, dans mes relations avec Sophie, un élément grave, qu'on peut nommer le ciment de l'affection mutuelle. Cet élément, c'est un pronom, un mot qui n'a qu'un son et qui n'est formé que de trois lettres, ou de deux, et parfois même d'une seule. Ce ciment de l'affection est: *toi*, *tu*, *t'*... C'est bien court, n'est-ce pas? C'est bien laconique, cela sent Sparte à deux mille ans de distance. Mais qu'elle est éloquente et riche d'espérances cette petite particule du langage humain dans la bouche d'une fiancée, innocente, douce comme une colombe, et pure comme la neige éternelle et vierge des Alpes. Mais que de choses signifie ce petit fragment de la Sparte ancienne, ce petit bout de pronom, lorsqu'il sort pour la première fois de la bouche d'une femme jeune et belle, s'adressant à celui qui n'espérait plus être aimé, ou bien qui aimait en silence et sans espoir de retour! Quel océan de félicité promet à son amoureux ce *toi*, prononcé par la bouche de cette femme adorée, dans le tête-à-tête de

такъ, я кладу тебя, но вѣроятно скоро опять возьмусь за тебя. . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Начиная со слѣдующаго дня, послѣдовавшаго за *первымъ поцѣлуемъ*, я началъ вводить въ свои сношенія съ Софи важный элементъ, который можно назвать цементомъ взаимной привязанности. Этотъ элементъ есть мѣстоимѣніе, слово, имѣющее только одинъ звукъ и состоящее только изъ двухъ буквъ, а иногда даже изъ одной. Этотъ цементъ привязанности есть слово *ты*. Какъ это кротко, не правда-ли? Какъ лаконично и напоминаетъ Спарту, двѣ тысячи лѣтъ тому назадъ. За то какъ краснорѣчива и богата обѣщаніями, эта маленькая частица человѣческаго языка въ устахъ невѣсты, невинной и кроткой, какъ голубка, и чистой, какъ вѣчные и дѣвственные снѣга Альповъ. Сколько предметовъ означаетъ этотъ маленькій отрывокъ древней Спарты, это крошечное мѣстоименіе, когда выходитъ въ первый разъ изъ устъ прекрасной, молодой женщины, обращенное къ тому, кто уже не надѣялся быть любимымъ, или кто любилъ про себя и не разсчитывалъ на взаимность! Какое море блаженства обѣщаетъ влюбленному это *ты*, произнесенное устами обожаемой женщины, во время уединеннаго tête-à-tête'а любовниковъ, трепещущихъ

ces amants palpitants d'un bonheur immense, au contact mutuel de leurs lèvres brûlantes; de ces amants qui se pâment dans un embrassement long et langoureux, sous le torrent des baisers réciproques et s'abreuvant de ce divin nectar du cœur en feu, plus enivrant et plus divin que celui des dieux de l'ancien Olympe.

отъ безконечнаго счастія, при взаимномъ прикосновеніи ихъ пылающихъ губъ; любовниковъ, млѣющихъ въ долгомъ и томномъ объятіи, подъ потокомъ обоюдныхъ поцѣлуевъ, и упивающихся этимъ божественнымъ нектаромъ воспламененнаго сердца, болѣе опьяняющимъ, чѣмъ нектаръ боговъ древняго Олимпа.

VIII.

Достопамятный вечеръ и дивный монологъ.

(Возвращаюсь на время къ русскому тексту потому, что на другой день послѣ этого достопамятнаго вечера и монолога я описалъ ихъ въ моемъ письмѣ къ сестрѣ моей. Черновая этого письма у меня сохранилась и я переписываю его сюда.)

Былъ вечеръ. Мое божество, моя владычица — на диванѣ, я — у ея ногъ на колѣняхъ на легкомъ коврѣ и на вышитой подушкѣ. Рѣчи потокомъ льются изъ нашихъ устъ, столь же пламенныя какъ и эти уста; рѣчи, вдохновляемыя богомъ любви и, время отъ времени, прерываемыя ропотомъ упоительныхъ, огненныхъ поцѣлуевъ. И сколько въ этихъ рѣчахъ, и въ этихъ поцѣлуяхъ взаимной нѣги и страсти, неземнаго, нечеловѣческаго блаженства и высокой поэзіи! И какимъ неизъяснимо сладкимъ трепетомъ бьется каждая фибра нашихъ сердецъ! Восхитительный вечеръ оканчивается слѣдующимъ монологомъ, небесная мелодія котораго и теперь слышится, и никогда не перестанетъ слышаться въ моемъ умственномъ слухѣ, не перестанетъ слов[illegible]арфа Херувимовъ и Серафимовъ:

— Дорогой Nicolas, несравненный другъ! Скажи мнѣ; гдѣ обучался ты волшебству, наукѣ околдовывать, очаровывать? У кого похитилъ ты священный огонь, которымъ зажегъ давно-остывшее сердце, заставилъ его горѣть яркимъ, неугасимымъ пламенемъ, заставилъ его биться, трепетать восторгами невѣданной, какой-то нездѣшней любви? Знаешь ли, *кого ты держишь* теперь въ своихъ объятіяхъ, чьи пьешь ты поцѣлуи?

Минута слишкомъ торжественна для того, чтобы профанировать ее не только ложью, неправдою, но даже преувеличеніемъ. И потому буду говорить тебѣ святую истину. И такъ, узнай же меня: нѣсколько лѣтъ тому назадъ, у моихъ ногъ, передъ моими колѣнями, ползала и пропо́лзла значительная часть аристократіи гордаго Альбіона. Бароны, графы, герцоги добивались моего благосклоннаго взгляда, вымаливали ласковую улыбку. Я была дивно прекрасна, но съ тѣмъ вмѣстѣ холоднѣе льда, тверже мрамора, горда какъ возставшій противъ Творца ангелъ тьмы, но непорочна и добра какъ ангелъ свѣта. Шесть лѣтъ провела я въ Лондонѣ, куда пріѣхала съ сестрою и съ массою рекомендательныхъ писемъ, съ хорошими денежными средствами, съ блестящимъ образованіемъ и съ совершеннымъ знаніемъ англійскаго языка. Пріѣхала я восьминадцатилѣтнею дѣвицею, необыкновенною красавицею, дочерью и сестрою извѣстныхъ и уважаемыхъ художниковъ. И всѣ эти шесть лѣтъ были безпрерывною овацією въ мою честь, непрекращающимся торжественнымъ моимъ шествіемъ. Все и всѣ въ Лондонѣ были отъ меня безъ ума, носили меня на рукахъ. Вотъ обращикъ одного изъ моихъ торжествъ.

Былъ блестящій раутъ у леди Морганъ. Это была тогдашняя знаменитость, первоклассная англійская писательница, посѣщать салонъ которой считало за честь все, что было въ Лондонѣ знатнаго: кровные аристократы, министры, дипломатическій корпусъ, склонялись передъ нею, склонялись всѣ тѣ, передъ которыми сгибались остальные смертные. Эта леди боготворила меня, ласкала, баловала, цѣловала, нянчилась со мною и осыпала подарками, звала своей дорогой дочерью, называла меня нѣжнѣйшими именами, считала какимъ-то неземнымъ, высшимъ существомъ. Бывали у нее часто блистательные рауты, но которыхъ я, по возможности, старалась избѣгать, потому что не любила шума, не любила блестящей, раззолоченной толпы, не терпѣла восторженныхъ взглядовъ и восклицаній въ мою честь. Но на этотъ разъ должна была уступить: леди сама пріѣхала просить меня на свой раутъ и взяла съ меня слово быть у ней. Ѣду. Безконечный рядъ экипажей растянулся по улицѣ по обѣ стороны отъ входа въ жилище знаменитой писательницы. Вхожу въ ярко освѣщенныя сѣни, наполненныя ливрейными лакеями. Скорыми шагами взбираюсь по великолѣпной лѣстницѣ. Передо мною открывается рядъ пышно убранныхъ комнатъ, а въ послѣдней тронируетъ леди-писательница, окруженная блестящею и почтительною свитою. Едва замѣтила она меня, какъ бросаетъ всѣхъ этихъ герцоговъ, министровъ и посланниковъ, почти бѣжитъ ко мнѣ на встрѣчу съ распростертыми объятіями и восторженными кликами.

— Chère enfant fille adorable! Наконецъ-то я вижу тебя на моемъ раутѣ, наконецъ-то захотѣла ты украсить, освѣтить, осчастливить его своимъ присутствіемъ, — и, взявши меня за обѣ руки, повлекла въ свой блестящій салонъ, гдѣ встрѣтилъ меня перекрестный огонь самыхъ восторженныхъ, пламенныхъ взглядовъ. Кончаю разсказъ о памятномъ для меня раутѣ и приступаю къ разсказу о другомъ, грозномъ событіи въ моей жизни. Какъ я говорила уже, не трогалась я никакими вздохами, взглядами, мольбами, блестящими предложеніями кровныхъ аристократовъ, изъ которыхъ многихъ, если не половину, презирала я въ своей гордой и независимой душѣ, въ сознаніи своего нравственнаго превосходства; презирала этихъ гордыхъ аристократовъ я, дочь простаго, хотя и уважаемаго художника. Но пришелъ и мой часъ— смириться. И для меня пробилъ этотъ урочный часъ. Въ толпѣ блистательныхъ аристократическихъ поклонниковъ отличила я наконецъ одного, тоже блистательнаго, но не аристократа, а доктора. Это былъ человѣкъ молодой, лѣтъ тридцати. Красавецъ, какихъ мало; образованъ, уменъ и ученъ, какъ рѣдко; высоко честенъ, добръ, но и гордъ. И сверхъ всего очень богатъ. Онъ не избѣгнулъ участи большинства тогдашней золотой лондонской молодежи, былъ увлеченъ потокомъ и вовлеченъ въ заколдованный кругъ моихъ безчисленныхъ поклонниковъ. Въ одно прекрасное утро очутился онъ у моихъ ногъ и положилъ къ нимъ свою любовь, пламенную какъ полдень Юга, свои богатства, отдавая всего себя въ полное, безусловное рабство.

— Такая честная, преданная, высокая любовь тронула мое непреклонное сердце, хотя и не растопила еще окружавшую его ледяную кору. Я приняла предложеніе молодаго доктора, котораго не могла не уважать и котораго надѣялась со временемъ полюбить за его доброту, умъ, высокую честность и за безкорыстную и пламенную ко мнѣ любовь. Мы были помолвлены. Но у моего жениха была любовница, которую любилъ онъ столько же, сколько и меня. Эта любовница была.... наука. Въ то время былъ открытъ и входилъ въ медицинскую практику хлороформъ, надъ которымъ женихъ мой, фанатическій жрец[illegible] науки, производилъ многочисленные опыты, бо́льшею частію надъ с[illegible] собою. И вотъ, въ самый вечеръ нашей помолвки, ложась спать, онъ понюхалъ этого роковаго газа, заснулъ, и уже болѣе не просыпался. Не будучи замужемъ, я овдовѣла и навѣки осталась дѣвицею-вдовицею. Я дала зарокъ — не выходить никогда ни за кого, и унести съ собою въ могилу уваженіе къ памяти о человѣкѣ, для котораго я рѣшилась было отказаться отъ *свободной* дѣвической жизни. Хотя и не любила еще, но я высоко ува-

жала моего жениха, и потому была, такъ сказать, придавлена, но не раздавлена, неожиданно обрушившимся на меня горемъ. Я открыла тогда въ себѣ невѣдомую мнѣ твердость и силу характера, которыя, соединясь съ моею покорностію Провидѣнію, не дали мнѣ пасть духомъ. Мы съ сестрою отказались отъ блестящей свѣтской жизни и оставили Лондонъ, гдѣ всѣ оплакали нашъ отъѣздъ. Поселились въ Брюсселѣ и, чтобы развлечь меня, дать мнѣ занятіе и цѣль для разбитой жизни, сестра моя открыла пансіонъ, гдѣ я помогаю ей въ ея педагогическихъ, воспитательныхъ трудахъ, и гдѣ нашла успокоеніе, уврачеваніе ранъ моего сердца, равнодушнаго и, казалось, окаменѣлаго. Всѣ воспитанницы нашего дома обожаютъ меня, молятся на меня, и я плачу имъ со сторицею.

— Скажи же мнѣ, мой волшебникъ, чѣмъ ты приворожилъ меня къ себѣ? Какимъ чудомъ нравственной химіи, съумѣлъ ты растопить тотъ твердый металлъ, который со всѣхъ сторонъ окружалъ мое сердце и дѣлалъ его неприступнымъ, неуязвимымъ? Гдѣ похитилъ ты священный огонь Прометея, но съ тою разницею, что миѳологическій Прометей древнихъ грековъ былъ прикованъ къ скалѣ, а ты, Прометей новыхъ временъ, самъ приковалъ къ себѣ бывшій мраморъ, а теперь живое, трепещущее и плачущее отъ счастія въ твоихъ объятіяхъ существо. Слушай же меня, мой дорогой, мой несравненный другъ! Здѣсь сестра и братъ меня боготворятъ, я плачу имъ тѣмъ же. Сестра бережетъ, лелѣетъ меня, какъ зеницу ока. Всѣ воспитанницы меня обожаютъ. Все, что есть лучшаго въ Брюсселѣ и что только меня знаетъ— у ногъ моихъ. Всѣ одинъ передъ другимъ стараются чѣмъ нибудь угодить мнѣ, доставить какое либо удовольствіе. И несмотря на все это, я бросаю сестру, друзей, мое отечество и, безъ малѣйшаго страха и сожалѣнія, а напротивъ, съ радостію послѣдую за тобою въ твою холодную родину; не боюсь вашихъ морозовъ: ты согрѣешь меня своей любовью; въ твоихъ объятіяхъ, на твоей груди мнѣ не будутъ страшны никакія климатическія неурядицы, ни бури, ни ураганы; ты укроешь, защитишь меня отъ всего.

— Дивный другъ! Богоподобная моя Софи! Скажи, чѣмъ я могъ заслужить такое необъятное счастіе, твою неоцѣненную любовь.? Да вѣдь мнѣ должны завидовать всѣ сильные міра, всѣ безъ исключенія. Да кому же изъ нихъ доставалось когда либо такое сокровище, какъ ты, которая несравненно выше всѣхъ богатствъ, всѣхъ сокровищъ земли; дороже и выше всѣхъ почестей, славы, власти, могущества и блеска всѣхъ коронъ земныхъ владыкъ. За какія же заслуги, за какіе подвиги

достается мнѣ все это верховное, необъятное блаженство — быть страстно любимымъ такою, какъ ты, необыкновенною женщиною; держать тебя въ моихъ объятіяхъ, тебя, трепещущую отъ счастія, и самому трепетать отъ восторга и упиваться нектаромъ твоихъ поцѣлуевъ? Скажи, моя ненаглядная! чѣмъ я могъ тебѣ понравиться? Вѣдь мнѣ уже 46 лѣтъ!... Сорокъ шесть лѣтъ жизни, и какой? Подобіе не ручейка, журчащаго по камешкамъ, а бурнаго горнаго потока послѣ ливня. Не жизни тихой, свѣтлой, безмятежной; а полной треволненій, порывовъ, страданій, бурь и урагановъ. Не разъ гремѣлъ громъ и раздавались страшные удары надъ моей головою. Не разъ и смерть заглядывала мнѣ въ глаза, стояла возлѣ меня. И многое около меня разрушалось и падало. А я уцѣлѣлъ и, почти одинокій, стою въ опустошенной бурею мѣстности, словно столѣтній дубъ, у котораго сломано или обожжено, обезлиственно болѣе половины вѣтвей... Что же могло привлечь тебя подъ тѣнь этого пострадавшаго отъ бурь и съ поломанными вѣтвями дерева? Что могло тебѣ понравиться во мнѣ?

— А твой умъ, то жгучій, то поэтическій и симпатичный. А твое пламенное краснорѣчіе, твои задушевныя, теплыя, увлекательныя рѣчи. А твой благородный, возвышенный характеръ, твоя высокая честность, твое безкорыстіе, твоя фанатическая любовь къ правдѣ, твоя ненависть ко лжи и лицемѣрію; твоя необычайная энергія и съ тѣмъ вмѣстѣ твоя гуманность и желаніе добра всему человѣчеству. А, наконецъ, твои письма къ сестрѣ, въ особенности, послѣднее. Все это сломало высокую стѣну, отдѣлявшую меня отъ всего, что походило на любовь къ мущинѣ. Поэзія и краснорѣчіе твоихъ писемъ сотворили два чуда: съ одной стороны они вполнѣ успокоили самую мнительную, подозрительную недовѣрчивость моей сестры; успокоили самую щепетильную ея заботливость обо мнѣ, страхъ за мою будущность; съ другой стороны — оживили, воскресили... трупъ, похолодѣвшій для любви трупъ. Наконецъ, скажу еще: вѣдь я съ первыхъ же твоихъ къ намъ визитовъ разгадала, узнала тебя и склонилась передъ твоимъ нравственнымъ величіемъ. Вѣдь я знаю, увѣрена въ томъ, что нѣтъ такихъ богатствъ, такихъ почестей, такой славы, для которыхъ поступился бы ты хоть однимъ изъ своихъ строгихъ правилъ; за обладаніе которыми согласился бы ты не только на не доброе, безчестное дѣло, но даже на мало-мальски сомнительное. О, когда я подумаю о большинствѣ людей, даже о тѣхъ, которые играютъ извѣстную роль въ обществѣ; какіе всѣ они ничтожные, жалкіе пигмеи передъ тобою, гигантомъ добра, честности и чести. Могла ли же такая женщина *какъ я,* не полюбить, и не полюбить страстно, беззавѣтно такого му-

щину какъ ты?.. Да! мы вполнѣ стоимъ другъ друга. Обними же меня, мой неоцѣненный, обними крѣпко и упьемся до изнеможенія, до самозабвенія нашими огненными поцѣлуями....

— Сообщу тебѣ еще вотъ что: сегодня утромъ получила я изъ Лондона письмо отъ одного престарѣлаго лорда, одного изъ моихъ безчисленныхъ лондонскихъ друзей. Я прочту его тебѣ, но прежде надо перевесть его пофранцузски. Онъ пишетъ восторженно, поздравляетъ меня съ будущею перемѣною моей жизни и, разумѣется, желаетъ мнѣ полнѣйшаго счастія, а, между прочимъ, проситъ, чтобы ты непремѣнно побывалъ въ Лондонѣ до или послѣ нашей свадьбы. Знаешь ли: когда я дамъ тебѣ два или три мои рекомендательныя письма, двери всѣхъ аристократическихъ салоновъ Лондона отворятся передъ тобою настежь, ты будешь вездѣ дорогимъ гостемъ, и временное твое пребываніе въ столицѣ Англіи превратится въ рядъ блестящихъ празднествъ.

IX.

Дорисовка божественнаго облика *).

Приведя этотъ разговоръ между мною и Софи и ея монологъ, мнѣ уже нечего сказать что либо болѣе, ни слова нельзя къ тому прибавить безъ профанаціи. Въ этихъ монологѣ и разговорѣ, записанныхъ почти слово въ слово, высказалась вполнѣ вся богатая натура Софи. Но, чтобы полнѣе, всесторонніе, достойнѣе изобразить, дорисовать этотъ необыкновенный, геніальный женскій обликъ, я долженъ прибавить еще нѣсколько штриховъ къ ея портрету. Начну съ повторенія сказаннаго мною въ «Трехъ маякахъ».

Софи Гемаръ была совершеннѣйшая изъ женщинъ, какія мнѣ встрѣчались, или о которыхъ случалось мнѣ слышать въ продолженіи моей многолѣтней жизни. И говорю это безъ малѣйшаго преувеличенія: къ чему оно человѣку правды, отжившему, готовящемуся къ скорому отправленію Туда, на свиданіе и соединеніе навѣки и неразрывно съ бывшими моими геніями-утѣшителями. И въ это я крѣпко вѣрую. И эта вѣра— единственная моя утѣшеніе и отрада въ настоящемъ, безотрадномъ моемъ положеніи. Итакъ, прекрасна была и сердцемъ, и умомъ, и наружностію моя первая жена, достойная обожанія и, въ особенности,

*) Эта глава написана лѣтомъ нынѣшняго 1881 года.

глубокаго уваженія; но это была не Софи Гемаръ. Между ними было разстояніе, какое лежитъ между приближеніемъ къ совершенству и настоящимъ, полнымъ, идеальнымъ совершенствомъ. Восхитительна, очаровательна и дѣтски наивна, простодушна и весела была большой ребенокъ, Аннета Гесслингъ; но до Софи Гемаръ ей какъ до звѣзды небесной. И ни въ одномъ романѣ не вычиталъ я двойника Софи Гемаръ. Прелестны женщины Тургенева, симпатичнѣйшаго изъ нашихъ беллетристовъ; читалъ я и перечитывалъ объ нихъ съ восхищеніемъ; но ни одна изъ нихъ не могла подойти, даже приблизительно къ Софи Гемаръ, которая, безъ малѣйшей гиперболы, была недосягаемый идеалъ совершеннѣйшей изъ женщинъ. Это была—геній женскихъ красоты, ума, сераца, характера, чего-то недосягаемаго, не здѣшняго. И была она не отъ міра сего. Каждое ея слово, улыбка, взглядъ поражали и останавливали на себѣ вниманіе даже самаго равнодушнаго изъ людей. На всемъ этомъ лежала печать чего-то небывалаго, невиданнаго, нечеловѣческаго, божественнаго. Страшно-непредолима была притягательная, всепобѣждающая, всепокоряющая сила ея обаянія. Не на себѣ одномъ испыталъ я, а на всемъ окружавшемъ ее видѣлъ, изучалъ я, такъ сказать, всязалъ эту силу. Никто и ничто не могло сопротивляться одному ея взгляду, ея улыбкѣ, одному ей слову, точно звукамъ Орфеевой лиры. Казалось и отъ звуковъ ея голоса зашевелились бы камни, сдвинулись бы скалы съ своихъ основаній. И еще казалось, что она, это женское совершенство безъ единаго недостатка, была, въ одно и то же время, и украшеніемъ, и образцомъ, и «упрекомъ» всему прекрасному полу. Казалось, что Творецъ вселенной создалъ ее съ особенною любовію, далъ ей высокую миссію и, посылая ее на землю, сказалъ, обращаясь къ нашей планетѣ:

— Вотъ моя избранница, моя любимица, прекраснѣйшее и совершеннѣйшее изъ моихъ созданій, и ваша наставница, высокій образецъ для всѣхъ васъ, внучки и правнучки Еввы! Смотрите же на нее, поклонняйтесь ей и научайтесь у ней, какъ и чѣмъ должна быть настоящая женщина, не искусственная, не составная, не подкрашенная и неисковерканная, какъ теперь; а цѣльная, такая, какою она вышла изъ моихъ рукъ на рубежѣ міросданія, какою она была прежде, нежели искусилъ и погубилъ ее мой непокорный и возмутившійся противъ меня архангелъ.... Но нѣтъ: вижу, что вы неисправимы, дщери грѣхопаденія... И я отзываю къ себѣ мою любимицу. А вы, порожденія грѣха и тщеславія, недостойныя отирать прахъ съ ногъ моей любимицы своими размалеванными лицами и покупными волосами; вы правнучки изгнанной мною ослушной четы, пребывайте же тѣмъ, чѣмъ было до сихъ

поръ большинство изъ васъ: полуженами, полуматеріями, полудочерями, полуписательницами, полухудожницами, но полными рабынями моды и парижскихъ модистокъ; а потомъ... потомъ дамами полусвѣта, или полными камеліями, и подъ конецъ будете тѣмъ, чѣмъ никогда не были: петролейщицами, динамитчицами и... пособницами цареубійцъ!..

X.

Chez nous à Francfort и броженіе нѣмецкаго пива *).

«Du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas», dit-on. Eh bien, soit! acceptons et subissons l'arrêt de cette assertion de Napoléon Ier, et mettant de côté le sublime de la passion qui dominait les deux élus du dieu de l'amour, allons au-devant du grotesque, personnifié par une crinoline subalterne et, racontons un épisode sur un pygmée féminin aux prises avec un colosse du beau sexe. Pour être drôle, cela n'en sera pas moins édifiant et curieux. Mais dans tout ce que je vais raconter, je me lave les mains et je renvoie le grotesque à qui de droit, c'est-à-dire à la crinoline subalterne.

«Ma fille cadette, âgée de sept ans et douée d'une intelligence précoce, avait reçu pendant trois ans les soins d'une Allemande, grâce à laquelle elle

«Отъ высокаго до смѣшнаго одинъ шагъ». Хорошо, пусть будетъ такъ! Покоримся этому изрѣченію Наполеона I и, оставивъ въ сторонѣ величіе страсти, овладѣвшей двумя избранниками бога любви, обратимся къ смѣшному, воплотившемуся въ лицѣ рядовой, разночинной кринолины и разскажемъ эпизодъ о пигмеѣ женскаго рода, вступившемъ въ борьбу съ колоссомъ женскаго пола. Несмотря на смѣшную сторону, это очень поучительно и любопытно. Но во всемъ, что я намѣренъ разсказать, я умываю руки и отсылаю смѣшное по принадлежности, т. е. къ рядовой кринолинѣ.

Моя младшая дочь, очень способная дѣвочка семи лѣтъ, въ продолженіи трехъ лѣтъ находилась на попеченіи нѣмки, благодаря которой научилась говорить на языкѣ Шил-

*) Рѣшившись держаться не дневника, а поэмы, гдѣ событія изложены также исторически вѣрно, какъ и въ дневникѣ, но гдѣ французскій текстъ несравненно картиннѣе и повтичнѣе, я буду дѣлать большіе пропуски, чтобы сократить мой *разсказъ*.

avait fini par savoir parler la langue de Schiller tout aussi bien que sa langue natale. Elle lisait et écrivait assez bien dans les deux langues. Lors de notre départ pour l'étranger, cette Allemande était restée à St-Pétersbourg.

« Arrivé à Wiesbade, je songeai à donner une institutrice à mon enfant chérie et, grâce à ma belle-sœur, Mme T., qui, pendant ses longues pérégrinations, s'est acquis de nombreuses connaissances dans tous les pays étrangers, je trouvai une gouvernante qui paraissait réunir toutes les conditions voulues en pareil cas. C'était une certaine demoiselle Nimhardt, âgée de 26 ans et native de Francfort-sur-le-Mein. Elle avait fait de brillantes études dans une des meilleures maisons d'éducation de l'Allemagne, et était dûment patentée, c'est-à-dire armée jusqu'aux dents d'une érudition allemande pur sang. Elle connaissait à fond le français, bien qu'elle ne le parlât qu'avec ce petit accent gothique dont peu d'Allemands parviennent à s'émanciper, et qu'ils apportent dans la prononciation de toutes les langues, de manière que tout Allemand se reconnaît à cent lieues, dès qu'il ouvre la bouche: *ou par l'odeur* de la bière et du *mauvais tabac,* ou par l'accent

лера также хорошо, какъ и на родномъ. Она довольно хорошо читала и писала на обоихъ этихъ языкахъ. Когда мы отправились за-границу, эта нѣмка осталась въ Петербургѣ.

Пріѣхавъ въ Висбаденъ, я рѣшился пригласить къ своей милой дочери гувернантку и съ помощью госпожи Т., моей свояченицы, которая, во время своихъ продолжительныхъ странствованій, пріобрѣла многозначительныхъ знакомыхъ во всѣхъ иностранныхъ государствахъ, нанялъ гувернантку, казалось соединявшую въ себѣ всѣ условія, требуемыя въ подобныхъ случаяхъ. То была нѣкая дѣвица Нимгардтъ, 26 лѣтъ и уроженка Франкфурта-на-Майнѣ. Она получила блестящее образованіе въ одномъ изъ лучшихъ германскихъ пансіоновъ и имѣла надлежащія свидѣтельства, т. е. была съ головы до ногъ вооружена самой чистокровной нѣмецкой ученостью. Она въ совершенствѣ знала французскій языкъ, хотя и говорила на немъ съ тѣмъ маленькимъ готическимъ акцентомъ, отъ котораго свободны только очень немногіе нѣмцы и который они вносятъ въ произношеніе всѣхъ языковъ, такъ что нѣмца тотчасъ можно узнать за сто верстъ, какъ только онъ откроетъ ротъ: или по запаху пива и дурнаго табаку, или по выговору иностраннаго языка, когда

d'une langue étrangère, lorsqu'il est forcé de la parler ou de l'écorcher, ce qui revient au même. Du reste, cette demoiselle Nimhardt était une très-bonne personne et, avec cela, très-drôle et très-originale. Elle avait trois idées fixes qui la rendaient fort remarquable.

« La première de ces idées fixes était l'adoration qu'elle portait à sa ville natale, à ce bon diable de Francfort, qui, pour elle, surpassait en beauté, en richesse, en grandeur, en prospérité, en civilisation toutes les villes du monde. Parlait-on théâtre, opéras, chanteurs et cantatrices, elle vous disait aussitôt :

— *Chez nous, à Francfort...* et là-dessus elle allait, non pas prouver, mais simplement constater, la supériorité de la ville de Francfort en fait de théâtres, d'opéras, et de chanteurs. S'agissait-il de savants célèbres, d'auteurs, de poètes ou de compositeurs à la mode, de comédiens, de ministres ou de prestidigitateurs fameux, de généraux ou de bandits redoutables, de diplomates ou d'histrions habiles ?

— *Chez nous, à Francfort*, vous répétait toujours l'inexorable gouvernante de ma fille, avec son sourire de bière et la supériorité de sa chère ville natale au bout de son refrain éternel de *chez nous, à Francfort.*

онъ вынужденъ говорить или коверкать его, что одно и тоже. Впрочемъ, эта дѣвица Нимгардтъ была очень хорошая особа, но въ то же время очень смѣшная и оригинальная. У нея было три idées fixes, которыя дѣлали ее весьма замѣчательною.

Первая изъ этихъ idées fixes, было обожаніе, которое она питала къ своему родному городу, къ этому добродушному Франкфурту, который въ ея глазахъ превосходилъ красотой, богатствомъ, успѣхомъ и цивилизаціей всѣ остальные города въ мірѣ. Стоило заговорить о театрѣ, оперѣ, пѣвцахъ и пѣвицахъ, она тотчасъ замѣчала :

— *У насъ, во Франкфуртѣ...* и затѣмъ начинала, не то, чтобы доказывать, а просто констатировать превосходство города Франкфурта въ отношеніи театровъ, оперы и пѣвцовъ. Заходила-ли рѣчь объ извѣстныхъ ученыхъ, авторахъ, поэтахъ или модныхъ композиторахъ, о драматическихъ артистахъ, министрахъ или знаменитыхъ фокусникахъ, объ опасныхъ бандитахъ или генералахъ, о дипломатахъ или ловкихъ фиглярахъ :

— *У насъ, во Франкфуртѣ*, повторяла постоянно неумолимая гувернантка моей дочери со своей пивной улыбкой и совершенствомъ роднаго города въ концѣ своего вѣчнаго припѣва *у насъ, во Франкфуртѣ.*

Enfin, vous auriez eu beau prodiguer les trésors de votre érudition, de votre expérience et de votre mémoire, que vous n'y auriez rien trouvé d'assez grand, d'assez beau, d'assez célèbre pour déconcerter la demoiselle Nimhardt et l'empêcher de monter sur son grand cheval de bataille de *chez nous, à Francfort*. En voilà assez pour la première idée fixe de Nimhardt. Passons à la seconde.

Elle a été, comme gouvernante, dans deux maisons ultra-fashionables, selon son point de vue. C'était d'abord une maison française d'une certaine comtesse de Tenn (l'orthographe de ce nom m'est complètement inconnue); puis celle d'un général russe, Youriévitch. Depuis lors les neuf dixièmes parties de ses récits verbeux ne commençaient que par une autre phrase sacramentale ou, pour mieux dire, par une formule que voici :

— *Quand j'étais chez Madame la comtesse de Tenn*. Puis cette formule avait une variante, mais une seule et unique, à savoir :

— *Quand j'étais chez Monsieur le général Youriévitch*, etc., etc.... Et là-dessus elle commençait un de ses récits interminables et propres à guérir l'insomnie la plus opiniâtre ou à faire *ronfler* toute une compagnie de *grenadiers de garde* au palais.

Словомъ, вы могли расточать всѣ сокровища своихъ познаній, опытности и памяти и не нашли бы во всемъ этомъ ничего столь великаго, прекраснаго и знаменитаго, чтобъ смутить дѣвицу Нимгардтъ и помѣшать ей сѣсть на своего любимаго боеваго коня, подъ названіемъ *у насъ, во Франкфуртѣ*. Довольно, кажется, на счетъ первой idée fixe Нимгардтъ. Перейдемъ ко второй.

Она пожила, въ качествѣ наставницы, въ двухъ, по ея понятіямъ, ультра-фешенебельныхъ домахъ. Во первыхъ, въ домѣ одной французской графини де-Теннъ (положительно не знаю, какъ именно пишется эта фамилія); а затѣмъ въ домѣ русскаго генерала Юрьевича. Съ тѣхъ поръ девять десятыхъ ея многословныхъ разсказовъ начинались не иначе, какъ другой торжественной фразой или лучше сказать формулой; вотъ она :

— *Когда я жила у графини де-Теннъ*.... Затѣмъ, эта формула имѣла варіантъ, но только одинъ, единственный, а именно :

— *Когда я жила у генерала Юрьевича* и т. д..... И вслѣдъ затѣмъ она начинала одинъ изъ тѣхъ безконечныхъ разсказовъ, которые способны вылечить какую угодно безсонницу или заставить храпѣть цѣлую роту гренадеровъ, стоящихъ въ карауле во дворцѣ.

Maintenant vient le tour de la troisième idée fixe de Nimhardt, et c'était une des plus fortes, des plus curieuses, pour ne pas dire monstrueuses, de toutes les idées fixes de l'humanité crinolisée. La digne gouvernante s'était mis dans la tête une lubie qui, du reste, ne faisait pas précisément le privilége exclusif de la demoiselle Nimhardt, puisqu'elle est partagée par la plupart des gouvernantes allemandes de l'Allemagne. Voici quelle était cette lubie : la fille de Francfort croyait, était même persuadée que les gouvernantes non mariées et pas trop vieilles ni trop laides sont destinées beaucoup moins à élever des enfants qu'à épouser les célibataires ou les veufs entre deux âges et dont il leur échoit la charge d'élever les enfants. D'un autre côté, et toujours selon la même lubie, les célibataires ou les veufs d'un âge raisonnable ne sont venus au monde que pour se marier ou se remarier avec des gouvernantes de leurs enfants. L'inévitabilité de pareils mariages constituait le dogme fondamental du catéchisme des gouvernantes de l'Allemagne.

Entrée dans ma maison, la demoiselle Nimhardt s'était dit que tôt ou tard,—mais le plus tôt possible valait le mieux, — elle devait devenir Mme *Makaroff*, et

Теперь наступаетъ очередь третьей idée fixe дѣвицы Нимгардтъ и притомъ самой сильной, самой курьезной, чтобы не сказать чудовищной изо всѣхъ idées fixes кринолинной половины человѣческаго рода. Достойная гувернантка вбила себѣ въ голову одну затѣю, которая впрочемъ не составляла исключительной привилегіи дѣвицы Нимгардтъ, такъ какъ раздѣлялась почти всѣми нѣмецкими гувернантками Германіи. Вотъ въ чемъ состояла эта затѣя : дочь Франкфурта мнила и даже была убѣждена, что незамужнія и не очень старыя, не очень безобразныя гувернантки, не столько предназначены воспитывать дѣтей, сколько выходить замужъ за холостяковъ или вдовцевъ среднихъ лѣтъ, дѣтей которыхъ имъ приходится учить. Съ другой стороны, и вслѣдствіе все той же затѣи, холостяки или вдовцы извѣстныхъ лѣтъ для того только и появляются на свѣтъ, чтобы жениться на гувернанткахъ своихъ дѣтей. Неизбѣжность подобныхъ браковъ составляла фундаментальный догматъ катехизиса нѣмецкихъ гувернантокъ.

Вступивъ ко мнѣ въ домъ, дѣвица Нимгардъ сказала самой себѣ, что рано или поздно, — но конечно лучше раньше, — она непремѣнно сдѣлается госпожею Макаро-

qu'il n'y avait et ne pouvait y avoir d'autre issue pour moi. Mon départ subit de Wiesbade ne l'avait nullement déconcertée ; elle n'y avait vu qu'une prorogation à l'exécution de l'arrêt immuable du destin, concernant mon mariage avec elle. Vous pouvez donc, cher lecteur, d'après ce que je viens de vous dire, juger de la quantité et de la qualité des simagrées que la fille de Francfort avait mises en jeu, dès le premier jour de ma réunion avec ma famille à Aix-la-Chapelle. Sur-le-champ elle avait formé contre moi le plan de campagne selon toutes les règles de cette tactique et de cette stratégie savantissimes, à l'aide desquelles les grands capitaines de l'Allemagne ont su, si bien et tant de fois, se faire battre à plate couture pour la plus grande gloire et la prospérité des théories gouvernementales ou autres, très-profondes, sinon très-lumineuses, et produites par la fermentation de la bière.

La demoiselle Nimhardt ouvrit la campagne par le roulement des yeux : c'était comme un feu roulant de l'infanterie, appuyée de la grosse artillerie de ses soupirs, qui auraient fait honneur aux poumons les plus larges d'un chanteur de cathédrale. Ensuite elle m'avait attaqué par

вою, и что для меня нѣтъ и не можетъ быть другаго исхода. Мой внезапный отъѣздъ изъ Висбадена не мало не смутилъ ея; она видѣла въ этомъ только отсрочку въ исполненіи непреложнаго рѣшенія судьбы относительно моего съ нею брака. Послѣ всего сказаннаго мною, вы можете, любезный читатель, судить о количествѣ и качествѣ тѣхъ жеманныхъ кривляній, которыя были пущены въ ходъ дочерью Франкфурта съ перваго же дня моего соединенія съ моимъ семействомъ въ Ахенѣ. Она тотчасъ же составила противъ меня планъ кампаніи по всѣмъ правиламъ стратегической науки, съ помощью которой великіе нѣмецкіе полководцы, такъ хорошо и столько разъ, позволяли разбить себя на голову для вящшей славы и преуспѣнія правительственныхъ и другихъ теорій, очень глубокихъ, если не очень свѣтлыхъ и произведенныхъ броженіемъ пива.

Дѣвица Нимгардтъ открыла кампанію закатываніемъ глазъ ; это походило на бѣглый огонь инфантеріи, поддерживаемый тяжелой артиллеріей вздоховъ, которые сдѣлали бы честь самымъ здоровеннымъ легкимъ соборнаго дьячка. Затѣмъ она атаковала меня легкой кавалеріей своихъ улыбокъ самаго нѣмецкаго

la cavalerie légère de ses sourires de l'espèce la plus germanique, c'est-à-dire la plus fade. Elle avait poussé la guerre avec une vigueur et un courage dignes d'être chantés par les poètes les plus blonds et les plus barbus de la jeune Germanie. Le roulement des yeux, la canonnade de gros soupirs, les charges vigoureuses et brillantes des sourires s'étaient succédé, répétés sans trève ni merci. Toutes ces attaques, tous ces projectiles, sortis de l'arsenal ambulant et féminin, et lancés sur moi à bout portant, m'avaient un peu assourdi et abasourdi au commencement de la campagne, quoique, en définitive, ils ne fussent nullement dangereux: avantage propre à tous les produits de la fermentation de la bière. Enfin notre gouvernante militante avait, de temps en temps, rassemblé toutes ses forces pour me livrer des batailles générales et décisives qui ne décidaient jamais de rien. Mais je n'en finirais pas, si je voulais tracer, ne fût-ce que succinctement, l'histoire de toute cette campagne, improvisée par l'ambition d'une gouvernante à l'affût d'un mari, cette friandise recherchée par la majorité des gouvernantes allemandes de l'Allemagne.

Après cela, on peut se figurer le désappointement, l'afflic-

сорта, т. е. самыхъ приторно-пошлыхъ. Она вела войну съ настойчивостью и мужествомъ, которыя достойны быть воспѣтыми самыми бѣлокурыми и бородатыми поэтами молодой Германіи. Закатыванье глазъ, канонада громкихъ вздоховъ и сильныя и блестящія атаки улыбокъ, чередовались и повторялись безъ пощады и безъ отдыха. Всѣ эти нападенія, всѣ эти метательные снаряды, вышедшіе изъ подвижнаго, женскаго арсенала и пущенные въ меня въ упоръ, смутили и оглушили было меня въ началѣ кампаніи, хотя въ концѣ концовъ не были ни мало опасны: достоинство, свойственное всѣмъ произведеніямъ пивнаго броженія. Наконецъ наша воинственная гувернантка собирала по временамъ всѣ свои силы, чтобы давать мнѣ генеральныя и рѣшительныя сраженія, которыя никогда и ничего не рѣшали. Но я бы никогда не кончилъ, еслибы вздумалъ разсказывать, хотя вкратцѣ, исторію всей этой кампаніи, импровизированной честолюбіемъ гувернантки, гоняющейся за мужемъ, этимъ лакомствомъ, за которымъ гоняется большинство нѣмецкихъ гувернантокъ Германіи.

Послѣ этого можно себѣ вообразить разочарованіе, огорченіе и

tion, le dépit de cette digne Mlle Nimhardt à la nouvelle de mon mariage avec Mlle Sophie Ghémar. Force lui fut enfin d'avouer et d'accepter son Waterloo, sauf à se croire frustrée dans son avenir par le mariage dont elle ne faisait point partie. Libre à vous de vous figurer en quelle grippe cette pauvre Nimhardt avait pris ma douce Sophie, contre qui elle ne manquait pas, dès que l'occasion s'en présentait, de décocher quelques-uns de ses traits les plus germaniques, c'est-à-dire les plus émoussés, les plus inoffensifs du monde, et qui n'auraient pas pu faire du mal à une mouche.... C'est toujours quelque chose: l'épaisseur de l'esprit, comme on le voit, a aussi ses avantages, autant pour les hommes que pour les mouches.

Pardon, lecteur. J'ai un petit reliquat à vous payer; mieux vaut tard que jamais. C'est la photographie de la demoiselle Nimhardt que je vous dois et que voici: taille moyenne, tronc taillé plutôt avec la hache d'un charpentier qu'avec le ciseau d'un sculpteur, et couronné par un chef à face large, plate et rubiconde. C'était aussi une carnation très-forte, mais approchant de la couleur de la betterave *plutôt* que de celle du carmin. *Achevons la face* en y ajoutant une

гнѣвъ достойной Mlle Нимгардтъ при извѣстіи о моемъ бракѣ съ Mlle Софи Гемаръ. Наконецъ она должна была сознать свое пораженіе, свое Ватерлоо. Но при этомъ она порѣшила, что, въ будущемъ, у нее похитили ея собственность посредствомъ брака, въ которомъ ей не предстояло принять участія. Можете себѣ представить, какъ не взлюбила эта бѣдная Нимгардтъ мою милую Софи, въ которую она, каждый разъ, когда представлялся случай, пускала стрѣлу, самую нѣмецкую, т. е. самую тупую и безобидную въ свѣтѣ, которая не могла бы причинить вреда даже мухѣ.... А это все-таки хоть что нибудь да значитъ: неповоротливость ума, какъ видно, тоже имѣетъ свои достоинства, какъ для людей, такъ и для мухъ.

Простите меня, читатель! Я долженъ уплатить вамъ маленькую недоимку; лучше поздно, чѣмъ никогда. Я обязанъ сообщить описаніе портрета дѣвицы Нимгардтъ; вотъ онъ: средній ростъ; туловище, вырубленное скорѣе топоромъ дровосѣка, чѣмъ рѣзцомъ скульптора и увѣнчанное головой съ широкимъ, плоскимъ и круглымъ лицомъ. Цвѣтъ лица напоминалъ своимъ румянцемъ скорѣе свеклу, чѣмъ карминъ. Окончимъ описаніе лица прибавленіемъ маленькой груши вмѣсто носа. Волосы самые бѣлокурые,

e poire en guise de nez.
elure blondissime et de
ce fauve ; yeux verdâtres et
s en.... en.... en je ne
quoi, mais pas en amande....
mis : taillés en petits glo-
tant soit peu aplatis vers
ilieu. Enfin le tout formant
uartier de chair très-gras
t que très-fort, et destiné
rvir d'appareil pour la trans-
ion la plus abondante.
est-ce pas, cher lecteur,
voilà une très-belle photo-
hie et qui fait un joli con-
e avec le portrait sublime
je vous ai déjà donné de
iancée, de Mlle Sophie Ghé-
de cet idéal de la beauté
e rêvée par les poètes et
sée par la nature, ce grand
te et lauréat de la Provi-
e en fait de sculpture et de
ture. Et c'est l'original de
photographie, bonne tout
lus pour servir d'enseigne
boutique d'un perruquier
troisième ordre ; c'est cet
nal qui osa entrer en lice
l'original de ce superbe
rait du Bois Sauvage, digne
ier le palais du plus grand
ntat. Mais résumons l'épiso-
u grotesque, personnifié par
inoline subalterne que le
ur connaît déjà bien, grâce
istorien fidèle et conscien-
x.

. . . . . .

съ рыжеватымъ оттѣнкомъ ; глаза зеленоватые, имѣющіе форму... фор-
му... самъ не знаю чего, только никакъ не миндалинъ.... Ахъ, да : имѣющіе форму маленькихъ шари-
ковъ, нѣсколько сплюснутыхъ по серединѣ. Словомъ цѣлое, скорѣе очень жирное, чѣмъ очень толстое и предназначенное служить аппара-
томъ для самой обильной испа-
рины.

Не правда ли, какая прекрасная фотографія, читатель, составляющая поразительный контрастъ съ небес-
нымъ изображеніемъ, которое я уже сообщилъ вамъ о своей невѣстѣ, Mlle Софи Гемаръ, этомъ идеалѣ нѣжной красоты, грезившейся поэ-
тамъ и осуществленной природой, великимъ артистомъ и увѣнчан-
нымъ поэтомъ Провидѣнія въ дѣлѣ скульптуры и живописи. И вотъ оригиналъ этой-то фотографіи, год-
ной развѣ только для вывѣски ка-
кой нибудь парикмахерской третья-
го разряда ; этотъ оригиналъ осмѣ-
лился выйти на состязаніе съ ве-
ликолѣпнымъ оригиналомъ портрета Bois Sauvage, достойнымъ укра-
шать дворецъ самаго великаго вла-
стелина. Но закончимъ эпизодъ смѣшнаго, олицетворившійся въ ря-
довой кринолинѣ, которая уже достаточно извѣстна читателю, бла-
годаря вѣрному и добросовѣстному историку.

. . . . . .

Le lendemain de la journée du premier baiser d'amour, Sophie me proposa, avec cette grâce et cette obligeance délicate dont elle possédait le secret en perfection, de placer ma fille cadette dans leur maison, où elle serait soignée, aimée, choyée, cajolée, en un mot, entourée de la sollicitude la plus tendre, et où elle ferait des progrès rapides dans la langue française et, ce qui est très-important, y acquerrait cet accent tout parisien, que ne pourra jamais donner à l'enfant aucune théorie, fût-elle enseignée par une légion de gouvernantes non françaises.

Aussitôt proposé, aussitôt accepté; et deux jours après, force fut à mon petit ange de se séparer de moi, de sa sœur et surtout de sa tante, qui l'adorait et qu'elle payait amplement de retour. Ainsi, dans la même journée, il y a eu deux départs de chez moi: celui de la petite Lise pour la maison des demoiselles Ghémar, et de la digne gouvernante pour sa chère ville de Francfort, où elle allait méditer une nouvelle campagne, pour conquérir quelqu'autre célibataire ou veuf d'un âge tout aussi raisonnable que le mien, mais d'un caractère moins récalcitrant en ce qui concerne le catéchisme des gouvernantes allemandes, et surtout *moins difficile* sur l'article des pho-

На слѣдующій день послѣ перваго поцѣлуя любви, Софи, съ тою граціею и деликатною обязательностью, тайною которыхъ она владѣла въ совершенствѣ, предложила мнѣ помѣстить мою младшую дочь къ нимъ, гдѣ ее будутъ любить, ласкать, баловать и ухаживать за нею, словомъ окружать самой нѣжной заботливостью, и гдѣ она сдѣлаетъ быстрые успѣхи во французскомъ языкѣ; а самое главное: пріобрѣтетъ тотъ чистый, парижскій выговоръ, котораго никогда не дастъ ребенку никакая теорія, хотя бы была преподаваема цѣлымъ легіономъ гувернантокъ нефранцуженокъ.

Сказано, сдѣлано; и черезъ два дня, какъ ни тяжело, а пришлось моему маленькому ангельчику разстаться со мною, съ сестрою и съ обожавшею ее теткою, которой она съ избыткомъ платила взаимностью. Такимъ образомъ изъ моего дома, въ одинъ и тотъ же день, уѣхали двое: маленькая Лиза отправилась къ сестрамъ Гемаръ, а достойная гувернантка въ свой дорогой городъ Франкфуртъ, гдѣ будетъ составлять планъ новой кампаніи для одержанія побѣды надъ какимъ нибудь другимъ холостякомъ или вдовцомъ точно такого-же благоразумнаго возраста, какъ и мой, только менѣе упрямаго характера въ отношеніи катехизиса нѣмецкихъ гувернантокъ и, въ особенности, менѣе требовательнаго въ отношеніи фотографій

tographies dans le genre des enseignes de perruquier de troisième ordre.

въ родѣ парикмахерскихъ вывѣсокъ третьяго разряда.

XI.

Корреспонденція съ Софи.

Le soir même du jour où ma Lise était installée dans le pensionnat Ghémar, je reçus de Sophie un billet qui venait ajouter encore à tant d'autres témoignages de sa bonté et de sa bienveillance si délicate. Voici cette lettre :

«Pardonnez-moi, mon ami, de venir peut-être troubler votre calme et paisible soirée; mais j'ai pensé que vous apprendriez avec plaisir que votre petite Lise est la plus gentille enfant qu'il soit possible de voir, que toutes ces demoiselles en raffolent; que l'enfant elle-même paraît heureuse et contente, et peu soucieuse du vide qu'elle a laissé chez vous. Dites bien à sa bonne tante de ne *rien* craindre et de ne plus être triste, car Lise nous est maintenant aussi chère qu'à elle, et l'enfant paraît déjà le comprendre. Après le dîner, lorsque je l'avais prise sur mes genoux et que toutes nos jeunes filles nous entouraient, l'aînée d'elles lui demanda si elle m'aimait. Comme l'enfant paraissait

Вечеромъ того-же дня, когда Лиза моя поселилась въ пансіонѣ Гемаръ, я получилъ отъ Софи записку, которая прибавила новое свидѣтельство къ столькимъ прежнимъ доказательствамъ ея доброты и нѣжной заботливости. Вотъ въ чемъ заключалось это письмо:

«Извините меня, другъ мой, что я можетъ нарушу мирное спокойствіе вашего вечера; но я думаю вамъ пріятно будетъ узнать, что ваша маленькая Лиза — самое очаровательное дитя, какое мнѣ когда либо случалось встрѣчать, что всѣ наши воспитанницы отъ нея безъ ума; что сама она имѣетъ видъ довольной и счастливой и мало заботится о пустотѣ, которую оставила дома. Скажите пожалуйста ея доброй тетѣ, чтобъ она *ничего* не боялась и не скучала, потому что Лиза намъ теперь также дорога, какъ и ей и ребенокъ кажется уже понимаетъ это. Послѣ обѣда, когда я взяла ее къ себѣ на колѣни и насъ окружили всѣ наши воспитанницы, старшая изъ нихъ спросила, любитъ-ли она меня. Видя, что дѣвочка какъ будто не совсѣмъ

sait n'avoir pas tout-à-fait bien compris la question, l'interlocutrice fit cette réponse : « pas trop, n'est-ce pas ? » Petite Lise leva aussitôt la tête et répondit avec vivacité : « très, très, trop. »

N'est-ce pas charmant, mon bon Nicolas ? Nous avons confié à une de nos plus gentilles élèves la charge de s'occuper tout spécialement de notre petit *jouet* et je suis certaine que si sa chère tante pouvait être témoin (témoin caché) des soins qui sont et seront donnés à sa petite chérie, son cœur tendre et sensible se dilaterait immédiatement, et elle supporterait plus facilement cette séparation, qui, je le comprends, est bien pénible pour elle et aussi pour Annette. A propos d'Annette : je vais écrire à M. Bellanger au sujet de notre promenade à cheval pour jeudi ; mais dans tous les cas, si une raison ou une autre nous empêche d'avoir ce plaisir jeudi, ce ne sera que partie remise jusqu'à samedi... Cela dépend beaucoup du temps. Je dois te quitter un instant, pour aller voir Lise... A tout-à-l'heure...

« Me revoilà, mon meilleur ami. Lise est dans son petit lit, comme un petit ange... Je lui ai donné mon baiser du soir, et maintenant c'est à toi que je viens en *faire autant*, en y joignant celui

поняла вопросъ, спрашивающая отвѣтила на него сама : — Не очень, не правда-ли ? Маленькая Лиза тотчасъ подняла голову и съ живостью возразила : — Очень, очень, очень !

Не прелестно-ли это, милый Николай ? Мы поручили одной изъ самыхъ лучшихъ нашихъ ученицъ спеціальную заботу о нашей маленькой *игрушечкѣ* и я увѣрена, что еслибъ ея милая тетя, могла быть свидѣтельницею (конечно тайною) тѣхъ попеченій, которыми окружена и будетъ окружена ея дорогая малютка, ея нѣжное и чувствительное сердце тотчасъ же успокоилось бы и она легче стала бы переносить разлуку, которая, я очень хорошо понимаю, должна быть очень тягостна для нее, а также и для Аннеты. Кстати : передай Аннетѣ, что я напишу господину Белланже на счетъ нашей прогулки въ четвергъ верхомъ ; но во всякомъ случаѣ, если по той или другой причинѣ, намъ что нибудь помѣшаетъ воспользоваться этимъ удовольствіемъ въ четвергъ, то мы только отложимъ его до субботы.... Это зависитъ отъ погоды. Я оставлю тебя на минуту и пойду посмотрѣть, что дѣлаетъ Лиза.....

« Вотъ я и возвратилась, другъ мой. Лиза покоится въ своей кроваткѣ, какъ маленькій ангелъ..... Я поцѣловала ее на ночь, а теперь хочу сдѣлать тоже самое съ тобой, прибавивъ къ своему поцѣлую по-

de Lise et un souvenir affectueux de celle qui se dit

« ta sincère amie
« Sophie. »

J'aurais voulu répondre sur-le-champ à cette bonne lettre, sachant que Sophie a pris du goût pour la lecture des miennes. Une visite m'en empêcha. Mais le lendemain j'écrivis et envoyai à Sophie la lettre suivante :

« Mon excellente et ma meilleure amie.

« Quand je reçus hier ton adorable lettre, j'avais chez moi Ciebra, ce guitariste espagnol, ce qui m'a empêché de te répondre à l'instant même. Donc je ne le fais qu'aujourd'hui. Je ne sais trop ce qu'il faut admirer le plus en toi : la bienveillance, la douceur et la générosité de ton caractère, ou la bonté tout angélique de ton cœur, ou bien ton esprit plein d'à-propos, d'élévation et de charme séduisant. O mon incomparable Sophie ! plus on te connaît, plus on est ébloui par les qualités les plus rares, les plus précieuses et les plus sublimes de ton cœur et de ton esprit ; et l'on s'incline involontairement devant ta supériorité incontestable... Mais saurais-je élever mon langage à la hauteur du sujet qui l'inspire? Tout ce que je dis sur toi est si pâle, si faible, si peu digne de celle

цѣлуй Лизы и нѣжное воспоминаніе той, которая называетъ себя

«твоимъ искреннимъ другомъ
«Софи».

Я хотѣлъ тотчасъ же отвѣтить на это милое письмо, зная, что Софи нравятся мои письма. Но мнѣ помѣшали гости. На другой день я написалъ и послалъ Софи слѣдующее письмо :

«Мой лучшій и превосходный другъ ! Когда я получилъ вчера твое милое письмо, у меня сидѣлъ Чибра, испанскій гитаристъ, что и помѣшало мнѣ отвѣтить тебѣ въ ту же минуту. Поэтому, дѣлаю это сегодня. Не знаю, чему болѣе удивляться въ тебѣ : благосклонности, нѣжности и великодушію твоего характера, ангельской-ли добротѣ твоего сердца, или твоему уму, полному находчивости, возвышенныхъ мыслей и увлекательности. О, моя несравненная Софи ! Чѣмъ больше узнаешь тебя, тѣмъ больше очаровываешься рѣдчайшими, драгоцѣннѣйшими и чудеснѣйшими качествами твоего сердца и ума, и невольно склоняешься передъ твоимъ неоспоримымъ превосходствомъ... Но въ состояніи-ли я буду довести свою рѣчь до высоты предмета, который вдохновляетъ ее? Все, что я говорю о тебѣ, такъ блѣдно, такъ слабо, такъ мало достойно той, которую мы такъ любимъ, которой такъ удивляемся : я, моя дочь Анна и

que nous aimons et admirons tant: moi, ma fille Annette et ma belle-sœur. Crois, je t'en supplie, à notre profonde sincérité et ne nous taxe point d'exagération, qui est bien loin de nos pensées et de nos sentiments, dès qu'il s'agit de toi, si belle, si douce, si bonne, si naïvement spirituelle; de toi, ô mon génie tutélaire et bienfaisant! Ma belle-sœur a pleuré hier d'attendrissement et de reconnaissance pour toi, en écoutant la lecture de ta lettre adorable. Et ces larmes étaient bien douces; elles doivent avoir été recueillies par ces êtres invisibles et célestes pour être portées vers le Seigneur, qui les transformera en perles inappréciables. Et ces perles orneront la couronne resplendissante qui, au dernier jour, ceindra ton front si beau et si majestueux.

« Je bénis la Providence pour m'avoir conduit à Bruxelles, qui dorénavant est ma terre promise, où s'est révélé à moi mon sauveur. Oui! j'ai contracté une énorme dette de reconnaissance envers toi; mais je te prie de croire que mon cœur ne fera jamais faillite et saura te payer cette dette dignement, grandement et saintement. Je n'attends pour cela que le jour où, devant l'autel sacré, je ferai le serment de ne vivre que pour ton bonheur et de t'aimer toujours, dans

моя свояченица. Вѣрь, прошу тебя, нашей глубочайшей искренности и не обвиняй насъ въ преувеличеніи, отъ котораго далеки наши мысли и чувства, какъ только дѣло зайдетъ о тебѣ, такой прекрасной, такой кроткой, доброй и наивно-остроумной; о тебѣ, о мой благодѣтельный ангелъ-хранитель! Моя свояченица плакала вчера отъ умиленія и благодарности къ тебѣ, слушая чтеніе твоего прелестнаго письма. То были сладкія слезы; ихъ вѣроятно подхватили невидимыя, небесныя существа и отнесли къ престолу Всевышняго, который превратитъ ихъ въ неоцѣнимыя жемчужины. И эти жемчужины украсятъ прекрасный вѣнокъ, который будетъ окружать твое чудное, величественное чело въ день Страшнаго суда.

«Я благословляю Провидѣніе за то, что оно привело меня въ Брюссель, который съ этихъ поръ будетъ для меня Обѣтованной землей, гдѣ явился мнѣ мой спаситель. Да, я сдѣлалъ громадный долгъ благодарности въ отношеніи тебя; но прошу тебя вѣрить, что сердце мое никогда не объявится несостоятельнымъ и съумѣетъ заплатить тебѣ этотъ долгъ достойнымъ, великимъ и святымъ образомъ. Я жду только того дня, когда у священнаго алтаря поклянусь жить только для твоего счастія и любить

cette vie comme dans l'autre. Avec quelle ardeur et quelle persévérance je me consacrerai alors à cette œuvre sublime et sainte !

« Je te quitte pour aller prendre ma leçon de contre-point chez Damke, et je te remercie encore mille et mille fois, de ma part et de celle de ma belle-sœur, pour ta lettre, qui est comme un parfum délicieux s'exhalant du cœur le plus noble et le plus généreux.

« A bientôt. Je t'envoie mon baiser le plus tendre, à toi et à ma chère Lise que je bénis. A tout jamais ton meilleur ami. »

A dix jours de là, Sophie projeta un voyage à Ath, petite ville qui se trouve à deux heures du chemin de fer de Bruxelles. Elle y avait quelques amies et pensait y rester deux jours. Avant de partir, elle me fit promettre de lui écrire à Ath, ce que je ne manquai pas de faire. Le lendemain du jour de son départ, je lui écrivis donc et expédiai la lettre suivante :

« Adorable Sophie !

« Me voici de nouveau avec ma solitude et ma plume, cette bonne plume qui m'a déjà si bien servi ; en fera-t-elle autant pour le moment ? Saura-t-elle arriver à la hauteur de sa mission sublime,

тебя всегда, какъ въ этой жизни, такъ и въ будущей. Съ какимъ жаромъ и постоянствомъ я посвящу себя тогда этому святому и великому дѣлу !

«Прощаюсь съ тобою, чтобы пойти взять урокъ контрапункта у Дамке, и еще тысячу тысячъ разъ благодарю тебя и отъ себя и отъ имени моей свояченицы за твое письмо, которое походитъ на чудный ароматъ, исходящій изъ благороднаго и великодушнаго сердца.

«До скораго свиданія. Шлю тебѣ нѣжнѣйшій поцѣлуй, тебѣ и моей милой Лизочкѣ, которую благословляю. Навсегда твой вѣрный другъ».

Черезъ десять дней послѣ этого, Софи задумала отправиться въ Атъ, маленькій городокъ, находящійся отъ Брюсселя въ двухъ часахъ пути по желѣзной дорогѣ. У нея было тамъ нѣсколько друзей и она разсчитывала остаться тамъ дня два. Передъ отъѣздомъ она взяла съ меня обѣщаніе писать ей въ Атъ, что я не замедлилъ исполнить. На другой день послѣ ея отъѣзда я написалъ и отправилъ къ ней слѣдующее письмо :

«Обожаемая Софи !

«Вотъ я опять наединѣ со своимъ одиночествомъ и своимъ перомъ, тѣмъ славнымъ перомъ, которое уже послужило мнѣ такъ хорошо ; послужитъ-ли оно также и въ эту минуту ? Съумѣетъ ли подняться на

celle d'être l'interprète de mes sentiments ou, pour parler pittoresquement, saura-t-elle être le photographe habile de mon cœur et de mon âme ? Pauvre plume que celle qui trace ces lignes ! Pauvre tête que celle qui guide cette plume ! Car la source vivifiante et miraculeuse où elles puisaient leur inspiration vient de tarir pour quelque temps ; et la faute en est à ce génie tutélaire qui m'a quitté pour deux jours ; à ce soleil de ma vie qui répandait la lumière et la joie autour de lui et qui vient de se coucher pour quarante-huit heures, en me laissant plongé dans les ténèbres et le froid. Eh bien, ma plume, va toujours, parcours ce papier, docile que tu es au désir qu'on a de te voir te remettre à la besogne ; désir que je te transmets de la part de ma souveraine. Cours donc ma plume, ne fût-ce que pour constater la disette d'idées occasionnée par l'absence momentanée de cette auguste souveraine de ma personne. Mais, en revanche, tu pourras lui certifier l'abondance de sentiments dont regorge mon cœur ; sentiments que ni l'absence, ni le temps ne peuvent et ne pourront jamais ni diminuer, ni affaiblir, ni altérer, ni même empêcher de croître et de grandir toujours, dans cette vie comme *dans l'autre,* où je les apporterai

высоту своей высокой миссіи-быть истолкователемъ моихъ чувствъ, или, выражаясь живописнѣе, съумѣетъ ли оно исполнить роль искуснаго фотографа моей души и моего сердца?.... Жалко перо, чертящее эти строки ! Жалка голова, руководящая этимъ перомъ ! Потому что живительный и чудесный источникъ, откуда онѣ почерпали вдохновеніе, изсякъ на нѣкоторое время ; а виноватъ въ этомъ ангелъ-хранитель, покинувшій меня на два дня ; виновато солнце моей жизни, распространявшее вокругъ нея свѣтъ и радость и закатившееся на сорокъ восемь часовъ, оставивъ меня погруженнымъ въ холодъ и мракъ. Ну что же, перо мое, продолжай, бѣги по бумагѣ, покорное желанію снова видѣть тебя за работой, желанію, которое передаю тебѣ отъ моей повелительницы. Бѣги же, перо мое хотя бы для того, чтобы свидѣтельствовать бѣдность мыслей, вслѣдствіе временнаго отсутствія этой августѣйшей повелительницы моей особы. Взамѣнъ этого ты можешь засвидѣтельствовать ей обиліе чувствъ, которыми переполнено мое сердце ; чувствъ, которыхъ ни отсутствіе, ни время, не могутъ и не въ состояніи будутъ никогда ни уменьшить, ни ослабить, ни измѣнить, ни даже помѣшать имъ постоянно возрастать, какъ въ этой жизни, такъ и въ будущей, куда я принесу ихъ нетронутыми и чистыми къ престолу Создателя,

intacts et purs au pied du trône du Créateur, au dernier jour, comme mon meilleur titre à la miséricorde divine et au pardon de mes fautes, volontaires ou involontaires.

« Ma plume, engage, prie, supplie avec ton éloquence d'autrefois, exhorte mon soleil de reparaître le plus tôt possible sur l'horizon de ma vie ; car c'est déjà toute une perturbation de la nature dans les latitudes où nous habitons que la disparition pour deux jours de cet astre resplendissant. Et puis ce temple d'amour que j'ai élevé dans mon cœur est si sombre, si désert, et le grand-prêtre en est si triste, si silencieux ! il ne fait plus retentir les voûtes du temple des hymnes d'amour et de vénération, faute de pouvoir les adresser à sa divinité absente.

« Dis encore, ma plume, que je me prosterne, rien que devant le souvenir de ma divinité, en l'implorant de retourner au plus vite ; dis enfin qu'en attendant je ne suis que la fièvre vivante de l'attente et de l'impatience.

« Voilà, adorable Sophie, le début de ma correspondance avec toi ; pardonne-moi si tu le trouves insipide : la cause en est à l'absence de mon ange gardien et inspirateur. Du moins cette lettre a-t-elle le mérite d'être le

въ послѣдній день міра, какъ свое лучшее право на милосердіе божіе и на прощеніе моихъ вольныхъ и невольныхъ прегрѣшеній.

Проси, умоляй, перо мое, съ твоимъ прежнимъ краснорѣчіемъ, убѣди мое солнце какъ можно скорѣе появиться на горизонтѣ моей жизни; потому что исчезновеніе этого лучезарнаго свѣтила изъ обитаемыхъ нами широтъ, на цѣлые два дня, есть уже настоящее разстройство въ природѣ. А храмъ любви, который я воздвигъ въ своемъ сердцѣ, какъ въ немъ пусто и темно, и какъ грустенъ и молчаливъ великій жрецъ! онъ уже не заставляетъ своды храма повторять гимны любви и почитанія, потому что не можетъ обратить ихъ къ своему отсутствующему божеству.

«Скажи также, перо мое, что я преклоняюсь передъ однимъ воспоминаніемъ о своемъ божествѣ, умоляя его возвратиться какъ можно скорѣе; скажи, наконецъ, что въ ожиданіи этого, я олицетворяю собою живую горячку нетерпѣнія и ожиданія.

«Вотъ, обожаемая Софи, начало моей кореспонденціи съ тобой; прости меня, если найдешь его нелѣпымъ: причина заключается въ отсутствіи моего ангела хранителя и вдохновителя. По крайней мѣрѣ это письмо имѣетъ то достоинство,

contre-pied du proverbe italien: « se non e vero e ben trovato. »

« Tout en embrassant mille fois tes yeux, tes lèvres, tes mains et tes pieds, je suis à tout jamais le plus dévoué de tes amis, le plus soumis et le plus respectueux des promis, enfin le plus vrai et le plus passionné de tes adorateurs... »

Le soir du même jour je reçus la réponse de Sophie. Je veux bien l'insérer ici:

« Mon meilleur ami.

« Quoique je me sente bien fatiguée ce soir, je ne puis cependant me résoudre à aller prendre le repos qui m'est tant nécessaire, sans être venue auparavant vous remercier, du plus sincère de mon cœur, de votre bonne lettre que j'ai reçue ce matin et qui, bien qu'un peu exagérée (sur mon simple et pauvre moi), ne m'en a pas moins fait un grand plaisir, parce que j'y ai trouvé les sentiments élevés qui distinguent toujours le véritable gentilhomme, c'est-à-dire l'homme de cœur et d'éducation.

« C'est avec raison que vous pensez avoir été bien servi par votre plume. Vos lettres (surtout la seconde et la troisième) que vous avez écrites à ma *sœur étaient* si concises, si bien

что можетъ служить противовѣсомъ итальянской пословицы: Se non e vero, e ben trovato.

«Цѣлуя тысячу разъ твои глазки, губки, ручки и ножки, остаюсь навсегда самымъ преданнымъ твоимъ другомъ, самымъ покорнымъ и почтительнымъ изъ жениховъ и наконецъ, самымъ вѣрнымъ и страстнымъ изъ твоихъ обожателей.....»

Въ тотъ же день вечеромъ я получилъ отвѣтъ Софи. Привожу его здѣсь:

Мой лучшій другъ!

«Хотя я чувствую себя очень утомленной нынѣшній вечеръ, я не могу однако рѣшиться отправиться на покой, въ которомъ такъ нуждаюсь, не поблагодаривъ васъ прежде самымъ искреннимъ образомъ за ваше хорошее письмо, которое получила сегодня утромъ и которое, хотя и нахожу немного преувеличеннымъ (въ отношеніи моей бѣдной и простой особы), тѣмъ не менѣе доставило мнѣ величайшее удовольствіе, потому что я нашла въ немъ возвышенныя чувства, всегда отличающія истиннаго джентльмена, т. е. порядочнаго и благовоспитаннаго человѣка.

«Вы совершенно правы, сознавая услуги своего пера. Ваши письма (въ особенности второе и третье), которыя вы написали къ моей сестрѣ, были такъ опредѣленны, такъ хорошо поняты и были, безспорно

comprises et, sans conteste, si sincèrement écrites, qu'involontairement on se surprenait à vous estimer et à vous aimer. En effet, qui aurait pu croire que moi, toujours si froide, si indifférente et si peu soucieuse d'obtenir *une autre* affection que celle de ma famille et de mes amis; qui aurait pu croire, dis-je, au changement qui s'est opéré en moi à cause de vous?... Mais aussi vous vous êtes montré si bon, si persévérant et si dévoué que, malgré mes craintes et mes indécisions, vous avez su chasser presque entièrement ce nuage froid et épais qui m'enveloppait et que chacun croyait impénétrable. Oui, mon ami, vous avez fait déjà un grand pas!.. Mais le plus difficile pour tous deux est encore à faire; et je ne puis m'empêcher d'éprouver une inquiétude à la pensée des formalités à remplir et des exigences de famille à satisfaire, dans les circonstances où nous allons bientôt nous trouver.

« Pour moi, je me repose entièrement sur votre amour; j'ai mis ma confiance en vous: elle est bien et saintement placée, j'en ai la *conviction*... Mais pardon, mon excellent ami, de ce petit écart à mes idées premières. Je t'écris sous l'influence d'une grande fatigue et des émotions que j'ai éprouvées ce matin dans

такъ искренно написаны, что читая ихъ, надо было невольно почувствовать къ вамъ уваженіе и — любовь. И въ самомъ дѣлѣ, кто бы повѣрилъ, что во мнѣ, такой холодной, равнодушной и такъ мало заботившейся о пріобрѣтеніи *другой* привязанности, кромѣ привязанности моего семейства и моихъ друзей; кто бы повѣрилъ, что могла произойти во мнѣ перемѣна, причиной которой были вы!..... Но вы оказались такимъ добрымъ, настойчивымъ и преданнымъ, что несмотря на мои опасенія и нерѣшительность, вы съумѣли почти совершенно разогнать холодное и густое облако, которое меня окружало и которое всѣ считали непроницаемымъ. Да, другъ мой, вы уже сдѣлали великій шагъ!.... Но самый трудный для насъ обоихъ еще впереди; и я не могу безъ тревоги думать о предстоящемъ исполненіи формальностей и семейныхъ требованій, при обстоятельствахъ, въ которыхъ мы скоро будемъ находиться.

«Я съ своей стороны вполнѣ полагаюсь на вашу любовь, я вложила въ васъ свое довѣріе и *убѣждена*, что помѣстила его хорошо и свято. Прости мнѣ, дорогой другъ, это маленькое отступленіе отъ моихъ первыхъ мыслей. Я пишу тебѣ подъ вліяніемъ великой усталости и волненія, которыя испытала сегодня утромъ во время путешествія

mon pèlerinage à la tombe d'une sœur chérie qui doit être un ange au ciel, comme elle l'était sur la terre... Oui, je l'ai priée pour toi et pour moi. J'ai déposé sur sa croix une couronne d'immortelles, et, en échange, j'ai cueilli au pied de cette croix une petite fleur et une feuille de lierre que je t'envoie avec mon meilleur souvenir.

« Je retournerai demain à Bruxelles, malgré les puissantes sollicitations qui me sont faites ici pour que je reste... Mais rien ne pourrait me retenir... Je ne te dirai pas pourquoi...

« Je porte toujours avec un plaisir que tu dois comprendre le joli bijou que tu m'as donné l'autre soir, et pour lequel je t'ai remercié d'une manière si stupide... Mais pardonne-moi mon défaut d'expression en ta présence : c'est la timidité et non le cœur qu'il faut blâmer. Je croyais ne t'écrire que quelques lignes, mais, sans le vouloir, j'ai abusé, peut-être, de ton temps qui doit être si précieux maintenant, parce que c'est dans deux jours qu'a lieu ton concours... Que je serai heureuse quand cela sera fini, et que tu pourras jouir du calme dont tu dois avoir grand besoin pour ta santé.

« Allons, il faut finir, que je te *quitte, mais bien* à regret. Il

на могилу дорогой сестры, которая должна быть ангеломъ на небѣ, какъ была имъ на землѣ.... Да, я молилась ей за тебя и за себя. Я положила къ ней на крестъ вѣнокъ изъ иммортелей и взамѣнъ этого, сорвала у подножія этого креста маленькій цвѣточекъ и листикъ плюща, которые и посылаю тебѣ на память.

«Я возвращусь въ Брюссель завтра, несмотря на всѣ просьбы, чтобы я погостила здѣсь..... Но ничто не можетъ удержать меня... Только я не скажу тебѣ почему...

«Я продолжаю съ удовольствіемъ, которое должно быть тебѣ понятно, носить хорошенькую драгоцѣнность, которую ты подарилъ мнѣ въ тотъ вечеръ и за которую я такъ глупо поблагодарила тебя..... Прости мнѣ мое неумѣнье выражаться въ твоемъ присутствіи : въ этомъ надо винить не сердце, а робость. Я хотѣла написать тебѣ всего нѣсколько строкъ, но, сама того не желая, можетъ быть злоупотребила твоимъ временемъ, которымъ ты долженъ такъ дорожить теперь, такъ какъ черезъ два дня состоится твой конкурсъ..... Какъ я буду счастлива, когда все это кончится и ты въ состояніи будешь наслаждаться покоемъ, въ которомъ должно такъ нуждаться твое здоровье.

«Довольно, пора кончить, пора разстаться съ тобою, хотя и съ

le faut cependant. Au revoir, à demain, n'est-ce pas? Et crois-moi avec la plus grande sincérité

« ta meilleure amie
« Sophie. »

Dans la lettre de Sophie se trouvaient la petite fleur et la feuille de lierre dont elle parlait plus haut.

сожалѣніемъ. А дѣлать нечего. До свиданія, до завтра, не правда ли? Повѣрь мнѣ, что я съ величайшей искренностью остаюсь

«твоимъ лучшимъ другомъ
Софи».

Въ письмѣ Софи находился маленькій цвѣточекъ и листикъ плюща, о которомъ она говорила выше.

XII.

А горе ждетъ изъ за угла.

Человѣческое счастіе есть не иное что, какъ молнія; оно кажется блеснетъ для того, чтобы возвѣстить о грозѣ *(Ségur)*.

Enfin l'astre de mon bonheur sans égal approchait de son apogée. Oh s'il pouvait s'y fixer; s'il avait pu n'en pas descendre d'une seule ligne et ne jamais connaître son périgée! Mais l'avenir est un abîme ténébreux, silencieux et plein de mystères, qu'il n'est donné à personne d'approfondir ni de prévoir.

Nous étions vers la fin de décembre. Sophie et moi, nous commencions déjà à faire nos préparatifs et à mettre tout en règle pour arriver enfin à l'épilogue de l'épopée de nos amours. Au mois de janvier je devais quitter Bruxelles pour aller m'établir

Наконецъ-то свѣтило моего счастія стало приближаться къ своему апогею. О, еслибы оно могло остановиться на этомъ! еслибы оно могло никогда не спускаться оттуда ни на одну черту и никогда не знать своего перигея! Но будущее есть мрачная бездна, безмолвная и полная таинственности и тайнъ, которыхъ никому не дано ни измѣрить, ни предвидѣть.

Наступалъ конецъ декабря. Мы съ Софи уже начинали дѣлать приготовленія и приводить въ порядокъ все, чтобы достичь наконецъ эпилога эпопеи нашей любви. Въ январѣ мѣсяцѣ я долженъ былъ покинуть Брюссель и поселиться въ Парижѣ, такъ какъ праздно-

à Paris, car la célébration de mon mariage à Bruxelles était impossible, faute d'église et de ministre orthodoxes, qui manquaient à la capitale de la Belgique. Sophie, accompagnée de sa sœur et de son frère, devait se rendre à Paris au mois de février, et là, dans la chapelle de la légation russe, on aurait consacré notre union par la bénédiction de l'Église.

. . . . . .

. . . . . .

La réalité du bonheur que je goûtais alors surpassait de beaucoup les rêves mêmes que j'avais pu former dès ma plus tendre jeunesse, alors que mon imagination juvénile était limpide et paisible comme la surface d'un beau lac par une douce et belle matinée de printemps.... Mais, hélas! Les destinées humaines, comme la surface des ondes, ne sont pas faites pour un calme éternel: le souffle des vents de l'adversité, partis des quatre points cardinaux, mugit et trouble la surface calme et polie des ondes, et soulève parfois des vagues qui brisent tout, engloutissent et le nautonier hardi, et son frêle esquif.

Plus le bonheur d'ici-bas, qui surgit çà et là, est grand, vrai, inattendu, moins il est solide: car la base de ce bonheur suprême ne trouve pas de sol propice

ніе моего бракосочетанія въ Брюсселѣ было невозможно, за неимѣніемъ ни церкви, ни священника православнаго вѣроисповѣданія въ столицѣ Бельгіи. Софи, въ сопровожденіи сестры и брата, должна была пріѣхать въ Парижъ въ февралѣ и тамъ, въ церкви русскаго посольства, нашъ бракъ долженъ былъ быть освященъ благословеніемъ церкви.

. . . . . .

. . . . . .

Дѣйствительность счастія, какое вкушалъ я въ то время, во многомъ превосходило мечты, которыя составлялъ я себѣ въ самой нѣжной юности, тогда когда мое молодое воображеніе было ясно и спокойно какъ поверхность прекраснаго озера въ чудное, прелестное весеннее утро.... Но увы! Человѣческая судьба, также какъ и поверхность водъ, не сотворена для вѣчнаго покоя: дуновеніе злополучныхъ вѣтровъ, начавшееся со всѣхъ четырехъ странъ свѣта, волнуетъ и помрачаетъ гладкую и спокойную поверхность водъ и поднимаетъ иногда бурю, которая уничтожаетъ все, поглощая и отважнаго пловца и его утлую ладью.

Чѣмъ больше, истиннѣе и неожиданнѣе счастіе, возникающее тамъ и самъ на землѣ, тѣмъ оно менѣе прочно; потому что основаніе этого высшаго счастія не находитъ под-

sur cette terre chétive, sinon maudite; manque de terrain propre à en abriter les racines profondes et les féconder d'une sève assez puissante pour permettre à l'arbre du bonheur de croître et d'atteindre la force et la hauteur de la maturité. Le vrai bonheur n'est qu'un hôte passager ici-bas: c'est un voyageur attardé qui ne s'arrête au relai de la vie que pour changer ses coursiers et passer outre. Le vrai bonheur, c'est un parfum exotique, apporté de loin par une brise, et aussitôt dissipé par une autre. En un mot, le bonheur humain sur la terre n'est qu'un mirage qu'on ne peut qu'admirer de loin, mais qui disparaît dès qu'on s'en approche.

Tout ce que je viens de dire sur le bonheur terrestre, peut se résumer parfaitement bien par le plus vrai des proverbes, par une de ces formules commodes, de ces fragments épars de la sagesse populaire et que voici: *L'homme propose et Dieu dispose*, vérité dont chacun a pu faire l'expérience, et que, pour ma part, dans le cours de ma vie agitée, j'ai expérimentée plus de fois qu'il n'en faut, pour prouver à l'homme le moins crédule, que la volonté humaine n'a à opter ici-bas qu'entre la flexibilité

ходящей почвы на нашей жалкой, если не проклятой землѣ; не находитъ мѣста, гдѣ бы могли пріютиться глубокіе корни его и которое могло бы оплодотворить его такимъ могущественнымъ сокомъ, который далъ бы возможность древу счастія расти и достигнуть силы и высоты зрѣлости. Истинное счастіе не болѣе какъ минутный гость на нашей землѣ: это — запоздалый путникъ, останавливающійся на станціи жизни только затѣмъ, чтобы перемѣнить своихъ бѣгуновъ и отправиться далѣе. Истинное счастіе, это экзотическое благоуханіе, издалека занесенное вѣтромъ и тотчасъ же разсѣянное другимъ. Однимъ словомъ, человѣческое счастіе на землѣ есть ничто иное какъ миражъ, которымъ можно любоваться издали, и который исчезаетъ, какъ только подойдешь къ нему поближе.

Все, что я сказалъ сейчасъ о земномъ счастіи, можетъ быть выражено самой правдивой изо всѣхъ пословицъ, этой удобной формулой и однимъ изъ разсѣянныхъ отрывковъ народной мудрости, а именно:

Человѣкъ предполагаетъ, а Богъ располагаетъ, истина, которую каждый могъ испытать на себѣ и которую я, съ своей стороны, въ теченіе моей бурной жизни, испыталъ чаще, чѣмъ это требовалось, чтобы доказать самому маловѣрному человѣку, что человѣческая воля на землѣ можетъ выбирать

d'un roseau docile et soumis, ou la fermeté d'un chêne puissant et inébranlable: elle doit, cette volonté, ou se plier comme un roseau, ou tenir ferme comme un chêne à l'approche de l'orage, sauf à être frappée et brisée par la foudre,ou abattue par l'ouragan, arrivé au dernier degré de sa fureur.

Voilà des pages bien sombres après ces riantes vallées que j'ai parcourues avec mes lecteurs. Mais la faute en est à la logique de notre vie, logique inexorable comme le destin. Après la lumière du jour, les ombres du soir et de la nuit. La différence n'existe que dans les saisons et les latitudes du globe. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

только между гибкостью послушнаго тростника и твердостью могущественнаго и непоколебимаго кедра: что эта воля или должна сгибаться какъ тростникъ, или держаться твердо какъ кедръ, при приближеніи грозы, хотя можетъ быть разбитъ и уничтоженъ молніей, или сломанъ ураганомъ, дошедшимъ до послѣдней степени бѣшенства.

Вотъ грустныя строки послѣ веселыхъ долинъ, которыя я пробѣжалъ вмѣстѣ съ читателемъ. Но въ этомъ виновата логика нашей жизни, логика, неумолимая, какъ судьба. Послѣ дневнаго свѣта являются сумерки вечера и ночи. Разница существуетъ только во временахъ года и широтахъ земнаго шара....

XIII.

Первая разлука.

La veille du jour de l'an je reçus une lettre de St-Pétersbourg par laquelle on m'annonçait une nouvelle des plus fâcheuses pour moi, et qui marquait, pour ainsi dire, le point d'arrêt de l'ascension de l'astre de mon bonheur et le point de son abaissement vers le périgée. La lettre que je reçus était d'un de *mes meilleurs* amis de St-Péters-

Наканунѣ Новаго года я получилъ изъ Петербурга письмо, въ которомъ мнѣ сообщали самую непріятную для меня новость, и которое, такъ сказать, ставило границы восхожденію свѣтила моего счастія, и указывало на точку его опущенія къ перигею. Полученное мною письмо было написано однимъ изъ моихъ лучшихъ петербургскихъ друзей. Онъ извѣщалъ меня, что лицо

bourg. Il m'apprenait que l'individu (un de mes vieux camarades d'armes) auquel j'avais confié la gestion de mes affaires, avait abusé de ma confiance de la manière la plus indigne, qu'il avait compromis ma fortune et qu'il me fallait retourner immédiatement à St-Pétersbourg, afin d'y prendre personnellement les mesures les plus promptes pour obvier au mal, en arrêter les progrès et prévenir par là d'autres pertes plus grandes encore.

Je reçus en homme ce premier coup de l'ouragan qui, plus tard, devait ruiner de fond en comble l'édifice de mon bonheur. Je courus sur-le-champ annoncer à Sophie cette fatale nouvelle, afin de savoir si c'était la ruine complète, ou rien qu'un ajournement de mon bonheur que cette nouvelle boréale venait de décréter. Le cas était grave, l'épreuve était forte et décisive pour Sophie, qui devait être sommée de se prononcer sur la valeur de ses sentiments pour moi. Elle tenait, dès lors, dans sa main une balance où étaient posées: d'un côté la possibilité, sinon de ma ruine complète, du moins de la diminution de la somme de comfort et de bien-être; et de l'autre son affection pour moi, l'affection qu'elle

(старинный товарищъ мой по оружію), которому я поручилъ управленіе моими дѣлами, самымъ недостойнымъ образомъ употребилъ во зло мое довѣріе, подвергнулъ опасности цѣлость моего состоянія, и что мнѣ необходимо немедленно возвратиться въ Петербургъ, и лично принять самыя поспѣшныя мѣры для предотвращенія зла, остановить его успѣхи и предупредить такимъ образомъ другія потери, еще болѣе значительныя.

Я мужественно перенесъ этотъ первый ударъ урагана, который впослѣдствіи долженъ былъ разрушить въ конецъ зданіе моего счастія. Я тотчасъ поспѣшилъ сообщить Софи это роковое извѣстіе, желая узнать, было ли это полное разрушеніе или только отсрочка моего счастія, которую постановила эта сѣверная новость. Случай былъ важный и испытаніе велико и рѣшительно для Софи, которой предстояло доказать силу чувствъ своихъ ко мнѣ. Поэтому она держала въ своихъ рукахъ вѣсы, на которыхъ помѣщались: съ одной стороны — возможность если не полнаго раззоренія, то во всякомъ случаѣ уменьшенія суммы комфорта и благосостоянія; съ другой — ея привязанность ко мнѣ, которую позволила мнѣ пріобрѣсть силою самой глубокой, самой благородной,

m'avait laissé conquérir avec l'amour le plus profond, le plus noble, le plus dévoué et le plus sublime que jamais une femme belle pût inspirer à un homme de cœur. Donc de quel côté pencherait la balance? En un mot, il s'agissait de savoir si c'était bien de l'or pur ou seulement de la dorure qui brillait au salon vert du Bois Sauvage.

Dieu merci, l'athéisme d'amour épargna mon cœur, dont la religion fut sauvée et maintenue intacte par ma fiancée, et ce fut avec un bonheur indicible que je reconnus que j'avais affaire à l'or le plus pur qui subit jamais avec éclat l'épreuve des poinçons. Sophie m'écoutait attentivement et, après que je l'eus mise au courant de la nouvelle fâcheuse qui venait de m'arriver de ma patrie, elle me dit avec son sourire habituel:

— Cher Nicolas, ajoute foi pleine à ce que je vais te dire. La question d'intérêt matériel qui, pendant quelques jours, a paru préoccuper si vivement ma sœur, mue uniquement par sa tendre sollicitude pour moi, n'a pas eu la moindre influence sur la décision de mon cœur, car, je te le dis, fusses-tu dix fois plus riche, que je ne voudrais pas de toi, si tu me déplaisais. *C'est* ton esprit, c'est ton cœur, *c'est ta franchise* et ta loyauté

преданной и высокой любви, какую когда либо могла внушить прекрасная женщина высоко-честному мужчинѣ. На которую сторону потянутъ вѣсы? Словомъ, оставалось узнать, чистое ли золото или только позолота блестѣла въ зеленой гостиной Bois Sauvage.

Слава Богу! Атеизмъ любви пощадилъ мое сердце, религія котораго была спасена и поддержана неприкосновенной моею невѣстою, и я съ невыразимымъ счастіемъ убѣдился, что имѣю дѣло съ самымъ чистымъ золотомъ, когда либо выдерживавшимъ пробу чекана. Софи внимательно выслушала меня и, когда я сообщилъ ей непріятную новость, только что полученную мною изъ моего отечества, она съ обычной своей улыбкой сказала:

— Милый Николай, дай полную вѣру тому, что я сейчасъ тебѣ скажу. Матеріальный вопросъ, повидимому такъ сильно занимавшій въ теченіе нѣсколькихъ дней мою сестру, и вызванный единственно ея нѣжной заботливостью обо мнѣ, не имѣлъ ни малѣйшаго вліянія на рѣшеніе моего сердца; потому что, повторяю, еслибы ты былъ даже въ десять разъ богаче, я не пошла бы за тебя, еслибы ты мнѣ не нравился. Мнѣ понравились прежде всего твой умъ, твое серд-

qui m'ont plu d'abord et qui ensuite ont fini par te subjuguer mon cœur fier, froid et inaccessible jusque-là. La fortune ni la beauté physique seule n'ont jamais eu la moindre prise sur moi. C'est devant *la beauté morale* que je me suis toujours inclinée, c'est elle que je mets bien au-dessus de tous les autres avantages sociaux ou physiques. C'est pour cette beauté morale que je t'ai aimé, que je t'aime et que je t'aimerai toujours, et quand même. Ainsi, que m'importe qu'il y ait un peu plus ou moins de comfort dans ta vie, pourvu que tu ne sois pas complètement ruiné, ce qui serait bien fâcheux, tu en conviendras toi-même. Mais si je t'ai bien compris, rien de pareil ne te menace.... Des pertes d'argent.... Eh bien? Qui n'en a pas essuyé plus ou moins dans sa vie? Cela vaut-il la peine de s'affliger autant que tu parais le faire?... Regarde-moi bien, cher ami... Déride ton front par trop soucieux et donne-moi ou laisse-moi te donner un baiser bien affectueux.... tiens, en voici un.... deux.... trois..... Ah! que cela fait du bien, les baisers de ceux qui s'entr'aiment!.... N'est-il pas vrai, mon bon Nicolas, mon noble et meilleur ami?... Mais, dis-moi: dois-tu absolument quitter Bruxelles, *et le quitter bientôt?*

це, твоя откровенность и честность, и они-то покорили потомъ тебѣ мое холодное, гордое и непреклонное до тѣхъ поръ сердце. Ни богатство, ни физическая красота одна, никогда не имѣли на меня ни малѣйшаго вліянія. Я преклонялась всегда только передъ *красотой нравственной* и ее ставила выше всякихъ другихъ соціальныхъ или физическихъ преимуществъ. За эту-то нравственную красоту я тебя полюбила, люблю и буду любить всегда, чтобы ни случилось. Такъ не все ли равно для меня, будетъ ли въ твоей жизни немного болѣе или немного менѣе комфорта, только бы ты не разорился окончательно, что было бы, согласись самъ, очень грустно. Но, сколько я тебя поняла, ничто подобное тебѣ не грозитъ.... Денежныя потери... Ну, чтожъ? Кому не случалось претерпѣвать ихъ въ жизни болѣе или менѣе? Стоитъ ли изъ-за этого такъ огорчаться, какъ повиднмому огорчаешься ты?... Взгляни на меня хорошенько, дорогой другъ... Разгладь морщины на своемъ челѣ и поцѣлуй меня или позволь мнѣ поцѣловать тебя нѣжно... Вотъ одинъ... два... три поцѣлуя... Ахъ, какъ хорошо дѣйствуютъ поцѣлуи людей, которые любятъ другъ друга!... Не правда ли, мой добрый Николай, мой лучшій, благородный другъ?... Но скажи мнѣ: неужели тебѣ непремѣнно надо уѣхать изъ Брюсселя и притомъ въ скоромъ времени?

— Dans le plus bref délai, ma tout adorable Sophie. Je ne puis rester ici que quatre ou cinq jours, autrement je risque d'essuyer encore des pertes énormes, ma présence immédiate à St-Pétersbourg étant indispensable pour arrêter les progrès du mal, qui n'est déjà que trop grand.

— C'est bien fâcheux, — fit Sophie, et son front se rembrunit ; — car, vois-tu : je croyais que tu n'étais pas pressé au point de partir avant la conclusion de notre mariage.... Mais cinq et même dix jours sont insuffisants pour remplir toutes les formalités voulues par nos lois, concernant les affaires matrimoniales. Donc force nous est de subir une séparation, d'autant plus pénible et douloureuse qu'elle sera longue; car les devoirs et les obligations imposés à ma sœur par sa qualité d'institutrice ne lui permettront pas, avant les vacances d'été, de quitter Bruxelles pour m'accompagner à St-Pétersbourg. Or, il est de toute impossibilité que j'entreprenne toute seule ce voyage lointain, pour une ville étrangère et dans le but d'un changement de vie, le plus important et le plus complet que puisse subir une femme, aussi peu au fait que moi de tout ce qui concerne le côté *réel et matériel* de la vie. Mais

— Какъ можно скорѣе, моя обожаемая Софи. Я могу остаться здѣсь не болѣе четырехъ или пяти дней, въ противномъ случаѣ я рискую понести еще громадныя потери, такъ какъ присутствіе мое въ Петербургѣ необходимо, чтобы остановить усиленіе зла, и безъ того уже слишкомъ великаго.

— Какъ это грустно, — сказала Софи и чело ея омрачилось ; — потому что, видишь ли я полагала, что тебѣ не надо будетъ уѣзжать до нашей свадьбы.... Но пяти и даже десяти дней недостаточно для исполненія всѣхъ формальностей, требуемыхъ нашимъ закономъ въ отношеніи брачныхъ союзовъ. Стало быть намъ, волей неволей, надо покориться разлукѣ, тѣмъ болѣе тягостной и мучительной, что она будетъ продолжительна ; потому что занятія и обязанности моей сестры, какъ содержательницы учебнаго заведенія, не позволятъ ей ранѣе лѣтнихъ вакацій уѣхать изъ Брюсселя, чтобы проводить меня въ Петербургъ. Мнѣ же одной совершенно невозможно предпринять эту поѣздку въ отдаленный городъ и съ цѣлію такой важной и полной перемѣны жизни, какой только можетъ подвергнуться женщина, столь мало, какъ я, понимающая реальную и матеріальную сторону жизни. Но повѣрь, что ни твое отсутствіе, ни время, ни раздѣляющіе насъ разстоянія, никогда не въ состояніи

crois bien que ni ton absence, ni le temps, ni l'espace qui nous séparera ne pourront jamais diminuer ni altérer l'affection sincère et profonde que je t'ai vouée à tout jamais. J'attendrai patiemment des mois, des années, s'il le faut, jusqu'à ce que tes affaires s'arrangent de manière à ne plus opposer le moindre obstacle à notre union, qui se célèbrera ou à St-Pétersbourg, ou ailleurs, cela ne dépendra que de toi. En attendant, nous nous écrirons le plus souvent possible, tous les huit jours, entends-tu? *Tous les huit jours....* Maintenant écoute-moi bien : quoi qu'il arrive et quand même, *je n'appartiendrai qu'à toi..... à toi, sinon à personne*, j'en prends Dieu à témoin.»

Après cette déclaration formelle, précise, et qui dépassait toutes mes espérances, mon cœur se dilata et je tombai aux genoux de Sophie, ce modèle de toutes les perfections morales et physiques. J'inondai de larmes de reconnaissance ses mains, ses genoux et ses pieds, ne pouvant prononcer que des mots entrecoupés par des sanglots. Sophie entoura mon cou de ses bras potelés et blancs comme l'ivoire, m'attira sur son cœur, m'y pressa avec force et colla sa bouche sur la mienne. Nos larmes et nos haleines se confondirent, et

будутъ ни уменьшить, ни измѣнить искреннюю и глубокую любовь, которую я почувствовала къ тебѣ навсегда. Я буду терпѣливо ждать мѣсяцы и даже, если понадобится, годы, пока твои дѣла устроятся настолько, что не будутъ больше мѣшать нашему соединенію, которое мы отпразднуемъ или въ Петербургѣ, или въ другомъ мѣстѣ, гдѣ ты пожелаешь. Въ ожиданіи этого мы будемъ переписываться, какъ можно чаще, разъ въ недѣлю, слышишь? Непремѣнно *каждую недѣлю*.... Теперь выслушай меня хорошенько: чтобы ни случилось, *я буду принадлежать тебѣ*.... тебѣ или *никому*, беру въ томъ Бога въ свидѣтели.

Послѣ этого формальнаго, яснаго и превосходившаго всѣ мои ожиданія заявленія, сердце мое исполнилось радости и я палъ на колѣни передъ Софи, этимъ образцомъ всѣхъ нравственныхъ и физическихъ совершенствъ. Я покрылъ слезами благодарности ея руки, колѣни и ноги, произнося только слова, прерываемыя рыданіями. Софи обвила мою шею своими бѣлоснѣжными руками, привлекла меня къ своему сердцу, крѣпко прижалась ко мнѣ и прильнула своими устами къ моимъ. Наши слезы и наши дыханія слились въ долгомъ, опьяняющемъ поцѣлуѣ; я чувствовалъ,

je m'enivrai d'un baiser long, long, délicieux; je sentis palpiter bien fort mon cœur et se dilater ma poitrine, qui pouvait à peine contenir tant de félicité. Et cette félicité était si immense, si peu terrestre, qu'elle m'assimilait à un de ces êtres supérieurs, habitants fortunés des mondes infiniment meilleurs que le nôtre. Mais, hélas! le bonheur que je goûtais dans ce moment était comme les derniers rayons du soleil qui allait se coucher, pour ne reparaître que dans six mois, et puis se recoucher pour toujours.

L'effusion de nos cœurs terminée et le problème de notre avenir nettement et résolument posé, nous devisâmes sur les arrangements ultérieurs à prendre. Quant à ma petite Lise, de concert avec moi, ma belle-sœur et Sophie, nous décidâmes de la laisser à Bruxelles, toute pénible que dût être cette séparation avec mon enfant pour moi et pour ma famille, dont elle était le plus gentil et le plus aimé des Benjamin. Mais on était au cœur de l'hiver, et il eût été de la première imprudence de faire braver à un enfant délicat et frêle les rigueurs de cette saison pendant un si long trajet, et surtout après avoir franchi la frontière de la Russie, où l'intensité du froid fait souvent

какъ сильно билось мое сердце и какъ широко дышала грудь, которая могла вмѣщать въ себѣ такое блаженство. И блаженство это было такъ велико, такъ мало походило на земное, что уподобляло меня высшимъ существамъ, счастливымъ обитателямъ другихъ, несравненно болѣе нашего совершенныхъ міровъ. Но, увы! Счастье, которое я вкушалъ въ эту минуту, походило на послѣдніе лучи заходящаго солнца, которое должно было взойти только черезъ шесть мѣсяцевъ, чтобы потомъ закатиться навѣки.

Когда излiянiе нашихъ сердецъ окончилось, а [illegible] нашего будущаго рѣшена [illegible] окончательно, мы стали говорить [illegible] дальнѣйшихъ распоряженіяхъ. Въ отношеніи моей маленькой Лизы, мы рѣшили, съ согласія моего, моей свояченицы и Софи, оставить ее въ Брюсселѣ, какъ ни тягостна могла быть эта разлука съ моимъ дорогимъ ребенкомъ и мнѣ и новому семейству, для котораго она была самымъ милымъ и самымъ возлюбленнымъ Веньяминомъ. Но такъ какъ была самая середина зимы, то было бы въ высшей степени неблагоразумно подвергать нѣжную и хрупкую дѣвочку всей суровости климата во время такого долгаго путешествія, въ особенности по переѣздѣ границы Россіи, гдѣ сильные холода заставляютъ страдать лицъ, несравненно

souffrir des personnes bien plus âgées et plus robustes que ne l'était notre petit Benjamin.

Enfin l'heure de la double séparation sonna. Le cinq janvier nous fîmes nos malles, nous proposant de quitter Bruxelles le soir même avec le train de vitesse. Lise se trouvait chez nous depuis le jour où j'avais appris à Sophie les fâcheuses nouvelles de St-Pétersbourg. Bien qu'elle se sentît très-heureuse dans la maison des demoiselles Ghémar, où elle était adorée de tout ce qui l'entourait, Lise, en apprenant notre départ prochain de Bruxelles et se voyant privée de sa tante Marie, de sa sœur et de moi, ne possédait plus de douleur et de chagrin. Du matin au soir, la pauvre enfant ne faisait que pleurer à chaudes larmes. Assise sur les genoux de sa bonne tante, elle lui disait de sa petite voix argentine, en passant ses petits bras autour de son cou, ou en caressant ses joues avec ses petites mains:

— Oh! ma bonne, ma chère tante, pourquoi me laissez-vous ici?... Je ne vous verrai plus, je ne vous entendrai plus; je n'entendrai plus personne parler russe... oh! priez papa de me prendre avec lui; je saurai supporter le froid, pourvu que je sois avec vous, avec papa et avec Annette... Oh, mon Dieu,

болѣе здоровыхъ и взрослыхъ, чѣмъ нашъ маленькій Веньяминъ.

Наконецъ, часъ двойнаго разставанія пробилъ. Пятаго января мы уложились, разсчитывая выѣхать изъ Брюсселя въ тотъ-же вечеръ со скорымъ поѣздомъ. Лиза находилась у насъ съ того дня, когда я сообщилъ Софи роковыя петербургскія новости. Несмотря на то, что Лиза чувствовала себя очень счастливой въ домѣ дѣвицъ Гемаръ, гдѣ ее обожали всѣ окружающіе, она, узнавъ о нашемъ скоромъ отъѣздѣ изъ Брюсселя и о томъ, что ей придется лишиться своей милой тети, сестры и меня, была внѣ себя отъ отчаянія и горя. Бѣдная дѣвочка обливалась съ утра до вечера горькими слезами. Сидя на колѣняхъ своей доброй тети и обнимая ее за шею или гладя по щекѣ своими маленькими ручками, она говорила ей своимъ серебристымъ голоскомъ:

— О, милая, дорогая тетя, зачѣмъ оставляете вы меня здѣсь? Я не увижу и не услышу васъ болѣе; не услышу ни отъ кого болѣе русскаго языка... о, упросите папашу взять меня съ собою! я съумѣю перенести холодъ, только бы мнѣ быть вмѣстѣ съ вами, съ папашей и съ Анютой... О, Боже мой! Боже мой! Я умру здѣсь съ

mon Dieu! Je mourrai de chagrin ici, et je ne vous verrai plus, je mourrai sans vous, je le sens.... Oh! oh!....

Et la pauvre petite sanglotait à faire fendre le cœur le plus dur. Sa tante faisait tout son possible pour la consoler et encore plus pour retenir ses propres larmes, dont son cœur débordait. Mais enfin, n'en pouvant plus, elle laissa échapper elle-même un torrent de larmes. A cette vue, Lise releva sa jolie tête blonde et bouclée, aux grands et beaux yeux noirs, cessa de pleurer et s'écria, d'une voix qu'il est impossible de rendre, tant il y avait de douleur et de désespoir dans son accent:

— Ma tante, ma bonne tante, vous pleurez aussi, vous êtes aussi malheureuse que moi? Oh, de grâce! cessez de pleurer: vos larmes *me coupent* le cœur.

Mais il me faudrait beaucoup de temps, si je voulais raconter toutes les scènes navrantes que j'eus à subir pendant les quatre jours qui précédèrent mon départ de Bruxelles. A sept heures du soir, Henriette et Sophie se rendirent chez nous: elles nous apportaient plusieurs corbeilles remplies de gâteaux, de friandises, de bonbons, de pastilles de chocolat et une bouteille d'excellent Sherry. Quant à notre *bagage, il était* déjà envoyé à

тоски и не увижу васъ болѣе; я умру безъ васъ, я это чувствую.... О, о!

И бѣдная малютка рыдала такъ, что могла тронуть самое жестокое сердце. Тетка употребляла всѣ усилія, чтобъ успокоить ее и еще большія, чтобъ удержать свои собственныя слезы, которыми было переполнено ея сердце. Но наконецъ, не выдержала и сама залилась слезами. При видѣ этого, Лиза подняла свою хорошенькую, кудрявую, бѣлокурую головку съ прекрасными черными глазами, перестала плакать и голосомъ, который невозможно передать, столько въ немъ было горя и отчаянія, воскликнула:

— Тетя, милая тетя, и вы также плачете, вы такие несчастливы, какъ и я? О, умоляю васъ, перестаньте плакать! Ваши слезы *рвутъ* мнѣ сердце.

Понадобилось бы много времени, еслибъ я вздумалъ описывать всѣ раздирающія сцены, которыя мнѣ пришлось выдерживать въ продолженіи четырехъ дней, предшествовавшихъ моему отъѣзду изъ Брюсселя. Въ семь часовъ вечера къ намъ явились Софи и Генріетта: онѣ принесли намъ нѣсколько корзинокъ съ пирожками, лакомствами, конфектами, шоколадныхъ лепешекъ и бутылку превосходнаго шерри. Багажъ нашъ уже былъ отосланъ на станцію желѣзной дороги. Въ во-

la gare du chemin de fer. A huit heures nous fîmes nos adieux, non pas à Sophie ni à Henriette, qui devaient venir nous accompagner jusqu'à l'embarcadère, mais à notre ange de Lise. Oh! des larmes me viennent encore aux yeux même à présent, rien qu'au seul souvenir de ces adieux douloureux. Les sanglots déchirants de Lise et de sa tante retentissent encore à mes oreilles.

— Adieu, ange de tante, adieu... Bénissez-moi, et que Dieu vous garde et vous console... Et moi?... qui me consolera lorsque vous serez loin de moi? Du moins écrivez-moi, ma bonne tante, écrivez-moi le plus souvent possible. Ce sera ma seule consolation, séparée que je suis de tout ce que j'aime.

Mais non! Je renonce à pousser plus loin le récit de cette scène, que l'intelligence précoce et la sensibilité très-développée de ma fille rendaient si pathétique, si dramatique et si poétique, bien que d'un coloris très-sombre.

Enfin nous montâmes en voiture et les chevaux partirent, d'abord au pas. Alors Lise, sa petite main dans la main de Sophie, marchant le long du trottoir à la hauteur de notre équipage, nous envoyait des baisers avec son autre petite main tout le temps que la voiture n'avançait qu'au pas. Mais au coin de

семь часовъ мы распрощались, но не съ Софи и Генріетой, которыя должны были придти проводить насъ на дебаркадеръ, а съ нашимъ маленькимъ ангельчикомъ Лизой. О, слезы навертываются у меня на глазахъ даже и теперь, при одномъ воспоминаніи объ этомъ горестномъ разставаніи. Раздирающія рыданія Лизы и ея тети до сихъ поръ раздаются въ моихъ ушахъ.

— Прощайте, ангельчикъ-тетя, прощайте.... Благословите меня, и да сохранитъ и утѣшитъ васъ Богъ.... А я?... Кто утѣшитъ меня, когда вы будете далеко? По крайней мѣрѣ хоть пишите мнѣ, моя добрая тетя, пишите какъ можно чаще. Это будетъ моимъ единственнымъ утѣшеніемъ въ разлукѣ со всѣми, кого я люблю.

Нѣтъ! Я отказываюсь отъ дальнѣйшаго описанія этой сцены, которую раннее развитіе и излишняя чувствительность моей дочери дѣлали такой патетической, драматической и поэтической, хотя и съ мрачнымъ оттѣнкомъ.

Наконецъ мы сѣли въ карету и лошади тронулись, сначала шагомъ. Тогда Лиза, взявъ своей маленькой ручкой руку Софи, пошла по тротуару наравнѣ съ нашей каретой и все время, пока послѣдняя подвигалась шагомъ, посылала намъ другой ручкой воздушные поцѣлуи. Но на углу улицы экипажъ повернулъ, и лошади пошли рысью, такъ

la rue notre fiacre tourna et les chevaux prirent le trot, de sorte que Lise et Sophie eurent disparu pour nous dans la brume du soir.

Arrivés à l'embarcadère, nous fûmes bientôt rejoints par Sophie et sa sœur. Quand les petites tribulations qui accompagnent inévitablement un grand bagage furent terminées, je m'assis à côté de Sophie, prenant ses mains, les serrant dans les miennes et me mirant dans ses beaux yeux bleus, qui, dans ce moment, n'avaient pas tout leur éclat habituel. La douleur d'une longue séparation et l'action corrosive des larmes, dont on voyait les traces toutes fraîches, avaient troublé l'eau pure de ces bijoux d'yeux... Mais bientôt retentit le premier coup de cloche, le premier signal du départ. Sophie et moi nous ressentîmes soudain une espèce de commotion électrique et douloureuse; c'était pour nous deux comme le tintement du glas funèbre... Mais arrêtons-nous, ma plume: c'est bien assez d'avoir éprouvé une fois les angoisses atroces, les douleurs cuisantes et le chagrin le plus sombre de cette mémorable séparation. Oh! quels embrassements, quelles étreintes, quels baisers brûlants, quelles larmes amères, quels sanglots déchirants!.. Mais assez, *assez!... Pas* de ce tableau, pas

что Лиза и Софи скоро исчезли изъ нашихъ глазъ въ вечернемъ туманѣ.

Прибывъ на дебаркадеръ, мы скоро соединились съ Софи и ея сестрой. Окончивъ всѣ мелкія хлопоты, неизбѣжно связанныя съ отправленіемъ множества вещей, я усѣлся подлѣ Софи и, взявъ ея маленькія ручки, сталъ сжимать ихъ въ своихъ и смотрѣться въ ея прекрасные голубые глаза, которые въ эту минуту были лишены своего обычнаго блеска. Горестное предвкушеніе продолжительной разлуки и ѣдкое дѣйствіе слезъ, свѣжіе слѣды которыхъ были ясно видны, помрачили чистую влагу этихъ драгоцѣнныхъ глазъ... Скоро раздался первый звонокъ, первый сигналъ къ разлукѣ. Мы съ Софи вдругъ почувствовали нѣчто вродѣ электрическаго сотрясенія съ примѣсью болѣзненнаго ощущенія; для насъ обоихъ это было что-то въ родѣ похороннаго звона..... Но остановимся, перо мое: довольно испытать разъ ужасныя муки, жгучія страданія и самое мрачное горе этой памятной разлуки. О, какія объятія, какіе жгучіе поцѣлуи, какія горькія слезы, какія раздирающія рыданія..... Но довольно, довольно!.... Прочь эти картины, эти воспоминанія! Ужасная дѣйствительность испытанныхъ мученій должна была бы

de ces souvenirs! La réalité redoutable des tortures qu'on a subies devrait briser les glaces polies de la mémoire pour ne lui jamais laisser reproduire le fantôme de ces souvenirs sinistres et accablants.

Le troisième coup de clochette retentit, la soupape de la chaudière joua, la vapeur siffla et le train partit. J'épargnerai aux lecteurs les ennuis de ce voyage long, fatigant et incommode à cause de la saison.

разбить полированное стекло памяти, чтобы навсегда лишить ее возможности воспроизводить тѣнь этихъ мрачныхъ тягостныхъ воспоминаній.

Раздался третій звонокъ, клапанъ паровика открылся, пары засвистѣли и поѣздъ тронулся. Избавляю читателей отъ скучныхъ описаній этого путешествія, продолжительнаго, утомительнаго и неудобнаго въ это время года.

XIV.

Нѣмецкій мальпостъ и возвращеніе въ Россію.

De Bruxelles à Kœnigsberg nous allâmes par le chemin de fer. Mais de là à la frontière russe force nous fut d'aller en malle-poste. Or, savez-vous, cher lecteur, ce que c'est que les postes ou les malles-postes de la bonne vieille Allemagne? Avez-vous jamais goûté le plaisir nauséabond et assommant des équipages, des cochers et des chevaux de ces braves consommateurs de la bière patriotique et des cigares indigènes?

Eh bien, cher lecteur, répondez-moi: avez-vous essuyé ou non ce plaisir? Je tiens beaucoup à le savoir, et c'est dans votre propre intérêt; car je pourrai

Отъ Брюсселя до Кенигсберга мы ѣхали по желѣзной дорогѣ. Но оттуда до русской границы намъ пришлось, волей-неволей, ѣхать съ мальпостомъ. Знаете-ли вы, любезный читатель, что такое почтовые экипажи или мальпосты доброй, старой Германіи? Вкушали ли вы когда нибудь отвратительное и убійственное удовольствіе экипажей, кучеровъ и лошадей этихъ достопочтенныхъ потребителей патріотическаго пива и туземныхъ сигаръ?

Ну, любезный читатель, отвѣчайте мнѣ: испытывали вы это удовольствіе или нѣтъ? Мнѣ очень нужно знать это и притомъ въ видахъ вашего собственнаго интереса;

alors résoudre une question bien grave sur votre avenir... Ainsi, oui ou non ?

— Oui, me répondez-vous.

A la bonne heure ! Alors je vous dirai que vous n'avez plus rien à craindre des coups d'apoplexie : vous êtes désormais à l'abri de ce genre d'inconvénients, si, durant vos voyages en malles-postes allemandes, vous avez pu supporter sain et sauf le dépit, la colère, l'exaspération même qu'un pareil système de locomotion doit exciter dans le voyageur le plus patient et le plus doux.

Figurez-vous le progrès en fait de locomotion de ces braves et savantissimes Allemands, dont les théories sont tellement profondes qu'on ne parviendra jamais à y voir n'importe quoi ; car le vague et l'obscurité, voyez-vous, sont la *conditio sine qua non* de toutes les théories profondes en général, et de celles des Allemands en particulier. . .

. . . . . .

. . . . . .

Figurez-vous donc, lecteur, des arches de Noé, mais fortement enlaidies et empirées, où l'on fourre une masse des plus compactes de voyageurs ; puis, cette masse de chair humaine serrée et enfermée, on la conduit, non *pas précisément* avec la vitesse

потому что, въ такомъ случаѣ, я могъ бы разрѣшить весьма важный вопросъ о вашей будущности.... И такъ, да или нѣтъ?

— Да, отвѣчаете вы.

Прекрасно! Если такъ, я скажу, что вамъ нечего опасаться апоплексическаго удара: съ этихъ поръ вы застрахованы отъ подобныхъ неудобствъ, если во время своихъ путешествій въ нѣмецкихъ мальпостахъ могли переносить, оставаясь живыми и здоровыми, досаду, гнѣвъ и даже отчаяніе, которые подобный способъ передвиженія непремѣнно долженъ возбудить въ самомъ терпѣливомъ путешественникѣ.

Представьте себѣ прогресъ въ дѣлѣ передвиженія этихъ достопочтенныхъ и ученѣйшихъ нѣмцевъ, теоріи которыхъ такъ глубоки, что нѣтъ никакой возможности провидѣть въ нихъ что бы то ни было; потому что, видите ли, неопредѣленность и темнота составляютъ *conditio sine qua non* всѣхъ глубокомысленныхъ теорій вообще, а нѣмецкихъ въ особенности. . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Вообразите себѣ, читатель, Ноевъ ковчегъ, только въ болѣе худшемъ и изуродованномъ видѣ, въ который втискиваютъ цѣлую массу пассажировъ ; затѣмъ, сжавъ и заперевъ эту массу человѣческаго тѣла, ее везутъ не съ быстротою вѣтра, а скорѣе тѣмъ шагомъ, кото-

du vent, mais du train dont on mène à la boucherie de beaux porcs bien engraissés. Et, pour couronner ce progrès locomotif des théoriciens profonds, toutes les fois qu'on change les chevaux, on a le plaisir de changer d'arche de Noé. Hein! qu'en dites-vous? Une malle-poste qui change de voiture à chaque relais!... Par exemple: la nuit arrive; Dieu vous accorde la faveur d'un excellent sommeil pour adoucir les émotions fortes de ce voyage apoplectique; vous dormez, vous revêz... Bah! On ouvre la portière de l'arche de Noé, et la voix enrouée du conducteur vient interrompre votre doux sommeil du juste et, dans le jargon le moins harmonieux du monde, vous signale l'invitation expresse de débarquer de cette arche, pour vous rembarquer dans une autre... Mais peut-il y avoir un supplice plus grand, pour d'honnêtes voyageurs, que celui d'être ballottés d'une arche à l'autre, et réveillés à tout bout de champ par des conducteurs enroués? C'est vraiment à gagner le *delirium tremens*. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Le voyage assommant en malle-poste allemande fait, je parcours le long trajet de la frontière de Russie à St-Pétersbourg avec

рымъ водятъ на бойню откормленныхъ свиней. А для увѣнчанія этого способа передвиженія глубокихъ теоретиковъ, всякій разъ, когда приходится мѣнять лошадей, мѣняютъ вмѣстѣ съ тѣмъ и Ноевъ ковчегъ. Ну, что вы скажете на это? Мальпостъ, на каждой станціи перемѣняющій экипажъ! Вообразите себѣ: наступила ночь; чтобы смягчить сильныя впечатлѣнія этого апоплексическаго путешествія, Господь наслалъ на васъ благодатный сонъ; вы спите и даже видите сонъ.... Вдругъ дверцы Ноева ковчега растворяются и охриплый голосъ кондуктора нарушаетъ ваше сладкое забытье и сонъ праведника, и на самомъ варварскомъ нарѣчіи въ мірѣ предлагаетъ переселиться изъ занимаемаго вами ковчега въ другой... Ну, можетъ ли быть что нибудь ужаснѣе мученія для честныхъ пассажировъ, какъ это перемѣщеніе изъ одного ковчега въ другой и ежеминутное пробужденіе охриплыми кондукторами? Право, тутъ можно схватить бѣлую горячку . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Окончивъ мучительное путешествіе въ нѣмецкомъ мальпостѣ, мы совершили длинный путь отъ русской границы до Петербурга на

des chevaux de poste et en traîneau couvert, que j'ai acheté à Taüroggen. Arrivé dans la résidence de nos Tsars, je trouvai mes affaires en désarroi complet. Mon coquin de vieux camarade avait largement abusé de ma confiance et m'avait fait éprouver d'énormes pertes pécuniaires. Je pris la direction des affaires dans mes mains robustes et, grâce à l'énergie, à l'activité et au crédit, ces trois leviers du succès industriel, en moins de deux mois j'avais tiré mes affaires de l'impasse dangereuse où elles se trouvaient à mon retour de Bruxelles, et je les avais établies sur un pied ferme et sûr.

Une correspondance active et suivie s'établit entre Sophie et moi : nous nous écrivions tous les huit jours. De temps en temps la petite Lise joignait aux lettres de Sophie son petit bout de papier chargé de son écriture enfantine. Que de pensées et de sentiments, que de tableaux poétiques, que d'affection mutuelle recélait cette correspondance, entre Sophie et moi ! Il y avait là des éléments pour plus d'une épopée du cœur. Or, quelle contradiction, quel anachronisme flagrant faisait cette épopée avec le monde qui m'entourait, et avec les différents intérêts qui s'agitaient et s'entre-choquaient *autour de moi*! Tout mon être

почтовыхъ лошадяхъ и въ крытыхъ саняхъ, которые купилъ я въ Таурогенѣ. Пріѣхавъ въ столицу, я нашелъ свои дѣла въ полнѣйшемъ разстройствѣ. Мой плутъ, старый товарищъ, въ высшей степени злоупотребилъ мою довѣренность и заставилъ меня понести громадныя денежныя потери. Принявъ управленіе дѣлами въ свои твердыя руки, мнѣ, благодаря энергіи, дѣятельности и кредиту, этимъ тремъ рычагамъ промышленнаго успѣха, удалось менѣе чѣмъ въ два мѣсяца извлечь свои дѣла изъ опаснаго положенія, въ которомъ онѣ находились по моемъ возвращеніи изъ Брюсселя, и опять поставить ихъ на твердую и надежную ногу.

Между мною и Софи установилась дѣятельная и послѣдовательная переписка: мы писали другъ другу каждую недѣлю. Время отъ времени маленькая Лиза присоединяла къ письмамъ Софи маленькій листикъ бумаги, исписанный ея дѣтскимъ почеркомъ. Сколько мыслей и чувствъ, сколько поэтическихъ картинъ, сколько взаимной любви заключалось въ этой перепискѣ между Софи и мною! Въ ней хватило бы матерьяла не на одну эпопею любви. О, какое противорѣчіе, какой поразительный анахронизмъ представляла эта эпопея съ окружавшимъ меня міромъ и разнообразными интересами, которые волновались и сталкивались вокругъ меня! Все мое существо

présentait alors un dualisme frappant: l'esprit dans les chiffres, les ventes, les achats, les comptes et les totaux au bout de toute cette agglomération d'intérêts matériels, qui font la base et le pivot des sociétés modernes, ahuries, abruties et enlaidies par la crapule du réalisme, et la soif ardente du gain; d'un autre côté: mon cœur avec son levain d'insubordination à sa maîtresse la raison, avec son indépendance mutine envers le despotisme des faits accomplis ou devant être accomplis; mon cœur suivait librement et fièrement son chemin et s'épanchait avec abondance sur les feuilles de papier vélin, qui allaient se croiser sans cesse avec celles que laissait échapper le salon vert du Bois Sauvage.

C'est ainsi que se passèrent six mois depuis mon retour à St-Pétersbourg. Cette séparation ne fit que fortifier l'affection mutuelle qui existait entre Sophie et moi. Cette affection arriva enfin au dévouement le plus héroïque, à l'abnégation la plus sublime et fit vibrer simultanément toutes les cordes de nos cœurs et de nos âmes, accordés au diapason le plus élevé. Cette symphonie de deux cœurs à l'unisson, dirigée par le dieu de l'amour, ce chef d'orchestre des chérubins et des séraphins; cette

представляло въ это время поразительную двойственность: умъ былъ погруженъ въ цифры, продажи, покупки, счеты и итоги въ концѣ всего этого скопленія матеріальныхъ интересовъ, составляющихъ основаніе и стержень современныхъ обществъ, ошеломленныхъ, отупѣвшихъ и обезображенныхъ грязью реализма и жгучей жаждой наживы; а сердце, отказывавшее въ повиновеніи своему властелину-разсудку, съ своей мятежной независимостью въ отношеніи совершившихся или долженствовавшихъ совершиться фактовъ, свободно и гордо шло своей дорогой, обильно изливаясь на листахъ почтовой бумаги, которые безпрестанно встрѣчались на пути съ тѣми, что выходили изъ зеленой гостинной Bois Sauvage.

Такимъ образомъ прошло шесть мѣсяцевъ со времени моего возвращенія въ Петербургъ. Эта разлука только еще болѣе усилила взаимную привязанность, существовавшую между Софи и мною. Эта привязанность дошла наконецъ до героической преданности, до самаго великаго самоотверженія и одновременно заставила трепетать всѣ струны нашихъ сердецъ и нашихъ душъ, настроенныхъ на самый возвышенный тонъ. Эта симфонія двухъ сердецъ, пѣвшихъ въ одинъ голосъ и управляемая Богомъ любви, капельмейстеромъ херувимовъ

symphonie marquée au coin du goût, de la verve et de l'inspiration, était le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre et s'élevait majestueusement vers les cieux pour mériter et en obtenir les applaudissements souverains, et plus tard... l'apothéose.

и серафимомъ; симфонія, запечатлѣнная изяществомъ вкуса, восторгомъ и вдохновеніемъ, была шедѣвромъ изъ шедѣвровъ и величественно возносилась къ нему, чтобъ заслужить и добиться отъ него верховныхъ похвалъ, а впослѣдствіи.... апофеоза.

XV.

Опять въ раю, но не надолго.

Le mois de juillet arriva. Tout était enfin prévu, convenu, arrangé, préparé par écrit entre Sophie et moi ; et il ne me restait plus qu'à me rendre à Bruxelles, pour aller de là à Paris avec ma fiancée afin d'y recevoir la bénédiction de l'Eglise. Tous mes papiers étaient en règle, ce qui n'était pas peu de chose, vu les nombreuses formalités, pour ne pas dire les chicanes, que vous suscite le code Napoléon à l'article «Mariage».

Laissant cette fois mes affaires dans des mains qui me paraissaient sûres, d'autant plus que mon voyage ne devait pas durer plus de vingt à vingt-cinq jours, je m'embarquai sur le bateau à vapeur de poste et, continuant toujours mon chemin sans m'arrêter nulle part, j'arrivai à Bruxelles vers les deux heures de *l'après-midi*, cinq jours après

Наступилъ іюль мѣсяцъ. Все было наконецъ предусмотрѣно, условлено, устроено и приготовлено съ помощью писемъ между Софи и мною; и мнѣ не оставалось ничего болѣе, какъ отправиться въ Брюссель, а оттуда со своею невѣстою въ Парижъ, чтобы получить церковное благословеніе. Всѣ мои бумаги были въ порядкѣ, что значило не мало въ виду тѣхъ многочисленныхъ формальностей, чтобъ не сказать придирокъ, которыя воздвигаются кодексомъ Наполеона въ статьѣ о бракѣ.

Поручивъ на этотъ разъ свои дѣла рукамъ, казавшимся мнѣ болѣе надежными, тѣмъ болѣе, что отсутствіе мое не должно было продолжаться болѣе двадцати, или двадцати-пяти дней, я сѣлъ на почтовый пароходъ и, нигдѣ не останавливаясь, пріѣхалъ въ Брюссель около двухъ часовъ пополудни, черезъ пять дней послѣ отъѣзда изъ Петербурга. Я остановился въ отелѣ

mon départ de St-Pétersbourg. Je descendis à l'hôtel du Grand Miroir. Il serait superflu de dire que je ne restai dans ma chambre que le temps strictement nécessaire pour changer de vêtements.

Me voilà enfin devant la porte de la maison du Bois Sauvage. Cette fois j'entre dans le salon vert avec une émotion bien autrement forte que lors de ma toute première visite, quand j'étais porteur de la lettre de recommandation de ma belle-sœur... On ne s'attendait pas à me voir si tôt, parce que je n'avais pas précisé mon arrivée à Bruxelles. La servante, après m'avoir ouvert la porte, demeura tout ébahie et, sans répondre aux questions que je lui faisais sur Mlle Sophie, disparut et me laissa entrer tout seul au salon vert. Personne... Je m'approche du mur où pendaient plusieurs portraits de Sophie, beau travail de son frère. Au même instant j'entends un frôlement de robe, je me retourne, et Sophie apparaît à mes yeux dans toute la splendeur, dans toute la majesté de sa beauté magique et souveraine. Elle rayonnait d'un bonheur impossible à rendre, ni à se figurer; d'un bonheur que ne comprendront jamais les maîtres ou les disciples de la fashion et de la fatuité... Nous tombâmes dans les bras l'un de l'autre... Et je ne

Grand Miroir. Излишне прибавлять, что я оставался въ своей комнатѣ ровно столько времени, сколько было необходимо нужно, чтобъ переодѣться.

И вотъ я наконецъ очутился у дверей дома въ Bois Sauvage. На этотъ разъ я вошелъ въ гостинную подъ вліяніемъ совсѣмъ другаго рода волненія, чѣмъ въ свой первый визитъ, когда явился съ рекомендательнымъ письмомъ отъ свояченицы. Меня не ожидали такъ рано, потому что я не назначалъ дня своего пріѣзда въ Брюссель. Служанка, отворивъ мнѣ дверь, остолбенѣла отъ удивленія и, не отвѣчая на вопросы, которыя я задавалъ ей на счетъ Mlle Софи, исчезла, предоставивъ мнѣ входить въ зеленую гостинную одному.... Вхожу, никого.... Я подошелъ къ стѣнѣ, на которой висѣло нѣсколько портретовъ Софи, прекрасной работы ея брата. Въ ту же минуту я услыхалъ шелесть платья, оглядываюсь и — моимъ взорамъ представляется Софи, во всемъ блескѣ и величіи своей магической, возвышенной красоты. Она сіяла счастіемъ, котораго нельзя ни описать, ни вообразить; счастіемъ, котораго никогда не поймутъ учителя и ученики моднаго свѣта и тщеславія... Мы упали другъ другу въ объятія... И я не умеръ отъ счастія!.. Но я потонулъ въ океанѣ безпредѣльнаго блаженства!.....

mourus pas de bonheur!.. Mais je fus noyé dans un océan de félicité sans bornes!...

Mourir de bonheur!.. Locution mensongère, privée de sens; et ce qui le prouve, c'est que je ne suis pas mort et que je vis encore, bien que d'une vie à jamais brisée... Mais à bas, ma plume! Pour le moment je n'ai qu'à constater ton incompétence flagrante...

Oh! ce que je goûtai alors au salon vert, dans les bras de ma Sophie palpitante et cœur contre cœur, au contact de ses lèvres enflammées et sous le torrent de ses baisers enivrants, en aspirant son haleine douce et embaumée, en me mirant dans ses yeux qui étincelaient de manière à éclipser les astres du firmament!.. Ce que je goûtai!... Oui! c'était un panorama sublime d'une félicité qui n'était pas de ce monde et qui, à l'instar du feu de Prométhée, était ravie par moi et par Sophie au Ciel même et peut-être aux dépens de la félicité éternelle de l'autre vie. C'était un triomphe complet du dieu de l'amour, c'était, en un mot, l'apothéose même de l'amour dans ses deux élus privilégiés...

Nous nous assîmes sur le sopha l'un à côté de l'autre, mais sans pouvoir encore nous parler: les mots qui effleuraient à peine *nos lèvres* électrisées expiraient

Умереть отъ счастія!... Лживое выраженіе, лишенное смысла; это доказывается тѣмъ, что я не умеръ и продолжаю жить до сихъ поръ, хотя жизнь моя разбита на вѣки... Прочь, перо мое! Въ эту минуту я могу засвидѣтельствовать только твою полнѣйшую некомпетентность.

О! что вкусилъ я тогда въ зеленой гостинной, въ объятіяхъ моей трепещущей Софи, прижимавшейся къ моему сердцу, отъ прикосновенія ея пламенныхъ устъ къ моимъ подъ безконечнымъ потокомъ опьяняющихъ поцѣлуевъ, упиваясь ея сладкимъ, ароматнымъ дыханіемъ и смотрясь въ ея глаза, сверкавшіе такимъ сильнымъ блескомъ, который могъ бы затемнить свѣтъ небесныхъ свѣтилъ!... Что я чувствовалъ!..... Да, это была небесная панорама неземнаго блаженства, которое, подобно огню Прометея, было похищено мною и Софи у самаго неба и можетъ быть въ счетъ вѣчнаго блаженства будущей жизни. То было полнѣйшее торжество бога любви, словомъ то былъ самый апофеозъ любви въ ея двухъ привилигированныхъ избранникахъ.

Мы сѣли на диванъ другъ подлѣ друга, но не могли еще произнести ни слова: прежде, чѣмъ раздаться въ переполненномъ счастіемъ и любовью воздухѣ, слова замирали,

avant de frapper l'air imprégné d'amour et de bonheur. Mais ce mutisme momentané était d'une éloquence mille fois plus grande, plus persuasive que ne l'a jamais été celle de tous les orateurs célèbres, anciens ou modernes...

Tout à coup la porte du salon s'ouvre, et mes oreilles sont caressées par la suave mélodie de ces mots, prononcés d'une voix argentine : — Papa, cher papa, oh ! mon bon papa !—et au même instant ma petite Lise est à mon cou, qu'elle entoure de ses petits bras ; et sa jolie tête aux cheveux blonds cendrés et bouclés se penche vers mon front, et sa figure de chérubin est toute rayonnante d'un bonheur non moins pur que celui des anges; et les larmes coulent de ses grands yeux noirs, héritage précieux de sa mère ; et sa bouche vermeille se promène de mes lèvres à mes yeux, de mes yeux à mon front, de mon front à mes joues, de mes joues à mes mains. Elle rit, elle pleure, pousse des exclamations et prononce les mots les plus doux !... Ah ! quel accroissement de bonheur !..

O vous, apôtres du réalisme ! Vous, juges et bourreaux de l'idéal, séides fervents du paganisme moderne, héros de la Bourse et de l'agiotage, apostats et

едва коснувшись нашихъ устъ. Но эта минутная нѣмота была въ тысячу разъ краснорѣчивѣе и убѣдительнѣе, чѣмъ было когда либо краснорѣчіе всѣхъ знаменитыхъ ораторовъ, древнихъ и новыхъ.

Вдругъ дверь гостиной отворилась и до слуха моего долетѣлъ, сладкій какъ мелодія, серебристый голосокъ, говорившій слѣдующія слова:—Папа, милый папа, о, мой добрый папа !—и въ ту же минуту моя маленькая Лиза очутилась на моей груди и обняла мою шею своими руками, ея хорошенькая головка, съ бѣлокурыми, пепельнаго цвѣта и кудрявыми волосами наклонилась надъ моимъ челомъ, а ея хирувимское личико засвѣтилось чистымъ, ангельскимъ счастіемъ; изъ большихъ черныхъ глазъ ея, наслѣдованныхъ ею отъ матери, текли слезы; а кораловый ротикъ переходилъ съ моихъ губъ на глаза, съ глазъ на лобъ, со лба на щеки, со щекъ на руки. Она смѣялась, плакала, вскрикивала и произносила самыя нѣжныя слова !.... О, какое прибавленіе къ счастію !...

О, вы, апостолы реализма ! Вы, судьи и палачи идеала, простые приверженцы современнаго язычества, герои биржи и аміотажа, отступники и ренегаты вѣковыхъ

renégats des croyances séculaires et vénérables de vos pères et de vos grands-pères; vous trafiquants des votes, des plumes serviles et d'apologies payées au comptant, ou par l'appât des sinécures; vous, prestidigitateurs et professeurs de magie blanche sur l'arène de la politique et de la diplomatie; histrions et maîtres de tours de passe-passe dans la carrière de la mystification sociale et administrative; enfin vous tous, qui ne vous agenouillez que devant les instincts animaux et voraces de l'homme, ou devant les magnificences qui ne sont point à vous; vous qui blasphémez à la vue des aspirations nobles, désintéressées et généreuses, et qui êtes prêts à lapider toute probité, toute loyauté, toute droiture absolue et assez courageuse pour narguer le faux éclat de ces contrefaçons humaines, gonflés de leurs faux mérites et des vertus falsifiées que vous prônez à tue-tête; — fermez ce poème, enfant de mes entrailles, de mon cœur et de mon imagination, si, par un hasard malencontreux, il vient à tomber dans vos mains sacrilèges; jetez ce poème loin de vous! C'est du grec pour vous tous; vous n'y comprendrez jamais rien et vous ne pourrez que profaner les pages brûlantes de *mes chants*, qui font partie de

почтенныхъ вѣрованій вашихъ отцовъ и дѣдовъ; вы, торгующіе убѣжденіями, перомъ и похвалами, за которыя вамъ платятъ чистаганомъ или обѣщаніемъ денежныхъ должностей; вы, фигляры и профессора бѣлой магіи на аренѣ политики и дипломатіи; гаеры и ловкіе фокусники на поприщѣ соціальной и административной мистификаціи; словомъ, всѣ вы, преклоняющіеся передъ животными и алчными инстинктами человѣка, или передъ непринадлежащимъ вамъ великолѣпіемъ; вы, богохульствующіе при видѣ благородныхъ, безкорыстныхъ и великодушныхъ побужденій и готовые закидать камнями все честное и великодушное, всякую абсолютную прямоту, обладающую достаточнымъ мужествомъ для того, чтобы презирать фальшивый блескъ этихъ человѣческихъ поддѣлокъ, кичащихся своими поддѣльными достоинствами и фальшивыми добродѣтелями, которыя вы превозносите во все горло; — закройте эту поэму, дѣтище чрева моего, сердца и воображенія, если по какой нибудь злополучной случайности она попадетъ въ ваши нечестивыя руки; отбросьте подальше эту поэму! Это для васъ всѣхъ китайская грамата; вы никогда не поймете въ ней ничего и только осквернite пламенныя страницы моихъ пѣсень, которыя составляютъ часть моего сердца, всего моего существа и внушены мнѣ тѣмъ Богомъ, которо-

mon cœur, de tout mon être et qui sont inspirés par le Dieu dont vous resterez à jamais les athées.....

Quand notre triumvirat intime, quand ce groupe enchanté et enchanteur des trois êtres les plus aimants, les plus fortunés sur la terre, eut repris un peu de calme, je recouvrai le don de la parole et commençai à parler avec Lise en russe. Mais l'enfant ouvrait de grands yeux et ne me répondait rien.

— Lise, chère enfant! Mais qu'as-tu pour ne pas me répondre?

Et l'enfant continue de se taire.

— Eh bien, chère petite? tu vas bientôt revoir ta bonne tante, et ta sœur Annette, et ton frère Nicolas, qui, tous, t'attendent avec une grande impatience. Oh! qu'ils seront heureux de te revoir, de t'embrasser, de te caresser, de te parler! Eh bien? réponds-moi donc, ma toute adorable enfant: es-tu contente de pouvoir retourner bientôt à St-Pétersbourg? Mais tu ne me réponds rien?

Lise continuait de se taire et de me regarder avec ses yeux noirs.

— Voyons donc! que veut dire tout ceci? Pourquoi ce silence obstiné?

му вы никогда не будете поклоняться...

Когда нашъ интимный тріумвиратъ, эта очарованная и чарующая группа трехъ существъ, самыхъ любящихъ и счастливыхъ на землѣ, немного пришла въ себя, я получилъ возможность говорить и заговорилъ съ Лизой порусски. Но дѣвочка широко открыла глаза и ничего мнѣ не отвѣтила.

— Лизочка, милая моя! Отчего же ты мнѣ не отвѣчаешь?

Но дитя продолжало молчать.

— Ну, что-же, милая малютка? Вотъ скоро ты опять увидишь свою добрую тетю, сестру Анюту и брата Колю, которые всѣ ожидаютъ тебя съ большимъ нетерпѣніемъ. О, какъ они будутъ счастливы увидаться съ тобою, разцѣловать тебя, приласкать, поговорить съ тобой! Ну, что-же, скажи мнѣ что нибудь, мое обожаемое дитя: довольна ли ты, что скоро возвратишься въ Петербургъ? Что-жъ ты мнѣ ничего не отвѣчаешь?

Лиза продолжала молчать и только глядѣла на меня своими черными глазами.

— Однако, что же все это значитъ? Что значитъ это упорное молчаніе?

Le croirait-on? Lise avait complètement oublié le russe. Mais pas un mot qu'elle pût prononcer, ni même comprendre. En revanche, elle parlait le français comme une véritable petite Parisienne. C'était fâcheux, mais enfin ce n'était pas sans remède: une fois en Russie, elle se rappellerait bien vite sa langue maternelle. Du moins, au prix de l'oubli momentané de cette langue, avait-elle le bénéfice de la langue française, qui lui resterait pour toujours:

C'est ainsi que fut inauguré mon retour auprès de Sophie. J'ai dit plus haut qu'au moyen de notre correspondance active et suivie, tout était convenu et préparé pour notre mariage; il ne me restait que peu de choses à faire; mais:

Повѣрите ли? Лиза совершенно забыла русскій языкъ. Она не могла произнести ни единаго слова, ни понять меня. За то пофранцузски она изъяснялась, какъ чистая маленькая парижанка. Конечно, это было прискорбно, но не непоправимо: пріѣхавъ въ Россію, она живо припомнитъ родной языкъ. По крайней мѣрѣ, цѣною временнаго забвенія этого языка, она научилась французскому, который будетъ помнить всегда.

Таково было начало моего возвращенія къ Софи. Выше я говорилъ, что благодаря нашей постоянной и дѣятельной перепискѣ, все было приготовлено и устроено для нашего бракосочетанія; мнѣ оставалось сдѣлать очень немногое, но:

XVI.

L'homme propose et Dieu dispose.

On n'est jamais aussi près du malheur que lorsqu'on croit commander à la fortune et en atteindre le point culminant. L'ouragan menace plutôt le chêne puissant, qu'il peut abattre, que l'humble roseau qui plie. La position négative recèle peu de dangers: lorsqu'on n'est ni trop *heureux ni* trop malheureux, on

Человѣкъ предполагаетъ, а Богъ располагаетъ.

Человѣкъ никогда не бываетъ такъ близокъ къ несчастію, какъ въ то время, когда воображаетъ, что повелѣваетъ счастіемъ и скоро достигнетъ его вершины. Буря скорѣе угрожаетъ могущественному кедру, который можетъ сломить, чѣмъ покорному тростнику, который гнется. Отрицательное положеніе не заключаетъ въ себѣ опасностей; ког-

ne risque pas de perdre grand'chose. Ce sont les riches qui craignent le plus les voleurs. Quand on a ses poches bourrées d'or, on ne se croit jamais assez à l'abri des coups de main des chevaliers d'industrie; mais le pauvre, lui, traverse la foule la plus compacte sans rien craindre pour ses poches vides.

Allons, du courage! Abordons le dénoûment fatal de mon épopée. Le Destin inexorable s'approche de moi et s'apprête à jeter son veto sinistre dans l'urne de ma vie..... Adieu, soleil étincelant de mon existence! Tes rayons bienfaisants vont être interceptés, et je serai plongé dans une nuit éternelle. Adieu, espérances et joies, hôtes passagers de la vie, compagnons très-gais mais peu sûrs, prêts à nous abandonner au premier indice d'un orage prochain. Eh bien! arrivons donc au dénoûment, à l'épilogue, et que tout soit dit!

Il s'était écoulé six jours depuis mon arrivée à Bruxelles. Nous étions à la veille de partir pour Paris. J'étais venu, comme d'habitude, chez les demoiselles Ghémar entre deux et trois heures. Le salon vert était désert, et je dis à la servante qui m'ouvrait la porte:

— Et où est Mlle Sophie?

— Mlle Sophie.... n'est pas

да человѣкъ ни очень счастливъ, ни очень несчастливъ, онъ не рискуетъ лишиться многаго. Воровъ больше всего боятся богачи. У кого карманы наполнены золотомъ, тотъ никогда не считаетъ себя въ достаточной безопасности отъ мошенниковъ; тогда какъ бѣднякъ проходитъ сквозь самую густую толпу, нисколько не опасаясь за свои пустые карманы.

Итакъ, соберемся съ мужествомъ! Приступимъ къ роковой развязкѣ моей эпопеи. Неумолимая судьба приближается ко мнѣ и приготовляется положить свое мрачное veto въ урну моей жизни.... Прощай, яркое солнце моего существованія! Твои благодѣтельные лучи будутъ пресѣчены и я погружусь въ вѣчную мглу. Прощайте, надежды и радости, мимолетныя гостьи жизни, веселые, но ненадежные спутники, готовые покинуть насъ при первомъ признакѣ приближающейся грозы. Пора подойти къ развязкѣ, къ эпилогу и сказать все!

Прошло шесть дней со времени моего прибытія въ Брюссель. На слѣдующій день мы должны были выѣхать въ Парижъ. Я, по обыкновенію, пришелъ къ дѣвицамъ Гемаръ между двумя и тремя часами. Въ зеленой гостинной никого не было и я спросилъ у служанки, отворившей мнѣ дверь:

— Гдѣ Mlle Софи?

— Mlle Софи... не совсѣмъ вы-

tout à fait bien portante.... Mais voici Mlle Henriette qui vient.

Je cours au-devant de la sœur de Sophie. Elle avait les yeux rouges et était d'une tristesse qu'elle voulait en vain me cacher. Je lui dis d'un ton qui décelait la plus vive inquiétude:

— Au nom du ciel parlez-moi franchement! Dites-moi ce qui est arrivé à Sophie. Est-elle bien malade, ou seulement indisposée?

Et je commençai à devenir pâle comme un linceul.

— Tranquillisez-vous, M. Makaroff; c'est une indisposition qui passera vite, — fit Henriette; mais en même temps deux grosses larmes coulèrent le long de ses joues, qui étaient aussi bien pâles.

— Mais vous me cachez quelque chose de bien grave. Oh! malheureux que je suis!... Je veux savoir toute la vérité: je vous supplie, Mademoiselle, parlez, parlez franchement.

Henriette ne put retenir plus longtemps ses larmes, qui coulèrent en abondance, et puis me dit d'une voix entrecoupée:

— Voyez-vous, M. Makaroff, parmi nos jeunes élèves il y en a une qui est malade depuis dix jours. Sophie la soignait avec la sollicitude de la mère la plus *tendre; elle* ne peut pas voir

рова.... А вотъ идетъ Mlle Генріетта.

Я бросился на встрѣчу сестрѣ Софи. Глаза у нея были красны и она напрасно старалась скрыть свою грусть. Я обратился къ ней съ разспросами тономъ живѣйшаго безпокойства:

— Ради самаго неба, будьте со мною откровенны! Скажите мнѣ, что случилось съ Софи. Опасно ли она захворала или это только маленькое нездоровье?

И я почувствовалъ, что становлюсь блѣднымъ, какъ полотно.

— Успокойтесь, М-г Макаровъ; это простое нездоровье, которое скоро пройдетъ, — отвѣчала Генріетта, но въ тоже время двѣ крупныя слезы скатились по ея щекамъ, которыя также были очень блѣдны.

— Вы скрываете отъ меня что то очень серьезное. Ахъ, я несчастный! Я хочу знать правду: умоляю васъ, говорите, говорите откровенно.

Генріетта не могла болѣе удерживать своихъ слезъ, которыя текли въ изобиліи, и потомъ прерывающимся голосомъ сказала мнѣ:

— Вотъ видите ли, господинъ Макаровъ, между нашими молоденькими ученицами есть одна, которая больна вотъ уже десять дней. Софи ухаживала за нею съ заботливостью самой нѣжной матери;

les souffrances d'autrui sans faire tout son possible pour les soulager. Aujourd'hui matin ma sœur était assise auprès de la malade. Il fallait la transporter dans une autre chambre. Sophie sonne à trois reprises sans que personne ne paraisse pour recevoir ses ordres. Alors, impatiente de faire au plus vite ce que voulait la malade, et sans attendre l'arrivée des servantes, Sophie prend la jeune fille dans ses bras, la porte dans l'autre chambre et la dépose sur le canapé. Mais en ce moment elle tombe sans connaissance. Aux cris de la malade, effrayée de la chute de Sophie, accourent les servantes, et moi à leur suite. Sophie reste étendue sur le plancher, pâle, froide et immobile comme une statue de marbre. On la porte aussitôt sur un lit et l'on envoie chercher le médecin de la maison. Mais ce n'est qu'au bout de trois heures d'un état semblable à la mort qu'on est parvenu à la rappeler à la vie. Le docteur dit qu'elle s'est fait un mal intérieur en soulevant et en portant un poids trop considérable pour sa santé et pour sa poitrine, qui n'étaient pas des plus robustes. Maintenant Sophie est au lit et bien faible; le médecin prétend que ce ne sera pas de sitôt qu'elle pourra regagner assez de santé pour songer au voyage convenu

она не можетъ видѣть чужихъ страданій безъ того, чтобы не сдѣлать все возможное для ихъ облегченія. Сегодня утромъ сестра моя сидѣла подлѣ больной. Надо было перенести ее въ другую комнату. Софи звонитъ три раза, никто не является за полученіемъ ея приказаній. Тогда, торопясь поскорѣе исполнить желаніе больной и не дожидаясь появленія служанки, Софи беретъ молодую дѣвушку на руки, несетъ ее въ другую комнату и кладетъ на диванъ. Но въ ту же минуту сама падаетъ безъ чувствъ. На крикъ больной, испуганной паденіемъ Софи, сбѣжались служанки, а вслѣдъ за ними и я. Софи остается распростертою на полу, блѣдная, холодная и неподвижная, какъ мраморная статуя. Ее тотчасъ же относятъ на постель и посылаютъ за домашнимъ докторомъ. Но только черезъ три часа ее удалось вывести изъ этого состоянія, подобнаго смерти, и снова возвратить къ жизни. Докторъ говоритъ, что она повредила себѣ внутренности, тѣмъ что подняла и несла тяжесть слишкомъ значительную для ея здоровья и груди, которыя не принадлежатъ къ числу особенно крѣпкихъ. Теперь Софи въ постели и очень слаба; докторъ увѣряетъ, что она не такъ-то скоро поправится на столько, чтобы имѣть достаточно силы предпринять условленное путешествіе и привести въ исполненіе извѣстные вамъ планы.

et aux projets que vous connaissez.

L'accusé à qui l'on vient de lire son arrêt de mort n'est pas plus pâle, plus abattu que je l'étais, moi, en écoutant le récit d'Henriette. Un frisson mortel parcourait tout mon corps; je respirais à peine, tant ma poitrine était oppressée. Tantôt c'était le feu qui dévorait mes entrailles, tantôt le froid qui glaçait mon sang.

Je quittai le salon vert après avoir embrassé Lise, qui, elle aussi, avait des yeux rouges et était d'une tristesse qui n'allait pas à sa figure de chérubin: c'est que la pauvre enfant s'était prise d'un attachement bien grand pour Sophie. Il me fut impossible de voir ma fiancée, et je rentrai à l'hôtel dans un état d'abattement complet. Trois jours se passèrent après l'évènement fatal, sans que je pusse encore voir Sophie; mais le quatrième jour je la vis. Elle venait de se lever... Mon Dieu! qu'elle était changée! L'incarnat de ses joues avait fait place à une pâleur mate; en ravanche, ses yeux étaient plus brillants que jamais; elle était si faible qu'elle pouvait à peine faire le tour de sa chambre. Mais j'abrégerai la description du tableau sinistre et *sombre* de la dévastation du pay*sage de ma vie*, naguère encore *i riant et si beau*...

Никакой преступникъ, выслушавъ чтеніе смертнаго приговора, не могъ быть такъ пораженъ и уничтоженъ, какъ былъ я, слушая разсказъ Генріетты. Смертельная дрожь пробѣгала по всему моему тѣлу; я чувствовалъ такое стѣсненіе въ груди, что съ трудомъ переводилъ дыханіе. То огонь пожиралъ мои внутренности, то холодъ леденилъ мою кровь.

Я вышелъ изъ зеленой гостиной, поцѣловавъ Лизу, у которой глаза тоже были красны и которая была грустна, что вовсе не шло къ ея ангельскому личику: бѣдный ребенокъ уже успѣлъ всѣмъ сердцемъ привязаться къ Софи. Такъ какъ мнѣ ни подъ какимъ видомъ нельзя было повидаться съ невѣстой, я возвратился въ отель въ самомъ уныломъ расположеніи духа. Прошло три дня послѣ роковаго событія, а я все еще не видалъ Софи; наконецъ на четвертый мнѣ это удалось. Она только что встала съ постели.... Боже мой! Какъ она измѣнилась! Румянецъ щекъ уступилъ мѣсто матовой блѣдности; за то глаза сверкали ярче обыкновеннаго; она была такъ слаба, что едва могла пройтись по комнатѣ. Но постараюсь быть краткимъ въ описаніи мрачной и грустной картины опустошенія нейзажа моей жизни, недавно еще столь веселаго и прекраснаго....

Je passai dix jours encore à Bruxelles. Le docteur déclara que le rétablissement de Sophie ne pourrait s'effectuer que très-lentement, et qu'il fallait lui éviter les moindres émotions. En tout cas, il était impossible de préciser, même approximativement, l'époque de sa guérison. D'un autre côté je ne pouvais prolonger trop mon absence de St-Pétersbourg, sans qu'il y eût risque pour mes affaires. Force me fut donc de subir une seconde séparation avec Sophie, séparation bien plus douloureuse que la première, puisque cette fois-ci je laissais derrière moi le spectre redoutable d'une maladie grave, dont l'issue était problématique et qui pouvait, dans un moment donné, tarir la source de mon bonheur.

Я пробылъ въ Брюсселѣ еще десять дней. Докторъ объявилъ, что выздоровленіе Софи будетъ подвигаться очень медленно и что она должна избѣгать всякихъ волненій. Во всякомъ случаѣ невозможно было опредѣлить, даже приблизительно, время ея выздоровленія. Я же, съ своей стороны, не могъ слишкомъ продолжить свое отсутствіе изъ Петербурга, не рискуя ходомъ своихъ дѣлъ. И я долженъ былъ испытать вторую разлуку съ Софи, разлуку несравненно болѣе мучительную, чѣмъ первая, потому что въ этотъ разъ я оставлялъ за собою опасный призракъ тяжелой болѣзни, исходъ которой нельзя было предвидѣть и которая могла, въ данную минуту, изсушить источникъ моего счастія.

XVII.

Разлука вторая.... на вѣки.

Ainsi, tout pesé, je fis de nouveaux adieux à Sophie et j'allais quitter Bruxelles, après y avoir passé vingt jours, et emmenant Lise avec moi. Quoique souffrante et très-faible, Sophie voulait absolument nous accompagner jusqu'à l'embarcadère, moi et Lise, qu'elle aimait plus qu'elle n'aurait pu le faire quand même

И такъ, все обдумавъ и сообразивъ, я опять разпрощался съ Софи и уѣхалъ изъ Брюсселя, пробывъ въ немъ двадцать дней и увозя съ собою Лизу. Несмотря на свою слабость и страданія, Софи хотѣла непремѣнно проводить насъ на дебаркадеръ, меня и Лизу, которую не могла бы любить сильнѣе, еслибы даже моя дочь была

ma fille eût été sa propre sœur. Du reste Lise était adorée de toute la maison, et ce fut une espèce de calamité générale pour ce monde de jeunes filles que le départ de la petite Lise, ce joujou favori, ce baby aimé, choyé, gâté à qui mieux mieux.

Je quittai Bruxelles le soir même. Les adieux furent également douloureux des deux parts. Pour Sophie il y avait une recrudescence de douleur dans la double séparation avec moi et avec Lise. Sombre, silencieux et froid comme la tombe, j'effectuais ce voyage. Les caresses de ma fille seules me rappelaient à la vie et réchauffaient mon âme engourdie. La gentille enfant faisait les délices de la société des passagers sur le bateau à vapeur. On l'a surnommée petite Française Russe, par la raison qu'elle parlait le français comme une vraie Parisienne et qu'en même temps elle ne savait pas un mot de russe.

Après un mois d'absence, mon retour à St-Pétersbourg fut une véritable fête pour la tante de Lise, de même que pour sa sœur et son frère. La petite avait tout à fait l'air d'une Française qui arrive en Russie pour la première fois; elle ouvrait de grands yeux et ne comprenait absolument rien de ce qui se disait autour d'elle. Ce qui était surtout

ея родною сестрою. Впрочемъ Лизу обожалъ весь домъ, и отъѣздъ малютки былъ всеобщимъ горемъ для этого міра молодыхъ дѣвицъ, потому что она была ихъ любимицей, дорогой игрушкой, которую всѣ наперерывъ ласкали и баловали.

Въ тотъ же вечеръ я покинулъ Брюссель. Разставанье было одинаково мучительно для обѣихъ сторонъ. Для Софи оно было еще тяжелѣе вслѣдствіе двойной разлуки со мной и съ Лизой. Я совершалъ это путешествіе мрачный, молчаливый и холодный, какъ могила. Однѣ только ласки дочери призывали меня къ жизни и согрѣвали мою окоченѣвшую душу. Милое дитя приводила собою въ восторгъ все пароходное общество. Ее прозвали русской француженкой, потому что она говорила пофранцузски какъ истая парижанка и въ то же время не знала ни слова порусски.

Послѣ мѣсячнаго отсутствія, мое возвращеніе въ Петербургъ было настоящимъ праздникомъ для тетки Лизы, а также для ея сестры и брата. Малютка вполнѣ походила на маленькую француженку, въ первый разъ являющуюся въ Россію; она широко раскрывала глаза и положительно не понимала ни слова изъ того, что говорилось вокругъ нея. Всего забавнѣе было

plaisant, c'était de la voir dans ses rapports avec les domestiques, dont elle ne pouvait pas être comprise. Mais il lui suffit d'une vingtaine de jours, passés au sein de sa famille, pour qu'elle se rappelât peu à peu sa langue maternelle et commençât à la parler assez bien, sauf à y introduire de nombreux gallicismes, souvent fort pittoresques et qui provoquaient un rire général et sincère.

La correspondance entre Sophie et moi se rétablit comme elle l'était avant mon triste voyage à Bruxelles. Nous nous écrivîmes tous les huit jours, en observant scrupuleusement les jours de poste convenus entre nous. Sophie ne se rétablissait que très-lentement. En octobre elle était allée en Angleterre et en Écosse pour y voir ses nombreux amis et connaissances, dont elle était adorée à l'égal des êtres supérieurs qui honorent l'humanité de leur présence ici-bas. Sophie visita d'abord Londres, puis Edimbourg et enfin différents cottages ou maisons de campagne, où elle passa le reste de l'automne et une partie de l'hiver au sein des familles anglaises ou écossaises dont elle faisait l'orgueil et la joie.

Quant à notre mariage, nous l'avions remis au mois de mai ou de juin de l'année suivante.

смотрѣть на ея сношенія съ прислугой, которая не могла ея понимать. Но достаточно было ей провести дней двадцать въ средѣ своего семейства, чтобы припомнить мало-по-малу родной языкъ и начать говорить на немъ довольно понятно, за исключеніемъ введенія въ свою рѣчь множества галлицизмовъ, нерѣдко весьма живописныхъ и возбуждавшихъ всеобщій и искренній смѣхъ.

Переписка между мною и Софи возстановилась на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и до моей поѣздки въ Брюссель. Мы писали другъ другу каждую недѣлю, съ точностью наблюдая условленные между нами почтовые дни. Софи поправлялась очень медленно. Въ октябрѣ она отправилась въ Англію и Шотландію навѣстить своихъ многочисленныхъ друзей и знакомыхъ, которые обожали ее наравнѣ съ высшими существами, оказывающими человѣчеству честь своимъ присутствіемъ на землѣ. Софи посѣтила сначала Лондонъ, потомъ Эдинбургъ, а затѣмъ нѣсколько коттеджей или загородныхъ домовъ, гдѣ провела остатокъ осени и часть зимы въ средѣ англійскихъ и шотландскихъ семействъ, для которыхъ была источникомъ гордости и радости.

Сватьбу-же нашу мы отложили до мая или іюня мѣсяца будущаго года. Софи, въ сопровожденіи сест-

Sophie, accompagnée de sa sœur et de son frère, devait se rendre à St-Pétersbourg pour y couronner enfin notre affection mutuelle, qui avait passé par tant de cruelles épreuves, en restant tout aussi pure, aussi sainte, aussi grande qu'elle l'était le jour du premier baiser d'amour. Aussi avec quelle impatience nous attendions le printemps prochain, qui, avec le renouvellement de la nature, devait renouveler notre vie, en faisant éclore pour nous de nouvelles fleurs de joie et de bonheur, et clore ainsi l'épopée de nos amours par un épilogue plein de verve et de vigueur... Mais je répète encore une fois le fragment de la sagesse populaire :

L'homme propose et Dieu dispose.

ры и брата, должна была пріѣхать въ Петербургъ, чтобы увѣнчать, наконецъ, нашу взаимную любовь, прошедшую черезъ столько испытаній и оставшуюся столь-же чистой, святой и великой, какою была въ день перваго поцѣлуя любви. За то, съ какимъ нетерпѣніемъ мы ждали слѣдующей весны, которая, вмѣстѣ съ возобновленіемъ природы, должна была обновить и нашу жизнь, распустивъ для насъ новые цвѣты радости и счастія и закончить такимъ образомъ эпопею нашей любви полнымъ силы и восторга эпилогомъ.... Но, повторяю еще разъ отрывокъ народной мудрости :

Человѣкъ предполагаетъ, а Богъ располагаетъ.

XVIII.

Consummatum.

Vers la fin du mois de mars je reçus une lettre datée de Paris. Cette lettre était de ma belle-sœur ; c'était la foudre qui me frappait, ou plutôt une bombe jetée à mes pieds et qui, en éclatant, tuait par ses éclats toutes mes espérances et mes joies, sans me tuer moi-même. Voici *cette lettre :*

Совершилось.

Въ концѣ марта я получилъ письмо изъ Парижа. Оно было отъ моей свояченицы ; то была молнія, поразившая меня, или лучше сказать бомба, которая, лопнувъ, разбивала осколками всѣ мои надежды и радости, не убивъ меня самаго. Вотъ это письмо :

« Mon cher frère.

« Vous allez me prouver que c'est à un homme ferme et courageux, et non pas à un faible enfant ou à un nain que j'écris. Et puis ce n'est pas la première fois que le tonnerre aura grondé au-dessus de votre tête et qu'il vous sera arrivé d'être aux prises avec l'adversité. Que de fois, au contraire, vous avez déjà lutté contre les rigueurs du destin, et dont les sentences sont pour la plupart du temps sans appel. Eh bien! du courage, mon frère, de ce courage qui doit être de si bon aloi chez vous, trempé qu'il a été par le feu de tant d'infortunes et de souffrances. Mais au fait et tâchons d'être brève.

« Hier j'ai eu la visite de Louis Ghémar, récemment arrivé à Paris. Il m'a communiqué des nouvelles bien tristes sur le compte de Sophie... Mais je vous vois d'ici pâlir et je vous répète: du courage, mon ami, du courage! Songez à vos enfants et cherchez votre consolation dans leurs caresses, dans leur attachement pour vous et dans le sentiment de vos devoirs de père de famille... Eh bien, je continue.

« Louis m'a annoncé, les larmes aux yeux, que les plus notables des médecins de Bruxelles avaient déclaré, à lui et à Henriette, que Sophie avait un *anévrisme*

Любезный братъ!

«Надѣюсь, что пишу мужественному и сильному мущинѣ, а не слабому ребенку или ничтожному карлику, тѣмъ болѣе, что грому не въ первый разъ приходится греметь надъ вашей головой и вамъ не въ первый разъ приходится бороться съ несчастіемъ. Сколько разъ напротивъ вы уже подвергались жестокимъ ударамъ судьбы, приговоры которой по большой части бываютъ безвозвратны. Итакъ, мужайтесь, братъ мой, призовите на помощь вашу испытанную твердость, закаленную столькими несчастіями и страданіями. Но, къ дѣлу и постараемся быть краткой.

«Вчера у меня былъ Людовикъ Гемаръ, только что пріѣхавшій въ Парижъ. Онъ сообщилъ мнѣ очень печальныя новости на счетъ Софи.... Но я отсюда вижу, какъ вы уже блѣднѣете и опять повторяю: мужайтесь, другъ мой, мужайтесь! Подумайте о своихъ дѣтяхъ и старайтесь найти утѣшеніе въ ихъ ласкахъ, въ ихъ привязанности къ вамъ и въ чувствахъ вашихъ обязанностей въ качествѣ отца семейства. Итакъ, продолжаю.

Людовикъ, со слезами на глазахъ, объявилъ мнѣ, что самые лучшіе доктора въ Брюсселѣ объявили ему и Генріеттѣ, что у Софи сдѣлался аневрисмъ въ сердцѣ, при-

au cœur, occasionné par son imprudence de l'année dernière; et que, telle qu'elle est maintenant, c'est-à-dire non mariée, elle pourra vivre encore quatre ou cinq ans, à la condition toutefois d'éviter, autant que possible, toute émotion forte, tout excès de chagrin ou de joie. Mais une fois mariée, elle ne vivra pas plus d'un an. Cet arrêt doctoral est tout aussi irrévocable que celui du destin....

«Courbez donc votre front et dites un adieu à vos rêves d'amour et de bonheur. Que l'exubérance de votre cœur, toujours jeune et aimant, soit reportée sur vos enfants et épanchée au sein de votre famille. Les charmes et les émotions douces des affections paternelles et filiales, pour être moins enivrants, n'en sont que plus solides et plus sûrs. Renoncez à l'incendie des passions pour le feu pétillant et nullement dangereux du foyer domestique. Ecoutez enfin la voix calme de la raison et de l'âge, et fuyez les voix tumultueuses de la seconde jeunesse en ébullition. Les solos des virtuoses consommés valent mieux que les tutti des musiciens peu habiles et mal dirigés. Mais je termine ma lettre; et puisse le bon Dieu vous consoler mieux que je ne puis le faire, moi.

«*Adieu!* Courage et bonne

чиненный ея прошлогодней неосторожностью; и что въ такомъ положеніи, какъ теперь, т. е. не замужемъ, она можетъ прожить еще четыре или пять лѣтъ, съ непремѣннымъ, однако, условіемъ, насколько возможно избѣгать всякихъ сильныхъ волненій, чрезмѣрныхъ порывовъ радости или горя. Выйдя-же замужъ, она не проживетъ болѣе году. Этотъ докторскій приговоръ также неумолимъ, какъ и приговоръ судьбы...

«Преклонитесь-же передъ нимъ и распроститесь съ мечтами о любви и счастіи. Перенесите всю нѣжность своего вѣчно-юнаго и любящаго сердца на дѣтей и излейте ее на свое семейство. Волненія и прелести дѣтской и отеческой привязанности, если не такъ упоительны, за то болѣе прочны и надежны. Откажитесь отъ пламени страстей для мерцающаго и ничуть не опаснаго огонька домашняго очага. Послушайтесь, наконецъ, спокойнаго голоса разсудка и лѣтъ и избѣгайте мятежныхъ голосовъ второй, кипучей молодости. Соло извѣстныхъ артистовъ стоятъ большаго, чѣмъ цѣлый хоръ неискусныхъ и плохо управляемыхъ музыкантовъ. Оканчиваю свое письмо и да утѣшитъ васъ Господь лучше, чѣмъ могу это сдѣлать я.

Прощайте! Мужайтесь и будьте

santé, c'est tout ce que peut vous souhaiter

« Votre toute dévouée
« T. »

Vouloir décrire ce que je ressentis après la lecture de cette lettre, ce serait profaner la grandeur de mon infortune et l'immensité de ma douleur, qui demandent et commandent le respect à tout homme de cœur et d'honneur. Donc je m'incline devant le souvenir de cette vaste infortune, et je laisse tomber la toile du silence et de la résignation après le dernier acte de la tragédie du cœur brisé, déchiré, cœur dont la foi fervente et profonde a été frappée de la plus implacable excommunication.

Dès que j'eus pu rassembler et lier mes idées effarouchées, je pris la plume et j'écrivis à Henriette la lettre suivante:

« Ma bonne et bien-aimée sœur!

« Il y a à peu près dix-sept mois que je vous ai écrit ma première lettre, où je vous suppliais de contribuer à ce que *la lumière se fît*, pour éclairer la situation nouvelle qui venait de naître pour moi, et pour en chasser les ténèbres de l'incertitude. Vous m'avez compris alors, vous avez daigné parler, — et *la lumière se fit*.

здоровы, вотъ все, чего я могу вамъ пожелать.

«Преданная вамъ
«Т.».

Пытаться описать то, что я чувствовалъ послѣ чтенія этого письма, значило бы профанировать великость моего несчастія и необъятность страданія, которыя предписываютъ уваженіе къ себѣ каждому порядочному, честному человѣку. Поэтому, я преклоняюсь передъ воспоминаніемъ этого неизмѣримаго горя, и опускаю покровъ молчанія и покорности на послѣдній актъ драмы разбитаго, растерзаннаго сердца; сердца, глубокая и горячая вѣра котораго была поражена самымъ неумолимымъ отлученіемъ.

Какъ только я достаточно собрался съ мыслями, я взялъ перо и написалъ Генріеттѣ слѣдующее письмо:

«Добрая и любезная сестра!

Прошло почти семьнадцать мѣсяцевъ съ тѣхъ поръ, какъ я написалъ вамъ первое письмо, въ которомъ умолялъ васъ содѣйствовать тому, чтобы *былъ свѣтъ*, который могъ бы освѣтить новое, только что народившееся для меня положеніе и разогнать мракъ неизвѣстности. Вы поняли меня тогда, вы исполнили мою просьбу и *свѣтъ явился*.

« Bien des choses se sont passées depuis lors. J'ai parcouru un chemin assez long, dont les nombreuses étapes furent marquées, tantôt par de riantes espérances et des joies enivrantes, tantôt par des tribulations, des chagrins, des souffrances. Enfin j'avais été assez heureux pour arriver à la certitude d'une affection profondément et mutuellement ressentie, affection assez rudement éprouvée pour promettre d'être solide et durable. Je touchais presque à l'issue heureuse et tant désirée, mais *l'homme propose et Dieu dispose.*

« Au-dessus de nos volontés, si fermes qu'elles soient, au-dessus de nos résolutions bien arrêtées et bien inébranlables, il y a une volonté suprême qui régit tout et décide en dernier ressort et sans appel des destinées des individus comme de celles des nations entières ; qui fait et défait les choses humaines ici-bas, et parfois réduit à néant tous nos plans et projets les mieux combinés. Après ce préambule tant soit peu mystique, je vais aborder une question de lumière aussi, mais d'une lumière sinistre, redoutable, qui vient de surgir et d'éclairer ma situation de la manière la plus imprévue, la plus inattendue.

« Je viens d'avoir aussi ma *journée du* 14 janvier, où une

«Съ тѣхъ поръ совершилось много событій. Я прошелъ довольно длинный путь, многочисленныя остановки котораго обозначались то веселыми надеждами и опьяняющими радостями, то треволненіями, печалями и страданіями. Наконецъ, я добился счастія и увѣренности въ глубокой, взаимной любви, которая обѣщала быть прочной и продолжительной. Я почти уже касался счастливой и столь желанной развязки, но...

Человѣкъ предполагаетъ, а Богъ располагаетъ.

«Выше нашихъ желаній, какъ бы тверды они ни были, выше нашихъ непоколебимыхъ рѣшеній есть воля Всевышняго, которая всѣмъ управляетъ и безповоротно рѣшаетъ судьбу, какъ отдѣльныхъ личностей, такъ и цѣлыхъ народовъ; которая запутываетъ и распутываетъ земныя дѣла и по временамъ совершенно уничтожаетъ всѣ наши прекрасно задуманные планы и проекты. Послѣ этого, нѣсколько мистическаго вступленія, я намѣренъ приступить къ вопросу тоже свѣта, но свѣта грознаго, зловѣщаго, который только что сверкнулъ и освѣтилъ мою жизнь самымъ неожиданнымъ и непредвидѣннымъ образомъ.

«У меня также было свое 14-е января, въ которое роковая бомба

bombe fatale tombe en éclatant à mes pieds, mais avec plus de succès que celle d'Orsini, et tue toutes mes espérances les plus chères, tous mes rêves d'un bonheur sans égal que je croyais être sur le point d'atteindre. C'est à vous que j'ai recouru lors du début des vœux ardents de mon cœur, et lorsque s'est ouvert pour moi ce monde enchanteur des affections et des joies mutuelles. Eh bien! c'est encore à vous que je veux recourir, maintenant que ce monde, que j'avais édifié si laborieusement pendant plus de dix-sept mois, vient d'être ruiné de fond en comble. Oui, c'est à votre esprit éclairé, à votre cœur bon et généreux, à votre amitié et à votre sagesse que je m'adresse pour y puiser des conseils et des consolations, dont j'ai grandement besoin dans ce moment. Mais au fait.

« J'ai reçu hier une lettre de Mme T. de Paris, une lettre qui a produit un effet pareil à celui des bombes dans la rue Lepelletier. Voici ce que m'écrit ma belle-sœur :

« Je viens d'avoir la visite de Louis Ghémar. Les larmes aux yeux il me déclare que les plus notables des médecins.... »

(Et j'ai répété, dans ma lettre à Henriette, tout ce que ma belle-sœur écrit au sujet de la santé *de Sophie).*

разразилась у моихъ ногъ, только съ бо́льшимъ успѣхомъ, чѣмъ бомба Орсини, и убила всѣ мои самыя дорогія надежды, всѣ мечты о безпримѣрномъ счастіи, котораго я думалъ достигнуть въ недалекомъ будущемъ. Къ вамъ я прибѣгнулъ въ ту минуту, когда возникли въ моемъ сердцѣ пламенныя желанія, когда открылся передо мною чарующій міръ взаимныхъ любви и радостей. И вотъ опять прибѣгаю къ вамъ теперь, когда этотъ міръ, который я такъ трудолюбиво создавалъ въ теченіи семнадцати мѣсяцевъ, разрушенъ до основанія. Да, къ вашему просвѣщенному уму, доброму и великодушному сердцу, къ вашей дружбѣ и вашему благоразумію обращаюсь я за совѣтами и утѣшеніями, въ которыхъ безконечно нуждаюсь въ эту минуту. Но, къ дѣлу.

«Вчера я получилъ письмо отъ госпожи Т. изъ Парижа, письмо, которое произвело дѣйствіе бомбы въ улицѣ Лепельтье. Вотъ что пишетъ мнѣ моя свояченица:

«У меня только что былъ Людовикъ Гемаръ. Со слезами на глазахъ объявилъ онъ мнѣ, что самые извѣстные доктора»...

(И я повторилъ въ своемъ письмѣ все, что свояченица моя написала мнѣ на счетъ здоровья Софи).

« Oh Dieu de miséricorde !... Quel coup terrible vient de s'abattre sur ma tête, plus terrible que le coup du triangle sanglant de la guillotine, lequel, en abrégeant la vie, en abrège du moins toutes les souffrances.

« La nouvelle foudroyante arrivée de Paris est pour moi d'une portée qu'elle ne saurait avoir pour tout autre dans ma position, et voici comment : Il y a dix ans de cela, je venais de me marier avec la mère de Lise, qui se nommait aussi Sophie. Eh bien ! deux mois après notre mariage elle tomba malade pour ne plus se rétablir, de manière que durant six années je n'ai fait qu'assister au spectacle déchirant d'une agonie lente et douloureuse. Or, quelque temps après que ma proposition à Sophie, votre ange de sœur, a été faite et acceptée, une idée terrible et à me rendre fou vint traverser de temps en temps mon esprit: *Si j'allais survivre encore une fois à ma femme?...* Oh! Je tressaillais de la tête aux pieds et devenais froid comme un cadavre à la seule idée qu'un pareil malheur pût m'arriver encore !... Plutôt dix fois renoncer à ce nouveau mariage et au bonheur d'une affection réciproque, que d'essuyer dans la suite le plus *grand malheur* qui soit au monde,

«О, милосердый Боже!... Какой ужасный ударъ обрушился на мою голову, болѣе ужасный, чѣмъ кровавый треугольникъ гильотины, который, прекращая жизнь, прекращаетъ вмѣстѣ съ тѣмъ и ея страданія.

«Ужасная новость, полученная мною изъ Парижа, имѣетъ для меня особенное значеніе, котораго не имѣла бы ни для кого другаго на моемъ мѣстѣ, и вотъ почему: Десять лѣтъ тому назадъ я только что женился на матери Лизы, которую также звали Софьей. И чтоже? Черезъ два мѣсяца послѣ свадьбы она захворала неизлечимой болѣзнью, такъ что, въ продолженіи шести лѣтъ, я принужденъ былъ присутствовать при раздирающемъ зрѣлищѣ медленной и мучительной агоніи. И вотъ, черезъ нѣсколько времени послѣ предложенія, сдѣланнаго мною и принятаго вашей ангеломъ-сестрою Софи, ужасная, доводящая до безумія мысль стала появляться въ моей головѣ: *Что, если мнѣ суждено еще разъ пережить свою жену?...* О, я дрожалъ отъ головы до ногъ и холодѣлъ какъ трупъ отъ одной мысли, что со мною можетъ еще разъ случиться подобное несчастіе!.. Лучше десять разъ отказаться отъ этого новаго брака и отъ счастія взаимной любви, чѣмъ испытать впослѣдствіи величайшее, по моему мнѣнію, несчастіе въ мірѣ: потерять любимую жену и остаться вдовцомъ въ третій разъ. Судите-

selon moi, celui de perdre sa femme chérie et de devenir veuf pour la troisième fois. Jugez donc de l'effet qu'a produit sur moi la révélation fatale qui me vint de Paris...

« Oh! ma bonne sœur! dites-moi franchement toute la vérité à l'égard de Sophie, que je ne veux pas enlever à sa patrie, à ses parents, à vous enfin, dont elle fait la joie et le bonheur; et l'enlever rien que pour lui creuser une tombe prématurée et la voir mourir loin de tout ce qu'elle a aimé!... Mais ce serait plus que de l'égoïsme de ma part: ce serait un crime, un homicide; mais il faudrait être un lâche, un ogre pour vouloir acheter, au prix d'une vie si chère, une année de bonheur!... Et encore serait-ce un bonheur pour moi?... Savoir d'avance sa fin sûre et prochaine, la voir dépérir rapidement; mais ce serait plutôt une torture de tous les jours, de toutes les heures.

« Sauvez donc le trésor de la vie précieuse de votre sœur et gardez-la. Il ne m'est point donné le bonheur de posséder ce trésor; et Sophie ne m'est apparue que comme une vision céleste, que comme un ange radieux descendu du Ciel pour me donner un baiser d'amour et puis s'envoler là-haut, à travers les espa-

же о томъ дѣйствіи, которое произвела на меня роковая вѣсть, полученная изъ Парижа....

«О, добрая моя сестра! скажите мнѣ откровенно всю правду относительно Софи, которую я не хочу отнимать у ея родины, друзей и родныхъ, у васъ, наконецъ, которой она составляетъ радость и счастіе, отнять для того, чтобъ вырыть ей преждевременную могилу и видѣть смерть ея вдали отъ всѣхъ, кого она любила!.. Это было бы съ моей стороны болѣе, чѣмъ эгоизмомъ: было бы преступленіемъ, убійствомъ; надо быть негодяемъ, людоѣдомъ, чтобы желать купить цѣною такой драгоцѣнной жизни, одинъ годъ счастія!.. Да еще было ли бы это счастіемъ для меня?... Знать заранѣе ея неизбѣжный и близкій конецъ и видѣть ея быстрое угасаніе, да это было бы скорѣе ежедневной, ежечасной мукой.

«Спасите же сокровище драгоцѣнной жизни вашей сестры и оставьте ее у себя. Мнѣ не дано счастіе обладать этимъ сокровищемъ; и Софи явилась мнѣ только какъ небесное видѣніе, какъ лучезарный ангелъ, спустившійся съ небесъ, чтобы дать мнѣ поцѣлуй любви и опять улетѣть вверхъ, въ безконечныя пространства для того,

ces de l'infini, pour grossir les légions de chérubins et de séraphins et chanter avec eux les louanges de l'Eternel.

« Mais comment amener Sophie, sans secousse, à l'idée de l'impossibilité d'une union entre nous? Comment aborder cette question terrible pour nous deux? Comment lui parler ou écrire, à elle, si délicate et si frêle?.. Oh! ma bonne sœur, aidez-moi et travaillons en commun à l'accomplissement d'une tâche pénible, difficile, mais nécessaire. Pour le moment je ne sais comment écrire à Sophie, car je me sens d'une incapacité complète et j'ai un dégoût profond pour tout ce qui ressemble à la ruse, à la dissimulation, à l'hypocrisie et au mensonge. Le coup terrible qui vient de m'atteindre a paralysé toutes mes facultés intellectuelles. Dans ma tête il n'y a plus qu'un chaos d'idées sans suite, les unes plus noires que les autres; et dans ma poitrine je sens un feu ardent qui me dévore les entrailles; un poignard qui me perce et déchire le cœur et en arrache les lambeaux sanglants... Oh! que je souffre!.. Dieu seul le voit. Mais j'offre volontiers et sans murmure ces tortures atroces en holocauste expiatoire et pour racheter quelques années d'une existence chère à nous tous; car Sophie est

чтобы увеличить собою сонмъ херувимовъ и серафимовъ и вмѣстѣ съ ними славословить Превѣчнаго.

Но какъ привести Софи, безъ потрясенія, къ мысли о невозможности союза между ею и мною? Какъ приступить къ этому ужасному для насъ обоихъ вопросу? Какъ говорить или писать ей, такой деликатной и нѣжной?... О, добрая сестра, помогите мнѣ и потрудитесь сообща надъ исполненіемъ этой трудной и тягостной, но необходимой задачи. Въ настоящую минуту я даже не знаю, что написать Софи, потому что чувствую полнѣйшую неспособность и глубокое отвращеніе ко всему, что походитъ на ложь, хитрость, притворство и лицемѣріе. Постигшій меня, страшный ударъ, парализовалъ всѣ мои умственныя способности. Въ головѣ моей стоитъ хаосъ безсвязныхъ мыслей, одна мрачнѣе другой; а въ груди я чувствую жгучее пламя, пожирающее мои внутренности; кинжалъ, поражающій и раздирающій мое сердце, отъ котораго онъ отрываетъ окровавленные куски.... О, какъ я страдаю!... Одинъ Богъ это знаетъ. Но я охотно и безъ ропота готовъ переносить эти ужасныя страданія, чтобы искупить нѣсколько лѣтъ драгоцѣннаго намъ всѣмъ существованія; потому что Софи любима и уважаема моимъ семействомъ точно такъ какъ и своимъ.

aimée et respectée de ma famille tout autant que de la sienne.

«Pour atténuer autant que possible le coup qui doit frapper notre ange, hôte passager de cette vie, et lui épargner l'excès de la douleur et des souffrances, mettez tout en œuvre, recourez même à la calomnie, si cela peut servir; je vous donne là-dessus carte blanche. Dites-lui, s'il le faut, que vous venez d'apprendre, d'une source authentique, que je suis loin d'être ce que j'ai voulu paraître; que je suis un homme suspect, sans principes, un aventurier qui la trompait en se jouant de ses sentiments, un homme indigne de son affection et de son estime. Qu'elle finisse par me détester, pourvu qu'elle soit sauvée, qu'elle vive encore quelques années et qu'elle se sente tranquille, heureuse par votre tendre affection et par l'amitié de ses autres parents et amis. Quant à moi, je ne cesserai de la vénérer, de l'aimer et de la bénir jusqu'au dernier souffle de ma vie, désormais brisée, empoisonnée et solitaire, car j'ai un dégoût, une horreur pour toute autre femme que Sophie, cet idéal d'une femme parfaite sous tous les rapports, sauf celui de la santé... Ah! que ne puis-je partager avec elle ma santé et lui donner la moitié de ce qu'il me reste à vivre, pour passer

«Чтобы сколь возможно ослабить ударъ, который долженъ поразить нашего ангела, мимолетнаго гостя здѣшней жизни, и избавить его отъ чрезмѣрныхъ скорби и страданій, пустите въ дѣло все и прибѣгните даже къ клеветѣ, если это можетъ послужить къ чему нибудь; даю вамъ на это полное согласіе. Скажите ей, если найдете нужнымъ, что узнали изъ самаго достовѣрнаго источника, что я вовсе не то, чѣмъ хотѣлъ казаться; что я человѣкъ подозрительный, безъ правилъ, искатель приключеній, только игравшій ея чувствами, и человѣкъ, недостойный ея любви и уваженія. Пусть она возненавидитъ меня, лишь бы это спасло ее, лишь бы она прожила еще нѣсколько лѣтъ и чувствовала себя спокойной и счастливой вашей нѣжной привязанностью и дружбой другихъ своихъ родныхъ и друзей. Я же, не перестану почитать, любить и благословлять ее до послѣдняго дыханія жизни, отнынѣ разбитой, отравленной и одинокой, потому что чувствую отвращеніе и ужасъ ко всякой другой женщинѣ, кромѣ Софи, этого идеала совершеннѣйшей женщины во всѣхъ отношеніяхъ, кромѣ здоровья.... Ахъ, отчего не могу я раздѣлить съ нею свое здоровье и дать ей половину того, что мнѣ осталось прожить, чтобы провести другую половину съ нею, у ея ногъ, и потомъ вмѣстѣ умереть?... Стоитъ ли чего

cette autre moitié avec elle et à ses pieds, et puis mourir ensemble?.. Que vaut la vie dont on a arraché tout ce qui faisait son plus bel ornement, son bonheur et son orgueil? Elle vaut ce que vaut une harpe à demi-brisée, de laquelle il est impossible de tirer de ces accords doux et mélodieux qu'elle rendait autrefois.

« Depuis hier je veux écrire à Sophie ; mais la plume reste immobile dans ma main glacée ; et, abasourdi, anéanti que je suis, je ne sais comment et par quoi commencer ma lettre, dans laquelle il me sera si difficile de cacher le trouble de mon esprit et le désespoir de mon âme. En attendant une inspiration quelconque pour ma correspondance avec Sophie, je dois clore cette lettre par la fervente prière que je vous adresse de ne pas me laisser longtemps sans votre réponse, et de me donner dans cette réponse votre avis sincère et franc sur tout ce que je viens de vous exposer ».

Deux jours après que cette lettre eut été expédiée à Henriette, je reçus la sienne. Elle ne faisait que répéter ce que nous savons déjà d'après la lettre de Mme T. Henriette m'écrit encore que Sophie paraît ne pas se douter *de* la gravité du mal dont *elle est atteinte*, bien qu'elle en-

жизнь, у которой отняли ея лучшее украшеніе, ея счастіе и гордость? Она стоитъ тоже самое, что полусломанная арфа, изъ которой невозможно извлечь ни одного изъ тѣхъ сладкихъ, мелодическихъ аккордовъ, которые она издавала прежде.

«Со вчерашняго дня все собираюсь писать къ Софи, но перо не двигается въ моей застывшей рукѣ; убитый и уничтоженный, я не знаю какъ и съ чего начать письмо, въ которомъ мнѣ трудно будетъ скрыть тревогу своего ума и отчаяніе души. Въ ожиданіи какого нибудь вдохновенія для своей переписки съ Софи, я оканчиваю это письмо горячей просьбой къ вамъ, не оставлять меня долго безъ отвѣта и дать мнѣ въ этомъ отвѣтѣ искренній и откровенный совѣтъ на счетъ всего того, что я вамъ написалъ».

Черезъ два дня послѣ того, какъ это письмо было отправлено къ Генріеттѣ, я получилъ отъ нее письмо. Она повторяла все то, что намъ уже извѣстно изъ письма г-жи Т. Но, сверхъ того, Генріетта писала мнѣ, что Софи кажется не подозрѣваетъ всей важности своей болѣзни, хотя и предвидитъ уже не-

trevoie déjà l'impossibilité de notre union, et commence à se faire à l'horrible idée de la ruine de toutes nos espérances, nourries dans nos cœurs depuis plus de dix-sept mois.

Donc tout est fini!... La sentence de mort, prononcée par le destin jaloux, vient d'être mise à exécution;—et il ne me reste plus qu'à pleurer sur la fragilité de ce qui m'a élevé si haut, au-dessus de tout le reste des mortels, dont la plupart ne seront jamais en état de comprendre ni la hauteur de mon élévation passée, ni la profondeur de ma chute présente. Et n'avoir été élevé si haut que pour être précipité! C'est là une de ces infortunes qui écrasent l'imagination et brisent tous les ressorts de l'âme. Ni la science, ni la sagesse des hommes ne possèdent et ne posséderont jamais de baume pour ces maux sans nom, comme sans mesure. Le seul remède possible pour de tels maux, c'est la tombe et puis ce qui nous est promis au-delà de cette barrière qu'on appelle le trépas, et dont le passage est plein d'espérances pour les bons, de terreurs pour les méchants et de mystères pour tous. Ainsi attendons ce mystérieux passage, souriant ou terrible, et, en l'attendant, prions et disons:

Que la volonté de Dieu soit faite.

возможность нашего союза и старается свыкнуться съ ужасной мыслью о гибели всѣхъ нашихъ надеждъ, питаемыхъ нашими сердцами въ продолженіи семнадцати слишкомъ мѣсяцевъ.

Итакъ, все кончено!.. Смертный приговоръ, произнесенный завистливымъ рокомъ, приведенъ въ исполненіе,—и мнѣ остается только оплакивать непрочность того, что подняло меня такъ высоко, выше всѣхъ остальныхъ смертныхъ, большинство которыхъ никогда не въ состояніи будетъ понять ни высоты моего прошлаго возвышенія, ни глубины настоящаго паденія. И подняться такъ высоко только затѣмъ, чтобъ быть свергнутымъ внизъ! Это одно изъ тѣхъ несчастій, которыя придавливаютъ воображеніе и ломаютъ всѣ пружины души. Ни наука, ни премудрость человѣческая не имѣютъ и никогда не будутъ имѣть бальзама для этихъ горестей, не имѣющихъ ни названія, ни предѣла. Единственное средство, возможное для подобныхъ несчастій, это могила, а затѣмъ то, что обѣщано намъ по ту сторону рубежа, называемаго кончиною и переходъ черезъ который полонъ надеждъ для добрыхъ, ужасовъ для злыхъ и неизвѣстности для всѣхъ. Итакъ, подождемъ этого таинственнаго перехода, радостнаго или грознаго, а пока будемъ молиться и скажемъ:

Да будетъ воля Господня.

XIX.

Le Glas.

Bardes du Nord, accordez vos lyres, pour chanter mes infortunes et mes douleurs. Ma lyre, à moi, est brisée, comme le sont mon cœur et mon âme, ces deux vases de cristal précieux, qui renfermaient une boisson rafraîchissante, savoureuse et fortifiante.

* * *

O mon cœur! ne ressembles-tu pas aux murs d'un palais dévasté et abandonné à l'action destructive du temps et des intempéries? Le froid, le silence et les ténèbres règnent dans cette enceinte désolée, qui n'est troublée que par le bruit des ailes des oiseaux de nuit, ces parents des terreurs nocturnes... Et où sont-ils, ses hôtes d'autrefois? Que sont devenues mes espérances et mes joies, ces enfants de l'imagination, de la foi et de l'affection profonde et sublime, enfants au front épanoui, aux sourires radieux, aux ailes d'or? Naguère encore ils prenaient leur essor à travers l'espace et le temps, vers la source miraculeuse où s'est rajeuni mon cœur, tout mon être. Mais, hélas! cette source est tarie à jamais, et mon cœur est frappé

Звонъ по усопшемъ.

Барды сѣвера, настройте ваши лиры, чтобы воспѣть мои несчастія и страданія. Моя лира разбита, какъ разбиты мое сердце и моя душа, два драгоцѣнныхъ, хрустальныхъ сосуда, въ которыхъ заключался освѣжающій, усладительный и укрѣпляющій напитокъ.

* * *

О, мое сердце! Не походишь ли ты на стѣны опустошеннаго дворца, покинутаго на произволъ всеистребляющаго времени и суроваго дѣйствія непогоды. Холодъ, безмолвіе и мракъ царствуютъ въ этихъ разоренныхъ палатахъ, тревожимыхъ только шумомъ крыльевъ ночныхъ птицъ, этихъ друзей ночныхъ ужасовъ... Куда же дѣвались ихъ прежніе обитатели? Что сталось съ моими надеждами и радостями, этими дѣтьми воображенія, вѣры и глубокой, неземной любви; дѣтьми съ яснымъ челомъ, лучезарными улыбками и золотыми крыльями. Еще такъ недавно онѣ парили во времени и пространствѣ, направляясь къ чудесному источнику, гдѣ помолодѣло мое сердце и все мое существо. Но, увы! Этотъ источникъ изсякъ навѣки, и сердце мое поражено внезапной дряхлостью, неизлечимой и безвозвратной, какъ приведенный

de la décrépitude subite, incurable, sans retour, comme l'est l'arrêt de mort, exécuté, consommé.

* * *

Pauvre orphelin que ce cœur! Naguère encore c'était un temple grandiose et magnifique où, jour et nuit, retentissaient des louanges chantées en l'honneur de la divinité bienfaisante qui y présidait et l'éclairait. Et le feu inextinguible de l'amour brûlait sur l'autel du temple vivant. Mais depuis l'ouragan destructeur de l'infortune a soufflé sur ce temple et l'a ruiné de fond en comble... Et la divinité adorée s'est envolée loin, bien loin de ces tristes ruines, me laissant enseveli sous ces décombres et ne paraissant aux yeux de ma mémoire que comme un point lumineux sur l'horizon lointain, d'où elle ne peut ni m'éclairer, ni me réchauffer...

Mais tais-toi, mon cœur, mon pauvre cœur! Ton rêve a été beau, mais court; et ton réveil terrible!... Trève de ces souvenirs: mes yeux commencent à se voiler.

* * *

Le vent glacial de l'adversité a soufflé, il a fané et desséché la floraison luxuriante de mon cœur. Il en arrache les feuilles mortes, les disperse et les emporte avec la poussière des

въ исполненіе смертный приговоръ.

* * *

Бѣдное, осиротѣлое сердце! Давно-ли оно представляло великолѣпный и грандіозный храмъ, гдѣ днемъ и ночью раздавались хвалебныя пѣсни въ честь благодѣтельнаго божества, которое въ немъ владычествовало и освѣщало его. И неугасимый огонь любви горѣлъ на алтарѣ этого храма. Но разрушительный ураганъ несчастія налетѣлъ на этотъ храмъ и разрушилъ до его основанія... И боготворимое божество улетѣло далеко, далеко отъ этихъ печальныхъ развалинъ, оставивъ меня погребеннымъ подъ этими развалинами и являясь передъ моими умственными взорами только въ видѣ свѣтлой точки на отдаленномъ горизонтѣ, откуда оно не можетъ ни согрѣть, ни освѣтить меня...

Но умолкни сердце мое, мое бѣдное сердце! Твой сонъ былъ прекрасенъ, но коротокъ; а пробужденіе ужасно!.. Довольно воспоминаній: глаза мои начинаютъ застилаться.

* * *

Подулъ холодный вѣтеръ несчастія и смялъ и высушилъ роскошный цвѣтъ моего сердца. Онъ сорвалъ увядшіе листья, развѣялъ ихъ и унесъ вмѣстѣ съ полевой пылью въ пустое пространство, окружаю-

champs à travers le vide de l'espace effrayant qui m'enveloppe de tous côtés; il les emporte loin de leur tige maternelle.

* * *

Soufflez, vents du Nord! Je n'ai plus à craindre votre fureur destructive. Vous ne ruinez, vous ne brisez que ce qui est debout, ou plein de sève et de vie... Eh bien? Le temple de mon bonheur n'est plus qu'un monceau de décombres dont vous ne voudrez plus, ô vents du Nord! Et l'arbre de ma vie a été brisé par la foudre d'un malheur immense, irréparable; cet arbre est desséché et sans sève. Qu'a-t-il à craindre des nouveaux coups de foudre et de vent? Fait-il beau de vivre pour le tronc desséché, privé de verdure et d'ombrage, de cet ombrage rafraîchissant qui pouvait jadis abriter tout ce qui se sentait faible, isolé, délaissé et souffrant!... Et le sol même qui supporte ce chêne brisé est frappé d'aridité et de stérilité, ne laissant croître que des ronces aux épines longues et aiguës, et des herbes maigres, sans fleurs et sans parfum.

* * *

Terreur, froid, ténèbres de la mort et de la destruction! Venez, volez, accourez vers ce chêne brisé, enveloppez-le de *toutes parts*, abattez-en le tronc

щее меня со всѣхъ сторонъ; унесъ далеко отъ роднаго стебля.

* * *

Дуйте, сѣверные вѣтры! Мнѣ нечего больше бояться вашей разрушительной ярости. Вы ломаете и разрушаете только то, что полно силы и жизни... А я? Храмъ моего счастія есть одна груда развалинъ, съ которыми вы не захотите имѣть дѣло, сѣверные вѣтры. И древо моей жизни было разбито молніей громаднаго, непоправимаго, несчастія; это древо высохло и потеряло свои соки. Чего ему бояться новыхъ ударовъ молніи и вѣтра? Стоитъ-ли жить одному высохшему стволу, лишенному зелени и тѣни, той освѣжающей тѣни, которая могла, бывало, укрыть все, что чувствовало себя слабымъ, одинокимъ, покинутымъ и страждущимъ... И самая почва, на которой стоитъ этотъ разбитый кедръ, поражена безводіемъ и безплодіемъ и не производитъ ничего, кромѣ терновника съ длинными, острыми иглами, да тощей травы, безъ цвѣтовъ и аромата.

* * *

Ужасъ, холодъ и мракъ смерти и разрушенія! Идите, летите, бѣгите къ этому разбитому кедру, окружите его со всѣхъ сторонъ, сломите его засохшій стволъ и вы-

desséché et sans sève, creusez-lui une fosse, mais large, mais profonde, aussi profonde que l'ont été les sentiments et les pensées du chantre de l'Amour. Jetez-le dans cette fosse, et de la terre par-dessus! Jetez de cette terre à pleines poignées, jetez-en encore, jetez-en toujours jusqu'à ce que vous ayez élevé sur lui un mont si haut, si haut, que sa cime puisse toucher les nues, patrie de la foudre qui a brisé ce chêne majestueux. Et sur la crête de ce mont plantez une croix, rien qu'une croix, au pied de laquelle vous attacherez une ancre cassée et un cœur brisé et transpercé. Et alors puissent tous les vents de l'adversité, puissent tous les ouragans de l'infortune souffler, s'entre-choquer, se déchaîner au-dessus de ce mont couronné d'une croix, d'une ancre cassée et d'un cœur brisé, transpercé. Que le sifflement de ces vents, que le mugissement de cet ouragan soient autant de chants funèbres, qu'ils soient le seul et unique *requiem* entonné sur la tombe de celui qui n'a fait, qui n'a su qu'aimer, souffrir et mourir.

ройте ему могилу, да только широкую, глубокую, такую-же глубокую, какъ глубоки были мысли и чувства пѣвца любви. Бросьте его въ эту могилу, а сверху накидайте земли! Кидайте эту землю полными пригоршнями, кидайте еще и еще, до тѣхъ поръ, пока не образуется цѣлая гора, такая высокая, такая высокая, чтобы вершина ея могла коснуться облаковъ, родины молніи, которая разбила этотъ величественный кедръ. А на гребнѣ этой горы водрузите крестъ, простой крестъ, къ подножію котораго прикрѣпите сломанный якорь и разбитое и пронзенное сердце. И тогда, пусть всѣ вѣтры несчастія, всѣ ураганы злополучія дуютъ, сталкиваются и устремляются къ этой горѣ, увѣнчанной крестомъ, сломаннымъ якоремъ и разбитымъ, пронзеннымъ сердцемъ. Пусть свистъ этихъ вѣтровъ и ревъ урагана будутъ похоронным гимномъ и единственной погребальной пѣснью, пропѣтыми на могилѣ того, кто умѣлъ только любить, страдать и умереть.

МОИ
СЕМИДЕСЯТИЛѢТНІЯ
ВОСПОМИНАНІЯ

И СЪ ТѢМЪ ВМѢСТѢ

МОЯ ПОЛНАЯ ПРЕДСМЕРТНАЯ ИСПОВѢДЬ.

КАНЦЕЛЯРІЯ ... 18 МАРТА ...

Н. МАКАРОВА,

СОСТАВИТЕЛЯ СЛОВАРЕЙ.

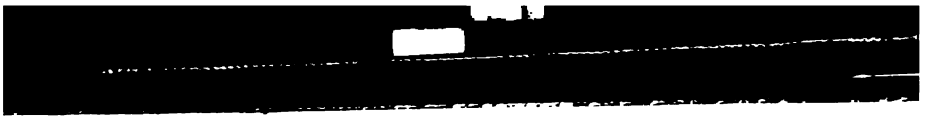
Дѣла давно минувшихъ дней,
Преданья старины глубокой.
(Пушкинъ).

Пусть будетъ пѣснь твоя дика. Какъ мой вѣнецъ
Мнѣ тягостны веселья звуки!
Я говорю тебѣ: я слезъ хочу, пѣвецъ,
Иль разорвется грудь отъ муки.
Страданьями была упитана она,
Томилась долго и безмолвно;
И грозный часъ насталъ — теперь она полна,
Какъ кубокъ смерти яда полный.
(Лермонтовъ изъ Байрона.)

При семъ прилагается портретъ и факсимиле Цесаревича Константина Павловича.

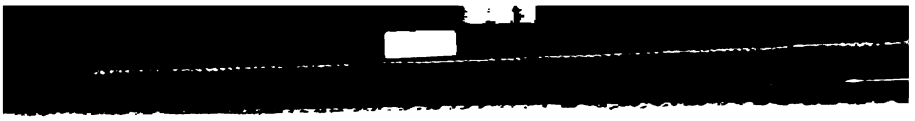
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія Трини и Фюсно (Максимиліановскій переулокъ, № 15).
1882.



КНИГА СЕДЬМАЯ.

МОЯ ЮНОСТЬ И ВАРШАВСКАЯ ЖИЗНЬ.



I.

Пріѣздъ въ Варшаву и лагерь.

Дядя квартировалъ въ Варшавѣ въ Александровскихъ казармахъ, находившихся на самомъ концѣ города, на берегу Вислы, гдѣ нынѣ возвышается грозная цитадель. Едва пріѣхали мы, какъ вѣсть объ этомъ распространилась по казармамъ. Въ ту же минуту множество офицеровъ явилось на квартиру дяди, съ которымъ встрѣтились они съ изъявленіями живѣйшей радости, потому что не было офицера въ полку, который бы не любилъ Валерьяна Макарыча.

Я былъ въ какомъ-то чаду. Все было для меня такъ ново, такъ непохоже на то, что я видѣлъ до того времени. Оживленное движеніе на улицахъ, обиліе военныхъ мундировъ, эполетъ, киверовъ, украшенныхъ гербами, *витишкетами* и высокими цилиндрическими волосяными султанами, или помпонами, а равно и треугольныя шляпы, надъ которыми колыхались широкіе султаны изъ пѣтушьихъ перьевъ, черные и бѣлые: все это производило на меня сильнѣйшее впечатлѣніе. Что же касается до польскаго языка, то онъ непріятно поражалъ мой слухъ, въ которомъ уже сильно начинало развиваться чувство мелодіи. Въ особенности царапали мои уши слова и фразы въ родѣ слѣдующихъ: *Его-мосьцъ*, *мосьце-добродзею*, *пшіяцелю*, *лецялы тши пстрэ пшепелицы*, *хршонцъ бржми въ тршцинѣ*, *не пшепепшай Петше вепша пепшемъ*, и тому подобныя сочетанія множества самыхъ трескучихъ и шипящихъ согласныхъ буквъ, какими изобилуетъ польскій языкъ. Но что понравилось мнѣ и произвело на меня самое пріятное впечатлѣніе, такъ это разносчики съ ящиками лакомствъ изъ кандитерскихъ, которыя въ Варшавѣ были особенно хороши, и славились своими вкусными сладкими пирожками и карамелью. Даже была въ Варшавѣ пословица: «сладокъ, какъ Лесселя (извѣстный тогда кандитеръ) карамель».

На другой день своего пріѣзда Мичуринъ представлялся Цесаревичу, который ни слова не сказалъ ему о томъ, что онъ просрочилъ болѣе трехъ недѣль. Впрочемъ, за просрочки военныхъ отпусковъ почти ни-

когда не взыскивалось въ Варшавѣ. Я тоже долженъ былъ скоро представиться будущему своему начальству. Но прежде заказали мнѣ новое платье, и какъ только оно поспѣло меня представили сперва полковому командиру литовскаго гвардейскаго полка генералъ-маіору Кишкину, а потомъ повезли въ Брилевскій домъ, и тамъ представили Великому Князю Константину Павловичу. Находясь въ самомъ веселомъ расположеніи духа, Цесаревичъ обласкалъ меня, потрепалъ по плечу и, согласно прошенію Мичурина, приказалъ опредѣлить подпрапорщикомъ въ литовскій гвардейскій полкъ и назначить въ первую фузилерную роту, которою командовалъ тогда капитанъ Граббе, одинъ изъ лучшихъ офицеровъ во всей гвардейской дивизіи, другъ и совоспитанникъ по корпусу моего дяди. А такъ какъ я былъ еще слишкомъ молодъ для того, чтобы исполнять фронтовую службу, потому что не могъ даже поднять на плечо одною рукою тогдашняго тяжелаго солдатскаго ружья, то Великій Князь былъ столь милостивъ, что позволилъ мнѣ жить вмѣстѣ съ дядею, носить юнкерскій мундиръ, получать унтеръ-офицерское жалованье и кончать свое домашнее образованіе, бравши уроки у различныхъ учителей, до тѣхъ поръ пока лѣта позволятъ мнѣ отправиться въ школу гвардейскихъ подпрапорщиковъ. Такъ началась новая и пока полувоенная моя жизнь.

Не болѣе двухъ недѣль дядя пробылъ въ Варшавѣ. Онъ получилъ снова двадцати-восьми-дневный отпускъ вмѣстѣ съ позволеніемъ жениться на московской княжнѣ, и уѣхалъ, въ началѣ мая, въ Москву, оставя меня въ Варшавѣ подъ наблюденіемъ одного изъ своихъ полковыхъ друзей, капитана Жеребцова. Ученье мое еще не начиналось, и потому я пользовался полнѣйшею свободою, которую, впрочемъ, никогда не употреблялъ во зло. Страсть моя къ шалостямъ уже давно прошла, и я сдѣлался очень степеннымъ, кроткимъ и послушнымъ мальчикомъ, и съ тѣмъ вмѣстѣ чрезвычайно любознательнымъ: страсть учиться уже начинала сильно развиваться во мнѣ, въ одно время со страстію къ музыкѣ, т. е. къ игрѣ на скрипкѣ. Но увы! Для моего ученія назначались самыя тѣсныя рамки, т. е. рамки военнаго воспитанія, которое получилъ я впослѣдствіи. Это было величайшее несчастіе для ребенка, изъ котораго классическое образованіе могло бы сдѣлать что нибудь дѣльное. Но таланты ребенка, ни кѣмъ не угаданные, оставались неразвитыми, потерянными по милости односторонняго и самаго поверхностнаго образованія.

Въ ожиданіи возвращенія дяди, я разгуливалъ по Варшавѣ еще въ *своемъ прежнемъ*, штатскомъ платьѣ и въ компаніи Андрюши Басма-

нова, а часто и одинъ; купался въ Вислѣ раза по два въ день и упражнялся въ плаваніи; лакомился кандитерскими пирожками и читалъ старые романы и журналы изъ библіотеки дяди. Съ нетерпѣніемъ ожидалъ я его возвращенія. Мнѣ было очень любопытно взглянуть на мою тетушку, о которой Валерьянъ Макарычъ прожужжалъ мнѣ всѣ уши во время дороги отъ Москвы до Варшавы, восхваляя прелести своей невѣсты и говоря между прочимъ:

— Катенька совершенно въ моемъ вкусѣ: брюнетка, немного смугла, большой римскій носъ, одинъ глазъ какъ будто немного поменѣе другаго; это очень оригинально; и наконецъ—высокаго роста, *такъ что мнѣ не нужно нагибаться для того, чтобы поцѣловать ее.*

И чего еще не говорилъ онъ мнѣ о будущей моей тетушкѣ и «подругѣ своей жизни»? Тогда же обѣщалъ онъ купить для меня хорошую скрипку и дать мнѣ хорошаго учителя на этомъ первоклассномъ инструментѣ, на этой царицѣ оркестра и концертной эстрады. Поэтому я ждалъ съ сильнымъ біеніемъ сердца минуты, когда у меня снова будетъ и скрипка, и учитель. А между тѣмъ перваго іюня пѣхотныя войска варшавскаго гарнизона выступили въ лагерь, куда я отправился погулять да поглазѣть въ самый же день вступленія туда литовскаго полка. Лагерь этотъ находился въ двухъ верстахъ отъ заставы Маримонтской и въ одной отъ Повонзковской. Онъ былъ расположенъ линіею развернутаго фронта, и потому занималъ огромное пространство, начиная съ праваго фланга отъ 5-й батарейной роты гвардейской артиллеріи, за которую слѣдовали литовскій гвардейскій полкъ и польскій лейбъ-гренадерскій, составлявшіе первую бригаду гвардейской дивизіи. За первою расположена была вторая гвардейская бригада, т. е. польскій саперный батальонъ и волынскій гвардейскій полкъ. Далѣе находились три пѣхотныя дивизіи польской арміи съ артиллеріею. Такъ какъ войска стояли въ лагерѣ цѣлыя три мѣсяца, то лагерь этотъ былъ отстроенъ и отдѣланъ съ необыкновенною тщательностію. Солдаты стояли въ палаткахъ, расположенныхъ въ три ряда, по числу шеренгъ. Это была первая передняя линія лагеря. Во второй линіи находились офицерскіе бараки, сдѣланные очень прочно изъ досокъ и довольно просторные, вмѣщавшіе въ себѣ по двѣ и по три комнаты. При каждомъ баракѣ находился тѣнистый садикъ съ дорожками и клумбами цвѣтовъ. Между палатками и бараками была довольно широкая усыпанная пескомъ и утрамбованная дорожка, окаймленная высокими пирамидальными тополями, сзади бараковъ шла такая же тополевая аллея. Далѣе, позади бараковъ, лежала третья линія изъ ротныхъ кухонь, довольно просторныхъ, свѣтлыхъ, опрятныхъ и

снаружи оштукатуренныхъ. За кухнями лежала четвертая линія ротныхъ садовъ. Среди каждаго ротнаго сада находилось по два обширныхъ досчатыхъ сарая, въ которыхъ помѣщались ротные писаря, портные, сапожники, а равно и нѣкоторые изъ старшихъ подпрапорщиковъ. Младшіе стояли въ палаткахъ съ солдатами. Въ этихъ же ротныхъ садахъ находились и бараки фельдфебелей, очень просторные и покойные. Сверхъ того почти каждый изъ фельдфебелей имѣлъ въ саду по бесѣдкѣ изъ досокъ. Бесѣдки эти отдавались ими въ наймы тѣмъ изъ подпрапорщиковъ, которые получали что нибудь изъ дому, отъ родныхъ. Большая же часть подпрапорщиковъ была изъ бѣдной польской шляхты и ничего не получала кромѣ жалованья, довольно большаго (по 18 руб. сер. въ треть; да сверхъ того паекъ и всю казенную экипировку). За линіей ротныхъ садовъ шла широкая каштановая аллея, однимъ словомъ варшавскій лагерь состоялъ изъ ряда прелестныхъ дачъ, съ самымъ здоровымъ, свѣжимъ воздухомъ. Въ центрѣ лагеря находились обширные пруды, довольно глубокіе, окруженные тѣнистою рощею. Это было прекрасное мѣсто для купанья.

II.

Новая тетушка съ разнокалиберными глазами.

Къ пріѣзду Валерьяна Макарыча была приготовлена въ казармахъ временная квартира, составленная изъ двухъ офицерскихъ квартиръ. Однажды утромъ я игралъ и бѣгалъ въ запуски съ Андрюшею по площади, лежавшей среди казарменныхъ зданій. Ко мнѣ прибѣгаетъ деньщикъ Мичурина и говоритъ:

— Идите скорѣе домой; дяденька пріѣхали.

Я бросился опрометью въ казармы. Передъ подъѣздомъ стоялъ огромный рыдванъ, т. е. коляска съ фордекомъ, тяжелая и стариннаго фасона, нагруженная до нельзя чемоданами, сундуками, мѣшками, коробками и узлами. Поднявшись по лѣстницѣ въ бель-этажъ, гдѣ находилась временная квартира дяди, я встрѣтился въ передней съ женскою особою: это была молоденькая, немного смуглая, но очень хорошенькая брюнетка, съ большими черными, умными и выразительными глазами. Я чуть-чуть было не подошелъ къ рукѣ, принявъ ее за тетушку. Но тотчасъ же сообразилъ, что тетка была высокаго роста, а *эта—средняго*; и потому прошмыгнулъ мимо и прямо въ залъ, гдѣ

встрѣтилъ дядю. Облобызались. Затѣмъ дядя взялъ меня за руку, и ведя въ гостинную, громко заговорилъ:

— Катенька, Катенька! рекомендую тебѣ моего племянника, Колю Макарова.

И дядя вошелъ со мною въ гостинную. Мнѣ едва не сдѣлалось дурно: я падалъ съ облаковъ тѣхъ блестящихъ мечтаній и очертаній, которыя составилъ себѣ о тетушкѣ со словъ моего дядюшки. Передо мною стояла высокая, худая, костлявая и плоскогрудая молодая женщина. Лице ея было грязно-смуглаго цвѣта; волосы, какъ смоль черные, но не помаженные и кое-какъ причесанные; носъ болѣшущій, горбомъ; одинъ глазъ черный и обыкновенной величины, а другой тоже черный, но гораздо менѣе перваго, похожій на щелочку, изъ которой, вдобавокъ, постоянно текла слеза съ гноемъ. — Впослѣдствіи я прозвалъ этотъ глазъ «вѣчно струящимся окомъ тетушки». — Мнѣ сдѣлалось невыразимо грустно и тошно. Но несмотря на мою обычную правдивость и неумѣнье хитрить, я скрылъ свои тяжелыя ощущенія и подошелъ къ ручкѣ тетушки. Но меня снова стошнило: рука бывшей московской княжны, а теперешней гвардіи штабсъ-капитанши была костлява и суха, какъ у скелета, а главное, невымытая, грязная.

Бѣдный я! Второе разочарованіе въ моей жизни было уже гораздо непріятнѣе, страшнѣе перваго, испытаннаго мною въ Москвѣ по поводу жаренаго маку. — Хорошенькая брюнетка, попавшаяся мнѣ въ передней, была одна изъ двухъ горничныхъ моей тетушки, Даша, двумя годами старѣе меня, и очень добрая, умная и ловкая дѣвушка.

— Отъ чего не Даша моя тетушка? — подумалъ я, увидѣвъ вторично вошедшую въ гостинную хорошенькую горничную. Хотя и простая горничная, — продолжалъ я размышлять, — но вѣдь она несравненно лучше своей госпожи, урожденной княжны. Объ этой Дашѣ я говорилъ подробнѣе во второй главѣ четвертой книги. Впрочемъ, тетушка можетъ быть умна, добра, талантлива?.. Посмотримъ.

Бѣдный я! Разочарованіе мое на счетъ тетушкина ума будетъ не менѣе жестоко и полно, какъ и на счетъ ея красоты. И долго размышлялъ я о томъ, гдѣ были глаза у моего дяди, когда онъ дѣлалъ предложеніе московской княжнѣ. И какъ онъ могъ рѣшиться на женитьбу свою съ этою злополучною и чуть-чуть не кривоглазою княжною? И для чего онъ такъ расхваливалъ мнѣ свою невѣсту? Была ли это шутка, мистификація, или просто затмѣніе ума, вкуса и зрѣнія? Но не только я, а и всѣ товарищи и друзья моего дяди не могли разгадать тайну такой чудовищной женитьбы, тѣмъ болѣе, что въ приданое за женою

Валерьянъ Макарычъ взялъ далеко не огромное состояніе: 50 тысячъ рублей ассигнаціями, да огромный уродливый и уже не новый рыдванъ, да двухъ горничныхъ, да кучера, страшнаго негодяя, да четверку башкирскихъ лошадей, которыхъ хотя и привели ему въ Варшаву, но на которыхъ ѣздить было невозможно: или надо было держать ихъ на одномъ сѣнѣ и худыми какъ *палочницы*, годныхъ лишь для псарни, или чуть не много поправятся, понесутъ и разобьютъ все въ пухъ и прахъ: и рыдванъ, и такой же допотопный, уродливый кабріолетъ. Наконецъ военные товарищи Мичурина рѣшили, что невѣстою показывали ему одну дѣвицу, не княжну, а другую, взятую на прокатъ; подъ вѣнцомъ же подмѣнили и поставили настоящую, какъ есть княжну, съ «черными разнокалиберными очами». Тѣмъ и былъ порѣшенъ вопросъ о необыкновенной женитьбѣ любимаго ими товарища.

Прошло нѣсколько дней по пріѣздѣ Валерьяна Макарыча съ молодою женою. Время это посвящено было исканію квартиры въ городѣ. Послѣ многихъ поисковъ была нанята очень хорошая и помѣстительная квартира на Закрочимской улицѣ, невдалекѣ отъ казармъ. Для меня была особенная и просторная, свѣтлая комната. Погода стояла прелестнѣйшая и новоселье совершилось тотчасъ же по нанятіи квартиры. Валерьянъ Макарычъ по три дня въ недѣлю проводилъ въ лагерѣ, въ своемъ просторномъ баракѣ, а остальные четыре дня жилъ въ городѣ. Онъ уже пересталъ быть полковымъ адъютантомъ, а роты не принималъ, и потому всѣ обязанности его по службѣ состояли только въ дежурствѣ черезъ восемь дней въ девятый. Остальное же время было у него совершенно свободно.

Андрюша, или вѣрнѣе, цѣлый Андрецца Басмановъ былъ опредѣленъ въ полкъ на правѣ вольноопредѣляющагося, и потому поступилъ въ полкъ сперва солдатомъ. Но первые полгода жилъ онъ у Валерьяна Макарыча вмѣстѣ со мной и билъ баклуши. Я тоже велъ еще праздную жизнь и страшно скучалъ безъ опредѣленнаго занятія.

Теперь опишемъ тотъ міръ, который окружалъ тринадцати-лѣтняго отрока въ домѣ его дяди, человѣка въ высшей степени безпечнаго, разсѣяннаго и у котораго всѣ дѣйствія и распоряженія въ жизни основывались на извѣстныхъ изреченіяхъ, а именно: на *авось*, на *какъ нибудь*, да на *живетъ*, т. е. по примѣру большинства своихъ соотчичей, онъ любилъ разъѣзжать на скверныхъ и надорванныхъ клячахъ, на которыхъ славянскій элементъ русскаго народа, въ продолженіе многихъ столѣтій, разъѣзжалъ по землѣ русской, и не успѣлъ доѣхать ни до *чего путнаго* ранѣе шестьдесятъ перваго года нашего столѣтія, года, въ

который совершилось величайшее въ мірѣ преобразованіе, примѣра которому нѣтъ въ исторіи государствъ и человѣчества, и которое составитъ вѣчную славу настоящаго времени и правленія Россіи.

Итакъ, исчислимъ составъ дома Валерьяна Макарыча Мичурина.

№ 1. Самъ Валерьянъ Макарычъ, глава дома, уже коротко намъ знакомый.

№ 2. Его законная супруга, знакомая намъ только съ наружной стороны, т. е. со стороны сухопарости, дылдообразности, разнокалиберныхъ глазъ и громаднаго носа горбомъ. Познакомимся теперь съ нравственною стороною ex-московской княжны. Знакомство это столь-же непривлекательно, какъ и наружное. Но, по долгу безпристрастнаго и правдиваго историка и біографа и скрѣпя сердце, я обязанъ давать здѣсь мѣсто физическимъ и нравственнымъ фотографіямъ всѣхъ лицъ, болѣе или менѣе дѣйствующихъ въ Моихъ Воспоминаніяхъ.

Умъ супруги Валерьяна Макарыча только на одинъ градусъ возвышался надъ нулемъ, который въ умственномъ термометрѣ обозначаетъ послѣднюю ступень тупоумія, и ниже котораго начинается идіотизмъ.

Характеромъ она была не зла; о нѣтъ! Но нестерпимо капризна. И капризы ея происходили большею частію отъ невообразимой ея безсмысленности и непониманія самыхъ простыхъ и удобопонятныхъ вещей.

Она была верхъ неряшества, неопрятности и не имѣла идеи о приличіяхъ, о женственности и о вкусѣ въ туалетѣ и о всемъ прочемъ.

Она имѣла только одни плотскія привычки и пожеланія, и, между прочимъ, любила всевозможныя лакомства, въ особенности фрукты, но поѣдала всегда и все сама, не допуская возможности подѣлиться съ кѣмъ бы то ни было своимъ лакомствомъ, какъ бы много его у нее ни было.

Воспитаніе ея состояло въ умѣньи читать и плохо писать порусски, да еще плоше говорить пофранцузски. «Безъ этого нельзя жъ». Вѣдь и сорокъ научаютъ говорить, а тѣмъ паче княженъ.

Пробовали учить ее играть на фортепіано. Но учитель ходилъ къ ней цѣлые два года, бился, надсажался, мучился и едва могъ довести ее до возможности проиграть, со множествомъ ошибокъ и не въ тактъ: «Ѣхалъ казакъ за Дунай», но только одну тэму и болѣе ничего. Въ этомъ отношеніи попугаи, дрозды и сороки — гораздо талантливѣе: они выучиваются свистать по нѣскольку пѣсенъ.

Вотъ какого бобра убилъ въ Москвѣ мой дядюшка, веселый и остроумный Валерьянъ Макарычъ Мичуринъ; тогда какъ передъ отъѣздомъ его изъ Костромской губерніи сватали ему прекраснѣйшую дѣвушку,

дочь его кузины, у которой я долженъ былъ нарушить свое постничанье въ первый день отъѣзда изъ родительскаго дома. Сватанная невѣста была восьмнадцати-лѣтняя брюнетка, высокая, стройная, красавица собою, умная, добрая, превосходно образованная и съ состояніемъ, вдвое превышавшимъ то, что дали за юродивою московскою княжною.

«Дивны дѣла твоя, Господи! вся премудростію сотворилъ еси».

№ 3. Коля Макаровъ, съ которымъ тоже мы знакомы коротко.

№ 4. Андрюша, т. е. Андрюшище Басмановъ, тоже отчасти намъ знакомый.

№ 5. Вѣра, старшая горничная жены Валерьяна Макарыча. Это была пожилая дѣва, лѣтъ двадцати восьми, неуклюжая, толстая, съ плоскимъ, полнялымъ и помятымъ лицемъ, страшно курносая и еще болѣе того сентиментальная: она безпрестанно вздыхала и закатывала подъ лобъ свои желто-сѣрые глаза. И ей удалось влюбить въ себя Андрюшищу Басманова.

№ 6. Даша, вторая горничная, молоденькая, хорошенькая, веселая и умненькая дѣвочка.

№ 7. Иванъ, поваръ-самоучка, старикъ пятидесяти пяти лѣтъ, съ краснымъ носомъ и лицемъ, дѣлавшій прежде всѣ походы со старшимъ Мичуринымъ, а теперь мажордомъ Мичурина младшаго, страшный резонеръ, который аккуратно каждое воскресенье и въ большіе праздники напивался пьянъ. Тогда онъ ужасно шумѣлъ и грубилъ, а когда былъ трезвъ, то не дурно готовилъ простой обѣдъ и въ особенности вкусно приготовлялъ оладьи съ яблоками.

№ 8. Петръ, двадцати-пяти лѣтній сынъ предъидущаго, тоже поваръ, обучавшійся въ Москвѣ на аристократической кухнѣ генеральши, бабушки жены Валерьяна Макарыча. Но это вышелъ преплохой поваръ и прегорчайшій пьяница и неряха, которому по три раза въ недѣлю доставалось за то, что всякій день изгадитъ какое нибудь блюдо. Затѣмъ, по четыре раза въ недѣлю колотилъ его старикъ-отецъ за хмѣль, неряшество и за грубіянство.

№ 9. Васька, четырнадцати-лѣтній мальчикъ; очень расторопный, скромный, тихій и грамотный, сынъ старосты.

№ 10. Егорка, братъ предъидущаго, тоже хорошій мальчикъ.

№ 11. Протаска, шестнадцати-лѣтній мальчикъ, почти карликъ, черномазый, курносый, косой, страшный неряха, всегда оборванный и грязный, лѣнтяй и непомѣрно-прожорливый. Онъ учился два года сапожному ремеслу, и когда, для испытанія его успѣховъ въ сапожномъ *мастерствѣ*, заставили его шить сапоги, то онъ просидѣлъ цѣлый мѣ-

сяцъ надъ однимъ сапогомъ, и состряпалъ нѣчто среднее между сапогомъ и лаптемъ, т. е. карикатуру того и другаго.

№ 12. Кучеръ Семенъ, данный въ приданое за женою Валерьяна Макарыча. Это былъ величайшій негодяй: пьяница, грубіянъ, воръ и... Замолкаю; ни слова болѣе, щадя память....

№ 13. Галахтіонъ, мой семнадцати-лѣтній мальчикъ, грамотный, въ высшей степени нравственный, тихій, кроткій, привязанный до нельзя къ своему барину, т. е. ко мнѣ, съ которымъ онъ учился вмѣстѣ читать и писать, и, наконецъ, очень хорошій портной.

№ 14. Яковъ, человѣкъ Басманова, приземистый парень, плохой сапожникъ, но отличнѣйшій пьяница и воръ.

№ 15. Иванъ Постояновъ, молодой деньщикъ Валерьяна Макарыча. Попивалъ, но служилъ усердно и расторопно.

№ 16. Иванъ Бахоръ, второй деньщикъ Валерьяна Макарыча, пятидесятилѣтній хохолъ, уморительный, насмѣшливый и дававшій всѣмъ очень удачныя прозвища. Онъ состоялъ на конюшнѣ, помощникомъ при кучерѣ, который страшно важничалъ и барился.

Вотъ какая огромная орда составляла домъ и прислугу Валерьяна Макарыча. И несмотря на то, а скорѣе по причинѣ того, въ домѣ господствовали страшнѣйшіе безпорядокъ и нечистота. Сверхъ огромной дворни, у дяди былъ еще порядочный звѣринецъ изъ слѣдующихъ субъектовъ:

1. Бѣлый шпицъ Адонисъ, ужасно злой и нетерпѣвшій музыки. При первыхъ звукахъ флейты,—дядя очень порядочно игралъ на флейтѣ,—или фортепьяно, или другаго какого инструмента и даже пѣнія, Адонисъ былъ страшнѣйшимъ образомъ.

2. Финція, тоже шпицъ и подруга жизни Адониса. Объ эти собаченки составляли почти единственный предметъ нѣжной страсти подруги жизни Валерьяна Макарыча.

3. Большая чорная кошка, также какъ и Протаска, большая прожора.

4. Два ежа, съ сильными республиканскими и демократическими наклонностями.

5. Черепаха, любившая болѣе всего помои и крапиву.

6. Кроликъ, смирнѣйшій монархистъ и консерваторъ.

7. Филинъ, глубокій мыслитель и профессоръ политической экономіи. Знаніе этой общеполезной науки филинъ проявлялъ такъ: онъ жилъ въ кухнѣ и получалъ на свой столъ ежедневно по большому куску сырой печенки. Но случалось часто, что пьяный поваръ не давалъ ему ничего

въ продолженіи двухъ и трехъ дней сряду. Вслѣдствіе этой поварской забывчивости, мыслитель-филинъ распоряжался всегда такъ: какъ только дадутъ ему печенку, онъ съѣстъ только третью часть, а остальныя двѣ зароетъ въ кучу сору, которая постоянно лежала въ углу кухни и выметалась вонъ только одинъ разъ въ недѣлю, по субботамъ. Такимъ образомъ филинъ всегда застраховывалъ себя отъ двухдневнаго голоданія. По истинѣ великій экономистъ. По крайней мѣрѣ онъ былъ практичнѣе многихъ политико-экономистовъ своихъ современниковъ, и даже позднѣйшей школы.

Итакъ, изъ приведеннаго мною перечня видно, что населеніе дома Валерьяна Макарыча было столь же разнообразно, сколь и многочисленно.

III.

Учитель-лингвистъ и новый языкъ.

Ученье мое наконецъ началось. Ко мнѣ стали ходить четыре учителя.

Первый изъ нихъ, учитель французскаго языка, Петерсъ, былъ старикъ лѣтъ шестидесяти, но чрезвычайно добрый и необыкновенный лингвистъ. Онъ говорилъ на всѣхъ европейскихъ языкахъ, кромѣ русскаго и польскаго. Сверхъ того онъ очень хорошо зналъ языки: латинскій, греческій, старый и новый, еврейскій, арабскій, персидскій и санскритскій. Въ молодости своей онъ служилъ во французскихъ саперахъ, носилъ длинную бороду и участвовалъ во всѣхъ походахъ и войнахъ первой французской республики, консульства и имперіи. Оставя военную службу сейчасъ же, по возвращеніи Бурбоновъ во Францію, онъ эмигрировалъ сперва въ Германію, а потомъ въ Варшаву, гдѣ занимался преподаваніемъ разныхъ языковъ, и еще переводами съ одного языка на другіе. Онъ былъ католикъ, называлъ себя французомъ; но нельзя было сказать съ достовѣрностію, къ какой націи принадлежалъ онъ. Высокаго роста, плотный, сильный, но съ лицомъ немного похожимъ въ профилѣ на орангъ-утанга, это былъ умный, добрый, говорливый и постоянно веселый старикъ. Онъ очень полюбилъ меня, и я, съ своей стороны, тоже сильно привязался къ своему учителю. Да и было за что. Петерсъ никогда не употреблялъ противъ меня не только наказаній, но даже ни угрозъ, не сказалъ мнѣ ни одного браннаго, грубаго, ни даже непріятнаго слова. А между тѣмъ заставлялъ своего ученика всегда и во всемъ *слушаться*, заставлялъ ласкою, просьбою и особеннаго рода балованьемъ.

Старый лингвистъ имѣлъ въ Варшавѣ огромнѣйшій кругъ знакомыхъ между всѣми сословіями, въ особенности между торговцами и промышленниками. Изъ этихъ послѣднихъ наичаще имѣли дѣло съ Петерсомъ аптекаря, кондитеры и колбасники, для которыхъ онъ безпрестанно переводилъ брошюры объ ихъ искусствѣ съ итальянскаго или съ французскаго на нѣмецкій языкъ и на оборотъ. Всѣ они очень любили умнаго и веселаго старика, и дарили ему всего премного, каждый по своей части: аптекаря — дѣвичьей кожи или ячменнаго сахару; кондитеры — шеколаду, конфетъ и разныхъ сладкихъ пирожковъ; колбасники — маленькіе окорока ветчины, или свиныя ножки, сосиски, колбаски, сыръ и проч. И все это Петерсъ приносилъ къ своему любимому ученику, т. е. ко мнѣ, у котораго, поэтому, почти не истощался запасъ съѣдобнаго и лакомствъ. Вслѣдствіе всего этого я сдѣлался чрезвычайно прилежнымъ ученикомъ и всегда твердо зналъ свой урокъ, потому что ужасно боялся огорчить своего учителя. Достаточно было послѣднему наморщить свои густыя брови и быть менѣе говорливымъ для того, чтобы я считалъ себя уже наказаннымъ, несчастнымъ и старался всѣми силами загладить минутный недостатокъ вниманія или прилежанія.

Сверхъ французскаго языка, Петерсъ преподавалъ мнѣ географію; съ исторіей же я знакомился черезъ чтеніе всего, что находилось по части исторіи въ библіотекѣ моего дяди. Метода преподаванія Петерса была довольно устарѣлая, но тѣмъ не менѣе ученикъ его дѣлалъ большіе успѣхи во французскомъ языкѣ.

Вторымъ моимъ учителемъ былъ старшій полковой писарь, обучавшій меня математикѣ, т. е. просто на просто одной ариѳметикѣ.

Третій учитель преподавалъ мнѣ акварельное рисованье. Но уроки эти продолжались не болѣе трехъ мѣсяцевъ и потомъ прекратились и уже болѣе никогда не возобновлялись. Но у меня сохранилась долго послѣ того замѣчательная способность снимать карандашемъ профильные портреты поразительнаго сходства.

Четвертый учитель давалъ мнѣ уроки на скрипкѣ. Это былъ полковой и пьяный музыкантъ, игравшій на волторнѣ и въ то же время пилившій на скрипкѣ. Инструментъ мой вполнѣ соотвѣтствовалъ учителю: это была скрипченка, которую дядюшка мой купилъ для племянника на одномъ аукціонѣ за три рубля. Послѣ десяти такихъ уроковъ, за которые платили по полузлоту, т. е. по $7^1/_2$ копѣекъ сер., и не сдѣлавъ ни малѣйшаго успѣха, я потерялъ всякую охоту учиться на скрипкѣ и уроки музыки прекратились.

Болѣе ничему не обучали меня, ни даже русскому языку. Познанія мои въ родномъ языкѣ ограничивались тѣмъ, что я выучилъ еще въ Россіи, т. е. очень немногимъ, потому что я былъ тогда слишкомъ молодъ и не развитъ для пониманія русской грамматики, которую хотя и долбилъ на память, но ничего изъ нее не понималъ.

Неудачная женитьба Валерьяна Макарыча имѣла самое вредное вліяніе на его характеръ, чувства, привычки и самыя правила. Правда, что онъ не упалъ духомъ, не унывалъ, а продолжалъ быть веселымъ, беззаботнымъ и хорошимъ товарищемъ, но впалъ въ цинизмъ и, махнувъ рукою, опустился, облѣнился, обнеряшился, сдѣлался обжорою, обрюзгъ, началъ толстѣть и въ нѣсколько лѣтъ отростилъ себѣ огромное брюхо. Вслѣдствіе своихъ циническихъ воззрѣній на жизнь, Валерьянъ Макарычъ не думалъ нисколько расширить рамку того тощаго, мизернаго образованія, которое, по его милости, получалъ его племянникъ. Средства къ моему образованію были до того скудны и несоразмѣрны съ моею любознательностію и сильною жаждою познаній, что у меня не было самыхъ необходимыхъ учебныхъ пособій, напримѣръ: находился у меня одинъ старый, изорванный французско-русскій лексиконъ Татищева, но русско-французскаго словаря не имѣлось. Это было огромное неудобство, помѣха въ изученіи французскаго языка, что, при переводахъ съ русскаго на французскій, приводило меня часто въ отчаяніе. Бѣдный мальчикъ спалъ и видѣлъ, какъ бы достать ему необходимый словарь, обѣгалъ и обшарилъ всѣ книжныя лавки Варшавы, но нигдѣ не нашелъ того, чего искалъ. А дядюшка его и пальцемъ не пошевелилъ, чтобы выписать племяннику словарь изъ Россіи, что было очень не трудно сдѣлать. Съ горя, съ отчаянія я вознамѣрился самъ составить такой словарь. Я переплелъ два довольно толстые тома въ восьмую долю листа изъ чистой бумаги, и принялся передѣлывать французско-русскій лексиконъ Татищева на русско-французскій словарь. Но выписывалъ только одни слова безъ фразеологіи, чтобы дѣло составленія лексикона шло успѣшнѣе. Цѣлый годъ я неутомимо работалъ я такимъ образомъ, въ часы досуга, я дошелъ наконецъ до конца первой части Татищева лексикона. Видно на роду было написано мнѣ быть лексикографомъ. Но въ это время получилъ я отъ своего старшаго дяди Валентина Макарыча въ подарокъ русско-французскій словарь Гейма, присланный мнѣ изъ Москвы съ однимъ офицеромъ, возвратившимся изъ отпуска. Счастье мое было неописанно. Въ продолженіе нѣсколькихъ дней я не выпускалъ изъ рукъ лексикона, о которомъ мечталъ столько времени.

Неутомимая жажда дѣятельности, новыхъ познаній, открытій, изобрѣтеній, внушила однажды мнѣ престранную мысль: я вздумалъ создать новый и сколь возможно легкій и звучный языкъ. Какъ только мысль эта пришла мнѣ въ голову, я тотчасъ же принялся за ея осуществленіе: придумалъ новую азбуку, буквы которой были довольно красивы и правильны. Затѣмъ сталъ выдумывать новыя слова, составлять изъ нихъ словарь, а за словаремъ и грамматику новаго языка. Придумалъ особенное окончаніе для глаголовъ, и хотя взялъ за образецъ французскій языкъ, но вводилъ одни только правильные глаголы и раздѣлилъ ихъ не на четыре, а на два спряженія и принялъ не пять, а только два прошедшія времени, соотвѣтствующія французскимъ *Imparfait* и *Passé défini*. Въ прочихъ частяхъ языка и въ синтаксисѣ я придерживался формы тоже французскаго языка, но только избѣгалъ сложности исключеній въ правилахъ и вводилъ повсюду простоту и ясность. Въ то время уже довольно сильно было развито во мнѣ чувство мелодіи и гармоніи, и потому слова моего новаго языка были очень звучны: изъ нихъ исключены были носовые звуки французскаго языка, а равно и сочетанія изъ четырехъ согласныхъ, какъ напримѣръ въ словахъ *отстроить*, *разстрѣлять* и другія жесткія сочетанія, какъ напримѣръ *тщательный*, *отсчитать*. Полгода трудился я надъ изобрѣтеніемъ новаго языка, но тщательно скрывалъ это и отъ дяди, и отъ учителя. Наконецъ я успѣлъ составить грамматику, вписалъ въ лексиконъ нѣсколько тысячъ новыхъ словъ и перевелъ изъ французской хрестоматіи на свой новый языкъ нѣсколько страницъ прозою и одно небольшое стихотвореніе тоже стихами. Затѣмъ, въ одно прекрасное утро, съ торжествомъ открылъ я старику и лингвисту Петерсу мое изобрѣтеніе. Добрый и умный старикъ съ большимъ вниманіемъ просмотрѣлъ грамматику и словарь новаго языка, и потомъ, прослушавъ переводъ французскихъ прозы и стиховъ, добродушно улыбнулся и сказалъ:

— Изобрѣтеніе ваше обличаетъ въ васъ живое воображеніе, хорошій вкусъ и слухъ, относительно гармоніи звуковъ, и съ тѣмъ вмѣстѣ терпѣнія и необычайную настойчивость. Жаль только, что вы потратили такъ много трудовъ и времени на вещь совершенно безполезную.

— Отчего же безполезную — возразилъ я съ живостію, задѣтый за живое замѣчаніемъ учителя. — Вѣдь мой новый языкъ очень звученъ и легокъ для изученія.

— Все это правда. Да только кто же будетъ изучать языкъ, на которомъ никто не говоритъ. Какая получится польза отъ его изученія?

— Ахъ, Боже мой! Полатынѣ никто не говоритъ, а мертвый латинскій языкъ преподается въ учебныхъ заведеніяхъ.

— Но мертвый латинскій языкъ имѣетъ огромную классическую литературу, изученіе которой по оригиналамъ составляетъ краеугольный камень нашего классическаго образованія. А гдѣ же литература изобрѣтеннаго вами языка?

Я былъ уничтоженъ этимъ послѣднимъ замѣчаніемъ своего учителя и повѣсилъ носъ. Великое изобрѣтеніе мое рухнулось отъ одного только аргумента умнаго лингвиста, и я забросилъ куда-то и грамматику, и словарь, и переводную литературу своего новаго языка, который и былъ потерянъ для человѣчества. Но за то съ вящимъ рвеніемъ принялся я за французскій языкъ и за чтеніе, къ которому пристрастился. Чтеніе это пополняло отчасти огромные пробѣлы въ моемъ бѣдномъ образованіи, потому что все интересное и полезное, что удавалось мнѣ прочитать, удерживалось моею удивительною памятью. Такимъ образомъ масса отрывочныхъ, энциклопедическихъ свѣдѣній росла, увеличивалась у меня въ продолженіи всей моей жизни, и, въ случаѣ нужды, пополняла собою недостатокъ образованія классическаго.

IV.

Экипировка нижнихъ чиновъ.

Два года продолжалось мое ученье. Я выросъ, возмужалъ и уже болѣе года носилъ юнкерскій мундиръ. Тогда начались для меня и военныя упражненія. Граббе произведенъ былъ въ полковники, и 1-ю роту принялъ отъ него Мичуринъ, произведенный въ капитаны. По моему желанію Валерьянъ Макарычъ назначилъ ко мнѣ дядьку, лучшаго солдата въ ротѣ, Войцеха, уроженца Литвы. Мнѣ дали ружье и амуницію и затѣмъ, по три раза въ недѣлю, Войцехъ приходилъ на квартиру Мичурина и обучалъ меня сперва выправкѣ, потомъ маршировкѣ и наконецъ ружейнымъ пріемамъ. Я занимался всѣмъ этимъ съ моимъ обычнымъ увлеченіемъ, терпѣніемъ и настойчивостію, такъ что мѣсяца черезъ два я отлично маршировалъ и дѣлалъ всѣ ружейные пріемы. Мало того, отъ своего дядьки, котораго очень полюбилъ, научился я разбирать все ружье, чистить его тертымъ кирпичемъ, полировать у него полировникомъ штыкъ, шомполъ и наружные винтики; потомъ *варить клей*, бѣлить амуницію и начисто ее отдѣлывать, когда клей и

мѣлъ засыхали; далѣе научился укладывать въ ранецъ и выкладывать изъ ранца всѣ солдатскія вещи. Однимъ словомъ все, что исправному солдату необходимо знать и умѣть дѣлать, я узналъ и изучилъ превосходно и по собственному своему желанію, изъ одной любознательности, безъ малѣйшаго съ чьей бы то ни было стороны понужденія или даже простаго совѣта. Наконецъ я выпросилъ у дяди дозволеніе ходить раза по два въ недѣлю на ротное ученье, гдѣ занялъ мѣсто солдата во второй шеренгѣ. Потомъ, время отъ времени, выходилъ я на батальонныя и даже на полковыя ученья. Выпрашивался раза два и на дежурство по ротѣ; я жаждалъ все узнать, испытать, до всего дойти прежде нежели начнется моя дѣйствительная служба, по достиженіи мною тогдашняго совершеннолѣтія, т. е. шестнадцати-лѣтняго возраста.

Въ концѣ мая 1825 года посѣтилъ Варшаву Императоръ Александръ Павловичъ. Во время парадnаго смотра на марсовомъ полѣ, я находился во фронтѣ за солдата и преисправно прошелъ два раза церемоніальнымъ маршемъ, т. е. тихимъ и скорымъ шагомъ, и хорошо присмотрѣлся къ миротворцу Европы и побѣдителю величайшаго полководца и завоевателя новѣйшихъ временъ. Потомъ 1-го іюня я выступилъ съ полкомъ въ лагерь и участвовалъ въ маневрахъ, которыми обыкновенно начиналось это вступленіе, и которыя происходили на обширномъ полѣ за мызою Парижемъ (попольски Парисовъ). Мыза эта лежала въ верстѣ отъ лагеря Литовскаго полка и славилась своими сливками, творогомъ и сметаною.

За парадъ и за маневры, я, наравнѣ съ прочими рядовыми, получилъ отъ Императора два рубля сер. И что замѣчательно: я выдержалъ, выстоялъ до конца, не только парадъ, но и маневры, продолжавшіеся часовъ десять; выдержалъ, несмотря на тяжелую экипировку того времени, несмотря на зной, пыль, жажду и на свой слишкомъ юный, пятнадцати-лѣтній возрастъ, тогда какъ многіе большіе, сильные рядовые заболѣвали во время маневровъ, выбывали изъ фронта и отводились въ лазаретъ. Правда, что послѣ каждаго подобнаго военнаго упражненія въ полной походной аммуниціи, у меня страшно болѣла грудь въ продолженіе цѣлой недѣли. Но ни тогда, ни послѣ никогда не выбывалъ я изъ фронта по случаю внезапной болѣзни или дурноты, и всегда додерживалъ до конца и возвращался съ плаца вмѣстѣ съ прочими, иногда еле передвигая ногами отъ усталости, и чутко прислушиваясь къ солдатской рѣчи, къ анекдотамъ, прибауткамъ и остротамъ, на которыя мастера наши лихіе гвардейскіе солдаты.

Благодаря современнымъ прогресу и гуманности во всемъ и везде,

нынѣшняя солдатская экипировка покажется легкою игрушкою въ сравненіи съ тою же экипировкою въ двадцатыхъ годахъ. Начнемъ съ ружья. Оно было тогда въ полтора раза тяжелѣе нынѣшняго. Носили его не въ правой рукѣ, поунтеръ-офицерски, какъ теперь, а въ лѣвой, держа прикладъ прижатымъ къ лѣвому бедру такъ, чтобы стволъ, идущій въ разрѣзъ плеча, торчалъ отвѣсно, что было чрезвычайно тяжело и неудобно, такъ что послѣ двадцати минутъ такого напряженнаго, неестественнаго держанія ружья, лѣвая рука нѣмѣла, отекала отъ боли въ локтѣ. Кому изъ служившихъ тогда въ нижнихъ чинахъ не памятны грозные слова командировъ:

— Штыки запали! подтяни приклады!

На высокомъ, огромномъ и тяжеломъ киверѣ торчалъ волосяной султанъ, длиною вершковъ двѣнадцати и которымъ, какъ парусомъ во время сильнаго встрѣчнаго вѣтра, гнуло киверъ и голову назадъ и сильно утрудняло, утомляло шествіе. Чешуя кивера туго застегивалась у самаго горла и порядкомъ душила его, вмѣстѣ съ воротникомъ мундира, узкимъ, высокимъ и на жесткой клеенкѣ. Воротникъ этотъ, всегда, вездѣ и на всѣ крючки застегнутый, ежеминутно напоминалъ службу тѣмъ, что подпиралъ голову и, какъ мы замѣтили выше, порядкомъ душилъ горло.

Отъ 1-го мая и до 1-го октября нижніе чины носили бѣлые парусиные панталоны. Въ прочее время года они носили на службѣ бѣлые суконные брюки, которые шли до колѣна, откуда начинались черные суконные штиблеты, застегивавшіяся на множество маленькихъ оловянныхъ пуговокъ. Все это было страшно натянуто и затянуто, такъ что солдатъ могъ согнуться и поднять что либо съ земли неиначе, какъ опершись лѣвою рукою о что нибудь. А упавши, онъ уже не могъ встать безъ посторонней помощи. Иначе у него все бы лопнуло, разорвалось.

Толстая солдатская шинель не лежала въ чехлѣ на верху ранца, какъ теперь, а свертывалась длиннымъ жгутомъ, надѣвалась на правое плечо въ видѣ продолговатаго обруча, и уже поверхъ этого толстаго жгута надѣвался ранецъ, но совсѣмъ не такъ, какъ теперь, свободно, на длинныхъ ремняхъ, держащихся за талію. Нѣтъ! тогдашній ранецъ имѣлъ коротенькіе ремни, которые лежали на самой груди и стягивались сильнѣйшимъ образомъ по бокамъ четырьмя солдатами, такъ что нижній чинъ едва могъ дышать. И все это для того, чтобы ранецъ сзади торчалъ кверху и прикасался затылка. Сохрани Боже, опадетъ на *вершокъ*! Это было тоже вродѣ: «штыки запали». Ни надѣть, ни снять

съ себя ранца безъ посторонней помощи не было ни малѣйшей возможности.

Вотъ какова была экипировка нижнихъ чиновъ первой половины двадцатыхъ годовъ. Со второй половины она начала измѣняться къ лучшему, и улучшалась постоянно.

V.

Характеристическіе разсказы.

Въ гродненскомъ гусарскомъ полку служилъ поручикомъ нѣкто Абрамовичъ, очень высокаго роста и лицомъ чрезвычайно похожій на Императора Николая Павловича, такъ что, во время коронаціи въ Варшавѣ, въ 1829 году, случалось часто, что караулы, по ошибкѣ, выходили въ ружье при проѣздѣ мимо ихъ поручика Абрамовича, и отдавали ему царскія почести.

Смѣнясь однажды съ караула, Абрамовичъ велъ свою команду въ казармы. Проходя по Новому Свѣту мимо своей квартиры, ему вдругъ сдѣлалось лѣнь идти далѣе, въ казармы, до которыхъ оставалось еще версты полторы... «Авось никто не попадется на встрѣчу», подумалъ онъ, и, поручивъ начальство надъ командою старшему унтеръ-офицеру, самъ пошелъ въ свою квартиру, гдѣ облекся въ халатъ для вкушенія безмятежнаго кейфа. Но, увы! безмятежность эта была непродолжительна. Часа черезъ полтора является къ нему на квартиру унтеръ-офицеръ, отводившій караулъ въ казармы и объявляетъ слѣдующее:

Когда онъ съ карауломъ дошелъ до конца Новаго Свѣта и не успѣлъ еще повернуть влѣво, въ Вейскую улицу, на встрѣчу ему попался Цесаревичъ, ѣхавшій изъ Бельведера. Увидя команду безъ офицера, онъ остановился, подозвалъ къ себѣ унтеръ-офицера и спросилъ:

— Кто смѣнившійся съ караула офицеръ?

— Поручикъ Абрамовичъ, ваше императорское высочество! — отвѣчалъ унтеръ-офицеръ.

Цесаревичъ былъ въ ту пору въ самомъ веселомъ расположеніи духа.

— Какой это Абрамовичъ? я что-то не припомню его лицо? спросилъ онъ у своего адъютанта, сидѣвшаго возлѣ него въ коляскѣ.

— Да это тотъ самый высокій офицеръ, который такъ похожъ на Императора, ваше высочество! отвѣчалъ адъютантъ.

— Хорошо. Напомни мнѣ объ немъ завтра на разводѣ: я хочу его видѣть, сказалъ Цесаревичъ и приказалъ ѣхать далѣе.

— Ну, достанется мнѣ сегодня, говорилъ Абрамовичъ, отправляясь на другой день на разводъ на Саксонскую площадь. Но разводъ кончился благополучно. Вслѣдъ за этимъ раздался громкій голосъ Цесаревича:

— Поручикъ Абрамовичъ! пожалуйте ко мнѣ!

Поручикъ вышелъ впередъ и держа правую руку подъ козырекъ, ожидалъ сильнѣйшаго распеканія съ посидѣніемъ на гауптвахтѣ.

— Это вы, милостивый государь, который похожъ на Императора?

Поручикъ не разслушалъ словъ Цесаревича. По пословицѣ: «знаетъ кошка чье сало съѣла», ему показалось такъ:

— Это вы, м. г., который не довелъ караула до казармъ?

Поэтому онъ отвѣсилъ смиреннѣйшій поклонъ и проговорилъ:

— Виноватъ, ваше императорское высочество! Въ послѣдній разъ въ моей жизни; болѣе никогда этого не случится.

Цесаревичъ расхохотался, и тѣмъ все и кончилось.

Въ гв. волынскомъ полку служилъ прапорщикъ Адеркасъ, котораго прозвали Фрицомъ. Это былъ преумный, превеселый малый, но съ тѣмъ вмѣстѣ безстрашный кутила и школьникъ, повѣса первой руки. Влюбился онъ въ одну прехорошенькую воспитанницу театральнаго училища, Клару. Послѣ нѣсколькихъ мѣсяцевъ безплоднаго волокитства и вздыханія, онъ рѣшился украсть изъ училища свою возлюбленную, разумѣется, съ ея согласія. Однажды вечеромъ онъ надѣваетъ на себя двѣ шинели, на голову шляпу, а подъ шинелями прячетъ фуражку. Потомъ отправляется въ театральное училище и безпрепятственно пробирается въ темный корридоръ, гдѣ Клара уже дожидалась его. По счастію въ корридорѣ, въ ту минуту, не было никого, и потому онъ успѣваетъ надѣть на свою возлюбленную одну изъ своихъ шинелей, а на голову ей нахлобучиваетъ фуражку, и выходитъ изъ училища вдвоемъ такъ же безпрепятственно, какъ и вошелъ въ него. Затѣмъ беретъ извощика и возвращается на свою квартиру, но не на ту, гдѣ жилъ прежде, а на другую, которую нанялъ нарочно на случай похищенія и въ другой части города. Въ театральномъ училищѣ все переполошилось, какъ только открыли похищеніе одной изъ самыхъ хорошенькихъ воспитанницъ, и, разумѣется, на другой же день полиція обыскала квартиру Адеркаса; но тщетно: квартира была пуста.

Прошла недѣля со дня похищенія. Влюбленные блаженствовали и *были на* седьмомъ небѣ. Но полиція открыла, наконецъ, убѣжище бѣ-

глянки. На новую квартиру похитителя является полицейскій комиссаръ и предъявляетъ Адеркасу предписаніе немедленно арестовать воспитанницу Клару и отвезти ее въ театральное училище. Молодой офицеръ объявляетъ наотрѣзъ, что онъ ни за что и никому не отдастъ Клары. Пошелъ споръ, окончившійся тѣмъ, что безстрашный повѣса вытолкалъ отъ себя полицейскаго комиссара. Но зная хорошо, что дѣло этимъ не кончится, онъ сейчасъ же отправляется въ свои казармы, беретъ шесть человѣкъ рядовыхъ и, приведя ихъ на свою квартиру, устраиваетъ въ передней караулъ. Часа два спустя, раздается стукъ въ запертую дверь.

— Кто тамъ? спрашиваетъ Адеркасъ.

— Отоприте! Я присланъ къ прапорщику Адеркасу со строжайшимъ предписаніемъ отъ оберъ-полиціймейстера (вице-президента).

— Что вамъ отъ меня нужно? спрашиваетъ молодой прапорщикъ, отпирая дверь и высовывая голову въ сѣни, гдѣ стоялъ знакомый уже ему комиссаръ, имѣя позади себя команду изъ трехъ полицейскихъ служителей.

— Оберъ-полиціймейстеръ приказалъ немедленно арестовать дѣвицу Клару и отвезти ее въ училище.

— А я вамъ уже сказалъ, что я не позволю этого сдѣлать. И теперь повторяю вамъ тоже самое.

— Я имѣю приказаніе взять ее силою.

— Я вамъ не совѣтую это дѣлать.

— Вы шутите, г. офицеръ! А я такъ говорю не шутя, что сейчасъ же и докажу вамъ, арестовавъ дѣвицу Клару. Эй, хлопцы! за мною, прибавилъ рѣшительнымъ голосомъ комиссаръ, обращаясь къ своимъ подчиненнымъ и сдѣлавши попытку ворваться силою въ квартиру похитителя. Но это ему не удалось: изъ передней Адеркаса вышло шесть человѣкъ рослыхъ, сильныхъ усачей, которые, безъ малѣйшей церемоніи, столкнули съ лѣстницы и полицейскихъ служителей, и комиссара—ихъ начальника. Затѣмъ возвратились побѣдоносно съ вылазки въ крѣпость, т. е. въ переднюю своего прапорщика, котораго хорошенькая Клара наградила самыми пламенными и сладкими поцѣлуями.

Попытка снова овладѣть бѣглянкою уже болѣе не возобновлялась со стороны полиціи.

Ну и посадили похитителя на гауптвахту и продержали его подъ арестомъ цѣлую недѣлю. Потомъ выпустили и дѣло тѣмъ кончилось. Клара же осталась при немъ: въ училище болѣе ее не требовали. Это происшествіе случилось мѣсяца за два до польскаго возмущенія въ 1830 г. А въ первую же ночь возстанія онъ былъ задержанъ мятежни-

тами, и потому всю польскую кампанію пробылъ въ плѣну у поляковъ, но вмѣстѣ, неразлучно съ Кларою. Я, уже офицеромъ, тоже былъ тогда задержанъ въ Варшавѣ и очень хорошо помню и Адеркаса, и его хорошенькую Клару, съ которыми онъ разъѣзжалъ по Польшѣ на волахъ да на коровахъ.

Дуэли бывали въ Варшавѣ довольно часто, а порою изъ за вздора. Вотъ одинъ изъ множества тому примѣровъ.

Въ 5-й батарейной ротѣ служилъ штабсъ-капитанъ М—чъ. Это былъ извѣстный въ Варшавѣ и страшнѣйшій бреттеръ. Поединкамъ его не было счета. И многихъ уже отправилъ онъ на тотъ свѣтъ, а самъ выходилъ цѣлъ и невредимъ. Но, наконецъ, и подпалъ подъ пословицу: «Повадился кувшинъ по воду ходить...». 5-я батарейная рота стояла въ мѣстечкѣ «Гура Кальварія» въ тридцати верстахъ отъ Варшавы. Къ этой артиллерійской ротѣ былъ прикомандированъ одинъ поручикъ изъ армейской артиллеріи, очень умный, честный, милый и скромный молодой человѣкъ. М—чъ и онъ были знакомы въ одномъ порядочномъ польскомъ домѣ, гдѣ находилась взрослая дѣвица, хорошенькая собою и прекрасная пѣвица.

Однажды вечеромъ М—чъ и прикомандированный поручикъ NN были въ этомъ домѣ. Поручикъ сталъ просить хорошенькую польку спѣть что нибудь. Она сѣла за фортепьяно и взявъ нѣсколько нотъ, перестала пѣть, сказавъ, что она не въ голосѣ. Но когда она хотѣла встать со стула, поручикъ, стоявшій сзади ее, слегка придержалъ ее рукою за плечо и сказалъ:

— Ради Бога, спойте хоть небольшой романсъ! я васъ не пущу отъ фортепьяно.

Въ этомъ невинномъ движеніи руки поручика не было ничего оскорбительнаго для дѣвицы. Но М—чъ, замѣтивъ это, грозно взглянулъ на поручика и вскорѣ послѣ того ушелъ домой. На другое утро NN получилъ записку отъ М—ча, который вызывалъ поручика на дуэль за то, что онъ оскорбилъ знакомую дѣвицу, положивъ ей на плечо свою руку. NN отправляется въ польскій домъ и показываетъ записку М—ча отцу пѣвицы. Полякъ объявляетъ поручику, что онъ самъ вступился бы за свою дочь, если бы она была дѣйствительно оскорблена; но онъ не видитъ ни малѣйшаго оскорбленія во вчерашнемъ поступкѣ NN, коротко знакомаго въ его домѣ. Затѣмъ, отецъ мнимо-оскорбленной дѣвицы ѣдетъ къ М—чу и говоритъ ему тоже, что говорилъ поручику. Но М—чъ *ничего не* принималъ въ резонъ и объявилъ:

— Вы имѣете полное право не считать оскорбительнымъ поступокъ поручика NN, но ни вы и никто въ мірѣ не въ состояніи отнять у меня право стрѣляться съ кѣмъ бы то ни было за то, *что кажется оскорбительнымъ мнѣ, а не кому другому.*

Дальнѣйшія разсужденія и увѣщеванія оказались безполезными, и поединокъ состоялся. Два противника встали въ шести шагахъ одинъ противъ другаго. Поручикъ имѣлъ первый выстрѣлъ. Онъ стрѣлялъ превосходно. Навелъ онъ дуло пистолета на грудь противника, но не рѣшился выстрѣлить и, опустивъ пистолетъ, сказалъ:

— Послушайте, М—чъ! вы знаете, что я отлично стрѣляю и могу положить васъ на мѣстѣ. Но это будетъ просто смертоубійство съ моей стороны, потому что достаточной причины для такой дуэли у насъ не имѣется. Мнѣ васъ жаль: я выстрѣлю мимо.

— Это ваше дѣло, стрѣлять въ меня или мимо. Но только знайте, что я ни за что не выстрѣлю мимо, даю вамъ въ этомъ честное слово. А вѣдь вы знаете, что я никогда не дѣлалъ промаха.

Поручикъ снова прицѣлился. Его доброе, кроткое сердце содрагалось при мысли — убить человѣка навѣрняка, ни за что; и потому онъ попытался еще разъ помириться съ своимъ ожесточеннымъ противникомъ, и, опустивъ пистолетъ, снова заговорилъ:

— М—чъ! Я готовъ извиниться передъ вами, только бы избавиться отъ страшной необходимости убить васъ. Ради Бога, помиритесь! Ваша кровь будетъ вѣчно жечь мою совѣсть и не дастъ ей покоя.... Я выстрѣлю мимо.

— Стрѣляйте, какъ хотите, но только поскорѣе. Я же не беру назадъ ни одного слова изъ того, что сказалъ вамъ, и повторяю, что выстрѣлю прямо вамъ въ сердце.

Дѣлать было нечего; М—чъ самъ лѣзъ на смерть, и поручику оставалось выбирать одно изъ двухъ: убить, или быть убитымъ. Со слезами на глазахъ и въ сердцѣ поднялъ онъ пистолетъ, выстрѣлилъ и М—чъ упалъ мертвый.

Но поручикъ NN изсохъ, исчахъ отъ тоски при мысли, что онъ безъ причины убилъ человѣка. И веселость, и молодость его погасли преждевременно въ борьбѣ съ угрызеніями совѣсти. Фактъ этотъ хорошо памятенъ всѣмъ варшавскимъ служакамъ. Что до Цесаревича, то, узнавъ объ этомъ поединкѣ, онъ сказалъ: — Собакѣ собачья смерть.

VI.

Особенности варшавской военной службы.

При производствѣ въ офицеры въ гвардію мало обращали вниманія на воспитаніе и на образованіе производимыхъ подпрапорщиковъ или юнкеровъ. Отлично, посредственно или плохо были они образованы, это было все равно, ni chaud ni froid, какъ говорятъ французы. Достаточно если они умѣли читать, писать и знали четыре правила ариѳметики. По части образованія бо̀льшаго не требовалось. Но главное, чего требовалось, это—отличное знаніе фронтовой службы и строгое, неуклонное исполненіе обязанностей службы. Вслѣдствіе такой ограниченности воззрѣній на образованіе, въ гвардейскихъ полкахъ варшавскаго отряда служило много офицеровъ съ самымъ недостаточнымъ образованіемъ, обученныхъ на мѣдныя деньги и съ манерами... ухъ какими!.. Но за то они были отличные служаки и фронтовики. Случилось даже разъ, что прослужилъ нѣсколько лѣтъ гвардейскимъ офицеромъ такой субъектъ, который не умѣлъ ни писать, ни читать. Вотъ какимъ чудомъ совершился такой казусъ.

Въ литовскомъ гвардейскомъ полку, между нижними чинами изъ сдаточныхъ, находился рѣдкій феноменъ: это Веретяннинъ, фельдфебель 1-й гренадерской, т. е. роты Его Императорскаго Высочества. Красавецъ собою, онъ былъ отъ природы очень уменъ и ловокъ, а потомъ въ службѣ такъ образовалъ и воспиталъ себя чтеніемъ и наблюдательностью, что не ударилъ бы себя лицомъ въ грязь ни въ одномъ порядочномъ обществѣ, ни своими манерами, ни разговорами о чемъ угодно. Это былъ истинный «перлъ» нижнихъ чиновъ.

Въ то же самое время жила въ Варшавѣ одна графиня, вдова, лѣтъ двадцати-шести, красавица, очень умная и богатая. Какъ мухи на медъ слетались къ ней многочисленные вздыхатели, съ предложеніями ей и руки съ сердцемъ, и сердца безъ руки. Но графиня не принимала ни отъ кого ни того, ни другаго. Въ толпѣ пламенныхъ ея обожателей находился и командиръ литовскаго гвардейскаго полка генералъ-маіоръ Василій Михайловичъ Кишкинъ. Это былъ человѣкъ добрый, но простой, который отличался усердіемъ, но не умомъ, не образованіемъ, и въ особенности не манерами и не фигурою. Само собою разумѣется, что онъ не былъ счастливѣе прочихъ поклонниковъ графини-красавицы. Но его принимали охотно и позволяли ему вздыхать до обморока. Однажды *генералъ заѣхалъ* къ графинѣ ранѣе обычнаго для утреннихъ визитовъ

часа, и нарочно для того, чтобы застать ее одну. Доложили. Приказали просить генерала въ будуардъ.

— А что? У графини никого теперь нѣтъ?—спросилъ генералъ у человѣка.

— Есть одинъ военный господинъ,—отвѣчалъ человѣкъ.

Генерала подернуло съ досады, что опоздалъ, и онъ побрелъ въ будуаръ любимой имъ красавицы несмѣлымъ шагомъ и немного сконфуженный. Въ будуарѣ графини сидѣлъ въ креслѣ, возлѣ кушетки, Веретянинъ... У генерала въ глазахъ помутилось и ему казалось, что онъ видитъ это во снѣ. При видѣ своего полковаго командира, фельдфебель всталъ съ кресель, но безъ испуга и торопливости, а напротивъ съ необыкновеннымъ достоинствомъ, развязностью и ловкостью. Войдя, генералъ остановился, какъ вкопанный: ни взадъ, ни впередъ, а только выпучилъ свои глаза и разглядывалъ въ недоумѣніи собесѣдника графини, предупредившаго его въ утреннемъ визитѣ. И кто же былъ этотъ счастливецъ?.. фельдфебель!.. Страшно!.. Скандалъ, стыдъ, конфузія!..

Графиня, въ продолженіе полуминуты, наблюдала эту молчаливую сцену между начальникомъ и подчиненнымъ. Легкая, едва замѣтная ироническая усмѣшка скользила по ея прекраснымъ устамъ. Она пошла на встрѣчу къ новому посѣтителю, протянула ему свою крошечную ручку, и съ самою ангельскою улыбкою и ласковымъ голосомъ сказала:

— Здравствуйте, генералъ! Очень рада видѣть васъ. Здоровы ли вы?.. Но что это стоите вы все на одномъ мѣстѣ. Ахъ, да!.. Я увѣрена генералъ, что вы столько любезны, что позволите мнѣ быть полною хозяйкою у себя въ будуарѣ, въ которомъ всѣ мои гости для меня равны; а потому позвольте представить вамъ господина Веретянина, моего хорошаго знакомаго и человѣка вполнѣ порядочнаго и любезнаго. Садитесь же, генералъ, прошу васъ, вотъ въ это кресло, возлѣ меня, такъ. Мсье Веретянинъ! сдѣлайте одолженіе, садитесь попрежнему. Вотъ такъ; я очень рада видѣть вмѣстѣ у себя такихъ любезныхъ гостей.

Они усѣлись одинъ противъ другаго. Обоимъ было не совсѣмъ ловко; но первому болѣе неловко, чѣмъ послѣднему. Графиня завязяла и поддерживала очень умный и живой разговоръ, въ которомъ Веретянинъ участвовалъ болѣе командира, потому что очень хорошо говорилъ по польски. Но генералъ оставался не долго и уѣхалъ отъ графини первый, съ глубокимъ чувствомъ ревности и сильною досадою на своего фельдфебеля, но съ досадою пока безсильною, потому что вопервыхъ: Веретянинъ служилъ и велъ себя такъ, что, какъ говорится, комару

носа не подточитъ; а во вторыхъ: Цесаревичъ очень любилъ фельдфебеля своей роты. Но когда начальникъ захочетъ насолить своему подчиненному, то рано ли, поздно ли, а все-таки успѣетъ въ этомъ.

Черезъ полгода послѣ описанной нами встрѣчи у графини, пріѣхалъ въ Варшаву Императоръ Александръ Павловичъ. Спустя нѣсколько дней, Цесаревичъ сказалъ собравшимся у него командирамъ гвардейскихъ полковъ:

— Господа! я хочу, чтобы фельдфебеля моихъ ротъ и вахмистры моихъ эскадроновъ были произведены въ офицеры въ свои же гвардейскіе полки, и потому прошу васъ приготовить и доставить мнѣ эти представленія наканунѣ отъѣзда Императора.

Полковые командиры поклонились Цесаревичу, поклонились всѣ, кромѣ командира литовскаго полка, который сказалъ слѣдующее:

— Ваше Высочество! Осмѣливаюсь вамъ доложить, что я не желалъ бы имѣть Веретянина офицеромъ въ полку, которымъ имѣю честь командовать.

— Отъ чего-жь это?—спросилъ Цесаревичъ съ видимымъ неудовольствіемъ.

— Потому что, хотя чрезвычайно исправный по службѣ, Веретянинъ не совсѣмъ благонадежнаго поведенія.

— Отъ чего же молчали вы объ этомъ до сихъ поръ, и допускали такъ долго быть фельдфебелемъ моей роты человѣка съ неблагодежнымъ поведеніемъ? Хорошо! Пусть будетъ по вашему. Представьте Веретянина къ производству въ подпоручики въ армію. А я знаю кого произвести на его мѣсто въ гвардію и самъ сдѣлаю представленіе о немъ Императору.

Полковые командиры откланялись Цесаревичу и потомъ сдѣлали требуемыя представленія къ означенному сроку. Императоръ оставилъ Варшаву, подписавъ представленія въ офицеры гвардейскихъ фельдфебелей. Веретянинъ былъ произведенъ въ армію, а вмѣсто его произвели въ литовскій полкъ фланговаго унтеръ-офицера 1-й гренадерской роты Аѳонасьева, который не только что не имѣлъ и тѣни образованія, но даже не зналъ и простой русской грамоты. Онъ былъ потомъ извѣстенъ подъ названіемъ *Нельзи*. Разумѣется онъ самъ сознавалъ, что былъ не на своемъ мѣстѣ, и потому вскорѣ послѣ своего производства, подалъ прошеніе о переводѣ его въ инвалидную роту. Но прошеніе возвратили ему назадъ, и Аѳонасьевъ продолжалъ свою фронтовую службу въ литовскомъ полку. Выучился онъ, не грамотѣ, а только подписывать свою фамилію, *но такими* мудреными письменами, такими каракулями, что разобрать

ихъ могъ бы только одинъ Шамполіонъ младшій. Прошло пять лѣтъ, въ продолженіи которыхъ Аѳонасьевъ ежегодно подавалъ прошеніе о переводѣ и все безуспѣшно. Наконецъ вышелъ однажды вотъ какой случай.

Въ вечернемъ рапортѣ варшавскому коменданту отъ офицера лит. полка, стоявшаго въ караулѣ на Гроховской заставѣ, значилось: «Прибылъ изъ С. Петербурга графъ Орловъ.» Но на другой день графа Орлова въ Варшавѣ не оказалось, потому что онъ и не думалъ выѣзжать изъ Петербурга.

— Левицкій! у тебя вѣчные безпорядки, — говоритъ на разводѣ Цесаревичъ варшавскому коменданту. — Въ твоемъ рапортѣ значится: «прибылъ изъ С.-Петербурга гр. Орловъ, а Орловымъ и не пахнетъ».

— Я не виноватъ, Ваше Выс.! караульный офицеръ донесъ мнѣ о пріѣздѣ гр. Орлова. Вотъ его рапортъ, — и сказавъ это, комендантъ подалъ рапортъ В. Князю. Но ни Цесаревичъ, ни кто другой изъ бывшихъ на разводѣ, не могли разобрать подписи. Но вотъ является генералъ Кишкинъ?

— А! тебя-то намъ и надо: кто это нарисовалъ эти іероглифы?

— Прапорщикъ Аѳонасьевъ, Ваше Выс.

— Въ инвалидъ его. — И такимъ образомъ желаніе Аѳонасьева было наконецъ исполнено, что несказанно его обрадовало.

Вотъ еще одна особенность варшавской военной жизни. На изящество костюма офицеровъ не обращали никакого вниманія, лишь бы не удалялся онъ отъ формы. Нѣкоторые изъ офицеровъ, истративъ свое жалованье, получаемое на серебро и по заграничному положенію, съ раціонными и фуражными деньгами, т. е. жалованье довольно большое, если принять въ соображеніе необыкновенную дешевизну тогдашней жизни въ Варшавѣ; итакъ эти офицеры являлись часто на службу, на разводъ, съ рапортомъ къ начальству въ мундирахъ, весьма поношенныхъ, и въ старыхъ, почернѣвшихъ эполетахъ и шарфахъ, и за это не дѣлалось имъ ни малѣйшаго замѣчанія. Напротивъ: излишнее щегольство считалось порокомъ и заслуживало иногда строгое порицаніе. Случилось однажды, что одинъ изъ офицеровъ гродненскаго гусарскаго полка, кажется Дуровъ, сдѣлалъ себѣ ментикъ и доломанъ со снурками не мишурными, а изъ чистаго серебра. Узнавъ объ этомъ, Цесаревичъ строго распекъ его за роскошь, за мотовство и предложилъ ему довольствоваться впредь одной мишурою.

Въ слѣдующей за симъ главѣ упомяну о нѣкоторыхъ оригинальныхъ личностяхъ того времени, хорошо извѣстныхъ всей Варшавѣ.

VII.

Варшавскіе оригиналы и эксцентрики.

I.

Разсѣянный.

Офицеръ литовскаго гв. полка, Веригинъ, прославился необыкновенною разсѣянностію. Упомяну здѣсь только о нѣкоторыхъ случаяхъ этой забавной разсѣянности.

Когда, играя въ вистъ и сдавая карты, ему нужно было плюнуть,— онъ былъ очень мокротенъ, — то онъ прежде долго объ этомъ думаетъ, а потомъ вдругъ броситъ карту въ плевательницу съ пескомъ, которую всегда ставили возлѣ него, и затѣмъ плюнетъ на ломберный столъ, къ немалому изумленію тѣхъ изъ своихъ партнеровъ, которые играли съ нимъ въ первый разъ. Остальные же, знакомые ему партнеры, уже всегда были приготовлены къ какой нибудь штукѣ съ его стороны.

Часто продѣлывали съ нимъ слѣдующую штуку. Когда онъ обѣдалъ у кого нибудь изъ своихъ товарищей, и человѣкъ подносилъ ему поднось съ водкою, то, наливъ рюмку, онъ по обыкновенію задумывался. Тогда кто нибудь подойдетъ къ нему, возьметъ и выпьетъ налитую рюмку. Веригинъ молча поглядитъ на выпившаго налитую имъ для себя рюмку, опять немного подумаетъ, потомъ преспокойно возьметъ съ подноса кусочекъ чернаго хлѣба съ солью, закуситъ и пойдетъ къ столу.

— Что же ты не выпьешь водки?

— Я уже выпилъ и закусилъ, — отвѣтитъ Веригинъ и примется обѣдать, въ полной увѣренности, что онъ водку пилъ.

Веригинъ часто обѣдалъ у женатаго капитана Граббе. Онъ имѣлъ привычку послѣ обѣда подходить къ хозяйкѣ къ ручкѣ, а хозяина обнимать и цѣловать. И вотъ когда, вставши изъ за стола, приметъ исполнять свой обычный церемоніалъ благодаренія, Граббе встанетъ вмѣсто своей жены, и Веригинъ преважно поцѣлуетъ у него руку и затѣмъ соберется обнять и поцѣловать жену, стоявшую возлѣ мужа.

— Нѣтъ, мой батюшка! — скажетъ она тогда; — вы можете подходить къ рукѣ моего мужа, но ужъ меня-то избавьте отъ объятій и *поцѣлуевъ*. Вѣдь сегодня не Христовъ день.

Но когда и гдѣ Веригинъ особенно отличался своими разсѣянностями, такъ это на батальонныхъ и полковыхъ ученьяхъ. Маршируетъ бывало себѣ одинъ одинешенекъ, когда батальонъ давно уже повернулся на право или на лѣво-кругомъ. Всѣ помираютъ со смѣху на него глядя.

II.

Образецъ неловкости.

Ко—ъ, длинный, худощавый и нескладный офицеръ волынскаго полка, извѣстенъ былъ всей Варшавѣ своею необыкновенною неловкостью, которая вошла въ пословицу. Дня не проходило безъ того, чтобы онъ не сдѣлалъ гдѣ нибудь и какой нибудь неловкости. Онъ сталъ подъ конецъ бичемъ и ужасомъ своихъ городскихъ знакомыхъ и гостиныхъ тѣхъ домовъ, куда былъ вхожъ. Сколько перебилъ онъ посуды, дорогихъ сервизовъ, переломалъ стульевъ, креселъ, столовъ и разной другой мебели! А что происходило на вечерахъ и балахъ, на которыя приводила Ко—а злая судьба хозяевъ, посѣтителей и, въ особенности, посѣтительницъ тѣхъ баловъ! Появленіе его производило всеобщее смятеніе, испугъ въ рядахъ танцующихъ, между которыми, какъ на зло всѣмъ, любилъ онъ фигурировать. Сколько бывало тогда оттоптанныхъ ногъ, разорванныхъ или оборванныхъ дамскихъ платьевъ! Одну даму ударитъ онъ объ уголъ стола, или о кресло, другую уронитъ, съ третьею вмѣстѣ и самъ шлепнется на полъ въ растяжку. Какъ опустошительный ураганъ промчится онъ иногда по паркету бальной залы, изъ которой часто заблаговременно удалиться въ половинѣ бала, чтобы наконецъ не вынудить кого нибудь закричать съ отчаянія: sauve qui peut и, такимъ образомъ, не произвести чего нибудь въ родѣ всеобщаго бѣгства гостей съ бала въ разныя стороны. И долго послѣ того бывалъ памятенъ для хозяевъ и его гостей тотъ балъ, на которомъ присутствовалъ долговязый и неловкій офицеръ Ко—ъ. И разсказы объ этомъ балѣ, переходя изъ устъ въ уста, изъ дома въ домъ, облетали всю Варшаву. Однимъ словомъ изустная варшавская хроника о неловкостяхъ Ко—а была такъ велика, что ее хватило бы на цѣлые полгода для фельетона любой ежедневной газеты.

Однажды на смотру, проходя по церемоніальному маршу и тихимъ шагомъ мимо Цесаревича, онъ отсалютовалъ ему своею полусаблею такъ неловко, что задѣлъ за свой киверъ и сбилъ его съ своей головы.

— До сихъ поръ я только слышалъ, что Ко—ъ неловокъ, а теперь это вижу, — сказалъ В. Князь и засмѣялся.

III.

Варшавскій Лукинъ.

Жилъ въ то время въ Варшавѣ нѣкто Войдзынскій. Это былъ отставной ротмистръ, служившій еще у Наполеона въ польскомъ гусарскомъ полку, который назывался *Золотыми гусарами* (Zlote huzary). Войдзынскій отличался и былъ извѣстенъ во всей Польшѣ своею гигантскою силой, которая могла бы поспорить съ силою извѣстнаго когда-то въ Россіи Лукина. Онъ былъ небольшаго роста, но необыкновенно плотенъ и широкоплечъ. Уволенный отъ службы съ мундиромъ и съ пенсіономъ, онъ по большей части ходилъ въ своемъ чрезвычайно красивомъ мундирѣ, горѣвшемъ золотомъ своихъ снурковъ, кистей, шитья и пуговицъ. За то, въ началѣ его поселенія въ Варшавѣ, и дѣланы были мошенниками неоднократныя на него нападенія въ ночное время, когда вооруженный только одною тоненькою тросточкой, онъ безстрашно проходилъ по узкимъ и кривымъ улицамъ Варшавы, возвращаясь домой изъ гостей. Но дорого платились за эти попытки дерзкіе мошенники: всякое нападеніе на Войдзынскаго стоило имъ множества переломанныхъ рукъ, ногъ, реберъ, скулъ и разбитыхъ череповъ по милости единственнаго оборонительнаго оружія отставнаго гусара: пары его мощныхъ кулаковъ. Наконецъ, извѣдавъ всесокрушающую силу этихъ кулаковъ, варшавскіе мошенники сознали свое безсиліе и превосходство силы гусарскаго ротмистра, смирились передъ нимъ и прекратили дальнѣйшія попытки ограбить его. При встрѣчѣ съ нимъ, они вѣжливо давали ему дорогу, или въ испугѣ убѣгали со всѣхъ ногъ, при появленіи его сіявшаго золотомъ мундира. Всѣхъ проявленій его силы приводить здѣсь не стану: они слишкомъ многочисленны. Но упомяну только о двухъ случаяхъ, въ которыхъ сила эта проявлялась съ особеннымъ блескомъ и съ эксцентричностію.

Шелъ онъ однажды ночью домой по пустынной и незастроенной Вейской улицѣ, находящейся на концѣ города. По обѣимъ сторонамъ тянулись одни заборы, да еще молодые тополи. Вдругъ попадается ему навстрѣчу толпа пьяныхъ кавалерійскихъ мародеровъ, всего человѣкъ десять. При видѣ гусарскаго мундира, толпа остановилась и стала подступать къ Войдзынскому. Ротмистръ прислонился спиною къ молодому тополю и сказалъ мародерамъ грознымъ голосомъ:

— Прочь отъ меня, негодяи! Идите своею дорогою, а не то вамъ *будетъ худо*.

Но двое подошли уже къ ех-гусару и хотѣли наложить на него свои руки, какъ вдругъ получили два такіе толчка кулакомъ и ногою, что отлетѣли на нѣсколько шаговъ и упали на землю со стономъ и ругательствами. Остальные восемь человѣкъ не разсудили спасовать и отстать отъ силача: надѣясь на свою численную силу, они продолжали угрожать ему. Тогда Войзынскій схватился своими геркулесовскими руками за молодой и еще тонкій тополь и, вырвавъ его съ корнемъ, принялся махать имъ, какъ палкою. Послѣ такого образчика силы, мародеры обратились въ бѣгство, направляясь къ своимъ казармамъ, отстоявшимъ въ верстѣ отъ конца Вейской улицы. Войдзынскій, съ тополемъ въ рукахъ, погнался за негодяями и преслѣдовалъ ихъ до самыхъ казармъ, А придя туда, вызвалъ къ себѣ дежурнаго по полку офицера и сказалъ ему:

— Г. офицеръ! Я пригналъ къ вамъ ваше стадо. Прикажите запереть ихъ въ стойло для того, чтобы они не шлялись по ночамъ въ городѣ, и не нападали на мирныхъ и беззащитныхъ гражданъ.

Въ другой разъ, Войдзынскій шелъ ночью по Францишканской улицѣ вдоль невысокаго деревяннаго забора. Навстрѣчу ему попадается конный патруль изъ жандармовъ: было ихъ—четыре рядовыхъ и одинъ-унтеръ-офицеръ.

— Кто идетъ? спросилъ Войдзынскаго жандармскій унтеръ-офицеръ.

— Свой, отвѣчалъ ротмистръ, одѣтый на этотъ разъ въ партикулярное платье.

— Да что ты за человѣкъ? продолжалъ допрашивать унтеръ-офицеръ съ явнымъ намѣреніемъ придраться.—Говори сейчасъ, кто ты такой, а не то худо будетъ.

— Чортъ! отвѣчалъ Войдзынскій, выведенный изъ терпѣнія безотвязчивостію жандарма.

— А вотъ я сейчасъ посмотрю, точно ли ты чортъ, закричалъ сердито унтеръ-офицеръ и подъѣхалъ къ ротмистру съ поднятымъ палашемъ.

— Оставь меня въ покоѣ и поѣзжай своею дорогою, а въ противномъ случаѣ я брошу тебя за заборъ.

— А вотъ я сейчасъ покажу тебѣ, какъ можно бросить меня за заборъ, завопилъ гнѣвно начальникъ патруля. Но прежде нежели удалось ему отвѣсить по спинѣ Войдзынскаго ударъ саблею плашмя, онъ былъ схваченъ за ногу, сорванъ съ лошади и брошенъ за заборъ. Двое изъ жандармовъ подоспѣли было на помощь къ своему начальнику, но сейчасъ же послѣдовали за нимъ въ воздушное путешествіе черезъ заборъ. Остальные два жандарма ускакали въ казармы и донесли своему начальству, что они повстрѣчались съ чортомъ, который побросалъ за заборъ ихъ унтеръ-офицера и двоихъ товарищей.

IV.

Еще одинъ силачъ.

Служилъ въ Варшавѣ, въ одномъ изъ кавалерійскихъ полковъ, офицеръ, тоже страшный силачъ, но который не былъ извѣстенъ какъ Войдзынскій, потому что не успѣлъ еще выказать своей силы, находившейся у него какъ бы подъ спудомъ. Офицеръ этотъ, довольно высокаго роста, сознавалъ въ себѣ присутствіе огромной физической силы, упражняясь въ ней и дѣлая разные невинные опыты у себя на квартирѣ. Но ни разу не представился ему случай выказать эту силу внѣ дома, публично, хотя онъ постоянно искалъ такого случая. Для этого часто нарочно хаживалъ онъ ночью по самымъ узкимъ и кривымъ улицамъ, проходилъ черезъ опасныя мѣста, и все напрасно: ни одинъ мошенникъ не попадался къ нему на встрѣчу; словно какъ бы кто застраховалъ его отъ всякихъ мошенниковъ и отъ нападеній. Вышелъ онъ, наконецъ, въ отставку и поселился въ своемъ имѣніи, въ Литвѣ. Но желаніе испытать серьезно свою силу преслѣдовало его въ деревнѣ и подъ конецъ сдѣлалось его маніей. Онъ пустился на поиски опасностей, на встрѣчу страшнымъ ночнымъ приключеніямъ. Былъ это человѣкъ богатый. Взялъ онъ однажды сумму въ двѣ тысячи червонцевъ золотомъ, положилъ въ шкатулку, приказалъ запречь свой экипажъ и пустился путешествовать на своихъ лошадяхъ: но безъ человѣка, а только со шкатулкою. И разъѣзжалъ онъ по своей губерніи, довольно лѣсистой, проѣзжалъ по большимъ и проселочнымъ дорогамъ, останавливаясь на ночлеги по большой части въ жидовскихъ корчмахъ, стоявшихъ уединенно. А во время каждаго ночлега или кормежки, вносилъ съ собою въ избу шкатулку, и при хозяинѣ и его посѣтителяхъ, отпиралъ эту шкатулку, вынималъ изъ нее червонцы, все новенькіе, и какъ бы любуясь ими, медленно пересчитывалъ ихъ, уставлялъ въ кучки на столъ и потомъ снова укладывалъ въ шкатулку, запиралъ ее и ставилъ подъ столъ. Цѣлыхъ два мѣсяца путешествовалъ онъ такимъ образомъ, изъѣздилъ всю губернію, соблазнялъ своимъ золотомъ и корчмарей, и посѣтителей ихъ, а страшныхъ приключеній нѣтъ какъ нѣтъ. Но, наконецъ, судьба сжалилась надъ нашимъ оригинальнымъ путешественникомъ и послала ему приключеніе самаго мрачнаго свойства, способное произвести очень сильныя ощущенія даже у человѣка самаго сильнаго и *безстрашнаго*.

Остановился онъ однажды на ночлегъ въ жидовской корчмѣ, лежавшей среди густаго, мрачнаго лѣса. Было часовъ десять вечера. Ночь была осенняя, холодная и темная. Пересчитавъ, по обыкновенію, свои червонцы, онъ поставилъ шкатулку подъ столъ и, расположившись на лавкѣ около стола, принялся читать книгу. Прошло болѣе часа времени. Было около полуночи. Вдругъ кто-то снаружи постучалъ въ двери корчмы. Хозяинъ-еврей вышелъ въ сѣни и спросилъ:

— Кто тамъ?

— Прохожій, раздался грубый мужской голосъ снаружи. Дверь была отперта и вслѣдъ затѣмъ вошелъ въ корчму католическій монахъ высокаго роста и сказалъ басомъ:

— Laudatum Jesus Christus!

Затѣмъ, монахъ сѣлъ на лавку около двери. Вскорѣ послѣ того раздался новый стукъ въ двери, и въ корчму вошли еще три монаха, тоже рослыхъ и дюжихъ. Всѣ четверо усѣлись рядомъ на лавкѣ и поглядывали искоса и молча на проѣзжаго искателя ночныхъ приключеній. Прошло около часа такого безмолвнаго созерцанія. Но проѣзжій спать не ложился, а все читалъ книгу. Это, повидимому, не нравилось монахамъ и возбуждало въ нихъ нетерпѣніе. Наконецъ, одинъ изъ нихъ всталъ, подошелъ къ столу и заговорилъ съ проѣзжающимъ.

— Видно книга очень хороша, что вы все ее читаете и не ложитесь спать?

— Да, книга очень интересна; да къ тому же мнѣ что-то и спать не хочется.

— А когда вамъ спать не хочется, то нельзя ли позабавить насъ и показать вашу шкатулку. Говорятъ, она такая мудреная, что любо глядѣть на нее, когда вы отопрете ее.

Во время этого разговора подошли къ столу еще два монаха, — четвертый всталъ около двери, словно на часахъ. Путешественникъ догадался, какого сорта были эти монахи, которые взяли себѣ въ товарищи:

«Булатный ножъ да темну ночь».

Неизъяснимо сладкое и сильное ощущеніе отозвалось въ груди безстрашнаго искателя этихъ ощущеній. Давно желаемая встрѣча съ героями большихъ дорогъ, да темныхъ лѣсовъ и ночей, была привѣтствована имъ въ глубинѣ души, какъ счастливое событіе, какъ первое любовное свиданіе. Самымъ тихимъ, покойнымъ и хладнокровнымъ голосомъ сказалъ онъ тремъ лже-монахамъ, стоявшимъ близъ него у стола:

— Мнѣ очень лестно сдѣлать что либо пріятное для васъ, святые

отцы. Шкатулка моя стоитъ здѣсь, подъ столомъ. Не угодно ли вамъ самимъ ее взять и отпереть. Вотъ вамъ и ключъ отъ нее.

Одинъ изъ лже-монаховъ взялъ со стола подсвѣчникъ и сталъ свѣтить подъ столомъ, куда нагнулись двое другихъ за шкатулкою. Но въ это самое мгновеніе путешественникъ схватываетъ за волосы правою рукою одного, а лѣвою другаго и со всею своею силою ударяетъ лобъ объ лобъ нагнувшихся лже-монаховъ. Точно двѣ яичныя скорлупы раздробились головы переодѣтыхъ разбойниковъ, и мозгъ съ кровью брызгнулъ во всѣ стороны. Они даже и не пикнули, а упали мертвые подъ столъ. Стоявшій на часахъ у двери разбойникъ пустился бѣжать изъ корчмы и скрылся въ лѣсу. Но тотъ, который свѣтилъ, былъ тотчасъ же схваченъ силачемъ-путешественникомъ, и связанъ по рукамъ и по ногамъ. При немъ и при мертвыхъ злодѣяхъ находились подъ рясами ножи, кистени и пистолеты. По совершеніи этого подвига, побѣдитель прилегъ на скамейку уснуть немного, приказавъ своему кучеру бодрствовать и наблюдать за связаннымъ разбойникомъ. На другое утро рано выѣхалъ изъ корчмы, и положивъ возлѣ себя въ экипажъ связаннаго лже-монаха, доѣхалъ съ нимъ до ближайшаго города, гдѣ передалъ его въ руки правосудія. Затѣмъ возвратился домой, вкусивъ всю полноту сладости сильныхъ ощущеній, которыхъ уже болѣе и не искалъ, удостовѣрясь самымъ фактическимъ образомъ въ высокой степени своей силы.

V.

Геній остроумія.

Одною изъ первоклассныхъ знаменитостей той эпохи въ Варшавѣ былъ актеръ Жулковскій. Превосходный комикъ и съ тѣмъ вмѣстѣ драматургъ, написавшій множество комедій и водевилей на польскомъ языкѣ, это былъ самый остроумный человѣкъ, какой когда либо и гдѣ либо существовалъ на свѣтѣ. Но комедіи его не имѣли высокаго драматическаго достоинства, и держались на сценѣ, только благодаря превосходной игрѣ въ нихъ самого автора. Остроуміе Жулковскаго было до того неистощимо, что каждый день его жизни былъ ознаменованъ множествомъ остротъ, каламбуровъ, эпиграммъ и сатиръ, которыя отпускалъ онъ повсюду: на сценѣ театра, у себя дома, въ гостяхъ, на улицѣ и во всѣхъ публичныхъ мѣстахъ.

Въ продолженіи нѣсколькихъ лѣтъ издавалъ онъ журналъ *Momus*, *который* выходилъ по три раза въ недѣлю, и имѣлъ всего четыре стра-

ницы въ четвертую долю листа большаго формата. Страницы этого журнала наполнялись разными забавными и остроумными анекдотами, новостями, разсказами о текущихъ интересныхъ событіяхъ и забавныхъ происшествіяхъ, и коротенькими статьями, юмористическими, сатирическими, карикатурными и обличительными. А на послѣдней страницѣ каждаго нумера, на концѣ, помѣщалось отъ шести до десяти каламбуровъ, большею частію очень удачныхъ. Журналъ этотъ издавался однимъ Жулковскимъ, безъ всякихъ сотрудниковъ и безъ подписчиковъ, и распродавался въ день выхода на улицахъ, копѣйки по три за экземпляръ и въ огромномъ количествѣ.

Жулковскій былъ довольно тученъ, большой гастрономъ и обжора и обладалъ чудовищнымъ аппетитомъ, самымъ исправнымъ желудкомъ и постоянно веселымъ расположеніемъ духа. Никто, никогда и нигдѣ не видалъ его печальнымъ или задумчивымъ. И несмотря на этотъ знаменитый аппетитъ, его кормили и поили даромъ во всѣхъ трактирахъ, кофейняхъ, кандитерскихъ и винныхъ погребахъ и вотъ почему:

Жулковскій нигдѣ никогда не бывалъ одинъ. Едва покажется онъ на улицѣ, какъ сейчасъ же около него образуется свита, которая провожаетъ его всюду. Жулковскій идетъ и безпрестанно разговариваетъ съ своими спутниками, шутитъ, балагуритъ и сыплетъ остротами и каламбурами направо и налѣво. Зайдетъ въ кандитерскую, или въ кофейный домъ, или къ ресторатору; а за нимъ туда же вваливается ватага изъ сорока, пятидесяти и болѣе человѣкъ. Жулковскій спроситъ себѣ чего нибудь и примется ѣсть и пить. И всѣ его спутники спрашиваютъ себѣ ѣсть или пить, расплачиваются и размѣщаются на диванахъ, стульяхъ, становятся на столы, влѣзаютъ на окна и всѣ смотрятъ на Жулковскаго, слушаютъ его съ любопытствомъ, съ благоговѣйнымъ вниманіемъ. А онъ себѣ ѣстъ въ обѣ щеки, пьетъ, но не перестаетъ разговаривать съ окружающею толпою; спрашиваетъ, отвѣчаетъ, разсказываетъ и все остритъ; — и всѣ помираютъ со смѣху, всѣ веселы и счастливы, что видятъ и слушаютъ знаменитаго, великаго Жулковскаго. И заведеніе, гдѣ онъ завтракалъ, обѣдалъ или пилъ кофе, дѣлало огромную выручку въ тотъ день, которая съ большимъ барышемъ возвращала то, что было съѣдено и выпито даромъ великимъ комикомъ и острякомъ.

Разумѣется, при такой гласной и безпрестанной манерѣ острить и смѣшить всегда и повсюду почтеннѣйшую публику, Жулковскій часто задѣвалъ и кололъ самолюбіе многихъ извѣстныхъ и сильныхъ тогдашнихъ варшавскихъ личностей, и пріобрѣлъ себѣ много враговъ. И на

разъ приходилось ему платиться за свои публичныя остроты, эпиграммы и каламбуры. Но необыкновенная его находчивость, никогда ему не измѣнявшая, помогала ему выпутываться изъ разныхъ затрудненій, непріятностей и временныхъ бѣдъ, гоненій и бурь, возбужденныхъ его сатирическими выходками. Анекдотовъ о Жулковскомъ такъ много, что можно было бы составить изъ нихъ порядочную книгу. Но я приведу здѣсь только нѣкоторые изъ тѣхъ, которые вспомнилъ, и приведу для пополненія очерка замѣчательной личности варшавскаго комика и остряка.

Всякій разъ, когда игралъ онъ на сценѣ роль въ какой нибудь комедіи или въ водевилѣ, онъ непремѣнно прибавлялъ къ своей роли что нибудь свое, и всегда очень остроумное и чрезвычайно кстати; и каждый разъ новое, что смѣшило всѣхъ зрителей, но нѣкоторыхъ изъ нихъ сердило, бѣсило своими мѣткими, хотя и тонкими намеками. Наконецъ, вслѣдствіе частыхъ жалобъ начальству на Жулковскаго отъ лицъ, которыхъ самолюбіе было оскорблено его *прибавленіями*, знаменитаго комика обязали подпискою, чтобы онъ болѣе не дѣлалъ никакихъ прибавленій въ своихъ роляхъ на сценѣ. Вскорѣ послѣ этого запрещенія, Жулковскому привелось въ одной пьесѣ выѣхать верхомъ на лошади, но сидя лицемъ къ хвосту. И вдругъ въ эту минуту лошадь вздумала сдѣлать кой-что, чего не полагалось въ пьесѣ. Жулковскій сейчасъ же сталъ колотить ее ладонью по крупу и приговаривать:

— Не надо прибавленій, не надо; прибавленія запрещены. — Потомъ обратясь къ публикѣ, прибавилъ:

— Почтеннѣйшая публика! Извините, если это прибавленіе не очень остроумно: оно не мое. Мнѣ же запрещено дѣлать прибавленія.

Какъ мы уже замѣтили выше, публичныя остроты Жулковскаго накликали часто на него разныя непріятности и бѣды. Чаще всего сажали его подъ арестъ и всегда на одну и ту же гауптвахту, что на Саксонской площади. Рѣдкій мѣсяцъ не проводилъ онъ одной или двухъ ночей подъ арестомъ. Наконецъ, въ одно прекрасное утро подъѣзжаетъ къ этой гауптвахтѣ цѣлый обозъ съ мебелью, посудою и разною домашнею рухлядью. При этомъ обозѣ находился Жулковскій и его семейство. Остановивъ обозъ передъ платформою, онъ вошелъ въ офицерскую комнату и обратился къ караульному офицеру съ слѣдующими словами:

— Г. офицеръ! Такъ какъ меня очень часто сажаютъ на эту гауптвахту, *то я* и рѣшился переѣхать сюда со всѣмъ моимъ имуществомъ

и съ семействомъ. Это будетъ очень удобно и для меня, и для начальства: я буду въ одно время и у себя дома, и подъ арестомъ. Итакъ, позвольте мнѣ размѣститься здѣсь.

Разумѣется, офицеръ не согласился на это. Но Жулковскій настаивалъ и просилъ офицера сейчасъ же донести объ его намѣреніи высшему начальству, прибавя, что иначе онъ не отъѣдетъ отъ платформы. Дѣлать было нечего. Офицеръ написалъ рапортъ о случившемся и отправилъ его къ высшему начальству, отъ котораго послѣдовалъ скоро и отвѣтъ. Приказали Жулковскаго посадить на сутки на гауптвахту, но безъ его мебели и безъ семейства, которые и возвратились на свою квартиру.

Кто-то и за какую-то остроту вызвалъ Жулковскаго на дуэль. Противники сошлись въ рощѣ на Бѣлянахъ (загородное гулянье на берегу Вислы, верстахъ въ двухъ отъ Варшавы). Противникъ Жулковскаго страшно хорохорился и много разъ повторялъ все одно и тоже, а именно:

— М. государь! Одинъ изъ насъ долженъ остаться здѣсь, на мѣстѣ, непремѣнно остаться! Слышите-ли? Или вы, или я долженъ непремѣнно остаться здѣсь.

— Въ такомъ случаѣ прошу васъ остаться здѣсь. Для васъ это все равно: вы — холостые. Меня же дожидается жена къ обѣду. Теперь уже два часа, самое время обѣдать; бѣда, если опоздаю: жена у меня пресердитая. Итакъ, мое вамъ почтеніе.

Противникъ Жулковскаго засмѣялся и комикъ уѣхалъ домой. Поединокъ тѣмъ и кончился.

Въ другой разъ опять кто-то вызвалъ Жулковскаго на поединокъ.

— Хорошо, согласенъ, — отвѣчалъ комикъ. — Но помните, что я, какъ вызванный, имѣю право выбирать оружіе. И я пользуюсь этимъ правомъ и выбираю себѣ оружіе, а какое — увидите завтра. Поэтому и предлагаю вамъ запастись на завтра всякимъ оружіемъ, чтобы имѣть возможность драться со мною. Итакъ до завтра, до свиданія въ Бѣлянахъ, куда я буду ровно къ одиннадцати часамъ утра.

Вызыватель на поединокъ принялся обходить оружейныхъ мастеровъ и брать на прокатъ всевозможныя оружія.

На другой день въ 10½ часовъ утра Жулковскій находился на назначенномъ мѣстѣ и принялся прохаживаться по опушкѣ лѣса. Въ 10¾ часа показалась по дорогѣ отъ Варшавы большая коляска, а въ той колескѣ сидѣлъ противникъ Жулковскаго съ секундантомъ, и потомъ возвышалась цѣлая пирамида разнаго оружія. Чего тутъ не было? И пистолеты, и ружья, и сабли, и шпаги, и кинжалы, и копья, и алебарды, и простые охотничьи ножи, и топоры. Однимъ словомъ были тутъ всевозможныя новыя и древнія оружія.

— Ну, полонъ ли вашъ запасъ оружія? спрашивалъ Жулковскій, протягивая руку своему противнику, когда тотъ подъѣхалъ къ опушкѣ лѣса и вышелъ изъ коляски.

— Кажется, что все тутъ находится?

Жулковскій заглянулъ въ коляску и сказалъ:

— Извините, главнаго моего оружія тутъ не имѣется.

— А какое же ваше оружіе?

— А вотъ оно сейчасъ будетъ здѣсь, къ вашимъ услугамъ. Эй, господинъ бомбардиръ! Пожалуйте сюда, закричалъ Жулковскій, обращаясь къ лѣсу. И изъ лѣса выѣхала пушка съ прислугою и помѣстилась на высокомъ берегу Вислы.

— Вотъ мое оружіе, м. г.! Теперь не угодно ли вамъ поѣхать обратно въ Варшаву и, доставши тамъ пушку, возвратиться съ нею сюда. Я васъ буду дожидаться здѣсь. Тогда мы размѣстимся такъ: одну изъ пушекъ, по жребію, велимъ переправить на тотъ берегъ Вислы, затѣмъ, зарядивъ обѣ пушки, сами встанемъ возлѣ нихъ съ зажженными фитилями, прицѣлимся другъ въ друга и по данному платкомъ знаку, выстрѣлимъ одинъ въ другого. Согласны ли вы на это?

— Согласенъ, отвѣчалъ противникъ Жулковскаго, смѣясь и протягивая ему руку; да только не теперь, а когда нибудь въ другой разъ. Теперь же позвольте просить васъ со мною на завтракъ. Утренняя прогулка возбудила во мнѣ отличнѣйшій аппетитъ. Да и вы, я думаю, ощущаете тоже самое.

— Отъ завтрака я никогда не отказываюсь, возразилъ Жулковскій. И наши дуэлисты, вмѣстѣ съ секундантами, отправились обратно въ Варшаву и прямо къ лучшему ресторатору, гдѣ бывшій противникъ Жулковскаго угостилъ всѣхъ превосходнѣйшимъ образомъ.

КАНЦЕЛЯРІЯ
18 MARS 88

VIII.

Герой и жертва анекдотовъ

Заключу галлерею варшавскихъ оригиналовъ разсказомъ еще объ одной весьма замѣчательной личности. Это былъ мой товарищъ по школѣ гвардейскихъ подпрапорщиковъ, нѣкто Пукаловъ, подпрапорщикъ волынскаго полка, очень хорошо извѣстный цѣлой Варшавѣ безчисленными анекдотами, для которыхъ посвятилъ онъ себя и за которые, сверхъ частыхъ арестовъ, онъ поплатился еще и тѣмъ, что вмѣсто трехъ или четырехъ, прослужилъ десять лѣтъ въ нижнемъ чинѣ подпрапорщика, и былъ, наконецъ, произведенъ въ офицеры не въ гвардію, на что давали ему право его умъ, образованіе и хорошее состояніе, а въ пѣхотный армейскій полкъ.

Побочный сынъ графа Аракчеева, Пукаловъ былъ очень уменъ и превосходно образованъ, окончивъ полный курсъ въ Геттингенскомъ университетѣ. Сверхъ наукъ, онъ зналъ превосходно языки: русскій, нѣмецкій, англійскій, итальянскій и латинскій. Вдобавокъ: отлично игралъ на фортепьяно и читалъ ноты à livre ouvert. Наружность его была чрезвычайно оригинальна. Средняго роста, но плотный и сутуловатый, онъ былъ ни хорошъ, ни дуренъ собою, но имѣлъ лице очень выразительное. Смуглый, какъ цыганъ, съ глазами темно-карими, съ волосами черными какъ смоль, онъ имѣлъ черты довольно правильныя и подвижныя до того, что въ какія нибудь пять минутъ, онъ сдѣлаетъ десять гримасъ, нисколько одна на другую не похожихъ, и достоинство которыхъ состояло въ томъ, что для незнакомаго ему человѣка, онѣ показались бы не умышленными гримасами, а природною злополучною физіономіей, такъ натурально умѣлъ онъ коверкать свое лице. Напримѣръ: въ одно и тоже время у него одна половина лица плакала, другая смѣялась. Но главною примѣтою, извѣстною всей Варшавѣ и по которой узнавали его всѣ встрѣчавшіеся съ нимъ впервые, это былъ клочекъ совершенно бѣлыхъ волосъ, величиною въ цѣлковый, находившійся у него на затылкѣ.

Прямо изъ заграницы Пукаловъ пріѣхалъ въ Варшаву, чтобы опредѣлиться въ военную службу. Для этого необходима было представиться Цесаревичу, и онъ, на первыхъ же порахъ, выказалъ эксцентрическую сторону своей личности, и съумѣлъ разсердить Вел. Князя. На его вопросы онъ отвѣчалъ то пофранцузски, то понѣмецки, то поанглійски, то понтальянски.

— Гдѣ ты воспитывался? спросилъ его В. Кн.

— Въ Геттингенскомъ университетѣ, Ваше Выс.

— Отчего жъ не въ Россіи?

— Въ Россіи трудно получить хорошее, основательное образованіе.

— Ахъ ты дерзкій мальчишка, молокососъ ты эдакой! Въ Россіи воспитывался твой Императоръ, воспитывался я. Что жъ я? дуракъ, что ли?

— Не могу знать, Ваше Выс.

— Въ волынскій полкъ его, въ роту Цемирова (самаго строгаго капитана), и не пускать его ни въ отпускъ, ни въ отставку, не посылать его въ школу подпрапорщиковъ и не представлять къ офицеры, пока я самъ не рѣшу, что съ нимъ сдѣлать.

И принялся онъ тянуть лямку, тянулъ, а еще болѣе дѣлался героемъ несмѣтнаго числа анекдотовъ, которые прославили его въ цѣлой Варшавѣ. Помѣстить здѣсь всѣ эти анекдоты невозможно: для этого нужна цѣлая книга. Но я приведу только нѣкоторые изъ нихъ.

Пукаловъ получалъ отъ матери на свое содержаніе по тысячѣ злотыхъ (150 р. с.) въ мѣсяцъ. Это были огромныя деньги въ Варшавѣ, гдѣ дешевизна жизни была необычайная. Напримѣръ: обыкновенный обѣдъ въ пять блюдъ, у Хѣликовскаго и въ другихъ гостинницахъ, стоилъ полтора злота, т. е. 22½ к. с. И порціи были такъ велики, что одного обѣда, приноснмаго изъ трактира на домъ, доставало на двоихъ. Обѣдъ въ шесть блюдъ два злота (30 к.). Но были обѣды изъ четырехъ блюдъ, стоившіе злотъ, или пятіалтынный, а именно: на Подвальной улицѣ, въ трактирѣ *подъ Обжорою* (pod Zartokiem), куда, по большей части, хаживали юнкера и польскіе унтеръ-офицеры.

Чашка превосходнаго кофе (какого нѣтъ нигдѣ, кромѣ Польши) стоило 3 коп. Фунтъ говядины 1-го сорта 4½ коп. Бутылка наилучшаго пива 4½ к., а порядочнаго 3 и 2 коп. Фрукты лѣтомъ были ни по чемъ. Лучшія груши, дуанне и бёрре, по пятіалтынному десятокъ, отборныя, крупныя и спѣлыя сливы по 3 коп. кварта, вмѣщавшая болѣе сотни штукъ. Легковые извощики имѣли коляски съ фордекомъ, запряженныя парою, и брали по таксѣ 15 коп. за курсъ, хоть изъ конца въ конецъ города. Обувь: первый и самый дорогой сапожникъ въ Варшавѣ былъ Екель (Jekel), варшавскій Пель; онъ бралъ за пару сапоговъ 30 злотыхъ, т. е. 4 р. 50 коп. Но обыкновенная, средняя цѣна хорошимъ сапогамъ была 20 зл. или 3 р. за пару. Небольшія холостыя квартиры въ двѣ комнаты нанимались обыкновенно за 200 злотыхъ, т. е. 30 р. *въ годъ*. Между прекраснымъ поломъ въ Варшавѣ, да и во всей Польшѣ,

хорошенькихъ была тьма тьмущая, въ особенности въ среднемъ и въ ремесленномъ сословіяхъ. И всѣ онѣ были чрезвычайно ловки, любезны и далеко не неприступны, особенно замужнія женщины, между которыми середины почти не было: или отличныя жены, или не приведи Богъ такихъ врагу и супостату... Но для постороннихъ онѣ были очень хороши... Ко всему этому прибавьте климатъ, самый умѣренный, благорастворенный и здоровый. Я очень часто спалъ въ лагерѣ на открытомъ воздухѣ, подостлавъ на траву соломенный матрацъ и одѣвшись легкимъ лѣтнимъ одѣяломъ. А купаться въ Вислѣ начиналъ въ концѣ, а иногда и въ половинѣ апрѣля и продолжалъ купаться до начала октября. Однимъ словомъ, относительно обилія и дешевизны первыхъ потребностей жизни, а равно и предметовъ роскоши и разныхъ удовольствій, веселостей и наслажденій, не было и нѣтъ такого города въ Европѣ, какъ была Варшава въ двадцатыхъ годахъ нынѣшняго столѣтія. Но пора приступить къ анекдотической хроникѣ о героѣ и жертвѣ анекдотовъ.

Въ началѣ службы Пукалова, ротный командиръ его, хотя и строгій, но хотѣлъ быть съ нимъ любезнымъ и приглашалъ его къ себѣ *на стаканъ чаю*. Въ то время вышла въ Варшавѣ на русскомъ и польскомъ языкахъ книжечка подъ заглавіемъ *Осанка*. Въ ней излагались правила, какъ нижніе чины должны вести себя внѣ службы. Книжка эта читалась по воскресеньямъ передъ солдатами въ каждой ротѣ и въ каждомъ эскадронѣ. И вотъ Пукаловъ является однажды вечеромъ къ своему капитану.

— Садитесь, юнкеръ! — говоритъ ему ротный командиръ. — Эй, человѣкъ! дай юнкеру стаканъ чаю.

Чай поданъ. Пукаловъ беретъ стаканъ, выпиваетъ его и потомъ кладетъ на подносъ 10 грошей (5 коп.), т. е. обыкновенную плату за стаканъ чаю въ кофейныхъ домахъ.

— Что это значитъ? — спросилъ удивленный капитанъ.

— Господинъ капитанъ! Вчера читали въ ротѣ, что нижній чинъ нигдѣ и ничего не долженъ ни пить, ни ѣсть даромъ, а за все обязанъ платить.

Однажды Пукаловъ встрѣчаетъ своего капитана на Краковскомъ предмѣстьѣ, т. е. на самой многолюдной улицѣ Варшавы. Капитану показалось, что юнкеръ неловко отдалъ ему честь, и потому онъ тутъ же

распекъ его достодолжнымъ образомъ, а прійдя въ казармы, приказалъ учить его на раздѣленія — становиться во фронтъ и проводить начальника глазами. Стали учить Пукалова по цѣлымъ часамъ все одному и тому же, а именно: дядька скомандуетъ ему *разъ*, и Пукаловъ становится во фронтъ и повернувъ голову на бокъ, крикнетъ *разъ*. Потомъ скомандуютъ ему *два*, и онъ, проводя медленно головою справа на лѣво, или наоборотъ, произноситъ протяжно *двааааа*.

Спустя нѣсколько дней, Пукаловъ опять встрѣчаетъ своего капитана и тоже на Краковскомъ предмѣстіи. Не доходя десяти шаговъ, онъ останавливается, поворачивается во фронтъ, и повернувъ голову къ капитану, говоритъ отрывисто *разъ*, но глазами его не провожаетъ.

— Юнкеръ! — провожайте меня глазами, — кричитъ Пукалову капитанъ.

— Извольте командовать два, г. капитанъ! Безъ раздѣленія меня еще не учили.

— Два, — прокомандовалъ капитанъ, а Пукаловъ сталъ поворачивать голову, говоря *двааааа*.

На другой день Пукалова стали учить безъ раздѣленій, т. е. заставили его, безпрестанно поводить головою изъ стороны въ сторону и говорить *разъ*, а потомъ *двааааа*.

Пукаловъ не угомонился. Въ третій разъ встрѣтилъ своего капитана и все на Краковскомъ предмѣстьѣ. На этотъ разъ, вставши во фронтъ, онъ безпрерывно сталъ поводить головою изъ стороны въ сторону и считать *разъ двааааа, разъ двааааа, разъ двааааа*. И собралась около него толпа зѣвакъ и поднялся смѣхъ и хохотъ. А строгій капитанъ плюнулъ въ сторону да и пошелъ своею дорогою, сказавъ про себя:

— Видно съ нимъ ничего не подѣлаешь,—отпѣтый шалунъ.

Прійдя въ казармы, капитанъ отмѣнилъ дальнѣйшія упражненія Пукалова въ отданіи чести, и приказалъ нарядить его на цѣлую недѣлю дневальнымъ по взводу.

Однажды Пукаловъ пилъ кофе въ кондитерской и курилъ трубку. Возлѣ него на диванѣ сидѣлъ какой-то нѣмецъ и тоже пилъ кофе и курилъ трубку. Пукаловъ завелъ съ нимъ очень интересный разговоръ на нѣмецкомъ языкѣ. Въ жару разсказа, какъ будто невзначай, взялъ онъ нѣмца за руку, и потомъ указательнымъ его пальцемъ сталъ *поправлять* пепелъ у себя въ трубкѣ. Нѣмецъ закричалъ благимъ матомъ

и, выдернувъ руку, принялся дуть въ свой указательный палецъ, приговаривая: — ach mein Gott! — Пукаловъ, разумѣется, разсыпался въ извиненіяхъ, сваливъ всю вину на свою ужасную разсѣянность.

Рота, въ которой служилъ Пукаловъ, вступала однажды въ караулъ на главную гауптвахту. А съ ротою вступалъ одинъ изъ ротныхъ командировъ, извѣстный своею чрезмѣрною скупостію. Пукаловъ уговорилъ своего фельдфебеля, чтобы его послали въ караулъ съ ротою за солдата и назначили на посылки. Черезъ часъ по вступленіи въ караулъ, капитану захотѣлось кофею, и онъ позвалъ къ себѣ вѣстоваго. Является Пукаловъ.

— Помилуйте, юнкеръ! — говоритъ ему капитанъ. — Мнѣ нужно послать за кофеемъ, и потому позовите ко мнѣ кого нибудь изъ солдатъ.

— Извините, г. капитанъ! Я назначенъ на посылки, и потому позвольте мнѣ исполнять въ точности мою обязанность и сходить для васъ за кофеемъ и за всѣмъ, что вамъ будетъ нужно.

— Ну хорошо; только возьмите съ собою солдата. Вотъ вамъ золотой. Принесите намъ кофею съ *монтовыми* булками.

Пукаловъ отправился въ ближайшую кофейню и черезъ нѣсколько времени возвратился, неся въ каждой рукѣ по корзинѣ. Поставя ихъ на полъ, онъ принялся доставать сперва изъ одной корзины горшечки съ кофеемъ и со сливками, и потомъ булки. Когда онъ выставилъ нѣсколько горшечковъ, капитанъ сказалъ ему.

— Довольно, Пукаловъ, довольно. Куда это такъ много? Насъ всего трое (сверхъ капитана на главную гауптвахту вступали съ нимъ еще два офицера). Но Пукаловъ продолжалъ вынимать горшечки и букли изъ первой корзины, и когда она сдѣлалась пуста, столъ былъ весь уставленъ горшечками.

— Боже, какая бездна! — сказалъ отчаяннымъ голосомъ скупой капитанъ. — Ну что мы будемъ дѣлать съ этимъ кофе?

— Это еще не все, г. капитанъ! — возразилъ Пукаловъ и принялся выгружать другую корзину, въ которой находилось столько же горшечковъ и булокъ, какъ и въ первой. Онъ, изволите видѣть, купилъ кофею на весь золотой. Долго караульный капитанъ не могъ вспомнить объ этомъ ультра-кофейномъ днѣ безъ стѣсненія сердца и душевной тоски по своемъ золотомъ, погибшемъ во цвѣтѣ лѣтъ, и добро бы отъ шампанскаго? А то отъ кофею!

Встрѣчаетъ Пукаловъ на улицѣ какого-то пожилаго господина съ уморительною физіономіею и въ допотопномъ, весьма поношенномъ костюмѣ. Пукаловъ останавливается, всматривается пристально въ неизвѣстнаго ему господина, и потомъ вдругъ бросается къ нему на шею, начинаетъ обнимать и цѣловать его, приговаривая:

— Насилу-то я встрѣтилъ васъ, моего спасителя, моего благодѣтеля! Сколько лѣтъ искалъ я васъ повсюду; но нигдѣ не могъ встрѣтить! И наконецъ, о блаженный день въ моей жизни! Наконецъ, я вижу васъ и могу излить передъ вами всѣ чувства моего благодарнаго сердца.

— Милостивый Государь! Вы вѣрно ошибаетесь и принимаете меня за кого нибудь другаго,—говорилъ обнимаемый Пукаловымъ господинъ, стараясь освободиться отъ его нѣжныхъ объятій.

— Какъ! Вы не узнаете меня? Но я узналъ бы моего спасителя между тысячами людей. Неужели вы забыли, какъ спасли мнѣ жизнь? Помните: шесть лѣтъ тому назадъ, я купался въ Вислѣ противъ Саской Кемпы, и вдругъ быстротою рѣки былъ снесенъ на глубокое мѣсто, сталъ тонуть и вѣроятно потонулъ бы, если бы не вы. Помните, вы стояли тогда на берегу, и видя меня въ опасности, бросились, не раздѣваясь, въ рѣку и вытащили меня на берегъ, а потомъ скрылись, такъ что не успѣлъ я вамъ и спасибо сказать. Но вы теперь не хотите сознаться въ этомъ изъ скромности. Впрочемъ, я надѣюсь, что вы позволите мнѣ, по крайней мѣрѣ, угостить васъ отличнѣйшимъ обѣдомъ у Збарбори. Отправимтесь же туда. Теперь самое время обѣдать.

Мнимый спаситель Пукалова, при перспективѣ хорошаго и дароваго обѣда у одного изъ лучшихъ ресторатороръ Варшавы, не сталъ отнѣкиваться, и молча пошелъ вмѣстѣ съ своимъ будущимъ амфитріономъ. Обѣдъ и вина были превосходнѣйшіе. Пукаловъ угостилъ на славу, подчивалъ и былъ любезенъ и милъ до нельзя съ своимъ гостемъ. Когда угощеніе окончилось и сообѣдники встали изъ-за стола, Пукаловъ взялъ свою фуражку, тоже сдѣлалъ и гость его, разсыпавшійся въ благодареніяхъ за угощеніе. А когда оба они подошли къ выходу, Пукаловъ отворяетъ дверь, и прежде чѣмъ его мнимый спаситель успѣлъ сказать два слова, выталкиваетъ его за дверь, которую сейчасъ же и захлопываетъ. Изумленный, ошеломленный гость постоялъ нѣсколько минутъ на одномъ мѣстѣ и потомъ сказавши себѣ подъ носъ:—Musi byc fixat (должно быть сумасшедшій),— пошелъ своею дорогою, очень довольный тѣмъ, что пообѣдалъ даромъ такъ, какъ, быть можетъ, ему никогда еще не удавалось обѣдать.

Одѣтый въ толстую солдатскую шинель, Пукаловъ входитъ къ одному французскому ресторатору и подойдя къ буфету, скорчивъ глупѣйшую рожу, говоритъ по русски робкимъ голосомъ:

— Дайте мнѣ щей и каши. .

— Нѣтъ у насъ ни щей, ни каши,—отвѣчаетъ дурнымъ польскимъ языкомъ буфетчикъ-французъ, оглядывая съ пренебреженіемъ толстую сѣрую шинель Пукалова.

— Ну, такъ дайте мнѣ *сальцесону* (кровяной колбасы) съ хлѣбомъ.

Сальцесону съ хлѣбомъ ему подали, ради смѣха.

— А что это стоитъ?

— Шесть грошей.

Пукаловъ вынулъ изъ лѣваго кармана засаленный кожанный кошелекъ съ мѣдными деньгами, досталъ шесть грошей, отдалъ ихъ буфетчику и затѣмъ принялся уписывать въ обѣ щеки кровяную колбасу съ хлѣбомъ. Въ сосѣдней комнатѣ обѣдали четыре нѣмца и пили пиво. Они видѣли продѣлку Пукалова и громко трунили между собою; на нѣмецкомъ языкѣ, разумѣется, и надъ русскимъ варваромъ, и надъ русскими щами съ кашею; трунили, а сами продолжали осушать бутылки съ пивомъ, одну за другою.

Когда Пукаловъ, слышавшій насмѣшки нѣмцевъ, порѣшилъ колбасу съ хлѣбомъ, то мгновенно преобразился, гордо поднялъ свою голову и громко заговорилъ самымъ чистѣйшимъ французскимъ языкомъ:

— Гарсонъ! подать мнѣ сейчасъ двѣ бутылки шампанскаго, большую суповую чашу и чистое полотенце. Да живѣе, поворачивайся!

И буфетчикъ и гарсонъ выпучили глаза отъ удивленія, но ни съ мѣста.

— Да что же, чортъ возьми, оглохли вы оба, что ли? Двѣ бутылки шампанскаго, суповую чашу и чистое полотенце, говоритъ вамъ!

И съ этими словами Пукаловъ запустилъ руку въ свой правый карманъ, и вытащивъ изъ него горсть червонцевъ, сталъ ими побрякивать. Эта золотая демонстрація произвела магическое дѣйствіе. Гарсонъ бросился со всѣхъ ногъ, и шампанское съ миской и съ полотенцемъ были сейчасъ поданы. Пукаловъ приказалъ откупорить обѣ бутылки, и поставивъ себѣ подъ руки суповую чашу, велѣлъ лить шампанское, которымъ, какъ водою, полоскалъ себѣ ротъ и мылъ руки. Когда обѣ бутылки опорожнились, онъ взялъ чистое полотенце, обмакнулъ одинъ его конецъ въ стаканъ съ водою, и вытеръ имъ свои руки. Потомъ, заплативъ буфетчику за шампанское и давши червонецъ гарсону за прислугу, сказалъ, указывая рукою на обѣдавшихъ нѣмцевъ:

— Эти нѣмчурки пьютъ одно пиво; такъ попотчуйте ихъ моимъ шампанскимъ отъ имени русскаго варвара. Прощайте!

И затѣмъ вышелъ вонъ, оставя въ величайшемъ изумленіи и французскую трактирную прислугу, и нѣмецкихъ пивопійцъ.

Въ другой разъ отправился Пукаловъ обѣдать къ Шево, первому и самому дорогому французскому ресторатору Варшавы. Онъ взялъ съ собою трехъ солдатъ своей роты, въ томъ числѣ и своего дядьку. У Шево обѣдали по картѣ. Усѣвшись за столикъ, на которомъ было ровно четыре прибора, Пукаловъ приказалъ подать три карты многочисленныхъ обѣденныхъ блюдъ, и положилъ ихъ на приборъ каждаго изъ своихъ спутниковъ.

— Ну, ребята! На этихъ бумажкахъ написаны разныя блюда; выбирайте себѣ любыя,—сказалъ Пукаловъ.

— Да мы не умѣемъ читать, ваше благородіе,—отвѣчали рядовые гости.

— Это не бѣда. Показывайте пальцемъ на которую нибудь строчку и вамъ будутъ подавать тѣ кушанья.

И обѣдъ начался; но такой обѣдъ, какого едва ли удавалось видѣть, а не только ѣсть. Одинъ изъ солдатъ ткнетъ пальцемъ на пирожное, ну, и подаютъ ему на первое блюдо пирожное, вмѣсто супа. Другой попадетъ на спаржу, третій на десертъ. Иному подавали три пирожныхъ сряду. Такимъ образомъ обѣдъ продолжался очень долго. Путаница блюдъ была невообразимая. Это было настоящее гастрономическое столпотвореніе, т. е. смѣшеніе разнороднѣйшихъ кушаньевъ безъ малѣйшей послѣдовательности. Гарсоны кусали себѣ губы, чтобы не лопнуть отъ смѣха. Самъ же Пукаловъ спросилъ себѣ наилучшихъ пять блюдъ, и ѣлъ ихъ въ натуральномъ порядкѣ.

— Ѣшьте, братцы, ѣшьте себѣ на здоровье!—угощалъ онъ своихъ собесѣдниковъ.—Спрашивайте побольше! вѣдь французскія-то кушанья не очень сытны, не то что наши родныя щи да каши. Ну, такъ и надо наверстывать чѣмъ нибудь.

— Рады стараться, ваше благородіе. Не могимъ болѣе, сытехоньки.

Тогда Пукаловъ расплатился и крупно поплатился за эксцентрическій обѣдъ; а вслѣдъ за этимъ сказалъ:

— Ну, ребята! вѣдь я за все заплатилъ этимъ французишкамъ; такъ *зачѣмъ же* имъ оставлять то, чего мы не доѣли.

И солдаты завязали себѣ въ платки куски бѣлаго и пеклеваннаго хлѣба, оставшагося въ изрядномъ количествѣ въ корзинкѣ на столѣ, за которымъ они обѣдали. Затѣмъ, предводимые своимъ щедрымъ амфитріономъ, вышли изъ гостинницы, въ которой оставили обильный сюжетъ для французскаго смѣха и французскихъ остротъ.

Одѣтый въ свою толстую сѣрую шинель, которую очень любилъ, Пукаловъ пилъ кофе и курилъ трубку въ одномъ кофейномъ домѣ. Окончивъ этотъ кейфъ, онъ спросилъ у хорошенькой кавярки.

— Что это стоитъ?

Слѣдуетъ сказать, что въ Варшавѣ, во всѣхъ кофейныхъ домахъ и трактирахъ,—кромѣ французскихъ ресторатороvъ,—прислуга была женская, состоявшая изъ молодыхъ и хорошенькихъ дѣвушекъ, называвшихся *кавярками*, очень ловкихъ и умѣвшихъ очень мило и занимательно болтать съ своими посѣтителями. И были онѣ не очень строги по части поцѣлуевъ и... *романсованія*, т. е. почетнаго волокитства и ухаживанія за ними. И такъ хорошенькая кавярка отвѣчала Пукалову:

— Цѣна обыкновенная: шесть грошей за чашку кофе и два за трубку.

— Это дорого,—возразилъ Пукаловъ,—возьмите подешевле.

— Помилуйте! у насъ не торгуются.

— Да уступите мнѣ что нибудь: хоть грошъ. Вѣдь я бѣдный солдатъ.

— Ну, Богъ съ вами! Давайте пять грошей.

Пукаловъ вынулъ извѣстный уже намъ засаленный кошелекъ съ мѣдью, расплатился и потомъ, съ чубукомъ въ рукахъ, подошелъ къ большому зеркалу, висѣвшему на стѣнѣ, и принялся дѣлать страшнѣйшія гримасы. Долго кобянился онъ и, повидимому, пришелъ въ ужаснѣйшій *раж*ъ. Кавярка съ безпокойствомъ слѣдила за этою нѣмою сценою *бѣднаго солдата* передъ зеркаломъ. И вдругъ она вскрикнула самымъ испуганнымъ голосомъ, отъ того что Пукаловъ въ эту минуту ударилъ со всего размаху чубукомъ въ зеркало, которое разбилось въ мелкіе куски.

— Гвалтъ, ратуйце! Москаль сфиксовалъ и стлукъ люстро (Караулъ, помогите! Русскій солдатъ сблаговалъ и разбилъ зеркало) кричала въ ужасѣ кавярка. На ея отчаянный крикъ прибѣжали хозяинъ и хозяйка кофейнаго дома, и увидѣвъ разбитое зеркало, заговорили громко и въ попыхахъ:

— Задержать его; онъ долженъ заплатить за шкоду (убытокъ).

— Да что съ него взять, когда и за кофей-то я не дополучила съ него цѣлый грошъ.

— Тише, вы!—отозвался наконецъ Пукаловъ.—Что стоитъ ваше зеркало?

— Сто злотыхъ (15 р.); шутка ли!

— Вотъ вамъ ваши сто злотыхъ,—сказалъ эксцентрикъ, вынувъ изъ праваго кармана горсть золота и отсчитавъ пять червонцевъ.

— Только, смотрите, чтобы у меня всѣ эти куски были цѣлы: они теперь мои, я заплатилъ за нихъ и сейчасъ же приду за ними. А до тѣхъ поръ прощайте.

Пукаловъ вышелъ изъ кофейни, и черезъ полчаса возвратился въ сопровожденіи своего дядьки, который подобралъ всѣ кусочки разбитаго зеркала, завязалъ ихъ въ салфетку и отправился обратно въ казармы вмѣстѣ съ Пукаловымъ. Обитатели кофейни были твердо убѣждены, что посѣтитель ихъ былъ сумасшедшій.

Во время лагеря, Пукаловъ отпросился въ городъ. Въ его отпускномъ билетѣ было написано: «Отпускается до зари». Настаетъ вечерняя заря съ обычною церемоніею, т. е. съ музыкою передъ полкомъ и съ перекличкою въ каждой ротѣ. Но Пукалова на этой перекличкѣ не оказалось. Страшный крикъ и шумъ со стороны ротнаго командира. Опоздать на вечернюю перекличку въ лагерѣ это просто—криминалъ со стороны нижняго чина. Только передъ утреннею зарею возвращается Пукаловъ въ лагерь. Его хватаютъ и тащутъ на цугундеръ.

— Я нисколько не опоздалъ, прехладнокровно оправдывался нашъ эксцентрикъ. — Заря только что занимается, стало быть я успѣлъ возвратиться къ самой зарѣ.

— Да вѣдь васъ отпускали до вечерней зари, — возражало ему начальство.

— Въ билетѣ ничего не сказано, до вечерней или до утренней зари меня отпускаютъ. Ну, я думалъ, что до утренней, и потому я нисколько не виноватъ, что опоздалъ.

Начальство и не взыскивало съ Пукалова; но только уже на будущее время обозначало во всѣхъ билетахъ: «до вечерней зари».

Просится Пукаловъ еще разъ изъ лагеря въ городъ, но капитанъ *его не пускаетъ.*

— Мнѣ необходимо быть въ городѣ по дѣлу для меня весьма важному, — говоритъ онъ своему капитану.

— Ну, такъ я наряжу самого исправнаго карабинера, которому вы можете поручить ваше дѣло: онъ все исполнитъ за васъ весьма аккуратно, все равно, какъ бы вы сами были въ городѣ.

— Но, г. капитанъ! Мнѣ необходимо самому...

— Молчать, юнкеръ! начальство лучше васъ знаетъ, что и какъ слѣдуетъ дѣлать. Эй! позвать ко мнѣ Семенчука!

Семенчукъ явился.

— Сейчасъ отправляйся въ городъ и исполни тамъ все, что поручитъ тебѣ юнкеръ Пукаловъ; *сдѣлай все такъ, какъ бы онъ самъ долженъ былъ сдѣлать*. Слышишь?

— Слушаю, г. капитанъ, — отвѣчалъ Семенчукъ. Въ Варшавѣ, въ то время, принята была въ войскахъ польская, т. е. французская манера обращенія нижнихъ чиновъ къ ихъ начальникамъ. Вмѣсто «ваше благородіе, или высокоблагородіе», говорилось «господинъ прапорщикъ, подпоручикъ», и такъ далѣе до полковника включительно. Но генераламъ говорили «ваше превосходительство». Нѣкоторымъ же изъ юнкеровъ, зажиточнымъ, солдаты говорили: «ваше благородіе», а бѣдняковъ называли «дворянчиками».

Пукаловъ и Семенчукъ вышли изъ барака ротнаго командира, и первый принялся давать послѣднему слѣдующія порученія:

— Прійдя въ Варшаву, ты отправишься сперва на Подвальную улицу, въ кофейню Новаховскаго, не доходя Краковскаго предмѣстья за три дома на право, въ нижнемъ этажѣ. Найдешь?

— Найду, ваше благородіе!

— Ну, войдя туда, спроси себѣ чашку кофею и выпей. Это стоитъ шесть грошей.

— Слушаю.

— Отъ Новаховскаго пойдешь въ лавку Чабана, что на углу Медовой и Сенаторской. Тамъ купишь мнѣ бумаги, чернилъ и сургучу на два злота. Вотъ тебѣ записка къ Чабану, изъ которой увидятъ чего и на сколько нужно отпустить. Найдешь?

— Найду, ваше благородіе!

— Отъ Чабана пойдешь погулять по аллеямъ въ Саксонскій садъ, зайдешь тамъ въ кандитерскую Лесселя, что на лѣвой сторонѣ, идя отъ Брилевскаго дома. Войдя въ кондитерскую, спросишь и выпьешь рюмку ликеру, потомъ съѣшь два яблочные пирожка. Все это стоитъ двадцать пять грошей. Выйдя изъ кандитерской, погуляешь немного по

саду и оттуда отправишься на Мостовую улицу, въ домъ госпожи Шатковской, не доходя за четыре дома до Бернардской улицы, на правой сторонѣ. Тамъ спросишь панну Марисю; это — моя кума. Поклонись ей отъ меня, поцѣлуй ее и дай ей полтинникъ на конфекты.

— Понимаю, ваше благородіе!

— Отъ Шатковской отправишься обѣдать на Сенаторскую улицу въ гостинницу Хониковскаго. Обѣдъ у него стоитъ полтора злота. Пообѣдавъ, пойдешь на уголъ Саксонской площади противъ самаго Брилевскаго дома. Но прежде зайди по дорогѣ въ первый *кожевный склепъ* (фруктовая лавка) и возьми для меня двѣ пачки вакштафу; это стоитъ три злота. Итакъ, прійдя въ нижій этажъ дома, отыщешь тамъ по адресу господина Венгейма, которому и отдай эту записку.. Прочитавши ее, онъ будетъ знать, что слѣдуетъ сдѣлать, и за что надо заплатить ему три злота. Отъ вангейма возвращайся въ лагерь. Всѣ порученія мои стоятъ 13 злотыхъ и 26 грошей. Вотъ тебѣ эти деньги. Если исполнишь аккуратно все, о чемъ я тебѣ говорилъ, то я дамъ тебѣ четыре злота на водку.

— Радъ для васъ стараться, ваше благородіе! Все, какъ приказали, исполню въ акуратѣ.

Семенчукъ отправился. Не будемъ слѣдовать за нимъ по пятамъ въ Варшавѣ, гдѣ онъ отлично исполнилъ всѣ порученія Пукалова, всѣ, кромѣ одного, что на углу Саксонской площади у Вангейма, къ которому и зайдемъ мы вмѣстѣ съ Семенчукомъ. Венгеймъ былъ дантистъ. Въ запискѣ къ нему отъ Пукалова значилось:

« Подателю сей записки вырвать нижній зубъ, четвертый отъ крайняго зуба съ правой стороны ».

— Снимай свою портупею, клади на столъ киверъ и садись на это кресло, — сказалъ дантистъ Семенчуку. Семенчукъ исполнилъ все, что отъ него требовали и сѣлъ.

— Открой ротъ, — говорилъ ему дантистъ. — Такъ, хорошо. Ну, теперь пополощи ротъ, — продолжалъ Венгеймъ, подавая стаканъ съ теплою водою.

— Открой опять ротъ.

Семенчукъ въ другой разъ раскрылъ свой ротъ. Дантистъ взялъ зубодергательныя клещи и собрался запустить ихъ въ ротъ карабинера, чтобы вырвать ему зубъ, какъ было сказано въ запискѣ Пукалова. Но Семенчукъ догадался, что дѣло было неладно, и потому спросилъ:

— А что, панъ, хочешь дѣлать со мной?

— *Вырвать* у тебя больной нижній зубъ.

— Да у меня не болитъ ни одинъ зубъ; какъ есть, всѣ здоровы.

— Но въ запискѣ сказано, чтобы вырвать тебѣ четвертый нижній зубъ съ правой стороны. Стало быть, онъ у тебя болитъ. — И дантистъ полѣзъ было въ ротъ Семенчука съ клещами.

— Нѣтъ, панъ! Я ни за что не дамъ рвать себѣ здоровый зубъ.

И Семенчукъ всталъ съ кресель, надѣлъ на себя портупею и киверъ и вышелъ отъ дантиста, сказавъ ему:

— Жегнамъ, пана (Прощайте).

Семенчукъ возвратился въ лагерь.

— Ну, что? все ли ты исполнилъ, какъ я тебѣ приказалъ? — спрашивалъ Пукаловъ у повѣреннаго въ своихъ дѣлахъ.

— Почти все, ваше благородіе.

— А зубъ тебѣ вырвали?

— Никакъ нѣтъ: я не дался, затѣмъ, что ни одинъ зубъ у меня не болитъ.

— Да у меня болитъ зубъ. А капитанъ именно приказалъ тебѣ *сдѣлать все такъ, какъ бы я самъ долженъ былъ сдѣлать*. Значитъ, ты долженъ былъ дать вырвать себѣ зубъ, потому что и я далъ бы себѣ вырвать зубъ, если бы самъ отправился въ Варшаву. Значитъ, ты не исполнилъ приказанія своего ротнаго командира.

Пукаловъ пошелъ и сказалъ своему капитану.

— Г. капитанъ! Семенчукъ не исполнилъ всего, что мнѣ нужно было сдѣлать въ Варшавѣ.

— Позвать его ко мнѣ. Я же задамъ ему феферу!

Семенчукъ явился. Но по объясненію дѣла о зубѣ, отосланъ былъ въ палатку безъ послѣдствій, т. е. безъ феферу. Пукалова же на другой день отпустили въ Варшаву для исполненія того, чего не могъ сдѣлать за него наканунѣ повѣренный въ дѣлахъ его карабинеръ.

Въ Варшавѣ, какъ и вездѣ въ то время, нижнимъ чинамъ строго было запрещено посѣщать театры, концерты и ѣздить на извощикахъ. За то имъ не запрещалось входить въ кондитерскія, въ кофейные дома и въ трактиры, и спрашивать себѣ тамъ, что угодно. Но года за два до возмущенія и это было запрещено нижнимъ чинамъ строжайшимъ образомъ.

Вскорѣ послѣ этого запрещенія, Пукаловъ отпросился изъ школы въ городъ, гдѣ онъ посѣтилъ нѣкоторыхъ изъ своихъ знакомыхъ. Часа въ три пополудни ему захотѣлось обѣдать. Онъ проходилъ въ эту ма-

нуту по одной изъ главныхъ улицъ. Подойдя къ одной гостинницѣ, помѣщавшейся въ нижнемъ этажѣ, онъ, съ тротуара, принялся стучать въ окно. На стукъ этотъ вышла къ нему изъ гостинницы хорошенькая кавярка и спросила:

— Цо, панъ, хцэ (что вамъ угодно)?

— Обѣдать, — отвѣчалъ Пукаловъ.

— Нехъ панъ вэйдзе (войдите).

— Нельзя, не позволено.

Тутъ Пукаловъ объяснилъ, что входить въ трактиры юнкерамъ запрещено. А такъ какъ ему очень хотѣлось ѣсть, потому что въ школѣ обѣдъ не полагался на юнкеровъ, отпросившихся въ городъ, то онъ и проситъ, чтобы вынесли для него на тротуаръ столикъ съ приборомъ и со стуломъ, а потомъ подали бы ему полный обѣдъ, который и порѣшитъ онъ тутъ же, на тротуарѣ. При такомъ странномъ предложеніи кавярка пришла въ недоумѣніе, которое Пукаловъ сейчасъ же разрѣшилъ съ помощію своей ultima ratio, т. е. доставъ изъ кармана горсть золота и потряхивая имъ передъ глазами трактирной прислужницы. Столикъ и стулъ были вынесены на тротуаръ и нашъ эксцентрикъ усѣлся и принялся обѣдать. Разумѣется, вокругъ него составился большой кружокъ изъ прохожихъ, которыхъ морилъ онъ со смѣху своими маленькими и большими гримасами, и потомъ простодушными остротами, которыми тоже отличался и былъ богатъ. Послѣ обѣда на открытомъ воздухѣ, онъ точно также и кофею напился около одного кофейнаго дома.

Прослужилъ Пукаловъ подпрапорщикомъ цѣлыхъ 4 года, и ни взадъ, ни впередъ. Ясно, что В. Кн. объ немъ позабылъ, а напомнить ему объ немъ никто не рѣшался. Дѣло вовсе плохое. Такимъ манеромъ придется ему долго тянуть лямку въ нижнемъ чинѣ. Вотъ и рѣшился онъ наконецъ самъ о себѣ напомнить Цесаревичу. Для этого, при слѣдующемъ же разводѣ, онъ проситъ фельдфебеля назначить его въ знаменные ряды, въ переднюю шеренгу, и затѣмъ говоритъ своимъ товарищамъ:

— Ну, господа! завтра меня или разжалуютъ, или отправятъ въ школу подпрапорщиковъ. — Настаетъ день развода. Вел. Кн. идетъ вдоль фронта и приближается къ знаменнымъ рядамъ. Пукаловъ мигомъ скорчилъ одну изъ тѣхъ уморительныхъ, но съ тѣмъ вмѣстѣ, и самыхъ

натуральныхъ рожъ, что никакъ нельзя было предполагать, что это гримаса, и которая возбудила въ Цесаревичѣ неудержимый хохотъ.

— Что это за уродъ? — спрашиваетъ онъ у полковаго командира.

— Это Пукаловъ, Ваше Выс.

— Какой это Пукаловъ?

— А тотъ самый, котораго Ваше Выс. не приказали пускать ни въ отставку, ни въ отпускъ и не посылать въ школу подпрапорщиковъ.

— Отправить его въ школу, — сказалъ Цесаревичъ, и Пукалова отправили. Но и въ школѣ онъ продолжалъ тереть лямку, по милости своей страсти къ анекдотамъ.

Приведенные здѣсь анекдоты о Пукаловѣ не составляютъ и десятой доли тѣхъ, которыми отличался онъ въ продолженіе своей юнкерской службы, потому что мѣсяца не проходило безъ одного, а иногда двухъ или трехъ анекдотовъ его произведенія. Въ кругу пріятелей и короткихъ знакомыхъ это былъ самый умный, милый и въ высшей степени занимательный человѣкъ. Онъ всѣхъ и насмѣшитъ вдоволь, и займетъ серьознымъ, дѣльнымъ разговоромъ, и заставитъ иногда задуматься надъ какою нибудь свѣтлою, новою мыслію, высказанною имъ съ одушевленіемъ вдохновеннаго импровизатора. Но какъ только за порогъ, на улицу, Пукаловъ забывалъ о себѣ и своихъ пользахъ, и дѣлался другимъ человѣкомъ: передъ нимъ тогда была одна публика, смѣшить и забавлять которую анекдотами считалъ онъ своею обязанностію, своимъ призваніемъ.

Сколько разъ случалось мнѣ отправляться по воскресеньямъ въ грекороссійскую церковь, находившуюся на Подвальной улицѣ. Насъ, православныхъ, было немного: всего шесть человѣкъ изъ числа находившихся въ школѣ шестидесяти юнкеровъ литовскаго и волынскаго полковъ. Пукаловъ, какъ старшій изъ насъ, ведетъ, бывало, нашу маленькую команду. Сначала, при выходѣ изъ казармъ школы, лежавшей въ Лазенковскомъ паркѣ, все идетъ чинно. Но только выйдемъ мы изъ пустынной Вейской улицы на Новый Свѣтъ, Пукаловъ сейчасъ же выкинетъ какую нибудь штуку. Вдругъ достанетъ изъ кивера булку и примется уписывать ее въ обѣ щеки, съ приправою небольшихъ гримасъ.

— Перестань, Пукаловъ! Что это вздумалъ ты ѣсть на самой проѣзжей улицѣ! Стыдно! Развѣ ты голоденъ? — скажу я.

— Что за стыдъ? — возразитъ эксцентрикъ. — Солдатъ походомъ сухари ѣстъ.

Въ другой разъ, завидѣвъ издали на тротуарѣ даму, прилично одѣтую, онъ скорчитъ одну изъ своихъ *большихъ* гримасъ.

— Іезусъ Марія! цо за почвара (Іисусе и Марія! что за уродъ!)— Проговоритъ дама вполголоса и закроетъ лицо руками или отвернется.

Въ особенности боялись его гримасъ дамы беременныя, чтобы не родить урода.

Итакъ, благодаря безчисленнымъ анекдотамъ, Пукаловъ прослужилъ десять лѣтъ юнкеромъ, такъ что болѣе пятидесяти изъ младшихъ его товарищей были произведены въ офицеры въ продолженіи этого времени. И только уже черезъ годъ по окончаніи польской кампаніи произвели его въ армейскую пѣхоту. Послѣ того я потерялъ его изъ виду. Спустя нѣсколько лѣтъ, слышалъ я, что, прослужа года три, Пукаловъ вышелъ въ отставку и пріѣхалъ въ Петербургъ къ своей матери, которая сказала ему:

— Петръ! ты ужасно осолдатился. Сейчасъ же поѣзжай за границу провѣтриться и пополироваться.

И онъ уѣхалъ за границу. Но живъ-ли, и гдѣ онъ теперь, я ничего о томъ не знаю. Если онъ еще живъ и ему приведется прочитать эту бывальщину, то, вѣроятно, онъ не посѣтуетъ на меня за то, что я вспомнилъ объ немъ и познакомилъ читателей съ его личностію, чрезвычайно эксцентрическою, но съ тѣмъ вмѣстѣ и въ высшей степени честною, благородною, доброю и великодушною.

IX.

Лирикъ-сибаритъ и импровизированный бракъ по любви.

Для бо́льшей полноты и рельефности варшавской жизни и службы, я приведу здѣсь еще нѣкоторыя черты, которыя докажутъ, какія вещи можно было дѣлать иногда въ Варшавѣ безъ большой, а порою и безъ малѣйшей отвѣтственности.

Служилъ тогда въ литовскомъ полку офицеромъ нѣкто Измайловъ. Это былъ человѣкъ самыхъ ограниченныхъ ума и образованія, но очень добрый малый и за то любимый товарищами. Надъ нимъ постоянно подтрунивали, но онъ никогда за это не сердился. Однажды находился онъ въ большой компаніи офицеровъ. Кутили и пили шампанское. Кто-то обращается къ Измайлову и говоритъ:

— Измайловъ! Почему ты ничего не пишешь? Вѣдь одинъ изъ твоихъ однофамильцевъ — извѣстный поэтъ, баснописецъ. Пробовалъ-ли *ты когда*-нибудь писать стихи?

— Нѣтъ, никогда не пробовалъ, — отвѣчалъ Измайловъ.

— Такъ попробуй теперь. Я увѣренъ, что ты напишешь прекрасные стихи. Принимайся сейчасъ же. Вотъ тебѣ бумага и карандашъ. Садись и пиши.

— Да что же я буду писать?

— Ну, напиши какіе нибудь стихи, хоть оду на шампанское.

— Да здѣсь нельзя: шумятъ, мѣшаютъ.

— Такъ ступай и запрись въ ту комнату и пиши. Мы съ нетерпѣніемъ будемъ ожидать твоего стихотворенія.

Измайловъ заперся въ особой комнатѣ. Цѣлый часъ просидѣлъ онъ тамъ, все *сочинялъ* и страшно утомился, до-пота. Ну, за то и создалъ образцовое произведеніе. Когда онъ вышелъ къ ликующимъ товарищамъ съ листомъ въ рукахъ, все стихло, и глаза и уши всѣхъ обратились къ новому поэту. Поэтъ откашлянулся и прочиталъ торжественно слѣдующую оду:

«О бутылка ты, бутылка драгая!
Изъ тебя прыщется, милая».

Эффектъ былъ поразителенъ. Раздались оглушительныя браво, и новый поэтъ былъ увѣнчанъ, какъ величайшій лирикъ новѣйшихъ временъ. Но у этого лирика была одна чрезвычайно оригинальная черта: имѣя хорошее состояніе, онъ былъ большой сибаритъ и любилъ полѣниться и понѣжиться всегда, вездѣ и даже на службѣ. Напримѣръ: вступая въ караулъ, онъ, въ продолженіи сутокъ, ни разу не показывался на платформѣ. Всѣ обязанности караульнаго офицера исправлялъ старшій унтеръ-офицеръ. Самъ же онъ лѣнился и сибаритничалъ слѣдующимъ образомъ:

Какъ только онъ вступитъ въ караулъ, къ нему является человѣкъ его съ узломъ въ рукахъ. Измайловъ тотчасъ же снимаетъ съ себя всѣ принадлежности караульнаго офицера, и облекается въ халатъ, туфли и въ ночной колпакъ. Затѣмъ ложится на диванъ, или разваливается въ большомъ креслѣ и предается безмятежному кейфу. Куритъ трубку, пьетъ, ѣстъ, спитъ, просыпается и снова за прежнія занятія. Пусть себѣ начальство проѣзжаетъ мимо гауптвахты, пусть часовой на платформѣ звонитъ, какъ въ набатъ — Измайловъ ни съ мѣста: ему ни до кого нѣтъ дѣла; знать не хочетъ никого и ничего, кромѣ лѣни и кейфа. Иногда товарищи говорили ему:

— Эй, Измайловъ! Попадешься когда нибудь. Достанется тебѣ за твой халатъ въ караулѣ и за твои караулы въ халатѣ.

— Такъ что-жъ? — преспокойно отвѣчалъ сибаритъ. — Мнѣ сошло уже съ рукъ пятьдесятъ такихъ карауловъ. Если сойдетъ еще столько же и я попадусь только на сто-первомъ разѣ, то не жаль и отвѣтить одинъ разъ за сто карауловъ, проведенныхъ преспокойнѣйшимъ образомъ.

Разсчетъ Измайлова былъ вѣренъ. Три года прослужилъ онъ въ Варшавѣ, и все сибаритничалъ въ караулахъ и не попадался. Но наконецъ счастье его и оборвалось. Стоялъ онъ разъ въ карауле въ Брилевскомъ домѣ и попался.

Однажды Цесаревичъ пріѣхалъ въ Брилевскій домъ въ коляскѣ вмѣстѣ съ начальникомъ штаба, Курутою. Онъ обратилъ вниманіе на караулъ, вышедшій для отданія ему чести безъ офицера.

— А гдѣ караульный офицеръ? — спросилъ Вел. Кн. у старшаго унтеръ-офицера.

— До-вѣтру пошелъ, Ваше Высочество!

Цесаревичъ посмотрѣлъ на свои часы и, переждавъ минутъ десять, вышелъ изъ коляски и отправился на гауптвахту, гдѣ, въ офицерской комнатѣ, нашелъ Измайлова въ халатѣ, туфляхъ и въ ночномъ колпакѣ. Можете себѣ представить обоюдное изумленіе! Не сказавъ ни слова, Цесаревичъ беретъ караульнаго офицера за руку, ведетъ за собою на платформу передъ гауптвахтой и говоритъ, обращаясь къ сидящему въ коляскѣ начальнику штаба:

— Курута! Полюбуйся! Каковъ молодецъ!

И сказавъ это, начинаетъ повертывать Измайлова кругомъ, во всѣ стороны. Злополучный офицеръ, придерживая одной рукою халатъ спереди, чтобы не распахивался и не выказывалъ неприглядность его экипировки, другою приподнималъ свой ночной колпакъ и, въ тоже время, отвѣшивалъ Цесаревичу пренизкіе, совершенно китайскіе поклоны, и приговаривалъ жалобнымъ голосомъ:

— Виноватъ, Ваше Высочество! въ послѣдній разъ въ моей жизни, никогда не буду.

Фигура Измайлова была до того уморительна. что и В. Кн., и Курута помирали со смѣху. Да и самые караульные солдаты едва не фыркнули. Этотъ всеобщій смѣхъ спасъ Измайлова: его посадили на гауптвахту на двѣ недѣли. Этимъ арестомъ онъ и отдѣлался за три года лѣнивой и комфортабельной службы. Вскорѣ послѣ этого случая Измайловъ, завлеченный въ сѣти какой-то фигурантки, женился на ней и вышелъ въ отставку, чтобы лѣниться и сибаритничать въ деревнѣ сколько душѣ угодно и безъ всякаго риска. Неизвѣстно, продолжалъ-ли онъ упражнять

ой высокій лирическій талантъ. Можетъ быть творенія его явятся ь печати и затмятъ собою всѣхъ старыхъ и новыхъ поэтовъ и лири-овъ.

Другая личность, о которой сейчасъ буду разсказывать, хорошо звѣстна всей читающей Россіи, по своимъ литературнымъ трудамъ. го — авторъ «Киргизъ-Кайсака и Матушки Мадамъ», покойный В. А. шаковъ. Служилъ онъ тогда въ Варшавѣ и былъ извѣстенъ, какъ че-овѣкъ очень умный и хлѣбосолъ, любившій хорошо поѣсть, а въ осо-енности попить. Онъ былъ большой хозяинъ и домоводъ и отлично мѣлъ приготовлять различныя настойки и наливки, которыхъ находился него всегда огромный запасъ въ многочисленныхъ бутыляхъ. И всякій ень у него обѣдало нѣсколько изъ его товарищей.

Въ это же самое время былъ прикомандированъ къ литовскому полку цинъ маіоръ. Это былъ добрѣйшій малый, честный, веселый, беззабот-ый, но самая забубенная голова и кутило первой руки. Когда онъ по-учалъ жалованье, тогда его не видали въ полку по три и по четыре едѣли. Но когда прокутитъ все свое жалованье, тогда голодъ выгонялъ го изъ дома, и онъ уже постоянно обѣдалъ у гостепріимнаго Ушакова, пользовался его настойками, совѣтами и дружбою. И былъ еще этотъ маіоръ страшнѣйшимъ неряхою, замарашкою; ходилъ часто небритый, ечесаный, немытый и въ засаленномъ, а порою и разорванномъ подъ ышками вицмундирѣ.

Обѣдало однажды у автора «Киргизъ-Кайсака» человѣкъ восемь, въ омъ числѣ и маіоръ. Пили всего много: и настоекъ, и наливокъ, и иноградныхъ винъ. Вставши изъ-за стола, всѣ были очень веселы, и ще болѣе навеселѣ. Вотъ Ушаковъ и сказалъ маіору:

— Что ты, другъ мой, не женишься? Вѣдь женатому было бы тебѣ раздо лучше, чѣмъ холостому. Ты былъ бы и опрятнѣе, и сытѣе.

— Да кто же пойдетъ за меня?—отвѣчалъ кутило-мученикъ отяже-ѣвшимъ языкомъ и съ тяжелымъ вздохомъ.

— «Ищи и обрящеши», сказано въ писаніи; ну, и ты можешь айти себѣ жену, когда поищешь хорошенько. Чѣмъ же ты не мужъ?

— А что? И въ самомъ дѣлѣ, я бы женился, когда бы отыскалъ ебѣ невѣсту.

— Ну, хочешь-ли я найду тебѣ невѣсту, сегодня же, сейчасъ же? меня есть на примѣтѣ, и не одна, а нѣсколько.

— Въ самомъ дѣлѣ! А хороши онѣ собою?

— И молоды и красавицы собою.

— Неужели? Да кто же онѣ такія?

— Дочери графини Шатковской.

— Дочери графини! Вишь куда хватилъ. Пойдутъ за меня графскія дочери! Держи карманъ.

— А я думаю, что каждая изъ нихъ пойдетъ за тебя. Ну, хочешь ли: я сейчасъ поѣду къ ней отъ тебя сватомъ?

— Согласенъ. Поѣзжай. Что будетъ, то будетъ. Ну, другъ Василій! порадуешь меня, когда устроишь это дѣло.

— Господа, — сказалъ Ушаковъ, обращаясь къ своимъ гостямъ. Слышали ли вы: нашему общему другу хочется жениться, а я взялся ему сватать одну изъ дочерей графини Шатковской. Хотите ли вы помогать мнѣ въ этомъ добромъ дѣлѣ?

— Хотимъ, хотимъ! Браво, маіоръ! браво, Ушаковъ! — раздалось со всѣхъ сторонъ.

— Послушайте, господа! — продолжалъ Ушаковъ. — Пока я буду снаряжать подъ вѣнецъ нашего друга, потрудитесь кто нибудь изъ васъ съѣздить на Мостовую улицу къ графинѣ Шатковской, предупредить ее, что я съ женихомъ и вся наша честная компанія будемъ къ ней черезъ часъ. А отъ графини надо заѣхать въ ближайшій костелъ предувѣдомить ксендза (католическаго священника), чтобы все было готово къ скорому бракосочетанію.

Въ первые годы по возвращеніи съ войны, браки военныхъ офицеровъ совершались весьма легко; не требовалось даже и разрѣшенія начальства.

Одинъ изъ гостей поѣхалъ съ порученіями Ушакова, а этотъ послѣдній сейчасъ же занялся маіоромъ; заставилъ его выбриться, вымыться, причесаться. Приказалъ починить и вычистить его вицъ-мундиръ, далъ ему чистое и тонкое бѣлье, и когда все это было кончено, привели трое *дорожекъ* (небольшихъ, но четверомѣстныхъ извощичьихъ колясокъ парою), въ которыхъ все общество отправилось на Мостовую улицу.

— Дома графиня Шатковская? — спросилъ Ушаковъ, войдя въ прихожую.

— Дома, — отвѣчала служанка.

— А много у графини дочерей? — Спросилъ женихъ, вполголоса и охорашиваясь въ прихожей передъ зеркаломъ.

— Десять дочерей, — отвѣчалъ Ушаковъ.

— И всѣ невѣсты?

— Всѣ до одной — невѣсты, молоды и одна другой лучше.

— Экая благодать!

Вслѣдъ за этимъ разговоромъ, вся компанія вошла въ большую пріемную комнату, гдѣ, на диванѣ, возсѣдала графиня Шатковская, женщина лѣтъ тридцати пяти и еще очень интересная собою. По сторонамъ на креслахъ сидѣли ея десять дочерей, разодѣтыхъ щегольски, т. е. extrêmement décolletées. А главное: всѣ онѣ казались между собою почти ровесницами, имѣвшими отъ семнадцати до двадцати лѣтъ. Видно рожались двойняжками. Гости вошли попарно. Впереди шли Ушаковъ съ маіоромъ. Графиня была уже обо всемъ предувѣдомлена и приготовилась разъиграть свою роль съ достоинствомъ, подобающимъ ея сану.

— Графиня! позвольте представить вамъ моего друга, господина Д. Д., а ваше сіятельство подрудитесь представить ему вашихъ дочерей, сказалъ Ушаковъ графинѣ, подведя къ ней маіора.

— Съ большимъ удовольствіемъ, — отвѣчала графиня, слегка кивнувъ головою и протянувъ жениху свою руку. А женихъ взялъ да и поцѣловалъ эту руку. Графиня сконфузилась немного, а гости чуть не расхохотались. Но, впрочемъ, все обошлось благополучно.

— Марися ходзь ту (Маша! поди сюда), — продолжала графиня.

На этотъ материнскій зовъ, высокая, черноглазая брюнетка встала съ креселъ, подошла къ матери, потомъ повернулась къ жениху, и сдѣлавши ему quasi-граціозный реверансъ, возвратилась на свое прежнее мѣсто.

— Это моя старшая дочь, — проговорила графиня и продолжала перекличку своимъ дочерямъ. За Марисею слѣдовала Ягуся, вторая дочь, блондинка, средняго роста, съ роскошнымъ бюстомъ и съ прекрасными голубыми глазами. За Ягусею слѣдовали: Каролина, Іогася, Кася, Людвися, Юзя, Теклюся, Зося и Тереза. У маіора глаза разбѣжались при видѣ такого множества хорошенькихъ дѣвицъ, и онъ таялъ отъ огня столькихъ прекрасныхъ глазъ, устремленныхъ на него безъ малѣйшей робости, а напротивъ... Когда представленіе молодыхъ графинь окончилось, Ушаковъ взялъ маіора подъ руку, отвелъ въ сторону и спросилъ:

— Которая же изъ дочерей графини нравится тебѣ болѣе другихъ.

— Всѣ мнѣ нравятся.

— Да вѣдь нельзя жениться на всѣхъ. Ну, выбирай любую; а я сейчасъ ей сдѣлаю за тебя предложеніе, и напередъ увѣренъ въ согласіи дочери и матери.

— Право всѣ онѣ очень хороши; не знаешь, какую выбрать.

— Эхъ, братъ! какой ты нерѣшительный? Ну хочешь старшую, брюнетку?

— Пожалуй... Нѣтъ, постой: лучше вонъ ту, шатинку, такую розовенькую и полненькую, словно булочка... Нѣтъ, погоди немножко: лучше эту блондинку. Какія у нее славные, и такіе *добрые* голубые глаза! А что за плечи! Объѣденье! Рѣшено: иди къ этой блондинкѣ.

— Это Ягуся, вторая дочь графини. Ай да молодецъ! Губа у тебя не дура. Вѣдь это одна изъ самыхъ хорошенькихъ женщинъ Варшавы.

Ушаковъ оставилъ жениха, и поговоривъ немного съ панною Ягусею и графинею Шатковскою, возвратился къ нему и объявилъ, что предложеніе его принято благосклонно, и молодая графиня готова сейчасъ же ѣхать въ церковь. Женихъ былъ въ восторгѣ. Въ эту самую минуту вошелъ въ пріемную товарищъ, ѣздившій съ порученіями отъ Ушакова, и объявилъ, что въ костелѣ все готово къ бракосочетанію.

Итакъ, женихъ съ невѣстою и Ушаковъ со всею гурьбою офицеровъ отправились въ костелъ, гдѣ бракосочетаніе было совершено по всѣмъ правиламъ католической церкви. Изъ костела свадебный поѣздъ направился къ квартирѣ маіора, гдѣ и оставили молодую чету. Затѣмъ Ушаковъ и компанія возвратились на свои квартиры. Проспавшись и проснувшись на другое утро, онъ сталъ припоминать то, что происходило наканунѣ. А когда припомнилъ какую серьозную шутку сыгралъ онъ съ маіоромъ, бывшимъ, какъ и онъ, въ весьма ненормальномъ состояніи, то ему сдѣлалось и неловко, и совѣстно.

— Скверная штука, которая можетъ кончиться очень худо для всѣхъ актеровъ вчерашней пасквильной комедіи, а для меня въ особенности! — говорилъ Ушаковъ самъ съ собою, лежа на постелѣ. Вставши, онъ съ часу на часъ ожидалъ прихода маіора и приготовился ко всевозможнымъ бурнымъ встрѣчамъ. Но день прошелъ, а маіора не видать. Прошелъ еще и другой, и третій день, а его все нѣтъ какъ нѣтъ. Наконецъ дней черезъ десять послѣ устроенной имъ свадьбы, Ушаковъ готовился идти на репетицію развода. У него собрались всѣ ассистенты курьозной свадьбы, которая, разумѣется, и была предметомъ ихъ разговоровъ въ настоящую минуту, и со дня которой, ни одинъ изъ нихъ не встрѣчалъ нигдѣ ихъ общаго друга; точно какъ бы онъ умеръ. Вдругъ съ шумомъ растворяется дверь, и всеобщій другъ вбѣгаетъ въ комнату. Всѣ, а въ особенности Ушаковъ, приготовились къ какой нибудь весьма энергической демонстраціи со стороны мнимаго зятя мнимой графини Шатковской, который и въ самомъ дѣлѣ былъ въ страшной *экзальтаціи* и имѣлъ во всей своей особѣ что-то особенное, необыкно-

венное, чего въ немъ никогда не было. Во первыхъ: онъ былъ выбритъ, вымытъ и причесанъ. Во вторыхъ: платье на немъ было вычищено и нигдѣ не разорвано. Въ третьихъ: онъ былъ совершенно трезвъ, и какъ говорится, маковой росинки у него во рту не было, что случалось съ нимъ чрезвычайно рѣдко. Итакъ, Ушаковъ съ товарищами ожидали бурной сцены. И точно: со всѣхъ ногъ бросился къ Ушакову мужъ пани Ягуся, и прежде, нежели будущій авторъ «Киргизъ-Кайсака» успѣлъ опомниться, его другъ бацъ... и повисъ къ нему на шею, принялся душить его въ своихъ объятіяхъ, и цѣловать, приговаривая самымъ разстроганнымъ, умиленнымъ голосомъ:

— Другъ, братъ, отецъ ты мой родной, Василій Аполлонычъ! Чѣмъ и когда могу я отблагодарить тебя за твое мнѣ благодѣяніе? Я счастливѣйшій изъ смертныхъ. Не жену, а друга, ангела нашелъ и сосваталъ ты мнѣ. Нигдѣ и никогда я не встрѣчалъ подобной женщины. Молода, красавица, умна, добра, мила и кротка, словно овечка, а съ тѣмъ вмѣстѣ и чудная хозяйка. Встанетъ рано, сама разбудитъ человѣка и кухарку и присмотритъ, чтобы все было вымыто, вычищено и во время подано. И на рынокъ съ кухаркою сама сходитъ, всю провизію къ столу купитъ да еще потомъ покажетъ кухаркѣ, какъ надо приготовить, а иное блюдо и сама для меня приготовитъ, и какое вкусное, лучше всякаго повара. Потомъ осмотритъ, чисто ли, цѣло ли мое платье, сама его заштопаетъ, если разорвано. И ни одного слова не услышу, ни взгляду непріятнаго не увижу отъ нее во весь день. Все только и норовитъ, какъ бы угодить мнѣ въ чемъ нибудь, какъ бы угадать мои желанія. И смотритъ мнѣ въ глаза и не насмотрится, и ласкаетъ меня—не наласкается. А между тѣмъ, съ характеромъ: больше двухъ рюмокъ водки въ день мнѣ не даетъ; рюмку передъ обѣдомъ и рюмку передъ ужиномъ. А болѣе ни ни, шалишь! Ключи отъ шкафа всегда держитъ при себѣ. И, странное дѣло! И самому-то мнѣ теперь болѣе двухъ рюмокъ въ день не хочется; тогда какъ прежде, такъ, бывало, и тянетъ меня къ штофу. И поселилась въ моей квартирѣ благодать Божія, довольство, веселіе и радость невозмутимыя. И всѣмъ этимъ счастіемъ обязанъ я тебѣ, мой добрый, благородный другъ Василій Аполлонычъ! Да пребудетъ же надъ тобою благословеніе Божіе во всю твою жизнь!

Мужъ Ягуси плакалъ. Да и самого Ушакова разстрогала до глубины души такая неожиданная сцена; и на его умныхъ глазахъ блеснула слеза, но не горькая, а сладкая, безупречная. А на сердцѣ у него стало такъ легко. Да и всѣ прочіе повеселѣли и подивились диву дивному.

Бывшая псевдо-графиня Ягуся, а потомъ маіорша, оказалась пре-

восходнѣйшею женщиною и образцовою женою, какихъ бываетъ очень мало; и маіоръ былъ счастливѣйшимъ изъ мужей. Такъ иногда, хотя и очень рѣдко, попадаются драгоцѣнные перлы въ грязной, навозной кучѣ. И я закончу этотъ разсказъ стихомъ безсмертнаго Грибоѣдова:

«На свѣтѣ дивныя бываютъ приключенья.»

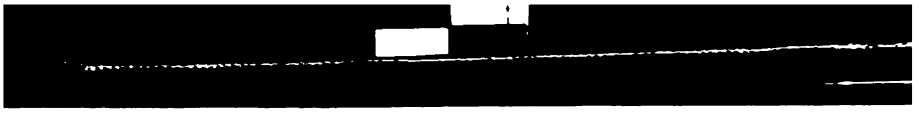
XI.

Мое перерожденіе.

Возвращусь къ субъективному повѣствованію. Я продолжаю жить у дяди, и учиться съ прежнимъ увлеченіемъ. Старикъ Петерсъ умеръ послѣ двухъ лѣтъ своихъ занятій со мною. Сильно огорчила меня эта кончина. Мнѣ дали другаго учителя. Это былъ одинъ изъ лучшихъ въ Варшавѣ профессоровъ французскаго языка, нѣкто Коше, настоящій парижанинъ. Метода его преподаванія была превосходна, и я еще болѣе пристрастился къ ученію, дѣлалъ быстрые и громадные успѣхи и, подъ конецъ своихъ уроковъ у Коше, зналъ французскій языкъ, особенно въ грамматическомъ отношеніи, гораздо лучше нежели свой родной, которому я вовсе не учился въ Варшавѣ, и не имѣлъ ни малѣйшаго понятія о русской грамматикѣ.

Меня посѣтило новое горе: умеръ старшій мой дяди Валентинъ Макарычъ Мичуринъ, котораго любилъ я съ какою-то поэтическою восторженностію. Да и было за что. Валерьянъ Макарычъ тоже былъ пораженъ неожиданною кончиною брата, котораго любилъ и уважалъ, какъ отца и друга.

Въ концѣ 1826 года, послѣ трехъ съ половиною лѣтъ пребыванія въ домѣ дяди, я былъ наконецъ отправленъ въ школу пѣхотныхъ гвардейскихъ подпрапорщиковъ, которая находилась въ Лазенковскомъ паркѣ. Для кавалерійскихъ юнкеровъ была отдѣльная школа, находившаяся въ центрѣ города. Здѣсь началась для меня совершенно новая жизнь, въ обществѣ многочисленныхъ товарищей, большинство которыхъ составляли поляки. Потомъ было много нѣмцевъ, нѣсколько французовъ, итальянцевъ, татаръ и перекрещенныхъ евреевъ. Всего менѣе было русскихъ: не болѣе восьми человѣкъ изъ числа трехъ сотъ пятидесяти юнкеровъ, составлявшихъ школу подпрапорщиковъ. Начальство школы состояло тоже изъ поляковъ, и потому польскій языкъ былъ господствующимъ, офиціальнымъ.



Странно было устройство варшавской школы подпрапорщиковъ, нисколько не походившее на устройство такой же школы въ Петербургѣ. Каждый изъ гвардейскихъ и армейскихъ полковъ, стоявшихъ въ Польшѣ, отправлялъ въ школу отъ двадцати пяти до тридцати юнкеровъ, которые, проведя восемь мѣсяцевъ вмѣстѣ, подъ одною кровлею, на лѣто возвращались въ свои полки. Поэтому у нихъ было два начальства: школьное и полковое. Это былъ настоящій военный дуализмъ.

Программа школьнаго образованія была невообразимо скудна: юнкеровъ обучали маршировкѣ, ружейнымъ пріемамъ и *теоріи*. Подъ этимъ послѣднимъ словомъ разумѣли теоретическое изученіе ротнаго и батальоннаго ученій. Затѣмъ, посредствомъ осьмирядныхъ ученій, производились весною практическія упражненія въ разныхъ построеніяхъ. До 1827 г. никакимъ наукамъ въ школѣ не обучали. Только въ началѣ этого года ввели преподаваніе ариѳметики, геометріи, полевой фортификаціи, основаній артиллеріи и черченію плановъ. Объ исторіи, географіи и прочихъ наукахъ не было и помину. Но и та малость, которая наконецъ была введена въ школьное образованіе юнкеровъ, преподавалась въ классахъ только *для блезиру*, для очищенія совѣсти: кто хотѣлъ, тотъ учился и выходилъ къ доскѣ съ отвѣтомъ; а кто не хотѣлъ, не учился, не подвергаясь за это ни малѣйшему наказанію и не теряя права на производство въ офицеры. Главное, чего требовалось отъ юнкеровъ, это — отличное знаніе фронтовой службы и хорошее поведеніе, подъ которымъ разумѣлись преимущественно соблюденіе военной дисциплины и исправность по службѣ, но не безукоризненная нравственность; тѣмъ болѣе, что между юнкерами, особенно польскихъ полковъ, находились не столько юноши, какъ зрѣлые и даже очень пожилые люди, имѣвшіе отъ двадцати пяти и до сорока лѣтъ, прослужившіе уже лѣтъ по десяти и по пятнадцати, искусившіеся во всѣхъ житейскихъ сладостяхъ, и коротко знакомые со всѣми злоупотребленіями и съ цинизмомъ разгульной жизни пожилыхъ холостяковъ.

За то, надо отдать справедливость, тогдашніе юнкера превосходно изучали всѣ маневры и построенія въ батальонныхъ и линейныхъ ученьяхъ. А тогдашнія построенія были чрезвычайно многочисленны, разнообразны и сложны, по причинѣ контрмаршей, деплоядъ, захожденій и разныхъ другихъ фронтовыхъ тонкостей, впослѣдствіи уничтоженныхъ. Приведу два примѣра такихъ сложныхъ и запутанныхъ построеній для моихъ военныхъ читателей.

Батальонъ стоитъ въ дивизіонной колоннѣ справа. Батальонный командиръ хочетъ развернуть фронтъ въ противоположную сторону. Это

прежде дѣлалось посредствомъ одного изъ трехъ движеній: или черезъ контрмаршъ, или черезъ захожденіе кругомъ, или черезъ смѣшеніе этихъ двухъ движеній. Въ послѣднемъ случаѣ батальонный командиръ командуетъ:

«Унтеръ-офицеры втораго дивизіона передъ дивизіонъ на линію съ контрмаршемъ. Въ первомъ полубатальонѣ деплояда и контрмаршъ по второму дивизіону, стройся налѣво и направо назадъ. Во второмъ полубатальонѣ стройся направо и налѣво кругомъ во фронтъ заходи».

Какова команда! На тощахъ не выговоришь.

Вотъ образчикъ другаго, еще болѣе сложнаго и головоломнаго построенія.

Батальонъ стоитъ развернутымъ фронтомъ. Батальонный командиръ командуетъ:

«Четвертый взводъ четверть круга направо заходи. Перемѣна фронта по четвертому взводу правымъ флангомъ назадъ».

Движеніе началось. 4-й взводъ уже зашелъ четверть круга и остановился. Линія батальона вся изломана: три взвода перваго полубатальона идутъ заднею шеренгою и облически къ новой линіи фронта, т. е. сперва зайдя $^1/_8$ часть круга направо. Четыре взвода втораго полубатальона идутъ переднею шеренгою и тоже облически. И вдругъ раздается слѣдующая команда батальоннаго командира:

«Шестой взводъ стой! По шестому взводу строй каре!»

Какая быстрота соображенія необходима была для взводныхъ командировъ, чтобы мгновенно повернуть свои взводы, куда слѣдовало: направо или налѣво-кругомъ, или вести нѣкоторое время прямо, но вести и не спутаться, не наткнуться на другой взводъ, войти въ свое мѣсто и въ свое время и не потерять ни дистанціи, ни равненія.

*) Но вотъ еще странность, да еще какая: въ школѣ не было и помину о преподаваніи «Закона Божія». Даже самое слово *Законъ Божій* не было никому извѣстно въ школѣ, никто никогда его не произнесъ. Мало того: индеферентизмъ въ дѣлѣ вѣры, какъ между подпрапорщиками, такъ и между командовавшими ими офицерами, доходилъ до крайнихъ предѣловъ, такъ что и православныхъ, и католиковъ, и лютеранъ и чуть ли даже не магометанъ, — всѣхъ безразлично водили по праздникамъ въ католическій костелъ, гдѣ я дремалъ, а порою и всхрапывалъ подъ звуки органа. И если водили юнкеровъ по праздникамъ въ

---

*) *Вся нижеслѣдующая тирада, кончающаяся словами «это самое зачумленное и прокаженное порожденіе» написана мною въ ноябрѣ сего 1881 года.*

церковь, то это не столько для того, чтобы молиться Богу, сколько для того. чтобы сдѣлать церковный парадъ, пощеголять выправкою, равненіемъ и стройностію движеній. Только на второй годъ прибытія моего въ школу, въ 1827 году, разрѣшено было юнкерамъ каждаго исповѣданія ходить въ свою церковь. Мы, православные, ходили въ греческую церковь, что на Подвальной улицѣ. И произошло это по иниціативѣ не сверху, но снизу, а именно: два подпрапорщика волын. полка, братья Бексель, пришли въ одинъ праздникъ къ своему полковому командиру, принимавшему въ нихъ особенное участіе.

— Откуда вы? — спросилъ ихъ полковой командиръ.

— Изъ костела.

— Какъ изъ костела? Да вѣдь вы — православные?

— Да. Но въ нашей школѣ всѣхъ водятъ въ костелъ: и католики, и православные, и лютеране, всегда и всѣ должны безразлично участвовать въ церковномъ парадѣ и идти въ костелъ; и тамъ, кто хочетъ — молится, а кто не хочетъ — дремлетъ, а порою и спитъ подъ звуки органа.

— Чортъ знаетъ, что это у васъ за порядки!... Православныхъ въ костелъ!... Нѣтъ, это необходимо измѣнить и я постараюсь объ этомъ. И вотъ, благодаря двумъ юношамъ-подпрапорщикамъ и генералу, разрѣшено было молиться каждому въ храмѣ своего вѣроисповѣданія. А до тѣхъ поръ, въ продолженіи многихъ лѣтъ, царствовало въ школѣ настоящее религіозное столпотвореніе. Но «Закона Божія» все-таки не подумали преподавать, и это слово осталось неизвѣстнымъ въ школѣ до самаго польскаго возстанія 1830 года. И только возвратясь изъ плѣна въ Россію и находясь въ отпуску, я впервые услышалъ слово «Законъ Божій». И однако-жъ, несмотря на такой важный пробѣлъ въ образованіи юношества, изъ моихъ школьныхъ товарищей не вышло впослѣдствіи ни одного револьверщика, ни динамитчика, ни подкопщика. Не вышло потому, что намъ внушали строгія понятія о чести, честности и уваженіи къ закону и власти, и къ верховной, и къ родительской; что въ то время не было и въ поминѣ, ни въ понятіяхъ такихъ ультрапрогрессивныхъ и передовыхъ педагоговъ, которые, какъ это случилось гораздо позднѣе, осмѣлились бы проповѣдывать своимъ воспитанникамъ, что: *уважать родителей, это — пошлое, устарѣлое, ни на чемъ не основанное правило; что уважать родителей слѣдуетъ лишь на столько, на сколько они это заслуживаютъ....* Каково? Поставить родителей подъ контроль своихъ дѣтей!... Напр.: вслѣдствіе такого прогрессивнаго кодекса, такой прогрессивной педагогической

ственности, сегодня какой нибудь гимназистъ втораго класса скажетъ отцу:

— Папа! дай мнѣ 20 коп. на пряники. — Папа дастъ ему. На другой день онъ проситъ 50 к. Папа и тутъ дастъ ему. На третій попроситъ уже рубль на мороженое и на конфеты. Папа откажетъ: черезчуръ много. Ну и «долой папа! Не слѣдуетъ ему повиноваться: *онъ не заслуживаетъ уваженія*», порѣшитъ безбородый молокососъ, и это въ силу проповѣди гимназическаго прогрессивнаго педагога.... Вотъ и пожинаемъ теперь не совсѣмъ-то сладкіе плоды такого прогрессивнаго ученія, такихъ прогрессивныхъ и передовыхъ педагоговъ шестидесятыхъ годовъ. И не знаешь, кто достоинъ большаго сожалѣнія: несчастные ли родители зачумленныхъ и прокаженныхъ дѣтищей, или это самое зачумленное и прокаженное порожденіе?

Мнѣ было не съ большимъ шестнадцать лѣтъ, когда я попалъ въ школу и очутился въ многолюдномъ обществѣ взрослыхъ товарищей, изъ которыхъ многіе годились мнѣ въ отцы. Но, несмотря на мой юный возрастъ, столь способный къ воспріимчивости и увлеченіямъ черезъ подражаніе старшимъ, я выказалъ необыкновенныя твердость характера и стойкость правилъ и убѣжденій, и потому нисколько не подчинился вліянію окружавшей меня среды. Во все время пребыванія моего въ школѣ я умѣлъ сохранить независимость моихъ мнѣній, воли, избѣгнуть душевной и тѣлесной порчи и сберегъ самую чистую, непорочную нравственность, такъ что, до двадцати-лѣтняго своего возраста, т. е. до производства въ офицеры, не зналъ еще, какой вкусъ имѣютъ водка, ликеръ, пуншъ и проч. и проч. Я даже не курилъ, хотя, а можетъ быть, и потому, что куреніе табаку въ школѣ не было запрещено. А между тѣмъ множество изъ моихъ молодыхъ товарищей не устояли противъ заразительности примѣровъ, пускались во всѣ тяжкія и, по производствѣ въ офицеры, носили на себѣ слѣды всевозможныхъ излишествъ, растраты молодыхъ тѣлесныхъ силъ и преждевременной хилости.

Но если я устоялъ противъ обольщеній варшавской жизни съ ея безчисленными и дешевыми наслажденіями, то, съ другой стороны, четырехлѣтнее пребываніе мое въ школѣ и сообщество многочисленныхъ товарищей оказали огромное вліяніе на нѣкоторыя стороны моего характера, который, къ концу моей школьной жизни, совершенно измѣнился, преобразовался, и къ лучшему, утративъ всю угловатость домашняго воспитанія. Изъ вспыльчиваго, рѣзваго, нетерпѣливаго, раздражительнаго, *каким* былъ прежде, я сдѣлался тихимъ, покойнымъ, терпѣли-

вымъ и сдержаннымъ. Вотъ съ чего началось и какъ потомъ совершилось это духовное перерожденіе.

Вскорѣ по прибытіи въ школу, я подвергнулся участи, общей всѣмъ новичкамъ мужскихъ учебныхъ заведеній, т. е. сдѣлался предметомъ насмѣшекъ, подтруниванья и разныхъ смѣхотворныхъ продѣлокъ назойливыхъ товарищей. Вначалѣ я переносилъ все довольно терпѣливо, но потомъ не выдержалъ.

Однажды чистилъ я свое ружье. Одинъ изъ товарищей кн. Оболенскій принялся надо мной подтруниватъ. Я отшучивался, огрызался и довольно удачно. Товарищъ не унялся: отъ словъ перешелъ къ дѣйствіямъ и сталъ надоѣдать мнѣ разными школьничествами. То дернетъ меня за полу шинели, то толкнетъ въ локоть, то ущипнетъ сзади за что нибудь, то сдунетъ съ доски и прямо мнѣ въ глаза тертый кирпичъ, которымъ я чистилъ мѣдныя скобки у ружья. Я наконецъ разсердился не на шутку и грозно сказалъ неунимавшемуся шалуну:

— Языкомъ... что хочешь мели, но рукамъ воли не давай!

Шалунъ не унимался и рѣшительно мѣшалъ мнѣ чистить ружье.

— Оставь меня въ покоѣ, или тебѣ будетъ худо! — крикнулъ я еще грознѣе. Но школьникъ не унимался и надоѣдалъ пуще прежняго.

— Если ты не перестанешь послѣ трехъ разъ, то я проколю тебя штыкомъ, въ чемъ даю тебѣ честное слово! — пригрозилъ я.

Шалости продолжались.

— Въ первый разъ говорю: перестань!... Въ другой разъ говорю: перестань!... Въ третій разъ говорю: перестань! — Послѣ безуспѣшности третьяго предостереженія, я обернулся къ неунимавшемуся шалуну и со всего размаха пустилъ въ него ружье. Надоѣдало успѣлъ отскочить въ сторону, и штыкъ попалъ въ деревянную койку и насквозь пробилъ доску. И шалунъ, и я были спасены, потому что происшествіе это не имѣло послѣдствій: оно было скрыто отъ начальниковъ и осталось между товарищами новичка, которому уже болѣе не надоѣдали, и съ которымъ начали всѣ обращаться съ уваженіемъ, какъ со старымъ товарищемъ. Случай этотъ сильно подѣйствовалъ на меня и заставилъ углубиться въ самого себя и строго наблюдать за собою, чему способствовало еще слѣдующее обстоятельство.

Между моими товарищами, литовскими юнкерами, находился одинъ, съ которымъ я скоро сошелся и очень подружился. Это былъ нѣкто Забелло, родомъ изъ Литвы и блистательно окончившій курсъ въ виленскомъ университетѣ. Тремя годами старѣе меня, умный, честный, благородный, пылкій, краснорѣчивый, онъ страстно любилъ исторію, въ

особенности древнюю, и бредилъ героями Греціи и Рима, временъ Аристида и Цинцината. Я бесѣдовалъ съ Забелло по цѣлымъ часамъ и извлекалъ огромную пользу изъ этихъ разговоровъ, пополнявшихъ во мнѣ недостатокъ классическаго воспитанія. Но главное добро, сдѣланное мнѣ этою дружбою, состояло именно въ моемъ духовномъ перерожденіи.

Разсуждая о недостаткахъ воспитанія и характера, Забелло разсказалъ мнѣ нѣкоторыя черты изъ жизни Франклина, и, между прочимъ, какъ этотъ добродѣтельный американскій гражданинъ, желая исправиться отъ нѣкоторыхъ своихъ недостатковъ, ежедневно вечеромъ строго цензоровалъ самъ себя и отмѣчалъ въ дневникѣ тѣ изъ недостатковъ, которые проявлялись въ немъ въ теченіе дня. Забелло и я рѣшились послѣдовать примѣру Франклина и условились между собою, чтобы каждый изъ насъ велъ подобный журналъ, и потомъ контролировалъ одинъ другаго. Сдѣлали мы по тетради, въ которыхъ каждая страница была наполнена графами, продольными и поперечными. Въ послѣднія вписывались всѣ дни и числа текущаго мѣсяца, а въ продольныя — разные недостатки и пороки, какъ-то: вспыльчивость, нетерпѣніе, тщеславіе, несправедливость, мстительность, лѣность, праздность, безпорядокъ, слабость характера, уныніе, разсѣянность, неакуратность, невоздержаніе, дурныя привычки, неосторожность. Потомъ каждый вечеръ, прежде чѣмъ лечь въ постель, каждый изъ двухъ друзей, строго и безпристрастно провѣривъ свое поведеніе въ теченіе дня, отмѣчалъ въ клѣткѣ, образовавшейся отъ пересѣченія продольныхъ и поперечныхъ линій, противъ того недостатка, въ которомъ онъ былъ виновенъ. Если провинился только разъ, то отмѣчалъ единицею; если болѣе одного раза — крестикомъ; а если готовъ былъ провиниться, но удержался, то ставилъ нуль. Пустыя клѣтки означали отрицательность, т. е. что не было случая провиниться въ томъ или другомъ недостаткѣ. Такимъ образомъ, въ продолженіе всей моей школьной жизни, я акуратно велъ балы своему поведенію. Въ первые мѣсяцы клѣтки этого оригинальнаго журнала были испещрены единицами и крестами. Наиболѣе находилось ихъ въ клѣткахъ вспыльчивости, нетерпѣнія, неосторожности, разсѣянности и дурныхъ привычекъ. Но, по прошествіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ, кресты и единицы стали рѣдѣть и замѣняться нулями, т. е. знаками исправленія. Въ концѣ перваго года дурные балы появлялись уже очень рѣдко; а передъ выходомъ моимъ изъ школы, товарищи не узнавали меня и дивились такому полному и счастливому перерожденію моего характера, нрава, манеръ и привычекъ. Трудно было меня разсердить и вывести *изъ себя. Я* слылъ самымъ акуратнымъ, порядочнымъ, солиднымъ, дѣль-

нымъ и добронравнымъ юнкеромъ изо всей школы, и пріобрѣлъ всеобщее уваженіе и любовь какъ товарищей, такъ и начальниковъ.

Относительно того, какъ я умѣлъ владѣть собою и уживаться со всѣми, я впослѣдствіи сдѣлалъ опытъ надъ собою и, такъ сказать, блистательно выдержалъ этотъ экзаменъ своимъ благопріобрѣтеннымъ хладнокровіемъ и терпѣніемъ. Но объ этомъ послѣ. Да и не въ одномъ преобразованіи своего характера, а во многихъ другихъ случаяхъ я выказалъ необычайную настойчивость и силу воли. За что бы ни принялся, я не покидалъ дѣла, пока не доводилъ его до конца, пока не достигалъ предположенной цѣли. Объ этой настойчивости говорится подробно въ началѣ второй части *Воспоминаній*, въ главѣ *Настойчивость и борьба съ трудностями*.

XII.

Фальшивая тревога и арестованіе арестователей.

Возвращусь на время къ моему чудаку дядѣ. Дрожайшая и съ разнокалиберными глазами половина Валерьяна Макарыча становилась все капризнѣе, неопрятнѣе и жаднѣе на разныя лакомства. Но онъ не унывалъ, былъ попрежнему беззаботенъ и веселъ, продолжалъ, время отъ времени, декламировать съ подушкою на головѣ, и все толстѣлъ и толстѣлъ, такъ что подъ конецъ его бы слѣдовало помѣстить въ число напхрабрѣйшихъ людей, на основаніи слѣдующаго двустишія изъ одной старинной комедіи:

«Одинъ лишь трусъ худѣетъ,
А храбрый человѣкъ часъ отъ часу толстѣетъ».

И въ самомъ дѣлѣ, надо было имѣть много храбрости, чтобы жениться на обладательницѣ «вѣчноструящагося ока», вѣчно грязныхъ рукъ и шеи и «непроходимаго» тупоумія, въ соединеніи съ нестерпимыми капризами и образцовымъ неряшествомъ. Но еще гораздо болѣе храбрости необходимо было для того, чтобы, пріобрѣтя такую «подругу жизни», не разъѣхаться съ нею въ первый же годъ этого необъяснимо-злополучнаго супружества, а напротивъ—прожить съ нею двадцать девять лѣтъ... Что же послѣ этого удивительнаго въ томъ, что эскимосы ѣдятъ, да еще съ наслажденіемъ, сырой и вонючій моржовый жиръ, отъ одного запаху котораго стошнитъ каждаго образованнаго европейца?.. Вѣдь иныя со-

други жизни не въ примѣръ тошнительнѣе сыраго моржоваго жиру. Впрочемъ, цивилизація тоже имѣетъ своихъ эскимосовъ, которыми изобилуютъ не столько нижніе слои европейскихъ обществъ, какъ *извѣстныя сферы*. Сколько разъ случалось мнѣ слышать отъ разныхъ этакихъ индивидуумовъ, носящихъ самые блестящіе лакированные сапоги, самыя палевыя перчатки и самое тонкое бѣлье; слышать слѣдующія фразы: «По мнѣ хоть коза, да золотые рога».

Эскимосы, сущіе эскимосы, любящіе сырой моржовый жиръ, да только *сервированный на золотомъ блюдѣ*.

Неряшество заразительно и прогрессивно, и потому Валерьянъ Макарычъ и самъ становился все неряшливѣе. Съ постояннымъ его растолстѣніемъ, платье у него дѣлалось всѣ тѣснѣе и тѣснѣе и, вмѣстѣ съ тѣмъ, все короче и короче, такъ что, наконецъ, нижняя часть мундира не сходилась съ верхнею частію панталонъ; и вокругъ его огромнаго, котлообразнаго живота и по бокамъ образовалась бѣлая полоса, т. е. отверстіе, черезъ которое выглядывала его рубашка. Чтобы умѣрить это не совсѣмъ граціозное любопытство своей сорочки, Валерьянъ Макарычъ употреблялъ слѣдующее средство: онъ складывалъ широко свой шарфъ и опоясывался имъ такъ, что отверстіе съ выглядывавшею сорочкою совершенно закрывалось отъ нескромныхъ взоровъ, которые вздумали бы изучать чистоту чужаго бѣлья. Поэтому Валерьянъ Макарычъ называлъ шарфъ *соединеніе мундира съ панталонами*. Уморительно было видѣть его, когда онъ отправлялся на дежурство. Надо сказать, что, какъ настоящій варшавскій житель, онъ ежегодно мѣнялъ квартиры. Мѣнять часто квартиры, это — привычка, страсть, необходимость, манія у жителей Варшавы. Прожить два, три года на одной и той же квартирѣ — фактъ, почти небывалый тамъ, или весьма рѣдкій. Поэтому пять квартиръ перемѣнилъ Валерьянъ Макарычъ со дня прибытія моего въ Варшаву. Послѣдняя его квартира находилась на Маримонтской улицѣ, противъ самыхъ Александровскихъ казармъ.

Итакъ, отправляясь на дежурство и произведя прежде свое знаменитое соединеніе мундира съ панталонами, Валерьянъ Макарычъ клалъ подъ лѣвую мышку кожаную подушку, а подъ правую нотную тетрадь и ящикъ съ флейтою, и вооруженный такимъ образомъ противъ служебной скуки, шествовалъ черезъ улицу и потомъ черезъ всю казарменную площадь, и добирался до дежурной комнаты, запыхавшись и раскраснѣвшись подъ ношею своего огромнаго живота. И затѣмъ вскорѣ раздавались на *всѣ казармы* звуки его флейты, на которой игралъ онъ съ замѣчатель-

ною бѣглостію въ пальцахъ и въ читаніи нотъ, но съ нѣкоторымъ свистомъ въ амбушюрѣ, отнимавшемъ всю пріятность у его игры.

По поводу этой игры, одинъ изъ его друзей и воспитанниковъ по кадет. корпусу, капитанъ Жеребцовъ, отпустилъ однажды очень удачную остроту—антитезу :

— Какой толстый, а какъ тонко свищетъ !

Въ началѣ 1828 года Валерьянъ Макарычъ вышелъ въ отставку, и поселился въ своемъ имѣніи, близъ Солигалича, вмѣстѣ съ подругою своей жизни. Мѣсяца за три до его отставки, въ домѣ у него случилось весьма забавное происшествіе, заслуживающее описанія.

Квартировалъ онъ тогда, какъ я уже сказалъ, противъ самыхъ казармъ и занималъ одноэтажный деревянный домъ. Во флигелѣ, тоже деревянномъ, стоялъ прапорщикъ и красавецъ литовскаго полка Якубовскій. Съ Якубовскимъ стоялъ его двоюродный братъ, Малаховскій, девятнадцатилѣтній юноша, юнкеръ литовскаго полка и тоже красавецъ собою. На дворѣ этого дома находился небольшой садикъ съ липами и кустами сирени.

Валерьянъ Макарычъ праздновалъ именины своей жены, и давалъ вечеръ съ танцами и ужиномъ. Гости его состояли изъ полковыхъ офицеровъ и дамъ. Въ числѣ ихъ были два юнкера, братья Венгерскіе, очень красивые юноши. Танцы начались и продолжались съ тѣмъ увлеченіемъ и неутомимостію, на какія была способна военная молодежь того времени. Было около одиннадцати часовъ вечера.

Въ это самое время юнкеръ Малаховскій возвращался домой отъ одного изъ своихъ товарищей, жившаго не вдалекѣ отъ литовскихъ казармъ. Саженъ за сто не доходя до своей квартиры, онъ повстрѣчался съ патрулемъ, состоявшимъ изъ нѣсколькихъ солдатъ и унтеръ-офицера волынскаго полка, подъ командою дозорца (квартальнаго).

— Кто идетъ? окликнулъ дозорецъ Малаховскаго.

— Свой, отвѣчалъ Малаховскій.

— Что за свой и кто ты такой, и куда и откуда идешь ты такъ поздно? загорланилъ дозорецъ тономъ и языкомъ, доказывавшимъ, что онъ былъ очень навеселѣ и въ самомъ придирчивомъ расположеніи духа.

— Я литовскій юнкеръ, былъ у товарища, возвращаюсь домой, иду спокойно и никого не трогаю.

— А! такъ ты—нижній чинъ и смѣешь разговаривать такъ много. Взять его подъ арестъ! я отведу его въ волынскій полкъ.

Унтеръ-офицеръ готовился исполнить приказаніе дозорца. Положеніе Малаховскаго было самое критическое, потому что быть арестованнымъ

ночью на улицѣ и посаженнымъ на гауптвахту чужаго полка, значило для юнкера—попасть въ рапортъ высшему начальству, и рисковать быть разжалованнымъ. Поэтому Малаховскій, сообразивъ всю опасность своего положенія, быстро составилъ планъ избѣжать бѣды немпучей. Онъ заговорилъ по возможности умоляющимъ голосомъ, обращаясь то къ дозорцу, то къ унтеръ-офицеру.

— Если вы находите, что меня слѣдуетъ арестовать, то прошу васъ отвести меня въ литовскій полкъ, вмѣсто того, чтобы тащить въ волынскія казармы, за двѣ версты отсюда. Для васъ это все равно, а для меня вы сдѣлаете большое облегченіе.

Унтеръ-офицеръ, а за нимъ и дозорецъ сдались на просьбу Малаховскаго и вернулись назадъ къ литовскимъ казармамъ. Дорога шла мимо самыхъ воротъ дома, гдѣ квартировали Якубовскій и Мичуринъ. Поровнявшись съ этими воротами, у которыхъ калитка была полурастворена, Малаховскій вдругъ прыгнулъ въ нее, да такъ проворно и ловко, что шедшій за нимъ патруль не успѣлъ и опомниться отъ такой неожиданности. Очутившись на дворѣ, онъ не вошелъ въ свою квартиру, а бросился въ садикъ и спрятался въ кустахъ сирени, гдѣ считалъ себя гораздо безопаснѣе, благодаря темной осенней ночи.

Между тѣмъ, патруль началъ свое дѣло. Дозорецъ закричалъ солдатамъ: «Ловите его, ловите, ему некуда уйти отсюда»! И самъ первый пролѣзъ черезъ калитку на дворъ, а за нимъ и весь патруль. Увидя освѣщеніе въ окнахъ Мичурина и услыша музыку, т. е. топорный квартетъ полковыхъ музыкантовъ, дозорецъ, съ пьяныхъ глазъ, вообразилъ, что это шинокъ и что бѣглецъ его скрылся туда. Не разсуждая болѣе, онъ скомандовалъ:

— За мною, въ шинокъ, хлопцы! онъ долженъ быть тутъ.

И дозорецъ съ патрулемъ вступили въ сѣни, а оттуда въ переднюю. Въ эту самую минуту танецъ кончился, музыка перестала играть и большая часть танцовавшихъ ушла въ гостиную. Въ залѣ остались только два юнкера Венгерскіе и двѣ дамы. И вдругъ послышался звукъ оружія и, вслѣдъ за тѣмъ, изъ передней въ залу входитъ вооруженная военная команда, предводимая пьянымъ дозорцемъ. Увидя литовскихъ юнкеровъ, дозорецъ принимаетъ одного изъ нихъ за своего бѣглеца и, бросившись къ нему, схватываетъ его за воротникъ и кричитъ солдатамъ:

— Взять его и вести подъ руки до самыхъ волынскихъ казармъ! На громкій крикъ испуганныхъ донельзя дамъ, выбѣгаетъ изъ гостиной *въ залу самъ* хозяинъ, а за нимъ и всѣ гости. Вскипѣлъ нашъ Ва-

лерьянъ Макарычъ, но только совсѣмъ не такъ, какъ въ нѣкоторомъ переводѣ *вскипѣлъ бульёнъ*, и потому онъ не *потекъ во храмъ*, а какъ вихорь налетѣлъ на дозорца и прогремѣвъ:

— Прочь, бездѣльникъ! Ты строго отвѣтишь за свою неслыханную дерзость, — далъ ему сильнѣйшую затрещину, а потомъ такого толчка въ грудь, что дозорецъ выпустилъ изъ рукъ воротникъ Венгерскаго и съ громомъ повалился на полъ, гдѣ, въ видѣ прибавки къ окладу, получилъ еще нѣсколько пинковъ ногою все еще кипѣвшаго Валерьяна Макарыча.

— А вы, какъ смѣли врываться ко мнѣ, бездѣльники? спросилъ онъ у патрульныхъ, опѣшившихъ при видѣ множества штабъ и оберъ-офицерскихъ эполетъ.

— Не могимъ знать, г. капитанъ! Начальство приказало, отвѣчали патрульные, стоя на вытяжку и ожидая дальнѣйшихъ приказаній уже не отъ дозорца, низверженнаго во прахъ, а отъ окружавшихъ ихъ штабъ и оберъ-офицеровъ.

Валерьянъ Макарычъ тотчасъ же послалъ въ казармы одного изъ своихъ деньщиковъ съ приказаніемъ къ фельдфебелю своей роты — немедленно прислать къ нему унтеръ-офицера и двѣнадцать рядовыхъ съ ружьями, и потомъ написалъ рапортъ своему полковому командиру о ночномъ нападеніи патруля на его квартиру и о насиліи въ его домѣ и надъ однимъ изъ его гостей, учиненномъ пьянымъ дозорцемъ. Наконецъ, явились литовскіе солдаты, и патруль, съ унтеръ-офицеромъ и дозорцемъ, былъ арестованъ и отправленъ въ литовскія казармы. Затѣмъ, по окончаніи этой фальшивой тревоги, веселость возвратилась къ гостямъ Валерьяна Макарыча и танцы возобновились и продолжались съ прежнимъ увлеченіемъ.

Между тѣмъ, Малаховскій съ замираніемъ сердца слѣдилъ изъ за кустовъ сирени за всею этою передрягою. И когда все успокоилось, онъ оставилъ свое убѣжище, вошелъ во флигель, гдѣ никого не было, — Якубовскій тоже находился на вечерѣ у Мичурина, — раздѣлся и легъ спать, счастливый тѣмъ, что избавился отъ большой опасности.

На слѣдующее утро Валерьянъ Макарычъ, только что вставшій съ постели, готовился пить чай. Ему докладываютъ, что какая-то дама съ дѣтьми желаетъ его видѣть и дожидается въ передней. Но едва онъ вошелъ туда, какъ передъ нимъ началась сцена, годная въ любую мелодраму. Пожилая дама, въ сопровожденіи восьми человѣкъ дѣтей, мал-

мала меньше, бросилась къ нему, упала на колѣни и завопила самымъ слезливымъ, отчаяннымъ голосомъ:

— Пане капитане! Будьте милосерды, сжальтесь надо мною и надъ моими дѣтьми, не погубите насъ, не оставьте насъ безъ куска хлѣба, не дайте умереть съ холоду!

Вмѣстѣ съ матерью и дѣти упали на колѣни, заплакали и запищали презвонкими голосами:

— Пане капитане, зжалуйтесь надъ нами! Пане добродзею, будь нашимъ благодѣтелемъ, спаси, не погуби насъ!

Валерьянъ Макарычъ былъ оглушенъ, ошеломленъ.

— Что же я могу сдѣлать для вашего спасенія, сударыня? спросилъ онъ.

— Простите моего мужа, простите нашего отца! Онъ безъ намѣренія, по ошибкѣ, обезпокоилъ васъ прошедшею ночью. Будьте великодушны, простите и спасите его и насъ!

Тутъ Валерьянъ Макарычъ догадался, что передъ нимъ находится семейство арестованнаго дозорца.

— Отъ чего и какъ могу я спасти вашего мужа? спросилъ онъ у жены дозорца.

— Возьмите вашъ рапортъ назадъ, пока онъ еще не отосланъ изъ полковой канцеляріи по начальству. Иначе мужа моего отдадутъ подъ судъ, онъ потеряетъ мѣсто, лишится куска хлѣба, и мы должны будемъ просить милостыню, чтобы не умереть съ голоду.

— Мужъ вашъ, сударыня, заслуживаетъ примѣрнаго наказанія за свои неслыханныя дерзости; но я не желаю дѣлать его несчастнымъ и прощаю его еще и потому, что онъ уже получилъ изъ моихъ рукъ нѣкоторое воздаяніе, родъ задатка заслуженной кары. Поэтому, успокойтесь, сударыня, и возвращайтесь домой. А я сейчасъ же отправлюсь взять обратно мой рапортъ и попрошу нашего полковаго командира прекратить дѣло о ночномъ нападеніи на мою квартиру, и затѣмъ отпустить вашего мужа безъ послѣдствій.

Такъ все и было сдѣлано. Капитанскіе затрещина и пинки искупили виновность пьянаго дозорца, и спасли отъ нищеты его семейство.

XIII.

ЕЩЕ ОСОБЕННОСТИ ВАРШАВСКОЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ *).

1.

Новосильцевъ и Киль.

Поединки въ Варшавѣ, даже съ роковымъ, трагическимъ исходомъ, почти никогда не наказывались. Обыкновенно два офицера, желающіе пострѣляться, писали письма къ великому князю и просили у него позволенія выдти на дуэль. И не дожидаясь отвѣта и дозволенія, которое всегда давалось, выходили, ранили или убивали другъ друга безъ всякихъ непріятныхъ для себя послѣдствій. Мало того: поединки не только дозволялись, но поощрялись, а порою даже приказывались; вотъ два тому примѣра.

Въ двадцатыхъ годахъ жилъ въ Варшавѣ сенаторъ Ник. Н. Новосильцевъ и занималъ весьма важный постъ по гражданской части. Это былъ человѣкъ очень умный, дѣловой, энергичный, но и далеко не благодушный, безсердечный, умѣвшій заслужить всеобщую и сильнѣйшую ненависть у поляковъ, такъ что, во время возстанія, онъ вмѣстѣ съ генераломъ Рожницкимъ, удостоился попасть въ одну революціонную пѣсню. Вотъ куплетъ, гдѣ онъ фигурировалъ:

Nie zabraknie nam wisielcow:
Jeszcze zyie Nowosielcow,
Jeszcze dysze lotr zdradziecki,
Hunswot, szelma, pies Roznіecki **).

*) Эта глава написана въ октябрѣ сего 1881 года. За исключеніемъ исторіи Довре, происходившей на моихъ глазахъ, прочіе разсказы основалъ я на томъ, что слышалъ отъ дяди, Мичурина, и отъ другихъ старыхъ литовцевъ, и потому, утверждая справедливость главнаго факта, идеи факта, не могу отвѣчать за достовѣрность каждой изъ деталей того факта.

**) Не будетъ у насъ недостатка въ висѣльникахъ: живъ еще Новосильцевъ, дышетъ еще. . . . . Рожнецкій.

Но что покажется невѣроятнымъ и, тѣмъ не менѣе, было истинно, это—такой важный сановникъ, былъ, если не горькій, то порядочный пьяница. До обѣда онъ еще крѣпился, но потомъ начиналъ дѣлать возліянія, и къ вечеру доходилъ если не до положенія ризъ, то до весьма возбужденнаго состоянія. Вотъ одинъ изъ множества примѣровъ его нетрезвости и, съ тѣмъ вмѣстѣ, его находчивости.

Цесаревичъ ненавидѣлъ пьянство и пьяницъ. И бѣда, когда какой-нибудь нижній чинъ попадался ему гдѣ-либо въ нетрезвомъ видѣ. Поэтому, въ большіе праздники, въ особенности въ первый день Пасхи, начальники военныхъ частей принимали особенныя, исключительныя мѣры для того, чтобы ни одинъ нижній чинъ, кромѣ самыхъ благонадежныхъ, не попадался на улицахъ Варшавы. Для этого, сверхъ дежурныхъ офицеровъ по полку и по батальонамъ, назначались еще дежурные по ротамъ, гдѣ пребывали они весь праздничный день, строго карауля солдатъ и не позволяя имъ выходить за рѣшетку, окружавшую казармы.

Служба въ праздничные дни происходила въ двухъ церквахъ: въ придворной въ замкѣ, и въ греческой на Подвальной улицѣ. Въ первой всегда присутствовалъ при богослуженіи Цесаревичъ, весь православный генералитетъ и высшіе гражданскіе чины, въ числѣ которыхъ былъ и Новосильцевъ. Въ одинъ изъ свѣтлыхъ праздниковъ, во время заутрени и обѣдни, этотъ послѣдній находился въ нормальномъ состояніи. Но къ вечернѣ не выдержалъ и явился въ церковь уже очень и очень навеселѣ. Не надѣясь на свои нетвердыя ноги и желая отыскать болѣе надежную точку опоры, онъ отступилъ къ изразцовой печи и прислонился къ ней спиной. Но и тутъ ноги измѣняли ему: онѣ скользили впередъ по гладкому паркету, такъ что безпрестанно нужно было поправляться и придвигать ихъ къ печи. Великій князь замѣтилъ эти маневры, улыбнулся и слегка пожалъ плечами, но не промолвилъ ни слова. На другое утро, всѣ военные начальники и высшіе гражданскіе чины, въ томъ числѣ и Новосильцевъ, представлялись Цесаревичу во дворцѣ.

— Господа! сказалъ великій князь, обращаясь къ полковымъ командирамъ. Я вполнѣ доволенъ вами и благодарю васъ за примѣрный порядокъ, который соблюденъ былъ вчера во ввѣренныхъ вамъ полкахъ: ни одного пьянаго солдата не встрѣтилъ я на улицахъ. Только одного пьянаго видѣлъ я вчера, и то въ церкви, а не на улицѣ: это — Николай *Николаичъ* Новосильцевъ.

— Ничего нѣтъ мудренаго, Ваше высочество. Вѣдь солдатъ-то караулили вчера весь день сами гг. офицеры и ни одного нижняго чина не выпускали изъ казармъ. И я не былъ бы пьянъ, когда бы ко мнѣ приставили офицерскій караулъ.

По требованіямъ своего высокаго положенія въ обществѣ, Новосильцевъ обязанъ былъ давать, время отъ времени, балы, на которыхъ присутствовала высшая польская аристократія. Во время одного изъ такихъ баловъ случилось слѣдующее: хозяинъ, по обыкновенію, ничуть не стѣснялся въ своихъ привычкахъ присутствіемъ гостей и, къ концу бала, уже очень и очень напробовался разныхъ питій. Между гостями находились молодой полковникъ Киль, адъютантъ Цесаревича, и еще одна молодая полька, красавица, за которою Киль очень ухаживалъ, и къ которой, въ тоже время, былъ весьма неравнодушенъ и самъ хозяинъ, хотя и очень немолодой, но большой поклонникъ прекраснаго пола. Его мучила страшная ревность, и въ концѣ концовъ, а также и вслѣдствіе обильныхъ возліяній, онъ не выдержалъ и, придравшись къ чему-то, наговорилъ большихъ непріятностей молодому полковнику.

— Это что значитъ? — сказалъ оскорбленный Киль. — Вы позволяете себѣ говорить дерзости своимъ гостямъ, у себя дома! Не угодно ли вамъ дать мнѣ за это удовлетвореніе?

— Какого такого удовлетворенія требуете вы отъ меня?

— Въ шести шагахъ разстоянія и съ пистолетомъ въ рукахъ!

— Вотъ еще что вздумали! Стану я съ вами стрѣляться: я гожусь вамъ въ дѣдушки.

— Вы можете годиться хоть въ прадѣдушки, но должны быть вѣжливы со всѣми, а тѣмъ болѣе со своими гостями. А если вы забыли это и сдѣлались невѣжею, то должны со мною стрѣляться.

— Стану я съ вами стрѣляться... Стара штука!

— Такъ я заставлю васъ стрѣляться со мною! Пока прощайте.

На другой день Киль является къ Цесаревичу и разсказываетъ ему о случившемся на балѣ.

— А! хорошо! сказалъ великій князь, выслушавъ съ участіемъ разсказъ своего адъютанта. — Сейчасъ же поѣзжай къ Новосильцеву и скажи ему, что я твой секундантъ, и прошу, чтобы онъ сейчасъ же прислалъ ко мнѣ своего секунданта, для того, чтобы условиться съ нимъ о мѣстѣ и времени поединка между тобою и Новосильцевымъ. Да скажи ему, чтобы онъ немедленно исполнилъ мое приказаніе. А то вѣдь я шутить не люблю.

Новосильцевъ обмеръ отъ страха и, какъ говорится, у него душа ушла въ пятки. Съ братомъ Царя, да еще съ такимъ вспыльчивымъ, какъ Цесаревичъ, шутить нельзя. Сейчасъ же ѣдетъ онъ, вмѣстѣ съ Килемъ, къ Великому князю и слезно-умоляющимъ голосомъ, говоритъ ему:

— Ваше высочество, помилосердствуйте! Какъ же я буду стрѣляться, когда я отроду не бралъ въ руки пистолета?

— А! это не мое дѣло. Киль ввѣрилъ мнѣ дѣло чести. Поэтому я теперь не начальникъ его, а товарищъ и другъ, который обязанъ принять близко къ сердцу его обиду и быть секундантомъ въ дѣлѣ военной чести, которая строга и не допускаетъ шутокъ.

— Да я готовъ просить прощеніе у полковника, лишь бы покончить дѣло миромъ, безъ поединка.

— Это опять-таки не мое дѣло, а Киля. Если онъ проститъ тебя, настаивать на поединкѣ я не буду.

— Полковникъ, простите меня, ради Бога, простите! Я былъ вчера не совсѣмъ здоровъ, въ ненормальномъ положеніи.

— Пожалуй, я прощу васъ, но только тогда, когда вы дадите такой же балъ, какъ вчера, пригласите тѣхъ же гостей, что и вчера, и при всѣхъ, публично, будете просить у меня прощеніе.

И Новосильцевъ далъ балъ, съ тѣми же гостями, и при всѣхъ просилъ у Киля прощеніе.

— Прощаю васъ, — сказалъ адъютантъ цесаревича; — и надѣюсь, что впередъ вы будете со мною вѣжливѣе.

Приведу теперь другой примѣръ, какъ поединки иногда приказывались. Генералъ Ушаковъ, командиръ волынскаго гвардейскаго полка, уѣзжая въ отпускъ, сдалъ командованіе старшему полковнику Ралю. По возвращеніи изъ отпуска и при пріемѣ полка обратно, между Ушаковымъ и Ралемъ произошелъ крупный разговоръ, а затѣмъ и вызовъ на дуэль. Раль былъ глубоко уважаемъ и любимъ всѣмъ полкомъ и, вслѣдствіе этого, многіе штабъ и оберъ-офицеры горячо вступились въ это дѣло и, такъ какъ тутъ не было кровавой обиды, а только одно болѣе или менѣе оскорбленное самолюбіе, имъ удалось помирить поссорившихся. И вдругъ узнаетъ объ этой исторіи Великій князь. Сейчасъ же посылаетъ къ Ушакову и къ Ралю своего адъютанта и свои кухенрейтерскіе пистолеты, и приказываетъ передать имъ слѣдующее:

— Военная честь шутокъ не допускаетъ: когда кто кого вызвалъ *на поединокъ* и вызовъ принятъ, то слѣдуетъ стрѣляться, а не мириться.

Поэтому и Ушаковъ и Раль должны стрѣляться, или выходить въ отставку.

Итакъ поединокъ состоялся. У Раля было огромное семейство, и потому онъ просилъ отсрочить поединокъ на двѣ недѣли, чтобы имѣть время привести въ порядокъ свои дѣла и не оставить семейству путаницы. Онъ стрѣлялъ превосходно, а Ушаковъ весьма плохо. Но послѣдній воспользовался отсрочкою и каждый день упражнялся въ стрѣльбѣ изъ пистолета и набилъ себѣ руку. Роковой день настаетъ. Раль стрѣляетъ первый и попалъ бы прямо въ сердце противника, если бы не золотой образъ, благословеніе матери, по которому пуля проскользнула, не задѣвъ Ушакова. Раль былъ убитъ наповалъ. Отсрочка дуэли на двѣ недѣли была для него гибельна: она дала возможность его противнику изъ плохаго стрѣлка сдѣлаться хорошимъ.

Вотъ два примѣра вмѣшательства Цесаревича въ дѣла военной чести, т. е. поединковъ. Насколько первый примѣръ достоинъ похвалы, настолько же другой достоинъ сожалѣнія.

2.

Пущинъ, Варпаховскій и Цесаревичъ.

«Чтить Брута съ дѣтства я привыкъ.»
(*Рылѣевъ.*)

«Палъ оклеветанный молвой.»
(*Лермонтовъ.*)

Варпаховскій слылъ хорошимъ товарищемъ въ литовскомъ полку, пока служилъ въ оберъ-офицерскихъ чинахъ. Но какъ только произвели его въ полковники, онъ совершенно измѣнился, сталъ важничать, придираться ко всему и распекать офицеровъ, въ особенности, когда сталъ батальоннымъ командиромъ. Разумѣется, всѣ его возненавидѣли, стали отворачиваться отъ него при встрѣчѣ съ нимъ и прозвали его «гороховыхъ шутомъ». Было разъ батальонное ученье; по обыкновенію, сперва роты учились порознь, подъ командою своихъ ротныхъ командировъ, и потомъ уже должны были составить батальонъ. И только тогда началось бы собственно батальонное ученье. Во время предварительнаго ученья по ротно, задорливый Варпаховскій началъ придираться къ ротѣ капи-

тана Габбе, сталъ распекать офицеровъ, и наказывать фухтелями нижнихъ чиновъ. Тогда Габбе не выдержалъ, и сказалъ:

— Полковникъ! теперь еще только ротное ученье, и я здѣсь начальникъ. А вы будете имъ лишь тогда, когда сойдутся всѣ четыре роты, составятъ батальонъ и начнется ученье батальонное. Предоставьте же мнѣ одному распоряжаться въ моей ротѣ и наказывать того, кто этого стоитъ, что мнѣ извѣстно гораздо лучше, нежели вамъ. Вы же наказали лучшаго у меня унтеръ-офицера.

— Какъ вы смѣете возражать мнѣ во фронтѣ? Да я васъ рапортомъ представлю! Да я, да я... и пошелъ, и пошелъ.

Въ это самое время капитанъ Пущинъ остановилъ свою роту шагахъ въ тридцати отъ Варпаховскаго, скомандовалъ: «стой, ружье къ ногѣ, стоять вольно!» И затѣмъ, обратясь лицемъ къ задорливому полковнику, началъ грозить ему кулакомъ и громко сказалъ:

— Попробовалъ бы ты у меня такъ распоряжаться! скотина, болванъ! Я показалъ бы тебѣ дорогу отъ моей роты, гороховый шутъ! — Услышавъ такую энергическую филиппику, Варпаховскій даетъ лошади шпоры и налетаетъ на Пущина.

— Кому, капитанъ, грозили вы сейчасъ кулакомъ!

— Я грозилъ и говорилъ вамъ, потому что вы этого стоите, вполнѣ заслужили.

Варпаховскій не сказалъ ни слова, оставилъ площадь и прямо съ ученья поѣхалъ къ Цесаревичу и пожаловался на Пущина. Тотчасъ послѣ ученья Великій князь потребовалъ къ себѣ Пущина, котораго онъ очень любилъ.

— Пущинъ! что ты надѣлалъ? Положимъ, что Варпаховскій—скотина, я это сознаю. Но вѣдь онъ все-таки твой начальникъ, и на все есть манера, и не во фронтѣ. Онъ еще не такъ дуренъ: онъ могъ бы тебя представить рапортомъ, и тогда ты погибъ. Но онъ пожаловался мнѣ только на словахъ, келейно, стало быть дѣло можно поправить. Поѣзжай, извинись передъ нимъ, и тѣмъ все кончится.

— Виноватъ, Ваше высочество! Вѣдь вы сами же сказали, что онъ скотина, и потому извиняться передъ нимъ я не стану; нахожу это унизительнымъ.

— Ну полно упрямиться! Поѣзжай, извинись, я прошу тебя объ этомъ. — Но Пущинъ продолжалъ упорствовать въ отказѣ, а Великій князь началъ горячиться, и наконецъ, выйдя изъ себя, сталъ кричать и

наступать на Пущина, который началъ пятиться и, допятившись до стѣны, оперся на нее спиною, насупилъ брови и принялъ самый угрюмый видъ. Когда Цесаревичъ горячился и распекалъ, у него порою вылетали изо рта брызги.

— Ваше высочество, осторожнѣе: вы плюетесь! — сказалъ Пущинъ.

— Какъ вы смѣете говорить это! Я на своего лакея не плюю, а не только что на офицера. Послѣ этого вы не стоите своего мундира.

— А пока я въ мундирѣ, то не позволю себя оскорблять. — И сказавъ это, Пущинъ снялъ съ себя мундиръ и бросилъ его на полъ. Разумѣется, онъ отданъ былъ подъ судъ и разжалованъ въ солдаты въ армію. Но, послѣ брестскихъ маневровъ въ 1823 году, по особенному ходатайству Цесаревича, Пущину возвратили капитанскій чинъ. Онъ сейчасъ же написалъ благодарственное письмо В. Князю, который тоже сейчасъ отвѣтилъ Пущину въ самыхъ теплыхъ, задушевныхъ словахъ и, между прочимъ, высказалъ слѣдующее: «Если ты былъ разжалованъ, то это вовсе не за то, что говорилъ слишкомъ смѣло со мною, Цесаревичемъ; а единственно за то, что явно нарушилъ военную дисциплину, наговоривъ дерзостей, и еще во фронтѣ, своему ближайшему начальнику—Варпаховскому». Черезъ годъ послѣ маневровъ Пущинъ былъ переведенъ въ лит. полкъ и тоже капитаномъ и постоянно пользовался самымъ лестнымъ расположеніемъ къ себѣ В. Князя. Во время стоянки полка въ Ораніенбаумѣ, онъ былъ полковникомъ, командовалъ батальономъ, а въ серединѣ тридцатыхъ годовъ былъ произведенъ въ генералы, назначенъ командиромъ «дворянскаго полка», и былъ однимъ изъ самыхъ суровыхъ и строгихъ начальниковъ военно-учебныхъ заведеній. *)

Строгость и суровость Пущина, о которой говорили такъ много вкривь и вскось, имѣла самую раціональную причину и была, увы, необходима, чтобы и ктобы о ней ни говорилъ; предмѣстникъ Пущина, генералъ Вилькенъ, своими неспособностью и слабостью довелъ дворянскій полкъ до высшей степени распущенности, до безобразій. Между воспитанниками-юношами, находилась въ дв. полку масса взрослыхъ,

*) Разсказъ этотъ былъ помѣщенъ въ 261 номерѣ С.-Петерб. вѣд. Вслѣдствіе спѣшности работы, вкрались въ него нѣкоторыя невѣрности, недомолвки и неполноты, что и спѣшу исправить теперь, а именно: въ разговорѣ Пущина съ Варпаховскимъ на ученьи, и въ упоминаніи о его суровости и строгости, причину которыхъ объясню въ слѣдующемъ за симъ новостроччіи.

тридцати и болѣе лѣтъ балбесовъ, пьяницъ и развращенныхъ до нельзя. Они совершали невѣроятныя безобразія, буйства и еще многія худшія вещи и въ трактирахъ, и въ переулкахъ Петербургской стороны. И что всего ужаснѣе: многіе изъ воспитателей принимали дѣятельное участіе въ безобразіяхъ и буйствахъ своихъ воспитанниковъ. Когда Пущина назначали командиромъ дв. полка, ему дана была свыше строгая инструкція и спеціальная миссія устранить изъ полка свившія себѣ тамъ гнѣздо безобразія и зло, очистить его отъ плевелъ и поставить въ уровень съ прочими военно-учебными заведеніями. А возможна ли такая коренная реформа, и главное: возможно ли искорененіе застарѣлаго, хроническаго зла безъ исключительной строгости, твердости и настойчивости? Возможна ли нравственная операція безъ боли, для которой еще неизобрѣтено нравственнаго хлороформа. И только благодаря этимъ свойствамъ, Пущину удалось въ первые три года своего суроваго командованія совершить эту благодѣтельную реформу, и довести дв. полкъ до неузнаваемости. Затѣмъ остальные годы командованія были несравненно гуманнѣе первыхъ, потому что самъ Пущинъ, по своей натурѣ, не былъ нисколько жестокимъ, а напротивъ, весьма добрымъ человѣкомъ; человѣкомъ высокихъ ума и честности, настоящимъ *рыцаремъ безъ страха и безъ упрека*; былъ русскимъ Брутомъ XIX столѣтія. Это могутъ засвидѣтельствовать всѣ, находящіеся еще въ живыхъ, его старые товарищи-литовцы, которые всѣ, безъ исключенія, любили и глубоко уважали его за доброту, возвышенный, рыцарскій характеръ. И этотъ высоко-честный, благородный, гуманный человѣкъ былъ повсемѣстно оглашенъ недобрымъ, жестокимъ, злымъ человѣкомъ!!.. Его обвинили и осудили безъ аппеляціи. О, какъ шемякински-несправедливо бываетъ иногда общественное мнѣніе! Приведу одно изъ вѣскихъ доказательствъ того, что Пущинъ не былъ жестокимъ, злымъ, а былъ только неумолимо-строгимъ, и то, во первыхъ, по приказатію свыше, а во вторыхъ, по убѣжденію, что исполнить данную ему миссію — *искоренить исконное зло и, изъ заведенія безобразнаго, создать образцовое, безъ непрсклонной строгости было невозможно.* Вотъ доказательство моего утвержденія, что *Пущинъ былъ не злой, а гуманный человѣкъ.*

Принявъ дв. полкъ, онъ нашелъ закоренѣлыя безобразія и зло, не только посреди воспитанниковъ, но и между воспитателями, изъ которыхъ многіе принимали дѣятельное участіе въ безчинствахъ своихъ воспитанниковъ, не останавливали, а поощряли эти безчинства. Пущинъ понялъ, что, по пословицѣ «Одинъ въ полѣ не воинъ», одному ему *бороться* и побороть закоренѣлое зло невозможно: необходимъ былъ вѣрный,

надежный и умѣлый помощникъ. И онъ нашелъ такого и взялъ его къ себѣ: это былъ капитанъ лит. полка Форсманъ, шведъ, человѣкъ высокихъ ума и образованности, либеральнѣйшій, добрѣйшій и гуманнѣйшій человѣкъ. Всѣ старые литовцы могутъ засвидѣтельствовать истину моихъ словъ. А что до меня, то я лично коротко зналъ этого чудеснаго человѣка, потому что служилъ въ его ротѣ, дѣлалъ съ нимъ походъ изъ Варшавы въ Литву и жилъ съ нимъ вмѣстѣ на одной квартирѣ во время зимней стоянки лит. полка въ Литвѣ, въ концѣ 1831 и въ началѣ 1832 года. Поэтому я имѣлъ возможность всесторонне изучить и вполнѣ понять, оцѣнить и горячо полюбить эту высокую личность.

Теперь спрашиваю: можетъ ли недобрый, злой человѣкъ взять къ себѣ въ помощники такую высоко-гуманную личность? А еще болѣе: можетъ ли такой высоко-гуманный человѣкъ согласиться быть ближайшимъ помощникомъ, alter ego, недобраго, злаго человѣка? Нѣтъ, тысячу разъ нѣтъ! Пущинъ, скрѣпя сердце, согласился быть *операторомъ*. Но въ то же время созналъ, что ему необходимъ *уврачеватель и болеутолитель для ранъ, остающихся послѣ операцій*. И вотъ онъ взялъ къ себѣ для этого Форсмана. А могъ ли это сдѣлать злой, а не гуманный человѣкъ?

А вотъ другое вѣское доказательство гуманности оклеветаннаго:

Н. Н. Пущинъ скончался въ 1848 году. Его сотрудники и бывшіе воспитанники воздвигли ему памятникъ на Смоленскомъ кладбищѣ, на одной сторонѣ котораго надпись гласитъ:

Признательность и уваженіе подчиненныхъ и воспитанниковъ на другой:

Вѣчная память воспитателю полезному и добродѣтельному.

Разсказъ о Пущинѣ слышалъ я отъ моего дяди Мичурина, бывшаго тогда полковымъ адъютантомъ. По разсказамъ изъ другихъ источниковъ, вышеописанная сцена происходила иначе, а именно: Пущинъ не говорилъ: «Вы плюетесь», и мундира съ себя не снималъ, а только обтеръ его платкомъ. Замѣчу одну особенность.

Многіе изъ литовскихъ офицеровъ, подъ конецъ своей службы, были начальниками военно-учебныхъ заведеній, а именно: Пущинъ—дворянскаго полка, Бибиковъ—директоромъ 2-го кадетскаго корпуса, Желтухинъ—1-го московскаго кадетскаго, и потомъ пажескаго корпусовъ, Озеровъ—тоже, Грессеръ—одного изъ московскихъ кадетскихъ корпусовъ, Тиньковъ—орловскаго.

3.

Ссора и примиреніе Цесаревича съ литовскимъ полкомъ.

Исторія съ Пущинымъ и, кромѣ того, разныя столкновенія съ офицерами литовскаго полка, оставили въ сердцѣ Цесаревича горькій осадокъ неудовольствія противъ литовскаго полка. Одна изъ причинъ этого неудовольствія была слѣдующая: полковникъ Варпаховскій все болѣе и болѣе возбуждалъ противъ себя литовскихъ офицеровъ и подъ конецъ породилъ сильнѣйшее негодованіе. И вотъ, разными косвенными путями, литовцы стали доводить до свѣдѣнія Великаго князя, что они находятъ невозможнымъ дальнѣйшее совмѣстное служеніе съ ненавистнымъ полковникомъ; что необходимо его удалить изъ полка, и что, поэтому, слѣдуетъ выбирать между нимъ и цѣлымъ составомъ офицеровъ, которые вынуждены будутъ выходить въ отставку, если просьбы ихъ не будутъ уважены. Цесаревичъ долго боролся съ потокомъ мнѣнія офицеровъ цѣлаго полка, отстаивалъ нетерпимаго полковника, который былъ хорошимъ фронтовикомъ, но предурнымъ товарищемъ. Подъ конецъ пришлось уступить: Варпаховскій былъ назначенъ командиромъ одного артейскаго полка. Но это окончательно вооружило Цесаревича противъ литовскаго полка.

Однажды, въ его присутствіи, происходило полковое ученье. Вначалѣ все шло хорошо и Великій князь былъ очень доволенъ. Но вотъ, во время одного головоломнаго маневра — построеніе каре изъ начавшейся перемѣны фронта, произошла ошибка: кто-то повернулъ свой взводъ не въ ту сторону, куда слѣдовало. Цесаревичъ вспылилъ и затѣмъ уже не возвращался въ нормальное состояніе, а сердился все сильнѣе и сильнѣе, и, наконецъ, разразился потокомъ негодующихъ словъ:

— Скоты, мерзавцы, литовцы! Велю возами возить палки на васъ, заколочу въ прахъ! Подлецы, литовцы! *Бунтовщики*, литовцы! — и, повторивъ раза три послѣднія слова, уѣхалъ съ плаца, поручивъ какому-то генералу учить полкъ. А черезъ два часа присылаетъ на смѣну другаго генерала, затѣмъ еще одного, такъ что ученье продолжалось шесть часовъ сряду, и съ офицерами и солдатами дѣлалось дурно. Наконецъ, полкъ возвратился въ казармы. Мрачные, повѣся головы, офицеры разошлись по своимъ квартирамъ, ни единымъ словомъ не обмѣнявшись между собою. Спустя четверть часа, мой дядя (полковой адъю-

тантъ), жившій въ казармахъ, получаетъ отъ вблизи квартировавшаго офицера рапортъ больнымъ. Потомъ другой, третій и т. д. Офицеры всего полка подаютъ рапорты больными; всѣ штабъ и оберъ-офицеры, кромѣ командующаго полкомъ. Съ кипою рапортовъ, дядя отправляется къ полковому командиру генералу Кишкину. Считаю не лишнимъ познакомить теперь съ личностью этого командира.

Рябой, смуглый, неуклюжій, словно чурбанъ, мужиковатый, грубоватый, едва умѣвшій подписать свою фамилію, и несмотря на все это, Василій Михайловичъ Кишкинъ былъ далеко не злой, а скорѣе добрый человѣкъ. Встрѣтитъ онъ иногда на улицѣ хмѣльнаго солдата, топнетъ ногою и закричитъ на него:

— Пошелъ, болванъ, поскорѣе въ казармы! Ну, какъ встрѣтитъ тебя ротный командиръ? Запоретъ! Или вздумаетъ иногда сдѣлать выговоръ за что нибудь и кому нибудь изъ молодыхъ офицеровъ, который не смолчитъ, а напротивъ начнетъ возражать, заспоритъ съ нимъ.

— Безстыдникъ, прапорщикъ! — промолвитъ огорченно Кишкинъ. Что вы мнѣ грубите? *Вѣдь я хоть лыкомъ шитъ, да генералъ* (sic).

У Цесаревича была какая-то слабость къ сверхкомплектнымъ офицерамъ, напримѣръ: въ двухъ-батальонныхъ литовскомъ и волынскомъ полкахъ, вмѣсто 8 комплектныхъ, доходило порою до 30 — 36 прапорщиковъ. Во время батальонныхъ или полковыхъ ученій, особенно во время ружейныхъ пріемовъ, эта масса прапорщиковъ, замыкая сзади фронта за взводами, страшно скучала, ничѣмъ не командуя, ничего не дѣлая. И вотъ, сходились они за серединою батальоновъ и школьничали: боролись, фехтовали, а большею частью били лягушекъ, когда таковыя находились на мѣстѣ ученья. Это была любимая забава молодыхъ прапорщиковъ. Случалось, что полковой командиръ, нѣтъ-нѣтъ, да и заглянетъ за фронтъ.

— Господа! позвольте спросить у васъ: какого вы полка?

— Л.-гв. литовскаго, ваше превосходительство!..

— Л.-гв. литовскій полкъ учится, а не лягушекъ бьетъ.

— Что-жъ дѣлать, ваше превосходительство, когда намъ скучно ничего не дѣлать?

Тѣмъ все и кончалось: полковой командиръ возвращался передъ фронтъ, а прапорщики продолжали свою войну съ лягушками. Возвращусь къ разсказу.

Итакъ, дядя подаетъ Кишкину кипу рапортовъ.

— Что это такое? — спросилъ озадаченный генералъ.

— Рапорты больными отъ всѣхъ офицеровъ, а въ томъ числѣ и отъ меня.

— Батюшки мои! Да вѣдь это бунтъ! Что съ нами, несчастными, будетъ? Пропала моя головушка! Сошлютъ насъ всѣхъ куда-нибудь?— завопилъ, всплеснувъ руками и буквально разразившись плачемъ и рыданіями «лыкомъ шитый генералъ»;—онъ былъ величайшій трусъ передъ высшимъ, и всякимъ прочимъ начальствомъ и, при малѣйшей служебной невзгодѣ или опасности, пускался въ плачъ и рыданія, и разражался въ жалобахъ на свою горькую судьбу. Но, нечего дѣлать, слѣдовало отправить рапорты по командѣ. И вотъ, на другой день, отъ Цесаревича гонецъ: «Его высочество проситъ ротныхъ командировъ пожаловать къ нему для объясненій».

— Скажите Его высочеству, что мы больны, не можемъ ѣхать,— отвѣтили ротные командиры.—Другой гонецъ: «Его высочество проситъ пожаловать къ нему хоть въ халатахъ, если не могутъ надѣть мундиры. Лишь бы пріѣхали для объясненій». Ѣдутъ въ сюртукахъ, въ фуражкахъ, безъ эполетъ и безъ шпагъ. Пріѣзжаютъ, находятъ Цесаревича не «въ какомъ-то, а въ самомъ что ни есть строгомъ чинѣ»: суровымъ, мрачнымъ. Близъ него стоялъ корпусный оберъ-аудиторъ, съ «воинскимъ уставомъ Петра I-го» въ рукахъ.

— Г. аудиторъ! прочитайте такую-то статью устава,—говоритъ Великій князь.

Оберъ-аудиторъ читаетъ: «Если нѣсколько офицеровъ сговариваются что нибудь сдѣлать, то это значитъ бунтъ и за это ихъ весьма лишить живота». (Я привожу только смыслъ этой статьи, но не помню, какими словами она была выражена. Помню только, что въ томъ допотопномъ и не совсѣмъ гуманномъ уставѣ безпрестанно встрѣчалось: «весьма лишить живота», «весьма повѣсить»).

— Слышали, господа?—спросилъ Цесаревичъ ротныхъ командировъ.

— Слышали, Ваше высочество!

— И вы не возьмете вашихъ рапортовъ назадъ?

— Не возьмемъ, Ваше высочество! потому, что для насъ лучше быть разжалованными, даже разстрѣлянными, но быть честными офицерами, чѣмъ носить обезчещенный гвардейскій мундиръ.

— Господа! васъ здѣсь 8 человѣкъ и мнѣ одному съ вами не сговорить: вы меня переговорите. Г. Ивановъ: вы старшій капитанъ въ полку, и потому говорите со мною отъ имени всѣхъ офицеровъ. Итакъ, слушайте. Я говорилъ съ вами, какъ начальникъ; а теперь буду говорить, *какъ* вашъ товарищъ, какъ другъ, желающій вамъ добра. За что

вы вчера такъ обидѣлись отъ моихъ словъ? Представьте себѣ, напримѣръ: вы, капитанъ Ивановъ, учите свою роту. У васъ во фронтѣ стоятъ: поручикъ, подпоручикъ и три или четыре прапорщика. Вы, какъ человѣкъ, разсердились, начинаете кричать, браниться: «болваны, скоты, я васъ палками заколочу». Ну и колотите кого нибудь изъ солдатъ. Вѣдь стоящіе во фронтѣ офицеры не обижаются, потому что вашъ гнѣвъ и брань относятся къ нижнимъ чинамъ, а не къ офицерамъ. Отчего же вы это право отнимаете у меня? Вѣдь и я, такой же какъ и вы, человѣкъ, могу разсердиться, кричать и бранить,—солдатъ, разумѣется, а не офицеровъ.

— Точно такъ, Ваше высочество, — возражаетъ Ивановъ.—«Скоты, болваны» относятся къ солдатамъ, а не къ офицерамъ. Но вы изволили сказать еще: *бунтовщики, литовцы!* и три раза повторили эти слова. Это значитъ: или офицеры бунтуютъ вмѣстѣ съ солдатами, или солдаты бунтуютъ одни, безъ вѣдома офицеровъ; и тогда эти послѣдніе не стоятъ своихъ эполетъ, если допустили солдатъ до бунта.

— Вы правы, господа! совершенно правы, — заговорилъ великій князь, мгновенно преобразившись изъ суроваго въ привѣтливаго. — Не считаю для себя предосудительнымъ сознаться, что я погорячился и былъ не правъ, сказавъ лишнее, чего не слѣдовало говорить. Поэтому прошу васъ взять назадъ свои рапорты, а я завтра извинюсь передъ вами на разводѣ. И не считаю нисколько унизительнымъ такое извиненіе.

Разумѣется, послѣ такого объясненія, ротные командиры взяли назадъ рапорты всѣхъ офицеровъ, и возвратились домой въ наилучшемъ расположеніи духа. А въ вечернемъ приказѣ того дня по варшавскому гарнизону было сказано:

«Завтрашній день всѣмъ находящимся въ Варшавѣ генераламъ, штабъ и оберъ-офицерамъ находиться на разводѣ». По окончаніи этого развода, Цесаревичъ громко сказалъ:

— Господа литовскіе офицеры! пожалуйте сюда.—И когда они окружили Великаго князя, онъ произнесъ растроганнымъ голосомъ:

— Господа литовцы! Я третьяго дня погорячился, сказалъ лишнее и, не желая того, оскорбилъ васъ. А теперь извиняюсь передъ вами, прошу васъ къ себѣ на завтракъ и на примиреніе, и надѣюсь, что мы попрежнему будемъ хорошими товарищами и друзьями.

И весь полкъ, т. е. всѣ литовцы-офицеры, отправились вслѣдъ за Цесаревичемъ къ нему во дворецъ, гдѣ ожидалъ ихъ роскошный завтракъ, и шампанское лилось рѣкою, въ знакъ примиренія и въ честь

литовскаго полка. А на другой день послѣ этого случилось слѣдующее:

На плацу передъ казармами была репетиція развода отъ литовскаго полка. И вдругъ показывается изъ за рѣшетки рядъ экипажей и останавливается у входа на казарменскую площадь. Это были штабъ и оберъ-офицеры польскаго конно-егерскаго гвардейскаго полка, въ которомъ служила все польская аристократія. И вотъ, офицеры этого гордаго полка, въ мундирахъ и въ полномъ составѣ, имѣя во главѣ полковаго командира, генерала Курнатовскаго, выходятъ изъ экипажей, вступаютъ на плацъ, подходятъ къ кучкѣ литовскихъ офицеровъ, къ которымъ генералъ Курнатовскій обращается съ слѣдующими словами:

— Господа литовскіе офицеры! Вашъ поступокъ, назадъ тому три дня, такъ рыцарски благороденъ, такъ высоко-честенъ, что мы пріѣхали искать чести быть съ вами знакомыми, и просимъ принять насъ въ число вашихъ друзей и почитателей.

По словамъ другаго стараго литовца, примиреніе Цесаревича съ полкомъ совершилось и закончилось только однимъ его извиненіемъ на разводѣ, но завтрака въ его дворцѣ не было.

Болѣе 60-ти лѣтъ прошло послѣ описанныхъ мною событій. Три царствованія пережилъ я и дождался четвертаго. Сколько перемѣнъ, коренныхъ преобразованій совершилось съ тѣхъ поръ! Но какъ, когда и кѣмъ произведены эти преобразованія XIX столѣтія? Параллель такъ и просится подъ мое перо. Болѣе половины его, 55 лѣтъ заняли два царствованія: Александра I-го и Николая I-го. И въ продолженіи этого длиннаго періода царили внутри громадной Россіи неподвижность, гробовое политическое и философическое молчаніе, застой, умственная летаргія. А при этомъ отсутствіе и даже игнорированіе всякой гуманности, мѣсто которой заступала система запугиванія и строгости, доходившей порою до жестокости. И несмотря на это, а быть можетъ и вслѣдствіе этого, господствовали внутри царства миръ, «тишь да гладь», но только ужъ никакъ не «божья благодать», а вѣрнѣе «аракчеевщина да клейниихельщина». И все-таки была «тишь да гладь»; и ни одна рука съ кинжаломъ или револьверомъ никогда и ни на кого не поднималась. А о динамитѣ или о подкопахъ не было и помину: какъ есть «тишь да гладь».

Но вотъ настаетъ царствованіе Александра II, проходитъ лишь шесть лѣтъ и, по царскому почину и слову, какъ по «щучьему велѣнью», по волшебству, совершается величайшій и благодѣтельнѣйшій въ мірѣ соціальный переворотъ, безъ потрясеній, безъ капли крови, безъ царапины. *Еще проходитъ* немного лѣтъ и даруются земскія учрежденія, гласное

судопроизводство, судъ присяжныхъ, присяжные засѣдатели, защитники обвиненныхъ, которые взаправду защищаются и оправдываются, тогда какъ въ прежніе, старые годы всѣ они были бы и обвинены, и жестоко наказаны. Далѣе: царскій вѣнецъ украшается и блещетъ милосердіемъ и гуманностію: шпицрутены и плети изгоняются изъ теоріи и изъ практики русскаго правосудія; и палачи · бездѣйствуютъ, ведутъ праздную жизнь.... И этого-то Царя-освободителя, реформатора; и эту-то кроткую, ангельскую душу; это незлобное, любвеобильное сердце низвели, сжили со свѣту гнусные злодѣи и злодѣйки, худосочные, прокаженные, зачумленные подонки и выродки человѣчества вообще, а славянства въ особенности.... И закрылись царственныя вѣжды, и умолкли навѣки царственныя уста, изрѣкавшія благоволеніе и любовь!... И вѣчныя позоръ и проклятія на ваши преступныя головы, изверги природы и человѣчества! Явно, что вы никогда не заглядываете въ зеркало; зажмуриваетесь, проходя мимо его, иначе вы пришли бы въ ужасъ, васъ бы стошнило и замучила рвота, при видѣ своихъ искаженныхъ, обезображенныхъ обликовъ. А еслибы вскрыть ваши звѣриные черепа, то не мозгъ, а сплошная масса какого-то злокачественнаго и зловреднаго гною представилась бы испуганнымъ взорамъ оператора.... Теперь поведу рѣчь о предметѣ, который, на первый взглядъ, покажется невидущимъ къ дѣлу. Но потомъ я покажу его связь съ тѣмъ, и отношеніе · къ тому, о чемъ говорилъ я выше, т. е. о револьверщикахъ и бомбобросателяхъ.

Съ невыразимо-глубокой грустью смотрю я на племенную вражду между двумя братскими народами: поляками, большинство которыхъ ненавидитъ русскихъ, и этими послѣдними, незначительное меньшинство которыхъ можетъ быть недружелюбно относится къ своимъ завислянскимъ братіямъ. Какая же причина, а главное: какая цѣль и какая и для кого польза отъ этой непримиримой вражды первыхъ къ послѣднимъ. Два огромные народа прилегаютъ къ Польшѣ: съ одной стороны русскіе, съ другой — нѣмцы. Итакъ, какая же польза отъ упорной ненависти поляковъ къ русскимъ? Вѣдь уничтожить русскій, почти стомилліонный народъ невозможно?... Но допустимъ невозможное. Положимъ, что вдругъ полякамъ удалось бы сдѣлать *трахъ*, и весь русскій народъ былъ бы уничтоженъ, провалился бы сквозь землю: ни единаго москаля не осталось бы на земномъ шарѣ. Что же тогда? Остался бы возлѣ Польши одинъ огромный нѣмецкій народъ. Ну, а далѣе? Развѣ нѣмцы къ полякамъ дружелюбнѣе, благодушнѣе, нежели русскіе?... Сомнѣваюсь.... Положите-ко руку на сердце, мои любезные завислянскіе

братья, и отвѣчайте мнѣ по совѣсти: да или нѣтъ? Но даже, еслибы нѣмцы были для васъ и не хуже русскихъ, то все-таки вамъ отъ этого было бы не легче: они, потомки Тевтоновъ, не имѣя уже противовѣса въ рускихъ, рано ли, поздно ли, а васъ, сарматовъ-славянъ вкушали бы подъ нѣмецкимъ безвкуснымъ соусомъ, да въ своихъ вассеръ-супахъ, т. е., онѣметчили бы васъ, право слово онѣметчили бы... Это вѣрно. Тогда пришлось бы вамъ сдѣлать еще *трахъ*. А ну какъ этотъ второй *трахъ* не удался бы вамъ? Вѣдь нѣмцы живучи, какъ кошки, даромъ что картофельники. Тогда, озлобленные вашими анти-картофельными попытками, они уже всенепремѣнно васъ скушаютъ, и даже безъ всякаго соуса, а просто, au naturel.... Но, Богъ съ вами, любезные мои братья! Не питаю къ вамъ, въ средѣ которыхъ прожилъ я 8 лѣтъ, лучшихъ лѣтъ моей жизни; не питаю ни малѣйшаго зла, ничего дурнаго, кромѣ хорошаго, и желаю вамъ всего лучшаго и, въ особенности, поболѣе *политическаго такта*. А во всемъ прочемъ отдаю вамъ полную справедливость, что я уже и доказалъ ранѣе, въ *Хроникѣ моихъ любовей*, говоря о вашей высокой честности въ коммерческихъ дѣлахъ; о вашемъ огромномъ превосходствѣ въ этомъ отношеніи надъ нашими гильдейскими бородками. А теперь отдаю полнѣйшую справедливость вашей исторіи, и вотъ въ чемъ:

Ни одна страница этой исторіи не запачкана ни единой каплей крови вашихъ королей. А вѣдь не всѣ же они были превосходные, первый сортъ. Бывали очень, далеко не перваго сорта. А никогда рука поляка не поднималась на своего короля, какого бы онъ сорта ни былъ. Бывали только случаи поучительные, но не трагическіе, когда какой нибудь магнатъ, какъ напр. князь Любомирскій въ началѣ XVII вѣка, оскорбленный королемъ Сигизмундомъ (не помню которымъ), взялъ да и окружилъ своимъ собственнымъ, княжескимъ войскомъ, войска своего короля и взялъ его въ плѣнъ, сказавши: «Тузъ короля бьетъ». Ну, Сигизмундъ извинился передъ Любомирскимъ, и остался цѣлымъ и невредимымъ на своемъ престолѣ. Тѣмъ все и кончилось; и ни единаго цареубійства на страницахъ польской исторіи.

А мы-то? А у насъ-то православныхъ? Запачканы, опозорены страницы нашей исторіи, залиты кровію освободителя, добрѣйшаго, благодушнѣйшаго изъ русскихъ царей!... И послѣ этого пребывать Маниловымъ, молчать, или только дразнить языкомъ, а не проклинать проклятыхъ подпольныхъ злодѣевъ?... Нѣтъ! Прочь отъ меня и отъ всякаго честнаго и смѣлаго, а не труса, русскаго; прочь промозглая *маниловщина*! прочь преступное мирволенье, или постыдное трусливое мол-

чаніе, или робкія покушенія на негодованіе!... Нѣтъ, тысячу разъ нѣтъ! Всѣ десятки милліоновъ великороссовъ должны ежедневно, и по нѣскольку разъ въ день произносить и призывать проклятія на головы всѣхъ подпольныхъ злодѣевъ, какъ повѣшенныхъ, такъ и не повѣшенныхъ (до поры до времени). И пусть эти стомилліонныя проклятія придавятъ и раздавятъ эту стоглавую гидру русской анархіи и террора.... И чего добиваются эти худосочные выродки-полуидіоты, эти умственные и нравственные калѣки?... Перестроить и устроить по своему, по золотушно-прокаженному вселенную и человѣчество вообще, а русскій народъ въ особенности. Вишь куда хватили! Сущіе «рассейскіе» Шопенгауеры, но только вскормленные не на вассеръ и габеръ-супахъ, а на 20-ти копѣечныхъ обѣдахъ греческихъ кухмистеровъ. Но только Шопенгауеръ-то былъ далеко, далеко не такъ глупъ, какъ вы, мои милые золотушные недоноски. Онъ хорошо понялъ, что, въ силу пословицы «горбатаго могила исправляетъ», перестроить и устроить человѣчество окончательно, идеально невозможно. Поэтому и порѣшилъ, что гораздо лучше, умнѣе и цѣлесообразнѣе было бы — уничтожить все это негодное, ледащее, закорузлое, неисправимое человѣчество, и затѣмъ разрушить вселенную и превратить ее въ первобытный, доміроздданный хаосъ, каковой хаосъ и долженъ быть высшимъ идеаломъ каждаго философа, мыслителя и реформатора. Но, по всей вѣроятности, Шопенгауеръ, писавши свою остроумную философическую фантасмагорію, не предусмотрѣлъ нарожденія и существованія будущихъ «рассейскихъ» нигилистовъ-реформаторовъ-динамистовъ-подкопщиковъ-бомбобросателей-всеубивателей. А предвидь онъ только эдакую золотушную прелесть, то навѣрное сдѣлалъ бы для нея исключеніе и, при будущемъ разрушеніи вселенной, ради міроваго курьеза, оставилъ бы въ цѣлости, нетронутымъ одинъ уголокъ, гдѣ помѣстилъ бы всю эту мразь, т. е. всѣхъ «рассейскихъ» нигилистовъ-реформаторовъ, разумѣется, и самцовъ и самокъ (не для приплоду, а для передачи бомбъ, на всякій случай). Ну, прикомандировалъ бы къ нимъ и нѣсколько греческихъ кухмистеровъ, да двѣ или три полпивныя ради куражу. Но съ тѣмъ вмѣстѣ, и это болѣе, чѣмъ вѣроятно, онъ, Шопенгауеръ, подарилъ бы каждому и каждой изъ нихъ по револьверу и кухонному ножу (кинжаловъ не стоятъ), такъ что въ концѣ концовъ все-таки вышло бы пошопенгауеровски: за неимѣніемъ подъ рукою ни землевладѣльцевъ, ни царей, ни губернаторовъ, ни даже регистраторовъ, они, по непреодолимо-кровожаднымъ своимъ инстинктамъ и влеченіямъ, перерѣзали и перестрѣляли бы другъ друга, и самцовъ и самокъ (туда и дорога), и только тогда осуществилась бы вполнѣ шопенгауеровская идея *всеуничтоженія*.

И такъ, не вамъ, безмозглые, искалѣченные худосочіемъ нигилисты быть реформаторами и перестроить русское царство. Вѣдь пробовали вы *хожденіе въ народъ?* Ну, много-ли успѣли вы въ пропагандѣ всеубійства? Попробовали силу мужицкихъ кулаковъ въ Москвѣ? Ну что: вкусно это угощеніе? А вотъ еще одинъ случай *хожденія въ народъ*, и не самцовъ, а самокъ; кажется это происходило въ *обожаемой* мною тульской губерніи.

Одна какая-то нигилистка, превратившаяся въ княгиню посредствомъ фиктивнаго брака съ какимъ-то захудалымъ княземъ-нигилистомъ, облекшись въ панёву (одежда тульской бабы), *пошла въ народъ* и нанялась въ работницы въ какомъ-то помѣстьи. Однажды возвращаясь съ полевыхъ работъ, она, въ толпѣ бабъ, начинаетъ свою пропаганду такъ:

— Зачѣмъ вамъ господа, помѣщики? Долой ихъ, убить ихъ! На что вамъ чиновники, губернаторы, исправники? Долой ихъ, повѣсить ихъ! и т. д. убить, застрѣлить, повѣсить, изрубить! — Бабы слушаютъ, да ухмыляются, но не восхищаются. И вотъ, увидя у одной бабы на шеѣ крестъ, восклицаетъ «въ пропагандическомъ азартѣ»:

— А въ церковь вы ходите?

— Ходимъ, какже не ходить.

— И въ Бога вѣруете?

— Да какже не вѣрить-то?

— Что это у тебя на шеѣ? Покажи-ка мнѣ.

— Да это Богъ-то и есть, — отвѣчала баба, снявъ съ себя крестъ и подавая его захудалой княгинѣ.

— А вотъ твой Богъ! — бѣснуется княгиня, плюетъ на крестъ и, бросивъ на землю, топчетъ его ногами.

— Ээээ! Да ты изъ какихъ это, мать моя! Такъ не слѣдуетъ, а слѣдуетъ вотъ какъ. — И, подхвативъ подъ руки бѣсноватую княгиню-нигилистку, повели ее въ близъ лежащіе кусты, наломали здоровенный пукъ розогъ, т. е. «зеленаго пива» для угощенія ея сіятельства. Ну и угостили всласть, такъ что не разсердилась, а осталась бы вполнѣ довольной, узрѣвъ, во время извѣстной *акварельной выставки*, такое бабье угощеніе губернаторша Лампе, описанная мною въ *галлереѣ губернаторскихъ портретовъ*.

Ай-да тульскія бабы! Вотъ такъ патріотки! Исполать вамъ! Будь я сильный міра, сейчасъ же представилъ бы всѣхъ васъ, угостительницъ захудалой бѣсноватой княгини, къ серебрянымъ медалямъ, для ношенія на вашихъ бабьихъ грудяхъ. Вы заслужили даже и золотыя, *да надо соблюдать* строгую экономію: финансы того требуютъ....

О милыя тульскія бабы!... О не совсѣмъ милая Тула! Видно, въ тебѣ и есть хорошаго-то — однѣ тульскія деревенскія бабы!

Во 2-й части этихъ Воспоминаній находятся двѣ страшно хлесткія сатиры на нигилистовъ. Независимо отъ прочихъ политическихъ, мною руководятъ и причины соціальныя. Не за одинъ законный порядокъ, не за одну власть трепещу я, но и за нравственность и спокойствіе семейнаго очага, которому страшно угрожаетъ разъѣдающее Россію зло. Для вящшаго доказательства, что опасенія мои не химеричны, привожу здѣсь отрывокъ изъ московской корреспонденціи, помѣщенной въ 2060 № «Новаго Времени» 21 ноября сего года.

«Въ дѣлѣ Мельницкаго, основательно или неосновательно, слышится уже намекъ на участіе «крамолы». Я припоминаю тутъ одну печальную исторію, которая случилась въ Москвѣ года три тому назадъ.

«Жила здѣсь, съ отцомъ и матерью, молодая дѣвушка, г-жа И—на. Она хотѣла учиться и, къ своему несчастію, попала въ такой учащійся кружокъ, который меньше занимался трезвой наукой, нежели проповѣдью всякихъ соціальныхъ мечтаній и плановъ. Естественно, что г-жа И. увлеклась блестящими фразами кружка, и тѣмъ это было естественнѣе, что она полюбила одного краснваго оратора-революціонера. Молодое сердце одинаково увлеклось и «мечтаніями», и женскою любовью, такъ что и то и другое слилось въ одну общую привязанность и сдѣлалось жизнью для дѣвушки. Подстрекаемая похвалами, она произносила горячія рѣчи о «будущемъ счастьи» и была возведена въ высокій санъ руководительницы... Пока любовь переплеталась съ фразами о революціи, все шло прекрасно, но отъ словъ недалеко оставалось до «дѣла», и настоящіе руководители сбросили маску: отъ дѣвушки было потребовано, чтобы она украла необходимыя для «операціи» деньги у своей семьи, хотя бы для этого ей понадобилось прибѣгнуть и ко взлому, и къ убійству... И—на сразу опомнилась, но бѣжать было поздно: въ случаѣ отказа ей грозили мучительною смертью... Дѣвушка заболѣла и физически и морально: не была она способна къ воровству... Наконецъ въ больной душѣ созрѣло рѣшеніе. И—на объявила матери, что хочетъ говѣть и, дѣйствительно, молилась горячо и усердно, а на исповѣди разсказала священнику всѣ свои грѣхи и муки и объявила, что едва ли ее успокоитъ что либо, кромѣ насильственнаго конца... Священникъ отпустилъ бѣдную душу, но, освободившись отъ дѣлъ церковныхъ, поспѣшилъ къ матери И—ной, чтобы предупредить ее относительно ненормальнаго состоянія дочери. Мать уже и ранѣе замѣчала ее безпокойство, и теперь они, вмѣстѣ со священникомъ, отправились въ комнату дочери, чтобы пого-

ворить съ ней и успокоить ее... Дойти они не успѣли: въ комнатѣ дѣвушки раздался выстрѣлъ и ее уже нашли мертвой».

Фактъ этотъ вполнѣ оправдываетъ проклятія, которыя призывалъ я и не перестану призывать на головы подпольныхъ злодѣевъ, и дѣлаетъ лишними дальнѣйшія комментаріи.

4.

Цесаревичъ и Довре.

Во время своихъ вспышекъ и распеканій, Цесаревичъ соблюдалъ обыкновенно нѣкоторые тактъ и градаціи, и довольно вѣрно угадывалъ, кого и какъ распечь, до какой степени можно поднять силу этого распеканія. Напримѣръ: съ польскими генералами онъ былъ всегда остороженъ и не заходилъ далѣе извѣстной степени. Вотъ одинъ изъ многихъ тому примѣровъ.

Однимъ изъ лучшихъ польскихъ генераловъ былъ Хлопицкій, командовавшій дивизіей. Онъ служилъ еще у Наполеона и, будучи полковникомъ при взятіи Сарагоссы, первый бросился въ брешь съ своимъ батальономъ. Потомъ, во время возстанія 1830 года, онъ былъ диктаторомъ. Однажды, на разводѣ, Цесаревичъ, увидавъ его, стоявшаго довольно далеко, сказалъ громко:

— Генералъ Хлопицкій! Пожалуйте сюда; мнѣ надо поговорить съ вами.

Храбрый воинъ наполеоновскихъ временъ началъ приближаться къ Цесаревичу, но не бѣгомъ, не въ припрыжку, какъ это дѣлали русскіе генералы, а мѣрнымъ, ровнымъ шагомъ, съ подобающимъ достоинствомъ въ своей военной осанкѣ и безъ малѣйшей суетливости.

Такая неторопливость сильно не понравилась Цесаревичу, и онъ спросилъ тономъ досады:

— Какимъ это шагомъ, генералъ, идете вы ко мнѣ?

— Тѣмъ самымъ шагомъ, какимъ я вступалъ въ Сарагоссу, во время штурма этого города, Ваше высочество!... Другимъ шагомъ ходить не умѣю. (Sic).

Цесаревича покоробило, но онъ не промолвилъ ни слова. Что до Хлопицкаго, то онъ не захотѣлъ служить долѣе и вышелъ въ отставку съ полнымъ пенсіономъ. Но потомъ очень часто присутствовалъ на *большихъ* ученьяхъ, на парадахъ и на маневрахъ; присутствовалъ про-

гимъ зрителемъ, въ партикулярномъ платьѣ, такъ любилъ онъ военную службу, но не шагистику.

Приведу теперь нѣсколько примѣровъ, какъ Цесаревичъ обращался когда съ генералами русскими, не со всѣми, а только съ тѣми, здоровенные желудки которыхъ могли переваривать вещи самыя неудобоваримыя, даже для оберъ-офицерскаго желудка.

— Если бы мой деньщикъ сдѣлалъ то же, что сдѣлалъ генералъ-маіоръ И—ковъ, я сейчасъ же велѣлъ бы дать ему 200 палокъ, и безъ галстука (палки безъ галстука: это былъ родъ поговорки, или родъ ругательной формулы, какъ у высшаго, такъ и у низшаго военнаго начальства въ Варшавѣ), — сказалъ однажды Великій князь, обращаясь къ находившимся въ его присутствіи генераламъ и штабъ и оберъ-офицерамъ. — Но это сдѣлалъ генералъ-маіоръ И—ковъ. Что же мнѣ съ нимъ-то сдѣлать? — прибавилъ Цесаревичъ, показывая рукою на злополучнаго генерала, который ни мало не сконфузился, а пренизко поклонился и проговорилъ подобострастно:

— Вашъ усердный и преданный слуга, Ваше высочество! Что прикажете, то и буду дѣлать; никуда отъ васъ не отойду.

А когда, въ 1823 году, стоявшіе въ Варшавѣ полки отправлялись на маневры въ Брестъ-Литовскъ, Цесаревичъ за что-то сильно разгнѣвался на этого самого генерала, командовавшаго волынскимъ полкомъ, и посадилъ его подъ арестъ въ полковой обозъ, т. е. злополучный генералъ долженъ былъ пройти пѣшкомъ чрезъ всю Варшаву, посреди полковыхъ фургоновъ и фурлейтовъ. И онъ преспокойно совершилъ этотъ постыдный маршъ.

Вошло еще у Цесаревича въ привычку, сажая офицеровъ подъ арестъ во время лагеря, посылать ихъ не на офицерскій пикетъ, полевой или внутренній, а на палочный, что позади лагеря и гдѣ командовалъ карауломъ не офицеръ, а унтеръ-офицеръ, и гдѣ содержались одни нижніе чины, подсудимые или бѣглые, съ колодками на ногахъ. Сажалъ онъ на этотъ позорный пикетъ, и не разъ, вышесказаннаго злополучнаго генерала. И тотъ просиживалъ тамъ по нѣскольку часовъ.

А вотъ примѣръ, какъ Цесаревичъ умѣлъ иногда хвалить нѣкоторыхъ изъ генераловъ. Однажды, разсердившись за что-то на одного генерала, онъ сказалъ ему:

— Что вы все умничаете? Мнѣ умниковъ не надо, а нужны мнѣ такіе служаки, какъ Ш—манъ, которые буквально исполняли бы мои приказанія, а не умничали, — и Великій князь показалъ рукою на буквально-исполнительнаго генерала, который засіялъ отъ радости, что Це-

саревичъ его похвалилъ. И къ нему ужъ никакъ не шли бы слова Чацкаго: «Не поздоровится отъ этакихъ похвалъ», потому что этому неумничавшему генералу очень и очень «здоровилось» отъ командованія однимъ изъ гвардейскихъ кавалерійскихъ полковъ. Но вотъ относительно распеканія — разъ и нашла коса на камень. Въ 1825 году былъ выпущенъ изъ пажескаго корпуса въ офицеры, въ литовскій полкъ, нѣкто Довре, сынъ заслуженнаго генерала, командовавшаго однимъ изъ армейскихъ корпусовъ. Дѣло было лѣтомъ, во время лагеря. Довре стоялъ въ карауле, на Повозковской заставѣ. Проѣзжаетъ мимо Цесаревичъ и, замѣтивъ какую-то неисправность, кричитъ караульному офицеру:

— Прапорщикъ Довре! Какъ только смѣнитесь съ караула, отправляйтесь подъ арестъ.

— Куда прикажете, Ваше высочество! на полевой пикетъ, или на внутренній?

— На палочный.

— На палочный я не пойду, Ваше высочество, потому что это позорный для офицера караулъ.

— Какъ вы смѣете ослушиваться! Отправляйтесь на палочный, говорю вамъ, или вы будете солдатомъ.

— Хотя бы и разстрѣляли меня за ослушаніе, а я все-таки не пойду на палочный. Намъ въ корпусѣ читали изъ устава Петра I-го, что офицеровъ слѣдуетъ сажать подъ арестъ только туда, гдѣ командуетъ карауломъ тоже офицеръ, а на палочномъ — унтеръ-офицеръ.

— На палочный, или я васъ въ крѣпость и въ солдаты, — гнѣвно закричалъ Великій князь и поѣхалъ далѣе.

Смѣнившись съ караула, Довре является къ полковому командиру и говоритъ, что Великій князь приказалъ его посадить подъ арестъ.

— Такъ на который пикетъ мнѣ сѣсть: на полевой или на внутренній?

— А куда приказалъ вамъ сѣсть Его высочество?

— Цесаревичъ приказалъ мнѣ садиться на палочный, да только я туда не пойду.

— Что это вы, прапорщикъ, вздумали ослушиваться, и кого? Великаго князя! Ну, полноте, не упрямьтесь, а поскорѣе отправляйтесь подъ арестъ.

— Я сказалъ, что не пойду. Я и Цесаревичу объявилъ, что не пойду на палочный, въ компанію подсудимыхъ и бѣглыхъ въ колодкахъ.

— Батюшки мои, что это вы сдѣлали? Да вѣдь это — бунтъ! Что съ нами будетъ? — и генералъ зарыдалъ навзрыдъ.

— Голубчикъ, прапорщикъ, полноте упрямиться, отправляйтесь, куда приказалъ Великій князь. А я тотчасъ же прикажу очистить и убрать этотъ пикетъ. — И, сказавъ это, онъ позвалъ адъютанта, приказалъ ему, чтобы сейчасъ вывели изъ палочнаго всѣхъ арестантовъ, и послалъ туда свои ковры, диванъ, зеркало, столикъ, словомъ — превосходно омеблировали и украсили арестантскій караулъ, который сталъ несравненно комфортабельнѣе и приличнѣе пикетовъ офицерскихъ.

— Напрасный трудъ, ваше превосходительство! — говорилъ Довре.— Важно для меня не ковры и не мебель, а позорное названіе *палочный*. — И сказавъ это, Довре раскланялся, пошелъ и сѣлъ на внутренній пикетъ. На другой день былъ церковный парадъ, на который пріѣхалъ Великій князь. Кишкинъ былъ ни живъ, ни мертвъ. По окончаніи обѣдни, Цесаревичъ спросилъ:

— А гдѣ Довре?

— Подъ арестомъ, Ваше высочество!...

— Гдѣ?

— На внутреннемъ, Ваше высочество! — проговорилъ генералъ, дрожа отъ страха.

— Какъ! Такъ онъ на палочный не пошелъ!.. Такъ онъ ослушался!.. Позвать его!

Довре явился.

— Довре! Ступай на палочный, или будешь солдатъ!

— Хоть разстрѣляйте, а не пойду.

— Довре! Сдѣлай шагъ, одинъ только шагъ, и я прощу тебя!

— Ни полшага, Ваше высочество!

— Такъ я силою заставлю тебя туда отправиться.

— Силою можете. «Сила солому ломитъ», говоритъ пословица. Но согласія моего никогда не дождетесь.

— Эй! Позвать сюда солдатъ!

Являются нѣсколько рядовыхъ.

— Взять его!

Солдаты подходятъ къ Довре, который защищается и кулаками, и ногами, а солдаты дѣйствуютъ не смѣло, робко: вѣдь это офицеръ, а не рядовой.

— Сейчасъ взять его, или всѣхъ васъ велю разстрѣлять! — кричитъ Цесаревичъ, совершенно выйдя изъ себя. Ну, конечно, какъ Довре ни барахтался, ни отбивался, а его взяли, понесли и сложили на [illegible]

ванъ, принесенный отъ полковаго командира. Затѣмъ Довре былъ посаженъ въ крѣпость и разжалованъ въ солдаты. Черезъ нѣсколько лѣтъ его произвели опять въ офицеры. Но онъ служилъ не долго, и вышелъ въ отставку. Я встрѣчался съ нимъ въ Петербургѣ, въ началѣ тридцатыхъ годовъ. Этотъ благородный молодой человѣкъ совершилъ великій «искупительный» подвигъ: съ тѣхъ поръ Цесаревичъ не только не сажалъ уже никого на палочный, но даже ни разу не произнесъ этого слова.

5.

Смѣлымъ Богъ владѣетъ.

Одинъ изъ поручиковъ л.-гв. уланскаго Его высочества полка былъ дежурнымъ по уяздовскому госпиталю. Въ тотъ день имѣлъ быть въ Большомъ театрѣ маскарадъ, который въ высшей степени интересовалъ дежурнаго поручика, по поводу одной маски, назначившей ему рандеву. Что тутъ дѣлать?... «Дай рискну», думаетъ себѣ поручикъ. «Теперь вечеръ, авось никакое начальство не пріѣдетъ въ госпиталь». Подумано, сдѣлано. Пройдясь по залѣ маскарада и отыскивая интересующую его маску, вдругъ, и къ величайшему своему ужасу, сталкивается онъ лицомъ къ лицу съ Великимъ княземъ, который взглянулъ на него съ удивленіемъ и, нагнувшись къ нему на ухо, сказалъ тихо:

— Вѣдь ты сегодня дежурный по госпиталю?

Вдохновенный пословицею «смѣлымъ Богъ владѣетъ», поручикъ прибѣгнулъ къ отчаянному средству спасенія. Онъ тоже нагнулся и сказалъ Цесаревичу на ухо:

— Точно такъ, Ваше высочество!.. Я — дежурный. Но тотъ изъ насъ будетъ нечестенъ, кто хоть одно слово скажетъ кому нибудь о нашей здѣсь встрѣчѣ. И сказавъ эти, болѣе нежели смѣлыя, слова, онъ отвѣсилъ Цесаревичу поклонъ, вышелъ поспѣшно изъ театра и возвратился въ госпиталь. Проходитъ день, другой, «все обстоитъ благополучно», поручика никто не безпокоитъ: ясно, что Цесаревичъ никому ни слова не сказалъ о маскарадной встрѣчѣ, т. е. оставилъ безъ послѣдствій важный проступокъ противъ военной службы.

Надо сказать, что поручикъ этотъ былъ старшимъ по полку и со дня на день ожидалъ своего производства въ штабъ-ротмистры. И вдругъ читаетъ онъ въ приказѣ по полку, что произведенъ въ *штабъ-ротмистры* одинъ изъ его товарищей, который былъ моложе его

по службѣ. Значитъ — его обошли чиномъ. Сильно огорчило его это. Но дня черезъ три онъ представлялся по службѣ Великому князю, который нагибается и говоритъ ему на ухо:

— Поздравляю тебя штабъ-ротмистромъ; но тотъ изъ насъ будетъ нечестенъ, кто хоть одно слово скажетъ кому нибудь о твоемъ производствѣ.

И такимъ образомъ поручикъ прослужилъ цѣлый годъ въ двойномъ чинѣ: гласнымъ поручикомъ и негласнымъ штабъ-ротмистромъ; этотъ послѣдній чинъ находился, такъ сказать, «подъ спудомъ». Итакъ, по прошествіи года, онъ имѣлъ удовольствіе прочитать, наконецъ, о себѣ въ приказѣ: «Поручикъ такой-то производится въ штабъ-ротмистры, со старшинствомъ отъ такого-то числа (т. е. со дня, когда его слѣдовало произвести), и съ возвращеніемъ ему излишка жалованья, по чину штабъ-ротмистра, за цѣлый годъ.

6.

Контрасты между варшавскими и петербургскими порядками.

Вспоминая варшавскую жизнь и службу двадцатыхъ годовъ, теперь многое кажется миѳологіею изъ того, что и какъ тамъ тогда думалось, понималось и дѣлалось, въ сравненіи съ тѣмъ, что и какъ дѣлалось въ Петербургѣ въ тридцатыхъ годахъ, въ особенности въ настоящее время; такъ мало сходства между этими двумя эпохами и мѣстностями. Несходство это доходитъ иногда до противоположности. Итакъ, многія вещи, которыя въ Петербургѣ и допускаются и даже поощряются, въ Варшавѣ строго преслѣдовались, и наоборотъ. Напримѣръ:

Вздумали офицеры литовскаго полка подписаться, для дежурной комнаты, чтобы не такъ скучно было дежурить, на разныя выходившія тогда періодическія изданія, газеты и журналы. И вдругъ узнаетъ объ этомъ Цесаревичъ. Сильнѣйшее распеканіе полковому командиру: какъ смѣтъ допустить въ полку такіе безпорядки, какъ чтеніе газетъ и журналовъ на дежурствѣ, гдѣ офицеры должны думать только объ исправномъ отправленіи своей службы, а не о чтеніи... И въ самомъ дѣлѣ, какой криминалъ! Чтеніе русскихъ журналовъ той эпохи! Вѣдь это угрожало спокойствію и благоденствію Россіи, и даже всей Европы!.. А въ Петербургѣ заведены теперь въ гвардейскихъ полкахъ цѣлыя библіотеки для

чтенія для офицеровъ. Однажды Цесаревичъ распекалъ прапорщика литовскаго полка Суровцова, распекалъ его такъ:

— Вы, сударь прапорщикъ, читаете Вольтера. Я васъ за это упрячу, куда Макаръ телятъ не гонялъ.

А Суровцовъ не только Вольтера, существованіе котораго онъ и не подозрѣвалъ, но ровно никогда ничего не читалъ, кромѣ приказовъ по полку.

Командиръ роты его высочества, штабсъ-капитанъ Желтухинъ, завелъ у себя общій столъ для офицеровъ своей роты. Ну и обѣдали вмѣстѣ: и хорошо, и не дорого, и весело. Провѣдалъ объ этомъ нашъ шефъ полка. Криминалъ! Чуть-чуть не заговоръ. Страшнѣйшее распеканіе, съ посидѣніемъ подъ арестомъ, ротному командиру. Собираться и обѣдать вмѣстѣ!.. И думать не смѣть о такомъ военномъ безпорядкѣ... А въ Петербургѣ въ полкахъ—общіе обѣды для офицеровъ; и Россія отъ этого не волнуется!.. Теперь приведу нѣсколько фактовъ противнаго свойства—терпимости и безнаказанности.

Какъ я уже говорилъ выше, поединки не только не запрещались, но поощрялись и порою даже приказывались. Сверхъ поединковъ разныя продѣлки, шалости, и порою довольно крупныя, даже безобразныя, молодыхъ офицеровъ, наказывались очень легко, а иногда оставлялись и вовсе безъ наказанія. Цесаревичъ думалъ такъ: «Пусть себѣ молодой офицеръ пошалитъ, перебѣсится, это не бѣда, лишь бы хорошо, исправно служилъ. И обыкновенно бываетъ такъ: чѣмъ больше офицеръ шалитъ, тѣмъ исправнѣе служитъ... Но читать журналы и книги? Это скверно, вольнодумство, никуда не годится... Но собираться и обѣдать вмѣстѣ, это еще хуже... Ни, ни!» Таковы были военные идеалы Цесаревича. И сколько мнѣ помнится, въ Варшавѣ не было обыкновенія давать прощальные обѣды оставляющимъ полкъ любимымъ и уважаемымъ товарищамъ, какого бы чина онъ ни былъ. А въ тридцатыхъ годахъ, а равно и теперь, такіе обѣды даются и штабъ и оберъ-офицерамъ, безъ малѣйшей помѣхи со стороны начальства. Какъ я уже упоминалъ, въ 1834 году весь полкъ давалъ мнѣ прощальный обѣдъ, шампанское лилось рѣкою не только въ бокалы, но, помню, что и меня всего мнѣ залили, подбрасывая на рукахъ чуть не до потолка. И свирѣпѣйшій изъ свирѣпыхъ начальниковъ, нашъ дивизіонный генералъ Исаковъ, не поморщился и ни слова не промолвилъ противъ такого обѣда, за который въ Варшавѣ разразились бы командирскіе и громъ, и молнія. А напримѣръ: за похищеніе воспитанницы изъ театральнаго училища и за побитіе полиціи, *Адеркаса* посадили только на недѣлю подъ арестъ; тогда какъ за

такую продѣлку въ Петербургѣ, офицера отдали бы подъ судъ и исключили изъ службы, а, неровенъ часъ, разжаловали бы въ солдаты.

Болѣе или менѣе строгое, или вѣрнѣе, снисходительное наказаніе офицеровъ за шалости зависѣло отъ двухъ условій: въ хорошемъ или дурномъ расположеніи духа находился Цесаревичъ, когда докладывали ему о напроказившемъ офицерѣ. Въ первомъ случаѣ наказаніе было самое легкое, во второмъ построже, но все-таки не очень строгое. Поколотятъ офицеры гдѣ нибудь, и кого нибудь, нашумятъ, набезобразничаютъ въ какомъ либо ресторанѣ, увезутъ жену отъ мужа, дочь отъ отца, сестру отъ брата, и мало-ли какихъ проказъ, шалостей, буйствъ не надѣлаетъ въ продолженіи года военная молодежь въ Варшавѣ; все это, за весьма рѣдкими исключеніями, наказывалось очень легко, недолгимъ арестомъ, а порою сходило съ рукъ. Для такого милостиваго исхода необходимо было соблюсти еще слѣдующее условіе, или, вѣрнѣе, формулу.

Когда напроказившій офицеръ представалъ передъ свѣтлыя очи и густыя, сильно нахмуренныя брови Цесаревича, который начиналъ свое распеканіе сперва mezzo-voce и потомъ, дойдя до fortissimo, прерывалъ по нѣскольку разъ это распеканіе словами:

— Ну, что ты скажешь въ свое оправданіе? Ну, оправдывайся!

И сохрани Боже, если какой-нибудь новичекъ, незнакомый съ привычками В. князя, начнетъ оправдываться; бѣда: вдвое накажутъ его. Все, что можно было сдѣлать лучшаго для спасенія себя отъ большой бѣды, это — отвѣсить поклонъ и сказать сокрушеннымъ, скорбнымъ голосомъ:

— Виноватъ, Ваше выс.! Въ послѣдній разъ въ моей жизни; никогда болѣе этого не сдѣлаю.

За такою покаянною, смиренною, фразою, распеканіе пойдетъ «на убыль», decrescendo; и послѣ двухъ или трехъ приказаній:

— Оправдывайтесь! — и отвѣтовъ — виноватъ, Ваше высочество! — распеканіе стихаетъ, и молодой бѣдокуръ наказывается лишь краткимъ арестомъ.

Распекалъ Цесаревичъ большею частію лишь тогда, когда бывалъ не въ духѣ. И, въ такомъ случаѣ, если бы во фронтѣ стояли ангелы, а командовали бы ими архангелы, и ученье представляло бы верхъ военнаго фрунтоваго совершенства, все равно: Цесаревичъ въ дурномъ расположеніи духа и, стало быть, ученье должно быть дурно, скверно; и ангеловъ и архангеловъ жестоко распекли бы и посадили бы подъ арестъ. И наоборотъ: когда В. князь въ духѣ, веселъ, то все хорошо, за все

«спасибо, ребята!» кто бы и какъ бы ни учился. При веселомъ настроеніи, онъ всѣмъ былъ доволенъ, за все благодарилъ. Мало того: расцѣлуетъ, бывало, начальника обозрѣваемой части; въ видѣ особенной ласки, ущипнетъ его за щеку и подъ конецъ обхватитъ его руками и давай бороться. Но когда былъ не въ духѣ, онъ не могъ уже хладнокровно выказывать свое неудовольствіе, а непремѣнно принимался распекать, и распекалъ громко, съ крикомъ и съ брызгами изо рта. Не таковъ былъ нашъ второй шефъ полка, В. князь Михаилъ Павловичъ. Онъ, бывало, распечетъ офицера безъ малѣйшаго крика, почти не возвышая голоса, нормальнымъ тономъ; но отъ этой нормальности было не легче. Вотъ образчикъ его распеканія, безъ единаго *ты*, а все *вы*:

— Что это такое? Какъ вы служите? У меня служить, такъ служить, а не черезъ пень колоду валить. А нѣтъ, такъ убирайся вонъ изъ полка. Вы думаете, что дѣлаете честь полку, что служите? Полкъ дѣлаетъ вамъ честь, что васъ терпитъ.

Такъ распекалъ онъ однажды въ Ораніенбаумѣ подпоручика Н. Болтина (моего потомъ шурина), и за что? Наканунѣ смотра, по случаю его именинъ, собралась у него вечеромъ компанія товарищей литовцевъ. Ну, разумѣется, при этомъ была и женка, и закуска съ питіями, и пѣніе соло и хоромъ, и веселые разговоры и разсказы, но самаго невиннаго свойства. Тогдашнимъ офицерамъ и въ голову не приходило «политиканствовать», а тѣмъ паче оппонировать чему бы и кому бы ни было. И весь вечеръ прошелъ чинно и прилично. Но все-таки навлекъ гнѣвъ и сильное распеканіе на голову амфитріона. «Устраивать вечеръ съ женкою, съ распѣваніемъ по одиночкѣ и хоромъ! И это наканунѣ такого торжественнаго дня, какъ смотръ полка высшимъ начальствомъ! Это — если не криминалъ, то по меньшей мѣрѣ служебный скандалъ, кощунство». Но несмотря на такія распеканія, я все-таки скажу, что Михаилъ Павловичъ былъ человѣкъ добрѣйшей души, готовый помочь всегда и всякому офицеру, обращавшемуся къ нему въ нуждѣ. И всегда помогалъ, никому не отказывалъ. А если порою распекалъ, и язвительно, то это не столько «по любви къ искусству», сколько по обязанностямъ службы, которыя ставилъ онъ выше всего.

Вотъ еще одна изъ привычекъ и особенностей Цесаревича.

Великій князь очень не любилъ, когда молодые и даже пожилые офицеры оставляли его службу. Чтобы, въ этомъ случаѣ, не навлечь на себя, если не гнѣвъ его, то сильное неудовольствіе, необходимы были нѣкоторыя предосторожности, напримѣръ: прежде, чѣмъ подать прошеніе *объ отставкѣ*, полковой командиръ докладывалъ келейно Великому князю,

что такому-то офицеру необходимо выдти въ отставку по домашнимъ обстоятельствамъ, или по разстроенному здоровью. Разрѣшеніе получалось, но не всегда съ перваго раза. Перейти же изъ гвардіи въ армію было еще труднѣе, да и то лишь въ литовскій корпусъ, находившійся подъ непосредственнымъ начальствомъ Цесаревича. А чтобы перейти куда нибудь во внутрь Россіи: въ Москву, въ Петербургъ? Сохрани Боже! И наоборотъ: онъ очень любилъ, когда переходили подъ его начальство. Случалось, что кто нибудь, офицеръ или чиновникъ, служащій внутри Россіи, набѣдокуритъ, нашалитъ, попадетъ въ бѣду, на гауптвахту, въ кутузку, съ опасностью попасть подъ судъ. И вотъ, прослыша о Варшавѣ и Цесаревичѣ, защитникѣ и покровителѣ «угнетенной невинности» (почти всякій шалунъ считаетъ себя невиннымъ), возьметъ да и напишетъ Великому князю челобитную, «что, дескать, такъ и такъ, его преслѣдуетъ злой рокъ и недоброе начальство, и что у него всегда было пламенное желаніе служить подъ начальствомъ Его высочества, и пр. и пр.». Ну, напроказившій шалунъ и спасенъ: если только вина его была не уголовная, не безчестная,—сейчасъ посылался въ Россію фельдъегерь со строжайшимъ приказомъ отъ Великаго князя, изъять автора письма изъ подъ ареста и немедленно привезти въ Варшаву, гдѣ и поступалъ онъ на службу въ который нибудь изъ полковъ гвардейскаго отряда и дослуживался иногда до важнаго чина. Случилось однажды вотъ что:

Воспитанники вятской семинаріи поколотили своихъ наставниковъ и вытолкали ихъ изъ классной комнаты. Явился къ нимъ самъ преосвященный, чтобы привести мятежныхъ семинаристовъ въ повиновеніе своимъ архипастырскимъ краснорѣчіемъ. Но мятежники не смирились, а еще пуще разъярились и самаго владыку выпроводили отъ себя далеко не очень вѣжливо. Но вотъ возникаетъ серьезное, строгое дѣло; святые отцы шутить и мирволить не любятъ: тотчасъ же запрятали въ острогъ главныхъ виновниковъ семинарскаго мятежа, которымъ угрожала печальная перспектива—отправиться по этапу въ мѣста отдаленныя. Главнымъ изъ зачинщиковъ былъ нѣкто Казариновъ, здоровенный, высокаго роста и очень умный и грамотный семинаристъ. Вотъ ему и удалось, разумѣется въ тайнѣ отъ своего начальства, написать къ Цесаревичу челобитное письмо, по духу и формѣ похожее на то, о которомъ говорилъ я выше. И сейчасъ же, по полученіи этого письма, поскакалъ изъ Варшавы въ Вятку фельдъегерь, съ строжайшимъ приказаніемъ: немедленно доставить семинариста Казаринова въ Варшаву, что и было въ точности исполнено. Онъ былъ опредѣленъ въ литовскій полкъ солдатомъ; черезъ полгода произведенъ въ унтеръ-офицеры, а еще года черезъ три въ офи-

церы. Во время стоянки полка въ Ораніенбаумѣ, онъ былъ уже капитаномъ, потомъ полковникомъ и былъ назначенъ командиромъ чего-то. А товарища его по семинарскимъ безпорядкамъ были сосланы «въ мѣста отдаленныя».

7.

Варшавскій Донъ-Жуанъ.

Въ подольскомъ кирасирскомъ полку служилъ корнетомъ Бе—въ, необыкновенный красавецъ, который бралъ и лицомъ, и ростомъ, и ловкостью. Цесаревичъ сейчасъ же взялъ его къ себѣ въ адъютанты. Первое время своего адъютантства Бе—въ держалъ себя чрезвычайно скромно, словно институтка, воды не замутитъ. И чтожъ? Великій князь обращался съ нимъ весьма холодно, далеко не такъ привѣтливо, какъ съ другими своими адъютантами. Но вотъ этотъ юный красавецъ-скромникъ начинаетъ, мало по малу, преобразовываться, развертываться и вскорѣ дѣлается страшнымъ кутилой, картежникомъ, потомъ, безпардоннымъ волокитой и становится грозою мужей хорошенькихъ женъ и отцовъ хорошенькихъ дочерей, такъ что, наконецъ, получаетъ титулъ «Варшавскаго Донъ-Жуана». Соблазненныхъ и похищенныхъ имъ женамъ и дочерямъ не было счета. И чтожъ? Цесаревичъ страстно полюбилъ своего адъютанта-гуляку и соблазнителя варшавскихъ красавицъ,—души въ немъ не чаялъ, и никогда ни за что его не наказывалъ, оставляя безъ вниманія безчисленныя и порою скандалезныя его любовныя приключенія и нареканія отцовъ и мужей. Но разъ наказалъ его, и очень строго, и вотъ за что и какъ.

Пріѣзжаетъ однажды съ Волыни въ Варшаву одинъ графъ съ женою. Оба они — молоды, красавцы, богаты, умны, обожаютъ другъ друга и составляютъ образцовую чету. А въ добавокъ: красавица-графиня была извѣстна своею строгою, неприступною добродѣтелью.

— Ну-ко, Бе—въ! подзадаривалъ его однажды одинъ изъ его пріятелей.—Ты не разъ хвалился, что нѣтъ въ Варшавѣ такой женщины, которая не пала бы въ твои объятія, если ты этого захочешь. Вотъ пріѣхала сюда молодая графиня-красавица, которая обожаетъ своего мужа, тоже красавца. Попробуй-ка приволокнуться; навѣрное останешься съ носомъ.

— Въ самомъ дѣлѣ? А какъ не съ носомъ, а съ полнымъ успѣхомъ *окончу я* предпринятую любовную кампанію.

— Ну нѣтъ, братъ! шалишь, дудки, грибъ съѣшь.

— А не хочешь-ли пари? Завтракъ у Шево и дюжина шампанскаго.

— Идетъ! — Ударили по рукамъ, и безпардонный волокита немедленно открываетъ свою донъ-жуанскую кампанію знакомствомъ съ домомъ графа, что было весьма легко для Бе—ва, который, какъ адъютантъ Великаго князя, былъ принимаемъ и вхожъ во всѣ аристократическіе дома Варшавы. Смѣлый, ловкій, находчивый, вкрадчивый, онъ скоро дѣлается домашнимъ, своимъ человѣкомъ въ домѣ графа. И не проходитъ полугода, добродѣтельная и неприступная графиня падаетъ въ его объятія. И роскошный завтракъ у Шево съѣденъ, и дюжина шампанскаго распита. Но, въ доказательство своего торжества, Бе—въ имѣлъ неосторожность, или вѣрнѣе, малодушіе — показать, подъ секретомъ, своимъ собутыльникамъ нѣсколько страстныхъ къ нему писемъ молодой графини. А давно уже извѣстно, что когда секретъ знаютъ болѣе, нежели двое, то это уже болѣе не секретъ. Такъ и тутъ: молодой графъ узналъ объ измѣнѣ жены, былъ пораженъ страшнымъ горемъ и горько жаловался Цесаревичу на вѣроломство его адъютанта. Великій князь съ участіемъ выслушалъ жалобу, но ни слова не сказалъ, даже вида неудовольствія не показалъ Бе—ву. Но на другой день, когда послѣдній возвратился домой съ развода и не успѣлъ еще не только облечься въ халатъ, но и растегнуть крючка у воротника мундира, къ нему вошелъ жандармскій офицеръ и, по приказанію Великаго князя, отвезъ его въ одномъ мундирѣ подъ арестъ, и подъ какой? Засадили добра-молодца въ каморку въ три аршина длиною и въ два шириною. И ни дивана, ни стула, ни столика, а только на полу было постлано немного соломы. И просидѣлъ, или вѣрнѣе, пролежалъ на соломѣ нашъ варшавскій Донъ-Жуанъ цѣлый мѣсяцъ, и питался уже не роскошнымъ столомъ отъ Шево, а хлѣбомъ да водицею. Блѣдный, худой вышелъ онъ изъ подъ ареста; и когда явился во дворецъ, Цесаревичъ ему сказалъ:

— Бе—въ! что ты соблазняешь и похищаешь у разныхъ простофилъ женъ, дочерей, сестеръ и, продержавъ ихъ у себя мѣсяцъ, а много два, прогоняешь ихъ отъ себя, я на все это смотрѣлъ сквозь пальцы, потому что жалобъ на тебя никакихъ ко мнѣ не поступало. Ну еще и потому, что въ любовныхъ дѣлахъ я держусь пословицы: «Собака не захочетъ....». Но въ настоящемъ случаѣ ты поступилъ невообразимо скверно: тебя приняли въ порядочный домъ, обласкали, пріютили какъ роднаго. И за все это, честному и довѣрчивому человѣку, отплатилъ ты безчестіемъ, позоромъ. Этого мало: ну, удалось тебѣ соблазнить честную дотолѣ женщину, и хранилъ бы это втайнѣ, про себя,

что бы никто, кромѣ тебя да твоей жертвы, ничего никогда не узналъ бы. Но изъ ребяческаго, малодушнаго тщеславія, а еще изъ болѣе предосудительнаго, презрѣннаго желанія хорошо позавтракать, да попить шампанскаго на чужой счетъ, ты скомпрометировалъ, обезславилъ предавшуюся тебѣ беззавѣтно молодую женщину, разстроилъ на всегда семейное счастіе обожавшаго ее мужа, — этого я простить тебѣ не могъ. Это неблагородно, безсовѣстно, и ты заслужилъ гораздо большее наказаніе чѣмъ то, которому я тебя подвергнулъ. И теперь ты много потерялъ въ моемъ мнѣніи.

Впослѣдствіи, много лѣтъ спустя, судьба жестоко покарала Бе—ва и, по изреченію «око за око», отмстила ему за несчастнаго графа. Вѣроятно многіе изъ гвардейцевъ тридцатыхъ годовъ помнятъ исторію женитьбы въ Петербургѣ бывшаго варшавскаго Донъ-Жуана.

XIV.

Выходъ изъ школы и необыкновенный экзаменъ.

Итакъ, Валерьянъ Макарычъ вышелъ въ отставку и уѣхалъ изъ Варшавы въ свою деревню. Но я не остался одинъ, безъ поддержки: у меня нашлись два покровителя, которые очень полюбили меня, ласкали и принимали у себя, какъ близкаго роднаго. Это были два совоспитанника и закадычные друзья Мичурина, полковники Граббе и Жеребцовъ. Впрочемъ, *я* былъ любимъ и уважаемъ всѣми офицерами своего полка.

Въ семействѣ Граббе я былъ принятъ какъ родной сынъ. Это окончательно спасло меня отъ всякихъ увлеченій и излишествъ бурливой молодости, которымъ предавались многіе изъ моихъ школьныхъ товарищей. Страсть моя къ музыкѣ тоже много тому способствовала. Вмѣсто того, чтобы, по воскресеньямъ и большимъ праздникамъ, отправляться изъ школы, по примѣру другихъ, въ кофейни, рестораціи и еще Богъ знаетъ куда и къ кому, я—или оставался въ школѣ и занимался чтеніемъ, котораго я не покидалъ, или музыкою, проходя школу Бальо, разучивая новыя піесы, или разыгрывая дуэты съ товарищемъ, скрипачемъ или флейтистомъ. А если выходилъ со двора, то отправлялся прямо и на весь день къ Граббе, завтракалъ, обѣдалъ и пилъ у него чай, и потомъ, никуда не заходя, возвращался въ школу.

Замѣчательно, что, въ продолженіи четырехъ лѣтъ школьной жизни, *я ни разу* не опоздалъ ни на перекличку, ни на ученье, ни въ классы,

не замѣченъ ни въ малѣйшей неисправности, и ни разу не былъ подъ арестомъ, избѣгнуть котораго въ школѣ было чрезвычайно трудно, почти невозможно. Объ этомъ я говорилъ въ началѣ второй части.

Въ маѣ 1829 года происходили въѣздъ въ Варшаву и потомъ коронованіе Императора Николая Павловича. Описаніе этихъ событій много взяло бы у меня времени. Можетъ быть я и сдѣлаю это когда нибудь въ другомъ мѣстѣ. А теперь пора кончу разсказъ о моей варшавской жизни.

Въ августѣ 1830 года я былъ, наконецъ, произведенъ за отличіе въ офицеры въ литовскій же гвардейскій полкъ, прослужа семь лѣтъ юнкеромъ. И это еще было для меня особенное счастіе, потому что оставшіеся послѣ меня товарищи прослужили юнкерами по восьми, по девяти и даже по десяти лѣтъ. И немудрено: въ двухбатальонныхъ гвардейскихъ полкахъ варшавскаго отряда находилось въ каждомъ по сту юнкеровъ, а въ офицеры ежегодно производилось только отъ четырехъ до десяти человѣкъ изъ полка. Когда же могли дождаться своей очереди послѣдніе изъ нихъ? Теперь заключу эту часть разсказомъ о томъ, какимъ образомъ я сдалъ экзаменъ въ своемъ умѣньи уживаться съ людьми, даже самыми вздорными.

Въ числѣ моихъ школьныхъ товарищей были два юнкера, характеры которыхъ составляли діаметральную противоположность между собою. Одинъ изъ нихъ, Гине, нѣмецъ изъ Курляндіи, имѣлъ необыкновенно прекрасный характеръ. Въ высшей степени хладнокровный, терпѣливый, честный, справедливый, безпристрастный и акуратный, онъ пользовался не только всеобщимъ уваженіемъ, но и пріобрѣлъ огромный авторитетъ между товарищами, и былъ чѣмъ-то въ родѣ посредника и мироваго судьи, приговоры котораго исполнялись безпрекословно и безъ аппеляціи. Онъ никогда и ни съ кѣмъ не ссорился, и потому въ школѣ говаривали: «Кто съ Гине поссорится, съ тѣмъ и ангелы не уживутся»; или: «Надо быть хуже чорта, чтобы поссориться съ Гине».

Всѣ обращались къ нему за совѣтами, или за посредничествомъ въ спорахъ и въ ссорахъ, и онъ всѣхъ мирилъ, все и всѣхъ разбиралъ;— и совѣты или рѣшенія его исполнялись свято. Въ особенности онъ былъ очень друженъ со мною и, вмѣстѣ съ Забеллою, принесъ мнѣ огромную нравственную пользу своими благонамѣренными, дѣльными совѣтами. Также какъ и я, онъ очень любилъ музыку, игралъ на флейтѣ, и вдвоемъ мы часто разыгрывали дуэты. Гине былъ произведенъ въ офицеры за годъ до моего производства, и остался со мною по прежнему друженъ.

Другой юнкеръ, совершенный контрастъ Гине, былъ полякъ изъ Гродненской губерніи, нѣкто Боуфалъ. Отъ природы не глупый и честный малый, но безъ образованія, любившій во всемъ акуратность, порядокъ и опрятность, это, съ тѣмъ вмѣстѣ, былъ самый вздорный, нестерпимо капризный, сварливый и раздражительный человѣкъ. Не было никого въ школѣ, съ кѣмъ бы онъ не поссорился, и не проходило дня, чтобы онъ не повздорилъ съ кѣмъ нибудь, а иногда и со многими, и со всѣми товарищами и своего, и другихъ полковъ. Онъ безпрестанно ворчалъ, ко всему придирался, за все сердился, выходилъ изъ себя, кричалъ и бранился. Не такъ на него взглянешь, усмѣхнешься во время разговора его съ кѣмъ нибудь, пошевелишь его ружье или амуницію, слегка задѣнешь его локтемъ, проходя мимо, дотронешься до его щетки, до постели, т. е. до соломеннаго матраца съ шерстянымъ одѣяломъ, которые умѣлъ онъ складывать и укладывать на изголовьѣ койки, придавая имъ весьма красивую и правильную форму: за все это онъ тотчасъ же заворчитъ, выйдетъ изъ себя и осыплетъ градомъ язвительныхъ упрековъ, а порою и грубой брани. Всѣ отъ него сторонились, удалялись, какъ отъ чумы или отъ гидрофоба и наконецъ порѣшили: «Кто съ Боуфаломъ уживется и ни разу не поссорится, тотъ будетъ святой и попадетъ прямо въ рай».

Я былъ представленъ въ офицеры въ іюлѣ, во время лагеря и послѣ предварительнаго экзамена, о которомъ слѣдуетъ сказать нѣсколько словъ.

Подъ словомъ экзаменъ, который ежегодно дѣлали юнкерамъ варшавской школы подпрапорщиковъ, разумѣли не испытаніе въ наукахъ. Совсѣмъ нѣтъ! О наукахъ не было и помину. Экзаменомъ называлось осьмирядное линейное ученье въ составѣ цѣлой дивизіи, на которомъ юнкера заступали мѣста дивизіоннаго, бригадныхъ, полковыхъ, батальонныхъ и всѣхъ остальныхъ командировъ, кончая *предъявляющими* офицерами. И надо отдать справедливость: юнкера командовали не хуже старыхъ и опытныхъ офицеровъ, ловко, быстро, шутя повертывали свои части и не спутывались въ самыхъ сложныхъ построеніяхъ.

Вслѣдъ за этимъ экзаменомъ, юнкеровъ представляли въ офицеры. Число представляемыхъ зависѣло отъ числа вакансій въ гвардейскихъ и армейскихъ полкахъ, стоявшихъ въ Польшѣ, и въ армейскомъ литовскомъ корпусѣ, стоявшемъ въ Литвѣ. Поэтому производили иногда всѣхъ юнкеровъ, занимавшихъ на осьмирядномъ ученьи мѣста офицеровъ, что составляло 103 человѣка. Въ другой разъ производили только до дивизіонныхъ командировъ включительно, что составляло 63 человѣка. А

иногда ограничивали производство младшими штабъ-офицерами и батальонными адъютантами, что составляло не болѣе 31 человѣка. Это послѣднее считалось—несчастнымъ производствомъ, глубоко печалившимъ всю школу.

Вмѣстѣ со мною были представлены къ производству въ гвардію еще трое литовскихъ юнкеровъ, а въ числѣ ихъ и сварливый Боуфалъ. Представленіе это, по обыкновенію, послано было въ Петербургъ на утвержденіе, а представленные юнкера занялись своею обмундировкою.

Разскажу при этомъ сцену, произошедшую во время представленія меня въ офицеры, по поводу двухъ подпрапорщиковъ, тоже представленныхъ вмѣстѣ со мною. Литовскимъ полкомъ командовалъ тогда уже не Кишкинъ, получившій дивизію, а Энгельманъ.

— Ваше выс.! сказалъ онъ Вел. князю.—Мнѣ не желалось бы имѣть у себя въ полку Плудовскаго и Боуфала, потому что, хотя они и хорошаго поведенія и хорошо знаютъ службу, но, во-первыхъ, они недостаточно образованы для того, чтобы служить въ гвардіи; а во-вторыхъ, они не имѣютъ средствъ, чтобы прилично содержать себя въ гвардіи.

— Что это такое сказали вы? возразилъ Цесаревичъ, начиная уже горячиться. — Вамъ стыдно, генералъ, говорить такія вещи! Если они недостаточно образованы, общество офицеровъ, ихъ товарищи, должны докончить ихъ воспитаніе и образованіе. А если они бѣдны, вы должны помогать бѣднымъ офицерамъ: вы имѣете хорошій доходъ отъ полка. Для меня достаточно, если они хорошо себя ведутъ, отлично знаютъ фронтовую службу и служатъ исправно и усердно. И, обратившись къ стоявшему возлѣ меня подпрапорщику польскаго гвард. гренадерскаго полка Жигаловскому, у котораго на рукавѣ мундира виднѣлись два шеврона, а въ черныхъ волосахъ много сѣдыхъ волосъ, потому что ему было уже подъ сорокъ лѣтъ *), сказалъ, трепля его по плечу и ущипнувъ за щеку:

— Вотъ это у меня служака. Недостаточно ли онъ образованъ, бѣденъ ли онъ, все равно, да онъ отлично себя ведетъ, превосходно знаетъ

---

*) Слѣдуетъ замѣтить, что юнкера въ польскихъ полкахъ очень долго тянули лямку въ нижнихъ чинахъ. Считалось счастливою службою, исключеніемъ, когда какому либо подпрапорщику удавалось быть произведеннымъ въ офицеры послѣ 8—10 лѣтъ службы въ нижнемъ чинѣ. Большая часть только послѣ 12 – 15 лѣтъ юнкерской службы попадала въ офицеры. Это происходило отъ того, что офицеры польской арміи, за немногими исключеніями, рѣдко выходили въ отставку. Почти всѣ они старались дослужить до права полученія пенсіи.

службу, всегда и вездѣ исправенъ и усерденъ; такъ онъ у меня и гвардейскій офицеръ. Будетъ и полковникомъ, будетъ и генераломъ. А богатый, образованный, будь онъ графъ, князь, если дурно себя ведетъ, если плохо знаетъ службу, и лѣниво служитъ, такъ я его въ армію, въ гарнизонъ, въ фурлейты.

Сконфуженный генералъ молчалъ: ни слова, ни полслова въ отвѣтъ Вел. князю. И Плудовскій и Боуфалъ были произведены въ гвардію.

Въ августѣ войска выступили изъ лагеря въ Варшаву. Я стоялъ покамѣсть въ казармахъ съ ротнымъ фельдфебелемъ и нетерпѣливо ожидалъ изъ Петербурга своего производства и счастія скинуть съ себя, наконецъ, мундиръ нижняго чина, смертельно мнѣ надоѣвшій.

Для пополненія моей характеристики скажу, что, при выходѣ изъ школы, я превосходно зналъ польскій языкъ, которому выучился не изъ книгъ, потому что читалъ по большей части однѣ французскія книги, а изъ практики, изъ ежедневнаго употребленія польскаго языка, на которомъ объяснялся бѣгло и правильно, какъ настоящій варшавянинъ. Но за то я до того отвыкъ отъ своего роднаго языка, что дѣлалъ большія ошибки, говоря порусски, и постоянно употреблялъ полонизмы, иногда очень смѣшные, какъ, напримѣръ: «Мы ѣхали въ саняхъ и *своротились* (wywrucilismy), вмѣсто *опрокинулись*». Или: «Я пошелъ *на низъ* (na dol), вмѣсто *внизъ*». О писаніи моемъ порусски и говорить нечего: въ каждой строкѣ было по нѣскольку ошибокъ.

Дней за десять до полученія Высочайшаго приказа о новопроизведенныхъ, я встрѣтился съ Боуфаломъ на улицѣ. Мы оба хлопотали объ обстановкѣ своей новой жизни.

— Ну, что? спросилъ меня Боуфалъ. — Нашелъ ли ты себѣ квартиру?

— Нѣтъ еще, не успѣлъ.

— А я такъ ужъ нашелъ и нанялъ. Славная квартира! Не далеко отъ казармъ, въ нижнемъ этажѣ, двѣ большія и очень чистыя комнаты, и не дорого. А ты съ кѣмъ будешь стоять?

— А еще не знаю, съ кѣмъ.

Слѣдуетъ пояснить, что въ Варшавѣ молодые и холостые офицеры обыкновенно жили вдвоемъ, даже втроемъ на одной квартирѣ: и дешевле, и веселѣе.

— Не хочешь ли стоять со мной? спросилъ Боуфалъ.

Я готовъ былъ сказать нѣтъ, да подумавъ немного, принялъ предложеніе къ великому удовольствію Боуфала, сообщества котораго всѣ избѣгали, и который, поэтому, не могъ найти себѣ товарища для квартиры,

даже если бы онъ предлагалъ ее даромъ. Но именно по этому то я и рѣшился жить вмѣстѣ съ Боуфаломъ. Мнѣ хотѣлось сдѣлать опытъ, въ какой степени исцѣлился я отъ своей прежней вспыльчивости, и научился ладить и уживаться съ людьми, даже самыми сварливыми. Но прочіе мои товарищи чрезвычайно удивились моей рѣшимости жить вмѣстѣ съ Боуфаломъ.

— Да вѣдь ты будешь мученикъ, говорили они мнѣ.—Да вѣдь тебѣ придется ежедневно съ нимъ ссориться, переносить тысячи непріятностей, не имѣть дня, часа покойнаго! Онъ отравитъ твою жизнь. Да къ тебѣ никто и не придетъ тогда.

— Постараюсь не ссориться, поучусь уживаться съ людьми. Попытка не шутка, а спросъ не бѣда, отвѣчалъ я и черезъ нѣсколько дней послѣ встрѣчи моей съ Боуфаломъ, перебрался къ нему на квартиру. А еще дня черезъ три мы оба надѣли офицерскіе мундиры и были на верху блаженства, которое понять можетъ только тотъ, кто, подобно намъ, прослужилъ по семи лѣтъ юнкерами, да еще въ Варшавѣ въ двадцатыхъ годахъ.

Первыя двѣ недѣли мы почти не были дома. Какъ птички, выпущенныя изъ клѣтки на волю, пользовались мы своей новою жизнію и всѣмъ, что до тѣхъ поръ было для насъ запретнымъ плодомъ, какъ, напримѣръ, ѣзда на извощикахъ, посѣщеніе театровъ, концертовъ и прочихъ публичныхъ увеселеній. Поэтому самому въ нашей квартирѣ вначалѣ все шло тихо и спокойно, не было ни ссоръ, ни споровъ. Но когда, потомъ, поугомонясь отъ новизны ощущеній и отъ бѣготни по городу и ѣзды за городъ, мы стали уже поболѣе оставаться дома и бывать вмѣстѣ, тогда картина нашей домашней жизни начала измѣняться и принимать оттѣнокъ, со всякимъ днемъ болѣе и болѣе мрачный, зловѣщій. Сварливый, придирчивый характеръ Боуфала вступилъ въ свою прежнюю колею. Что бы я ни сдѣлалъ, чтобы ни сказалъ, все не такъ, все не хорошо. Отворю окно, Боуфалъ кричитъ: «Зачѣмъ? вѣтеръ, холодно»! Затворю окно, опять крикъ: «Зачѣмъ? жарко, душно»! Передвину стулъ съ мѣста на мѣсто: «Дѣлаю безпорядокъ».

Такъ продолжалось недѣли двѣ; я то отмалчивался, то отшучивался, то логически доказывалъ моему товарищу его несправедливость. Однажды, когда Боуфала не было дома, я подошелъ къ комоду и взялъ въ руки лежавшую на немъ головную щетку своего товарища. Въ эту самую минуту Боуфалъ входитъ въ комнату и, увидя свою щетку въ моихъ рукахъ, разражается потокомъ упрековъ:

— Зачѣмъ ты берешь мою щетку? Чтобы загрязнить ее поскорѣе? Руки чешутся? Самъ не любитъ порядка и чистоты, такъ и другимъ мѣшаетъ. Несносный, нестерпимый! Съ тобой просто нельзя жить.... И пошелъ, и пошелъ.

Долго говорилъ онъ и все съ возрастающею запальчивостію, а я, скрестя руки на груди, слушалъ его, не перебивая, и только время отъ времени, слегка пожималъ плечами. Наконецъ, насердившись и накричавшись вдоволь, Боуфалъ замолчалъ. Тогда я заговорилъ тихимъ и спокойнымъ голосомъ:

— Ну, что? все ли высказалъ? Нѣтъ ли еще чего нибудь?

Боуфалъ опять началъ горячиться, язвить и, покричавъ минутъ десять, замолчалъ.

— Ну, что-жъ ты замолчалъ? поругайся еще. Вѣдь это превесело.

Боуфалъ снова затрещалъ. И такимъ образомъ нѣсколько разъ возобновлялись его гнѣвныя причитанія, возбуждаемыя моими словами: «Сдѣлай одолженіе, поругайся еще»! Но, наконецъ, у Боуфала не хватило силъ: онъ страшно утомился и, волею неволею, долженъ былъ отвѣчать глубокимъ молчаніемъ, да одышкою на всѣ дальнѣйшія поддразниванья своего товарища. Тогда я перемѣнилъ тонъ и манеру и заговорилъ такъ:

— Ну, что? утомился наконецъ? Истощилъ весь запасъ упрековъ и бранчивости?... Сумасшедшій ты этакой!... Изъ за чего ты надсажалъ себѣ грудь и горло, дошелъ до одышки, чуть не охрипъ?.. Тебѣ очень хотѣлось, чтобы и я поругался съ тобою. Не правда ли? Такъ вотъ же тебѣ шишъ!... Знай, что ни ругаться, ни ссориться, ни даже спорить съ тобою я не намѣренъ. Сердись, кричи, бранись сколько тебѣ угодно, а я все таки ни слова не буду отвѣчать тебѣ, не буду даже слушать твоихъ словъ, ни замѣчать твоего гнѣва.

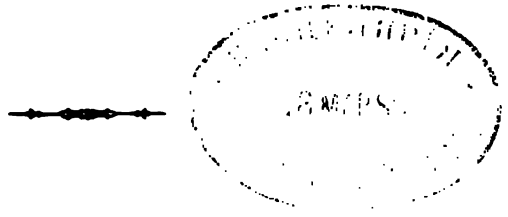
Боуфаль ни слова не возражалъ и весь тотъ день молчалъ, какъ могила. Но съ того самаго дня онъ совершенно преобразился въ отношеніи ко мнѣ: пересталъ сердиться и придираться ко мнѣ за всякую малость. И даже въ важныхъ случаяхъ говорилъ или спорилъ тихо, спокойно, безъ малѣйшей язвительности и сдѣлался во всемъ очень снисходительнымъ. Тишина, миръ и согласіе снова водворились въ нашей квартирѣ и продолжались все время, пока мы жили вмѣстѣ. Да и съ прочими товарищами Боуфалъ пересталъ спорить и ссориться, такъ что они не узнавали его, дивились и не знали чему и кому приписать такую необыкновенную нравственную метаморфозу.

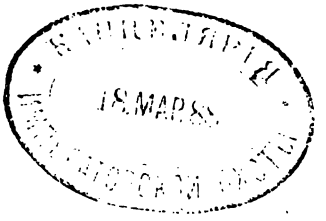
Но приближался конецъ моей варшавской жизни. Въ воздухѣ носились *признаки* близкой грозы. Всѣ съ безпокойствомъ ожидали чего-то

новаго, необыкновеннаго. Русскому варшавскому отряду и всей польской арміи приказано было готовиться къ походу.

Въ половинѣ ноября я занемогъ и отправился въ военный Уяздовскій госпиталь. А черезъ два дня послѣ того, т. е. 17 ноября, вспыхнуло польское возстаніе. Варшавскій отрядъ русской гвардіи отретировался въ предѣлы Россіи, и я остался въ Варшавѣ военноплѣннымъ.

Описаніе различныхъ эпизодовъ этого плѣна составитъ сюжетъ слѣдующей, восьмой книги «Моихъ Воспоминаній».





КНИГА ВОСЬМАЯ.

ВОСПОМИНАНІЯ ПЛѢННАГО ОФИЦЕРА.

ВОСПОМИНАНІЯ ПЛѢННАГО ОФИЦЕРА.

I.

Было лѣто 1830 года. Всѣ пѣхотныя войска, составлявшія варшавскій гарнизонъ, а равно и тѣ, которыя, въ прочее время года, квартировали въ провинціи, стояли въ лагерѣ. Лагерь этотъ находился въ двухъ верстахъ отъ Маріинтской заставы. По обыкновенію, войска вступали въ лагерь 1 іюня и, простоявъ въ немъ три мѣсяца, выступали изъ него 1 сентября. Я служилъ тогда подпрапорщикомъ въ гвардейскомъ литовскомъ полку и находился въ школѣ гвардейскихъ подпрапорщиковъ. На лѣто школа распускалась, подпрапорщики возвращались въ свои полки и стояли съ ними въ лагерѣ.

Войска вышли изъ лагеря ранѣе обыкновеннаго, 20 августа. Въ то же время я былъ произведенъ въ офицеры, съ оставленіемъ въ томъ же полку.

Съ сентября въ Варшавѣ распространились смутные слухи о возможности скорой войны съ Франціею и о предстоящемъ войскамъ походѣ. Потомъ начало выказываться нѣкоторое броженіе въ умахъ варшавскаго народонаселенія, особенно между учащеюся молодежью. Слухи о войнѣ, о близкомъ возстаніи множились, усиливались; броженіе росло и начало проявляться различными и довольно осязательными выходками со стороны учащейся польской молодежи: студенты, лицеисты, гимназисты сдѣлались чрезвычайно запосчивы, придирчивы и дерзки при встрѣчахъ и столкновеніяхъ съ русскими: на улицахъ они не давали имъ дороги, умышленно толкали. Въ кофейняхъ, у рестораторовъ, въ театрахъ, на гуляньяхъ, даже на публичныхъ лекціяхъ, вездѣ заводились и повторялись непріятныя сцены, исторіи, оканчивавшіяся иногда вызовомъ на дуэль. Наконецъ начали ходить по рукамъ возмутительныя прокламаціи, и къ разнымъ лицамъ стали подкидывать безъименныя записки съ увѣдомленіемъ быть готовыми на такое-то число.

Въ это время отданъ былъ войску приказъ, которымъ подтверждалось: избѣгать по возможности всѣхъ поводовъ къ непріятнымъ исторіямъ съ польскою молодежью и въ особенности перестать посѣщать публичныя лекціи словесности знаменитаго тогда въ Варшавѣ профессора Осиньскаго, который, прелестью своего изложенія, привлекалъ въ университетскую залу огромную публику.

Въ то же время въ войскахъ варшавскаго гарнизона проявилась необыкновенная воинская дѣятельность, которая была не что иное, какъ приготовленіе къ возможной войнѣ. Обращено было особенное вниманіе на обученіе солдатъ мѣткой стрѣльбѣ, которую производили по нѣсколько разъ въ недѣлю; производимы были малые и очень частые маневры небольшими отрядами, походы за городъ въ продолженіе цѣлаго дня.

Въ концѣ октября, слухи о походѣ за границу сдѣлались еще громче и настойчивѣе, и наконецъ уже въ приказахъ по полкамъ было предписано офицерамъ заказать себѣ походные вьюки, что сейчасъ же съ радостію было всѣми исполнено. Долгая стоянка на одномъ мѣстѣ сильно надоѣла всѣмъ, и возможность похода и войны весело улыбалась, особливо молодымъ офицерамъ, потому что открывала новую карьеру, бывшую до того, благодаря продолжительному миру, въ совершенномъ застоѣ *), напримѣръ: въ двухбатальонномъ полку было иногда до тридцати четырехъ прапорщиковъ, то-есть болѣе четвернаго комплекта, такъ что нѣкоторые прослужили лѣтъ по девяти и по десяти въ прапорщичьемъ чинѣ. Наконецъ войска, стоявшія въ Польшѣ, со дня на день ожидали выступленія въ походъ.

Вмѣстѣ съ приготовленіемъ къ войнѣ, слухи о возстаніи сдѣлались до того громки и настойчивы, что приняты были наконецъ нѣкоторыя предосторожности, напримѣръ: литовскому и волынскому полкамъ были отданы приказанія, чтобы, въ случаѣ тревоги, первый, выйдя изъ казармъ, помѣстился на плацъ-парадномъ полѣ, а второй — оцѣпилъ бы арсеналъ.

Въ началѣ ноября я занемогъ. Болѣзнь моя вскорѣ усилилась, и, въ половинѣ ноября, я отправился въ военный Уяздовскій госпиталь, лежавшій на концѣ города, противоположномъ тому, гдѣ были казармы литовскаго и польскаго гренадерскаго полковъ **). Не въ дальнемъ раз-

---

*) Говоря о продолжительномъ мирѣ, я отношу это только къ войскамъ, стоявшимъ въ царствѣ Польскомъ, которыя не могли участвовать ни въ персидской, ни въ турецкой кампаніяхъ.

**) *На мѣстѣ этихъ казармъ находится нынѣ варшавская цитадель.*

стоянія отъ госпиталя, въ лазенковскомъ паркѣ, находилась пѣхотная школа подпрапорщиковъ: она помѣщалась въ одной изъ двухъ-этажныхъ службъ лазенковскаго дворца, соединявшейся съ самымъ дворцомъ крытою галлереею. Кавалерійская же школа юнкеровъ была совершенно отдѣлена отъ пѣхотной и находилась въ центрѣ города.

Пѣхотною школою подпрапорщиковъ командовалъ тогда подполковникъ польскаго гренадерскаго полка Олендскій. Это былъ строгій, но добрый и честный человѣкъ и отличный служака. Несмотря на то, незадолго до возмущенія, независимо отъ подполковника Олендскаго, главнымъ начальникомъ этой школы былъ назначенъ польскій генералъ Трембицкій, извѣстный своею строгостію и превосходнымъ знаніемъ фронтовой службы. Этотъ усиленный надзоръ за пѣхотною школою произошелъ вслѣдствіе разныхъ зловѣщихъ слуховъ о заговорѣ, на слѣды котораго стали нападать, такъ что въ началѣ ноября было арестовано нѣсколько студентовъ и подпрапорщиковъ разныхъ пѣхотныхъ полковъ, а въ томъ числѣ одинъ изъ литовскаго полка, Лосевскій, уроженецъ варшавскій, имѣвшій множество знакомыхъ и пріятелей между польскими студентами. Начались допросы и слѣдствіе; но они ни къ чему не повели: время и событія шли несравненно скорѣе допросовъ и слѣдствія.

По прибытіи моемъ въ госпиталь, — это было въ субботу 15 ноября, — я нашелъ тамъ еще двоихъ больныхъ офицеровъ нашего полка, тоже прапорщиковъ, Плавскаго и Лыщинскаго (умершаго генераломъ лѣтъ 12 тому назадъ. Прим. 1881 г.), да нѣсколько кавалерійскихъ офицеровъ. Въ тотъ же вечеръ я отправился изъ госпиталя въ школу, навѣстить старыхъ товарищей, но засталъ тамъ очень немногихъ: по случаю субботы, бо́льшая часть ихъ была отпущена въ городъ, и потому я положилъ повторить мое посѣщеніе черезъ два дня, никакъ не думая, что это будетъ роковой день возстанія. Правда, всѣ чувствовали, что въ воздухѣ носится гроза, но никто не ожидалъ, что она такъ близка, такъ скоро разразится.

Теперь, прежде нежели приступать къ описанію событій, мною видѣнныхъ, нахожу необходимымъ войдти въ нѣкоторыя объясненія. Варшавскія школы подпрапорщиковъ, пѣхотная и кавалерійская, были организованы совершенно иначе, чѣмъ въ Петербургѣ. Подпрапорщики опредѣлялись не прямо въ школу, а въ полки, откуда, по прослуженіи уже нѣсколькихъ лѣтъ, отправлялись въ школу или по старшинству службы, или за хорошее поведеніе, или наконецъ по чьей нибудь протекціи. Для этихъ школъ не было опредѣленнаго комплекта: обыкновенно изъ каждаго полка посылались въ ту или другую школу отъ 25

до 30 человѣкъ, и поэтому въ каждой школѣ находилось отъ 280 до 350 подпрапорщиковъ или юнкеровъ.

Живя въ школѣ и состоя подъ начальствомъ командира школы, подпрапорщики и юнкера не переставали въ то же время зависѣть и отъ полковаго начальства, потому что обмундировку и аммуницію они получали изъ своихъ полковъ, куда, въ продолженіе года, являлись по нѣсколько разъ для пригонки аммуниціи, примѣриванія мундировъ и проч. А на лѣтнее время, какъ я уже сказалъ выше, подпрапорщики возвращались въ свои полки, съ которыми и стояли въ лагерѣ, завися на то время отъ одного полковаго начальства. Случалось, что, по выступленіи изъ лагеря, нѣкоторые изъ бывшихъ въ школѣ подпрапорщиковъ оставлялись въ полку, а на мѣсто ихъ посылались въ школу другіе. Но производство въ офицеры зависѣло единственно отъ начальника школы, гдѣ старшинство считалось не со дня опредѣленія въ полкъ, а со дня прибытія въ школу, и потому часто случалось, что младшіе по службѣ подпрапорщики и юнкера производились въ офицеры, а старшіе оставались въ нижнихъ чинахъ. Да и вообще положеніе подпрапорщиковъ было самое неутѣшительное. Во всѣхъ полкахъ насчитывалось множество сверхкомплектныхъ офицеровъ, и потому изъ школы ежегодно производилось въ офицеры не болѣе какъ по четыре человѣка въ каждый полкъ. Въ каждомъ изъ русскихъ гвардейскихъ полковъ находилось по сту человѣкъ подпрапорщиковъ, изъ которыхъ девять десятыхъ были Поляки. Когда же могли дождаться производства самые младшіе изъ этой массы подпрапорщиковъ? И потому многіе, прослуживъ отъ пяти до семи лѣтъ, не имѣли еще надежды на скорое производство. Другіе послѣ четырехъ или пяти лѣтъ службы выходили въ отставку съ тѣмъ же подпрапорщичьимъ званіемъ. Въ польскихъ же полкахъ нѣкоторые подпрапорщики были женаты, и многіе изъ нихъ прослужили уже по десяти и даже по пятнадцати лѣтъ, имѣли по одному и по два шеврона на рукавахъ и только послѣ всего этого попадали въ школу, гдѣ должны были прождать производства еще нѣсколько лѣтъ, такъ что дѣлались офицерами, имѣя уже сѣдые волосы. Однимъ словомъ, положеніе подпрапорщиковъ, и русскихъ и польскихъ полковъ, было почти безвыходное. И потому слухи о скоромъ походѣ жадно ловились ими и война весело имъ улыбалась: въ ней видѣли они самое счастливое событіе жизни подпрапорщичьей и юнкерской — возможность выйдти изъ заколдованнаго круга нескончаемой службы въ нижнемъ чинѣ. Для подпрапорщиковъ и юнкеровъ русскихъ полковъ мелькнула было однажды утѣшительная надежда *на производство*: это турецкая кампанія. Но насъ туда не потребовали.

Теперь скажу еще нѣсколько словъ объ одномъ изъ извѣстнѣйшихъ лицъ польскаго возмущенія — о Высоцкомъ, который, однакожъ, былъ не болѣе какъ слѣпое орудіе главныхъ начальниковъ заговора, скрывавшихся не только въ высшихъ слояхъ варшавскаго общества, но и между учеными и военными людьми.

Когда я прибылъ впервые въ школу подпрапорщиковъ, въ 1826 году, Высоцкій числился унтеръ-офицеромъ въ польскомъ гренадерскомъ полку и уже нѣсколько лѣтъ находился въ школѣ, гдѣ правилъ должность фельдфебеля гвардейскаго взвода. Въ слѣдующемъ, 1827 г., Высоцкій былъ произведенъ въ офицеры *) въ свой же полкъ, но оставленъ на службѣ при школѣ же. Въ то время Высоцкій былъ лѣтъ тридцати-четырехъ, безъ особаго образованія и даже слылъ за человѣка, не обладавшаго обширнымъ умомъ. Но онъ находился въ большой дружбѣ съ нѣкоторыми изъ своихъ бывшихъ товарищей, служившихъ еще подпрапорщиками, и въ особенности съ Добровольскимъ (1 линейнаго полка), Махнацкимъ и Каршницкимъ (сапернаго баталіона). Послѣдніе трое, воспитанники варшавскаго университета, окончившіе блистательно университетскій курсъ, были люди умные и даровитые. Своими разговорами и чтеніемъ они мало-по-малу образовали Высоцкаго, который былъ потомъ однимъ изъ лучшихъ офицеровъ въ школѣ, разумѣется съ точки зрѣнія подпрапорщиковъ, то-есть онъ не сдѣлался ни педантомъ, ни придирчивымъ, ни крикуномъ, и потому былъ любимъ всѣми школьными воспитанниками.

Итакъ, дружба и общеніе съ бывшими студентами приготовили Высоцкаго къ той роли, которую разыгралъ онъ впослѣдствіи. Бывало, какъ только онъ дежуритъ въ школѣ, Добровольскій, Махнацкій и Каршницкій проводятъ съ нимъ въ дежурной комнатѣ цѣлый день. Никому изъ насъ въ голову не приходило тогда, что бесѣды эти имѣли цѣлію заговоръ. Эти три, такъ сказать, воспитателя Высоцкаго были произведены въ офицеры въ одинъ со мною выпускъ, въ 1830 году.

II.

Наступилъ день 17 ноября. Послѣ обѣда я было собрался идти въ школу, какъ въ эту минуту приходитъ мой слуга и приноситъ мнѣ съ

*) Т. е. въ подпоручики. Въ польскихъ полкахъ не полагалось прапорщиковъ и первый офицерскій чинъ былъ подпоручичій.

квартиры скрипку и ноты. У насъ сейчасъ же составилось тріо: двѣ скрипки и гитара, и мы принялись наигрывать мазурки, вальсы и разные другіе танцы. Я отложилъ мое посѣщеніе школы до слѣдующаго дня. И хорошо сдѣлалъ: я попалъ бы въ самый разгаръ возстанія.

Былъ восьмой часъ вечера. Вдругъ кто-то изъ больныхъ входитъ въ комнату, гдѣ раздавалось наше тріо, и говоритъ громко: «господа! пожаръ! Шулецъ горитъ!»

Оставя музыку, мы опрометью бросились въ корридоръ, длинный, темный, и, пробѣжавъ его во всю длину, отворяли окно, выходившее къ Вислѣ, на берегу которой, прямо противъ госпиталя, было разбросано предмѣстье Варшавы, называвшееся Шулецомъ. Яркое пламя пожара озаряло всю окрестность. Горѣла какая-то пивоварня, умышленно подожженная. Въ то же время, точно такой же пожаръ начался и на другомъ концѣ Варшавы. Это были условные сигналы заговорщиковъ, по которымъ всѣ они уговорились спѣшить къ арсеналу, чтобы, овладѣвъ имъ, вооружить жителей Варшавы. Замыселъ этотъ удался вполнѣ, потому что волынскій полкъ не могъ оцѣпить арсеналъ: онъ былъ уже окруженъ 4-мъ линейнымъ полкомъ, приставшимъ къ возстанію, и разграбленъ. А въ немъ находилось оружія на 75 тысячъ человѣкъ.

Ничего не зная, мы стояли передъ отпрытымъ окномъ. Ночь была сырая, холодная и самая темная. Съ правой стороны, мимо госпиталя, стоявшаго на крутомъ возвышеніи, лежала дорога въ гору, изъ школы подпрапорщиковъ и изъ казармъ подольскаго кирасирскаго и уланскаго Цесаревича полковъ въ каштановую аллею, лежавшую противъ госпиталя и которая вела изъ города въ Бельведеръ и къ Мокотовской заставѣ. Вскорѣ по этой дорогѣ послышался конскій топотъ и стукъ палашей. Эскадронъ подольскаго кирасирскаго полка, подъ командою дежурнаго по полку ротмистра, скакалъ въ гору во весь духъ и на однѣхъ попонахъ, безъ сѣделъ. Мы разслышали голоса офицеровъ: «скорѣй, скорѣй, въ Бельведеръ!»

— Что бы это значило? спросилъ я.

— Вѣроятно, Великій Князь приказалъ сдѣлать тревогу, отвѣчалъ одинъ изъ моихъ товарищей.

При возвращеніи нашемъ въ палаты госпиталя, насъ встрѣтили страшныя слова: «бунтъ, бунтъ!» Слова эти были произнесены подпрапорщикомъ нашего полка Пуницкимъ, который только что явился изъ школы. Блѣдный, какъ смерть, онъ хромалъ, потому что выпрыгнулъ изъ окна втораго этажа и расшибъ себѣ ногу. Вотъ что сообщилъ онъ намъ:

«*Подпра*порщики польскаго гренадерскаго полка уходили на два дня

въ свой полкъ, для поправки аммуниціи. Сегодня возвратились они въ школу въ шесть часовъ по-полудни. Часовъ въ семь вечера, по обыкновенію, раздался барабанный бой, призывавшій въ классъ, гдѣ преподавалась теорія баталіоннаго и линейнаго ученій *). Вслѣдъ за барабаннымъ боемъ раздался въ корридорѣ шумъ и крикъ, и прежде нежели литовцы успѣли выйдти изъ своихъ комнатъ, вошелъ къ нимъ подпоручикъ Высоцкій, сопровождаемый Добровольскимъ, Махнацкимъ, Каршницкимъ и еще нѣкоторыми изъ подпрапорщиковъ польскихъ полковъ, и произнеся рѣчь, вышелъ съ своими спутниками, оставя литовцевъ въ большомъ смятеніи. Они было бросились внизъ, въ пирамидальную залу, гдѣ стояли ружья и висѣла аммуниція. Но ружей тамъ уже не было: ихъ похитили подпрапорщики польскихъ полковъ. Оставались одни тесаки съ портупеями, которыми вооружились они. Между тѣмъ, подпрапорщики польскихъ полковъ суетились, бѣгали по заламъ и корридорамъ, раздавали другъ другу боевые патроны и заряжали свои ружья, бросая очень недружелюбные взгляды на литовцевъ и волынцевъ, которые тоже были посѣщены Высоцкимъ и выслушали его воззваніе.

«Возвратясь въ свои комнаты, литовцы стали совѣтоваться между собою, что и какъ дѣлать. Въ эту минуту вбѣгаетъ къ нимъ одинъ изъ ихъ товарищей, Ивановъ, и говоритъ: «спасайтесь! Проходя сюда, между поляками я слышалъ, какъ они говорили: *надо сперва перерѣзать тѣхъ москалей (русскихъ), что на верху.* Оба выхода внизу караулятся поляками, и потому намъ осталось одно спасеніе—черезъ окно.»

Разумѣется, этотъ совѣтъ былъ принятъ, и Пужицкій первый ему послѣдовалъ. Такой неестественный путь облегчался тѣмъ, что, какъ я уже сказалъ, подъ однимъ изъ оконъ находилась кровля галереи, спустившись на которую, можно было безъ большой опасности достигнуть земли. За Пужицкимъ выпрыгнули остальные литовцы. Пользуясь темнотою ночи, они разсыпались въ разныя стороны и пристали къ русскимъ кавалерійскимъ полкамъ.

---

*) Слѣдуетъ замѣтить, что подпрапорщики жили въ школѣ по полкамъ, изъ которыхъ каждый имѣлъ свои отдѣльныя комнаты и своего полковаго фельдфебеля. Но въ классахъ и, потомъ, во фронтѣ на ученіяхъ всѣ полки уже перемѣшивались между собою и становились по ранжиру. Подпрапорщики литовскаго полка, находившіеся въ первомъ дивизіонѣ, помѣщались въ комнатахъ, обращенныхъ ко дворцу, изъ котораго шла крытая галлерея и примыкала къ стѣнѣ, подъ однимъ изъ оконъ комнатъ, занимаемыхъ нашимъ полкомъ. Подпрапорщики же волынскаго полка, находившіеся во второмъ дивизіонѣ, жили на противоположномъ концѣ зданія.

Едва Пужицкій окончилъ свой разсказъ, какъ раздались вблизи ружейные выстрѣлы, и вскорѣ послѣ того начали привозить въ госпиталь раненыхъ русскихъ, между которыми находились ротмистръ Подольскаго кирасирскаго полка Дерфельденъ и полковой адъютантъ уланскаго Цесаревича полка поручикъ Постольскій. Остальные раненые были бо́льшею частію нижніе чины уланскаго полка. Наконецъ, часовъ въ девять, прибылъ въ госпиталь посланный изъ Бельведера съ приказаніемъ—немедленно отправить туда доктора и двухъ фельдшеровъ со всѣмъ, что необходимо для перевязки раненыхъ. Это извѣстіе несказанно усилило тревогу находившихся въ госпиталѣ больныхъ русскихъ офицеровъ: мы начали сильно опасаться за Великаго Князя. Но для объясненія того, что случилось въ Бельведерѣ, слѣдуетъ прежде разсказать, что и какъ происходило въ школѣ, послѣ ухода оттуда Пужицкаго.

Литовскіе и волынскіе подпрапорщики, въ числѣ около пятидесяти человѣкъ, спаслись, кто черезъ окна, а бо́льшая часть черезъ выходы, и затѣмъ присоединились къ кавалерійскимъ полкамъ. Впрочемъ, справедливость требуетъ сказать, что опасность, угрожавшая имъ вначалѣ, скоро миновала, потому что Высоцкій удержалъ поляковъ отъ безполезнаго кровопролитія, сказавъ имъ, что не должно никого принуждать слѣдовать за ними, а тѣмъ болѣе не должно пятнать начало возстанія пролитіемъ крови небольшой горсти безоружныхъ. Итакъ, подпрапорщики польскихъ полковъ, въ числѣ трехсотъ человѣкъ, составлявшихъ, такъ сказать, самое ядро возстанія, раздѣлились на два неравные отряда. Одинъ отрядъ, числомъ въ шестьдесятъ человѣкъ, съ присоединившимися къ нему нѣсколькими отставными юнкерами и студентами, вооруженными кинжалами и пистолетами, отправился въ Бельведеръ, внутрь котораго ему легко было проникнуть, потому что дворцовый караулъ состоялъ обыкновенно изъ нѣсколькихъ человѣкъ инвалидной команды, вооруженныхъ одними тесаками.

Цесаревичъ отдыхалъ на диванѣ въ своемъ кабинетѣ. Въ девятомъ часу пріѣхалъ въ Бельведеръ вице-президентъ (оберъ-полиціймейстеръ) Варшавы, Любовицкій, и, разбудивъ Цесаревича, донесъ ему, что въ городѣ вспыхнуло возмущеніе и арсеналъ разграбленъ чернію *).

Въ это время небольшой отрядъ инсургентовъ изъ школы подпрапорщиковъ прибылъ въ Бельведеръ, убилъ стоявшихъ на часахъ у во-

*) По другимъ разсказамъ Любовицкій пріѣхалъ въ Бельведеръ ранѣе когда арсеналъ не былъ еще разграбленъ, и, стало быть, не могъ доносить *Цесаревичу* о томъ, чего еще не было (примѣчаніе 1881 года).

ротъ инвалидовъ, ворвался во дворецъ и принялся колоть попадавшихся ему навстрѣчу придворныхъ служителей. Идя изъ кабинета Великаго Князя въ переднюю, Любовицкій встрѣтился съ этою толпою, которая бросилась на него и положила его замертво, нанеся ему до пятнадцати ранъ. Впослѣдствіи, однакожъ, онъ вылечился отъ своихъ ранъ. Въ то же самое время, попался имъ генералъ Жандръ: его подняли на штыки.

Пока совершались эти убійства, камердинеръ Цесаревича, Фризе, вбѣгаетъ къ нему въ кабинетъ и говоритъ: «Ваше Высочество! бунтовщики уже во дворцѣ и убили Любовицкаго и генерала Жандра». Итакъ, грозная истина возстанія была засвидѣтельствована кровію, пролитою въ самомъ дворцѣ Цесаревича....

Въ эту минуту прибылъ въ Бельведеръ кирасирскій эскадронъ, который, какъ я сказалъ выше, проскакалъ мимо госпиталя, когда мы смотрѣли изъ окна на пожаръ. Великій Князь былъ внѣ опасности.

Пробравшіеся во дворецъ подпрапорщики, услышавъ конскій топотъ и стукъ палашей на дворцовомъ дворѣ, немедленно выбѣжали изъ комнатъ дворца и, пользуясь темнотою ночи, ускользнули изъ рукъ кавалеристовъ и отправились въ Варшаву. Такимъ образомъ, главная опасность во дворцѣ была устранена, благодаря находчивости и быстротѣ распоряженій кирасирскаго ротмистра, который, безъ малѣйшаго съ чьей бы то ни было стороны приказанія, не потерялъ ни минуты времени на сѣдланіе лошадей и поспѣлъ во-время. Тотчасъ по прибытіи кирасиръ, осѣдлали одну изъ придворныхъ лошадей. Великій Князь сѣлъ на нее и соединился на полѣ за Мокотовскою заставою съ гвардейскою кавалеріею.

Возвратимся теперь къ главному отряду школы подпрапорщиковъ. Предводимый Высоцкимъ, этотъ отрядъ пошелъ сперва въ казармы уланскаго полка, находившіяся вблизи отъ зданія школы. Поляки открыли ружейный огонь въ конюшняхъ по лошадямъ и потомъ по уланамъ, выбѣгавшимъ въ смятеніи изъ казармъ: много жертвъ пало отъ губительныхъ выстрѣловъ почти въ упоръ. Страшная темнота ночи увеличивала ужасъ этой кровавой картины. Убійственный огонь не помѣшалъ, однакожъ, уланамъ осѣдлать своихъ лошадей.

Наконецъ отрядъ польскихъ подпрапорщиковъ разсудилъ удалиться изъ казармъ, чтобы не быть отрѣзаннымъ отъ города превосходными силами цѣлаго полка, который, несмотря на мѣткіе выстрѣлы, готовился къ отпору.

Итакъ, бросивъ уланъ, поляки поспѣшно отправились въ городъ. Небольшая часть ихъ отдѣлилась отъ главнаго отряда и засѣла въ недостроенныя казармы, находившіяся возлѣ Уяздовскаго госпиталя и назначавшіяся для пѣхотной школы подпрапорщиковъ. Изъ оконъ этого пустаго зданія они принялись стрѣлять по русскимъ кавалеристамъ, которымъ приходилось проѣзжать мимо. И здѣсь пало много жертвъ этой засады.

Затѣмъ остальной отрядъ школы добрался до главной улицы, называвшейся Новымъ Свѣтомъ. Тутъ попался имъ навстрѣчу генералъ Трембицкій, старшій начальникъ школы. Онъ ѣхалъ верхомъ. Узнавъ подпрапорщиковъ, Трембицкій остановился и громко закричалъ:

— Стой! Что это значитъ? Куда и зачѣмъ вы идете? Кто вами командуетъ?

Но въ ту же минуту подпрапорщики окружили его, стащили съ лошади, подхватили подъ руки и повели съ собою, говоря:

— Генералъ! соединяйтесь съ нами, командуйте нами и ведите на защиту нашего дѣла.

— Что вы дѣлаете, господа! отвѣчалъ смѣло Трембицкій. Опомнитесь, подумайте о присягѣ на вѣрность Императору, которую дали вы добровольно, и возвратитесь къ исполненію своего священнаго долга.

— Мы хорошо знаемъ, въ чемъ состоитъ теперь нашъ долгъ, и напоминаемъ его вамъ, генералъ! Идите съ нами, или смерть вамъ!

— Сто смертей прежде, чѣмъ я нарушу присягу, данную мною Императору, сказалъ неустрашимый генералъ.

Въ эту минуту одинъ изъ подпрапорщиковъ 4-го линейнаго полка подошелъ къ Трембицкому, поднялъ свое ружье кверху прикладомъ и уставилъ штыкъ въ грудь безстрашнаго генерала.

Забылъ я фамилію этого подпрапорщика, но до сихъ поръ хорошо помню его лицо, необыкновенно блѣдное, всегда задумчивое, съ вѣчно-болѣющими, красными и словно заплаканными глазами.

— Генералъ! грозно сказалъ онъ Трембицкому: — въ послѣдній разъ говорятъ вамъ: командуйте нами, или умрете немедленно.

— Пусть умру, но не измѣню присягѣ.

И штыкъ прокололъ насквозь грудь неустрашимаго поборника долга и присяги. Онъ упалъ замертво, получивъ еще нѣсколько ранъ штыкомъ.

Вся эта страшная сцена была разсказана мнѣ потомъ въ Варшавѣ, *однимъ* изъ ея свидѣтелей.

Въ сильнѣйшей и безпрерывной тревогѣ провели мы въ госпиталѣ эту ужасную ночь. Сверхъ поименованныхъ мною выше лицъ, были еще убиты: военный министръ графъ Гауке, начальникъ всей польской пѣхоты, графъ Станиславъ Потоцкій, генералъ-маіоры: Блюмеръ, Сементковскій, Новицкій, и полковники: Зассъ и Мециковскій. Кромѣ арсенала, поляки овладѣли и пороховыми магазинами.

18 МАР 86

III.

Въ продолженіе всей ночи мы не ложились спать и только передъ утромъ уснули немного, и то не раздѣваясь. На разсвѣтѣ мы были снова на ногахъ. Время отъ времени слышались выстрѣлы, и, подобно отдаленному грому, долеталъ до насъ глухой гулъ изъ города, гдѣ бушевали народныя волны.

Когда разсвѣло, мы увидѣли, что въ аллеѣ противъ госпиталя расположены на бивуакахъ войска: это были нѣсколько ротъ польскихъ пѣшихъ егерей; они оказались потомъ на сторонѣ Великаго Князя. Затѣмъ мы узнали, что Цесаревичъ находился на Мокотовскомъ полѣ съ гвардейскою кавалерійскою дивизіею. Эта дивизія состояла изъ трехъ русскихъ полковъ, а именно: Подольскаго кирасирскаго, уланскаго Цесаревича и Гродненскаго гусарскаго и изъ Польскаго конно-егерскаго полка, оставшагося на сторонѣ русскихъ. Полкъ этотъ ходилъ нѣсколько разъ въ атаку на инсургентовъ, пытавшихся склонить его на свою сторону. О судьбѣ литовскаго и волынскаго полковъ, находившихся на противоположномъ концѣ Варшавы, ничего не было извѣстно.

Къ обѣду пришли къ намъ изъ города нѣсколько деньщиковъ; по дорогѣ въ госпиталь, чернь вооружила ихъ саблями и пистолетами. Это было единственное для нихъ средство добраться до насъ живыми и цѣлыми. Точно также вооружены были всѣ варшавскіе жители. Даже мальчишки гордо расхаживали по улицамъ, имѣя за поясомъ пару пистолетовъ, а въ рукахъ сабли, которыми размахивали они по воздуху, горлая: «смерть москалямъ!»

Узнали мы еще, что чернь разграбила нѣсколько лавокъ и шинковъ, изъ которыхъ выкатывала бочки съ водкою и напивалась до мертва. Наконецъ была разграблена и русская провіантская коммисія, при чемъ расхищено нѣсколько милліоновъ звонкою монетою и русскими ассигнаціями. При этомъ происходили самыя буйныя сцены: чернь бросалась сперва на мѣшки съ серебряными рублями, дралась за нихъ между со-

бою, разрывала эти мѣшки и потомъ, когда рубли разсыпались на тротуаръ, всѣ жадно хватали пригоршнями монету, получая и давая другимъ удары кулакомъ или саблею за каждую горсть рублей. Много было тутъ разбитыхъ и разрубленныхъ губъ, носовъ, ушей и проч.

Всѣ эти сцены описывалъ мнѣ потомъ одинъ очевидецъ, котораго народный потокъ увлекъ въ эту сторону и которому кто-то закричалъ: «Эй! товарищъ! держи свою шапку!» И въ ту же минуту фуражка его была наполнена рублями. Какъ видно, между чернью находились и щедрые на дѣлежъ. Ассигнаціи были разбросаны пачками въ пять, десять и болѣе тысячъ рублей. На нихъ было менѣе охотниковъ, потому что онѣ не принимались ни въ лавкахъ, ни въ трактирахъ и нигдѣ; ихъ можно было размѣнять на звонкую монету только у однихъ банкировъ. Разумѣется, когда расхитили всю звонкую монету, принялись и за ассигнаціи, такъ что многіе возвращались, имѣя подъ мышкою тысячъ по двадцати и болѣе. Впослѣдствіи, когда русскія войска вышли изъ Варшавы, временное революціонное правленіе приказало отыскивать похитителей этихъ ассигнацій и отбирать ихъ. Полиція слѣдила за шинками, трактирами и мелочными лавочками. Какъ только кто нибудь предлагалъ тамъ въ уплату русскую ассигнацію, его брали подъ арестъ и немедленно обыскивали его жилище. Такимъ образомъ, удалось найти и отобрать нѣсколько сотъ тысячъ рублей. Но очень многіе припрятали огромные куши и ускользнули отъ поисковъ полиціи. Вскорѣ потомъ дошли до насъ слухи (къ счастію, оказавшіеся ложными), что литовскій полкъ, бывъ атакованъ превосходными силами и, послѣ кровопролитнаго сопротивленія, потерялъ до пятисотъ убитыми и сдался военнопленнымъ.

Послѣ обѣда любопытство заставило насъ выйти за ворота госпиталя. Мы стали около рѣшетки и, были свидѣтелями слѣдующихъ сценъ:

Передъ госпиталемъ лежала квадратная площадь, на которой обыкновенно происходили ученья пѣхотной школы подпрапорщиковъ и русской кавалеріи. Съ одной стороны площадь эта оканчивалась каштановою аллеею; съ другой шла дорога изъ Лазенокъ въ аллею. Госпиталь стоялъ въ лѣвомъ углу этой площади, противъ аллеи, а въ правомъ углу, на одной линіи съ госпиталемъ, находилась знаменитая въ Варшавѣ «Вейска кава» (деревенская кофейня). Между госпиталемъ и кофейнею стояли недостроенныя казармы, изъ которыхъ, какъ я уже сказалъ, отрядъ подпрапорщиковъ стрѣлялъ ночью по русскимъ кавалеристамъ.

Вся эта площадь, съ недостроенными казармами, госпиталемъ и *аллеею*, находилась въ раіонѣ, бывшемъ на сторонѣ Цесаревича. Но

«Вейска кава» лежала уже въ районѣ инсургентовъ. Отъ этой кофейни шла въ городъ пустынная, незастроенная Вейская улица и сходилась съ аллеею у церкви св. Александра, куда пѣхотная школа подпрапорщиковъ ходила по праздникамъ въ церковный парадъ. А отъ этой церкви шла главная улица, Новый Свѣтъ, оканчивающаяся далѣе Краковскимъ предмѣстьемъ и продолжавшаяся, подъ различными названіями, до самыхъ александровскихъ казармъ, въ которыхъ стояли литовскій и польскій гренадерскій полки.

Въ полдень помѣстился въ недостроенныхъ казармахъ небольшой отрядъ польскаго гарнизоннаго баталіона (Czynne Weterany), подъ командою гарнизоннаго поручика. Отрядъ этотъ былъ на сторонѣ русскихъ.

Съ самаго утра 18 ноября «Вейска кава» наполнилась поляками, прибывшими изъ Варшавы и предававшимися буйному веселью. Шумъ, крикъ, пистолетные выстрѣлы, революціонныя пѣсни, угрозы, ругательства раздавались безъ умолку. Многіе изъ этой буйной толпы, подъ вліяніемъ пунша столько же, какъ и боевой отваги, выходили на площадь, размахивали саблями, стрѣляли изъ пистолетовъ и посылали брань и проклятія въ аллею, гдѣ расположены были егеря отряда Цесаревича. А когда крикуны слишкомъ отдалялись отъ «Вейской кавы», гарнизонный поручикъ, съ быстротою мысли, выбѣгалъ изъ засады, въ сопровожденіи нѣсколькихъ изъ своихъ солдатъ, ловилъ революціонеровъ и сейчасъ же отправлялъ подъ конвоемъ въ Бельведеръ, гдѣ сажали ихъ подъ арестъ въ дворцовый подвалъ. Такимъ образомъ, въ нѣсколько часовъ, переловилъ онъ болѣе ста человѣкъ и возбудилъ страшную ярость въ пировавшихъ въ кофейнѣ полякахъ.

Мы внимательно смотрѣли на эту особеннаго рода ловлю. Случилось наконецъ, что самъ поручикъ, вмѣсто того, чтобы прохаживаться только передъ казармами, пошелъ, задумавшись, въ одну сторону по направленію къ аллеѣ. Въ разсѣянности онъ не замѣтилъ, что уже удалился отъ своего поста шаговъ на двѣсти. Вдругъ въ это время выскакиваетъ изъ-за угла Вейской улицы какой-то панъ, на сѣромъ конѣ, въ кунтушѣ, весьма тучный и съ поднятою саблею. Во весь духъ устремился онъ на поручика, съ явнымъ намѣреніемъ изрубить его. За нимъ скакалъ на вороной лошади молодой полякъ, и тоже съ поднятою саблею. Поручикъ очнулся отъ своей разсѣянности и, видя опасность, повернулся и пустился бѣжать со всѣхъ ногъ къ казармамъ. Но толстый полякъ нагонялъ его и былъ уже отъ него шагахъ въ десяти. Съ замираніемъ сердца смотрѣли мы на эту гоньбу и ждали кровавой развязки.

9*

Въ эту минуту въ аллеѣ что-то зашевелилось. Смотримъ: одинъ изъ егерей кладетъ свое ружье на сучокъ каштановаго дерева и прицѣливается въ толстаго поляка. Раздался выстрѣлъ и, несмотря на большое разстояніе (было болѣе 300 шаговъ), толстый панъ свалился съ лошади; молодой полякъ, его спутникъ, повернулъ назадъ и поскакалъ безъ оглядки обратно къ Вейской кавѣ, а гарнизонный поручикъ, поймавъ лошадь убитаго пана, сѣлъ на нее и съ торжествомъ возвратился къ своему посту. Но поручикъ дорого заплатилъ за свое торжество, какъ мы увидимъ это впослѣдствіи.

Итакъ, второй день возстанія окончился для насъ довольно спокойно. Но къ вечеру разнеслись слухи, что инсургенты замышляютъ сдѣлать ночью всеобщее нападеніе, чтобы завладѣть райономъ, въ которомъ находился госпиталь. Поэтому провели мы очень тревожную ночь и спали опять не раздѣваясь, чтобы быть готовыми на всякій случай. Насъ безпрестанно будили крикомъ: «Поляки идутъ»! Но всѣ эти слухи оказались ложными и никакого нападенія не было.

IV.

Утромъ 19-го, въ среду, получили мы наконецъ вѣрныя свѣдѣнія о русской гвардейской пѣхотѣ: литовскій и волынскій полки, при первомъ извѣстіи о возстаніи, вышли въ ружье и отправились на военное поле, гдѣ простояли на бивуакахъ цѣлыя сутки, а потомъ, получивъ приказаніе отъ Цесаревича, отправились 18-го, вечеромъ, позади городскаго вала вокругъ Варшавы и соединились съ кавалеріею на Мокотовскомъ полѣ.

Хотя я былъ серьезно болѣнъ, но не хотѣлъ долѣе оставаться въ госпиталѣ и горѣлъ желаніемъ соединиться съ своимъ полкомъ и раздѣлять съ нимъ все, что ни пошлетъ ему судьба войны и дальнѣйшія событія въ Варшавѣ. Плавскій и Лыщинскій вполнѣ раздѣляли мое мнѣніе. Около полудня собрались мы втроемъ, надѣли шинели въ рукава, взяли съ собою въ запасъ нѣсколько госпитальныхъ бѣлыхъ хлѣбовъ и отправились къ Мокотовской заставѣ. По дорогѣ встрѣчали мы разныя войска, стоявшія на бивуакахъ, а между прочими и полкъ польскихъ конныхъ егерей. Такъ какъ у насъ не было никакого оружія, то конные егеря дали каждому изъ насъ по саблѣ. За заставою, на Мокотовскомъ полѣ, расположены были бивуаками всѣ полки русской гвардіи: сперва *кавалерія*, а потомъ пѣхота. Съ величайшимъ нетерпѣніемъ отыскивали

мы бивуаки нашего полка, гдѣ были приняты товарищами съ распростертыми объятіями. Полкомъ командовалъ старшій полковникъ Граббе*), потому что полковой командиръ, генералъ-маіоръ Энгельманъ, въ первый же день возстанія, былъ взятъ поляками въ плѣнъ и содержался въ королевскомъ замкѣ. Командиръ волынскаго полка, генералъ-маіоръ Исаковъ, а равно и начальникъ нашей гвардейской дивизіи, генералъ-лейтенантъ Рихтеръ, тоже были въ плѣну.

Положеніе нашихъ полковъ на бивуакахъ было весьма незавидное. Всѣ терпѣли страшную нужду: и голодъ, и холодъ. Застигнутые врасплохъ, ни солдаты, ни даже офицеры не имѣли времени взять съ собою что либо въ запасъ. Время стояло холодное: морозъ доходилъ до четырехъ градусовъ; на бивуакахъ нуждались даже въ соломѣ, и всѣ сидѣли или лежали на голой землѣ. Хлѣба не было ни куска: питались однимъ печенымъ картофелемъ, гдѣ-то съ трудомъ отысканнымъ.

Когда мы пришли въ полкъ, то нашли офицеровъ сидящими по турецки, поджавши ноги, на мерзлой землѣ, вокругъ небольшаго огня, на углѣхъ котораго пекся картофель. Мы предложили товарищамъ взятый съ нами запасъ бѣлаго хлѣба, чему всѣ они очень обрадовались: это было для нихъ лакомствомъ. Наконецъ, къ вечеру, возвратилась команда съ фуражировки и привела съ собою нѣсколько коровъ, которыя тутъ же были застрѣлены и намъ скоро сварили въ котлѣ похлебку; мы нашли ее чрезвычайно вкусною.

Настала ночь. У меня не было ничего теплаго—одна холодная, безъ ваты, шинель; галошъ не было. Больной, подъ открытымъ небомъ, при пяти градусахъ мороза и на голой, мерзлой землѣ, имѣя только подъ головою солдатскій ранецъ, провелъ я эту мучительную ночь. Къ утру я весь окоченѣлъ отъ холода. Меня послали съ командою на фуражировку за соломою. Я этому очень обрадовался и ходьбою согрѣлъ свои окоченѣвшіе члены. Я обошелъ съ командою нѣсколько загородныхъ домовъ и, набравъ огромныя связки соломы, возвратился на бивуаки, гдѣ къ вечеру устроилось нѣсколько шалашей.

Между тѣмъ, всѣ мы были въ полномъ невѣдѣніи насчетъ того, что и какъ будетъ предпринято въ отношеніи варшавскаго возстанія. Положеніе наше часъ отъ часу становилось несноснѣе, опаснѣе. На продолжительную вѣрность польскихъ войскъ нельзя было разсчитывать.

---

*) Нынѣ генералъ-лейтенантъ и окружный начальникъ корпуса внутренней стражи. (Давно уже умершій. Примѣч. 1881 года).

Эта кажующаяся вѣрность соблюдалась только, какъ условный нейтралитетъ, до поры до времени. Польскія войска *не были противъ насъ*, но едва ли *пошли бы и за насъ и противъ Варшавы*, еслибы получили такое приказаніе. Мы всетаки съ часу на часъ ожидали повелѣнія идти на Варшаву.

Вторую ночь на бивуакахъ провелъ я не такъ мучительно, какъ первую. Я спалъ уже не на голой землѣ, а на соломѣ, въ шалашѣ, вмѣстѣ къ полковникомъ Граббе и еще двумя офицерами. Крѣпко прижались мы другъ къ другу и менѣе страдали отъ холода.

Послѣ двухъ сутокъ, преведенныхъ мною на морозѣ и безъ лекарства, болѣзнь моя чрезвычайно усилилась: я едва ходилъ. Поэтому полковники Граббе и Жеребцовъ *) стали уговаривать меня возвратиться въ госпиталь съ тѣмъ, что если бы наши войска пошли на Варшаву, то дорога лежитъ мимо госпиталя и я всегда буду имѣть возможность присоединиться къ своему полку.

Не лишенія и неудобства бивуачной жизни, а страданія отъ болѣзни, не облегчаемой ни малѣйшимъ медицинскимъ пособіемъ, заставили меня согласиться съ доводами моихъ начальниковъ, которые искренно любили меня и желали мнѣ добра. Съ невыразимою грустію въ сердцѣ простился я съ ними и со всѣми прочими товарищами и, одинокій, унылый, побрелъ въ госпиталь, казавшійся мнѣ темницею. Это было около полудня.

Вскорѣ послѣ моего прихода я увидѣлъ, что стоявшіе въ аллеѣ егеря пришли въ движеніе, стали во фронтъ и закричали «ура!» Какіе-то господа проѣзжали мимо ихъ верхомъ изъ города къ заставѣ. Часа черезъ полтора егеря снова закричали «ура»! и при этомъ стали вырывать изъ своихъ киверовъ помпоны, бросать ихъ на землю, а вмѣсто помпоновъ затыкать въ кивера каштановыя вѣтки. Я не понималъ, что это значило, но вскорѣ узналъ разгадку этой манифестаціи: мимо егерей проѣзжала депутація отъ временнаго правленія, образовавшагося въ Варшавѣ. Депутація ѣздила къ Цесаревичу для переговоровъ, вслѣдствіе которыхъ Великій Князь съ русскими войсками отступилъ отъ города, написавши письмо къ временному правительству и поручая ему всѣхъ русскихъ офицеровъ, чиновниковъ и ихъ семейства, которыя остались въ Варшавѣ.

Какъ громомъ поразило меня это извѣстіе: я сдѣлался военнопленнымъ. Горе мое было невыразимо. Въ первую минуту я хотѣлъ снова

*) Нынѣ генералъ-лейтенантъ и сенаторъ въ Москвѣ. (Давно уже умершій. *Примѣч.* 1881 г.)

и сейчасъ же оставить госпиталь и, собравъ послѣднія силы, спѣшить догонять полкъ, удалявшійся по дорогѣ къ мѣстечку Гура-Кальварія, Но — увы! — это оказалось неудобоисполнимымъ: сверхъ болѣзни было и другое важное препятствіе! всѣ заставы были заняты народною гвардіею, которая ни одного русскаго не пропускала за городъ, а мой военный костюмъ сейчасъ бы выдалъ меня. Говорили даже, что будто бы одинъ изъ русскихъ былъ схваченъ на одной изъ заставъ и повѣшенъ чернію, какъ шпіонъ.

Волею-неволею, а надо было покориться своей участи, и я остался въ Варшавѣ, вмѣстѣ со многими другими русскими офицерами, которые также, какъ и я, были больны и находились въ госпиталѣ. Но гораздо бо́льшее число ихъ были взяты въ плѣнъ въ первый день возмущенія и содержались въ замкѣ. Гражданскіе же русскіе чиновники оставлены были въ своихъ квартирахъ и пользовались полною свободою.

Съ учрежденіемъ временнаго правленія, варшавское возстаніе организовалось. Между членами высшаго правительственнаго совѣта находился извѣстный историкъ Іоахимъ Лелевель, бывшій передъ тѣмъ библіотекаремъ общества «Любителей наукъ».

Въ первые же дни возстанія, исполнительная власть ввѣрена была диктатору, которымъ избрали Хлопицкаго, генерала наполеоновской эпохи. Хлопицкій особенно отличился въ испанской войнѣ, гдѣ, командуя польскимъ батальономъ, первый бросился въ брешь при взятіи Сарагоссы, ворвался въ городъ и тамъ, подъ градомъ пуль, бралъ приступомъ каждый домъ. Впослѣдствіи, послѣ прибытія Цесаревича въ Варшаву, онъ командовалъ пѣхотною дивизіею польскихъ войскъ, былъ однимъ изъ лучшихъ польскихъ генераловъ и пользовался всеобщею любовію и уваженіемъ. Еще задолго до возмущенія, Хлопицкій оставилъ военную службу и, вотъ по какому поводу, жилъ въ Варшавѣ частнымъ человѣкомъ, довольствуясь своимъ пенсіономъ. Но такая личность не могла долго скрываться въ тѣни и забвеніи, и неожиданныя событія снова вызвали Хлопицкаго на сцену военной и политической дѣятельности.

Доскажу теперь исторію о гарнизонномъ поручикѣ, который охотился за революціонерами во второй день возстанія.

Какъ только въ Варшавѣ узнали объ отступленіи русскихъ войскъ, чернь вспомнила объ этомъ поручикѣ и бросилась отыскивать его. Но Хлопицкій, предвидѣвши месть, послалъ своего адъютанта съ конвоемъ и приказаніемъ привести гарнизоннаго поручика, защищая его дорогою, отъ всякихъ нападеній. Это и было въ точности исполнено. Чернь собралась, между тѣмъ у жилища диктатора и громко требовала выдачи

ей «изменника». Хлопицкій подошелъ къ окну и уговорилъ народъ разойтись, сказавши, что виновный будетъ наказанъ, но что не должно пятнать насиліемъ недавнюю свободу и марать свои руки кровію «дурня». Народъ успокоился и разошелся, а Хлопицкій, давъ наставленіе гарнизонному поручику и продержавъ его у себя въ домѣ до вечера, отпустилъ домой съ миромъ.

Господинъ этотъ впослѣдствіи опился и умеръ отъ апоплексическаго удара.

V.

Прошло болѣе мѣсяца со дня отступленія русскихъ изъ-подъ Варшавы. Я никуда не выходилъ изъ госпиталя. Здоровье мое начало поправляться. Однообразно и уныло тянулось время. Мучительная неизвѣстность тяготѣла надъ моимъ будущимъ. Сообщенія съ Россіею были прерваны, и я не получалъ ни малѣйшаго извѣстія ни отъ полковыхъ товарищей, ни отъ родныхъ.

Мнѣ очень хотѣлось побывать въ Варшавѣ и посмотрѣть, что тамъ дѣлается; но меня удерживалъ костюмъ: партикулярнаго платья у меня не было, выходить же въ военномъ было дѣломъ рискованнымъ. Но кто-то успокоилъ меня словами, что никто не обратитъ ни малѣйшаго вниманія на мой костюмъ. Наконецъ я рѣшился и, въ одно утро, надѣвши шинель и фуражку, вышелъ изъ госпиталя и отправился черезъ Вейскую улицу въ городъ. Пока я шелъ по этой малопроѣзжей улицѣ, все было хорошо. Но когда достигнулъ я церкви св. Александра и пошелъ по Новому Свѣту, то началъ обращать на себя вниманіе прохожихъ и проѣзжихъ. Сначала бросали на меня косые взгляды; потомъ стали останавливаться, показывать пальцами, говоря: «москаль! какая дерзость!» И такимъ образомъ, сквозь строй враждебныхъ взглядовъ и восклицаній, пробрался я бѣглымъ шагомъ на Францишканскую улицу, гдѣ были жидовскія лавки. Я поспѣшно вошелъ въ одну изъ нихъ и велѣлъ еврею-портному спороть форменныя пуговицы съ моей шинели, потомъ обшить у нея желтый воротникъ *) сѣрымъ сукномъ, подъ цвѣтъ шинели, которая изъ военной сдѣлалась статскою. Точно такіе велѣлъ я обшить желтый околышъ фуражки чернымъ сукномъ. Затѣмъ, отложивъ воротникъ у сюртука и надѣвши на себя шинель, у которой

*) Воротники и отвороты у Литовскаго полка были тогда желтые. Только послѣ взятія Варшавы желтый цвѣтъ перемѣнили на красный. (А въ настоящее *время лит.* полкъ снова имѣетъ желтые воротники. Примѣч. 1881 г.)

застегнулъ воротникъ на крючекъ, я вполнѣ преобразовался въ статскаго. Послѣ этой метаморфозы и хорошо владѣя польскимъ языкомъ, я могъ уже безопасно расхаживать по улицамъ Варшавы и даже посѣщать рестораны и кофейные дома, тѣмъ болѣе, что въ Варшавѣ допускалось оставаться въ публичныхъ заведеніяхъ въ верхнемъ платьѣ и даже обѣдать, не снимая его. И чего я тамъ не наслушался, на что не насмотрѣлся!...

Но какую перемѣну нашелъ я въ физіономіи города! Не осталось и тѣни прежней строгости въ отношеніи военной формы и выправки: нижніе чины расхаживали съ разстегнутыми воротниками, съ длинными волосами, въ перчаткахъ (вмѣсто рукавичекъ), съ тесаками на боку; многіе изъ нихъ разъѣзжали въ извощичьихъ колясках, съ трубками или сигарами во рту. Все это было верхомъ безпорядковъ въ глазахъ нѣкоторыхъ консерваторовъ и ригористовъ. Прибавьте къ этому невообразимую пестроту костюмовъ самыхъ фантастическихъ фасоновъ. Безпрестанно кто нибудь изъ молодежи заявлялъ желаніе формировать полкъ, баталіонъ, эскадронъ или хотя взводъ какого-то войска, и сейчасъ же сочинялъ новую форму, не похожую на другія. Такое формированіе ограничивалось, по большей части, собственною особою формирователя да его фантастическимъ мундиромъ.

По временамъ доходили до насъ самые тревожные слухи на счетъ нашей участи: будто бы чернь хотѣла напасть на мѣста, гдѣ содержались русскіе плѣнные, и предать ихъ смерти. Часто случалось, что кто нибудь изъ нашихъ товарищей по госпиталю, возвращаясь изъ города, сообщалъ намъ новость, что въ слѣдующую ночь «будутъ вѣшать жидовъ да русскихъ».

Однажды подобный слухъ едва не сдѣлался фактомъ, и я самъ былъ тому свидѣтелемъ и вкусилъ сладость очень сильныхъ ощущеній. Я отправился за чѣмъ-то изъ госпиталя въ городъ. Болѣе половины города прошелъ я и достигъ улицы Фрейты, какъ вдругъ проявляется смятеніе и страхъ между прохожими и со всѣхъ сторонъ раздаются крики: «запирать лавки! къ оружію!».

Не зная причины и не дожидаясь развязки этой внезапной суматохи, я взялъ извощика и велѣлъ какъ можно скорѣе ѣхать въ госпиталь. Но едва довезъ онъ меня до Стараго города (Stare Mjasto), какъ остановился и не хотѣлъ ѣхать далѣе, говоря, что принадлежитъ къ народной гвардіи и, слѣдуя примѣру всѣхъ жителей, долженъ спѣшить къ оружію. Иду пѣшкомъ и достигаю площади Краковскаго предмѣстья. Тутъ представился передо мною одинъ изъ ужасныхъ революціонныхъ эпизо-

довъ: многочисленная толпа старалась влониться въ ворота замка, гдѣ содержались русскіе плѣнные, и неистово кричала: «смерть измѣнникамъ, смерть шпіонамъ, смерть русскимъ!»

Тщательно завернулся я въ мою шинель, чтобы не видно было моего форменнаго сюртука, могшаго выдать меня: одно только сукно шинели отдѣляло меня отъ грозной опасности, защищало отъ неистовства разсвирѣпѣвшей черни. По счастію, попался мнѣ извощикъ, согласившійся везти меня, и я благополучно возвратился въ госпиталь, гдѣ сообщилъ страшную сцену, видѣнную мною въ городѣ. Мы съ ужасомъ ждали извѣстія о развязкѣ. Но Хлопицкій спасъ безоруженныхъ плѣнниковъ. Онъ принялъ всѣ мѣры противъ кровавыхъ замысловъ черни, возбужденной варшавскими демагогами: въ замкѣ поставили караулъ, всѣ ворота заперли и завалили бревнами и каменьями, такъ что всѣ усилія буйной толпы ворваться въ замокъ остались тщетными. Русскіе плѣнные были спасены.

Въ Варшавѣ образовались тогда двѣ главныя партіи. Одна умѣренная, которая, сознавая слабость Польши, желала мирнаго исхода возстанія и предлагала открыть переговоры съ петербургскимъ кабинетомъ, чтобы покориться Императору на почетныхъ условіяхъ. Диктаторъ былъ въ главѣ этой партіи. Другая, предводимая Лелевелемъ, желала борьбы и войны до послѣдней крайности. Эта крайняя партія усвоила всѣ преданія первой французской революціи и была сколкомъ корпораціи якобинцевъ: имѣла свой клубъ, называвшійся патріотическимъ, издавала свой органъ, подъ названіемъ «Новая Польша»; и то и другое было подражаніемъ парижскому якобинскому клубу и журналу «L'Ami du peuple». Впослѣдствіи этой партіи удалось однажды приложить къ дѣлу свои кровавыя теоріи. Это случилось не задолго до взятія Варшавы. Между множествомъ жертвъ неистовой черни, предводительствуемой членами патріотическаго клуба, находились: г-жа Баженова, камергеръ Феншъ и польскій генералъ Янковскій, замѣчательный своею чрезмѣрною тучностію. Его буквально изрубили въ куски, которые чернь носила потомъ по Варшавѣ, крича: «котлеты изъ генерала Янковскаго».

Хлопицкій, между тѣмъ, нашелъ справедливымъ возвратить свободу всѣмъ русскимъ, задержаннымъ въ Варшавѣ болѣзнію или силою въ первые дни возмущенія. Онъ началъ съ гражданскихъ чиновниковъ, которымъ и приказалъ выдать паспорты на проѣздъ въ Россію. Они поспѣшили этимъ воспользоваться и оставили Варшаву. Съ завистью смотрѣли мы на ихъ отъѣздъ. Наконецъ и насъ обнадежили въ скорой *выдачѣ намъ* паспортовъ, тѣмъ болѣе, что диктаторъ, посѣтивъ однажды

госпиталь, обошелъ всѣ палаты, былъ въ русскомъ офицерскомъ отдѣленіи и каждаго изъ насъ привѣтливо спрашивалъ, не нуждаемся ли мы въ чемъ нибудь, говорилъ, что мы всегда можемъ обращаться прямо къ нему съ нашими просьбами и что онъ сдѣлаетъ все зависящее отъ него, чтобы смягчить нашу участь.

Но недолго утѣшали мы себя надеждою на освобожденіе: крайняя партія взяла перевѣсъ, и Хлопицкій не въ силахъ былъ бороться долѣе съ бурнымъ потокомъ революціонныхъ страстей. Дѣйствовать противъ своихъ убѣжденій Хлопицкій не хотѣлъ, и потому въ январѣ 1831 года онъ сложилъ съ себя диктаторскую власть и возвратился въ ряды обыкновенныхъ гражданъ, испытавъ на себѣ ту истину, что нѣтъ ничего столь непрочнаго, какъ популярность. На бывшаго диктатора посыпались насмѣшки, памфлеты и горькіе упреки.

Тотчасъ же по удаленіи Хлопицкаго прекратилась выдача русскимъ паспортовъ; они отбирались и у тѣхъ, которые, получа уже ихъ, не успѣли еще выѣхать изъ Варшавы. Итакъ, исчезла послѣдняя надежда на освобожденіе, и продолжительный плѣнъ сталъ нашимъ удѣломъ.

Бурная политика окончательно восторжествовала на сеймѣ, и все въ Варшавѣ запылало воинственнымъ жаромъ и стало готовиться къ отчаянной борьбѣ. Принялись укрѣплять Прагу. Въ этой работѣ принимали участіе даже дамы и дѣвицы, которыя, пріѣзжая на Прагу въ экипажахъ, брались потомъ за заступъ и копали землю вмѣстѣ съ солдатами.

Во время пребыванія моего въ Варшавѣ, мнѣ часто случалось встрѣчаться со многими изъ бывшихъ моихъ товарищей по школѣ подпрапорщиковъ польскихъ полковъ. Всѣ они были произведены въ офицеры, потому что польская армія удвоилась, въ ожиданіи событій. При этихъ встрѣчахъ, два противоположные разговора со мною означали два совершенно различные образа мыслей, правилъ, чувствъ и воспитанія. Одни съ участіемъ спрашивали меня, скоро ли надѣюсь я возвратиться на свою родину, въ среду своихъ полковыхъ сослуживцевъ. Изъ деликатности, боясь оскорбить народную гордость, они воздерживались говорить со мною о политикѣ и о современныхъ бурныхъ событіяхъ. Другіе, въ порывѣ своего дикаго патріотизма, озадачивали меня вопросомъ:

— Ну, что? скоро пристанешь къ намъ?

— Для чего это?

— Какъ для чего! Развѣ ты не знаешь, что въ Бельгіи — революція, въ Неаполѣ — революція и вездѣ революція.

— Поздравляю! Но только это не резонъ, чтобы я измѣнилъ своему отечеству. Вѣдь ты знаешь, какъ меня зовутъ.

И тутъ, произнеся мою фамилію, я дѣлалъ сильное удареніе на *овъ*.

— Правда, правда: ты—zabity moskal (настоящій русскій)! отвѣтитъ мнѣ свирѣпый патріотъ, и тѣмъ дѣло кончится.

Впрочемъ, въ продолженіе моего плѣна и при разговорахъ съ разными незнакомыми поляками, мнѣ не разъ случалось выслушивать подобныя предложенія, вслѣдствіе того, что я превосходно говорилъ по-польски. Напримѣръ:

— Отчего вы не пристаете къ намъ?

— Оттого, что не имѣю на это желанія и никакой причины.

— Какъ никакой! вѣдь вы полякъ.

— Нисколько.

— Ну такъ вѣрно изъ «забраннаго края».

— Да, если только Костромская губернія была когда либо «забраннымъ краемъ».

— Костромская губернія!... А гдѣ это, пане, находится такая губернія?

— Тамъ, далеко, между Москвою и Бѣлымъ моремъ.

— А какъ, панъ, называешься?

— Макаровъ.

— Гм!..

И мой знаменательный *овъ*, словно ушатомъ холодной воды, погасилъ пропагандный жаръ польскаго патріота.

Въ концѣ января, польское правительство опредѣлило: русскихъ военно-плѣнныхъ выслать изъ Варшавы въ провинцію, гдѣ мѣстомъ пребыванія ихъ назначено мѣстечко Вальборжъ и городъ Ченстоховъ, оба въ Калишскомъ воеводствѣ—первое въ 18, а второй въ 30 миляхъ отъ Варшавы. Съ тѣмъ вмѣстѣ плѣннымъ положено содержаніе по чинамъ, а именно: прапорщику и подпоручику по 75 злотыхъ (11 р. 15 к.), поручику и штабсъ-капитану по 100, капитану по 150, маіору 180, подполковнику 200, полковнику 300, генералу 500 зл. въ мѣсяцъ *). Въ Вальборжъ отправили военныхъ штабъ и оберъ-офицеровъ, въ Ченстоховъ — генераловъ и гражданскихъ чиновниковъ.

31 января вывезены были изъ Варшавы всѣ тѣ плѣнные, которые содержались въ замкѣ. 3 февраля послѣдовали за ними и другіе, жившіе на своихъ квартирахъ. Я тоже рѣшился оставить Варшаву, хотя никто не принуждалъ меня къ тому: мнѣ казалось должнымъ раздѣлять

*) *Польскій злотъ равенъ нашему пятіалтынному.*

общую участь моихъ соотечественниковъ. Утромъ, 3 февраля, я отправился къ губернатору, у котораго выдали мнѣ мѣсячное жалованье и, сверхъ того, 100 злотыхъ на проѣздъ. Я собрался въ дорогу съ двумя товарищами по госпиталю. Мы, втроемъ, наняли крытую жидовскую фуру за 22 р. до мѣста назначенія. Въ четыре часа по полудни собрались мы въ замкѣ, всего 60 человѣкъ, въ числѣ которыхъ было только пятеро военныхъ. Съ нами ѣхали два польскіе офицера, для конвоированія.

На третій день по выѣздѣ нашемъ изъ Варшавы, прибыли мы въ Вальоржъ. Это мѣстечко имѣло тогда около двухъ тысячъ жителей. Насъ помѣстили въ замкѣ, стоявшемъ въ нѣсколькихъ стахъ шагахъ отъ мѣстечка и бывшемъ когда то мѣстопребываніемъ епископа. Но впослѣдствіи епископство было упразднено и замокъ поступилъ въ казну. Принадлежащіе къ нему каменные флигеля обратились въ казармы, пустыя во время нашего прибытія въ замокъ: стоявшій тутъ полкъ конныхъ егерей отправился къ мѣсту открывавшихся военныхъ дѣйствій.

У воротъ замка мы были встрѣчены товарищами нашего плѣна, отправленными изъ Варшавы 31 января. Многіе изъ нихъ имѣли при себѣ женъ и дѣтей. Пятеро военныхъ нашего втораго поѣзда остались въ Вальоржѣ, всѣ прочіе поѣхали въ Ченстоховъ.

Смотритель замка отвелъ намъ двѣ холодныя комнаты, въ которыхъ вся мебель состояла изъ солдатскихъ коекъ. Намъ дали еще по матрасу, набитому соломою, и по шерстяному одѣялу. Для надзора за плѣнными были назначены: комендантъ, подполковникъ польскаго егерскаго полка Шерцель, и въ помощники ему гарнизонный капитанъ Мальскій. Сверхъ того, для защиты нашихъ интересовъ, былъ облеченъ званіемъ коменданта и одинъ изъ среды плѣнныхъ, полковникъ гвардейскаго волынскаго полка Факицынъ. Всѣхъ плѣнныхъ въ Вальоржѣ было вначалѣ человѣкъ 60. Но открывшіяся вскорѣ военныя дѣйствія увеличили это число.

Изъ газетъ узнали мы о вступленіи русской арміи въ предѣлы Польши и о первыхъ стычкахъ нашихъ войскъ съ поляками. Скоро произошло генеральное сраженіе подъ Гроховымъ, въ которомъ отличился кирасирскій принца Альберта полкъ. Черезъ двѣ непріятельскія линіи прорубился этотъ геройскій полкъ и привелъ поляковъ въ совершенное разстройство. Послѣ этого дѣла многіе наши раненые кирасиры, взятые въ плѣнъ, были привезены въ Вальоржъ. Вслѣдъ за кирасирами стали привозить къ намъ много новыхъ плѣнныхъ офицеровъ. Между плѣнными находился даже одинъ полковой священникъ, который

съ крестомъ въ рукахъ, отважно слѣдовалъ за своимъ полкомъ, благословляя и воодушевляя солдатъ своимъ пастырскимъ словомъ и примѣромъ. Такимъ образомъ, число плѣнныхъ возросло до двухъ сотъ человѣкъ, не считая прислуги.

Мало-по-малу начали мы свыкаться съ нашею жизнію. Но невыносимо тяжело было для насъ бездѣйствіе. Мы рвались душою и мыслями къ нашимъ полкамъ, жаждали раздѣлять съ ними боевыя тревоги, завидовали ихъ счастію и съ нетерпѣніемъ и досадою влачили цѣпь своей неволи. Съ лихорадочнымъ любопытствомъ слѣдили мы за ходомъ кровавой борьбы, которая разгаралась болѣе и болѣе. Объ успѣхахъ той или другой стороны мы могли судить довольно вѣрно по нашему коменданту Шерцелю, живому барометру военныхъ дѣйствій. Какъ только русскіе брали гдѣ либо перевѣсъ, онъ становился чрезвычайно вѣжливъ и привѣтливъ съ нами, говорилъ тихо и ласково. Но если выигрывали какое нибудь дѣло поляки, Шерцель вдругъ перемѣнялъ свое обращеніе, становился надменнымъ, грубымъ, наглымъ и грозилъ арестомъ. Да и вообще нельзя было похвалить его. Много разныхъ непріятностей дѣлалъ онъ намъ и доходилъ до дерзости. За то помощникъ его, капитанъ Мальскій, былъ добрѣйшій человѣкъ, несдѣлавшій никому и тѣни непріятности.

Изъ варшавскихъ газетъ мы не могли узнать истиннаго хода военныхъ дѣйствій: въ нихъ поляки преувеличивали свой успѣхъ и неудачу противниковъ, и обратно. Но нѣкоторые изъ плѣнныхъ получали черезъ Калишъ прусскія газеты, въ которыхъ находили мы болѣе правдивыя свѣдѣнія и тѣмъ повѣряли обращеніе съ нами нашего коменданта.

Въ Вальборжъ, для содержанія карауловъ въ замкѣ, были поставлены двѣ роты коссиньеровъ *). Съ насъ взяли подписки не бѣжать изъ плѣна, и потому мы пользовались довольно большою свободою. Комендантъ выдалъ каждому изъ насъ билетъ на свободный выходъ для прогулокъ изъ замка въ мѣстечко, и даже за мѣстечко.

Замокъ состоялъ изъ нѣсколькихъ зданій, среди которыхъ лежала квадратная площадь, имѣвшая шаговъ двѣсти въ поперечинѣ. Съ одной стороны этой площади находилось главное двухъ-этажное зданіе, въ которомъ жилъ когда-то самъ епископъ; тутъ же была и домовая цер-

---

*) Пѣхотное войско, вооруженное особаго рода косами, прикрѣпленными къ длиннымъ древкамъ. Косы эти оканчивались узкимъ лезвіемъ, на подобіе *кинжала*, такъ что ими можно было и рубить и колоть.

ковь. Къ зданію прилегалъ обширный паркъ. По бокамъ площади стояли еще два зданія, тоже двухъ-этажныя, въ которыхъ помѣщались плѣнные. Сверхъ того, было нѣсколько отдѣльныхъ и небольшихъ строеній. Внизу одного изъ нихъ, примыкавшаго къ воротамъ замка, была гауптвахта, занимаемая карауломъ изъ сорока человѣкъ коссиньеровъ. Надъ гауптвахтою жилъ комендантъ. Въ другомъ зданіи была квартира его помощника. Главное же зданіе, со дня поступленія замка въ казну, оставалось незанятымъ, и, какъ это часто бываетъ съ пустыми зданіями, носились слухи, что въ немъ по ночамъ ходятъ привидѣнія.

Кромѣ одного плохаго трактира и жидовской корчмы, въ Вальоржѣ не было никакихъ другихъ заведеній. Жизненные припасы были довольно дешевы и въ изобиліи. Первое время обѣдали мы у себя, небольшими артелями, и поочередно сами готовили себѣ незатѣйливый обѣдъ. Но спустя нѣсколько времени по пріѣздѣ плѣнныхъ въ Вальоржъ, открылась въ немъ одна кофейня съ бильярдомъ, потомъ другая, и такъ, по мѣрѣ увеличенія числа плѣнныхъ, дошло до четырехъ кофейныхъ домовъ, въ которыхъ, сверхъ кофе и пунша, можно было и обѣдать. Эти дома съ утра до вечера были наполнены плѣнными, для которыхъ игра на бильярдѣ составляла любимое развлеченіе. Сверхъ того, на площади замка происходили разныя игры: въ городки, въ мячъ, въ воланъ, въ свайку.

Непремѣннымъ правиломъ выхода плѣнныхъ изъ замка было возвращаться домой къ восьми часамъ вечера. Несоблюденіе этого правила наказывалось арестомъ, если комендантъ былъ подъ вліяніемъ побѣдныхъ вѣстей, или строгимъ выговоромъ, когда вѣсти были неблагопріятны полякамъ. Для препровожденія вечеровъ нашлось мѣсто собранія въ стѣнахъ замка: помощникъ коменданта устроилъ у себя на квартирѣ родъ кофейни, гдѣ плѣнные собирались по вечерамъ. Тамъ они могли имѣть, за умѣренную плату, кофе, пуншъ и грогъ; но главною приманкою этихъ вечеровъ была возможность попробовать счастія на зеленомъ сукнѣ посредствомъ метанія банка или понтированія. Главнымъ банкометомъ былъ одинъ изъ плѣнныхъ, майоръ, за нѣсколько дней передъ возмущеніемъ пріѣхавшій въ Варшаву получить какой-то долгъ. Не успѣвъ выѣхать изъ возмутившагося города, онъ тоже былъ задержанъ и остался въ плѣну, вмѣстѣ съ нѣсколькими мѣшками, наполненными рублями, полтинниками и прочею мелочью. Вотъ онъ и вздумалъ пустить въ оборотъ этотъ мертвый капиталъ, и каждый вечеръ возвышалась передъ нимъ на ломберномъ столѣ груда цѣлковыхъ, полтинниковъ и разной мелочи, совершенно новенькой, послѣдняго чекана, кото-

рая такъ пріятно блистала въ глазахъ молодыхъ и пожилыхъ офицеровъ и соблазняла ихъ поставить карточку, ввѣрить свой, иногда послѣдній, рубль коварной дамѣ или лукавому валету. Банкометъ металъ банкъ съ невозмутимымъ хладнокровіемъ, съ необыкновенною ловкостью и всегда былъ въ выигрышѣ, такъ что многіе платили ему большую или меньшую дань, а нѣкоторые оставляли у него все свое мѣсячное содержаніе и потомъ, какъ говорится: «клали зубы на полку».

Время отъ времени посѣщалъ я эти вечера и присутствовалъ при битвахъ на зеленомъ суконѣ, но какъ простой наблюдатель, а отнюдь не какъ дѣйствователь. На одномъ изъ этихъ вечеровъ возникъ случай, который имѣлъ потомъ самыя грустныя послѣдствія, и подъ конецъ нашего плѣна разрѣшился кровавымъ событіемъ — поединкомъ. Вотъ какъ это началось и продолжалось.

Между плѣнными находился одинъ армейскій поручикъ, Осиповскій, который имѣлъ самую некрасивую наружность. Его природное безобразіе увеличивалось еще тѣмъ, что онъ носилъ шапку смѣшнаго, уродливаго до неприличія фасона. Физіономія эта, въ соединеніи съ шапкою, представляла разительное сходство съ орангъ-утангомъ, такъ что несчастный обладатель такого фатальнаго соединенія вызывалъ невольную улыбку и потомъ проводы глазами во всѣхъ, съ кѣмъ онъ ни встрѣчался, а въ нѣкоторыхъ возбуждалъ хохотъ и злыя насмѣшки. Но ко всему привыкаютъ; привыкли, поэтому, и къ некрасивому господину и перестали обращать на него особенное вниманіе.

Однажды я засидѣлся на картежномъ вечерѣ вмѣстѣ съ моимъ пріятелемъ, товарищемъ по варшавской службѣ, молодымъ и весьма красивымъ собою Ленцемъ, офицеромъ гвард. артиллеріи. Выйдя изъ комнаты, гдѣ происходила игра, мы подошли къ столу, на которомъ лежала куча фуражекъ, и стали отыскивать свои собственныя. Въ ту же самую минуту, подошелъ къ столу и некрасивый поручикъ, которому нетрудно было отыскать свою уродливую шапку, рѣзко отличавшуюся отъ всѣхъ прочихъ. Но, взявъ ее въ руки, онъ скорчилъ самую уморительную гримасу: шапка была наполнена водою или другою какою жидкостію, неизвѣстно, точно такъ же, какъ неизвѣстно было и то, кто сыгралъ съ нимъ такую неблагородную, низкую шутку. Замѣтивъ эту продѣлку, я переглянулся съ моимъ товарищемъ, и мы невольно улыбнулись. Эти едва замѣтныя улыбки не ускользнули отъ вниманія некрасиваго поручика: онъ свирѣпо взглянулъ на насъ, пробормоталъ что-то себѣ подъ носъ и, кажется, заподозрилъ одного изъ насъ въ сыгранной съ нимъ *шуткѣ*.

На другой день, около полудня, Ленцъ находился въ одномъ изъ кофейныхъ домовъ Вальборжа. Сыгравъ нѣсколько партій на бильярдѣ и уступивъ мѣсто другому, онъ прислонился къ стѣнѣ и, опустивъ голову на грудь, погрузился въ глубокое размышленіе, не замѣчая и не слыша, что дѣлалось и говорилось вокругъ его. Въ эту минуту входитъ въ бильярдную некрасивый господинъ, торопливо, какъ бы украдкою приближается къ Ленцу, ударяетъ его перчаткою по носу, проговоривъ: «вотъ тебѣ за мою шапку!» и, по нанесеніи этой кровавой обиды, выбѣгаетъ изъ комнаты прежде, нежели молодой Ленцъ и всѣ присутствующіе могли прійдти въ себя и выразить свое негодованіе за наглое и безчестное нападеніе. Наконецъ послѣдовалъ самый грозный и единодушный взрывъ этого негодованія: и игравшіе на бильярдѣ, и смотрѣвшіе на игру выбѣжали изъ кофейни; но некрасивый поручикъ былъ уже далеко и удиралъ такъ скоро, что невозможно было догнать его.

Трудно изобразить положеніе Ленца послѣ нанесенія ему жестокаго и ничѣмъ не заслуженнаго оскорбленія. Это былъ одинъ изъ благороднѣйшихъ молодыхъ людей, прекрасно воспитанный и изъ лучшаго общества. Онъ сейчасъ же возвратился въ замокъ, въ сопровожденіи нѣсколькихъ сотоварищей, задержанныхъ въ Варшавѣ. Войдя съ ними въ свою комнату, сталъ онъ держать совѣтъ о томъ, какъ бы уладить дѣло поединка. У него была пара превосходныхъ кухенрейтерскихъ пистолетовъ, которые удалось ему скрыть отъ поляковъ и которые хранилъ онъ на днѣ своего чемодана.

Доставши эти пистолеты, онъ сталъ совѣщаться, гдѣ бы и какъ бы достать пороху и пуль, но такъ чтобы объ этомъ никто не узналъ и не довелъ до свѣдѣнія коменданта, потому что плѣннымъ не дозволялось имѣть при себѣ никакого оружія. Но вѣсть о происшествіи въ кофейномъ домѣ быстро распространилась въ замкѣ и дошла до коменданта, который сейчасъ же отправилъ къ Ленцу своего помощника для узнанія, что и какъ съ нимъ случилось.

Капитанъ Мальскій вошелъ въ комнату къ Ленцу такъ скоро и неожиданно, что тотъ не успѣлъ спрятать своихъ пистолетовъ, которые тутъ же были отъ него отобраны и доставлены къ коменданту. Ленцу же была выдана росписка, съ обязательствомъ возвращенія ему этихъ пистолетовъ сейчасъ по окончаніи плѣна.

Итакъ, немедленный поединокъ сдѣлался невозможнымъ: молодой артиллеристъ долженъ былъ носить въ своемъ сердцѣ кровавую обиду и страдать день и ночь неутолимою жаждою мести. Некрасивый поручикъ

сталъ невидимъ: не покидалъ своей комнаты въ продолженіи дня. выходилъ на свѣжій воздухъ только по вечерамъ, украдкою, тщательно избѣгая встрѣчи съ Ленцомъ и съ его товарищами.

Съ наступленіемъ теплаго времени, начались прогулки по окрестнымъ рощамъ и деревнямъ. Въ особенности посѣщали мы часто фольваркъ (усадьбу) одного богатаго пана, управляющій котораго держалъ на арендѣ его скотный дворъ. Онъ угощалъ насъ — разумѣется, за деньги—отличными сливками, сметаною и творогомъ. Это было любимое наше лакомство.

VI.

Довольно спокойно жили мы въ Вальборжѣ. Жители были очень смирны и привѣтливы къ плѣннымъ, отъ которыхъ получали значительныя выгоды, такъ что тихое и скучное до того мѣстечко, благодаря пребыванію въ замкѣ двухсотъ русскихъ офицеровъ, не считая ихъ прислуги, чрезвычайно оживилось. Мирная тишина нашей жизни въ Вальборжѣ была нарушена случаемъ, который произвелъ сильную тревогу между плѣнными.

Въ числѣ нашихъ сотоварищей находилось одно прекурьезное лицо: нѣкто Зеленка, невысокаго роста, сложенный на подобіе деревяннаго отрубка, съ лицомъ круглымъ, одутловатымъ, песочнаго цвѣта, съ глазами оловянными на выкатѣ, онъ представлялъ весьма уморительную фигуру. У него были двѣ особенности. Первая—страсть къ пѣнію и претензія на превосходное знаніе вокальнаго искуства. Это былъ неизбѣжный учредитель, запѣвало и дирижеръ всѣхъ хоровъ и всевозможнаго пѣнія между плѣнными. Вторая его особенность состояла въ привычкѣ говорить часто: «не приведи Богъ, ребро». Увидитъ ли онъ, что кто нибудь поскользнется и упадетъ, или кто начнетъ съ нѣмъ нибудь бороться, разсказываютъ ли при немъ о какомъ нибудь случаѣ, о паденіи изъ экипажа, съ лошади, о ссорѣ, о дуэли, первое, что сорвется у него съ языка, это фраза: «не приведи Богъ, ребро».

Этотъ оригиналъ обѣдалъ постоянно въ мѣстечкѣ у какой-то панны Розаліи, съ которой онъ былъ въ большой дружбѣ; для всѣхъ другихъ плѣнныхъ панна Розалія оставалась чѣмъ-то въ родѣ миѳа, потому что ее никто никогда не видалъ. Знали только, что Зеленкѣ покровительствовала какая-то благодѣтельная фея, по имени Розалія, питавшая и тѣло и сердце меломана.

Я помѣщался въ небольшой комнатѣ вдвоемъ съ однимъ товарищемъ. Возлѣ была большая, длинная зала, занятая плѣнными, вмѣстѣ съ которыми жилъ и Зеленка. Однажды вечеромъ собралась въ этой залѣ большая компанія. Разговаривали о войнѣ, мечтали объ освобожденіи, пѣли. Часу въ девятомъ входитъ въ залу какой-то мальчикъ, спрашиваетъ Зеленку и отдаетъ ему записку, присланную отъ панны Розаліи. Зеленка прочиталъ и поблѣднѣлъ. Надо сказать, что онъ былъ величайшій трусъ. Всѣ замѣтили его испугъ, и, послѣ нѣсколькихъ вопросовъ и объясненій, оказалось вотъ что: панна Розалія увѣдомляла Зеленку, что въ полночь поляки намѣрены сдѣлать нападеніе на замокъ и перерѣзать всѣхъ плѣнныхъ. Поэтому она совѣтовала Зеленкѣ принять мѣры къ своему спасенію.

Трудно изобразить впечатлѣніе, произведенное на насъ этимъ извѣстіемъ, которое черезъ нѣсколько минутъ распространилось по всему замку, и всѣ плѣнные высыпали на площадь. Былъ прекрасный, теплый майскій вечеръ. Образовалось нѣсколько кружковъ, въ которыхъ обсуживали свое положеніе и сообщенную намъ вѣсть. Одни вѣрили, другіе нѣтъ, и всякій подавалъ какое нибудь мнѣніе. Нѣкоторые предлагали крайнюю, отчаянную мѣру: предупредить нападеніе на насъ и сейчасъ же броситься на караулъ изъ коссиньеровъ, отнять у нихъ косы, которыми вооружить нашъ авангардъ, и всѣмъ вмѣстѣ, оставя замокъ, пробраться лѣсами до прусской границы.

Предложеніе это было слишкомъ нелѣпо, чтобы принять его за серьезное, тѣмъ болѣе, что большинство сомнѣвалось въ истинѣ извѣстія, сообщеннаго панною Розаліею, и подозрѣвало тутъ какое нибудь недоразумѣніе.

Другіе совѣтовали возвратиться въ свои комнаты, запереть двери, сдѣлать, на всякій случай, около нихъ баррикады изъ коекъ, спокойно ожидать нападенія и дорого продать свою жизнь. Но—увы!—все оружіе наше состояло въ сучковатыхъ можжеловыхъ палкахъ, вошедшихъ между нами въ моду и находившихся почти у каждаго плѣннаго. Но съ такимъ вооруженіемъ едва ли возможно было дорого продать свою жизнь, если бы дѣйствительно дошло до необходимости потерять ее. Мы чувствовали, что положеніе наше безвыходно. Часа два провели мы въ безплодныхъ совѣщаніяхъ и наконецъ разошлись по квартирамъ. Я принадлежалъ къ невѣрующимъ въ извѣстіе отъ панны Розаліи. Возвратясь въ свою комнату, я легъ, не раздѣваясь, имѣя на себѣ шинель въ рукава, положилъ возлѣ себя сучковатую палку и заснулъ. Ровно въ полночь кто-то отворилъ дверь и прокричалъ: «спасайтесь! идутъ!»

Я вскочилъ на ноги и подошелъ къ окну, выходившему къ воротамъ замка. Луна была въ полномъ сіяніи, и потому я хорошо разсмотрѣлъ, что дѣлалось на дворѣ. Въ полурастворенныя ворота входила въ замокъ толпа, вооруженная косами, Въ ту же самую минуту раздались шумъ, стукъ и крики въ сосѣднихъ комнатахъ. Въ залѣ особенно раздавался сиплый голосъ Зеленки! «Не приведи Богъ, ребро! гдѣ мой сапогъ? кто взялъ мой сапогъ? не приведи Богъ, ребро!»

Вслѣдъ за этимъ поднялась бѣготня по корридору, раздался стукъ придвигаемыхъ къ дверямъ коекъ. Я вышелъ въ корридоръ, и первый человѣкъ, попавшій мнѣ на встрѣчу, былъ Зеленка. Въ одной рукѣ держалъ онъ шинель, въ другой сапогъ: одинъ сапогъ былъ у него на ногѣ. Стремглавъ побѣжалъ онъ внизъ по лѣстницѣ. Нѣкоторые пробирались на чердакъ. Кругомъ стоны, восклицанія, брань, проклятія,— однимъ словомъ, картина невообразимаго смятенія и хаоса, точно насталъ послѣдній день свѣта.

Я сошелъ съ лѣстницы. Въ сѣняхъ и передъ сѣнями на площадкѣ столпилось человѣкъ пятьдесятъ плѣнныхъ. Я вмѣшался въ толпу по пословицѣ: «на людяхъ и смерть красна». Направо, шагахъ въ пятидесяти, была гауптвахта. На платформѣ стоялъ караулъ въ ружьѣ, то есть съ косами. Передъ карауломъ былъ выстроенъ отрядъ коссиньеровъ, видѣнный мною еще изъ окна. Передъ отрядомъ стоялъ командующій ими офицеръ.

Прошло съ четверть часа времени въ совершенной тишинѣ и безмолвіи. Мы смотрѣли на коссиньеровъ, они на насъ. Наконецъ командующій ими офицеръ подошелъ къ намъ и очень вѣжливо спросилъ, отчего это мы не спимъ въ такое позднее время.

— Мы ожидаемъ, что насъ будутъ рѣзать.

— Кто, какъ и почему? спросилъ офицеръ.

Мы сообщили ему то, что было намъ передано о намѣреніи напасть на насъ. Офицеръ засмѣялся и разсѣялъ наши опасенія слѣдующимъ объясненіемъ.

Польское революціонное правительство, рѣшившись на отчаянную борьбу, вздумало прибѣгнуть къ самой крайней мѣрѣ, которая въ польской исторіи извѣстна подъ названіемъ «посполите рушенье» (всеобщее возстаніе). Съ этою цѣлью, по всей Польшѣ поставлены были на возвышенныхъ мѣстахъ длинные шесты, съ привязанными на верху смолеными боченками, обернутыми соломою. Эти шесты, смотря по удобству мѣстностей, находились одинъ отъ другаго на разстояніи 10, 15 и 20 верстъ. При появленіи русскихъ предполагалось зажигать смоленые бо-

ченки. Завидя такой сигналъ, всѣ жители близлежащихъ мѣстечекъ и деревень должны были немедленно вооружаться топорами, косами, вилами и, оставляя свои жилища, удаляться въ лѣса и оттуда уже нападать на русскихъ врасплохъ и не давать имъ покоя. Для этого приказано было начальникамъ мѣстечекъ и деревень пріучать жителей къ постоянной осторожности и, съ тою же цѣлію, дѣлать время отъ времени фальшивыя тревоги.

Дня за два передъ тѣмъ, бургомистръ Вальборжа получилъ подобное предписаніе и, собравъ въ этотъ день всѣхъ жителей мѣстечка, объявилъ имъ, чтобы всѣ они были во всякое время готовы къ выступленію изъ своихъ жилищъ и ночью, по первому удару колокола, собирались бы около ратуши, вооруженные кто чѣмъ можетъ.

Жители не поняли въ чемъ дѣло и не знали, для чего дано имъ такое приказаніе. Нѣкоторые изъ нихъ вообразили, что русскіе плѣнные, содержащіеся въ замкѣ, замышляютъ напасть на мѣстечко и перерѣзать обывателей. Эта нелѣпая догадка мигомъ распространилась между жителями; а такъ какъ день случился праздничный и много нашлось пьяныхъ, то во всемъ Вальборжѣ произошло сильное волненіе и раздраженіе: на плѣнныхъ посыпались брань и угрозы, и дѣло могло принять очень дурной для насъ оборотъ.

Бургомистръ старался успокоить жителей, представляя имъ нелѣпость распущеннаго слуха. Между тѣмъ, въ видахъ нашей безопасности, нашли благоразумнымъ удвоить, на всякій случай, караулъ въ замкѣ. Для этого-то и пришелъ ночью въ замокъ отрядъ коссиньеровъ.

Итакъ, съ обѣихъ сторонъ произошла фальшивая тревога, которая разрѣшилась очень мирно. Мы возвратились въ комнаты и очень спокойно проспали остатокъ ночи, но только не всѣ; нѣкоторые изъ насъ провели ее нѣсколько иначе: одни на деревьяхъ въ паркѣ, другіе забившись въ кусты и разныя трущобы.

На другой день все пришло въ порядокъ, и всѣ отъ души смѣялись ночной передрягѣ, доставившей намъ самыя сильныя ощущенія.

VII.

Пять мѣсяцевъ прожили мы въ Вальборжѣ. Жестоко надоѣлъ намъ плѣнъ нашъ, которому не видѣли мы конца. Къ скукѣ и тоскѣ нашей неволи присоединялась иногда горькая нужда. Хотя и возможно было

существовать жалованьемъ, отпускаемымъ намъ отъ временнаго правительства, но жалованье это не всегда аккуратно выплачивалось, и мы, по случаю оскудѣнія польской казны, иногда дожидались его мѣсяца по два. Въ это время многіе не шутя голодали по нѣсколько дней и находились на пищѣ св. Антонія. Помню, какъ одинъ, обладавшій громаднымъ аппетитомъ и голодавшій болѣе сутокъ, купилъ въ долгъ у одного коссиньера фунта три чернаго, солдатскаго хлѣба, чрезвычайно черстваго. Онъ принялся убирать его съ видимымъ наслажденіемъ. Когда онъ былъ уже на половинѣ своей закуски, кто-то сказалъ ему:

— Да ты бы взялъ соли да воды: все бы легче было глотать этотъ черствый хлѣбъ.

— Знаю, да только тогда *скоро съѣстся*.

Какъ изволите видѣть, онъ лакомился такою ультра-спартанскою трапезою и хотѣлъ продлить свое гастрономическое наслажденіе.

Въ началѣ іюля стали поговаривать, что насъ увезутъ изъ Вальборжа куда-то далѣе во внутрь края. Слухъ этотъ скоро оправдался. 6 іюля объявили намъ, что черезъ два дня мы должны оставить замокъ и ѣхать въ Краковское воеводство, но неизвѣстно куда именно. Польское правительство удаляло насъ во внутрь страны для того, чтобы, съ перенесеніемъ театра войны на лѣвый берегъ Вислы, мы не были отбиты и освобождены изъ плѣна русскими войсками.

Итакъ, 8 іюля мы оставили Вальборжъ. Жители мѣстечка очень сожалѣли о нашемъ отъѣздѣ, потому что лишились значительныхъ заработковъ и прибылей, которые получались отъ плѣнныхъ. Насъ раздѣлили на двѣ партіи; одну послѣ другой предназначено отправить черезъ день. Намъ роздали обывательскія подводы, по одной на двухъ плѣнныхъ: это были польскія крестьянскія фуры, запряженныя парою воловъ и даже коровъ, и потому переѣздъ нашъ совершался чрезвычайно медленно, и мы, по большей части, шли пѣшкомъ и приходили къ ночлегамъ гораздо ранѣе нашихъ «экипажей». Цѣлые четыре дня тащились мы до города Кельцы, лежащаго въ двѣнадцати миляхъ отъ Вальборжа и въ тридцати отъ Варшавы. Кельцы былъ главнымъ городомъ въ Краковскомъ воеводствѣ. Небольшой, но хорошо обстроенный, чрезвычайно опрятный и лежащій въ очень живописной мѣстности, окруженный со всѣхъ сторонъ горами, городъ этотъ замѣчателенъ еще по совершенному отсутствію евреевъ, которымъ, въ силу какого-то стариннаго закона, не дозволялось проживать тутъ. Въ то время въ Кельцахъ *находилась* и главная квартира польскихъ резервныхъ войскъ.

Кельцы оставили во мнѣ неизгладимыя воспоминанія по тремъ обстоятельствамъ: первое — не доѣзжая верстъ десять до города, насъ захватила страшнѣйшая гроза, какую рѣдко видалъ я, и насъ буквально промочило до костей. Второе — въѣздъ нашъ въ этотъ городъ принадлежалъ къ однѣмъ изъ самыхъ тяжелыхъ, мучительныхъ минутъ нашего плѣна: толпы народа встрѣчали и провожали насъ страшно-непривѣтливо.

Наконецъ третье обстоятельство было далеко не такого мрачнаго колорита, какъ первыя два. Это — знакомство мое съ очаровательной панной Іогасей. Но эпизодъ этотъ былъ разсказанъ мною въ 8 номерѣ *Хроники моихъ любовей*.

Въ Кельцахъ мы узнали о новомъ мѣстѣ нашего назначенія. То были Лубницы, замокъ графа Потоцкаго, лежащій близъ австрійской границы, въ восьми миляхъ отъ Кельцъ. Іюля 14 прибыли мы въ новое мѣсто нашего заключенія. Замокъ, или, вѣрнѣе, дворецъ этотъ уже болѣе тридцати лѣтъ былъ необитаемъ и снаружи носилъ на себѣ слѣды запустѣнія, сохраняя внутри все прежнее великолѣпіе. Превосходные фрески на стѣнахъ и на потолкахъ поражали свѣжестію и яркостію красокъ; вездѣ мраморъ, рѣзьба и позолота. И какой контрастъ составляли мы съ этимъ великолѣпіемъ! По всѣмъ комнатамъ разбросаны были наши чемоданы и мѣшки; паркетъ вездѣ заваленъ соломою, на которой спали мы вповалку. Чтобы сказали прежніе обитатели этого дворца при взглядѣ на такое безобразіе въ ихъ росписанныхъ и золоченыхъ покояхъ, и на незваныхъ гостей, пришельцевъ далекаго сѣвера, которые, однакожъ, охотно отказались бы отъ этого пышнаго помѣщенія и предпочли бы ему ночлегъ подъ открытымъ небомъ, на голой землѣ, но на бивуакахъ, но съ товарищами по войнѣ, а не по плѣну.

Замокъ не могъ вмѣстить всѣхъ плѣнныхъ, и черезъ день послѣ нашего туда пріѣзда шестьдесятъ человѣкъ изъ насъ были назначены въ мѣстечко Олесницы, находившееся въ полумилѣ отъ замка. Я былъ въ этомъ числѣ. Но мы тутъ прожили не болѣе двухъ недѣль. Кратковременное пребываніе наше въ Олесницахъ ознаменовалось двумя событіями.

Между нами находилось человѣкъ двадцать классныхъ чиновниковъ. Польское правительство разсудило, въ видахъ экономіи, возвратить имъ свободу и дозволило ѣхать въ Россію черезъ Пруссію. Разумѣется, они немедленно воспользовались этимъ разрѣшеніемъ. Какъ завидовали мы ихъ счастію, когда они прощались съ нами и, снабженные пропускными билетами, отправились къ предѣламъ отечества!

Другимъ событіемъ была холера. Она все гналась за нами: только что выѣхали мы изъ Варшавы, она явилась туда и начала свои опустошенія. Оставили мы Вальборжъ, и она показалась тамъ сейчасъ послѣ нашего отъѣзда. Наконецъ эта неотвязная гостья нагнала насъ въ Олесницахъ; но она была къ намъ милостива и напала по преимуществу на жителей мѣстечка, похищая ихъ десятками. Изъ плѣнныхъ умерли только трое: жена полковника Фаницына, одинъ казачій офицеръ да еще деньщикъ одного изъ офицеровъ.

Между тѣмъ, операціонная линія русскихъ войскъ все расширялась, и насъ услали еще далѣе, въ мѣстечко Опатовецъ, отстоящее на пять миль отъ Олесницъ. 28 іюля прибыли мы на это новое и послѣднее мѣсто нашего жительства. Опатовецъ лежалъ на самомъ берегу Вислы, въ шести миляхъ отъ Кракова. Другой берегъ рѣки принадлежалъ австрійской Галиціи. Вальборжъ могъ назваться столицею въ сравненіи съ Опатовцемъ, бѣднымъ, грязнымъ мѣстечкомъ, въ которомъ было не болѣе шестисотъ жителей. Насъ размѣстили по обывателямъ, въ ихъ жалкихъ лачугахъ. Трудно вообразить всю скуку, тоску нашей жизни, въ которой уже не было никакого развлеченія, кромѣ уженья рыбы да купанья въ Вислѣ. Въ особенности для меня купанье было истиннымъ и единственнымъ удовольствіемъ. Квартира моя находилась возлѣ самой Вислы. Вмѣстѣ со мною стояли еще трое: казакъ, драгунъ и артиллеристъ Ленцъ. Съ послѣднимъ я былъ очень друженъ. Оба мы превосходно плавали, потому что оба кончили курсъ въ школѣ плаванія и получили аттестаты на совершенное знаніе этого искусства.

На другой же день прибытія нашего въ Опатовецъ, мы пошли купаться и поплыли на противоположный берегъ. Противъ самаго мѣстечка, съ австрійской стороны, впадала въ Вислу рѣка Дунаецъ. Подплывъ къ австрійскому берегу, мы хотѣли было выйдти на песчаную косу, при соединеніи двухъ рѣкъ, но должны были отказаться отъ этого намѣренія и сейчасъ же плыть обратно, и вотъ почему: по всему берегу Вислы, граничившей съ Польшею, былъ протянутъ кордонъ изъ австрійскихъ солдатъ, которые имѣли строжайшее приказаніе не только никого не пропускать изъ Польши въ Галицію и наоборотъ, но даже не позволять купающимся и переплывающимъ рѣку выходить на австрійскій берегъ для отдохновенія. Нѣсколько разъ пытались мы ступить хотя на минуту на землю Галиціи, но всякій разъ, когда слишкомъ близко подплывали къ берегу, грозное «zurück» (назадъ) раздавалось въ нашихъ ушахъ, и вслѣдъ затѣмъ часовой взводилъ курокъ и начиналъ прицѣливаться въ одного изъ насъ. Шутка была плохая, и мы поспѣшно уда-

лялись отъ негостепріимнаго берега, посылая австрійцамъ нѣсколько крупныхъ, энергическихъ эпитетовъ.

Между тѣмъ, жизнь наша становилась день ото дня нестерпимѣе: содержаніе отъ поляковъ получали мы весьма неаккуратно, да и то польскими ассигнаціями, курсъ которыхъ чрезвычайно упалъ; жизненные же припасы въ Опатовцѣ были гораздо дороже, чѣмъ въ Вальборжѣ, такъ что нѣкоторые изъ плѣнныхъ, доведенные до крайности, вынуждены были наниматься въ молотильщики хлѣба, чтобы не умереть съ голоду. Ко всему этому присоединились еще разныя непріятности, которыя ежедневно переносили мы отъ мѣстнаго бургомистра. Этотъ бургомистръ старался всѣми способами вымѣщать на насъ свою ненависть къ «москалямъ». Коменданта нашего, Шерпеля, тоже нельзя было похвалить за его обращеніе съ нами; но въ послѣднее время, предвидя неблагопріятный для поляковъ исходъ войны, онъ очень присмирѣлъ, сдѣлался гораздо вѣжливѣе съ нами и даже явно принялъ нашу сторону въ безпрерывныхъ столкновеніяхъ съ паномъ бургомистромъ, дюжимъ и усатымъ полякомъ, котораго, за его «продерзости», наказывали мы по своему. Соберемся, бывало, вечеромъ подъ окнами его дома, и, подъ дирекціею неизбѣжнаго Зеленки, грянемъ огромнымъ, оглушительнымъ хоромъ пѣсню:

«Ужь какъ шла, прошла Ѳедосья изъ царева кабака.»

И прогорланимъ всѣ безчисленные куплеты этой эксцентрической народной пѣсни, которая, несмотря на различіе между русскимъ и польскимъ языками, была достаточно понимаема бургомистромъ и разшевеливала его желчь. Надо было видѣть его бѣшенство, сопровождаемое «тысіонцами и милліонами дьябловъ», безъ которыхъ не можетъ обойдтись ни одинъ «родовитый полякъ». «Дьябелъ» это — неизбѣжная и универсальная формула, альфа и омега мужской сарматской рѣчи. Кто живалъ въ Польшѣ, тотъ подтвердитъ мои слова.

Истомившись нашею тяжкою неволею, мы возъимѣли намѣреніе бѣжать изъ плѣна и составили слѣдующій планъ: написали на нѣмецкомъ языкѣ къ австрійскимъ властямъ письмо, въ которомъ, въ самыхъ мрачныхъ краскахъ, изображали мы наши страданія и просили дозволенія переправиться черезъ Вислу и потомъ идти берегомъ этой рѣки до тѣхъ поръ, пока поровняемся съ аванпостами русской арміи. Написавши это письмо и запечатавъ его въ конвертъ, завернули въ клеенку, къ которой прикрѣпили небольшой камень, чтобы ловко было бросить его на берегъ, и затѣмъ стали выжидать удобнаго случая послать по адресу это прошеніе, подписанное почти всѣми плѣнными. Передъ тѣмъ, мы

нѣсколько разъ видѣли австрійскихъ офицеровъ, прохаживавшихся на противоположномъ берегу Вислы, а теперь уже караулили, когда они снова тамъ появятся. Передача пакета была поручена мнѣ и моему другу Лейцу, который превосходно зналъ нѣмецкій языкъ.

И вотъ, однажды, даютъ намъ знать, что нѣсколько австрійскихъ офицеровъ появилось на берегу Вислы. Въ одну минуту сбѣгаемъ мы съ высокаго и крутаго берега, раздѣваемся и плывемъ на ту сторону. Я вложилъ пакетъ въ мою фуражку, которую, передъ отплытіемъ, надѣлъ крѣпко себѣ на голову. Подплываемъ къ тому самому мѣсту, гдѣ находились австрійцы. Товарищъ мой вступаетъ съ ними въ переговоры, а я вынимаю изъ фуражки пакетъ и готовлюсь бросить его на берегъ, довольно отлогій. Но австрійцы отвѣчаютъ, что они не могутъ ни вступать съ нами въ переговоры, ни даже принять отъ насъ бумагу. Вслѣдъ за этимъ отказомъ, они подзываютъ къ себѣ двухъ часовыхъ. Я было сдѣлалъ движеніе рукою, чтобы бросить пакетъ, но одинъ изъ австрійцевъ, полковникъ, сейчасъ приказалъ часовымъ прицѣливаться въ насъ и грозно закричалъ, чтобы мы немедленно удалились отъ берега.

— А если мы бросимъ пакетъ на берегъ? Вѣдь онъ назначенъ не вамъ, а высшему вашему начальству.

— Тогда я сейчасъ же прикажу стрѣлять въ васъ; вы такъ близки отъ берега, что промаха быть не можетъ, отвѣчалъ флегматически бѣлокафтанникъ.

— Отчего жъ вы не хотите прочитать наше письмо? Отъ этого не будетъ вамъ никакого зла.

— Оттого, что это ни къ чему не поведетъ.

— Да развѣ можете вы знать мысли вашихъ начальниковъ? Можетъ быть, прочитавъ описаніе всѣхъ нашихъ страданій, они позволятъ намъ переплыть на вашъ берегъ? Вѣдь мы не требуемъ отъ васъ никакихъ пожертвованій, ни малѣйшаго пособія, а только просимъ дозволить пройдти берегомъ Вислы нѣсколько миль. Отъ этого вамъ не будетъ никакого ущерба.

— Я знаю заранѣе, что начальство наше не согласится на вашу просьбу, потому что мы обѣщали соблюдать строгій нейтралитетъ.

— Позвольте намъ хоть отдохнуть на берегу: мы устали. А рѣка и широка, и глубока, и быстра.

— Сохрани васъ Боже! Австрійскія пули сейчасъ накажутъ васъ за дерзкое ослушаніе.

— Да вѣдь мы утонемъ, не отдохнувши здѣсь. Мы очень утомились. И вамъ не жаль отправить насъ на дно Вислы?

— Не утонете: когда переплыли сюда, то можете переплыть и обратно. Вѣдь мы видимъ, что вы хорошо умѣете плавать. Мы же васъ научили этому искусству.

Австріецъ говорилъ правду: когда учреждали школу плаванья, въ Маримонтѣ, близъ Варшавы—это было въ 1823 году—то первыми нашими инструкторами были нѣсколько австрійскихъ офицеровъ и унтеръ-офицеровъ, присланныхъ тогда въ Варшаву изъ Вѣны. У меня даже осталась въ памяти фамилія одного изъ этихъ офицеровъ. Это—подполковникъ Крикъ. Въ школѣ плаванія было семь классовъ. Экзаменъ для перехода изъ пятаго класса въ шестой состоялъ въ томъ, чтобы переплыть Вислу безъ отдыха шесть разъ сряду, а экзаменъ изъ шестаго въ седьмой: переплыть Вислу два раза, но въ мундирахъ. Въ седьмомъ классѣ оканчивали уже полный курсъ плаванія и получали аттестатъ.

Итакъ, экспедиція наша не имѣла успѣха, и мы возвратились раздосадованные негостепріимными, безчувственными и эгоистическими австрійцами, которымъ отъ души пожелали всего нехорошаго.

VIII.

Наконецъ, дожили мы до сентября. Въ концѣ августа послѣдовалъ кровавый эпилогъ кровавой эпопеи: трехдневный кровопролитный штурмъ, послѣ котораго Варшава пала, и русскія войска вступили въ столицу Польши. Первую вѣсть объ этомъ событіи сообщилъ намъ австрійскій офицеръ. Это было 4 сентября. Я сидѣлъ съ товарищемъ въ нашей лачугѣ, какъ кто-то прибѣгаетъ къ намъ и говоритъ:

— Макаровъ и Ленцъ, плывите поскорѣе черезъ Вислу: тамъ стоитъ одинъ австріецъ и что-то кричитъ намъ и машетъ рукою; но мы ни слова не понимаемъ понѣмецки.

Черезъ десять минутъ мы уже въ Вислѣ и плывемъ къ другому берегу, съ котораго австріецъ кричитъ намъ:

— Камрадъ! Поздравляю васъ: Варшава взята и плѣнъ вашъ скоро окончится.

Мы не смѣемъ вѣрить счастливой вѣсти, тѣмъ болѣе, что австрійскій офицеръ, видно, радуясь за насъ, хлебнулъ не одинъ литній стаканъ венгерскаго и едва держался на ногахъ; но мы спѣшимъ обратно съ радостною вѣстію. На берегу ожидала насъ съ нетерпѣніемъ куча плѣнниковъ, которымъ, еще издали, сообщили мы слышанное отъ австрійца, и громкое «ура» привѣтствовало наше вступленіе на берегъ. Это

былъ настоящій праздникъ: всѣ ожили и повеселѣли. Черезъ два дня послѣ того получена была изъ Кракова газета, которая подтвердила извѣстіе о взятіи Варшавы.

11 сентября, въ продолженіе всей ночи, ретировались черезъ Опатовецъ польскіе резервы, подъ начальствомъ генерала Ружицкаго. Они спѣшили по дорогѣ къ Кракову, чтобы оттуда перейдти въ Австрію. 12 числа, на другомъ берегу Вислы, появилось нѣсколько австрійскихъ офицеровъ. Они махали намъ платками, и вслѣдъ за этими дружественными изъявленіями, отчалила отъ берега лодка съ однимъ гребцомъ и, переплывъ рѣку, пристала къ нашему берегу. Австрійскіе офицеры прислали намъ поздравленія со скорымъ освобожденіемъ изъ плѣна и ящикъ венгерскаго, предлагая намъ общій съ ними тостъ въ честь побѣдителей Варшавы.

Насталъ, наконецъ, день 13 сентября. Это было въ воскресенье. Съ самаго утра и въ продолженіе цѣлаго дня раздавались въ сторонѣ ружейные выстрѣлы, и евреи начали сообщать намъ извѣстія о движеніи войскъ и увѣряли, что мы уже почти свободны, потому что русскія войска, преслѣдующія по пятамъ остатки польскихъ войскъ, находились впереди насъ на дорогѣ между Опатовцемъ и Краковомъ. Евреи съ видимымъ удовольствіемъ сообщали намъ объ успѣхахъ русскихъ войскъ.

Надо сказать, что они нисколько не сочувствовали польскому возстанію. За то и доставалось же имъ отъ поляковъ, особенно отъ польскихъ партизановъ, которые немилосердно вѣшали ихъ, будто бы за шпіонство. Много такимъ образомъ погибло этихъ сыновъ Израиля въ продолженіе ожесточенной войны. Вотъ одинъ изъ многочисленныхъ случаевъ «вѣшанія евреевъ», разсказанный мнѣ однимъ правдивымъ полякомъ.

Въ концѣ іюля, въ самый полдень, какой-то еврей шелъ по дорогѣ отъ одного селенія къ другому. Вдругъ видитъ онъ впереди облако пыли, возвѣщающее приближеніе коннаго отряда: это были польскіе партизаны. Еврей обмеръ отъ страха: онъ зналъ, какъ опасны для его соплеменниковъ подобныя встрѣчи. Желая куда нибудь спрятаться, онъ озирается во всѣ стороны, но — увы! — вблизи ни кола, ни двора, ни рощи, ни даже кустика — чистое, ровное поле, засѣянное пшеницею, которая уже дозрѣвала. Недолго думая, еврей бросается въ эту пшеницу и ползетъ подалѣе отъ дороги. На бѣду его кто-то уже замѣтилъ изъ отряда, который и остановился, поровнявшись съ тѣмъ мѣстомъ, откуда еврей *бросился* въ пшеницу.

— Здѣсь, здѣсь видѣлъ я поганаго жида; ему некуда дѣваться кромѣ пшеницы, говорилъ одинъ изъ партизановъ, показывая на намятые колосья, какъ на доказательство справедливости его показанія.

Начались поиски, и убѣжище несчастнаго еврея было сейчасъ же открыто. Полумертваго отъ страха вытащили его на дорогу, окружили и стали допрашивать.

— Кто и зачѣмъ ты здѣсь?

— Я бѣдный портной, иду за своимъ дѣломъ, ясневельможные панове! отвѣчалъ еврей, дрожа какъ въ лихорадкѣ.

— Врешь! ты шпіонъ! закричали ему со всѣхъ сторонъ: — подъ судъ его, повѣсить его!

— Ой вей миръ! Я не шпіонъ, я изъ вашихъ, ясневельможные панове!

Но напрасны были всѣ мольбы, вопли, заклинанія несчастнаго. Безъ всякихъ дальнѣйшихъ формальностей, его осудили на смерть черезъ вѣшанье и тотчасъ же принялись исполнить вандальскій приговоръ. Но это оказалось не такъ-то легко: не на чемъ было повѣсить, потому что кругомъ и на дальнемъ разстояніи не было ни одного дерева. Послали искать матеріаловъ для висѣлицы. Невдалекѣ отъ дороги протекалъ ручей, черезъ который переброшены были три длинныя жерди для пѣшеходовъ. Взяли и принесли на дорогу эти жерди. Достали веревку, которая всегда имѣлась въ запасѣ для подобныхъ случаевъ. Однимъ кускомъ веревки связали концы жердей и потомъ, раздвинувъ, поставили ихъ на дорогѣ, сдѣлавъ такимъ образомъ козлы. Потомъ перекинули другую веревку черезъ верхъ этихъ жердей, сдѣлали петлю, надѣли ее жиду на шею и потянули его къ верху. Но едва приподняли его на поларшина отъ земли, какъ жерди раздвинулись, и Еврей всталъ на ноги. Жерди сдвинули и снова потянули кверху несчастную жертву. Та же исторія: жерди разъѣхались. Это повторялось нѣсколько разъ, потому что партизаны возились болѣе часа и не могли сладить съ вѣшаньемъ. Наконецъ ухитрились такъ: заострили нижніе концы жердей и, сойдя съ дороги, укрѣпили ихъ въ грунтѣ болѣе рыхломъ, такъ что жерди не разъѣзжались болѣе, и еврей былъ наконецъ повѣшенъ.

Итакъ, съ часу на часъ ожидали мы своего освобожденія. Нашелся, однакожъ, одинъ опровергатель нашихъ надеждъ. Это — хозяинъ нашей лачуги, польскій мѣщанинъ по званію, сапожный мастеръ по ремеслу. Онъ оспаривалъ даже извѣстіе о взятіи Варшавы и пресерьезно утверждалъ, что этого никогда не можетъ случиться, что все это ложь, вы-

думки поганыхъ жидовъ и что намъ, плѣннымъ, невидать и черезъ годъ своей свободы и родины. Мы не разсудили разувѣрять спорщика, который и остался при своемъ убѣжденіи. Въ лихорадочномъ ожиданіи провели мы этотъ день. Погода была прекрасная. На небѣ ни облачка; солнце разливало на землю потоки свѣта и тепла, какъ бы сочувствуя веселому настроенію нашего духа. Комендантъ нашъ, Шернель, и бургомистръ Опатовца сдѣлались тише воды, ниже травы.

Насталъ вечеръ. Проведя цѣлый день на ногахъ, я сидѣлъ въ своей квартирѣ и писалъ мой дневникъ. Часу въ девятомъ врывается въ избу хозяинъ и въ сильнѣйшемъ испугѣ зоветъ жену и кричитъ ей:

— Вшисъко згинэло, москали пшишли, жебы ихъ вшисци дьяблы взели! (Все пропало: русскіе пришли, чтобы ихъ черти взяли!)

Отрядъ казаковъ, подъ командою офицера генеральнаго штаба, вступилъ въ Опатовецъ и объявилъ свободу намъ, плѣнникамъ. Скептицизмъ опатовскаго сапожныхъ дѣлъ мастера исчезъ передъ очевидностью событія, которое еще такъ недавно онъ оспаривалъ. Вслѣдъ за хозяиномъ вбѣгаетъ мой товарищъ и кричитъ:

— Ура! ура! мы свободны: наши русскіе здѣсь.

При этихъ словахъ я бросилъ перо и поспѣшно вышелъ изъ душной избы. Вечеръ былъ теплый и ясный. Почти бѣгомъ отправился я на обширную площадь мѣстечка, гдѣ раздавались громкія и радостныя восклицанія. Тамъ собрались уже всѣ плѣнные и окружили небольшой отрядъ донскихъ казаковъ, съ которыми здоровались какъ съ близкими родными, какъ съ дорогими друзьями, обнимали, благословляли ихъ. Многіе плакали отъ радости.

Поздно ночью возвратился я на квартиру и легъ спать. На другой день рано я былъ уже на ногахъ. Въ это время небольшое мѣстечко имѣло очень оживленный видъ. По улицамъ расхаживали, суетились, бѣгали взадъ и впередъ освобожденные плѣнники съ радостными лицами. На площадь съѣзжались подводы, на этотъ разъ большею частію конныя.

Нашлись было между нами такіе, которые непремѣнно хотѣли отмстить усатому бургомистру за всѣ непріятности, какія причинялъ онъ намъ. Но большинство энергически воспротивилось этому малодушному намѣренію, и панъ бургомистръ былъ оставленъ въ покоѣ, но только не надолго: впослѣдствіи мы узнали, что казаки приняли на себя роль нашихъ мстителей. На другой день послѣ нашего отъѣзда изъ Опатовца, они, обезоруживая жителей, обыскали квартиру бургомистра, нашли тамъ какое-то и гдѣ-то спрятанное оружіе и сдѣлали ему самое нази-

дательное и *чувствительное* наставленіе, распорядясь совершенно по казацки...

Теперь разскажу кровавое событіе, котораго завязка произошла еще въ Вальборжѣ между молодымъ Ленцомъ и некрасивымъ поручикомъ.

На другой день послѣ освобожденія, Ленцъ всталъ рано, и первымъ его дѣломъ было получить обратно отъ коменданта свои пистолеты. Вслѣдъ затѣмъ двое изъ его товарищей получили и охотно приняли предложеніе быть его секундантами. Они сейчасъ же достали отъ одного еврея необходимое количество пороху и свинцу и приготовили пули. Ленцъ хотѣлъ окончить непремѣнно въ Опатовцѣ разсчетъ съ своимъ наглымъ обидчикомъ и для этого дѣйствовалъ быстро, рѣшительно и энергически, потому что въ два часа пополудни того же дня всѣ освобожденные изъ плѣна русскіе должны были оставить Опатовецъ и ѣхать въ Варшаву или за Варшаву, къ своимъ полкамъ и командамъ.

Когда все было готово, Ленцъ отправился къ некрасивому господину въ сопровожденіи своихъ секундантовъ. Войдя въ занимаемую имъ избу и заставши его дома, онъ подошелъ къ нему, а секунданты остановились близъ двери.

— Вѣроятно, вы догадываетесь, зачѣмъ я пришелъ къ вамъ? сказалъ онъ ему голосомъ тихимъ, но твердымъ, въ которомъ слышалась неумолимость строгаго судіи.

Некрасивый господинъ вздрогнулъ и молчалъ.

— Я пришелъ къ вамъ за разсчетомъ, милостивый государь! Вѣрно вы не забыли, какъ жестоко и несправедливо оскорбили вы меня? Вы обязаны дать мнѣ удовлетвореніе. Надѣюсь, что вы не откажете въ моемъ требованіи.

— Я не буду съ вами стрѣляться, пока мы не получимъ на это дозволенія, проговорилъ некрасивый господинъ рѣшительнымъ голосомъ.

— О нѣтъ! вы будете со мною стрѣляться сегодня же, здѣсь же, сказалъ Ленцъ все тѣмъ же тихимъ, но увѣреннымъ и настойчивымъ тономъ: — даю вамъ часъ времени на размышленіе; надѣюсь, что, поразмыслив хорошенько, согласитесь исполнить долгъ чести и не заставите меня прибѣгать къ понудительнымъ и крайнимъ мѣрамъ, на которыя можетъ подвинуть меня ваше упорство въ отказѣ. Итакъ до скораго свиданія.

Сказавъ это, Ленцъ повернулся и вышелъ вмѣстѣ съ секундантами.

Вѣсть о возможности поединка между Ленцомъ и некрасивымъ поручикомъ тотъ же часъ распространилась между русскими. Нашлись ме-

жду ними нѣкоторыя добрыя и миролюбивыя души, которыя попытались было уладить дѣло полюбовно, безъ поединка. Но едва заикнулись онѣ объ этомъ Ленцу, какъ онъ, своимъ отвѣтомъ, отбилъ у нихъ охоту быть совѣтниками и посредниками тамъ, гдѣ ихъ не просили объ этомъ.

Проходитъ время. Подводы всѣ уже съѣхались и были розданы, какъ и прежде, по одной на двухъ плѣнныхъ. Некрасивый поручикъ еще не выходилъ изъ своей лачуги. Но наконецъ ему невозможно было долѣе сидѣть на одномъ мѣстѣ: его требовали для полученія подводы, и онъ поспѣшно направился къ площади, но не успѣлъ сдѣлать ста шаговъ, какъ изъ боковой улицы вышелъ Ленцъ и всталъ передъ нимъ съ пистолетами въ рукахъ. Обидчикъ поблѣднѣлъ.

— Ну что же? Надумались ли вы наконецъ стрѣляться со мною? мрачно спросилъ Ленцъ.

— Я... нѣтъ... не имѣю... то есть у меня нѣтъ секунданта, пробормоталъ едва слышнымъ голосомъ некрасивый поручикъ.

— У меня ихъ двое, сказалъ Ленцъ, указывая на подоспѣвшихъ къ нему секундантовъ: — не угодно ли вамъ выбрать одного изъ нихъ? Они — благородные люди, и вы можете вполнѣ имъ ввѣриться.

Но въ эту самую минуту проходилъ мимо ихъ молодой и благообразный офицеръ, полковой товарищъ некрасиваго поручика.

— М. г.! сказалъ ему Ленцъ; — вашему товарищу нуженъ секундантъ: не хотите ли вы оказать эту услугу вашему сослуживцу?

— Съ большимъ удовольствіемъ, отвѣчалъ молодой офицеръ.

— Стало быть, теперь устранены всѣ препятствія, и мы можемъ сейчасъ окончить наше дѣло. Итакъ, пойдемте, господа: время дорого и медлить нечего.

Некрасивый поручикъ безмолвно покорился необходимости, и всѣ пятеро направились къ Вислѣ, а потомъ повернули влѣво и вышли изъ мѣстечка. Былъ полдень. На небѣ ни облачка, и солнце обливало землю своими золотыми и горячими лучами. Въ верстѣ отъ Опатовца, на берегу Вислы, находилась группа столѣтнихъ дубовъ, доставлявшихъ густую тѣнь и прохладу. Туда-то направились Ленцъ и его противникъ, сопровождаемые тремя секундантами, которые дорогою опредѣлили условія поединка «на барьеръ». Придя въ дубовую рощицу, выбрали самое тѣнистое и ровное мѣсто, воткнули въ землю шпагу и, отсчитавъ отъ нея шесть шаговъ, воткнули другую. Противники встали по мѣстамъ и, по командѣ одного изъ секундантовъ, обернулись спиною другъ къ другу и начали расходиться въ противоположныя стороны; отойдя по

шести шаговъ, остановились, повернулись одинъ къ другому лицемъ и, опять по командѣ, стали сходиться. Первый выстрѣлъ предоставленъ былъ кому угодно.

Вызванный выстрѣлилъ первый и не дойдя три шага до барьера. Пуля прострѣлила фуражку Ленца, не тронувъ его головы. Чуть живой обидчикъ остановился у барьера. По условію, Ленцъ имѣлъ право подойти къ своему противнику и послать ему пулю въ лобъ, въ грудь, куда угодно. Но онъ не хотѣлъ воспользоваться этимъ правомъ и потому, подойдя къ барьеру, тоже остановился и сказалъ своему противнику:

— Не угодно ли вамъ поручить что нибудь своему секунданту? Можетъ быть, у васъ есть жена, мать, сестра?...

— Довольно, Ленцъ! стрѣляй безъ дальнихъ разговоровъ, сказалъ одинъ изъ его секундантовъ.

Ленцъ выстрѣлилъ: противникъ его упалъ. Онъ былъ смертельно раненъ въ животъ и его отнесли на квартиру. Ночью онъ умеръ. Кровавый эпизодъ этого поединка заключилъ исторію плѣна нашихъ русскихъ и омрачилъ свѣтлую радость ихъ освобожденія.

Въ два часа по полудни мы оставили Опатовецъ, поѣхали въ Варшаву и къ вечеру прибыли въ городъ Стобницы, отстоящій на три мили отъ Опатовца. Здѣсь мы остановились на время, ожидая приказаній изъ главной квартиры 4-го корпуса, расположеннаго въ Кельцахъ. На другой день я, а потомъ и Ленцъ, сильно захворали. Болѣзнь моя усиливалась съ каждымъ часомъ, и къ вечеру я думалъ, что уже наступилъ мой послѣдній часъ. Сначала казалось, что у меня холера; но это было воспаленіе въ желудкѣ, и скорая медицинская помощь спасла меня.

17 сентября всѣ плѣнные пустились далѣе, по дорогѣ въ Варшаву. Мы съ Ленцомъ не могли слѣдовать за ними: болѣзнь удержала насъ въ Стобницахъ. Русскій комендантъ надъ плѣнными, полковникъ Факицынъ, выдалъ намъ билеты на свободное прожитье и проѣздъ.

Въ двухъ миляхъ отъ Стобницъ находилось помѣстье Буско, принадлежавшее Ржевускимъ и славящееся во всей Польшѣ своими минеральными сѣрными водами. Семейство Ржевускихъ состояло изъ старушки вдовы и нѣсколькихъ взрослыхъ ея сыновей. Одинъ изъ нихъ служилъ юнкеромъ въ одной батареѣ съ Ленцомъ. Эта совмѣстная служба съ однимъ изъ Ржевускихъ была превосходною рекомендаціею въ глазахъ матери семейства, и потому Ленцъ, далеко не такъ тяжело больной какъ я, отправился къ старушкѣ въ Буско. Она приняла его

съ необыкновеннымъ радушіемъ, какъ роднаго, и просила немедленно переѣхать къ ней вмѣстѣ со мною и жить въ ея домѣ, пока мы совершенно не выздоровѣемъ.

Разумѣется, мы съ благодарностію приняли такое предложеніе и сейчасъ же переѣхали въ Буско, гдѣ отвели намъ прекрасныя комнаты и ухаживали за нами, какъ за дѣтьми. Старушка на это время была одна. Два старшіе ея сына находились въ Краковѣ, третій дѣлалъ кампанію съ русскими войсками, а младшій служилъ въ кракусахъ и, по взятіи Варшавы, эмигрировалъ заграницу съ остатками инсургентовъ. Это сильно тревожило и огорчало добрую старушку. Три недѣли прожили мы въ домѣ Ржевускихъ, показавшемся намъ послѣ Опатовца раемъ. Хозяева Буско не знали чѣмъ насъ угостить, гдѣ посадить. За недѣлю до нашего отъѣзда пріѣхали изъ Кракова старшіе Ржевускіе. Грустные, убитые, они избѣгали малѣйшаго разговора съ нами о настоящихъ событіяхъ, но были къ намъ чрезвычайно внимательны и ласковы.

IX.

Состояніе моего здоровья поправилось, и 7 октября мы простились съ милымъ семействомъ Ржевускихъ, которые упрашивали насъ погостить у нихъ подолѣе. Но мы спѣшили въ свою военную семью, къ товарищамъ, съ которыми такъ давно не видались. Дорога лежала на городъ Кельцы, до котораго отъ Буско было около шести миль. Поздно ночью пріѣхали мы въ этотъ уже знакомый намъ городъ. Долго разъѣзжали мы по улицамъ, искали и не находили себѣ квартиры: всѣ дома были заняты военнымъ постоемъ. Приходилось ночевать хотя на мостовой. Наконецъ пріютились мы въ одной кофейнѣ, хозяинъ которой уступилъ намъ одну изъ двухъ комнатъ своего заведенія. Это квартированіе наше въ кофейномъ домѣ и возобновленіе моего знакомства съ панной Іогасей тоже описано въ 8 номерѣ *Хроники моихъ любовей*. Два дня пробыли мы въ Кельцахъ, гдѣ намъ выдали прогоны до Варшавы и по 75 р. ассигн. вспомоществованія въ счетъ жалованья.

9 октября, въ полдень, выѣхали мы изъ Кельцъ на курьерскихъ. Мы спѣшили, чтобы застать въ Варшавѣ нашъ гвардейскій отрядъ. Но на бѣду нашу впереди ѣхали графиня Потоцкая и вдова бывшаго намѣстника Заёнчека, которыя забирали множество лошадей подъ свои экипажи, и потому насъ безпрестанно задерживали на станціяхъ, такъ

что только на третій день въ девять часовъ утра добрались мы до Варшавы. Но какую перемѣну нашли мы въ ней!

При въѣздѣ въ городъ, видѣлись повсюду свѣжіе слѣды кровавой, ожесточенной борьбы, и Варшава походила на обширный лагерь съ огромнымъ артиллерійскимъ паркомъ. На улицахъ орудія, бивуаки, караулы, часовые, конные и пѣшіе патрули.

Долго не находили мы себѣ пристанища: всѣ гостинницы были наполнены военными. Наконецъ удалось намъ отыскать одну маленькую комнату на какомъ-то постояломъ дворѣ, но въ центрѣ города, на подвальной улицѣ. Внеся свой багажъ, мы сейчасъ же пустились отыскивать свои команды; но это было не такъ-то легко. Долго ходилъ я по улицамъ и въ пестрой толпѣ военныхъ, попадавшихся мнѣ на каждомъ шагу, не встрѣтилъ ни одного сослуживца по литовскому полку. Но вотъ наконецъ одинъ встрѣченный рядовой на вопросъ мой: котораго ты полка, отвѣтилъ: лейбъ-гвардіи литовскаго.

Я не узналъ его потому, что прежнее желтое сукно на воротникѣ было замѣнено краснымъ.

Слава Богу! Отрядъ нашъ еще въ Варшавѣ. Черезъ четверть часа послѣ этой встрѣчи, я былъ уже у нашего добраго полковника Граббе, который стоялъ на Саксонской площади. Не буду описывать той радости, того чистаго счастія, которое испыталъ я при встрѣчѣ съ добрыми товарищами послѣ такой долгой разлуки. Но многихъ изъ нихъ я не нашелъ уже въ живыхъ. Нашъ полковой командиръ, генералъ Энгельманъ, тоже возвратился изъ плѣна и командовалъ уже полкомъ.

Здѣсь я оканчиваю мои воспоминанія о плѣнѣ. Громъ войны умолкнулъ и послѣдующія событія моей военной жизни принадлежатъ уже другой, мирной эпохѣ. Упомяну только объ одномъ трагическомъ событіи: спустя восемь дней по возвращеніи моемъ въ Варшаву, нашъ полковой командиръ застрѣлился безъ всякой видимой причины, которая для всѣхъ насъ осталась тайною.

ПОСТСКРИПТУМЪ

(написанъ въ декабрѣ сего 1881 года).

Эти воспоминанія, написанныя въ 1859 году, были помѣщены въ апрѣльской книжкѣ «Военнаго сборника» 1862 года. Но прежде, нежели попасть въ печать, они прошли черезъ многія мытарства и натыкались на разные подводные камни, которыми было усѣяно литературное море

того времени. Небезъинтересно будетъ поразсказать кой-что объ этихъ мытарствахъ.

Многіе оффиціальные аристархи прессы и руками и ногами были противъ появленія моего труда въ печати. Одинъ изъ нихъ, наицѣломудреннѣйшій, изрекъ слѣдующее:

— Возможное ли дѣло пропустить ваши воспоминанія? Вѣдь вы, между прочимъ, разсказываете въ нихъ, да еще такъ беззастѣнчиво, развязно («съ легкимъ сердцемъ» сказалъ бы вѣроятно цѣломудренный аристархъ, еслибы Эмиль Оливье былъ первымъ министромъ Лудовика Наполеона 8-ю годами ранѣе) разсказываете о поединкѣ между двумя офицерами, да еще съ роковымъ исходомъ.

— Что-жъ изъ этого? — возразилъ я. Цѣломудренный аристархъ сверкнулъ очами и сказалъ мнѣ внушительно:

— Какъ что? Поединки запрещены закономъ и строго наказываются.

— А застрѣлить, зарѣзать кого нибудь, поджигать, ограбить церковь, богохульничать, и пр. и пр. дозволено это закономъ, или запрещено? — Аристархъ бросилъ на меня негодующій взглядъ quasi-Юпитера и навѣрное бросилъ бы въ меня свои громы, еслибы и взаправду былъ Юпитеромъ. Но ни слова: хранилъ олимпійское молчаніе.

— А вѣдь всѣ исчисленные мною ужасы и на дѣлѣ случаются, и безпрестанно разсказываются и въ журналахъ, и въ романахъ.

— Пускай другіе разрѣшаютъ, это — ихъ дѣло; но только не я.— Тѣмъ и окончилась конференція моя съ неумолимымъ цѣломудренникомъ. Но кто-то надоумилъ меня попытать счастія у предсѣдателя цен. комитета, барона Медема. Просмотрѣвъ мою рукопись, онъ сказалъ:

— Я не нахожу ни малѣйшаго препятствія къ напечатанію вашего труда. Осудившіе его не знаютъ, въ чемъ дѣло; «слышали звонъ, да не знаютъ гдѣ онъ». Вотъ видите ли: покойный Императоръ Николай Павловичъ далъ слово тоже покойному Паскевичу, что, безъ его согласія, не будетъ разрѣшено появленіе въ печати ни одной строчки ни о возстаніи 1830 года, ни о кампаніи 1831 года. Напр.: генералу Иванову было поручено свыше написать по документамъ исторію польской войны. Онъ это сдѣлалъ и весьма добросовѣстно. Его поблагодарили, дали ему денежную награду, напечатали его трудъ на казенный счетъ и затѣмъ въ продажу не пустили, а положили на полку, гдѣ эта исторія и до сихъ поръ почіетъ сномъ праведныхъ.

Итакъ, благодаря умному генералу, было разрѣшено печатаніе *Моихъ воспоминаній*. Но тутъ встрѣтились другіе подводные камни:

редакціи журналовъ, которымъ предлагалъ я мой трудъ безвозмездно, но которые на-отрѣзъ отказали мнѣ: вѣроятно нашли его нестоющимъ вниманія, скучнымъ, *ниже всякой посредственности*. Тогда обратился я къ редактору «Воен. сборника» генералу Минькову, который принялъ меня весьма любезно и просилъ садиться (другіе не удостоивали меня этой чести, а заставляли стоя выслушивать ихъ пренебрежительный отказъ). Генералъ нашелъ мой разсказъ весьма интереснымъ и потомъ помѣстилъ въ своемъ журналѣ и заплатилъ мнѣ хорошій гонораръ. Нѣчто подобное случилось недавно и съ разсказами, помѣщенными въ «С.-Петербургскихъ Вѣд.» подъ заглавіемъ *Цесаревичъ К. Павл. и его время въ Варшавѣ* прежде, нежели обратился я къ редактору академической газеты. И если я рѣшаюсь упомянуть объ этомъ, то не въ смыслѣ сплетни, а для того, чтобы не были голословны утвержденія мои о суровомъ, неумолимомъ журнальномъ остракизмѣ, которымъ была и продолжаетъ быть поражена моя писательская дѣятельность.

КНИГА ДЕВЯТАЯ.

СЛУЖБА ВЪ РОССІИ, ПЕРВАЯ ЖЕНИТЬБА, ОТСТАВКА И ЖИЗНЬ ВЪ ДЕРЕВНѢ.

I.

Послѣ девяти лѣтъ разлуки.

Возвратясь изъ плѣна, я нашелъ свой полкъ въ Варшавѣ. Невозможно описать мою радость при свиданіи съ товарищами, въ особенности съ полковниками Граббе и Жеребцовымъ, которые любили меня, какъ самого близкаго роднаго. Но первый изъ нихъ вскорѣ былъ произведенъ въ генералы и получилъ бригаду въ гренадерскомъ корпусѣ. Я разстался съ нимъ, какъ съ роднымъ отцомъ и плакалъ. Недѣли три пробылъ я съ полкомъ въ Варшавѣ. Въ концѣ октября, послѣ пятнадцати-лѣтней стоянки въ Варшавѣ, литовскій полкъ выступилъ изъ нее, сперва на зимнія квартиры въ Литву, откуда потомъ долженъ былъ идти на стоянку въ окрестностяхъ Петербурга.

Послѣ длиннаго, утомительнаго похода въ самую глухую и сырую осень, я въ декабрѣ прибылъ съ полкомъ въ Литву. Въ половинѣ этого похода встрѣтилъ литовскій полкъ новый его командиръ, генералъ-м. Девитте.

По прибытіи на зимнюю стоянку, полковой штабъ расположился въ Шавляхъ, столицѣ Жмуди. Я тотчасъ же подалъ въ домовой отпускъ. Около девяти лѣтъ тому назадъ покинулъ я родную сторону, и потому съ восторгомъ помышлялъ о минутѣ моего туда пріѣзда, о свиданіи съ отцомъ, сестрою, дядею и съ безчисленными тетками и кузинами.

Въ ожиданіи отпуска, я познакомился съ сосѣдними помѣщиками, которые принимали меня съ особеннымъ радушіемъ, благодаря моему превосходному знанію польскаго языка и польскихъ обычаевъ. Къ тому же я былъ неутомимый танцоръ. Романическій эпизодъ мой съ панною Теклею описанъ во 2-й части, въ главѣ: *Хроника любовей*.

Наконецъ я получилъ нетерпѣливо ожидаемый отпускъ и пустился въ далекій путь, за 1600 верстъ. Уже болѣе года, какъ я не получалъ писемъ отъ родныхъ, и потому не зналъ, что съ ними дѣлается. Сестра моя, Лиза, воспитывалась въ московскомъ екатерининскомъ институтѣ. День и ночь мчался я на почтовыхъ по первому зимнему пути.

Пріѣхавъ въ Москву, я тотчасъ же отправился въ институтъ къ сестрѣ: но ее тамъ уже не было. За мѣсяцъ передъ тѣмъ она вышла изъ него, съ первою золотою медалью, и не болѣе какъ съ недѣлю тому назадъ уѣхала изъ Москвы въ деревню къ дядѣ. Валерьянъ Макарычъ самъ пріѣзжалъ за племянницею. Не болѣе сутокъ пробылъ я въ Бѣлокаменной и пустился далѣе на сѣверъ, въ костромскую губернію, въ Солигаличъ, близъ котораго жили мои дяди и отецъ. Послѣдній переселился туда изъ чухломскаго уѣзда по той причинѣ, что большая часть его имѣнія была продана за долги. Уцѣлѣла одна деревенька невдалекѣ отъ Солигалича. Мое небольшое материнское имѣніе, съ полсотнею душъ, тоже уцѣлѣло и находилось въ опекѣ у дяди.

Было девять часовъ вечера, когда, съ сильнымъ біеніемъ сердца, въѣхалъ я въ имѣніе дяди. Въѣзжая на красный дворъ, я замѣтилъ необыкновенное освѣщеніе дома и множество зимнихъ экипажей.

— Что это? праздникъ, что ли, у Валерьяна Макарыча? спросилъ я у попавшагося мнѣ человѣка.

— Да-съ. У барина сегодня обѣдъ и балъ по случаю благополучнаго возвращенія ихъ изъ Москвы. Къ намъ понаѣхало много гостей изъ города и изъ уѣзда.

Я былъ въ дорожномъ платьѣ, и потому подъѣхалъ сперва къ флигелю и пошелъ туда переодѣться. Я ни слова не писалъ домой о томъ, что подалъ въ отпускъ, и потому меня никто не ожидалъ.

Пока во флигель внесли чемоданъ и человѣкъ доставалъ мундиръ, слухъ о пріѣздѣ какого-то незнакомаго молодаго офицера разнесся между дворовыми людьми. Многіе изъ нихъ, мучимые любопытствомъ, вошли во флигель, окружили меня, облекавшагося въ гвардейскій мундиръ, и принялись разглядывать и распрашивать.

— Откуда вы, батюшка? Не изъ Москвы ли? Не изъ Питера ли? Вы не Александръ ли Иванычъ? Не Николай ли Семенычъ? Да ужъ вы не изъ Аршавы ли?... Ужъ вы не Николай ли Петровичъ?... И въ самомъ дѣлѣ вы Николай Петровичъ!

Въ числѣ спрашивавшихъ былъ Протасъ, карапузикъ обжора, бывшій въ Варшавѣ. Онъ-то и узналъ меня.

— Ахъ батюшка, Николай Петровичъ! воскликнулъ онъ съ непритворною радостію. Какъ же вы выросли! Да ужъ какъ же вы всѣхъ обрадуете! И дяденьку, и сестрицу вашу Лизавету Петровну, и батюшку-то вашего Петра Петровича. Вѣдь васъ никто не ждалъ. Чего: мы не знали, живы ли вы, здоровы ли. Больше году не было отъ васъ вѣсточки. Писалъ разъ къ барину Петръ Христофорычъ Граббе,

го вы остались въ Аршавѣ въ плѣну у поляковъ. Ну, мы и думали, го васъ уже нѣтъ на свѣтѣ, что васъ убили. Мало ли горевали всѣ ъ васъ!

Пока Протасъ изливался въ радостныхъ возгласахъ, я одѣлся и говился идти въ домъ. Но въ эту самую минуту отворяется дверь, и о флигель вбѣгаетъ Валерьянъ Макарычъ.

— Ты ли это, Коля, другъ мой! И племянникъ съ дядею бросись въ объятія другъ къ другу и заплакали.

— Какую радость подарилъ ты мнѣ! — продолжалъ Валерьянъ Макарычъ. Какъ кстати пріѣхалъ ты: сегодня я даю обѣдъ и балъ по лучаю выхода изъ института твоей сестры Лизы, которую и познакомилъ я со всѣми моими знакомыми... О, какъ она будетъ счастлива! акой сюрпризъ приготовилъ ты всѣмъ намъ!... Я сейчасъ игралъ въ истъ, какъ подходитъ ко мнѣ Андрей и говоритъ на ухо: «Какой-то олодой офицеръ пріѣхалъ и переодѣвается во флигелѣ.»—Кто бы это? одумалъ я и посадилъ играть за себя твоего отца, а самъ побѣжалъ юда, но никакъ не думая, что это былъ ты... Пойдемъ! въ домѣ нито еще не знаетъ о твоемъ пріѣздѣ.

Дядя съ племянникомъ пошли черезъ заднее крыльцо и черезъ дѣичью. Въ эту минуту въ залѣ только что окончили кадриль, и сестра Лиза ходила по залѣ съ кузинами. Когда проходила она мимо передней, зъ дверей которой смотрѣли на танцы столпившіеся горничныя и лаеи, одинъ изъ нихъ сказалъ моей сестрѣ:

— Барышня! А что вы дадите мнѣ за то, что я скажу вамъ раость?

Но кто-то изъ лакеевъ дернулъ болтуна за полу и тотъ замолчалъ.

— А что? счастливо ли вы за меня играете, братъ? — спросилъ Валерьянъ Макарычъ у моего отца, входя изъ спальни въ гостинную и едя меня за собою.

— Довольно счастливо, — отвѣчалъ Петръ Петровичъ. — Большой шемъ сдѣлалъ и робберъ выигралъ.

— А я веду вамъ за это подарокъ.

Отецъ взглянулъ на сына, котораго никакъ бы не узналъ, еслибы стрѣтилъ его гдѣ либо въ чужомъ домѣ. Но сердце угадало лучше лазъ.

— Коля! — вскрикнулъ старикъ и, рыдая, повисъ на шеѣ сына, оторый тоже плакалъ.

Выйдя изъ объятій отца, я искалъ глазами сестру. Въ эту минуту ъ дверяхъ залы показалось хорошенькое, умное и выразительное жен-

ское личико, но незнакомое мнѣ. А между тѣмъ это была моя сестра Лиза, которую оставилъ я дома десятилѣтнею дѣвочкою, и которой было теперь 19 лѣтъ. Она такъ перемѣнилась въ эти девять лѣтъ, что ее невозможно было узнать. Но и тутъ сердце оказалось прекраснымъ, надежнымъ путеводителемъ.

— Лиза! Коля! — Закричали въ одно время братъ и сестра, и снова полились слезы, но самыя отрадныя, въ которыхъ заключается несравненно болѣе сладости, чѣмъ въ другихъ сладкихъ, и въ особенности, *привѣтливыхъ* улыбкахъ, похожихъ на касторовое масло въ сладковатыхъ капсуляхъ, а порою и на сулему въ пилюляхъ и въ сильныхъ дозахъ, приготовленныхъ для отравы крысъ аптекарями, или для отравы друзей — Пальмерами — аферистами.

Вслѣдъ за этими радостными встрѣчами, я былъ представленъ всѣмъ находившимся тогда у дяди родныхъ и остальнымъ гостямъ. Кузинъ своихъ я не только что не узналъ, но даже забылъ, какъ ихъ зовутъ.

Три мѣсяца счастливѣйшей жизни провелъ я въ кругу родныхъ, разъѣзжая по гостямъ, по обѣдамъ и вечерамъ, и часто смѣшилъ всѣхъ моимъ иностраннымъ нарѣчіемъ и произношеніемъ русскаго языка. Лиза осталась жить въ домѣ дяди по слѣдующимъ причинамъ:

Во первыхъ, въ домѣ дяди было ей несравненно веселѣе, чѣмъ у отца, жившаго отшельникомъ послѣ потери своего состоянія; тогда какъ Валерьянъ Макарычъ жилъ открыто, имѣлъ свою музыку, т. е. доморощенный квартетъ, домашній театръ и пѣвчихъ, и у него безпрестанно бывали обѣды, спектакли и вечера съ гостями изъ города и уѣзда.

Во вторыхъ, и это главное, мой отецъ, приходя въ раззореніе, совершенно сбился съ панталыку, и по пословицѣ: «сѣдина въ бороду, а бѣсъ въ ребро», вздумалъ, на семидесятомъ году своей жизни, жениться, да еще какъ, отъ живаго мужа, на женѣ какого-то приказнаго, на урожденной мѣщанкѣ, не только не получившей никакого воспитанія, но даже необученной простой русской грамотѣ. А въ довершеніе всего это была женщина грубая и самаго нетрезваго поведенія, которая только до обѣда бывала въ нормальномъ состояніи; но отъ обѣда и до ужина обрѣталась въ положеніи лыка не вяжущихъ. Каково же было бы молодой, умной, образованной и скромной дѣвушкѣ жить вмѣстѣ съ такою мамашею?

II.

Различные контрасты.

Въ половинѣ апрѣля 1832 года я возвратился изъ отпуска въ полкъ, который стоялъ уже въ Ораніенбаумѣ. Петербургъ поразилъ меня своею громадностію, т. е. *дистанціями огромнаго размѣра*, мало въ чемъ уступающими московскимъ дистанціямъ; потомъ — правильностію расположенія, прямизною и шириною своихъ улицъ и еще чѣмъ-то, чему я не могъ пріискать названія на первый разъ, но что произвело на меня не совсѣмъ пріятное впечатлѣніе, напримѣръ:

Вмѣсто покойныхъ и удобныхъ извощичьихъ колясокъ, какъ это было въ Варшавѣ, я долженъ былъ трястись на какой-то гнусной карикатурѣ на экипажи, т. е. на допотопной гитарѣ, — пролетокъ тогда не существовало; — и вмѣсто 15 копѣекъ сер. за курсъ (извощичья такса въ Варшавѣ) платить вдвое, втрое и вчетверо дороже, если садился не торгуясь; а торговаться не умѣлъ, не научился, потому что, исключая еврейскихъ торгашей и лавокъ, въ Варшавѣ нигдѣ не торговались и не запрашивали.

За обѣдъ изъ четырехъ безвкусныхъ блюдъ въ гостинницѣ брали съ меня 60 коп. сер., тогда какъ въ Варшавѣ за полтора злота (22½ коп.) я имѣлъ вкусный обѣдъ въ пять блюдъ... И это происходило въ блаженныя старыя времена тридцатыхъ годовъ, когда жизнь въ Петербургѣ была втрое дешевле, нежели въ настоящее время.

Понадобились какъ-то мнѣ мелкія деньги. Я зашелъ въ какую-то лавку и попросилъ размѣнять цѣлковый. Мнѣ размѣняли и взяли съ меня за это гривенникъ. Это меня сильно удивило, потому что въ Варшавѣ приходилось мнѣ сто разъ мѣнять въ лавкахъ деньги и всегда охотно мѣняли и не брали за это ни гроша. А если случалось, что въ лавкѣ не было мелочи, то хозяинъ лавки говаривалъ мнѣ очень вѣжливо: — Нехъ панъ почека трошечки (подождите немного), — и потомъ посылалъ своего сидѣльца въ сосѣднюю лавку размѣнять мой цѣлковый, и тоже даромъ.

Живя въ гостинницѣ, я пилъ свой чай, изъ своего чайника и своего стакана. Бралъ въ гостинницѣ одну только воду. Передъ выѣздомъ оттуда мнѣ поставили въ счетѣ, за каждый день, по двадцати коп. (на ассигн.) за воду!?... И это меня очень удивило, потому что въ Варшавѣ сочли бы постыднымъ *брать деньги за четыре стакана*

воды! Подобныхъ контрастовъ можно бы привести здѣсь множество. Но довольно и этихъ.

Все это, узнавъ получше свой родной языкъ, я называлъ татарщиною и вывелъ изъ этого заключеніе, что православные во многихъ случаяхъ не лучше татаръ, да, пожалуй, еще и похуже. Поэтому-то во многихъ лучшихъ гостинницахъ завели прислугу изъ татаръ. А сколько еще татарщины предстояло мнѣ открыть въ послѣдствіи между своими любезными землячками, татарщины прогрессивной, т. е. ухудшенной непомѣрною жаждою скораго разбогатѣнія, комфорта и разныхъ сладостей жизни. Позднѣе эту ультра-татарщину я назвалъ *скивизмомъ*.

Дня черезъ три по пріѣздѣ въ Петербургъ, я представлялся на разводѣ Императору и былъ произведенъ въ подпоручики. Въ полкахъ бывшаго варшавскаго отряда, ваканціи открывались тогда быстро по двумъ причинамъ: формировали третьи баталіоны, и еще — многіе изъ прежнихъ офицеровъ, убоясь новой службы, переходили въ армію, или выходили въ отставку. Поэтому офицеры литовскаго и волынскаго полковъ получали чины довольно скоро.

Проживши въ Петербургѣ дней десять, я уѣхалъ въ Ораніенбаумъ. Тутъ начались для меня совершенно новая жизнь и новая служба, которая чрезвычайно отличалась отъ варшавской.

По производствѣ въ подпоручики, я былъ назначенъ въ роту Его Высочества и получилъ казенную квартиру въ ораніенбаумскомъ дворцѣ Великаго князя, вмѣстѣ съ поручикомъ Крыжановскимъ, своимъ однополчанемъ. Я скоро сошелся съ нимъ, и между нами возникла самая искренняя, глубокая, преданная дружба, несмотря на значительную разницу въ возрастѣ, — Крыжановскій былъ восемью годами старѣе меня, — и на то, что характеры и темпераменты у насъ были совершенно различны, и во многомъ доходили до противоположности. Оба мы были въ высшей степени честны и благородны, оба любили во всемъ порядокъ и акуратность и ненавидѣли дѣлать долги и жить на авось, au jour le jour. Затѣмъ мы были: я — пылокъ, кипучъ, впечатлителенъ и воспріимчивъ Крыжановскій — флегматиченъ, неизмѣнно-нормаленъ, покоенъ и рѣдко, съ трудомъ поддавался внѣшнимъ впечатлѣніямъ; я — изліятеленъ и откровененъ, Крыжановскій — сосредоточенъ и молчаливъ; я — безконечно добръ, сострадателенъ и неисправимо довѣрчивъ къ людямъ, Крыжановскій — саркастиченъ, неумолимъ и скептикъ; я слушался всегда болѣе сердца, чѣмъ головы, Крыжановскій — наоборотъ; мечтатель, я часто покидалъ землю и на крыльяхъ своего пламеннаго, неистощимаго воображенія улеталъ далеко, за облака и носился тамъ въ

безпредѣльныхъ пространствахъ неизвѣстнаго; положительный Крыжановскій не леталъ, тѣмъ болѣе, что былъ довольно тученъ, а всегда ходилъ по землѣ, на которую любилъ низводить и своего молодаго друга, часто подшибая ему крылья своими насмѣшками; я — мечталъ о славѣ, о безкорыстныхъ чувствахъ, о преданности, о любви *къ ней*, которую искалъ безпрестанно и всюду, говоря: хочу любить, любить, любить; Крыжановскій, въ отвѣтъ на эти страстные возгласы друга, покрутитъ свои густые, черные усы à la Sobiesky, на котораго онъ очень походилъ лицемъ, и промолвитъ: «L'amour passe et l'argent reste», и еще:

«Что слава? яркая заплата
На бѣдномъ рубищѣ пѣвца;
Намъ нужно злата, злата, злата,
Копите злато до конца.

Вотъ какіе контрасты являли собою два гвардейскіе офицера, которые сошлись и полюбили искренно, глубоко другъ друга, вѣроятно вслѣдствіе французской пословицы: «Les extrêmes se touchent».

III.

Идеа́листъ и матеріалистъ.

Какъ я уже говорилъ, служба и жизнь въ Ораніенбаумѣ необъятно разнились отъ службы и жизни въ Варшавѣ. Упомяну о нѣкоторыхъ изъ этихъ разницъ.

Въ Варшавѣ жалованье получали по заграничному положенію, на серебро и съ раціонами, въ Ораніенбаумѣ — на ассигнаціи и безъ всякихъ добавокъ. А между тѣмъ въ Варшавѣ все было вдвое и втрое дешевле, чѣмъ въ Ораніенбаумѣ. О веселостяхъ и пріятностяхъ жизни и говорить нечего.

Въ Варшавѣ климатъ былъ чрезвычайно здоровъ, умѣренъ и благорастворенъ, такъ что въ маѣ, а порою и въ концѣ апрѣля любители купанья могли уже купаться въ Вислѣ. Въ первый же мѣсяцъ моего пребыванія въ Ораніенбаумѣ, я былъ пораженъ до-нельзя слѣдующимъ климатическимъ сюрпризомъ, или вѣрнѣе, капризомъ: 13-го мая я гулялъ въ дворцовомъ саду въ одномъ сюртукѣ. Было сухо, ясно, тепло, какъ подобаетъ цвѣтущему маю. А на другое утро, вставши съ

постели и взглянувъ въ окно, я былъ удивленъ перемѣною декораціи: вся земля была покрыта слоемъ снѣга въ четыре вершка толщиною; хоть сейчасъ катайся на саняхъ. Поэтому почти всѣ литовскіе офицеры переболѣли болѣе или менѣе, и тѣмъ заплатили дань климату и невской водѣ.

Жутко приходилось отъ всѣхъ этихъ различій старымъ варшавскимъ служакамъ. Но дѣлать было нечего: съ природою и со всѣмъ прочимъ спорить нельзя. Поморщились, поохали и продолжали попрежнему служить вѣрою и правдою.

Не буду много распространяться о моей жизни въ Ораніенбаумѣ: это увлекло бы меня слишкомъ далеко вслѣдствіе обилія романическихъ, біографическихъ, анекдотическихъ и военно-историческихъ матеріаловъ. Предоставлю здѣсь только нѣкоторыя черты и эпизоды этой вообще богатой событіями жизни.

И мнѣ тяжело, трудно было служить въ Ораніенбаумѣ, по причинѣ скудности моихъ денежныхъ средствъ. Небольшое материнское наслѣдіе я раздѣлилъ пополамъ съ сестрою. Стало быть изъ дому присылали мнѣ немного въ помощь къ моему жалованью на ассигнаціи. Но несмотря на это, я былъ такъ акуратенъ, благоразуменъ, предусмотрителенъ и бережливъ, что никогда, по примѣру другихъ, не дѣлалъ долговъ. А между тѣмъ всегда былъ хорошо одѣтъ, всегда имѣлъ въ запасѣ новенькій мундиръ и прочія принадлежности офицерскаго гардероба. Правда и то, что я никогда не позволялъ себѣ лишнихъ издержекъ, допускалъ одно только необходимое и никогда не бралъ картъ въ руки, т. е. не расчитывалъ на благосклонность валетовъ, тузовъ, королей и дамъ, этихъ коварныхъ, вѣроломныхъ гостей изъ Александровской мануфактуры, хотя и былъ поклонникомъ дамъ; но не бумажныхъ, а живыхъ и порою тоже порядочно коварныхъ и вѣроломныхъ, а сверхъ того страшно тщеславныхъ и расчетливыхъ, въ особенности въ Петербургѣ.

Не терпѣлъ я еще трактирной и разгульной жизни, тщательно избѣгалъ попоекъ и кутни en grand, поѣздокъ въ Кронштадтъ, завтраковъ и обѣдовъ въ англійской тавернѣ, и многоцѣнныхъ угощеній и наслажденій въ разныхъ прочихъ заведеніяхъ, съ неизбѣжнымъ акомпаниментомъ пѣнящейся вдовы Клико, или едва пѣнящагося Кремань-Моэтъ, бывшаго тогда въ большой модѣ. За то на другой день послѣ такихъ упоительныхъ экскурсій, многіе изъ участвовавшихъ въ нихъ клали зубы на полку и ломали себѣ голову надъ разрѣшеніемъ своего рода квадратуры круга, а именно: какъ и чѣмъ прожить слѣдующій *мѣсяцъ*, забравши уже свое жалованье почти за цѣлую треть впередъ.

Я же любилъ и умѣлъ жить на счетъ не будущаго, а прошедшаго, и составя свой бюджетъ на треть впередъ, неуклонно слѣдовалъ этому бюджету, лучше многихъ министровъ, любителей добавочныхъ кредитовъ. И не только я не имѣлъ долговъ, но напротивъ: почти всегда кто нибудь бывалъ мнѣ долженъ, потому что я никогда не отказывалъ помочь товарищу въ нуждѣ. А если и случалось мнѣ перехватить небольшую сумму, то я всегда возвращалъ ее въ обѣщанный срокъ съ педантскою акуратностію. Поэтому въ полку была поговорка: «Давать взаймы Макарову—все равно, что класть въ банкъ на сохраненіе».

Несмотря на такое твердое, неуклонное исполненіе разъ принятаго принципа—никогда не жить на авось да на фу-фу; несмотря на постоянное уклоненіе отъ всѣхъ карточныхъ, гастрономическихъ, кутильныхъ и вакхическихъ увлеченій нерасчетливой молодежи, я былъ любимъ всѣми своими товарищами, у которыхъ я былъ душою на скромныхъ вечерахъ, случавшихся то у одного, то у другаго изъ офицеровъ, а равно и у меня самого. Ни въ чемъ и никогда не отставалъ я отъ товарищей, если только это было честно, благородно и гуманно, или необходимо для пользы и чести общества. Въ этихъ послѣднихъ случаяхъ инціатива принадлежала иногда мнѣ одному.

Не любя трактирныхъ столовъ, я сперва имѣлъ у себя дома простой обѣдъ изъ двухъ незатѣйливыхъ блюдъ, приготовленныхъ моимъ человѣкомъ Иваномъ, присланнымъ мнѣ изъ деревни взамѣнъ прежняго Галахтіона, умершаго въ Варшавѣ къ великому моему горю. Потомъ я уже постоянно обѣдалъ въ артелѣ, составлявшейся по складчинѣ изъ нѣсколькихъ офицеровъ. И вскорѣ послѣ этого я былъ выбранъ въ казначеи-распорядители общей кассы. На мнѣ одномъ лежали всѣ расходы, хлопоты, возня съ поварами и расчеты съ участниками въ общемъ столѣ. Съ тѣхъ поръ я постоянно былъ выбираемъ въ такіе распорядители, къ общему удовольствію и явной пользѣ моихъ застольниковъ, потому что я умѣлъ превосходно дѣйствовать въ духѣ поговорки: «Дешево и сердито». Но одна изъ такихъ артелей поставила меня въ затруднительное положеніе, по поводу контрастовъ во вкусахъ двухъ участниковъ. Это были два ротные командира. Одинъ изъ нихъ, Одинцовъ, ростомъ маленькой, но со вкусомъ положительнымъ и матеріалистъ, предпочиталъ солидное изящному; другой, Житковъ, громаднаго роста и склада, былъ фантазеръ, идеалистъ, любившій все воздушное, въ особенности любившій дѣлать долги и вздыхать о *тиранкахъ*, — такъ называлъ онъ женщинъ, — вздыхать, но не болѣе того. Поэтому и его самого называли *тираномъ*.

Итакъ, положительный ротный командиръ любилъ сытный столъ, а идеалистъ и тиранъ—тонкій, изящный, что, по его понятіямъ, значило присутствіе въ обѣдѣ пирожнаго. Но такъ какъ положено было имѣть не болѣе трехъ блюдъ, то не было никакой возможности помирить эти два вкуса. Если обѣдъ былъ сытенъ, т. е. состоялъ изъ горячаго, холоднаго и жаркаго, тогда капитанъ-идеалистъ закричитъ:

— Что это за обѣдъ сегодня, mon cher Макаровъ! Какой неизящный, тяжелый, *безъ пирожнаго*.

Когда же обѣдъ былъ изященъ, т. е. съ пирожнымъ, тогда капитанъ-матеріялистъ протестуетъ въ свою очередь:

— Я голоденъ отъ сегодняшняго обѣда, cher Макаровъ! Что тутъ за пирожное послѣ такого длиннаго ученія и такого громкаго распеканія, какія намъ задали сегодня, и которыя развили во мнѣ самый волчій аппетитъ?

Бѣдный! Я не зналъ кому и какъ угодить. Бѣда, когда контрасты сойдутся въ дешевомъ обѣдѣ изъ трехъ блюдъ. Въ такомъ случаѣ самый лучшій миритель всякихъ контрастовъ—деньги, съ помощію которыхъ возможно угодить и понравиться и матеріялистамъ, и идеалистамъ и даже самымъ прихотливымъ и капризнымъ петербургскимъ и парижскимъ тиранамъ.

ГЛАВА IV.

Первый блинъ да и комомъ.

Въ то время жило въ Ораніенбаумѣ одно весьма почтенное нѣмецкое семейство: восьмидесятилѣтній, но бодрый старикъ, лютеранскій пасторъ, его дочь и нѣсколько внучекъ. Въ числѣ послѣднихъ находилась Аннета Гесслингъ: это было прелестнѣйшее созданіе, въ которое перевлюблялись почти всѣ литовскіе офицеры, а именно: всѣ прапорщики, большая часть подпоручиковъ, половина поручиковъ и нѣкоторые изъ ротныхъ командировъ. Но изъ полковниковъ ни одинъ. Штабъ-офицерскій чинъ въ то время былъ равносиленъ страховой компаніи отъ любви. Да, я думаю, и теперь тоже.

Въ 1833 году Аннетѣ было только тринадцать лѣтъ. Но она развилась и созрѣла такъ рано, что ей можно было дать на видъ 17 лѣтъ; и потому ее называли *большой ребенокъ*. Высокаго роста, стройная, какъ пальма, она имѣла личико съ чертами не со-

всѣмъ правильными, но такое симпатичное и дѣтски-добродушное, такой ослѣпительной бѣлизны и съ самымъ чуднымъ нѣжнымъ румянцемъ во всю щеку; съ густыми, шелковистыми свѣтло-каштановыми волосами; съ голубыми, чудной формы и такими добрыми, кроткими глазами, осѣненными длинными темными рѣсницами; а что за ротикъ, что за губки! Однимъ словомъ головка Аннеты соединяла въ себѣ самыя граціозныя очертанія и самыя нѣжныя, ласкающія взоръ краски. И черты и краски эти сливались въ совершеннѣйшую, восхитительную гармонію.

Невозможно было смотрѣть на эту херувимскую головку безъ восторга, безъ сильнаго желанія расцѣловать у ея обладательницы ручки и ножки..., о губкахъ и говорить нечего. Сердце замирало и въ глазахъ темнѣло при одной мысли—почувствовать на своихъ губахъ прикосновеніе и дыханіе этого чуднаго, розоваго ротика, такъ наивно, такъ весело улыбавшагося. Самый холодный скептикъ и мизантропъ, взглянувъ на Аннету, сейчасъ же чувствовалъ на себѣ страшно-притягательную силу этого очаровательнаго личика; и хоть ему и становилось стыдно самого себя, но онъ долженъ былъ сознаться въ глубинѣ своей души, что съ нимъ происходитъ что-то небывалое, незнакомое ему: это были чары большаго и прекраснаго ребенка, противъ которыхъ нѣтъ охранительныхъ молитвъ, какъ противъ сглазу.

Я увидѣлъ Аннету въ первый разъ на свадьбѣ одного изъ моихъ товарищей, который женился на ея старшей сестрѣ. Въ этотъ памятный въ моей жизни вечеръ, я танцовалъ нѣсколько разъ съ большимъ ребенкомъ, и влюбился въ нее страстно. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ того литовскіе офицеры давали блистательный балъ жителямъ Ораніенбаума. Я опять танцовалъ съ Аннетою нѣсколько кадрилей и мазурку, которую любилъ и танцовалъ хорошо, и которую можно назвать танцемъ влюбляющихся, потому что ни одинъ танецъ не располагаетъ такъ къ любви, не способствуетъ такъ изліятельности и высказыванью своихъ чувствъ, своей страсти.

Я былъ окончательно покоренъ, увлеченъ. Это было первое серьезное чувство въ моемъ сердцѣ, и потому оно развилось во мнѣ съ необычайною силою. Впослѣдствіи и вслѣдствіе французской пословицы: «A force de forger on devient forgeron», я сдѣлался виртуозомъ на гитарѣ, но, въ описываемую мною эпоху, я былъ, по своей природѣ, первоклассный, геніальный виртуозъ на сердцѣ, на которомъ упражнялся потомъ много и долго, и изъ котораго умѣлъ извлекать дивныя, восхитительныя мелодіи. Правда, что и инструментъ у меня былъ необыкно-

венно хорошъ, настоящій Страдуарій: звученъ, мягокъ, пѣвучъ, нѣженъ. И какими полными, задушевными аккордами отозвался онъ во время мазурки, и послѣ упомянутаго бала! Всѣ струны этого инструмента-сердца задрожали, зазвучали,—и вотъ начались блистательный концертъ, великолѣпнѣйшая симфонія, которые продолжались цѣлые полтора года. Но увы! Свою божественную симфонію я разыгрывалъ передъ пустыми креслами: та, въ честь которой давался этотъ концертъ, не удостоила его своимъ присутствіемъ, и ни одно рукоплесканіе, ни одно bravo не раздалось въ награду юному и геніальному виртуозу сердца за его геніальную игру.

Неизвѣстно, что сталось бы со мною, и куда увлекла бы меня бурная, огненная страсть, этотъ локомотивъ сердца и разума, если бы я не успѣлъ во время *подтормозить себя*, т. е. послѣ необычайнаго усилія надъ самимъ собою, я оторвалъ отъ себя все, что согрѣвало, освѣщало и питало мое сердце, душу и воображеніе въ продолженіи полутора года. Я вышелъ въ отставку и уѣхалъ въ деревню—прохладиться, простыть. Я былъ первый влюбившійся въ большаго ребенка. Съ моей легкой руки все бросилось къ этому прелестному раннему цвѣтку, все столпилось вокругъ него и захотѣло восхищаться его ослѣпительно-яркими красками, упиваться его чуднымъ ароматомъ. Въ толпѣ многочисленныхъ поклонниковъ Аннеты очутился вдругъ и Крыжановскій. Это была явная, злая насмѣшка судьбы надъ моимъ положительнымъ и саркастическимъ другомъ и въ особенности, надъ его *золотою* теоріею чувствъ, потому что Аннета Гесслингъ не имѣла никакого состоянія, кромѣ своей очаровательной дѣтской красоты, такъ что любовь къ ней была несовмѣстима съ желаніемъ «злата, злата, злата». А между тѣмъ Крыжановскій страстно влюбился въ Аннету, которую зналъ еще ребенкомъ и носилъ на рукахъ. И онъ былъ гораздо счастливѣе нежели я... Но это предпочтеніе нисколько не разсорило двухъ друзей, даже ни на волосъ не измѣнило ихъ взаимныхъ отношеній и чувствъ.

Тотчасъ послѣ роковаго открытія моего счастливаго соперника, я заперся въ комнатѣ, нѣсколько дней не выходилъ, и не раздѣваясь, почти все это время пролежалъ неподвижно на диванѣ, вставая только для того, чтобы разъ въ день выпить два стакана чаю съ сухарями. Въ началѣ этого затворничества мысли мои были мрачны, грозны, кровавы. Но послѣ трехъ дней такого лежанія, буря улеглась на днѣ моей души, мысли просвѣтлѣли: я всталъ, взялся за перо и написалъ къ счастливому сопернику и другу посланіе стихами на шести страницахъ.

Впослѣдствіи я совершенно позабылъ эти стихи, которые называлъ *ръхами ей юности*. Уцѣлѣло въ моей памяти одно только сравненіе. Помѣщаю его здѣсь, какъ образчикъ слабыхъ попытокъ моихъ на литературномъ поприщѣ, которое постоянно ускользало отъ меня. Вотъ эти нѣсколько стиховъ, написанныхъ въ 1833 году, когда я еще плохо владѣлъ русскимъ языкомъ:

«Случалось ли тебѣ видать въ глуши степной,
Какъ ураганъ порывистый бушуетъ,
И степь песчанную взрываетъ и волнуетъ
И пыли облака онъ гонитъ предъ собой.
Или въ ночной тиши, когда природа дремлетъ,
Вездѣ безмолвіе, все сладкій сонъ объемлетъ,
Луной посеребренъ струится ручеекъ.
Порою легкій вѣтерокъ
Повѣетъ и едва коснется
До зыбкаго зерцала спящихъ водъ.
И вдругъ тогда померкнетъ неба сводъ;
Въ ущельяхъ горъ со свистомъ вѣтръ проснется;
И зареветъ гроза, и дождь рѣкой польется.
И, вздутый отъ дождя, вдругъ зашумитъ потокъ.
Взволнуется, вскипитъ его спокойный токъ,
И быстро мутными волнами понесется.
Такъ было и со мной: сначала я дремалъ
Въ бездѣйствіи души и сердца молодаго;
И въ звукахъ музыки, въ мелодіяхъ искалъ
Я тихихъ радостей и счастья неземнаго.
Но я узналъ ее—и въ сердцѣ запылалъ
Огонь неугасимый,
Какъ пробужденный левъ, ничѣмъ не укротимый,
Проснулась такъ любовь въ груди моей:
И буря грозная страстей
Мою всю душу взволновала
И въ бездну бѣдъ меня стремительно умчала.
Зловѣщій рокъ, увы, мнѣ не судилъ
Взаимности блаженствомъ наслаждаться!
И жребій горестный онъ мнѣ опредѣлилъ:
Печаленъ и угрюмъ, какъ тѣнь могилъ,
Я въ одиночествѣ всю буду жизнь скитаться.

V.

Обѣденная тактика и пафосъ провинціальныхъ угощеній.

Итакъ я вышелъ въ отставку. При этомъ случаѣ вполнѣ выказались всеобщія уваженіе и любовь, которыми пользовался я между товарищами: весь полкъ сдѣлалъ мнѣ прощальный обѣдъ. Потомъ я уѣхалъ въ деревню, но не сейчасъ по полученіи отставки, а прожившн въ Петербургѣ до весны. Тогда я рѣшился ѣхать домой не обычнымъ путемъ— на почтовыхъ, а совершить это путешествіе водою до самой Костромы, для того, чтобы лучше ознакомиться съ Россіей и съ простымъ народомъ, съ его языкомъ, обычаями и нравами.

Въ половинѣ мая отправился я изъ Петербурга въ крытой лодкѣ по Невѣ до Шлиссельбурга. Оттуда Ладожскимъ каналомъ до Новой Ладоги, потомъ рѣками Сясей, Чадогощей, Мологой и наконецъ Волгою. Плаваніе это, въ большомъ обществѣ, гдѣ преобладали простолюдины, продолжалось 12 дней и стоило только 30 руб. на ассигн., т. е. вшестеро дешевле, чѣмъ на почтовыхъ. За то я получилъ ясное понятіе обо многомъ, о чемъ прежде никогда и ни отъ кого не слыхалъ. У меня остался чрезвычайно любопытный дневникъ всего этого водянаго путешествія. Но не помѣщаю его здѣсь потому, что и безъ того у меня на очереди много разсказовъ, долженствующихъ войти въ эту девятую книгу.

Въ концѣ мая пріѣхалъ я въ имѣніе дяди, въ Вышнякино, и по приглашенію его, поселился у него въ домѣ, а не у моего отца. Рѣшеніе это принято было еще и вслѣдствіе причинъ, уже изложенныхъ выше. Въ имѣніи же своемъ я не рѣшился жить потому, что оно находилось въ другомъ уѣздѣ, верстъ за двѣсти отъ Солигалича и въ страшной трущобѣ. Этимъ имѣніемъ управляла старостиха, и управляла превосходно.

Очутившись опять въ домѣ дяди, но уже на родинѣ, и сравнивая настоящее съ прошедшимъ, очень хорошо сохранившимся въ моей памяти, я нашелъ огромную перемѣну въ образѣ жизни, въ нравахъ, привычкахъ и понятіяхъ костромскихъ дворянъ. И все это совершилось въ какія нибудь двѣнадцать лѣтъ! Укажу на главныя изъ этихъ перемѣнъ.

Псовые охотники почти перевелись; едва уцѣлѣла десятая ихъ часть и существовала въ видѣ исключенія, а не принципа, какъ это

было въ прежнее время. Эта охота была уже не главною потребностію, а подонками дворянской жизни, не вполнѣ еще отрѣшившейся отъ прежней татарщины.

Деспотизмъ и наглость многодушныхъ дворянъ тоже утратила девять десятыхъ своей прежней силы и свирѣпости, и вошла въ берега законности и *наказуемости*, изъ которыхъ и трудно, и опасно было выступить. Умъ и образованность уже цѣнились и значили очень много. Случалось зачастую, что бѣдный, но умный и образованный человѣкъ наряжалъ въ шуты богатаго дурака и держалъ его *въ респектѣ*. О поучительныхъ потасовкахъ, арапникахъ и плетяхъ не было и помину, потому что тогда была уже извѣстна система *сдачи*, отъ которой богатство болѣе не застраховывало. Правда, богатые дуралеи задирали еще носы и важничали, но за то бывали часто и одурачиваемы.

Шуты и дурачки исчезли повсемѣстно. Мѣсто ихъ заняло чтеніе, любовь къ которому начала распространяться между дворянами, даже и не очень зажиточными. Уже много газетъ и журналовъ выписывалось въ каждый уѣздъ. Валерьянъ Макарычъ, съ своей стороны, страстно любивъ чтеніе, выписывалъ «Московскія Вѣдомости» и «Библіотеку для чтенія», только что начавшую тогда свое журнальное поприще, и начавшую блистательно подъ редакціею неистощимо-остроумнаго барона Брамбеуса, Сенковскаго тожъ. Сверхъ того Мичуринъ выписывалъ каждую порядочную новую книгу, такъ что, подъ конецъ, у него составилась библіотека въ нѣсколько тысячъ томовъ.

Хлѣбосольство сохранилось еще въ довольно широкихъ размѣрахъ. На именины и на храмовые праздники наѣзжало къ зажиточнымъ помѣщикамъ множество гостей. Домъ Валерьяна Макарыча въ особенности славился частыми праздниками, обѣдами и вечерами, на которыхъ собиралось у него гостей тьма тьмущая. Уморителенъ бывалъ онъ тогда и своею фигурою, и своимъ эксцентрическимъ костюмомъ, и въ особенности, своею манерою угощать. Самъ никогда не садился за столъ, вокругъ котораго ходилъ въ продолженіе цѣлаго обѣда, подчуя всѣхъ кушаньями и питіями. Но тутъ-то и проявлялся пафосъ его угощенія.

Половину стола занимали гости почетнѣйшіе: предводитель, судья, исправникъ, городничій и многодушные помѣщики, или заѣзжіе и крупночинные гости. За другою половиною стола засѣдала разная мелкота: засѣдатели, секретари, протоколисты, письмоводители, пристава и малодушные дворяне, владѣльцы отъ двухъ и до двадцати душъ.

Итакъ, когда начинали обносить винами, то на одну половину стола подавали вина, претендовавшія на названія лафита, го-сотерна, бургондскаго и наконецъ шампанскаго. Другую же половину угощали питіями уже не претендовавшими ни на что, кромѣ сантуринскаго, шипучаго и *дери-горловки*, т. е. мадеры мѣстнаго производства и до нельзя сдобренной мѣстнымъ спиртомъ. Валерьянъ Макарычъ, какъ искусный тактикъ и полководецъ, командовалъ разносомъ питій: одному лакею мигнетъ правымъ глазомъ, другому лѣвымъ, третьему кивнетъ головою, четвертаго толкнетъ локтемъ. И всѣ понимали нѣмую команду своего главнокомандующаго и живо, отчетливо и вѣрно исполняли свои движенія къ правому, или лѣвому флангу стола, съ бутылками въ рукахъ.

VI.

Экономистка, свиной цирюльникъ и гарпагонъ.

Хотя жизнь провинціальныхъ дворянъ во многомъ измѣнилась къ лучшему, но все еще много татарщины и скиѳизма сохранилась въ средѣ ихъ. Изъ множества тому примѣровъ, приведу здѣсь два.

У одной барыни, далеко не бѣдной, заведенъ былъ слѣдующій порядокъ. Для застольныхъ людей хлѣбъ пекли разъ въ недѣлю. И каждый разъ, какъ только его испекутъ, стряпуха обязана была приносить на показъ барынѣ образчики этого хлѣба. Если онъ былъ дуренъ, т. е. недопеченъ съ запахомъ, съ кострикой, горькой и противной, то стряпуху хвалили. Но если хлѣбъ выходилъ хорошъ и вкусенъ, съ нее строго за это взыскивали, *потому что хорошаго хлѣба съѣдали гораздо болѣе чѣмъ дурнаго*... Такова была политическая, или вѣрнѣе, хозяйственная экономія нѣкоторыхъ провинціальныхъ русскихъ барынь! По поводу такой экономіи, упомяну объ одномъ весьма курьезномъ костромскомъ агрономѣ и политико-экономѣ того времени.

Это былъ молодой человѣкъ, окончившій университетскій курсъ и получившій довольно большое имѣніе по смерти своихъ родителей. Онъ принялся тотчасъ же за раціональныя улучшенія сельскаго хозяйства, между которыми на первомъ планѣ значилось слѣдующее ультра-экономическое его изобрѣтеніе.

Онъ завелъ множество свиней, но не на убой, не для сала, а чтобы кормить ихъ и по нѣскольку разъ въ годъ пускать имъ кровь, и изъ

этой крови дѣлать кровяныя колбасы, и отправлять ихъ на продажу въ столицы!...

Жилъ былъ еще тогда въ костромской губерніи шестидесятилѣтній холостякъ, помѣщикъ двухъ сотъ душъ и страшнѣйшій скряга. Онъ все копилъ деньги и подъ конецъ скопилъ двѣсти тысячъ рублей на асигнаціи, которые хранились въ шкатулкѣ, никогда его не покидавшей. Наслѣдникомъ его былъ родной его племянникъ.

Вотъ однажды захворалъ онъ, да такъ крѣпко, что его приговорили уже къ отправленію въ другой міръ. Чувствуя приближеніе послѣдней минуты, онъ призвалъ къ себѣ своего камердинера, молодаго двадцатипятилѣтняго человѣка. Подъ изголовьемъ стараго скряги лежала завѣтная шкатулка, съ которою смертельно жаль ему было разстаться, тяжелѣе чѣмъ съ жизнію. Онъ не могъ примириться съ мыслію, что эти деньги, собранныя имъ въ продолженіи многихъ лѣтъ цѣною безчисленныхъ лишеній, достанутся другому и будутъ издержаны.

— Ванюша! — сказалъ онъ слабымъ голосомъ своему камердинеру. — Затопи поскорѣе печку, да по жарче.

Ванюша исполнилъ приказаніе барина.

— Возьми изъ подъ моей подушки шкатулку и брось ее въ огонь, въ самый пылъ, и смотри, чтобы она до тла сгорѣла.

— Слушаю-съ, отвѣчалъ Ванюша, — и шкатулка съ двумя стами тысячъ была брошена въ пылающую печь.

Но судьба, эта злая насмѣшница надъ человѣческими предположеніями, и на этотъ разъ выкинула злой фарсъ. Въ болѣзни стараго скряги произошелъ спасительный переломъ: онъ совершенно выздоровѣлъ, и докторъ объявилъ ему, что онъ еще предолго проживетъ. Можно представить себѣ его мрачное отчаяніе послѣ этого неожиданнаго выздоровленія и объявленія ему о долгоденствіи. Мысль о шкатулкѣ жгла ему мозгъ, терзала, убивала, приводила его въ неистовство. Но вотъ молодой камердинеръ входитъ къ нему въ кабинетъ и говоритъ:

— О чемъ это вы, батюшка баринъ, изволите сокрушаться? Вѣрно жаль вамъ вашей шкатулки?

— Разумѣется, — отвѣчалъ старый холостякъ.

— Такъ не извольте больше тосковать: шкатулка ваша цѣла.

— Можетъ ли это быть? — вскричалъ съ недовѣрчивою радостью воскресшій скряга.

Ванюша вышелъ и тотчасъ же возвратился въ кабинетъ съ шкатулкою въ рукахъ, и отдавая ее барину, упалъ на колѣни и заговорилъ умоляющимъ голосомъ:

— Простите меня, батюшка баринъ, что я васъ ослушался! Вѣдь у васъ есть родной племянникъ. Больно жаль мнѣ его стало, и я подумалъ, что должно быть вы изволили позабыть объ немъ, потому и приказали сжечь шкатулку съ деньгами. Вотъ я и ослушался васъ и вмѣсто шкатулки, бросилъ въ печь полѣно, а шкатулку-то унесъ и спряталъ, чтобы послѣ отдать ее вашему племяннику. Простите меня, батюшка баринъ, за ослушаніе!

Скряга засіялъ отъ радости, отперъ шкатулку и пересчиталъ деньги: были всѣ цѣлы. Тогда онъ взялъ синенькую и далъ ее Ванюшѣ, въ награду за спасеніе двухсотъ тысячъ рублей. А недѣли черезъ двѣ послѣ того приказалъ забрить ему лобъ на тотъ конецъ, что, дескать, «когда я стану умирать въ другой разъ, то онъ опять не исполнитъ моего приказанія и денежки мои достанутся Богъ знаетъ кому».

VII.

Сенека и Неронъ.

Полтора года прожилъ я у дяди и въ это время совершенно исцѣлился отъ страсти къ Аннетѣ Гесслингъ. Къ лекарству разлуки, я попробовалъ присоединить еще и лекарство гомеопатическое: клинъ клиномъ выбивать. И это послѣднее средство оказалось чрезвычайно дѣйствительнымъ: сердце мое освободилось совершенно отъ поклоненія ораніенбаумскому божеству. А между тѣмъ гомеопатическое лекарство оказалось очень хорошимъ и въ томъ отношеніи, что залечивъ прежнія раны сердца, оно не сдѣлало новыхъ. Я повздыхалъ, поволочился, полюбезничалъ, помечталъ, даже покушался было на нѣчто серьезное, да только покушеніями дѣло и кончилось *). Провинціальныя страсти далеко не такъ бурны, не такъ разрушительны, какъ столичныя, усиливаемыя часто соперничествомъ другихъ вздыхателей и соискателей. А соперничество столичныхъ галантомовъ въ дѣлѣ любви и ухаживанья, это — нравственный аѳіотажъ, лучше всего возвышающій пьедесталы, на которые карабкаются многія столичныя «красы», и поддерживающій фонды нравственныхъ достоинствъ прекраснѣйшихъ половинъ рода человѣческаго. Молодость и красота съ одной, и многочисленные поклонники

*) Эти вздыханія описаны во второй части, въ главѣ: *Хроника моихъ любовей* (Примѣчаніе 1881 года).

съ другой стороны! Да вѣдь это зачастую принимаетъ характеръ настоящаго аукціона, продажи съ молотка, особенно въ столицахъ.

Въ деревнѣ, между прочимъ, я много занимался гитарою и все шелъ впередъ. Дѣлалъ я еще и литературныя попытки, очень оригинальныя: это парадированіе. Для этого бралъ я бывшіе тогда въ модѣ романсы и передѣлывалъ ихъ совершенно на другой ладъ. Такимъ образомъ переложилъ я 13 романсовъ, назвавъ все это такъ:

Комментаріи или характеристическій маскерадъ новѣйшихъ романсовъ.

Пародіи эти были очень скабрезны, но и довольно удачны. Вотъ для образчика начало двухъ такихъ переложеній. Первое изъ «Кавказскаго плѣнника»:

Въ углу мурлычетъ сѣрый котъ,
Дворняжка въ темнотѣ не лаетъ,
И старый мужъ, разинувъ ротъ,
Пыхтитъ, сопитъ и засыпаетъ».

Второе переложеніе изъ «Талисмана»:

«Тамъ гдѣ Висла орошаетъ
Изобильные брега,
Гдѣ такъ скоро выростаютъ
У мужей на лбу рога,
Гдѣ, трактиры посѣщая,
О свободѣ тужитъ панъ,
Тамъ паненка молодая
Мнѣ вручила талисманъ».

Наконецъ сестра моя, Лиза, вышла замужъ за чухломскаго помѣщика Языкова. Это бытъ молодой человѣкъ, двадцати-восьми лѣтъ, съ порядочнымъ состояніемъ, честный, неглупый, недурной собою и, въ особенности, нисколько не мотъ, а напротивъ, большой экономъ и хозяинъ. Поэтому бракъ этотъ заключалъ въ себѣ всѣ условія, требуемыя для семейнаго счастія прозою жизни.

Но самымъ важнымъ событіемъ для меня, во время пребыванія моего въ домѣ дяди, было знакомство мое съ одною изъ тѣхъ личностей, родившихся въ сорочкѣ, которымъ суждено пройти черезъ различныя

метаморфозы и разыграть роль шумихи: удивить, ослѣпить, озадачить и толпу и коноводовъ своимъ уродливымъ счастіемъ, удачами, шарлатанствомъ и фиглярствомъ, и затѣмъ кануть въ вѣчность, не произведя въ сущности ничего, кромѣ бенгальскаго огня, шума, треска, дыма, а порою оставя послѣ себя одно только разрушеніе и проклятія. Знакомство это впослѣдствіи имѣло огромное вліяніе на мою дальнѣйшую судьбу *).

Личность, о которой идетъ рѣчь, былъ шестнадцатилѣтній юноша, солигаличскій купчикъ. Онъ жилъ въ Солигаличѣ съ матерью очень скромно, управляя однимъ заводомъ и былъ знакомъ съ чиновнымъ міромъ цѣлаго города и съ дворянами своего и сосѣднихъ уѣздовъ. Хотя не получившій никакого образованія, кромѣ знанія русской грамоты, онъ имѣлъ много природнаго ума, смѣтливости и необычайную способность къ дѣламъ. Все это, при его смѣлости и настойчивости, могло, въ данную, благопріятную минуту, выдвинуть его впередъ, вывести въ люди и сдѣлать изъ него замѣчательнаго дѣятеля на поприщѣ торговли, промышленности или единоторжія. Поэтому, несмотря на свои юные годы и скромную обстановку своей солигаличской жизни, юноша-купчикъ пользовался уваженіемъ всѣхъ знавшихъ его купцовъ, чиновниковъ и дворянъ.

Онъ находился въ числѣ постоянныхъ посѣтителей дома Валерьяна Макарыча и, разумѣется, познакомился со мною; а познакомившись, сошелся со мною очень скоро и очень близко. Онъ видимо дорожилъ этимъ знакомствомъ, которое, въ ту эпоху его скромной и безвѣстной дѣятельности, или вѣрнѣе уѣздной прозябаемости, принесло ему огромную пользу, знакомя его со множествомъ новыхъ для него идей, чувствъ и вкусовъ, и со стихами Пушкина, Языкова и многихъ другихъ поэтовъ. Моя большая начитанность при обширной памяти была родъ школы для купчика-юноши и дѣлала изъ меня родъ воспитателя этого зародыша будущей именитости. И кто бы, глядя тогда на близкія и самыя дружескія отношенія этихъ quasi-наставника и quasi-ученика, могъ подумать, что впослѣдствіи повторится между ними исторія шестаго римскаго императора и его наставника.

---

*) Я упоминаю здѣсь только вскользь объ этой когда-то знаменитой личности. Она очень вѣрно и обстоятельно фотографирована въ моей «Задушевной Исповѣди» (см. «Соврем., 1859, декабрь). Можетъ быть и еще разъ поговорю о ней въ десятой книгѣ этихъ «Воспоминаній», если доживу до того времени (примѣчаніе это написано въ нынѣшнемъ 1881 году).

VIII.

Каламбурнстъ, анекдотистъ и скандалистъ.

По обязанности строгаго, правдиваго и безпристрастнаго лѣтописца, я долженъ описать теперь одно событіе, весьма непріятнаго свойства, случившееся со мною на другой день свадьбы моей сестры. Но прежде необходимо дать здѣсь мѣсто тремъ фотографіямъ, снятымъ съ трехъ провинціальныхъ личностей.

Павелъ Петровичъ Зыковъ, двоюродный братъ жениха моей сестры, служилъ въ Солигаличѣ солянымъ приставомъ. Это былъ честнѣйшій, добрѣйшій и милѣйшій человѣкъ, хотя и считался солигалицкимъ львомъ. Фанатическій поклонникъ прекраснаго пола, но только въ самомъ невинномъ, отвлеченномъ смыслѣ этого слова, онъ состоялъ безсмѣннымъ ординарцемъ при всѣхъ дамахъ и дѣвицахъ, какъ въ городѣ, такъ и въ уѣздѣ; ухаживалъ за ними, какъ за дѣтьми или за больными; прислуживалъ имъ всячески, всегда, вездѣ и во всемъ, окутывалъ ихъ въ шубы или бурнусы при разъѣздахъ; провожалъ ихъ всюду: въ церковь, на гулянье, домой; напѣвалъ имъ по цѣлымъ часамъ и днямъ самыя сладенькія, но и самыя безгрѣшныя, разсыропленныя любезности, и самыя нѣжныя тогдашнія пѣсенки и романсики, акомпанируя самъ себѣ на семиструнной кастрюлѣ.... т. е. гитарѣ, хотѣлъ я сказать; и наконецъ танцовалъ съ ними до изнеможенія, до опьяненія, — затанцовывался. Крошечнаго роста, худенькій, живой, вертлявый, съ кудрявою головою и съ преогромнымъ комомъ, надушенный, напомаженный и разодѣтый всегда нанфрантѣйшимъ франтомъ, на сколько это было возможно въ Солигаличѣ, Зыковъ казался очень молодымъ человѣкомъ, хотя ему было тогда далеко за сорокъ лѣтъ. Поэтому онъ говаривалъ самъ о себѣ: «Маленькая собачка до старости щенокъ.» Этотъ Зыковъ былъ однимъ изъ самыхъ усердныхъ посѣтителей Вылинкина и самымъ преданнымъ другомъ молодыхъ Макаровыхъ. Онъ-то и устроилъ женитьбу своего кузена на моей сестрѣ, которую и самъ любилъ; но которою только любовался, какъ звѣздою небесною — издали.

Другою личностію былъ солигалицкій уѣздный штабъ-лекарь Павелъ Ѳедорычъ Робнеръ, женатый на одной изъ моихъ кузинъ. Горбоносый, усастый и очень умный, смѣтливый человѣкъ, это, съ тѣмъ вмѣстѣ, былъ великій пройдоха, порядочный сплетникъ и лгунъ, и страшнѣйшій, отъявленный картежникъ: отца роднаго не пощадитъ, облупитъ,

какъ липку. Но онъ былъ мастеръ хоронить концы и выдавать себя за честнѣйшаго, благороднѣйшаго человѣка. Поэтому очень сдружился со мною и, какъ говорится, влѣзъ мнѣ въ душу. Робнеръ былъ тоже одинъ изъ безсмѣнныхъ посѣтителей дома Мичурина, котораго безпрестанно величалъ «почтеннѣйшимъ дяденькою», часто обнималъ и цѣловалъ его то въ плечо, то въ грудь, и нѣжно гладилъ рукою по его огромному пищепріемнику.

Наконецъ третьею личностію былъ нѣкто Иванъ Иванычъ Болсуновъ, мичманъ въ отставкѣ, владѣлецъ, по женѣ, сотняги душъ и тоже дальній родственникъ Валерьяна Макарыча, котораго называлъ просто «дядею», безъ всякихъ прилагательныхъ. Господинъ этотъ, среднихъ лѣтъ, высокаго роста, плотный и очень красивый мужчина, прослылъ за необыкновеннаго остряка, каламбуриста и анекдотиста не только въ своемъ уѣздѣ, но и въ цѣлой полугуберніи, и былъ всѣми любимъ, или вѣрнѣе, принимаемъ съ удовольствіемъ вездѣ и всѣми, потому что никто кромѣ его не умѣлъ такъ забавлять и смѣшить честную компанію. Сверхъ того, что у него имѣлся всегда огромный запасъ анекдотовъ, онъ обладалъ необыкновеннымъ даромъ разсказывать старые анекдоты на новый ладъ, или *сочинять новые анекдоты*, т. е. изъ каждаго вздора, изъ каждой сплетни, пошлости, глупости выкроить анекдотецъ, съ помощію разныхъ прикрасъ и передѣлокъ. Тутъ прибавитъ, тамъ убавитъ, наичаще прижметъ, — и вотъ у него готово нѣсколько новыхъ анекдотцевъ, безъ которыхъ онъ не являлся ни въ одинъ домъ. И всѣ помираютъ со смѣху, и всѣ передаютъ одинъ другому, изъ дома въ домъ мануфактурные анекдоты и остроты солигалицкаго Ривароля, и въ сотый разъ провозглашаютъ геній его неистощимаго остроумія и находчивости.

Еще одною изъ его способностей было — умѣнье стравить двухъ индивидуумовъ, изъ помѣщиковъ, чиновниковъ или другихъ сословій; это было для него все равно. Стравить, поссорить, произвести суматоху, гвалтъ, скандалъ или хоть скандальчикъ, самому же остаться въ сторонѣ, покойнымъ зрителемъ, довольнымъ и счастливымъ разыгрываньемъ розданныхъ имъ ролей въ піесахъ собственнаго своего сочиненія. Но всегда, передъ начатіемъ такихъ піесъ, у анонимнаго автора чужихъ скандальчиковъ, запрягался экипажъ, чтобы дать тягу, въ случаѣ, еслибы напали на слѣды, открыли настоящаго автора и вздумали сдѣлать ему овацію.

Описанныя мною три личности были весьма хорошо знакомы между собою. Но только между первою и второю случались часто нелады. Зы-

ковъ не любилъ Робнера, Робнеръ — Зыкова, которому старался досадить при всякомъ удобномъ случаѣ.

Но вотъ насталъ день свадьбы моей сестры. Это было въ іюлѣ, въ самый жаръ. Въ этотъ день и во всю предшествовавшую недѣлю, Робнеръ всячески досаждалъ Зыкову, дѣлалъ ему разныя непріятности и, въ то же самое время, немилосердно сплетничалъ, ссорилъ между собою всѣхъ родныхъ и, въ особенности, ухаживалъ за мною, напѣвалъ и нашептывалъ мнѣ разныя небылицы, или быль, да только искаженную, обезображенную недобросовѣстностію и злыми умыслами. Но дѣлалъ это такъ ловко, хитро, осторожно, что я не подозрѣвалъ ни малѣйшей недобросовѣстности въ поступкахъ Робнера, котораго продолжалъ считать за честнѣйшаго человѣка.

Наконецъ, наканунѣ свадьбы моей сестры, я открылъ всѣ шашни солигалицкаго картежника и сплетника, и разумѣется, тотчасъ же почувствовалъ сильнѣйшее къ нему презрѣніе, которое и вознамѣрился ему выказать, и затѣмъ уже прервать съ нимъ всякія сношенія; но отложилъ все это до окончанія свадебныхъ празднествъ сестры. А до тѣхъ поръ рѣшился сохранить наружно прежнія къ нему отношенія.

Свадьба была отпразднована съ обычнымъ торжествомъ. На другой день, въ домѣ Валерьяна Макарыча происходилъ *красный столъ*, т. е. большой парадный обѣдъ въ честь молодыхъ, на которомъ собралась бездна родныхъ и гостей. Я и Зыковъ были шаферами, одинъ — у невѣсты, другой — у жениха. Сѣли мы за столъ рядомъ, на серединѣ стола, чтобы удобнѣе провозглашать заздравные тосты. Робнеръ усѣлся противъ Зыкова, а возлѣ меня помѣстился анекдотистъ и ссорщикъ Иванъ Иванычъ Болсуновъ. Обѣдъ длился долго. Я былъ веселъ и счастливъ счастіемъ любимой сестры. Такъ какъ родныхъ присутствовало множество, то провозглашено было восьмнадцать тостовъ. Когда шаферъ молодаго провозгласилъ мое здоровье, всѣ мои кузины и племянницы, любившія меня безъ памяти и, обращаясь ко мнѣ съ пожеланіями полнаго счастія, осушили до дна свои бокалы и нарочно показывали мнѣ это. Я отвѣчалъ тѣмъ же, т. е. выпивалъ до дна свои бокалы, такъ что, къ концу обѣда, у меня порядкомъ закружилось въ головѣ. Въ это самое время Иванъ Иванычъ усердно искалъ и обдумывалъ сюжетъ для новенькой піесы со скандальчикомъ, безъ чего для него и праздникъ былъ бы не въ праздникъ. Судьба особенно благоволила ему въ тотъ день, такъ что сюжетъ тотчасъ же былъ найденъ, да еще какой!

— Посмотрите-ко, Николай Петровичъ! что за безчинства дѣлаетъ Павелъ Ѳедорычъ, — заговорилъ онъ со мною. — Онъ безпрестанно кру-

тить свои усы, и въ то же самое время показываетъ кукишъ своему визави, Павлу Петровичу, котораго, не знаю за что, не любитъ и преслѣдуетъ на всякомъ шагу. Ну, хоть бы для сегодняшняго торжественнаго дня онъ поудержалъ себя. Вѣдь это явное неуваженіе къ дядѣ, къ молодымъ и ко всѣмъ намъ!

Я поглядѣлъ пристально на Робнера, и точно вскорѣ замѣтилъ его неприличныя, грубыя выходки. Я вспыхнулъ отъ негодованія, но удержался до поры и ограничился только слѣдующимъ отвѣтомъ:

— Чего же хорошаго можно ожидать отъ человѣка, который старается перессорить всѣхъ родныхъ между собою, и для этого не стыдится прибѣгать къ бабьимъ сплетнямъ, къ наглой лжи и къ самой гнусной клеветѣ.

— А что, развѣ онъ разсказывалъ вамъ что нибудь новенькое? — разспрашивалъ съ участіемъ Иванъ Иванычъ, въ надеждѣ найти сюжетъ для скандальчика.

— Да; но объ этомъ не стоитъ теперь говорить; поговоримъ послѣ.

— Нѣтъ! ужъ какъ вы хотите, а я молю васъ, ради Бога скажите мнѣ, что и про кого передавалъ вамъ Павелъ Ѳедорычъ? Вѣдь это должно быть очень любопытно и полезно знать, — продолжалъ допрашивать анекдотистъ и ссорщикъ.

— Робнеръ передавалъ мнѣ сегодня, подъ видомъ участія и сожалѣнія, что будто бы моя племянница — самая несчастная женщина въ свѣтѣ, и что мужъ ея — тиранъ, варваръ, который мучитъ ее и запираетъ на цѣлые часы Богъ знаетъ куда.

— Ахъ какой же это злой и скверный человѣкъ, этотъ Павелъ Ѳедорычъ! Возможно ли такъ клеветать!

— Только ради Бога! прошу васъ, Иванъ Иванычъ, чтобы этотъ разговоръ остался между нами, до поры, до времени, пожалуй хоть только на сегодняшній день; а завтра разрѣшаю вамъ не молчать объ этомъ, если вамъ захочется говорить.

— О! будьте покойны. Вы знаете, что я скроменъ и молчаливъ, какъ могила, когда это нужно.

Разговоръ этотъ кончился, потому что встали изъ за-стола. День былъ удушливо-жаркій, и потому большая часть гостей вышли на крыльцо и на красный дворъ, гдѣ стояли двѣ старинныя пушки, дошедшія до Валерьяна Макарыча еще отъ его прадѣдушки, директора тайной канцеляріи Петра Великаго. Я тоже вышелъ на крыльцо.

Между тѣмъ Иванъ Иванычъ успѣлъ уже передать Робнеру то, что *слышалъ* объ немъ отъ меня во время обѣда, и, разумѣется, передалъ

съ разными комментаріями и прикрасами, необходимыми для того, чтобы *стравить*. А самъ между тѣмъ распорядился, чтобы какъ можно скорѣе заложили его коляску.

Робнеръ, выпившій не болѣе двухъ бокаловъ и потому совершенно трезвый, подходитъ ко мнѣ и говоритъ:

— Позвольте спросить у васъ, Николай Петровичъ, отъ кого вы слышали, что будто бы я распускаю невыгодные слухи о мужѣ вашей племянницы?

Такъ какъ часа за два до свадебнаго обѣда, онъ самъ же передавалъ все это мнѣ, то я былъ до нельзя возмущенъ и наглымъ вопросомъ, и мѣднымъ лбомъ Робнера.

— И не время, и не мѣсто входить сегодня въ какія бы то ни было съ вами объясненія, которыя покорнѣйше прошу васъ отложить до завтра изъ уваженія къ хозяину дома и къ торжественности сегодняшняго дня, — отвѣчалъ я, сдерживая свое негодованіе.

— Вы должны здѣсь же, сейчасъ же отвѣчать на мой вопросъ; или я заставлю васъ это сдѣлать! — заговорилъ еще наглѣе горбоносый и усатый солигалицкій эскулапъ.

— Всѣ *наглецы*, взятые вмѣстѣ, не въ силахъ заставить меня отвѣчать, если я самъ не найду нужнымъ это сдѣлать.

— Ты самъ *подлецъ!* — глухо и сквозь зубы произнесъ эскулапъ и схватилъ меня за воротникъ фрака. Этого было слишкомъ много даже для флегматика, находящагося въ нормальномъ состояніи, а не только для человѣка пылкаго и выпившаго восьмнадцать бокаловъ шампанскаго. Я не взвидѣлъ свѣта и послалъ страшнѣйшій ударъ кулакомъ въ лице сухопараго, жиденькаго, картофельнаго эскулапа, наглость котораго мгновенно исчезла и замѣнилась подлѣйшею трусостью. Онъ выпустилъ изъ рукъ воротникъ грознаго противника, пожиравшаго и уничтожавшаго его глазами, горько заплакалъ, зарыдалъ и закрылъ руками свое заклейменное лицо и свой окровавленный носъ, разбитый моимъ мощнымъ кулакомъ. Затѣмъ, безъ малѣйшаго возраженія на энергическій аргументъ противника, поплелся въ домъ и, отыскавъ тамъ Валерьяна Макарыча, принесъ ему слѣдующую жалобу, съ акомпанементомъ самыхъ горькихъ слезъ и рыданій.

— Посмотрите, почтеннѣйшій дяденька! что сдѣлали со мною въ вашемъ домѣ!

— Душевно сожалѣю о васъ, любезнѣйшій Павелъ Ѳедорычъ! Но вольно же вамъ приставать къ человѣку горячему, и еще послѣ того, какъ онъ выпилъ 18 бокаловъ шампанскаго! И это для васъ тѣмъ бо-

лѣе непростительно, что сами вы ничего не пили за обѣдомъ, и потому могли здраво обдумать, что не мѣсто и не время было входить въ объясненія съ Николаемъ Петровичемъ.

Эскулапъ уѣхалъ домой, омывши сперва у себя носъ и лицо. Что же касается до Ивана Иваныча, то онъ давнымъ давно уже далъ тягу; но передъ отъѣздомъ, или вѣрнѣе, передъ побѣгомъ, успѣлъ насладиться зрѣлищемъ расквашиванія носа у солигалицкаго картежника и сплетника. Потомъ, въ продолженіи всей дороги къ своему дому, ощущалъ необыкновенную сладость во всей своей особѣ отъ *удачной травли*, которую удалось ему сдѣлать. Самолюбіе его, какъ автора скандальныхъ піесъ, было вполнѣ удовлетворено.

Новое драматическое произведеніе знаменитаго скандалиста Ивана Иваныча Болсунова произвело достодолжное, но не слишкомъ громадное впечатлѣніе на почтеннѣйшую солигалицкую публику. Сперва пожали плечами, потолковали и поохали о такомъ экстренномъ случаѣ, какъ расквашиванье эскулапскаго носа, а затѣмъ вздохнули, кто слегка, а кто потяжелѣе. Но никто не уѣхалъ со свадебнаго пира: всѣ остались до вечера, до бала, во время котораго большинство потѣшалось штурмовымъ вистомъ, свирѣпствовавшимъ тогда въ Россіи, которую посѣтилъ онъ вслѣдъ за первою холерою, и особенно послѣ штурма Варшавы. Но за то на другой же день послѣ краснаго стола, и потомъ долго спустя, начались и продолжались нескончаемые разсказы о расквашенномъ носѣ, и самыя разнообразныя варіаціи и фантазіи на эту тему, приносящія великую честь воображенію и вдохновенію уѣздныхъ импровизаторовъ и, въ особенности, импровизаторшъ.

Глубоко опечаленъ былъ я моею исторіею съ Робнеромъ, пріѣдя въ нормальное состояніе, и искренно раскаивался въ своемъ совершенно невольномъ увлеченіи. Вскорѣ потомъ до меня стали долетать изъ Солигалича двоякіе слухи о предполагаемой мести солигалицкаго эскулапа. По одному сказанію, Робнеръ хотѣлъ просто подать на меня жалобу въ судъ за безчестіе; а по другому — намѣревался подговорить нѣсколькихъ негодяевъ, чтобы они подкараулили меня, во время прогулокъ моихъ пѣшкомъ изъ Вылинкина въ Солигаличъ, и порядкомъ поколотили бы. А въ заключеніе всѣхъ этихъ толковъ, жителями Солигалича и его уѣзда былъ произнесенъ слѣдующій приговоръ:

— Павелъ Ѳедорычъ Робнеръ много облагородился тѣмъ, что Николай Петровичъ Макаровъ побилъ его своею благородною рукою. Тѣмъ болѣе, что ему уже не привыкать быть битымъ. Вѣдь уже не разъ

доставалось ему, и очень больно, за свою не всегда честную игру въ карты.

На сказаніе о мести я заявилъ слѣдующее:

— Передайте отъ меня Павлу Ѳедорычу, что я глубоко сожалѣю о томъ, что произошло между нимъ и мною, и на что онъ самъ напросился. Я готовъ дать ему самое полное удовлетвореніе, но только сообразное съ моими понятіями о чести, а именно: пусть онъ вызоветъ меня стрѣляться въ шести шагахъ, или ближе. Я уступаю ему первый выстрѣлъ, и тогда пусть онъ застрѣлитъ или ранитъ меня, какъ ему угодно. Это для меня все равно. А если онъ промахнется, я даю честное слово, что выстрѣлю мимо. И тогда пускай онъ снова стрѣляетъ въ меня, если не сочтетъ себя удовлетвореннымъ. Вотъ единственное безопасное для него средство — получить удовлетвореніе. Но если, сохрани его Боже! онъ вздумаетъ прибѣгнуть къ подлой мести посредствомъ наемныхъ негодяевъ, тогда онъ погибъ безвозвратно: никто и ничто въ мірѣ не спасетъ его отъ моего страшнаго, неумолимаго мщенія. Я убью его, какъ бѣшеную собаку. И гдѣ бы онъ ни скрылся отъ меня, хоть на днѣ морскомъ, хоть въ преисподней, — и туда брошусь я за нимъ, чтобы отмстить ему.

Предложеніе мое было передано по адресу, но Робнеръ не рѣшился ни на что и замкнулся въ пассивную роль индивидуума, облагороженнаго рукою Николая Петровича. Тѣмъ все и кончилось.

IX.

Понравится сатана пуще яснаго сокола.

По выходѣ замужъ моей сестры, домъ Мичурина утратилъ много изъ своей прежней веселости, и въ особенности, изъ порядочности. Характеръ Валерьяна Макарыча становился раздражительнѣе, привычки его — неряшливѣе, цинизмъ — грязнѣе. О подругѣ его жизни и говорить нечего. Это вышло подъ конецъ такое чудо-юдо, что, какъ говорится, «ни въ сказкѣ разсказать, ни во снѣ не видать, ни перомъ описать».

Сильно началъ скучать я въ деревнѣ. Потомъ подумалъ, погадалъ, да и рѣшилъ, что уже пора окончить свою праздную жизнь въ домѣ дяди, пребываніе въ которомъ не имѣло для меня болѣе ни цѣли, ни пріятности. Избытокъ тѣлесныхъ и душевныхъ силъ, энергія, жажда

полезной дѣятельности и отвращеніе отъ безцѣльной, праздной жизни,— все это тяготило, томило, мучило мою пылкую душу. И вотъ я снова простился съ родиною, съ родными и уѣхалъ въ Петербургъ. Но не легко придумать новое занятіе, трудно найти цѣль жизни тому, кто не былъ подготовленъ воспитаніемъ ни къ чему серьезному, дѣльному. Поэтому думалъ я, думалъ, чѣмъ бы заняться, и не придумалъ ничего лучшаго, какъ опять вступить на службу царскую, и въ прежній полкъ. Это было въ началѣ 1836.

Итакъ я снова въ Ораніенбаумѣ, снова въ кругу своихъ полковыхъ товарищей, которые приняли меня съ распростертыми объятіями. Знаменитая Аннета Гесслингъ расцвѣла еще пышнѣе прежняго, и продолжала кружить головы всѣмъ литовскимъ оберъ-офицерамъ. Крыжановскій не женился на ней: между нимъ и бывшимъ большимъ ребенкомъ проскочила черная кошка, въ образѣ одного изъ его полковыхъ товарищей, котораго называли «разбойникомъ», и который вздумалъ отбить невѣсту у моего саркастическаго друга. Ну, и отбилъ, съ помощью своихъ ухарскихъ манеръ, а еще болѣе—своей ухарской тройки, но не ума, котораго имѣлось у него въ приходѣ не больно много. И отбилъ онъ невѣсту у товарища не для того, чтобы самому жениться на ней, нѣтъ! А чтобы похвастать, удовлетворить свое мелочное самолюбіе, сказавши: — Такъ вотъ отбилъ же я невѣсту у Крыжановскаго; и затѣмъ повернуться спиною, дать тягу и засадить большаго ребенка въ дѣвы, которая однако же не переставала цвѣсти до тридцатилѣтняго возраста. И даже, при этой почтенной цифрѣ, не утратила своей привлекательности, и потому всетаки сдѣлала подъ конецъ *приличную партію*.

Вскорѣ по возвращеніи моемъ въ Ораніенбаумъ, я встрѣтился въ одномъ домѣ съ пышною ораніенбаумскою розою. Но упоительный ароматъ этого роскошнаго цвѣтка уже болѣе не дѣйствовалъ на мои здоровыя голову и сердце. Полтора года деревенской жизни вытрезвили меня совершенно. Я былъ чрезвычайно веселъ, развязенъ, разговорчивъ и любезенъ со всѣми дамами, въ томъ числѣ и съ Аннетою, передъ которою не только что божественную симфонію, но не намѣренъ былъ разыгрывать теперь и простаго трепака... Но вотъ одинъ изъ моихъ товарищей, вѣроятно желая меня сконфузить или только пощупать пульсъ у моего сердца, сказалъ мнѣ:

— А что Макаровъ! Какъ проводилъ ты время въ деревнѣ? Что тамъ дѣлалъ, о чемъ и о комъ думалъ? Надѣюсь, что ты не перемѣнилъ своихъ вѣрованій и *продолжаешь поклоняться нашему общем у*

божеству. Поэты и артисты рѣдко бываютъ ренегатами. И потому вѣроятно ты

«И днемъ и среди ночи
Все пѣлъ про ясны очи,
Про очи голубыя,
Про кудри золотыя.
И посреди полей
Ты все мечталъ *о ней*».

Спокойно и хладнокровно выслушалъ я пытательную тираду и стихоплетную импровизацію товарища. Въ отвѣтъ на все это, я взялъ лежавшую на столѣ какую-то книжечку: это были только-что изданныя «Стихотворенія Языкова». Я раскрылъ и попалъ прямо на одно, многознаменательное для меня въ настоящую минуту стихотвореніе, которое и прочиталъ «съ чувствомъ, съ толкомъ, съ разстановкой». А читая, поминутно взглядывалъ на Аннету. Вотъ окончаніе этихъ стиховъ:

«Смотрю съ улыбкою, какъ прежде,
Въ глаза кумиру моему.
Но я не вѣрю ужь надеждѣ,
Но я молюся—не ему».

— Браво, браво Макаровъ! — заговорили мои товарищи. — Ты мастерски читаешь стихи.

— Въ особенности тѣ, которые согласны съ настроеніемъ не прошедшихъ, а настоящихъ моихъ чувствъ и мыслей,—возразилъ я.

Что думала и чувствовала въ ту минуту Аннета, отказавшаяся когда-то слушать дивную симфонію геніальнаго виртуоза сердца, а впослѣдствіи позволившая плѣнять себя топорною музыкою обладателя ухарской гройки, который потомъ самъ же убѣжалъ изъ своего грошеваго концерта, даже не окончивъ балаганной піесы, затѣянной имъ единственно для того, чтобы обморочить и большаго ребенка, и почтеннѣйшую публику.

О, прекраснѣйшія половины рода человѣческаго! Ясны, зорки, проницательны бываютъ ваши прекрасные глаза, когда вы входите въ модный магазинъ. Мастерски, безъ ошибки умѣете выбирать себѣ наряды, выбирать то, что къ вамъ идетъ, что къ лицу. Но отъ чего же иногда добровольно надѣваете вы себѣ на глаза густую, непроницаемую повязку именно въ самую важную, въ самую торжественную минуту вашей жизни, когда предстоитъ вамъ выбирать не наряды, а... вѣрнаго

друга, прочную опору жизни, и когда слѣдуетъ смотрѣть въ оба глаза... Густая повязка, это ваше тщеславіе, ребяческое самолюбіе и, простите за откровенность,—зависть, которая грызетъ иногда ваши прекрасныя, нѣжныя сердца (нѣжныя, да далеко не у всѣхъ); грызетъ при видѣ пышныхъ нарядовъ, блестящихъ головныхъ уборовъ и щегольскихъ экипажей вашей прежней совоспитанницы, а теперешней жены начальника, или, сохрани Боже, жены подчиненнаго, вашего честолюбиваго, можетъ быть тароватаго, но не всегда богатаго папаши. И добро бы дѣлали вы ошибки въ выборѣ вслѣдствіе того, что иногда вамъ можетъ «понравиться сатана пуще яснаго сокола»... Но часто вамъ противенъ, гадокъ такой сатана, да больно нравится его щегольская карета и лихіе кони. Ну, и протягиваете ему вашу прелестную и превосходно гантированную ручку! А потомъ и плачете, или, что еще хуже, пускаетесь во всѣ тяжкія, и покупаете на *сатанинскія* денежки богатыя украшенія для головы: своей и вашего сожителя!

X.

Начало одно изъ романовъ въ романѣ.

Прошло пять мѣсяцевъ возобновленной моей военной жизни и въ судьбѣ моей началъ совершаться переворотъ. Но прежде нежели излагать исторію этого переворота, необходимо снова приняться за фотографію.

Кромѣ Крыжановскаго, съ которымъ я оставался въ тѣснѣйшей дружбѣ до самой его смерти, у меня былъ еще одинъ задушевный другъ Леонтьевъ, выпущенный изъ пажескаго корпуса въ 1832 году и бывшій двумя годами моложе меня. Сходство характеровъ, образа мыслей, понятій, чувствъ, правилъ, привычекъ и вкусовъ сблизилъ насъ, долго служившихъ къ тому же въ одной ротѣ и довольно долго жившихъ вмѣстѣ на одной квартирѣ; сблизили такъ, что мы не имѣли никакихъ тайнъ, скрытныхъ мыслей другъ для друга. И чувства, и мысли, и желанія, и горе, и радость, и мечты, и надежды, и нужда, и удовольствія,—все между нами было общее, все дѣлили пополамъ.

Менѣе энергиченъ и настойчивъ, менѣе пылокъ и страстенъ чѣмъ я, Леонтьевъ былъ также безусловно честенъ, безкорыстенъ, добръ, великодушенъ и имѣлъ прекрасный, веселый и самый уживчивый характеръ. Но у него не было ни страсти, ни способности къ музыкѣ. За то онъ

страстно любилъ рисованье, и могъ бы сдѣлаться отличнымъ акварелистомъ, если бы обладалъ моею настойчивостью и занимался своимъ любимымъ искусствомъ съ бо́льшею выдержанностію. Сверхъ того у него была сильнѣйшая страсть къ театру, къ декламаціи, такъ что онъ зналъ на память не только всѣ лучшіе монологи и тирады, но и цѣлыя сцены, цѣлые акты изъ извѣстныхъ лучшихъ трагедій, драмъ и комедій тогдашняго времени. Для него было величайшимъ наслажденіемъ, когда кто нибудь попроситъ его продекламировать какой нибудь монологъ.

Онъ былъ высокаго, стройнаго роста, превосходно сложенъ и, несмотря на неправильныя, славянскія черты лица, чрезвычайно красивъ собою и олицетворялъ молодость, здоровье, прямодушіе и мужскую отвагу. Душа общества, идолъ товарищей, онъ готовъ былъ броситься съ ними въ огонь и въ воду. И гдѣ находился Леонтьевъ, тамъ скука была невозможна.

«Любящіе другъ друга и ссорятся другъ съ другомъ», говорятъ въ одно время французскія и польскія пословицы («Qui s'aiment se querellent» и «Kto sie lubi ten sie czubi»).

Не буду разбирать, на сколько справедлива эта пословица; скажу только, что между Леонтьевымъ и мною, во все время нашей совмѣстной службы, не только не было ни разу ни малѣйшей ссоры, но и ни одного неудовольствія. А между тѣмъ дружбѣ этой предстояло сильнѣйшее испытаніе — любовь къ одной и той же и соперничество. Но какъ металлъ, который, проходя черезъ горнило и превращаясь въ сталь, дѣлается несравненно крѣпче и тверже, такъ и дружба двухъ товарищей не ослабѣла, а окрѣпла, пройдя черезъ горнило сердечнаго соперничества.

Тотчасъ же по прибытіи моемъ въ полкъ, я познакомился и сошелся очень близко съ однимъ молодымъ офицеромъ, Болтинымъ, выпущеннымъ изъ школы гвардейскихъ подпрапорщиковъ во время моей отставки. Это былъ добрый, честный, умный и лихой малый, хорошій товарищъ, но не изъ самыхъ ретивыхъ служакъ и далеко не изъ лучшихъ фронтовиковъ; а потому и удостоивался онъ, время отъ времени, командирскихъ распеканій, а, порою, и посидѣнія на гауптвахтѣ. Фронтовая служба рѣшительно не была его призваніемъ, что и доказалъ онъ впослѣдствіи весьма оригинальнымъ поступкомъ, которому едва ли будетъ другой примѣръ въ лѣтописяхъ гвардейской службы.

Живя въ Ораніенбаумѣ, Болтинъ часто ѣздилъ въ Кронштадтъ, подружился со многими моряками и вдругъ воспылалъ страстію къ морской службѣ. Но переходъ изъ пѣхоты во флотъ — вещь не легкая. Для

этого необходимо получить спеціальное образованіе, которое давалъ только одинъ морской корпусъ, но никакъ не школа подпрапорщиковъ. Болтинъ не убоялся бездны морской премудрости, и принялся, съ необыкновеннымъ рвеніемъ и настойчивостію, за изученіе теорім морской науки подъ руководствомъ одного изъ лучшихъ моряковъ (нынѣ контръ-адмирала Юхарина). Восемь мѣсяцевъ трудился онъ безъ устали, день и ночь, отказался отъ всѣхъ удовольствій и развлеченій, никуда, безъ крайней необходимости, не выходилъ изъ квартиры. Послѣ этого необыкновеннаго искуса, онъ съ полнымъ успѣхомъ сдалъ морской экзаменъ, и былъ переименованъ изъ гвардейскихъ подпоручиковъ прямо въ лейтенанты, т. е. получилъ одинъ лишній чинъ.

Родители Болтиныхъ, люди богатые, жили въ Нижегородской губерніи и имѣли большое семейство: шестерыхъ сыновей и двухъ дочерей. Послѣднія воспитывались въ Смольномъ монастырѣ, изъ котораго вышли именно въ то самое время, когда я, возвратясь изъ деревни, снова вступилъ на службу и познакомился съ ихъ братомъ, будущимъ моряком. Старшій ихъ братъ, получившій образованіе въ бывшемъ московскомъ университетскомъ пансіонѣ, служилъ тогда въ Петербургѣ въ одномъ изъ министерствъ.

Мать Болтиныхъ пріѣхала изъ деревни за дочерями и остановилась у старшаго сына, Аполлона Петровича. Она проживала въ Петербургѣ съ полгода, и въ это-то время завязался романъ въ ея семействѣ, романъ съ самыми интереснымі эпизодами, сюрпризами, запутанностями и неожиданностями, начавшійся быстро, да продолжавшійся пятнадцать мѣсяцевъ, и наконецъ окончившійся въ духѣ старинныхъ романовъ — женитьбою любящихся.

Задушевный мой другъ Леонтьевъ былъ тоже очень друженъ съ молодымъ Болтинымъ, съ которымъ жилъ тогда вмѣстѣ. Разумѣется, тотчасъ же по пріѣздѣ Болтиной въ Петербургъ и по выходѣ изъ Смольнаго ея дочерей, Леонтьевъ познакомился съ этимъ прекраснымъ, добрымъ и благороднымъ семействомъ. А вслѣдъ за нимъ и я познакомился съ Болтиными и жребій обоихъ друзей былъ брошенъ: и тотъ и другой страстно влюбились въ младшую сестру.

Александра Петровна Болтина была одною изъ прекраснѣйшихъ и весьма рѣдкихъ женскихъ созданій, которыя, время отъ времени, являются на землѣ съ высокимъ назначеніемъ: поддержать и укрѣпить слабѣющую по временамъ вѣру въ *настоящую женщину*, т. е. дѣйствительность ея высокаго значенія въ цивилизованномъ обществѣ, и въ отношеніи нравственномъ, гражданскомъ и гуманномъ. Однимъ словомъ:

распространить и укрѣпить въ массахъ вѣру, что женщина призвана въ жизни не для того только, чтобы продолжать родъ человѣческій, но чтобы, съ тѣмъ вмѣстѣ, черезъ полученіе гражданской полноправности и черезъ обаятельное содѣйствіе, исправлять, улучшать, облагораживать нашу расу, выпрямлять исконную кривизну нѣкоторыхъ членовъ, и вылечивать застарѣлыя, средневѣковыя болячки и язвы этой, то кичливой и самонадѣянной, то трусливой и ползающей расы.

Александрѣ Петровнѣ было тогда восемнадцать лѣтъ. При высокомъ, стройномъ ростѣ и дивной таліи, при широкихъ, артистически-заокругленныхъ плечахъ и лебединой шеѣ, у нее была привлекательная головка, но которая поражала и очаровывала не столько физическою красотою, какъ отраженіемъ высокой душевной, нравственной красоты, заставлявшей блѣднѣть передъ собою, ступевываться и отодвигать на второй планъ всякую физическую красоту. Черные, но не какъ смоль, а съ каштановымъ отливомъ, густые, длинные и шелковистые волосы вѣнчали эту прекрасную головку. Большіе сѣрые и чудной формы глаза, то веселые, живые, добрые ; то гордые и слегка насмѣшливые, или порою задумчивые, выражали сознаніе своего собственнаго достоинства, умъ и дѣвственную непорочность мыслей и желаній. Высокое чело, прямой носъ и всѣ остальныя черты лица были до того закончены и пропорціональны между собою, что самый талантливый и строгій художникъ не нашелъ бы возможности прибавить къ нимъ, или убавить у нихъ что нибудь.

Александра Петровна была умна. Но умъ ея не поражалъ бойкостію, часто не женскою, а былъ необыкновенно ясенъ, положителенъ, остороженъ и нѣсколько костиченъ, но только въ самомъ аттическомъ значеніи послѣдняго эпитета. Да! Александрина Болтина была очень умна. Но не мотала, не транжирила этого ума на безполезныя хотя и блестящія бездѣлушки, на пустую болтовню, и не любила щеголять имъ, выставлять его на показъ. Нѣтъ! она постоянно сдерживала этотъ свѣтлый, здоровый и острый умъ; и только, когда это было необходимо, выказывала все его богатство, всю его остроту и мѣткость.

Сердце у Александры Петровны было неоцѣненное сокровище, одинъ изъ тѣхъ кладовъ, которые, при настоящихъ эгоизмѣ, скептицизмѣ и стремленіи къ однимъ матеріальнымъ благамъ, становятся все рѣже и рѣже, и готовы скоро совсѣмъ исчезнуть изъ среды щепетильнаго, меркантильнаго, развращеннаго и прокаженнаго, такъ называемаго «моднаго свѣта». Сердце у Александрины Болтиной было до безконечности, до невѣроятности доброе, сострадательное и великодушное. Съ радостію по-

могла бы она въ нуждѣ самому злому своему врагу; но только враговъ у нея не было. Готова была отдать голодному послѣдній свой кусокъ, а сама голодать; оторвать половину своей одежды, чтобы прикрыть наготу попавшагося ей на глаза бѣдняка. Характеръ у младшей Болтиной былъ очарователенъ: благороднѣйшій, безусловно честный, прямой, но болѣе сосредоточенный, нежели изліятельный, кроткій, веселый и чрезвычайно ровный, безъ всякихъ скачковъ, безъ дикихъ переходовъ изъ веселости въ печаль, изъ слезъ въ хохотъ, однимъ словомъ: безъ малѣйшихъ крайностей, которыхъ она не терпѣла и всячески избѣгала. Сверхъ того она была одарена рѣдкимъ постоянствомъ чувствъ: не легко, не скоро кого полюбитъ; но полюбивши разъ, уже никогда не измѣняетъ своихъ чувствъ, своего расположенія, всегда ровнаго, одинаковаго и въ прочность котораго можно было вѣрить слѣпо. А въ довершеніе всего, она была превосходная музыкантша. Ученица Герке, она прекрасно играла на фортепьяно; и обладая высокимъ, звучнымъ, серебристымъ сопрано, училась у Кавоса и пѣла очаровательно, пѣла и итальянскую, и французскую, и русскую музыку. — Но не легко уловить и передать здѣсь всѣ оттѣнки этого идеально-прекраснаго женскаго характера, этой роскошно-богатой женской натуры.

Вотъ какова была Александрина Болтина, которая явилась и заблистала яркимъ маякомъ въ жизни двухъ молодыхъ друзей.

XI.

Тише ѣдешь, дальше будешь.

Итакъ, задушевные друзья, я и Леонтьевъ, устремились по одной дорогѣ, къ одной цѣли, но только не съ одинаковою скоростію.

Полный надеждъ на успѣхъ, надеждъ, порожденныхъ тѣсною дружбою съ братьями Александрины Болтиной и сознаніемъ собственнаго своего достоинства, Леонтьевъ пошелъ быстро, бѣглымъ шагомъ къ своей цѣли, т. е. къ завоеванію сердца очаровательной смолянки. Онъ безпрестанно ѣздилъ изъ Ораніенбаума въ Петербургъ, и цѣлые дни проводилъ въ семействѣ Болтиныхъ; былъ до нельзя любезенъ и милъ и всѣми силами *старался понравиться*.

Что же касается меня, то, наученный прежними неудачами и пріобрѣтя нѣкоторую опытность въ дѣлахъ сердца, я сдѣлался еще болѣе недовѣрчивъ къ самому себѣ и къ своей судьбѣ, былъ крайне осторо-

женъ и, отдавая полную справедливость блестящей наружности своего друга и соперника, не выдвигался впередъ, а напротивъ: оставался на второмъ планѣ, держалъ себя на привязи, на возжахъ, глубоко спряталъ въ своемъ сердцѣ страстную любовь къ Александринѣ Болтиной, и уже нисколько *не старался понравиться*. Я уже зналъ, что чѣмъ болѣе мужчина старается понравиться женщинѣ, тѣмъ менѣе имѣетъ онъ шансовъ успѣть въ этомъ. И наоборотъ. Вслѣдствіе всего этого, я добровольно отказался отъ состязанія съ опаснымъ соперникомъ, которому даже желалъ полнаго успѣха и счастія, и потому очень рѣдко посѣщалъ семейство Болтиныхъ. Я страдалъ молча и надѣялся только на то, что самая безнадежность потушитъ со временемъ страсть въ моемъ сердцѣ. Итакъ, вполнѣ обдумавъ и сообразивъ мое положеніе, я начерталъ себѣ планъ дѣйствій и путь для дальнѣйшаго слѣдованія по лабиринту жизни, и все это опредѣлилъ, сжалъ въ слѣдующей формулѣ:

«Надѣяться, страдать молча, не спѣшить, выжидать и потомъ, если это будетъ необходимо, дѣйствовать быстро, стремительно».

Прошло два мѣсяца отъ начала сердечной кампаніи двухъ друзей. Гвардія стояла уже въ лагерѣ подъ Краснымъ селомъ. По мѣрѣ приближенія къ развязкѣ, Леонтьевъ дѣлался все грустнѣе и мрачнѣе. Первоначальная его самоувѣренность слабѣла, исчезала со всякимъ днемъ. Я же напротивъ, не грустилъ, не приходилъ въ отчаяніе, потому что не имѣлъ никакихъ надеждъ; былъ по возможности спокоенъ, нормаленъ, даже веселъ, и утѣшалъ своего друга, поддерживалъ въ немъ слабѣющія надежды на успѣхъ, говоря, что не можетъ не нравиться такой прекрасный мужчина, какъ онъ. И Леонтьевъ рѣшился наконецъ сдѣлать предложеніе, но не самъ лично, а черезъ брата Александрины.

Два дня спустя послѣ того, и тотчасъ по пробитіи вечерней зори, послышался въ лагерѣ колокольчикъ, и почтовая тройка подъѣхала къ палаткѣ Леонтьева. Съ телѣги спрыгнулъ индивидуумъ въ чекменѣ, подпоясанный ремнемъ, въ широкихъ плисовыхъ шароварахъ и въ папахѣ. Индивидуумъ этотъ имѣлъ около тридцати лѣтъ, длиннѣйшіе бурые усы и самую ухарскую, забулдыжную физіономію. Палатка моя стояла возлѣ палатки Леонтьева, и потому, вслѣдъ за тѣмъ, какъ остановилась почтовая тройка, я услышалъ слѣдующія восклицанія:

— Здравствуй, *Михрюта!*

— Здравствуй, Леонтьевъ!

И затѣмъ говорящіе вошли въ палатку, и я могъ лишь догадываться о предметѣ разговора въ палаткѣ.

Пріѣзжій господинъ былъ нѣкто Михайло Николаичъ Денисьевъ, отставной корнетъ, добрый малый, но первоклассный кутило, забулдыга, мотыга, пьянчуга и двоюродный племянникъ матери Болтиныхъ, женщины идеально-доброй и благородной. Прозванный, не знаю почему, *Михрютою*, онъ жилъ у тетки въ качествѣ прихлебателя и почетнаго бандуриста, потому что любилъ попѣть цыганскія и ямщицкія пѣсенки, побрянчать на гитаришкѣ, а еще болѣе попить, и попить въ волюшку, когда являлся удобный къ тому случай. На этотъ разъ онъ былъ вѣстникомъ любви, но только отрицательнымъ.

Я нисколько не сомнѣвался въ томъ, что Михрюта привезъ благопріятный отвѣтъ на предложеніе Леонтьева. Поэтому я очень удивился, когда, по прошествіи получаса, колокольчикъ снова зазвенѣлъ, и почтовая тройка помчалась обратно въ Петербургъ, увозя съ собою забулдыжнаго Михрюту, который уже не впервые посѣщалъ лагерь, гдѣ гостилъ прежде по нѣсколько дней. Но я не пошелъ тотчасъ же къ своему другу — поздравить его съ успѣхомъ, а отложилъ это до завтра.

На другое утро, часовъ въ восемь, я вхожу въ палатку къ Леонтьеву, который сидѣлъ у стола, опершись головою на обѣ руки, и съ самымъ мрачнымъ, отчаяннымъ выраженіемъ лица. Я все понялъ и потому не распрашивалъ ни о чемъ.

— Душевно жалѣю о тебѣ, cher Pierre? Жалѣю потому, что отъ всего сердца желалъ я тебѣ полнаго успѣха и счастія, — заговорилъ я глубоко взволнованнымъ голосомъ и сжимая въ своихъ рукахъ руку друга.

— Вѣрю и благодарю..... Для меня все кончено..... Но надѣюсь, что не долго буду страдать... Поскорѣе туда, на Кавказъ, къ черкесскимъ шашкамъ и пулямъ, которыя прекратятъ мои страданія.

«Мнѣ душно здѣсь; я въ лѣсъ хочу»...

Потомъ, немного помолчавъ и по старой страсти и привычкѣ къ декламаціи, Леонтьевъ прибавилъ:

«Сѣдлайся вновь конь крѣпкій мой!
Затѣмъ снова жизнь степную;
Мнѣ опостылъ аулъ родной,
Я въ немъ безъ пользы истоскую».

И такъ далѣе до слѣдующаго куплета, который продекламировалъ онъ съ необыкновеннымъ чувствомъ и со слезами въ голосѣ:

«Но сакли гордая краса
Не поняла любви свободной;
И пламенный, какъ небеса,
Я презрѣнъ дѣвою холодной»!

Но далѣе не могъ: зарыдалъ и закрылъ себѣ лице руками.

Я вышелъ изъ палатки Леонтьева.

Дня черезъ два послѣ визита Михрюты, рано по утру и еще въ халатѣ, сверхъ котораго набросилъ шинель, пробирался я изъ перваго въ третій батальонъ. На половинѣ дороги меня остановили слова, раздавшіяся изъ одной палатки:

— Макаровъ, Макаровъ! Иди ко мнѣ поскорѣе; я имѣю сообщить тебѣ очень важную вещь.

Это говорилъ одинъ изъ моихъ товарищей, поручикъ Плавскій, дамскій любезникъ въ родѣ солигалицкаго Зыкова, и добрѣйшая изъ добрѣйшихъ душъ, котораго невозможно было ни чѣмъ разсердить и котораго, поэтому, называли — «человѣкъ добраго сердца». Онъ тоже былъ знакомъ съ семействомъ Болтиныхъ.

Я вошелъ въ палатку къ Плавскому.

— Садись и слушай, — сказалъ человѣкъ добраго сердца, протягивая мнѣ руку. — Ты знаешь, что Леонтьевъ дѣлалъ предложеніе Александринѣ Болтиной?

— И что ему отказали. Знаю, — досказалъ я.

— А знаешь ли, почему отказали?

— Потому, что не понравился Александринѣ.

— И еще потому, что ей другой нравится.

— Этого я еще не зналъ.

— Стало быть ты не знаешь и того, кто ей нравится?

— Не знаю.

— Ну, а какъ ты думаешь? Кто ей нравится?

— Вѣроятно Сергѣй Озеровъ; онъ такъ остроуменъ и ловокъ.

— Не угадалъ. Отгадывай сызнова.

— Въ такомъ случаѣ вѣроятно — ты? Ты всегда такъ любезенъ и милъ съ дамами.

— Полно шутить! Куда мнѣ!... А понравился Александринѣ Болтиной нѣкто Николай Петровичъ Макаровъ... Знакомъ ты съ нимъ?

Я едва усидѣлъ на стулѣ. Хотя не вполнѣ еще вѣрилъ я своему счастію, но у меня кружилась голова, въ которую врывались потоки ослѣпительно-яркаго свѣта и тепла; и потомъ изъ головы устремились въ сердце, согрѣли его, разлились по всѣму тѣлу, вскипятили молодую и безъ того горячую кровь, и отразились сладкимъ трепетомъ на всемъ моемъ организмѣ. Но я скрылъ въ себѣ всѣ разнородныя ощущенія, возбужденныя во мнѣ неожиданнымъ извѣстіемъ, и нисколько не мѣняясь въ лицѣ, ни въ голосѣ, отвѣчалъ человѣку добраго сердца:

— Перестань шутить!... Съ чувствами не шутятъ и сердцемъ не играютъ.

— Я говорю тебѣ не шутя, а какъ честный человѣкъ и какъ добрый товарищъ; говорю тебѣ святую правду и передаю то, что я слышалъ вчера въ Петербургѣ отъ Михрюты. И вотъ тебѣ мой дружескій совѣтъ: «куй желѣзо пока горячо», и лови счастіе, которое видимо посылаетъ тебѣ благодѣтельная судьба. Тебѣ предстоитъ сдѣлать прекрасную партію. Семейство Болтиныхъ добрѣйшее, благороднѣйшее, чудное семейство; Александрина — воплощенный ангелъ доброты, кротости, ума и самой симпатической красоты: съ ней всякій будетъ счастливъ. Сегодня же, сейчасъ же отпросись въ Петербургъ, благо что послѣ маневровъ намъ дали отдыхъ на цѣлую недѣлю. Въ Петербургѣ пріѣзжай прямо къ Болтинымъ, которые, вѣроятно, оставятъ тебя у себя. Квартира у нихъ большая. И сейчасъ же дѣлай предложеніе: ручаюсь, что отказа не будетъ.

Я вышелъ отъ Плавскаго въ жару горячки, удалился въ свою палатку, цѣлый день никуда не выходилъ, ни съ кѣмъ не говорилъ, даже никого не видалъ, ничего не ѣлъ и не пилъ, а лежалъ неподвижно на кровати и мечталъ, бредилъ. Это былъ огромный пожаръ сердца, воображенія, чувствъ, ума, крови, всѣхъ нравственныхъ и физическихъ органовъ. Ночь провелъ я тоже въ бреду и безъ сна. На другое утро отпросился у батальоннаго командира изъ лагеря на нѣсколько дней и, не сказавъ ни кому ни слова о своихъ намѣреніяхъ, ни даже о поѣздкѣ въ Петербургъ, мчался туда стремглавъ на ухарской тройкѣ, и пріѣхавъ, остановился не тамъ, гдѣ я всегда останавливался, не у моей тетки, княгини Волконской, жившей на Захарьевской, а у Болтиныхъ, на Сергіевской. Я былъ принятъ чрезвычайно радушно. Михрюта же встрѣтилъ меня еще на дворѣ, у подъѣзда, когда я слѣзалъ съ телѣги, и не прямо, а разными иносказаніями и перифразами успѣлъ вдохнуть въ меня самыя отрадныя надежды, а за ними и рѣшимость къ смѣлымъ и быстрымъ дѣйствіямъ. На другой же день утромъ я

объяснился сперва съ братьями, потомъ съ матерью, получилъ ея согласіе и затѣмъ былъ уполномоченъ ими, сдѣлать предложеніе Александринѣ.

Но такъ какъ день былъ воскресный, то я отложилъ эту церемонію часа на два, и прежде отправился съ семействомъ Болтиныхъ къ обѣднѣ. ко Всѣмъ Святымъ, что близъ Воскресенскаго проспекта. Едва успѣлъ я помѣститься въ церкви позади Болтиныхъ, матери и двухъ дочерей, какъ очутилась возлѣ меня тетка и съ тремя княжнами.

— Николай! ты здѣсь? давно ли изъ лагеря? — спросила она меня.

— Говорить вамъ правду, ma tante?

— Говори, говори.

— Я пріѣхалъ сюда вчера.

— Вчера!... И остановился не у насъ!... Даже и не былъ у насъ!... Хорошъ племянничекъ!... Вѣрно у своихъ Болтиныхъ пропадаешь?

— Ахъ, ma tante! Не сердитесь, а лучше помолитесь за меня: вѣдь я хочу жениться, — сказалъ я шепотомъ.

— Жениться! на комъ?... на Болтиной?

— Угадали. Вотъ моя невѣста, впереди стоитъ съ матерью и съ сестрою, — сказалъ я теткѣ на ухо. — Я получилъ уже согласіе матери, съ Александриною еще не объяснялся: отложилъ сдѣлать это послѣ обѣдни. Помолитесь, чтобы не было отказа. Въ эту минуту младшая Болтина оглянулась назадъ, и княгиня успѣла пристально ее осмотрѣть.

— Поздравляю, поздравляю. Что за прелесть! Какія дивныя плечи и талія, и что за глаза. Ну, у тебя недурной вкусъ, — проговорила княгиня шепотомъ. — Теперь я на тебя не въ претензіи, что не у насъ остановился. Только забѣги къ намъ, голубчикъ, хоть на минуточку,— поразсказать о себѣ.

Возвратясь изъ церкви, на меня напала робость. Я усадилъ Александрину за рояль. Она превосходно съиграла блестящія варіаціи Герца, тогдашняго моднаго фортепіаннаго композитора. Музыка возвратила мнѣ бодрость и я сдѣлалъ предложеніе. Съ очаровательною, ангельскою улыбкою Александрина протянула мнѣ свою ручку, и тотчасъ же почувствовала на ней огненный поцѣлуй счастливца, передъ которымъ такъ неожиданно отворялись двери лучшаго изъ раевъ — рая счастливой семейной жизни.

Такъ кончилась первая часть одного изъ романовъ въ романѣ. Но до настоящаго конца было еще очень далеко, какъ это скоро увидимъ.

XII.

Что скоро, то не споро.

— Что cher Pierre? Успокоился ли ты наконецъ? Поддается ли убѣжденіямъ разсудка твое сердечное горе? Будь же опять тѣмъ, чѣмъ ты былъ прежде: смѣлымъ, отважнымъ мужчиною, а не слабымъ и робкимъ ребенкомъ. Повѣрь что:

«Сердце въ будущемъ живетъ,
Настоящее уныло,
Все мгновенно, все пройдетъ,
Что пройдетъ, то будетъ мило».

Такъ говорилъ я, возвратившись изъ Петербурга, и войдя въ палатку Леонтьева. Онъ молчалъ, но былъ уже менѣе мраченъ, чѣмъ послѣ извѣстнаго къ нему визита Михрюты. Замѣтно было, что жгучая боль въ его сердцѣ начала притупляться. Я снова заговорилъ:

— Послушай меня, Pierre? Вотъ уже пятый годъ, какъ мы сошлись другъ съ другомъ и живемъ душа въ душу. Никто, ничто и ни разу не нарушало полнаго между нами согласія. Вѣришь ли ты, что я дорожу, и знаешь ли, какъ много дорожу я твоею дружбою?

— И вѣрю, и знаю и плачу тебѣ тѣмъ же, — отвѣчалъ наконецъ Леонтьевъ.

— И ты никогда не измѣнишься, не охладѣешь ко мнѣ, *не возненавидишь меня*?

— Сохрани Боже! Съ чего это приходятъ тебѣ такія мысли? Чѣмъ заслужилъ я такое сомнѣніе?

— Ну, а если я влюблюсь въ Александрину Болтину?

— Такъ что-жъ! Ты имѣешь на это полное право.

— А если я вздумаю сдѣлать ей предложеніе?

— И въ этомъ никто не можетъ помѣшать тебѣ.

— Ну, а если предложеніе мое было бы принято и я сдѣлался бы женихомъ божественной Саши Болтиной. И тогда не пересталъ бы быть моимъ другомъ?

— Могу ли я на тебя сердиться за то, что ты желалъ, искалъ и успѣлъ найти себѣ счастіе?

— Итакъ узнай же, другъ, что я уже сдѣлалъ Александринѣ предложеніе, которое она приняла, и насъ помолвили. Не сердись на меня, Pierre! Прости и не лишай меня твоей дружбы.

Громадно было впечатлѣніе, произведенное на Леонтьева извѣстіемъ о событіи, котораго онъ никакъ не ожидалъ. Хотя и безнадежная, отвергнутая, но все еще сильная любовь его къ Болтиной, снова заговорила въ его сердцѣ и наполнила его невыразимою, жгучею тоскою и ревностію. Но борьба эта была коротка. Великодушіе и дружба побѣдили мучительную ревность: Леонтьевъ, рыдая, бросился мнѣ на шею и произнесъ глубоко растроганнымъ голосомъ:

— Поздравляю тебя, cher Nicolas! И отъ всей души желаю тебѣ полнаго счастія. Вѣрь искренности моихъ тебѣ желаній и неизмѣнной къ тебѣ дружбѣ. Вѣдь мнѣ не будетъ легче отъ того, что никто на ней не женится. Если не судьба мнѣ быть мужемъ чудной, восхитительной Саши, такъ ужъ лучше пусть же она достанется другу, чѣмъ какому нибудь нижегородскому помѣщику. Мысль о твоемъ счастіи примиритъ меня съ моими собственными неудачами и горемъ.

Тяжелая гора спала у меня съ сердца и съ совѣсти послѣ этого объясненія, и я уже могъ предаться самому полному и безукоризненному, но не безоблачному счастію. Ослѣпительно ярко заблистало надъ моей головою солнце взаимной любви, и затопило волнами неизрѣченнаго блаженства все мое существо. Но вскорѣ подулъ восточный вѣтеръ и нагналъ изъ нижегородской губерніи черныя тучи, которыя надолго заслонили собою солнце взаимной любви и счастія, и лишили меня горячихъ, живительныхъ лучей этого невещественнаго и прекраснаго свѣтила.

Въ отношеніи службы, мнѣ удалось устроить дѣло такъ, что меня назначили адъютантомъ въ сводную бригаду, посланную въ Петербургъ для занятія карауловъ во время стоянки гвардейскихъ войскъ въ лагерѣ. Такимъ образомъ я всякій день бывалъ у Болтиныхъ, и все болѣе и болѣе узналъ, цѣнилъ и любилъ сокровище, которое дарило мнѣ Провидѣніе, и съ каждымъ днемъ все сильнѣе и сильнѣе прилѣплялся къ своему божеству.

Прошло дней десять, какъ я сдѣлался женихомъ очаровательной Александрины Болтиной, и былъ счастливъ до невѣроятія, до невозможности. Неожиданность удваиваетъ счастіе, тогда какъ отъ продолжительной борьбы съ препятствіями и отъ истомы долгаго и безплоднаго желанія, счастіе это блекнетъ, изнашивается и хилѣетъ прежде, нежели оно достанется во владѣніе. «Ce n'est pas le plaisir, mais le désir qui use», сказалъ Теофиль Готье, и сказалъ великую правду. Вотъ почему счастіе мое, какъ человѣка, не утомленнаго ни безплодными надеждами, ни преждевременными желаніями, ни борьбою, было

громадно, необъятно и прекрасно, какъ небосклонъ во время безоблачнаго весенняго полудня. Но счастіе это было уже черезчуръ скороспѣло для того, чтобы быть прочнымъ. Восхитительную недѣлю провелъ я у моего божества, въ восторженныхъ излiяніяхъ безпредѣльной благодарности и страстной любви, удвоиваемой взаимностію. И вдругъ, послѣ всѣхъ объясненій, признаній, предложеній и согласія, послѣ священнаго слова «люблю», произнесеннаго обѣими сторонами, я почувствовалъ, что меня стали дергать за полы, тянуть назадъ и шептать мнѣ надъ ухомъ: «Атанде-съ! *Не ву горячe па!* Умѣрьте ваши восторги»!... Дѣло, изволите видѣть, было вотъ въ чемъ.

По весьма извѣстной пословицѣ «русскій заднимъ умомъ крѣпокъ», мать и братья невѣсты, принявъ мое предложеніе, дозволивъ мнѣ объясниться и получить согласіе Александрины, спохватились, что прежде всего слѣдовало написать къ отцу, жившему въ нижегородской губернiи, просить у него согласіе на принятіе моего предложенія, и уже, по полученiи этого согласія, позволить мнѣ дѣлать предложеніе. Но ошибка была сдѣлана, и «дерганьемъ жениха за полы» поправить ее было невозможно. За такое дерганье я едва не поплатился жизнію.

Какъ уже замѣчено мною, я былъ чрезвычайно чувствителенъ, впечатлителенъ и воспрiимчивъ. Все, что сильно интересовало и трогало мое сердце и душу, все это при какомъ нибудь неожиданномъ переворотѣ, ударѣ, сейчасъ же падало на меня съ удвоенною тяжестію, и не только нравственно, но потрясало и весь мой физическій организмъ. Въ особенности же необходимость затаить свое горе отражалась тотчасъ же и самымъ гибельнымъ образомъ на моемъ здоровьи. То же самое случилось со мною и въ этотъ разъ. Послѣ нѣкоторыхъ весьма тяжелыхъ и непрiятныхъ объясненій и сценъ съ братьями моей невѣсты, я возвратился домой мрачный и убитый. Сосредоточенность горя и нравственныхъ страданій, тщательно мною скрываемыхъ отъ товарищей, тотчасъ же обнаружила свое тлетворное вліяніе и уложила меня въ постель. У меня сдѣлалось сильнѣйшее воспаленіе въ желудкѣ; и только одно скорое медицинское пособіе и самыя энергическія средства спасли меня отъ смерти, которая уже готовилась наложить на меня свою ледяную, губительную руку.

Итакъ я воскресъ, и выздоровѣлъ для того, чтобы любить, быть любимымъ и все-таки страдать, страдать въ продолженiи восьми мѣсяцевъ. Но сколько героизма и поэзіи было въ этихъ продолжительныхъ страданіяхъ, какъ со стороны жениха, такъ и невѣсты, которая высказала всю красоту своей души, все благородство своего сердца и съ тѣмъ

вмѣстѣ необыкновенные мужество, постоянство чувствъ и стойкость характера въ борьбѣ съ препятствіями, порожденными скороспѣлостію перваго успѣха и родительскимъ упрямствомъ. Вскорѣ послѣ моей тяжелой болѣзни, получено было письмо отъ отца Александры Петровны. Онъ писалъ между прочимъ:

«Я такъ давно не видалъ мою дочь, и потому не могу согласиться на предложеніе, сдѣланное ей г. Макаровымъ, прежде чѣмъ не увижусь и не переговорю съ нею».

Коротко, но не совсѣмъ ясно.

Недѣли двѣ послѣ того, Болтина съ дочерьми уѣхала изъ Петербурга къ мужу. Солнце мое закатилось, и для меня наступила ночь, длинная, темная, холодная. А спустя еще четыре мѣсяца, въ декабрѣ 1836 года, ко мнѣ явился старшій Болтинъ и объявилъ, что онъ получилъ отъ отца письмо, въ которомъ между прочимъ значилось:

«Не могу согласиться на бракъ моей дочери съ г. Макаровымъ, потому что дочь моя слишкомъ молода».

На этотъ разъ было и коротко, и ясно, но не утѣшительно.

Въ то время я жилъ уже въ Петербургѣ. Ораніенбаумская стоянка окончилась и, по выходѣ изъ лагеря, литовскій полкъ вступилъ въ Петербургъ, въ новыя казармы, что на Выборгской сторонѣ. Я стоялъ тамъ вмѣстѣ съ Леонтьевымъ, который на Кавказъ не уѣхалъ, и дружба съ которымъ не ослабѣла, а усилилась. На этотъ разъ друзья помѣнялись ролями: Леонтьеву пришлось утѣшать Макарова со всею силою краснорѣчія дружбы. Но громовый ударъ изъ тучи родительскаго упрямства, прилетѣвшій съ востока, былъ слишкомъ силенъ, чтобы не произвести разрушенія. Я снова свалился и долго пролежалъ въ постели между жизнію и смертію. Молодость пересилила. Но на этотъ разъ я только полувоскресъ: изъ тяжелаго недуга перешелъ въ мрачную ипохондрію, и затѣмъ впалъ въ апатію.

Положеніе мое было невыносимо! Оно заключало въ себѣ опасность помѣшательства. Необходима была для меня какая нибудь перемѣна мѣста, жизни, привычекъ. Надо было чѣмъ нибудь меня разшевелить, растолкать для того, чтобы я окончательно не заснулъ, не окоченѣлъ, не замерзъ въ ледяной атмосферѣ безнадежности и безвыходности. «Перемѣнить родъ службы и мѣстожительства, перейти въ армейскую кавалерію и уѣхать въ провинцію, подальше отъ Петербурга, гдѣ все напоминало объ утраченномъ счастіи, все растравляло раны сердца». Вотъ на что рѣшился я, которому тоже пришлось продекламировать:

«Я въ лѣсъ хочу, мнѣ душно здѣсь»!

Задумано и сдѣлано.

Въ это время Россія понесла грозную, невознаградимую утрату. 29 января, въ день рожденія покойнаго великаго князя Михаила Павловича, я находился на разводѣ въ Михайловскомъ манежѣ, и услышалъ тамъ роковую вѣсть о поединкѣ нашего великаго народнаго поэта. А дня черезъ два послѣ того, въ одномъ изъ тогдашнихъ журналовъ было напечатано, окаймленное въ черную, траурную рамку, слѣдующее страшное извѣстіе:

«Солнце русской поэзіи закатилось: Пушкина не стало».

Горько заплакалъ я, такъ глубоко, такъ высоко и свято чтилъ я геній величайшаго, остроумнѣйшаго и благороднѣйшаго изъ русскихъ поэтовъ; такъ болѣзненна была для меня эта утрата. Я поспѣшилъ въ квартиру усопшаго сѣвернаго барда — проститься съ его бренными останками. Это было гдѣ-то близъ Конюшенной, кажется на Мойкѣ, въ нижнемъ этажѣ. Посѣтители входили и выходили изъ небольшой комнаты, среди которой на столѣ стоялъ открытый гробъ поэта. Въ сторонѣ, на возвышеніи, сидѣлъ какой-то художникъ и снималъ портретъ съ покойнаго. Сильное впечатлѣніе произвело на меня блѣдное лицо усопшаго, на которомъ, казалось, остались слѣды предсмертныхъ страданій и неотмщеннаго оскорбленія... Дня черезъ два затѣмъ я присутствовалъ на похоронахъ великаго поэта. Похороны эти памятны многимъ изъ тогдашнихъ жителей, для которыхъ особенно была горестна преждевременная кончина великаго поэта...

На другой же день этихъ похоронъ я подалъ прошеніе о переводѣ меня въ рижскій драгунскій полкъ, квартировавшій въ одной изъ отдаленныхъ губерній. Жизнь въ Петербургѣ сдѣлалась для меня еще мрачнѣе, грязнѣе, холоднѣе, нестерпимѣе.

XIII.

Не надуешь!

Я ожидалъ своего перевода, который, однако жъ, послѣдовалъ гораздо позднѣе. Начальникъ нашъ, В. Кн. Михаилъ Павловичъ, путешествовалъ тогда по Европѣ, и потому прошеніе мое, отправленное за границу, все гонялось за начальникомъ изъ одного мѣста въ другое, и только въ іюнѣ догнало его и было подписано. Между тѣмъ сила и постоянство *любви*, какія выказала Александра Петровна Болтина въ продолженіи

длинной разлуки съ бывшимъ своимъ женихомъ, подѣйствовали на упрямаго старика, ея отца. Вскорѣ послѣ поданія прошенія о переводѣ въ армію, я получилъ письмо отъ стараго Болтина, который писалъ, что: «убѣдившись въ искренной и глубокой любви ко мнѣ его дочери, онъ даетъ свое согласіе на бракъ ея со мною».

Невообразимо было мое счастіе. Сейчасъ узналъ объ этомъ весь полкъ. Полковой командиръ поспѣшилъ прислать ко мнѣ полковаго адъютанта, чтобы уговорить меня взять назадъ мое прошеніе о переводѣ въ армію. Но я не согласился на это. «Видно ужъ такъ назначено мнѣ судьбою — подумалъ я, — и счастіе мое состоитъ въ связи съ этимъ переводомъ». Получа дозволеніе жениться и при томъ двадцати-восьми-дневный отпускъ, я, въ половинѣ апрѣля, оставилъ Петербургъ, ѣхалъ на перекладныхъ день и ночь, въ самую весеннюю распутицу, и наканунѣ Свѣтлаго праздника, за часъ до заутрени, прибылъ въ село Едѣлево, имѣніе отца Болтиныхъ. Не буду описывать этого пріѣзда: у меня нѣтъ достаточно ни красокъ, ни искусства, чтобы, хотя приблизительно, изобразить то счастіе, которое досталось на долю жениха и невѣсты, и которое они вполнѣ заслужили, — выстрадали. Тяжелъ былъ ихъ искусъ, продолжительны страданія! Но и награда за это была великолѣпная. Черезъ два дня послѣ моего пріѣзда, происходили сговоры и обрученіе мои съ Александрою Петровною. А вскорѣ затѣмъ я былъ унесенъ на седьмое небо первымъ поцѣлуемъ любви и обмѣномъ мѣстоименій *ты*, этими сердечными кольцами и обрученіемъ. Чувствовалъ и цѣнилъ я свое счастіе тѣмъ болѣе, что передъ тѣмъ узналъ объ одной весьма странной характеристической чертѣ фамиліи Болтиныхъ: не позволять дочерямъ выходить замужъ, и засаживать ихъ въ старыя дѣвы. Эта черта сохранилась въ родѣ Болтиныхъ и дошла до отца Александры Петровны. Поэтому всѣ его родные и знакомые удивлялись, что меньшой Болтиной дозволено было выдти за меня, тогда какъ ея старшая сестра навсегда потомъ осталась въ дѣвушкахъ, хотя имѣла прекраснаго жениха, которому отказали.

Итакъ, вмѣсто описанія встрѣчи любящихся и восторговъ любви, столько разъ уже описанныхъ господами беллетристами, займусь мѣстнымъ колоритомъ и характеристикою тѣхъ лицъ, съ которыми приходилось мнѣ встрѣчаться въ нижегородской губерніи. Начну съ хозяна дома, Петра Александровича Болтина.

Домъ Болтиныхъ принадлежалъ къ однимъ изъ самыхъ старинныхъ дворянскихъ домовъ, и происходилъ отъ татарскихъ князей. Были когда-то два брата татарина: Болта и Нарышка. Отъ перваго произошли Бол-

тины, отъ втораго — Нарышкины. Капля монгольской крови, попавшая въ кровь русскую, православную, не разложилась въ ней и не утратила своего восточнаго характера, даже и по прошествіи нѣсколькихъ столѣтій этого племеннаго кровосмѣшенія. Особенно въ мужчинахъ рода Болтиныхъ виднѣлась примѣсь какого-то азіятскаго элемента: нѣга, лѣнь, безпечность, неповоротливость, отвращеніе къ инціативѣ и порою весьма замѣтное вліяніе вѣрованія въ фатализмъ, если не на образъ мыслей, то на образъ дѣйствій этихъ переродившихся и обрусѣвшихъ потомковъ Чингисхана.

Петръ Александрычъ Болтинъ былъ въ полномъ смыслѣ слова честный и добрый человѣкъ, и въ высшей степени безкорыстный, но съ тѣмъ вмѣстѣ, необыкновенно упрямый, холодный, лѣнивый, тяжелый, неразговорчивый, сосредоточенный и подозрительный до нельзя, до нелѣпости. Онъ не допускалъ и даже не сознавалъ необходимости улучшеній и движенія впередъ и потому былъ врагомъ всего новаго, невиданнаго, необыкновеннаго; былъ неспособенъ къ малѣйшей инициативѣ; къ преслѣдованію какого бы то ни было дѣла или идеи. Ни за какія богатства, ни за почести онъ не согласится на низкое, или недоброе дѣло, даже на сомнительный поступокъ; но за то трудно, почти невозможно было его подвинуть и на доброе дѣло, если оно выходило изъ круга его лѣнивыхъ привычекъ и ежедневныхъ занятій, и не подходило къ тому масштабу, къ тѣмъ формуламъ, по которымъ онъ охотно дѣлалъ добро, помогалъ бѣднымъ, погорѣлымъ, больнымъ и увѣчнымъ, помогалъ и деньгами, и хлѣбомъ, но не совѣтами, не утѣшеніями, потому что на это требовалось много лишнихъ словъ; ну и лѣнь. Главное, чтобы не очень нарушать его восточный кейфъ; и въ особенности, не возбудить въ немъ подозрѣній на счетъ того, что его *хотятъ надуть*. Иначе все пропало. Еслибы, примѣрно, прибѣжалъ къ нему кто нибудь возбудившій передъ тѣмъ его подозрѣнія, и сказалъ ему въ испугѣ:

— Петръ Александрычъ! Помогите, спасите! Вашего сына сейчасъ будутъ вѣшать, рѣзать, терзать. Но его можно спасти: для этого разбойники требуютъ только 500 руб. выкупа. Вотъ и собственноручная записка вашего сына, въ которой онъ молитъ васъ о помощи. Спасите его!

Петръ Александрычъ возьметъ и прочитаетъ записку. Рука, нажись, его сына. Да податель-то записки *заподозрѣнъ* имъ. Ну онъ и пробормочетъ себѣ подъ носъ.

— Вотааа! съ чѣмъ подъѣхалъ! *Не надуешь!...*

И затѣмъ ни съ мѣста, пальцемъ не пошевелитъ и пребудетъ нѣмъ и глухъ ко всѣмъ мольбамъ и заклинаніямъ, изъ боязни чтобы *не надули*. Положимъ еще, примѣрно, что спустя нѣкоторое время послѣ визита зловѣщаго и *подозрительнаго* вѣстника, принесутъ въ домъ и положатъ къ ногамъ Петра Александрыча окрававленный трупъ его сына. Онъ придетъ въ ужасъ, сосредоточенная скорбь растерзаетъ его родительское и очень доброе сердце, и онъ въ смертельной тоскѣ, растерянный, пойдетъ въ свой кабинетъ, отопретъ свой завѣтный сундучекъ, во внутрь котораго не проникалъ еще ни одинъ любопытный и нескромный посторонній глазъ; отопретъ и вынетъ пять, пятдесятъ пять тысячъ рублей, и готовъ ихъ бросить, чтобы спасти сына, да поздно, не вернешь: экзажерація подозрительности, оберегая рубли, сгубила дорогую жизнь.

Итакъ, сидя и молча, Петръ Александрычъ готовъ былъ всегда и всѣмъ помочь. Въ противномъ случаѣ—мое почтеніе, обойдутся и такъ. И не только съ другими, но и въ отношеніи собственной своей особы онъ проявлялъ тѣ же самыя невосприимчивость, недѣятельность и неподвижность; готовъ былъ отказаться отъ всякаго комфорта, переносить всевозможныя неудобства, лишь бы не обезпокоить своего тѣла. Напримѣръ, будучи еще молодымъ и вскорѣ послѣ своей женитьбы, выстроилъ онъ въ своемъ имѣніи большой деревянный домъ съ антресолями, перешелъ въ него и зажилъ. Это былъ для него подвигъ, на который онъ скопилъ и израсходовалъ весь запасъ своей дѣятельности; и потомъ уже не пошелъ далѣе. Правда, онъ сознавалъ, что необходимо отдѣлать домъ, и потому сдѣлалъ необычайное усиліе надъ своею лѣнью, и приказалъ его оштукатурить внутри. Но затѣмъ не только не оклеилъ стѣнъ обоями, но даже и не выбѣлилъ ихъ, хотя и говаривалъ время отъ времени: «Ахъ! надо бы ихъ побѣлить; да не соберусь». И стѣны остались при своемъ грязно-песочномъ цвѣтѣ, и простояли такъ сорокъ пять лѣтъ, т. е. до самой кончины Петра Александрыча. Тогда домъ этотъ, пришедшій въ ветхость, былъ сломанъ его сыновьями. Вотъ еще обращикъ его непобѣдимой лѣни и неподвижности.

Былъ у него одинъ двоюродный братъ, пожилой, болѣзненный и бездѣтный вдовецъ, который имѣлъ 600 душъ благопріобрѣтеннаго и отличнѣйшаго незаложеннаго имѣнія въ Симбирской губерніи. Имѣніе это завѣщалъ онъ своему племяннику и крестнику, старшему изъ сыновей Петра Александрыча. Племянникъ этотъ умеръ прежде дяди. Тогда послѣдній, жившій постоянно въ Нижнемъ, написалъ Петру Александрычу слѣдующее:

«Такъ какъ твой сынъ а мой крестникъ умеръ, вслѣдствіе чего завѣщаніе мое сдѣлалось недѣйствительнымъ, то прошу тебя, пріѣзжай ко мнѣ, чтобы я могъ написать новое завѣщаніе для передачи моего имѣнія тебѣ, или кому нибудь изъ твоихъ дѣтей».

Но Петръ Александрычъ и не подумалъ ѣхать къ брату. А когда стали его родные говорить объ этомъ, то онъ отвѣчалъ:

— Вотааа! Поѣду я къ нему! Онъ пятнадцать лѣтъ не былъ у меня въ домѣ, а я поѣду къ нему!

— Да вѣдь у тебя восемь человѣкъ дѣтей! Такъ и не слѣдуетъ брезговать шестью стами душъ отличнѣйшаго имѣнія. Грѣшно, Петръ Александрычъ! Поѣзжай къ брату въ Нижній. Неужели шестьсотъ душъ не стоятъ того, чтобы проѣхать 120 верстъ? Поѣзжай.

— Вотааа! Поѣду я къ нему для того, чтобы сказали, что я ѣздилъ нарочно за имѣніемъ.

— Да вѣдь у тебя восемь человѣкъ дѣтей, Петръ Александрычъ!

— Вотааа!... И безъ его имѣнія прожилъ я до сихъ поръ; надѣюсь прожить такъ и остальную жизнь.

Тщетны были всѣ дальнѣйшія попытки уговорить его поѣхать въ Нижній къ брату, который нѣсколько разъ приглашалъ къ себѣ Болтина и все ждалъ его, или кого либо изъ его дѣтей, пріѣзда, ждалъ, ждалъ, да въ одно прекрасное утро, за недѣлю до своей смерти, взялъ да и завѣщалъ все свое имѣніе на учрежденіе въ Нижнемъ пансіона для благородныхъ дѣвицъ. Итакъ, татарская лѣнь и неподвижность лишили дѣтей Болтина шестисотъ душъ отличнѣйшаго имѣнія.

Въ концѣ прошедшаго столѣтія, Петръ Александрычъ вступилъ рядовымъ въ кавалергардскій полкъ и въ началѣ царствованія Александра I былъ произведенъ въ корнеты въ армейскіе гусары, гдѣ прослужилъ очень недолго, женился и выйдя въ отставку поручикомъ, поселился въ своемъ родовомъ нижегородскомъ имѣніи, въ которомъ было тысяча душъ. У жены его было тоже около тысячи душъ. Въ эпоху моего къ нему пріѣзда, ему минуло шестьдесятъ лѣтъ. Но это былъ еще очень бодрый, свѣжій и красивый мужчина. У него были старшіе, братъ холостякъ и сестра дѣвица, жившія въ другомъ родовомъ имѣніи Болтенныхъ, въ двѣнадцати верстахъ отъ Петра Александрыча. Страшное, непобѣдимое упрямство послѣдняго выказалось въ полной силѣ относительно будущаго его зятя, и еще собственнаго своего здоровья.

Когда спустя нѣсколько дней послѣ обрученія, я просилъ Петра Александрыча поспѣшить назначеніемъ дня свадьбы, потому что, имѣя только двадцати-восьми-дневный отпускъ, я не могъ долго оставаться въ де-

ревнѣ, будущій мой тесть объявилъ наотрѣзъ, что ранѣе сентября свадьбы быть не можетъ, потому что необходимо съѣздить прежде на нижегородскую ярмарку для разныхъ закупокъ.

— Да вѣдь я отпущенъ только на 28 дней,—говорилъ я Болтину. —Положимъ, что я могу, не рискуя много, просрочить недѣли двѣ. Но долѣе мнѣ невозможно дожидаться и жить здѣсь, и потому умоляю васъ ускорить свадьбу, не дожидаясь ярмарки.

— Вотааа! что выдумалъ!... Сказано, что въ сентябрѣ, такъ въ сентябрѣ и будетъ.

— Ну а если меня выключатъ изъ службы за долгую неявку въ полкъ? Вѣдь тогда вся моя служба пропадетъ.

— Тогда посмотримъ.

— Да вѣдь тогда будетъ уже поздно: карьера моя будетъ испорчена на всю жизнь, аттестатъ мой замаранъ.

— А вотъ я посовѣтуюсь объ этомъ съ братомъ, и тогда посмотримъ.

— Да когда же вы будете совѣтоваться? Дѣло не терпитъ промедленія.

— А вотъ мнѣ нужно ѣхать въ городъ по одному важному дѣлу: тогда, по дорогѣ, я и заѣду къ брату.

Множество разъ потомъ возобновлялся подобный разговоръ между мною и Болтинымъ и всегда оканчивался одною и тою же фразою:

— А вотъ мнѣ нужно ѣхать въ городъ, тогда, по дорогѣ, я и заѣду къ брату посовѣтоваться.

И такимъ образомъ прожилъ я въ деревнѣ Болтина болѣе пяти мѣсяцевъ, въ продолженіи которыхъ будущій мой тесть все собирался ѣхать въ городъ и заѣхать къ брату, и все сидѣлъ дома и не собрался. Но, по необыкновенному, рѣдкому счастію, мнѣ сошла съ рукъ эта долгая просрочка безъ всякихъ послѣдствій. Другой примѣръ упрямства и неподвижности Петра Александрыча еще поразительнѣе.

Лѣтъ за семь до своей смерти у него начали болѣть глаза. Ему посовѣтовали обратиться въ сосѣдній уѣздный городъ, верстъ за шестьдесятъ, къ одному отличному медику и окулисту. Петръ Александрычъ терпѣть не могъ ни лекарей, ни леченія, ни лекарствъ, и потому не обратилъ ни малѣйшаго вниманія на совѣтъ. Глазамъ его стало хуже, ему опять посовѣтовали:

— Эй, поѣзжай въ Курмышъ къ Норденштрему (кажется такъ назывался искусный врачъ, котораго потомъ перевели въ Петербургъ). Вѣдь это хоть и молодой, но отличнѣйшій медикъ, который всѣмъ помогаетъ. Поѣзжай, не откладывая, а не то будетъ поздно.

— Вотааа! поѣду я за семь верстъ киселя ѣсть!

— Да вѣдь ты ослѣпнешь, если не будешь лечиться!

Петръ Александрычъ даже и не возражалъ болѣе: лѣнь. А только понюхалъ табаку, попыхтѣлъ, да и принялся дремать на своемъ покойномъ мягкомъ креслѣ, единственномъ въ цѣломъ домѣ, гдѣ вся остальная мебель, построенная домороженнымъ Туромъ еще до нашествія французовъ, была страшно не покойна, жестка, тяжела и некрасива, но на бѣду очень прочна. Мягкое же кресло заведено было въ домѣ не самимъ хозяиномъ, хотя онъ и собирался въ продолженіе многихъ лѣтъ завести его, говоря:—Ахъ, надо бы завести мягкое кресло. — Но только говорилъ, а не заводилъ. Наконецъ одинъ изъ его сыновей озаботился снабдить отца этимъ удобствомъ. И съ тѣхъ Петръ Александрычъ проводилъ на этомъ креслѣ большую часть своего времени и въ своихъ обычныхъ занятіяхъ: то пыхтѣлъ и откашливался, то молчалъ, то дремалъ, то слушалъ газету или журналы, которые выписывалъ постоянно, и которые читала ему старшая дочь. Онъ потомъ и умеръ на этомъ креслѣ.

Итакъ, въ продолженіи трехъ лѣтъ, Петръ Александрычъ все упрямился и не лечился. Глаза его слабѣли, болѣли, и наконецъ онъ совершенно ослѣпъ. А полечись—остался бы зрячимъ.

Вотъ каковъ былъ отецъ моей невѣсты: человѣкъ высокой честности, добрѣйшій, но и образцоваго упрямства, идеальныхъ лѣни, неподвижности и подозрительности.

XIV.

Проектъ вендетты посредствомъ субъективной антропофагіи.

Нижегородская губернія, хотя и смежная съ костромскою, но во многомъ и разительно отличалась отъ послѣдней относительно образа жизни, мыслей, характера и привычекъ дворянъ той или другой губерніи. Въ уѣздѣ, гдѣ жили Болтины, находились все богатые или зажиточные помѣщики, люди порядочные, большіе патріоты, обожавшіе старину и доживавшіе свой вѣкъ среди поколѣнія, котораго они не понимали, но которое понимало ихъ. У Петра Александрыча было нѣсколько двоюродныхъ братьевъ, Астафьевыхъ, большею частію холостяковъ, однихъ съ нимъ лѣтъ, понятій и привычекъ, т. е. большихъ домосѣдовъ, враговъ *новизны*, не любившихъ и даже не понимавшихъ изящества и ком-

форта. У всѣхъ ихъ были хорошія состоянія и огромные деревянные дома, которые даже не были отштукатурены внутри, а пребывали съ почернѣлыми отъ времени стѣнами, безъ всякихъ украшеній—картинами, драпри или чѣмъ бы то ни было. Мебель соотвѣтствовала стѣнамъ. Но кушали они сытно, пили же весьма умѣренно. Выѣзжали рѣдко, только на имянины, да на дни рожденія своихъ родныхъ или хорошихъ знакомыхъ. Тогда всѣ собирались въ имяниномъ домѣ и проводили по нѣскольку дней. Надо сказать, что они были чрезвычайно любознательны, выписывали газеты и по нѣскольку журналовъ; а сверхъ того и нѣкоторыя книги, которыя по чему нибудь казались имъ интересными. Во время пребыванія моего въ нижегородской губерніи, вышла въ свѣтъ Исторія Михайловскаго о кампаніяхъ 1813 и 1814 годовъ. Книга эта сейчасъ же была всѣми выписана и произвела громадный эффектъ на старичковъ вѣка, въ которомъ было «не то, что нынѣ». Года съ два судили и рядили они объ Исторіи Михайловскаго.

Такимъ образомъ, постоянно слѣдя умомъ по журналамъ и газетамъ за современнымъ ходомъ идей, вещей и событій, они въ тоже время сердцемъ, душою, понятіями, привычками и правилами принадлежали къ прошедшему столѣтію и нисколько не двигались впередъ, а упорно держались старинныхъ воззрѣній на вещи и на людей. Однимъ словомъ, это были живые анахронизмы, олицетворенныя противорѣчія въ средѣ молодаго поколѣнія, съ которымъ все болѣе и болѣе расходились въ мнѣніяхъ.

Дворяне сергачскаго уѣзда, гдѣ жилъ Болтинъ, да и въ сосѣднихъ уѣздахъ, были чрезвычайно благонравны, не терпѣли ни попоекъ, ни кутни, ни буйства, ни озорничанья съ бѣдными, ни псовой охоты, ни шутовства и ненавидѣли тяжбы. Даже и въ ихъ воспоминаніяхъ о быломъ я не открылъ слѣдовъ существованія этихъ постыдныхъ проявленій дворянскаго неразвитія, огрубѣлости и растлѣнія нравовъ, которыми отличались когда-то дворяне моей родины, какъ это видѣли изъ первой части воспоминаній.

Любимымъ занятіемъ нижегородскихъ старичковъ, когда они собирались на чьи нибудь имянины, было разсуждать о суетѣ мірской, о текущихъ цѣнахъ на хлѣбъ въ Лысковѣ, порою о мистицизмѣ и даже объ астрономіи; но главное о томъ, какъ прежде все было хорошо, а нынѣ стало дурно. Напримѣръ: молодые люди сдѣлались до того невѣжливы, неуважительны къ старшимъ, что позволяютъ себѣ показывать вездѣ и всѣмъ Богъ знаетъ что!.. Показывать... Чтобы вы думали?.. свою сорочку!.. Да!.. Изъ рукавовъ фрака или сюртука у нихъ высо-

вываются концы рукавовъ отъ рубашки, хотя и накрахмаленные, и съ пуговками, да все-таки отъ рубашки!!!... Развѣ это благопристойно? Да вѣдь это означаетъ недостатокъ воспитанія и образованія!.. Дааа!

Очень любили они еще толковать о Наполеонѣ первомъ, котораго смертельно ненавидѣли, честили и унижали всячески, и даже пресерьезно утверждали, что онъ не только не былъ военнымъ геніемъ, но даже просто не былъ хорошимъ генераломъ; что онъ побѣждалъ всегда и всѣхъ съ помощію одного обмана да подкуповъ; и что, наконецъ, ихъ тогдашній гарнизонный поручикъ непремѣнно разбилъ бы этого Бонапарта, и навѣрное взялъ бы его въ плѣнъ, еслибы ввѣрили ему главнокомандованіе надъ всѣми европейскими арміями.

— Ну, что это за геній, что за полководецъ! — говорили старички.

— Возьметъ столицу, заключитъ миръ съ непріятелемъ, отретируется во свояси, отдохнетъ немножко, да потомъ черезъ нѣсколько недѣль, когда никто этого не ожидаетъ, и введетъ обманомъ свою армію въ государство, съ которымъ только что заключилъ миръ. Ну, разумѣется, напавъ такимъ образомъ врасплохъ, разобьетъ всѣхъ въ пухъ и въ прахъ, и беретъ себѣ, что хочетъ... Да вѣдь это просто грабежъ, дневной разбой!.. Ну что это за полководецъ? Нѣтъ! бывшій у насъ когда-то гарнизонный поручикъ Кривоноговъ, какъ военачальникъ, былъ гораздо выше Наполеона. Дааа!...

Въ особенности одинъ изъ этихъ старичковъ ненавидѣлъ дядю нынѣшняго императора французовъ *), ненавидѣлъ до того, что превашно и пресерьезно провозглашалъ составленный имъ проектъ ужаснѣйшей мести противъ героя Маренго и Аустерлица.

— Еслибы, — говорилъ онъ злобно, — взяли Наполеона въ плѣнъ и отдали его въ полное мое распоряженіе, я бы заставилъ его съѣсть самого себя.

— Какимъ же это образомъ? — подхватятъ другіе старички.

— А вотъ какимъ: я заперъ бы его въ пустую комнату и три дня не давалъ бы ему ничего ни пить, ни ѣсть. Потомъ вошелъ бы къ нему въ комнату съ подлекаремъ и приказалъ бы отпилить ему ногу, т. е. Бонапарту, а не подлекарю. Послѣ того велѣлъ бы приготовить изъ этой ноги разныя кушанья: горячее, заливное и котлеты и далъ бы ему ѣсть, т. е. Бонапарту... Не бось, съѣлъ бы, окаянный! Голодъ не свой братъ. Потомъ еще дня на три оставилъ бы его безъ пищи, и затѣмъ со второю ногою сдѣлалъ бы тоже самое, что и съ первой.

---

*) Писано въ 1861 году. А теперь это былъ бы анахронизмъ.

Тоже и съ руками. Ну, вотъ, такимъ манеромъ, и съѣлъ бы онъ самъ себя.

Старички выслушали проектъ этой скиѳо-татарской вендетты безъ малѣйшихъ возраженій и замѣчаній на счетъ его жестокости. И потомъ долго и глубокомысленно размышляли о такой субъективной антропофагіи.

Во время продолжительнаго моего пребыванія въ деревнѣ, я хорошо познакомился со всѣми этими старичками, и объѣздилъ ихъ по нѣскольку разъ. Но между родными моей невѣсты находился такой субъектъ, который заслуживаетъ имѣть здѣсь особенную главу.

XV.

Ординарный профессоръ важничанья и попиратель человѣчества.

Александръ Петровичъ Но—льцовъ, по своимъ лѣтамъ, стоялъ на распутіе между старостію и крайнею возмужалостію. Сорока пяти лѣтъ отъ роду, громаднаго роста и весьма красивый собою, онъ принадлежалъ къ одной изъ самыхъ древнихъ и что ни есть столбовыхъ дворянскихъ фамилій, и былъ образчикомъ, или вѣрнѣе экзажераціей всего, что только барская спѣсь, чванство, надменность, неприступная гордость, высокомѣріе и самообожаніе заключаютъ въ себѣ смѣшнаго, уродливаго и тошнительнаго. Потерявъ отца еще во время своей юности, онъ остался старшимъ въ семействѣ, и поэтому привыкъ первенствовать, усвоилъ повелительныя манеры отцовъ и командировъ, и полагалъ себя призваннымъ для высокой и многозначущей цѣли — украшать собою землю и свято сохранять и продолжать величіе своего знаменитаго рода, т. е. безпрерывно упражняться въ гордости, чванствѣ и въ барской спѣси, которыя у Но—льцовыхъ переходили изъ рода въ родъ, передавались въ крови и выражались у старшихъ сыновей, а въ особенности у Александра Петровича, огромнымъ ростомъ и непомѣрнымъ задираніемъ носа и головы, такъ что онъ почти никогда не смотрѣлъ на полъ или на землю, попираемые его столбовыми стопами. Разумѣется, попирая полъ и землю, онъ думалъ попирать въ то же время и все недостойное его, т. е. все остальное человѣчество, не исключая и своихъ родныхъ, все, что было не онъ, не Александръ Петровичъ Но—льцовъ.

Само собою разумѣется, что онъ служилъ въ гвардіи. Это было еще

во времена прежняго старогвардейскаго блеска и обаянія. Но въ концѣ десятыхъ годовъ, волею неволею, онъ былъ замѣшанъ въ весьма непріятную исторію Семеновскаго полка и генерала Шварца, вслѣдствіе чего привелось ему посидѣть нѣкоторое время на понтонахъ въ Кронштадтѣ, и затѣмъ быть переведеннымъ въ армейскую пѣхоту. Это былъ смертный приговоръ его служебной дѣятельности. Потомку Но—льцовыхъ служить въ арміи, да еще въ пѣхотѣ! Возможно ли, слыхано ли это?... Разумѣется, потомокъ этотъ вышелъ въ отставку и поселился въ своемъ родовомъ нижегородскомъ имѣніи, изъ котораго вначалѣ досталось на его долю 600 душъ. Потомъ, по смерти брата, очутилось у него 1200 душъ имѣнія отличнѣйшаго, богатѣйшаго. Тогда-то онъ всею душою предался выполненію своего высокаго назначенія, т. е. принялся важничать и попирать ногами и полъ, и землю, которую украшалъ, и все человѣчество; попирать, конечно, въ мысляхъ, въ теоріи, а не на самомъ дѣлѣ, потому что тогда, по чувству самосохраненія и по своей громадности, далеко превышавшей ростъ Александра Петровича, человѣчество само попрало бы его, Но—льцова. Поэтому и попиралъ онъ только однѣ отдѣльныя личности, т. е. попиралъ человѣчество въ раздробку, а не въ массѣ.

Живя постоянно въ деревнѣ, онъ ни къ кому не ѣздилъ, даже и на имянины къ своимъ дядямъ и теткамъ. Ну, и къ нему тоже никто не ѣздилъ, чтобы *не быть попраннымъ*. Сверхъ важничанья, Но—льцовъ занимался еще вотъ чѣмъ:

Устроивъ у себя въ помѣстьѣ заводъ англійскихъ скаковыхъ лошадей и превосходнаго рогатаго скота, тоже англійской породы, онъ ежедневно отправлялся, то въ манежъ, гдѣ въ его присутствіи гоняли на кордѣ кровныхъ скакуновъ; то на скотный дворъ — любоваться граціозными коровами, телками и телятами, да гигантскими быками. По возвращеніи въ свои покои, онъ дѣлилъ свое время между гастрономическими наслажденіями, кейфомъ и чтеніемъ, но только не беллетристическихъ произведеній, не политическихъ и не литературныхъ журналовъ, а журнала коннозаводскаго и другихъ сочиненій, относящихся къ разведенію и улучшенію домашнихъ четвероногихъ, благородныхъ и неблагородныхъ. Поэтому, занимаясь постоянно, въ продолженіе многихъ лѣтъ, все одного рода чтеніемъ, Александръ Петровичъ былъ превосходный знатокъ, спеціалистъ по части скотовъ, которыхъ полюбилъ нѣжно, съ которыми сжился, сроднился и составлялъ одно цѣлое. Наконецъ его послѣднее и самое раціональное занятіе было — получать сколь возможно болѣе доходовъ съ имѣнія, собирать ихъ всецѣлостнѣе и, за

удовлетвореніемъ ежегоднаго бюджета своихъ расходовъ, класть все остальное въ ломбардъ. Потомъ, въ концѣ каждаго мѣсяца, повѣрять, пересчитывать съ наслажденіемъ банковые билеты, которые все росли, росли, такъ что ихъ итогъ достигъ наконецъ весьма почетной, много-сотъ-тысячной цифры. Пересчитываньe это было для него тоже, что для любителя живописи прогулка по собственной своей картинной галлереѣ. И Александръ Петровичъ блаженствовалъ, любуясь своими литографированными картинами, за подписью знаменитыхъ художниковъ финансовой школы: директора банка и кассира.

«Сей» доблестный мужъ и краса земли былъ и остался холостякомъ: въ цѣлой губерніи, ни даже въ Россіи не находилъ онъ кандидатки, достойной занять мѣсто «подруги его жизни». А принцесъ крови или какихъ нибудь тамъ эрцъ-герцогинь подъ рукою не имѣлось. У себя же дома, т. е. за границею, онѣ привередничаютъ. Вотъ и остался холостякомъ, и лишилъ землю отъ воспроизведенія ея лучшаго украшенія въ лицѣ потомковъ Александра Петровича Но—льцева.

Такъ какъ этотъ безпотомственный потомокъ знаменитыхъ предковъ ни къ кому и никто къ нему не ѣздилъ, то и приходилось ему важничать только на тѣсной аренѣ четвероногихъ: въ конюшнѣ и манежѣ передъ кровными скакунами, да на скотномъ дворѣ передъ гигантскими быками и граціозными коровами. А сверхъ того, время отъ времени, онъ важничалъ еще передъ дворовыми людьми посредствомъ вѣрноподданническихъ манифестацій.

По нѣскольку разъ въ годъ приходилось ему выѣзжать изъ своей резиденціи въ уѣздный городъ, то для отсылки денегъ въ ломбардъ, то для совершенія купчей на имѣніе или землю. Выѣздъ этотъ сопровождался необыкновенною торжественностію. Сначала подавался глубоко задуманный и художественно выполненный завтракъ, сервированный на серебрѣ и со множествомъ китайскихъ церемоній, переходившихъ тоже изъ рода въ родъ. Затѣмъ подавалась къ крыльцу коляска полунѣмецкой и полутатарской работы, запряженная четвернею благородныхъ бѣгуновъ, генеологія которыхъ, какъ и самого хозяина, терялась во мракѣ древности.

Облекшись въ плащъ, подбитый бархатомъ, и со скипетромъ, т. е. съ хлыстомъ въ рукѣ, какъ съ символомъ его нѣжнаго скотолюбія, Но—льцовъ выходилъ на крыльцо. гдѣ ожидалъ его главный штабъ дома: дворецкій, камердинеръ, главный конюхъ, главный поваръ и лакеи. По обоимъ бокамъ коляски выстраивались дворовые, всѣ отъ мала до велика: по правую сторону женскій, а по лѣвую мужской полъ.

Подсаживаемый дворецкимъ и камердинеромъ, Но—льцовъ взбирался на колесницу; и тогда-то совершалось его важничанье по всѣмъ правиламъ пекинскаго церемоніала. Словно благословляя народъ по образцу извѣстнаго благословенія съ высоты ватиканскаго балкона, Но—льцовъ простиралъ свои «длани» по бокамъ нѣмецко-татарской колесницы, и въ то же мгновеніе начинался *baisemain*. Справа подходило, и отдавши сперва поясной поклонъ, прикладывалось къ ручкѣ доблестнаго Александра Петровича все женское дворовое народонаселеніе поочередно, произнеся съ умиленіемъ затверженную формулу вѣрноподданническихъ чувствъ, а именно:

— Прощайте, батюшка Александръ Петровичъ! Желаю вашей милости счастливаго пути и благополучнаго возвращенія къ намъ, вашимъ вѣрнымъ и усернымъ рабамъ.

По лѣвую сторону колесницы совершалась такая же церемонія мужскимъ дворовымъ народонаселеніемъ.

— Прощайте, прощайте! — съ важностію произносилъ доблестный Но—льцовъ, милостиво кивая головою, то направо, то налѣво. — Да только смотрите у меня: чтобы все было тихо, смирно и въ порядкѣ во время моего отсутствія. А не то у меня!... знаете?.. понимаете?.. Ну, то-то же!... Прощайте!

Затѣмъ колесница трогалась съ мѣста и удалялась, провожаемая глазами главнаго штаба и дворни доблестнаго Но—льцова.

Возвращеніе въ резиденцію происходило по сокращенному церемоніалу: *безмена* удостоивались только одни члены главнаго штаба.

Вотъ каковъ былъ субъектъ, съ которымъ привелось мнѣ встрѣтиться въ первый, и вѣроятно въ послѣдній разъ въ жизни. Однажды сказали мнѣ: у твоей невѣсты есть кузенъ, Александръ Петровичъ Но—льцовъ, съ которымъ тебѣ слѣдуетъ познакомиться. Я ничего не зналъ о блестящихъ носозадирательныхъ и ногопопирательныхъ талантахъ моего будущаго кузена. А равно мнѣ ничего не говорили и о богатствѣ Но—льцова, потому что, къ чести нижегородскихъ старичковъ, слѣдуетъ сказать, что они нисколько не преклонялись передъ многодушными; а только крѣпко поддерживали и уважали родственныя связи, да еще всѣхъ тѣхъ, которые успѣли прослыть въ ихъ мнѣніи за людей честныхъ, добрыхъ, нравственныхъ и богобоязненныхъ. При заключеніи новыхъ знакомствъ, они никогда не справлялись о количествѣ душъ или о цифрѣ годоваго дохода; и чуждались только тѣхъ, которые не вѣрили въ нечистую силу, не уважали властей, хвалили Наполеона 1-го, рѣдко ходили въ храмъ Божій и вели себя въ публикѣ

неблагопристойно, т. е. показывали концы рукавовъ своей сорочки, что ихъ чрезвычайно смущало и скандализировало.

Итакъ, облеченный въ гвардейскій мундиръ, отправился я въ резиденцію иносозадирателя, который, разумѣется, воспользовался такимъ удобнымъ и для него рѣдкимъ случаемъ *показать себя какъ слѣдуетъ*. Съ самою азіатскою важностію и съ необыкновеннымъ величіемъ принялъ онъ жениха своей кузины. Хозяинъ и гость усѣлись: одинъ на диванѣ, другой на креслѣ. Поза Александра Петровича была великолѣпна, неподражаема: онъ представлялъ изъ себя магика или звѣздочета, такъ высоко задраны были его носъ и голова. Казалось, онъ не только созерцалъ, но и нюхалъ небесныя свѣтила — на потолкѣ. A la bonne heure!....

Николай Петровичъ имѣлъ скромную и любознательную позу посѣтителя звѣринца, передъ клѣткою рѣдкаго и весьма любопытнаго субъекта изъ породы красныхъ звѣрей. Разговоръ не клеился. Александръ Петровичъ былъ весьма слабъ относительно спеціальности Макарова, т. е. литературы, изящныхъ искусствъ и политики. Николай Петровичъ былъ очень не силенъ въ скотской части, т. е. относительно спеціальности Но—льцова. Впрочемъ, Александръ Петровичъ говорилъ и не объ однихъ только четвероногихъ, а немножко и о военныхъ, а именно: о томъ, «какъ хороши, величественны были гвардейцы былыхъ, т. е. его Но—льцова, временъ! И какъ они стали теперь менѣе величественны, просто плохи, мизерны»! Александръ Петровичъ, когда одушевлялся, былъ мастеръ говорить пріятныя вещи своимъ гостямъ. Наконецъ, истощивъ весь запасъ своихъ скотскихъ познаній и любезностей, предложилъ гостю осмотрѣть его конскій заводъ и скотный дворъ. Тутъ Александръ Петровичъ былъ уже совершенно въ своей сферѣ. Отправились.

— Вотъ мой славный Сосереръ, сынъ знаменитаго Сосерера, который выигралъ столько призовъ на всѣхъ скачкахъ аристократической Англіи, — говорилъ Но—льцовъ, показывая Макарову своего заводскаго жеребца. — А вотъ и моя несравненная Миледи, гордость и слава моего завода и зависть всѣхъ коннозаводчиковъ. Она подарила уже мнѣ нѣсколько отличныхъ скакуновъ, за которыхъ предлагаютъ мнѣ большія деньги. Ну, да я не спѣшу, потому что въ деньгахъ не нуждаюсь. Дадутъ и болѣе.

Не будемъ слѣдовать за дальнѣйшими проблесками коннозаводскаго краснорѣчія, въ которомъ никто еще не сравнялся съ Но—льцовымъ. За конскимъ заводомъ послѣдовало обозрѣніе скотнаго двора, съ его ро-

гатыми обитателями, въ присутствіи которыхъ Но—льцовъ блисталъ уже ското-рогатымъ краснорѣчіемъ.

Макаровъ хвалилъ все, что ему ни показывали, и хвалилъ искренно отъ души, потому что и въ самомъ дѣлѣ четвероногіе скакуны и рогоносцы были очень хороши, даже много лучше своего патрона, потому что не важничали и не говорили любезностей à la низерные гвардейцы. Но такихъ похвалъ Но—льцову было мало: вотъ еслибы Макаровъ пришелъ въ неописанный восторгъ, въ умиленіе, прослезился бы! О, тогда онъ прослылъ бы въ глазахъ своего скотолюбиваго кузена за умнѣйшаго и образованнѣйшаго молодаго человѣка! Но такъ какъ съ его стороны не послѣдовало ни слезъ, ни умиленія, ни шумныхъ восторговъ, то сейчасъ же послѣ его отъѣзда отъ Но—льцова, «сей» послѣдній рѣшилъ и произнесъ безъ аппеляціи:

— Дуракъ, пошлый дуракъ и неучъ!...

И затѣмъ остался при этомъ мнѣніи, которое даже не старался скрывать и высказывалъ при каждомъ удобномъ случаѣ. Важничанье, т. е. самодурство его потомъ все росло и увеличивалось и достигло гигантскихъ размѣровъ. Разсказывалъ мнѣ преинтересную вещь про одну изъ его самодуро-важныхъ и презрядно-грубыхъ и дерзкихъ выходокъ мой старый товарищъ и пріятель, который продежурилъ лѣтъ 12 въ должности нижегородскаго губернатора и имѣлъ столкновеніе съ носозадирательнымъ сергачскимъ самодуромъ, въ первое время крестьянской эмансипаціи.

XVI.

У пристани *).

Въ половинѣ пребыванія моего въ деревнѣ Болтина, въ іюлѣ я узналъ изъ газетъ, что, вслѣдствіе моего прошенія, меня перевели уже въ рижскій драгунскій полкъ. А въ началѣ августа я съѣздилъ на родину, въ Чухлому и Солигаличъ, откуда, въ началѣ сентября, возвратился въ имѣніе Болтина, въ сопровожденіи дяди Мичурина и зятя Языкова. Первый былъ у меня посаженымъ отцомъ, второй — шаферомъ. Наконецъ 7 сентября совершилось бракосочетаніе мое съ Александрою Петровною. И трудно, и излишне было бы описывать наше счастіе. Судя по тому, какъ нѣжно, какъ

*) Глава эта передѣлана и дополнена въ декабрѣ сего 1881 года.

постоянно любили мы другъ друга, и какъ много вытерпѣли, выстрадали, какъ долго заждались своего счастія, можно легко представить себѣ громадность и упоительность этого счастія.

Въ то же самое время праздновалась въ Пензѣ свадьба старшаго Болтина Аполлона Петровича, который женился тоже на смолянкѣ, блиставшей увлекательною красотою своей безъукоризненно-античной головки, самымъ живымъ, бойкимъ, хотя порою и пародоксальнымъ умомъ, и самымъ острымъ, бритвеннымъ языкомъ, который, какъ говорится, «для краснаго словца не жалѣлъ ни матери, ни отца». Она была бичемъ всего смѣшнаго, уродливаго и нечестнаго, потому что сама имѣла характеръ въ высшей степени прямой, откровенный, благородный и честный. Наши жены, находясь еще въ Смольномъ, были очень дружны между собою. Послѣ замужества же онѣ сблизились еще болѣе и сдѣлались самыми преданными одна другой· друзьями. Живой умъ и благородный, честный характеръ, общіе обѣимъ, связывали ихъ все крѣпче и крѣпче и доводили дружбу ихъ до идеальнаго совершенства. Но одной изъ нихъ суждено было пережить другую... Таковъ роковой законъ всего, что близко къ совершенству, неосуществимому въ здѣшней жизни. Смерть, разрушеніе или реакція съ бдительностію таможенной стражи караулитъ всѣ выходы изъ храма, въ которомъ зарождаются и живутъ отвлеченно человѣческіе идеалы. При малѣйшей ихъ попыткѣ — выйти на свѣтъ дневной, и осуществить собою идею какого бы то ни было совершенства, рука смерти или реакціи останавливаетъ, конфискуетъ, какъ контрабанду, эти идеалы и заклеймивъ ихъ именемъ несбыточныхъ утопій, предаетъ святотатственному разрушенію. И неизвѣстно, когда и кѣмъ уничтожится эта таможенная стража... Но остановимся и прогонимъ отъ себя прочь грустныя предчувствія, которыя, какъ туча, набѣжали на наши думы, чтобы омрачить на минуту ясность горизонта, висящаго надъ головами молодыхъ Макаровыхъ *).

Недѣли черезъ двѣ послѣ моей свадьбы, я получилъ увѣдомленіе изъ полка о томъ, что я долженъ спѣшить явиться туда, потому что инспекторскій департаментъ, безъ вѣдома полковаго начальства, можетъ выключить меня изъ службы за долгое пребываніе въ отпуску. Шутить было нечего: я поспѣшно собрался въ дальній и одинокій путь. Я не могъ взять съ собою мою жену; прежде надо было рѣшиться на что нибудь или устроиться въ полку, если бы я вздумалъ оставаться на службѣ;

*) Слѣдующія за симъ нѣсколько страницъ я выписываю изъ *Задушевной Исповѣди* (примѣчаніе 1881 года).

или подать въ отставку и тогда распорядиться иначе съ временнымъ моимъ мѣстопребываніемъ. Полкъ стоялъ въ концѣ Курской губерніи, въ Корочѣ, грязнѣйшемъ и скучнѣйшемъ уѣздномъ городишкѣ. Итакъ, черезъ три недѣли послѣ свадьбы, я разстался съ моею молодою, любимою женою! Въ сквернѣйшую погоду, по ужаснѣйшей дорогѣ, протащился я на перекладныхъ болѣе тысячи верстъ и прибылъ въ свой новый полкъ, которымъ командовалъ тогда полковникъ Лебедь. Это былъ татаринъ, но въ добротѣ сердца, въ высокой честности, въ благородствѣ характера превосходилъ многихъ православныхъ.

Вскорѣ послѣ пріѣзда моего въ Корочу, я увидѣлъ, что мнѣ женатому невозможно продолжать службу въ этой трущобѣ, и потому, послѣ трехъ недѣль осаднаго положенія, въ которой держала меня невылазная грязь, я подалъ въ отставку по болѣзни. Между тѣмъ, съ величайшимъ нетерпѣніемъ я ожидалъ наступленія зимы: передъ отъѣздомъ моимъ изъ деревни тестя, мнѣ торжественно было обѣщано, что по первому же зимнему пути, теща привезетъ ко мнѣ въ Корочу мою жену, проѣздомъ въ свое курское имѣніе. Съ невыразимою радостію привѣтствовалъ я первый снѣгъ и, на мое счастіе, довольно раннее наступленіе зимы. Разумѣется, я каждую почту переписывался съ женою. Прошло три недѣли зимняго пути, а жену ко мнѣ не привозили. Наконецъ она увѣдомила меня, что ея «maman» нескоро еще думаетъ отправиться въ дальній путь; быть можетъ въ январѣ, а пожалуй и въ февралѣ. Испытаніе это было сильнѣе моего тогдашняго терпѣнія, которое и лопнуло. Я попросилъ краткаго отпуска сперва у полковаго командира и получилъ отказъ, потому что онъ не имѣлъ права разрѣшать отпуски офицерамъ,— потомъ у дивизіоннаго командира,—такой же отказъ и по той же самой причинѣ; наконецъ, я поѣхалъ въ Курскъ просить отпуска у корпуснаго командира: тоже отказъ, но только уже вотъ на какомъ основаніи: «я имѣю правило никогда и ни для чего не давать отпуска тѣмъ изъ офицеровъ, которые подали въ отставку». Резонно, но только не для меня и не во время моей молодости. Не долго раздумывая, я уѣхалъ къ женѣ безъ отпуска и безъ всякаго, отъ кого бы то ни было, позволенія. Бѣглецомъ проскакалъ я черезъ Москву и, 5 декабря въ 8 часовъ вечера, явился въ домъ моего тестя, къ которому съѣзжались тогда почти всѣ родные, состоявшіе изъ дядей, стариковъ временъ Екатерины и Павла.

Никто не ожидалъ моего пріѣзда, который несказанно обрадовалъ мою жену, а всѣхъ другихъ удивилъ, если только не испугалъ. Послѣ первыхъ объятій и цѣлованій, меня спросили:

— Ты вѣрно взялъ отпускъ, въ ожиданіи отставки?

— Ни чуть не бывало.

— Ну такъ получилъ откомандировку?

— Тоже нѣтъ.

Лица стариковъ начинали вытягиваться и хмуриться.

— Такъ какимъ же образомъ ухитрился ты оставить полкъ и пріѣхать къ намъ за тысячу-двѣсти верстъ?

— А самымъ простымъ образомъ: просился въ отпускъ, не пустили; я и поѣхалъ безъ отпуска.

Старики пришли въ ужасъ.

— Да что же тебѣ будетъ за это?

— Не бойтесь, не разстрѣляютъ! Самое большое: отдадутъ подъ судъ и разжалуютъ въ солдаты, —отвѣчалъ я, обнимая и цѣлуя жену.

— И тебѣ не стыдно, не грѣшно дѣлать и говорить такія вещи! Вѣдь ты теперь — женатый человѣкъ, а черезъ полгода будешь отцомъ! завопили хоромъ старики.

— А вольно же вамъ не держать своего обѣщанія и не привезти ко мнѣ жену по первому зимнему пути, который начался уже болѣе мѣсяца.

Старики тяжело вздохнули, пожали плечами и замолчали. Если не убѣдила, то побѣдила ихъ моя молодая логика.

Несмотря ни на какія убѣжденія, обѣщанія и просьбы родныхъ, я три недѣли провелъ въ домѣ моего тестя, наслаждаясь такимъ счастіемъ, за которое не жаль и не дорого было бы поплатиться моими эполетами и капитанскимъ чиномъ. Но на этотъ разъ судьба мнѣ покровительствовала и, за счастіе мое, я не поплатился ничѣмъ, кромѣ безпокойства проскакать на перекладныхъ изъ Корочи въ сергачскій уѣздъ и обратно, что составляло 2,400 верстъ.

Въ концѣ декабря я снова разлучился съ женою, но на этотъ разъ уже ненадолго. Мнѣ поклялись привезти ее черезъ мѣсяцъ въ курскую деревню моей тещи, куда и я долженъ былъ пріѣхать къ тому времени.

Въ началѣ января 1838 года я возвратился въ полкъ изъ моего любовнаго набѣга или побѣга. Натурально, сейчасъ же явился къ полковому командиру. Онъ очень обрадовался, но съ притворно-суровымъ видомъ строгаго начальника спросилъ:

— Капитанъ! Гдѣ же это вы были и пропадали болѣе мѣсяца?

— Къ женѣ ѣздилъ,—отвѣчалъ я.

— Я такъ и думалъ, и потому отправилъ къ вамъ въ Сергачъ предписаніе — явиться немедленно въ полкъ. Разумѣется, чтобы не ком-

прометировать васъ, я велѣлъ надписать на конвертѣ: «находящемуся въ отпуску капитану Макарову».

Добрѣйшая, благороднѣйшая душа!...

— Вотъ видите ли, капитанъ, продолжалъ полковникъ, — что наиболѣе меня тревожило во время вашего отсутствія: нашъ корпусный командиръ имѣетъ привычку давать иногда порученія тѣмъ изъ офицеровъ, которымъ онъ отказалъ въ отпускѣ! Ну, что, если бы онъ сдѣлалъ подобное въ отношеніи къ вамъ? И вамъ, а еще болѣе мнѣ, была бы страшная бѣда за то, что я не рапортовалъ объ вашемъ отсутствіи. Но теперь, надѣюсь, что вы поживете съ нами?

— Да, недѣли три. А тамъ я буду просить васъ отпустить меня въ имѣніе моей тещи, въ рыльскій уѣздъ, куда привезутъ ко мнѣ мою жену, и гдѣ я буду ожидать моей отставки.

— Хорошо, хорошо, но только тогда отрапортуйтесь больнымъ; это будетъ безопаснѣе и для васъ, и для меня.

Итакъ всѣ мои треволненія окончились благополучно. Подавъ рапортъ о болѣзни, я въ концѣ января оставилъ ипохондрическую Корочу и уѣхалъ въ Рыльскій уѣздъ, въ имѣніе тещи, которая, вслѣдъ за мною, пріѣхала туда съ моею женою и другою старшею дочерью. Въ маѣ получилъ я отставку, а въ іюнѣ родилась у меня дочь, увеличивъ наше семейное счастіе.

Родители моей жены были люди богатые; но у нихъ было восемь человѣкъ дѣтей — шесть сыновей и двѣ дочери. Жену мою наградила мать, очень добрая женщина, давъ ей въ приданое одну изъ своихъ тульскихъ деревень, лежащую между Тулой и Москвой, въ 20 верстахъ отъ первой и 150-отъ послѣдней. Въ этомъ-то имѣніи поселился я съ семействомъ, переѣхавъ туда изъ курской губерніи въ августѣ 1838 года. Ровно черезъ девять мѣсяцевъ послѣ свадьбы у меня родилась дочь Анна, вышедшая потомъ за Энгельгардта, бывшаго артиллериста. А не много спустя и у моего шурина, Апол. Болтина, родились двѣ дочери-близнецы, прелестнѣйшія дѣти и такъ похожія другъ на друга, что ихъ трудно было различить, когда онѣ были не вмѣстѣ. Старшая изъ нихъ, Елизавета, вышла за Салтыкова, знаменитаго сатирика; младшая, Анна, осталась въ дѣвицахъ.

Теперь брошу бѣглый взглядъ на курскую губернію и представлю нѣкоторыя черты и отличія этой губерніи отъ тѣхъ, которыя уже описалъ я въ этихъ воспоминаніяхъ.

XVII *).

Не вѣрится, а правда.

Теплымъ, благорастворенным климатомъ и чрезвычайно плодородною почвою Курская губернія отличалась отъ губерній костромской и нижегородской. Но главное отличіе состояло въ курскихъ дворянахъ, въ помѣщикахъ, на которыхъ:

«Отъ головы до пятокъ
Имѣлся свой особый отпечатокъ».

И какой былъ этотъ *особый отпечатокъ*, упаси Боже отъ него всякаго!

Искони идетъ слава о малороссахъ, какъ о диллетантахъ тяжебныхъ дѣлъ по преимуществу. Но что значатъ малороссіяне въ сравненіи съ курскими помѣщиками относительно любви къ процесамъ? Тоже, что ученики передъ профессорами. Тяжбоманія вошла въ кровь и плоть курскихъ дворянъ, засѣла у нихъ въ головномъ мозгу, въ спинномъ хребтѣ, разлилась по всѣмъ артеріямъ и венамъ и, принявъ значеніе жизненныхъ соковъ, завладѣла всѣмъ организмомъ, всѣми отправленіями ихъ животной и духовной жизни. Не было, нѣтъ и вѣроятно не будетъ такого дворянина въ Курской губерніи, который не имѣлъ бы процеса въ настоящемъ, или въ прошедшемъ, или хоть въ будущемъ. Большинство имѣло ихъ по нѣскольку за одинъ разъ. А принявшись за процесъ, они уже не скоро его оканчивали, потому что занимались имъ съ любовію, наслаждались имъ. Тягаться и тягаться,—вотъ девизъ курскихъ дворянъ. Процесы передавались у нихъ дѣтямъ, какъ лучшая часть наслѣдія; и тотъ считался дурнымъ отцомъ, кто не оставлялъ дѣтямъ ни одной тяжбы. А если оставлялъ ихъ двѣ, три, значитъ — былъ чадолюбивѣйшій изъ отцовъ.

При встрѣчахъ между знакомыми въ домахъ, въ трактирахъ, на улицѣ, на обѣдѣ, на балѣ, первыя фразы, которыми обмѣнивались между собою курскіе помѣщики, былъ бюллетень текущихъ или затѣваю-

*) То, о чемъ я разсказываю въ этой главѣ, происходило въ двадцатыхъ и въ тридцатыхъ годахъ, т. е. полвѣка тому назадъ. Разумѣется, это нисколько не относится къ настоящей Курской губерніи, гдѣ всѣ и все измѣнилось къ лучшему и нисколько не походитъ на прежнее. (Примѣчаніе 1881 года.)

щихся процесовъ. Вотъ одинъ изъ такихъ разговоръ, исторически вѣрный по содержанію.

— Ну, какъ ваше дѣло?

— Перешло въ палату. А ваше?

— Еще въ уѣздномъ судѣ.

— А какъ поживаетъ, что подѣлываетъ вашъ братъ?

— Подалъ бумагу *со скрытою*.

— А ваша тетушка?

— Подала на апелляцію. Ну, а что вашъ свояк, Агафонъ Аристарховичъ?

— Отписывается. Вы чай слышали, что на него подалъ прошеніе губернатору его сосѣдъ, Голофетъ, по поводу гусей? Да еще какое затѣялъ ему дѣло! Уголовное, до сената дойдетъ. И все изъ за домашнихъ гусей. Вѣдь это у насъ первый юриспрюдентъ въ губерніи. Фууу какія пишетъ прошенія! Прелесть. Зачитаешься! Настоящій Мерлинскій. Да и самому-то Мерлинскому не всегда удаваюсь написать такъ красно. А какъ статьи подведены! Оберъ-прокуроръ! Настоящій оберъ-прокуроръ.

— А вы ничего не слыхали о Шишинѣ?

— А что такое?

— Подрался съ шуриномъ.

— Когда и какъ?

— На имянинахъ у тестя. Дѣло вышло изъ за пустяковъ. Шишинъ, вскорѣ послѣ имяниннаго обѣда, вздумалъ проучить за что-то свою жену. Ну вотъ, вызвавъ ее въ дѣвичью, принялся валять чубукомъ по спинѣ. А шуринъ-то на ту пору и вышелъ въ дѣвичью — трубку закурить, да и вступился за сестру. Ну и вышла исторія. Бросивъ жену, Шишинъ принялся валять чубукомъ шурина, а тотъ его за хохолъ да кулакомъ по мордасамъ. Ну такъ вцѣпились другъ въ друга, что и незамѣтили, какъ въ пылу *поединка* ввалились въ гостиную и очутились посреди гостей.

— Ну, что-жъ дальше?

— Насилу розняли; водой разливали.

— Славная штука! Какъ жаль, что меня тамъ не было! А все потому опоздалъ туда, что писалъ прошеніе Аграфенѣ Поликарповнѣ на Ермолая Флегонтыча... Ну что же было далѣе?

— Разумѣется что: подали прошенія другъ на друга, и теперь пошло дѣло, которое всѣхъ насъ очень интересуетъ; а судью и стряпчаго въ особенности. Вѣдь это лафа для нихъ.

— Отчего же ихъ не помирили?

— Что вы! Помилуйте! Мириться! Какой срамъ! Да кто же изъ порядочныхъ дворянъ мирится, когда подано уже прошеніе и началось дѣло?.. Мириться!... Да это безчестно!.. Слѣдуетъ вести дѣло своимъ порядкомъ, тягаться донельзя, хоть до втораго пришествія, а не уступать. Въ этомъ то и состоитъ дворянская честь. Да по моему настоящій, коренный дворянинъ за три пяди негодной земли обязанъ тягаться хоть сто лѣтъ, хоть все протягать, всего лишиться, а не уступить, не мириться.

Такъ думали и поступали девять десятыхъ курскихъ дворянъ, которымъ нѣтъ числа, если считать всѣхъ мелкопомѣстныхъ и безпомѣстныхъ. Сверхъ родовой, кровной тяжбоманіи, курскіе дворяне отличались еще многими другими качествами.

Широкимъ хлѣбосольствомъ, но только въ смыслѣ обжорства, въ смыслѣ истребленія непомѣрнаго количества всякихъ яствій и въ особенности питій. Страстно любятъ они разъѣзжать по праздникамъ, по именинамъ, по ярмаркамъ и по всевозможнымъ собраніямъ и сборищамъ. Также страстно любятъ они карты, играютъ во всякія игры, но всего охотнѣе въ банкъ, какъ ближайшую къ цѣли игру — обдуть кого, или самому продуться. Разъѣзжая же по праздникамъ и по именинамъ, любятъ забираться въ гости спозаранку, часовъ въ десять утра, и уже непозднѣе одиннадцати, потому что съ одиннадцати часовъ, въ курскихъ помѣщичьихъ домахъ начинается адмиральскій часъ, и повторяется черезъ каждые полчаса вплоть до самаго обѣда. А въ полдень подаютъ завтракъ, но такой, что впятеро сытнѣе нѣмецкаго обѣда. Чего тутъ нѣтъ. Да и какъ ѣдятъ курскіе помѣщики! Голодныхъ волковъ пристыдятъ. А къ обѣду является у нихъ новый аппетитъ, еще лютѣе утренняго. И что за желудки! Желѣзо, платину, камни, что угодно расплавятъ и переварятъ. Вотъ что значитъ привычка переваривать полувѣковыя тяжбы и самыя кляузныя дѣла, послѣ которыхъ и камни удобоваримы.

Мѣстная хроника преизобилуетъ самыми ужасными казусными дѣлами и подвигами и столбовыхъ, и нестолбовыхъ. Упомянемъ о нѣкоторыхъ.

Въ концѣ прошедшаго и началѣ нынѣшняго столѣтій, нѣкоторые изъ дворянъ выѣзжали съ дворовыми, организованными ими въ разбойничьи шайки, на большую дорогу, останавливали и грабили проѣзжихъ, и въ особенности купцовъ и обозы съ товарами.

Дѣлали когда-то фальшивыя ассигнаціи, торговали ими, какъ товаромъ и нажили себѣ хорошія состоянія, по пятисотъ душъ и болѣе.

Дядя моей жены, нѣкто Петръ Иванычъ Веревкинъ, помѣщикъ курской губерніи, рыльскаго уѣзда, очень неглупый добрякъ и человѣкъ весьма правдивый, разсказывалъ мнѣ, какъ очевидецъ, слѣдующее:

— Бывало сидишь въ гостяхъ у какого нибудь рыльскаго купца. Днемъ себѣ еще ничего. А какъ смеркнется, то и слышишь: кто-то пойдетъ къ окну и, постуча, спроситъ:

— Дома хозяинъ?

— Дома. А что надо?

— *Съ товаромъ* пришелъ. Не хочешь ли купить?

— А на сколько?

— На десять тысячъ.

— А по чемъ?

— По двѣнадцати за сто.

— Дорого; возьми по семи.

— Не могу; дешево. Сосѣдъ даетъ уже по восьми.

— Ну такъ я дамъ по девяти.

— Давай по десяти. А не то пойду къ сосѣду.

— Ну, ладно, ладно. По рукамъ. Приходи попозднѣе, черезъ часикъ.

И этотъ таинственный торгъ производился, несмотря на то, что у купца былъ гость. А торгъ этотъ состоялъ въ фальшивыхъ ассигнаціяхъ.

Для немедленнаго удовлетворенія мести, ревности, злобы или корыстолюбія, ничто не останавливало нѣкоторыхъ изъ курскихъ дворянъ. Ихъ нисколько не устрашала кара закона, надъ которымъ они насмѣхались, который попирали ногами и который часто оставался безсильнымъ. Итакъ:

Не далѣе, какъ въ нынѣшнемъ столѣтіи, братъ съ сестрою и при помощи гувернера, задушили своего старика-отца, чтобы поскорѣе вступить во владѣніе его имѣніемъ и большимъ капиталомъ. Засадили ихъ въ острогъ, да только долго, очень долго ихъ не осуждали и никуда не ссылали, потому что это были субъекты весьма годные *для сосанія*, т. е. годные въ кормилицы къ дѣтямъ Ѳеомиды. Поэтому-то ихъ и не ссылали, а только *сосали*.

Какіе-то столбовые племянники повѣсили на чердакѣ своего столбоваго дядю.

Одинъ помѣщикъ, служившій по выборамъ, зазвалъ къ себѣ на обѣдъ двухъ своихъ братьевъ, да и отравилъ ихъ, чтобы избѣгнуть

дѣлежа съ ними родоваго имѣнія, находя, что цѣлое лучше одной трети.

Одинъ рыльскій помѣщикъ убилъ свою возлюбленную, изъ ревности, или потому что она ему надоѣла, не помню хорошо. Но убилъ ее съ самою холодною обдуманностію, убилъ *художественно*. Его сослали.

Другой рыльскій помѣщикъ разсердился на своего священника, да и порѣшилъ его и бросилъ въ рѣку. Черезъ нѣкоторое время рыбаки, думая поймать осетра или сома, вытащили въ неводѣ тѣло священника. Началось дѣло. Долго не открывали, но наконецъ и открыли преступника и, на этотъ разъ, послали его куда слѣдовало. Такой примѣръ строгости вызвалъ слѣдующій разговоръ между нѣкоторыми курскими помѣщиками:

— Что за тяжелыя времена настали, почтеннѣйшій Андреянъ Андреянычъ! Нашему брату житья теперь нѣтъ. Бывало порѣшишь себѣ кого нибудь изъ причетниковъ и никто не заботится объ этомъ, а тотчасъ же на мѣсто его пришлютъ новенькаго. А нынѣ за это въ Сибирь ссылаютъ. Чортъ знаетъ, что за время! Просто, хоть бѣги вонъ изъ Россіи!

Страшно, тошно, но истинно! и потому прекращаю дальнѣйшіе разсказы. И то боюсь, чтобы меня не заподозрили въ преувеличеніи, въ выдумываніи, тогда какъ все, разсказанное мною, слышалъ я отъ самихъ же курскихъ помѣщиковъ, во время пребыванія моего въ курской губерніи. Пора распроститься съ этою *романтическою* губерніею и отправиться за Макаровыми въ губернію тульскую.

XVIII.

Неудавшіяся попытки.

Шесть лѣтъ съ половиною самой тихой, безмятежной и счастливой жизни провелъ я близь Тулы въ сельцѣ Рожествинѣ. У меня было пять человѣкъ дѣтей, изъ которыхъ въ живыхъ осталось только двое: старшая дочь, Анна, и послѣдній сынъ Николай. Аполлонъ Петровичъ тоже вышелъ въ отставку и почти въ одно время съ нами поселился въ своемъ имѣніи, верстахъ въ семидесяти отъ Тулы. Макаровы и Болтины составляли самые дружескіе между собою дома, и часто посѣщали другъ друга. У Болтиныхъ, какъ я уже сказалъ выше, было двое дѣтей, до-

черн-близнецы, идеальной красоты и такъ похожія одна на другую, что ихъ трудно было различить, когда онѣ были не вмѣстѣ.

Хотя я и занимался сельскимъ хозяйствомъ, но небольшіе его размѣры не могли наполнить всѣ досуги моей деревенской жизни, не въ состояніи были удовлетворить пожиравшую меня жажду болѣе обширной и возвышенной дѣятельности. Я выписывалъ нѣсколько журналовъ, много читалъ и постоянно и внимательно слѣдилъ за всѣмъ, что дѣлалось въ мірѣ политики, литературы и художествъ; слѣдилъ съ жаднымъ любопытствомъ человѣка, который все чего-то и гдѣ-то искалъ, чего-то добивался. Принялся я также за музыку, изучалъ теорію этого искуства и наконецъ предался всецѣло изученію одного изъ самыхъ трудныхъ и неблагодарныхъ инструментовъ. Объ этомъ подробно говорилъ я въ 1-й главѣ 2-й части воспоминаній. А между тѣмъ природный инстинктъ тянулъ меня къ перу, къ тому, чтобы стать писателемъ. Года черезъ четыре по возвращеніи моемъ въ деревнѣ, я взялся было однажды за перо и написалъ двѣ беллетрическія статьи, которыя и отправилъ къ одному блиставшему тогда журналисту. Но статьи эти канули въ вѣчность и, вѣроятно непрочитанныя, сданы были въ архивъ редакціи. Такова почти всегда бываетъ участь начинающихъ авторовъ. Итакъ, вмѣсто того, чтобы поощрить, поддержать, меня похоронили; и я бросилъ перо. Правда, что вскорѣ послѣ этой авторской неудачи, я сдѣлалъ еще попытку, но не беллетрическую, а по части учебныхъ книгъ.

Въ то время энциклопедическій лексиконъ Плюшара палъ, не дойдя не только до конца, но и до половины своего пути. Въ то же самое время попался мнѣ въ руки одинъ краткій французскій энциклопедическій лексиконъ, а именно: «*Dictionnaire encyclopédique usuel, publié sous la direction de Charles Saint-Laurent.* Разсмотрѣвъ внимательно этотъ словарь, и тщательно обдумавъ вопросъ о важности и о разныхъ шансахъ успѣха подобнаго изданія, я пришелъ къ слѣдующимъ заключеніямъ.

Во-первыхъ: такъ какъ у насъ не было и нѣтъ ни одного энциклопедическаго лексикона, этого необходимаго пособія для образованнаго класса, то, прежде нежели предпринять изданіе такого словаря въ обширныхъ размѣрахъ, на что требуется много и время, и денегъ; слѣдовало бы начать и окончить изданіе краткаго энциклопедическаго лексикона, что, на первое время, было бы гораздо раціональнѣе, практичнѣе и полезнѣе, т. е. доступнѣе большинству по своей умѣренной цѣнѣ.

Во-вторыхъ: по успѣшномъ изданіи краткаго, можно было бы приступить къ изданію и болѣе пространнаго энциклопедическаго лексикона.

Но и въ этомъ случаѣ слѣдовало бы принять за непремѣнное правило— не увлекаться многописаніемъ и излишнимъ развитіемъ фактовъ и свѣдѣній, а напротивъ: сколь возможно сжимать статьи относительно слога и изложенія фактовъ и научныхъ длинныхъ, потому что главная цѣль такого словаря, не обучать наукамъ, на что есть спеціальныя сочиненія, но только служить пособіемъ, справочною книгою. Стало быть громадность такихъ изданій не имѣетъ цѣли и уменьшаетъ на половину ихъ пользу и практическое примѣненіе къ дѣлу, потому что дѣлаетъ ихъ доступными только для немногихъ, по причинѣ своей дороговизны; и сверхъ того имѣетъ еще важное неудобство — громоздкость, весьма затруднительную при передвиженіяхъ владѣльца такого многотомнаго и многоцѣннаго изданія.

На основаніи этихъ заключеній, я возымѣлъ мысль изданія краткаго энциклопедическаго словаря, подъ заглавіемъ: *Лексиконъ справокъ*. Взявши за образецъ французскій словарь Сенъ-Лорана, я тотчасъ же принялся за дѣло съ своею обычною и неутомимою настойчивостію, и сталъ приводить въ исполненіе свою мысль посредствомъ перевода на русскій языкъ статей изъ французскаго словаря, придерживаясь слѣдующаго правила: выпускать изъ словаря всѣ тѣ мелочныя и ненужныя для русскихъ историческіе, біографическіе и географическіе факты и свѣдѣнія, интересные для однихъ только французовъ. Жена вполнѣ раздѣляла мою мысль и взялась помогать мнѣ. Дѣло пошло быстро. Послѣ трехъ мѣсяцевъ усердной работы вдвоемъ, мы добрались до буквы В. Тогда прежде, чѣмъ продолжать начатое дѣло, я разсудилъ посовѣтоваться съ людьми опытными, спеціальными. Для этого поѣхалъ я въ Петербургъ и тамъ вошелъ въ сношенія съ однимъ извѣстнымъ тогда книгопродавцемъ-издателемъ (Ольхинымъ). Этотъ послѣдній принялъ меня весьма радушно, и, взглянувъ на мои труды, не только вполнѣ одобрилъ мою идею, но и присоединился къ ней, объявивъ мнѣ, что онъ охотно будетъ участвовать на половину въ издержкахъ моего предпріятія, отъ котораго ожидаетъ огромнѣйшихъ выгодъ для себя, и для пользы русскаго просвѣщенія.

Сверхъ книгопродавца-издателя, я обращался еще и ко многимъ изъ участвовавшихъ въ изданіи лексикона Плюшара. Всѣ они тоже одобрили мою мысль и дали мнѣ много дѣльныхъ и полезныхъ совѣтовъ для успѣшнаго веденія дѣла. Итакъ была вторая попытка лексикографіи, которая осуществилась только черезъ 25 лѣтъ позднѣе.

Полный надеждъ возвратился я въ деревню и съ вящимъ рвеніемъ сталъ продолжать начатое дѣло. Но мнѣ не суждено было довести его

до конца. Меня ожидалъ роковой, страшный ударъ, который разрушилъ мое образцовое семейное счастіе, а съ нимъ вмѣстѣ и всѣ мои планы. Это *) громадное несчастіе, обрушившееся неожиданно на мою голову, и затѣмъ рядъ событій, потерь, страданій описаны въ *Задушевной Исповѣди*. Но здѣсь, но теперь я кладу перо и нейду далѣе, хотя и обѣщалъ въ 1-й части, въ главѣ *Mea culpa* разсказать событія послѣднихъ 25 лѣтъ моей жестоко-испытуемой жизни. Но отдумалъ это дѣлать. Къ чему? Я обратился къ общественному мнѣнію и къ обществу за реабилитаціей, за справедливостью, за сочувствіемъ. Но теряю надежду на это. Ледяную кору индеферентизма и апатичности нашего общества не въ силахъ растопить или разшевелить никакія индивидуальныя страданія и несчастія, какъ бы велики и незаслужены ни были эти несчастія, даже въ сопровожденіи заслугъ. Это не то, что во Франціи, гдѣ, въ концѣ десятыхъ или въ началѣ двадцатыхъ годовъ нашего столѣтія, Габріэль де-Венансъ, сынъ любви, питомецъ воспитательнаго дома въ Парижѣ, затѣмъ художникъ-живописецъ, далѣе полковникъ и баронъ имперіи, описалъ, въ своей автобіографіи, несчастія своей жизни и, обращаясь за сочувствіемъ къ своимъ согражданамъ, далъ свой адресъ. И аккордами полнаго сочувствія откликнулось на этотъ вопль несчастливца отзывчивое французское общество. Масса сочувственныхъ писемъ посыпалась на его сельское уединеніе, и затѣмъ множество сочувственныхъ лицъ устремились, словно въ паломничество, на поклоненіе несчастному обитателю деревенскаго уединенія. Но въ несчастіяхъ Габріэля де-Венансъ виновницею была одна только судьба, а люди были не причемъ; тогда какъ въ несчастіяхъ моей жизни люди, и недобрые и добрые, были виновны столько же, если не болѣе, какъ и судьба.

Итакъ прощаюсь навсегда съ моими читателями и прошу у нихъ «забвенія», если не найдется другихъ, болѣе теплыхъ чувствъ.

---

*) Начиная съ этой строки и до конца, я написалъ въ декабрѣ сего 1881 года. Затѣмъ пропустилъ всю XIX главу: *Нѣсколько словъ о собственномъ запахѣ туляковъ;* пропустилъ, чтобы «гусей не раздразнить». Довольно и того, что написано о нихъ въ первой части этихъ воспоминаній.

КОНЕЦЪ.

4 233ST2 005 53 BR 8136